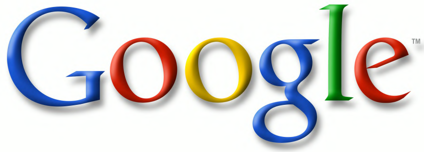
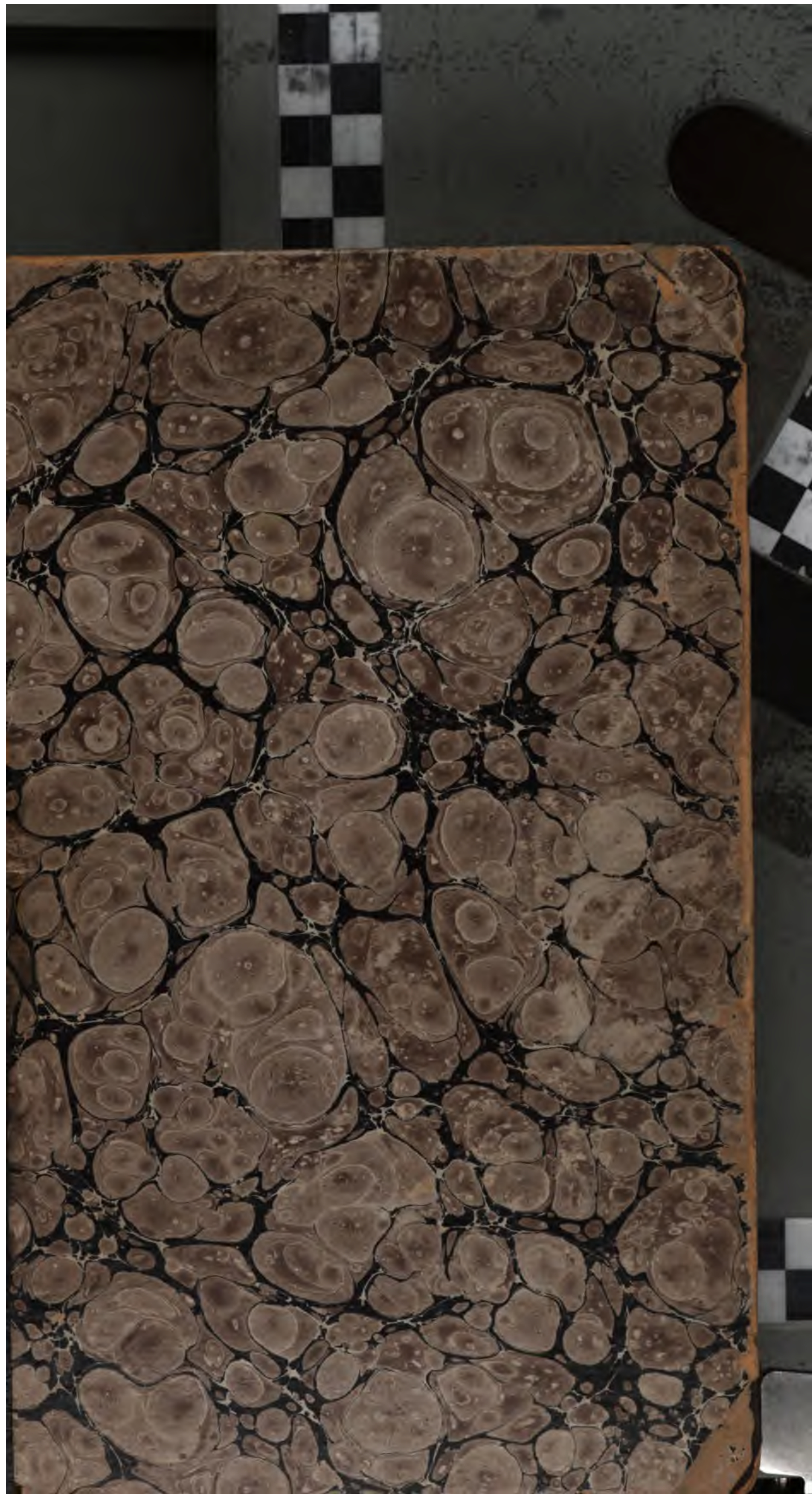




ИСТОРІЯ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМЪ IV.

ВРЕМЕНА ИМП. ЕКАТЕРИНЫ II. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.
ПУШКИНЪ И ГОГОЛЬ. УТВЕРЖДЕНІЕ НАЦІОНАЛЬНАГО
ЗНАЧЕНІЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

А. Н. Пыпина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1899



2880

Кончая этотъ трудъ, считаю не лишнимъ напомнить предисловіе перваго тома, гдѣ былъ указанъ его планъ и намѣреніе: не всѣ изъ моихъ критиковъ обратили на него достаточно вниманія, требовали отъ меня учебника и т. п.,—съ другой стороны книга встрѣтила сочувствіе компетентныхъ судей, мнѣніемъ которыхъ я дорожу. Я имѣлъ въ виду читателя, болѣе или менѣе приготовленнаго, и предполагая основные факты извѣстными, въ особенности считалъ задачей — установить явленія литературы въ послѣдовательности ихъ историческаго развитія, въ ихъ внутреннихъ соотношеніяхъ и въ ихъ связи съ событіями жизни государства, народа и общества. Этимъ опредѣлялось и расположеніе историческаго матеріала. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я старался дать указанія о настоящемъ положеніи главнѣйшихъ вопросовъ въ ихъ спеціальной разработкѣ.

Въ строгомъ научномъ смыслѣ, въ исторіи русской литературы еще не можетъ быть рѣчи о законченности изслѣдованія. Историческія явленія сложны; въ нашемъ предметѣ все еще открываются не только новыя точки зрѣнія, но даже невѣдомые ранѣе факты; для новѣйшихъ періодовъ исторіи недостаетъ полнаго простора критики,—такъ что въ данную минуту обзоръ историческаго цѣлаго можетъ, при всей доброй волѣ, дать только относительную законченность... Въ этой общей постановкѣ вопроса и заключается основной интересъ исторіи, и здѣсь пред-

стоитъ еще много работы; мой трудъ есть опытъ такой постановки, по тѣмъ даннымъ, какія собраны и выяснены новѣйшими изысканіями.

Наконецъ, считаю долгомъ выразить свою благодарность Л. Н. Майкову за многія полезныя сообщенія.

А. П.

Іюль, 1899.



СОДЕРЖАНІЕ.

ГЛАВА XXXVI.

ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II.

Характеръ эпохи.—Историческое значеніе имп. Екатерины въ развитіи русской общественности и литературы. — Расширеніе вліяній французской литературы и „философіи".—„Философскія" увлеченія императрицы.—„Наказъ".

Состояніе школы и образованія.—Воспитательныя идеи Екатерины.—И. И. Бецкій.—Мысли о „новой породѣ людей".—Коммиссія о народныхъ училищахъ.

Литературная дѣятельность Екатерины.—Сатирическіе журналы.—Новиковъ.—Внутреннія колебанія и противорѣчія.

Періодъ времени, слѣдующій за дѣятельностью первыхъ начинателей новой литературы и обнимающій почти всю вторую половину XVIII вѣка, можетъ быть обозначенъ именемъ императрицы Екатерины II не только по внѣшнему хронологическому основанію, но и по важнымъ внутреннимъ причинамъ. Никто изъ русскихъ государей, раньше и послѣ, не отдавалъ литературѣ столько вниманія, или поощряя, или стѣсняя ее; никто въ такой мѣрѣ не былъ близокъ къ тому умственному движенію въ Европѣ, которое имѣло для нашей литературы сильное возбуждающее и руководящее значеніе; никто, наконецъ, не принадлежалъ къ литературѣ своимъ собственнымъ трудомъ. Только Петръ Великій положилъ нѣкогда ревностный трудъ на распространеніе знаній, размноженіе нужныхъ для этого книгъ, и самъ руководилъ книжными работами; но самая роль литературы заключалась тогда въ одномъ усвоеніи учебнаго матеріала,—теперь, напротивъ, возникала извѣстная самостоятельная дѣятельность. Воспринятыя литературныя вліянія отражались примѣненіемъ ихъ къ собственной жизни, первыми проблесками умственнаго труда и поэтическаго творчества. Екатерина II, по своему дѣятельному характеру и политическимъ обстоятельствамъ, не только не осталась равнодушна къ движенію, но сама приняла въ немъ живѣйшее участіе, хотѣла руководить имъ, а когда оно

ускользало отъ ея вліянія, раздражалась и стремилась остановить его. Факты того и другого наполняютъ время ея правленія и ея собственную литературную дѣятельность: внѣ ея прямого или косвеннаго вліянія или отзыва не осталось ни одно изъ крупныхъ литературныхъ явленій того времени.

Вторая половина XVIII вѣка отмѣчена въ особенности обширнымъ и разнообразнымъ вліяніемъ французской литературы. Мы видѣли, что это вліяніе возникало само собою: русская образованность, вступивъ въ европейскую школу, естественно должна была находить свой главный источникъ въ томъ авторитетѣ, который въ самой Европѣ игралъ тогда господствующую роль. Этимъ авторитетомъ была французская литература, и первые начинатели новой литературы, Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ, Сумароковъ, брали отсюда руководящія правила и образцы. Это было еще во времена Анны Ивановны. Царствованіе Елизаветы открыло еще болѣе широкіе пути французскимъ вліяніямъ: отчасти это было естественное расширеніе французскихъ образцовъ, какое произвело, напримѣръ, драматическія творенія Сумарокова; отчасти распространеніе французскихъ вкусовъ въ самомъ обществѣ, что̀ привело наконецъ произведенія Сумарокова на придворную сцену. Французскіе обычаи, какъ придворная и свѣтская мода, обошли тогда всю Европу и приходили наконецъ къ намъ; высшее образованіе, которое стало теперь считаться необходимымъ въ высшемъ кругу, а по его примѣру проникало и въ средній, возможно было только на французскомъ языкѣ и на французскихъ книгахъ. Любимецъ императрицы Елизаветы, который былъ вмѣстѣ и прославляемымъ меценатомъ и пріобрѣлъ дѣйствительно историческую заслугу основаніемъ Московскаго университета, И. И. Шуваловъ, былъ уже въ перепискѣ съ Вольтеромъ. Екатерина II была вполнѣ воспитана на французской литературѣ; съ первыхъ годовъ царствованія она вступаетъ въ дружескую переписку съ первостепенными свѣтилами французской „философіи". Такимъ образомъ вліяніямъ французской литературы открыта была оффиціальная дорога.

По мѣрѣ того, какъ расширялось внѣшнее знакомство съ французской литературой, расширялся и объемъ идей, которыя изъ нея почерпались. Это не были уже только литературные образцы, которымъ у насъ силились подражать; но также извѣстныя общественныя понятія, „философскія" мысли. Сама французская литература, которую узнавали во второй половинѣ вѣка, была уже иная. Со временъ Людовика XIV, когда корифеи ея

были тѣмъ, чего отъ нихъ ожидали—украшеніемъ великолѣпнаго двора, когда въ торжественной драмѣ греческіе и римскіе герои говорили языкомъ изящнаго общества,—съ тѣхъ временъ литературный центръ тяжести перемѣстился, вмѣстѣ съ настроеніемъ общества и съ успѣхами общеевропейской мысли. Новая литература Европы была вообще созданіемъ эпохи Возрожденія. Нѣкогда, однимъ изъ первыхъ результатовъ Возрожденія было рѣшительное отрицаніе средневѣкового преданія: въ сравненіи съ ясностью античной философской мысли, съ тонкими красотами античной поэзіи и искусства, стали казаться грубыми произведенія среднихъ вѣковъ, ихъ необработанный языкъ, неспособный къ выраженію глубокой мысли и изысканнаго чувства, ихъ легендарная миѳологія, которая не давала разсматривать себя какъ поэзію, но требовала непосредственнаго признанія. Вліяніе античной мысли развило духъ критическаго анализа, и за Возрожденіемъ естественно слѣдовало движеніе Реформы, охватившее католическій міръ. Отчаянная борьба вызвала религіозныя войны и преслѣдованія, инквизицію и орденъ іезуитовъ, но вызвала также и энергическую литературу, которая еще съ XVI вѣка, со временъ Эразма и Ульриха фонъ-Гуттена, подрывала авторитетъ защитниковъ средневѣкового іерархическаго преданія; послѣдніе уже съ той поры пріобрѣли репутацію „обскурантовъ“ (Litterae obscurorum virorum), — долго потомъ ими усердно поддержанную. Успѣхи классическихъ изученій, съ другой стороны, шли рядомъ съ великими научными открытіями, которыя встрѣчены были крайне враждебно „обскурантами“ и привѣтствованы защитниками свободы научнаго изслѣдованія. Наконецъ, отъ общихъ философскихъ вопросовъ новая мысль перешла къ непосредственнымъ вопросамъ общественной жизни, и та литература, которая прежде считала необходимыми классическіе котурны, спустилась въ буржуазной драмѣ къ простому быту и нравамъ средняго круга. Это обращеніе литературы къ среднему кругу, т.-е. къ общественной массѣ, выразилось и еще въ одномъ явленіи: въ средніе вѣка, рядомъ съ церковною и школьною латынью, установилось господство латинскаго языка въ изложеніи предметовъ науки; оно поддержано было классическими пристрастіями эпохи Возрожденія (хотя уже въ другомъ тонѣ: вмѣсто средневѣкового схоластическаго языка видятъ образецъ въ изящной рѣчи Цицерона и Горація),—но теперь въ массу общества стремятся ввести на языкѣ этого общества и самые высокіе вопросы науки. Ньютонъ писалъ еще по-латыни

знаменитыя „Principia“,—Вольтеръ переносилъ ихъ въ популярную французскую литературу.

Особенный подъемъ французской литературы второй половины XVIII столѣтія и расширеніе ея вліянія въ остальной Европѣ приведены были различными условіями времени. Окончилось знаменитое царствованіе, когда Франція пользовалась широкимъ политическимъ вліяніемъ и была законодательницей вкуса и просвѣщенія, наполняя самихъ французовъ сознаніемъ славы и національнаго достоинства; но это царствованіе смѣнилось слабымъ правленіемъ и печальными послѣдствіями старой системы: въ обществѣ пробуждалось критическое отношеніе къ тому порядку вещей, гдѣ за внѣшнимъ блескомъ скрывалось крайнее притѣсненіе народной массы, религіозная нетерпимость и вмѣстѣ съ нею подавленіе научныхъ стремленій. Общество невольно отнеслось критически къ условіямъ политическаго быта, и несостоятельность даннаго порядка вещей все больше бросалась въ глаза. Отмѣна Нантскаго эдикта удалила изъ Франціи цѣлую массу разумнаго и трудолюбиваго населенія, и церковное притѣсненіе было отомщено все сильнѣе развивавшимся охлажденіемъ къ религіи, распространеніемъ отрицательныхъ философскихъ ученій, деизма и даже атеизма. Знаменитый французскій выходецъ, Пьеръ Бэйль (ум. въ 1706), сталъ горячимъ защитникомъ вѣротерпимости и начинателемъ философскаго скептицизма XVIII вѣка: его зналъ уже нашъ Татищевъ. Съ другой стороны, французская литература воспринимала и перерабатывала вліянія, исходившія отъ другихъ европейскихъ литературъ. Здѣсь въ результатѣ Возрожденія шла своя оживленная дѣятельность и первостепенные умы сходились въ общихъ запросахъ философскаго и общественнаго знанія. Во Франціи въ особенности отозвалось англійское вліяніе. Вольтеръ въ своей популярной философіи распространялъ ученія англійскихъ мыслителей, а затѣмъ Кондильякъ развивалъ мысли Локка въ „Опытѣ о происхожденіи человѣческихъ познаній“ и въ „Трактатѣ объ ощущеніяхъ“, которые надолго доставили своему автору великую славу. Вольтеръ былъ еще деистомъ, но другіе пошли дальше; Дидро являлся болѣе рѣшительнымъ отрицателемъ, и наконецъ Гельвецій въ книгѣ „De l'esprit“ (1758), получившей опять чрезвычайное распространеніе въ европейскомъ обществѣ, былъ окончательнымъ матеріалистомъ, какъ нѣсколько позднѣе авторъ другой знаменитой книги своего времени, „Système de la nature“ (Гольбахъ, 1770). Отрицая старыя преданія, новая философія указывала вообще на права разума, и открывала этимъ

широкій путь для критики во всѣхъ направленіяхъ нравственной и общественной жизни. Знаменитая „Энциклопедія", объединившая своимъ названіемъ всю эту группу философовъ, ученыхъ и публицистовъ, явилась съ введеніемъ д'Аламбера, „Discours préliminaire", излагавшимъ систему человѣческихъ знаній (первое изданіе Энциклопедіи 1751—1772, послѣднія прибавленія 1777). Но рядомъ съ тѣмъ, какъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ ученій жизнь сводилась къ дѣйствію чисто матеріальныхъ началъ, успѣхи человѣчества приписывались только силѣ разума и прошлыя состоянія человѣчества объяснялись только невѣжествомъ (а религія „обманомъ жрецовъ"),—въ литературѣ той же эпохи явился имъ сильный противовѣсъ: съ одной стороны пытливое размышленіе о судьбахъ человѣчества; съ другой, идеалистическая потребность въ жизни чувства, стремленіе къ простымъ условіямъ человѣческаго существованія вызывали въ этомъ философскомъ движеніи явленія совершенно иного характера, гдѣ противъ отвлеченнаго отрицанія прошедшаго, какъ продукта невѣжества, выставлялась первая догадка объ историческомъ законѣ, а противъ восхваленій разума и просвѣщенія, какъ единственныхъ основъ будущаго благополучія человѣчества, высказано было сильное сомнѣніе въ тѣхъ благахъ, какія даетъ просвѣщеніе, высказано даже полное отрицаніе этихъ благъ и требовалось возвращеніе къ природѣ. Таковы были книги Монтескьё: „Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence" (1734) и въ особенности „Esprit des lois" (1748),—а затѣмъ знаменитыя разсужденія Руссо на темы Дижонской академіи: „Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs?" (1749) и „Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle?" (1753), за которыми послѣдовали „Emile ou de l'éducation" и „Contrat social", не говоря о другихъ его произведеніяхъ.

Названныя имена извѣстны были по всей Европѣ. Какъ нѣкогда повсюду распространилась литература временъ Людовика XIV, такъ теперь та же слава сопровождала новыхъ французскихъ писателей, которые затрогивали самые существенные и тревожные вопросы человѣческой природы, общественной жизни и нравственности, притомъ затрогивали иначе, чѣмъ это бывало у философскихъ писателей прежняго времени, не въ тяжелыхъ формахъ школьной учености, а съ полною свободою сомнѣнія и критики и въ изложеніи, доступномъ для всякаго образованнаго читателя. Здѣсь еще разъ сказалась та черта французской ли-

тературы, которую Тэнъ считаетъ національной чертой, le talent de bien dire—„эта средина между высшимъ умозрѣніемъ и подробнымъ наблюденіемъ, между смѣлымъ изобрѣтеніемъ всеобщихъ идей и старательнымъ собираніемъ мелкихъ фактовъ; этотъ талантъ вращается между двумя крайностями и сближаетъ ихъ; онъ умѣетъ истолковать, объяснить, развить; онъ способенъ сдѣлать всякую идею доступной для всякаго ума: онъ знаетъ пути мышленія самые ровные, самые прямые и плавные; онъ по преимуществу методичный и всеобщій; это профессоръ человѣческаго рода и секретарь человѣческаго ума; это не ученый и не живописецъ, и съ другой стороны это не метафизикъ и не художникъ; онъ предоставитъ грекамъ и нѣмцамъ изслѣдовать внутреннюю природу предмета и возьметъ изъ нея только общую идею“ [1])... Этотъ „ораторскій талантъ“, которымъ Тэнъ объяснялъ характеръ французской литературы XVII вѣка, временъ Расина, Корнеля, Фенелона, Боссюэта, Лабрюйера, съ извѣстными видоизмѣненіями перешелъ къ писателямъ XVIII столѣтія. Прежняя классическая увлекательность французской поэзіи (особливо драмы) продолжалась въ увлекательности произведеній „философскихъ“, которыя впрочемъ не были ограничены формой спеціальнаго трактата, но являлись и въ видѣ поэмы, драмы, повѣсти (какъ повѣсти Вольтера, Руссо, Дидро). Рѣдко въ европейской литературѣ бывали примѣры такого обширнаго распространенія писателей внѣ собственнаго поприща ихъ дѣятельности: прежде слава французской псевдо-классической поэзіи, теперь слава французской философіи явились первыми примѣрами обширной международной солидарности, которая шла рядомъ съ распространеніемъ французскаго языка, не только въ кругу придворномъ и свѣтскомъ, но и въ литературномъ. Знаменитый Эйлеръ писалъ по-французски „Lettres à une princesse d'Allemagne“; Фридрихъ Великій хотѣлъ быть только французскимъ писателемъ и презиралъ нѣмецкую литературу: историки нѣмецкой литературы утѣшаются за великаго короля—и справедливо—тѣмъ, что на французскомъ языкѣ онъ поднялъ національное чувство нѣмцевъ и повысилъ уровень просвѣщенія [2]). Какъ сами

---

[1]) Taine, „Nouveaux essais de critique et d'histoire“. Paris, 1865, стр. 208—209.

[2]) На время правленія Фридриха Великаго (1740—1786),—говоритъ Вильгельмъ Шереръ,—падаетъ „безпримѣрный умственный и эстетическій успѣхъ, къ которому король относился довольно холодно, хотя все-таки сильно содѣйствовалъ ему своей внутренней и внѣшней политикой. Мы вездѣ встрѣчаемъ его слѣдъ, вездѣ онъ привлекаетъ взоры, оживляетъ и поощряетъ, пробуждаетъ и воспламеняетъ, увлекаетъ за собою государей, даетъ матеріалъ поэтамъ, а всѣмъ нѣмцамъ даетъ героя, слава котораго облетаетъ весь міръ и которому удивляются даже враги... И если Фридрихъ Великій собиралъ вокругъ себя французскихъ писателей и мало довѣрялъ

французы воспользовались для себя результатами англійской мысли, такъ теперь французская философія господствовала въ Германіи. Фридрихъ II желалъ имѣть д'Аламбера президентомъ берлинской академіи; тотъ отказался, но президентомъ академіи сталъ другой французъ, Мопертюи; ученые труды берлинской академіи издавались на французскомъ языкѣ... При этомъ примѣрѣ неудивительно, что и изданія петербургской „де-Сіянсъ" Академіи долго издавались на латинскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкѣ.

Самымъ знаменитымъ именемъ французской литературы въ половинѣ вѣка былъ Вольтеръ, и еще во времена Елизаветы съ нимъ вступили въ прямыя сношенія и петербургская Академія, и И. И. Шуваловъ, и, наконецъ, Сумароковъ, который воображалъ, что можетъ рядомъ съ Вольтеромъ быть законодателемъ литературнаго вкуса; русскіе путешественники бывали у Вольтера съ поклономъ. Самъ Вольтеръ, чрезвычайно самолюбивый, искавшій почестей, давно добивался быть избраннымъ въ почетные члены петербургской Академіи, что̀ ему и удалось; онъ предлагалъ потомъ написать исторію Петра Великаго, если бы ему сообщены были необходимыя свѣдѣнія. На первый разъ предложеніе было отклонено, но потомъ, подъ вліяніемъ Шувалова, было принято. Въ доставленіи матеріаловъ должна была послужить Академія и именно Ломоносовъ; послѣдній былъ весьма высокаго мнѣнія о достоинствахъ Вольтера, какъ писателя; онъ писалъ Шувалову: „Къ сему дѣлу, по правдѣ, г. Вольтера никто не можетъ быть способнѣе; только о двухъ обстоятельствахъ нѣсколько подумать должно. Первое, что онъ человѣкъ опасный и подалъ въ разсужденіи высокихъ особъ худые примѣры своего характера. Второе, хотя довольно можетъ получить отъ насъ записокъ, однако переводъ ихъ на языкъ, ему знакомый, великаго труда и времени требуетъ". Дѣйствительно, Вольтеру доставлено было множество матеріаловъ, дѣлались ему разныя любезности и подарки, но когда трудъ Вольтера появился въ печати (1759—1763), въ Россіи остались имъ не совсѣмъ довольны. Штелинъ записалъ въ своихъ анекдотахъ: „Не щадили никакихъ издержекъ, чтобы возбудить въ этомъ знаменитомъ писателѣ охоту къ отчетливому исполненію такого труда. Ему послали впередъ отъ имени ея императорскаго величества подарки

своимъ соотечественникамъ въ литературныхъ дѣлахъ, то досада, которую послѣдніе отъ этого испытывали, была только новымъ побужденіемъ собрать всѣ свои силы и доказать королю, что онъ судитъ несправедливо". Исторія нѣм. литературы, русскій переводъ. Спб. 1893, II, стр. 1, 21—21.

великой цѣны: полное собраніе изображеній русскихъ людей, выбитыхъ на золотѣ, значительный запасъ дорогихъ мѣховъ изъ отборныхъ соболей, черныхъ и голубыхъ лисицъ и пр., которые одни даже въ Россіи цѣнились нѣсколько тысячъ рублей. Но какъ былъ изумленъ дворъ, когда послѣ долгаго промежутка времени, вмѣсто ожидаемой отъ знаменитаго писателя полной и обстоятельной исторіи русскаго монарха, явился голый остовъ"... Думали, что здѣсь оказались „любостяжательные виды сочинителя", который „утаилъ" многое изъ присланныхъ документовъ, чтобы воспользоваться ими для другихъ изданій своей книги [1]). Предполагался „корыстный разсчетъ", но въ появленіи дополненныхъ изданій не было бы большой бѣды, и въ концѣ концовъ, по замѣчанію Соловьева, „Вольтеръ сдѣлалъ все, что могъ, и, несмотря на всѣ недостатки, ошибки и промахи, книга его въ свое время была вовсе не лишняя не только на западѣ, но и въ Россіи, и стоила тѣхъ шубъ, которыя были отправлены за нее автору" [2]). Вольтеръ хотѣлъ быть историкомъ трехъ знаменитѣйшихъ государей начала столѣтія: Людовика XIV, Карла XII и Петра Великаго,—и при всѣхъ недостаткахъ исторія Петра, написанная самымъ прославленнымъ писателемъ того времени, все-таки заставляла говорить о Россіи и о великомъ преобразователѣ,—чего и желали въ Петербургѣ. Что эта цѣль достигалась, можно было видѣть изъ того, что Фридрихъ II былъ недоволенъ книгой Вольтера, вздумавшаго прославлять „страну волковъ и медвѣдей", и говорилъ, что „не будетъ читать исторіи этихъ варваровъ"; въ письмѣ къ д'Аламберу Вольтеръ замѣтилъ, что они, однако, „вели себя въ Берлинѣ медвѣдями очень благовоспитанными".

Задатки французскихъ вліяній, которые сказывались такимъ образомъ во времена Елизаветы [3]), еще сильнѣе развились при Екатеринѣ II, когда французская литература получила очень обширное, хотя довольно странное, распространеніе не только въ общественномъ кругу, но и въ оффиціальной придворной сферѣ, наложивъ особую печать на образовательные интересы общества, и даже на факты жизни государственной. Таково было вліяніе французскихъ образцовъ въ литературѣ, пристрастіе къ

---

[1]) Пекарскій, Исторія Академіи наукъ, II, стр. 617, 759.

[2]) Исторія Россіи, XXVI.

[3]) Тредьяковскій въ „Словѣ о премудрости, благоразуміи и добродѣтели" возставалъ уже съ величайшимъ негодованіемъ противъ ученія Руссо, „обывателя женевскаго", что „отъ Ученій больше поврежденія произошло Добронравію, и что безъ Наукъ и Знаній добродѣтельные люди пребываютъ и жительствуютъ въ Обществѣ" (Сочиненія, изд. Смирдина, I, стр. 539—541).

французской модѣ и обычаю въ нравахъ общества, и таково было вліяніе французской философіи въ воспитательныхъ планахъ Екатерины и Бецкаго, и въ особенности въ знаменитомъ „Наказѣ“. Въ самомъ разгарѣ этихъ вліяній развивается и оппозиція противъ нихъ, которая заняла столько мѣста въ тогдашнихъ сатирическихъ стихотвореніяхъ, въ комедіи и въ нравоучительныхъ обличеніяхъ тогдашнихъ журналовъ. Историки нашей литературы того вѣка посвятили не мало вниманія тѣмъ и другимъ явленіямъ, отдавали высокую дань похвалы просвѣтительнымъ попеченіямъ императрицы Екатерины, которыя почерпались изъ французской философіи, съ другой стороны хвалили сатириковъ, обличавшихъ подражаніе французамъ; новѣйшій біографъ Новикова указывалъ одно изъ величайшихъ золъ того вѣка въ вольтеріанствѣ и одну изъ лучшихъ заслугъ Новикова—въ его изобличеніи, точно такъ же, какъ осмѣяніе французской моды считается признакомъ національныхъ стремленій. Такимъ образомъ, по словамъ историковъ выходитъ, что изъ одного источника французской литературы исходятъ одновременно вліянія и благотворныя, и крайне зловредныя, и „Наказъ“ и вольтеріанство. Нѣтъ сомнѣнія, что были различныя теченія во французской литературѣ и въ другихъ, которыя были у насъ доступны въ XVIII вѣкѣ; были теченія отрицательныя, матеріалистическія, и направленія консервативныя (и послѣднія нашли у насъ ревностныхъ послѣдователей), но въ данномъ случаѣ похвалы и обличенія относятся нерѣдко къ одному и тому же явленію, къ однимъ и тѣмъ же представителямъ французской „философіи“: то восхвалялось новѣйшее просвѣщеніе, для котораго такъ много сдѣлано было трудами французскихъ писателей, — и импер. Екатерина оказывала величайшее вниманіе корифеямъ французской философіи, Вольтеру, Дидро, д'Аламберу, — то предавалось строгому осужденію „вольтеріанство“ и иное вольномысліе, иногда въ одной и той же книгѣ. Эта двойственность лежала нѣкогда въ самыхъ понятіяхъ русскихъ писателей, которые не умѣли разобраться въ содержаніи, приходившемъ изъ французской литературы, и повторилась у ихъ историковъ. Источникъ этой двойственности мы найдемъ во всѣхъ условіяхъ умственной жизни тогдашняго русскаго общества—слишкомъ отличныхъ отъ условій той жизни, которая создавала эту иноземную, приходившую къ нему литературу,—и въ частности въ томъ двойственномъ отношеніи, въ какомъ стояла къ французской литературѣ сама императрица.

Екатерина воспиталась на этой французской литературѣ; еще въ ранней юности, бывши великой княгиней, она много

читала, передъ ней вставали уже тѣ вопросы, которые бралась разъяснять новѣйшая философія, и она, по выраженію Соловьева, любовалась въ себѣ философскимъ умомъ [1]). По восшествіи на престолъ, ея „философскіе" интересы нашли себѣ не только весь теоретическій просторъ, но и практическое поприще. До сихъ поръ Екатерина довольствовалась книгами, теперь вступаетъ въ сношенія съ самими философами: ей была интересна бесѣда, въ которой она хотѣла и поучаться, но и поучать, потому что теперь она пріобрѣтала уже и тотъ опытъ политической жизни, котораго не могло быть у ея собесѣдниковъ,— они только наблюдали жизнь, но не управляли ею. Къ прямымъ сношеніямъ съ кругомъ французской философіи были теперь и довольно серьезные для Екатерины практическіе поводы.

Она вступала на престолъ въ тяжелыхъ условіяхъ, потребовавшихъ всей ея нравственной энергіи; черезъ нѣсколько дней послѣ того ей пришлось вынести еще страшное потрясеніе вслѣдствіе катастрофы 6 іюля. При воцареніи она была справедливо убѣждена въ необходимости положить конецъ тому невозможному ходу вещей, который становился унизительнымъ для Россіи и опаснымъ для нея самой; во всякомъ случаѣ это былъ опять дворцовый переворотъ, которыхъ уже такъ много происходило со временъ Петра и въ которыхъ, при всей удачѣ въ данную минуту, могла заключаться опасность для будущаго. Нужно было установить отношенія въ своей ближайшей обстановкѣ, нужно было успокоить умы въ народной массѣ и обществѣ (отъ временъ Елизаветы остался еще претендентъ, Иванъ Антоновичъ, имя котораго въ эти годы дѣйствительно не однажды было поводомъ къ политическимъ замысламъ); наконецъ, нужно было оправданіе переворота въ европейскомъ общественномъ мнѣніи, которое надо было увѣрить и въ полной прочности новаго порядка. Екатерина съ самаго начала приняла мѣры въ этомъ отношеніи: до нея дошли слухи, что И. И. Шуваловъ внушалъ Вольтеру неблагопріятныя о ней представленія; изъ Петербурга были написаны Вольтеру оправданія переворота; сначала обмѣнивались привѣтствія черезъ женевца Пиктè, служившаго при Екатеринѣ для иностранной переписки, а вскорѣ начались прямыя сношенія, и въ 1763 г. Вольтеръ говоритъ уже объ Екатеринѣ: „моя дорогая императрица". Вольтеръ сталъ ея ревностнымъ приверженцемъ, и Соловьевъ замѣчаетъ, что, восхваляя потомъ ея подвиги, „едва ли Вольтеръ не первый сталъ

[1]) Исторія Россіи, XXV.

толковать о томъ, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и возсоздать отечество Софокла и Алкивіада, такъ что Екатерина должна была сдерживать его слишкомъ разыгравшуюся фантазію" [1]).

Вскорѣ эти сношенія еще расширились. Екатерина писала вскорѣ къ д'Аламберу, котораго хотѣла пригласить для руководства воспитаніемъ наслѣдника престола, и настойчиво повторяла свое приглашеніе послѣ его отказа: она дѣлала предположеніе, что причина отказа заключалась въ любви къ спокойствію, въ желаніи отдавать свое время литературѣ и дружбѣ. „Но что же мѣшаетъ? — писала она. — Пріѣзжайте со всѣми вашими друзьями, я обѣщаю вамъ и имъ всѣ удовольствія и удобства, отъ меня зависящія, и, быть можетъ, вы найдете здѣсь больше свободы и спокойствія, чѣмъ у васъ". Когда Екатерина обѣщала ему „больше свободы и спокойствія" въ Петербургѣ, чѣмъ въ Парижѣ, это объясняется тѣмъ, что въ тѣ самые годы дѣлалось изданіе Энциклопедіи, которая въ первое время была въ Парижѣ запрещена; теперь д'Аламберъ подпалъ гоненію за сочиненіе объ уничтоженіи іезуитовъ и былъ лишенъ пенсіи; онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что король не зналъ объ этой несправедливости. Екатерина писала на это: „У васъ во Франціи, должно быть, большое количество великихъ людей, если ваше правительство не считаетъ себя обязаннымъ покровительствовать тѣмъ, которыхъ генію удивляются въ странахъ самыхъ отдаленныхъ. Вы находите для себя утѣшеніе въ томъ, что король французскій не знаетъ объ оказанной вамъ несправедливости; я нахожу, что это вовсе не утѣшительно для него; вѣроятно, окружающіе его по деликатности не даютъ ему знать объ этомъ. На сѣверѣ (безъ сомнѣнія, климатъ тому причиною, здѣсь чувства не такъ утонченны), на сѣверѣ государямъ не позволяютъ не знать объ отличныхъ умахъ, имѣющихъ право на ихъ милости. Они обязаны поощрять таланты; иначе заподозрятъ, что у нихъ самихъ нѣтъ талантовъ". Съ неменьшею любезностью Екатерина отнеслась къ другому философу, съ которымъ д'Аламберъ работалъ въ Энциклопедіи, къ Дидро; Екатерина даже пригласила его въ Петербургъ для личнаго знакомства и бесѣды, купила у него его библіотеку, оставивъ ее въ рукахъ Дидро до его смерти и назначивъ ему жалованье въ качествѣ хранителя. Вольтеръ писалъ по этому поводу къ одному изъ своихъ корреспондентовъ: „Кто бы могъ вообразить пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, что при-

[1]) Исторія Россіи, XXVI.

детъ время, когда скиѳы будутъ такъ благородно вознаграждать въ Парижѣ добродѣтель, знаніе, философію, съ которыми такъ недостойно поступаютъ у насъ?" Д'Аламберъ писалъ къ самой императрицѣ: „Вся литературная Европа рукоплещетъ отличному знаку уваженія и милости, какой ваше императорское величество оказали Дидро; онъ достоинъ его во всѣхъ отношеніяхъ по своимъ добродѣтелямъ, талантамъ, сочиненіямъ и положенію". Въ первые годы царствованія Екатерина вступила также въ переписку съ знаменитой тогда г-жей Жоффренъ, у которой былъ одинъ изъ главныхъ литературныхъ салоновъ въ Парижѣ. Позднѣе, съ 1774 года, она вела дѣятельную переписку съ извѣстнымъ Мельхіоромъ Гриммомъ, составителемъ „Литературной Корреспонденціи": эта переписка продолжалась до самой смерти императрицы.

По сохранившимся замѣткамъ Екатерины, писаннымъ ею во времена Елизаветы, задолго до воцаренія, можно видѣть, что уже съ этого времени занимали ее вопросы нравственные, политическіе, вопросы будущаго правленія, и въ этихъ раннихъ мысляхъ были задатки позднѣйшихъ мыслей, выраженныхъ въ „Наказѣ", изъ которыхъ она хотѣла сдѣлать кодексъ своего правленія. Переписка съ французскими философами, съ г-жей Жоффренъ, Циммерманномъ, наконецъ Гриммомъ, доходящая до послѣдняго года ея жизни, свидѣтельствуетъ, что она въ теченіе всей своей жизни сохранила интересъ къ европейской мысли,— хотя точка зрѣнія сильно измѣнилась. Въ первые годы правленія она была усиленно занята „философскими" идеями, которыя были высшимъ результатомъ тогдашняго движенія, находила въ нихъ и пищу для своего живого ума, и, какъ ей казалось, глубокія нравственныя основы для правительственныхъ дѣйствій. Не безъ ея собственнаго разсчета достигалась и другая цѣль: философы не остались равнодушны къ ея дружеской любезности и царственной щедрости и стали ревностными глашатаями ея славы: это была Семирамида Сѣвера, покровительница наукъ, гонимыхъ въ своемъ отечествѣ; это было рѣдкое явленіе, которому удивлялись въ Европѣ вслѣдъ за панегиристами Екатерины. Понятно, что эта слава тѣмъ болѣе поощряла домашнихъ панегиристовъ, восхваленія которыхъ не знали уже никакого предѣла.

Искренность увлеченій Екатерины подтверждалась фактически: императрица приглашала д'Аламбера, вызывала къ себѣ Дидро, и въ особенности подтвердила свое высокое уваженіе къ французскимъ мыслителямъ въ „Наказѣ". Онъ былъ построенъ главнымъ образомъ на Монтескьё, какъ она и сама объ этомъ

заявляла. Нѣсколько разъ она говоритъ объ этомъ въ письмахъ къ д'Аламберу. „Вы увидите, какъ для пользы своей имперіи я обобрала президента Монтескьё, не называя его: надѣюсь, что если съ того свѣта онъ видитъ мою работу, то проститъ этотъ литературный грабежъ для блага двадцати милліоновъ людей, какое изъ того должно послѣдовать. Онъ такъ любилъ человѣчество, что не будетъ формализировать, его книга—это мой молитвенникъ". Въ тѣхъ же выраженіяхъ она пишетъ г-жѣ Жоффренъ: „Имя президента Монтескьё, упомянутое въ вашемъ письмѣ, вырвало у меня вздохъ... Его Духъ Законовъ есть молитвенникъ государей, если только они имѣютъ здравый смыслъ". Она пересылала по частямъ свою работу д'Аламберу и такъ упоминала объ этомъ въ письмахъ къ Жоффренъ: „Прошу васъ сказать д'Аламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, изъ которой онъ увидитъ, къ чему могутъ служить сочиненія геніальныхъ людей, когда хотятъ дѣлать изъ нихъ употребленіе; надѣюсь, что онъ будетъ доволенъ этимъ трудомъ; хотя онъ и написанъ перомъ новичка, но я отвѣчаю за исполненіе на практикѣ... Я все здѣсь сказала и послѣ этого не скажу ни слова всю жизнь; всѣ тѣ, которые видѣли мою работу, единодушно говорятъ, что это верхъ совершенства, но мнѣ кажется, что еще надобно почистить; я не хотѣла, чтобъ кто-нибудь мнѣ помогалъ, боюсь, чтобъ помощники не нарушили единства". Въ запискѣ о составленіи Наказа Екатерина говорила: „Всѣ требовали и желали, чтобъ законодательство было приведено въ лучшій порядокъ. Я начала читать, потомъ писать Наказъ коммиссіи уложенія. Два года я и читала и писала, не говоря о томъ полтора года ни слова, но слѣдуя единственно уму и сердцу своему съ ревностнѣйшимъ желаніемъ пользы, чести и счастія имперіи и чтобъ довести до высшей степени благополучіе всякаго рода живущихъ въ ней, какъ всѣхъ вообще, такъ и каждаго особенно. Предуспѣвъ, по мнѣнію моему, довольно въ сей работѣ, я начала казать по частямъ статьи мною заготовленныя людямъ разнымъ, всякому по его способностямъ и, между прочими, князю Орлову и графу Никитѣ Панину. Сей послѣдній мнѣ сказалъ: Ce sont des axiomes à renverser des murailles" (это аксіомы, способныя разрушить стѣны) [1]...

Панинъ не ошибался: аксіомы, заключавшіяся въ „Наказѣ", могли дѣйствительно разрушить стѣны, то-есть разрушить тотъ порядокъ вещей, который господствовалъ въ самой тогдашней

[1]) Записка, находящаяся въ государственномъ архивѣ, приведена у Соловьева, XXVI.

Европѣ, и особенно въ Россіи. Политическія идеи, которыя продолжали развиваться во Франціи со временъ Монтескьё и броженіе которыхъ было чрезвычайно усилено дальнѣйшимъ движеніемъ, — съ одной стороны представленіями о томъ, что жизнь должна строиться на теоретическихъ началахъ разума, съ другой стороны фантастическими идеями о первобытномъ состояніи, наконецъ, фактическимъ разложеніемъ старой монархіи,—нашли окончательное завершеніе въ томъ переворотѣ, который въ концѣ столѣтія совершился во Франціи и отозвался затѣмъ во многихъ другихъ странахъ западной Европы. Многія стѣны были въ самомъ дѣлѣ разрушены. Но что̀ было дѣлать съ этими аксіомами въ Россіи? Сама Екатерина въ ту минуту, вѣроятно. не имѣла объ этомъ никакого яснаго представленія... Мысли, которыя она вычитывала въ „сочиненіяхъ геніальныхъ людей", увлекали ее той истиной, которая такъ отвѣчала человѣческому достоинству. Въ замѣткахъ, писанныхъ ею задолго до воцаренія, высказано настроеніе, какимъ она была исполнена въ эти годы. „Желаю и хочу только блага странѣ, въ которую привелъ меня Господь. Слава ея—дѣлаетъ меня славною. Вотъ мое правило, и я буду счастлива, если мои мысли могутъ въ томъ содѣйствовать... Свобода, душа всего на свѣтѣ, безъ тебя все мертво. Хочу повиновенія законамъ, но не рабовъ; хочу общей цѣли— сдѣлать счастливыми, но вовсе не своенравія, ни чудачества, ни жестокости, которыя несовмѣстны съ нею".

„Когда имѣешь на своей сторонѣ истину и разумъ, тогда это слѣдуетъ выказывать предъ народомъ, объявляя ему, что такая-то причина привела меня къ тому-то; разумъ долженъ говорить за необходимость"... „Самое неудобное дѣло, это—составленіе новаго закона; въ такомъ случаѣ не будутъ излишни никакія размышленія и обдуманность"... Въ этомъ настроеніи мысли, для нея очевидна была необходимость освобожденія крестьянъ. „Противно христіанской вѣрѣ и справедливости дѣлать невольниками людей (они всѣ рождаются свободными). Одинъ соборъ освободилъ всѣхъ крестьянъ (прежнихъ крѣпостныхъ) въ Германіи, Франціи, Испаніи и пр. Осуществленіемъ такой рѣшительной мѣры, конечно, нельзя было заслужить любви землевладѣльцевъ, исполненныхъ упрямства и предразсудковъ",— и она уже придумывала средства достигнуть постепеннаго освобожденія крестьянъ (посредствомъ постановленія, что при продажѣ имѣній крестьяне дѣлаются свободными)... Одна черта, мимоходомъ приведенная Екатериною въ тѣхъ же замѣткахъ, объясняетъ, почему эти смѣлыя мысли и позднѣйшія аксіомы „На-

каза" были для нея возможны: „я свободна отъ предразсудковъ, — говоритъ она, — и у меня умъ отъ природы философскій [1]).

Первая молодость Екатерины прошла внѣ русскихъ „предразсудковъ"; впечатлѣнія, полученныя на родинѣ, въ обстановкѣ мелкаго нѣмецкаго двора, были слишкомъ незначительны при той громадной перспективѣ, какая представлялась воображенію умной и честолюбивой женщины. Ближайшій кругъ, въ которомъ она жила въ Петербургѣ во времена Елизаветы, за очень немногими исключеніями былъ таковъ, что она оставалась умственно одинокой, и вслѣдствіе того ея мысль въ особенности должна была направиться на тѣ общіе теоретическіе вопросы, какіе мы видѣли въ ея замѣткахъ и къ которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ присоединялась большая практическая наблюдательность. Первые годы царствованія впервые доставили просторъ для ея мысли, которая при безграничной власти могла ожидать и практическаго осуществленія.

Мы остановились на „Наказѣ" именно какъ на замѣчательномъ памятникѣ литературной образованности того времени. Идеалистическія ожиданія Екатерины не исполнились, но „Наказъ" не остался безъ своего историческаго вліянія. „День изданія Наказа,—говоритъ одинъ изъ его историковъ,—былъ днемъ нашего дѣйствительнаго вступленія съ европейскую жизнь, нашего внутренягно пріобщенія къ европейской цивилизаціи, днемъ, въ который русскіе въ первый разъ получили право именоваться гражданами" [2]). „Теоретическія идеи Наказа,—говоритъ другой историкъ,—никогда не были законодательными опредѣленіями. Но онѣ явились во многихъ отношеніяхъ руководящими началами нашего положительнаго права. Отголосокъ Наказа слышится въ законодательныхъ актахъ какъ самой императрицы, такъ и Александра I" [3]). Наказъ остался, накопецъ, источникомъ, изъ котораго въ то время и долго послѣ почерпали опору тѣ писатели, которые стремились разъяснять здравыя требованія человѣчности и просвѣщенія.

Впослѣдствіи, когда собрались наконецъ, депутаты въ Коммиссію о составленіи проекта новаго уложенія, Екатерина должна была увидѣть, что мнѣнія большинства депутатовъ не совпадали съ ея идеями, что благія намѣренія или не были поняты, или

---

[1]) Эти замѣтки, написанныя по-французски, въ переводѣ Пекарскаго, въ „Бумагахъ Екатерины II", I, стр. 82 и д.

[2]) Гр. Елисѣевъ, о Наказѣ по случаю столѣтней годовщины его перваго изданія, „Отеч. Записки", 1868, январь.

[3]) А. Градовскій, Начала русскаго госуд. права. Спб., 1875, т. I.

встрѣчались съ упорнымъ противодѣйствіемъ своекорыстія или невѣжества. Тѣмъ не менѣе, она была довольна общимъ результатомъ: „Коммиссія уложенія,—говорила она послѣ ея распущенія,—бывъ въ собраніи, подала мнѣ свѣтъ и свѣдѣніе о всей имперіи, съ кѣмъ дѣло имѣемъ и о комъ пещись должно. Она всѣ части закона собрала и разобрала по матеріямъ, и болѣе того бы сдѣлала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поѣхали въ армію. Наказъ коммиссіи ввелъ единство въ правило и въ разсужденія, не въ примѣръ болѣе прежняго. Стали многіе о цвѣтахъ судить по цвѣтамъ, а не яко слѣпые о цвѣтахъ. По крайней мѣрѣ, стали знать волю законодавца и по оной поступать“ [1]).

Но это было или только собственное утѣшеніе, потому что, какъ увидимъ дальше изъ нѣкоторыхъ подробностей, идеи „Наказа“ въ самыхъ существенныхъ вопросахъ не оказали никакого дѣйствія въ Коммиссіи,—или сама Екатерина стала весьма охладѣвать къ нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, нужна была бы энергія такого характера, какъ Петръ Великій, и нужно было бы много самоотреченія, чтобы дать въ нѣсколько значительной мѣрѣ господство тѣмъ новымъ началамъ человѣчности и просвѣщенія, какія были положены въ основѣ „Наказа“... Нужна была бы также и болѣе подготовленная почва, или во всякомъ случаѣ нужна была бы со стороны власти поддержка тѣмъ лучшимъ людямъ, въ умахъ которыхъ эти идеи произвели свое нравственное дѣйствіе. Но этого не случилось.

Екатерининская коммиссія не удалась, сама Екатерина охладѣла къ своему идеалистическому порыву; отъ положеній „Наказа“ остались только отрывочные отголоски. Этотъ фактъ характеренъ для цѣлаго вопроса о французскомъ, или вообще европейскомъ, литературномъ вліяніи въ нашемъ XVIII вѣкѣ. Выше упомянуто, что историки придаютъ вообще большое значеніе этому вліянію, ведутъ отъ него цѣлыя направленія нашей общественной мысли, строго осуждаютъ нѣкоторыя изъ этихъ направленій и т. п. Но въ обычномъ представленіи этого дѣла есть не малое заблужденіе. Французское или вообще западное литературное вліяніе не могло имѣть тѣхъ обширныхъ размѣровъ, какіе ему придаются. Читалось много французскихъ книгъ, много переводилось, но ихъ содержаніе никакимъ образомъ не могло усвоиться въ его дѣйствительномъ объемѣ. Знаменитыя имена французской литературы были извѣстны болѣе или менѣе и у насъ;

[1]) Соловьевъ, XXVII.

нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напримѣръ, имя Вольтера, проникли даже въ захолустья (гдѣ оно стало для благочестивыхъ людей стараго вѣка настоящимъ пугаломъ, олицетвореніемъ всѣхъ пороковъ—точка зрѣнія, которой держится между прочимъ новѣйшій біографъ Новикова); но между содержаніемъ просвѣтительной литературы второй половины XVIII вѣка и той умственной почвой, на которую оно могло дѣйствовать у насъ, лежала цѣлая пропасть. Прежде всего она заключалась въ различіи историческаго положенія. Западная просвѣтительная литература у себя дома была результатомъ цѣлой длинной исторіи самостоятельнаго труда, возбуждаемаго и работою мысли, и реальнымъ столкновеніемъ религіозныхъ, политическихъ и общественныхъ интересовъ. Каждая школа, каждое общественное и литературное направленіе были результатомъ цѣлаго предъидущаго процесса; широкая философская мысль, остроумная сатира, оригинальное поэтическое произведеніе встрѣчали подготовленную среду, гдѣ знакома была почва, изъ которой выросло произведеніе, понимались всѣ его подробности. аргументы, намеки и угадывались выводы. Такъ понятны были разсудочная философія д'Аламбера, отрицанія Дидро, памфлеты Вольтера, сентиментальная мизантропія Руссо, грубый матеріализмъ „Системы природы"; въ возбужденной жизни общества все это находило и отголосокъ, и отпоръ, и поводы къ дальнѣйшему развитію. Во всемъ этомъ бывали ошибки, крайности, но было и много важнаго, оставившаго глубокій слѣдъ въ развитіи европейской мысли, и во всякомъ случаѣ это было движеніе живое, органическое... Ничего подобнаго не было въ той узкой средѣ, въ которую приходило это содержаніе. У насъ не было тѣни того могущественнаго научнаго развитія, которое шло въ Европѣ со временъ Возрожденія. Въ старой кіевской и московской школѣ еще были цѣлы средніе вѣка, и затѣмъ къ намъ приходили только схоластическія извращенія, безсвязные отрывки западно-европейскаго гуманизма безъ его глубокаго внутренняго содержанія, и мы видѣли, какъ, наконецъ, наша схоластическая школа, вмѣсто того, чтобы двигать науку, становилась гнѣздомъ обскурантизма или, по крайней мѣрѣ, знала науку только на элементарныхъ ступеняхъ. Дѣйствительное знаніе, стоявшее на уровнѣ европейскомъ, въ первой половинѣ столѣтія принадлежало лишь немногимъ, и только въ рѣдкихъ случаяхъ сохраняло свое достоинство, не прилаживаясь къ господствующему невѣжеству и суевѣрію. Во второй половинѣ вѣка повидимому наступало иное время; знаменитѣйшій вольнодумецъ западной Европы пользо-

вался милостями двора еще при Елизаветѣ, ему поручали писать исторію Петра Великаго, потому что это былъ и первостепенный писатель, а при Екатеринѣ онъ и цѣлый рядъ другихъ лицъ того же круга свободныхъ мыслителей становятся предметомъ самаго любезнаго вниманія самой императрицы. Конечно, это сильно способствовало распространенію ихъ славы между русскими читателями, но никакъ не могло сразу поднять степени пониманія. Для громаднаго большинства, ихъ писанія (многое уже и на русскомъ языкѣ) были занимательнымъ чтеніемъ, глубокомысленнымъ или остроумнымъ, но въ томъ и въ другомъ случаѣ оно принималось поверхностно, анекдотически, не становясь продуманнымъ убѣжденіемъ. Наша литература XVIII-го вѣка представитъ множество примѣровъ этого поверхностнаго отношенія къ содержанію, почерпаемому изъ западно-европейской литературы—все равно, сочувствовалъ ли нашъ писатель этому содержанію или опровергалъ его какъ вольномысліе и „свободоязычіе". Правда, не однажды встрѣтятся разсужденія, повидимому весьма свободныя, о вещахъ, совсѣмъ серьезныхъ, какъ, напр., о свойствахъ власти, о похвальныхъ достоинствахъ и прискорбныхъ недостаткахъ царей, о томъ, какъ портятъ ихъ льстивые царедворцы и т. п. Но у громаднаго большинства это было поверхностное повтореніе вычитанныхъ моральныхъ сентенцій, которыя были въ такой модѣ въ XVIII столѣтіи, а въ основѣ лежали тѣ же понятія стараго вѣка, мирившія это свободомысліе съ прислужничествомъ, сентиментальность съ крѣпостничествомъ. Примѣры людей съ серьезными убѣжденіями въ духѣ новаго просвѣщенія были рѣдкимъ исключеніемъ, — они однако были... Для того, чтобы новое содержаніе могло быть принимаемо сознательно, нужна была, не говоря о личныхъ свойствахъ ума и характера, извѣстная степень образованія, которая только и могла дать новымъ ученіямъ органическую основу, образовать ихъ въ послѣдовательное міровоззрѣніе. Это возвращаетъ насъ къ вопросу о средствахъ просвѣщенія.

Во второй половинѣ столѣтія эти средства, въ сущности, подвинулись мало противъ прежняго. Можно было бы ожидать, что въ царствованіе, которое хотѣло примѣнить на дѣлѣ идеи новѣйшаго просвѣщенія, будетъ обращено особенное вниманіе на умноженіе средствъ образованія, какъ средняго, такъ и особенно высшаго, которое должно было бы подготовить исполнителей философскихъ предначертаній; но этого не случилось. Во второй половинѣ столѣтія учебное дѣло въ имперіи было почти по прежнему бѣдно и вмѣстѣ представляло странный хаосъ.

Университетъ, основанный Елизаветою, остался единственнымъ до временъ Александра I; гимназіи въ Петербургѣ (при Академіи наукъ), въ Москвѣ и въ Казани, нѣсколько военныхъ училищъ, основанныя при Аннѣ и Елизаветѣ, остались и теперь единственными средними учебными заведеніями. Самый университетъ въ Москвѣ долго находился въ зачаточномъ состояніи. Въ первое время было въ немъ только два русскихъ профессора: Поповскій и Барсовъ, учившіеся въ духовныхъ школахъ и въ Академіи наукъ въ Петербургѣ; одинъ преподавалъ философію и краснорѣчіе, другой—математику, а потомъ русскую словесность; впослѣдствіи присоединился третій, Савичъ, обучавшій географіи; остальные были иностранцы,—они начали наѣзжать въ Москву съ 1756 года, такъ что московскій университетъ для ихъ помѣщенія выхлопоталъ себѣ право имѣть собственнную гостинницу [1]).

Но профессоровъ вообще было пока мало, такъ что, напримѣръ, весь юридическій факультетъ состоялъ изъ одного профессора Дильтея, читавшаго на французскомъ языкѣ; на медицинскомъ факультетѣ въ первое время тоже былъ только одинъ профессоръ. Извѣстны разсказы Фонъ-Визина о томъ, какъ онъ учился въ московской гимназіи, которая тогда была соединена съ университетомъ; но онъ все-таки научился тамъ по-латыни и по-нѣмецки. Въ шестидесятыхъ годахъ число русскихъ профессоровъ умножилось питомцами, которые дополнили свое домашнее ученіе за границей. Это были медики, натуралисты и юристы. Иностранцевъ было еще не мало, но Шуваловъ, который былъ кураторомъ университета, принималъ мѣры къ тому, чтобы иностранцы не могли играть здѣсь той роли, какую играли въ петербургской Академіи. По обычаю времени, университетъ довольно часто устроивалъ торжественные акты съ рѣчами профессоровъ, диспутами студентовъ; для публики читались также особые курсы. На первое время родители затруднялись отдавать дѣтей въ университетъ потому, что они, занимаясь науками, потеряютъ время передъ ровесниками, которые опередятъ ихъ на службѣ [2]). Поэтому уже въ 1756 году сенатскій указъ разрѣ-

[1]) Соловьевъ, XXVI.

[2]) Какъ долго держалось это опасеніе въ дворянскихъ семьяхъ, можно видѣть изъ біографіи Загоскина. Онъ не прошелъ даже средней школы и въ 1802, четырнадцати лѣтъ, былъ отданъ родителями на службу. „Тогда былъ такой обычай,—пишетъ Вигель:—въ пятнадцать лѣтъ обыкновенно уже оканчивалось воспитаніе мальчиковъ: полагали, что они уже всему выучены, и спѣшили ихъ отдавать на службу, чтобы они ранѣе могли выйти въ чины“ (Полное собраніе сочиненій Загоскина. Спб. 1898, I, стр. IX). Впослѣдствіи Загоскину пришлось учиться, чтобы по экзамену получить чинъ коллежскаго ассессора,—по извѣстному указу 1809 г. Даже Карам-

шалъ недорослямъ изъ шляхетства, обязаннымъ службой, учиться въ университетѣ и за успѣхи въ наукахъ имъ давались чины... При университетѣ заведены были типографія (сюда была переведена гражданская часть синодальной типографіи съ ея инструментами и книгами) и книжная лавка... Въ 1761 упомянутый Дильтей читалъ публичныя лекціи о естественномъ правѣ, геральдикѣ, исторіи и географіи; цѣна каждому курсу была 12 руб., бѣдные могли слушать безплатно. На другой годъ онъ объявилъ лекціи на французскомъ языкѣ по универсальной исторіи отъ сотворенія свѣта до Р. Х.; но „чтобъ не терять времени въ писаніи оныхъ уроковъ, то онъ сочинилъ и перевелъ свои историческія лекціи и издалъ ихъ въ печать по два рубля экземпляръ. А ежели любители наукъ сею книжкою пользоваться пожелаютъ, не слушая толкованія, то оные имѣютъ прислать два рубля въ домъ помянутаго профессора съ изъявленіемъ своего имени и ранга, почему немедленно получатъ три первые листа“ [1]).

Школъ было немного, но и для нихъ недоставало учителей. Въ 1763 морской корпусъ помѣстилъ въ вѣдомостяхъ слѣдующую патріархальную публикацію: „Желающимъ опредѣлиться въ морской шляхетный кадетскій корпусъ въ учители для преподаванія въ ономъ географіи, генеалогіи, французскаго языка и другихъ наукъ; также поставить на шитье гардемаринамъ епанечь синяго сукна, каразеи, подкладочнаго холста и синихъ гарусныхъ пуговицъ, явиться немедленно въ канцелярію означеннаго корпуса“. Въ слѣдующемъ году такая публикація: „Въ морской кадетскій шляхетный корпусъ потребны: навигацкихъ наукъ профессоръ 1, корабельной архитектуры учитель 1, подмастерье 1, механикъ 1, подмастерье 1, для обученія словеснымъ наукамъ, философіи, географіи, генеалогіи, реторики и проч. учителей 3, дацкаго языка учитель 1, шведскаго учитель же 1, подмастерьевъ нѣмецкаго, французскаго, англійскаго, дацкаго и швецкаго языковъ, къ каждому языку по одному, переводчиковъ 2, танцмейстеръ 1, геодезіи учитель 1, геодезистовъ 3“. Въ 1765 году оберъ-прокуроръ синода Мелиссино, который прежде былъ директоромъ Московскаго Университета, сообщилъ синоду высочайшую волю, чтобы изъ учениковъ семинаріи, „которые дошли уже до реторики и подаютъ хорошую надежду въ понятіи и предъ прочими взяли преимущество въ честныхъ поступкахъ“, послать десять человѣкъ, съ двумя инспекторами

зинъ не считалъ ученаго образованія нужнымъ для дворянства; ученые должны были выходить изъ мѣщанъ.

[1]) Соловьевъ, XXVI.

для надзора за ними, за границу „для обученія въ тамошнихъ университетахъ, на пользу государства, высшимъ наукамъ и восточнымъ языкамъ, не выключая и богословія“. Дѣйствительно отправлено было нѣсколько человѣкъ въ Оксфордъ, Гёттингенъ и Лейденъ. Посланнымъ въ Англію рекомендовалось: „обучаться имъ греческому, еврейскому и французскому языкамъ; не упоминается о латинскомъ и англійскомъ, ибо латинскому уже обучились, въ которомъ должны себя разговорами и чтеніемъ книгъ экзерцировать, а аглинскому языку самое обращеніе, а притомъ и предподаваемыя лекціи научать должны. Нѣмецкій языкъ и другіе восточные діалекты оставить всякому по произволенію. Всѣмъ обучаться моральной философіи, гисторіи, наипаче церковной, географіи и математическимъ принципіямъ, также и не пространной богословіи. Инспектору наблюдать, чтобъ ежедневно читаны были поутру утреннія, а ввечеру на сонъ грядущихъ молитвы... Дважды въ годъ, а по крайней мѣрѣ одновá, на праздники Рождества Христова или св. Пасхи, ѣздить въ лондонскую или грекороссійскую церковь для исповѣди и св. причастія, и ни мало не мѣшкая возвращаться. Всѣмъ вообще ходить на публичные диспуты и другія ученыя университетскія собранія, также и на проповѣди, прислушиваясь къ чистотѣ ихъ языка и проповѣдническаго штиля“... Инспекторы должны были при этомъ остерегать ихъ и объяснять разницу догматовъ христіанскихъ исповѣданій [1]).

Поѣздки за границу для образованія, начавшіяся при Петрѣ, продолжавшіяся при Елизаветѣ, умножаются при Екатеринѣ: одни учились въ заграничныхъ университетахъ,—въ которые отправляло молодыхъ людей само правительство, подъ надзоромъ „гофмейстеровъ“ (такъ называли тогда воспитателей или гувернеровъ),—другіе обращались въ свѣтскомъ обществѣ, состояли при посольствахъ; проживая или путешествуя за границей, русскіе сближались съ западными учеными и писателями, съ учеными и литературными кружками,—такъ русскіе въ 1780-хъ годахъ были членами литературнаго общѣства въ Женевѣ, къ которому принадлежалъ, между прочимъ, извѣстный Лагарпъ, будущій воспитатель Александра I. Въ послѣдніе годы царствованія Екатерины совершилъ свое путешествіе замѣчательнѣйшій вояжиръ того времени, Карамзинъ.

Къ концу царствованія въ русскомъ обществѣ размножилось число людей съ извѣстнымъ образованіемъ, но общій уровень

[1]) Соловьевъ, XXVI, изъ московскаго Архива мин. иностр. дѣлъ.

былъ все-таки невысокъ. Немногія наличныя школы были недостаточны, несмотря на то, что въ самомъ „шляхетствѣ“ была еще велика старая умственная лѣнь и сомнѣніе въ какой-нибудь пригодности науки, и несмотря на то, что это унаслѣдованное отъ предковъ пренебреженіе къ свѣтской наукѣ, даже боязнь ея, крѣпко держались въ цѣлыхъ классахъ общества, напримѣръ въ купечествѣ. Недостатокъ школъ повелъ къ тому, что приходилось довольствоваться частными средствами обученія, весьма недостаточными, и нерѣдко крайне сомнительными въ учебномъ и воспитательномъ отношеніи. Многіе должны были ограничиваться одной грамотностью; другіе, искавшіе нѣсколько бо̀льшихъ познаній и, напр., знанія иностранныхъ языковъ, должны были обращаться къ учителямъ иностранцамъ,—и здѣсь надо было брать, что̀ есть. А было всякое. Извѣстенъ разсказъ Державина о томъ, какъ въ Оренбургѣ онъ учился въ школѣ, которую держалъ ссыльно-каторжный нѣмецъ Розе, человѣкъ развратный, жестокій, а также и невѣжественный; шестнадцати лѣтъ Державинъ поступилъ въ казанскую гимназію, гдѣ хорошихъ учителей также не было, а въ девятнадцать лѣтъ былъ уже вытребованъ на службу въ Преображенскій полкъ. Комедіи и сатиры второй половины столѣтія, начиная съ Сумарокова и Фонъ-Визина, мно̀жество разъ обличали тогдашнее дурное воспитаніе дворянскихъ молодыхъ поколѣній подъ руководствомъ иностранныхъ учителей и гувернеровъ (бывшихъ кучеровъ, лакеевъ, парикмахеровъ и т. п.) и французскихъ мадамъ и мамзелей. Составъ этихъ преподавателей обратилъ, наконецъ, на себя вниманіе правительства и по указу 1757 года иностранцы, желавшіе быть домашними учителями или заводить частныя школы, должны были держать экзаменъ въ Петербургѣ въ Академіи наукъ, а въ Москвѣ въ Университетѣ. Едва ли сомнительно, что эта мѣра не устранила невѣжественныхъ иностранныхъ учителей, которые и долго послѣ являются предметомъ сатирическихъ обличеній. Учителя и мадамы предлагали черезъ газеты свои педагогическія услуги, и эти объявленія даютъ понятіе о постановкѣ преподаванія. Два ученыхъ француза съ нѣмцемъ, не называя своихъ именъ, объявляли, въ 1757, что принимаютъ дѣтей для обученія французскому, нѣмецкому и латинскому языкамъ и наукамъ, совсѣмъ новымъ, легкимъ, краткимъ способомъ, а жены ихъ обучаютъ служанокъ мыть, шить и экономіи. Содержатель другой школы объявлялъ, что получилъ отъ Академіи наукъ аттестатъ, что можетъ обучать людей публично исторіи, географіи, употребленію глобуса, „мифологіи“, геральдикѣ, французскому штилю, начальнымъ основаніямъ

въ латинскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ и ариѳметикѣ; для начинающихъ будутъ въ классахъ „подмастерья“; кромѣ того для желающихъ учитель будетъ составлять на тѣхъ трехъ языкахъ просительныя и другія письма. Учитель французъ брался обучать своихъ пансіонеровъ обоего пола французскому, нѣмецкому и латинскому языкамъ, также ариѳметикѣ, геометріи, исторіи, рисовать и играть на клавирѣ. Мадамъ объявляла, что если кто дастъ на ея содержаніе дѣвицъ для обученія французскому языку и географіи, то она не преминетъ удовольствовать, показывая притомъ благородные поступки, пристойные къ ихъ природѣ. Французскій учитель намѣренъ былъ обучать дворянство по-французски, географіи, политикѣ, ариѳметикѣ, геометріи, фортификаціи, архитектурѣ [1]).

Видимо, учились чему-нибудь и какъ-нибудь... Во всѣхъ этихъ педагогическихъ предложеніяхъ не было совсѣмъ рѣчи о преподаваніи закона Божія. Синодъ въ 1764 обратился къ сенату съ напоминаніемъ указовъ имп. Елизаветы, предписывавшихъ наблюдать, чтобы дворяне и разнаго званія люди учили своихъ дѣтей православной вѣрѣ и чтобы черезъ это они могли охранять себя отъ „иновѣрныхъ развратниковъ“, а иначе тѣхъ, которые не обучатся, не повышать въ чины. Сенатъ отписался, сославшись на новыя учрежденія для воспитанія россійскаго юношества и напомнивъ съ своей стороны высочайшія повелѣнія о томъ, чтобы при архіерейскихъ домахъ имѣть училищные домы, и при двухъ или трехъ монастыряхъ въ епархіи учредить малыя гимназіи для насажденія плодовъ духовныхъ... Но въ томъ же году сенатъ одобрилъ предложеніе архангельскаго магистрата о заведеніи малыхъ школъ для дѣтей обоего пола и всякаго чина въ городѣ, съ денежнымъ взносомъ отъ достаточныхъ родителей и съ пособіемъ отъ магистрата. Для примѣра прочимъ рѣшено было публиковать объ этомъ, и для школьнаго руководства предложено старое „Краткое ученіе“ Ѳеофана Прокоповича и сочиненіе новой азбуки, съ прибавленіемъ „правилъ Ивана Гартунга, изданныхъ въ Кенигсбергѣ, и выбранныхъ ректоромъ Гибнеромъ библейскихъ священныхъ исторій“, которыя должны были быть переведены на русскій языкъ при Академіи наукъ и „освидѣтельствованы“ въ св. синодѣ.

Такимъ образомъ необходимость приводила къ тому, что сенатъ, разсчитывая на Академію наукъ, сталъ заботиться объ учрежденіи народныхъ школъ и о составленіи священной исторіи

[1]) Эти объявленія конца временъ Елизаветы и начала царствованія Екатерины собраны у Соловьева, XXVI.

для дѣтей при помощи нѣмецкихъ протестантскихъ книгъ... На это безпомощное положеніе русскаго школьнаго обученія указывалъ, наконецъ, въ своихъ представленіяхъ посторонній человѣкъ, иностранецъ Шлёцеръ, между прочимъ, упрекавшій Академію наукъ, что она не дѣлала ничего для составленія учебниковъ... Такою же случайностью отличались и литературныя предпріятія. Тотъ же сенатъ, завѣдуя Академіей наукъ, велѣлъ академическому переводчику Волчкову перевесть книгу Гуго Гроція о мирномъ и военномъ правѣ и за переводъ назначено было вознагражденіе; когда первый томъ былъ конченъ, сенатъ послалъ книгу въ синодъ для цензуры и просилъ не замедлить своимъ „свидѣтельствованіемъ", чтобы книги могли быть скорѣй напечатаны и „въ народную пользу употреблены"; при этомъ сенатъ требовалъ, „чтобъ синодъ о имѣющихся въ своемъ вѣдомствѣ на иностранныхъ языкахъ непереведенныхъ духовныхъ книгахъ сенату сообщилъ краткій реестръ, почему сенатъ не преминетъ взять попеченіе, дабы оныя позволеннымъ всякому переводомъ съ пристойнымъ награжденіемъ скорѣе для общей пользы народу выданы были, и чтобъ изъ Академіи наукъ такой же реестръ немедленно въ сенатъ былъ поданъ". Гуго Гроцій пролежалъ въ синодѣ три года и переводчикъ, представляя въ 1764 второй томъ, просилъ разыскать первый. Можно судить о положеніи вещей по сенатскому вопросу объ имѣющихся въ вѣдомствѣ синода непереведенныхъ духовныхъ книгахъ... И кромѣ этого заботились объ обогащеніи русской литературы: „Симъ объявляется,—оповѣщено было черезъ вѣдомости въ 1761,—чтобъ имѣющіе у себя исправно переведенныя на россійскій языкъ книги, которыя бы для народной пользы могли быть напечатаны, объявили оныя въ академической книжной лавкѣ, за что̀ чинено будетъ имъ пристойное награжденіе деньгами или равномѣрно нѣкоторымъ числомъ экземпляровъ по напечатаніи той книги. Ежели кто пожелаетъ въ свободное время переводить книги изъ платы, то оныя даны будутъ ему изъ оной же книжной лавки, выбирая такія матеріи, къ которымъ кто наибольше склонности и способности имѣть будетъ". Повидимому, большой успѣхъ имѣли переводы романовъ,—примыкавшихъ прямо къ той рукописной литературѣ первой половины вѣка, о которой было упомянуто раньше.

Довольно неожиданную форму получала и забота о театрѣ. Въ первый разъ правильная сцена, взамѣнъ старыхъ „дѣйствъ", появляется только въ царствованіе Елизаветы: первые актеры—кадеты Шляхетнаго корпуса, потомъ выписанные въ Петербургъ ярославскіе любители; въ Москвѣ Шуваловъ завелъ театръ въ

Университетѣ, а въ 1757 было помѣщено въ „Московскихъ вѣдомостяхъ“ объявленіе: „Женщинамъ и дѣвицамъ, имѣющимъ способность и желаніе представлять театральныя дѣйствія, также пѣть и обучать тому другихъ, явиться въ канцелярію университета“.

Въ царствованіе Екатерины въ учебномъ дѣлѣ сказались вліянія новыхъ „философскихъ“ идей. Такова была, съ начала царствованія, дѣятельность И. И. Бецкаго (1704—1795) и въ концѣ—дѣятельность Коммиссіи народныхъ училищъ. Біографія Бецкаго была исключительная: воспитанный за границей, онъ много путешествовалъ, проникся филантропическими стремленіями вѣка, и призванный на службу Екатериной въ качествѣ президента Академіи художествъ и директора кадетскаго корпуса, онъ сталъ осуществлять планы, основа которыхъ была изложена имъ въ „Генеральномъ учрежденіи о воспитаніи юношества обоего пола“. По мысли Бецкаго, всѣ прежнія заботы о школѣ оставались безплодны потому, что было пренебрежено именно воспитаніе, которое должно было насаждать въ юныхъ сердцахъ добродѣтель. Новая школа должна создать „новую породу людей“, свободную отъ старыхъ предразсудковъ и суевѣрій, и средствомъ должны были стать закрытыя заведенія, такъ какъ „частое съ людьми безъ разбора обхожденіе внѣ и внутрь училища весьма вредительно“. Знаменитѣйшимъ дѣломъ Бецкаго было основаніе воспитательныхъ домовъ и Воспитательнаго общества благородныхъ дѣвицъ, при Воскресенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, или такъ называемаго Смольнаго монастыря (1763—64); имъ основано было нѣсколько училищъ, между прочимъ для мѣщанскихъ дѣтей, и т. д. Планы Бецкаго безъ сомнѣнія внушены были наилучшими намѣреніями; но количество училищъ было очень ограниченно и самая система представляла не мало слабыхъ сторонъ, которыя уже въ свое время бросались въ глаза. „Смольный монастырь“ имѣетъ свою исторію; есть восторженныя воспоминанія „смолянокъ“ о мѣстѣ ихъ воспитанія, и есть сомнѣнія въ правильности тепличнаго воспитанія, удалявшаго отъ той дѣйствительной жизни, въ которую должны были возвратиться питомицы и гдѣ ждали ихъ разочарованія и тяжелые опыты. Трудно сосчитать положительные и отрицательные результаты этихъ предпріятій: питомцы новыхъ школъ тонули въ массѣ, не тронутой образованіемъ,—но важно было, что затронутъ былъ самый вопросъ, указана нравственная задача школы, поставленъ идеалъ общественной пользы и человѣческаго достоинства,—въ

первый разъ заявлена необходимость правильнаго женскаго образованія.

Подобное совершалось и въ другомъ педагогическомъ предпріятіи Екатерины—народныхъ училищахъ. Планы Бецкаго исполнялись туго, и Екатерина продолжала интересоваться вопросомъ школы, собирала мнѣнія, получила между прочимъ отъ Дидро планъ устройства русскаго „университета" (во французскомъ смыслѣ, т.-е. цѣлой организаціи: школы начальной, средней и собственно университета), и въ концѣ концовъ подъ вліяніемъ бесѣдъ съ Іосифомъ II приняла австрійскую, такъ называемую саганскую (отъ Саганскаго монастыря въ Силезіи), систему народной школы, для введенія которой приглашенъ былъ, по указанію Іосифа, австрійскій педагогъ, сербъ Ѳ. И. Янковичъ де-Миріево (по просту изъ села Миріева). Дѣло началось тотчасъ: въ сентябрѣ 1782 Янковичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, и въ томъ же сентябрѣ открыта Коммиссія объ учрежденіи училищъ подъ предсѣдательствомъ Завадовскаго, куда призванъ былъ и Янковичъ. Онъ назначенъ былъ директоромъ главнаго народнаго училища въ Петербургѣ; ему поручено было составленіе „плана о школахъ", т.-е. учебной системы, составленіе (по саганскимъ образцамъ) учебниковъ и приготовленіе учителей. Въ 1783 главное народное училище было открыто, и первыхъ учениковъ взяли изъ славяно-греко-латинской академіи, казанской и смоленской семинарій; Шуваловъ прислалъ нѣсколькихъ студентовъ московскаго университета, которые однако оказались негодными. Въ 1785 Янковичъ оставилъ однако училище, такъ какъ не могъ справиться съ буйными питомцами, и его смѣнилъ Козодавлевъ, а въ слѣдующемъ году отъ главнаго училища отдѣлена была учительская семинарія, прежде съ нимъ соединенная. Въ восьмидесятыхъ годахъ Янковичъ изготовилъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, цѣлый рядъ учебниковъ; онъ устроивалъ также учебную часть въ другихъ заведеніяхъ, кадетскихъ корпусахъ, въ Смольномъ монастырѣ, въ училищѣ для мѣщанскихъ дѣвицъ. Въ августѣ 1786 изданъ былъ подробный уставъ народныхъ училищъ; главныя училища должны были быть учреждены въ каждомъ губернскомъ городѣ; мѣстныя школы находились подъ надзоромъ директора; содержаніе школъ доставлялось приказами общественнаго призрѣнія. Директоръ, назначаемый генералъ-губернаторомъ, долженъ быть „любитель наукъ, порядка и добродѣтели, доброхотствующій юношеству и знающій цѣну воспитанія"; учителя должны были „остерегать воспитанниковъ ото всѣхъ суевѣрныхъ, баснословныхъ и развратныхъ дѣлъ".

Когда въ 1789 Козодавлеву поручено было ревизовать школы въ нѣсколькихъ губерніяхъ, онъ замѣчалъ въ своемъ отчетѣ, что курсъ главныхъ училищъ (въ родѣ гимназическаго) былъ слишкомъ высокъ для потребностей городского общества, почему только немногіе ученики остаются въ высшихъ классахъ. Успѣху школъ много мѣшалъ недостатокъ въ учебныхъ книгахъ, на покупку которыхъ у приказовъ общественнаго призрѣнія не оказывалось средствъ... Впослѣдствіи учительская семинарія превратилась въ педагогическій институтъ, а главныя народныя училища стали гимназіями: это произошло уже въ царствованіе Александра I.

Въ связи съ философскими вкусами императрицы и эти школьныя предпріятія внушаемы были содержаніемъ европейской литературы. Какъ въ „Наказѣ“ имп. Екатерина усвоивала идеи Монтескьё и Беккаріи, такъ въ воспитательныхъ планахъ (которые заняли ее и въ домашнемъ интересѣ, при воспитаніи ея внука, „господина Александра“) она слѣдовала Локку, Базедову, частію Руссо: отсюда почерпались и мысли о „новой породѣ людей“ и „третьемъ чинѣ людей“ (образованномъ мѣщанствѣ), съ которыми носился и Бецкій. Основная ошибка этихъ плановъ заключалась въ томъ, что исполненія ихъ надѣялись достигнуть чисто искусственно, выдѣленіемъ „новой породы“, т.-е. собственно очень малочисленной, изъ общественной среды, въ которую послѣ школы они должны были возвратиться и въ ней конечно растаять,—между тѣмъ условія самой среды оставались тѣже, съ крѣпостнымъ правомъ, произволомъ сильныхъ людей, господствомъ лихоимнаго чиновничества, коснѣніемъ въ старинномъ невѣжествѣ. Эти условія не измѣнялись, и очевидно, что ихъ не могъ измѣнить ничтожный процентъ воспитанныхъ въ „добродѣтели“ новыхъ людей; число школъ было слишкомъ невелико, и тѣ нуждались даже въ учебныхъ книгахъ... Прочный успѣхъ могъ быть пріобрѣтенъ только широкимъ возбужденіемъ общественной самодѣятельности,—но, какъ увидимъ, когда эта самодѣятельность стала возникать, власть отнеслась къ ней крайне недовѣрчиво или прямо враждебно.

Къ концу правленія Екатерины сдѣланъ былъ нѣкоторый успѣхъ, въ особенности благодаря собственному развитію общественныхъ интересовъ; но главное дѣло—среднее и высшее образованіе—осталось въ томъ же неустроенномъ видѣ. Въ теченіе всей второй половины столѣтія литература переполнена обличеніями дурного воспитанія, пристрастія къ французскимъ модамъ и языку и обыкновенно соединяемаго съ этимъ пристрастіемъ легкомыслія и, наконецъ, безнравственности. Эти обличенія мы

найдемъ въ сочиненіяхъ Сумарокова, Фонъ-Визина, Новикова и пр., наконецъ въ сочиненіяхъ самой императрицы Екатерины,—но эта сатира, которую обыкновенно восхваляютъ историки литературы, какъ выраженіе здраваго національнаго чувства, поражаетъ своей односторонностью. Въ самомъ дѣлѣ, говорили о просвѣщеніи, но гдѣ можно было получить его? Школъ достаточно не было: въ захолустьѣ, гдѣ росъ Державинъ, по неволѣ приходилось пользоваться школой каторжника-нѣмца, и въ самыхъ столицахъ обращаться къ заѣзжимъ французамъ, потому что иначе негдѣ было научиться хотя бы французскому языку, который, однако, считался необходимымъ для порядочнаго образованія. Въ сущности онъ и былъ необходимъ, потому что для ума, нѣсколько разбуженнаго изъ дѣдовской спячки, онъ открывалъ цѣлую богатую литературу: въ особенности съ шестидесятыхъ годовъ наибольшая часть многочисленныхъ тогдашнихъ переводовъ была сдѣлана съ французскаго, а для тѣхъ, кто зналъ французскій языкъ, становилась доступна еще болѣе обширная масса чтенія во французскомъ источникѣ. Безъ сомнѣнія, не всѣ шли къ французскимъ учителямъ только для того, чтобы научиться фразамъ свѣтскаго разговора: желали получить какія-нибудь познанія, которыя были бы нужны для нѣсколько образованнаго человѣка. Противъ кого же направлялась сатира? Очевидно, прежде всего она должна была упасть не на тѣхъ, кто все-таки шелъ учиться, а на тотъ порядокъ вещей, который не умѣлъ обезпечить необходимѣйшей потребности общества, его школьнаго образованія.

Время изданія „Наказа“, повидимому, отличалось особымъ возбужденіемъ. Шло избраніе депутатовъ въ объявленную Коммиссію для составленія уложенія; на мѣстахъ, среди людей разныхъ сословій, составлялись наказы или инструкціи депутатамъ, которые должны были представлять нужды, защищать интересы своего мѣста и своего сословія; впереди предстояло дѣло государственной важности, въ которомъ обыватели должны были подать свой голосъ. „Сія работа требуетъ отмѣннаго ободренія духа“, писала тогда Екатерина,—и оно дѣйствительно явилось. Какъ видно изъ напечатанныхъ теперь документовъ Коммиссіи, депутаты ревностно исполняли свое дѣло, заявляя о томъ, что̀ говорилось и обдумывалось дома. Въ засѣданіяхъ Коммиссіи высказывались самыя разнообразныя мнѣнія по существеннымъ пунктамъ государственной жизни,—но эти мнѣнія иногда совершенно не сходились съ тѣми мыслями, какія были высказаны въ „Наказѣ“ или въ предположеніяхъ самой Екатерины. Еще

раньше собранія Коммиссіи императрица могла видѣть, что ея мысли не были понимаемы даже людьми, которые могли считаться въ ряду наиболѣе образованныхъ. Въ числѣ лицъ, которымъ „Наказъ“ былъ данъ для прочтенія, былъ Сумароковъ. Замѣчанія россійскаго Вольтера не понравились Екатеринѣ; коечто нашла она остроумно сказаннымъ, но не новымъ, и вообще заключила, что „изображеніе (т.-е. воображеніе) въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело“. Между прочимъ, онъ высказался противъ освобожденія крестьянъ. „Сдѣлать русскихъ крѣпостныхъ людей вольными нельзя, — писалъ онъ:—скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея имѣть не будутъ, и будутъ ласкать слугъ своихъ, пропуская имъ многія бездѣльства, дабы не остаться безъ слугъ и безъ повинующихся имъ крестьянъ; и будетъ ужасное несогласіе между помѣщиками и крестьянами, ради усмиренія которыхъ потребны многіе полки, и непрестанная будетъ въ государствѣ междоусобная брань, и вмѣсто того, что нынѣ помѣщики живутъ покойно въ вотчинахъ“ („и бываютъ зарѣзаны отчасти отъ своихъ“, прибавляетъ Екатерина), „вотчины ихъ превратятся въ опаснѣйшія имъ жилища... А это примѣчено, что помѣщики крестьянъ, а крестьяне помѣщиковъ очень любятъ, а нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не имѣетъ“,—„и имѣть не можетъ въ нынѣшнемъ состояніи“, прибавляла Екатерина. Вообще она заключила: „Господинъ Сумароковъ хорошій поэтъ, но слишкомъ скоро думаетъ. Чтобъ быть хорошимъ законодавцемъ, онъ связи довольной въ мысляхъ не имѣетъ“ [1]).

Въ то самое время, когда уже работала Коммиссія, Екатерина задумала дѣйствовать на общество другимъ путемъ, именно путемъ журнала. Въ 1769 году стала выходить „Всякая Всячина“, издателемъ которой считался Козицкій, состоявшій при Екатеринѣ къ принятію челобитныхъ, но которую въ дѣйствительности вела сама Екатерина. Вслѣдъ за этимъ журналомъ явился въ томъ же году цѣлый рядъ другихъ изданій подобнаго рода, выходившихъ небольшими тетрадками, которыя въ цѣломъ составляли книгу или даже только книжку. Таковы были: „Трутень“ Новикова (самый замѣчательный изъ всѣхъ), „Адская почта“ Эмина, „И то и сіо“ Чулкова, „Смѣсь“ и другіе,— вмѣстѣ съ „Бригадиромъ“ Фонъ-Визина они были самыми важными литературными фактами изъ первыхъ лѣтъ царствованія Екатерины. Надо думать, что на эти изданія было косвенно дано

---

[1]) Бумаги Екатерины II. II, стр. 82—87.

разрѣшеніе, и вѣроятно именно вслѣдствіе этого явилось вдругъ до десятка подобныхъ журналовъ. Это былъ первый опытъ публицистики и болѣе или менѣе прямой сатиры, тѣмъ болѣе любопытный, что въ немъ сказалась большая смѣлость журналистовъ относительно „Всякой Всячины“, истинный издатель которой не могъ быть имъ неизвѣстенъ—повидимому, надѣялись на прочность той свободы, какая дана была этимъ призывомъ къ выраженію мнѣній. Такъ какъ „Всячина“ явилась первой въ этомъ рядѣ листковъ, то остальные журналы дали ей названіе „бабушки“.

Историки литературы, которые останавливались на этомъ эпизодѣ, приходили относительно его къ весьма различнымъ выводамъ. Одни не придавали этой журнальной сатирѣ никакого серьезнаго значенія, потому что не видѣли въ ней ничего самостоятельнаго: она начиналась лестью, обличала только то, что̀ было разрѣшено, и не хотѣла видѣть настоящаго смысла наблюдаемыхъ фактовъ, какъ, напр., изъ угнетенія крестьянъ заключала не необходимость освобожденія, а только предосудительность отдѣльныхъ случаевъ помѣщичьяго „тиранства“... Другіе, напротивъ, считали эту сатиру замѣчательнымъ свидѣтельствомъ пробужденія общественнаго мнѣнія, стремленіемъ указать прискорбныя явленія жизни, и находили въ ней большую смѣлость, потому что иногда она вовсе не вторила заданному тону... Болѣе справедливая историческая оцѣнка лежитъ между этими выводами. Нѣтъ сомнѣнія, что сатира этихъ листковъ, — ее можно назвать особливо Новиковскою, потому что Новиковъ, какъ издатель „Трутня“ и вскорѣ потомъ „Живописца“, занималъ здѣсь главную роль,—что эта сатира самымъ существованіемъ своимъ была обязана позволенію, которое было дано и—могло быть отнято;—но подъ этимъ условіемъ русская литература существовала всегда. Нельзя сказать, однако, чтобы писанія Новикова, въ обоихъ его журналахъ, были только лестью существующему порядку, удобнымъ обличеніемъ уже признаннаго зла, какъ напр., лихоимство, противъ котораго возстала сама Екатерина въ своихъ сочиненіяхъ, суевѣріе, невѣжество „шляхетства“ и его жестокость къ крестьянамъ, пристрастіе къ французскимъ модамъ и т. п. (мы, впрочемъ, перечислили почти все, о чемъ говорила тогдашняя сатира, и полу-оффиціальная, и частная). Если Новиковъ въ началѣ „Живописца“ ставилъ посвященіе автору комедіи „О, время“ [1]), это было не только льстивымъ громоотводомъ, но, вѣроятно, также искреннимъ настроеніемъ, которое обновилось ко времени „Живописца“... Новикову

---

[1]) Ср. замѣчанія Добролюбова, „Сочиненія“, I, 1862, стр. 111.

было только 24 года, когда онъ сталъ издавать „Трутень"; передъ тѣмъ, будучи „унтеръ-офицеромъ", онъ назначенъ къ „держанію дневной записки", т.-е. протоколовъ, въ одномъ изъ отдѣленій Коммиссіи, а вскорѣ потомъ ему было поручено держаніе дневной записки въ общемъ собраніи Коммиссіи; такимъ образомъ онъ стоялъ очень близко къ дѣлу, требовавшему „отмѣннаго ободренія духа" и конечно возбуждавшаго это ободреніе во всякомъ мыслящемъ человѣкѣ, какимъ Новиковъ былъ несомнѣнно. Предпріятіе, свидѣтелемъ котораго онъ былъ, не могло не возбуждать въ немъ великихъ патріотическихъ ожиданій и естественно, что свои надежды онъ переносилъ на императрицу, которой принадлежала вся иниціатива этого дѣла; разочарованій еще не было и онъ безъ всякаго противорѣчія съ своимъ убѣжденіемъ могъ сливать свое дѣло съ намѣреніями императрицы. Его сатира въ общемъ и совпадала съ этими намѣреніями, была осторожно отвлеченна, обращалась на предметы давно затронутые, избѣгала слишкомъ рѣзкаго обличенія недостатковъ жизни, которые требовали бы принципіальнаго осужденія, какъ, напр., крѣпостное право; но достаточно вспомнить, что впослѣдствіи, напр., крестьянскій вопросъ былъ совсѣмъ исключенъ изъ вѣдѣнія русскаго общества, чтобы понять, почему и онъ не досказывалъ мысли, которую вѣроятно имѣлъ. Тонъ изданія былъ, однако, таковъ, что оно не могло бы считаться дѣломъ литературнаго угодничества: бытовыя картины, напр., помѣщичьяго самодурства, любопытныя и въ чисто литературномъ отношеніи умѣньемъ схватить нравы и „умоначертаніе" изображаемаго круга—эти картины переступали мѣру легкой шутки и безобидной морали, которыя предпочиталъ авторъ комедіи „О, время". Въ концѣ концовъ отношенія Новикова къ этому автору и издателю „Всякой Всячины" стали натянуты, —„Трутень" прекратился, повидимому, не по своей доброй волѣ; но потомъ Новиковъ снова пользовался повидимому благосклонностью императрицы и питалъ надежды.

Точка зрѣнія, которой держался Новиковъ въ своемъ журналѣ, была, повидимому, выработана имъ самостоятельно. Во-первыхъ, Новиковъ думалъ, что мы, отказавшись отъ нашего прошлаго, отъ обычаевъ предковъ, дѣлаясь слѣпыми подражателями всему французскому, вмѣстѣ съ тѣмъ потеряли и добродѣтели нашихъ предковъ; во-вторыхъ, онъ негодовалъ на угнетеніе крестьянства. Въ обоихъ случаяхъ мысли Новикова не вполнѣ сходились со взглядами императрицы [1]. Она могла впо-

[1]) Незеленовъ, стр. 148, 157, 168 и др.

слѣдствіи поощрять старые нравы въ одномъ отношеніи, что они не знали „свободоязычія“; теперь она, кажется, была къ нимъ довольно равнодушна, или, напротивъ, ей скорѣе могли представляться ихъ неблагопріятныя стороны, ею самою виданныя,—у Новикова предпочтеніе старины вызывалось патріотическимъ негодованіемъ на подражаніе иноземцамъ, въ которомъ было такъ много легкомысленнаго. По его мнѣнію, мы въ большинствѣ случаевъ наше старое добро промѣняли на новое чужое зло, какъ промѣниваемъ „разныя домашнія наши бездѣлицы, какъ-то пеньку, желѣзо, юфть, сало, свѣчи, полотна и проч.“, на „нужные намъ товары: шпаги французскія разныхъ сортовъ, табакерки, черепаховыя, бумажныя, сургучныя; кружевы, блонды, бахрамки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки и всякія такъ-называемыя галантерейныя вещи“. „Въ старину думали, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — что для украшенія разума науками надлежитъ цѣлый жить вѣкъ, то-есть посвятить себя наукамъ, отстать отъ всѣхъ должностей въ обществѣ, вѣкъ учиться и быть проповѣдываніемъ добродѣтели согражданамъ своимъ, а наконецъ и самому себѣ въ тягость; изъ чего сдѣлали пословицу: Вѣкъ живи и вѣкъ учися. Но молодые наши дворяне, увидя ясно невѣжество предковъ своихъ, изъ сего заблужденія вышли, и изъ стараго правила сдѣлали новое: Недѣлю учися и вѣкъ живи“. Вмѣстѣ съ легкомысленной погоней за французскою модой шло паденіе нравственности; главной причиной его становилось дурное воспитаніе, получаемое отъ французскихъ учителей и „гофмейстеровъ“, которыхъ принимали въ дома, „не узнавъ прежде ни знанія ихъ, ни поведенія“. Вообще Новиковъ противопоставилъ испорченныхъ людей новѣйшаго моднаго воспитанія людямъ старыхъ нравовъ, воспитаннымъ въ простотѣ и добродѣтели... Другая постоянная тема Новикова было положеніе крестьянъ. Правда, онъ говоритъ о немъ осторожно, когда, напримѣръ, обличаетъ „изверга (помѣщика), преображающаго нужное подчиненіе въ несносное иго рабства“, когда подобнымъ извергамъ противополагаетъ помѣщиковъ, подъ властью которыхъ крестьяне „наслаждаются вожделѣннымъ спакойствіемъ, не завидуя никакому на свѣтѣ щастію, ради тово, что они въ своемъ званіи благополучны“, и т. п. По всей вѣроятности подобныя оговорки о „щастіи“ крестьянъ у хорошихъ помѣщиковъ были только необходимой уступкой: дѣйствительно, Новиковъ настойчиво возвращается къ объясненію того, что крестьяне — такіе же „человѣки“, какъ ихъ господа, и къ изображенію нелѣпаго высокомѣрія господъ, воображающихъ, что они принад-

лежатъ къ высшей породѣ. Рѣзкость выраженій, какія употребляетъ при этомъ Новиковъ, должна указывать его настоящій взглядъ на крѣпостное право. Онъ изображаетъ, напримѣръ, его превосходительство г. Недоума, больного духовною горячкою: „тотчасъ начинаетъ его трясти лихорадка, естьли кто предъ нимъ упомянетъ о мещанахъ или крестьянахъ"; онъ желаетъ, „чтобъ простой народъ со всемъ былъ истребленъ; о чемъ неоднократно подавалъ онъ проекты, которые многими ради хорошихъ и отмѣнныхъ мыслей были похваляемы". Вмѣстѣ съ этимъ его превосходительство „ненавидитъ и презираетъ всѣ науки и художества, почитаетъ оныя безчестіемъ для всякой благородной головы"; „философія, математика, физика и прочія науки суть бездѣлицы, не стоящія вниманія дворянскаго". Онъ читаетъ, по складамъ, только гербовники и патенты; но на родословныхъ деревьяхъ Недоума „нѣтъ такова гнилова сучка, каковъ онъ самъ, и нѣтъ такой во всѣхъ фамильныхъ его гербахъ скотины, каковъ его превосходительство". При другомъ случаѣ онъ изображаетъ человѣка, который „по нарѣчію [1]) нѣкоторыхъ глупыхъ дворянъ есть человѣкъ подлой: ибо онъ отъ добродѣтельныхъ и честныхъ родился мещанъ. Природный ево разумъ, соединенный съ долговременнымъ и въ Россіи, и въ чужихъ краяхъ ученіемъ, учинили его мужемъ совершеннымъ. Мало такихъ наукъ, которыхъ бы онъ не зналъ, или о которыхъ бы онъ не имѣлъ понятія; защитникъ истинны, помогатель бѣдности, ненавистникъ злыхъ нравовъ и роскоши, любитель человѣчества, честности, наукъ, достоинства и отечества; вѣрной другъ, благоразумной отецъ, безмятежной сосѣдъ, разсмотрительной и безпристрастной судья". Такимъ образомъ идеально образованный человѣкъ и гражданинъ представляется Новикову въ „среднемъ родѣ людей"... Въ Коммиссіи Новиковъ бывалъ, вѣроятно, свидѣтелемъ споровъ, особенно по крѣпостному вопросу, увлекался перспективами гражданскаго развитія, какія представлялъ „Наказъ", и тѣмъ больше былъ возбужденъ противъ тѣхъ фактовъ русской жизни, которые этому совершенно противорѣчили. Рѣзкость выраженій, какія употреблялъ онъ относительно Недоума, позволяетъ предполагать, что онъ имѣлъ въ виду какое-нибудь опредѣленное лицо: въ своемъ журналѣ онъ настаивалъ на томъ, что сатира не должна быть неопредѣленной, въ которой никто не захочетъ себя узнавать, что, напротивъ, она должна быть сатирой „на лицо"... Къ сожалѣнію, біографія Новикова

---

[1]) По выраженію.

все еще мало извѣстна; между прочимъ и относительно этой поры сатирическихъ листковъ остаются только догадки, какія можно извлекать изъ самихъ изданій.

Едва ли, однако, подлежитъ сомнѣнію, что журналъ Новикова не совсѣмъ нравился въ литературно-придворномъ кругу. Между „Всякой Всячиной“ и журналомъ Новикова произошло крупное полемическое столкновеніе. Первая, въ противоположность второму, предпочитала относиться къ человѣческимъ недостаткамъ снисходительно. Отказываясь помѣстить статью нѣкоего А., повидимому очень суровую, „Всякая Всячина“ такъ объясняла свой отказъ: „любовь его къ ближнему болѣе простирается на исправленіе, нежели на снисхожденіе и человѣколюбіе; а кто только видитъ пороки, не имѣвъ любви, тотъ не способенъ подавать наставленія другому... Итакъ, просимъ г. А. впредь подобными присылками не трудиться; нашъ полетъ по землѣ, а не на воздухѣ, еще же менѣе до небеси: сверьхъ того мы не любимъ меланхолическихъ писемъ“. Въ другой статьѣ тотъ же журналъ осмѣивалъ человѣка, который „вездѣ видѣлъ пороки, гдѣ другіе... на силу приглядѣть могли слабости“; журналъ сравнивалъ этого человѣка по злости съ Калигулой, и говорилъ, что „всѣ разумные люди признавать должны, что одинъ Богъ только совершенъ; люди же смертные безъ слабостей никогда не были, не суть, и не будутъ“; онъ рекомендовалъ поставить себѣ слѣдующія правила: „1) Никогда не называть слабости порокомъ; 2) хранить во всѣхъ случаяхъ человѣколюбіе; 3) не думать, чтобъ людей совершенныхъ найти можно было; 4) просить Бога, чтобы намъ далъ духъ кротости и снисхожденія; 5) впредь о томъ никому не разсуждать, чего кто не смыслитъ, и 6) никому не думать, что онъ весь свѣтъ можетъ исправить“. Нравоученія едва ли были адресованы только къ неизвѣстному г. А.; они могли быть отнесены къ журналу Новикова, который не замедлилъ представить свои возраженія. Въ „Трутнѣ“ появилось письмо Правдулюбова, довольно рѣзко опровергающее эти совѣты: „Я самъ того мнѣнія,—говорилъ авторъ письма,—что слабости человѣческія сожалѣнія достойны; однакожь не похвалъ, и никогда того не подумаю, чтобъ на сей разъ не покривила своею мыслію и душею Госпожа ваша прабабка, давъ знать... что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя. Многіе **слабой совѣсти** люди никогда не упоминаютъ имя порока, не прибавивъ къ оному человѣколюбія. Они говорятъ, что слабости человѣкамъ обыкновенны, и что должно оныя прикрывать человѣколюбіемъ; слѣдовательно, они

порокамъ сшили изъ человѣколюбія кафтанъ; но такихъ людей человѣколюбіе приличнѣе назвать пороколюбіемъ. По моему мнѣнію, больше человѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, который опымъ снисходитъ, или (сказать по Руски) потакаетъ... Еще не понравилось мнѣ перьвое правило упомянутой Госпожи, то-есть, чтобъ отнюдь не называть слабости порокомъ, будто Іоанъ и Иванъ не все одно". Онъ приводитъ примѣры, что такъ-называемая „слабость" становится настоящимъ порокомъ и даже беззаконіемъ. На замѣчаніе „Всякой Всячины", что она не любитъ меланхолическихъ писемъ, Правдулюбовъ отвѣчаетъ въ концѣ своего письма такъ: „Я хотѣлъ было сіе письмо послать къ Госпожѣ вашей прабабкѣ; но она меланхолическихъ писемъ читать не любитъ; а въ семъ письмѣ, я думаю, она ничего такого не найдетъ, отъ чего бы у нея отъ смѣха три дни бока болѣть могли". Если предположить, что Новиковъ зналъ, кто былъ писателемъ „Всякой Всячины", этихъ выраженій нельзя не назвать довольно рѣзкими.

Этимъ полемика не кончилась. „Всякая Всячина", заявивъ, что не хочетъ отвѣчать на „ругательства" „Трутня", о разсужденіяхъ Правдулюбова отозвалась такъ: „Г. Правдулюбовъ не догадался, что, исключая снисхожденіе, онъ истребляетъ милосердіе. Но добросердечіе его не понимаетъ, чтобы гдѣ ни на есть быть могло снисхожденіе; а можетъ статься, что и умъ его не достизаетъ до подобнаго нравоученія. Думать надобно, что ему бы хотѣлось за все да про все кнутомъ сѣчь". Ему дается совѣтъ лечиться отъ „черныхъ паровъ и желчи", а объ его меланхоліи говорится, что она нужна была бы въ трагедіи, а въ сатирѣ нуженъ смѣхъ, веселье. „Трутень" вслѣдъ затѣмъ помѣстилъ отвѣтное письмо Правдулюбова, ссылаясь на то, что сама „Всякая Всячина" отдавала это дѣло на судъ публики. Правдулюбовъ писалъ: „Госпожа Всякая Всячина на насъ прогнѣвалась, и наши нравоучительныя разсужденія называетъ ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на Рускомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ, и Рускихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ; а сія вина многимъ нашимъ писателямъ свойственна". Онъ предоставляетъ публикѣ рѣшать, справедливо ли обвиненіе „Всякой Всячины", писалъ ли онъ противъ милосердія и противъ снисхожденія. „Ежели я написалъ, что больше человѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онымъ потакаетъ, то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе. Видно, что госпожа Всякая

Всячина такъ похвалами избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, естьли кто ее не похвалитъ". „Не знаю почему она мое письмо называетъ ругательствомъ? Ругательство есть брань гнусными словами выраженная; но въ моемъ прежнемъ письмѣ, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нѣтъ ни кнутовъ, ни висѣлицъ, ни прочихъ слуху противныхъ рѣчей, которыя въ изданіи ея находятся!" Правдулюбовъ надѣялся еще больше разъяснить дѣло въ „будущихъ письмахъ"; но этихъ писемъ не послѣдовало. Надо полагать, что объясненіе этого заключается въ письмѣ нѣкоего Чистосердова, помѣщенномъ въ томъ же нумерѣ „Трутня". Чистосердовъ выражаетъ свое сочувствіе къ журналу, но предостерегаетъ его: пусть порочные видятъ себя въ зеркалѣ, потому что зеркало и дѣлается для того, чтобы смотрящіеся въ него видѣли свои недостатки и ихъ исправляли. „Но дѣло то въ томъ состоитъ, что въ вашемъ зеркалѣ, названномъ Трутень, видятъ себя и многіе знатные Бояре... а каково имѣть дѣло съ худыми людьми и знатными Боярами, я уже искусился. Я доживаю шестой десятокъ лѣтъ, и во всю мою жизнь имѣлъ нещастіе тягаться съ большими Боярами, угнетавшими истинну, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество". Онъ думаетъ, что теперь такихъ бояръ не много. „Жаль, что надобно солгать, ежели сказать, что ихъ совсѣмъ нѣтъ. Чтожъ дѣлать! Въ семьѣ не безъ урода. Надобно и за то благодарить Бога, что ихъ не много". Но взамѣнъ того есть теперь молодые придворные господчики и Чистосердовъ передаетъ, что̀ говорилъ одинъ такой господчикъ: „Не въ свои де етотъ авторъ садится сани. Онъ де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ Бояръ, дамъ, судей именитыхъ, и на всѣхъ. Такая де смѣлость ничто иное есть какъ дерзновеніе. Полно де ево недавно отпряла Всякая Всячина очень хорошо: да ето еще ничево, въ старыя времена послали бы де ево потрудиться для пользы государственной описывать нравы какова ни на есть царства Рускаго владѣнія: но нынче де дали волю писать и пересмѣхать знатныхъ, и за такіе сатиры не наказываютъ. Вѣть де знатной господинъ не простой дворянинъ... Гораздо бы было лучше, ежели бы де онъ обиралъ около себя, и писалъ сказочки, или что-нибудь посмѣшнѣе, такъ какъ другіе писатели журналовъ дѣлаютъ". Чистосердовъ не совѣтуетъ журналу слѣдовать совѣту господчика: пусть онъ истребляетъ закоренѣлые предразсудки, обличаетъ слабости и пороки, „да только не въ знатныхъ". „Я слыхалъ, — говоритъ онъ, — слѣдующія разсужденіи: въ положительномъ степенѣ, или въ малинькомъ

человѣкѣ воровство есть преступленіе противу законовъ; въ увеличивающемъ, то-есть среднемъ степенѣ, или средостепенномъ человѣкѣ воровство есть порокъ; а въ превосходительномъ степенѣ, или человѣкѣ, по вѣрнѣйшимъ математическимъ новымъ исчисленіямъ воровство ничто иное, какъ слабость". (Припомнимъ разсужденія „Всякой Всячины" о порокахъ и слабостяхъ). Правда, превосходительные люди по своимъ дѣламъ и награжденіе и наказаніе должны бы получать превосходительное; „но полно вѣть вы знаете, что не всегда такъ дѣлается, какъ говорится!"

Историки Новикова утверждаютъ, что издательница „Всякой Всячины" не раздѣляла мнѣній придворнаго господчика, и что послѣ предостереженій Чистосердова, Новиковъ продолжалъ обличать знатныхъ людей съ такою же рѣзкостью [1]). Послѣ упомянутаго столкновенія въ обоихъ журналахъ помѣщены были письма въ болѣе примирительномъ тонѣ, но въ концѣ концовъ вторая половина журнала Новикова была уже слабѣе, точно такъ же, какъ впослѣдствіи вторая половина „Живописца" была слабѣе первой. Замѣтимъ опять, что за отсутствіемъ ближайшихъ данныхъ нѣтъ возможности объяснить этихъ измѣненій тона; предполагаютъ однако, что журналъ Новикова прекратился не по собственной волѣ [2]).

Въ чемъ же состояла сущность столкновенія, представляющаго такое оригинальное явленіе въ исторіи нашей литературы? Существенная разница взглядовъ „Всякой Всячины" и „Трутня", какъ мы видѣли, заключалась въ томъ, что первая вообще смотрѣла на общественные недостатки гораздо болѣе снисходительно, чѣмъ второй: кричатъ о порокахъ—но это только „слабости", требуютъ кары нарушителямъ справедливости—но не слѣдуетъ забывать милосердія, бранятъ лихоимцевъ и ябедниковъ — но пусть не искушаютъ лихоимцевъ тѣ, кто даетъ имъ взятки, и пусть люди живутъ мирно, чтобы не давать пищи ябедѣ, и т. п. „Трутень" мѣтко отвѣчалъ, что называть порокъ слабостью и требовать къ нему милосердія, значитъ сшить изъ милосердія кафтанъ для порока; совѣтъ „не искушать" лихоимцевъ былъ страннымъ непониманіемъ, или неумѣстной шуткой, потому что

---

[1]) Незеленовъ, стр. 168; Шумигорскій, стр. 9—10.

[2]) Обыкновенно думаютъ, что Новиковъ и другіе тогдашніе издатели журналовъ знали, кто пишетъ во „Всякой Всячинѣ"; но точныхъ доказательствъ этого все-таки нѣтъ, и можетъ быть, что по крайней мѣрѣ на первое время они этого не знали, и этимъ могла бы объясниться рѣзкость полемическихъ выраженій, въ родѣ приведенныхъ: она была бы возможна, если бы относилась только къ Козицкому, хотя и близкому при дворѣ человѣку.

обыкновенное отношеніе лихоимца къ тому, отъ кого онъ получалъ взятку, вовсе не было отношеніе равнаго къ равному, а отношеніе грабителя къ его жертвѣ: странно было бы требовать, чтобы ограбленный „не искушалъ" грабителя. „Всякая Всячина" не любила „меланхоліи", ей хотѣлось, чтобы сатира не шла дальше веселаго смѣха; но та дѣйствительность, о которой говорилъ сатирикъ въ журналѣ Новикова, гораздо больше давала пищи горькому, а не веселому смѣху, и во многихъ вопросахъ, какъ, напримѣръ, крѣпостной, не могло быть мѣста для веселыхъ шутокъ. Біографъ Новикова удивительнымъ образомъ объяснялъ, что снисходительная мораль „Всякой Всячины" есть не что иное, какъ „матеріалистическая мысль волтерьянства", что изъ того же волтерьянства заимствовано и оружіе ея полемики противъ Новикова—софизмъ [1]); но остается не объясненнымъ, какъ изъ волтерьянства могли проистекать тѣ категорическія осужденія крѣпостного права, которыя находятся въ другихъ писаніяхъ Екатерины, когда она высказывала свои мнѣнія не для печати. Другой историкъ, признавая теоретическую несостоятельность идей „Всякой Всячины", отвергаетъ объясненіе ихъ волтеріанствомъ: „эти правила, — говоритъ историкъ, — подсказывались императрицѣ добрымъ сердцемъ, не допускавшимъ жестокости, и практическимъ, чуждымъ иллюзій умомъ; весьма шаткія при теоретическомъ ихъ обсужденіи, правила эти... вытекали какъ изъ трудныхъ обстоятельствъ внутренняго положенія Россіи екатерининской эпохи, такъ изъ личныхъ особенностей императрицы. Мысль, что къ слабостямъ людскимъ должно относиться въ духѣ кротости и снисхожденія, явилась у Екатерины вовсе не потому, что свѣтъ казался ей совсѣмъ не такъ худъ, какъ представляется онъ инымъ людямъ, а наоборотъ, въ силу глубокаго убѣжденія ея въ нравственной испорченности современнаго ей общества и отсюда недовѣрія и къ отдѣльнымъ ея представителямъ" [2]). Тотъ же историкъ говоритъ, что Екатерина не могла дѣйствовать иначе, чѣмъ она дѣйствовала, что нельзя мѣрять жизнь на идеальную мѣрку, что исторія не знаетъ „кабинетной прямолинейности, навязываемой ей теоретиками", и т. п., что по этой послѣдней причинѣ она, „поставленная лицомъ къ лицу съ дѣйствительною жизнью, какъ ни уважала людей мысли и науки, но къ теоріямъ ихъ относилась крайне осторожно, никогда не забывая, что ея сфера—земля, т.-е. жизнь, какова она есть, а не воздухъ и небо, какъ называла она кабинетныя умозрѣнія".

---

[1]) Незеленовъ, стр. 164—165.
[2]) Шумигорскій, стр. 34.

Историкъ припоминаетъ, напримѣръ, какъ недовѣрчиво относилась она къ практическимъ совѣтамъ своихъ философскихъ друзей. Но историки забывали два обстоятельства: во-первыхъ, противорѣчія, въ какія впадала Екатерина съ своими собственными мыслями, и во-вторыхъ то, что едва ли такъ велики были затрудненія, которыя помѣшали бы болѣе полному примѣненію ея теоретическихъ началъ прежняго времени. Можно именно думать, что послѣ собранія Коммиссіи она охладѣла къ самому предпріятію, которому посвятила первые годы своего царствованія; теперь она привыкла къ своему положенію, увидѣла, что не было надобности торопиться съ преобразованіями, которыми она хотѣла ослѣпить Европу, своихъ подданныхъ и которыми, безъ сомнѣнія, искренно ослѣплялась сама; преобразованіями, которыя между прочимъ должны были, по ея прежнимъ взглядамъ, укрѣпить ея престолъ и которыя теперь, по голосамъ самихъ депутатовъ Коммиссіи, оказывались не только ненужными въ данную минуту, но и вообще нежелательными [1]). Она впадала, наконецъ, въ столь частую иллюзію правителей, что государственныя дѣла идутъ какъ слѣдуетъ, что „все обстоитъ благополучно“—ей хотѣлось увѣрить въ этомъ всѣхъ... Отсюда видимое раздраженіе противъ людей, которые, напротивъ, находили въ благополучномъ порядкѣ вопіющіе недостатки; она приписывала ихъ мрачныя мысли „чернымъ парамъ и желчи“, совѣтовала просить Бога о духѣ кротости и снисхожденія и убѣждала, чтобы никто не думалъ, что весь свѣтъ можетъ исправить... Это было уже начало того настроенія, когда она нетерпѣливо и уже весьма угрожающимъ образомъ останавливала всякое противорѣчіе, всякую мысль, которая ей не нравилась, когда она дѣлала суровые выговоры за „свободоязычіе“, когда раздражалась, предполагая, что ее хотятъ „учить царствовать“. Но если она сама вступала на литературное поприще, то всякое разногласіе съ ея мыслями, всякое доказательство въ пользу противнаго мнѣнія, могло получать видъ такого желанія,—хотя бы съ философской точки зрѣнія противоположное мнѣніе должно было быть допущено и хотя поэтъ воспѣвалъ, что въ тѣ времена „и знать и мыслить позволяютъ“.

Но зачѣмъ же было въ такомъ настроеніи начинать журналъ и, прямо или косвенно, вызывать къ этому другихъ? Повидимому, еще не совсѣмъ прошло возбужденіе временъ „Наказа“; Екатерина думала еще работать для нравственнаго воспитанія подданныхъ, но, по всей вѣроятности, издательница „Всякой Вся-

[1]) Споры въ Коммиссіи о крѣпостномъ правѣ, о чемъ далѣе.

чины" не предполагала, что ея затѣя отзовется въ тогдашней литературѣ такими страстными разсужденіями объ общественныхъ вопросахъ, хотя бы въ полузакрытомъ видѣ. Она едва ли ожидала такихъ рѣзкихъ противорѣчій и на первое время выносила ихъ, потому что, во-первыхъ, сама вызвала эту литературу, во-вторыхъ, сама еще недавно писала свободолюбивые планы и въ то самое время вела сношенія съ философами... Въ концѣ концовъ домашняя обстановка взяла верхъ, противорѣчіе задѣвало самую сущность ея политической мудрости и стало образовываться то настроеніе, которое тѣмъ или другимъ путемъ приводило къ прекращенію непріятныхъ изданій.

Нѣкоторые изъ нашихъ историковъ строго осуждаютъ французскихъ друзей и корреспондентовъ императрицы, которые, съ одной стороны, предлагали ей свои невыполнимыя теоріи, а съ другой проповѣдовали величайшее презрѣніе къ народу, и, между прочимъ, возставали противъ мысли объ освобожденіи крестьянъ: „стремленіе императрицы освободить крестьянъ встрѣтило противодѣйствіе (?) со стороны тѣхъ же философовъ, сошедшихся въ этомъ случаѣ во взглядахъ съ ярыми крѣпостниками екатерининской эпохи" [1]). Припоминаютъ пріѣздъ въ Петербургъ Дидро и его бесѣды съ императрицей, которая сказала ему, наконецъ, что его высокими идеями хорошо наполнять книги, но плохо дѣйствовать по нимъ въ жизни. Припоминаютъ разсказъ Сегюра о Мерсье де-ла-Ривьерѣ, политико-экономическомъ писателѣ, котораго Екатерина пригласила въ Россію и, который вообразивъ, что она хочетъ поручить ему управленіе Россіей, началъ нанимать и передѣлывать дома для разныхъ департаментовъ своего будущаго управленія, такъ что Екатерина должна была, наконецъ, прекратить эту комедію, заплативъ, конечно, за всѣ его издержки: „онъ уѣхалъ,—разсказывала она Сегюру,—довольный, какъ писатель, но нѣсколько пристыженный, какъ философъ, котораго честолюбіе завело слишкомъ далеко". Но должно припомнить другую сторону этого дѣла. Философы вовсе не навязывались, и если любезность къ нимъ доходила до того, что ихъ вызывали въ Петербургъ изъ Парижа, что̀ при тогдашнемъ спо-

---

1) Шумигорскій, стр. 21. Тамъ же авторъ полагаетъ, ссылаясь на Незеленова, что „темныя стороны вліянія Вольтера и другихъ философовъ на Екатерину и современное ей русское общество уже установлены съ достаточною ясностью". Напротивъ, эти вліянія далеко не установлены, потому что съ другой стороны восхваляются просвѣтительныя идеи „Наказа", и не философы навязывались, а ихъ привлекали,—и что̀ же значили вкусы самой императрицы? Наконецъ, оба названные автора разошлись далѣе по этому же вопросу.

Любопытно, между прочимъ, что, обличая французскихъ философовъ, наши историки переводятъ слово canaille (простой народъ, чернь) „канальями".

собѣ путешествій было дѣломъ не легкимъ, приглашенные философы не могли не думать, что ихъ бесѣдами именно желаютъ поучаться, и надо думать, что въ приглашеніи Мерсье де-ла-Ривьера былъ помѣщенъ неосторожный комплиментъ, который позволилъ ему вообразить себя первымъ министромъ въ Россійской имперіи. Во всякомъ случаѣ Дидро и Мерсье были спеціально приглашены въ Петербургъ, какъ раньше приглашали д'Аламбера. Что̀ касается до отзывовъ французскихъ философовъ о русскомъ народѣ, какъ о грубой массѣ, которая еще неспособна была бы пользоваться свободою, то нѣтъ сомнѣнія, что такія мнѣнія были взяты философами отъ самихъ русскихъ: путешествующіе „бояре“, съ которыми они встрѣчались, по всей вѣроятности, именно и внушили имъ эти мысли. Съ другой стороны, странно было спрашивать у людей, совершенно не знавшихъ Россіи, ихъ мнѣнія о томъ, какъ должно рѣшать вопросы ея внутренней жизни, именно самые сложные и трудные: мы сами разсказывали иностранцамъ о невѣжествѣ и грубости своего народа, и естественно, что они повторяли то же самое. Наконецъ, историки забываютъ, что къ числу „философовъ“ долженъ быть причисленъ и тотъ Монтескьё, книгу котораго Екатерина называла молитвенникомъ для государей: изъ него прямо заимствовано было многое, что̀ привлекаетъ восхваленія историковъ въ правительственныхъ идеяхъ императрицы.

Правительственный опытъ императрицы собирался издалека. До воцаренія она довольно долго прожила въ Россіи. Сильный умъ, тонкая наблюдательность рано познакомили ее съ русскою жизнью; она замѣчательнымъ образомъ изучила русскій языкъ и хотя писала на немъ не весьма правильно (что̀ всегда сама признавала), но живая рѣчь была ей знакома до мелкихъ оттѣнковъ, между прочимъ, простонароднаго языка. Теперь она, конечно, старалась сколько возможно расширить свое знаніе русской жизни. Въ то время, когда собиралась въ Москву Коммиссія (1767), Екатерина совершила, со свитой тысячи въ двѣ человѣкъ, извѣстное путешествіе по Волгѣ, въ продолженіе котораго, между прочимъ, въ ея придворномъ кругу сдѣланъ былъ переводъ „Велизарія“ Мармонтеля, который во Франціи былъ запрещенной книгой. Вѣроятно, и здѣсь многое было представлено ей съ показной стороны, хотя, конечно, не въ тѣхъ чудовищныхъ размѣрахъ театральной декораціи, какъ послѣ, во время знаменитаго путешествія въ Крымъ. Между прочимъ, она могла видѣть при этомъ весь объемъ царственнаго авторитета. Она писала изъ Костромы Панину 15-го мая: „Завтра поѣду отселѣ, а инопле-

менниковъ (дипломатическій корпусъ) отпущу къ Москвѣ. Они вамъ скажутъ, какъ здѣсь я принята была. Я ихъ всѣхъ не одинождды видѣла въ слезахъ отъ народной радости, а И. Гр. Чернышевъ весь обѣдъ проплакалъ отъ здѣшняго дворянства благочиннаго и ласковаго обхожденія". Казань произвела на нее самое благопріятное впечатлѣніе. „Мы нашли городъ, который всячески можетъ слыть столицею большого царства; пріемъ мнѣ отмѣнной; намъ отмѣнной онъ кажется, кои четвертую недѣлю видимъ вездѣ равную радость, а здѣсь еще отличнѣе. Еслибъ дозволили, они бы себя вмѣсто ковра постлали, и въ одномъ мѣстѣ по дорогѣ мужики свѣчи давали, чтобъ предо мною поставить (!), съ чѣмъ ихъ прогнали. Кутухтой быть здѣсь не долго". Она умѣла понять чрезвычайное разнообразіе бытовой жизни, которое увеличивало трудности „громаднаго предпріятія нашего законодательства". Отъ нея не ускользнули и многія темныя стороны этой жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ начиналась та добровольная иллюзія, о которой мы выше говорили. По дорогѣ ей подано было больше 600 челобитенъ, и большая часть изъ нихъ подана была помѣщичьими крестьянами и заключала жалобы на тяжкіе поборы отъ помѣщиковъ. Императрица выражала удовольствіе, что такъ какъ не было жалобъ на правительственныя лица, то, значитъ, правосудіе было въ порядкѣ. Жалобы на помѣщиковъ были возвращены съ подтвержденіемъ, чтобы впредь таковыхъ не подавали; „но,—замѣчаетъ Соловьевъ,—въ сенатъ съ начала года постоянно приходили извѣстія о крестьянскихъ возстаніяхъ" [1]. Возстанія принимали, наконецъ, именно на уральскихъ заводахъ, такіе размѣры, что нужно было для усмиренія ихъ посылать войска и пускать въ дѣло пушки. Между прочимъ, посланъ былъ сюда человѣкъ разумный, извѣстный А. И. Бибиковъ, съ инструкціей дѣйствовать кроткими мѣрами: онъ успѣлъ возстановить порядокъ, вникнувши въ причины волненій,—но общее положеніе дѣла оставалось то же самое, и прошло немного лѣтъ послѣ этихъ волненій, какъ поднялся Пугачевскій бунтъ. Въ своей ближайшей обстановкѣ Екатерина имѣла людей правдивыхъ и знавшихъ положеніе народа; таковъ былъ Бибиковъ, таковъ былъ Сиверсъ и др., но они не имѣли достаточно вліянія.

Извѣстія о положеніи народа доходили и изъ другихъ источниковъ и не мало важныхъ указаній могли представить рѣчи и показанія депутатовъ Коммиссіи, но въ той же Коммиссіи обнаруживалась и другая сторона дѣла: явились притязанія еще распро-

[1]) Исторія Россіи, XXVII.

странить крѣпостное право. Купеческіе депутаты настаивали, чтобы право владѣть крѣпостными предоставлено было и ихъ сословію; противъ нихъ возстало дворянство, лучшіе представители котораго, какъ извѣстный историкъ князь М. М. Щербатовъ, находили даже нужнымъ ограничить нѣкоторыя злоупотребленія помѣщичьей власти; но купцы не унимались, а кромѣ нихъ потребовали права владѣть крестьянами казаки и, наконецъ, духовенство. Такое рѣшеніе вопроса о крѣпостномъ состояніи выборными русской земли въ половинѣ прошлаго вѣка,—говоритъ Соловьевъ,—происходило отъ неразвитости нравственной, политической и экономической. „Владѣть людьми, имѣть рабовъ считалось высшимъ правомъ, считалось царственнымъ положеніемъ, искупавшимъ всякія другія политическія и общественныя неудобства, правомъ, которымъ потому не хотѣлось дѣлиться со многими и такимъ образомъ ронять его цѣну. Право было такъ драгоцѣнно, положеніе такъ почетно и выгодно, что и лучшіе люди закрывали глаза на страшныя злоупотребленія, которыя естественно и необходимо истекали изъ этого права и положенія. Представленія, которыя должны были мало-по-малу подорвать цѣнность этого права и положенія въ глазахъ лучшихъ людей, только еще начинали и очень слабо начинали проникать въ общество; то было представленіе научное о государствѣ, о высшей власти и отношеніи ея къ подданнымъ, отношеніи непохожемъ на отношеніе помѣщика къ крѣпостнымъ и отнимавшемъ у послѣдняго царственный колоритъ; потомъ представленіе о рабствѣ, какъ печати варварскаго общества, представленіе оскорбительное для людей, имѣющихъ притязанія на образованность; представленіе о народности, о чести и славѣ народной, состоящихъ не въ томъ, чтобы всѣхъ бить и угнетать, а въ содѣйствіи тому, чтобы какъ можно меньше били и угнетали. Чтобы всѣ эти представленія, усиливаемыя все болѣе и болѣе европейскою жизнью народовъ и распространеніемъ просвѣщенія, мало-по-малу подкопали представленіе о высокости права владѣть рабами, для этого нужно было пройти еще вѣку".

„Кромѣ означенной неразвитости, благопріятному рѣшенію вопроса о крѣпостныхъ крестьянахъ могущественно препятствовала неразвитость экономическая". Обширность страны, рѣдкость населенія, когда земля дешева, работникъ дорогъ, первобытныя формы жизни, когда рабство составляетъ обычное явленіе, промышленная неразвитость повели къ установленію крѣпостного права. Восемнадцатый вѣкъ въ этомъ отношеніи напоминалъ еще времена Русской Правды. „Заявленіе купцовъ въ Коммиссіи объ уложеніи,

что на вольнаго прикащика положиться нельзя, указываютъ, что условія, въ которыхъ появилась Русская Правда, не совсѣмъ еще исчезли и во времена Коммиссіи объ уложеніи, въ которой отъ дворянства, купечества и духовенства послышался этотъ дружный и страшно печальный крикъ: рабовъ!“ [1])

Первоначальнымъ убѣжденіемъ самой Екатерины было отрицательное отношеніе къ крѣпостному праву. Сохранилась въ государственномъ архивѣ собственноручная замѣтка императрицы, выражавшая неудовольствіе ея по поводу взглядовъ членовъ Коммиссіи на крѣпостныхъ людей: „Есть ли крѣпостного,—писала она,—нельзя признать персоною [2]), слѣдовательно, онъ не человѣкъ; но его скотомъ извольте признавать, что къ немалой славѣ и человѣколюбію отъ всего свѣта намъ приписано будетъ. Все, что слѣдуетъ о рабѣ, есть слѣдствіе сего богоугоднаго положенія и совершенно для скотины и скотиною дѣлано“ [3]).

Такое же противорѣчіе съ мыслями „Наказа“ представилъ вопросъ о пыткѣ; депутаты возставали противъ ея уничтоженія. Желали и здѣсь сохраненія стараго порядка, требовали жестокихъ казней ворамъ и разбойникамъ, требовали мѣръ противъ бѣганья крестьянъ и укрыванія бѣглыхъ, указывали невозможность для дворянства противодѣйствовать этому злу безъ правительственной помощи... Но крѣпостное право защищали, желали даже его распространенія,—а въ дѣйствительности крестьяне продолжали бѣгать, и разбой, направляясь противъ помѣщиковъ, превратился наконецъ въ Пугачевскій бунтъ. Разумные люди, какъ Бибиковъ и самъ графъ П. И. Панинъ, понимали, гдѣ лежала причина печальнаго явленія... Еще раньше, правительству, рядомъ съ мѣрами для охраненія крѣпостного права, приходилось укрощать и дикія проявленія жестокости помѣщиковъ. Въ числѣ процессовъ этого рода первое мѣсто принадлежитъ дѣлу знаменитой Салтычихи, которая, однако, въ теченіе многихъ лѣтъ могла безнаказанно совершать свои злодѣянія [1]).

Таковы бывали грубые факты, съ которыми должны были встрѣтиться теоретически построенные законодательные планы Екатерины. Полагаютъ, что эти разочарованія и охладили ея прежнее теоретическое или идеалистическое настроеніе. Совре-

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Т.-е. признать за нимъ личныя человѣческія права.

[3]) Исторія Россіи, XXVII.

[4]) Рѣшеніемъ самой юстицъ-коллегіи она была обвинена положительно въ убійствѣ 38 человѣкъ и оставлена въ подозрѣніи относительно 26. Это было въ 1768.

Въ послѣднее время издано не мало извѣстій объ этой сторонѣ нравовъ XVIII в. Для общаго обзора см. Исторію Россіи, XXV, XXVII, XXIX; въ книгѣ Незеленова о Новиковѣ вводная глава: „Нравы русскаго общества Екатерининскихъ временъ“

менные наблюдатели замѣчаютъ и другое. Съ перваго времени своего воцаренія, въ заботахъ объ успокоеніи умовъ, объ утвержденіи своего престола, Екатерина была во внутреннихъ дѣлахъ и въ ближайшихъ отношеніяхъ чрезвычайно осторожна. „Она въ обаяніи отъ престола,—писалъ одинъ иностранный дипломатъ въ первое время ея царствованія,—но вмѣстѣ съ тѣмъ что-то ее безпокоитъ и волнуетъ. Это легко понять, если приглядѣться къ поведенію и чувствамъ людей, пользующихся ея довѣріемъ въ чемъ бы то ни было. Ни при одномъ дворѣ не господствовало такое раздѣленіе на партіи, а императрица обнаруживаетъ слабость и колебаніе,—недостатки, которыхъ никогда не замѣчалось въ ея характерѣ. Боязнь потерять то, что имѣла смѣлость взять, ясно и постоянно видна въ поведеніи императрицы, и потому всякій сколько-нибудь значительный человѣкъ чувствуетъ свою силу передъ нею. Изумительно, какъ эта государыня, которая всегда слыла мужественною, слаба и нерѣшительна, когда дѣло идетъ о самомъ неважномъ вопросѣ, встрѣчающемъ нѣкоторое противорѣчіе внутри имперіи. Ея гордый и высокомѣрный тонъ чувствуется только во внѣшнихъ дѣлахъ, во-первыхъ, потому, что здѣсь нѣтъ личной опасности; во-вторыхъ, потому, что такой тонъ въ отношеніи къ иностраннымъ державамъ нравится ея подданнымъ". Въ тѣ же первые годы другой дипломатъ писалъ по поводу польскихъ дѣлъ: „У императрицы обычай каждаго выслушивать, и чрезъ это она подчиняется различнымъ вліяніямъ. Люди неблагонамѣренные нашли слабое мѣсто, которымъ пользуются при каждомъ случаѣ: они увѣряютъ Екатерину, что въ томъ или другомъ случаѣ она не угодитъ народу. Страхъ потерять любовь націи вкоренился въ ней и дѣлаетъ ее робкою" [1]). Но въ это самое время робкая императрица собирала матеріалы для „Наказа".

Противорѣчія между теоріей и дѣйствительностью казались неразрѣшимыми: оставалось колебаніе между двумя крайностями, и этимъ объясняется упомянутый характеръ журнальной дѣятельности императрицы. Историки, осуждая французскихъ философовъ, приводятъ слова императрицы къ Дидро [2]): дѣйствительно, теоріи не всегда сходятся съ практическою жизнью,—но по крайней мѣрѣ надо бы рѣшительно признать неудобство тѣхъ законовъ, которые въ тѣ времена слишкомъ жестоко отзывались на

[1]) Исторія Россіи, XXV.

[2]) Шумигорскій, стр. 37: „Вы трудитесь на бумагѣ, которая все терпитъ: она гладка, мягка и не представляетъ затрудненій ни воображенію, ни перу вашему; между тѣмъ какъ я, несчастная императрица, работаю на человѣческой кожѣ, которая гораздо болѣе раздражительна и разборчива".

кожѣ крестьянъ... Въ писательской дѣятельности императрицы уже теперь замѣтно желаніе устранить тѣ прямые выводы, какихъ требовала ея собственная теорія: „Всякая Всячина“ желала удалить „меланхолію“, предлагала „духъ кротости и снисхожденія“; но съ другой стороны Новиковъ указывалъ факты дѣйствительности, которые не могли не порождать меланхоліи, которыхъ нельзя было исцѣлить однимъ духомъ кротости и, при всемъ желаніи, нельзя было скрыть...

Указанные факты чрезвычайно характерны, какъ для опредѣленія смѣны личныхъ настроеній Екатерины II, такъ и для объясненія судьбы литературы того вѣка. Въ первые годы Екатерина была увлечена высокими идеалами, и требованія справедливости и нравственнаго достоинства человѣческой личности она желала примирить съ суровыми условіями дѣйствительности. Нѣкогда ей мечталась картина народнаго благополучія во взаимной благожелательности. Однажды она писала Вольтеру: „Я должна отдать справедливость своему народу: это превосходная почва, на которой хорошее сѣмя быстро возростаетъ; но намъ также нужны аксіомы, неоспоримо признанныя за истинныя; благодаря этимъ аксіомамъ, правила, долженствующія служить основаніемъ новымъ законамъ, получили одобреніе тѣхъ, для кого онѣ были составлены. Я думаю, вамъ бы понравилось сидѣть за столомъ, гдѣ сидятъ вмѣстѣ православный, еретикъ и мусульманинъ, спокойно слушаютъ голосъ идолопоклонника и всѣ четверо совѣщаются о томъ, чтобъ ихъ мнѣніе могло быть принято всѣми. Они такъ хорошо забыли обычай поджаривать другъ друга, что еслибъ кто-нибудь предложилъ депутату сжечь своего сосѣда въ угоду Высшему Существу, то отвѣчаю, что не было бы ни одного, который бы не отвѣтилъ: онъ человѣкъ, какъ и я, а по первому параграфу инструкціи ея императорскаго величества мы должны дѣлать другъ другу какъ можно больше добра и никакого зла. Увѣряю васъ, что дѣла идутъ буквально такъ, какъ я вамъ говорю: еслибы понадобилось подтвержденіе, у меня бы нашлось 640 подписей съ подписью епископа впереди. На югѣ, быть можетъ, скажутъ: какія времена, какіе нравы!“... Немногія извлеченія, приведенныя выше изъ писаній Екатерины, относящихся къ „Наказу“, указываютъ уже тѣ возвышенныя и благотворныя идеи, которыя наполняли тогда ея умъ и обѣщали, повидимому, новую эпоху нашей исторіи. Подъ вліяніемъ этихъ идей и возникало то общественное чувство, которое одушевляло ея лучшихъ современниковъ и, между прочимъ, отразилось въ журнальныхъ листкахъ Новикова и еще долго

помнилось въ средѣ людей, преданныхъ общественному благу. Но изданія Новикова не могли удержаться... „Наказъ“ только-что былъ изданъ, только-что собиралась Коммиссія, какъ онъ былъ уже на половину запрещенъ. Въ сентябрѣ 1767 года, сенатъ опредѣлилъ разослать экземпляры „Наказа“ только въ высшія правительственныя вѣдомства, но и здѣсь велѣно было, чтобы эти экземпляры „никому ни изъ нижнихъ канцелярскихъ служителей, ни изъ постороннихъ не только для списыванія, но ниже для прочтенія даваны были“. „Такимъ образомъ, — по словамъ Соловьева,—Наказъ былъ доступенъ только старшимъ и составлялъ запрещенную книгу для младшихъ; о немъ сдѣлано постановленіе, подобное тому, какое сдѣлано въ латинской церкви относительно св. Писанія. Найдено, что сочиненіе самодержавной государыни и прошедшее чрезъ строгую цензуру подданныхъ, все еще содержитъ въ себѣ аксіомы, способныя разрушить стѣны, по выраженію Никиты Ив. Панина“.

Историкъ объясняетъ это тѣмъ, что, какъ правительство узнало, злонамѣренные люди распространяли слухи о перемѣнѣ законовъ и собирали съ крестьянъ поборы, обѣщая выхлопотать имъ разныя выгоды и отвращая отъ повиновенія помѣщикамъ [1]... Во всякомъ случаѣ пришлось измѣнить заявленному нѣкогда правилу: „Когда правда и разумъ на нашей сторонѣ, должно выставить ихъ предъ глаза народу“ [2]).

Словомъ, теорія приходила въ столкновеніе съ жизнью: въ результатѣ явилось колебаніе, неувѣренность, которыя потомъ превратились въ раздраженіе отъ противорѣчія. Вопросы были поставлены, но развитіе ихъ въ общественномъ пониманіи было задержано.

Въ 1765 умеръ Ломоносовъ. Со времени первыхъ Новиковскихъ изданій наступилъ второй періодъ Екатерининской эпохи, къ которой относится дѣятельность главнѣйшихъ писателей второй половины вѣка.

Послѣ немногихъ старинныхъ книгъ по исторіи Екатерины II, которыя были только панегириками, первый обширный трудъ посвященъ былъ этой эпохѣ С. М. Соловьевымъ: „Исторія Россіи“, томы XXV—

---

[1]) О крестьянахъ давно писалъ Сиверсъ: „по незнанію грамоты тѣмъ болѣе они достойны сожалѣнія“ (Соловьевъ, XXVII); но они понимали свое положеніе. Ср. „Плачъ холоповъ прошлаго вѣка“, составленный именно въ эпоху Коммиссіи объ уложеніи (изданъ съ предисловіемъ Тихонравова въ „Починѣ“, сборникѣ моск. Общества любит. росс. словесности, 1895, стр. 9—14).

[2]) Бумаги Екатерины II. I, стр. 84.

XXIX, 1875—1879, гдѣ впрочемъ исторія доведена только до половины семидесятыхъ годовъ.

— Вторымъ опытомъ была книга А. Г. Брикнера: „Исторія Екатерины Второй", иллюстрированная. Спб. 1884—1886.

— Обширный трудъ В. А. Бильбасова: „Исторія Екатерины Второй", къ сожалѣнію, вышелъ въ свѣтъ только небольшою частію: томъ I (Екатерина до воцаренія, 1729—1762 г.). Спб. 1890; томъ II (воцареніе Екатерины, 1762—1764), не вышедшій въ Петербургѣ, изданъ былъ за границей, Лондонъ (Берлинъ), 1895. Затѣмъ вышелъ томъ XII, въ двухъ книгахъ (обзоръ иностранныхъ сочиненій о Екатеринѣ). Берлинъ s. a. (1896). Кромѣ того, авторомъ изданы были частные матеріалы и изслѣдованія:—Дидро въ Петербургѣ. Спб. 1884; Первыя политическія письма Екатерины II. Спб. 1887; Jeanne Elisabeth, mère de Catherine II. St.-Pét. 1889

— K. Waliszewski, Le roman d'une impératrice, Catherine II de Russie, d'après ses mémoires, sa correspondance et les documents inédits des archives d'état. Paris, 1893;—Autour d'un trône. Catherine II de Russie, ses collaborateurs—ses amis—ses favoris, 5-me éd. Paris, 1894.—Отзывы о немъ у Бильбасова, т. XII.

Богатый и въ высокой степени интересный и важный матеріалъ для исторіи Екатерины доставилъ „Сборникъ Импер. Р. Историческаго Общества", гдѣ, кромѣ множества различныхъ документовъ того времени, издана также неизвѣстная до тѣхъ поръ ея переписка, и въ первый разъ явились бумаги знаменитой Коммиссіи объ Уложеніи. Большое количество важныхъ документовъ издано въ „Архивѣ кн. Воронцова", также въ „Русскомъ Архивѣ" и „Русской Старинѣ". Много важныхъ указаній доставили детальныя изслѣдованія литературы того времени, хотя онѣ все еще недостаточны: извлечены изъ забвенія многіе мемуары того времени (напр., Добрынина, Гарновскаго, Болотова, Винскаго, Челищева и пр.); предприняты изслѣдованія о лицахъ и событіяхъ того времени, какъ исторія Пугачевскаго бунта, біографіи Суворова, Безбородка, Разумовскихъ, Панинныхъ, Потемкина и пр. Въ связи съ европейской исторіей изученіе дѣятельности и характера Екатерины вызвало многія изслѣдованія въ иностранной литературѣ: упомянемъ труды Альфреда Рамбо, Альбера Сореля (L'Europe et la Révolution française,—есть въ русскомъ переводѣ; La question d'Orient au XVIII siècle), Пэнго (Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en France), Вандаля, Эрнеста Додэ (Histoire de l'émigration), и друг.

— Ch. de Larivière, Catherine II et la Révolution française (Catherine le Grand d'après sa correspondance). Paris 1895.

Столѣтняя память смерти Екатерины II вызвала нѣсколько историческихъ характеристикъ:

— В. Ключевскій, Имп. Екатерина II, въ „Р. Мысли", 1896, № 11.

— А. Кизеветтеръ, Историч. значеніе царствованія Екатерины Великой, въ журналѣ „Образованіе", 1896, № 11.

— П. Морозовъ, Екатерина II какъ писательница,—тамъ же.

— В. Бильбасовъ, Памяти Екатерины II, въ „Р. Старинѣ", 1896, № 11.

— А. Лаппо-Данилевскій, Очеркъ внутренней политики имп. Екатерины II. Спб. 1898.

— Н. Стороженко, Воспоминанія объ Екатеринѣ II,—читано въ моск. Обществѣ любит. росс. словесности 17 ноября 1896 г., напечатано въ сборникѣ „Призывъ". М. 1897, стр. 249—266.

— Новое изданіе Наказа, съ библіографическими примѣчаніями И. Г. Безгина, сдѣлано А. Ѳ. Пантелѣевымъ: „Наказъ ея импер. величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссійскія, данный Коммиссіи о сочиненіи проекта Новаго уложенія". Спб. 1893;—русскій и французскій текстъ. Въ примѣчаніяхъ собраны упоминанія о Наказѣ въ письмахъ императрицы; указанія о заимствованіяхъ изъ Беккаріи и Монтескьё сдѣланы давно историками Наказа и Коммиссіи. Екатерининская Коммиссія вызвала не мало изслѣдованій: — Д. В. Полѣнова (Историческія свѣдѣнія, 1869—1875), В. И. Сергѣевича (1878), И. Дитятина (1879), А. Брикнера 1881 и др.

— Письма императрицы и другіе матеріалы, относящіеся къ Наказу, въ Сборникѣ Р. Историческаго Общества, т. I, VII, X, и въ отдѣльномъ изданіи: „Бумаги импер. Екатерины II", два тома подъ редакціей П. Пекарскаго. Спб. 1871—72; т. III, подъ редакціей Я. К. Грота. Спб. 1874.

— Письма импер. Екатерины II къ Гримму (1774 — 1796), подъ ред. Я Грота (одинъ французскій текстъ). Спб. 1878;—Письма Гримма къ импер. Екатеринѣ II, подъ ред. Я. Грота. Второе, значительно пополненное изданіе. Спб. 1886 (первое изданіе въ XXXIII томѣ Сборника Истор. Общества).

— Переписка Екатерины II съ Вольтеромъ, Циммерманномъ и др. была давно издана за границей и появилась по-русски въ первые годы царствованія Александра I, т.-е. тотчасъ, какъ явилась возможность послѣ временъ имп. Павла:—„Философическая и политическая переписка имп. Екатерины II съ г. Вольтеромъ, съ 1763 по 1778 годъ". Пер. съ франц. 2 части. Спб. 1802; другое изданіе, Михайла Антоновскаго. Спб. 1803; третье, Ив. Фабіяна. М. 1803; четвертое, Александра Подлисецкаго. М. 1803;—„Философическая и политическая переписка импер. Екатерины II съ докторомъ Циммерманномъ, съ 1785 по 1792 годъ". Пер. съ франц. Ивана Степанова. Спб. 1803, и др.

— Екатерина II и Даламберъ. Новооткрытая (въ парижской университетской библіотекѣ) переписка Даламбера съ Екатериною и другими лицами. Д. Ѳ. Кобеко. Историч. Вѣстникъ, 1894, апрѣль и май. (Подлинникъ и переводъ).

Историки литературы давно обратили вниманіе на сатирическіе журналы первыхъ годовъ царствованія Екатерины и посвящали имъ подробныя изслѣдованія:

— Аѳанасьевъ, Русскіе сатирическіе журналы 1769—1774. М. 1859.

— Добролюбовъ, Русская сатира въ вѣкъ Екатерины (Современникъ, 1859); Собесѣдникъ любителей Русскаго Слова (Современникъ, 1856);—Сочиненія, т. I.

— Мордовцевъ, Обличительная литература первыхъ русскихъ журналовъ и стѣсненіе гласности, въ Р. Словѣ, 1860, февраль, мартъ.

— Пекарскій, Матеріалы для исторіи журнальной и литератур-

ной дѣятельности Екатерины II, въ „Запискахъ“ Академіи наукъ, т. III, 1863, приложенія.

— Незеленовъ, „Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ 1769—1785 гг.“ Спб. 1875.

— Е. Шумигорскій, Очерки изъ русской исторіи. I. Императрица-публицистъ. Спб. 1887.

Первые журналы Новикова были переизданы П. А. Ефремовымъ, съ объяснительными примѣчаніями: „Трутень Н. И. Новикова 1769—1770. Изданіе третье“. Спб. 1865; „Живописецъ Н. И. Новикова 1772—1773. Изданіе седьмое“. Спб. 1864.

— В. Ѳ. Солнцевъ, „Всякая Всячина“ и „Спектаторъ“. Къ исторіи русской сатирической журналистики XVIII вѣка. Спб. 1892 (изъ Журн. мин. просв.); — „Смѣсь“, сатирическій журналъ 1769 г. Спб. 1894 (изъ журнала „Библіографъ“). Путемъ сличеній авторъ заключаетъ, что первый изъ этихъ журналовъ представляетъ за немногими исключеніями передѣлку изъ англійскаго журнала Аддисона (по французскому переводу), „перекрапыванье его на свой салтыкъ“, какъ уже въ то время замѣчалъ „Трутень“; а второй изобильно почерпалъ изъ французскихъ нравоучительныхъ книгъ и журналовъ. Надо только прибавить, что и при этихъ заимствованіяхъ и подражаніяхъ взгляды разныхъ сторонъ успѣли сказаться. Такимъ же заимствованіемъ были идеи „Наказа“ о нравственно-политическихъ предметахъ; идеи о воспитаніи „новой породы людей“ и т. п.,—и также, въ комедіяхъ Фонъ-Визина брались у французскихъ писателей комическія черты для изображенія русской жизни, а въ его путешествіи французы изобличались плагіатами изъ французскихъ книгъ... Все это были еще ученическіе опыты, — но читатели принимали ихъ за чистую монету. По вопросу о заимствованіяхъ см. вообще: Алексѣя Веселовскаго, Западное вліяніе въ новой русской литературѣ. Историко-сравнительные очерки. Второе изд. М. 1896.

— Н. А. Лавровскій, О педагогическомъ значеніи сочиненій Екатерины Великой. Харьковъ, 1856.

— Я. Гротъ, Заботы Екатерины II о народномъ образованіи по ея письмамъ къ Гримму,—въ Сборникѣ р. отд. Акад., т. XX.

О Бецкомъ:—А. П. Пятковскій, въ „Дѣлѣ“ 1867, № 4, 5, 7—9; его же, Начало воспитат. домовъ, въ Вѣстн. Евр. 1874, № 11; Спб. Воспитат. Домъ подъ управленіемъ И. И. Бецкаго, въ „Р. Старинѣ“, 1875; — Критико-біогр. Словарь, Венгерова, т. III. Спб. 1892:— В. Стоюнинъ, Педагогич. сочиненія. Спб. 1892, стр. 98—188: „Развитіе педагогич. идей въ Россіи въ XVIII стол.“, по поводу книги Н. Лавровскаго.

— А. С. Вороновъ, Ѳ. И. Янковичъ де-Миріево. Спб. 1858.

— И. Кипріановичъ, тоже, въ журн. Гимназія. 1891.

— Гр. Д. А. Толстой, Взглядъ на учебную часть въ Россіи въ XVIII столѣтіи до 1782 года. Спб. 1883; Городскія училища въ царствованіе имп. Екатерины II. Спб. 1886,—изъ Сборника р. Отд. Акад.

— А. И. Кирпичниковъ, Педагоги прошлаго вѣка, въ Истор. Вѣстникѣ, 1885, № 9.

— И. Б., Идеи о народномъ образованіи въ Екатерининское время, въ Истор. Вѣстникѣ, 1884, № 3.

— М. И. Демковъ, Ист. р. педагогіи. Ч. II. Спб. 1897, главы XVI—XXXIII.

— В. Стоюнинъ, Наша семья и ея историческія судьбы, въ Педагог. сочиненіяхъ. Спб. 1892.

— Е. Лихачева, Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1086—1796) съ основанія перваго женскаго училища до смерти имп. Екатерины II,—и вторая часть: 1796—1828, время имп. Маріи Θеодоровны. Спб. 1890, 1893.

Столѣтняя память смерти Екатерины II вызвала также нѣсколько сочиненій объ историческомъ значеніи ея дѣятельности въ области образованія и литературы:

— Вл. Каллашъ, Что сдѣлала Екатерина II для русскаго народнаго просвѣщенія. М. 1899 (изъ „Вѣстника Воспитанія"). Авторъ приходитъ къ слѣдующему вѣрному заключенію: „Когда говорятъ о значеніи царствованія Екатерины, часто смѣшиваютъ результаты единоличной и коллективной дѣятельности, персонифицируютъ процессы —приписываютъ отдѣльной личности трудъ нѣсколькихъ поколѣній: для плохо вооруженнаго глаза цѣлая солнечная система слилась въ одно небольшое свѣтовое пятно... Личность далеко не всегда умѣла и хотѣла приспособиться къ средѣ, среда подчинялась своимъ особымъ законамъ, идеи часто расползались, учрежденія слабо прививались. Это не лишаетъ личность историческаго значенія, поскольку она шла въ ногу съ общественнымъ движеніемъ, помогала ему, а не мѣшала—поскольку были вліятельны, благовременны и полезны пропагандируемыя ею идеи, — поскольку создаваемыя ею учрежденія продолжали и укрѣпляли просвѣтительныя традиціи... Несмотря на многія неблагопріятныя условія, зависѣвшія отъ ея личнаго характера и условій среды, она способствовала, насколько могла и умѣла, распространенію идей, часто высокихъ и благотворныхъ... Въ обиходъ общественной, въ частности педагогической мысли вошло нѣсколько здравыхъ гуманныхъ идей... Замѣчается подъемъ духа въ обществѣ, который несъ съ собою неисчислимыя послѣдствія. Въ этомъ сложномъ процессѣ личность Екатерины играла то положительную, то отрицательную роль, во всякомъ случаѣ приковывала къ себѣ вниманіе современниковъ и отчасти позднѣйшихъ поколѣній. Послѣдующее царствованіе отбросило на Екатерину яркій радужный отблескъ"...

— А. Архангельскій, Имп. Екатерина II въ исторіи русской литературы и образованіи. Казань, 1897.

— В. Мочульскій, Просвѣщеніе на югѣ Россіи въ царствованіе имп. Екатерины II. Одесса, 1897.

ГЛАВА XXXVII.

ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II.

Поворотъ въ мнѣніяхъ императрицы, и его причины. — Французская революція.
Состояніе русскаго общества и литературы въ концѣ вѣка.—Отношенія Екатерины II къ литературѣ.
Державинъ.
Фонъ-Визинъ.
Писатели второстепенные: ода, героическая поэма, трагедія, комедія, мѣщанская драма, шутливая поэма, басня.
Обращеніе къ народности.

Наиболѣе значительныя и знаменитыя произведенія литературы второй половины вѣка,—кромѣ одного „Бригадира" Фонъ-Визина (около 1766) относятся къ послѣднимъ годамъ царствованія Екатерины II. Въ 1782 явился „Недоросль"; съ восьмидесятыхъ годовъ начинается слава Державина; тогда же открывается широкая дѣятельность Новикова въ Москвѣ, литературная и общественная, и особенное развитіе масонства; въ 1783 основана Россійская Академія, и началось изданіе „Собесѣдника, любителей россійскаго слова"; въ послѣдніе годы царствованія Екатерины II вышло „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву" Радищева, и готовились „Письма русскаго путешественника", Карамзина (1797 — 1801)... Не говоримъ о длинномъ рядѣ второстепенныхъ писателей, которые въ свое время пользовались большою славой, какъ Херасковъ, Княжнинъ, Хемницеръ, Костровъ, Богдановичъ, Петровъ, Майковъ и т. д.

„Вѣкъ Екатерины" еще съ ея временъ сталъ предметомъ ревностнаго прославленія; дѣйствительная исторія наступаетъ для него только недавно. Отдаленность эпохи, заглушивъ панегирики современниковъ, впервые—въ условіяхъ нашей исторіографіи—дѣлаетъ (хотя до извѣстной степени) возможнымъ безпристрастное изученіе, въ помощь которому являются много-

численные историческіе памятники, извлеченные изъ архивовъ. Изслѣдованія далеко не докончены, почти только начаты; но уже теперь времена импер. Екатерины представляются историку въ гораздо болѣе реальныхъ чертахъ, безъ того полу-фантастическаго освѣщенія, какое окружало ихъ до недавней поры.

Это первое освѣщеніе не было лишено основаній, и прежде всего онѣ заключались въ блескѣ царствованія, въ великихъ успѣхахъ внѣшней политики и въ личномъ авторитетѣ императрицы. Екатерина II считала себя продолжательницей дѣла Петра Великаго, и дѣйствительно, никто изъ его преемниковъ не совершилъ такъ много для государственнаго развитія Россіи, для утвержденія ея политическаго значенія въ Европѣ. Военные успѣхи, обширныя завоеванія, увеличивая внѣшнее могущество, создавали и внутри авторитетъ, какого не достигали ея предшественники; смѣлая и великодушная мысль о новомъ Уложеніи произвела сильное впечатлѣніе на умы, которые почерпали здѣсь ожиданіе будущихъ преобразованій, и идеи „Наказа“ были превозносимы еще долго послѣ того, какъ онѣ изгладились изъ памяти самой императрицы и были забыты на практикѣ. Съ первыхъ лѣтъ царствованія Екатерина съумѣла распространить въ Европѣ славу своихъ дѣяній, носителями которой прежде всего стали ея друзья и поклонники—„философы“. Дома цѣлая литература была къ ея услугамъ, воспѣвая ея мудрость и могущество, и во главѣ стоялъ поэтъ, называвшій ее богоподобною и поражавшій современниковъ произведеніями, въ которыхъ бывала настоящая поэзія въ необузданныхъ порывахъ вдохновенія. Наконецъ, на все окружающее дѣйствовала ея необычайная личность: со временъ Петра на русскомъ престолѣ не было лица съ умомъ столь сильнымъ, характеромъ столь энергическимъ, и, можно прибавить — съ такимъ пониманіемъ (въ первые годы) нравственныхъ стремленій времени, которое ставило ее на уровнѣ величайшихъ умовъ той эпохи. Ея переписка, только теперь болѣе полно раскрываемая, поражаетъ удивительною находчивостью этого ума: въ бесѣдѣ съ философами она умѣла остаться независимой, остроумно сводить теоретическіе принципы на почву реальной дѣйствительности, иногда тонко посмѣяться надъ ними, найти мѣткія выраженія своей мысли, особенно когда что-нибудь ее задѣвало или раздражало. Едва ли историки ошибаются, находя, что этимъ умомъ она превышала всѣхъ, кто окружалъ ее,—хотя это былъ умъ рѣзко односторонній. Среди окружающихъ бывали люди недюжинные; въ особенности высоко цѣнила она, кажется, только одного Потемкина, но надъ всѣми она

господствовала не одною только силою власти, но и силою своей личности [1]). Все это создавало славу, которая ослѣпляла не только современниковъ, но долгіе годы и самое потомство: должно прибавить, что ослѣпленію потомства способствовало малое развитіе общественнаго мнѣнія, и рядомъ съ этимъ малое развитіе, или внѣшняя невозможность, исторической критики [2]).

Царствованіе Екатерины было знаменательнымъ періодомъ нашей исторіи. По признанію иноземныхъ историковъ,—судъ которыхъ свободенъ отъ того, что̀ можетъ быть приписано у насъ національному самообольщенію,—Екатерина II создала то внѣшнее политическое положеніе Россіи, которое сохранилось до самой половины XIX-го столѣтія. Съ другой стороны, на внутренней жизни русскаго общества, на постановкѣ просвѣщенія и литературы, въ теченіе того же періода тяготѣло то реакціонное настроеніе, которое возъимѣла Екатерина во вторую половину царствованія. Это было совсѣмъ не похоже на первые годы ея правленія, когда яркимъ свидѣтельствомъ ея идей въ государственной жизни явились Коммиссія объ уложеніи и „Наказъ“, а въ ея личной жизни—переписка съ французскими философами; но чѣмъ сильнѣе были прежнія увлеченія императрицы въ пользу свободы и просвѣщенія, тѣмъ рѣзче былъ поворотъ, ознаменовавшій послѣдніе ея годы.

До сихъ поръ полагали обыкновенно, что причиною этой перемѣны были событія французской революціи, которыя казались Екатеринѣ послѣдствіемъ излишества свободы умовъ,—но этой свободѣ послужила именно та „философія“, которою нѣкогда она сама восхищалась: отсюда недовѣріе и наконецъ вражда ко всякому свободному движенію мысли, въ которомъ видѣлась ей политическая опасность. Въ дѣйствительности однако перемѣна во взглядахъ императрицы началась раньше: ее отно-

[1]) „Catherine fut par excellence une individualité de cet ordre exceptionnel. De tout ce qui a constitué sa grandeur personnelle, son prestige et son charme, rien, on peut le dire, ne lui est venu par héritage: elle a tout conquis ou tout créé autour d'elle; les palais qu'elle a habités, elle les a bâtis elle-même pour la plupart; les hommes qu'elle a employés, elle a mieux fait que de les choisir, elle les a façonnés à son usage, un peu à son image aussi, conséquemment. Parmi ses collaborateurs, ceux mêmes qui ont apporté à son service le plus de valeur propre, d'initiative et même d'originalité, ont pu à bon droit etre appelés par elle ses élèves: le génial Patiomkine en fut“ (Waliszewski, „Autour d'un trône“).

[2]) Многіе факты исторіи того времени долго были совсѣмъ закрыты для изслѣдованія. Такова была исторія ея вступленія на престолъ, исторія ея фаворитовъ, ея отношеній къ вел. кн. Павлу Петровичу, исторія Коммиссіи объ Уложеніи и т. д. Имя Новикова долго оставалось полузапрещеннымъ; книга Радищева въ новомъ изданіи была уничтожена еще въ 1872 году; бумаги Екатерины II появляются только съ семидесятыхъ годовъ въ изданіяхъ Имп. Русскаго Историческаго Общества...

сятъ еще къ половинѣ семидесятыхъ годовъ [1]), когда пережито было потрясеніе пугачевскаго бунта; но въ сущности ее можно замѣтить гораздо ранѣе. А именно, первые признаки разочарованія въ „философіи“ наступили, вѣроятно, еще въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, вскорѣ послѣ „Наказа“ и Коммиссіи, которая кончила свое существованіе не только по внѣшнему поводу (какъ турецкая война), но и по внутренней причинѣ. Екатерина увидѣла слишкомъ много фактическаго опроверженія тѣхъ благихъ намѣреній, съ какими писанъ былъ „Наказъ“ (какъ, напр., вопли о расширеніи крѣпостного права, вмѣсто его ограниченія; голоса противъ уничтоженія пытки и т. п.); ей впервые представилась трудность исполненія того, что она устроивала теоретически; наконецъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ ей казалось, что былъ затронутъ ея самодержавный авторитетъ, когда не были поняты ея мысли, когда выражаемы были желанія, которыхъ сама она не имѣла,—и уже тогда она не выносила этого противорѣчія. Приближенные администраторы какъ будто угадывали близкое будущее, когда съ самаго начала сдѣлали „Наказъ“ полу-запрещенной книгой. Нетерпимость сказалась и въ литературныхъ отношеніяхъ 1768 — 69 г.: отвѣты, какіе давала она журналистамъ, слишкомъ далеко простиравшимъ свои желанія, свидѣтельствуютъ, что уже тогда она понимала свободу, предоставленную литературѣ, въ предѣлахъ весьма ограниченныхъ, и несомнѣнно болѣе ограниченныхъ, чѣмъ та, съ какою она сама ставила теоретическіе вопросы въ „Наказѣ“. Фактъ прекращенія журналовъ (которое вообще признается непроизвольнымъ) указываетъ, что уже въ это время теоретическая философія не казалась ей пригодною для практики и свобода мнѣній излишней для русскаго общества и писателей. Здѣсь и начинался поворотъ къ реакціи. Съ одной стороны прошло время, когда забота объ утвержденіи престола побуждала ее искать популярности въ томъ литературномъ кругу, который могъ сдѣлать и, дѣйствительно, въ немалой мѣрѣ сдѣлалъ ея славу на Западѣ. Съ другой стороны, хотя она сохраняла и теперь долю идеалистическихъ стремленій своей юности, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше знакомилась съ грубою дѣйствительностью и привыкала къ безграничному авторитету власти.

Въ семидесятыхъ годахъ Екатерина еще продолжаетъ сноситься съ философами, но въ ея отзывахъ какъ о самыхъ философахъ, такъ и объ ея собственныхъ работахъ прежняго вре-

---

[1]) Ларивьеръ.

мени, сдѣланныхъ подъ ихъ вліяніемъ, начинаетъ сквозить недовѣріе, а иногда почти прямое отрицаніе. Въ 1775 она еще совѣтуется съ Гриммомъ и Дидро относительно плана учебныхъ заведеній, но далеко не съ тѣмъ вниманіемъ, какъ прежде, относится къ ихъ мыслямъ и совѣтамъ. Въ томъ же году она пишетъ къ Гримму по поводу своихъ работъ надъ учрежденіемъ о губерніяхъ и находитъ, что никогда она не сдѣлала ничего лучше, и самый „Наказъ“ теперь кажется ей только „болтовней“ [1]). Въ 1776, когда Дидро только-что сдѣлалъ свою поѣздку въ Петербургъ, въ письмахъ ея къ Гримму можно замѣтить слѣды разочарованія въ философіи и въ самомъ философѣ [2]). Философія была ей больше не нужна и въ самой Франціи теряла значеніе, когда одни изъ ея дѣятелей сошли со сцены, а другихъ заслоняло уже открытое политическое движеніе. Руссо она никогда особенно не любила; онъ казался ей писателемъ опаснымъ, потому что его увлекательный стиль экзальтируетъ молодыя головы: это былъ авторъ „Общественнаго Договора“ и сочиненій о Польшѣ, которое не могло ей нравиться,—но въ прежнее время не безъ ея участія или даже иниціативы Григорій Орловъ предлагалъ Руссо убѣжище въ своихъ имѣніяхъ подъ Петербургомъ.

Событія стали тревожить Екатерину только съ тѣхъ поръ, какъ въ Парижѣ совершилось взятіе Бастильи. Графъ Иванъ Чернышевъ давно писалъ ей о страшномъ волненіи во французскомъ обществѣ: „никто не можетъ предвидѣть, куда поведетъ это броженіе умовъ“ [3]),—но она все еще не видѣла въ этомъ ничего особеннаго. Въ 1787 году былъ заключенъ торговый трактатъ съ Франціей, что̀ должно было быть началомъ дальнѣйшихъ политическихъ комбинацій, которыя и составляли интересъ Екатерины во французскихъ дѣлахъ: она едва ли тогда предвидѣла, что планы ея могутъ быть совсѣмъ разстроены грозящимъ переворотомъ. Она переписывалась съ Неккеромъ о фран-

[1]) „Mes derniers réglements du 7 nov. contiennent 250 pages in quarto imprimés, mais aussi je vous jure c'est ce que j'ai jamais fait de mieux et que vis-à-vis de cela je ne regarde l'instruction pour les lois dans ce moment-ci que comme un bavardage“ (Письмо къ Гримму отъ 29 ноября 1775).

[2]) Ср. письма къ Гримму отъ 18 августа, 1-го сент. 1776: „Les philosophes déraisonnent comme les autres hommes“ и т. п. Позднѣе, 23-го ноября 1775, по поводу встрѣтившихся ей замѣчаній Дидро о „Наказѣ“ она пишетъ: „Cette pièce est un vrai babil dans lequel on ne trouve ni connaissance de choses, ni prudence, ni prévoyance; si mon instruction avait été du goût de Diderot, elle aurait été propre à mettre toûtes les choses sens dessus-dessous. Or, je soutiens que mon instruction a été non seulement bonne, mais même excellente“ и пр., и опять желчное замѣчаніе о Дидро.

[3]) Брикнеръ, стр. 670 и далѣе.

цузскихъ дѣлахъ, порицала расточительность версальскаго двора, легкомысліе королевы, требовала всѣхъ подробностей дѣла объ ожерельѣ, хвалила Неккера, Лафайета. О собраніи нотаблей въ 1787 году она отзывалась въ письмахъ къ Гримму противорѣчиво: это собраніе дѣлаетъ честь намѣреніямъ короля, но „у насъ" не имѣютъ пока о немъ высокаго мнѣнія; въ разговорѣ съ Храповицкимъ она замѣчала: „не всякому сіе удается, мы могли сдѣлать собраніе депутатовъ" [1]); въ другой разъ она находила, что мысль о собраніи нотаблей „великолѣпна" (admirable), но опять сравнивала его съ собраніемъ депутатовъ [2]). Сравненіе съ нашей Коммиссіей указываетъ, что отъ Екатерины укрывалось еще все великое различіе отношеній и все фатальное положеніе французской монархіи. Въ концѣ концовъ она не знаетъ, что̀ думать о нотабляхъ, чего они хотятъ; она полагаетъ, что все дѣло въ деньгахъ: „у нихъ требуютъ денегъ, и несомнѣнно, и весьма естественно, что они не желаютъ ихъ давать". Въ іюнѣ 1787 она опять приравниваетъ французскія дѣла къ русскимъ,— и послѣднія, конечно, идутъ гораздо лучше, „безъ фразъ" [3]). Въ 1788 году она все еще не думала, чтобы французскія дѣла могли принять ихъ роковой оборотъ [4]). Она поняла размѣръ событій уже только послѣ взятія Бастиліи. Въ 1794 она хвалилась, что „предсказала принцу нассаускому и многимъ другимъ за четыре года впередъ то, что̀ случилось съ Людовикомъ XVI", и дѣйствительно, у Храповицкаго записано подъ 16 сент. 1789: „Ils sont capables de pendre le roi à la lanterne, c'est affreux"; подъ 21 октября Храповицкій записываетъ, что императрица говорила о парижскихъ событіяхъ и о королѣ: „il aura le sort de Charles I". До 14 іюля она была только недовольна тѣмъ ходомъ вещей, какой предвѣщали первыя дѣйствія учредительнаго собранія; съ 14 іюля недовольство превратилось въ открытую вражду и съ этого времени она отвергла свое либеральное прошлое и вступила на путь крайней реакціи [5]).

[1]) Дневникъ А. В. Храповицкаго, Спб., 1874; подъ 26 апрѣля 1787.

[2]) „Ce qui a fait la fortune de mon assemblée des deputées, c'est que j'ai dit: „Tenez, voilà mes principes, dites vos plaintes; où est ce que le soulier vous blesse? Allons, remédions; je n'ai point de système, je souhaite le bien commun: il fait le mien. Allons, travaillez, faites des projets; voyez où vous en êtes". Et ils se mirent à visiter, à ramasser les matériaux, à parler, à rêver, à disputer, et votre très humble servante était à écouter et très indifférente pour tout ce qui n'était pas utilité commune et bien commun" (Письмо къ Гримму отъ 5 апрѣля 1787).

[3]) „Allez vous en avec vos notables; on ne sait plus sur quoi compter chez vous. Votre M. de Calonne ni aucun autre de chez vous ne me tente; gardez les pour vous; cela en sait dix fois plus que moi, et fait dix fois plus mal que moi et mes employés, qui avons moins de belles phrases" (Письмо отъ 29 іюня 1787).

[4]) „Je ne suis pas de l'avis de ceux qui croient que nous touchons à une grande révolution" (Письмо къ Гримму отъ 19 апрѣля 1788).

[5]) De Larivière, стр. 55.

Люди, болѣе близко знакомые съ внутренней жизнью французскаго государства и общества, давно предвидѣли, что данное положеніе вещей не можетъ кончиться иначе, какъ страшнымъ переворотомъ. Форстеръ еще въ 1782 году говорилъ, что Европа представляется ему наканунѣ страшной революціи; и многіе думали подобнымъ образомъ. Броженіе умовъ, совершавшееся во Франціи, отражалось и въ другихъ странахъ западной Европы потому, что въ иныхъ формахъ старый политическій порядокъ и здѣсь отживалъ свое время: понятно было, что все философское вольномысліе, всѣ поиски за естественнымъ и справедливымъ устройствомъ человѣческаго общества не были дѣломъ только немногихъ свѣтлыхъ или необузданныхъ умовъ, но были также отраженіемъ стремленій цѣлыхъ массъ, утомленныхъ устарѣвшими формами быта и искавшихъ избавленія въ новомъ „разумномъ" устройствѣ общества и государства. Видимо приближался конецъ феодальнаго строя: въ сущности параллельно къ политическому броженію во Франціи шло броженіе умовъ въ средней Европѣ,— таковы были философскіе, политическіе и литературные вопросы, волновавшіе Германію: Лессингъ, Гердеръ, Гёте, Шиллеръ, Кантъ, все это были представители настроенія, ставившаго новые вопросы нравственности, мышленія, поэзіи и самой государственной жизни, хотя бы теоретически здѣсь начиналась уже реакція противъ французскаго раціонализма и матеріализма... Очевидно, ничего подобнаго не могла представить русская жизнь съ ея элементарнымъ, мало распространеннымъ образованіемъ, съ ея привычнымъ, безгласнымъ общественнымъ бытомъ. Есть извѣстія, что французскія событія, какъ взятіе Бастильи, были привѣтствованы даже въ извѣстной части русскаго общества какъ фактъ освобожденія отъ тиранніи; но понятно, что это могло быть или въ средѣ иностранцевъ, которымъ событія были болѣе понятны, или въ очень небольшомъ кругу болѣе образованныхъ людей, знакомыхъ ближе съ политическимъ положеніемъ Франціи. Въ большинствѣ эти событія могли казаться только бунтомъ, т.-е. неосмысленнымъ, безпорядочнымъ возстаніемъ, которое должно было и могло быть подавлено энергическими мѣрами. Именно такое объясненіе и давала единственная политическая газета того времени, „Спб. Вѣдомости", выражавшая взгляды правительства. Замѣчательно, что императрица не оцѣнила всего значенія событій и самой причины ихъ; не понимая ихъ происхожденія, она ошибалась потомъ и относительно средствъ ихъ подавленія. А именно, она не видѣла, что въ ходѣ революціи обнаруживалось полное распаденіе стараго порядка, все болѣе непримири-

мая вражда между старой монархіей и народными массами. Этого раздора она никакъ не предполагала; о народныхъ массахъ она думала, что онѣ необходимо должны были быть привержены къ монархіи; монархія можетъ быть только абсолютной и должна лишь отличаться „просвѣщеніемъ“, которое принесетъ необходимыя и полезныя улучшенія; депутаты представляются Екатеринѣ какъ будто случайнымъ сбродомъ необузданныхъ людей, для которыхъ потомъ установилось у нея одно названіе „гидры о 1.200 головахъ“. Впослѣдствіи она не дѣлаетъ различія между учредительнымъ и законодательнымъ собраніями и конвентомъ. Позднѣе, ее тяжело поразило извѣстіе о событіи 4-го августа 1790, объ отреченіи французской аристократіи отъ своихъ привилегій: она не могла представить себѣ смысла этого безумнаго дѣйствія „гидры“ [1]. Предполагая, что все это дѣлается только буйнымъ собраніемъ противъ воли самой націи, Екатерина говоритъ о собраніи только бранными словами: это крючкотворцы и сапожники, „procureurs et cordonniers“, „avocats et savetiers“. Еще въ 1789 г. (подъ 25 сентября) въ дневникѣ Храповицкаго записана: „О королѣ французскомъ: j'aimerai mieux le voir chassé de Versailles, mais enfermé à Metz. Тутъ бы дворянство къ нему пристало. Я сказала вчера Сегюру, que Henry IV se nommait le premier gentilhomme, et que Louis XIV dans les moments de détresses disoit qu'il se mettroit a la tête de la noblesse. Онъ отвѣчалъ вздохомъ. И какъ можно сапожникамъ править дѣлами? Le cordonnier ne sait que faire des souliers“. Членовъ учредительнаго собранія она сравнивала съ Пугачевымъ. Въ письмахъ къ Гримму она не однажды выражается, что на толпу нечего обращать вниманія, что публика всего чаще не имѣетъ здраваго смысла [2].

Смерть Людовика XVI сильно ее поразила; она даже заболѣла отъ этого потрясенія. „Ея величество,—пишетъ Храповицкій (подъ 2 февраля 1793),—говорила со мной о варварствѣ

[1]) „Une des plus absurdes opérations de l'hydre à 1.200 têtes, c'est la destruction de la noblesse; quoi? ce que les familles ont acquis par leurs travaux, par leurs services, on le leur ôte? Et pourquoi, s'il vous plaît, ôter aux gens l'honneur et le profit? Quel sera donc l'aiguillon qui les fera aller?“ (Письмо отъ 13 сентября, 1790). Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 27 сентября, она приписываетъ добровольное отреченіе знати отъ своихъ привилегій уничтоженію іезуитскихъ школъ: „on a beau dire, ces coquins-là veillaient aux moeurs et au goût des jeunes gens, et tout ce que la France a eu de meilleur est sorti de leurs écoles“. Она совѣтуетъ перечитывать старую Генріаду: „Je lis et relis la Henriade pendant ces troubles de la France; conseillez aux Français de la lire, afin que les gredins ci-dessus nommés apprennent à penser“.

[2]) „Le royaume est à plaindre et tous les gens sensés! Pour de la multitude et de son avis il n'y a pas grand cas à faire“... „Le public n'a pas le sens commun, le plupart du temps“.

французовъ и о явной несправедливости въ утайкѣ голосовъ при сужденіи: c'est une injustice criante même envers un particulier". По поводу негодованія, какое произвела казнь короля въ Англіи, она замѣтила: „il faut absolument exterminer jusqu'au nom des français". Затѣмъ, „былъ оборотъ къ собственному ея правленію, съ вопросомъ у меня о соблюденіи правъ каждаго". Храповицкій подтвердилъ, что не только ни у кого ничего не было отнято при новыхъ установленіяхъ, но и пожалованы права и привилегіи. Подъ 8 февраля отмѣчено: „Подписанъ указъ Сенату о разрывѣ политической связи съ Франціею и о высылкѣ изъ Россіи всѣхъ тѣхъ обоего пола французовъ, которые не сдѣлаютъ присяги по изданному при указѣ образцу". Тѣ, которые не принесли этой присяги, были дѣйствительно высланы изъ Россіи [1]), но и положеніе оставшихся, которые очистили себя присягой, было тогда все-таки очень тягостное. Затѣмъ не велѣно было принимать въ русскіе порты судовъ подъ французскимъ флагомъ, запрещено было русскимъ ѣздить во Францію, получать французскія газеты, поддерживать сношенія съ французами, наконецъ, ввозить въ Россію какіе бы то ни было предметы французскаго происхожденія...

Революція въ глазахъ Екатерины грозила великими опасностями самой Европѣ; она не только колебала монархію, но грозила Европѣ наступленіемъ варварства... Какъ было помирить это съ ея прежними увлеченіями литературой и философіей этой самой Франціи? Въ разгаръ террора Екатерина еще находила извиненія для нѣкогда любимыхъ философовъ, которыхъ въ то время считали вообще виновниками революціи: „французскіе философы, о которыхъ думаютъ, что они приготовили французскую революцію, быть можетъ, ошиблись только въ одной вещи, а именно они думали, что проповѣдуютъ людямъ, у которыхъ они предполагали доброе сердце и добрую волю, а вмѣсто того прокуроры, адвокаты и всѣ злодѣи прикрылись ихъ принципами, чтобы подъ этимъ покрываломъ, которое они скоро сбросили, сдѣлать все то, что̀ совершало самаго страшнаго самое ужасное злодѣйство, а эта парижская чернь, подчиненная самыми свирѣпыми преступленіями, осмѣливается называть себя свободной, тогда какъ она никогда не испытывала тиранніи болѣе жестокой и болѣе безсмысленной" [2]). Но въ 1795 году она пишетъ къ Гримму, что, по словамъ самихъ Гельвеція и д'Аламбера, Энци-

[1]) Считаютъ, что французовъ было тогда въ Россіи до 1.500 человѣкъ; изъ нихъ не приняли присяги 43.
[2]) Письмо отъ 5 декабря 1793.

клопедія имѣла только двѣ цѣли: одна—уничтожить христіанскую религію, другая—королевскую власть.

Революція должна погубить и ту французскую литературу, которая нѣкогда столько послужила къ славѣ и величію Франціи. „Національному собранію надо будетъ велѣть бросить въ огонь всѣхъ лучшихъ французскихъ писателей и все то, что̀ распространило ихъ языкъ въ Европѣ, потому что все это обличаетъ отвратительную распрю, какую они производятъ", и она прибавляетъ затѣмъ: „до сихъ поръ считали заслуживающимъ висѣлицы того, кто будетъ замышлять разрушеніе страны, а тутъ занимается этимъ цѣлая нація или, лучше сказать, тысяча двѣсти депутатовъ этой націи. Еслибы повѣсили изъ нихъ нѣсколько человѣкъ, то я думаю, что остальные бы образумились" [1]. Дальше она опять повторяетъ эту мысль: „Что̀ же сдѣлаютъ французы съ своими лучшими писателями, которые почти всѣ жили при Людовикѣ XIV? Всѣ они, даже Вольтеръ—роялисты, всѣ они проповѣдуютъ порядокъ и спокойствіе и все то, что̀ противно системѣ гидры о 1.200 головахъ. Бросятъ ли они ихъ въ огонь? Если этого не сдѣлаютъ, то изъ этихъ писателей будутъ почерпать правила противныя ихъ системѣ, если она у нихъ есть"... „Это бѣшенство съ ужасающей быстротой искажаетъ даже самый языкъ, такъ что языкъ Расиновъ и Вольтеровъ будетъ, наконецъ, казаться чужимъ"... „Я хотѣла бы знать, что̀ сдѣлаютъ французы съ своими лучшими писателями: сожгутъ ли они ихъ пьесы и произведенія на Гревской площади, потому что это уже не подходитъ къ глупостямъ, какія они дѣлаютъ; Руссо заставитъ ихъ ходить на четверенькахъ" [2]. Еще раньше, въ 1789, вспоминая блестящее владычество Людовика XIV, она говорила: „что̀ сказали бы Буало и его великій король, еслибы воскресли въ Парижѣ въ эту минуту?" Она ужасалась и недоумѣвала передъ событіями XVIII-го вѣка, который „еще такъ недавно хвалился, что онъ—самый мягкій, самый просвѣщенный изъ вѣковъ и который породилъ свирѣпыя души среди города, самаго знаменитаго, какой только былъ извѣстенъ. Фу, ужасные люди!"

Къ сожалѣнію, сама Екатерина во второй половинѣ царствованія не сохранила этой мягкости, и даже раньше, чѣмъ событія во Франціи произвели на нее свое потрясающее дѣйствіе. Она была въ полной мѣрѣ представительницею той правительственной системы, которой дано имя „просвѣщеннаго деспотизма". Наравнѣ съ нею въ разрядъ такихъ правителей ста-

[1]) Письмо отъ 25 іюня 1790.
[2]) Письма отъ 12 сентября, 20 декабря 1790, 29 апрѣля 1791.

вятъ Фридриха II прусскаго и Іосифа II австрійскаго,—но последніе дѣйствовали въ странахъ, гдѣ, особливо въ Германіи, независимо отъ нихъ существовало уже сравнительно высокое просвѣщеніе, которому ихъ примѣръ послужилъ только новымъ ободреніемъ и укрѣпленіемъ; выше замѣчено, что, при всемъ пренебреженіи Фридриха II къ нѣмецкой литературѣ, историки ея придаютъ великое значеніе его нравственному вліянію именно въ этомъ смыслѣ. Совсѣмъ иное было въ Россіи. Екатеринѣ предстояла, конечно, трудная политическая задача установить свое правленіе, но затѣмъ она имѣла передъ собой, за немногими исключеніями, общество крайне малоразвитое. Покоривши своему авторитету придворную и боярскую среду, совершавшую еще не такъ давно дворцовые перевороты, она имѣла передъ собой полную свободу дѣйствій для воспитанія общества, для устройства судьбы народа. Изъ своей молодости она вынесла великодушныя желанія послужить благу своего новаго отечества; изъ своего чтенія она извлекла болѣе широкіе взгляды нравственно-политическіе, чѣмъ имѣлъ кто-либо въ ея ближайшей обстановкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ развѣ одного Ломоносова, доживавшаго свой вѣкъ въ первые годы ея царствованія (она оставалась къ нему чужда, хотя все-таки оказала ему рѣдкое царственное вниманіе), едва ли былъ въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ кто-либо, кто стоялъ бы на одномъ съ нею умственномъ уровнѣ. Она была чрезвычайно самолюбива, но ея самолюбіе могло быть оправдано, когда въ первые годы правленія она писала „Наказъ". Можно было бы, кажется, думать, что еслибы она осталась на высотѣ этого произведенія, она успѣла бы совершить многое для русскаго общества и для русскаго народа,—и больше, чѣмъ произошло на самомъ дѣлѣ. Къ сожалѣнію, она не осталась на этой высотѣ; впечатлѣнія дѣйствительности, увлеченіе безграничностью своей власти съ одной стороны примиряли ее съ грубыми чертами быта (какъ было, напр., крѣпостное право), съ другой, дѣлали нетерпѣливой ко всякому противорѣчію, которое она начинала считать нарушеніемъ своего авторитета. Въ концѣ концовъ она оставляла нетронутыми существенные вопросы народной жизни, полагая, что они рѣшаются полумѣрами: она сурово осуждаетъ Салтычиху, но въ сущности оставляетъ возможность безобразныхъ злоупотребленій крѣпостного права, потому что жалобы крестьянъ на помѣщиковъ оставались запрещены. Она еще довольно долго остается подъ вліяніемъ своихъ первыхъ идей: какъ въ началѣ царствованія она работаетъ съ Бецкимъ надъ воспи-

тательными учрежденіями, которыя должны были произвести „новую породу людей“, такъ впослѣдствіи въ основанныхъ ею „народныхъ училищахъ“ (къ сожалѣнію, только слишкомъ малочисленныхъ) была учебникомъ небывалая до тѣхъ поръ и послѣ книга „О должностяхъ человѣка и гражданина“; въ своихъ административныхъ мѣрахъ, какъ учрежденіе о губерніяхъ (1775), какъ дворянская грамота, жалованная грамота городамъ (1785), она старается поднять гражданское, именно сословное чувство, чтобы дать устойчивость наличнымъ общественнымъ элементамъ. Но, съ другой стороны, во всемъ этомъ было что-то отрывочное и неполное: не было положено предѣла административному произволу, который хозяйничалъ по прежнему, не было принято мѣръ къ обезпеченію правильности суда, и во все теченіе царствованія продолжаются жалобы на господство ябеды и лихоимства, и совершается необузданное казнокрадство; а главное, во все царствованіе не была обезпечена школа и не было принято, къ удивленію, никакихъ мѣръ къ расширенію высшаго образованія,—правда, въ 1780-хъ годахъ предположено было открыть три новыхъ университета и именно въ провинціальныхъ городахъ (вѣроятно, по заграничному образцу, только невѣрно понятому), во Псковѣ, Черниговѣ и Пензѣ (потомъ въ Екатеринославѣ), но въ концѣ концовъ московскій университетъ остался единственнымъ. Въ политическихъ дѣлахъ и въ дѣлахъ внутреннихъ затѣвались грандіозные планы, какъ греческій проектъ, въ результатѣ котораго должна была возродиться византійская имперія съ русскимъ властителемъ во главѣ; постройка многочисленныхъ новыхъ городовъ, изъ которыхъ многіе остались только на бумагѣ; въ самыхъ широкихъ размѣрахъ задумана была постройка Екатеринослава, гдѣ Потемкинъ, между прочимъ, хотѣлъ построить церковь, которая равнялась бы храму Петра въ Римѣ и даже „на аршинъ“ длиннѣе его,—но фундаментъ этого храма послужилъ только оградой для небольшой церкви, построенной впослѣдствіи; извѣстно, наконецъ, путешествіе Екатерины II въ Крымъ [1]... Императрица обольщалась этими планами: они льстили не только политическому, но и личному самолюбію; къ сожалѣнію, при этомъ приходилось обманываться относительно дѣйствительнаго положенія вещей. Внѣшней славѣ не отвѣчалъ внутренній порядокъ: современники, свои

---

[1]) Ср., напр., въ Запискахъ Державина изреченія Екатерины: „Ежелибъ я прожила 200 лѣтъ, то бы конечно вся Европа подвержена бъ была Россійскому скипетру“. Или: „Я не умру безъ того, пока не выгоню турокъ изъ Европы, не усмирю гордость Китая и съ Индіей не осную торговлю“. Или: „Кто далъ, какъ не я, почувствовать французамъ право человѣка?“ (Сочиненія, изд. Грота, VI, стр. 632).

и чужеземные, свидѣтельствуютъ объ упадкѣ, о возростающемъ разстройствѣ и злоупотребленіяхъ администраціи. Не оправдывались тѣ благія ожиданія, съ которыми царствованіе было начато и, между прочимъ, одинъ изъ основныхъ вопросовъ, о которомъ нѣкогда Екатерина имѣла весьма опредѣленное мнѣніе, вопросъ крестьянскій, не только не подвинулся къ разрѣшенію, но еще усложнился; обильная раздача деревень, особливо фаворитамъ, увеличила число крѣпостныхъ...

Екатерина II не осталась на высотѣ первоначальныхъ идеаловъ и въ ея отношеніяхъ къ литературѣ и къ просвѣщенію. Ни одного новаго университета не было основано; среднее образованіе остановилось на немногомъ, что̀ сдѣлала Коммиссія о народныхъ училищахъ. Правда, нѣкоторыя изъ существовавшихъ учрежденій поднялись въ силу естественнаго роста; въ Петербургѣ Академія наукъ, кромѣ выписныхъ ученыхъ, имѣла и нѣсколько своихъ замѣчательныхъ питомцевъ, которые въ особенности работали въ ученыхъ экспедиціяхъ для описанія Россіи, составлявшихъ продолженіе давно, еще при Петрѣ, предпринятаго плана; поднялся Московскій Университетъ, но все еще приходилось прибѣгать къ иностранному гувернерству или изрѣдка къ посылкѣ молодыхъ людей для ученья за границу. Наиболѣе замѣчательные дѣятели литературы временъ Екатерины, воспитавшіеся до ея воцаренія, оставались самоучками: таковъ былъ Державинъ и таковъ былъ Новиковъ, который, по свидѣтельству Карамзина, „сдѣлался извѣстенъ публикѣ своимъ отличнымъ авторскимъ дарованіемъ", но „безъ воспитанія, безъ ученія". Немногимъ лучше было и потомъ. Только къ концу царствованія мы встрѣчаемъ людей съ серьезнымъ образованіемъ, какъ, напр., Карамзинъ, воспитавшійся подъ тѣми просвѣтительными вліяніями, какія встрѣтилъ онъ въ кругу Новикова; но масса общества не могла похвалиться образованіемъ. Въ огромномъ большинствѣ, лишь за рѣдкими исключеніями, это было общество наивное во всемъ, что̀ касалось науки, литературы, политики. Оно жило старымъ обычаемъ: дома—преданіями быта, уходя изъ котораго, вслѣдствіе новыхъ вліяній, молодыя поколѣнія могли перенять только поверхностную моду, новый костюмъ, кое-какой французскій разговоръ, слегка познакомиться съ французской книгой и всего чаще сохранить при этомъ тѣ же дѣдовскіе нравы; въ быту общественномъ оно жило старымъ служилымъ обычаемъ, который обострился при Петрѣ В. его требовательными мѣрами, но ослабѣлъ при Петрѣ III вслѣдствіе указа о „вольности дворянства". Мысль политическая не суще-

ствовала: съ давнихъ временъ она была поглощена слѣпою вѣрою въ авторитетъ власти и безпрекословной покорностью; послѣ опыта протестовъ противъ реформы, кончавшихся пытками и казнями, послѣ дворцовыхъ переворотовъ первой половины XVIII-го вѣка, страхъ тайной канцеляріи, „слòва и дѣла", отбивалъ всякое помышленіе о политическихъ дѣлахъ,—для этого не было ни матеріала и никакого òргана: неустройства внутренняго быта сказывались только стихійно—въ религіозномъ броженіи раскола и крестьянскихъ возстаніяхъ. Мыслящій человѣкъ, который задавалъ себѣ вопросъ о наличномъ порядкѣ вещей, долженъ былъ молчать или записать свои мысли только для себя—такъ лишь спустя цѣлое столѣтіе могли быть напечатаны подобныя мысли князя М. М. Щербатова или явиться въ свѣтъ мемуары людей Екатерининской эпохи.

Когда въ эту среду стали проникать теперь западныя,—въ первое время Екатерины особливо французскія,—книги и мысли, понятно, что онѣ могли оказывать въ громадномъ большинствѣ только поверхностное, элементарное вліяніе... Верхъ простодушія была, напримѣръ, увѣренность литературныхъ кружковъ временъ Елизаветы, что у насъ уже тогда готовы были свои Расины и Вольтеры; но это простодушіе продолжалось и теперь, —явился русскій Гомеръ въ лицѣ Хераскова... Исторически, весьма естественно погнались прежде всего за формой, и когда усердными стараніями риѳмотворцевъ наполнены были всѣ рубрики псевдо-классической піитики, подумали, что наша литература имѣла великихъ писателей—на подобіе французской. Не было мысли о томъ, что эта французская литература была плодомъ вѣкового историческаго труда, что эта поэзія имѣла органическіе корни въ жизни общества и его образованіи, что рядомъ съ нею сильно работала научная мысль, что скептицизмъ Вольтера и энциклопедистовъ, фантастическій идеализмъ Руссо не были теоретическимъ капризомъ отдѣльныхъ лицъ, но отраженіемъ внутреннихъ процессовъ цѣлаго общества, что когда, наконецъ, за этимъ движеніемъ послѣдовало заявленіе политическихъ требованій, а наконецъ надвинулся грозный переворотъ, это было только новымъ проявленіемъ давно совершавшагося процесса, которое явилось вовсе не вслѣдствіе философіи, а рядомъ съ нею. У насъ это было совершенно не понято или понято крайне поверхностно, потому что и вообще французская литература понималась съ точки зрѣнія реторики или анекдотической занимательности; даже для немногихъ болѣе серьез-

ныхъ людей оставалось неясно ея жизненное и историческое значеніе.

Этому отвѣчалъ и общій уровень домашней литературы. Извѣстно, что обширная, даже наибольшая часть тогдашней литературы, насколько она касалась современной жизни, государства и общества, была наполнена безусловнымъ панегирикомъ, нерѣдко терявшимъ всякую мѣру вѣроятія, доходившимъ до той степени лести, которую авторитетный историкъ литературы назвалъ прямо пресмыкательствомъ [1]). Это не было то преувеличеніе панегирика, которое понятно въ патріотическихъ увлеченіяхъ Ломоносова или, позднѣе, Державина: всего чаще это была холодная, придуманная реторика, грубая лесть, лишенная и личнаго, и общественнаго достоинства. Изъ этого общаго тона выдѣлялось немногое, что̀ хотѣло говорить о настоящей дѣйствительности и становилось публицистикой или сатирой.

Что̀ же представляла эта первая попытка литературы обратиться къ вопросамъ дѣйствительной жизни? Издатели журналовъ 1768—1769 г. не удовлетворили ожиданіямъ императрицы: они не были такъ услужливы, какъ бы слѣдовало,—но въ дѣйствительности ихъ публицистическіе опыты были весьма элементарны. Первый и существенный вопросъ былъ крѣпостной—сама Екатерина осуждала тогда крѣпостное право, но въ журналахъ дѣлались всѣ оговорки о добрыхъ помѣщикахъ и осуждались только дурные, и не было никакой рѣчи о настоятельной необходимости рѣшенія. Второй вопросъ было неправосудіе, подкупность чиновничества: это также было хорошо извѣстно императрицѣ, но и здѣсь въ журналахъ не было никакого опредѣленнаго взгляда, никакой мысли о средствахъ искорененія зла —однѣ только моральныя сокрушенія. Третьимъ вопросомъ было воспитаніе: сатирики единогласно ополчались противъ французскаго гувернерства, но опять не придумали средства устранить этотъ вопіющій недостатокъ, а именно—размноженія школъ, и среднихъ, и высшихъ... Таковы были главныя темы, которыми занималась публицистика и сатира, начиная съ Сумарокова и до конца XVIII вѣка: давались иногда довольно рѣзкія черты нравовъ, но сущность вопроса не подвигалась. Прибавлялись еще и другія черты быта, которыя усердно разработывала сатира, какъ, напр., невѣжество и суевѣріе людей стараго вѣка; осуждалось подражаніе французскимъ модамъ, изобличались „петиметры“ и „кокетки“,—но, какъ теперь разыскано, и здѣсь са-

[1]) Починъ. Сборникъ моск. Общества любителей россійской словесности. М. 1895, стр. 9 (ст. Тихонравова).

тира была часто только переводная; въ нравоучительныхъ стихахъ и прозѣ затрогивались даже нравы высшаго круга, осуждалась лесть придворныхъ, но обыкновенно въ столь общихъ чертахъ, что нравоученіе можно было спокойно оставить безъ вниманія. О немногихъ исключеніяхъ скажемъ далѣе, и ихъ судьба была вообще болѣе или менѣе фатальная.

Таковъ былъ невинный тонъ общественнаго мнѣнія, насколько оно выражалось въ литературѣ, а другого органа его выраженія не было: это былъ тонъ или безмѣрно льстиваго панегирика, или очень умѣренной и пугливой публицистики. И среди этого тона Екатерина могла обезпокоиться и могла счесть нужнымъ остановить этотъ лепетъ! Еще удивительнѣе, что, встревожившись французскими событіями, которыя дѣйствительно грозили старому порядку вещей на Западѣ, она могла счесть французскую революцію опасною для русскаго общества и начать ту печальную реакцію, которая наполняетъ послѣдніе годы ея царствованія. Нѣкогда она думала, что сѣверъ можетъ поучать западную Европу [1]); въ Россіи, въ ближайшемъ кругу императрицы переводились книги, запрещенныя въ Парижѣ, въ Парижѣ былъ запрещенъ „Наказъ", она поддерживала гонимыхъ философовъ и Энциклопедію, и еще въ 1780 говорила: „chez moi tout le monde a son franc parler" [2]); къ концу восьмидесятыхъ годовъ положеніе совершенно измѣнилось и въ результатѣ она собственными руками разрушала слабые зачатки просвѣщенія, которое прежде хотѣла насаждать.

Таково было настроеніе, подъ гнетомъ котораго должна была существовать литература въ послѣдніе годы XVIII вѣка, а къ нимъ относятся наиболѣе крупныя явленія этой литературы. Чтò не подходило къ нему, испытало суровыя преслѣдованія: такова была судьба Новикова, Радищева, гоненіе противъ трагедіи Княжнина „Вадимъ" (послѣ смерти автора), предостереженія, данныя Фонъ-Визину. Самымъ печальнымъ было то, что, какъ замѣчаютъ даже иноземные историки [3]), эти послѣдніе взгляды стали антецедентомъ къ послѣдующему тяжелому положенію русской литературы: недовѣріе къ просвѣщенію, которое по исторической необходимости было въ своемъ источникѣ чуждымъ, „западнымъ",—осталось до самой второй половины нашего вѣка, а въ сущности донынѣ.

---

[1]) C'est du Nord à présent que nous vient la lumière.
[2]) Письмо къ Гримму отъ 14 мая 1780.
[3]) De Larivière, стр. 223.

Наша литература второй половины XVIII столѣтія производитъ на историковъ двойственное впечатлѣніе. Съ одной стороны она имѣетъ видъ внѣшняго богатства: современники были о ней высокаго мнѣнія, гордясь именами Державина, Фонъ-Визина, Хераскова, Княжнина, Хемницера, Кострова, Петрова, Майкова и пр., и умалчивая о Радищевѣ и Новиковѣ; поклонники этой литературы, особливо въ лицѣ Мерзлякова, дожили почти до Бѣлинскаго. По этому преданію литература XVIII вѣка считалась богатой и тогда, когда наступила новая школа: дѣлалась только оговорка объ условности псевдо-классической формы, которой писатели того времени должны были слѣдовать. Со временъ Пушкина возникаютъ сильныя сомнѣнія, которымъ подвергается достоинство поэзіи не только Ломоносова, но самого Державина. Бѣлинскій началъ свое поприще извѣстнымъ положеніемъ, что у насъ нѣтъ, или не было литературы—до тѣхъ поръ, когда явилось сознаніе ея значенія: истинная литература началась только съ Пушкина и Гоголя. Несомнѣнно, что за литературой XVIII вѣка должно быть оставлено только значеніе предварительной, нерѣдко элементарной школы: это были первые опыты усвоить литературныя формы, внося въ нихъ нѣкоторое содержаніе изъ русской жизни, но содержаніе пока весьма поверхностное. Въ предшествующемъ періодѣ временъ Анны и Елизаветы, русская литература состояла всего изъ трехъ-четырехъ именъ, которыя наполняли своими трудами всѣ рубрики псевдо-классической поэзіи и прозы. Большую долю этой литературы составляла торжественная реторика; высокопарныя оды какъ будто составляли только дополненіе къ придворнымъ празднествамъ, къ иллюминаціи и фейерверку. Если немного было писателей, то былъ не великъ и кругъ читателей, и литература вполнѣ удовлетворяла ихъ скромнымъ запросамъ и немудрому взгляду на вещи.

Въ этихъ условіяхъ литература приносила свою воспитательную пользу. Она обращалась къ весьма смѣшанному обществу, гдѣ еще смутно понимался новый порядокъ вещей, наступавшій послѣ реформы, и она естественно принимала тотъ популярный, реторическій и панегирическій тонъ, которымъ отличалась старинная ода.

„Ода,—замѣчалъ одинъ историкъ той литературной эпохи,—съ нашей современной точки зрѣнія, самая пустая форма лирики, была въ то время едва ли не единственной формой, въ которой поэзія могла заговорить съ успѣхомъ передъ младенчествующимъ русскимъ обществомъ. Общество это, до фанатизма ревнивое къ

вѣрованіямъ, преданіямъ, обычаямъ своихъ отцовъ, было вмѣстѣ съ тѣмъ съ одной стороны въ высшей степени подозрительно: во всемъ новомъ, во всякой новой мысли и словѣ видѣло посягательство на свою святыню, на народную самостоятельность, честь и т. д., съ другой—было крайне невѣжественно, такъ что для него былъ вполнѣ закрытъ міръ истинной науки и истиннаго искусства. Самое лучшее изъ поэтическихъ произведеній, которому не нашли бы достойной цѣны современные знатоки поэзіи, тогда никѣмъ бы не было понято и осталось бы безъ всякаго вниманія. Ода обратила на себя общее вниманіе. Она заговорила о предметахъ, интересныхъ и доступныхъ для всякаго русскаго человѣка того времени, о дѣлахъ и событіяхъ, совершавшихся въ Россіи, и заговорила съ такимъ тактомъ, съ какимъ никто не умѣлъ говорить до нея. По поводу дѣлъ и событій, ода воспѣвала красу русской земли, ея несчетныя богатства, силу и величіе Россіи, могущество русскаго народа, его побѣды, его славное прошедшее, его великую будущность и т. п. Таковы были всѣ оды Ломоносова! Кто изъ русскихъ, къ какой бы партіи ни принадлежалъ, могъ безъ восторга слушать эти чудные звуки, въ первый разъ прогремѣвшіе въ Россіи о ея славѣ, о славѣ русскаго народа?—Правда, ода стояла на сторонѣ реформъ, за новую Россію, за Петра, котораго пѣлъ Ломоносовъ почти въ каждой своей одѣ и, ни мало не обинуясь, называлъ богомъ Россіи [1]... Но ода умѣла и здѣсь принять примиряющій характеръ. Она не оставляла ни для кого никакого сомнѣнія въ томъ, что она привязана къ этимъ реформамъ лишь настолько, насколько онѣ не касаются вѣрованій народа, насколько онѣ даютъ славу и блескъ русскому имени предъ иностранцами. Ода сама пѣла и молитвы къ Богу, и псалмы царя Давида, и величіе и красоту божественную въ природѣ, и грозно вооружалась на иностранцевъ, какъ скоро подозрѣвала ихъ посягательство на вѣру русскую, на преимущества предъ русскими [2]...

„Если мы вспомнимъ, что главное обвиненіе противъ реформъ состояло въ томъ, что онѣ имѣютъ цѣлью ниспровергнуть вѣру отцовъ, затереть русскихъ и все русское, и дать ходъ только

---

[1]) Извѣстные стихи:

Онъ богъ, онъ богъ твой былъ, Россія,
Онъ члены взялъ въ тебѣ плотскіе,
Сошелъ къ тебѣ отъ горнихъ мѣстъ..

[2]) А вы (иностранцы), которымъ здѣсь Россія
Даетъ уже отъ древнихъ лѣтъ
Довольство, вольности златыя...
На то ль склонились къ вамъ монархи...
Чтобъ древній нашъ законъ вредить? и пр.

иностранцамъ и ихъ обычаямъ, то для насъ будетъ понятно, какъ примирительно и пріятно должны были дѣйствовать оды Ломоносова на современное ему русское общество. Не забудемъ при этомъ, что въ Ломоносовской одѣ русскій стихъ являлся въ первый разъ легкимъ, плавнымъ, звучнымъ, который очаровывалъ слухъ каждаго и самъ просился на языкъ“ [1]).

Итакъ, условія времени объясняютъ, почему въ новомъ начинавшемся періодѣ литературы поэзія отличалась этимъ хвалебнымъ настроеніемъ. Ей приходилось объяснять для массы общества реформу, и вмѣстѣ ей нужно было найти доступъ въ высшіе и вліятельные круги, внушить имъ интересъ къ литературѣ, потому что только этимъ путемъ литература могла войти въ составъ образованія и распространиться въ обществѣ, — „а доступъ въ высшіе, но грубые, не тронутые образованіемъ классы общества безъ лести невозможенъ“.

Одною изъ особенностей литературы стало меценатство. Историки обыкновенно видѣли въ немъ утѣшительный фактъ вниманія высшихъ круговъ общества къ интересамъ науки и литературы, даже иногда сожалѣя, что такого меценатства уже нѣтъ въ настоящее время. На дѣлѣ вліяніе меценатства было обоюдное. Высшимъ примѣромъ его было, конечно, меценатство самихъ монарховъ. На первое время покровительство самой власти, находившей и собственный интересъ въ восхваленіи существующаго правленія, поддержало едва возникавшую литературу: вниманіе двора внушало къ ней интересъ въ придворномъ и общественномъ кругу; писатель или ученый становился замѣтнымъ лицомъ въ обществѣ только ради того, что онъ—писатель или ученый; и съ этихъ поръ установляется, хотя смутное на первый разъ, представленіе объ особенномъ правѣ литературнаго слова. Когда импер. Елизавета освобождала Ломоносова отъ законнаго взысканія за буйство—„ради его довольнаго обученія“, или Екатерина возвышала Державина изъ-за его оды, эти небывалые факты должны были производить впечатлѣніе среди общества, въ большинствѣ полуобразованнаго. Меценаты-вельможи слѣдовали примѣру двора: и здѣсь покровительство литературному труду, — который бывалъ „подношеніемъ“,—выражалось протекціей, подарками, доставленіемъ мѣстъ и т. п. Бывали примѣры, когда меценатство приводило и къ прямой общественной пользѣ: таково было, при Елизаветѣ, покровительство Шувалова Ломоносову или Екатерины историческимъ пред-

[1]) „Современникъ“, 1865, октябрь, стр. 248—249, статьи Грицько (Елисѣева).

пріятіямъ Новикова; позднѣе при Александрѣ I таково было покровительство графа Румянцова изслѣдованіямъ о русской древности. Но вообще покровительство не пошло дальше; поощряя почти только панегирикъ, оно не способствовало развитію самостоятельной дѣятельности литературы, или даже препятствовало ему, потому что меценатъ могъ покровительствовать только тому, что̀ подходило къ господствующему тону и льстило самолюбію... Такъ установилось то хвалебное направленіе, которое, начинаясь одами Ломоносова, тянется безъ перерыва въ теченіе всего XVIII вѣка, переходя наконецъ и въ XIX-й. Разница была только въ томъ, что если ода была естественна въ условіяхъ временъ Ломоносова, то въ концѣ вѣка она становилась тѣмъ самымъ „пресмыкательствомъ" о которомъ мы приводили слова Тихонравова. На пространствѣ многихъ десятилѣтій, когда наростало два-три новыхъ поколѣнія, положеніе вещей уже сильно измѣнилось; при всемъ медленномъ развитіи общества возникали новыя, болѣе сознательныя стремленія, и если творцы одъ продолжали „пѣть" все въ томъ же тонѣ, это указывало, что старое меценатство перестало приносить какую-либо пользу и литература на этомъ пути не могла сдѣлать никакихъ успѣховъ въ смыслѣ самостоятельности.

„Отъ этого ложнаго направленія лучшихъ литературныхъ силъ, искусственно поддерживаемаго и поощряемаго,—замѣчаетъ тотъ же историкъ,—наша литература въ своихъ лучшихъ представителяхъ, вь продолженіе всего XVIII столѣтія, почти не имѣла никакого движенія, если не брать во вниманіе языка; она толклась на одномъ мѣстѣ, начиная съ Ломоносова до Карамзина, не возростая нисколько въ своихъ понятіяхъ ни о внутреннемъ, ни о внѣшнемъ достоинствѣ поэтическихъ произведеній. Это зависѣло оттого, что наши литературныя знаменитости возводились въ этотъ титулъ не по дѣйствительному достоинству своихъ произведеній, а по успѣху, который имѣли ихъ творенія въ извѣстномъ кружкѣ,—и въ литературѣ были чистыми временщиками. Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, чтобы наши литературныя знаменитости были люди безъ таланта, напротивъ, большая часть изъ нихъ имѣла замѣчательные таланты; но это именно самое и причиняло тѣмъ большій вредъ литературѣ, ибо тормозило ея развитіе тѣмъ съ большею силою. Не говоря уже о томъ, что, дѣйствуя на ложномъ пути, таланты сами представляли собою силы, погибшія для литературы болѣе или менѣе безплодно; они кромѣ того на тотъ же ложный путь увлекали и второстепенныя дарованія и на томъ

же ложномъ пути держали и развитіе общественное“ [1]). Надо прибавить, что общественное развитіе двигается не одной литературой: оно опредѣляется очень многими условіями и въ свою очередь оказываетъ вліяніе на литературу.

Для того, чтобы литература пріобрѣла самостоятельное значеніе, нужно было, во-первыхъ, чтобы въ самомъ обществѣ нашлись дѣятельныя силы и умственное содержаніе, которыя изъ круга наиболѣе просвѣщенныхъ и даровитыхъ людей могли бы пробуждать общественное сознаніе. Но кругъ образованныхъ людей былъ еще слишкомъ немногочисленъ, и у него не было возможности никакой общественной дѣятельности (впослѣдствіи попыткой создать такую дѣятельность были издательскія, школьныя и масонскія предпріятія Новикова); было скудно научное содержаніе, какое могло бы дать этой дѣятельности прочную опору. Наконецъ, нужно было, чтобы въ обществѣ или по крайней мѣрѣ въ наиболѣе образованномъ кругу создалось понятіе о самостоятельномъ значеніи литературы, которая занимала бы не служебную роль писательства, дѣйствующаго только по приказу, а была бы выраженіемъ общественнаго сознанія и свободнаго поэтическаго творчества. Такое пониманіе литературы составлялось очень медленно. По мнѣнію Тредьяковскаго, который однако усиленно заботился объяснить русскому обществу необходимость и красоту поэзіи, эта поэзія есть только „утѣшная и веселая забава“, что произведенія ея суть „Фрукты и Конфекты на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ“. По взгляду Державина, поэзія есть конечно „даръ боговъ“, но не черезъчуръ важный; онъ радуется, обращаясь къ Фелицѣ:

Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ;—

за своимъ собственнымъ даромъ онъ признаетъ только служебную роль: его поэзія имѣетъ цѣну только потому, что прославляетъ Екатерину.

Поэзія, которую можно было (на пространствѣ пятидесяти лѣтъ) сравнивать съ конфектами и лимонадомъ, была, конечно, не настоящая поэзія; это было словесное мастерство, на которое покушался даже человѣкъ совсѣмъ лишенный дарованія, какъ Тредьяковскій. Державинъ владѣлъ несомнѣннымъ талантомъ; но грубый взглядъ на поэзію, которую можно было употребить при

[1]) Тамъ же, ноябрь, стр. 142—143.

случаѣ для практическихъ дѣлъ, сказывается у него безъ малѣйшихъ недоумѣній. Онъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что когда ему надо было для служебныхъ видовъ „достигнуть до фаворита“ (Зубова) и это оказалось не легко, то „не осталось другого средства, какъ прибѣгнуть къ своему таланту“, т.-е. написать хвалебную оду (это было „Изображеніе Фелицы“). Въ другой разъ онъ навлекъ на себя неудовольствіе императора Павла: въ крайнемъ огорченіи „наконецъ вздумалъ онъ безъ всякой посторонней помощи возвратить къ себѣ благоволеніе монарха посредствомъ своего таланта“. Онъ опять написалъ оду и—достигъ желаемаго...

Такой большой писатель, какъ Фонъ-Визинъ, уже близко къ концу XVIII вѣка, все еще не видитъ самостоятельнаго значенія литературы. Въ „Челобитной Россійской Минервѣ отъ россійскихъ писателей“ онъ жалуется на знатныхъ и сильныхъ невѣждъ, сдѣлавшихъ будто бы постановленіе—„всѣхъ, упражняющихся въ словесныхъ наукахъ, къ дѣламъ не употреблять“ или отрѣшить, и проситъ Минерву отмѣнить это незаконное постановленіе, „насъ же, яко грамотныхъ людей, повелѣть по способностямъ къ дѣламъ употреблять, дабы мы, служа россійскимъ музамъ на досугѣ, могли главное нашей жизни время посвятить на дѣло службы вашего величества“.

Какъ упорно держались подобные взгляды въ кругу самихъ писателей, можно судить между прочимъ по удивительной живучести оды: хотя она давно уже вызывала насмѣшки своими крайностями (еще Сумароковъ писалъ пародіи на оды Ломоносова), удерживала однако твердо свое мѣсто въ литературѣ и дожила до XIX-го вѣка. Писатель Карамзинскаго періода, И. И. Дмитріевъ, прославился нѣкогда своей сатирой „Чужой толкъ“ (1795), которая осмѣивала плохихъ одописателей; историкъ литературы находитъ, что эта сатира была „самымъ ловкимъ пораженіемъ хвалебной лирики“, что она „съ большимъ остроуміемъ и вѣрностью изобразила пріемы и свойства громкихъ одъ, выходившихъ изъ-подъ пера бездарныхъ риѳмоплетовъ“ [1]), но самъ Дмитріевъ въ сущности вовсе не отвергаетъ ни оды, ни ея направленія; онъ осуждаетъ только плохихъ стихотворцевъ:

Желалъ бы я, чтобъ Фебъ хотя во снѣ имъ рекъ:
Кто въ громкій славою Екатерининъ вѣкъ
Хвалой ему сердецъ другихъ не восхищаетъ
И лиры сладкою слезой не орошаетъ,
Тотъ брось ее, разбей и знай: онъ не поэтъ,—

[1]) Галаховъ, „Исторія русской словесности“, изд. 2-е. Спб., 1880. II, стр. 349.

и для большей ясности прибавляетъ примѣчаніе, что въ сатирѣ осуждаются не всѣ, а только нѣкоторыя оды, „но читатели и безъ сего замѣчанія должны быть увѣрены, что произведенія Хераскова, Державина, Петрова не въ числѣ оныхъ“. Что̀ былъ Петровъ, дальше увидимъ.

Въ другихъ областяхъ литературы находимъ то же настроеніе: когда писатель обращается къ дѣйствительной жизни, рѣдко встрѣчаемъ правдивое ея изображеніе, не говоря объ истинной поэзіи, которая была бы въ ней подмѣчена и искренно выражена. Была, правда, сатира и комедія, но онѣ ограничивались тѣмъ небольшимъ кругомъ предметовъ, который былъ для нихъ допущенъ, потому что съ оффиціальной точки зрѣнія былъ болѣе или менѣе безразличенъ: дурные помѣщики, лихоимцы, судьи и подьячіе, глупые франты, такія же щеголихи, у которыхъ принадлежностью французскаго воспитанія является непремѣнно безнравственность; изъ людей стараго вѣка—невѣжды, ханжи, суевѣры и т. п. Всѣ эти темы излагались безчисленное множество разъ въ разныхъ варіаціяхъ, доводились (еще со временъ Сумарокова) до чистой каррикатуры. Трудно сказать, имѣла ли какое-нибудь дѣйствіе эта сатира; можно думать, что имѣла немного,—самое распространеніе литературы было не велико; а главное, во всѣхъ указанныхъ случаяхъ сатира или комедія не доводились до конца: подобныя явленія несомнѣнно существовали, но писатель не объяснялъ, откуда происходитъ это зло и чѣмъ бы оно могло быть исправлено. Писатель, карая эти общественные недостатки, прибѣгалъ къ вмѣшательству закона (какъ Фонъ-Визинъ въ „Недорослѣ“, гдѣ представителемъ закона является Правдинъ) или призывалъ къ добродѣтели (какъ представляетъ ее Стародумъ); но въ одномъ случаѣ было извѣстно, что на дѣлѣ законъ всего чаще безсиленъ услѣдить за всѣми вопіющими злоупотребленіями, а въ другомъ было ясно, что добродѣтельныя лица комедіи—выдуманныя. Зритель, кокъ говорятъ, съ удовольствіемъ слушалъ рѣчи Стародума, потому что находилъ въ нихъ нравственное удовлетвореніе, голосъ правды среди лжи и безправія, но онъ не зналъ Стародума въ жизни: неизвѣстно было, гдѣ могъ воспитаться такой характеръ, какая школа могла его приготовить, на что̀ онъ могъ опереться въ житейской борьбѣ среди испорченнаго общества и испорченной администраціи,—рѣчи Стародума были чисто книжныя нравоученія, и новѣйшіе изслѣдователи нашли, что ихъ источникъ находится у тѣхъ же французскихъ, частію нѣмецкихъ, моралистовъ того времени.

Такимъ образомъ мысль объ общественныхъ предметахъ оставалась недосказанной, а всего чаще и недодуманной, поэтому возможенъ былъ такой выводъ о нашей литературѣ XVIII вѣка: „Органическаго роста напрасно бы мы стали искать въ поэзіи XVIII столѣтія. Служа не дѣлу общественнаго развитія, а сдѣлавшись орудіемъ забавы или исключительныхъ цѣлей въ рукахъ небольшого кружка лицъ, поэзія, естественно, вмѣстѣ съ тѣмъ должна была сдѣлаться поэзіею минуты. Минутою опредѣлялось ея содержаніе и минутою исчерпывалось все ея значеніе. Поэтъ нисходилъ на степень занимательнаго забавника, ловкаго комплиментера или исправнаго чиновника, а поэзія дѣлалась орудіемъ прихоти и произвола. Содержаніе ея опредѣлялось чисто внѣшними, случайными требованіями минуты, безъ всякаго отношенія къ прошедшему, и теряло всякую историческую почву. Одинъ поэтъ нисколько не опредѣлялся другимъ, предшествующимъ ему, и не условливалъ собою слѣдующаго за нимъ ни въ какомъ отношеніи, исключая развѣ языка и версификаціи. Вотъ почему наша поэзія XVIII вѣка представляетъ собою чисто механическій аггрегатъ словесныхъ произведеній, который не имѣетъ никакой внутренней связи, и произведенія, ранѣе явившіяся, не даютъ никакого ключа къ уразумѣнію какъ потребности, такъ и достоинства послѣдующихъ. Послѣ Ломоносова до Карамзина нѣтъ почти никакого поступленія впередъ ни въ содержаніи, ни въ формѣ поэтическихъ произведеній“ [1].

Это историческое впечатлѣніе заслуживаетъ вниманія,—хотя требуетъ оговорки. Если поэзія и не оказывала большого развитія, то исторически немалое значеніе имѣлъ успѣхъ ея во внѣшней обработкѣ: съ одной стороны, расширялась область литературной формы, съ другой — языкъ все больше вырабатывалъ свои средства, чтобы стать наконецъ орудіемъ для болѣе широкаго содержанія. Въ этомъ отношеніи успѣхъ несомнѣненъ, когда къ концу временъ Екатерины могъ образоваться писатель, какъ Карамзинъ, а вслѣдъ за Карамзинымъ уже идетъ Жуковскій. Во-вторыхъ, развитіе литературы заключалось не въ одной поэзіи. Какъ ни были слабы тогдашнія попытки общества опредѣлить свое міровоззрѣніе, свои взгляды на политическую и общественную дѣйствительность, эти попытки были. Правда, многое изъ того, что̀ думало общество объ этихъ предметахъ, не могло быть высказано въ печати и въ теченіе цѣлаго столѣтія оставалось подъ спудомъ, какъ сочиненія князя М. М.

[1] Тамъ же, стр. 144.

Щербатова, какъ многочисленные мемуары изъ временъ Екатерины, но по крайней мѣрѣ теперь подобныя произведенія являются историческимъ свидѣтельствомъ, что общественная мысль не оставалась въ бездѣйствіи. Другимъ свидѣтельствомъ остается дѣятельность Новикова; книга Радищева указывала также, что литература того времени могла бы не казатьси столь безсодержательной, еслибы ея внѣшнія условія были болѣе благопріятны.

Первые шаги литературы XVIII вѣка состояли въ ученической подражательности. Заимствовали не только внѣшнія литературныя формы, но и самое содержаніе: ода, трагедія, комедія, комическаи опера, сатира и всякія мелкія формы псевдо-классической піитики составлялись по французскимъ (изрѣдка нѣмецкимъ) образцамъ, и въ нихъ влагалось или цѣликомъ чужое содержаніе (какъ въ трагедіяхъ съ классическими сюжетами), или подобіе русскаго содержанія (какъ въ трагедіяхъ Сумарокова изъ русской исторіи или въ подобныхъ эпопеяхъ Хераскова). Ода наполнялась съ самаго начала панегирикомъ на русскія темы, какъ сатира—обличеніемъ русскихъ подьячихъ и т. п.

Изъ тѣхъ литературныхъ формъ, которыя были теперь восприняты въ русскую литературу, драма должна была быть особенно близка общественному интересу по сценическому дѣйствію, и изъ драмы—комедія. Выше упомянуто, какимъ успѣхомъ пользовались трагедіи Сумарокова: русскаго, даже въ пьесахъ на „русскія“ темы, было очень мало или не было совсѣмъ, но въ нихъ дѣйствовали общія изображенія страстей, сценическій эффектъ въ исполненіи талантливыхъ актеровъ. Первое воспитаніе вкуса дано было въ этомъ направленіи французской трагедіей, и у русскихъ читателей и зрителей образовалась иллюзія, что напр. въ трагедіяхъ Сумарокова они имѣли русскую драму. Не чувствовали потребности въ историческо-бытовой правдѣ,—тѣмъ болѣе, что историческая правда была еще невѣдома.

Комедія не имѣла бы, конечно, смысла безъ предметовъ, взятыхъ изъ русской жизни; но и здѣсь чужіе образцы постоянно давали себя чувствовать. Первыя комедіи, которыя написаны были Сумароковымъ, были совершенно безобразны; онъ бралъ цѣликомъ не только лица французской комедіи съ ихъ именами (Пасквинъ, Леандръ, Арликинъ, Криспинъ и т. п.!), но даже ихъ обстановку, а рядомъ съ ними ставилъ русскихъ подьячихъ или щеголей; по французскому примѣру, комедія зачастую вертѣлась на плутоватомъ слугѣ или субреткѣ и т. п., и такія лица

еще долго послѣ Сумарокова являлись необходимой подмогой для проведенія комическаго дѣйствія.

Но уже вскорѣ возникли первыя требованія русскаго содержанія. Одинъ изъ писателей 60-хъ годовъ XVIII вѣка, Лукинъ, понималъ уже нелѣпость комедіи Сумарокова, грубо скопированной съ французскихъ пьесъ, и удивлялся, какъ не „сдѣлаютъ отвращенія“ подобныя творенія. „Кажется, — говорилъ онъ, — что въ зрителѣ, прямое понятіе имѣющемъ, къ произведенію скуки и сего довольно, если онъ однажды услышитъ, что русской подъячей, пришедъ въ какой ни есть домъ, будетъ спрашивать: Здѣсь ли имѣется квартира господина Оронта? Здѣсь, скажутъ ему: да чего жъ ты отъ него хочешь? Свадебной написать контрактъ, скажетъ въ отвѣтъ подъячей. Сіе вскружитъ у знающаго зрителя голову. Въ подлинной россійской комедіи, имя Оронтово, старику данное, и написаніе брачнаго контракта подъячему, вовсе несвойственно. Однако иные говорятъ, что и сіе имъ не противно. Я же чрезмѣрно дивлюсь, какъ можетъ русскому человѣку, дѣлающему подлинную комедію, придти въ мысли включить въ нее нотаріуса или подъячаго, для сдѣланія брачнаго контракта, вовсе намъ неизвѣстнаго. Первой у насъ только векселя протестуетъ; а другой только по должности своей дѣла въ томъ приказѣ исправляетъ, откуда даютъ ему жалованье. И какая связь тутъ будетъ, если дѣйствующія лица такъ наимянуются: Геронтъ, Подъячей, Фонтицидіусъ, Иванъ, Финета, Криспинъ и Нотаріусъ. Не могу проникнуть, откудова могутъ притти сіи мысли, чтобы сдѣлать такое сочиненіе. Это дѣло по истинѣ странное; а то еще страннѣе, чтобы почитать его правильнымъ. Я мню, что не можно русскому писателю сплести толь несвойственное сочиненіе“ [1]). Но авторитетъ Сумарокова былъ еще такъ великъ, что Лукинъ прослылъ „хулителемъ славныхъ сочиненій“.

Прошли десятки лѣтъ, за комедію взялся писатель и съ бо̀льшимъ литературнымъ пониманіемъ и съ несомнѣннымъ комическимъ талантомъ,—и все-таки не могъ обойтись безъ подражательности и заимствованій: такъ была еще велика надобность въ чужой помощи. Въ самой, повидимому, русской комедіи, какъ „Недоросль“, нравоучительныя сентенціи Стародума и Милона заимствованы, между прочимъ, изъ Лабрюйера, Дюфрени, Дюкло, изъ „Слова похвальнаго Марку Аврелію“ Томаса (ранѣе переведеннаго Фонъ-Визинымъ), изъ французскаго „Dictionnaire des

[1]) Сочиненія и переводы В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова, Спб. 1868, стр. XLVII—LVI, 118—119 и др.

synonimes", но даже извѣстное разсужденіе г-жи Простаковой о географіи взято изъ повѣсти Вольтера. Еще больше заимствованій находится у другого писателя, который пользовался въ XVIII вѣкѣ большой славой, у Княжнина: это былъ человѣкъ не лишенный дарованія, съ большой любовью къ литературѣ, желавшій давать своимъ произведеніямъ идейное содержаніе, но тѣмъ не менѣе онъ былъ не въ силахъ освободиться отъ французскихъ образцовъ, какъ Мольеръ, Детушъ, Бомарше, Брюйэ; онъ приноровлялъ ихъ къ русскимъ нравамъ,—но комедіи все-таки оставались натянуты. Къ концу вѣка комедія значительно оживляется: въ числѣ изображаемыхъ лицъ являются дѣйствительно русскіе типы, сильнѣе пробивается народный языкъ, иногда даже очень характерный,—начиная съ Аблесимова. Это вступленіе народной стихіи въ комедію и комическую оперу считали обыкновенно признакомъ стремленія создать, наконецъ, національную драму; такая забота о выработкѣ русскаго содержанія, безъ сомнѣнія, нарождалась, но, съ другой стороны, и здѣсь была доля вліянія французскихъ образцовъ... Ранѣе, надо предполагать вліяніе итальянскаго фарса, а затѣмъ отразились новыя направленія французской драмы, гдѣ около половины столѣтія совершался сильный переворотъ: еще держалась героическая трагедія въ строгомъ псевдо-классическомъ стилѣ, но стремленіе сблизить сцену съ жизнію ввело и въ концѣ концовъ утвердило тотъ средній родъ драмы, который называли буржуазной комедіей, слезной драмой; въ комедію все больше проникали живые вопросы, волновавшіе общественное мнѣніе, какъ, напримѣръ, вопросъ сословныхъ отношеній, а въ концѣ-концовъ явился и вопросъ о народѣ съ той идеализаціей, которая, съ одной стороны, напоминала идиллію, а съ другой, приготовляла къ вопросу о политическомъ значеніи народа. Какъ проникла къ намъ буржуазная драма и „Шакеспиръ", такъ могли проникнуть и отголоски тенденціозной драмы, изображавшей народную жизнь... Послѣднимъ предѣломъ, какого достигла комедія прошлаго вѣка, была „Ябеда" Капниста—на ту тему, которая занимала русскую сатиру и комедію въ теченіе всего XVIII-го вѣка, вещь по своему времени смѣлая и яркая.

Во второй половинѣ столѣтія въ трагедіи наибольшей славой пользовались произведенія Княжнина, отчасти на старыя классическія темы, отчасти на русскія. Подражаніе французской и итальянской псевдо-классической драмѣ доходитъ до простого повторенія этихъ образцовъ; въ „Ярополкѣ и Владимірѣ" скопирована „Андромаха" Расина, во „Владисанѣ"—„Меропа" Воль-

тера. Новый драматургъ нисколько не подвинулъ русскую трагедію: отъ Сумарокова отличаетъ его только бо́льшая отдѣлка языка и стиха...

Но этотъ „переимчивый Княжнинъ“, какъ давно опредѣлилъ его Пушкинъ, хотя былъ не самостоятельный писатель, но былъ достойный человѣкъ. Онъ служилъ при Бецкомъ, пользовался его довѣріемъ и принималъ участіе въ его работахъ: одушевленный тѣми идеями, какія заявляла Екатерина въ первые годы своего правленія, онъ былъ ея искреннимъ поклонникомъ, потому что въ этомъ направленіи ея дѣятельности ожидалъ великихъ благъ для отечества. Это настроеніе отразилось на выборѣ идей, какія излагалъ онъ въ своихъ трагедіяхъ: ему одинаково служили здѣсь источникомъ и „Наказъ“, и французская трагедія; это было высокое представленіе о человѣческомъ достоинствѣ, объ обязанностяхъ гражданина къ своему отечеству, и, наконецъ, обязанностяхъ правителя къ народу. Княжнинъ постоянно возвращался къ этимъ темамъ, и въ особенности производили тогда впечатлѣніе „Титово Милосердіе“, писанное по Метастазію и Дю-Беллуа, и трагедія „Росславъ“, гдѣ, какъ онъ говоритъ въ посвященіи княгинѣ Дашковой, „не обыкновенная страсть любви, которая на Россійскихъ театрахъ только одна была представляема, но страсть великихъ душъ, любовь къ отечеству изображена“. Современныя свидѣтельства говорятъ о необыкновенномъ успѣхѣ трагедій Княжнина. Когда исполнялось „Титово Милосердіе“, то, по словамъ біографіи, „ни одного разу занавѣсь безъ того не опускалася, чтобы зритель не провожалъ актеровъ съ наполненными слезъ глазами“. О „Росславѣ“ та же біографія говоритъ, что „во время представленія сей трагедіи многочисленная публика съ восторгомъ приняла несравненное произведеніе пера великаго стихотворца, и можно сказать, что каждый стихъ сопровождался громкими рукоплесканіями“.

То подражаніе, въ которомъ видятъ столь великій недостатокъ прошлаго столѣтія, было органически необходимо, какъ извѣстная ступень общественнаго воспитанія. Было бы дѣломъ первой важности, чтобы власть, которой только и могла принадлежать вся инициатива, озаботилась—вступая на европейскій путь—основаніемъ школъ; этого не было (или было только въ малыхъ размѣрахъ),—потому что самая мысль о необходимости широкой школы была бы дѣломъ такого серьезнаго пониманія, до какого еще не дошли; а если этого не было, если для установленія даже элементарныхъ понятій должна была работать едва возникшая литература, то она по необходимости должна

была пройти тѣ же ступени школы и естественно становилась элементарной, ученической, подражательной. Такова она и была отъ Ломоносова до Карамзина и даже послѣ. Но литературная школа находила ревностныхъ учениковъ. Съ конца XVII вѣка не только государство видѣло необходимость реформы, но и въ средѣ общества была почувствована все болѣе сильная потребность въ образованіи. Самоучки временъ Петра, какъ Татищевъ, стремились уже, сколько могли, овладѣвать ученіями тогдашней науки на историческомъ распутьѣ, на которое вступилъ тогда русскій народъ. Вскорѣ потомъ „вѣкъ философіи" отразился и у насъ новымъ возбужденіемъ мысли: если уже старая псевдоклассическая драма заключала въ себѣ извѣстное популярное поученіе, то „философская" литература ставила религію, мораль, политику основными вопросами своихъ изслѣдованій. Само собою разумѣется, что „философія", по самымъ размѣрамъ нашей образованности, могла быть понята у насъ только крайне поверхностно, какъ пресловутое „волтеріанство"; но въ лучшихъ умахъ и характерахъ она будила собственную мысль, ставила нравственные и общественные вопросы въ средѣ самой русской жизни. Такимъ образомъ „подражаніе" имѣло свое несомнѣнное просвѣтительное значеніе, восполняя недостатокъ школы и отсутствіе общественности. Русскій читатель роднился съ новымъ содержаніемъ и искалъ ему примѣненій въ собственной средѣ. Въ началѣ второй половины вѣка примѣръ подала сама Екатерина, и цѣлый рядъ писателей, отъ Сумарокова до Карамзина, находилъ въ „Наказѣ" опору для своихъ назиданій. Литература переполнена нравственными разсужденіями: ода, сатира, трагедія, комедія (въ рѣчахъ „добродѣтельныхъ" лицъ) говорятъ о человѣческомъ достоинствѣ, о добродѣтели, о долгѣ гражданъ къ отечеству и самихъ царей къ ихъ подданнымъ, о справедливости и милосердіи и т. д. И это было не только въ книгѣ: среди болѣе образованныхъ людей подобные интересы начинаютъ считаться признакомъ просвѣщенія, конечно, являясь иногда только на показъ,—какъ, напримѣръ, тѣ высокія чувства, которыми обмѣнялись Державинъ, однажды съ враждовавшимъ къ нему гр. Панинымъ, а въ другой разъ съ кн. Вяземскимъ, при чемъ даже проливались слезы, но послѣ того (какъ замѣчаетъ самъ Державинъ въ своихъ запискахъ) и тотъ и другой остались, однако, его злѣйшими врагами... Высокія чувства были съ обѣихъ сторонъ комедіей, но она уже считалась нужной для нравственнаго приличія...

Но въ этомъ топѣ нравственныхъ требованій дѣйствовали и

воспитывались и люди болѣе серьезнаго настроенія, и изъ этихъ просвѣтительныхъ возбужденій выросла дѣятельность Новикова, на этомъ нравственномъ содержаніи образовался Карамзинъ.

Остановимся на нѣкоторыхъ главнѣйшихъ явленіяхъ той эпохи.

Послѣ журнала 1768 года Екатерина не оставила литературныхъ занятій. Съ конца шестидесятыхъ годовъ она написала длинный рядъ комедій, комическихъ оперъ, историческихъ драмъ; въ восьмидесятыхъ приняла дѣятельное участіе въ „Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова“; наконецъ, написала извѣстныя нравоучительныя сказки о царевичѣ Хлорѣ и царевичѣ Февеѣ, сочиненія о воспитаніи. О своихъ литературныхъ трудахъ она говорила скромно, какъ о бездѣлкахъ, сознавалась въ незнаніи русской грамоты (ея сочиненія выправлялись другими, а стихи въ ея пьесахъ писалъ Храповицкій, Елагинъ и другіе), хотя при нѣкоторой неправильности стиля у нея было большое знаніе самаго языка и именно народнаго [1]; но въ существѣ она считала ихъ дѣломъ серьезнымъ, потому что хотѣла дѣйствовать ими воспитательно на общество. Въ 1772 году Новиковъ началъ изданіе „Живописца“, въ которомъ сама Екатерина приняла нѣкоторое участіе. Одинъ изъ историковъ тогдашней литературы считаетъ возможнымъ утверждать, что, несмотря на прекращеніе „Трутня“, Екатерина до извѣстной степени подпала потомъ вліянію Новикова [2]. Трудно сказать, за недостаткомъ положительныхъ извѣстій, какъ все это могло происходить: по крайней мѣрѣ при содѣйствіи императрицы Новиковъ въ семидесятыхъ годахъ получалъ старыя рукописи для предпринятаго имъ тогда историческаго изданія. Но хотя бы Екатерина дѣйствительно измѣнила свое отношеніе къ Новикову, ея собственная сатира сохранила вообще свой прежній характеръ, уклончивый и неясный, которому она измѣняла только въ тѣхъ случаяхъ, когда ей хотѣлось выразить въ сатирѣ или въ комедіи свое личное раздраженіе.

Ея комедіи направлены вообще противъ нравственныхъ не-

---

1) „Ты не смѣйся надъ моей русской орѳографіей (говорила она своему статсъ-секретарю Грибовскому): я могла учиться русскому языку только изъ книгъ, безъ учителя, и это самое причиною, что я плохо знаю правописаніе.—Впрочемъ (замѣчаетъ Грибовскій), государыня говорила по-русски довольно чисто и любила употреблять простыя и коренныя русскія слова, которыхъ множество знала“ (Записки объ импер. Екатеринѣ Великой, Грибовскаго. Изд. 2-е. М. 1864, стр. 25),—и это было справедливо, потому что множество подобныхъ словъ разбросано въ ея сочиненіяхъ, именно въ пьесахъ и въ „Быляхъ и небылицахъ“.

2) Незеленовъ, „Новиковъ“, стр. 190 и далѣе.

достатковъ: ханжества, суевѣрія, дворянской расточительности, невѣжества, подражанія французскимъ обычаямъ, страсти къ сплетнямъ и т. п., все—темы, которыя множество разъ разработывались тогдашней литературой. Эта комическая сатира сохранила прежній характеръ журнальной сатиры: осмѣивались общія слабости безъ всякаго опредѣленнаго указанія на то, откуда онѣ происходили и чѣмъ можно было бы имъ противодѣйствовать. Другое дѣло тѣ нѣсколько пьесъ, которыя были направлены противъ „мартинистовъ“ (такъ называли иногда масоновъ). Это было опредѣленное явленіе, и отношеніе къ нему Екатерины было категорически отрицательное; комедіи: „Шаманъ сибирскій“, „Обманщикъ“, „Обольщенный“, указываютъ отношеніе Екатерины къ масонамъ въ первой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ. Здѣсь еще не было политическихъ подозрѣній, но ея трезвому, холодному уму противно было пристрастіе къ такъ называемымъ тайнымъ наукамъ, гдѣ она предполагала только обманщиковъ и обольщенныхъ. Екатерина давала, наконецъ, тексты для комическихъ оперъ: въ одной изъ нихъ: „Горе богатырь Косометовичъ“, предполагаютъ сатиру на короля шведскаго; въ другихъ, какъ „Новгородскій богатырь Боеслаевичъ“, „Храбрый и смѣлый витязь Ахридѣичь“, „Федулъ съ дѣтьми“, она пользовалась матеріаломъ народной поэзіи, при чемъ иногда цѣликомъ помѣщены въ нихъ народныя пѣсни. Наконецъ, Екатерина написала двѣ драмы изъ древней русской исторіи; она называла ихъ „историческими представленіями“ и „подражаніемъ Шакеспиру, безъ сохраненія театральныхъ обыкновенныхъ правилъ“; здѣсь въ драматической формѣ переданы тѣ взгляды, какіе составились у нея при изученіяхъ русской исторіи.

Въ 1783 году основанъ былъ „Собесѣдникъ любителей россійскаго слова“. Екатерина помѣстила въ немъ, во-первыхъ, „Записки касательно россійской исторіи“, занимающія почти половину журнала, затѣмъ „Были и небылицы“.

Какъ выше замѣчено, Екатерина утверждала, что не придаетъ значенія своимъ сочиненіямъ, что онѣ посредственны, что она находитъ въ нихъ только развлеченіе и забаву. Такъ она говорила въ письмѣ къ издателю „Живописца“, въ письмахъ къ Вольтеру и Гримму. Что это бывало для нея забавой, можно судить по „Былямъ и небылицамъ“, которыя сама она изображала какъ шутливую болтовню, подсмѣиваясь надъ тѣми, кому видѣлось въ нихъ что-то глубокое. Въ письмахъ къ Вольтеру, которому Екатерина посылала французскій переводъ своихъ комедій, она замѣчала, что у автора много недостатковъ, что

онъ не знаетъ театра, но характеры взяты изъ жизни и выдержаны, и что автору хорошо извѣстенъ народъ. Писательство давалось ей легко, часто бывало небрежно,—но хотя она называла это забавой, она цѣнила свои труды довольно высоко. Она много разъ съ видимымъ удовольствіемъ пишетъ о нихъ къ Гримму, разсказываетъ объ успѣхѣ своихъ комедій на сценѣ, о шуткахъ, которыя помѣщала въ „Быляхъ и небылицахъ“, посвящаетъ его въ свои историческіе труды и т. п. [1]), и ея сочиненія продолжаютъ давно начатую публицистику. Въ главномъ, это тѣ же мысли, усвоенной нѣкогда философской морали, но извѣстнымъ образомъ съуженныя для русскаго общества: рядомъ съ разсужденіями о человѣческомъ достоинствѣ, о свободѣ, справедливости, постоянно чувствуется настоятельная власть и требованіе повиновенія. Эта послѣдняя черта съ теченіемъ времени выступаетъ все болѣе замѣтно. Въ параллель тому, какъ въ ней все сильнѣе развивалось самолюбіе правительственнаго авторитета, она нетерпѣливо относилась ко всякой критикѣ; все сдѣланное ею было хорошо; если есть недовольные, то это или дурные люди, или фантазеры; она хочетъ поощрять просвѣщеніе, но желаетъ, чтобы люди, ему служащіе, шли именно по той самой дорогѣ, какую она указывала, и не осмѣливались отъ нея уклоняться. Ея комедіи, направленныя противъ масоновъ, внушены не только упомянутой антипатіей къ тайнымъ наукамъ, но и нетерпимостью къ движенію, возникавшему мимо ея воли: въ самомъ дѣлѣ, въ комедіяхъ не только осмѣивается пристрастіе къ таинственному, къ алхиміи и магіи, но осуждается и филантропія масоновъ, источника которой она не понимала.

„Записки касательно россійской исторіи“ представляютъ собственно лѣтописный сводъ, въ составленіи котораго участвовали московскіе профессора Барсовъ и Чеботаревъ и который доведенъ въ „Собесѣдникѣ“ до 1224 года, а въ отдѣльномъ изданіи до 1276. Нѣкоторыя мѣста лѣтописи внесены даже цѣликомъ безъ перемѣны языка; тѣмъ не менѣе этотъ пересказъ лѣтописи имѣетъ свою опредѣленную окраску. Поводомъ къ составленію „Записокъ“ было то, что императрица хотѣла опровергнуть клеветы иностранныхъ писателей на русскій народъ и его исторію, опровергнуть изображеніемъ его древнихъ доблестей: она дѣлала это довольно тонко—не расточая голословныхъ похвалъ, а только сопоставляя русскую исторію съ современными событіями у другихъ народовъ. Въ предисловіи она замѣчала,

[1]) См., напр., письма къ Гримму 1785, 3 апрѣля; 1786, 17 февраля, 17 апрѣля, 23 іюля, 24 и 30 сентября, 12 октября; 1787, 1 января и пр.

что при такомъ сравненіи „безпристрастный читатель усмотритъ, что родъ человѣческій вездѣ и по вселенной единакія имѣлъ страсти, желанія, намѣренія, и къ достиженію употреблялъ нерѣдко единакіе способы“. Императрица и раньше предпринимала подобный трудъ защиты русскаго народа отъ нареканій иноземныхъ писателей, которые дѣйствительно нерѣдко простирали слишкомъ далеко свои представленія о варварствѣ и приниженности русскаго народа, забывая иногда, что положеніе ихъ собственнаго народа (въ тѣ времена) бывало не лучше. Такъ написала она опроверженіе книги аббата Шаппа, обличая его легкомысліе. Но Екатерина слишкомъ перетянула вѣсы въ другую сторону: можно видѣть, что защита русскаго народа была для нея прямо вопросомъ личнаго самолюбія; осужденіе его казалось косвеннымъ, а иногда открытымъ упрекомъ правленію, но ошибокъ правленія она никакъ не желала признавать. Подобнымъ образомъ, въ Запискахъ о русской древности она, хотя стараясь сохранять факты, умѣетъ придать всему благовидную, даже блестящую форму. Настоящій характеръ русской древности остался не понятъ: Екатерина, какъ долго спустя самъ Карамзинъ, видѣла монархію еще во времена Рюрика и авторитетъ правителей выставляла всегда ярче, чѣмъ говоритъ сама старая лѣтопись. Между прочимъ княгинѣ Ольгѣ приписывается та заслуга, что она привела въ общее употребленіе славянскій языкъ, и при этомъ замѣчается: „Извѣстно, что народы и языки народовъ мудростію и тщаніемъ вышнихъ правителей умножаются и распространяются. Каковъ государь благоразуменъ о чести своего народа и языка прилеженъ, потому и языкъ того народа процвѣтетъ. Многіе народные языки исчезли отъ противнаго сему“. Она признаетъ „суровость вѣка“, которой принадлежатъ многія мрачныя событія, но все благополучіе и особливо просвѣщеніе приходитъ къ народамъ отъ правителей; ошибки послѣднихъ происходятъ обыкновенно отъ того, что они слушали совѣты коварныхъ вельможъ и ласкателей. Въ удѣльномъ періодѣ великій князь изображается полновластнымъ государемъ, а удѣльные князья—его подданными, которымъ онъ раздаетъ владѣнія; о новгородскомъ вѣчѣ не упоминается, и т. д. Несомнѣнно, что кромѣ обличенія превратныхъ сужденій иностранцевъ, или даже гораздо больше этого, Екатерина имѣла въ виду поученіе для собственныхъ подданныхъ: это было историческое доказательство необходимости полновластной монархіи для блага подданныхъ, которое только при ея помощи и можетъ быть достигнуто; защита ея собственнаго способа правленія, того просвѣщеннаго

абсолютизма, который, по ея убѣжденію, былъ наилучшей политической формой не только для Россіи, но и для самой западной Европы. Словомъ, историческій интересъ „Записокъ касательно россійской исторіи“ въ томъ, что онѣ представляютъ на фактахъ прошлаго выраженіе ея правительственныхъ идей, которыя она желала внушить и своимъ подданнымъ...

Всѣхъ лучше понялъ ее въ этомъ отношеніи Державинъ, который остался въ исторіи литературы именно пѣвцомъ Екатерины.

Извѣстно, какимъ безусловнымъ прославленіемъ пользовался Державинъ съ тѣхъ поръ, какъ ода къ Фелицѣ доставила ему благосклонность Екатерины. Едва ли не первый Пушкинъ усумнился въ достоинствахъ его поэзіи; это сомнѣніе раздѣлилъ потомъ Бѣлинскій, и съ тѣхъ поръ Державинъ сохраняетъ за собой только историческій интересъ: въ его произведеніяхъ стали оспаривать даже присутствіе истинной поэзіи, находя только болѣе или менѣе искусную стихотворную реторику. Если для созданія истинной поэзіи въ искусственномъ періодѣ литературы требуется высокое художественное воспитаніе и широта мысли, которая можетъ открыть поэту пониманіе національной жизни, то Державину недоставало многаго, чтобы онъ могъ назваться и дѣйствительно быть національнымъ поэтомъ. Онъ вступалъ на свое поэтическое поприще съ очень небольшимъ запасомъ познаній и художественнаго воспитанія. По его собственному разсказу, онъ почерпнулъ правила поэзіи изъ сочиненій Тредьяковскаго, въ своихъ произведеніяхъ старался подражать Ломоносову, но ему не удавалось достигнуть великолѣпія и пышности его рѣчи и потому онъ (съ 1779) „изобрѣлъ совершенно особый путь“, руководясь наставленіями Баттё и совѣтами друзей, людей литературно-образованныхъ. „Особый путь“ состоялъ въ томъ, что въ высокопарный тонъ прежней оды онъ ввелъ извѣстную простоту и даже шутку: ода стала естественнѣе, переходя отъ торжественной декламаціи къ простотѣ, и это могло только увеличить ея интересъ; онъ любилъ и распространенную тогда форму посланія, которая также давала стилю бо́льшую свободу. Сравнительно съ прежнимъ, поэтическіе интересы Державина были шире: кромѣ давно рекомендованнаго Горація, онъ подражалъ анакреонтической поэзіи, знакомъ былъ съ нѣмецкими поэтами (впрочемъ только второстепенными), увлекался туманно-величественной поэзіей явившагося тогда Оссіана и подражалъ ей; подъ конецъ писалъ въ драматическомъ родѣ очень усердно, но крайне неудачно. Несмотря на то, что поэзія Державина

была съ формальной стороны значительнымъ успѣхомъ, его художественный горизонтъ оставался тѣсенъ: онъ понималъ поэзію какъ дидактику, занятую возвышенными предметами, и которую разнообразитъ шутка и сатира. Непосредственнаго наблюденія жизни, какъ основы поэзіи, онъ не зналъ или давалъ этой жизни мѣсто только въ отдѣльныхъ подробностяхъ. Несмотря на „особый путь", его основныя темы остаются тѣ же, какими занята была прежняя торжественная ода: онъ пишетъ духовныя оды, между которыми современниковъ поразила знаменитая ода „Богъ", назидательныя стихотворенія, а въ реальной жизни онъ былъ пѣвцомъ Екатерины, сильныхъ людей ея двора, побѣдъ русскаго оружія, но въ особенности Екатерины: въ этомъ онъ видитъ свою главную заслугу и свое право на славу. Онъ нѣсколько разъ возвращается къ этой темѣ:

Всякъ будетъ помнить то въ народахъ неисчетныхъ,
Какъ изъ безвѣстности я тѣмъ извѣстенъ сталъ,
Что первый я дерзнулъ въ забавномъ русскомъ слогѣ
О добродѣтеляхъ Фелицы возгласить,
Въ сердечной простотѣ бесѣдовать о Богѣ
И истину царямъ съ улыбкой говорить.

Или:

Но лира коль моя въ пыли гдѣ будетъ зрима
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвенитъ,
Подъ именемъ твоимъ громка она пребудетъ;
Ты славою,—твоимъ я эхомъ буду жить.

Или:

Но, вѣнценосна добродѣтель!
Не лесть я пѣлъ и не мечты,
А то, чему весь міръ свидѣтель:
Твои дѣла суть красоты.
Я пѣлъ, пою и пѣть ихъ буду...
Какъ солнце, какъ луну, поставлю
Твой образъ будущимъ вѣкамъ;
Превознесу тебя, прославлю,
Тобой безсмертенъ буду самъ.

Надо представить себѣ характеръ Екатерины, ея понятія о своихъ правительственныхъ трудахъ и разрѣшаемой ею свободѣ „знать и мыслить", и въ тоже время атмосферу лести, которою она была окружена и хотѣла себя окружать, — чтобы оцѣнить, до какой степени удачно ода къ Фелицѣ попала въ тонъ этого характера и этой обстановки.

Разсматривая содержаніе „Собесѣдника", одинъ критикъ замѣчалъ по поводу наполнявшихъ его дидактическихъ и сатири-

ческихъ статей: „Но что особенно замѣчательно, такъ это постоянное выраженіе глубокаго благоговѣнія къ „Августѣйшей наукъ покровительницѣ, Россійской Минервѣ, Милосердой Монархинѣ", Императрицѣ Екатеринѣ. Нѣтъ почти ни одного произведенія, въ которомъ бы какъ-нибудь, кстати или некстати—все равно—не выразились чувства благоговѣнія къ Государынѣ. Въ особенности сатирики отличались этимъ, и даже чѣмъ острѣе, чѣмъ рѣзче была сатира, тѣмъ съ бо́льшимъ чувствомъ говорилось въ ней о благодѣніяхъ, изливаемыхъ на народъ Императрицей, какъ будто бы авторъ хотѣлъ этимъ устранить отъ себя всякій упрекъ въ „свободоязычіи", и старался заранѣе показать, что онъ предпринимаетъ обличать пороки единственно по желанію добра обществу. Вѣроятно, въ то время находились тоже люди, способные перетолковать все въ дурную сторону, какъ перетолковали, напримѣръ, вопросы Фонъ-Визина" [1]... Но это было не только въ „Собесѣдникѣ", а въ цѣлой тогдашней литературѣ, при всякомъ поводѣ, когда говорилось объ управленіи, о политическихъ дѣлахъ, о литературѣ, о школѣ и т. д. Екатерина привыкла къ этому ѳиміаму и принимала лесть тѣмъ легче, что сознаніе говорило ей о дѣйствительномъ превосходствѣ ея ума; тѣ годы, какъ писалась „Фелица", были лучшимъ расцвѣтомъ ея политической системы, просвѣщеннаго абсолютизма, и она еще не охладѣла къ „философіи". Ода Державина искусно соединила всѣ тѣ черты, которыя представляли и ея замѣчательную государственную дѣятельность, и ея превосходство надъ окружающими, ея литературные вкусы, любовь къ свободѣ, все, чѣмъ она гордилась и хвалилась, наконецъ, ея простые нравы.

Ода открывалась тонкимъ комплиментомъ, когда сама Екатерина являлась въ видѣ мудрой царевны изъ ея собственной сказки. Вмѣсто традиціонной музы, поэтъ обращался къ ней самой:

Подай, Фелица, наставленье,
Какъ пышно и правдиво жить,
Какъ укрощать страстей волненье
И счастливымъ на свѣтѣ быть,—

а Екатерина въ своихъ сочиненіяхъ и правительственныхъ предпріятіяхъ высказывала именно эти заботы. Дальше слѣдуетъ изображеніе простыхъ нравовъ самой Фелицы, соединенное опять съ похвалой, которую Екатерина должна была считать справедливой:

---

[1]) Сочиненія Добролюбова. Спб. 1862, I, стр. 71.

Мурзамъ твоимъ не подражая,
Почасту ходишь ты пѣшкомъ,
И пища самая простая
Бываетъ за твоимъ столомъ;
Не дорожа твоимъ покоемъ,
Читаешь, пишешь предъ налоемъ
И всѣмъ изъ твоего пера
Блаженство смертнымъ проливаешь.

Совсѣмъ не похожа на это изнѣженная, лѣнивая жизнь ея придворныхъ; опять—вѣрно взятыя черты, при которыхъ тѣмъ ярче выдаются ея трудолюбіе и мудрость: послѣ прежнихъ суровыхъ временъ Екатерина принесла кроткое правленіе, справедливость, любовь къ просвѣщенію и даже свободу мысли. Только царевна можетъ создать свѣтъ изъ тьмы, раздѣлить хаосъ на сферы, крѣпить ихъ цѣлость союзомъ и изъ свирѣпыхъ страстей создавать счастье:

Такъ кормщикъ, черезъ понтъ плывущій,
Ловя подъ парусъ вѣтръ ревущій,
Умѣетъ судномъ управлять.

Фелица умѣетъ награждать заслуги, но не считаетъ пророкомъ того, кто умѣетъ плесть риѳмы (это могло напомнить Екатеринѣ ея отношеніе къ Сумарокову), хотя любитъ и считаетъ полезной и поэзію, „какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ“. Далѣе:

Слухъ идетъ о твоихъ поступкахъ,
Что ты нимало не горда,
Любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ,
Пріятна въ дружбѣ и тверда;
Что ты въ напастяхъ равнодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорятъ не ложно,
Что будто завсегда возможно
Тебѣ и правду говорить.
 Неслыханное также дѣло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смѣло,
О всемъ, и въ явь и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь
И быль и нѣбыль говорить...

Сравнительно съ недавними тяжелыми временами правленіе Екатерины могло дѣйствительно казаться освобожденіемъ общества и процвѣтаніемъ литературы: собственные труды императрицы, разрѣшеніе „вольныхъ типографій“, извѣстный просторъ

для печати, были дѣломъ неслыханнымъ [1]). Екатеринѣ пріятно было читать о себѣ въ посланіи Вольтера извѣстный стихъ: „Qui pense en grand homme et qui permet qu'on pense", и эти слова повторялись теперь въ новомъ оборотѣ у Державина. Правда, что эти слова не были совершенно точны: извѣстное нетерпѣніе къ тому, что думалось и говорилось иначе, чѣмъ она желала, обнаруживалось опять вскорѣ послѣ „Фелицы" во время изданія „Собесѣдника"; впослѣдствіи и совсѣмъ не позволялось „мыслить",—но въ данную минуту Державинъ могъ искренно сказать свои слова, потому что слишкомъ рѣзкихъ случаевъ противорѣчія не представлялось, а русская общественная жизнь и литература не были раньше избалованы особенной свободой.

Екатерина была чрезвычайно довольна „Фелицей"; если она и замѣтила лесть, то это была лесть болѣе тонкая, чѣмъ обычныя тяжеловѣсныя оды. Державинъ былъ богато награжденъ и быстро двинулся въ своей карьерѣ; Екатерина встрѣтила въ немъ самаго талантливаго панегириста, носившаго видъ независимости... Выше упомянуто, что Державинъ бывалъ очень услужливъ и не затруднялся „прибѣгать къ своему таланту", онъ и послѣ воспѣвалъ императрицу, но ему дѣлаетъ великую честь, что онъ обнаружилъ при этомъ и большое достоинство характера. Въ своихъ Запискахъ онъ разсказываетъ: „Случалось, что заводила рѣчь и о стихахъ докладчика, и неоднократно, такъ сказать, прашивала его, чтобъ онъ писалъ въ родѣ оды Фелицы. Онъ ей обѣщалъ и нѣсколько разъ принимался, запирались по недѣлѣ дома, но ничего написать не могъ, не будучи возбужденъ какимъ-либо патріотическимъ славнымъ подвигомъ; но о семъ объяснится ниже". А ниже Державинъ разсказываетъ, что какіе-то наговоры поселили въ сердцѣ императрицы „остуду", которую онъ замѣчалъ по самую ея кончину. „Можетъ быть и за то, что онъ по желанію ея, видя дворскія хитрости и безпрестанные себѣ толчки, не собрался съ духомъ и не могъ такихъ ей тонкихъ писать похвалъ, каковы въ одѣ Фелицѣ и тому подобныхъ сочиненіяхъ, которыя имъ писаны не въ бытность его еще при дворѣ: ибо издалека тѣ предметы, которые ему казались божественными и приводили духъ его въ восплameненіе, явились ему, при приближеніи ко двору, весьма человѣческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладѣлъ такъ его духъ, что онъ почти ничего не могъ написать горячимъ чистымъ сердцемъ въ похвалу ея.

[1]) Эти времена Пушкинъ въ „Первомъ посланіи цензору" (1824) ставилъ въ укоръ цензору своего времени. Ср. Добролюбова, I, стр. 35.

Напримѣръ, я скажу, что она управляла государствомъ и самымъ правосудіемъ болѣе по политикѣ или своимъ видамъ, нежели по святой правдѣ“ [1]...

Такимъ образомъ среди реторики въ литературѣ и приниженности въ обществѣ сохранилась, однако, или воспиталась нравственная независимость. Державинъ высказывалъ собственное сознаніе, когда влагалъ въ уста самой Фелицы слѣдующія слова:

. . . . . Когда
Поэзія не сумасбродство,
Но вышній даръ боговъ, тогда
Сей даръ боговѣ лишь къ чести
И къ поученью ихъ путей
Быть долженъ обращенъ, не къ лести
И тлѣнной похвалѣ людей.
Владыки свѣта—люди тѣ же,
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнцы:
Ядъ лести ихъ вредитъ не рѣже.

И въ этой дидактикѣ, хотя эстетически тѣсной по литературнымъ понятіямъ вѣка, у Державина, несмотря на всѣ много разъ указанные его недостатки, была истинная поэзія, настоящее одушевленіе, которое не осталось безъ вліянія на дальнѣйшее развитіе художественной формы и самаго пониманія достоинства литературы.

Другою крупною силой того времени былъ Фонъ-Визинъ. Годомъ моложе Державина, ровесникъ Новикова, онъ принадлежалъ къ поколѣнію, которое, получивъ только скудное и неправильное образованіе во времена Елизаветы, вступало въ жизнь въ первые годы царствованія Екатерины и подпадало возбуждающему вліянію просвѣтительныхъ стремленій эпохи. При воцареніи Екатерины они были юношами, но тогда молодые люди раньше входили въ жизнь,—между прочимъ потому, что людей, нѣсколько образованныхъ, было слишкомъ мало и ихъ знанія требовались на ту или другую службу. Фонъ-Визину было всего 22 года, когда онъ написалъ „Бригадира“; Новикову было 24 года, когда онъ предпринималъ изданіе своего перваго журнала и вступалъ подъ маской псевдонимовъ въ принципіальный споръ съ самою императрицею по вопросу о томъ, какъ дѣйствовать для исправленія общества. Темы комедіи Фонъ-Физина извѣстны; это были, рядомъ съ нимъ и вслѣдъ за нимъ очень распространенныя темы тогдашней сатиры: если не косвенное отрицаніе

---

[1]) Сочиненія, изд. Грота, т. VI. Спб. 1871, стр. 632, 654.

самого крѣпостного права, то прямое осужденіе его злоупотребленій, обличеніе стараго невѣжества и грубыхъ предразсудковъ, судейской продажности, дурного воспитанія съ французскими гувернерами и проповѣдь истиннаго просвѣщенія и гражданской честности. По формѣ и даже въ частностяхъ Фонъ-Визинъ находится въ зависимости отъ своихъ образцовъ, но въ его комедіяхъ мѣтко схвачены черты русской дѣйствительности, понятія, нравы, языкъ,—чтò могло быть только дѣломъ высокаго таланта. Комедіи Фонъ-Визина были въ новой литературѣ первыми проблесками реализма, пока еще подавляемаго условностью.

Новѣйшіе литературные историки относятся къ Фонъ-Визину довольно строго и самый характеръ его считаютъ наивнымъ и легкомысленнымъ [1]. Это и должно представляться съ нынѣшней точки зрѣнія; но въ томъ и было особенное положеніе нашихъ писателей XVIII в., что они еще не умѣли справиться съ задачами и формами литературы, не умѣли опредѣлить самаго своего міровоззрѣнія.

У нихъ не было и еще не могло быть непосредственнаго творчества. Поэзія понималась только въ прикладномъ смыслѣ забавы или поученія. Надъ литературой господствовала ложноклассическая теорія съ обязательными образцами: освободиться отъ нихъ собственными силами русская литература была еще не въ состояніи. Въ комедіи они господствовали до самого Грибоѣдова. Нарождавшаяся комическая идея могла складываться только въ этихъ заученныхъ формахъ: первыя комедіи буквально повторяли французскую комедію, и первымъ опытомъ самостоятельности была мысль, что эту чужую комедію надо „склонять на русскіе нравы". Комедія должна была смѣшить и вмѣстѣ поучать: отсюда у Фонъ-Визина противоположеніе лицъ порочныхъ и добродѣтельныхъ, осуждаемыхъ и поставляемыхъ въ примѣръ. Публика восхищалась смѣшнымъ, не замѣчая, что иногда оно бывало дѣланное и натянутое, но ей нравилось и поученіе: самъ

---

[1]) „Сила таланта Фонъ-Визина была огромная, такъ что этой силѣ не соотвѣтствовали даже, были узки для нея тѣ рамки непосредственно, инстинктивно-народнаго направленія, въ которыя была заключена дѣятельность высоко-даровитаго писателя (?). Но сама личность этого писателя была наивна и нѣсколько легкомысленна...

„Сатира Фонъ-Визина часто была сатирой безсознательной; за смѣхомъ знаменитаго комика иной разъ не крылось ясной мысли; онъ самъ не всегда сознавалъ—надъ чѣмъ и во имя чего онъ смѣется. Серьезность и возвышенность его юмора иной разъ подрывалась его же собственнымъ резонерствомъ" и пр. (Незеленовъ, „Литературныя направленія въ Екатерининскую эпоху". Спб. 1889, стр. 256—257; и въ книгѣ того же автора о Новиковѣ).

Новѣйшія разъясненія скрытыхъ и явныхъ заимствованій Фонъ-Визина побудили Алексѣя Веселовскаго къ „точкѣ зрѣнія на нашего писателя, весьма отличающейся отъ общепринятой". Западное вліяніе и пр., стр. 100.

Фонъ-Визинъ говоритъ, въ письмѣ къ Стародуму, что успѣхомъ „Недоросля“ обязанъ его особѣ. Черта—весьма любопытная и исторически важная. Въ XVIII вѣкѣ любили дидактику и резонерство, но кромѣ этого моднаго вкуса было и другое: общество въ своихъ лучшихъ людяхъ видимо искало выхода изъ окружавшихъ его недоумѣній; оно жило между двумя стульями—стариной и новизной, и когда въ самой новизнѣ оказывались противорѣчія, которыя чувствовалъ, напр., Державинъ, недоумѣніе становилось неразрѣшимымъ...

Фонъ-Визинъ не нашелъ рѣшенія или, какъ увидимъ, находилъ его наконецъ только въ прекращеніи своей писательской дѣятельности... Его собственныя мысли были неясны: какъ помирить просвѣщеніе и (предполагаемые) старые добрые нравы? По словамъ кн. Вяземскаго, онъ способенъ былъ въ свои лучшія годы „только-что не гласнымъ образомъ, а отрицательными умствованіями проповѣдывать выгоду невѣжества“. А если просвѣщеніе нужно, гдѣ взять его? Рядомъ съ проповѣдью просвѣщенія наши предки, вслѣдъ за Локкомъ, а потомъ и за Руссо, а кромѣ того, вѣроятно, и по унаслѣдованной умственной лѣни, думали, что нашли истину: нужны только добродѣтель, воспитаніе сердца, но образованіе ума, безъ воспитанія сердца, есть „сущая бездѣлица“. Не говоря о томъ, насколько могло быть полезно внушать это пренебреженіе къ образованію въ обществѣ невѣжественномъ, оставался все-таки вопросъ: гдѣ искать эту добродѣтель, это воспитаніе нравственности? Люди стараго вѣка, обходясь безъ образованія, этой „сущей бездѣлицы“, воспитали г-жу Простакову, а она воспитала Митрофанушку.

Эта запутанность понятій, которую Фонъ-Визинъ дѣлилъ съ современнымъ ему обществомъ, особенно ярко выразилась въ его письмахъ изъ Франціи. Нѣкогда ихъ строго осудилъ кн. Вяземскій, находившій въ нихъ „злословіе холодное и сухое“ [1]; новѣйшій историкъ защищаетъ Фонъ-Визина между прочимъ его собственными словами, что „надобно отрещись вовсе отъ общаго смысла и истины, если сказать, что нѣтъ здѣсь (во Франціи) весьма много чрезвычайно хорошаго и подражанія достойнаго“ [2]; нельзя однако не видѣть, что послѣдняго указано мало, а гораздо больше того, что̀ можно было справедливо назвать холоднымъ и сухимъ злословіемъ. Напримѣръ: „Вообще, надобно от-

[1] „Фонъ-Визинъ“. Спб. 1848 (въ „Полномъ собраніи сочиненій“, т. V. Спб. 1880; см. стр. 74 и далѣе).
[2] Сочиненія и пр. Фонъ-Визина. Изд. Ефремова. Спб. 1866, стр. 331; ср. Незеленова, „Литер. направленія“, стр. 284 и д.

дать справедливость здѣшней націи, что слова сплетаютъ (?) мастерски, и если въ томъ состоитъ разумъ, то всякій здѣшній дуракъ имѣетъ его превеликую долю. Мыслятъ здѣсь мало"... „Разсудка Французъ не имѣетъ и имѣть его почелъ бы несчастьемъ своей жизни" (?)... „Острота (?), не управляемая разсудкомъ, не можетъ быть способна ни на что, кромѣ мелочей, въ которыхъ и дѣйствительно французы берутъ верхъ предъ цѣлымъ свѣтомъ" (!)... „Корыстолюбіе заразило всѣ состоянія, не исключая самыхъ философовъ нынѣшняго вѣка. Въ разсужденіи денегъ не гнушаются и они человѣческою слабостію. Д'Аламберты, Дидероты въ своемъ родѣ такіе же шарлатаны, какихъ видѣлъ я всякій день на бульварѣ; всѣ они народъ обманываютъ за деньги, и разница между шарлатаномъ и философомъ только та, что послѣдній къ сребролюбію присовокупляетъ безпримѣрное тщеславіе" [1]... Фонъ-Визинъ соглашается, что „Парижъ можетъ по справедливости назваться сокращеніемъ цѣлаго міра. Сіе титло заслуживаетъ онъ по своему пространству и по безконечному множеству чужестранныхъ, стекающихся въ него отъ всѣхъ концовъ земли. Жители парижскіе почитаютъ свой городъ столицею свѣта, а свѣтъ своею провинціею", — но Фонъ-Визинъ находитъ, что чужестранцевъ привлекаютъ сюда только двѣ вещи: спектакли и развратъ. Кн. Вяземскій объяснялъ уже, — чего не видалъ и не понималъ нашъ писатель, — что Парижъ того времени былъ „родъ вселенскаго собора умовъ и знаменитостей, куда изъ разныхъ концовъ Европы стекались для совѣщанія о важныхъ вопросахъ наукъ, искусствъ и философіи" [2]... Но самъ Фонъ-Визинъ пишетъ и другое: „Способовъ къ просвѣщенію здѣсь очень довольно. Я могу оными пользоваться, не разстраивая моего малаго достатка; и хотя тѣлесная пища здѣсь весьма дешева, но душевная еще дешевле. Учитель философіи, обязываясь читать всякій день лекціи, запросилъ съ меня въ первомъ словѣ на наши деньги по 2 р. 40 коп. въ мѣсяцъ"... „Надлежитъ отдать справедливость, что при неизъяснимомъ развращеніи нравовъ есть во французахъ доброта сердечная",—но въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что la politesse française,—которая конечно была результатомъ давней культуры,—есть только прикрытіе порока: „Опытъ

[1]) Сочиненія, стр. 329, 342, 343. Ср о д'Аламберѣ еще стр. 443. Степень достовѣрности и приличія этихъ обвиненій была уже указана кн. Вяземскимъ.

[2]) Для примѣра онъ приводитъ мнѣніе Гиббона (въ письмѣ отъ 1763), — „которое нельзя приписывать ни пристрастію, ни легкомыслію": „Vous direz tout ce qu'il vous plaira de la frivolité des français, mais je vous assure qu'en quinze jours, passés à Paris, j'ai assisté à plus de conversations bonnes à retenir, et vu plus d'hommes de lettres parmi les gens comme il faut, qu'il ne m'est arrivé à Londres dans deux ou trois hivers". Но это было мнѣніе человѣка высоко просвѣщеннаго.

Фонъ-Визинъ говоритъ, въ письмѣ къ Стародуму, что успѣхомъ „Недоросля“ обязанъ его особѣ. Черта—весьма любопытная и исторически важная. Въ XVIII вѣкѣ любили дидактику и резонерство, но кромѣ этого моднаго вкуса было и другое: общество въ своихъ лучшихъ людяхъ видимо искало выхода изъ окружавшихъ его недоумѣній; оно жило между двумя стульями—стариной и новизной, и когда въ самой новизнѣ оказывались противорѣчія, которыя чувствовалъ, напр., Державинъ, недоумѣніе становилось неразрѣшимымъ...

Фонъ-Визинъ не нашелъ рѣшенія или, какъ увидимъ, находилъ его наконецъ только въ прекращеніи своей писательской дѣятельности... Его собственныя мысли были неясны: какъ помирить просвѣщеніе и (предполагаемые) старые добрые нравы? По словамъ кн. Вяземскаго, онъ способенъ былъ въ свои лучшія годы „только-что не гласнымъ образомъ, а отрицательными умствованіями проповѣдывать выгоду невѣжества“. А если просвѣщеніе нужно, гдѣ взять его? Рядомъ съ проповѣдью просвѣщенія наши предки, вслѣдъ за Локкомъ, а потомъ и за Руссо, а кромѣ того, вѣроятно, и по унаслѣдованной умственной лѣни, думали, что нашли истину: нужны только добродѣтель, воспитаніе сердца, но образованіе ума, безъ воспитанія сердца, есть „сущая бездѣлица“. Не говоря о томъ, насколько могло быть полезно внушать это пренебреженіе къ образованію въ обществѣ невѣжественномъ, оставался все-таки вопросъ: гдѣ искать эту добродѣтель, это воспитаніе нравственности? Люди стараго вѣка, обходясь безъ образованія, этой „сущей бездѣлицы“, воспитали г-жу Простакову, а она воспитала Митрофанушку.

Эта запутанность понятій, которую Фонъ-Визинъ дѣлилъ съ современнымъ ему обществомъ, особенно ярко выразилась въ его письмахъ изъ Франціи. Нѣкогда ихъ строго осудилъ кн. Вяземскій, находившій въ нихъ „злословіе холодное и сухое“ [1]); новѣйшій историкъ защищаетъ Фонъ-Визина между прочимъ его собственными словами, что „надобно отрещись вовсе отъ общаго смысла и истины, если сказать, что нѣтъ здѣсь (во Франціи) весьма много чрезвычайно хорошаго и подражанія достойнаго“ [2]); нельзя однако не видѣть, что послѣдняго указано мало, а гораздо больше того, что̀ можно было справедливо назвать холоднымъ и сухимъ злословіемъ. Напримѣръ: „Вообще, надобно от-

---

[1]) „Фонъ-Визинъ“. Спб. 1848 (въ „Полномъ собраніи сочиненій“, т. V. Спб. 1880; см. стр. 74 и далѣе).

[2]) Сочиненія и пр. Фонъ-Визина. Изд. Ефремова. Спб. 1866, стр. 331; ср. Незеленова, „Литер. направленія“, стр. 284 и д.

дать справедливость здѣшней націи, что слова сплетаютъ (?) мастерски, и если въ томъ состоитъ разумъ, то всякій здѣшній дуракъ имѣетъ его превеликую долю. Мыслятъ здѣсь мало"... „Разсудка Французъ не имѣетъ и имѣть его почелъ бы несчастьемъ своей жизни" (?)... „Острота (?), не управляемая разсудкомъ, не можетъ быть способна ни на что, кромѣ мелочей, въ которыхъ и дѣйствительно французы берутъ верхъ предъ цѣлымъ свѣтомъ" (!)... „Корыстолюбіе заразило всѣ состоянія, не исключая самыхъ философовъ нынѣшняго вѣка. Въ разсужденіи денегъ не гнушаются и они человѣческою слабостію. Д'Аламберты, Дидероты въ своемъ родѣ такіе же шарлатаны, какихъ видѣлъ я всякій день на бульварѣ; всѣ они народъ обманываютъ за деньги, и разница между шарлатаномъ и философомъ только та, что послѣдній къ сребролюбію присовокупляетъ безпримѣрное тщеславіе" [1])... Фонъ-Визинъ соглашается, что „Парижъ можетъ по справедливости назваться сокращеніемъ цѣлаго міра. Сіе титло заслуживаетъ онъ по своему пространству и по безконечному множеству чужестранныхъ, стекающихся въ него отъ всѣхъ концовъ земли. Жители парижскіе почитаютъ свой городъ столицею свѣта, а свѣтъ своею провинціею", — но Фонъ-Визинъ находитъ, что чужестранцевъ привлекаютъ сюда только двѣ вещи: спектакли и развратъ. Кн. Вяземскій объяснялъ уже, — чего не видалъ и не понималъ нашъ писатель, — что Парижъ того времени былъ „родъ вселенскаго собора умовъ и знаменитостей, куда изъ разныхъ концовъ Европы стекались для совѣщанія о важныхъ вопросахъ наукъ, искусствъ и философіи" [2])... Но самъ Фонъ-Визинъ пишетъ и другое: „Способовъ къ просвѣщенію здѣсь очень довольно. Я могу оными пользоваться, не разстраивая моего малаго достатка; и хотя тѣлесная пища здѣсь весьма дешева, но душевная еще дешевле. Учитель философіи, обязываясь читать всякій день лекціи, запросилъ съ меня въ первомъ словѣ на наши деньги по 2 р. 40 коп. въ мѣсяцъ"... „Надлежитъ отдать справедливость, что при неизъяснимомъ развращеніи нравовъ есть во французахъ доброта сердечная",—но въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что la politesse française,—которая конечно была результатомъ давней культуры,—есть только прикрытіе порока: „Опытъ

---

[1]) Сочиненія, стр. 329, 342, 343. Ср о д'Аламберѣ еще стр. 443. Степень достовѣрности и приличія этихъ обвиненій была уже указана кн. Вяземскимъ.

[2]) Для примѣра онъ приводитъ мнѣніе Гиббона (въ письмѣ отъ 1763), — „которое нельзя приписывать ни пристрастію, ни легкомыслію": „Vous direz tout ce qu'il vous plaira de la frivolité des français, mais je vous assure qu'en quinze jours, passés à Paris, j'ai assisté à plus de conversations bonnes à retenir, et vu plus d'hommes de lettres parmi les gens comme il faut, qu'il ne m'est arrivé à Londres dans deux ou trois hivers". Но это было мнѣніе человѣка высоко просвѣщеннаго.

показываетъ, что всякій порокъ ищетъ прикрыться наружностью той добродѣтели, которая съ нимъ граничитъ. Скупой, напримѣръ, присвояетъ себѣ бережливость, мотъ—щедрость, а легкомысленные и трусливые люди—вѣжливость". Когда ему писали изъ Россіи, что, по словамъ пріѣзжихъ изъ Парижа, тамъ множество ученыхъ людей таскается безъ пропитанія, Фонъ-Визинъ отвѣчаетъ, что вѣрно эти пріѣзжіе приняли за ученыхъ какихъ-нибудь шарлатановъ. „Здѣсь нѣтъ ни одного ученаго человѣка, который бы не имѣлъ вѣрнаго пропитанія; да къ тому же всѣ они такъ привязаны къ своему отечеству, что лучше согласятся умереть, нежели его оставить. Сіе похвальное чувство вкоренено, можно сказать, во всемъ французскомъ народѣ... Коли что здѣсь дѣйствительно почтенно и коли что всѣмъ перенимать здѣсь надобно, то конечно любовь къ отечеству и государю своему" [1]).

Но, увы, отдѣлавши такимъ образомъ французовъ и смѣшавши съ грязью ихъ славнѣйшихъ писателей (въ 1778), Фонъ-Визинъ въ „Недорослѣ" (въ 1782) мудрость своего любимаго Стародума накропалъ изъ тѣхъ же французскихъ писателей, даже второстепенныхъ, и, какъ давно указывалъ кн. Вяземскій, а потомъ другіе, самыя „наблюденія" Фонъ-Визина надъ положеніемъ Франціи взяты опять изъ французскихъ писателей, — изъ книги Дюкло: Considérations sur les moeurs de ce siècle, 1752, изъ „Философскихъ мыслей" Дидро, и еще изъ статейки нѣмецкаго журнала Literatur und Völkerkunde [2]).

Еще только прибывши во Францію, онъ пишетъ къ Булгакову изъ Монпелье: „Если здѣсь прежде насъ жить начали, то по крайней мѣрѣ мы, начиная жить, можемъ дать себѣ такую форму, какую хотимъ (?), и избѣгнуть тѣхъ неудобствъ и золъ, которыя здѣсь вкоренились. Nous commençons et ils finissent. Я думаю, что тотъ, кто родится, посчастливѣе того, кто умираетъ" [3]). Одинъ историкъ въ особенности изъ этихъ писемъ заключилъ, что мысли Фонъ-Визина во многомъ напоминаютъ современное славянофильство, что въ нихъ много вѣрнаго, а вообще Фонъ-Визинъ былъ „вполнѣ русскій человѣкъ по характеру, и притомъ съ непосредственно-народнымъ направленіемъ въ своей литературной дѣятельности" [4]). Скорѣе можно сказать,

---

1) Сочиненія, стр. 325, 336, 340, 342, 438.

2) Полн. собр. сочиненій кн. Вяземскаго. V, стр. 87 и д. Кн. Вяземскій замѣчаетъ: „Должно признаться, что нашъ писатель въ этомъ отношеніи былъ на руку нечистъ. Пользоваться чужимъ добромъ можно; но присвоивать его себѣ украдкою непозволительно". Другія указанія на заимствованія Фонъ-Визина см. у Веселовскаго: „Западное вліяніе", 2-е изд. М. 1896, стр. 96 и д.

3) Сочиненія, стр. 272—273.

4) Незеленовъ, „Литературныя направленія" и пр., стр. 285, 291.

что въ приговорахъ Фонъ-Физина были начатки такъ-называемаго квасного патріотизма.

Наконецъ, онъ дѣлаетъ еще такое разсужденіе: „Разсматривая состояніе французской націи, научился я различать вольность по праву отъ дѣйствительной вольности. Нашъ народъ не имѣетъ первой, но послѣднею во многомъ наслаждается. Напротивъ того, французы, имѣя право вольности, живутъ въ сущемъ рабствѣ [1])...

Послѣ „Недоросля“ его литературной дѣятельности не счастливилось. Въ 1783 году онъ принялъ участіе въ „Собесѣдникѣ“ извѣстными „Вопросами“, гдѣ съ нѣкоторою колкостью затрогивалъ тогдашнее положеніе нашей общественной жизни. Екатерина (между прочимъ заподозривъ участіе въ „Вопросахъ“ нелюбимаго ею Шувалова) подъ именемъ автора „Былей и небылицъ“ отвѣчала на вопросы довольно рѣзко, находила нѣкоторые изъ нихъ неумѣстными, а на одинъ, въ которомъ дѣлалось сравненіе съ предками, замѣтила: „Сей вопросъ родился отъ свободоязычія, котораго предки наши не имѣли“. Фонъ-Визинъ испугался видимаго гнѣва императрицы, доставилъ въ „Собесѣдникъ“ длинное покаянное объясненіе, что „самаго добраго намѣренія исполнить не умѣлъ и не могъ дать своимъ вопросамъ приличнаго оборота“, и оканчивалъ словами: „Доброе мнѣніе творца [2]), вмѣщающаго, какъ вы, въ творенія свои пользу и забаву въ степени возможнаго совершенства, должно быть для меня неоцѣненно, напротивъ же того, всякое ваше неудовольствіе, мною въ совѣсти моей ничѣмъ незаслуженное, если какимъ-нибудь образомъ буду имѣть несчастіе примѣтить, приму я съ огорченіемъ за твердое основаніе непреложнаго себѣ правила: во всю жизнь мою за перо не приниматься“. Екатерина написала на это пренебрежительный отвѣтъ, который и былъ напечатанъ въ „Собесѣдникѣ“.

Такъ и случилось. Фонъ-Визинъ ничего уже больше не напечаталъ. Онъ написалъ-было „Всеобщую придворную грамматику“, но въ „Собесѣдникъ“ ея не приняли. Въ 1788 онъ задумалъ изданіе журнала „Другъ честныхъ людей или Стародумъ“, и на него была уже „отворена подписка“. Въ приготовленныхъ статьяхъ говорилось между прочимъ [3]): „Вѣкъ Екатерины Вторыя ознаменованъ дарованіемъ россіянамъ свободы мыс-

---

[1]) Сочиненія, стр. 347.

[2]) Т.-е. писателя (автора „Былей и небылицъ“, къ которому онъ обращался въ этомъ покаянномъ письмѣ).

[3]) Сочиненія, стр. 328, 330.

лить и изъясняться“ (письмо сочинителя Недоросля къ Стародуму). „Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются нынѣ россіяне, поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага. Въ томъ государствѣ, гдѣ писатели наслаждаются дарованною намъ свободою, имѣютъ они долгъ возвысить громкій гласъ свой противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству, такъ что человѣкъ съ дарованіемъ можетъ въ своей комнатѣ, съ перомъ въ рукахъ, быть полезнымъ совѣтодателемъ государю, а иногда и спасителемъ согражданъ своихъ и отечества“ (отвѣтъ Стародума). Но въ письмѣ Фонъ-Визина къ гр. П. И. Панину отъ апрѣля 1788 читаемъ: „Здѣшняя полиція воспретила печатаніе Стародума, и такъ я не виноватъ, если онъ въ публику не выйдетъ“.

Выше приведено было мнѣніе историка, отрицавшаго всякій прогрессъ нашей поэзіи отъ Ломоносова до Карамзина, видѣвшаго въ ней внѣшнее собраніе случайныхъ произведеній, безъ исторической послѣдовательности и вліянія. Мнѣніе было очень безусловное, но въ защиту его могло быть приведено не мало фактовъ. Напомнимъ два-три примѣра. Ложный классицизмъ дожилъ, въ рукахъ видныхъ представителей, до той поры, когда уже установлялась слава Карамзина. Таковъ былъ Херасковъ, лично весьма достойный человѣкъ (ум. 1807), но поэтъ, или точнѣе стихотворецъ въ самомъ старинномъ стилѣ. Извѣстна надпись къ его портрету:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ,
Хераскову они вреда не принесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ [1]) щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Но кто писалъ эту надпись?—И. И. Дмитріевъ, „пріятный пѣвецъ“, по отзыву самого Хераскова, другъ Карамзина, авторъ извѣстной сатиры „Чужой толкъ“, которая считалась послѣднимъ ударомъ старой псевдо-классической одѣ, писатель, котораго именно причисляли къ новому литературному періоду. Другой писатель, имѣвшій великую славу и произведенія котораго относятся уже къ первымъ годамъ новаго столѣтія, Озеровъ (ум. 1816), стоитъ на псевдо-классической почвѣ.

Съ другой стороны указываютъ, напротивъ, великіе успѣхи литературы во второй половинѣ XVIII вѣка, приписывая ихъ эти...

[1]) Т.-е., двѣ эпическія поэмы Хераскова: „Владиміръ“ и „Россіяда“.

просвѣтительнымъ мѣрамъ имп. Екатерины. Выше указано, что мѣры были недостаточны и дѣйствіе ихъ подрывалось другими фактами того времени и реакціоннымъ настроеніемъ послѣднихъ годовъ царствованія. Въ литературѣ тѣмъ не менѣе совершалось движеніе не только въ силу нѣкоторыхъ поощреній, но главное, въ силу болѣе или менѣе самостоятельнаго развитія возбужденій временъ Ломоносова и собственныхъ исканій на новомъ поприщѣ дѣятельности, которое открывалось обществу въ литературномъ словѣ.

Прежде всего, школа, въ которой учились писатели не только первой, но и второй половины царствованія Екатерины, была слишкомъ случайная и недостаточная; литературнаго руководства школа не доставляла, и молодые писатели, чувствовавшіе въ себѣ инстинкты дарованія, были предоставлены самимъ себѣ и тѣмъ „образцамъ", какіе были доступны. Это были, во-первыхъ, произведенія временъ Ломоносова; во-вторыхъ, литературы иностранныя, особливо французская; англійской и нѣмецкой почти не знали, и вслѣдствіе этого, съ одной стороны, оставался неизвѣстенъ Шекспиръ [1]), съ другой—неизвѣстно было то движеніе противъ ложнаго классицизма, которое въ это самое время было поднято въ Германіи; объ этомъ едва догадывались. Подлинныхъ классиковъ знали очень мало; главная доля переводовъ дѣлалась съ французскаго... Изъ иностранной литературы почерпалось знакомство съ знаменитыми произведеніями поэзіи, и знакомство съ тѣми „философскими" идеями, которыя для русскаго образованнаго человѣка являлись откровеніемъ. Особенное значеніе „Наказа" въ общественномъ и литературномъ отношеніи состояло именно въ томъ, что онъ далъ санкцію этимъ идеямъ, и онѣ получили право гражданства въ книгѣ, — если не всегда исполнялись въ жизни и далеко не понимались во всей ихъ теоретической и нравственной глубинѣ. Было, конечно, очень далеко отъ образованія общественнаго мнѣнія, сознательнаго и опредѣленнаго; но еще Петръ Великій старался возбудить въ массѣ общества интересъ къ государственнымъ дѣламъ,—и „торжественныя врата" академій, съ миѳологическимъ панегирикомъ, естественно перешли въ торжественную оду съ такимъ же панегирикомъ. Выше указано, что въ тогдашнемъ положеніи общества ода удовлетворяла патріотическому чувству и давала извѣстное объясненіе событіямъ. Державинъ не остался на этой первой ступени оды и расширилъ ея содер-

[1]) Кромѣ того только, что онъ не признавалъ „обыкновенныхъ ѳеатральныхъ правилъ".

жаніе, далъ бо̀льшую свободу формѣ, стараясь сдѣлать ихъ болѣе жизненными; но толпа стихотворцевъ, не имѣвшихъ и тѣни его таланта, продолжала „пѣть“ по старому шаблону, пока, наконецъ, сдѣлала оду смѣшною.

Во второй половинѣ, и особенно ближе къ концу столѣтія, находимъ уже довольно многолюдный составъ писателей. Всѣ нѣсколько видные, почти безъ исключенія, писали оды: еще продолжалось указанное настроеніе общества, былъ обязателенъ примѣръ Ломоносова, Сумарокова, потомъ Державина—нужно было не отстать отъ славныхъ предшественниковъ; сохранялся и разсчетъ пріобрѣсти одой покровительство „милостивца“. Но затѣмъ писательство распадается на спеціальныя отрасли. Развѣ одинъ Херасковъ могъ уподобиться Сумарокову разнообразіемъ своихъ произведеній, но вообще писатели выбираютъ себѣ одинъ литературный родъ, въ которомъ особенно работаютъ, — хотя, напр., самъ Державинъ хотѣлъ быть также драматургомъ, хотя къ этому не было у него ни малѣйшаго дарованія. Возникавшее разнообразіе литературы происходило, вмѣстѣ съ размноженіемъ силъ, отъ возроставшаго знакомства съ западной литературой: приходилось „насаждать“ все новые роды и направленія поэзіи, которые привлекали любопытство и находили отголосокъ въ мысли и чувствѣ. Всего чаще любопытство было поверхностно, потому что слишкомъ велика была разница въ образованіи и гражданскомъ развитіи русскаго общества съ западнымъ; — это было элементарное обученіе на западныхъ образцахъ, но все это были начатки, которые мало-по-малу раздвигали литературное пониманіе и готовили дальнѣйшій успѣхъ.

Въ 1772 Новиковъ счелъ уже нужнымъ составленіе историческаго словаря русскихъ писателей. „Словарь“, за рѣдкими исключеніями, осыпаетъ русскихъ писателей похвалами и одобреніями: съ одной стороны Новиковъ берегъ ихъ крайне щекотливое самолюбіе, съ другой—желалъ поощрять ихъ; наконецъ, онъ питалъ собственную ревность къ успѣхамъ русской литературы этимъ изображеніемъ ея успѣховъ, — многія похвалы онъ безъ сомнѣнія писалъ искренно, самъ вѣря въ заслуги авторовъ.

Укажемъ главныхъ дѣятелей этой литературы второй половины вѣка.

Однимъ изъ первыхъ по времени былъ рано умершій (1760) Поповскій, ученикъ Ломоносова, очень имъ цѣнимый, авторъ одъ, посланій, торжественныхъ рѣчей и особливо переводчикъ Горація, Локка (о воспитаніи) и „Опыта о человѣкѣ“ Попа (послѣдній впрочемъ съ французскаго), и одинъ изъ первыхъ рус-

скихъ профессоровъ моск. университета. Его высоко почитали какъ стихотворца и философа, и долго спустя М. Н. Муравьевъ говорилъ въ посланіи къ И. П. Тургеневу, что

...Ломоносова преемля лирный звонъ,
Поповскій новый путь открылъ на Геликонъ.

Въ предисловіи къ переводу „Опыта", онъ, въ виду того, что на россійскій языкъ еще мало переведено иностранныхъ книгъ, „усердно желалъ, чтобы любители наукъ и истинные патріоты въ пользу и славу Россіи къ сему достохвальнѣйшему дѣлу труды свои обратили". Этому завѣту послѣдовалъ другой стихотворецъ, Костровъ, крестьянинъ родомъ, питомецъ московской духовной академіи и университета, который, кромѣ обычныхъ хвалебныхъ одъ, гдѣ онъ подъ вліяніемъ Державина склонялся уже къ новому тону поэзіи, занимался переводами: онъ перевелъ „Золотого Осла" Апулея, Оссіана (съ французскаго), но особливо прославился, не конченнымъ, однако, переводомъ Иліады, съ подлинника. Костровъ, „въ Россіи возродившій Гомера", произвелъ своимъ трудомъ сильное впечатлѣніе въ литературныхъ кругахъ: „на преложеніе Омировой Иліады" Капнистъ написалъ слѣдующее:

Седьмь знатныхъ городовъ Европы и Асіи
Стязались: кто изъ нихъ Омира въ свѣтъ родилъ?
Костровъ ихъ споръ рѣшилъ:
Онъ днесь въ стихахъ своихъ Россіи
Отца стиховъ усыновилъ.

Нѣкогда пользовался славой Петровъ, питомецъ, затѣмъ преподаватель въ московской духовной академіи, послѣ, кажется при посредствѣ Потемкина (съ которымъ давно былъ знакомъ), переводчикъ при кабинетѣ имп. Екатерины, ея чтецъ и придворный библіотекарь, „писатель одъ громогласныхъ, важностію преисполненныхъ" по словамъ Хераскова, а въ сущности невыносимо напыщенныхъ, грубыхъ и скучныхъ; но и онъ также былъ переводчикомъ Энеиды и „Потеряннаго рая" Мильтона (три пѣсни)—съ подлинниковъ. Безконечныя оды Петрова были, кажется, послѣднимъ предѣломъ нелѣпости, до которыхъ доведенъ былъ этотъ родъ „поэзіи". Несмотря на одобреніе ихъ „важности" Херасковымъ, и современники ихъ не выносили: при самомъ началѣ его творчества, Новиковъ въ Словарѣ говорилъ о немъ иронически. Въ 1783, по предложенію кн. Дашковой, Петровъ былъ избранъ въ члены россійской академіи, вице-призидентъ которой Домашневъ еще ранѣе далъ такой

отзывъ объ Энеидѣ Петрова: „Виргилій нашелъ въ господинѣ совѣтникѣ Петровѣ страшнаго соперника, и красоты сего избраннѣйшаго римскаго стихотворца сдѣлались нашимъ стяжаніемъ посредствомъ прекраснаго сего преложенія",—но Хемницеръ видѣлъ въ немъ „несноснаго педанта", авторъ „Елисея" Майковъ смѣялся надъ прекраснымъ преложеніемъ, гдѣ были наконецъ совсѣмъ уродливыя безсмыслицы, и митр. Евгеній писалъ потомъ, что Петровъ „оглядывался на Тредьяковскаго", котораго онъ, дѣйствительно, могъ быть достойнымъ преемникомъ.

Старое преданіе продолжалъ и Херасковъ. Писатель очень плодовитый, онъ писалъ во всякихъ родахъ: оды, героическія поэмы, трагедіи, драмы, комедіи, мелкія стихотворенія, наконецъ, поучительные романы. У современниковъ славились особливо двѣ эпическія поэмы: „Россіяда", гдѣ воспѣвается покореніе Казани Иваномъ Грознымъ, и „Владиміръ", гдѣ фантастически разсказывается исторія князя Владиміра и принятіе христіанства. Взглядъ Хераскова на эпопею былъ тотъ же, какой нѣкогда вычитали наши первые псевдо-классики у Буало: родоначальникъ эпической поэмы былъ Гомеръ, продолжателемъ его былъ Виргилій, потомъ Мильтонъ и Вольтеръ и т. д. Изъ этого историческаго построенія были извлечены „правила" эпической поэмы, которыя Херасковъ и примѣнилъ къ изображенію своихъ героевъ. Въ результатѣ получилось нѣчто неестественное; воззваніе къ духу стихотворства и къ вѣчности, вмѣсто музы; олицетворенія естественныхъ предметовъ и нравственныхъ понятій, вмѣсто классическихъ боговъ; чудесное въ видѣ знаменій, тѣней, чародѣйства и т. п. Въ дѣяніяхъ русскихъ героевъ являются черты героевъ Гомера, Виргилія, но также и Тасса, античныя, рыцарскія, а также и библейскія. Творенія Хераскова прославлялись, но были видимо безплодны... Въ шестидесятыхъ годахъ Херасковъ издавалъ поучительные журналы, а впослѣдствіи вступилъ въ масонскій „орденъ", гдѣ его нравственныя стремленія должны были получить новую пищу. Херасковъ оставилъ по себѣ почтенную память въ качествѣ куратора университета своими заботами объ учащемся юношествѣ (основаніе благороднаго пансіона при университетѣ, 1779), своей любовью къ литературѣ и содѣйствіемъ издательскому предпріятію Новикова.

Нѣсколько, или очень, старѣе названныхъ писателей былъ Василій Майковъ, извѣстный въ особенности своими шутливыми поэмами „Игрокъ ломбера" и „Елисей или раздраженный Вакхъ". Онъ воспитался въ той же псевдо-классической школѣ, притомъ именно русской, потому что не зналъ иностранныхъ языковъ;

былъ великимъ почитателемъ Сумарокова, писалъ—какъ тогда полагалось—оды, басни, трагедіи, но названныя шутливыя поэмы дали ему популярность, очень прочную въ XVIII столѣтіи. Онѣ любопытны именно какъ одинъ изъ первыхъ проблесковъ желанія свести литературу съ ея торжественныхъ подмостокъ въ простую дѣйствительную жизнь, и хотя здѣсь также бывали ложно-классическіе образцы шутливой, „ирои-комической", поэмы и травестировки, или пародіи героическихъ поэмъ, напримѣръ, у самого Буало (Le Lutrin) или Скаррона (Энеида),—но „Елисей" Майкова беретъ сценой прямо народную жизнь, нравы и языкъ которой онъ знаетъ, и не усумнился внести въ повѣствованіе соль не аттическую, а именно весьма крупную, домашняго производства.

Тому же поколѣнію, какъ Державинъ и Фонъ-Физинъ, принадлежалъ и знаменитый нѣкогда „пѣвецъ Душеньки", Богдановичъ. Вообще, это былъ заурядный стихотворецъ во вкусѣ времени, писавшій оды, гимны, басни и т. п.; но „Душенька" доставила ему великую славу—она казалась верхомъ легкости и граціи. Карамзинъ осыпалъ поэму изысканными похвалами и писалъ сантиментальную біографію Богдановича: „Душенька" представляетъ „легкую игру воображенія, основанную на однихъ правилахъ нѣжнаго вкуса"; Богдановичъ—„первый на русскомъ языкѣ игралъ воображеніемъ въ легкихъ стихахъ". Тѣмъ больше восхищались современники. Послѣдующая критика чѣмъ дальше, тѣмъ больше сомнѣвалась въ достоинствахъ поэмы, и Бѣлинскій, который въ началѣ своей дѣятельности находилъ еще у Богдановича нѣкоторый талантъ, впослѣдствіи говорилъ, что изъ глубокаго эллинскаго миѳа о сочетаніи души съ любовью у Богдановича все вышло „поддѣльно, тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско". Новѣйшая критика только подтверждаетъ это заключеніе, въ которомъ не трудно убѣдиться, обращаясь къ самой поэмѣ... Такія рѣзкія противорѣчія современниковъ и потомства объясняются обыкновенно смѣной литературныхъ школъ и „вкуса"; здѣсь именно было грубое состояніе „вкуса" (даже до Карамзина), который не чувствовалъ въ мнимо-„нѣжной и шутливо пріятной" поэмѣ несомнѣнно безвкуснаго: пониманіе изящнаго было еще мало развито, и первый тяжелый опытъ поэтической шутки показался совершенствомъ. Понятно, что у Богдановича былъ „образецъ": онъ передѣлалъ поэму Лафонтена Les amours de Psyché, сюжетъ которой былъ заимствованъ у Апулея.

Одно изъ самыхъ симпатичныхъ лицъ въ литературѣ этого періода былъ Хемницеръ, сынъ нѣмецкаго выходца на русской

службѣ. Онъ, какъ и всѣ, отдавалъ дань условностямъ школы, но дарованіе и живой интересъ къ нравственнымъ задачамъ литературы дали его трудамъ долговѣчность и вліяніе, какихъ не достигли многіе изъ его сверстниковъ. Хемницеръ, какъ баснописецъ, сохранялъ значеніе даже при Крыловѣ. Басня давно утвердилась въ нашей литературѣ; басни писалъ Тредьяковскій, о Сумароковѣ говорили, что ему Лафонтенъ поднесъ вѣнецъ; Хемницеръ переводилъ Лафонтена и Геллерта, но главная доля, на двѣ трети, его басенъ написана имъ самостоятельно. Главное достоинство ихъ—простота, отвѣчавшая его личному характеру, и рядомъ съ этимъ значительное участіе реальнаго народнаго языка; другая, внутренняя, ихъ черта—извѣстный элегическій тонъ, происходившій изъ тяжелыхъ условій его личной жизни. Его біографъ находитъ, что „въ отношеніи къ народности Хемницеръ не могъ остаться безъ вліянія на Крылова, который уже нашелъ у него готовый типъ настоящей русской басни и отдѣльныя черты того, чему самъ умѣлъ впослѣдствіи дать такое полное развитіе“.

Извѣстный успѣхъ достигнутъ былъ и въ драмѣ. Какъ выше указано, началась она простымъ копированіемъ французской драмы, съ ея условными формами. Чтобы приблизить ее хотя нѣсколько къ русской жизни, Сумароковъ не однажды бралъ ея героевъ изъ русской исторіи (между прочимъ давая дѣйствующимъ лицамъ нелѣпыя имена въ мнимо-русскомъ духѣ), но это не дѣлало русской драмы и развѣ только намекало на ея возможность. Узнавъ впервые трагедію въ ея ложно-классическомъ видѣ, съ любимыми античными героями, наши драматурги долго не могли справиться съ этой условной формой, и даже трагедіи на русскіе сюжеты наполнялась напыщенной декламаціей французскихъ образцовъ. Трагедіи Княжнина: „Дидона“, „Ярополкъ и Владиміръ“, „Владисанъ“, „Титово милосердіе“ повторяли, даже просто переводили Метастазія, Расина, Корнеля, Вольтера, Триссино и пр. Противъ Сумарокова нѣкоторый успѣхъ былъ только въ языкѣ. Была, впрочемъ, одна черта, которая объясняетъ успѣхъ трагедіи Княжнина у современниковъ: онъ съ особенной любовью изображаетъ, въ условіяхъ трагедіи, высокія чувства, любовь къ отечеству, гражданскій долгъ, нравственное достоинство личности. Возвышенная мораль, извлеченная изъ тогдашней литературы, отвѣчала собственному настроенію писателя и находила также опору въ томъ поученіи, какое доставлялъ „Наказъ“. Гоненіе на трагедію „Вадимъ“, уже по смерти автора, вызванное подозрительностью императрицы въ послѣдніе годы царствованія,

по всему существу было незаслуженное. Такова была и трагедія Хераскова, искусственная и безжизненная, дѣйствіе которой совершается въ фантастическихъ, иногда мнимо-русскихъ, странахъ; только „Освобожденная Москва“ увлекала современниковъ патріотическими тирадами.

Въ комедіи, въ первое время, было еще хуже. Выше упомянуто, какъ грубо Сумароковъ копировалъ здѣсь французскіе образцы, и если въ трагедіи можно было допустить искусственную обстановку ради изображенія страстей, то неестественность подобной обстановки въ комедіи бросалась въ глаза. Современники, какъ Вл. Лукинъ, смѣялись надъ мнимо-русской комедіей Сумарокова, гдѣ дѣйствующія лица носили неслыханныя, на французскій ладъ, имена, гдѣ нотаріусъ составлялъ свадебный контрактъ и т. п.; критика требовала уже, чтобы комедія не копировала только чужую форму, а давала изображеніе русскихъ людей и нравовъ. „Бригадиръ“ Фонъ-Визина указалъ эту возможность. Съ другой стороны, Сумароковъ еще царилъ, какъ онъ думалъ, на русскомъ Парнассѣ, когда начался подрывъ старой комедіи—тотъ „пакостный родъ слезныхъ комедій“, который казался ему оскорбленіемъ „вкуса Расинова и Моліерова“ и противъ котораго онъ съ ожесточеніемъ возсталъ. Но „пакостный родъ“, слезная комедія и мѣщанская драма, утвердился —не только переводами изъ Лилло, Бомарше, Дидро, Детуша, Мариво, но и собственными произведеніями.

Образованіе новаго рода комедіи совершилось въ европейской литературѣ—англійской, французской, нѣмецкой—подъ вліяніемъ разныхъ условій, и въ литературѣ французской, которая была у насъ главнымъ образцомъ, утвердилось въ особенности по двумъ основаніямъ. Съ одной стороны наступалъ переломъ въ общественной жизни: литература переставала быть „украшеніемъ двора“; началось все болѣе возроставшее значеніе третьяго сословія и центръ тяжести литературныхъ интересовъ переходилъ въ эту общественную среду; это отразилось на сценѣ, которая стала изображать явленія обычной жизни, нравовъ и моральныхъ столкновеній; старая возвышенная и высокопарная трагедія не имѣла здѣсь мѣста и, слившись съ простымъ уровнемъ общественной жизни, стала „драмой“; обращеніе къ обыденнымъ нравамъ и интересамъ создало мѣщанскую трагедію и трогательную комедію. Другимъ явленіемъ была долго копившаяся реакція противъ ложнаго классицизма: при всѣхъ великихъ созданіяхъ, какія онъ далъ литературѣ, стала чувствоваться односторонность его отношенія къ жизни, требованіямъ которой онъ

часто оставался чуждъ, и онѣ сказались въ новой „драмѣ“, новомъ романѣ, въ пародіи классическаго содержанія и формы. Русская жизнь, конечно, не знала этихъ условій—ни возвышенія третьяго сословія и перемѣщенія общественнаго центра тяжести, ни пресыщенія классицизмомъ; но было нѣчто подобное. Литература, хотя иногда допускавшаяся ко двору, держалась всего болѣе именно въ среднемъ, нѣсколько образованномъ кругу, а классицизмъ хотя являлся первой формою новой литературы, былъ все-таки чуждъ русской жизни, и при первыхъ проблескахъ жизненныхъ интересовъ литературы должна была наскучить его безплодная напыщенность и ненужная школьная миѳологія. Въ комедіи, нескладныя творенія Сумарокова, какъ выше указано, тотчасъ вызвали требованіе русскаго содержанія; слезная комедія привилась, какъ только о ней узнали, потому что она относилась именно къ той обычной жизни, которую хотѣли видѣть въ литературѣ и на сценѣ. За переводами слезныхъ коныхъ комедій послѣдовали собственные опыты. Самымъ плодовитымъ драматургомъ, послѣ Сумарокова, явился Княжнинъ; но, какъ въ трагедіи, такъ и въ комедіи, онъ не могъ обойтись безъ „образцовъ“. Въ двухъ комедіяхъ, которыя имѣли наибольшій успѣхъ: „Хвастунъ“ и „Чудаки“, онъ повторялъ де-Брюйе и Детуша; это опять было обличеніе общечеловѣческихъ пороковъ, но въ подробностяхъ, среди скопированныхъ невѣроятностей, есть черты русской жизни, и напр., въ „Несчастіи отъ кареты“, его самостоятельной комической оперѣ, обличается барское мотовство и подражаніе французскимъ модамъ съ безобразными проявленіями крѣпостного права. Сполна представилъ образчики слезныхъ комедій Веревкинъ: въ его пьесахъ „Такъ и должно“, „Точь въ точь“, происходитъ именно „сраженіе добродѣтелей“, борьба великодушныхъ поступковъ двухъ сторонъ, что̀ должно было извлекать слезы у зрителей. Изображеніе именно русской дѣйствительности становится, хотя не съ равнымъ успѣхомъ достигаемою цѣлью комедіи. Обильный рядъ такихъ произведеній принадлежалъ самой императрицѣ. Критика не находитъ въ нихъ значенія художественнаго, но онѣ любопытны какъ нравоописаніе и сатира: комедіи императрицы осмѣиваютъ суевѣріе, ханжество, сплетни, мотовство, прожектерство безъ знанія дѣла, и, наконецъ, затрогиваютъ предметы ея личной антипатіи—осмѣиваютъ шведскаго короля, фокусника и шарлатана Каліостро, мартинистовъ, наконецъ, людей, которые пересуживаютъ мѣры правительства. Самымъ замѣчательнымъ произведеніемъ той эпохи въ сатирической комедіи была знаменитая „Ябеда“ Капниста: при всѣхъ ко-

лебаніяхъ, наконецъ полной перемѣнѣ правительственныхъ взглядовъ, въ обществѣ складывалось, однако, критическое отношеніе къ существующимъ нравамъ и порядкамъ. Нѣсколько ранѣе была написана (но гораздо позже напечатана) Капнистомъ „Ода на рабство", гдѣ онъ призываетъ Екатерину „сложить съ дорогой отчизны постыдное бремя веригъ", и ждетъ времени, когда рабство будетъ уничтожено и „съ счастьемъ вольность процвѣтетъ".

Въ то же время, когда комедія дѣлаетъ первые шаги къ естественности и къ изображенію русской жизни, является въ ней и народный элементъ, въ предметѣ изображенія и языкѣ. Есть извѣстія, что еще въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ XVIII вѣка были опыты театральныхъ пьесъ „въ русскихъ нравахъ"; въ шестидесятыхъ годахъ Вл. Лукинъ въ своей комедіи заставляетъ работниковъ говорить даже на костромскомъ галицкомъ говорѣ. Въ семидесятыхъ была написана и представлена комическая опера Аблесимова „Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ", изъ народнаго быта, имѣвшая въ свое время великій успѣхъ,—такъ что, по словамъ „Драматическаго Словаря" 1787, „не только отъ національныхъ слушана была съ удовольствіемъ, но и иностранцы любопытствовали довольно; коротко сказать, что едвали не первая русская опера имѣла столько восхитительныхъ (т.-е. восхищенныхъ) спектаторовъ и плесканія". Аблесимовъ не былъ человѣкъ особенно образованный, напр., не зналъ по-французски; Новиковъ въ Словарѣ отзывался о немъ, какъ писателѣ посредственномъ (до „Мельника"), но замѣчалъ, что онъ „имѣлъ способность писать шуточныя сочиненія и перевороты", т.-е. пародіи или травестировки, и писалъ ихъ довольно удачно. Это было уже извѣстное охлажденіе къ господствовавшему вкусу,—и побужденіе взять тему изъ простого народнаго быта, хотя и въ тонѣ водевиля, было инстинктивное стремленіе къ національному содержанію. Пьеса Аблесимова имѣла успѣхъ не только въ театрѣ, но и въ литературѣ: она вызывала подражанія—Княжнина („Сбитеньщикъ"), Прокудина-Горскаго и т. д. Сцены и дѣйствующія лица изъ народа становятся нерѣдки: такъ въ пьесахъ имп. Екатерины, Веревкина, Михайла Матинскаго и др.: лица изъ народа выдержаны иногда съ значительнымъ искусствомъ,—это были начатки будущаго реализма.

Стремленіе къ народности становится, наконецъ, довольно распространнымъ вкусомъ. Оно не было какимъ-нибудь опредѣленнымъ направленіемъ въ противоположность къ подражательному направленію ложнаго классицизма. Напротивъ, то и другое

могло сливаться, не противорѣча одно другому; народное стремленіе могло даже имѣть свою основу въ вліяніяхъ „западнаго“ образованія. Источниковъ этого стремленія къ народности, проникавшаго, наконецъ, въ литературу, было два. Во-первыхъ, могущественное возбужденіе реформы принимало національный характеръ, какъ патріотическая гордость, искавшая возвышенія отечества и приходившая къ мысли о достоинствѣ народа, о необходимости его просвѣщенія и благосостоянія. Таковъ былъ источникъ лирическихъ восторговъ и практическихъ заботъ и совѣтовъ Ломоносова; и таковъ былъ мотивъ, возбуждавшій лучшихъ представителей нашей литературы прошлаго вѣка: въ разныхъ оттѣнкахъ и степеняхъ мы встрѣтимъ его, послѣ Ломоносова, у Державина, имп. Екатерины, у Новикова, Радищева, Капниста, у историковъ, какъ кн. Щербатовъ и Болтинъ, и т. д. Другой источникъ былъ болѣе инстинктивный, но не менѣе сильный; это—естественная любовь къ родному—къ своему народу, быту, поэтическому преданію. Наперекоръ тому, что̀ давно говорилось о вредномъ вліяніи реформы, отрывавшей высшій классъ отъ народа, не трудно видѣть, что бытовое преданіе въ самомъ этомъ классѣ было въ XVIII вѣкѣ едва ли не сильнѣе, чѣмъ потомъ, когда оффиціально провозглашалась „народность“. Изъ этихъ двухъ источниковъ складывались различныя литературныя явленія. Идеалистическое представленіе народа вдохновляло наиболѣе сильныхъ поэтовъ, и, соединяясь съ указаніями науки, возбуждало разнообразныя изученія народа, полагало начало исторіографіи, и съ нею мыслей о мѣрахъ къ лучшему устройству народной жизни и даже о самомъ существѣ историческаго движенія, пользѣ или вредѣ реформы (начало будущаго спора славянофиловъ и западниковъ). Непосредственное чувство производило тѣ стремленія къ народному, какія встрѣчаемъ въ самомъ разгарѣ ложно-классическаго усердія. Тредьяковскій,—подъ впечатлѣніемъ изящной выработки французскаго придворнаго и салоннаго стиля,—стремился „вычищать“ русскій литературный языкъ и указывалъ источники изящества въ языкѣ двора, благоразумнѣйшихъ министровъ, премудрыхъ священноначальниковъ, знатнѣйшаго благороднаго сословія,—съ прибавкою собственнаго разсужденія,—но правила стихосложенія онъ взялъ „изъ самыхъ внутренностей свойства нашему стиху приличнаго“, именно изъ „поэзіи нашего простого народа“. Сумароковъ, ложно-классикъ и крѣпостникъ, подражаетъ народнымъ пѣсенкамъ; Державинъ, среди громовъ придворнаго стихотворства, поэтизируетъ народную дѣвичью пляску. Созрѣла потребность изображенія русской жизни, и въ пьесахъ

Фонъ-Визина, импер. Екатерины, Аблесимова, Веревкина и др. нашлись вѣрныя черты, между прочимъ, прямо людей изъ народа; Василій Майковъ въ шутливой, отчасти распущенной поэмѣ взялъ простонароднаго героя; Радищевъ воспѣвалъ „Бову", Карамзинъ „Илью Муромца", и уже вслѣдъ за нимъ доживавшій послѣдніе годы Херасковъ въ „Бахаріянѣ" (1803) хотѣлъ писать тѣмъ „народнымъ"

.... стихосложеніемъ,
Коимъ справедливо нравится
Недопѣтый Илья Муромецъ.

Въ помѣщичьемъ быту высшаго класса не переставала нравиться народная пѣсня, проникавшая и ко двору. Пѣсенники Чулкова и Новикова нашли множество послѣдователей; были попытки обратиться къ народнымъ сказкамъ, собирались пословицы, преданья и суевѣрья и т. д. Дѣлалось это всего чаще не весьма умѣло, книжная манерность стремилась „вычищать" произведенія „простонародной музы": Чулковъ и Прачъ еще сберегали народную пѣсню, но Дмитріевъ подправлялъ ихъ, а Богдановичъ совсѣмъ изуродовалъ пословицы, растягивая ихъ въ книжную фразу и придѣлывая нелѣпыя риѳмы. Когда начали реставрировать историческую старину (какъ въ „Вивліоѳикѣ" Новикова, въ изданіяхъ лѣтописей, въ поискахъ древнихъ рукописей, и т. д.), послышалась и старина поэтическая. Открыто было Слово о полку Игоревѣ; имъ были заинтересованы, но не съумѣли еще ни правильно прочесть, ни опредѣлить его значенія: оно казалось героической поэмой по ложно-классической піитикѣ или поэмой во вкусѣ Оссіана; Державинъ не разобралъ грубой подделки „Баянова гимна" и мечталъ о древнихъ русскихъ „бардахъ".

Немногое изъ этой литературы сохранилось въ памяти историко-художественной критики; но многое остается весьма цѣнно для исторіи общественной, какъ ступени умственнаго развитія и художественнаго пониманія. По общей схемѣ, литература носитъ тотъ же искусственный, прививной ложно-классическій характеръ до самаго Карамзина, частію даже въ его время; но вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ рядъ частныхъ пріобрѣтеній, которыя простираются съ одной стороны на языкъ и стиль, съ другой на объемъ литературныхъ идей въ средѣ общества: послѣднее начинаетъ видѣть въ литературѣ не одну забаву, а отголосокъ самой жизни, орудіе для выраженія ея нарождающихся стремленій. Ближайшая послѣдующая эпоха, начало XIX-го столѣ-

тія, уже свидѣтельствуетъ о болѣе зрѣлыхъ запросахъ литературы, какъ общественной силы и какъ поэзіи—подготовленіе ихъ принадлежитъ XVIII вѣку; историко-художественная критика открываетъ у Пушкина отголоски стиха Ломоносова и Державина. Нуженъ былъ творческій геній, чтобы возникла высокая національная поэзія, и въ великомъ его трудѣ еще отзывались инстинктивныя, полу-сознательныя начинанія XVIII вѣка.

Сочиненія импер. Екатерины въ свое время печатались въ журналахъ, какъ „Всякая Всячина“ и особливо „Собесѣдникъ“; драматическія пьесы—отдѣльными книжками и въ „Россійскомъ Өеатрѣ“; „Записки касательно россійской исторіи“, помѣщавшіяся въ „Собесѣдникѣ“, изданы были потомъ отдѣльной книгой, исправленныя и дополненныя, съ именемъ императрицы. Спб. 1787—1793, пять частей, и съ перепечаткой заглавія. Спб. 1801; „Гражданское начальное ученіе“. Спб. 1781—83; „Antidote ou examen d'un mauvais livre superbement imprimé“ и пр., противъ аббата Шаппа, 1770—1771 (русскій переводъ въ сборникѣ „Осьмнадцатый Вѣкъ“, т. IV); „Le secret de la société anti-absurde devoilé par quelqu'un qui n'en est pas“ издано, также и по-нѣмецки, съ помѣтой Кёльнъ, 1759, на дѣлѣ Спб. 1780, —русскій переводъ Храповицкаго: „Тайна противу-нелѣпаго общества“ и пр. Спб. 1759 (около 1780). Изданія „Наказа“ отмѣчены выше, какъ и ея переписка съ философами. „Mémoires de l'impératrice Catherine II, écrites par elle-même. Londres 1859, изданы были въ первый разъ Герценомъ, и одновременно изданъ русскій переводъ, — о времени составленія ихъ и содержанія см. у Бильбасова, XII, ч. вторая, стр. 333—340.

— Первое изданіе сочиненій сдѣлано было Смирдинымъ: Полное собраніе сочиненій имп. Екатерины II. Спб. 1849—1851, 3 части. Другое изданіе Суворина. Спб. 1890; третье изданіе: „Сочиненія имп. Екатерины II. Редакція и примѣчанія В. Ө. Солнцева“. Спб. 1893, въ приложеніяхъ къ журналу „Сѣверъ“; это послѣднее болѣе полно и исправно, но старая орөографія не вполнѣ сохранена. „Записки касательно росс. исторіи“ и Мемуары Екатерины во всѣ эти изданія не вошли.

Литература объ Екатеринѣ II, какъ писательницѣ, не велика; укажемъ главное.

— Н. Добролюбовъ, о „Собесѣдникѣ“, въ Сочин., т. I. Статья вызвала возраженія А. Галахова, въ Отеч. Запискахъ, 1856, т. 108, 109, и отвѣты въ Современникѣ.

— М. Лонгиновъ, о драматич. сочиненіяхъ Екатерины II, въ „Молвѣ“ 1857. Между прочимъ, Лонгиновъ указывалъ, что Екатеринѣ принадлежало, кромѣ извѣстныхъ, еще нѣсколько пьесъ, помѣщенныхъ безъ имени автора, въ Эрмитажномъ театрѣ.

— Гр. Геннади, дополнительныя замѣтки къ статьѣ Лонгинова, въ Библіограф. Запискахъ, 1858, т. I, стр. 498—508.

— Пекарскій, Матеріалы для исторіи журнальной и литератур-

ной дѣятельности Екатерины II, въ Запискахъ Акад. Н., 1863, т. III, приложенія.

— П. Безсоновъ, О вліяніи народнаго творчества на драмы имп. Екатерины и о цѣльныхъ русскихъ пѣсняхъ, сюда вставленныхъ,—въ „Зарѣ“, 1870, № 4.

— А. Брикнеръ, о комической оперѣ „Горе-богатырь“, въ Журн. мин. просв. 1870, № 12.

— П. Щебальскій, рядъ статей въ „Зарѣ“, 1869, и „Р. Вѣстникѣ“, 1871.

— Геннади, Справочный Словарь о рус. писателяхъ и ученыхъ и пр. Берлинъ, 1876, т. I, стр. 337—341.

О сравнительныхъ словаряхъ, составленныхъ по ея мысли,—въ Исторіи р. Этнографіи, т. I.

Сочиненія Лавровскаго, Морозова и др. объ ея педагогической и литературной дѣятельности указаны въ главѣ XXXVI.

Произведенія Державина собраны въ чрезвычайно обстоятельномъ академическомъ изданіи: „Сочиненія Державина, съ объяснительными примѣчаніями“ Я. Грота и иными приложеніями. Спб. 1864—1873, семь томовъ, и его же: „Жизнь Державина по его сочиненіямъ и письмамъ и по историческимъ документамъ“. Спб. 1880—83, два большихъ тома,—съ обширными приложеніями матеріаловъ, подробнымъ обзоромъ литературы о Державинѣ, замѣчаніями о языкѣ, словаремъ къ его стихотвореніямъ, портретами и т. д. Мы можемъ только направить читателя къ этой монументальной работѣ за всѣми историко-литературными подробностями, и приводимъ лишь главныя біографическія данныя.

Державинъ, Гавріилъ Романовичъ, сынъ премьеръ-майора, изъ рода татарскаго мурзы Большой орды, „потомокъ Багрима“, какъ нѣкогда его называли, род. въ Казани, въ 1743, учился въ казанской гимназіи (открытой въ 1758), въ 1762 былъ потребованъ на службу въ преображенскій полкъ, въ Петербургъ. Здѣсь, съ 1767 начинаются его стихотворные опыты. Въ 1773, прапорщикомъ, назначенъ былъ къ Бибикову, посланному для усмиренія Пугачевскаго бунта. Въ это время написаны были „Оды, переведенныя и сочиненныя при горѣ Читалагаѣ“ (изд. 1776). За службу при Бибиковѣ награжденный 300 душъ, онъ перешелъ въ гражданскую службу—въ сенатѣ, при оберъ-прокурорѣ, кн. Вяземскомъ, въ 1777; вмѣстѣ съ тѣмъ началась его извѣстность какъ поэта (въ 1778 г. написана ода на смерть князя Мещерскаго), которая стала славой послѣ оды къ „Фелицѣ“ (1782). Въ 1784 (когда была написана ода „Богъ“) онъ былъ назначенъ олонецкимъ, потомъ тамбовскимъ губернаторомъ, но не поладилъ съ намѣстникомъ, гр. Гудовичемъ, и отрѣшенный отъ должности, въ 1789, былъ отданъ подъ судъ. Въ 1789, благодаря Потемкину и другимъ вельможамъ, онъ былъ милостиво принятъ Екатериной; ей „трудно было обвинить автора Фелицы“, но она сказала ему, что нѣтъ ли въ его нравѣ чего-нибудь строптиваго, что онъ ни съ кѣмъ не можетъ ужиться. Судъ оправдалъ его; потомъ, въ 1791, онъ назна-

ченъ былъ состоять при императрицѣ, но довольно скоро ей надоѣлъ, потому что „лѣзъ къ ней со всякимъ вздоромъ", и въ 1793 сдѣланъ былъ сенаторомъ. При Павлѣ былъ правителемъ канцеляріи совѣта императора, но вскорѣ „за необузданность языка", какъ пишетъ Болотовъ, былъ опять отосланъ въ сенатъ. При Александрѣ, въ 1802, назначенъ былъ министромъ юстиціи, но онъ не раздѣлялъ тогдашнихъ либеральныхъ взглядовъ имп. Александра, считалъ мысли объ освобожденіи крестьянъ предразсудкомъ, и въ 1803 былъ уволенъ въ отставку. Онъ умеръ въ 1816.

Поэзія Державина, какъ выше замѣчено, вызвала у Пушкина строгія сужденія; но Бѣлинскій въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ" говорилъ еще въ восторженныхъ выраженіяхъ о необычайной силѣ его дарованія и о могущественномъ впечатлѣніи полу-фантастическихъ образовъ, какіе создавало его воображеніе, рядомъ съ простыми обращеніями къ дѣйствительности; онъ признавалъ въ его произведеніяхъ блестящую, характерную картину нашего XVIII-го вѣка, но вмѣстѣ находилъ, что его оды потеряли для насъ интересъ, его другія стихотворенія односторонни по содержанію, не выдержаны по формѣ. „Поэзія Державина представляетъ собою богатый зародышъ искусства, но еще не есть искусство; это блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, но еще не сама поэзія... Поэзія не родится вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной русской поэзіи. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достоинства и его недостатки"...

Гоголь широкими, поэтическими чертами высказывалъ недоумѣніе, откуда взялось у Державина его исполинское и парящее творчество, этотъ гиперболическій размахъ его рѣчи. Это—пѣвецъ величія. „Замѣтно, однако же, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болѣе всего его занимавшимъ, было—начертить образъ какого-то крѣпкаго мужа, закаленнаго въ дѣлѣ жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ-нибудь временемъ, но со всѣми вѣками,—изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ изникнуть, по его мнѣнію, изъ крѣпкихъ началъ нашей русской породы... Часто, бросивши въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мѣсто того же своего непреклоннаго, правдиваго мужа" (Соч., изд. 10-е, IV, 173—174)...

Но, какъ давно замѣтилъ Бѣлинскій, Державинъ не выдерживалъ и не сознавалъ достоинства самой поэзіи. Онъ считалъ себя достойнымъ „истукана" за предметъ своихъ пѣснопѣній, а не за даръ къ нимъ, и свое чиновническое поприще считалъ выше поэтическаго; самъ Державинъ то возвеличиваетъ „вышній даръ боговъ", то считаетъ свою поэзію бездѣлкой, и въ этихъ колебаніяхъ сказалась „нерѣшительность, неопредѣленность идеи поэзіи въ то время"; въ одномъ случаѣ проявлялась его глубоко поэтическая натура, въ другомъ—современное общество.

Кромѣ изданія сочиненій и біографіи Грота см. также Венгерова, Р. Поэзія, I, стр. 603—689, прим. стр. 73—134, съ обширными извлеченіями изъ литературы о Державинѣ; между прочимъ помѣщена статья Д. Маслова: „Державинъ-гражданинъ" (1861), какъ

„наиболѣе яркій образецъ тѣхъ рѣзкихъ нареканій, которымъ сталъ подвергаться пѣвецъ Екатерины, начиная съ конца 50-хъ годовъ“.

Наиболѣе полное изданіе Фонъ-Визина въ книгѣ П. А. Ефремова: „Сочиненія, письма и избранные переводы Д. И. Фонъ-Визина“, съ портретомъ, примѣчаніями и статьей А. Пятковскаго. Спб. 1866. Трудъ, предположенный Тихонравовымъ, остался неконченнымъ и по его смерти изданъ Р. Отдѣленіемъ Академіи: „Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Д. И. Фонвизина“. Спб. 1894.

Фонъ-Визинъ род. въ 1745 въ Москвѣ; одиннадцати лѣтъ поступилъ въ гимназію при только-что основанномъ университетѣ; въ 1759 произведенный въ студенты, слушалъ лекціи на философскомъ факультетѣ, между прочимъ у Шадена. Въ это время онъ началъ свою литературную дѣятельность переводами (Басни Гольберга, 1761; Жизнь Сиѳа, царя египетскаго, 1762—68). Въ 1762 поступилъ на службу, сначала въ гвардію, потомъ въ иностранную коллегію, состоялъ при кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, перешелъ затѣмъ къ гр. Н. И. Панину, управлявшему иностранными дѣлами. Въ 1773, Панинъ, получивъ по окончаніи воспитанія наслѣдника престола награду „душами“, подѣлился съ своими секретарями: Фонъ-Визинъ получилъ болѣе тысячи душъ, женился на богатой вдовѣ и зажилъ на широкую ногу. Въ 1777—78 онъ сдѣлалъ первое путешествіе за границу, по нездоровью жены, жилъ въ Монпелье и Парижѣ, и писалъ „Письма изъ Франціи къ гр. П. И. Панину“.

Когда былъ написанъ „Бригадиръ“ и въ первый разъ напечатанъ, до сихъ поръ не выяснено; написаніе относятъ къ 1766—68 годамъ. Къ 1782 относится „Недоросль“, который имѣлъ великій успѣхъ. Въ 1783, Фонъ-Визинъ принялъ участіе въ „Собесѣдникѣ“ извѣстными „Вопросами“, которые раздражили императрицу и за которыми послѣдовали покаянныя объясненія автора. Въ томъ же году умеръ Панинъ; Фонъ-Визинъ вышелъ въ отставку, опять прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ за границей, въ Италіи. По возвращеніи въ Москву онъ имѣлъ апоплексическій ударъ, и для леченія въ 1786—87 сдѣлалъ третье путешествіе за границу, въ Австрію. Онъ умеръ въ 1792.

Литература о Фонъ-Визинѣ, несмотря на его большое значеніе въ развитіи нашей литературы, не велика.

— Отзывы Бѣлинскаго, въ разные періоды его критики: Сочин. I, стр. 54—56; VI, стр. 27—28; VIII, стр. 119—120; XI, стр. 76—78, и др.

— Кн. П. А. Вяземскій, „Фонъ-Визинъ“. Спб. 1848; въ Сочиненіяхъ, т. V. Спб. 1880.

— С. С. Дудышкинъ, по поводу Смирдинскаго изданія, въ Отеч. Зап. 1847, № 8—9.

— А. Галаховъ, Идеалъ Фонъ-Визина, въ Библіограф. Запискахъ, 1858, № 13, и въ Исторіи словесности.

— Н. Тихонравовъ, по поводу Смирд. изданія, въ Моск. Вѣд. 1853, № 6; въ Сочиненіяхъ, т. III, ч. 1, стр. 90—129; прим., стр. 13—19. Статья 1853 года, любопытная по указаніямъ заимствованій Фонъ-Визина, во второй части III-го тома. М. 1898, стр. 38—48.

— Алексѣй Веселовскій, Западное влеченіе и пр. 2-е изд. М. 1896, стр. 83—87, 96—101.

— В. Ключевскій, „Недоросль“ Фонъ-Визина. Опытъ историческаго объясненія учебной пьесы,—въ журналѣ „Искусство и Наука“, 1896, № 1, стр. 5—26.

Николай Никит. Поповскій (род. около 1730, ум. 1760), ученикъ духовной школы, потомъ Академіи Наукъ, подъ руководствомъ Ломоносова, который очень его цѣнилъ. Его переводъ: „Опытъ о человѣкѣ, господина Попія“ изданъ былъ М. 1757; 2-е изд. (у меня), М. 1763 (у Смирдина 2-мъ показано вѣроятно 3-е. М. 1787); и изданіе въ Яссахъ, 1791. Отрывокъ „Опыта“, статья о Поповскомъ, Шевырева, и библ. примѣчанія у Венгерова, Р. Поэзія, I, стр. 815—821, 332—333.

Ермилъ Ив. Костровъ, сынъ вятскаго крестьянина (род. около 1750, ум. 1796), учился въ вятской семинаріи, потомъ въ славяно-греко-латинской академіи и моск. Университетѣ, за свои оды назначенъ былъ „университетскимъ стихотворцемъ“; извѣстенъ былъ также отчаяннымъ пьянствомъ.

— „Полное собраніе всѣхъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ“. 2 ч. Спб. 1802,—но изданіе не полно.

— Смирдинское изданіе, въ Полномъ собраніи сочиненій русскихъ авторовъ. Спб. 1849.

— Біографія и разборъ сочиненій, П. Морозова, въ воронежскихъ Филолог. Запискахъ, 1876.

— Р. Поэзія, Венгерова, I, стр. 298—353, прим. 236—341, гдѣ взята изъ Морозова біографія, списокъ сочиненій Кострова и литература о немъ.

Василій Петр. Петровъ (1736—1799), питомецъ, потомъ преподаватель моск. духовной академіи, переводчикъ и чтецъ при императрицѣ; послѣ поѣздки въ Англію для довершенія образованія, придворный библіотекарь; въ молодости близкій съ Потемкинымъ, онъ этому, кажется, не мало былъ обязанъ своей карьерой.

– Біографія его была изложена обстоятельно г. Шляпкинымъ въ Р. Поэзіи, Венгерова, гдѣ собраны сполна стихотворные труды Петрова и библіографическія свѣдѣнія. I, стр. 354—452, прим. 328—332. Къ послѣднимъ можно прибавить пародію въ „Собраніи стихотвореній Новаго поэта“. Спб. 1855.

Михаилъ Матв. Херасковъ (1733—1807), родомъ изъ молдавскихъ бояръ, учился въ Сухопутномъ корпусѣ и, послѣ короткой военной службы, при основаніи моск. Университета зачисленъ былъ въ его штатъ, управлялъ его типографіей, съ 1763 былъ директоромъ, съ 1778 до 1802 кураторомъ Университета. Близкій съ масонскимъ кругомъ, онъ отдалъ Новикову въ аренду на десять лѣтъ изданіе

„Моск. Вѣдомостей“ и университетскую типографію, что дало Новикову возможность развить свою широкую издательскую дѣятельность. Плодовитый писатель и горячій (немного простодушный во вкусѣ школы) любитель литературы, Херасковъ собиралъ вокругъ себя молодыхъ писателей и покровительствовалъ имъ.

— Эпическія творенія. 2 ч., 2-е изд. М. 1786—87; 3-е, М. 1820.

— Творенія Мих. Хер., вновь исправленныя и дополненныя. 12 частей. М. 1796—1803; 2-е изд. М. 1807—1812. Отдѣльно отъ Твореній издана была „Бахаріяна, или Неизвѣстный. Волшебная повѣсть, почерпнутая изъ русскихъ сказокъ“. М. 1803,—всего меньше изъ русскихъ сказокъ, а всего больше изъ собственной фантазіи, напитавшейся волшебными романами, какіе были въ ходу въ концѣ вѣка,—съ поучительной тенденціей о торжествѣ добродѣтели послѣ тяжкихъ испытаній.

— Р. Поэзія, Венгерова, I, стр. 485—551, прим. стр. 402—408. Здѣсь переиздана біографія, составленная М. Хмыровымъ, и указана литература о Херасковѣ.

Вас. Ив. Майковъ (1728—1778), сынъ ярославскаго помѣщика, учился дома, былъ въ военной службѣ, съ 1766 былъ товарищемъ губернатора московской губерніи, потомъ прокуроромъ военной коллегіи, главнымъ членомъ конторы моск. Оружейной палаты. Онъ писалъ по обычаю оды, похвальные стихи, трагедіи, басни и т. д.; не зная иностранныхъ языковъ, перелагалъ, съ русской прозы, трагедію Вольтера „Меропа“ и т. д.

— Сочиненія и переводы В. И. Майкова. Съ портретомъ автора, со статьею о Майковѣ и съ примѣчаніями Л. Н. Майкова. Редакція изданія П. А. Ефремова. Спб. 1867. Біографія повторена съ дополненіями въ „Очеркахъ по исторіи литературы XVII и XVIII столѣтій“, Л. Майкова. Спб. 1889, и отсюда въ „Р. Поэзіи“, Венгерова, т. I.

Ипполитъ Өедор. Богдановичъ (1743—1803) былъ сынъ небольшого чиновника въ полтавской губерніи. Его ученье и служба были особенныя, въ нравахъ вѣка. Десяти лѣтъ онъ отданъ былъ на службу въ Москву, въ юстицъ-коллегію, „юнкеромъ“; мальчикъ былъ способный, и ему разрѣшено было поступить въ математическое училище при сенатской конторѣ; на четырнадцатомъ году сталъ писать стихи подъ покровительствомъ Хераскова, получилъ возможность учиться въ университетѣ, куда былъ отпускаемъ изъ юстицъ-коллегіи. Послѣ онъ бывалъ надзирателемъ надъ классами въ университетѣ, зачисленный прапорщикомъ въ полкъ; потомъ „отосланъ“ въ военную коллегію, служилъ переводчикомъ при Н. И. Панинѣ, участвовалъ въ журналахъ Хераскова, перешелъ въ иностранную коллегію, былъ секретаремъ посольства въ Саксоніи (1766—69); вернувшись въ Петербургъ, служилъ въ государственномъ архивѣ, занялся литературными трудами, участвовалъ въ „Собесѣдникѣ“ и т. д. Въ 1795 онъ вышелъ въ отставку и прожилъ послѣдніе годы въ Малороссіи. Въ своей

автобіографіи онъ сосчиталъ, что „въ службѣ находился 41 годъ и 11 дней, отъ офицерскаго же чина 33 года, 6 мѣсяцевъ и 3 дня“. Въ предисловіи къ „Душенькѣ“ онъ не считаетъ себя „учрежденнымъ писателемъ“; поэзія, по его мнѣнію, должна изображать пріятныя картины, воспѣвать природу и идиллическихъ пастушковъ, потому что „разумъ, удручаясь важными размышленіями, нерѣдко ищетъ отдыха въ самыхъ *бездѣлицахъ*“.

— Первое изданіе поэмы: „Душенька, древняя повѣсть, въ вольныхъ стихахъ“. Спб. 1783. Переиздана много разъ.

— Автобіографія помѣщена въ статьѣ Гр. Геннади, Отеч. Записки, 1853, № 4.

— К. Арабажинъ, въ Критико-біогр. Словарѣ, Венгерова, т. IV.

— Р. Поэзія, Венгерова, I, стр. 552—602; въ примѣчаніяхъ, стр. 7—58, приведена въ выпискахъ и цѣликомъ литература о Богдановичѣ.

Ив. Ив. Хемницеръ (1745—1784), сынъ выѣхавшаго въ Россію нѣмца-доктора; ученье его было случайное, но онъ отличался особыми способностями и рано развился. На 13-мъ году безъ воли отца ушелъ на военную службу и еще мальчикомъ былъ въ Семилѣтнюю войну въ походѣ, гдѣ случайно нашелъ его отецъ. Вышедши въ отставку поручикомъ въ 1769, онъ поступилъ въ горное вѣдомство, въ 1776—77 сдѣлалъ съ начальникомъ своимъ Соймоновымъ путешествіе за границу (въ Германію, Голландію и Францію); въ 1781 вмѣстѣ съ нимъ вышелъ въ отставку изъ этого вѣдомства и затѣмъ получилъ мѣсто консула въ Смирнѣ, гдѣ пробылъ года полтора; тамъ онъ и умеръ.

— „Басни и сказки N... N...“. Первое изданіе вышло въ Петербургѣ безъ означенія года, и только потомъ Хемницеръ, по убѣжденіямъ друзей, поставилъ свое имя. Онъ не сдѣлалъ этого въ первый разъ по скромности, а также изъ опасенія, чтобы въ нѣкоторыхъ басняхъ не нашли личныхъ намековъ. Всѣхъ изданій насчитывается до сорока̀.

— Сочиненія и письма Хемницера по подлиннымъ его рукописямъ, съ біографическою статьею и примѣчаніями Я. Грота. Спб. 1873,—лучшее изданіе.

Як. Борис. Княжнинъ (1742—1791), учился дома, потомъ у профессора Модераха; былъ переводчикомъ въ иностранной коллегіи, былъ въ военной службѣ, не совсѣмъ удачно, растративъ казенныя деньги на игру; вышедши въ отставку, занялся литературой и снова былъ принятъ на службу Бецкимъ, у котораго онъ сталъ секретаремъ. Первая трагедія, съ которой началась его извѣстность, была „Дидона“,—ею восхитился самъ Сумароковъ.

— Собраніе сочиненій, 4 ч. Спб. 1787. При 3-мъ изданіи, 5 ч., Спб. 1817 — 18, приложена его біографія. Изданіе Смирдина, 2 ч. Спб. 1847—48.

О біографіи и сочиненіяхъ Княжнина:

— Стоюнинъ, въ Библ. для чтенія, 1850, № 5—7, и въ Истор. Вѣстникѣ, 1881, № 7, 8, 10.

· Галаховъ, въ Отеч. Зап. 1850, № 4, 8, 12.

— Гр. Александровъ, въ Р. Архивѣ, 1873, № 9.

— Юр. Веселовскій, Изъ прошлаго русской драмы, въ „Артистѣ" 1894, объясненіе просвѣтительныхъ и патріотическихъ идей Княжнина.

— Л. Майковъ, Историко-литер. очерки. Спб. 1895, стр. 1—50: „Первые шаги Крылова на литературномъ поприщѣ".

— Венгеровъ, Р. Поэзія, I, стр. 741——758, и прим. стр. 222 225; тамъ же, стр. 218—222, о г-жѣ Княжниной.

О Вл. И. Лукинѣ см. въ книгѣ: „Сочиненія и переводы В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова", съ моею статьей. Спб. 1868. Объ отношеніи къ Лукину сатирическихъ журналовъ см. замѣчанія г. Солнцева въ книжкѣ о „Всякой Всячинѣ",

---

Александръ Онис. Аблесимовъ (1742—1783), сынъ небогатаго помѣщика, служилъ въ лейбъ-кампанской канцеляріи, въ коммиссіи объ уложеніи, въ военной службѣ, гдѣ дошелъ до капитанскаго чина, наконецъ, былъ экзекуторомъ въ московской управѣ благочинія. Образованіе его было малое, но на службѣ въ канцеляріи ему пришлось переписывать сочиненія Сумарокова, и это пробудило въ немъ охоту къ собственному писательству. Его первыя стихотворенія были намѣщены въ „Трудолюбивой Пчелѣ" Сумарокова, 1759, потомъ онъ писалъ въ „Трутнѣ" Новикова. Въ 1779 былъ въ первый разъ поставленъ „Мельникъ", напечатанный въ 1782. Въ 1781 онъ издавалъ, безъ успѣха, журнальчикъ „Разкащикъ забавныхъ басенъ" и пр.

— Сочиненія, изд. Смирдина. Спб. 1849.

— Р. Поэзія, Венгерова, I, 690—709, прим. стр. 1—2. Здѣсь помѣщены только стихотворенія, и статьи объ Аблесимовѣ г. Венгерова и Н. Тупикова.

Мих. Ив. Веревкинъ (1733—1795) учился въ Шляхетномъ корпусѣ, служилъ во флотѣ, потомъ при московскомъ Университетѣ, былъ съ 1759 въ теченіе двухъ лѣтъ директоромъ открытой тогда гимназіи въ Казани, былъ товарищемъ казанскаго губернатора, переводчикомъ при кабинетѣ императрицы, затѣмъ въ гражданской службѣ.

— Н. Тупиковъ, „М. И. Веревкинъ, Историко-литер. очеркъ". Спб. 1895 (изъ „Ежегодника имп. театровъ" за 1893—94).

Вас. Вас. Капнистъ (1757—1824), изъ малорусской фамиліи итальянскаго происхожденія, учился дома и въ школѣ Измайловскаго полка, былъ въ военной службѣ, съ 1782 былъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства въ Миргородѣ, губернскимъ въ Кіевѣ, занималъ разныя гражданскія должности, въ 1799—1801 состоялъ при театральной дирекціи въ Петербургѣ. Это былъ живой, остроумный человѣкъ, писатель старомодный, но образованный; живя въ Петербургѣ, онъ

былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ Н. А. Львовымъ, Хемницеромъ, Державинымъ, Гнѣдичемъ и пр.

„Ода на рабство" (противъ рабства) написана была въ 1783, но издана была только въ „Лирическихъ стихотвореніяхъ" 1806. Кн. Дашкова желала напечатать ее въ 1786 (вѣроятно въ „Новыхъ Ежемѣс. сочиненіяхъ", составлявшихъ продолженіе „Собесѣдника"), но Державинъ отговорилъ ее. Онъ писалъ Капнисту, что—„изъяснилъ ей, что ни для ея, ни для твоей пользы напечатать и показать напечатанную императрицѣ тоё оду не годится и съ здравымъ разсудкомъ не сходно, на что она весьма согласилась и осталась довольною".

„Ябеда" (написанная по поводу процесса Капниста съ Тарновскимъ) представлена была въ первый разъ въ августѣ 1798, и имѣла блистательный успѣхъ, но черезъ нѣсколько представленій была запрещена и явилась вновь на сценѣ уже при Александрѣ I.

— Сочиненія, изданіе Смирдина. Спб. 1849.

— Р. Поэзія, Венгерова, I, стр. 725—740, прим. стр. 210—217, съ біографической статьей В. И. Саитова.

— Д. Языковъ, Столѣтіе комедіи Капниста „Ябеда", въ Р. Вѣстникѣ, 1898, августъ, стр. 323—329.

По исторіи трогательной комедіи и мѣщанской драмы должно обратиться къ англійской, французской и нѣмецкой литературѣ XVIII в., изъ которыхъ проникали къ намъ эти вліянія, особливо французскія. См. напр.:

— Исторію всеобщей литературы XVIII вѣка, Геттнера, 2-е рус. изд. Спб. 1897—1898; I, стр. 415, объ англ. мѣщанской драмѣ; II, стр. 83 и д. о французской драмѣ. Въ нѣмецкомъ подлинникѣ: Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrh., 4-е изд., т. III, кн. II. Braunschweig, 1893, стр. 447, о драмахъ и драматическихъ сочиненіяхъ Лессинга.

— Вильг. Шереръ, Ист. нѣмецкой литературы, русск. изд. Спб. 1893, т. II.

— Лансонъ, Ист. французской литературы, русск. изд. М. 1898. II, стр. 38 Мариво, Детушъ, Лашоссе и пр.; стр. 140 Дидро.

— Ив. Ивановъ, Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка. М. 1895, стр. 226 и д. судьба классической трагедіи и комедіи, Дидро и пр.; стр. 546 и д. идея о народѣ, изображеніе на сценѣ крестьянина и рабочаго.

Бытовая комедія конца XVIII вѣка, начинателемъ которой считается въ особенности Аблесимовъ, обращаетъ вниманіе новыхъ изслѣдователей какъ предшествіе реальной комедіи нашего времени. Такое сопоставленіе дѣлаетъ г. Тупиковъ въ упомянутой статьѣ о Веревкинѣ, который въ иныхъ подробностяхъ кажется ему предшественникомъ Островскаго.—Раньше А. Ѳоминъ, въ статьѣ: „Старое въ новомъ. Отголоски комедіи XVIII вѣка въ комедіяхъ нашего времени" (Р. Мысль, 1893, февраль), находилъ предшественниковъ Грибоѣдова, Гоголя и Островскаго въ писателяхъ конца XVIII вѣка—

Клушинѣ, Копьевѣ, Плавильщиковѣ. Сравненія—рискованны, и пьесы этихъ старыхъ писателей, — забытыя на сценѣ потому, что кромѣ вѣрныхъ частностей имѣли не мало недостатковъ,—не совсѣмъ забыты историками литературы, которые сохранили имена Клушина, Плавильщикова и пр.; но вѣрно то, что вмѣстѣ съ общей преемственностью основныхъ явленій происходила филіація болѣе частныхъ литературныхъ интересовъ и пріемовъ, и любопытны указанія на то, какъ происходила постепенная выработка языка, какъ совершенствовалась художественная форма, какую находимъ у позднѣйшихъ писателей.

Таково было и цѣлое стремленіе ввести въ литературу элементы народнаго быта и преданія. Въ концѣ XVIII вѣка мы находимъ его въ зачаточномъ состояніи, какъ первое неумѣлое обращеніе къ народной пѣснѣ, сказкѣ, пословицѣ, повѣрью и суевѣрью. Указанія сдѣланы мною въ „Исторіи р. Этнографіи" (т. I); библіографическія свѣдѣнія о Мих. Дм. Чулковѣ и Мих. Вас. Поповѣ у Венгерова, Р. Поэзія, т. I, s. v.; о Ник. Ал. Львовѣ (1751—1803), которому принадлежитъ, между прочимъ, введеніе къ сборнику пѣсенъ Прача, 1791, см. въ біографіяхъ Державина Хемницера, Капниста, и въ Р. Поэзіи, Венгерова I, прим. стр. 767—776.

Въ текстѣ упомянуто, какое смутное понятіе имѣли въ XVIII вѣкѣ о древней народной поэзіи. Инстинктъ привлекалъ къ ней писателей, но они не знали, какъ отнестись къ ней съ точки зрѣнія литературной теоріи. Приводимъ нѣсколько примѣровъ, которые мало были замѣчены у историковъ литературы.

О былинахъ и духовныхъ стихахъ, отзывъ извѣстнаго историка Болтина:

(Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи Г. Леклерка, сочиненныя генералъ маіоромъ Иваномъ Болтинымъ. Спб. 1788. Т. II, стр. 60—61).

„Въ старинныхъ пѣсняхъ обносящихся между черни, каковы суть о Ильѣ Муромцѣ, о пирахъ Князя Володимира, и пр., въ пѣсняхъ подлыхъ безъ всякаго складу и ладу, находитъ Авторъ искры піитическаго духа, краткость мыслей и силу выраженій; и признаетъ ихъ за вѣрное изображеніе тогдашняго вкуса и нравовъ народа, стр. 53.

„Подлинно таковыя пѣсни изображаютъ вкусъ тогдашняго вѣка, но не народа, а черни, людей безграмотныхъ, и, можетъ быть, бродягъ, кои ремесломъ симъ кормилися, что слагая таковыя пѣсни, пѣли ихъ для испрошенія милостыни; подобно тому какъ и нынѣ нищіе, а паче слѣпые, слагая нелѣпые стихи, поютъ ихъ ходя по торгамъ, гдѣ чернь собирается. Сказанныя пѣсни такого жъ точно рода какъ сіи нищенскія, называемыя стихами, и сочинены подобными авторами, слѣдовательно вкуса и нравовъ народа изображать не могутъ. Изображаютъ вкусъ и нравы народа тогдашняго вѣка, лѣтописи Несторова, Іоакимова, законы Ярославовы и Изяславовы, договоры мирные, грамоты, изложенія духовныя и политическія, и подобныя симъ уцѣлѣвшія отъ древности писменные остатки.

„Между прочимъ тутъ же Авторъ сказываетъ, что находится и понынѣ восточный вкусъ въ большой части нынѣшнихъ Русскихъ стихотвореній. Желательно бъ было, чтобъ онъ хотя одно

изъ сихъ стихотвореній указалъ, для свѣденія намъ Русскимъ, по нынѣ ни въ одномъ того не примѣтившимъ".

Слово о полку Игоревѣ упомянуто Херасковымъ въ поэмѣ „Владиміръ" (Творенія, ч. II, 1797, стр. 300—301). При описаніи битвы:

„Но битву описать, нѣтъ кисти у меня,
Хотя бъ я полонъ былъ Гомерова огня;
И Ломоносову хотя бы былъ подобенъ,
Повѣдать страшну брань не сдѣлался бъ удобенъ.
О! древнихъ лѣтъ пѣвецъ, полночный Осіянъ! [1])
Въ развалинахъ вѣковъ погребшійся Баянъ!
Тебя намъ возвѣстилъ незнаемый Писатель;
Когда онъ былъ твоихъ напѣвовъ подражатель,
Такъ Игорева пѣснь изображаетъ намъ,
Что душу подавалъ Гомеръ твоимъ стихамъ;
Въ нихъ слышны, кажется мнѣ, пѣсни соловьины,
Отважный львиный ходъ, паренія орлины;
Ты, можетъ быть, Баянъ тому свидѣтель былъ,
Когда Владиміръ въ Тавръ законъ пріять ходилъ,
Твой духъ еще когда витаетъ въ здѣшнемъ мірѣ!
Води моимъ перомъ, учи играть на лирѣ"...

Въ другой разъ Слово о полку Игоревѣ упоминается въ „Бахаріянѣ" (М. 1803; глава пятая, стр. 127):

„Мнѣ бы слогомъ пѣть всегда однимъ,
Какъ пѣвали Барды Рускіе,
Барды Рускіе, старинные;
Какъ Боянъ пѣлъ древній соловей,
Онъ воскресъ недавно въ наши дни,
Къ чести отдаленнѣйшихъ вѣковъ,
Въ пѣсни пѣтой, какъ-то Игорю,
Пѣснопѣвцомъ неизвѣстнымъ намъ;
Но достоинъ онъ безсмертія!
Живо въ пѣснѣ все рисовано,
Живо—важно—и чувствительно;
Плачетъ, плачетъ Ярославовна,
Будто горлица стенящая,
По любезномъ Святославичѣ;
Плачетъ, заставляя плакать насъ; —
Гдѣ орломъ паритъ въ бою пѣвецъ,
Тамо слышенъ ропотъ, — шумъ и громъ;
Вотъ для насъ достойный образецъ,
Какъ дѣла героевъ воспѣвать;
Важный въ немъ Гомеръ и Оссіянъ
Съ Ломоносовымъ сливаются;
А Боянъ еще важнѣе былъ,
Пѣснопѣвцемъ прославляемый,
Соколамъ уподобляемый.

---

[1]) Недавно отъискана рукопись, подъ названіемъ: Пѣснь полку Игореву, неизвѣстнымъ писателемъ сочиненная. Кажется, за многіе до насъ вѣки, въ ней упоминается Баянъ Россійскій пѣснопѣвецъ. (Прим. Хераскова).

ГЛАВА XXXVIII.

ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II.

Новое движеніе, выразившееся въ масонствѣ.
Его различныя формы.
Новиковъ и Шварцъ.
Князь Щербатовъ.
Радищевъ.

Когда русскіе писатели конца прошлаго вѣка полагали, что „россіянамъ дарована свобода мыслить и изъясняться“, и что, „наслаждаясь“ этой свободой, „имѣютъ они долгъ возвысить громкій гласъ свой противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству“; когда это говорили Фонъ-Визинъ и Державинъ; когда повторяли это много разъ и другіе, даже несчастный Радищевъ, — въ дѣйствительности литература могла сказать лишь очень немногое: какъ скоро она говорила не въ „улыбательномъ“ духѣ, ее останавливали,—и это было даже въ тѣ годы, когда у насъ хвалились бо̀льшей свободой, чѣмъ было во Франціи, покровительствовали энциклопедистамъ и т. п. Тѣмъ менѣе литература могла получить простора въ то время, когда въ настроеніи императрицы все болѣе усиливалось враждебное отношеніе къ „философіи“. Вполнѣ совпадаетъ съ этимъ явленіе, давно замѣченное нѣкоторыми историками литературы прошлаго вѣка, именно, что въ тогдашней поэзіи нельзя найти никакого развитія, и въ теченіе всего XVIII-го столѣтія уровень ея содержанія почти не повысился.

Но если не было движенія на этомъ пути, гдѣ остановили его мало благопріятныя условія времени, оно сказалось въ другой области литературы и общественности. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было бы предположить, чтобы продолжительное, хотя бы и элементарное, воспитаніе общества на западной литературѣ не подѣйствовало, наконецъ, и болѣе глубокимъ образомъ на умы

людей болѣе серьезныхъ и воспріимчивыхъ, не побудило ихъ выяснить свое міровоззрѣніе и примѣнить къ дѣлу тѣ идеи, какія они почерпали въ источникахъ своего образованія. Изъ обширной литературы, приходившей къ намъ въ переводахъ, а многимъ извѣстной и въ подлинникѣ, въ нашъ литературный обиходъ вошло много понятій,—о пользѣ просвѣщенія, о гражданскомъ долгѣ, о необходимости человѣколюбія и справедливости къ низшимъ и т. п.,—которыя требовались приличіемъ для человѣка образованнаго. Эти новыя понятія нерѣдко бывали поверхностны (не могла не быть поверхностна мораль Стародума, если для нея оказывались нужными французскіе источники); но въ концѣ концовъ онѣ должны были найти и болѣе прочную почву, а затѣмъ должны были сблизить въ болѣе тѣсный кругъ людей одного образа мыслей и сходныхъ стремленій. За отсутствіемъ прямой литературной дѣятельности, это движеніе обнаружилось въ иной области и особымъ образомъ отразилось въ литературѣ. Мы разумѣемъ распространеніе масонскихъ ложъ и дѣятельность Новикова.

Первыя ложи являются у насъ съ тридцатыхъ годовъ XVIII в., какъ еще одно нововведеніе на ряду со многими обычаями, какіе заимствовались тогда съ западнаго образца. Первыми дѣйствующими лицами были и здѣсь иностранцы; къ нимъ, повидимому, довольно рано начинаютъ присоединяться русскіе, которые, быть можетъ, и независимо отъ того узнали въ путешествіяхъ за границей о существованіи таинственнаго союза. Въ царствованіе Елизаветы правительство узнало о существованіи ложъ, и нѣкоторымъ масонамъ изъ знатныхъ фамилій былъ произведенъ допросъ.

Какъ извѣстно, масонскія ложи, каково бы ни было ихъ раннее начало, организовались прежде всего въ Англіи, не далѣе начала XVIII вѣка, и отсюда вскорѣ распространились по всему континенту. Основа содержанія этого первоначальнаго масонства была немногосложна: это была идеальная религія, христіанская, но свободная отъ вѣроисповѣдной нетерпимости; воспитаніе братскаго чувства между людьми безъ различія національностей и сословнаго положенія; нравственный союзъ, возвышавшій надъ испорченностью и себялюбіемъ, господствующими въ жизни, наконецъ, взаимная помощь и дружеское общеніе. Тайна, какою окружалъ себя „орденъ“, по самой своей новизнѣ оказалась, повидимому, чрезвычайно заманчивою, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ развивалась легендарная исторія таинственнаго союза, который возводился ни болѣе, ни менѣе, какъ къ древнимъ време-

менамъ построенія Соломонова храма, развивалась и другая сторона „ордена“, его обрядность и чиноначаліе. Переходя изъ Англіи въ другія страны Европы, ложи обыковенно начинали съ первоначальной англійской системы, которая была самою простою; но уже вскорѣ она стала обогащаться новыми подробностями, такъ что, наконецъ, явилось нѣсколько отдѣльныхъ „системъ“ съ гораздо болѣе сложными обрядами и іерархіей, съ новыми наименованіями для ложъ масонскаго „Востока“. Западныя ложи различнымъ образомъ отразились и у насъ. Съ конца царствованія Елизаветы и особливо во времена Екатерины II у насъ также распространился цѣлый рядъ такихъ видоизмѣненій масонства: Англійская или Шотландская система, система Шведская, „Строгое“ или „Слабое наблюденіе“, „Французскія степени“ или „градусы“ и т. д. Обыкновенно было такъ, что новоизобрѣтенные системы и градусы представляли надстройку надъ первоначальными англійскими степенями, которыхъ было всего три (ученикъ, товарищъ и мастеръ): эти степени были сочтены за предварительное посвященіе въ ученія „ордена“, и полагалось, что главная мудрость начинается уже дальше, и здѣсь открывался широкій просторъ для фантазіи изобрѣтателей новыхъ системъ. Каждая утверждала (и многіе изъ ихъ послѣдователей были искренно въ томъ увѣрены), что именно ей принадлежитъ настоящая истина ученія и настоящая древняя тайна; легковѣріе и тщеславіе были таковы, что было множество охотниковъ добиваться высшихъ степеней даже въ различныхъ системахъ: титулы этихъ степеней бывали обыкновенно пышные, а впереди мерещилась какая-то великая тайна, владѣніе которою могло не только льстить самолюбію, но было и весьма драгоцѣнно—оно давало высшія таинственныя познанія, невѣдомыя толпѣ.

Естественно ожидать, что при дальнѣйшемъ развитіи измѣнялся не только внѣшній, но и внутренній характеръ „ордена“, что при новыхъ переработкахъ въ новой средѣ въ него проникали тенденціи, которыхъ не было въ самомъ источникѣ. Въ новыхъ формахъ масонства, кромѣ все болѣе сложной обрядности и чиноначалія съ рыцарскими и іерархическими титулами, стало развиваться и содержаніе самаго ученія. Были немногіе свѣтлые умы, которымъ основная мысль ордена „свободныхъ каменщиковъ“ давала тему для развитія возвышеннаго ученія объ идеальной религіи и общечеловѣческомъ братствѣ,—какъ у Лессинга въ его Gespräche für Freimaurer (1778—1780);—но въ большинствѣ масонскихъ круговъ почти не было уже рѣчи о тѣхъ

простыхъ идеяхъ, какія лежали въ основѣ первоначальнаго англійскаго учрежденія; „орденъ“ задавался гораздо болѣе мудреными, даже нерѣдко черезъ-чуръ мудреными задачами; въ самую организацію вносилъ такую строгую дисциплину, которая, наконецъ, совсѣмъ противорѣчила первымъ планамъ союза, разсчитаннымъ на братолюбіе и нравственное совершенствованіе; наконецъ, въ самое существо ордена введены были совсѣмъ чуждыя первому англійскому учрежденію тайныя науки и крайняя мистика. Изъ различныхъ источниковъ, съ какими наши масоны познакомились въ иностранныхъ системахъ, въ наши ложи проникли тенденціи, которыя, наконецъ, было странно видѣть въ русской одеждѣ. Таково было такъ-называемое „Тампліерство“, которое хотѣло обновить въ масонскихъ ложахъ традицію средневѣковыхъ рыцарей храма, или „Розенкрейцерство“ (орденъ Златорозоваго Креста), гдѣ съ мистическимъ изувѣрствомъ соединилась другая средневѣковая традиція—алхимія и магія. Въ ложахъ западныхъ, переодѣванье въ рыцарей еще могло имѣть какой-нибудь смыслъ, какъ обновленіе своей старины—новѣйшіе масонскіе рыцари могли имѣть настоящихъ рыцарей въ числѣ своихъ предковъ, или, по крайней мѣрѣ, помнить рыцарскія преданія; у насъ эти рыцари не имѣли никакого смысла, и съ средѣ нашихъ масоновъ дѣйствительно возникло, наконецъ, сомнѣніе въ умѣстности рыцарства. Точно также съ алхиміей и магіей: это была фантазія, воспитанная средними вѣками Запада и на которую тамъ потрачено было много усилій, много ученой работы и даже ума; отъ среднихъ вѣковъ преданія алхиміи и магіи были забыты до XVIII столѣтія, но объ нихъ говорила цѣлая обширная литература, онѣ практиковались на дѣлѣ—у насъ не было ничего подобнаго: кое-какія отрывочныя свѣдѣнія изъ этой литературы появляются въ нашей письменности едва съ конца XVII-го вѣка, нѣсколько подобныхъ твореній было переведено теперь трудами масонской братіи, были даже заботы о томъ, чтобы перевести эту алхимію въ практику; но въ концѣ концовъ все это было и осталось чуждой и праздной фантазіей... Повторилось нѣчто подобное тому, что̀ происходило въ литературѣ. Передъ глазами русскаго образованнаго или любознательнаго человѣка стояло великое разнообразіе умственной жизни и общественныхъ обычаевъ Запада; реформа перенесла многое изъ этого въ русскую жизнь, и многое бросило здѣсь прочный корень, изъ котораго развивались потомъ русская наука, литература и общественность,—но за существеннымъ и главнымъ были также подробности частныя и случайныя, и онѣ опять встрѣтили

интересъ и вызывали подражаніе. Такъ переходили всѣ мелкія рубрики западнаго стихотворства: наши первые писатели XVIII в. гордились тѣмъ, что писали во всѣхъ родахъ, и дѣйствительно дали русскіе образчики всевозможныхъ стихотворныхъ формъ, въ сущности безполезныхъ, но которыя, по крайней мѣрѣ, знакомили съ наличнымъ обычаемъ иностранныхъ литературъ. Здѣсь, на ряду съ тѣмъ, что̀ могло бы имѣть свое нравственное значеніе, входили и тѣ подробности, которыя нашей жизни были и остались совершенно чужды и не имѣли въ ней никакого смысла. Таково было, напр., переодѣваніе въ рыцарей или исканіе философскаго камня. Такъ, хотя бы въ отрывочной формѣ, черезъ понятія русскихъ людей проходили все-таки старыя стадіи западнаго развитія; неспособныя къ живому дѣйствію, онѣ какъ будто наполняли пробѣлъ знаній о прошедшихъ судьбахъ западной жизни.

Въ масонствѣ отражалось, однако, не только это устарѣвшее, что̀ способно было увлекать людей наивныхъ и мало просвѣщенныхъ, или прямыхъ обскурантовъ; въ немъ находили мѣсто и отголоски лучшихъ стремленій XVIII вѣка, возвышенный идеализмъ, наконецъ, даже рѣзкія проявленія отрицательныхъ взглядовъ, какъ въ знаменитомъ „иллюминантствѣ“ Вейсгаупта. Упомянутое произведеніе Лессинга историкамъ нѣмецкой литературы представляется завершеніемъ тѣхъ возвышенныхъ идей, какія онъ высказывалъ въ „Наѳанѣ Мудромъ“, въ „Testament Johannis“ и въ трактатѣ о „Воспитаніи человѣческаго рода“. На темы масонскихъ положеній Лессингъ излагалъ свое нравственное и общественное міровоззрѣніе, которое онъ вообще избѣгалъ высказывать въ положительной формѣ и которое здѣсь, примыкая къ ученіямъ масонства, является въ видѣ цѣлой нравственной системы высокаго идеалистическаго характера. „Разговоры“ Лессинга повидимому остались неизвѣстны нашимъ членамъ „ордена“ [1]) и, быть можетъ, такое широкое ученіе не привилось бы въ тогдашнихъ русскихъ ложахъ потому, что для воспринятія этихъ идей требовалось бы серьезное воспитаніе философской мысли, какого трудно было бы ожидать въ нашемъ обществѣ конца прошлаго вѣка. Въ замѣнъ, распространялось нѣчто болѣе элементарное, хотя съ виду мудреное и таинственное, но что̀ прямо разсчитывало на недостатокъ познаній и на суевѣріе, какъ

---

[1]) Повидимому, они остались неизвѣстны и нашему біографу Новикова, потому что иначе побудили бы его нѣсколько измѣнить свои сужденія о томъ, что̀ могло быть заимствовано нашими масонами изъ западной литературы (см. Незеленова, „Н. И. Новиковъ“, гл. II: Русское масонство второй половины прошедшаго столѣтія).

алхимія Розенкрейцерства. Но при всѣхъ крайностяхъ подобнаго рода должно признать, что основное стремленіе, которое дало у насъ успѣхъ масонству, и всего больше въ кругѣ Новикова, было признакомъ возникавшаго общественнаго чувства, попыткой расширить привычный складъ мысли поисками хотя бы неяснаго идеала.

Зачатки этого идеала находились именно въ старомъ англійскомъ масонствѣ. Оно развилось въ странѣ, пережившей тяжелыя политическія и религіозныя потрясенія, въ странѣ, ранѣе континента завоевавшей себѣ извѣстную свободу мысли, и должно было служить высокому идеалу братскихъ отношеній между людьми, свободныхъ отъ тѣхъ преградъ, какія обыкновенно полагало имъ различіе націи, религіи, сословнаго положенія. Правда, отрицаніе подобныхъ преградъ было теоретически не полно (изъ масонской связи отлучались люди несвободные, а также люди не-христіанскихъ исповѣданій), но и то, что̀ было принято въ правило, было нравственнымъ пріобрѣтеніемъ для общества, слишкомъ раздѣленнаго господствующими условіями гражданскаго быта и церковныхъ нравовъ. Обширный успѣхъ масонства на континентѣ показываетъ, что оно вѣрно угадывало затаенную мысль общества, которое тяготилось феодальными преданіями, съ негодованіемъ смотрѣло на ожесточенную вражду христіанскихъ исповѣданій и сектъ, забывавшихъ о самомъ христіанствѣ, и инстинктивно искало какихъ-то неизвѣстныхъ формъ жизни, въ которыхъ она была бы свободна отъ этихъ вопіющихъ противорѣчій и которыя дали бы, наконецъ, мѣсто нравственному чувству и человѣческому достоинству. Если вспомнить, что это самое время отмѣчено было въ англійской, французской, нѣмецкой литературѣ страстными спорами о религіи, нравственности, просвѣщеніи, обществѣ, правѣ личности и т. д., то будетъ понятенъ успѣхъ идей масонства, которое хотѣло предвосхитить будущій порядокъ человѣческихъ отношеній, хотѣло быть христіанскимъ, а не только церковнымъ, и т. д. Это былъ популярный опытъ примѣненія на дѣлѣ новыхъ понятій, бродившихъ въ обществѣ, и этимъ объясняется его первый успѣхъ. Оно хотѣло быть замкнутымъ кругомъ людей, связанныхъ довѣріемъ и клятвой, и это опять было понятно въ условіяхъ времени.

На первый разъ масонство было принято у насъ наивно и вмѣстѣ поверхностно. Наша жизнь не представляла тѣхъ нравственныхъ условій, какія давали ему смыслъ въ западной жизни; не мудрено, что многіе видѣли въ масонскихъ ложахъ только занимательныя сборища, въ которыхъ исполнялись оригинальные

обряды, и хотя читались поученія, но временами бывали и веселыя „столовыя ложи“, потому что первоначальное масонство не изгоняло этихъ удовольствій. Какъ видно изъ воспоминаній Елагина (который съ семидесятыхъ годовъ былъ гросмейстеромъ особой „системы“ въ Петербургѣ), многихъ привлекали въ масонство тщеславіе и разсчетъ, потому что въ ложахъ люди незначительные могли встрѣчаться съ сильными и вліятельными вельможами и надѣялись, что масонскія связи могутъ быть полезны имъ по службѣ. Но первоначальное наивное усвоеніе чужой моды смѣнялось потомъ болѣе серьезнымъ интересомъ: являлось желаніе отдать себѣ отчетъ въ содержаніи „орденскихъ“ постановленій и, вѣроятно, многіе переживали то, что̀ разсказываетъ о себѣ тотъ же Елагинъ: изъ легкомысленнаго посѣтителя ложъ онъ мало-по-малу сдѣлался ревностнымъ теософомъ и даже сочинилъ свое особое ученіе. Повидимому, такими вѣрующими масонами были тѣ друзья Новикова, которые усиленно старались привлечь его въ „орденъ“; нѣкоторые изъ друзей Новикова въ Москвѣ были убѣжденными столпами масонства...

Въ послѣдней четверти вѣка образовался тотъ типъ „масона“, который на нѣсколько десятилѣтій, до самаго конца царствованія Александра I, жилъ въ русскомъ обществѣ, какъ и противоположный типъ вольнодумца и вольтеріянца. Масонъ, или въ популярной формѣ „фармазонъ“ [1]), какъ вольтеріянецъ, были наконецъ пугаломъ для людей стариннаго обычая, которые не любили и боялись новизны: въ тѣхъ и другихъ они видѣли опасныхъ нарушителей старосвѣтскаго благочестія; вольтеріянцы были просто вольнодумцы и безбожники; фармазоны не были безбожники, но они толковали вѣру по-своему, вносили въ нее что-то прежде небывалое; въ популярныхъ понятіяхъ, на нихъ легла черта какого-то подозрительнаго волхвованія (отголосокъ ихъ наклонности къ алхиміи и магіи) и ихъ отрицательнаго отношенія къ оффиціальной церкви. Этотъ типъ „фармазона“ указываетъ, что масонское движеніе въ свое время произвело впечатлѣніе, какъ нѣчто невиданное, а также и независимое.

Въ настоящее время еще трудно говорить о масонствѣ съ нѣкоторой опредѣленностью. Изученіе его едва начато: не выяснена достаточно даже его внѣшняя исторія, а тѣмъ менѣе исторія внутренняя. Послѣ того, какъ наше масонство изъ упомянутаго поверхностнаго подражанія стало болѣе или менѣе сознательнымъ направленіемъ, оно, судя по извѣстному теперь

[1]) Изъ франк-масонъ.

матеріалу, представляло послѣдовательно (а иногда и одновременно) весьма различные оттѣнки понятій нравственныхъ и образовательныхъ. Масонство съ самаго начала облекало себя въ тайну, и своимъ адептамъ обѣщало познаніе высшей истины,— первоначально только нравственнаго совершенствованія; но уже вскорѣ эту высшую истину стали изображать какимъ-то таинственнымъ знаніемъ, которое должно было раскрываться по мѣрѣ того, какъ адептъ повышался въ „градусахъ". Отсюда былъ прямой путь къ мистицизму съ одной стороны, и къ тайнымъ, магическимъ знаніямъ съ другой. Мистики и магики всегда относились съ пренебреженіемъ къ обыкновеннымъ, „внѣшнимъ", наукамъ, потому что сами обладали высшимъ, сверхъестественнымъ, знаніемъ, скрытымъ отъ профановъ, — и они сплошь и рядомъ становились злѣйшими обскурантами. Мистицизмъ чрезвычайно распространился и въ русскихъ ложахъ; но когда Новиковъ и его друзья могли соединять съ мистическимъ масонствомъ весьма ревностную образовательную дѣятельность, учреждать школы, устроивать для избранныхъ юношей возможность высшаго образованія, вести обширное издательское дѣло, которое, по отзывамъ ближайшихъ современниковъ, въ первый разъ создало въ Россіи большой кругъ читателей,—другіе люди этого круга и особливо ихъ ближайшіе преемники, именно въ Александровское время, соединяли съ масонствомъ не только пренебреженіе къ наукѣ, какъ внѣшнему знанію, но и самый злостный обскурантизмъ: въ это время писались масонами ядовитые доносы на самого Карамзина,—доносы не имѣли дѣйствія, потому что даже для того времени не имѣли смысла, но для насъ остаются свидѣтельствомъ мракобѣсія, какимъ въ концѣ концовъ завершалось движеніе, нѣкогда вызванное здравыми потребностями общественной мысли.

Возвращаясь къ первоначальной эпохѣ нашего масонства, можно именно думать, что у тѣхъ людей, которые впервые отнеслись серьезно къ англійскому ученію, оно явилось естественнымъ восполненіемъ нравственной потребности, не удовлетворенной условіями русской жизни. Были тяжелыя времена для тѣхъ, кто хотѣлъ бы ставить себѣ нравственные вопросы: грубые нравы, господство насилія и произвола, невѣжество, и послѣднее даже въ большинствѣ тѣхъ людей, которые должны были быть первыми учителями нравственности,—все это, при начавшемся стремленіи къ образованію, представляло благопріятную почву для ученія, которое бралось отвѣчать на нравственные запросы общества. Англійское ученіе говорило о братствѣ, о помощи ближ-

нему, объ истинномъ благочестіи, о просвѣщеніи, о наблюденіи человѣка надъ собственною внутреннею жизнью; вмѣстѣ съ тѣмъ оно отвергало конфессіональное суевѣріе и нетерпимость; англійская система обставляла это содержаніе знаменательными обрядами, которымъ приписывала глубокую древность, какъ и самому ученію; англійская ложа вмѣстѣ съ тѣмъ вовсе не была какою-нибудь аскетическою сектой, освящала всѣ радости жизни; правда, въ ложу не допускались женщины—отчасти потому, что въ нихъ не видѣли достаточно серьезности, отчасти потому, что по всѣмъ условіямъ времени общественное дѣло было дѣло мужское,—но въ масонскомъ обрядѣ вспоминали о подругѣ „брата" и заочно посылали ей привѣтствіе. Среди грубыхъ нравовъ такое ученіе естественно могло казаться привлекательнымъ, и предполагаемая древность могла только увеличить его авторитетъ. Его теоретическіе недостатки пока не были видны, и оно имѣло успѣхъ именно потому, что у насъ являлось первой нравственной философіей. Еще одна черта проходитъ черезъ всю исторію масонскаго движенія: съ самаго начала масонскія системы отстранялись отъ оффиціальной церковности, а впослѣдствіи становились къ ней даже во враждебное отношеніе. Причина была въ томъ, что эта церковность, по масонскому мнѣнію, или пренебрегала своей обязанностью нравственнаго руководства, или придавала слишкомъ большое значеніе внѣшнему обряду въ ущербъ нравственному ученію. Уже вскорѣ масонство стало противополагать церковь внѣшнюю и внутреннюю, и свое ученіе связывало именно съ послѣдней [1]). Когда разъ эта точка зрѣнія была пріобрѣтена, масоны все больше укрѣплялись въ убѣжденіи, что именно въ ихъ рукахъ находится истина; и въ особенности тайна, которую они усиливались поддержать, все больше обращала ихъ въ секту, наполненную самомнѣніемъ и нетерпимостью.

Эта тайна въ самомъ источникѣ масонства, Англіи, не долго могла укрыться отъ профановъ. Нашелся предатель, который выдалъ тайну масонскихъ обрядовъ и ученій и описалъ ихъ въ книжкѣ, которая была переведена и на русскій языкъ („Масонъ безъ маски". Спб. 1784). Но это не остановило вѣрныхъ послѣдователей ордена; они продолжали утверждать, что тайна тѣмъ не менѣе хранится въ орденѣ, что открыты только перво-

---

[1]) Наше духовенство обыкновенно строго осуждало масоновъ, видя въ ихъ мнѣніяхъ и обычаяхъ противленіе ученіямъ церкви, и отраженіемъ этого было непріязненное отношеніе толпы къ „фармазонамъ"; были, впрочемъ, исключенія, гдѣ духовныя лица признавали это стремленіе къ внутренней церкви. Церковь католическая строго осуждаетъ масонскія ложи до сихъ поръ, воображая въ нихъ источникъ и орудіе невѣрія и вражды къ клерикаламъ.

начальныя ступени, и въ послѣдующихъ формахъ масонства „тайна" дѣйствительно все болѣе усложнялась — при помощи ссылокъ на древнія преданія, на мистическія ученія, на орденъ рыцарей храма (Тампліерство), и наконецъ въ Розенкрейцерствѣ сполна сведена была на алхимію и магію. Это послѣднее было подновленіемъ среднихъ вѣковъ. Оно дѣлалось двояко: съ одной стороны, бывали искренніе, но наивные фантасты, которые думали усовершенствовать драгоцѣнное ученіе своими комментаріями; съ другой, намѣренные выдумщики сочиняли новыя системы и собирали послѣдователей съ тѣми или другими практическими цѣлями; бывало, напр., что подъ орденскую „тайну" подкладывалось намѣреніе собрать послушныхъ исполнителей политической интриги,—какъ впослѣдствіи, между прочимъ и у насъ, масоны бывали сплошной стѣной обскурантизма. Первоначальная выдумка, конечно, старательно скрывалась, и новые адепты какой-либо „системы" обыкновенно искренно вѣрили, что тотъ или другой орденъ, вчера только выдуманный, дѣйствительно идетъ отъ глубокой древности. Вѣрили прежде всего въ происхожденіе англійскаго масонства отъ строителей Соломонова храма, а потомъ вѣрили и въ другія легендарныя исторіи: времена Соломона казались еще не довольно древними и таинственными, и источникъ масонскаго ученія вели отъ египетскихъ таинствъ, отъ индѣйской древности, отъ Зороастра, откуда будто бы эти тайны (вычитанныя изъ книгъ) сохранены черезъ тысячелѣтія путемъ преданія. Когда, наконецъ, между „системами" начиналось соревнованіе и вражда, онѣ обыкновенно заподозрѣвали чужую легенду, упорно вѣря въ свою собственную. Какъ легко было проникаться такой вѣрой, когда къ легендѣ не касалась еще простая историческая критика и когда при недостаткѣ знаній усиленно развивалась фантазія, привлекаемая таинственными вопросами природы и человѣческой жизни, — можно судить по тому, что даже недавній историкъ русскаго масонства [1]) увѣровалъ въ фантастическія бредни масоновъ объ ихъ орденѣ... Впослѣдствіи масоны почувствовали, что нѣкоторыя подробности ихъ ученія могутъ вызывать недовѣріе; напримѣръ, алхимія во второй половинѣ XVIII вѣка была вещью слишкомъ запоздалой; поэтому наши розенкрейцы, слѣдуя своимъ нѣмецкимъ учителямъ, постоянно ссылались на то, что ихъ ученіе вовсе не есть „грубая" и „матеріальная" алхимія и магія, но, напротивъ, есть „духовная" алхимія и „божественная" магія; подмѣной словъ и мистиче-

---

[1]) Лонгиновъ.

скимъ туманомъ они вѣроятно и сами обманывали себя, представляя свое ученіе самой возвышенной философіей; рядомъ съ розенкрейцерствомъ они усиленно изучали старыхъ и новѣйшихъ мистиковъ, въ особенности знаменитаго Якова Бёма, Таулера и пр.; но съ другой стороны справедливо замѣчаніе біографа Новикова, что подъ покровомъ мистики они, быть можетъ, сами это недостаточно сознавая, впадали въ самый грубый матеріализмъ. Въ самомъ дѣлѣ, толкуя „духовно“ алхимическіе термины, они надѣялись, однако, что получатъ тайну добывать золото и жизненный элексиръ.

Импер. Екатерина не любила ничего туманнаго, мистическаго; ей казалось, что всякое мистическое направленіе мысли есть заблужденіе или грубое суевѣріе, а когда оно складывалось въ секту, когда къ нему присоединялось что-нибудь чудесное, загадочное, здѣсь непремѣнно должны были быть „обманщики“ и „обольщенные“. Въ масонскія ложи того времени (напр. въ Германіи) дѣйствительно проникало иногда шарлатанство, — совершалось вызываніе духовъ, въ розенкрейцерствѣ искали золота и т. п.; у насъ этого еще не съумѣли бы, но и у насъ были люди, вѣрившіе въ Каліостро и желавшіе выучиться дѣлать золото. Екатерина не понимала только, что могли быть не обольщенные, а сами себя обольщавшіе люди, въ которыхъ могъ развиваться мистицизмъ — изъ тѣхъ основаній, изъ какихъ вообще рождается мистическое настроеніе. Но тамъ, гдѣ не было этихъ бросающихся въ глаза крайностей, гдѣ масонство направлялось на цѣли нравственныя и общественныя, Екатерина все-таки къ нему оставалась враждебна, и невысказаннымъ поводомъ этой вражды было то, что она встрѣчала здѣсь общественное явленіе, совершавшееся мимо ея воли и контроля... Просвѣщенный абсолютизмъ Екатерины II ничего не уступилъ изъ той суровой и недовѣрчивой опеки, въ какой уже давно жило русское общество; быть можетъ, онъ еще усилилъ опеку, потому что внесъ въ ея кругъ умственную жизнь общества, на которую прежде почти не обращали вниманія. Екатерина хотѣла стоять во главѣ не только государства, но и общества; избалованная успѣхомъ и лестью, которую слышала отъ первостепенныхъ писателей Европы, и сознавая собственное превосходство, она думала, что одна способна руководить воспитаніемъ общества. Но эту задачу трудно было исполнить. Какъ ни были ограничены размѣры русскаго просвѣщенія, въ немъ началась уже своя внутренняя работа: она питалась изъ источниковъ, которые не легко было впередъ разсчитать, затрогивала умы разнаго склада, хотѣла быть

независимой. Новое ученіе было очень мирное; кромѣ добродѣтели вообще, оно спеціально внушало послушаніе власти, въ дѣлахъ общественныхъ только филантропію и заботу о просвѣщеніи, но во всемъ этомъ оно хотѣло остаться свободнымъ отъ оффиціальныхъ указаній. При всей скромности „ордена", гросмейстеры котораго бывали, между прочимъ, услужливыми придворными, Екатеринѣ видимо не нравился даже призракъ какой-то организаціи, имѣвшей притязаніе на независимость и тайну. Въ комедіяхъ, написанныхъ Екатериною противъ масонства, кромѣ осмѣянія такихъ сторонъ его, которыя на это поддавались, были и насмѣшки надъ тѣмъ, что̀ могло быть вовсе не смѣшно, напримѣръ надъ филантропіей масоновъ, надъ ихъ исканіями нравственной истины. Кромѣ насмѣшки видно и прямое раздраженіе, которое отозвалось карикатурой; можно замѣтить и не вполнѣ вѣрное представленіе о самомъ содержаніи масонскихъ ученій... Въ этомъ направленіи самымъ крупнымъ лицомъ тогдашней литературы былъ Новиковъ; именно на него и обрушилось, наконецъ, самое жестокое преслѣдованіе.

Несмотря на многія изслѣдованія, какія были уже посвящены жизни и дѣятельности Новикова (1744—1818), его личность и исторія остаются до сихъ поръ не вполнѣ выясненными. Люди XVIII вѣка мало сознавали важность біографіи: когда она была нужна, она представлялась всего чаще въ видѣ панегирика, болѣе или менѣе безсодержательнаго; нѣкоторые современники упоминали о Новиковѣ въ своихъ запискахъ, но только случайно и отрывочно; когда онъ былъ въ опалѣ, о немъ вѣроятно боялись даже говорить; онъ умеръ забытымъ въ такую эпоху, которая поглощена была другими тревожными вопросами, не помня прошлаго. Поэтому, кромѣ самыхъ трудовъ Новикова, оставшихся въ литературѣ, кромѣ немногихъ извѣстій современниковъ, кромѣ изданныхъ только въ послѣднее время оффиціальныхъ бумагъ изъ эпохи его преслѣдованія, нѣтъ никакихъ прямыхъ указаній объ его жизни, объ исторіи его понятій, которая, была бы въ высшей степени интересна, потому что Новиковъ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ людей прошлаго вѣка. Нужны еще новыя изслѣдованія (и найдется ли для нихъ новый матеріалъ?), чтобы опредѣлить послѣдовательныя ступени его внутренней жизни. Его образованіе было очень недостаточное: онъ учился въ Москвѣ въ университетской гимназіи, но въ 1760 году былъ исключенъ изъ „французскаго класса" за

лѣность и нехожденіе въ классъ; вспоминаютъ при этомъ, что вмѣстѣ съ Новиковымъ былъ исключенъ изъ гимназіи и Потемкинъ; незадолго до своей смерти Новиковъ въ письмѣ къ Карамзину оговаривается о себѣ, что онъ—невѣжда, „не знающій никакихъ языковъ, не читавшій школьныхъ философовъ... они никогда не лѣзли въ мою голову". Потомъ онъ поступаетъ въ военную службу и въ 1762 году, въ тотъ день, когда совершился переворотъ, возведшій Екатерину на престолъ, Новиковъ стоялъ на часахъ у казармъ преданнаго Екатеринѣ Измайловскаго полка: здѣсь онъ въ первый разъ увидѣлъ Екатерину, какъ въ этотъ же день впервые ее увидалъ Потемкинъ. Когда участники переворота получали награды, Новиковъ былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры. Оставаясь въ полку, онъ, повидимому, старался пополнить свое недостаточное образованіе и, вѣроятно, этимъ обратилъ на себя вниманіе, когда попалъ въ Коммиссію объ Уложеніи для веденія дневной записки. Надо только догадываться, что пребываніе въ Коммиссіи не осталось безъ сильнаго вліянія, возбудивъ его патріотическое чувство и направивъ его на общественные вопросы,—потому что нельзя не видѣть одушевленнаго патріота въ издателѣ „Трутня" и „Живописца". Способъ веденія этихъ журналовъ, составъ участниковъ, обстоятельства изданія опять остаются предметомъ догадокъ, также какъ и то, какимъ образомъ Новиковъ, отказавшись отъ продолженія сатирическихъ листковъ, обратился къ изданію историческихъ книгъ. Онъ издаетъ „Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ", затѣмъ предпринимаетъ многотомную „Древнюю россійскую Вивліоѳику", вышедшую потомъ во второмъ, еще размноженномъ изданіи. Біографъ Новикова усиливается раскрыть, на основаніи журнальныхъ и издательскихъ его трудовъ, тогдашній ходъ его мысли; выводы остаются шаткими между прочимъ потому, что все-таки неизвѣстно, былъ ли именно Новиковъ авторомъ тѣхъ статей, изъ которыхъ дѣлались заключенія. Несомнѣнно одно, что онъ, какъ всѣ тогдашніе обличители, вооружался противъ моднаго французскаго воспитанія, восхваляя при случаѣ добродѣтели предковъ; но съ другой стороны рисуетъ чрезвычайно характерныя фигуры представителей добраго стараго времени, типы суевѣрія, невѣжества и вражды къ образованію. Несомнѣнно дальше, что самъ онъ—ревностный приверженецъ просвѣщенія, великій поклонникъ Петра Великаго, почитатель тѣхъ людей, именно писателей, которые потрудились для русскаго просвѣщенія. Еще во время изданія „Трутня" на одну неумѣренную похвалу, ставившую его выше прежнихъ со-

чинителей, онъ замѣчаетъ, что „недостоинъ отрѣшить ремень сапогъ ихъ“; въ предисловіи къ Историческому Словарю онъ съ гордостью говоритъ,—что Россія, „погруженная прежде въ невѣжествѣ“, теперь „о преимуществѣ въ наукахъ споритъ съ народами, цѣлые вѣки ученіемъ прославлявшимися; науки и художества въ ней распространяются, а писатели наши прославляются“. Біографическія статьи Словаря старательно отмѣчаютъ всякую заслугу писателя русскому просвѣщенію и литературѣ; за немногими исключеніями, это—рядъ панегириковъ. Онъ питаетъ высокое уваженіе и къ знаменитымъ писателямъ иностраннымъ, восхваляетъ Вольтера, Дидро и т. п. Но русской литературѣ онъ желалъ бы только меньше подражательности [1]; остается, однако, необъясненнымъ, какъ этого должно было достигнуть.

Съ 1773 года Новиковъ предпринялъ цѣлый рядъ историческихъ изданій: кромѣ „Вивліоѳики“ онъ издалъ „Древнюю россійскую Идрографію“, „Исторію о невинномъ заточеніи боярина Матвѣева“, „Скиѳскую Исторію“ Лызлова, „Повѣствователь древностей россійскихъ“, и въ 1774 еще въ послѣдній разъ обратился къ сатирѣ въ небольшомъ журналѣ „Кошелекъ“. Въ историческихъ изданіяхъ онъ настаиваетъ на необходимости изученія старины. Въ предисловіи къ „Вивліоѳикѣ“ говорится, что цѣль изданія—дать „начертаніе нравовъ и обычаевъ нашихъ предковъ“, чтобы мы познали „великость духа ихъ, украшеннаго простотою“. Изученіе древности необходимо и для просвѣщенія, и для воспитанія патріотическаго чувства. „Полезно знать нравы, обычаи и обряды древнихъ чужеземныхъ народовъ; но гораздо полезнѣе имѣть свѣденіе о своихъ прародителяхъ; похвально любить и отдавать справедливость достоинствамъ иностранныхъ; но стыдно презирать своихъ соотечественниковъ, а еще паче и гнушаться оными“. Онъ называетъ кощунами людей, „ненавидящихъ свое отечество“ и „пересмѣхающихъ и презирающихъ самыя добродѣтели предковъ нашихъ“. Одновремено съ этимъ въ „Кошелькѣ“ онъ говоритъ, что нашихъ праотцевъ украшали „великія добродѣтели“, которыя онъ сравниваетъ съ „истинными, драгоцѣнными жемчугами“, и желаетъ своимъ читателямъ пользоваться этими добродѣтелями. „Предки наши во

[1] Въ „Живописцѣ“ 1772, л. 13, онъ довольно двусмысленно высказываетъ свое сожалѣніе: „Желалъ бы я, чтобы Россія, любезное мое отечество, меньше имѣло нужды въ типографическихъ товарахъ, выписываемыхъ по милости иностранцевъ. Есть ли какое находитъ она препятство къ тому, чтобы нарещися ей за превосходныя свои совершенства несравненною подъ солнцемъ страною, то другаго нѣтъ, кажется, какъ сей токмо недостатокъ“.

сто разъ были добродѣтельнѣе насъ, и земля наша не носила на себѣ исчадій, не имѣющихъ склонности къ добродѣянію и не любящихъ своего Отечества". Нѣмецъ говоритъ французу въ томъ же „Кошелькѣ": „И въ древнія времена россіяне свои имѣли пороки", но „всѣ народы во всякія времена имѣли особые пороки: прочитай со вниманіемъ свою исторію, увидишь тамъ варварства еще болѣе, нежели сколько его было въ Россіи". Древніе русскіе нравы были чисты, и если бы можно было теперь возвратить ихъ, „тогда бы можно было поставить ихъ образцомъ человѣку". Новиковъ находилъ, что добродѣтели нашихъ предковъ „нѣкоторыхъ изъ нашихъ соотечественниковъ еще и нынѣ осіяваютъ". Эти добродѣтели не были случайностью, а принадлежатъ къ свойствамъ нашего народа. Обличая наше увлеченіе иноземнымъ, онъ говоритъ: „какъ будто бы природа, устроившая всѣ вещи съ такою премудростію, и надѣлившая всѣ Области свойственными климатамъ ихъ дарованіями и обычаями, столько была несправедлива, что одной Россіи не давъ свойственнаго народу ея характера, опредѣлила ей скитаться по всѣмъ областямъ и занимать клочками разныхъ народовъ разные обычаи, чтобы изъ сей смѣси составить новый никакому народу несвойственный характеръ, а еще наипаче Россіянину". Русскіе не только не уступаютъ другимъ народамъ, но иногда превосходятъ ихъ. Тотъ же нѣмецъ говоритъ: „Русскіе люди въ разсужденіи наукъ и художествъ столькожъ имѣютъ остроты, разума и проницанія, сколько и французы, но гораздо болѣе имѣютъ твердости, терпѣнія и прилежанія". Къ сожалѣнію, русскіе слишкомъ довѣрчивы, а учители ихъ, которымъ они подражаютъ, по изображенію „Кошелька", дошли до послѣдней степени испорченности: „если бы Франція столько имѣла жемчуговъ, сколько имѣла Россія, то никогда бы не стала выдумывать бусовъ; нужда и бѣдность мать вымысловъ... А нынѣ развращеніе во нравахъ учителей нашихъ столько велико, что они и изъясненіе нѣкоторыхъ добродѣтелей совсѣмъ потеряли, и столь далеко умствованіями своими заходятъ, что во адѣ рай свой найти уповаютъ". Но сатирикъ скорбитъ, что наше подражаніе иноземцамъ, въ которыхъ мы прельщаемся нѣкоторыми наружными достоинствами, приноситъ намъ великій вредъ: мы становимся обезьянами, начинаемъ презирать нашу старину, добрыя свойства нашего народа, нашъ языкъ, который такъ портится иностранными словами, что, если не принять противъ этого сильныхъ мѣръ, то „россійскій языкъ никогда не дойдетъ до совершенства своего"... Но, восхваляя древнія добродѣтели, прекрасныя свойства рус-

скаго народа, рекомендуя просвѣщеніе, оплакивая современную испорченность и упадокъ, журналъ не можетъ, наконецъ, разобраться въ противорѣчіяхъ: гдѣ искать причины зла и какъ отъ него избавиться? „О еслибы къ намъ вернулись наши погубленные нравы“! „Кажется мнѣ, что мудрые древніе Россійскіе Государи яко бы предчувствовали, что введеніемъ въ Россію наукъ и художествъ наидрагоцѣннѣйшее россійское сокровище, нравы погубятся безвозвратно!“ Остается опять необъясненнымъ, какимъ образомъ нравы могли погибнуть отъ наукъ, и неужели для ихъ сохраненія русскому народу надо было оставаться безъ просвѣщенія? Но въ то же время онъ восхваляетъ просвѣщеніе Франціи и предвѣщаетъ быстрые успѣхи наукъ въ Россіи: „Франція за распространеніе наукъ и художествъ одолжена вѣку Людовика XIV; а въ Россіи судьбою предоставлена была сія слава Екатеринѣ Великой“.

Это разнорѣчіе въ существенныхъ вопросахъ русской жизни и просвѣщенія указываетъ на колебанія самого Новикова, какъ и другіе писатели того времени не умѣли разобраться въ предполагаемомъ противорѣчіи: необходимо ли прежде всего просвѣщеніе (по раціоналистическимъ философамъ) или оно вредно для нравовъ (по Руссо)? Новиковъ не умѣетъ связать въ опредѣленный взглядъ своихъ представленій о старинѣ, о достоинствахъ русскаго народнаго характера, о просвѣщеніи, о новѣйшей порчѣ нравовъ. Чтобы разрѣшить противорѣчіе, конечно, недостаточно было погрузиться въ старину; нужно было опредѣлить самыя понятія просвѣщенія и нравственности, и едва ли сомнительно, что въ этихъ колебаніяхъ лежитъ причина того, что именно къ этому времени относятся первыя связи Новикова съ масонствомъ. Онѣ начались въ Петербургѣ въ 1775 году и завершились подъ новыми вліяніями въ Москвѣ въ восьмидесятыхъ годахъ. По его собственному показанію, онъ долго не рѣшался вступить окончально въ масонство. Друзья зазывали его въ ложу, но, повидимому, онъ не хотѣлъ въ этомъ случаѣ поступать такъ легкомысленно, какъ поступали многіе, не хотѣлъ связывать себя „клятвою“, предметъ которой былъ ему неясенъ; но, повидимому, Новиковымъ очень дорожили и для него сдѣлано было исключеніе: ему сообщено было содержаніе первыхъ „степеней“ до вступленія въ ложу. Онъ не былъ, однако, удовлетворенъ первой „системой“, въ которую вступилъ, и только послѣ, какъ ему казалось, онъ нашелъ „истинное“ масонство въ системѣ Рейхеля, въ актахъ которой „было все обращено на нравственность и самопознаніе“. Таковы, слѣдовательно, были пред-

меты, разъясненіе которыхъ стало для Новикова основнымъ интересомъ.

Съ этого времени характеръ его издательства измѣняется. Это уже не были сатирическіе листки, не были спеціальныя историческія изданія; онъ предпринимаетъ изданіе „Санктпетербургскихъ ученыхъ Вѣдомостей“ (1777), которыя должны были служить обзоромъ текущей литературы, особливо исторической, и затѣмъ изданіе журнала „Утренній Свѣтъ“ (1777—1780), который уже былъ посвященъ именно предметамъ нравственности и самопознанія. Журналъ долженъ былъ имѣть единственнымъ предметомъ укрѣпленіе и врачеваніе души и духа. Человѣкъ есть „истинное средоточіе сей сотворенной земли и всѣхъ вещей“; нѣтъ ничего „преизящнѣе, величественнѣе и благороднѣе человѣка и его отъ Источника благъ происходящихъ свойствъ“. Новѣйшая (т.-е. раціоналистическая) философія унижаетъ человѣческую личность; поэтому журналъ намѣревался противодѣйствовать писателямъ подобнаго рода, которыхъ блескъ подобенъ блеску сусальнаго золота: обольщенные ими читатели „скоро могутъ придти сами въ себя, если мечтательныя оныхъ красоты, подобно въ нашемъ воздухѣ зимою блестящимъ снѣжнымъ частицамъ, увидятъ разтаевающими и въ ничто обращающимися при восхожденіи Солнца правды“. Журналъ долженъ былъ обнять всѣ области нравоученія; но такъ какъ, говорится въ предисловіи, есть люди, которые сами попираютъ ногами свое человѣческое достоинство и которыхъ можно поэтому считать за дикихъ звѣрей, только скитающихся въ человѣческомъ образѣ, то для нихъ „всеобщая сатира да будетъ бичемъ, коимъ мы станемъ пороки и сихъ нечеловѣковъ наказывать“. Для этой возвышенной цѣли—выяснять человѣческое достоинство и его нравственныя требованія — журналъ намѣренъ былъ широко пользоваться лучшими произведеніями иностранныхъ литературъ, а именно, „изъ наилучшихъ греческихъ, латинскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, французскихъ, итальянскихъ и шведскихъ писателей“, а также изъ россійскихъ твореній. Дѣйствительно, въ журналѣ помѣщены многочисленные переводы изъ древнихъ и новыхъ писателей по разнымъ вопросамъ нравственности; здѣсь явились знаменитыя „Нощи“ Юнга, „Мнѣнія“ Паскаля и особливо переводы изъ нѣмецкихъ писателей—моралистовъ, піэтистовъ и мистиковъ. Господствующимъ тономъ журнала становится піэтизмъ; приводимъ нѣсколько его темъ.

Высшее знаніе есть самопознаніе. Человѣкъ—„слабое чадо праха“, „червь“; но въ то же время онъ—„Богъ“: если Богъ

пролилъ Свою кровь, то не для червя Онъ это сдѣлалъ,—и ангелы удивляются человѣческому величію. Природа человѣка совершенна и достойна высочайшаго почитанія. Богъ поставилъ человѣка вѣнцомъ творенія; для насъ существуетъ вся природа. Если человѣкъ не будетъ почитать себя важною частью творенія, то онъ не можетъ ни мыслить, ни поступать благородно; думая о величіи души, онъ становится нравственнѣе. Каждый человѣкъ самъ создаетъ свое величество; онъ свободенъ. Человѣкъ созданъ для блаженства, и это блаженство—въ насъ самихъ.

Человѣкъ счастливъ и въ оковахъ, если „добродѣтеленъ" и „искусенъ въ знаніяхъ",—душу заковать нельзя. Мы выше всѣхъ бѣдствій земной жизни: можно ли назвать несчастнымъ невольника, который на-завтра будетъ королемъ,—мрачная ночь подаетъ болѣе свѣта звѣздамъ. Но особенно высокъ человѣкъ нравственнымъ долгомъ: исполненіе долга приближаетъ его къ высочайшему примѣру совершенства — уподобляетъ нашему небесному Отцу. Человѣкъ—цѣль мірозданія; но для его величія мало быть только цѣлью,—онъ долженъ быть и средствомъ, т.-е. долженъ способствовать благу всего окружающаго его: въ этомъ наше „сообразованіе" съ Богомъ.

Жизнь дѣлаетъ душу рабою праха; смерть даетъ ей крылья. Жизнь низвергаетъ самого человѣка, а смерть уничтожаетъ только тѣло и за то освобождаетъ душу. Противоположность жизни и смерти—то же, что противоположность тѣла и духа: тѣло есть часто „пища сластолюбивыхъ взоровъ"; всякое тѣлесное наслажденіе, напр., пиры, не есть что-либо высокое,—лучше не нуждаться въ матеріи; когда душа освободится отъ тѣла, она будетъ созерцать истину и жить внутри себя самой,—въ этомъ и заключается блаженство человѣка. Съ этой точки зрѣнія взаимная любовь мужчины и женщины считается зломъ: она рождаетъ пороки; она относится къ тѣлу, къ „сложенію" человѣка, и вѣчно ведетъ борьбу съ добродѣтелью; и въ этомъ случаѣ она для насъ очень опасна: удержать насъ отъ паденія изъ-за нея можетъ только „необыкновенное дѣйствіе милости Божіей". Стыдливость говоритъ намъ, „чтобы мы старалися скрыть восхищенія исполненное сродство наше со скотами", а это показываетъ, „что человѣкъ даже и на высочайшей степени блаженства земного себя унижаетъ".

Въ Юнговыхъ „Нощахъ" отвергается даже разумъ и искусство: „Земная премудрость причинила много пользы въ художествахъ и наукахъ, въ войнѣ и въ мирѣ, да еще и болѣе учинить можетъ; но художество и наука, яко твоя собственность,

оставитъ тебя по смерти твоей сугубымъ нищимъ". Даже „смѣхъ есть едва ли не преступленіе".

Наконецъ, сообразно съ этимъ понятіемъ о высокомъ достоинствѣ человѣческой души, моралистъ постоянно указываетъ на тщету земного богатства и величія, титуловъ, власти, сословныхъ предразсудковъ и родовой гордости. Правила о добродѣтели выше всего этого: у Божьяго престола всѣ будутъ равны; слава наша идетъ не отъ предковъ, а отъ нашихъ добрыхъ дѣлъ,—въ Турціи считаютъ и лошадиные роды. Цари, какъ и простые люди, передъ Богомъ—прахъ и пепелъ; будучи добродѣтельными, мы равны царямъ и „всѣмъ гордымъ комедіантамъ, которые на позорищѣ семъ играютъ роли владыкъ"; монархамъ и министрамъ надо оказывать внѣшнее высокопочитаніе, но сердца наши преклоняются только передъ достоинствомъ. „Мудрость рѣдко бываетъ въ сенатахъ и синодахъ"; придворные—пусты, льстивы, корыстолюбивы; „принцы" бываютъ обладателями свѣта, но остаются рабами своихъ страстей.

Изъ „Разговоровъ Діогена Синопійскаго" извлекается, между прочимъ, такое обращеніе къ богачамъ: „Вы, сыны счастія! скоро умѣете расчисляти. Исчислите же, сколько тысящь тварей вашего рода должны нищенствовать для того, чтобы одинъ изъ васъ могъ ежегодно 40 или 50 талантовъ проѣсть? Не должны ли вы добро дѣлать, ежели и для того только, чтобы устранить отъ себя ненависть, вдыхаемую видомъ сластолюбія и расточенія вашего, согражданъ вашихъ, съ тягчайшимъ трудомъ едва могущихъ пріобрѣсти дѣтямъ своимъ толико хлѣба, сколько вы псамъ своимъ къ обѣду дать можете. Подумайте немного о семъ, когда осмѣлюсь васъ попросить!" [1]).

Съ внѣшней стороны было очень характерно слѣдующее. Издатели журнала скромно говорятъ о своемъ трудѣ, ссылаясь на свою „младость", которая „едва достигаетъ и до утренняго свѣта въ жизни",—всѣмъ десяти издателямъ вмѣстѣ не болѣе 30 лѣтъ; біографъ Новикова справедливо объясняетъ, что этотъ счетъ годовъ ведется отъ вступленія ихъ въ масонство, такъ что круглымъ счетомъ въ то время они пребывали въ немъ около трехъ лѣтъ. Другая любопытная черта заключалась въ томъ, что журналъ издавался съ благотворительною цѣлью: прибыль его шла для основанія въ Петербургѣ первоначальныхъ училищъ для бѣдныхъ и сиротствующихъ дѣтей. Цѣль была не только въ призрѣніи этихъ дѣтей, но и въ заведеніи „порядочнаго и постоян-

---

[1]) Подробныя цитаты у Незеленова, „Новиковъ", стр. 236—261.

наго училища, въ которомъ бы наилучшимъ и кратчайшимъ способомъ дѣти научились, приобыкали ко благонравію и заохочивались къ дальнѣйшему ученію, для собственной своей и отечества своего пользы". Издатели журнала дѣйствительно основали эту благотворительную школу и, не довольствуясь своими средствами, не весьма значительными (хотя журналъ имѣлъ успѣхъ), задумали привлечь къ своему дѣлу все русское общество. Дѣйствительно, они стали получать эту помощь деньгами, помѣщеніемъ для школъ, вещами; многое они могли покупать по самой низкой цѣнѣ; многія лица стали принимать на свой счетъ содержаніе питомцевъ; основатели школы радовались и благотворенію, и „любопытному посѣщенію съ примѣчательнымъ воззрѣніемъ нашихъ соотчичей на препровождаемое здѣсь временемъ ученіе". Вскорѣ устроены были два правильныя училища съ пансіонерами и приходящими учениками, платными и даровыми; одно изъ нихъ названо Екатерининскимъ, другое Александровскимъ. „Но, несмотря на все это, несмотря на то, что оба училища были торжественно открыты и освящены самимъ архіепископомъ Гавріиломъ, который шелъ въ нихъ изъ церквей, при которыхъ онѣ учреждены, по совершеніи имъ литургіи, въ мантіи, въ сопровожденіи духовенства и всѣхъ прихожанъ,—несмотря на все это, императрица ничѣмъ не выразила, насколько мы знаемъ, своего сочувствія училищамъ", говоритъ біографъ Новикова. Когда вскорѣ послѣ того правительство обратило вниманіе на необходимость позаботиться о народномъ образованіи и въ 1782 былъ выписанъ изъ-за границы Янковичъ де-Миріево, Новиковъ не былъ приглашенъ къ участію въ этомъ дѣлѣ.

Характеризуя журналъ „Утренній Свѣтъ", біографъ Новикова оспариваетъ принятое мнѣніе, что этотъ журналъ, какъ и послѣдующіе, были журналы масонскіе, и съ своей стороны думаетъ, что взгляды, находившіе здѣсь мѣсто, могли принадлежать масону и не-масону [1]). Это замѣчаніе довольно странно. Масонство, кромѣ своей спеціальной легенды о происхожденіи ордена и условной обрядности (то и другое составляло тайну), вовсе не имѣло какого-либо особаго нравственнаго или философскаго ученія, которое принадлежало бы исключительно ему. Это была вовсе не ученая или литературная школа, а только общественно-бытовое явленіе; не было никакой спеціально масонской философіи, и масонство въ своихъ различныхъ формахъ обильно черпало, что̀ считало нужнымъ, изъ обыкновенной литературы,

---

[1]) Незеленовъ, стр. 235, 252, 255, 269, 275 и др.

по происхожденію не имѣвшей къ ордену ни малѣйшаго отношенія. Отдѣльныя формы масонства налагали только свою особую печать на эти заимствованія намѣреннымъ подборомъ литературы,—въ разныхъ „системахъ" этотъ подборъ бывалъ различенъ. Такъ, масонству ни мало не принадлежали, напримѣръ, талмудическія преданія или средневѣковыя легенды, какія оно брало для мнимой исторіи ордена; ему не принадлежала громадная литература древней и новой мистики, которая въ иныхъ системахъ масонства становилась краеугольнымъ камнемъ орденскихъ ученій; ему вовсе не принадлежала другая громадная литература — алхиміи, магіи и иныхъ „тайныхъ наукъ", которыя эксплуатировались, напр., въ Розенкрейцерствѣ. Кромѣ этого, была дѣйствительно особая литература самихъ масоновъ съ своими формами и языкомъ, напр., рѣчи или поученія, которыя говорились въ ложахъ, пѣсни, которыя пѣлись въ собраніяхъ, иныя сочиненія на тему масонскаго братства и т. п.; бывали собственныя творенія масоновъ на темы піэтизма, мистики, тайныхъ наукъ, предназначенныя спеціально для „братьевъ" (у насъ онѣ оставались обыкновенно въ рукописяхъ, хотя иногда печатались для своего довѣреннаго круга), но это были обыкновенно упражненія на чужія темы, только прилаженныя къ той или другой „орденской" системѣ. Такимъ образомъ, когда говорилось о томъ, что „Утренній Свѣтъ", или позднѣйшія изданія Новикова въ этомъ родѣ, были изданія „масонскія", это относится именно къ подбору литературы,—не масонской по происхожденію (какъ Діогенъ Синопійскій или Паскаль), но отвѣчавшей настроенію кружка. Кажется, нѣсколько позднѣе величайшій авторитетъ пріобрѣли сочиненія Якова Бёма и другія мистическія творенія западной литературы,—но Бёмъ не бывалъ масономъ. И такъ, Новиковъ искалъ въ это время ученій, относившихся къ нравственности и самопознанію; масонская система, къ которой онъ тогда присоединился, отличалась піэтизмомъ, и „Утренній Свѣтъ" наполненъ произведеніями этого направленія, — поэтому здѣсь еще нѣтъ розенкрейцерской алхиміи, въ которую Новиковъ увѣровалъ впослѣдствіи, хотя и теперь была готовность допустить, что древніе знали многія тайны, какихъ мы уже не имѣемъ [1]).

[1]) Поэтому, когда біографъ Новикова говоритъ, что масонство „Утренняго Свѣта" „далеко не доходитъ до тѣхъ нелѣпыхъ бредней, которыми отличался, какъ извѣстно, орденъ свободныхъ каменьщиковъ", и что Новиковъ показалъ здѣсь свое „постоянное живое чувство мѣры" (стр. 255, 261), то здѣсь оказывается двойная ошибка. Во-первыхъ, орденъ свободныхъ каменьщиковъ самъ по себѣ вовсе не отличался нелѣпыми бреднями, какія авторъ предполагаетъ: алхиміей и магіей занима-

Такимъ образомъ, существенно было здѣсь не то, что Новиковъ вступилъ въ „орденъ“ и извлекъ именно изъ него какое-либо руководство, а то, что въ масонствѣ онъ встрѣтилъ людей, одинаково съ нимъ увлеченныхъ вопросами нравственности и самопознанія. Масонство доставляло только пунктъ взаимнаго сближенія: нѣкоторые (и въ числѣ ихъ самъ Новиковъ) думали, что на высшихъ ступеняхъ „ордена“ въ самомъ дѣлѣ хранится особое возвышенное знаніе; такого знанія ждали потомъ и въ розенкрейцерской системѣ; но содержаніе своихъ первыхъ „масонскихъ“ журналовъ кружокъ Новикова находилъ въ литературѣ, которая была вовсе не спеціально масонскою. Назидательно-піэтистическое настроеніе кружка примкнуло къ тому направленію, которое во второй половинѣ вѣка уже сильно развивалось въ Европѣ, въ частности въ Германіи, въ оппозицію къ матеріализму французской философіи. Извѣстно, что эта оппозиція сказалась тогда въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ. Руссо былъ уже врагомъ энциклопедистовъ; сухія формулы матеріализма вызывали протесты идеалистической философіи и поэтическаго чувства; наконецъ, такою оппозиціей былъ піэтизмъ. Послѣдній не даромъ возобладалъ въ нашей литературѣ въ кружкѣ Новикова, самомъ просвѣщенномъ кружкѣ тогдашняго русскаго общества. Тотъ протестъ противъ узкаго матеріализма, въ которомъ сходились, напр., самые возвышенные умы нѣмецкой литературы конца вѣка, гдѣ уже дѣйствовали Лессингъ, Гердеръ, Гёте, Шиллеръ, гдѣ начиналось поклоненіе грекамъ и Шекспиру, гдѣ были зародыши романтизма,—этотъ протестъ для сознательности котораго требовалась высокая степень просвѣщенія и настоящей учености, былъ не по силамъ русскаго общества, въ ничтожныхъ размѣрахъ его образованія: по силамъ былъ другой путь, который представлялся піэтизмомъ. Онъ имѣлъ въ нѣмецкой литературѣ многочисленныхъ представителей и богатые антецеденты еще съ среднихъ вѣковъ и широко развился на протестантской почвѣ: „Утренній Свѣтъ“ черпалъ въ особенности въ нѣмецкой литературѣ.

Въ 1779 году Херасковъ, который былъ кураторомъ московскаго Университета, предложилъ Новикову взять въ аренду университетскую типографію и изданіе „Московскихъ Вѣдомостей“.

Херасковъ былъ уже масономъ (кажется, съ 1775 года). Выше

лись только нѣкоторыя системы, какъ, напр., розенкрейцерство, до котораго Новиковъ тогда еще не доходилъ. Во-вторыхъ, „чувство мѣры“ потерялъ и самъ Новиково, когда познакомился съ орденомъ Златорозоваго Креста. Подобнымъ образомъ странно предположеніе о масонствѣ на стр. 269.

говорено о его любви къ литературѣ. Одинъ изъ историковъ той эпохи такъ изображаетъ его общественную роль: „Въ исторіи литературы онъ занимаетъ почетное мѣсто, какъ образованный, честный дѣятель и какъ пріятный стихотворецъ, въ которомъ видны иногда проблески истинной поэзіи... Домъ Херасковыхъ всегда былъ открытъ для всякаго, кто имѣлъ стремленіе къ предметамъ этого рода (просвѣщенію и литературѣ), и всѣ молодые люди, преданные этимъ высокимъ интересамъ, составляли какъ бы семейство ихъ. Херасковъ видѣлъ и одобрялъ первыя попытки Богдановича и Фонъ-Визина, потомъ Державина, впослѣдствіи—Карамзина и Дмитріева, наконецъ поддерживалъ первые шаги Жуковскаго, Тургеневыхъ и ихъ товарищей. Онъ—свидѣтель и участникъ всего лучшаго въ литературѣ XVIII вѣка... Жизнь Хераскова—одна изъ лучшихъ страницъ въ исторіи нашего общества и его просвѣщенія" [1]. Можно не придавать большой цѣны его поэтическому дарованію; творенія его остаются тяжелы по манерѣ и языку,—но должно отмѣтить, что онѣ отличаются вообще большой серьезностью тона: его мысли всегда направлены на важные вопросы нравственности и просвѣщенія. И въ этомъ отношеніи любопытна его связь съ масонскими тенденціями. Въ его раннихъ трудахъ, — когда онъ, повидимому, еще не былъ въ „орденѣ",—господствуетъ проповѣдь добродѣтели и гражданскаго долга, какъ онъ вычитывалъ это у французскихъ моралистовъ; онъ высоко ставитъ религію,—но не какъ внѣшній обрядъ, а какъ религію сердца и совѣсти. Въ своей первой повѣсти: „Нума Помпилій или процвѣтающій Римъ" (1768) онъ находится явно подъ вліяніемъ „Телемака", который вызвалъ тогда цѣлый рядъ подражаній, какъ „Жизнь Сиѳа", аббата Террасона (переведенная Фонъ-Визинымъ), „Велизарій" Мармонтеля (переведенный „многими знатными особами на Волгѣ" во время путешествія Екатерины, 1768, и потомъ въ другой разъ Курбатовымъ), позднѣе повѣсти Флоріана и пр. Древность была какъ будто знакома но ложно-классическимъ вкусамъ, господствовавшимъ въ литературѣ, и давала вмѣстѣ удобное прикрытіе для намековъ, какъ было уже въ „Телемакѣ". Въ нашихъ условіяхъ намекъ былъ опять панегирикомъ: мудрое правленіе Нумы, получавшаго совѣты отъ божественной нимфы, могло сдѣлать людей счастливыми—„ибо истина, добродѣтель и правосудіе торжествовали бы па землѣ"; и затѣмъ: „Онѣ торжествуютъ въ Россіи. Небо! продли сіе благо!" И чтобы парал-

[1] Лонгиновъ, Новиковъ и моск. мартинисты, стр. 119—120.

лель была яснѣе, Херасковъ помѣщаетъ въ концѣ стихотвореніе: поэтъ ищетъ въ исторіи владѣтеля, равнаго Нумѣ, и не находитъ, но въ Россіи является „превыше всѣхъ царей, законодатель Петръ“, и за нимъ „цвѣтущая въ очахъ у насъ Екатерина —не нужны нимфы ей, не нужны чудеса“. Заканчивая исторію Нумы, авторъ вспоминаетъ слова „божественнаго“ Платона: „щастливы тѣ народы, у которыхъ философъ государемъ бываетъ, или государь философомъ сдѣлается!“ Въ исторіи Нумы проходятъ всѣ главныя отрасли управленія или „науки царствовать“, и философія Нумы, которая была философіей автора, совпадала съ тѣмъ, что̀ Херасковъ (въ эпоху „Наказа“) видѣлъ или предполагалъ въ идеяхъ Екатерины; это была раціоналистическая политика, но былъ здѣсь оттѣнокъ, сближавшій взгляды Хераскова съ тѣмъ масонствомъ, къ которому онъ послѣ присталъ. Онъ взялъ эпиграфомъ къ „Нумѣ“ изреченіе: „Puissent tous les hommes se souvenir, qu'ils sont frères“ (и въ переводѣ: „да памятуютъ всѣ человѣки, что они братія суть!“), и тонъ поученій не есть сухая разсудочность политическаго разсчета, а мечтательная любовь къ добродѣтели и человѣчеству; можно замѣтить, что эта философія не только возстаетъ противъ суевѣрій, но и настаиваетъ на единственномъ достоинствѣ внутренней религіи. Впослѣдствіи масоны постоянно говорили о „внутренней церкви“,—и ихъ винили въ равнодушіи или враждебности къ церкви внѣшней; эта черта проглядываетъ въ „Нумѣ“, когда авторъ разсказываетъ о храмѣ благодѣтельной Весты, который „не имѣлъ гордыхъ украшеній, и не блисталъ златомъ и драгими каменьями, которые тщеславіе и подлая робость обыкновенно божеству посвящаютъ, а корыстолюбіе и лукавое смиреніе стяжаютъ“; у жрецовъ этого храма „доброе житіе, сѣтующимъ полезные совѣты, попеченіе о немоществующихъ и вспоможеніе бѣднымъ составляли лучшее упражненіе“; когда авторъ возстаетъ противъ „бѣсносвятовъ“, коварныхъ и надменныхъ, искажающихъ религію; когда онъ говоритъ объ „обществѣ весталокъ“: „сія строгая темница, сія бездна, для дѣвицъ непорочныхъ поставляемая и лютымъ суевѣріемъ въ темной древности изобрѣтенная, или совсѣмъ уничтожена, или исправлена быть должна. Застарѣлые обычаи не вдругъ искоренить можно; но отсѣкая густыя вѣтви сего отнимающаго свѣтъ древа, можно сдѣлать изъ вреднаго нѣчто полезное“, и т. д. Что подобныя замѣчанія относились не только къ древнему Риму, или вовсе не къ Риму, а къ русской жизни, очевидно,—какъ впослѣдствіи въ „Полидорѣ“, изображая терзитянъ, народъ, зара-

женный вольнодумствомъ, Херасковъ подразумѣвалъ французскую революцію. Новиковъ въ „Живописцѣ“, еще ранѣе своего масонства, въ числѣ другихъ явленій русской жизни относился недовѣрчиво къ тогдашнимъ церковнымъ учителямъ,—что̀ и было однимъ изъ мотивовъ, побуждавшихъ искать нравственнаго назиданія въ масонской ложѣ [1]).

Приведенные примѣры даютъ понятіе о настроеніи наиболѣе просвѣщенныхъ людей тогдашняго общества. Херасковъ, съ его мечтами о братствѣ людей, съ его исканіемъ истины, справедливости, человѣколюбія, долженъ былъ сочувствовать дѣятельности Новикова, какъ издателя журналовъ, основателя благотворительныхъ школъ и любителя просвѣщенія. Эти общіе интересы соединили ихъ потомъ и въ масонствѣ.

Новиковъ принялъ предложеніе Хераскова, переѣхалъ въ Москву, и отсюда начинается новый періодъ его жизни. Онъ развилъ въ Москвѣ необычайную дѣятельность. По окончаніи „Утренняго Свѣта“, онъ сталъ издавать въ Москвѣ его продолженіе подъ названіемъ „Московскаго ежемѣсячнаго изданія“ (1781); затѣмъ слѣдовали „Вечерняя Заря“ (1782), прибавленія къ „Московскимъ Вѣдомостямъ“ (1783—1784), наконецъ „Покоящійся Трудолюбецъ“ (1784—1785). Кромѣ журналовъ, началось въ Москвѣ обширное издательство книгъ. Новиковъ привелъ въ порядокъ и расширилъ типографію и уже въ первый годъ управленія сдѣлалъ восемь изданій; въ 1786, за шесть лѣтъ, Новиковъ напечаталъ въ университетской типографіи больше 400 названій книгъ, больше, чѣмъ типографія выпустила раньше за все время своего существованія. Въ 1783 году вышелъ указъ о вольныхъ (т.-е. частныхъ) типографіяхъ; Новиковъ тотчасъ открылъ свою типографію, другая открыта была на имя Лопухина, третья на имя Типографической Компаніи (о которой дальше), наконецъ была еще тайная типографія для печатанія масонскихъ книгъ. Всѣ эти типографіи находились подъ управленіемъ Новикова: издательство приняло размѣры, до тѣхъ поръ небывалые въ Россіи; къ нему присоединилась и другая дѣятельность, въ Россіи также еще небывалая.

Новиковъ уже въ Петербургѣ придалъ своему дѣлу общественный характеръ: онъ соединилъ вокругъ себя кружокъ людей, раздѣлявшихъ его взгляды, употреблялъ прибыли своего изданія на школу и благотворительность, возбуждалъ общественное участіе и иниціативу; еще въ болѣе широкихъ раз-

[1]) Ср. въ „Живописцѣ“ письмо отца Тарасія и отвѣтъ издателя; изд. Ефремова, стр. 129—131.

мѣрахъ онъ достигалъ этого въ Москвѣ, такъ что его дѣятельность пріобрѣла значеніе знаменательнаго историческаго явленія. Въ Москвѣ встрѣтилъ онъ особый кружокъ людей, преданныхъ тѣмъ же интересамъ нравственности и самопознанія, людей подвижныхъ и дѣятельныхъ, хотя не всегда послѣдовательныхъ, какъ Лопухинъ; убѣжденныхъ піэтистовъ, какъ Гамалѣя; наконецъ, людей, заинтересованныхъ дѣлами самого „ордена", вопросами масонскихъ системъ, іерархіи, сношеній съ заграничными ложами, именно нѣмецкими, въ чемъ принялъ участіе и самъ Новиковъ. Но главное, онъ встрѣтилъ въ Москвѣ человѣка столь же убѣжденнаго и гораздо болѣе образованнаго, болѣе молодого, но который возъимѣлъ на него сильное вліяніе, такъ что ему, безъ сомнѣнія, принадлежитъ большая доля заслуги въ образовательныхъ предпріятіяхъ Новикова въ Москвѣ. Это былъ Іоганнъ-Георгъ, а по-русски Иванъ Егоровичъ, Шварцъ, иностранецъ, который явился тогда живымъ представителемъ нѣмецкихъ, образовательныхъ и гуманитарныхъ, вліяній въ русскомъ обществѣ. Шварцъ (1751—1784) приглашенъ былъ въ Россію княземъ Гагаринымъ въ 1776, въ качествѣ домашняго учителя; тотчасъ по пріѣздѣ въ Россію онъ принялся изучать русскій языкъ и литературу; дѣятельность Новикова была извѣстна за границей, быть можетъ, черезъ масонскія сношенія, и Шварцъ „пламенно желалъ познакомиться съ Новиковымъ". Они встрѣтились въ 1779, когда Новиковъ переѣхалъ въ Москву, а Шварцъ былъ приглашенъ на университетскую каѳедру. Новиковъ послѣ говорилъ: „въ одно утро пришелъ ко мнѣ нѣмчикъ, съ которымъ я, поговоря, сдѣлался во всю жизнь, до самой его смерти, неразлучнымъ; этотъ нѣмчикъ былъ Ив. Ег. Шварцъ". Нѣмчикъ, съ своей стороны, поражался энергіей Новикова и вполнѣ оцѣнилъ его дѣло, которое „было необыкновенно важно для русскаго просвѣщенія". Онъ самъ принялъ въ немъ дѣятельное участіе и понималъ, что для истиннаго успѣха необходимо возбудить къ нему интересъ общества и вмѣстѣ приготовить исполнителей для предпріятій, о которыхъ думалъ Новиковъ: онъ старался подготовить этихъ исполнителей изъ среды своихъ слушателей, впушая имъ любовь къ наукѣ и образуя будущихъ переводчиковъ. Онъ началъ съ того, что раздѣлилъ между ними свою библіотеку, чтобы пріохотить ихъ къ чтенію, и достигъ своей цѣли. Ученики полюбили его, отцы являлись къ нему съ благодарностью. „Все это,—разсказываетъ Шварцъ,—исполнило меня райскими ощущеніями; я сгоралъ желаніемъ выразить благодарность свою народу, столь благородному, столь

жаждущему науки". Онъ рѣшился основать общество, цѣлью котораго было бы распространеніе здравыхъ понятій о воспитаніи, умноженіе людей истинно просвѣщенныхъ, приготовленіе переводчиковъ для издательскихъ предпріятій Новикова. Еще въ концѣ 1779 г. при университетѣ учреждена была педагогическая семинарія, для которой самъ Шварцъ сдѣлалъ значительныя пожертвованія деньгами и книгами и гдѣ онъ былъ назначенъ инспекторомъ; затѣмъ учреждено было „Собраніе университетскихъ питомцевъ", гдѣ опять руководителемъ былъ Шварцъ; наконецъ, по его иниціативѣ, основано было знаменитое „Дружеское ученое Общество", которое сосредоточило въ себѣ названныя учрежденія, собрало пожертвованія для ихъ расширенія, содержало стипендіатовъ, руководило (въ лицѣ Шварца) ихъ занятіями, наконецъ посылало лучшихъ воспитанниковъ за границу. Чтобы оцѣнить, какой размѣръ образованія возможенъ былъ въ этомъ кругу, должно вспомнить о Карамзинѣ и его другѣ, даровитомъ, рано умершемъ А. Петровѣ: едва ли какое-нибудь изъ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній того времени (да ихъ было и немного) могло положить такую широкую основу гуманитарнаго образованія, какую эти молодые друзья получили въ кругу Новикова.

Но Шварцъ недолго дѣйствовалъ въ этомъ кругу. По его смерти, главное руководство издательскими и воспитательными предпріятіями Общества легло на Новикова. Дѣятельность кружка еще расширилась, когда Дружеское Общество преобразовано было въ Типографическую Компанію. Новиковъ видимо становился высокимъ нравственнымъ авторитетомъ: въ его рукахъ сосредоточивались обширныя средства; Типографическая Компанія все расширяла свои предпріятія; для своихъ типографій она пріобрѣла огромный, извѣстный въ Москвѣ, Гендриковскій домъ у Сухаревой башни, гдѣ помѣщаются теперь Спасскія казармы; здѣсь же была больница для наборщиковъ и аптека, лучшая въ Москвѣ, откуда бѣднымъ лекарства отпускались даромъ; для распространенія своихъ изданій, Новиковъ впервые завелъ обширныя книгопродавческія сношенія въ провинціи; питомцы Дружескаго Общества были исполнителями многочисленныхъ переводныхъ изданій. 1787 былъ голодный годъ; Новиковъ принималъ мѣры для помощи голодающимъ, и въ это время съ нимъ сблизился молодой офицеръ, сынъ сибирскаго богача, Походяшинъ: увлеченный примѣромъ и личностью Новикова, онъ отдалъ въ его распоряженіе почти все свое состояніе и остался бѣднымъ

человѣкомъ послѣ того разгрома, который уже вскорѣ разрушилъ всѣ предпріятія Новикова.

Не будемъ разсказывать подробностей, которыя не однажды были изложены. Новѣйшій біографъ Новикова такъ опредѣляетъ общій смыслъ его дѣла: „Болѣе ста лѣтъ прошло, какъ дѣятельность Новикова прекратилась, а мы не можемъ указать въ нашей жизни другого равнаго явленія, другого столь же выдающагося дѣятеля на книжномъ поприщѣ. Само дѣло Новикова такъ велико, что не нужно много словъ для его характеристики. Скажу только, что въ дѣятельности Новикова мы должны цѣнить не только ея размѣры и ея результаты, не только то, что̀ имъ было сдѣлано для развитія книжнаго и школьнаго дѣла, но и самую организацію дѣла. Новиковъ умѣлъ возбудить въ русскомъ обществѣ прошлаго вѣка необычайную энергію въ самодѣятельности. Дѣло Новикова было общественнымъ дѣломъ не только по своей сущности, по своимъ задачамъ и результатамъ, но и по своей организаціи. Въ этомъ былъ залогъ его успѣха, въ этомъ, по условіямъ того времени, была и причина его гибели“ [1]).

Дѣятельность Новикова была въ полномъ расцвѣтѣ, когда надъ нимъ уже собиралась гроза. Подробности событій опять извѣстны не сполна; но едва ли можетъ быть сомнѣніе, что первыя привязки къ нему произошли, когда было уже извѣстно нерасположеніе къ нему Екатерины. Прежде всего заявила къ нему претензіи Коммиссія училищъ за перепечатку нѣкоторыхъ учебниковъ [2]). Новиковъ дѣлалъ это, однако, по прямому распоряженію московскаго главнокомандующаго Чернышева и не для прибыли, а для того, чтобы въ продажѣ было довольно учебныхъ книгъ по дешевой цѣнѣ; но Чернышевъ тѣмъ временемъ умеръ, и Новикову пришлось, кажется, удовлетворить требованіямъ Коммиссіи. Затѣмъ оказался прямой поводъ къ неудовольствію императрицы, именно, когда Новиковъ напечаталъ исторію ордена іезуитовъ. Извѣстно, что репутація этого ордена повлекла, наконецъ, запрещеніе его самимъ папой, и исторія ордена, напечатанная Новиковымъ, была составлена соотвѣтственно съ этой репутаціей. Но Екатерина приняла орденъ подъ свое покровительство, іезуиты нашли пріютъ въ Россіи, и Новиковъ провинился тѣмъ, что не принялъ въ соображеніе тогдашняго оффиціальнаго взгляда; книга была объявлена „руга-

[1]) „Починъ“, стр. 168.

[2]) Припомнимъ сказанное выше (гл. XXXIV) о ревизіи Козодавлева, который нашелъ, что многія училища оставались безъ учебниковъ.

тельной", и ее велѣно было отобрать. Вскорѣ затѣмъ московскій главнокомандующій Брюсъ получилъ указъ, которымъ велѣно было сдѣлать опись изданіямъ Новикова, отдать ихъ на разсмотрѣніе московскаго архіепископа Платона, и послѣднему велѣно было также испытать самого Новикова въ вѣрѣ. Разсмотрѣвъ книги, Платонъ раздѣлилъ ихъ на три разряда: однѣ онъ считалъ весьма полезными при бѣдности нашей литературы и распространеніе ихъ находилъ очень желательнымъ; другихъ книгъ, мистическихъ, онъ, по его словамъ, не понималъ; третьи, писанныя энциклопедистами (которые такъ еще недавно поощрялись), онъ считалъ зловредными; что касается вѣры Новикова, Платонъ торжественно говорилъ: „молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словесной паствѣ, Богомъ и тобою, всемилостивѣйшая государыня, мнѣ ввѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане таковые, какъ Новиковъ". При этихъ условіяхъ трудно было найти основаніе къ преслѣдованію, и на нѣкоторое время Новикова оставили въ покоѣ; но неудовольствіе Екатерины продолжалось, и между прочимъ она очень недовѣрчиво взглянула на дѣйствія Новикова во время голода. Между тѣмъ, совершился полный переворотъ въ настроеніи Екатерины. О прежней свободѣ „мыслить и изъясняться" не было рѣчи; въ 1790 произошла исторія съ книгой Радищева,—Екатерина убѣждалась, что къ намъ проникла „французская зараза". Въ томъ же году въ Москву назначенъ былъ новый главнокомандующій, князь Прозоровскій, человѣкъ невѣжественный, недалекій и жестокій. Историки цитируютъ письмо о немъ Потемкина къ Екатеринѣ: „Ваше императорское величество выдвинули изъ вашего арсенала самую старую пушку, которая непремѣнно будетъ стрѣлять въ вашу цѣль, потому что своей не имѣетъ. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью въ потомствѣ имя вашего величества".

Прозоровскій былъ увѣренъ, что дѣлаетъ дѣла великой государственной важности, когда сталъ слѣдить не только за французами, жившими въ Москвѣ, но и за многими русскими, въ томъ числѣ, за Новиковымъ. Онъ доносилъ въ Петербургъ о дѣйствіяхъ Новикова, которыя находилъ очень подозрительными; Екатерина однако медлила, понимая, что нужны какія-нибудь основанія, чтобы принимать мѣры противъ него. Она послала въ Москву графа Безбородко, чтобы произвести негласное разслѣдованіе дѣла; но Безбородко не нашелъ никакихъ поводовъ къ преслѣдованію. Положеніе вещей становилось, однако, столь натянутымъ, что въ 1791 Новиковъ долженъ былъ прекратить

существованіе Типографической Компаніи. Наконецъ въ апрѣлѣ 1792 Прозоровскому посланъ былъ указъ разслѣдовать, не печатаетъ ли Новиковъ, въ противность закону, книгъ церковной печати. Прозоровскій ревностно принялся за дѣло. Послѣ закрытія Типографической Компаніи, Новиковъ жилъ больной въ своемъ имѣніи подъ Москвой; для его ареста послана была гусарская команда, которая страшно перепугала семью Новикова и деревенскихъ жителей; крестьяне провожали Новикова со слезами; въ книжныхъ лавкахъ Новикова произведенъ былъ обыскъ. Прозоровскій сдѣлалъ Новикову допросъ объ его имущественномъ положеніи и объ его изданіяхъ. Дѣло въ томъ, что, кромѣ неодобрительнаго характера изданій Новикова, Екатерина не могла объяснить себѣ необыкновеннаго расширенія предпріятій Новикова и подозрѣвала его въ обманѣ довѣрчивыхъ людей для своей корысти. Екатерина писала Прозоровскому: „Вамъ извѣстно, что Новиковъ и его товарищи завели больницу, аптеку, училище и печатаніе книгъ, давъ такой всему благовидный видъ, что будто бы всѣ тѣ заведенія они дѣлали изъ любви къ человѣчеству; но слухъ давно носится, что сей Новиковъ и его товарищи сей подвигъ въ заведеніи дѣлали отнюдь не изъ человѣколюбія, но для собственной своей корысти, уловляя пронырствомъ и ложною какъ бы набожностію слабодушныхъ людей, корыстовались грабленіемъ ихъ имѣній, въ чемъ онъ неоспоримымъ доказательствомъ обличенъ быть можетъ". Прозоровскій производилъ новые розыски, отправлялъ донесенія въ Петербургъ, переписывался съ знаменитымъ Шешковскимъ, но все не былъ удовлетворенъ— доказательствъ не находилось. Онъ изображалъ Новикова какъ человѣка „натуры острой" и „характера смѣлаго и дерзкаго"; онъ „таковаго коварнаго и лукаваго человѣка мало видалъ". Сознавая, что не можетъ справиться съ этимъ коварнымъ человѣкомъ, который, „хотя видно, что робѣетъ, но не замѣшивается", Прозоровскій просилъ, чтобы прислали въ Москву упомянутаго Шешковскаго. По мнѣнію Прозоровскаго, у Новикова „весь его предметъ только въ томъ, чтобы закрыть преступленіе". Но въ чемъ преступленіе, онъ самъ не понималъ. Разсказываютъ, что невѣжество Прозоровскаго было такъ велико, что, увидѣвъ въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ цифры, означавшія ссылки на священное писаніе, онъ говорилъ Новикову: „вотъ тутъ, подъ этими условными знаками, скрываются ваши зловредные замыслы и преступныя ученія; но все это теперь откроется". Подозрѣнія императрицы особенно увеличились, когда по захваченнымъ бумагамъ Новикова открыты были сношенія

московскихъ масоновъ съ нѣмецкими ложами, съ герцогомъ Гессенъ-Кассельскимъ и прусскимъ министромъ Вёльнеромъ, наконецъ, когда нашлись упоминанія о великомъ князѣ Павлѣ Петровичѣ. Относительно послѣдняго она скоро убѣдилась, что это была простая болтовня; переписка съ нѣмецкими масонами она приняла за сношенія съ „иностранными дворами“, что̀ показалось ей крайне подозрительнымъ при существовавшихъ непріязненныхъ отношеніяхъ, — она, кажется, осталась въ убѣжденіи, что дѣло шло о какихъ-то политическихъ проискахъ; въ дѣйствительности шла рѣчь о масонской мудрости и розенкрейцерскихъ таинствахъ, алхиміи и философскомъ камнѣ. Екатерина повелѣвала-было „предать Новикова законному сужденію, избравъ надежныхъ вамъ людей“, а затѣмъ, послѣ своей ревизіи, Прозоровскій долженъ былъ препроводить дѣло на разрѣшеніе въ сенатъ. Прозоровскій затруднился исполнить повелѣніе, какъ потому, что, передавъ дѣло въ обыкновенный судъ, онъ не могъ бы „выбирать надежныхъ людей“, такъ и по опасенію, что при обыкновенномъ судѣ Новиковъ могъ бы своими показаніями о масонствѣ запутать дѣло. Біографъ Новикова прибавляетъ, что Прозоровскій не указалъ еще одного довода противъ обыкновеннаго суда, а именно, что въ этомъ судѣ могли бы встрѣтиться люди, которые не нашли бы достаточныхъ основаній для осужденія Новикова, какъ послѣ встрѣтились такіе люди при судѣ надъ книгопродавцами, бравшими у Новикова запрещенныя книги [1]... Въ маѣ Екатерина велѣла тайно отвезти Новикова въ Шлиссельбургскую крѣпость; здѣсь новые допросы дѣлалъ ему Шешковскій, и наконецъ 1-го августа былъ подписанъ указъ, по которому Новиковъ былъ осужденъ на заключеніе въ Шлиссельбургской крѣпости на пятнадцать лѣтъ. Но въ указѣ говорилось, что и это рѣшеніе было смягченіемъ „нещадной казни“, которой онъ подлежалъ бы по силѣ законовъ за свои „обнаруженныя и собственно имъ признанныя преступленія“, „хотя онъ и не открылъ еще сокровенныхъ своихъ замысловъ“... Черезъ четыре года Екатерина умерла, императоръ Павелъ освободилъ Новикова, который вышелъ изъ Шлиссельбурга дряхлымъ старикомъ [2]).

---

[1]) „Починъ“, стр. 175.

[2]) Другъ Новикова Гамалѣя писалъ въ декабрѣ 1796: „Онъ прибылъ къ намъ 19-го ноября поутру, дряхлъ, старъ, согбенъ, въ разодранномъ тулупѣ“. Дальше онъ прибавляетъ: „по написаніи сего получилъ я письмо Николая Ивановича, что онъ 5-го числа послѣ полудня въ 5 часовъ представленъ былъ Монарху и весьма милостиво принятъ, такъ что описать не можетъ—слава Богу!“—„Лично знавшій Новикова знаменитый художникъ Витбергъ разсказывалъ впослѣдствіи, что Павелъ про-

Теперь, когда извѣстны по крайней мѣрѣ вопросные пункты, какіе поставлены были Новикову, и его отвѣты, можно составить себѣ понятіе о сущности дѣла. На всѣхъ его историковъ это дѣло производитъ одинаковое впечатлѣніе [1]). Участь Новикова была рѣшена безъ всякаго правильнаго суда: никакихъ неоспоримыхъ доказательствъ для взведенныхъ на него обвиненій найдено не было; какіе-нибудь „сокровенные замыслы", требовавшіе смертной казни, не были обнаружены и указаны, обвиненіе въ „гнусномъ расколѣ" противорѣчило недавнему показанію компетентнаго судьи, архіепископа Платона; дѣятельность масонская не была запрещена ни раньше, ни послѣ; было одно —тайное печатаніе недозволенныхъ книгъ; въ этомъ виноватъ былъ не одинъ Новиковъ, а столько же, если не больше, его друзья; и впослѣдствіи книгопродавцы, бравшіе у Новикова такія книги, наказаны не были, слѣдовательно этимъ книгамъ не придавали особеннаго значенія. Суровое осужденіе постигло одного Новикова, такъ что этимъ поразился даже тупоумный князь Прозоровскій: „я не понимаю конца сего дѣла,—писалъ онъ полуграмотно своему другу Шешковскому:—какъ ближайшіе сообщники, если онъ преступникъ, то и тѣ преступники". И это было справедливо, потому что въ сущности друзья Новикова, если не могли равняться съ нимъ энергіей труда, вполнѣ знали и дѣлили его мысли и планы.

Такимъ образомъ все сводится къ его собственной личности. Еще Карамзинъ искалъ причины гоненія въ тѣхъ подозрѣніяхъ, какія возбудила раздача Новиковымъ пособій голодающимъ—не знали источника тѣхъ суммъ, какія онъ употребилъ на это, и которыя доставлены были упомянутымъ почитателемъ его Походяшинымъ; могли внушать подозрѣніе масонскія отношенія съ герцогомъ Брауншвейгскимъ или принцемъ Гессенъ-Кассельскимъ и прусскимъ министромъ Вёлльнеромъ, но эти сношенія были чисто „орденскія", и имъ нельзя было придать какого-нибудь политическаго значенія; точно также масоны не осмѣлились бы имѣть какія-нибудь политическія затѣи въ сношеніяхъ съ в. кн. Павломъ Петровичемъ, которому поднесли однажды свои масонскія издѣлія,—это опять относилось только къ „ордену", къ ко-

силъ у Новикова прощенія за мать и при этомъ даже всталъ на колѣни: эксцентрическій, странный, но великодушный поступокъ больного императора" (Незеленовъ, „Литератур. направленія" и пр., стр. 385).

[1]) Только А. Н. Поповъ, издавшій новые документы по Новиковскому дѣлу въ Сборникѣ Историческаго Общества, т. II, находилъ, что отвѣты Новикова были неудовлетворительны: намъ этого не казалось, тѣмъ болѣе, что и весь судъ былъ неудовлетворительный; иначе говоря, его совсѣмъ не было.

торому у великаго князя предполагали нѣкоторую благосклонность [1])... Еще при жизни Екатерины, Безбородко говорилъ Лопухину о преслѣдованіи Новикова: „дѣло сіе несоотвѣтственно ея славѣ“; Карамзинъ въ запискѣ о Новиковѣ, написанной для императора Александра, называлъ Новикова „невиннымъ страдальцемъ“, „жертвою несправедливаго подозрѣнія“,—мы должны повѣрить этимъ двумъ свидѣтелямъ, близко знавшимъ дѣло. Но молва шла: въ толпѣ повѣрили, что Новиковъ дѣйствительно совершилъ что-то крайне преступное, — такъ писалъ тогда о немъ въ своихъ запискахъ Болотовъ со свойственной ему глуповатостью [2]). Съ другой стороны долго продолжались инсинуаціи злобныхъ людей, какъ Ростопчинъ, которыя и въ наше время не стыдился повторять г. Бартеневъ [3]). Остается единственное заключеніе, къ которому невольно приходили историки Новикова и также его новѣйшій біографъ: „Чтобы объяснить осужденіе Новикова, необходимо взять всю его дѣятельность въ совокупности; въ ея общемъ характерѣ, въ ея значеніи мы найдемъ ключъ къ дѣлу. Новиковъ былъ самостоятельнымъ общественнымъ дѣятелемъ, и вотъ этого-то Екатерина не хотѣла и не могла простить ему. Новиковъ дѣлалъ широкое и важное общественное дѣло независимо отъ оффиціальнаго направленія, безъ прямой связи съ дѣятельностью тогдашняго правительства, и этого было достаточно, по условіямъ того времени, чтобы вызвать противъ него гоненія. Только этой общей причиной и можно объяснить осужденіе Новикова: онъ былъ главою общественнаго движенія“ [4]).

Въ этомъ смыслѣ Новиковъ былъ замѣчательнѣйшимъ дѣятелемъ русской литературы и общественности второй половины вѣка. Въ немъ впервые возникла нравственная потребность общественной самодѣятельности, и никто не умѣлъ пробуждать

---

[1]) Разбирая журналы Новикова изъ его масонскаго періода и приводя указанныя выше разсужденія „Утренняго Свѣта“ о земныхъ владыкахъ, г. Незеленовъ замѣчаетъ: „Не должно думать, что подобныя отвлеченныя идеи могли привести издателей „Утренняго Свѣта“ къ какой-либо политической дѣятельности: политическихъ цѣлей журналъ не имѣлъ, и когда ему приходилось въ этомъ вопросѣ сходить на реальную почву, онъ высказывалъ обыденные общіе взгляды“.

О другомъ журналѣ тотъ же авторъ замѣчаетъ: „Относительно формъ государственнаго правленія, „Веч. Заря“, кажется, подобно предшествовавшимъ ей изданіямъ, не имѣла опредѣленныхъ взглядовъ. По окончанію статьи „Аристидъ, изгоняемый изъ отечества“, можно, повидимому, подумать, что журналъ сочувствуетъ республикѣ или ограниченной монархіи. Но едва ли это такъ: 18-й вѣкъ былъ до такой степени привязанъ къ резонерству и фразѣ, что они забрались даже въ новиковскія изданія“... Къ Новикову вовсе не могли идти упреки въ возбужденіи въ обществѣ какихъ-либо революціонныхъ стремленій („Новиковъ“ и пр., стр. 243, 311, 313).

[2]) Ее отмѣчалъ уже г. Незеленовъ (Литературныя направленія“, стр. 26.

[3]) Р. Архивъ, 1895.

[4]) „Починъ“, стр. 178—179.

ее въ такой степени примѣромъ собственнаго глубокаго убѣжденія и практической энергіи. Ближайшее молодое поколѣніе, къ которому принадлежалъ, напр., Карамзинъ, признавало, что онъ первый создавалъ у насъ любовь къ чтенію и любовь къ наукѣ. Въ практическомъ отношеніи Новиковъ первый создалъ у насъ широкое издательство и книжную торговлю, которыя могли быть поддержаны умѣлой организаціей и подборомъ издаваемыхъ сочиненій. Возбуждая общественное мнѣніе и участіе въ такихъ исключительныхъ случаяхъ, какимъ былъ упомянутый голодъ, Новиковъ привлекалъ вниманіе общества и къ постояннымъ потребностямъ русской жизни, какъ народная школа, какъ попеченіе о бѣдныхъ сиротахъ; небывалымъ раньше дѣломъ была опять инипіатива, принадлежавшая ему вмѣстѣ съ Шварцомъ въ заботѣ о воспитаніи юношества высшихъ школъ въ смыслѣ того „самопознанія, которое издавна было его личнымъ нравственнымъ вопросомъ.

Но какое мѣсто занимаетъ дѣятельность Новикова въ общемъ ходѣ общественныхъ и литературныхъ понятій того времени? Отчасти мы уже указывали, что направленіе, которому служилъ Новиковъ и которое до значительной степени характеризуется его присоединеніемъ къ масонскому кружку, было стремленіе общеобразовательное и воспитательное въ томъ консервативномъ духѣ, который во второй половинѣ XVIII-го вѣка выразился оппозиціей раціонализму французской философіи. Эта точка зрѣнія была весьма естественна при тогдашней степени русскаго образованія. Раціонализмъ, какъ научный пріемъ изслѣдованія, съ цѣлью выработать послѣдовательное міровоззрѣніе, былъ недоступенъ русскому обществу и самимъ этимъ руководителямъ, потому что требовалъ бы запаса знаній и логической подготовки, какихъ они не имѣли; безъ этихъ условій философскій раціонализмъ не могъ бы служить и какъ руководство въ практической жизни и нравственности,—примѣромъ можетъ служить тогдашнее „волтеріанство“, которое въ большинствѣ случаевъ было только легкомысліемъ и распущенностью. Изъ этой „философіи“ извлечено было только непосредственно гуманитарное содержаніе—исканіе справедливости, понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, нѣкоторая доля вѣротерпимости, требованіе законности. Такъ нѣкогда подобныя идеи излагались въ „Наказѣ“ и повторялись русскими писателями какъ привычныя нравственныя сентенціи... Новиковъ имѣлъ въ виду именно большую массу общества, и поэтому уже не могъ задаваться какими-либо болѣе мудреными задачами человѣческаго мышленія, давать мѣсто какому-

либо вольномыслію; наконецъ, самъ онъ по своему развитію принадлежалъ къ тому же среднему слою тогдашняго образованія. Онъ былъ воспитанъ, безъ сомнѣнія, еще въ старыхъ патріархальныхъ понятіяхъ и впослѣдствіи ревностно восхвалялъ древнія русскія добродѣтели; возбужденный временами „Наказа", онъ направилъ свое патріотическое чувство на ту проповѣдь человѣколюбія, просвѣщенія и общественной справедливости, которая, на то время, совпадала съ идеями „Наказа", но была искренна и не хотѣла прикрывать вопіющихъ золъ русской жизни и извинять пороки, называя ихъ слабостями. Когда въ эту пору въ наше общество литературными и иными путями проникали въ безпорядочномъ смѣшеніи отголоски идей, волновавшихъ европейскій Западъ, естественно было, что у людей, серьезно относившихся къ предметамъ личной и общественной нравственности, должна была явиться потребность выйти изъ этого смѣшенія понятій въ какое-нибудь опредѣленное міровоззрѣніе, которое удовлетворило бы ихъ основному унаслѣдованному чувству и вмѣстѣ казалось бы логической системой. Новиковъ думалъ, что нашелъ то и другое въ масонской ложѣ. Лишенный возможности самостоятельнаго научнаго взгляда, онъ долженъ былъ искать выхода въ какой-либо популярной философіи, и именно такою философіей показалось ему масонское ученіе. Онъ приступилъ къ нему не вдругъ, онъ не хотѣлъ себя связывать невѣдомыми обязательствами; но, какъ выше упомянуто, друзья, высоко его цѣнившіе, облегчили ему этотъ путь. На первый разъ онъ не вполнѣ удовлетворился тѣмъ, что̀ нашелъ въ масонскихъ ложахъ, но потомъ встрѣтилъ однако то, чего искалъ, именно, ученіе о „нравственности и самопознаніи". Все это масонское ученіе кажется теперь очень страннымъ; но если „орденская" легенда находила тогда вѣру въ обществахъ гораздо болѣе образованныхъ, то неудивительно, что ей повѣрили и у насъ. Разъ вступивъ на эту дорогу, Новиковъ уже не сходилъ съ нея: онъ вѣрилъ, что дѣйствительно можетъ найти въ масонствѣ какія-то необычайныя тайны высокаго знанія, переходилъ отъ одной „системы" къ другой, все больше отдавался мистицизму и накопецъ увѣровалъ въ тайныя науки. Новѣйшій біографъ полагаетъ, что о мистицизмѣ Новикова нельзя судить по его письмамъ изъ Александровской эпохи, когда онъ былъ больнымъ старикомъ, вся жизнь котораго была разбита, и когда въ результатѣ страшныхъ потрясеній его мистицизмъ дошелъ до крайности [1]). Но это не совсѣмъ точно. Всѣ задатки

[1]) „Починъ", стр. 160.

мистицизма были готовы еще въ восьмидесятыхъ годахъ, въ эпоху дружбы съ Шварцомъ. Во время поѣздки на масонскій конвентъ въ Вильгельмсбадѣ, въ 1782 году, Шварцъ познакомился въ Берлинѣ съ представителями „Златорозоваго Креста": съ этой поры начались сношенія съ берлинскими розенкрейцерами, въ которыхъ самъ Новиковъ являлся дѣйствующимъ лицомъ; посылался за границу Кутузовъ для изученія розенкрейцерскихъ таинствъ; въ лекціяхъ самого Шварца философскіе предметы излагаются въ алхимическихъ терминахъ и т. д. Такимъ образомъ мистицизмъ Новикова не былъ слѣдствіемъ старчества, а напротивъ, давнишней чертой его взглядовъ, и это было естественно: за недостаткомъ понятій научныхъ мистицизмъ являлся желанною системой, какъ по его связи съ традиціонными вѣрованіями, такъ и по наивной надеждѣ узнать таинства „натуры", скрытыя отъ непосвященныхъ. Припомнимъ, что это было время славы и успѣховъ Каліостро, Сенъ-Жермена и пр. Въ общей исторіи нашего образованія въ XVIII вѣкѣ, это была своего рода приготовительная ступень, первый опытъ „направленія", обнимавшаго болѣе или менѣе значительныя группы общества, первый опытъ извѣстной нравственной солидарности, хотя на простодушно поставленной почвѣ.

Вслѣдствіе той же ограниченности средствъ, которая не допускала болѣе широкаго научнаго міровоззрѣнія, масонскій мистицизмъ не встрѣтилъ въ нашей литературѣ другого отпора, кромѣ упомянутыхъ раньше комедій Екатерины II и той полемики, какую вели кн. Прозоровскій и Шешковскій; но ни то, ни другое не было доказательствомъ. Правда, московскій кружокъ держалъ въ великой тайнѣ свои розенкрейцерскія ученія, но тонъ ихъ до извѣстной степени сказывался и въ печатныхъ книгахъ. И если въ общемъ смыслѣ масонскій союзъ былъ въ извѣстной мѣрѣ успѣхомъ, какъ попытка опредѣлить свое міровоззрѣніе на распутіи между дѣдовской стариной и новыми европейскими вліяніями, то была въ этомъ движеніи и своя оборотная сторона: масонскій союзъ не удержался на ступени простого смягченія общежитія, филантропіи и заботы о просвѣщеніи, и увлекся въ тѣ извращенія, какія произошли въ новѣйшихъ западныхъ „системахъ" и вмѣстѣ съ послѣдними проникли къ намъ. Наши масоны отчасти поняли, что „рыцарскіе градусы" не имѣютъ у насъ никакого смысла; но они не поняли, что столь же мало смысла имѣетъ розенкрейцерская алхимія и магія. Между тѣмъ послѣднія видимо были для нихъ очень привлекательны. Масонскіе архивы въ Петербургѣ и въ Москвѣ еще не изучены до-

статочно, но, насколько мы имѣли случай съ ними познакомиться, въ нихъ находится не мало любопытнаго для знакомства съ „умоначертаніемъ“ нашихъ предковъ прошлаго вѣка, и въ частности съ интересами Новиковскаго кружка. Между прочимъ, значительное число рукописей относится къ этому эпизоду розенкрейцерства: Новиковскій кружокъ владѣлъ только первыми степенями этой системы, но было уже переведено не мало алхимическихъ и магическихъ твореній, которыя, какъ видно изъ рукописей, продолжали обращаться и пополняться и въ Александровское время. Можно представить себѣ, каково было образовательное значеніе этой алхиміи и магіи въ первой четверти XIX-го вѣка. Въ Александровское время масоны старой школы бывали всего чаще злостными обскурантами: это было одностороннее, но довольно естественное слѣдствіе того склада мыслей, какой образовался въ московскомъ розенкрейцерскомъ кружкѣ; разумное изученіе природы, отвергавшее мистицизмъ, казалось низменнымъ матеріализмомъ и невѣріемъ.

Къ счастію, въ своихъ издательскихъ предпріятіяхъ Новиковъ не руководился исключительно идеями своего „ордена“. Съ давняго времени онъ дорожилъ интересами просвѣщенія въ болѣе широкомъ смыслѣ. Его журналы бывали всего больше эклектическими сборниками произведеній европейской литературы, правда, съ преобладающимъ намѣреніемъ противодѣйствовать матеріализму, но безъ алхиміи и магіи и съ указаніемъ великой важности научнаго знанія. Въ числѣ изданій Типографической Компаніи было не мало полезныхъ книгъ научнаго характера и вовсе не масонскихъ. Изъ питомцевъ кружка, вѣроятно, многіе увлеклись въ мистицизмъ, иные завѣдомо стали мистическими обскурантами; но въ этомъ кружкѣ была возможность и значительнаго, по времени, литературнаго образованія. Любопытный примѣръ послѣдняго представляютъ два друга—Карамзинъ и Петровъ: ихъ литературные интересы были едва ли не шире, чѣмъ у кого-либо изъ тогдашнихъ писателей, даже „опытныхъ“; по письмамъ Петрова къ Карамзину видно, что первый былъ въ „орденѣ“, но Карамзину, хотя онъ былъ близокъ съ этимъ кружкомъ, предоставили въ этомъ отношеніи полную свободу, и онъ не вступилъ въ ложу.

До сихъ поръ остается невыяснено, насколько Новиковъ дѣйствовалъ въ своихъ журналахъ какъ писатель,—хотя Незеленовъ посвятилъ этимъ журналамъ цѣлую книгу. Такъ называемые масонскіе журналы Новикова въ большой мѣрѣ наполнены переводами, и съ указаніемъ писателей; но и тамъ, гдѣ нѣтъ имени

автора, можно иногда предполагать также переводъ; могло быть, что по иностранному образцу составлены и другія статьи, помѣченныя русскими фамиліями или иниціалами. Авторъ книги о Новиковѣ чувствовалъ необходимость спеціальнаго разслѣдованія, которое выяснило бы дѣйствительную принадлежность подобныхъ статей: этого еще не сдѣлано, и пока было слишкомъ рискованно приписывать Новикову (какъ это дѣлаетъ иногда Незеленовъ) то, что могло ему вовсе не принадлежать и въ нѣкоторыхъ случаяхъ несомнѣнно не принадлежало. Выше приведены примѣры того, въ какой зависимости были русскіе писатели того времени отъ иностранныхъ образцовъ, и если такъ было въ комедіи и сатирѣ, которыхъ весь смыслъ долженъ былъ заключаться въ изображеніи русскихъ нравовъ, то еще естественнѣе ожидать такого заимствованія въ статьяхъ нравственно-теоретическаго характера, для которыхъ потребовалось бы больше научнаго знанія, чѣмъ для сатиры. Но во всякомъ случаѣ дѣломъ Новикова и его друзей былъ подборъ содержанія, которому они давали мѣсто въ своихъ изданіяхъ.

Мы долго остановились на Новиковѣ потому, что въ общественномъ смыслѣ это былъ наиболѣе замѣчательный дѣятель той эпохи, какъ по заслугамъ его для внѣшняго распространенія литературы и размноженія числа читателей, такъ и по стремленіямъ его и его круга дать литературѣ содержаніе, которое могло бы сдѣлаться жизненнымъ поученіемъ и идеаломъ. Правда, онъ былъ самостоятеленъ только въ нѣкоторыхъ частяхъ своего труда—въ сатирѣ „Трутня“ и „Живописца“, въ поискахъ исторической старины; въ своихъ попыткахъ дать русскимъ читателямъ нравственную философію онъ вполнѣ зависѣлъ отъ своихъ иностранныхъ образцовъ, особливо піэтистическихъ, и, наконецъ, заблудился въ дебряхъ розенкрейцерской мистики,—но чрезвычайно важно было то, что источникомъ этихъ исканій была у него глубокая внутренняя потребность, носившая нравственный и вмѣстѣ общественный характеръ.

Дѣятельность Новикова была указателемъ того, что новая литература, которая такъ долго и даже за предѣлы XVIII вѣка была ученическимъ усвоеніемъ формъ и содержанія западно-европейской литературы и отражала различные ея оттѣнки, начинала наконецъ приходить къ болѣе прочному усвоенію этого содержанія, хотѣла быть не только „конфектами“ и „лимонадомъ“, но серьезнымъ руководствомъ для жизни. Дѣятельность

Новикова была, правда, новой ступенью заимствованій, но только сдѣланныхъ уже съ бо́льшей сознательностью.

Было бы преувеличеніемъ говорить о какихъ-либо опредѣленныхъ литературныхъ направленіяхъ въ Екатерининское время [1]), напр., о направленіи „скептическо-матеріалистическомъ“, „мистическо-нравоучительномъ“, наконецъ, „непосредственно народномъ“. При этомъ окажутся вещи довольно странныя. Напримѣръ, въ поэмѣ Василія Майкова „Елисей или раздраженный Вакхъ“ мы должны будемъ видѣть „вліяніе на русскую литературу темныхъ сторонъ XVIII вѣка“, когда это было только безцѣльное стихотворство въ смягченномъ тонѣ домашняго цинизма, и когда въ другихъ своихъ твореніяхъ Майковъ совсѣмъ неповиненъ во французской философіи. Такимъ же слѣдствіемъ французской философіи была будто бы „Душенька“ Богдановича, когда это былъ только пересказъ повѣсти Лафонтена, пересказъ, который въ свое время считался остроумнымъ и изящнымъ, а на дѣлѣ довольно аляповатъ. Въ скептическое направленіе попадаютъ произведенія Аблесимова, когда ихъ можно было бы зачислить и въ направленіе народное. „Матеріализмъ“ и „отрицаніе“ могутъ быть усмотрѣны въ сатирическомъ журналѣ императрицы Екатерины, когда онъ былъ копіей англійскаго „Зрителя“ и всего меньше задавался какимъ-нибудь отрицаніемъ. Дѣятельность Новикова зачислена не безъ основанія въ мистическо-нравоучительное направленіе, но было бы крупною ошибкой не отмѣтить въ ней направленія народнаго. Далѣе, въ отдѣлъ „непосредственной народности“ относятъ особенно Фонъ-Визина, но выше указано, что и эта народность цѣпляется за французскіе образцы. Къ тому же направленію, опять въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ справедливо, относятъ Радищева, но тутъ же историкъ вынужденъ отмѣчать сильное вліяніе французской отрицательной литературы, и дѣйствительно, у Радищева, быть можетъ, больше, чѣмъ у кого-либо изъ нашихъ писателей прошлаго вѣка, можно наблюдать такое сильное вліяніе французскаго философскаго чтенія; въ этомъ не уступитъ ему только сама императрица въ эпоху „Наказа“. Такимъ образомъ, въ содержаніи тогдашней литературы невозможно указать точно разграниченныхъ направленій, какія возможны только въ болѣе развитомъ состояніи общества и какія бывали у насъ впослѣдствіи. Болѣе опредѣленно высказалось только мистическое направленіе; но и въ немъ было мало самостоятельнаго, и оно не создало въ сущности какого-нибудь послѣдовательнаго взгляда.

[1]) Какъ дѣлаетъ, напр., Незеленовъ въ книгѣ съ такимъ заглавіемъ.

Въ дѣйствительности, въ русскую литературу входили тогда самые разнообразные элементы западной литературы; всѣ они были у насъ новы, всѣ представляли тотъ или другой интересъ въ обществѣ, искавшемъ образованія, но еще мало способномъ разобраться въ различныхъ его элементахъ; въ своемъ образовательномъ запасѣ и въ самой жизни оно не находило для этого опоры. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему въ русской жизни могли примкнуть ученія энциклопедистовъ; могъ ли быть сознательно понятъ скептицизмъ, выработанный вѣками западной умственной жизни, или тотъ протестъ противъ разсудочной философіи, который выразился въ Руссо; могъ ли быть близокъ тотъ классическій міръ, традиціями котораго была проникнута литература западной Европы? Очевидно, для всего этого не было у насъ никакой собственной опоры. Классицизмъ, котораго преданія были знакомы западной Европѣ со временъ самой римской имперіи и который такъ наводнилъ ея умственную жизнь съ эпохи Возрожденія, у насъ былъ нѣсколько знакомъ лишь питомцамъ немногихъ высшихъ заведеній, схоластически знакомъ ученикамъ духовныхъ академій и двухъ-трехъ семинарій, и совсѣмъ неизвѣстенъ въ обыкновенномъ кругу, откуда выходило большинство тогдашнихъ писателей [1].

Все это узнавалось въ XVIII вѣкѣ въ первый разъ, какъ въ первый разъ узнавалась наука, которая могла подготовлять впервые къ теоретическому мышленію. Лишь немногіе просвѣщенные умы, какъ Ломоносовъ и его русскіе ученые преемники, были на высотѣ европейской науки, но за рѣдкими исключеніями они не выходили изъ круга своихъ спеціальныхъ изученій; масса общества ограничена была уровнемъ поверхностнаго свѣтскаго образованія. Но все это было ново, нерѣдко завлекательно; имена писателей, творенія которыхъ доходили до русскихъ любителей, славились по всей Европѣ, какъ верхъ глубокомыслія и остроумія; сама императрица подавала примѣръ преклоненія передъ ними. Такимъ образомъ понятно распространеніе ихъ мыслей—скептическихъ, матеріалистическихъ и т. п., а также мистическихъ и піэтистическихъ [2]; но понятно также, что эти

---

[1]) Объ этомъ классическомъ мірѣ у насъ узнавали только изъ тѣхъ же французскихъ трагедій и изъ элементарныхъ учебныхъ книгъ. Въ тѣхъ французскихъ пансіонахъ, которые играли не малую роль въ нашемъ дворянскомъ образованіи, однимъ изъ важныхъ предметовъ бывала обыкновенно „митологія“, потому что безъ нея нельзя было понимать тогдашней псевдо-классической литературы.

[2]) Еще при Аннѣ была издана (Галле, 1735) въ переводѣ С. Тодорскаго, но при Елизаветѣ, въ 1743, запрещена Синодомъ піэтистическая книга Арнда: „Ученіе о началѣ христіанскаго житія“. О судьбѣ этой книги см. Скабичевскаго, Очерки исторіи р. цензуры. Спб. 1892, стр. 12.

отголоски европейской мысли въ мало образованномъ обществѣ принимались только поверхностно, жили въ умахъ нашего XVIII вѣка въ болѣе или менѣе безпорядочномъ смѣшеніи. Не однажды встрѣчаемъ въ біографіяхъ дѣятелей того вѣка, что съ молоду они были преданы вольнодумству, даже безбожію, но потомъ возвращались на путь истинный; въ ихъ писаніяхъ встрѣчаемъ разсужденія, взятыя изъ передовой французской книги, а вслѣдъ затѣмъ патріархальную мораль, которая мало съ ними вязалась; — дѣло въ томъ, что мысли французской книги были модныя, остроумно выраженныя, и русскій писатель хотѣлъ пощеголять ими; но въ другую минуту онъ чувствовалъ себя опять дома и мысль принимала другое направленіе. Примѣровъ можно найти много. Таковы были колебанія самой Екатерины II; таковы были противорѣчія возвышенныхъ мыслей и домашней дѣйствительности у Державина, Фонъ-Визина: слова, которыя они говорили, не имѣли своего настоящаго смысла,—онъ былъ укороченъ или опровергался слѣдующими словами.

Такимъ образомъ трудно говорить о „направленіяхъ": была только потребность образованія, инстинкты мысли, стремленія къ возвышенному и рецидивы патріархальной старины, или прямо наслѣдственнаго обскурантизма [1]).

Была однако и болѣе серьезная сторона въ этомъ броженіи.

Были умы, получившіе уваженіе къ наукѣ, способные къ искреннему убѣжденію, желавшіе служить обществу и самому народу на основѣ новаго просвѣщенія. Мысли писателей полусознательно или сознательно начинали обращаться къ своей общественной дѣйствительности, и здѣсь литература въ состояніи была сдѣлать много плодотворнаго. Торжественная ода, при всей фальшивой высокопарности, могла пробуждать національное сознаніе; сатира могла указать осязательные недостатки русской жизни, когда, напримѣръ, возставала противъ крѣпостного права или традиціоннаго невѣжества; псевдо-классическая драма, хотя подражательная и ходульная, могла содѣйствовать нравственному воспитанію общества изображеніемъ высокихъ характеровъ, благородныхъ страстей и стремленій; комедія, какъ и сатира, могла заставить оглянуться на бытовую дѣйствительность и т. д. Наконецъ, внѣ собственно художественной литературы (насколько было въ ней художества) совершалось другими путями обращеніе къ національному содержанію, которое должно было сдѣлаться впослѣдствіи основною почвою

---

[1]) См. характерные, иногда вопіющіе примѣры этихъ противорѣчій у Иванова, Ист. русской критики, стр. 56—66.

литературной самостоятельности. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ [1]), какъ въ теченіе XVIII вѣка возникли впервые правильныя изученія русскаго народа, какихъ не знала до-Петровская Россія. Со временъ Петра начинаются и потомъ все болѣе расширяются изслѣдованія русской территоріи, племенного состава населенія, нравовъ и обычаевъ, остатковъ древности, наконецъ письменныхъ памятниковъ старины. Понятно, что только съ этими изученіями возможно было серьезное знаніе своего народа, его прошедшаго, его особенностей. Рядъ ученыхъ экспедицій, произведенныхъ иностранными и русскими учеными петербургской Академіи отъ временъ Петра и до конца XVIII вѣка, доставилъ первыя описанія русской земли, ея природы и населенія. Времена Петра дали новый толчокъ и изученіямъ историческимъ. Самъ Петръ былъ заинтересованъ исторической стариной, и этотъ интересъ перешелъ къ его лучшимъ питомцамъ; первые труды нѣмецкихъ ученыхъ въ Россіи, какъ Байеръ, Миллеръ, Шлёцеръ, которые давали образцы исторической критики, выработанной въ европейской наукѣ, открыли русскимъ любознательнымъ людямъ неизвѣстные прежде пути историческаго изслѣдованія. Уже на первыхъ порахъ новые историки отвергли старую манеру, которая дожила до XVIII вѣка въ хронографахъ и въ Синопсисѣ. Первый историческій трудъ, задуманный въ широкихъ размѣрахъ, „Россійская Исторія“ Татищева еще продолжаетъ форму лѣтописнаго свода, но прибавляетъ объяснительныя примѣчанія въ духѣ исторической критики: здѣсь уже нѣтъ наивнаго легковѣрія старыхъ компиляторовъ и, напротивъ, каждый крупный историческій фактъ подвергается критическому осмотру. Рядомъ съ этимъ, въ исторіографіи XVIII вѣка сдѣлано было другое важное пріобрѣтеніе, которымъ она сразу становилась выше историческаго пониманія недавнихъ предковъ. А именно, новая исторіографія обратилась къ разысканію подлинныхъ источниковъ нашей древности: не довольствуясь поздними лѣтописями, она стала искать именно древнихъ списковъ, какъ первоисточниковъ, гдѣ справедливо ожидали найти болѣе достовѣрное свидѣтельство о древнихъ событіяхъ, чѣмъ въ позднихъ сводахъ, гдѣ старыя сказанія могли быть и дѣйствительно были испорчены позднѣйшими ошибками или выдумками. Такъ нашлись древніе списки лѣтописи, а затѣмъ отысканы памятники, о которыхъ старые компиляторы совсѣмъ забыли: „Русская Правда“ и, въ концѣ вѣка, „Слово о полку Игоревѣ“. Достаточно здѣсь указать это начало новыхъ

[1]) Исторія русской этнографіи, т. I.

изученій, которымъ предстояло развиться потомъ въ историческую науку: первые ея шаги были неувѣренны, она съ трудомъ собирала обширный матеріалъ, которымъ ей предстояло овладѣть, часто не умѣла еще понять древнихъ памятниковъ, но важный результатъ былъ уже полученъ—твердо укрѣпилось сознаніе необходимости изучить этотъ матеріалъ, необходимость примѣнять къ нему историческую критику, явилось стремленіе уразумѣть тотъ процессъ, которымъ русскій народъ отъ первыхъ временъ своего событія достигъ своего новаго состоянія и совершилось образованіе народнаго характера и быта; наконецъ, поставленъ былъ вопросъ, спорный почти еще съ конца XVIII вѣка, о „древней и новой Россіи"—полезно ли было преобразованіе и не были ли лучше старые нравы. Восемнадцатый вѣкъ представилъ цѣлый рядъ писателей, много потрудившихся надъ этой научной реставраціей прошлаго, которая, очевидно, должна была стать однимъ изъ необходимѣйшихъ элементовъ общественнаго и цѣлаго національнаго самосознанія: къ нѣмецкимъ ученымъ, какъ Байеръ, Миллеръ, Шлёцеръ, Штриттеръ, позднѣе Кругъ, Лербергъ, присоединились русскіе ученые или трудолюбивые собиратели, такъ Татищевъ, кн. Щербатовъ, Болтинъ, гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ и др.

Эти ученые прошлаго вѣка, особенно нѣмецкіе, много занимались начальнымъ періодомъ русской исторіи: это было естественно, потому что и надо было начать съ древнѣйшаго періода; но русскіе историки старались довести исторію и до болѣе позднихъ періодовъ, по крайней мѣрѣ до московскаго царства. Такъ велъ свою работу Татищевъ, потомъ кн. Щербатовъ; Болтинъ не оставилъ цѣльнаго историческаго труда и обыкновенно довольствовался „примѣчаніями" на чужія книги, но въ этихъ примѣчаніяхъ онъ касался и старыхъ, и новыхъ періодовъ русской исторіи.

Наши историки старались усвоить умѣнье критически обращаться съ источниками,—не всегда принимали буквально показанія лѣтописи и старались отыскать дѣйствительный смыслъ ея извѣстій,—и вмѣстѣ съ тѣмъ старались раскрыть общій ходъ событій. Западная исторіографія и даже философія, въ которыхъ они искали руководства, научала ихъ раціоналистическому объясненію историческихъ явленій, образованія народнаго характера, и обратно объясненію событій изъ этого характера. Этотъ раціонализмъ можно видѣть уже у Татищева, и любопытно, что онъ любитъ обращаться къ современному обычаю для уразумѣнія старины. Кн. Щербатовъ постоянно прибѣгаетъ къ психо-

логическимъ мотивамъ, къ обстоятельствамъ мѣста и времени, чтобы истолковать событія, не всегда понятныя въ краткомъ разсказѣ лѣтописи. Болтинъ, по примѣру западныхъ историческихъ писателей, склоненъ къ болѣе общему объясненію исторіи вліяніемъ „климата", и споръ его съ кн. Щербатовымъ происходилъ изъ различія теорій.

Изъ этой исторической литературы должно остановиться въ особенности на нѣкоторыхъ трудахъ кн. Щербатова, которые стоятъ въ ближайшемъ отношеніи съ настроеніемъ тогдашняго общества. Въ свое время и послѣ главную извѣстность доставила ему обширная „Исторія россійская съ древнѣйшихъ временъ" (въ шести томахъ), которую онъ довелъ до воцаренія Михаила Θедоровича, гдѣ въ первый разъ, кромѣ лѣтописнаго матеріала, воспользовался документами государственныхъ архивовъ. Эта „Исторія", вызвавшая тогда полемику Болтина, осталась самымъ крупнымъ историческимъ трудомъ XVIII вѣка и объ ея цѣнности можно судить по тому, что, какъ показываютъ новѣйшія изслѣдованія, изъ нея обильно черпалъ Карамзинъ.

Если представить себѣ, что эти историки были лишены ученой школы и въ сущности были самоучками, будутъ понятны ихъ ошибки, даже грубыя, въ тѣхъ вопросахъ, гдѣ именно требовалась ученость и тонкая критика,—каковъ, напр., тотъ вопросъ о началѣ Руси, который остается нерѣшенъ и теперь, когда на него было уже положено множество учености; и тѣмъ выше должна быть оцѣнена, напр., заслуга Щербатова, одолѣвавшаго своимъ трудолюбіемъ огромный матеріалъ, въ большой мѣрѣ впервые извлеченный изъ архивовъ. Онъ только отчасти могъ воспользоваться Татищевымъ, а въ послѣднихъ частяхъ своего труда былъ предоставленъ исключительно самому себѣ. Общее пониманіе исторической задачи онъ извлекалъ изъ западной литературы и свой раціонализмъ почерпаетъ у Юма. „Обыкновеннѣйшая связь въ происшествіяхъ есть та, которая происходитъ отъ причинъ и дѣйствій. Съ сею помощью намъ историкъ изображаетъ послѣдствія дѣяній въ ихъ естественномъ порядкѣ, восходитъ до тайныхъ пружинъ и до причинъ сокровенныхъ и выводитъ наиотдаленнѣйшія слѣдствія... Наука причинъ есть приключающая наиболѣе удовольствія разуму: она же обильнѣйшая есть въ полезныхъ наставленіяхъ, понеже она единая чинитъ насъ властелинами приключеній и даетъ намъ нѣкоторую власть надъ будущими временами" (т.-е. позволяетъ изъ прошедшаго заключать о будущемъ). Съ такими мыслями о причинахъ и дѣйствіяхъ кн. Щербатовъ писалъ свое разсужденіе „О повреж-

денія нравовъ въ Россіи". Оно осталось въ свое время неизданнымъ; вѣроятно, авторъ опасался быть неугоднымъ: его опасеніе составляетъ черту времени, и неизданный трудъ остается важенъ для опредѣленія писателя. Разсужденіе кн. Щербатова очень любопытно какъ одинъ изъ первыхъ опытовъ независимаго наблюденія современной жизни; это — исторія и публицистика вмѣстѣ. Кн. Щербатовъ находилъ, что нравы въ Россіи чрезвычайно повредились именно съ временъ Петра Великаго: онъ самъ исполненъ уваженія къ Петру, его необычайной дѣятельности, простотѣ его жизни, находитъ сдѣланную имъ „перемѣну" нужной, но, можетъ быть, „излишней", т.-е. чрезмѣрной; но съ этой перемѣной стала входить роскошь, а съ нею, наконецъ, и всякіе пороки. „Я думаю,—пишетъ онъ,—что сей великій государь, который ничего безъ дальновидности не дѣлалъ, имѣлъ себѣ въ предметѣ, чтобы великолѣпіемъ и роскошью подданныхъ побудить торговлю, фабрики и ремесла, бывъ увѣренъ, что при жизни его излишнее великолѣпіе и сластолюбіе не утвердитъ престола своего при царскомъ дворѣ". Но разъ водворившись, роскошь только увеличивалась, и въ концѣ концовъ послѣдовало такое поврежденіе нравовъ, которымъ было крайне встревожено патріотическое чувство нашего писателя.

Въ началѣ трактата онъ изображаетъ простоту древнихъ нравовъ: сами московскіе цари не знали роскоши и жили чрезвычайно просто; съ этой простотой, по мнѣнію Щербатова, связаны были и гражданскія доблести нашихъ предковъ, семейныя добродѣтели, чувство родовой гордости, воздерживавшее отъ дурныхъ поступковъ и порока, крѣпость родственныхъ связей. Въ XVIII вѣкѣ все это исчезло, сохраняясь только въ рѣдкихъ исключеніяхъ; виною паденія старыхъ нравовъ были новыя формы службы, чины, уравнивавшіе людей „подлыхъ" съ потомками древнихъ родовъ, а въ особенности придворные нравы, которые вмѣстѣ съ роскошью производили алчность къ пріобрѣтенію богатства, а съ нею угодничество и упадокъ чувства чести. Щербатовъ въ значительной степени выдѣляетъ Петра изъ своихъ осужденій, но тѣмъ рѣзче обвиняетъ его преемниковъ, о правленіи которыхъ говоритъ по свѣжимъ еще преданіямъ и собственному опыту. И, быть можетъ, съ особенною горечью онъ говоритъ о временахъ Екатерины II... Историки литературы, говорившіе объ этомъ сочиненіи кн. Щербатова, почти неизмѣнно осуждаютъ его за ошибки и преувеличенія: московская Россія вовсе не блистала добродѣтелями, которыя онъ восхваляетъ и въ доказательство ссылаются на Максима Грека, на

логическимъ мотивамъ, къ обстоятельствамъ мѣста и времени, чтобы истолковать событія, не всегда понятныя въ краткомъ разсказѣ лѣтописи. Болтинъ, по примѣру западныхъ историческихъ писателей, склоненъ къ болѣе общему объясненію исторіи вліяніемъ „климата“, и споръ его съ кн. Щербатовымъ происходилъ изъ различія теорій.

Изъ этой исторической литературы должно остановиться въ особенности на нѣкоторыхъ трудахъ кн. Щербатова, которые стоятъ въ ближайшемъ отношеніи съ настроеніемъ тогдашняго общества. Въ свое время и послѣ главную извѣстность доставила ему обширная „Исторія россійская съ древнѣйшихъ временъ“ (въ шести томахъ), которую онъ довелъ до воцаренія Михаила Ѳедоровича, гдѣ въ первый разъ, кромѣ лѣтописнаго матеріала, воспользовался документами государственныхъ архивовъ. Эта „Исторія“, вызвавшая тогда полемику Болтина, осталась самымъ крупнымъ историческимъ трудомъ XVIII вѣка и объ ея цѣнности можно судить по тому, что, какъ показываютъ новѣйшія изслѣдованія, изъ нея обильно черпалъ Карамзинъ.

Если представить себѣ, что эти историки были лишены ученой школы и въ сущности были самоучками, будутъ понятны ихъ ошибки, даже грубыя, въ тѣхъ вопросахъ, гдѣ именно требовалась ученость и тонкая критика,—каковъ, напр., тотъ вопросъ о началѣ Руси, который остается нерѣшенъ и теперь, когда на него было уже положено множество учености; и тѣмъ выше должна быть оцѣнена, напр., заслуга Щербатова, одолѣвавшаго своимъ трудолюбіемъ огромный матеріалъ, въ большой мѣрѣ впервые извлеченный изъ архивовъ. Онъ только отчасти могъ воспользоваться Татищевымъ, а въ послѣднихъ частяхъ своего труда былъ предоставленъ исключительно самому себѣ. Общее пониманіе исторической задачи онъ извлекалъ изъ западной литературы и свой раціонализмъ почерпаетъ у Юма. „Обыкновеннѣйшая связь въ происшествіяхъ есть та, которая происходитъ отъ причинъ и дѣйствій. Съ сею помощью намъ историкъ изображаетъ послѣдствія дѣяній въ ихъ естественномъ порядкѣ, восходитъ до тайныхъ пружинъ и до причинъ сокровенныхъ и выводитъ наиотдаленнѣйшія слѣдствія... Наука причинъ есть приключающая наиболѣе удовольствія разуму: она же обильнѣйшая есть въ полезныхъ наставленіяхъ, понеже она единая чинитъ насъ властелинами приключеній и даетъ намъ нѣкоторую власть надъ будущими временами“ (т.-е. позволяетъ изъ прошедшаго заключать о будущемъ). Съ такими мыслями о причинахъ и дѣйствіяхъ кн. Щербатовъ писалъ свое разсужденіе „О повреж-

деніи нравовъ въ Россіи". Оно осталось въ свое время неизданнымъ; вѣроятно, авторъ опасался быть неугоднымъ: его опасеніе составляетъ черту времени, и неизданный трудъ остается важенъ для опредѣленія писателя. Разсужденіе кн. Щербатова очень любопытно какъ одинъ изъ первыхъ опытовъ независимаго наблюденія современной жизни; это — исторія и публицистика вмѣстѣ. Кн. Щербатовъ находилъ, что нравы въ Россіи чрезвычайно повредились именно съ временъ Петра Великаго: онъ самъ исполненъ уваженія къ Петру, его необычайной дѣятельности, простотѣ его жизни, находитъ сдѣланную имъ „перемѣну" нужной, но, можетъ быть, „излишней", т.-е. чрезмѣрной; но съ этой перемѣной стала входить роскошь, а съ нею, наконецъ, и всякіе пороки. „Я думаю,—пишетъ онъ,—что сей великій государь, который ничего безъ дальновидности не дѣлалъ, имѣлъ себѣ въ предметѣ, чтобы великолѣпіемъ и роскошью подданныхъ побудить торговлю, фабрики и ремесла, бывъ увѣренъ, что при жизни его излишнее великолѣпіе и сластолюбіе не утвердитъ престола своего при царскомъ дворѣ". Но разъ водворившись, роскошь только увеличивалась, и въ концѣ концовъ послѣдовало такое поврежденіе нравовъ, которымъ было крайне встревожено патріотическое чувство нашего писателя.

Въ началѣ трактата онъ изображаетъ простоту древнихъ нравовъ: сами московскіе цари не знали роскоши и жили чрезвычайно просто; съ этой простотой, по мнѣнію Щербатова, связаны были и гражданскія доблести нашихъ предковъ, семейныя добродѣтели, чувство родовой гордости, воздерживавшее отъ дурныхъ поступковъ и порока, крѣность родственныхъ связей. Въ XVIII вѣкѣ все это исчезло, сохраняясь только въ рѣдкихъ исключеніяхъ; виною паденія старыхъ нравовъ были новыя формы службы, чины, уравнивавшіе людей „подлыхъ" съ потомками древнихъ родовъ, а въ особенности придворные нравы, которые вмѣстѣ съ роскошью производили алчность къ пріобрѣтенію богатства, а съ нею угодничество и упадокъ чувства чести. Щербатовъ въ значительной степени выдѣляетъ Петра изъ своихъ осужденій, но тѣмъ рѣзче обвиняетъ его преемниковъ, о правленіи которыхъ говоритъ по свѣжимъ еще преданіямъ и собственному опыту. И, быть можетъ, съ особенною горечью онъ говоритъ о временахъ Екатерины II... Историки литературы, говорившіе объ этомъ сочиненіи кн. Щербатова, почти неизмѣнно осуждаютъ его за ошибки и преувеличенія: московская Россія вовсе не блистала добродѣтелями, которыя онъ восхваляетъ и въ доказательство ссылаются на Максима Грека, на

„Домострой“, на Котошихина; новѣйшія времена отличались не одними пороками, но и великими дѣлами, и Щербатова обвиняютъ въ слишкомъ мрачномъ изображеніи той эпохи, въ перетолкованіи фактовъ, наконецъ прямо находятъ у него нелѣпости. Но этотъ судъ слишкомъ строгій. Главная ошибка Щербатова здѣсь, какъ въ его „Исторіи“, заключается въ томъ, что, разыскивая причины и слѣдствія, онъ обыкновенно беретъ ихъ въ ближайшемъ кругу событій, и объясненіе становится мелочнымъ и невѣрнымъ. Онъ могъ не безъ основанія находить поврежденіе нравовъ въ Россіи послѣ реформы; но, собственно говоря, неустойчивые и не совершенно „добродѣтельные“ нравы стараго времени нашли теперь только новую форму поврежденія, и если даже оно было больше прежняго, то причины его лежали гораздо дальше тѣхъ, какія приводитъ Щербатовъ: „поврежденіе нравовъ“ приводилось цѣлымъ переломомъ въ общественной жизни, который былъ необходимъ, и оно могло быть тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше была ихъ прежняя устойчивость. Но сочиненіе кн. Щербатова остается любопытнымъ по чертамъ стараго быта, какія онъ передаетъ по разсказамъ дѣдовъ, и по чертамъ новѣйшей жизни, которыя онъ зналъ какъ современникъ и очевидецъ. Наконецъ, это сочиненіе имѣетъ за собой заслугу общественнаго характера: его сужденія, какъ приведенные выше отзывы Державина, остаются свидѣтельствомъ, что общество того времени не заблуждалось относительно совершавшихся явленій.

Недавно изданъ былъ впервые другой публицистическій трудъ кн. Щербатова: „Путешествіе въ землю Офирскую г-на С..., швецкаго дворянина“. Это было еще одно русское сочиненіе (подобныя были у Хераскова) въ духѣ тѣхъ произведеній европейской политической беллетристики XVIII вѣка (даже раньше, въ твореніяхъ Томаса Моруса, Рабле, Свифта), гдѣ въ видѣ романа, поэмы, путешествія изображались фантастическія страны и передъ читателемъ являлась картина политическаго благополучія или, въ сатирѣ, осужденіе недостатковъ современнаго быта. Въ основѣ лежало недовольство существующимъ порядкомъ вещей, желаніе найти лучшія формы общественнаго устройства, дать политическій урокъ, котораго нельзя было дать прямо. Произведенія этого рода проникли въ переводахъ и въ нашу литературу XVIII вѣка: таковы были „Аргенида“, „Телемакъ“, „Жизнь Сиѳа“, „Клевеландъ“, повѣсти Вольтера. Кн. Щербатовъ взялъ форму фантастическаго путешествія, гдѣ разсказчикъ, пребывавшій передъ тѣмъ въ Индіи и отплывшій въ Европу, былъ

занесенъ страшной бурей въ южный океанъ и тамъ нашелъ убѣжище въ Офирской землѣ. Какъ послѣ оказалось, эта земля находилась близь южнаго полярнаго круга и была „страна холодная и совсѣмъ сходственная на европейскія сѣверныя страны", т.-е. собственно на Россію; а главное, въ этой странѣ путешественникъ нашелъ великое благополучіе жителей и „таковое счастливое правленіе, которому бы желательно, чтобъ называющіе себя просвѣщенными европейскіе народы подражали".

Намеки на Россію тѣмъ больше прозрачны, что авторъ прямо объ этомъ старается. Въ Офирскомъ государствѣ, какъ въ Россіи, двѣ столицы, старая и новая; имена городовъ, при перестановкѣ буквъ, укажутъ на Москву, Тверь и т. п. Въ Офирскомъ государствѣ былъ правитель, совершившій большія нововведенія, которыя вообще были благотворны, но имѣли важныя ошибки, впослѣдствіи исправленныя офирскими жителями (какъ самъ Щербатовъ желалъ исправить ошибки Петра Великаго); даже чиновники Офирской земли дѣлятся на четырнадцать классовъ, и т. д. Но въ эти общія рамки авторъ вноситъ новое содержаніе.

Выше указано отношеніе Хераскова къ религіознымъ предметамъ, въ связи съ масонскими представленіями о естественной религіи или внутренней церкви. Здѣсь опять нѣчто подобное. Однажды путешественникъ увидѣлъ великолѣпное круглое зданіе и много входящаго и выходящаго народа. Онъ узналъ, что это—храмъ божій. „Любопытствовалъ я въ него войти и спрашивалъ, позволяется ли сіе чужестраннымъ? Мой вопросъ, казалось, удивилъ моего проводника, и онъ мнѣ отвѣтствовалъ: „Вышнее Естество, создавшее вселенную, которому всѣ должны поклоненіе свое приносить, не отщетитъ ни единаго человѣка; тайности же никакой въ ихъ моленіи нѣтъ, то для чего, если я имѣю любопытство, не войти въ сей храмъ?" И мы немедленно въ него вошли". Обряды и молитвы этой религіи очень просты; служители ея избираются изъ добродѣтельныхъ гражданъ, какъ и служители полиціи, и носятъ одинаковую съ послѣдними одежду. Источникъ религіи и ея основаніе—наблюденіе мудрости міротворенія. Путникъ „не могъ не удивиться мудрости сей вѣры и мудрости установленія". Эта деистическая религія, не имѣющая догматовъ, почти лишенная богослуженія и обрядности, очевидно была отраженіемъ тѣхъ ученій, какія кн. Щербатовъ находилъ въ масонской ложѣ: как тамъ религія была только отвлеченнымъ почитаніемъ высшаго Существа и нравоученіемъ, такъ это было въ Офирской землѣ. Понятію о

божествѣ соотвѣтствовала и обстановка этой религіи. Ея служители не составляли касты или сословія: они, какъ сказано, избираются и не получаютъ никакого жалованья. „Вопрошалъ я (служителя храма)—какой онъ получаетъ доходъ отъ храма? Усмѣхнувшись, онъ мнѣ на сіе отвѣчалъ: что весь его доходъ состоитъ въ чести предъ народомъ приносить мольбы Вышнему, и что сія есть должность каждаго человѣка, то какому и доходу за сіе быть?“

Относительно предметовъ общественнаго благоустройства, кн. Щербатовъ повторяетъ мысли, изложенныя и въ трактатѣ о поврежденіи нравовъ. Какъ вообще моралисты XVIII вѣка, онъ надѣется на утвержденіе добродѣтели среди гражданъ путемъ мудрыхъ распоряженій, постоянно указываетъ на простоту и умѣренность въ образѣ жизни офирскаго народа, который избѣгаетъ роскоши, считая ее порокомъ, и, между прочимъ, совсѣмъ не употребляетъ вина, замѣняя его напиткомъ изъ благовонныхъ травъ и ягодъ. Есть одна характерная черта: нашъ моралистъ считаетъ необходимой строгую регламентацію жизни, — такъ что даже частный бытъ установляется правительственными распоряженіями. При умѣренности жизни и при сознаніи гражданами своихъ обязанностей, государство не имѣетъ надобности много тратить на чиновниковъ, и мало тратитъ на армію, потому что въ Офирской землѣ всѣ войска—поселенныя и содержатъ себя сами. Кн. Щербатовъ подробно описываетъ распорядки въ офирскихъ военныхъ поселеніямъ, которые видимо казались ему чрезвычайно полезными для Россіи,—но онъ считалъ безъ хозяина, т.-е. безъ графа Аракчеева.

Затѣмъ, сущность офирскаго государственнаго устройства была та же, что въ Россіи: былъ императоръ, тѣ же учрежденія, двѣ столицы, дворянство, пожалованіе деревнями и т. д. Но офирскіе законы были весьма благоразумны; судебная волокита была невозможна, потому что судьи принуждаются закономъ къ скорому рѣшенію дѣлъ. Для того времени чрезвычайно любопытно у Щербатова указаніе на необходимость гласнаго суда или публичности судебныхъ засѣданій и намекъ на судъ присяжныхъ.

Изъ разсказа о школахъ замѣтимъ, что ученье мальчиковъ продолжается до пятнадцати лѣтъ, „сирѣчь до самаго того времени, какъ онъ можетъ уже въ службу государственную быть употребленъ“. Не забыто и высшее образованіе для „острыхъ, памятныхъ и благонравнѣйшихъ“, которые „съ позволенія роди-

телей" поступаютъ въ высшія училища и вмѣстѣ на службу, такъ что въ училищѣ „получаютъ чины яко служащіе".

Правленіе и законы этой земли могутъ быть свободно обсуждаемы гражданами, и правительство выслушиваетъ ихъ мнѣнія, чтобы исправить возможные недостатки. Одинъ сановникъ говорилъ путешественнику: „Сохрани насъ, Боже, чтобы мы мнили, якобы въ головы токмо нѣкотораго числа людей, въ чинахъ находящихся; Богъ помѣстилъ весь разумъ, ограбя всѣхъ прочихъ людей отъ того".

Офирскій императоръ живетъ просто, безъ всякой стражи, „ибо государь долженъ быть хранимъ не вооруженными, обрѣтающимися вокругъ его людьми, но любовію народною". Онъ доступенъ не однимъ вельможамъ, но въ извѣстные дни недѣли принимаетъ и „нижнихъ чиновъ", т.-е. людей съ малыми чинами. Число придворныхъ не велико, и въ этой землѣ неизвѣстны и народныя привѣтствія властителю, потому что „сіе было бы тщетные знаки усердія". Нѣтъ и высокомѣрныхъ вельможъ: „въ сей землѣ, если и послѣдній гражданинъ будетъ ждать долго вельможи, то уже себѣ за оскорбленіе приметъ", и въ неотложномъ случаѣ „гражданинъ" можетъ потребовать свиданія съ вельможей даже ночью.

Изложивъ иносказательно преобразованія Петра В., основаніе и возвеличеніе новой столицы „изъ болота, противу чаянія и противу естества вещей", Щербатовъ призналъ пользу реформы, потому что Петръ впервые „учредилъ порядочное правленіе, познанія наукъ и военнаго искусства"; тѣмъ не менѣе въ основаніи новой столицы онъ видѣлъ причину не малыхъ золъ. А именно, — „примѣчены были слѣдующіе злы: 1) Государи наши, бывъ отдалены отъ средоточнаго положенія своей имперіи, знаніе о внутреннихъ обстоятельствахъ оныя потеряли. 2) Хотя градъ (Москва) и оставленъ былъ, по древности его и положенію, сіе учиняло, что всегда стеченіе лучшей и знатнѣйшей части народа въономъ было, а сіи, не видѣвъ, какъ родъ, своихъ государей, любовь и повиновеніе къ нимъ потеряли". 3) Вельможи, жившіе при государяхъ, бывъ отдалены отъ своихъ деревень, позабыли состояніе земской жизни, а потому потеряли и познаніе, что̀ можетъ тягостно быть народу, и оный налогами стали угнетать. 4) Бывъ сами сосредоточены у двора, единый оный отечествомъ своимъ стали почитать, истребя изъ сердца своего всѣ чувства объ общемъ благѣ. 5) Отдаленіе же другихъ странъ чинило, что и вопль народный не доходилъ до сей столицы. 6) Древніе примѣры добродѣтели старобытныхъ нашихъ

великихъ людей, купно съ забвеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они подвизались, изъ памяти вышли, не были уже побужденіемъ и примѣромъ ихъ потомкамъ, и 7) Близость къ вражескимъ границамъ; отъ сего народъ страдалъ, государство истощевалось, престолъ былъ поколебленъ и многіе по возмущеніямъ оный похищали; бунты были частые и достигло до такой великой перемѣны, которымъ отечество наше было обновлено".

Наконецъ, офирскіе государи произвели „великое и счастливое премѣненіе". Другой великій государь мало-по-малу перенесъ резиденцію въ древнюю столицу, а новую обратилъ въ фабричный и портовый городъ. Правда, покинутая столица потеряла прежнюю „пышность сластолюбиваго двора" и въ ней видѣлось много развалинъ,—но „можно сказать, что оный самый доказалъ, что каждая развалина была причиною многимъ великимъ зданіямъ внутри государства, и каждая пустота была причиною населенія, плодородія и блаженства великихъ областей". Этого желалъ кн. Щербатовъ для Москвы и Петербурга.

Еще въ XVII столѣтіи, какъ видно изъ книги Котошихина, возникало въ болѣе просвѣщенныхъ людяхъ критическое отношеніе къ внутренней жизни государства и общества; особенно оно развивается съ эпохи преобразованій, когда самъ Петръ желалъ внушить болѣе широкое пониманіе политическихъ интересовъ, хотя бы на первый разъ по старомодному Пуфендорфу. На русскомъ языкѣ явилось не мало политическихъ сочиненій, какъ напр. та „Боккалиніева книга", которую читалъ Волынскій. При всей пассивности русскаго общества, унаслѣдованной отъ старыхъ временъ, на политическія размышленія необходимо наводила реформа, положившая разницу между старыми и новыми нравами; наводили дворцовые перевороты, насильственность которыхъ не могла не бросаться въ глаза; властолюбіе и произволъ фаворитовъ, чтò также не могло считаться нормальнымъ порядкомъ вещей; внутреннія мѣропріятія, далеко не всегда разумныя и однако затрогивавшія важные интересы экономическіе и сословные; наконецъ либеральныя заявленія Екатерины II въ первые годы царствованія и особливо созваніе Коммиссіи для сочиненія проекта новаго Уложенія поставили вопросъ о внутренней жизни государства даже для тѣхъ, кто раньше былъ къ нему совершенно безучастенъ.

Кн. Щербатовъ въ своемъ „Путешествіи въ Офирскую землю" далъ картину идеальнаго государства и вмѣстѣ критику существующихъ порядковъ. Основой были его теоретическія понятія и, по его мнѣнію, также указанія исторіи. Его религія была де-

истическая: это представленіе, навѣянное масонскими ложами, совсѣмъ не отвѣчало указаніямъ исторіи, но объяснялось состояніемъ церковной жизни того времени: духовенство мало удовлетворяло умственнымъ и нравственнымъ запросамъ, возникавшимъ въ обществѣ. Затѣмъ, Щербатовъ мечталъ о пуританской простотѣ жизни: въ воображаемой странѣ свято соблюдался законъ, цѣнилась служба; самъ императоръ не чуждался простыхъ людей и могъ знать отъ нихъ объ истинномъ положеніи дѣлъ.

Стиль кн. Щербатова не отличался легкостью; языкъ тяжелъ, и его какъ будто не коснулось вліяніе Ломоносова. Кн. Щербатовъ еще употребляетъ старинныя слова: иже, яко, нѣсть, толико и т. п., но въ то же время въ изложеніи, особливо въ разговорахъ, можно встрѣтить отраженія французской изысканности.

Другимъ замѣчательнымъ отголоскомъ тѣхъ мыслей, какія бродили въ обществѣ временъ Екатерины, служитъ „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“, Радищева. Оно остается до сихъ поръ полу-извѣстнымъ для русскихъ читателей. Собственное изданіе, сдѣланное Радищевымъ въ 1790, было тогда же конфисковано и уничтожено, такъ что сохранилось лишь нѣсколько экземпляровъ, и впослѣдствіи оно обращалось въ рукописяхъ. Затѣмъ въ первый разъ оно было перепечатано въ Лондонѣ, 1858 [1]; въ 1872, изданы были, въ двухъ томахъ, „Сочиненія Александра Николаевича Радищева“, но изданіе не выходило въ свѣтъ и въ 1873 г. было уничтожено; въ 1876 было повторено въ Лейпцигѣ изданіе „Путешествія“ по неисправному тексту 1858 года; наконецъ, въ 1888, разрѣшено было г. Суворину воспроизведеніе изданія 1790 года въ числѣ ста экземпляровъ. Итакъ, правильнымъ образомъ лишь немногіе русскіе читатели могли познакомиться съ книгой Радищева; для большинства она можетъ быть знакома лишь по немногимъ выпискамъ, какія сдѣланы были изъ нея въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ объ этомъ писателѣ.

Такимъ образомъ по истеченіи цѣлаго столѣтія со времени перваго появленія книги она все еще остается почти недоступной. Эта странная, и вмѣстѣ печальная и далеко не заслуженная, судьба остается до сихъ поръ результатомъ того безмѣрно суроваго гоненія, которому подверглись книга и ея авторъ въ 1790 г.,

---

[1]) Въ книгѣ: „Князь Щербатовъ и А. Радищевъ“ (стр. 99—336); изданіе неисправное по рукописной копіи.

въ то время, когда готовилось другое подобное гоненіе противъ Новикова.

Оба являются жертвами положенія нашего образованія и общественности въ томъ вѣкѣ. Когда разъ поставленъ былъ вопросъ о необходимости реформы, для русской образованности единственнымъ источникомъ знаній и возбужденій къ собственному труду было европейское просвѣщеніе: въ этомъ сходились и общество, которое все болѣе ревностно стремилось познакомиться съ западной литературой и обычаями, и правительство, которое основывало въ Петербургѣ нѣмецко-русскую академію, учреждало школы для преподаванія западныхъ наукъ, посылало молодыхъ людей учиться въ заграничныхъ университетахъ, заботилось о переводахъ иностранныхъ сочиненій. Правда, вскорѣ стали оказываться неудобства прямого перенесенія западно-европейскаго просвѣщенія въ русскую среду: начинаются запрещенія книгъ; въ процессѣ Волынскаго чтеніе нѣкоторыхъ иностранныхъ сочиненій поставлено въ государственное преступленіе... Можно было ожидать съ самаго начала, что при слабомъ развитіи образованія, патріархальныхъ нравахъ, въ русской средѣ было немыслимо водвореніе свободной критической мысли, выработанной въ Европѣ цѣлыми вѣками высокаго просвѣщенія, и если эта даже тамъ критическая мысль встрѣчалась еще съ преслѣдованіемъ, то какова могла быть судьба ея въ Росіи?... Но наступилъ вѣкъ Екатерины. Исканіе западнаго просвѣщенія стало сильнѣе, чѣмъ когда-либо раньше; сама императрица гордилась, что переноситъ идеи французской философіи не только въ русскую книгу, но и въ русскую жизнь и законъ; панегиристы неустанно воспѣваютъ успѣхи просвѣщенія подъ ея руководствомъ, дарованную отъ нея свободу „мыслить и изъясняться“: такъ писалось еще въ восьмидесятыхъ годахъ... Русскіе писатели могли повѣрить, что имѣютъ эту свободу. Въ числѣ легковѣрныхъ былъ Новиковъ и былъ Радищевъ.

Радищевъ (род. въ 1749; въ 1802 г. кончилъ жизнь самоубійствомъ) принадлежалъ къ числу молодыхъ людей, которые въ 1766 г. посланы были въ лейпцигскій университетъ. Здѣсь онъ слушалъ словесныя науки у Геллерта, философію у Платнера; кромѣ того, быть можетъ, еще больше русскіе студенты читали французскихъ философовъ — Вольтера, Гельвеція, Руссо, Рейналя, Мабли. Рейналь въ особенности увлекалъ его и впослѣдствіи, быть можетъ, внушилъ самую идею путешествія, а форму его Радищевъ заимствовалъ у Стерна. „Путешествіе“ состоитъ изъ 25 главъ, распредѣленныхъ по станціямъ пути отъ

Петербурга до Москвы. Форма неопредѣленная, но открытая для самаго разнообразнаго содержанія, и дѣйствительно, книга Радищева состоитъ изъ отдѣльныхъ статей, гдѣ частію передаются мелкія впечатлѣнія пути, частію излагаются философскія и моральныя размышленія, частію рисуются картины русской жизни, и здѣсь онъ въ особенности останавливается на обличеніи крѣпостного права, вопіющихъ недостатковъ суда и управленія и т. д. Темы, затронутыя Радищевымъ, не всѣ были новы въ тогдашней литературѣ, которая не однажды касалась крѣпостного права и недостатковъ управленія и иногда рѣзко говорила (теоретически) даже о земныхъ владыкахъ: для читателей, знакомыхъ съ французскими книгами, не были новы заимствованія изъ французскихъ философовъ,—но если уже нѣкоторые эпизоды философскихъ размышленій Радищева могли бросаться въ глаза на русскомъ языкѣ, то изображенія фактовъ крѣпостного права и неправедной администраціи не имѣли въ русской литературѣ ничего подобнаго по силѣ и жизненности изложенія.

Мотивы, которые побудили его написать эту книгу, самъ Радищевъ объясняетъ такъ въ посвященіи „Путешествія": „Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя страданіями человѣческими уязвлена стала; обратилъ взоры во внутренность мою, и узрѣлъ, что бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы. Ужели, вѣщалъ я самъ себѣ, природа толико скупа была къ своимъ чадамъ, что отъ блудящаго невинно скрыла истину навѣки? Ужели сія грозная мачиха произвела насъ для того, чтобъ чувствовали мы бѣдствія, а блаженства николи? Разумъ мой вострепеталъ отъ сей мысли, и сердце мое далеко ее отъ себя оттолкнуло. Я человѣку нашелъ утѣшителя, въ немъ самомъ: „отъими завѣсу отъ очей природнаго чувствованія, и блаженъ будеши". Сей гласъ природы раздавался въ сложеніи моемъ. Воспрянулъ я отъ унынія моего, въ которое повергли меня чувствительность и состраданіе; я ощутилъ въ себѣ довольно силъ, чтобы противиться заблужденію и—веселіе неизреченное! я почувствовалъ, что возможно всякому быть соучастникомъ въ благоденствіи себѣ подобныхъ. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь". И эти слова вѣрно передаютъ настроеніе, диктовавшее его книгу.

Радищевъ не ожидалъ, что „Путешествіе" будетъ имѣть для него такія тяжкія послѣдствія: книга издана была „за цензурою" и онъ могъ опасаться развѣ непріятностей по службѣ. Онъ не подумалъ, а можетъ быть, и не зналъ о томъ, что Ека-

терина давно измѣнила свои философскіе взгляды и теперь всего меньше расположена была допускать какое-либо вольномысліе. Просмотрѣвъ книгу, она пришла въ величайшее негодованіе. Храповицкій записываетъ въ своемъ дневникѣ въ іюлѣ 1790: „Примѣчанія на книгу Радищева посланы къ Шешковскому. Сказывать изволили, что онъ (Радищевъ) — бунтовщикъ, хуже Пугачева; показывали мнѣ, что въ концѣ хвалитъ Франклина, какъ начинщика, и себя такимъ же представляетъ". Въ другой разъ императрица замѣчала, что Радищевъ „едва ли не мартинистъ · или чего подобное". Въ примѣчаніяхъ, посланныхъ къ Шешковскому, Екатерина между прочимъ писала: „Намѣреніе сей книги на каждомъ листѣ видно; сочинитель оной наполненъ и зараженъ французскимъ заблужденіемъ, ищетъ всячески и выищиваетъ все возможное къ умаленію почтенія къ власти и властямъ, къ приведенію народа въ негодованіе противу начальника и начальства". Вообще авторъ книги изображается какъ человѣкъ, стремящійся къ низверженію законнаго порядка. „Примѣчанія эти,—говоритъ одинъ изъ историковъ этого дѣла [1],— наполнены придирками и противорѣчіями. Екатерина нападаетъ на Радищева съ тою горячностью, съ какою обыкновенно люди, перешедшіе въ другой лагерь, дѣйствуютъ противъ своихъ прежнихъ товарищей. Положенія, выставляемыя Радищевымъ, оскорбляютъ императрицу, раздражаютъ ее; но самою горячностью опроверженій она какъ бы хочетъ заглушить въ себѣ какое-то неловкое чувство. Она отрицаетъ факты, приводимые Радищевымъ, но правда въ то же время, противъ ея воли, пробивается въ ея примѣчаніяхъ и свидѣтельствуетъ за Радищева". По этимъ примѣчаніямъ составлены были вопросные пункты Шешковскаго. Радищеву приходилось между прочимъ отвѣчать, что „мартинистомъ онъ никогда не былъ, но и мнѣнія ихъ охуждаетъ, что̀ и въ самой книжкѣ значится". Относительно обвиненій, что своей книгой Радищевъ хотѣлъ сдѣлать возмущеніе, онъ отвѣчалъ, что народъ нашъ книгъ не читаетъ и что книга написана слогомъ для народа невнятнымъ... Оказавшись въ рукахъ Шешковскаго, которому онъ былъ „порученъ", Радищевъ былъ очень испуганъ, что̀ легко объясняется характеромъ дѣятельности этого слѣдователя; испугъ отразился на показаніяхъ Радищева, который отрекался отъ своей книги какъ безумной и пагубной, но все-таки сохранилъ настолько мужества, что не отрекался отъ основныхъ своихъ мнѣній, какъ, напр., въ крестьянскомъ вопросѣ.

[1]) В. Е. Якушкинъ въ „Русской Старинѣ", 1882, сентябрь.

Дѣло Радищева разсматривалось въ палатѣ уголовнаго суда и палата приговорила его къ смертной казни [1]. Въ окончательномъ рѣшеніи смертная казнь была замѣнена ссылкой въ восточную Сибирь и его велѣно было везти въ кандалахъ. По поводу этой ссылки кто-то (нѣкоторые говорили, Державинъ) написалъ на Радищева эпиграмму.

Когда явилась возможность говорить о Радищевѣ въ печати, онъ подвергся новой расправѣ. Большинство критиковъ, находя въ его книгѣ нѣкоторыя подробности правдивыми, чувства — искренними, вообще строго осуждали его за легкомысліе, необдуманную дерзость, за противорѣчія въ его мысляхъ и т. п., наконецъ за его малодушіе на судѣ; иные полагали даже, что его надо считать сумасшедшимъ [2]. Только немногіе сочли нужнымъ сопоставить обвиненія съ самимъ фактомъ, вспомнить характеръ времени, представить себѣ нравственное состояніе мечтателя, поставленнаго въ условія этого времени, наконецъ сравнить самое „преступленіе" и постигшую его кару, — картина совершенно измѣнялась. Самыя противорѣчія Радищева не были только его личной чертой: это былъ характеръ всей эпохи, когда, стремясь къ европейскому просвѣщенію, не умѣли примирить свободы съ грубыми инстинктами старины, просвѣщенія, съ предразсудкомъ, и когда даже въ средѣ людей болѣе образованныхъ идеи новаго просвѣщенія не могли быть усвоены прочно въ ихъ быстромъ наплывѣ, такъ какъ къ нимъ еще не могла приготовить школа и ихъ нельзя было провѣрить ни въ живомъ обмѣнѣ мыслей, ни въ общественной жизни. Это была тяжелая подготовительная пора: Новиковъ и Радищевъ были жертвами ея противорѣчій.

Литература о масонствѣ, и рядомъ съ тѣмъ о Новиковѣ, довольно значительна, но до сихъ поръ не представляетъ ни цѣльной біографіи Новикова, ни цѣльной исторіи масонства.

— Москвитянинъ, 1842, № 3, нѣсколько документовъ о дѣлѣ Новикова.

---

[1] Г. Якушкинъ приводитъ справку о томъ, какія статьи Уложенія палата указывала какъ основаніе своего приговора. Въ одной статьѣ говорится о такомъ человѣкѣ, „кто какимъ умышленіемъ учнетъ мыслити на государское здоровье злое дѣло"; въ другой, о такомъ, „кто при державѣ царскаго величества, хотя московскимъ государствомъ завладѣти и государемъ быти, и для того своего злова умышленія начнетъ рать собирати"; въ третьей статьѣ говорится объ упущеніяхъ, „когда крѣпости или шанцы штурмованы будутъ" и т. д. Сенатъ призналъ всѣ статьи, приведенныя въ приговорѣ палаты, подходящими и прибавилъ еще одну статью изъ морского устава.

[2] Ср. Незеленова, стр. 338.

— Н. Рябовъ, о Гамалѣѣ и Новиковѣ, въ Моск. Вѣдом. 1859, № 18.

— Записки нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни и службы д. т. сов. И. В. Лопухина, сочиненныя имъ самимъ. М. 1860, изъ „Чтеній" моск. Общ.

— С. Ешевскій, нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній на статью „Новиковъ и Шварцъ", въ Р. Вѣстникѣ, 1857, № 21; вошло въ „Сочиненія". М. 1870, т. III, стр. 403—441 (здѣсь есть уже вѣрныя замѣчанія о значеніи масонскаго мистицизма для русскаго общества XVIII вѣка);—Московскіе масоны восьмидесятыхъ годовъ прошедшаго столѣтія (1780—89), въ Р. Вѣстникѣ, 1864, № 8; 1865, № 3; въ „Сочиненіяхъ", III, стр. 443—568.

— Лѣтописи р. литературы и древности, Тихонравова: Вопросные пункты, предложенные Н. И. Новикову митр. Платономъ, т. I, 1859, кн. I, отд. III, стр. 23—28; отдѣльные матеріалы въ т. II, IV;—Новыя свѣдѣнія о Н. И. Новиковѣ и членахъ Компаніи Типографической, сообщ. Д. И. Иловайскимъ, т. V, 1863, отд. II, стр. 3—96.

— Письма Н. М. Карамзина къ И. И. Дмитріеву. Спб. 1866; нѣсколько документовъ, относящихся къ дѣлу Новикова.

— М. Лонгиновъ, Новиковъ и Шварцъ, въ Р. Вѣстникѣ 1857, № 19;—Новиковъ и московскіе мартинисты. М. 1867. Взглядъ на масонство, какъ на дѣйствительно древнюю мудрость; но въ книгѣ много важныхъ фактическихъ свѣдѣній о дѣлѣ Новикова. Указана и предшествующая литература о Новиковѣ.

— По поводу книги Лонгинова, мои статьи въ В. Европы, 1867, т. II—IV;—Русское масонство до Новикова, тамъ же, 1868, іюнь, іюль;—Матеріалы для исторіи масонскихъ ложъ, тамъ же, 1872, январь, февраль, іюль, ноябрь;—Хронологическій Указатель русскихъ ложъ отъ перваго введенія масонства до запрещенія его. 1731 –1822. Спб. 1873;—Homunculus. Эпизодъ изъ алхиміи и изъ исторіи русской литературы, въ „Починѣ", сборникѣ моск. Общ. люб. росс. слов. на 1896 годъ, стр. 51—66.

— П. Пекарскій, Дополненія къ исторіи масонства въ Россіи, Спб. 1869, изъ Сборника Р. Отд. Акад., т. VII.

— Бумаги, относящіяся до Н. И. Новикова, въ „Чтеніяхъ" моск. Общ. ист. и древн. 1867, кн. IV, отд. V, стр. 40—62.

— А. Н. Поповъ издалъ новые документы по дѣлу Новикова въ „Сборникѣ" Р. Истор. Общества, т. II. Спб. 1868.

— Незеленовъ, Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ 1769—1785 гг. Спб. 1875; глава вторая говоритъ о масонствѣ;—Литер. направленіе въ Екатерининскую эпоху. Спб. 1889.

— В. Ермиловъ, Н. И. Новиковъ (по поводу 150-лѣтія со дня рожденія Н. И. Н.), въ „Артистѣ", 1894, февраль, стр. 42—55. (Статья осталась неконченной за прекращеніемъ журнала).

— Антикварная книжная торговля Шибанова: „Новиковскія изданія и книги, напечатанныя въ типографіи Н. И. Новикова". М. 1894.

— В. Якушкинъ, Н. И. Новиковъ, въ „Починѣ", сборникѣ моск. Общ. люб. росс. слов. на 1895, стр. 151—181, краткій, но обстоятельный очеркъ.

— В. Н. Сторожевъ, Памяти Н. И. Новикова, въ Сборникѣ пра-

вовѣдѣнія и обществ. знаній (Труды моск. Юридич. Общ.), т. V. Спб. 1895, стр. 88—103.

— Н. Тихонравовъ, Сочиненія, т. III, ч. 1-я. М. 1898, стр. 130—162, прим. стр. 20—23. Эта біографія явилась здѣсь впервые изъ готовившейся къ юбилею моск. Университета 1855 г., но не вышедшей въ свѣтъ „Біографической лѣтописи питомцевъ моск. Университета“ (стр. 154—192);—тамъ же, III, ч. 2-я. М. 1898, стр. 49—84, разныя замѣтки о Новиковѣ. Въ связи съ этимъ стояли работы Тихонравова о первыхъ годахъ дѣятельности Карамзина.

Біографія Ивана Егор. (по другимъ, Григ., Johann Georg Shwarz, ум. 1784), составленная впервые Тихонравовымъ въ Словарѣ проф. моск. Университета. М. 1855, повторена въ Сочиненіяхъ, т. III, ч. 1-я. стр. 60—81, прим. стр. 7—9;—Автобіографія Шварца, на которой основана эта статья, напечатана была Тихонравовымъ въ Лѣтописяхъ р. литер. и древн., М. 1863, т. V, отд. II, стр. 96—110;—въ статьѣ о моск. университетскомъ пансіонѣ. Соч. III, ч. 2-я, стр. 93—97, и др.

— Отрывки изъ лекцій Шварца „о трехъ познаніяхъ: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ“ напечатаны были въ журналѣ М. Невзорова: „Другъ юношества и всякихъ лѣтъ“ (1813, январь), затѣмъ въ упомянутой біографіи Тихонравова; конспектъ лекцій по рукописи Румянц. музея (№ 2674) изложенъ у Незеленова, Литер. направленія, стр. 161—170.

— Лабзинъ, Воспоминанія, въ „Сіонскомъ Вѣстникѣ“, 1818. февраль.

Масонство упорно боролось съ вольнодумствомъ, которое тогда отождествлялось съ волтеріанствомъ. Вопросъ о Вольтерѣ въ нашей литературѣ XVIII вѣка уже останавливалъ вниманіе историковъ:

— Ф. Терновскій, Русское вольнодумство при Екатеринѣ II, въ Трудахъ Кіев. дух. академіи, 1868, № 3, 7.

— Незеленовъ, „Новиковъ“, 1875; „Литер. направленія“, 1889.

— Ив. Наумовъ, Вольтеріанство русскихъ писателей Екатерининскаго времени. Спб. 1876 (замѣтки на книгу Незеленова о Новиковѣ).

— Д. Языковъ, Вольтеръ въ русской литературѣ. Историко-библіографическій этюдъ. Спб. 1879, изъ Др. и Новой Россіи, 1878, № 9.

— Энциклопед. Словарь, Брокгауза и Ефрона, s. v.

Подробный обзоръ нашей исторіографіи съ начала прошлаго вѣка читатель найдетъ въ трудѣ г. Милюкова: „Главныя теченія русской исторической мысли XVIII и XIX столѣтій“. М. 1897; 2-е изд. 1898. Авторъ прекрасно опредѣляетъ постепенное развитіе нашей исторіографіи и особенности ея различныхъ дѣятелей, объясняя, какъ складывались ихъ критическіе пріемы и ихъ общіе взгляды на характеръ русской исторіи. Въ нѣкоторыхъ подробностяхъ можно не согласиться съ авторомъ; укажемъ, напр., отзывъ о Миллерѣ, который кажется ему человѣкомъ „дюжиннымъ“: по ученой школѣ и таланту Миллеръ не можетъ равняться съ Шлёцеромъ, но его ученая дѣя-

тельность была очень связана, а въ собираніи историческихъ памятниковъ человѣкъ дюжинный не могъ бы сдѣлать столько, сколько было сдѣлано Миллеромъ. Въ книгѣ г. Милюкова въ первый разъ должнымъ образомъ оцѣнена и дѣятельность кн. Щербатова, между прочимъ въ сопоставленіи съ Карамзинымъ.

Князь Михайло Мих. Щербатовъ (1733—1790) принадлежалъ къ старинному роду, который велъ свое происхожденіе отъ Владиміра Святого, черезъ внука его, Святослава Черниговскаго. Съ конца шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, когда императрица Екатерина поручила князю М. М. Щербатову разборъ архива Петра Великаго, онъ былъ ревностно преданъ различнымъ трудамъ по русской исторіи и, получивъ доступъ къ государственнымъ архивамъ, во-первыхъ, издалъ цѣлый рядъ лѣтописей и иныхъ историческихъ памятниковъ,—какъ „Царственная Книга“ 1769, „Царственный Лѣтописецъ“ 1772, „Журналъ или Поденная Записка Петра I“ 1770—1772, „Краткая повѣсть о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ“ 1774, Записныя тетради Петра I 1704 — 1706 годовъ, 1774, — и, во вторыхъ, издалъ пятнадцать книгъ (или семь томовъ) „Исторіи россійской, отъ древнѣйшихъ временъ до избранія царя Михаила Ѳеодоровича, дома Романовыхъ“,—по поводу которой возникла у него полемика съ другимъ извѣстнымъ историкомъ того времени, генераломъ Болтинымъ, очень желчная съ обѣихъ сторонъ, хотя предметъ спора былъ вообще весьма отдаленный отъ новѣйшихъ временъ, какъ, напримѣръ, скиѳы и сарматы, и т. п. Въ качествѣ депутата отъ ярославскаго дворянства въ Екатерининской Коммиссіи, онъ написалъ нѣсколько статей по разнымъ предметамъ законодательства. Для своего времени замѣчательна „Статистика въ разсужденіи Россіи“, впрочемъ неоконченная. Наконецъ, онъ хотѣлъ быть публицистомъ,—но эти труды его видимо не могли явиться въ свое время, и даже долго послѣ лежали подъ спудомъ. Въ концѣ сороковыхъ годовъ М. П. Заблоцкій-Десятовскій переписалъ рукописныя сочиненія князя Щербатова изъ бумагъ, принадлежавшихъ одной изъ его внукъ, княжнѣ Е. Д. Щербатовой; вскорѣ, въ 1858—60 годахъ, многія изъ нихъ были изданы въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, въ „Библіографическихъ Запискахъ“; въ 1858 напечатано было въ Лондонѣ одно изъ любопытнѣйшихъ сочиненій кн. Щербатова „О поврежденіи нравовъ въ Россіи“. Затѣмъ, подлинныя рукописи кн. Щербатова были пріобрѣтены редакціей „Русской Старины“, и нѣкоторыя изъ нихъ изданы были въ этомъ журналѣ въ 1870—72 годахъ, въ томъ числѣ была напечатана и статья „О поврежденіи нравовъ“. Въ послѣднее время предпринято полное изданіе его сочиненій его потомкомъ, кн. Б. С. Щербатовымъ.

Кн. Щербатовъ, какъ историкъ и человѣкъ общественный, былъ весьма типическимъ представителемъ своего вѣка. Какъ времена Екатерины II были на переходѣ отъ первыхъ вліяній западной культуры къ новѣйшему періоду, такъ дѣятели, подобные князю Щербатову, являются представителями той переходной поры въ исторіи русскаго общества, когда Петровская реформа стала совершившимся

фактомъ и готовилось болѣе сознательное отношеніе общества къ тѣмъ національнымъ пріобрѣтеніямъ, какія реформа создавала и которыя надо было сблизить съ національнымъ преданіемъ. Князь Щербатовъ уже не похожъ на дѣятелей Петровской эпохи: въ немъ не было увлеченія новымъ образованіемъ, новыми торжествами національной силы; у него возникаетъ критическій взглядъ, и онъ сближается съ людьми Александровскаго времени. Но, съ другой стороны, у него нѣтъ опредѣленной самостоятельности: русскій писатель по неволѣ оставался ученикомъ западной литературы, отъ которой заимствовалъ свои общественныя и нравственныя понятія, и больше по инстинкту искалъ солидарности съ преданіемъ, чтó князь Щербатовъ надѣялся найти въ историческихъ изученіяхъ. Біографія его, вѣроятно, объяснитъ, какъ сложились эти стремленія къ изученію старины, на которое онъ положилъ почти всю свою жизнь. Онъ самъ былъ потомокъ древняго княжескаго рода; не дальше какъ его дѣдъ, князь Юрій Өедоровичъ Щербатовъ, былъ человѣкомъ стараго вѣка, былъ „жильцомъ", потомъ стряпчимъ и стольникомъ при царѣ Өедорѣ Алексѣевичѣ, а при Петрѣ уже сражался и былъ раненъ подъ Нарвою, переименованъ былъ въ бригадиры, но кончилъ жизнь опять по старинному, потому что пошелъ въ монахи, какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, постриглась и его жена,—такимъ образомъ, для будущаго историка въ собственной семьѣ было преданіе благочестивой старины. Но этого было уже мало для человѣка второй половины столѣтія, когда назрѣвали новые вопросы, внушенные школою западной литературы и собственнымъ движеніемъ русской жизни. Россія и внѣшнимъ образомъ вдвинулась въ среду европейскихъ державъ; новая образованность приносила знанія, какихъ старая жизнь не вѣдала,—и о самой русской исторіи нельзя было судить безъ указаній „философіи". объяснявшей политическую жизнь народовъ, причины ихъ процвѣтанія или упадка. Такимъ образомъ кн. Щербатовъ былъ человѣкъ двойственный; консерваторъ, любитель простой благочестивой старины, и—человѣкъ французскаго образованія и въ извѣстномъ отношеніи свободомыслящій человѣкъ.

Историческій трудъ кн. Щербатова былъ заслоненъ „Исторіею государства Россійскаго": на него стали смотрѣть какъ на безвкусную компиляцію изъ лѣтописей и актовъ, которой недоставало ни критики, ни изящнаго изложенія. Послѣднимъ кн. Щербатовъ не отличался; но за нимъ признана теперь важная заслуга въ опредѣленіи источниковъ русской исторіи и въ комбинаціи самыхъ фактовъ. Новѣйшій историкъ замѣчаетъ, что онъ именно „впервые ввелъ въ ученый оборотъ всѣ главнѣйшіе источники для внѣшней исторіи древняго періода". По изслѣдованіямъ г. Милюкова, трудъ Карамзина въ очень значительной степени опирается именно на Щербатовѣ.

— „О поврежденіи нравовъ въ Россіи" издано въ первый разъ въ книгѣ: „Князь Щербатовъ и А. Радищевъ". Лондонъ, 1858 (стр. 1—96). Разборъ статьи Щербатова, Ешевскаго, въ „Атенеѣ", 1858, № 3. Болѣе исправное изданіе трактата по подлинной рукописи, въ „Русской Старинѣ", 1870—71, т. II—III.

— Сатира и „Оправданіе моихъ мыслей" кн. Щербатова, въ „Библіографическихъ Запискахъ", 1859.

— Разныя сочиненія кн. М. М. Щербатова, съ предисловіемъ Бодянскаго, въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1860.

— Бумаги кн. М. М. Щербатова, въ „Русской Старинѣ“, 1870.

— „Письмо къ вельможамъ правителямъ государства“, по современной копіи, исправленной Щербатовымъ, въ „Русской Старинѣ“, 1872, т. V.

— „Разсмотрѣніе о порокахъ и самовластіи Петра Великаго“ въ „Библіографическихъ Запискахъ“, 1869.

— Объ участіи Щербатова въ Коммиссіи объ Уложеніи, см. въ изданныхъ бумагахъ Коммиссіи.

— О значеніи его историческихъ трудовъ, у Милюкова: „Главныя теченія“ и проч., 1-е изд., стр. 27—53, 82—83, 87—89, 105—111; отношеніе къ Щербатову Карамзина, стр. 123—127, 139—143.

— Сочиненія князя М. М. Щербатова. Томъ первый. Политическія сочиненія. Подъ ред. И. П. Хрущова. Изд. кн. П. С. Щербабатова. Съ портретомъ. Спб. 1896. Здѣсь — „Путешествіе въ Офирскую землю“. Объ этомъ изданіи въ В. Европы, 1896, ноябрь.—Томъ второй. Статьи историко-политическія и философскія. Спб. 1898: здѣсь частію изданныя, частію впервые являющіяся сочиненія, между прочимъ на ту же тему о значеніи реформы: „Примѣрное времяисчислительное положеніе, во сколько бы лѣтъ, при благополучнѣйшихъ обстоятельствахъ, могла Россія сама собою, безъ самовластія Петра Великаго дойти до того состоянія, въ какомъ она нынѣ есть въ разсужденіи просвѣщенія и славы“;—„Разсмотрѣніе о порокахъ и самовластіи Петра Великаго“;—„О поврежденіи нравовъ въ Россіи“;—затѣмъ сочиненія философско-нравоучительныя: о смертномъ часѣ, о безсмертіи души, о жизни человѣческой;—далѣе: „О способахъ преподаванія разныя науки“, и пр.

Литература о Радищевѣ начинается извѣстной статьей Пушкина; см. Сочиненія, изд. Литер. Фонда, т. V.

— Статья Павла Радищева, въ „Русскомъ Вѣстн.“ 1858, № 23.

— Документы о дѣлѣ Радищева, въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общ. исторіи и древностей, 1865, кн. III, и также въ „Архивѣ кн. Воронцова“, т. V и XII, и въ „Библіографическихъ Запискахъ“, 1859.

— „Крыловъ и Радищевъ“,—моя статья въ В. Европы, 1868, май: предположенія объ участіи Радищева въ „Почтѣ духовъ“. Объ этомъ см. у Л. Майкова, Историко-литературные очерки. Спб. 1895, стр. 36.

— „Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII вѣкѣ. Къ біографіи А. Н. Радищева“, В. Якушкина, въ „Русской Старинѣ“ 1882, сентябрь.

— „А. Н. Радищевъ“, М. Сухомлинова, въ „Сборникѣ“ русскаго отдѣленія Академіи, т. XXXIII. Спб. 1883, и въ „Изслѣдованіяхъ и статьяхъ по русской литературѣ и просвѣщенію. Спб. 1889, т. I.

— Радищевъ и Пушкинъ, В. Якушкина, въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества ист. и древн., 1886, кн. 2, стр. 1—58. Объ этомъ въ В. Европы, 1887, февраль, Литер. Обозрѣніе.

— Алексѣй Веселовскій, „Западное вліяніе“ и пр., 2-е изд.

М. 1896, стр. 118—126 и др., о литературныхъ вліяніяхъ, при которыхъ совершалось развитіе его взглядовъ.

При Радищевѣ надо вспомнить его товарища по лейпцигскому университету, Петра Ив. Челищева (1745—1811), сроднаго ему по направленію: когда остановлена была книга Радищева, императрица заподозрила и Челищева въ участіи. Ему принадлежитъ „Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 году", изданное Л. Майковымъ. Спб. 1886.

Въ довершеніе литературной исторіи восемнадцатаго вѣка должно упомянуть еще особый разрядъ сочиненій, занимающихъ двойственное положеніе—литературнаго произведенія или только историческаго матеріала. Это—довольно многочисленныя записки (мемуары). Почти безъ исключенія, даже всѣ, онѣ писались не для печати, въ этомъ смыслѣ не были фактомъ литературнымъ, такъ какъ не вступали въ свое время на литературную арену, не участвовали въ движеніи, въ обмѣнѣ общественной мысли, не оказывали дѣйствія. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако, для позднѣйшаго изученія онѣ представляютъ нерѣдко величайшій интересъ по объясненію событій, изображенію нравовъ; отличаются иногда не малыми литературными достоинствими,—какъ вещи, писанныя про себя, и только для потомства, онѣ съ одной стороны бываютъ свободны отъ условностей господствующаго стиля, бываютъ естественнѣе и проще, и съ другой, этою простотой и откровенностью изложенія даютъ чувствовать, чѣмъ могла бы быть литература даже того времени, если бы не была связана своимъ безправнымъ положеніемъ. Для историка записки составляютъ драгоцѣнный источникъ.

Записки XVIII-го вѣка давно начали интересовать пытливыхъ историковъ. Памятники Петровскаго времени печаталъ еще Новиковъ; впослѣдствіи рядъ „Записокъ русскихъ людей" издалъ Сахаровъ (записки Медвѣдева, Крекшина, Желябужскаго); раньше послѣдняго мемуары XVIII вѣка издавалъ Д. И. Языковъ, и др.

Князь Яковъ Петр. Шаховской (1705—1772): „Записки кн. Я. П. Ш., писанныя имъ самимъ". 2 части. М. 1810; 2-е изд. Спб. 1821. Шаховской занималъ различныя высокія должности при Аннѣ, Елизаветѣ и Екатеринѣ, и записки, писанныя дѣловымъ слогомъ, любопытны какъ отраженіе эпохи временщиковъ. Ср. „Жизнь Я. П. Ш.". (Н. Радищева). М. 1810; Пекарскій, въ „Современникѣ" 1855.

Василій Александр. Нащокинъ (1707—1761) служилъ въ военной службѣ подъ начальствомъ Миниха: записки любопытны для временъ имп. Елизаветы; къ наукамъ былъ нѣсколько равнодушенъ: „Записки", доведенныя до 1759 г., изданы Д. И. Языковымъ. Спб. 1842.

Княгиня Наталья Борис. Долгорукова (1714—1771), дочь Б. П. Шереметева, замужемъ за кн. Ив. Алекс. Долгоруковымъ, любимцемъ Петра II. Черезъ три дня послѣ свадьбы, въ апрѣлѣ 1730, Долгоруковыхъ постигла ссылка въ Касимовскія деревни, потомъ въ Березовъ. Въ 1738 кн. Долгоруковъ былъ опять схваченъ и, увезенный въ Россію, казненъ въ Новгородѣ 1739. Ей разрѣшено было вернуться, и она отдалась воспитанію двухъ сыновей. Въ 1758, она постриглась въ Кіевѣ, и въ 1767 написала свои записки, доведенныя до пріѣзда въ Березовъ. Это—одинъ изъ любопытнѣйшихъ памятниковъ мемуарной лите-

ратуры прошлаго вѣка, по страшной судьбѣ семейства и по задушевному, трогательному разсказу. Записки Долгоруковой давно, съ 1810, появились въ литературѣ и служили темой для элегической поэзіи: ей посвящена „дума“ Рылѣева и поэма И. И. Козлова, 1828. Полное изданіе записокъ въ „Р. Архивѣ“, 1867; изданіе Суворина, съ біографіей С. Н. Шубинскаго. Объ ея біографіи: Д. А. Корсаковъ, „Изъ жизни русскихъ дѣятелей XVIII вѣка“. Казань, 1891.

Мих. Вас. Даниловъ (1722—1790), изъ небогатаго дворянства, служившій въ военной службѣ, написалъ любопытныя записки, рисующія бытъ и нравы средняго дворянства: „Записки артиллеріи маіора М. В. Данилова, написанныя въ 1771 г.“, изданы были П. Строевымъ. М. 1842, повторены въ Р. Архивѣ, 1888.

Андрей Тим. Болотовъ (1738—1833) составлялъ свои обширныя и многорѣчивыя записки въ 1789—1816 годахъ. Отрывки ихъ печатались въ Отеч. Запискахъ сороковыхъ годовъ; изданы сполна М. И. Семевскимъ: „Жизнь и приключенія А. Болотова, описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ“. Спб. 1870—73, 4 тома (доведены до 1795 г.). Кромѣ того, онъ составилъ: „Памятникъ протекшихъ временъ или краткія историческія записки о бывшихъ происшествіяхъ и о носившихся въ народѣ слухахъ“. М. 1875. Обстоятельное обозрѣніе его дѣятельности, Венгерова, въ Критико-біогр. Словарѣ, т. IV.

Семенъ Андр. Порошинъ (1741—1769), изъ московскихъ дворянъ, сынъ генералъ-поручика, учился въ первомъ кадетскомъ корпусѣ, состоялъ одно время флигель-адъютантомъ при Петрѣ III; онъ занимался литературой, принималъ участіе въ Ежемѣс. Сочиненіяхъ, Миллера, и др.; назначенный кавалеромъ къ вел. кн. Павлу Петровичу, былъ нѣсколько лѣтъ его учителемъ и воспитателемъ, и оставилъ записки объ этомъ, обнимающія 1764—65 годы: „Семена Порошина записки, служащія къ исторіи Его Имп. Выс., благовѣрнаго Государя Цесаревича и вел. кн. Павла Петровича, наслѣдника престолу россійскаго“. Спб. 1844, изданы были проф. В. Порошинымъ. Дополненное изданіе, по другимъ рукописямъ, въ Р. Старинѣ, 1881. Письма Порошина въ Р. Архивѣ, 1867. О Порошинѣ, ст. М. Семевскаго въ Р. Вѣстникѣ, 1866, и въ разборѣ книги Д. Ѳ. Кобеко о Павлѣ Петровичѣ, В. Иконникова, въ 27-мъ Отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1885.

Выше говорено о запискахъ Державина, помѣщенныхъ въ изданіи Грота.

Княгиня Екатерина Ром. Дашкова, рожденная Воронцова (1743—1810) также оставила записки, изданныя на англійскомъ языкѣ: Memoirs. Edited from the originals, by Mrs W. Bradford. London 1840, 2 части; нѣмецкій переводъ, съ введеніемъ Герцена. Hamburg, 1857, 2 части; французскій, traduit de l'anglais par Alfr. des Essarts, въ Bibliothèque russe et polonaise. Paris 1858—59, т. 9-й; русскій изданъ Герценомъ, Лондонъ 1859; новый переводъ въ Р. Старинѣ, 1874.— О кн. Дашковой, Д. Иловайскій, въ Отеч. Зап. 1859; А. Аѳанасьевъ, тамъ же, 1860; въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества ист. и древн. 1867; Сухомлиновъ, Ист. росс. Академіи, I, стр. 20—58; М. Шугуровъ, въ Р. Архивѣ, 1880.

Александръ Вас. Храповицкій (1749—1801) былъ личнымъ секретаремъ Екатерины и оставилъ дневникъ, доставляющій истори-

камъ не мало важныхъ свѣдѣній. Дневникъ издавался въ первый разъ П. Свиньинымъ въ Отеч. Зап. 1821—28, потомъ Геннади въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества исторіи и древностей, наконецъ, Н. П. Барсуковымъ болѣе полно и исправно: „Дневникъ А. В. Храповицкаго, 1782—1793. По подлинной его рукописи, съ біографич. статьею и объяснительнымъ указателемъ“. Спб. 1874.

Гавр. Ив. Добрынинъ (род. 1752), сынъ священника, былъ келейникомъ и секретаремъ при нѣсколькихъ архіереяхъ сѣвской епархіи, потомъ служилъ въ Бѣлоруссіи. Его оригинальныя и живыя записки даютъ черты быта духовенства прошлаго вѣка: „Истинное повѣствованіе или жизнь Г. И. Добрынина, имъ самимъ написанная, 1752—1827 гг.“, въ Р. Старинѣ 1871, т. III—IV.

Мих. Гарновскій (или Горновскій): „Записки М. Г. Дворъ импер. Екатерины II въ 1783—1788 гг.“, въ Р. Старинѣ, 1876, т. XV—XVI.

Адріанъ Моис. Грибовскій (1766—1833) служилъ въ Коммиссіи объ Уложеніи и съ 1795 былъ статсъ-секретаремъ при Екатеринѣ II. Его записки изданы были первоначально въ „Москвитянинѣ“ 1847, № 2; второе изданіе: „Записки объ импер. Екатеринѣ Великой, полковника, состоявшаго при ея особѣ статсъ-секретаремъ, А. М. Гр.“ М. 1864. Новое изданіе: „Воспоминанія и дневники“, съ подлинной рукописи, въ Р. Архивѣ, 1899.

Григорій Степ. Винскій (род. 1752), родомъ изъ Малороссіи; учился въ Кіевской академіи; разгульная жизнь въ Петербургѣ вовлекла его въ неблаговидную исторію, вслѣдствіе которой (по его словамъ, безвинно) онъ былъ лишенъ дворянства и сосланъ на житье въ Оренбургъ; при Александрѣ онъ былъ прощенъ. Его записки, писанныя оригинально и не безъ дарованія, любопытны чертами малорусскаго быта прошлаго вѣка и отголосками общественнаго мнѣнія относительно мѣропріятій вѣка Екатерины. Записки изданы въ Р. Архивѣ, 1877; объ нихъ въ В. Европы, 1877, іюль.

Укажемъ, наконецъ, нѣсколько изслѣдованій, которыя въ послѣднее время посвящены были объясненію теоретическихъ понятій нашего стараго псевдо-классицизма:

— А. Круглый, О теоріи поэзіи въ русской литературѣ XVIII столѣтія. (Изъ отчета училища Св. Анны. 1892/93). Спб. 1893.

— П. Морозовъ, Изъ исторіи русской литературной критики, въ журналѣ „Образованіе“, 1897, январь, февраль. Авторъ заканчиваетъ Мерзляковымъ.

— Ив. Ивановъ, Исторія русской критики. Части первая и вторая. Спб. 1898, главы XXI — XXXIII посвящены XVIII-му вѣку до Карамзина.



ГЛАВА XXXIX.

КАРАМЗИНЪ. ЖУКОВСКІЙ.

**Тѣсная связь новаго вѣка съ XVIII-мъ столѣтіемъ.
Западные литературные источники.
Карамзинъ.
Жуковскій.**

Великій историческій переворотъ положилъ грань между XVIII-мъ и XIX-мъ вѣками. Новый вѣкъ не могъ забыть эпохи революціи, которая была началомъ этого переворота; но все предшествовавшее какъ будто кануло въ вѣчность, и въ самомъ дѣлѣ многое исчезло навсегда. Политическій переворотъ отразился и въ литературѣ: многое изъ литературныхъ идей XVIII-го вѣка окончательно отошло въ исторію, а новые начатки, еще въ немъ имѣвшіе свой корень, развились въ своеобразное движеніе, ни характера, ни обширности котораго тотъ вѣкъ былъ бы не въ состояніи предвидѣть.

Подобнымъ образомъ литературный восемнадцатый вѣкъ отживалъ и у насъ; но преданія его падали не вдругъ и рядомъ съ ними, отчасти изъ нихъ, зарождалась новая жизнь, не похожая на прежнюю и которой предстояло впереди богатое развитіе.

Успѣхи нашей литературы съ начала нынѣшняго вѣка совершенно заслонили отъ насъ XVIII-е столѣтіе. Первые писатели XIX-го вѣка явились съ такими дарованіями, какихъ за исключеніемъ Ломоносова и Державина (у каждаго въ его области) совсѣмъ не знало XVIII-е столѣтіе: Карамзинъ, который началомъ своей дѣятельности еще принадлежитъ этому вѣку, затѣмъ Жуковскій, Батюшковъ, наконецъ Пушкинъ съ его плеядой очень быстро сдѣлали восемнадцатый вѣкъ давнопрошедшимъ,—его помнили, еще восхищались имъ люди стараго вѣка, которые даже не понимали новой литературы, но, наоборотъ, новыя поколѣнія

были къ нему холодны и, отдавая дань почтенія его главнѣйшимъ писателямъ, находили въ остальныхъ только предметъ для шутокъ. Новая поэзія, или задушевная, или изящная, новый языкъ, становившійся впервые безупречнымъ, живымъ и блестящимъ орудіемъ этой поэзіи, отодвигали все старое на степень перваго неумѣлаго опыта, школьно-реторическаго по содержанію, уродливаго по формѣ и выраженію. Въ тридцатыхъ годахъ стали думать, что русская литература и начинается только съ Пушкина, что даже такіе предшественники его, какъ Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, имѣли значеніе только какъ его подготовители: восемнадцатый вѣкъ становился окончательно архаическимъ—такимъ, который служитъ преддверіемъ къ исторіи, но съ котораго еще не начинается настоящая исторія.

Такое представленіе было не только у Бѣлинскаго; оно возникало и раньше въ эпоху первыхъ восхищеній поэзіей Жуковскаго и особливо Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, поколѣніе, которое упивалось „плѣнительною сладостью“ стиховъ Жуковскаго и увидѣло откровеніе въ поэзіи Пушкина, не могло уже выносить твореній нашихъ Вольтеровъ, Расиновъ и даже Гомеровъ, которымъ сплетались похвалы еще такъ недавно, а въ кружкѣ Шишкова и Державина даже теперь. Оно только надъ ними подшучивало.

Значило ли это, однако, что историческая связь порвалась?—Нѣтъ; но произошло то явленіе, которое такъ часто обнаруживается при смѣнѣ поколѣній. Овладѣвая результатами предшествующей работы, новое поколѣніе часто не видитъ, какимъ великимъ трудомъ было пріобрѣтено то, что̀ оно получаетъ готовымъ: это готовое кажется столь естественнымъ, какъ будто иначе оно не могло быть; но въ исторической перспективѣ, которая обыкновенно открывается гораздо позднѣе, становится ясно, что новое поколѣніе только продолжало дѣло стараго и могло идти дальше потому, что воспользовалось его трудами. Въ самомъ дѣлѣ то, что̀ казалось столь естественнымъ—живая поэзія, говорившая изящнымъ русскимъ языкомъ, который легко давался теперь талантливому писателю,—было добыто только медленнымъ трудомъ предшествующихъ поколѣній; и разладъ двухъ историческихъ эпохъ лишній разъ указываетъ, насколько въ дѣйствительности былъ труденъ тотъ процессъ созданія литературы въ новомъ направленіи, какой выпалъ на долю XVIII-го вѣка. Ему пришлось выполнить громадную работу этого процесса, начавъ съ Симеона Полоцкаго и исходя изъ грубой, невѣжественной непосредственности XVII-го вѣка. Ему нужно было совершить всю



ГЛАВА XXXIX.

КАРАМЗИНЪ. ЖУКОВСКІЙ.

Тѣсная связь новаго вѣка съ XVIII-мъ столѣтіемъ.
Западные литературные источники.
Карамзинъ.
Жуковскій.

Великій историческій переворотъ положилъ грань между XVIII-мъ и XIX-мъ вѣками. Новый вѣкъ не могъ забыть эпохи революціи, которая была началомъ этого переворота; но все предшествовавшее какъ будто кануло въ вѣчность, и въ самомъ дѣлѣ многое исчезло навсегда. Политическій переворотъ отразился и въ литературѣ: многое изъ литературныхъ идей XVIII-го вѣка окончательно отошло въ исторію, а новые начатки, еще въ немъ имѣвшіе свой корень, развились въ своеобразное движеніе, ни характера, ни обширности котораго тотъ вѣкъ былъ бы не въ состояніи предвидѣть.

Подобнымъ образомъ литературный восемнадцатый вѣкъ отживалъ и у насъ; но преданія его падали не вдругъ и рядомъ съ ними, отчасти изъ нихъ, зарождалась новая жизнь, не похожая на прежнюю и которой предстояло впереди богатое развитіе.

Успѣхи нашей литературы съ начала нынѣшняго вѣка совершенно заслонили отъ насъ XVIII-е столѣтіе. Первые писатели XIX-го вѣка явились съ такими дарованіями, какихъ за исключеніемъ Ломоносова и Державина (у каждаго въ его области) совсѣмъ не знало XVIII-е столѣтіе: Карамзинъ, который началомъ своей дѣятельности еще принадлежитъ этому вѣку, затѣмъ Жуковскій, Батюшковъ, наконецъ Пушкинъ съ его плеядой очень быстро сдѣлали восемнадцатый вѣкъ давнопрошедшимъ,—его помнили, еще восхищались имъ люди стараго вѣка, которые даже не понимали новой литературы, но, наоборотъ, новыя поколѣнія

были къ нему холодны и, отдавая дань почтенія его главнѣйшимъ писателямъ, находили въ остальныхъ только предметъ для шутокъ. Новая поэзія, или задушевная, или изящная, новый языкъ, становившійся впервые безупречнымъ, живымъ и блестящимъ орудіемъ этой поэзіи, отодвигали все старое на степень перваго неумѣлаго опыта, школьно-реторическаго по содержанію, уродливаго по формѣ и выраженію. Въ тридцатыхъ годахъ стали думать, что русская литература и начинается только съ Пушкина, что даже такіе предшественники его, какъ Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, имѣли значеніе только какъ его подготовители: восемнадцатый вѣкъ становился окончательно архаическимъ—такимъ, который служитъ преддверіемъ къ исторіи, но съ котораго еще не начинается настоящая исторія.

Такое представленіе было не только у Бѣлинскаго; оно возникало и раньше въ эпоху первыхъ восхищеній поэзіей Жуковскаго и особливо Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, поколѣніе, которое упивалось „плѣнительною сладостью" стиховъ Жуковскаго и увидѣло откровеніе въ поэзіи Пушкина, не могло уже выносить твореній нашихъ Вольтеровъ, Расиновъ и даже Гомеровъ, которымъ сплетались похвалы еще такъ недавно, а въ кружкѣ Шишкова и Державина даже теперь. Оно только надъ ними подшучивало.

Значило ли это, однако, что историческая связь порвалась?—Нѣтъ; но произошло то явленіе, которое такъ часто обнаруживается при смѣнѣ поколѣній. Овладѣвая результатами предшествующей работы, новое поколѣніе часто не видитъ, какимъ великимъ трудомъ было пріобрѣтено то, что оно получаетъ готовымъ: это готовое кажется столь естественнымъ, какъ будто иначе оно не могло быть; но въ исторической перспективѣ, которая обыкновенно открывается гораздо позднѣе, становится ясно, что новое поколѣніе только продолжало дѣло стараго и могло идти дальше потому, что воспользовалось его трудами. Въ самомъ дѣлѣ то, что казалось столь естественнымъ—живая поэзія, говорившая изящнымъ русскимъ языкомъ, который легко давался теперь талантливому писателю,—было добыто только медленнымъ трудомъ предшествующихъ поколѣній; и разладъ двухъ историческихъ эпохъ лишній разъ указываетъ, насколько въ дѣйствительности былъ труденъ тотъ процессъ созданія литературы въ новомъ направленіи, какой выпалъ на долю XVIII-го вѣка. Ему пришлось выполнить громадную работу этого процесса, начавъ съ Симеона Полоцкаго и исходя изъ грубой, невѣжественной непосредственности XVII-го вѣка. Ему нужно было совершить всю

ту подготовительную работу, послѣ которой только и возможно было возникновеніе истинной литературы съ живымъ содержаніемъ и языкомъ. Цѣлый вѣкъ ушелъ на усвоеніе литературныхъ понятій и формъ раньше невѣдомыхъ; на выработку языка, который никогда раньше не служилъ для выраженія этихъ понятій и въ своемъ чисто народномъ составѣ даже никогда не имѣлъ своего должнаго мѣста въ книгѣ; на усвоеніе, хотя бы элементарное, научнаго матеріала, съ которымъ впервые явилась, напримѣръ, возможность приступить къ критическому построенію самой русской исторіи; на усвоеніе классическаго и западноевропейскаго поэтическаго матеріала, которое впервые открывало путь къ самостоятельнымъ поэтическимъ опытамъ. Если вспомнить, что при этомъ была въ жалкомъ положеніи школа, о которой государство едва заботилось даже для своихъ практическихъ цѣлей, то окажется тѣмъ болѣе значительнымъ образовательный трудъ, который совершался силами одной литературы, т.-е. предоставленнаго самому себѣ общества. Могло казаться, что въ теченіе всего XVIII-го вѣка въ чисто литературномъ отношеніи какъ будто не было прогрессивнаго движенія; литература начинала и оканчивала псевдо-классическими подражаніями,—но развитіе, однако, было. Оно заключалось въ медленномъ, но постоянномъ усовершенствованіи формы и языка, которое все больше приближало литературу къ жизни; оно заключалось въ расширеніи литературнаго опыта, съ которымъ возростали образовательные интересы; развитіе выразилось, хотя внѣ собственно поэтической области, въ томъ фактѣ, что литературное дѣло становилось наконецъ дѣломъ общественнымъ, вопросомъ личной нравственности и вмѣстѣ гражданскаго долга и убѣжденія, какъ было въ кругу Новикова. Все это было необходимымъ подготовленіемъ, и если потомъ, въ первыхъ инстинктахъ литературной самостоятельности, заслуга этого тяжелаго труда забывалась, какъ забывается начальная школа въ дальнѣйшемъ образованіи, то въ историческомъ изученіи должна обнаружиться органическая связь, соединяющая двѣ эпохи, двѣ ступени развитія.

Девятнадцатый вѣкъ отграниченъ отъ вѣка предшествовавшаго рѣзкими историческими чертами, которыя положили естественный предѣлъ между двумя эпохами. Закончились времена Екатерины II, и та реакція просвѣщенію, которая въ концѣ ея царствованія обрушилась на двухъ замѣчательнѣйшихъ людей тогдашняго литературнаго движенія, эта реакція дошла потомъ до крайняго предѣла въ послѣдніе годы XVIII-го столѣтія. Первый годъ новаго вѣка казался освобожденіемъ: новое царство-

ваніе встрѣчено было какъ свѣтлый праздникъ—и справедливо, потому что это было не только отрицательное удаленіе мрачнаго деспотизма, поражавшаго и самую мысль, но и положительный призывъ къ труду на пользу просвѣщенія и гражданственности. Громкая слава екатерининскихъ временъ помрачилась гоненіями послѣднихъ лѣтъ; новый вѣкъ, съ новымъ царствованіемъ, являлся богатый надеждами, исполненный освободительными мечтами и просвѣтительными планами. Историческія событія приносили сильныя возбужденія, неизвѣстныя прежнему вѣку, и можно было дѣйствительно ждать новаго порыва національной жизни. Но если новая эпоха обѣщала, и частію въ самомъ дѣлѣ проявляла, гораздо большую степень самостоятельности общественной и литературной, то зачатки многихъ основныхъ явленій новой литературы лежали въ завѣтахъ XVIII-го вѣка. Старое и новое связаны были органической преемственностью: въ содержаніи литературы, въ характерѣ общественныхъ стремленій, умственныхъ интересовъ, самаго языка слишкомъ часто слышны отголоски XVIII-го вѣка, — они могли напомнить о недавнемъ прошломъ, какъ иной разъ могли бы и разочаровать въ слишкомъ самонадѣянныхъ ожиданіяхъ...

Въ первыхъ десятилѣтіяхъ девятнадцатаго вѣка дѣйствуетъ цѣлый рядъ писателей, стоящихъ на перепутьѣ. Одни изъ нихъ—назовемъ Державина, Шишкова и ихъ приверженцевъ въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова и въ Россійской академіи—хотѣли быть хранителями преданій прошлаго вѣка, и дѣйствительно хранили ихъ съ такой исключительностью, которая не нашла бы сочувствія даже въ болѣе просвѣщенныхъ людяхъ самого XVIII-го вѣка. Другіе пріобрѣли свою главную славу въ новомъ вѣкѣ—таковъ былъ Карамзинъ, творенія котораго вызывали благоговѣніе Пушкина, какъ „Исторія государства Россійскаго", — но всѣмъ характеромъ своего развитія обязаны прошлому вѣку. Такимъ питомцемъ этого вѣка былъ другъ Карамзина, Дмитріевъ; былъ Крыловъ, начавшій еще во времена Екатерины, но составившій свою славу въ то же Александровское время. Литературный споръ, который открылся въ самые первые годы новаго вѣка,—споръ о старомъ и новомъ слогѣ между приверженцами Шишкова и почитателями Карамзина,—былъ унаслѣдованъ отъ XVIII вѣка: уже тогда возникла ересь, на которую ополчился Шишковъ съ своимъ уже запоздалымъ негодованіемъ. Литературное воспитаніе Карамзина совершалось подъ ближайшимъ вліяніемъ круга Новикова; другъ Карамзина, Петровъ, былъ не только питомцемъ того же круга, но принадлежалъ, въ каче-

ствѣ младшаго члена, съ самому „ордену“; среди оживленной издательской дѣятельности Новикова Карамзинъ пріобрѣлъ свои обширныя для того времени и для его возраста литературныя познанія, въ которыхъ Петровъ, повидимому, бывалъ его болѣе опытнымъ руководителемъ. Преданія Дружескаго Общества создали въ московскомъ университетѣ особый интересъ къ литературѣ, и впослѣдствіи „Благородный пансіонъ“ при университетѣ воспиталъ цѣлый рядъ писателей и друзей литературы въ томъ же духѣ любви къ просвѣщенію, какъ нѣкогда воспитывали Шварцъ, Новиковъ, Херасковъ. Съ той же поры и съ того же примѣра идетъ стремленіе собираться въ дружескіе кружки, основывать литературныя общества, какія являлись тогда не только въ Москвѣ и Петербургѣ, но и въ провинціальныхъ городахъ. Прославленныя имена прошлаго вѣка еще сохраняли свой авторитетъ въ средѣ молодого поколѣнія, пока усумнился въ нихъ Пушкинъ и окончательно—Бѣлинскій; но еще нѣсколько десятилѣтій эти старыя имена находили своего ревностнаго почитателя и защитника въ Мерзляковѣ, занимавшемъ авторитетную профессуру въ московскомъ университетѣ. Съ XVIII-го вѣка, особенно изъ преданій Новиковскаго кружка, проникаетъ далеко въ XIX вѣкъ старый масонскій мистицизмъ: затерявъ просвѣтительные интересы прежняго времени, онъ становился теперь въ лучшихъ случаяхъ мирной, но безплодной сектой, а въ худшихъ изувѣрствомъ и обскурантизмомъ; двадцатые года видѣли послѣдній отголосокъ стараго мистическаго движенія—съ одной стороны комическую, съ другой отвратительную борьбу двухъ сортовъ обскурантизма: масонско-мистическаго, покровителемъ котораго являлся князь А. Н. Голицынъ, и грубо фанатическаго, представителемъ котораго былъ невѣжественный архимандритъ Фотій. Передъ тѣмъ, въ тѣ же двадцатые года, обскурантные доносы Магницкаго и его питомца Рунича на крайне скромную тогда русскую университетскую науку, — доносы, угождавшіе духу новѣйшей реакціи и ссылавшіеся на Священный союзъ, напоминали о послѣднихъ годахъ восемнадцатаго вѣка. Но молодымъ поколѣніямъ временъ Александра была дорога память просвѣтительныхъ стремленій XVIII-го столѣтія: такъ Радищевъ нашелъ ревностныхъ почитателей въ молодомъ кружкѣ, который въ 1801 году основалъ Вольное Общество любителей словесности, наукъ и художествъ (здѣсь были, напр., Пнинъ, Д. И. Языковъ, А. Х. Востоковъ, знаменитый впослѣдствіи филологъ, и др.); по смерти Радищева члены Вольнаго Общества говорили о немъ съ великимъ уваженіемъ въ „Свиткѣ Музъ“

(1803); въ журналѣ подобнаго направленія („Сѣверный Вѣстникъ“, 1805) была перепечатана, въ видѣ „Отрывка изъ бумагъ одного россіянина“, одна изъ лучшихъ главъ „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“; это молодое поколѣніе говорило опять въ защиту свободы просвѣщенія и печатнаго слова. Какъ непосредственно изъ одного вѣка въ другой переходилъ мистицизмъ, такъ перешло и то сентиментальное направленіе, главнымъ представителемъ котораго считается Карамзинъ: корни его лежатъ далеко въ литературѣ XVIII-го столѣтія. Самый классицизмъ, старое наслѣдіе XVIII вѣка, еще крѣпко держался не только среди отживающаго поколѣнія, но и въ новыхъ писателяхъ, какъ прославленный трагикъ Озеровъ. Самъ Жуковскій, который въ теоретическихъ понятіяхъ перешелъ уже отъ Буало къ Зульцеру и Эшенбургу и самъ называлъ себя „ярымъ романтикомъ“, сохраняетъ вкусъ къ псевдо-классической литературѣ. Въ писательской манерѣ — до юношескихъ произведеній Пушкина включительно — въ большей или меньшей мѣрѣ продолжаютъ держаться старые пріемы псевдо-классической искусственности въ формѣ стихотворства, въ настроеніи, гдѣ еще не остылъ давнишній вкусъ къ Горацію и анакреонтикамъ. Таковъ въ особенности Батюшковъ, котораго ставятъ въ числѣ „учителей“ Пушкина. Поэты первой четверти вѣка еще не могутъ разстаться съ никогда небывалой у насъ „цѣвницей“, съ Хлоями и Деліями, также какъ съ Филаретами и Агатонами. Эти искусственныя черты поэтическаго стиля были свидѣтельствомъ, что самая поэзія еще не перестала быть чуждымъ растеніемъ, которое не успѣло вполнѣ укрѣпиться на нашей почвѣ, что она не находила пока ни вполнѣ русскаго содержанія, ни вполнѣ русскаго выраженія [1]). Впрочемъ сами читатели, еще въ про-

---

[1]) Изъ множества примѣровъ того, какъ крѣпко держалось псевдо-классическое преданіе XVIII-го вѣка, укажемъ „Видѣніе на берегахъ Леты“, Батюшкова (1809), гдѣ, осмѣивая плохихъ современныхъ стихотворцевъ, онъ вспоминаетъ знаменитыя имена русской литературы:

Вездѣ, о милосерды боги,
Вездѣ пируетъ алчна смерть,
Косою острой быстро машетъ,
Богату ниву аду пашетъ
И губитъ Фебовыхъ дѣтей,
Какъ вѣтръ осенній злакъ полей.
Межъ тѣмъ въ Элизіи священномъ,
Лавровымъ лѣсомъ осѣненномъ,
Подъ шумомъ Касталійскихъ водъ,
Пѣвцовъ нечаянный приходъ
Узналъ почтенный Ломоносовъ,
Херасковъ, честь и слава Россовъ,
Честолюбивый Фебовъ сынъ,
Насмѣшникъ, грозный бичъ пороковъ,

шломъ вѣкѣ выучившись „митологіи“ во французскихъ пансіонахъ, не чуждались этого искусственнаго стиля, и въ двѣнадцатомъ году ихъ не удивляли классическіе шлемы, мечи и щиты на русскихъ генералахъ и солдатахъ въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“; шлемы и щиты не помѣшали сильному впечатлѣнію знаменитаго стихотворенія, какъ не помѣшали самому стихотворенію быть высоко-поэтическимъ выраженіемъ патріотическаго одушевленія. Миѳологія не миновала и басенъ Крылова, что опять не мѣшало современникамъ, и даже нынѣшнему потомству, находить ихъ національнымъ созданіемъ. Въ псевдо-классическомъ духѣ поняты были даже былины или „древнія русскія стихотворенія“ въ объясненіяхъ Калайдовича; подъ школьную піитику подводили „Слово о полку Игоревѣ“... Наконецъ самый языкъ, несмотря на „реформу“ Карамзина, все еще носитъ сильные слѣды натянутой книжности XVIII вѣка съ формами и оборотами церковно-славянскаго склада.

Но, главное, и теперь господствовала одна изъ основныхъ особенностей литературнаго движенія прошлаго вѣка: это — тѣсная зависимость нашей литературы отъ западно-европейской. Эта зависимость, которую такъ строго осуждали, есть на дѣлѣ глубокая, исторически неизбѣжная черта, проходящая черезъ всѣ судьбы нашей образованности со временъ Петра, очевидная въ литературѣ, какъ въ разнообразныхъ отрасляхъ культуры и нравовъ. Какъ безъ обращенія къ этому источнику нельзя понять литературы XVIII-го вѣка, столь очевидно отъ него зависѣвшей, такъ это было и теперь — не только до Пушкинской эпохи, но до Лермонтова и, частію, даже до Гоголя и его преемниковъ, т.-е. до величайшихъ представителей русской повѣсти и романа. Правда, съ Пушкина прежняя зависимость быстро измѣняется въ болѣе самостоятельное, наконецъ вполнѣ свободное общеніе, въ которомъ уже не было никакого ущерба національному характеру и общественному значенію произведеній, — и свобода этого общенія была потомъ доказана тѣмъ сильнымъ обратнымъ впечатлѣніемъ и даже вліяніемъ русскаго романа въ западной литературѣ, которое мы наблюдаемъ теперь. Но въ первой половинѣ XIX вѣка отъ этого было очень далеко: западная литература

Замысловатый Сумароковъ
И, Мельпомены другъ, Княжнинъ.
И ты сидѣлъ въ толпѣ избранной,
Стыдливой граціей вѣнчанной,
Пѣвецъ прелестныя мечты,
Между Псишеи легкокрылой
И бога нѣжной красоты!...

могущественно господствовала надъ русской литературной жизнью, какъ источникъ идейнаго содержанія, какъ образецъ формъ, наконецъ даже какъ возбужденіе національныхъ интересовъ, — дальше увидимъ, какъ это послѣднее совершалось параллельно въ исторической наукѣ, въ изученіяхъ этнографическихъ, въ литературныхъ обращеніяхъ къ народной поэзіи и къ изображенію жизни русскаго народа и общества.

Въ началѣ вѣка эти отношенія были пока еще крайне неравны. Со временъ Петра мы оказались прямо въ ученическомъ отношеніи къ западному образованію: надо было буквально начинать съ азбуки; первые признаки нѣсколько живой литературы, выходящей изъ рамокъ школьнаго упражненія, появляются едва въ сороковыхъ годахъ прошлаго вѣка, съ Ломоносовымъ и Сумароковымъ. Нужно было въ первый разъ усвоивать по западнымъ образцамъ литературныя формы, и установлять языкъ, который долго не могъ стать свободною, стройною рѣчью, какъ въ дѣйствительности само общество долго не находило свободной рѣчи для новыхъ понятій, которыя еще плохо укладывались въ головахъ, почему, между прочимъ, со временъ Елизаветы и распространялось такъ сильно употребленіе языка французскаго... Передъ нашей начинавшейся литературой открывалось вдругъ неисчерпаемое богатство западно-европейскаго просвѣщенія, собраннаго долгими вѣками умственнаго труда, поэтическаго творчества, политической, религіозной и общественной борьбы—труда, который, съ одной стороны, веденъ былъ народами Запада на общей почвѣ средневѣковаго міровоззрѣнія, потомъ въ общихъ увлеченіяхъ эпохи Возрожденія, а съ другой стороны носилъ на себѣ отпечатки богатаго разнообразія національностей. Къ восемнадцатому вѣку на Западѣ создавалось уже, во-первыхъ, обширная научная литература,—сначала отчасти на обще-европейской ученой латыни, а потомъ на языкахъ національныхъ,— литература по всѣмъ отраслямъ теоретическаго и практическаго знанія; во-вторыхъ, литература поэтическая: въ теченіе вѣка она была сначала въ большой мѣрѣ псевдо-классическая, образцомъ были французскіе писатели временъ Людовика XIV, потомъ, въ оппозиціи къ псевдо-классицизму поднялись и затѣмъ все усиливались новыя движенія въ самостоятельныхъ направленіяхъ... Для начинателей нашей литературы французскій псевдо-классицизмъ былъ, какъ мы видѣли, непререкаемымъ образцомъ, послѣднимъ словомъ литературной исторіи. Наши писатели были увѣрены, что, подражая французамъ, русская литература тѣмъ самымъ примыкала къ тому единому литературному цѣлому, начало ко-

тораго хранилось въ великихъ творепіяхъ античной древности... Это было для нихъ представленіе ободряющее; на дѣлѣ оно было чисто фантастическое. Наши писатели были въ полномъ невѣдѣніи о дѣйствительномъ положеніи вещей. Они не знали, что французскій псевдо-классицизмъ уже тогда переживалъ критическій моментъ своего существованія, что въ самой французской литературѣ возникали элементы, болѣе свободные и жизненные; они не знали, что въ другихъ литературахъ, особливо въ нѣмецкой, еще въ началѣ второй половины вѣка французскій псевдо-классицизмъ былъ подкопанъ въ самой основѣ, что глубокое изученіе древности, въ рукахъ Лессинга, Винкельмана, Вольфа, приводило къ совсѣмъ инымъ представленіямъ о классической древности, и о самой сущности искусства; они не подозрѣвали, что вмѣстѣ съ тѣмъ расширялся литературный горизонтъ возникавшимъ изученіемъ почти неизвѣстныхъ или совсѣмъ неизвѣстныхъ дотолѣ областей литературы, напр., что обращеніе къ Шекспиру произведетъ переворотъ въ пониманіи драмы, что обращеніе къ средневѣковой старинѣ, къ безъискусственной поэзіи народовъ даже самыхъ первобытныхъ—какъ у Гердера—откроетъ цѣлый, дотолѣ почти невѣдомый, міръ поэтическаго творчества... Правда, въ концѣ вѣка къ намъ начинали достигать отголоски этого движенія; становились извѣстны новыя знаменитыя имена, которыя обозначали собою совсѣмъ иную струю литературной жизни и философскаго міровоззрѣнія: узнали о Шекспирѣ (сначала только съ французскими урѣзками), о Лессингѣ и Гердерѣ, услышали даже о Кантѣ, узнали (хотя не весьма одобрили) Шиллера, и т. д. Но все это было пока очень поверхностно; должно было пройти еще не мало времени до тѣхъ поръ, когда значеніе этихъ именъ будетъ понято.

Это положеніе вещей мало способствовало серьезному росту литературы, но было совершенно естественно. Европейская образованность могла проникать къ намъ только въ элементарной формѣ. Не участвуя въ ея созданіи, нельзя было понять вполнѣ ея содержанія, и русскіе писатели по необходимости становились къ ней въ положеніе, которое бывало страннымъ, неумѣлымъ, неувѣреннымъ. Но это новое было исполнено интереса, и когда мысль была нѣсколько разбужена, оно становилось привлекательно, западало въ умы, создавало новые взгляды на вещи...

Такъ шло отъ поколѣнія къ поколѣнію. Если вспомнить стараго Татищева, который самоучкой искалъ знаній у „Баиля“ и Вальха, или Сумарокова, вообразившаго себя россійскимъ Расиномъ,—понятно будетъ положеніе русской образованности

и безпомощность серьезнаго человѣка, котораго занялъ вопросъ русской исторіи, и простодушнаго энтузіаста русской поэзіи. Большинство писателей прошлаго вѣка были самоучки: они учились „чему-нибудь и какъ-нибудь“,—и то же могъ повторить Пушкинъ... Исключеніемъ были люди, какъ Ломоносовъ и нѣсколько ученыхъ въ спеціальныхъ отдѣлахъ науки; большинство не знало страсти къ ученію, не знало пытливаго изслѣдованія, и въ собственно литературныхъ предметахъ, отъ XVIII-го вѣка не осталось ни одного широко задуманнаго и исполненнаго труда, который былъ бы внушенъ сознательнымъ желаніемъ осмыслить положеніе русской литературы, ея отношенія къ прошлому до Петра Великаго и къ литературамъ западно-европейскимъ. Съ этой стороны еще разъ объясняется то отсутствіе внутренняго роста тогдашней поэтической литературы, о чемъ мы раньше говорили. Если съ теченіемъ времени у насъ, тѣмъ не менѣе, отражались новыя явленія западно-европейской литературы, это не приводило къ какой-либо опредѣленной литературной системѣ: такъ въ концѣ прошлаго вѣка стали знакомиться съ Шекспиромъ, съ драмами Лессинга, съ поэтами нѣмецкаго періода „бурныхъ стремленій“,— но съ этимъ не соединилось болѣе глубокаго пониманія ни драмы, ни поэзіи вообще, и въ началѣ XIX-го вѣка любимый драматургъ осмѣливается только составить трагедію изъ трехъ дѣйствій вмѣсто пяти, а въ разгарѣ Пушкинской эпохи еще находится приверженецъ псевдо-классической драмы въ лицѣ Катенина, котораго такъ высоко цѣнилъ и поощрялъ самъ Пушкинъ... Новыя пріобрѣтенія были какъ будто только личнымъ вкусомъ: одинъ увлекался однимъ, другой — другимъ писателемъ французскимъ, нѣмецкимъ, англійскимъ, увлекался случайно, встрѣчая сочувственное настроеніе, интересное содержаніе, слѣдуя готовой славѣ или модѣ. Такъ Екатерина II подражала „Шакеспиру“, Державинъ увлекался Оссіаномъ и даже передѣлывалъ его на русскіе нравы, другіе подражали Стерну и пр., но при этомъ всего чаще не отдавали себѣ отчета въ томъ, чѣмъ были эти литературныя явленія, какія художественныя или общественныя идеи съ ними соединялись.

Была, однако, и своя польза: увеличивался опытъ: прежнія односторонности при чужой помощи устранялись; среди чужого находилось такое, что̀ могло быть приложимо и полезно въ условіяхъ русской литературы; пріобрѣтался матеріалъ, который могъ когда-нибудь послужить сильному дарованію. Къ счастію, на переходѣ къ XIX-му вѣку народился цѣлый рядъ такихъ дарованій.

Къ концу XVIII-го вѣка упомянутый матеріалъ литературныхъ

познаній дѣйствительно очень расширился. Но, пока у насъ еще не могли отдѣлаться отъ классицизма и отрывочно знакомились съ фактами европейской литературы, положеніе этой послѣдней съ началомъ XIX-го вѣка совершенно измѣнилось и не имѣло почти ничего общаго съ тѣмъ, что было за нѣсколько десятковъ лѣтъ раньше.

Французская философія и псевдо-классицизмъ отживали свое время. Первый отпоръ эта философія встрѣтила въ Руссо; затѣмъ сильная реакція противъ разсудочности и матеріализма обнаружилась въ Германіи, съ одной стороны въ піэтизмѣ, съ другой—въ историко-философскихъ системахъ и въ поэтическихъ направленіяхъ, которыя искали свободы творчества и свободы чувства, послѣ „періода бурныхъ стремленій" ознаменовались дѣятельностью Гёте и Шиллера и наконецъ создали романтизмъ. Въ самой французской литературѣ неподвижныя формы ложнаго классицизма были поколеблены въ буржуазной драмѣ, въ робкихъ на первый разъ заимствованіяхъ у Шекспира и изъ нѣмецкой литературы, въ развитіи сентиментализма, въ распространеніи романа, въ поэзіи Андрея Шенье и т. д. Страшныя потрясенія революціоннаго періода вызвали, наконецъ, поэтическую реакцію въ формѣ религіозной мечтательности, представителемъ которой сталъ прославившійся во всей Европѣ Шатобріанъ. Съ паденіемъ старыхъ общественныхъ формъ, съ броженіемъ новыхъ міровоззрѣній возникала, наконецъ, оригинальная литературная жизнь, яркимъ выраженіемъ которой сталъ нѣсколько позднѣе французскій романтизмъ съ его радикальнымъ отрицаніемъ старыхъ литературныхъ преданій.

Въ нѣмецкой литературѣ, которой предстояло найти у насъ особенно широкое вліяніе, съ половины прошлаго вѣка совершалось въ высшей степени оживленное движеніе, богатое какъ теоретическими и историческими изученіями поэзіи и искусства, такъ и обиліемъ поэтическихъ произведеній, которыя отвѣчали смѣнявшимся настроеніямъ. Длинный рядъ знаменитыхъ именъ указываетъ на энергическую работу, съ помощью которой подготовлялось широкое научное міровоззрѣніе и параллельное съ нимъ расширеніе поэтическаго кругозора. Глубокое изученіе классическаго міра,—какъ было, напр., въ изслѣдованіяхъ Винкельмана объ античномъ искусствѣ, въ изслѣдованіяхъ Фридриха-Августа Вольфа о греческомъ эпосѣ, въ критикѣ Лессинга,—приводило не къ утвержденію, а къ отрицанію псевдо-классицизма: античное искусство, мысль и поэзія были шире, чѣмъ представляла ихъ школьная теорія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ историче-

ское явленіе, онѣ не могли повториться, и если искать въ нихъ поученія, онѣ научали не подражанію, а свободному творчеству въ тѣхъ условіяхъ, какія давала жизнь. Изъ классическаго міра пріобрѣтенъ былъ освобождающій урокъ для настоящаго; самый Аристотель на дѣлѣ былъ шире тѣхъ правилъ, какія извлекала изъ него литературная рутина. Рядомъ съ этимъ Гердеръ приходилъ къ широкому и благотворному взгляду на цѣлую духовную и поэтическую жизнь человѣчества, и между прочимъ на тѣ „голоса народовъ“, народныя пѣсни, которыя до тѣхъ поръ вызывали одно пренебреженіе, какъ произведеніе грубыхъ племенъ и невѣжественной толпы, и въ которыхъ онъ, напротивъ, открывалъ и достоинства нравственнаго чувства, и красоты истинной поэзіи. Историко-философскія сочиненія Гердера стали настоящимъ откровеніемъ для науки, которая съ тѣхъ поръ расширила свои изысканія на нетронутыя прежде области творчества, и для поэзіи, которая научалась цѣнить проявленія поэтическаго чувства въ его разнообразныхъ народныхъ особенностяхъ и обогащала изъ нихъ свое собственное содержаніе. Ученыя сочиненія Лессинга стали образцомъ проницательной критики, а его драматическія произведенія, хотя онъ не былъ настоящимъ художникомъ, имѣли громадный успѣхъ, между прочимъ внѣ Германіи, и по своей формѣ, и по высокимъ нравственнымъ идеямъ. Подъ этими и подобными вліяніями развивалась дѣятельность Гёте; геніальное поэтическое дарованіе совмѣщалось у него съ духомъ научнаго изслѣдованія, которое направлялось и на явленія физической природы и на историческія явленія человѣческаго духа; творчество, богатое въ своей непосредственности, руководилось вмѣстѣ сознаніемъ жизни искусства. Его совмѣстная дѣятельность съ Шиллеромъ, великимъ поэтомъ, энтузіастомъ нравственнаго человѣческаго достоинства и свободы, но опять ученымъ мыслителемъ, дѣлала изъ „веймарскаго періода“ славную и оригинальную эпоху нѣмецкой литературы и завершеніе ея національной самобытности. Въ то время, когда была въ разгарѣ дѣятельность Лессинга, Гердера, Винкельмана, Виланда и начиналось поприще Гёте и Шиллера, нарождалось новое поколѣніе, которое, подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ возбужденій, пошло еще далѣе въ вопросахъ о значеніи и области поэзіи и искусства. Это не были первостепенные таланты, но во всякомъ случаѣ своеобразныя дарованія съ живой фантазіей, нерѣдко съ большимъ литературнымъ знаніемъ, какое могла сообщить уже богатая нѣмецкая ученость, съ экзальтированнымъ чувствомъ и, наконецъ, стремленіемъ завоевать въ поэзіи право для всѣхъ тѣхъ сложныхъ идей

и ощущеній, какими они были исполнены: на переходѣ въ XIX-е столѣтіе Тикъ, Вакенродеръ, Новалисъ, братья Шлегели, Шлейермахеръ стали основателями нѣмецкаго романтизма, теоретиками котораго были сначала Вакенродеръ, потомъ Фридрихъ Шлегель; на романтической почвѣ выросла, наконецъ, и дала опору самому романтизму философія Фихте и Шеллинга. Романтизмъ выработался изъ сложнаго броженія историческихъ, философскихъ и художественныхъ элементовъ, которые подготовлены были предъидущей эпохой, а частію были открыты теперь самими романтиками. Онъ не удовлетворялся уже эстетическими формулами, какія были выведены изъ античнаго искусства, не удовлетворялся идеями самихъ веймарскихъ корифеевъ и дѣлалъ изъ поэзіи высшую дѣятельность человѣческаго духа, въ которой искусство сливается съ философіей, величайшая свобода фантазіи съ разумомъ, личное съ народнымъ, а поэтъ становился истиннымъ жрецомъ этого культа: поэзія свободна и произволъ поэта есть ея законъ. Соотвѣтственно съ этимъ, въ поэзіи романтизма причудливо переплетаются разнообразные элементы поэтическихъ порывовъ и теоретическихъ исканій, и поэтическій произволъ, который романтики хотѣли сдѣлать закономъ, предъявлялъ притязанія (избранной) личности на полную свободу не только въ художественномъ творчествѣ, но и въ жизни: какъ личность художника стоитъ выше общественныхъ узъ, такъ поэзія ищетъ и находитъ повсюду свой художественный матеріалъ. Еще недавно вершиной искусства были созданія античной древности, но Жанъ-Поль Рихтеръ уже находилъ грековъ „очень ограниченными"; романтики обращаются къ забытымъ среднимъ вѣкамъ, къ произведеніямъ „грубой" народной литературы, къ литературамъ другихъ народовъ, къ Шекспиру и испанской драмѣ, къ средневѣковой легендѣ, къ народной (по нашему, лубочной) книгѣ, и въ поискахъ за первобытной свободой, за непосредственнымъ наивнымъ творчествомъ, за единствомъ жизни и искусства, въ концѣ концовъ приходятъ къ возвеличенію среднихъ вѣковъ, которое дошло до апогея въ слѣдующемъ поколѣніи романтиковъ. Сначала имъ казалось, что непосредственность среднихъ вѣковъ можетъ быть соединена съ просвѣщеніемъ; послѣдующіе романтики прямо доходили до средневѣкового мрака, до возвращенія къ католичеству... Съ ходомъ времени крайности романтизма отпали и были забыты, но существеннымъ пріобрѣтеніемъ осталось, во-первыхъ, дѣйствительное расширеніе пониманія и рядомъ обогащенія литературнаго опыта громаднымъ матеріаломъ всемірнаго поэтическаго творчества (со временъ Гердера въ нѣмецкой

литературѣ открылась чрезвычайно обширная переводная дѣятельность изъ древнихъ и новыхъ литературъ), и наконецъ интересъ къ среднимъ вѣкамъ, который тогда же повелъ къ ревностному ихъ изученію. Этотъ великій историческій періодъ, который еще недавно былъ презираемъ какъ безплодная эпоха мрака и суевѣрія, впервые былъ оцѣненъ исторически, въ особенности съ его богатымъ художественнымъ и поэтическимъ творчествомъ.

Третьимъ великимъ источникомъ романтизма, изъ котораго питалась и поэзія континента, была англійская литература. Какъ цѣлая исторія Англіи шла независимо отъ того развитія и тѣхъ треволненій, какія переживала континентальная Европа, какъ она независимо переработывала въ своихъ учрежденіяхъ общія начала средневѣкового быта, испытала свои перевороты и создавала свои учрежденія, развивая политическую и умственную энергію, такъ своеобразно сложилась и англійская литература, которая къ XVII вѣку имѣла Бэкона и Шекспира, а вскорѣ затѣмъ Мильтона. Въ XVIII вѣкѣ и здѣсь прошла полоса псевдоклассицизма, между прочимъ во французской окраскѣ, но въ томъ же вѣкѣ снова сказалась великая оригинальность національнаго духа, когда, съ одной стороны, всплыли въ литературѣ преданія старой средневѣковой поэзіи, а съ другой, непосредственная поэзія свѣжаго народнаго чувства: на континентѣ только немногимъ были извѣстны старыя англійскія баллады (даже въ сборникѣ епископа Перси), но громадное впечатлѣніе произвелъ по всей Европѣ знаменитый Оссіанъ; позднѣе сталъ извѣстенъ и Робертъ Бёрнсъ съ той самородной поэзіей, которой не знала и не считала возможной книжная литература континента. На границѣ XIX вѣка въ англійской литературѣ возникла новая сила, воспитанная опять чисто англійской почвой и вліяніе которой отразилось на всѣхъ литературахъ Европы: это былъ Вальтеръ Скоттъ. Младшимъ современникомъ его былъ Байронъ.

Наконецъ, тотъ интересъ къ всемірной литературѣ, который былъ возбужденъ, особливо у нѣмцевъ, со временъ Гердера, ввелъ въ обращеніе многочисленныя произведенія другихъ литературъ. Вспомнили о старыхъ знаменитыхъ итальянцахъ: Данте, Боккаччіо, Петрарка, Аріостъ, Тассъ и позднѣйшіе поэты вошли впервые въ обращеніе внѣ предѣловъ своей литературы; вспомнили Сервантеса, испанскую драму; вспомнили старинный рыцарскій романъ, заинтересовались народной поэзіей и преданіями и т. д. Прежнія частныя международныя связи (испанско-французскія, итальянско-французскія, англо-нѣмецкія и др.) раздвига-

лись въ широкое международное общеніе. Подобное общеніе не однажды соединяло европейскія литературы на одномъ интересѣ. Такъ бывало нѣкогда въ періодъ господства христіанской легенды, которая обнимала христіанскій Востокъ и Западъ до самаго конца среднихъ вѣковъ общимъ настроеніемъ аскетическаго благочестія и чуда. Такъ было въ поздніе средніе вѣка, когда общимъ достояніемъ западной, а частію и восточной европейской литературы становился обширный циклъ бродячихъ сказаній, героическихъ, легендарныхъ, шуточныхъ, которыхъ самая родина часто остается затерянной. Такъ было въ эпоху Возрожденія, когда образованный кругъ всѣхъ странъ западной Европы одинаково увлекался поэтическими созданіями и нравственными идеалами античной древности, и потомъ въ XVII—XVIII вѣкѣ, когда изъ этого движенія выросъ всевдо-классицизмъ, достигавшій, особливо у французовъ, до высокаго изящества, опять обошедшій всю Европу и, наконецъ, захватившій русскую литературу. Теперь европейская литература снова собиралась въ одинъ союзъ, но уже въ иныхъ условіяхъ: это не было наивное поэтическое общеніе среднихъ вѣковъ, или ученое общеніе эпохи Возрожденія, или господство искусственной школы, гдѣ классическая древность была переодѣта во французскій придворный или балетный костюмъ. Это былъ, наконецъ, первый опытъ болѣе сознательнаго общенія, гдѣ созданіе чужого племени, чужой почвы, эпохи, культуры принималось съ интересомъ къ его общечеловѣческому содержанію и съ пониманіемъ его особенности; это было дѣйствительное обогащеніе литературной образованности, историческаго и нравственнаго сознанія путемъ серьезнаго изученія національныхъ явленій или путемъ чуткаго пониманія поэзіи, выросшей въ иныхъ условіяхъ человѣческой исторіи.

Этотъ потокъ достигъ наконецъ и русской литературы, которая начала усердно почерпать изъ него, въ переводахъ, разнообразныя произведенія древнихъ и новыхъ литературъ. Вслѣдствіе упомянутыхъ условій, эти заимствованія не могли пока имѣть своего настоящаго дѣйствія по малой подготовленности и писателей, и читателей: получалась какъ бы только учебная хрестоматія, отрывочные образчики литературныхъ явленій безъ пониманія ихъ дѣйствительнаго смысла, и именно самое крупное, чѣмъ была сущность движенія, осталось вовсе неизвѣстно и, часто, не могло бы быть понято. Такъ Оссіанъ, въ англійской литературѣ, связанный съ цѣлымъ ея характеромъ, получалъ у Державина только нелѣпое примѣненіе; въ нѣмецкой, не были поняты значеніе Лессинга, утвержденіе нѣмецкой національной

литературы въ рукахъ Гёте и Шиллера и потомъ первыхъ романтиковъ, развитіе исторической и эстетической критики, затронувшее въ концѣ концовъ самые глубокіе предметы религіи, философіи и искусства. Именно это послѣднее и осталось неизвѣстно русской литературѣ. Такъ осталось непонятно или являлось въ неясномъ, отрывочномъ видѣ цѣлое движеніе, какое совершалось въ Европѣ въ концѣ XVIII и началѣ XIX столѣтія. Русской литературѣ все еще приходилось учиться: она могла дѣйствовать только по уровню своего общества, и по своимъ образовательнымъ средствамъ.

Самымъ крупнымъ лицомъ нашей литературы на границѣ двухъ вѣковъ былъ Карамзинъ. Его біографія и труды достаточно извѣстны. Столѣтній юбилей его рожденія (1866) вызвалъ обильную литературу біографій и историко-литературныхъ оцѣнокъ, въ которыхъ собраны указанія о томъ, что̀ сдѣлано имъ для русской литературы, языка и исторіографіи. Это былъ первый писатель съ обширнымъ кругомъ непосредственнаго вліянія и великими заслугами, хотя новѣйшая критика должна была умѣрить прежніе безусловные панегирики, въ самой „Исторіи государства россійскаго“ отдать предшественникамъ Карамзина многое, что̀ приписывалось обыкновенно только ему, и ограничить представленіе объ его вліяніи на позднѣйшую исторіографію. По характеру образованія, по литературнымъ пріемамъ Карамзинъ остается вполнѣ питомцемъ XVIII вѣка. Его образованіе происходило по обычаю въ „пансіонѣ“, на этотъ разъ однако подъ руководствомъ разумнаго человѣка, гдѣ, правда, нельзя было пріобрѣсти образованія достаточно глубокаго, но можно было хорошо познакомиться съ иностранными языками. Послѣ короткой военной службы и жизни въ провинціи—въ Симбирскѣ, гдѣ было отцовское имѣніе — для Карамзина началась новая школа: его увезъ въ Москву извѣстный И. П. Тургеневъ, другъ Новикова, одинъ изъ членовъ Дружескаго Общества. Заботы этого общества объ основательномъ образованіи молодыхъ людей, которыхъ оно брало на свое попеченіе, достались и на долю Карамзина: съ его другомъ Петровымъ они были, конечно, лучшими изъ этихъ питомцевъ. Карамзинъ не вступилъ, подобно послѣднему, въ „орденъ“, но, былъ довольно близко знакомъ съ интересами (а также и слабостями) масонскаго кружка [1],—это,

[1] „Общ. движеніе при Александрѣ I“, стр. 190.



вѣроятно, и удержало его отъ вступленія въ ложу. Но четыре года, которые провелъ онъ въ Москвѣ, были чрезвычайно плодотворны для его образованія. По преданіямъ отъ временъ Шварца, молодое поколѣніе, окружавшее руководителей Дружескаго Общества, принимало дѣятельное участіе въ его изданіяхъ своими переводными и отчасти, можетъ быть, самостоятельными литературными трудами. Карамзинъ дѣлалъ такіе переводы по порученіямъ Общества; но главное, въ распоряженіи этого молодого поколѣнія былъ значительный запасъ иностранныхъ книгъ и даже послѣднихъ литературныхъ новостей. Въ Москвѣ Карамзинъ, повидимому, въ особенности изучалъ нѣмецкихъ писателей; литература французская была общимъ интересомъ образованнаго круга; Петровъ изучалъ англійскую литературу, и доживавшій въ Москвѣ свои послѣдніе годы нѣмецкій поэтъ Ленцъ [1]), одинъ изъ видныхъ представителей „бурныхъ стремленій“ нѣмецкой поэзіи, вѣроятно передалъ Петрову и Карамзину поклоненіе Шекспиру. Петровъ, „Агатонъ“ Карамзина, даровитый и начитанный, повидимому имѣлъ большое вліяніе на Карамзина, расширивъ его литературные и нравственные интересы. Когда Карамзинъ отправился „вояжиромъ“ за границу (1789—1790) и писалъ оттуда знаменитыя „Письма“, онъ обнаружилъ въ нихъ хорошее знакомство съ тогдашнимъ положеніемъ европейской литературы.

„Письма русскаго путешественника“ при своемъ первомъ появленіи въ „Московскомъ Журналѣ“ и потомъ въ отдѣльномъ изданіи имѣли чрезвычайный успѣхъ и, дѣйствительно, представляли нѣчто совершенно небывалое въ русской литературѣ: молодой писатель, почти юноша, давалъ не только привлекательный разсказъ о внѣшней сторонѣ своего путешествія, описанія пути, красотъ природы, главнѣйшихъ городовъ съ ихъ достопримѣчательностями, но обнаруживалъ замѣчательное знакомство съ состояніемъ литературы. Онъ проѣхалъ въ Германію, провелъ зиму въ Женевѣ, былъ потомъ во Франціи, жилъ въ Парижѣ и Лондонѣ, и вернулся въ Россію моремъ. Вездѣ къ обыкновенной любознательности путешественника у него присоединяются интересы литературные; онъ не пропускаетъ случая видѣть лично знаменитыхъ ученыхъ и писателей, бесѣдуетъ съ ними, желаетъ составить себѣ живое впечатлѣніе о людяхъ, которыхъ зналъ по ихъ твореніямъ: въ Кенигсбергѣ представляется Канту, въ Берлинѣ знакомится съ Николаи, поэтомъ Рамлеромъ, въ Лейпцигѣ съ профессорами Бекомъ, Платнеромъ; въ Веймарѣ является къ

[1]) Нѣкогда другъ Лафатера и Гёте; умеръ въ Москвѣ въ 1792.

Гердеру и Виланду, въ Цюрихѣ каждый день видаетъ Лафатера, съ которымъ еще раньше переписывался изъ Москвы; въ Женевѣ не разъ видался съ Боннетомъ и Верномъ, извѣстнымъ въ свое время французскимъ подражателемъ Стерна; въ Парижѣ знакомится съ Мармонтелемъ, Бартелеми, Левекомъ и т. д. Онъ посѣщаетъ мѣста, гдѣ жилъ Вольтеръ, Руссо, гдѣ написана „Новая Элоиза“, гдѣ жилъ Франклинъ, посѣщаетъ могилы знаменитыхъ писателей, въ Вестминстерскомъ аббатствѣ поклонился гробницамъ Шекспира и Ньютона, и т. д. Онъ исполненъ великаго уваженія къ дѣятелямъ европейскаго просвѣщенія и въ этомъ отношеніи представляетъ между прочимъ рѣзкую противоположность съ Фонъ-Визинымъ: кромѣ различія характеровъ, была различная степень образованія двухъ поколѣній. Правда, знакомство Карамзина съ европейскими писателями и учеными не было настолько серьезно, чтобы при этомъ посредствѣ русская литература обогатилась содержаніемъ тогдашней литературной эпохи: въ послѣдующее время Карамзинъ въ своихъ журналахъ только изрѣдка говорилъ объ этихъ писателяхъ и не о тѣхъ, которые были самыми крупными; но воспользовался ими для своего личнаго сентиментальнаго оптимизма, какъ, напр., Лафатеромъ и Боннетомъ. Одинъ изъ недостатковъ его путешествія находятъ въ томъ, что Карамзинъ мало вникалъ въ народную жизнь, имѣя мало интереса къ вопросамъ этнографическимъ и соціальнымъ,—но, во-первыхъ, подобные вопросы вообще мало занимали тогдашнихъ путешественниковъ, а во-вторыхъ, Карамзинъ не совсѣмъ забывалъ о нихъ, и, напримѣръ, былъ очень заинтересованъ политическими и общественными нравами Англіи. Быть можетъ, болѣе крупнымъ недостаткомъ „Писемъ“ было слишкомъ бѣглое отношеніе къ вопросамъ литературы, которая въ то время была едва ли не главнымъ образовательнымъ средствомъ для русскаго общества, и его отношеніе къ французскимъ событіямъ, въ которыхъ онъ и впослѣдствіи не видѣлъ ихъ широкаго историческаго значенія.

Возвратившись изъ путешествія, Карамзинъ предпринялъ изданіе журнала. Это былъ сначала „Московскій Журналъ“; за нимъ послѣдовали нѣсколько сборниковъ („Аглая“, „Аониды“), изданіе сочиненій („Мои бездѣлки“); въ началѣ царствованія Александра I онъ началъ издавать „Вѣстникъ Европы“.

Въ чемъ же заключалась особенность міровоззрѣнія и литературнаго направленія Карамзина?

Лишь въ общихъ чертахъ извѣстно, какими природными данными и какими образовательными вліяніями опредѣлялось

первое развитіе Карамзина. Это былъ талантливый юноша, съ мечтательной чувствительностью, которая тѣмъ больше развилась потомъ. Въ исторіи литературы много примѣровъ того, какъ извѣстное настроеніе эпохи находитъ какъ бы прирожденныхъ его выразителей. Карамзинъ какъ будто впередъ приготовленъ былъ къ тому, чтобы представить у насъ ту сторону восемнадцатаго вѣка, которая, наперекоръ сухому матеріализму, стремилась возвратить наивную непосредственность человѣка, живущаго „въ объятіяхъ натуры“, когда хотѣли возвратить права „нѣжному“ чувству, и если противорѣчія дѣйствительности или несчастія нарушали спокойную жизнь души или тревожили ее неразрѣшимые вопросы бытія, отдавались не столько холодному размышленію, религіозной покорности, сколько „сладкой меланхоліи“. Карамзина считаютъ начинателемъ у насъ, кратковременнаго впрочемъ, сентиментальнаго направленія, и дѣйствительно, эта черта проходитъ черезъ всю его литературную дѣятельность отъ первыхъ его произведеній, отъ „Писемъ русскаго путешественника“ и до „Исторіи государства россійскаго“ включительно. Давно указаны многочисленные источники, изъ которыхъ Карамзинъ почерпалъ это настроеніе (Томсонъ, Руссо, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ, Ричардсонъ и Фильдингъ, Стернъ и его французскіе подражатели, нѣмецкіе поэты); но было замѣчено также, что сентиментальность, какъ тонъ чувства, едва ли можетъ быть признана „направленіемъ“, когда собственно это была только манера. Сама по себѣ „чувствительность“ еще не предполагаетъ именно одного общественнаго міровоззрѣнія: у Руссо она соединялась съ призывомъ къ природѣ, съ какимъ-то стихійнымъ отрицаніемъ цивилизаціи, какъ ему казалось, только вредившей человѣчеству; у Стерна она переходила въ юморъ, мирную шутку, соединявшуюся и съ печалью о бѣдствіяхъ, окружающихъ человѣчество, но не становилась отрицаніемъ просвѣщенія; у третьихъ она соединялась съ піэтизмомъ или превращалась въ слезливую мечтательность, или, наконецъ, приводила къ бурному общественному протесту и т. д. Карамзинъ знакомъ былъ, быть можетъ, со всѣми подобными оттѣнками сентиментализма и въ его собственномъ настроеніи отражались различные его мотивы, но всего больше оно склонялось къ чувствительному оптимизму, который впослѣдствіи сдѣлалъ изъ него упорнаго консерватора. Изданная недавно переписка его съ Лафатеромъ представляетъ любопытное свидѣтельство о его внутренней жизни за первое время его сознательнаго развитія, и дополненіе къ его письмамъ изъ этой поры и къ автобіографической

повѣсти, гдѣ онъ разсказывалъ подъ именемъ Леона о своемъ дѣтствѣ и юности. Переписка съ Лафатеромъ начинается въ 1786 году, когда, по словамъ Карамзина, передъ тѣмъ онъ „сдѣлался большимъ любителемъ свѣтскихъ развлеченій“ и когда „одинъ достойный мужъ открылъ ему глаза и онъ сознавалъ свое несчастное положеніе“ [1]). „Сцена перемѣнилась. Внезапно все обновилось во мнѣ. Я вновь принялся за чтеніе и почувствовалъ въ душѣ своей сладостную тишину. Такой же образъ жизни продолжаю я вести и теперь, и живу въ Москвѣ, въ кругу моихъ истинныхъ друзей и руководителей“. Это былъ кружокъ Дружескаго Общества. Однимъ изъ „руководителей“ былъ несомнѣнно тотъ же И. П. Тургеневъ, повидимому, одинъ изъ главныхъ сотоварищей Новикова въ его масонско-просвѣтительной дѣятельности, раздѣлившій, хотя въ легкой степени, его гоненія при Екатеринѣ II, но при Павлѣ назначенный директоромъ московскаго Университета. Изъ сыновей Тургенева одинъ, Андрей, рано умершій, былъ другомъ Жуковскаго; другіе, Александръ и Николай, питомцы гёттингенскаго университета, стали извѣстными дѣятелями Александровскаго и Николаевскаго времени. Это была среда, гдѣ господствовало сильное стремленіе къ просвѣщенію, гдѣ одушевленіе старшаго поколѣнія передавалось и младшему, не стѣсняя послѣдняго. Одни въ этомъ младшемъ поколѣніи оставались въ направленіи руководителей, какъ Петровъ, какъ А. М. Кутузовъ, нѣкогда товарищъ Радищева по лейпцигскому университету, увлекшійся въ розенкрейцерство, но котораго Карамзинъ въ письмахъ къ Лафатеру называетъ своимъ „пріятелемъ“,—хотя Кутузовъ былъ гораздо его старше [2]). Карамзинъ самъ признавалъ, что здѣсь не стѣсняли его вкусовъ и мнѣній, но въ этомъ кругу онъ пріобрѣлъ значительное по тому времени литературное образованіе и наклонность къ размышленію о вопросахъ бытія и нравственности; но когда въ старшемъ поколѣніи эта наклонность находила себѣ удовлетвореніе въ піэтизмѣ, старавшемся отыскать себѣ философскую и научную основу, въ молодомъ поколѣніи она перешла въ болѣе широкое знакомство съ разнообразною литературою вѣка. Такъ было и у Карамзина. Любознательнаго и мечтательнаго юношу охватили

---

[1]) Въ примѣчаніяхъ Вальдмана, приложенныхъ къ этой перепискѣ, говорится, что этотъ „достойный мужъ“ былъ И. И. Дмитріевъ. Это замѣчаніе не оговорено въ академическомъ изданіи; но здѣсь надо, кажется, разумѣть И. П. Тургенева, который вывезъ Карамзина изъ Симбирска въ Москву.

[2]) Этотъ Кутузовъ былъ, между прочимъ, переводчикомъ Клопштока: „Мессія, поэма, сочиненная господиномъ Клопштокомъ. Переводъ съ нѣмецкаго. А. К.“ Москва. 1785—87.

тревожные вопросы, рѣшить которые было необходимо, чтобы установить сознательную нравственную жизнь, и такіе вопросы онъ предложилъ Лафатеру, который былъ тогда на вершинѣ своей славы [1]). Послѣ многихъ оговорокъ, исполненныхъ скромности и чувствительности, онъ дѣлаетъ Лафатеру (во второмъ письмѣ) слѣдующій вопросъ: „Какимъ образомъ душа наша соединена съ тѣломъ, тогда какъ они изъ совершенно различныхъ стихій? Не служило ли связующимъ между ними звеномъ еще третье отдѣльное вещество, ни душа, ни тѣло, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тѣло соединяются посредствомъ постепеннаго перехода одного вещества въ другое?“ Или иначе: „Какимъ способомъ душа дѣйствуетъ на тѣло, посредственно или непосредственно?“ Карамзинъ былъ вѣроятно очень удивленъ, когда Лафатеръ отозвался невѣдѣніемъ. „Еслибъ мнѣ, мой милый Карамзинъ,—писалъ онъ, — какое-нибудь существо подъ луной могло сказать, что̀ такое тѣло само по себѣ и что̀ такое душа сама по себѣ, то я бы вамъ тотчасъ объяснилъ, какимъ способомъ тѣло и душа дѣйствуютъ другъ на друга, въ какой взаимной связи они находятся, соприкасаются ли они между собой посредственно или непосредственно? Я думаю, однако, что намъ придется еще нѣсколько времени подождать этого просвѣщеннаго существа. Глазъ нашъ не такъ устроенъ, чтобы видѣть себя безъ зеркала,—а наше *я* видитъ себя только въ другомъ *ты*. Мы не имѣемъ себѣ точки зрѣнія на самихъ себя“. Приведенный вопросъ находится въ связи съ обращавшимися въ масонскомъ кружкѣ Новикова полу-мистическими, полу-алхимическими представленіями о человѣческой природѣ и о трехъ степеняхъ ея духовнаго существа. Обращеніе къ Лафатеру,—о которомъ, кромѣ его тогдашней славы, въ Москвѣ могли ближе знать отъ Ленца,—было характерно именно какъ переходъ отъ розенкрейцерскихъ мечтаній въ болѣе широкую область литературы: въ самомъ Лафатерѣ были черты мистики и піэтизма; его физіономическія изученія казались тогда великимъ открытіемъ и произвели сильное впечатлѣніе въ европейскомъ обществѣ, достигая до самыхъ его вершинъ. Среди броженія чувства и понятій это общество страстно искало какой-либо прочной опоры и за недостаткомъ ея началась даже вѣра въ чудеса: одни вѣрили въ чудеса розенкрейцерскія, другіе въ Каліостро и графа Сенъ-Жермена, и съ такимъ же легковѣріемъ искали психологиче-

[1]) Изъ обширной литературы о Лафатерѣ, его сочиненіяхъ и его общественной роли въ свое время, напомнимъ особенно разсказы Шлоссера („Исторія XVIII столѣтія“), до котораго дошли еще живыя впечатлѣнія и воспоминанія того времени.

скихъ откровеній у Лафатера, который, впрочемъ, самъ былъ здѣсь первымъ легковѣрнымъ. Вопросовъ, которые ставилъ Карамзинъ и на которые не рѣшился отвѣчать ему Лафатеръ, не могла бы объяснять вся тогдашняя (впрочемъ, и нынѣшняя) наука,—но, по крайней мѣрѣ, и тогдашняя наука могла бы дать болѣе прочныя объясненія въ другихъ вопросахъ, на которые также искали тогда отвѣта. Но путь науки былъ путь очень трудный, и у насъ особенно, при состояніи нашей школы; настоящая наука всегда отказывалась рѣшать вопросы, для объясненія которыхъ она не имѣетъ необходимыхъ данныхъ, и гораздо смѣлѣе отвѣчала на нихъ философія популярная, — что̀ бы она ни проповѣдовала, матеріализмъ, деизмъ или піэтизмъ. Наклонность къ мечтательности, къ сентиментальному любованію своими чувствованіями была видоизмѣненіемъ того раціоналистическаго резонерства, какимъ отличались прежнія поколѣнія; теперь это былъ господствующій складъ свѣтскаго образованія и привычки его остались у Карамзина на всю жизнь. Были искренніе мечтатели, у которыхъ это душевное состояніе было природой, и они всю жизнь оставались мечтателями; у другихъ это была привычная манера, которая, однако, могла мириться съ практическими воздѣйствіями жизни и забывать для нихъ о чувствительномъ идеалѣ. У Карамзина бывало первое, но потомъ преобладало второе.

Карамзинъ остановился на этой популярной философіи, въ которой соединились различные элементы его образованія: слѣды піэтизма, воспринятаго въ Дружескомъ Обществѣ и смягченнаго въ идеалистическое понятіе о Творцѣ и природѣ; любовь къ просвѣщенію, но въ особенности къ просвѣщенію мирному, мечтательному и безобидному; любовь къ человѣчеству съ оттѣнкомъ фантазій того вѣка о первобытной свободѣ, о благополучіи жить на лонѣ „натуры"; недавнія событія отразились у него почитаніемъ Франклина, въ прошедшемъ его героемъ былъ Вильгельмъ Телль. Когда Карамзинъ началъ потомъ издавать свои журналы и сборники, онъ явился наиболѣе просвѣщеннымъ въ средѣ тогдашнихъ русскихъ журналистовъ. Нельзя сказать, чтобы ему первому принадлежала заслуга того образовательнаго склада, какое онъ далъ своимъ изданіямъ: въ журналахъ Новикова подготовлялись уже изданія такого характера, но журналы Карамзина были выше прежде всего потому, что въ нихъ было гораздо больше трудовъ самостоятельныхъ, а затѣмъ по достоинствамъ изложенія. Кромѣ „Писемъ" и цѣлаго ряда статей о предметахъ нравственности и просвѣщенія, здѣсь появились тѣ произведенія Карамзина, которыя окончательно установили тогда

его литературную славу. Это были знаменитыя повѣсти: „Бѣдная Лиза“, „Наталья, боярская дочь“ (въ „Московскомъ Журналѣ“), „Марѳа Посадница“ (въ „Вѣстникѣ Европы“). Это были первыя русскія повѣсти, которыя стали крупнымъ литературнымъ фактомъ по своему чрезвычайному успѣху въ средѣ русскихъ читателей и вмѣстѣ съ нравоучительными сочиненіями Карамзина были самымъ яркимъ выраженіемъ его „сентиментальнаго направленія“...

Выше замѣчено, что сентиментализмъ самъ по себѣ оставался бы только пустою манерностью,—она скоро бросилась въ глаза и стала предметомъ насмѣшекъ въ твореніяхъ его подражателей, какъ Измайловъ, князь Шаликовъ и др. Чувствительность Карамзина не была до такой степени лишена содержанія: міровоззрѣніе его было идеалистическое, направленное къ свободѣ и счастью людей, къ наслажденію красотами и дарами природы, къ внутреннему міру человѣка, въ спокойствіи его души и въ удаленіи отъ житейскихъ треволненій. Эта чувствительность, которая въ самой европейской литературѣ являлась противовѣсомъ сухой разсудочности и смягчала самыя формы псевдо-классицизма, у насъ тѣмъ болѣе могла имѣть благотворное значеніе, какъ болѣе человѣчная струя, введенная въ грубые нравы: она учила, что есть внутренняя жизнь сердца, что есть обязанность и радость въ сочувствіи чужой человѣческой жизни, что можетъ быть наслажденіе въ чувствѣ природы. Подобныя вліянія новой литературы проникали еще раньше,—припомнимъ сцены чувствительности у не весьма чувствительныхъ людей, въ запискахъ Державина. Но теперь подобное настроеніе становилось господствующимъ: оно сопровождаетъ Карамзина постоянно,—въ каждой картинѣ, въ каждой встрѣчѣ, какія описываетъ онъ въ своемъ путешествіи, во всѣхъ его нравоучительныхъ разсужденіяхъ, наконецъ, въ томъ, что̀ говорилъ онъ о фактахъ русской общественной жизни (какъ въ „Вѣстникѣ Европы“), онъ находитъ поводъ къ сентиментальнымъ изліяніямъ. Это смягчающее, цивилизующее вліяніе сентиментальности можно предполагать изъ великаго успѣха повѣстей Карамзина. Окрестности Симонова монастыря, описанныя въ „Бѣдной Лизѣ“, стали для москвичей любимымъ гуляньемъ; прудъ, въ которомъ кончила жизнь героиня повѣсти, сталъ называться Лизинымъ прудомъ; стволы деревьевъ украшались чувствительными надписями. Повѣсть взята была изъ „русской“ жизни и производила иллюзію, что она дѣйствительно изображаетъ наши нравы: читатели не замѣчали, что эти нравы и рѣчи дѣйствующихъ лицъ искусственны и театральны,—точно

также, какъ въ „Натальѣ, боярской дочери" и „Марѳѣ Посадницѣ", въ которыхъ дѣйствіе перенесено во времена московскаго царства и великаго Новгорода. Двѣ послѣднія повѣсти любопытны и тѣмъ, что были первымъ опытомъ Карамзина перенестись въ прошедшее и здѣсь въ изображеніи старины появляются уже тѣ сентиментальныя прикрасы, которыя наполняютъ потомъ „Исторію государства Россійскаго"... Но если въ тогдашнемъ состояніи общества приливъ сентиментальности могъ имѣть свое полезное вліяніе, то съ другой стороны ея искусственность могла быть неумѣстна и прямо вредна, когда распространялась на теоретическіе вопросы, на дѣла общественныя, на исторію. Карамзинъ самъ замѣчалъ это, когда въ статьѣ „Нѣчто о наукахъ" говорилъ о Руссо; но подобное произошло и съ нимъ, когда внушенія чувствительности онъ хотѣлъ дѣлать аргументомъ или украшеніемъ исторіи, или рѣшать ею общественный вопросъ. Прежній поклонникъ Франклина и Вильгельма Телля потомъ забылъ объ нихъ и прежній панегиристъ Петра Великаго впослѣдствіи желчно осуждалъ реформу въ „Запискѣ о древней и новой Россіи".

Въ повѣсти „Наталья, боярская дочь", написанной въ 1792, начинается уже сентиментальная идеализація русской древности. „Кто изъ насъ,—говоритъ онъ,—не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу, т.-е. говорили какъ думали",—въ этой идеализаціи старины Карамзинъ имѣлъ уже предшественника въ Новиковѣ [1]). Отецъ Натальи былъ мудрый бояринъ, сама она „имѣла всѣ свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя русскіе не читали тогда ни Локка о воспитаніи, ни Руссова Эмиля". Событія повѣсти были, однако, весьма неправдоподобны для русской древности. Дѣвица сбѣжала изъ родительскаго дома и повѣнчалась съ молодымъ человѣкомъ, сыномъ опальнаго боярина, полагая, что отецъ не дастъ согласія на этотъ бракъ,—но кончилось все благополучно. Началась война; Наталья, сокрушаясь объ отцѣ, и ея супругъ, огорчаясь царской опалой, рѣшили отличиться, отправились вмѣстѣ на войну и она, надѣвъ панцырь и „легкое оружіе", оказала вмѣстѣ съ молодымъ мужемъ чудеса храбрости. Царь, удивленный ихъ подвигами, потребовалъ ихъ къ себѣ, узналъ ихъ исторію, простилъ молодого боярина, помирилъ ихъ съ отцомъ и они благополучно

[1]) Предисловіе къ „Древней россійской Вивліоѳикѣ" (1773) и журналъ „Кошелекъ" (1774).

жили потомъ до глубокой старости. Въ „Марѳѣ Посадницѣ“ любопытно сочувственное изображеніе древняго Новгорода, но въ сентиментальномъ разсказѣ опять нѣтъ никакого историческаго колорита: новгородцы и московскіе воеводы говорятъ длинныя рѣчи, составленныя по правиламъ реторики, и т. п.

Поворотъ въ сентиментальности Карамзина, которая изъ прежней свободолюбивой стала умѣренно консервативною, объясняютъ мрачнымъ исходомъ французской революціи: онъ отчаявался въ будущей судьбѣ человѣчества, считалъ не только возможнымъ, но вѣроятнымъ, даже неминуемымъ паденіе наукъ, когда свирѣпствуетъ опустошительная война, когда истребляются собранныя вѣками драгоцѣнности человѣческаго ума, когда ненавистники наукъ съ торжествомъ указываютъ въ происходящихъ ужасахъ плоды просвѣщенія. Въ концѣ концовъ Карамзинъ утѣшался, что если нѣкогда слишкомъ много величали XVIII вѣкъ, то прійдутъ лучшія времена, что сѣмя добра не истребится въ человѣчествѣ, что нравственность исправится, что, „разумъ, оставивъ всѣ химерическія предпріятія, обратится на устроеніе мирнаго блага жизни и зло настоящее послужитъ добру будущему“, что „свѣтильникъ наукъ не угаснетъ на земномъ шарѣ“. Эти слова были сказаны кстати въ свое время; въ послѣдніе годы Екатерины II и много позднѣе ненавистники просвѣщенія высказывали подобныя обвиненія противъ (французскаго) просвѣщенія, и даже изъ нашествія Наполеона дѣлали обвиненіе противъ русскихъ любителей французской литературы... Въ дѣйствительности, что̀ бы ни происходило во Франціи, свѣтильникъ науки не угасалъ и, напротивъ, событія еще возвысили энергію мысли: богатый послѣдствіями переворотъ совершился не только въ политической, но и въ умственной жизни народовъ,—литература XIX вѣка уже вскорѣ стала выше того, что̀ сдѣлано было XVIII вѣкомъ. Карамзинъ остался на популярной точкѣ зрѣнія. Вскорѣ онъ совсѣмъ удалился отъ вопросовъ нравственной философіи и литературы, отдавшись исключительно русской исторіи. Благодаря содѣйствію М. Н. Муравьева, онъ съ 1803 года получилъ возможность вполнѣ посвятить себя своему историческому труду.

„Исторія государства россійскаго“ составляетъ величайшую его славу. Извѣстно, какое сильное впечатлѣніе произвела она при своемъ появленіи, какъ быстро разошлось первое изданіе, какъ заговорили о ней всѣ и даже тѣ, кто раньше не бралъ въ руки русской книги. Пушкинъ былъ юношей въ это время; вѣроятно подъ вліяніемъ толковъ либеральной молодежи, которая осталась недовольна „Исторіей“, онъ позволилъ себѣ шутливыя

эпиграммы на нее, но, кажется, уже вскорѣ пожалѣлъ о нихъ, и сталъ горячимъ поклонникомъ „Исторіи государства Россійскаго“. Карамзинъ, по его словамъ, былъ Колумбомъ, который открылъ для русскихъ ихъ прошедшее; „священной памяти“ его онъ посвящаетъ „Бориса Годунова“. Правда, нашлись критики, которыхъ „Исторія“ не удовлетворяла—кромѣ упомянутыхъ либераловъ молодого поколѣнія, два три спеціалиста по русской исторіи, и нѣсколько позднѣе два-три „скептика“; но въ руководящемъ литературномъ кругу и въ массѣ общества „Исторія“ была превознесена какъ великій національный памятникъ литературы, и Карамзинъ былъ „святое имя“. Панегирикъ, почти безусловный, дошелъ до новѣйшаго времени: „Исторія“ есть „египетская пирамида“, „исполинскій трудъ“, она обладаетъ „недосягаемымъ величіемъ“, это—„единственная исторія въ подлинномъ смыслѣ слова, какую только имѣетъ русская земля“ [1]), и т. д. Соловьевъ, въ давнемъ изслѣдованіи объ историческомъ трудѣ Карамзина [2]), дѣлалъ уже осторожныя указанія о томъ, что отношеніе Карамзина къ его предшественникамъ было не совсѣмъ таково, какъ думали, что онъ гораздо больше былъ имъ обязанъ. Новѣйшее изслѣдованіе указало, что русская исторіографія до Карамзина вовсе не представляла такого хаоса, какъ было принято думать, что, напротивъ, въ ней сдѣлано было весьма много существеннаго, что не только было приведено въ извѣстность множество источниковъ, но для древнѣйшаго періода они были столько разработаны, что Карамзинъ во многихъ случаяхъ шелъ прямо по слѣдамъ своихъ предшественниковъ, особливо Шлёцера [3]). Въ общемъ построеніи исто-

---

[1]) Выраженія изъ біографіи Погодина. М. 1866 (первый весьма неумѣренный панегирикъ былъ сдѣланъ въ „Историческомъ похвальномъ словѣ Карамзину“. М. 1845), и изъ Бестужева-Рюмина: „Біографіи и характеристики“. Спб. 1882; гораздо болѣе умѣренно у Грота: „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, составленный къ юбилею 1866 („Сборникъ“ Русск. Отд. Акад., т. I).

[2]) Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1854.

[3]) Г. Милюковъ замѣчаетъ по поводу того, какъ Карамзинъ предлагалъ „свое“ мнѣніе о Несторовой хронологіи: „...При этомъ ни въ текстѣ, ни въ примѣчаніяхъ Карамзинъ не упоминаетъ, что эти разсужденія принадлежатъ не ему, а Шлёцеру и Миллеру. Эта черта,—замѣтимъ кстати,—будетъ сопровождать насъ черезъ всю „Исторію государства Россійскаго“. Карамзинъ почти никогда не называетъ своихъ посредниковъ между собственною работой и сырымъ матеріаломъ: впечатлѣніе работы, при этомъ умолчаніи, получается, дѣйствительно, грандіозное. „Надлежало сообразить все, написанное греками и римлянами о нашихъ странахъ, отъ Геродота до Аммiана Марцеллина; все написанное византійскими историками о славянахъ и другихъ народахъ, которыхъ исторія имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ россійской“; такъ описываетъ свой трудъ самъ Карамзинъ Муравьеву. Для шести мѣсяцевъ, дѣйствительно, „трудъ и подвигъ геркулесовскій“, и даже невозможный, еслибы Карамзину пришлось читать подлинники древнихъ авторовъ и выбирать самому мѣста изъ Corpus scriptorum byzantinorum; еслибы „все написанное греками и римлянами отъ Геродота до Амміана Марцеллина“ не было переведено уже у Татищева, а „все напи-

рическаго плана Карамзинъ опять слѣдуетъ предшественникамъ —Шлёцеру, даже Татищеву, потомъ Щербатову. „Карамзинъ, конечно, во многое уже не вѣритъ изъ того, во что вѣритъ Татищевъ. Его уже не могутъ ввести въ заблужденіе московскія историческія легенды. Но, критикуя и устраняя детали, онъ сохраняетъ общее построеніе“. Въ самомъ изложеніи событій есть всѣ основанія думать, что кн. Щербатовъ былъ для Карамзина такимъ же основнымъ источникомъ свѣдѣній, какъ Татищевъ для Болтина. Въ первомъ томѣ „Исторіи“ вліяніе Щербатова незамѣтно въ виду богатства спеціальной литературы о началѣ Руси, но оно становится все болѣе видно въ слѣдующихъ томахъ по мѣрѣ оскудѣнія литературы [1]).

„Вліяніе щербатовской исторіи,—продолжаетъ г. Милюковъ,— не ослабѣваетъ до самаго конца „Исторіи государства Россійскаго“. Конечно, Карамзинъ самостоятельно изучаетъ свои источники, но и тутъ Щербатовъ указываетъ ему, гдѣ, когда и что̀ надо изучать. Княжескіе договоры и завѣщанія, присоединяющіеся къ лѣтописямъ съ половины XIII-го вѣка, статейные списки посольствъ, присоединяющіеся съ конца XV-го в., иностранцы, начиная съ Плано Карпини и кончая Мартиномъ Беромъ (Буссовымъ),—всѣ эти источники уже разставлены по мѣстамъ и употреблены въ дѣло Щербатовымъ. Но не только въ указаніяхъ на источники помогаетъ Карамзину Щербатовъ; еще сильнѣе обнаруживается его вліяніе въ самомъ разсказѣ. Часто порядокъ изложенія Щербатова принимается и Карамзинымъ, еще чаще Карамзинъ принимаетъ отдѣльныя толкованія и предположенія Щербатова, его поправки и объясненія какихъ-нибудь генеалогій или недостающихъ событій. Разумѣется, нерѣдко встрѣчаемъ и поправки Карамзинымъ Щербатова... Нужно самому сличить страница за страницей эти параллельныя изложенія, чтобы почувствовать, какъ повсюду, въ началѣ, въ серединѣ, въ концѣ сочиненія, на каждой страницѣ Карамзинъ имѣетъ въ виду Щерба-

санное византійскими историками о славянахъ и другихъ народахъ“ не было извлечено въ Memoriae populorum Штриттера и еще разъ извлечено, для большей доступности, изъ этихъ Memoriae въ четырехъ маленькихъ томикахъ, изданныхъ по-русски“.

[1]) Карамзинъ съ самаго начала былъ нерасположенъ къ Татищеву (подчинившись мнѣнію Шлёцера объ Іоакимовской лѣтописи, какъ выдумкѣ Татищева, и не раздѣляя другихъ взглядовъ послѣдняго) и его послѣдователю Болтину. „Хотя Карамзинъ и обѣщаетъ въ одномъ изъ писемъ „не оскорблять памяти“ обоихъ, отмѣчая ихъ „грубыя ошибки“, но обѣщаніе это врядъ ли можно считать выполненнымъ. Молча поправляя Щербатова тамъ, гдѣ Болтинъ правъ въ своей критикѣ, Карамзинъ систематически преслѣдуетъ въ своихъ примѣчаніяхъ и Болтина и Татищева, гдѣ только представляется для этого удобный случай. Къ Щербатову, по причинамъ, уважительнымъ по самому существу дѣла, Карамзинъ относится болѣе сочувственно“.

това. Видно, что томъ Щербатовской исторіи всегда лежалъ на письменномъ столѣ исторіографа и давалъ ему постоянно готовую нить для разсказа и тему для разсужденія; и часто Карамзину оставалось только передѣлать ссылку и сдѣлать соотвѣтственную выписку изъ источника. Въ результатѣ пересказа и передѣлки, тяжеловѣсныя, неуклюжія фразы Щербатова превращаются въ блестящіе, закругленные и отточенные періоды Карамзина; но очень часто настоящій смыслъ и заднія мысли этихъ красивыхъ періодовъ мы поймемъ только тогда, когда будемъ имѣть передъ глазами параллельное изложеніе Щербатова".

Авторъ приходитъ къ выводу, что Карамзинъ въ исторической конструкціи своего труда не столько начинаетъ собою новую эпоху русской исторіографіи, сколько заканчиваетъ старую. Можно прибавить, что и самая Записка о древней и новой Россіи не столько полагала основу дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ объ отношеніи двухъ историческихъ періодовъ, сколько отражала давнія недоумѣнія о значеніи реформы и давнія предположенія о средствахъ къ благоустройству русской жизни. Связь идей „Записки" съ точкой зрѣнія кн. Щербатова (въ трактатѣ „о поврежденіи нравовъ" и пр.) едва ли подлежитъ спору.

„Исторія государства Россійскаго" произвела сильное впечатлѣніе, главнымъ образомъ, по своимъ художественнымъ достоинствамъ. Масса читателей не могла понимать, насколько то или другое въ трудѣ Карамзина могло быть самостоятельно или было уже подготовлено его предшественниками: старые историческіе писатели были забыты тѣмъ легче, что не отличались достоинствами изложенія,—тяжелые томы кн. Щербатова, вѣроятно, и въ свое время они не имѣли особенно усердныхъ читателей, и тѣмъ менѣе могъ имѣть ихъ Татищевъ, или спеціальные труды Миллера, Шлёцера, Штриттера. Карамзинъ собралъ все это въ связную картину, и она представилась его исключительнымъ созданіемъ. Мы видѣли, что научная оцѣнка „Исторіи" въ сличеніи съ предшествующимъ періодомъ не была сдѣлана еще до недавняго времени,—понятно, что ея не могло быть въ ту минуту. Въ первый разъ „Исторія" явилась, въ 1816, въ составѣ восьми первыхъ томовъ, и этотъ трудъ поражалъ своею обширностью и тѣмъ болѣе искусствомъ расположенія, изяществомъ разсказа, возвышеннымъ патріотическимъ тономъ. Еще не далека была его слава, какъ автора „Писемъ русскаго путешественника", которыя еще теперь находили подражателей, и какъ автора повѣстей: въ извѣстномъ кругу придавало значеніе его труду и обстоятельство, что онъ былъ оффиціальнымъ исто-

ріографомъ, что самъ императоръ къ нему былъ расположенъ; наконецъ книга являлась въ то время, когда только-что миновали грозныя событія Наполеоновскихъ войнъ и еще не успокоилось взволнованное патріотическое чувство... Пушкинъ по своему времени былъ правъ, называя Карамзина Колумбомъ русской исторіи, потому что, дѣйствительно, онъ открывалъ эту исторію массѣ общества. Въ біографіи послѣдующихъ русскихъ писателей мы не однажды встрѣтимся съ „Исторіей“ Карамзина, какъ съ источникомъ умственнаго и патріотическаго возбужденія. Въ литературѣ она оставила свой слѣдъ въ историческомъ романѣ и драмѣ, и наконецъ сдѣлалась однимъ изъ основаній извѣстнаго направленія, которое такъ часто выставляло себя единственно патріотическимъ.

Разсматриваемый съ историко-литературной точки зрѣнія трудъ Карамзина дѣйствительно скорѣе заканчиваетъ старую эпоху нашей исторіографіи, чѣмъ начинаетъ новую. Его взглядъ на историческую работу былъ взглядъ художника и патріотическаго моралиста скорѣе, чѣмъ взглядъ изслѣдователя. Біографы Карамзина замѣчаютъ, что мысль объ историческомъ трудѣ могла давно занимать Карамзина, а именно еще съ начала 1790-хъ годовъ, на самомъ дѣлѣ это было скорѣе съ конца этого десятилѣтія; но тотъ же взглядъ на историческіе пріемы былъ высказанъ еще въ „Письмахъ русскаго путешественника“. Онъ писалъ тогда: „Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы... Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ. Родословныя князей, ихъ ссоры, междоусобія, набѣги половцевъ—не очень любопытны, соглашаюсь, но зачѣмъ наполнять ими цѣлые тома? Что̀ не важно, то сократить, но всѣ черты, которыя означаютъ свойство народа русскаго, характеръ нашихъ древнихъ героевъ, отмѣнныхъ людей, происшествія дѣйствительно любопытныя описать живо, разительно. У насъ былъ свой Карлъ Великій—Владиміръ“ и т. д. Этотъ взглядъ въ сущности не измѣнился и послѣ, когда онъ дѣйствительно приступилъ къ своему труду. Изслѣдуя эти историческіе пріемы Карамзина, тотъ же критикъ замѣчаетъ: „И такъ, не историческое изученіе, не разработка сырого матеріала исторіи, а художественный пересказъ данныхъ уже извѣстныхъ,—вотъ та заманчивая задача, которая рисуется въ воображеніи будущаго историка. Изъ наличнаго исто-

рическаго матеріала—иное сократить, иное раскрасить; выкинуть неблагодарную путаницу событій и остановиться на благодарныхъ эпизодахъ и характерахъ, все это одушевить чувствомъ; исторія русская можетъ быть незанимательной, но что художественное произведеніе на мотивы русской исторіи, составленное по этому рецепту, непремѣнно будетъ занимательно, за это ручаются умъ, вкусъ и талантъ художника. „Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать себя пріятнымъ для ума образомъ",—повторяетъ Карамзинъ ту же мысль въ своемъ предисловіи.—Подъ „бѣднымъ предметомъ" надо разумѣть здѣсь русскую исторію, а пріятно ознаменуетъ себя въ этомъ предметѣ—Исторія государства Россійскаго". При первомъ приступѣ къ работѣ Карамзинъ спѣшилъ набросать мысли для будущаго предисловія, гдѣ хотѣлъ указать важность и интересъ исторіи: она должна удовлетворить нашему любопытству о судьбѣ предковъ, должна учить благоразумію, ободрять сравненіемъ; древнія времена могутъ имѣть для насъ прелесть поэзіи; затѣмъ звучныя фразы набросаны по-французски. „Видно,—говоритъ тотъ же критикъ,—что не мысль важна для Карамзина въ этихъ отрывкахъ, слишкомъ неоконченныхъ, чтобы выражать какую-либо мысль, а образное сравненіе, красиво выраженное. И вотъ, всѣ двѣнадцать лѣтъ, пока исторіографъ пишетъ свои первые восемь томовъ, эти картинныя фразы не выходятъ изъ его головы, пока не укладываются, наконецъ, блистательными рядами въ его знаменитомъ предисловіи. „Я ободрялъ себя мыслью, что въ повѣствованіи о временахъ отдаленныхъ есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображенія: тамъ источники поэзіи! Взоръ нашъ, въ созерцаніи великаго пространства, не стремится ли обыкновенно мимо всего близкаго, яснаго—къ концу горизонта, гдѣ густѣютъ, меркнутъ тѣни и начинается непроницаемость". Такъ даже изъ скудости матеріала историкъ предлагалъ читателю извлекать эстетическое наслажденіе.

„...Исторія должна быть занимательна: по соображеніямъ утилитарнымъ, по соображеніямъ эстетическимъ, по соображеніямъ патріотическимъ, какъ бы то ни было, но исторія должна быть занимательна. Вотъ основная идея, неотвязно преслѣдующая исторіографа. Разумѣется, самъ онъ сдѣлаетъ все возможное и употребитъ всѣ средства для осуществленія этой задачи: сократитъ, раскраситъ, оживитъ патріотизмомъ. Не совершивъ еще никакихъ грѣховъ противъ исторической достовѣрности, онъ въ тѣхъ же набросках уже примѣриваетъ позу кающагося грѣшника. „Знаю, намъ нужно безпристрастіе историка: простите, я не всегда могъ

скрыть любовь къ отечеству“. И эта мысль, правда, въ болѣе сдержанной формѣ, оживаетъ, какъ извѣстно, въ предисловіи. „Чувство: мы, наше—оживляетъ повѣствованіе... любовь къ отечеству даетъ... кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души“.

По справедливому замѣчанію критика, это возвращаетъ насъ къ историческимъ пріемамъ Ломоносова, Эмина и пр., т.-е. къ пріемамъ псевдо-классической школы, гдѣ исторія прежде всего, или исключительно, понималась какъ художественное, т.-е. реторически исполненное произведеніе по древнимъ образцамъ. Если къ Тациту Карамзинъ прибавлялъ Юма, Робертсона, Гиббона, это не измѣняло дѣла: основной интересъ оставался тотъ же—занимательность разсказа, гдѣ нужно „раскрашеннаго“, и патріотическое поученіе. Украшеніе разсказовъ достигалось опять старыми средствами псевдо-классическаго художества, средствами стилистическими, а также сентиментальнымъ тономъ: то и другое могло оживлять разсказъ, но нерѣдко не отвѣчало главному—исторической дѣйствительности. Для красивости разсказа Карамзинъ не однажды отступаетъ, напримѣръ, отъ текстовъ древней лѣтописи и пользуется позднѣйшими источниками, которые самъ признавалъ недостовѣрными, реторическимъ стилемъ сглаживаетъ черты времени, видитъ „нѣжную чувствительность“ въ такіе вѣка, которые ея совсѣмъ не знали, и т. под.

Въ научномъ отношеніи это была, конечно, ошибка, потому что терялся историческій колоритъ; ошибкой было и пониманіе россійскаго государства со временъ Рюрика, пониманіе, унаслѣдованное отъ XVIII вѣка. Безъ сомнѣнія, „Исторія“ имѣла свои научныя заслуги, особливо въ той части, какая отнесена въ примѣчанія: онъ далъ много частныхъ объясненій, которыя были вѣрны и новы; кромѣ извѣстныхъ тогда лѣтописей и актовъ онъ воспользовался большимъ количествомъ матеріаловъ архивныхъ, ранѣе неизвѣстныхъ, и нѣкоторыя извлеченія изъ нихъ сохранились только въ его примѣчаніяхъ, потому что самые памятники утрачены. Великой заслугой Карамзина было упомянутое общественное впечатлѣніе „Исторіи“, которое способствовало развитію въ обществѣ историческихъ интересовъ. Это нравственное дѣйствіе, хотя трудно исчислимое, не подлежитъ сомнѣнію; но что касается собственно научной разработки предмета, значеніе „Исторіи“ опредѣляется иначе, нежели это казалось ближайшему потомству. „Чѣмъ была эта наука до выступленія Карамзина?— говоритъ упомянутый критикъ.—Нѣсколько знатныхъ любителей, нѣсколько иностранныхъ профессоровъ и нѣсколько учениковъ,

отправленныхъ академіей за границу,—вотъ и весь нашъ populus historicorum конца прошлаго столѣтія. Послѣ Карамзина картина какъ бы волшебствомъ измѣняется. Мы видимъ цѣлое ученое сословіе историковъ, оффиціально существующее историческое общество, спеціальный историческій журналъ и массу историческихъ статей въ неспеціальныхъ журналахъ, живую работу детальнаго изслѣдованія съ постояннымъ обмѣномъ мыслей, съ письменною и печатною полемикой. На извѣстномъ разстояніи отъ этихъ явленій впечатлѣніе получается такое, какъ будто весь этотъ быстрый расцвѣтъ учености произведенъ Исторіей государства Россійскаго. Немудрено, что именно такой выводъ и сдѣлали панегиристы исторіографа. За „Исторіей" Карамзина было, такимъ образомъ, надолго упрочено значеніе эры въ русской исторіографіи.

„Въ наше время, однако, все болѣе выплываетъ изъ-подъ спуда дѣятельность современниковъ, потонувшая въ лучахъ славы Исторіи государства Россійскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ становится все яснѣе, что то, что̀ казалось причинною связью, есть не болѣе, какъ простое хронологическое совпаденіе. Въ нашей исторической наукѣ, дѣйствительно, совершился переворотъ въ эти немногіе годы. Любопытство дилеттанта быстро уступило въ ней мѣсто научному интересу изслѣдователя, и задачи, и пріемы изслѣдованія совершенно видоизмѣнились. Но это быстрое развитіе науки шло не *черезъ* Исторію государства Россійскаго, а *мимо* нея".

Дѣйствительно, ученыя общества, работы по изученію памятниковъ языка, древностей, начинались независимо отъ Карамзина изъ старыхъ преданій того же XVIII вѣка, а также изъ новыхъ самостоятельныхъ опытовъ исторической критики. Справедливо замѣчено было, что Карамзинъ имѣлъ своихъ поклонниковъ, но не имѣлъ школы. „Исторія" осталась величественнымъ литературнымъ памятникомъ, а также собраніемъ важнаго матеріала, но не давала руководящихъ идей для дальнѣйшаго развитія исторіографіи. Эти руководящія идеи явились изъ того же источника, на которомъ вообще опиралась русская наука—изъ западной исторіографіи, которая научала болѣе глубокому примѣненію исторической критики, которая думала о философской исторіи и вообще указывала первую задачу исторіи не въ повѣствованіи, а въ изслѣдованіи внутренняго процесса исторической жизни. Дальнѣйшіе опыты и поиски нашихъ историковъ покидали теорію Карамзина, и плодотворность новыхъ изысканій сказалась именно въ томъ, что онѣ

направились на раскрытіе внутреннихъ началъ русской жизни. Художество отступило совсѣмъ на второй планъ, зато началось дѣйствительное объясненіе историческихъ процессовъ. Съ изслѣдованіями Эверса о древнемъ русскомъ правѣ начинается это стремленіе объяснять внутренній ходъ историческаго развитія, и съ сороковыхъ годовъ въ трудахъ Соловьева является новое построеніе русской исторіи, совсѣмъ не похожее на Карамзина и которое по своему плану и пріему не имѣетъ съ нимъ ничего общаго. Въ сороковыхъ годахъ, между „славянофилами" и „западниками" иначе, чѣмъ нѣкогда въ Запискѣ Карамзина, поставленъ былъ вопросъ о древней и новой Россіи, — уже не по его взглядамъ, а по новымъ понятіямъ о законахъ національнаго развитія.

Слава Карамзина установилась у его современниковъ такъ прочно, въ его твореніяхъ и именно въ „Исторіи" видѣли такой возвышенный памятникъ историческаго искусства, любви къ отечеству и политической мудрости, что спокойное историческое отношеніе къ его труду долгое время было совершенно невозможно. На это указывалъ еще Бѣлинскій [1]) и такъ было до самаго недавняго времени. Но если критика безпристрастная считаетъ основной трудъ Карамзина скорѣе завершеніемъ стараго періода исторіографіи, чѣмъ основаніемъ новаго, тѣмъ болѣе подобное сужденіе можетъ быть приложено къ его остальнымъ произведеніямъ: хронологически онѣ едва выходятъ за предѣлы XVIII вѣка и принадлежатъ ему всѣмъ своимъ характеромъ. Карамзинъ имѣлъ большое значеніе для русскаго общества, въ кругу понятій, какія выработались въ этомъ обществѣ въ XVIII столѣтіи; ему принадлежитъ великая заслуга въ томъ, что онъ приблизилъ литературу къ обществу, какъ приблизилъ и языкъ литературы къ живой общественной рѣчи и сообщилъ ему извѣстное изящество; но его вліяніе, какъ сентиментальнаго писателя, было непродолжительно; для ближайшаго поколѣнія повѣсти Карамзина стали только историческимъ воспоминаніемъ, какъ самый языкъ въ сущности скоро устарѣлъ и въ слѣдующемъ литературномъ поколѣніи считался уже манернымъ. Не будемъ говорить здѣсь объ его политическихъ воззрѣніяхъ, на которыхъ имѣли случай подробно останавливаться въ другомъ мѣстѣ: довольно сказать, что въ этой области онъ являлся консерваторомъ, которому остались чужды не только либеральныя идеи тогдашняго молодого поколѣнія (ихъ крайностямъ онъ могъ

[1]) Ср. Сочиненія, т. I, стр. 60—62 (писано въ 1834 году).

справедливо не сочувствовать), но гораздо болѣе серьезныя потребности русскаго общественнаго и государственнаго быта.

Если Карамзинъ оставался въ первой четверти XIX столѣтія представителемъ предъидущаго вѣка, то подобный отголосокъ того вѣка приносилъ съ собою другой писатель, который, однако, едва ли не первый былъ представителемъ новаго періода русской литературы, гдѣ вслѣдъ за нимъ явился Пушкинъ. Это былъ Жуковскій. Историки литературы издавна указываютъ на его подражательность, перечисляютъ европейскихъ поэтовъ, которыхъ онъ переводилъ, которые бывали образцами для его собственныхъ произведеній; но вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ едва ли не первый истинный поэтъ новѣйшаго теченія русской литературы,—поэтъ, у котораго къ большому дарованію присоединялась глубокая вѣра въ нравственное назначеніе поэзіи и который дѣйствительно жилъ въ своей поэзіи. Историки литературы, отмѣчая его несамостоятельность, согласно указываютъ великую заслугу его въ томъ, что своими переводами и переложеніями онъ внесъ въ нашу литературу цѣлый новый міръ поэтическаго содержанія, передавая въ изящныхъ и мелодическихъ стихахъ произведенія романтической поэзіи, и этимъ открывалъ путь новому періоду литературы, гдѣ на подготовленной имъ почвѣ могла наконецъ расцвѣсти самобытная русская поэзія. Но въ Жуковскомъ можно цѣнить, какъ важный фактъ литературнаго развитія, не только эту заслугу поэтическаго труда, но и самую личность, которая была въ нашемъ литературномъ мірѣ первымъ типомъ писателя, для котораго поэзія не была прихотью таланта, развлеченіемъ досуга,—не говоримъ уже: піитическимъ ремесломъ, —но истиннымъ призваніемъ, наконецъ—настоящей религіей. Онъ могъ быть несамостоятеленъ въ своихъ сюжетахъ, его собственныя произведенія могли потомъ казаться устарѣлыми по ихъ манерѣ, но тѣмъ не менѣе для читателя поэзія Жуковскаго остается привлекательна, потому что въ нее вложена задушевность истинной поэзіи, для историка она представляетъ индивидуальный характеръ, и съ нимъ историческую заслугу. Если потомъ, и уже вскорѣ, мы встрѣтимъ въ нашей литературѣ высокое представленіе о достоинствѣ поэзіи, объ ея царственномъ правѣ, то первый, кто указывалъ подобное значеніе поэзіи, былъ именно Жуковскій.

Литература той поры, когда шло поэтическое воспитаніе Жуковскаго и потомъ начиналась его собственная дѣятельность,

была еще далека отъ самобытности. Ближайшій предшественникъ его, Карамзинъ, вызывавшій благоговѣйное поклоненіе въ образованномъ кругѣ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ, къ которому принадлежалъ Жуковскій и который совмѣщался въ знаменитомъ (не совсѣмъ по заслугамъ) „Арзамасѣ“,—Карамзинъ въ своихъ литературныхъ идеяхъ былъ также отъ нея далекъ; мы постоянно видимъ у него отголоски западныхъ образцовъ, на которыхъ воспиталось и его міровоззрѣніе, и его „вкусъ“. Его искусственная чувствительность увлекала современниковъ, потому что была нова и потому что грубымъ общественнымъ нравамъ нуженъ былъ, наконецъ, противовѣсъ, хотя бы въ мечтательной человѣчности и любви къ природѣ; Карамзинъ увлекалъ и своимъ языкомъ, который впервые смягчилъ черствыя формы литературной рѣчи XVIII вѣка, казался музыкальнымъ и нѣжнымъ (на дѣлѣ онъ бывалъ слащавымъ),—но въ этой литературной школѣ въ концѣ концовъ не могло не чувствоваться что-то чужое, далекое отъ истинной поэзіи, какъ и отъ настоящей жизни. Не говоримъ о предшественникахъ самого Карамзина: ихъ зависимость отъ образца, хорошаго или худого, бросается въ глаза; самъ Державинъ, у котораго бывали истинно поэтическіе моменты, представляетъ странную смѣсь дѣйствительнаго вдохновенія и внѣшняго разсчитаннаго стихотворства: поэзія не слилась съ его нравственной природой, она была какъ бы внѣшней прибавкой къ его служебнымъ дѣламъ, въ которыхъ иногда и принимала участіе; ему приходилось убѣждаться, что самые предметы, которымъ онъ отдавалъ свои поэтическіе восторги, ихъ не заслуживали; художественное чувство было такъ мало воспитано, что почти рядомъ съ произведеніями дѣйствительно поэтическими онъ могъ писать вещи, поражающія своимъ безвкусіемъ. Если идти еще дальше, произведенія самого Ломоносова, далеко не лишенныя отдѣльныхъ порывовъ поэтическаго одушевленія, въ сущности были восторженными панегириками тѣмъ, кого онъ считалъ покровителями просвѣщенія, ораторскими рѣчами въ стихотворной формѣ въ защиту этого просвѣщенія... У Карамзина не найдемъ той поэтической струи, которая приближала бы искусство или къ дѣйствительно поэтическимъ сторонамъ русской жизни, или къ истиннымъ движеніямъ чувства; ему казалось даже, что „русскій языкъ не сотворенъ для поэзіи“...

По этому ходу русской литературы можно было бы думать, что для ея дальнѣйшаго успѣха былъ именно необходимъ писатель, который довершилъ бы эти почти вѣковыя усилія лите-

ратуры, внося элементъ, котораго ей все еще недоставало—элементъ непосредственной поэзіи, наполняющей всю душевную природу поэта и богатой всѣми ранѣе пріобрѣтенными успѣхами: исторія какъ будто угадываетъ эти потребности развитія и выдвигаетъ новыя силы. Въ самомъ дѣлѣ, въ теченіе XVIII вѣка въ разныхъ областяхъ научнаго знанія и литературы совершено было много усерднаго труда, пробуждались здоровыя общественныя потребности, начиналось, наконецъ, хотя все еще подъ чужими вліяніями, исканіе нравственнаго идеала: нужно было, чтобы весь этотъ трудъ былъ одушевленъ тою нравственною и художественною силой, которую приноситъ съ собой истинная поэзія. По всѣмъ историческимъ условіямъ, которыя не допускали еще свободнаго и зрѣлаго проявленія національно-поэтическаго содержанія, этотъ новый элементъ могъ не быть еще вполнѣ самобытнымъ по содержанію и формамъ творчества, — но довольно было для данной эпохи, чтобы это была та истинная поэзія, которой недоставало предъидущему времени. Такую поэзію и приносилъ Жуковскій.

„Плѣнительная сладость“ его стиховъ была почувствована тотчасъ: извѣстно, какъ высоко цѣнилъ его Пушкинъ, какъ, наконецъ, преувеличивалъ его Гоголь. Критика младшихъ современниковъ мало измѣнила это отношеніе къ поэту: самый требовательный изъ его судей, Бѣлинскій, находилъ недостатки въ этой поэзіи, отрицалъ, напримѣръ, то, что̀ приводило въ восторгъ современниковъ и даже позднѣйшихъ критиковъ (напримѣръ, отзывы о „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“, о романтическихъ преувеличеніяхъ Жуковскаго, объ его опытахъ рисовать русскую народность), но и онъ очень высоко цѣнилъ его историческую заслугу для русской поэзіи и относился къ нему не только съ сочувствіемъ, но и съ настоящею любовью. Другіе [1]) возводили поэзію Жуковскаго въ настоящій апоѳеозъ: пониманіе нравственнаго значенія поэзіи у Жуковскаго они представляли какъ ея высшее опредѣленіе, какъ настоящее откровеніе, художественное и нравственное. Но какъ могло исторически образоваться столь высокое явленіе тотчасъ послѣ той поэтически бѣдной, сухой, искусственно-реторической эпохи, какая ему предшествовала? Крупный историческій дѣятель, конечно, вноситъ свою личную силу, которая становится возбуждающимъ элементомъ для послѣдующаго развитія, но онъ не можетъ явиться внезапно, безъ корней въ прошломъ,—и дѣйствительно бываетъ

---

[1]) Назовемъ Плетнева, Никитенка.

всегда какъ бы послѣднимъ выводомъ, сосредоточеніемъ его стремленій, послѣ котораго только и можетъ быть исторически понятъ смыслъ работы этого прошедшаго, а само оно, какъ совсѣмъ пережитое, отходитъ въ исторію. Въ вопросѣ о значеніи Жуковскаго въ историческихъ судьбахъ нашей литературы прежде всего любопытно это отношеніе его къ предшествующей эпохѣ, и, наблюдая его первые шаги на литературномъ поприщѣ, нельзя не видѣть, что онъ дѣйствительно былъ дѣтищемъ этой эпохи.

Первые литературные вкусы, которые внушало рано проявлявшееся дарованіе, поддержаны были въ Жуковскомъ уже его семейной обстановкой. Во второй половинѣ XVIII вѣка потребность образованія начинала сильно сказываться, несмотря на плохое состояніе школы; въ достаточныхъ дворянскихъ семьяхъ, нерѣдко въ ихъ деревенскихъ усадьбахъ, собирались значительныя по тому времени библіотеки, преимущественно изъ французскихъ книгъ; сыновей послѣ домашняго обученія или французскаго пансіона посылали въ нѣмецкіе университеты,— такъ сыновья И. П. Тургенева учились въ Гёттингенѣ. Въ концѣ вѣка общество уже имѣло въ своей средѣ людей съ широкимъ образованіемъ, достигавшимъ почти до учености: назовемъ извѣстнаго М. Н. Муравьева, подъ руководствомъ котораго воспитывался Батюшковъ, его родственника и друга И. М. Муравьева-Апостола, людей съ большими знаніями, между прочимъ въ классической литературѣ; въ литературѣ остались неизвѣстны другія имена, о которыхъ узнаемъ мы только случайно, какъ имя того Козлятева, который, по разсказамъ И. И. Дмитріева, былъ его настоящимъ литературнымъ воспитателемъ, и въ библіотекѣ котораго онъ познакомился съ знаменитѣйшими произведеніями французской литературы. Семья Буниныхъ отличалась литературными вкусами и любознательностью. Позднѣе, изъ дочерей сестры Жуковскаго и его крестной матери (въ замужствѣ Юшковой) одна была извѣстная потомъ госпожа Зонтагъ, писательница для дѣтей, другая въ замужствѣ была сначала Кирѣевская, потомъ Елагина, мать извѣстныхъ писателей. Жуковскій говорилъ впослѣдствіи: „въ семьѣ нашей заключается цѣлая династія хорошихъ писателей“,—онъ былъ первымъ въ этой династіи. Ученье Жуковскаго шло въ пансіонѣ, въ тульскомъ народномъ училищѣ и дома, гдѣ онъ учился по-нѣмецки и по-французски. Юшкова, въ домѣ которой онъ тогда жилъ, была любительница музыки и театра; у нея бывали музыкальные и литературные вечера, и двѣнадцатилѣтній Жуковскій писалъ уже трагедію изъ римской жизни и другую пьесу изъ „Павла и

Виргиніи" Бернардена де-Сенъ-Пьера.' Свое дѣтство и отрочество Жуковскій провелъ въ этой женской средѣ подъ руководствомъ старшей сестры и въ нѣжной дружбѣ съ младшими племянницами Юшковыми, а потомъ съ Протасовыми, и это общество оставило навсегда въ его характерѣ черту особенной женственной мягкости, а впослѣдствіи любовь его къ одной изъ этихъ племянницъ (Протасовой), съ которой, однако, онъ не могъ соединить своей судьбы, стала источникомъ глубокой меланхоліи, которая наложила отпечатокъ на всю его поэзію. Новый періодъ литературныхъ и нравственныхъ вліяній наступилъ для Жуковскаго съ тѣхъ поръ, какъ въ 1797 онъ вступилъ въ университетскій Благородный пансіонъ въ Москвѣ. Это замѣчательное учебное заведеніе, которое теперь воспитало Жуковскаго, черезъ которое прошелъ потомъ Грибоѣдовъ, а въ концѣ его существованія Лермонтовъ,—и гдѣ товарищами Жуковскаго были Блудовъ, Д. В. Дашковъ, С. С. Уваровъ, Александръ и Андрей Тургеневы,—было тѣмъ звѣномъ, которое соединило Жуковскаго съ лучшими литературными преданіями конца прошлаго вѣка. Съ этого же года директоромъ московскаго университета сталъ другъ и сотрудникъ Новикова, И. П. Тургеневъ; инспекторомъ Благороднаго пансіона былъ извѣстный въ свое время педагогъ Прокоповичъ-Антонскій; какъ директоръ Университета и инспекторъ пансіона, такъ и большинство преподавателей и воспитателей были масоны школы Дружескаго Общества. Это Общество, смѣнившая его Типографическая Компанія и вся дѣятельность Новиковскаго круга были передъ тѣмъ разрушены; но сберегся духъ, въ которомъ дѣйствовали люди этого круга, и университетскій пансіонъ по существу своего образовательнаго характера былъ продолженіемъ воспитательнаго дѣла, начатаго Шварцемъ и Новиковымъ. Раньше много обязанъ былъ старому кругу Карамзинъ; теперь, видимъ почти то же среди новаго поколѣнія. Изъ этого факта можно судить о нравственной силѣ, какая крылась въ томъ движеніи; его форма была странная, но розенкрейцерская фантастика, притомъ не доведенная до конца, повидимому была оставлена и не помѣшала основному стремленію—работать для просвѣщенія, скудость котораго въ обществѣ была для этихъ людей слишкомъ очевидна. Они принимали просвѣщеніе въ окраскѣ піэтизма; но, даже въ новиковскія времена этотъ піэтизмъ не былъ какимъ-нибудь фанатическимъ изувѣрствомъ; здѣсь не было догматики или обрядоваго ханжества, но была религіозность нравственнаго чувства, склонная къ мистицизму. Выше упомянуто, что нѣкоторыя лица изъ болѣе просвѣщеннаго духовен-

ства сочувствовали идеямъ Новикова, но вообще этотъ кругъ не пользовался расположеніемъ духовнаго сословія: послѣднее не понимало масонскихъ стремленій къ „внутренней церкви“, не понимало „духовныхъ рыцарей, ищущихъ премудрости“, потому что подозрѣвало здѣсь нерасположеніе къ церкви внѣшней и подрывъ своего пастырскаго авторитета. То же, вѣроятно нѣсколько смягченное, пониманіе религіи было теперь у руководителей новой школы. Религія должна стоять во главѣ воспитанія, какъ она стоитъ и во главѣ благополучія народовъ; но, какъ говорилъ Прокоповичъ-Антонскій въ одной изъ своихъ рѣчей того времени (1798), религія не есть ни фанатизмъ, ни суевѣріе, ни „мрачная лжесвятость“... Кругъ преподаванія въ Благородномъ пансіонѣ былъ очень широкій: въ программу его входило до 36 различныхъ предметовъ, въ числѣ которыхъ, кромѣ обычныхъ наукъ, были архитектура, артиллерія, фортификація, кромѣ обычной миѳологіи—также древности, кромѣ нѣмецкаго и французскаго языка—англійскій и итальянскій и „иностранная словесность“; одно время преподавался даже греческій языкъ; наконецъ музыка, рисованіе, живопись и дворянскія науки—танцы, фехтованіе, верховая ѣзда, военныя движенія. Въ дѣйствительности нѣкоторые изъ этихъ предметовъ или бывали необязательны, или къ нимъ прилагались очень малыя требованія; питомцы не были отягощены занятіями, но въ то же время въ средѣ ихъ поддерживалось извѣстное умственное возбужденіе, которое руководители направляли на нравственные вопросы, а въ особенности на литературу. На актахъ читались рѣчи и стихотворенія воспитанниковъ, и Жуковскій въ первый же годъ пребыванія въ пансіонѣ читалъ „Оду на благоденствіе“; затѣмъ онъ упоминается въ числѣ первыхъ воспитанниковъ, управлявшихъ концертами и другими забавами, и наконецъ въ средѣ воспитанниковъ, по обычаю тѣхъ временъ, учреждено было „Собраніе воспитанниковъ университетскаго Благороднаго пансіона“ (1799), и первымъ предсѣдателемъ Собранія назначенъ былъ Жуковскій, который и открылъ его своею рѣчью. Понятно, что интересы Собранія были сполна посвящены литературѣ. Жуковскій, который еще гораздо раньше заявлялъ свои литературные вкусы, былъ здѣсь вполнѣ въ своей сферѣ. На актахъ пансіона и на собраніяхъ воспитанниковъ бывали въ числѣ посѣтителей И. И. Дмитріевъ и Карамзинъ, которые съ тѣхъ поръ узнали и оцѣнили юнаго поэта. Руководители пансіона не случайно дали мѣсто этимъ литературнымъ занятіямъ; они справедливо видѣли въ нихъ одно изъ лучшихъ воспитательныхъ

средствъ и поощряли изученіе литературы и особливо отечественнаго языка [1]). Въ стихотвореніяхъ Жуковскаго осталась память уваженія къ Хераскову и нѣжной привязанности къ И. П. Тургеневу, какъ мудрому наставнику. Тургеневы - сыновья остались ближайшими друзьями Жуковскаго.

Таковы были первыя воздѣйствія сначала домашней обстановки, потомъ школы. Въ семейной средѣ, въ которой Жуковскій долго жилъ и послѣ своего отрочества, развилось мягкое любящее чувство и получены были первыя литературныя вліянія; школа поддерживала это настроеніе мистическимъ идеализмомъ своихъ воспитательныхъ началъ и должна была значительно расширить литературный опытъ. Первыя произведенія Жуковскаго и, между прочимъ, переводы, какіе дѣлалъ онъ для денегъ книгопродавцамъ, работы для „Вѣстника Европы“ свидѣтельствуютъ о разнообразномъ чтеніи—именно въ области поэзіи. Особенности его собственной природы сказались уже очень рано въ тѣхъ самыхъ чертахъ, которыя потомъ такъ обильно развиты были въ его зрѣлой поэзіи. Въ стихотвореніи „Майское утро“ 14-лѣтній Жуковскій говоритъ уже о жизни какъ безднѣ слезъ и страданій, и о счастьѣ того, кто достигъ берега и спитъ мирнымъ сномъ; во время пребыванія въ Благородномъ пансіонѣ, онъ пишетъ въ прозѣ „Мысли при гробницѣ“; черезъ три года онъ пишетъ „Мысли на кладбищѣ“ и, наконецъ, опять тотъ же меланхолическій сюжетъ повторяется въ извѣстной элегіи Грея, переданной Жуковскимъ: „Сельское кладбище“ (1802);—любопытно, что передъ тѣмъ эта пьеса была дважды переведена прозой въ журналѣ „Иппокрена“ (1799), гдѣ помѣщались труды воспитанниковъ пансіона. Это совпаденіе не было случайностью. Въ томъ кругѣ, къ которому принадлежали воспитатели пансіона, вопросы о человѣческой жизни, о смерти, о существованіи загробномъ были издавна предметомъ мистическихъ размышленій, облекались въ таинственные символы, давали пищу религіозности и, наконецъ, могли давать матеріалъ для поэзіи, какъ было уже въ сентиментальномъ піэтизмѣ западной литера-

[1]) Прокоповичъ-Антонскій въ упомянутой рѣчи говорилъ: „Преимущественно должно заниматься отечественнымъ языкомъ и употреблять всѣ старанія и средства для достиженія въ немъ правильнаго, твердаго, основательнаго знанія... Ошибаются тѣ, кои думаютъ, что изученіе природнаго своего языка не великаго труда стоитъ. Знать его основательно, знать со всѣми тонкостями, чувствовать всю силу его, красоту, важность, умѣть говорить и писать на немъ красно, сильно и выразительно по приличію матеріи, времени и мѣста: все это составляетъ трудъ едва преодолимый. На пріобрѣтеніе такого знанія должно употреблять всѣ силы, должно пожертвовать не малою частію жизни. Сіе одно достаточно уже къ опроверженію мнѣнія тѣхъ людей, кои полезнѣйшимъ упражненіемъ почитаютъ изученіе многихъ иностранныхъ языковъ“.

туры. Такимъ образомъ прирожденная черта въ поэтическомъ настроеніи Жуковскаго,—которую, между прочимъ, объясняли и восточнымъ элементомъ его происхожденія, — не была лишена литературной опоры или, напротивъ, могла найти обильныя возбужденія у сентиментальныхъ меланхоликовъ вѣка. Съ юныхъ лѣтъ Жуковскій знакомился съ нѣмецкой, французской, англійской литературой, и здѣсь съ той поэзіей романтизма, которая впослѣдствіи доставила обширный матеріалъ для его собственнаго творчества, переводнаго и самостоятельнаго. Онъ давно зналъ Бюргера, изъ котораго передѣлалъ свою „Людмилу", Гёте, Шиллера, Виланда, Шписа, у котораго заимствовалъ своего „Громобоя", Руссо, Шатобріана, позднѣе Байрона, Мура, Саути, Ламотта-Фуке, Уланда, Маттисона, Гебеля и др.; въ послѣдніе годы онъ полагалъ свой поэтическій трудъ на усвоеніе русской литературѣ великихъ произведеній древности, какъ „Одиссея", „Наль и Дамаянти", „Рустемъ и Зорабъ"... Давно было замѣчено, что въ выборѣ поэтическихъ темъ Жуковскій руководился всегда только своимъ личнымъ настроеніемъ: передавая Шиллера и Гёте, онъ понималъ этихъ писателей не въ полномъ объемѣ ихъ содержанія, а только съ тѣхъ отдѣльныхъ сторонъ, которыя были для него сочувственны. Поэтому въ выборѣ его поэтическаго матеріала могли стоять рядомъ писатели, очень несходные, а съ другой стороны, самые поэты, которыхъ онъ передавалъ, далеко не характеризованы его выборомъ. Говорятъ обыкновенно, что великая и спеціальная заслуга Жуковскаго въ нашей литературѣ состояла въ томъ, что онъ перенесъ къ намъ западный, особливо нѣмецкій романтизмъ, и этимъ далъ ей пережить литературный періодъ, навсегда устранившій старую школу, и Бѣлинскій находилъ даже возможнымъ назвать его въ этомъ отношеніи вторымъ Колумбомъ; но эта заслуга была именно только относительная. Жуковскій извлекалъ изъ нѣмецкихъ, англійскихъ писателей только одну, иногда далеко не существенную долю ихъ содержанія: принималось, напримѣръ, таинственное, мечтательное, фантастическое, но не встрѣчало сочувствія то, въ чемъ былъ общественный протестъ или запросы свободной мысли. Современные критики судятъ объ этомъ различно: одни находятъ у Жуковскаго недостатокъ пониманія западно-европейскаго движенія, отражавшагося въ самой литературѣ; другіе убѣждены, напротивъ, что его отношеніе къ поэтамъ, которые были его источниками, было вполнѣ самостоятельное, что Жуковскій только „искалъ всюду отголоска собственной души, будь то Шиллеръ или Байронъ, Овидій или Клопштокъ, Грэй или Парни"; что

всѣ литературныя наслоенія „самобытной душевной работой переплавлялись въ немъ, образуя металлъ новый"; что „въ этомъ отношеніи природа Жуковскаго оказалась способною къ сильной переработкѣ воспринимаемаго матеріала — быть можетъ, болѣе сильной, нежели у кого-либо изъ его современниковъ; „точило его духа" было крѣпко, и гроздъ претворялся въ немъ въ доброе вино и вытекалъ струею чистою и безпримѣсною" [1]... Справедливо будетъ и то, и другое; первое можетъ быть подтверждено позднѣйшими писаніями самого Жуковскаго, когда онъ говорилъ объ европейской политической и литературной жизни, реальный смыслъ которой остался ему чуждъ; что касается второго, элементы европейской поэзіи дѣйствительно сливались у Жуковскаго въ своеобразное цѣлое, однородность котораго создавалась настроеніемъ, составлявшимъ господствующую черту всего его характера. Новѣйшій біографъ называетъ его вдохновеніе „неподражаемымъ", котораго нельзя пріурочить къ направленію какого-либо изъ европейскихъ писателей; онъ дѣйствительно остался своеобразнымъ въ своемъ идеальномъ мірѣ меланхолической мечтательности, не прикасавшейся къ грубымъ заботамъ и требованіямъ дѣйствительной жизни, къ тревогамъ общественности,—какъ это было возможно только въ условіяхъ едва пробуждающейся русской общественной жизни, гдѣ, съ другой стороны, этотъ мечтательный идеализмъ и могъ имѣть свое образующее значеніе.

Въ первомъ развитіи своего дарованія, Жуковскій не остался чуждъ литературному преданію XVIII вѣка. Выше указано, какъ тѣсно Жуковскій связанъ съ этимъ вѣкомъ по складу своего міровоззрѣнія; онъ испыталъ вліяніе и его литературныхъ формъ. Естественно, что юноша, дѣлающій первые опыты въ поэзіи, воспользуется прежде всего тѣми пріемами, какіе находилъ вокругъ себя; таковы были первыя сочиненія Жуковскаго по ихъ формѣ, и по стиху: онъ начиналъ одой; въ балладѣ его предшественниками были Карамзинъ и Каменевъ; его первый стихъ отзывается тяжестью и неловкостью прошлаго вѣка. Позднѣе онъ подражалъ „Бѣдной Лизѣ" Карамзина въ „Марьиной рощѣ"; остался неконченнымъ его „Вадимъ новогородскій", навѣянный попытками XVIII-го вѣка поэтически изображать русскую древность. Одно время онъ долго носился съ планомъ поэмы „Владиміръ", готовился къ ея исполненію изученіемъ исторіи, но планъ не осуществился. Балладу онъ стремился перенесть на русскую почву, но попытка ограничилась извѣстной картинкой

---

[1]) Алексѣй Веселовскій, „Западное вліяніе"; Загаринъ, „В. А. Жуковскій и его произведенія" (изд. 2-е). М. 1883; введеніе и по всей книгѣ.

святочнаго гаданья. Старыя псевдо-классическія воспоминанія (быть можетъ, вмѣстѣ съ воспоминаніемъ о романтическихъ рыцаряхъ) отразились въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“, гдѣ русскіе генералы изображаются въ классическихъ вооруженіяхъ, а ихъ подвиги являются въ державинскихъ гиперболахъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ Жуковскій уже рано далеко уходилъ отъ XVIII-го вѣка въ своей романтикѣ, а его стихъ вскорѣ пріобрѣлъ ту привлекательную мягкость и изящество, о которыхъ XVIII вѣкъ не имѣлъ понятія... Но тщетно онъ изучалъ русскую исторію для своей поэмы „Владиміръ“, тщетно онъ хотѣлъ усвоить себѣ русскую народную поэзію, просилъ записывать для себя пѣсни,—русская народность ему не давалась: и дѣйствительно, ее трудно было вмѣстить въ рамки его романтизма [1]).

Такъ изъ прирожденныхъ свойствъ его характера и дарованія, изъ условій семейной среды, изъ воздѣйствій школы, преподавшей ему религіозно-мистическій идеализмъ, изъ вліяній европейской романтики—на почвѣ личныхъ душевныхъ испытаній — выросла поэзія своеобразная и глубоко-искренняя. Ея господствующій тонъ — меланхолическій, но смягченный полу-религіозною, полу-поэтическою вѣрою въ будущее и нѣжнымъ покорнымъ чувствомъ. Онъ дѣйствительно передавалъ въ своей поэзіи то, что̀ переживалъ въ душѣ, и изъ самой поэзіи извлекалъ успокоеніе и руководство своему чувству: поэтому онъ имѣлъ право сказать: „жизнь и поэзія одно“. Его біографія передаетъ трогательный эпизодъ. Въ первую поѣздку за границу (1820) онъ посѣтилъ Шильонскій замокъ и видѣлъ исполненіе трагедій Шиллера —онъ почувствовалъ святость свободы, и поэтическое впечатлѣніе побудило его, тотчасъ, по возвращеніи въ Петербургъ, выкупить на волю своихъ бывшихъ крѣпостныхъ, которые были въ другихъ рукахъ; онъ пишетъ друзьямъ: „я желаю купить ихъ и дать имъ волю. Другимъ нечѣмъ мнѣ поправить сдѣланной глупости... Прошу васъ поспѣшить... дѣло лежитъ у меня на душѣ, и я виню себя очень, что давно его не кончилъ“... Его элегическая поэзія была выраженіемъ личной судьбы, и если его мечты уже рано витаютъ среди призраковъ, видѣній, стремятся проникнуть въ загробную жизнь, то впослѣдствіи онѣ продолжаютъ витать въ этой области вслѣдствіе утратъ дѣйствительныхъ. Потеря дорогихъ людей есть потеря счастья,

[1]) Біографъ дѣлаетъ предположеніе, что „неисполненіе Жуковскимъ замысла написать большую историческую поэму можно считать обстоятельствомъ, благопріятнымъ его славѣ“ и пр. (Загаринъ, стр. 213).

но въ ней есть и утѣшеніе: мы живемъ съ близкими въ воспоминаніи, которое сопровождаетъ и ободряетъ насъ и въ радости, и въ горѣ. Идеалъ недостижимъ на землѣ: онъ промелькнетъ здѣсь, какъ тѣнь, и осуществится только въ будущемъ; въ самой жизни настоящее какъ будто не существуетъ; истинная жизнь— въ прошедшемъ и будущемъ,—

Все близкое мнѣ зрится отдаленнымъ,
Отжившее, какъ прежде, оживленнымъ.

Или:

Сей гробъ—затворенная къ счастію дверь;
Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.

Время исцѣляетъ печали; горе, которое сливаетъ насъ воедино съ милымъ потеряннымъ благомъ, ослабѣваетъ съ ходомъ времени, между нами и нашей утратой протѣсняется новое и чужое, и поэтому жаль этого разъединенія — въ самой печали мы видимъ измѣняемость всего здѣшняго:

..... и такъ скажу: къ сожалѣнью,
Наше горе земное—не надолго.

Жуковскій говорилъ впослѣдствіи, что онъ былъ родоначальникомъ чертей и вѣдьмъ въ русской литературѣ, но онъ извлекъ изъ нѣмецкаго романтизма не одну внѣшнюю фантастику привидѣній и чудесъ: романтизмъ обогащалъ его поэзію новыми образами для его давней мечтательной меланхоліи, для его вѣры въ общеніе двухъ міровъ и въ непогибающую связь близкихъ душъ. Глубочайшую основу для поэтической меланхоліи онъ находилъ въ самомъ христіанствѣ. Онъ называлъ меланхолію „одною изъ самыхъ звучныхъ струнъ лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства"; по словамъ его, „христіанство, открывъ намъ глубину нашей души, увлекло насъ въ духовное созерцаніе, соединило съ міромъ внѣшнимъ міръ таинственный, что̀ отразилось и въ жизни дѣйствительной, и въ поэзіи". Поэзія, стремясь представить и внушить людямъ связь этихъ двухъ міровъ, извлекая изъ нея высокое нравственное назиданіе, сама становится дѣломъ религіознымъ. Поэтому Жуковскій могъ сказать, что „поэзія есть земная сестра небесной религіи", что „поэзія есть добродѣтель". Въ этомъ возвышенномъ смыслѣ представлялось ему значеніе поэта въ жизни общества и въ жизни цѣлаго народа. Поэтъ не долженъ перестать быть чело-

вѣкомъ, почитателемъ Бога, членомъ общества; поэзія должна имѣть вліяніе на духовную жизнь самого народа, на его воспитаніе, если поэтъ обратить свой даръ къ этой цѣли. Поэтическое вдохновеніе есть даръ неба въ прямомъ смыслѣ слова:

Я музу юную, бывало,
Встрѣчалъ въ подлунной сторонѣ,
И вдохновеніе слетало
Съ небесъ незваное ко мнѣ;
На все земное наводило
Животворящій лучъ оно,
И для меня въ то время было
Жизнь и поэзія—одно.

Въ драматической поэмѣ „Камоэнсъ", частію переведенной, частію очень передѣланной изъ Гальма, Жуковскій влагаетъ въ уста умирающаго Камоэнса слова, составляющія его собственную задушевную мысль:

Поэзія есть Богъ—въ святыхъ мечтахъ земли!

И въ той же поэмѣ молодой поэтъ говоритъ словами Жуковскаго:

Нѣтъ, нѣтъ, не счастія, не славы здѣсь
Ищу я, быть хочу крыломъ могучимъ
. . . .
Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ
Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ея красѣ небесной—
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Поэты, засвѣтивъ свой огонь на маякѣ, который возженъ самимъ Создателемъ, будутъ

... во всѣхъ странахъ и временахъ
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
При блескѣ ихъ, что бъ труженикъ земной
Ни испыталъ—душой онъ не падетъ,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Новѣйшій біографъ приводитъ для сопоставленія со взглядами Жуковскаго на искусство современныя философскія теоріи нѣмецкихъ романтиковъ — теоріи Фихте, ученія Шеллинга, Зольгера, Тика [1]. У Жуковскаго мы не будемъ, конечно, ожидать

[1]) Ср. Загарина, гл. XXI—XXIII, гдѣ авторъ противопоставляетъ, однако, поэтическое исполненіе у Жуковскаго и нѣмецкихъ романтиковъ.

непосредственнаго повторенія и приложенія этихъ философскихъ ученій, но косвеннымъ образомъ, черезъ популярныя изложенія, черезъ примѣненія и толкованія этихъ теорій въ беллетристическихъ произведеніяхъ, какъ, напримѣръ, у Шлегеля, Тика и т. д., къ Жуковскому, вѣроятно, доходили тѣ представленія романтиковъ, которыя давали искусству не только чрезвычайно широкое, но всеобъемлющее значеніе въ духовной жизни человѣка и общества, наконецъ народа. При всей противоположности въ личныхъ характерахъ и настроеніяхъ, при всемъ противорѣчіи мягкаго, благодушнаго, религіознаго Жуковскаго съ необузданными порывами нѣмецкаго романтизма, напоминавшими эпоху „бурныхъ стремленій“, при всемъ громадномъ различіи въ положеніи двухъ литературъ, у Жуковскаго могли именно отразиться теоріи романтиковъ, когда онъ такъ усердно изучалъ этихъ романтиковъ на дѣлѣ, въ ихъ произведеніяхъ; но понятно, что эти теоріи могли быть имъ усвоены только въ освѣщеніи религіозно-мистическаго идеализма, составлявшаго его давнее міровоззрѣніе [1]). Жуковскій справедливо говорилъ въ одномъ письмѣ къ Гоголю (1847) о своихъ произведеніяхъ: „у меня почти все чужое или по поводу чужого—и все, однако, мое“...

Какъ поэзія имѣетъ божественное происхожденіе, такъ и поэтическая красота есть откровеніе, для самого поэта невольное и безсознательное. Геній красоты—

...въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ
И приноситъ откровенья
Благодатныя сердцамъ.
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взглянуть порой;
А когда насъ покидаетъ—
Въ даръ любви, у насъ въ виду,
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду.

Въ замѣткѣ къ этимъ стихамъ Жуковскій объясняетъ, что прекрасное является къ намъ только минутами, чтобы оживить насъ, возвысить нашу душу: величественное зрѣлище приpоры, еще болѣе величественное зрѣлище человѣческой души, поэзія, счастье и еще болѣе несчастье даютъ намъ эти ощущенія прекраснаго. „Въ эти минуты живого чувства стремишься не къ

[1]) Ср. его поэтическую теорію въ письмѣ къ Гоголю, 1848, 29-го января, въ статьѣ „О меланхоліи въ жизни и въ поэзіи“, наконецъ въ стихотвореніяхъ.

тому, чѣмъ оно произведено и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что съ нимъ соединяется и чего съ нимъ нѣтъ, и что для тебя гдѣ-то существуетъ. И это стремленіе есть одно изъ невыразимыхъ доказательствъ безсмертія души; иначе, отчего бы въ минуту наслажденія не имѣть полноты и ясности наслажденія? Нѣтъ, эта грусть убѣдительно говоритъ намъ, что прекрасное здѣсь не дома, что оно только мимолетающій благовѣститель лучшаго, но есть восхитительная тоска по отчизнѣ; оно дѣйствуетъ на нашу душу не настоящимъ, а темнымъ воспоминаніемъ всего прекраснаго въ прошедшемъ и тайнымъ ожиданіемъ чего-то въ будущемъ". Та прощальная звѣзда, о которой онъ говоритъ въ стихотвореніи, есть „знакъ того, что прекрасное было въ нашей жизни, и вмѣстѣ того, что оно не къ нашей жизни принадлежитъ. Звѣзда на темномъ небѣ—она не сойдетъ на землю, но утѣшительно сіяетъ намъ издали... Жизнь наша есть ночь подъ звѣзднымъ небомъ"...

Жуковскій очень скромно цѣнилъ свою дѣятельность. Около того же времени, когда онъ писалъ приведенные стихи и свой комментарій къ нимъ, онъ говоритъ о себѣ въ одномъ посланіи (1820):

...А я, мечтательнаго зритель,
Глядѣлъ до сей поры на свѣтъ
Сквозь призму сердца, какъ поэтъ;
Съ его прекрасной стороною
Я неиспорченной душою
Знакомъ, но въ тридцать слишкомъ лѣтъ
Я все дитя, и буду вѣчно
Дитя, жилецъ земли безпечный.
Могу товарищемъ я быть
Во всемъ, что въ жизни сей прекрасно,
Съ душой невинною и ясной
Могу свою я душу слить:
Но не способенъ зоркимъ взглядомъ
Приманокъ свѣта различать;
Могу на счастье руку дать,
Но не впередъ идти, а рядомъ.

Дѣйствительно, въ своей поэзіи онъ былъ только мечтателемъ, онъ не далъ въ ней русскаго содержанія; вести ее впередъ предоставлено было его великому младшему современнику; самъ онъ впослѣдствіи шелъ съ нимъ только рядомъ, какъ ранѣе шелъ рядомъ съ той новой поэзіей, которая рождалась въ Европѣ подъ вліяніями пережитыхъ общественныхъ и нравственныхъ потрясеній. Во вторую половину своей дѣятельности Жуковскій и совсѣмъ устранился отъ того движенія, которое шло въ пре-

дѣлахъ самой русской литературы: онъ обогащалъ ее переводами великихъ произведеній всемірной литературы, которымъ нужно было существовать на русскомъ языкѣ, но которыя не имѣли никакого отношенія къ тревожнымъ вопросамъ развитія русскаго искусства. Въ эти послѣдніе годы, пребывая въ идеальномъ мірѣ своихъ мечтаній, онъ бывалъ не только далекъ отъ этихъ тревожныхъ вопросовъ, но и переставалъ ихъ понимать.

За нимъ остается въ судьбахъ русской литературы великая заслуга—не столько въ томъ, что своими поэтическими переводами онъ познакомилъ ее съ міромъ европейской романтики, или въ томъ, что далъ образцы задушевной поэзіи, говорившей изящнымъ языкомъ, сколько въ томъ, что изъ всей сложности элементовъ, образовавшихъ его творчество, онъ впервые создалъ въ нашей литературѣ возвышенное представленіе объ источникѣ и назначеніи поэзіи. Дѣйствительно, великой новой идеей было это представленіе, когда взамѣнъ прежнихъ неясныхъ, школьно-грубыхъ, даже низменныхъ понятій о стихотворствѣ онъ поставилъ свое понятіе о поэзіи, источникъ которой есть божественный, и назначеніе которой—нравственное воспитаніе человѣка и народа. Съ этимъ представленіемъ только и могла явиться истинная поэзія, достойная своего имени; и если уже вскорѣ мы встрѣтимъ этотъ возвышенный тонъ поэзіи у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, ихъ предшественникомъ здѣсь былъ Жуковскій.

Главные факты біографіи и литературной дѣятельности Николая Мих. Карамзина:—Годъ его рожденія, прежде спорный, опредѣлился на 1766, 1 декабря. Выросъ въ отцовской деревнѣ въ Симбирской губ.; на 14-мъ году отвезенъ въ Москву, гдѣ учился въ пансіонѣ проф. Шадена и въ университетѣ; въ 1783 жилъ въ Петербургѣ, дѣлая, въ дружбѣ съ И. И. Дмитріевымъ, первые литературные опыты; поступилъ-было въ военную службу, которую вскорѣ бросилъ. Въ 1784 велъ свѣтскую жизнь въ Симбирскѣ, откуда И. П. Тургеневъ вывезъ его опять въ Москву, гдѣ онъ четыре года, 1785—88, провелъ въ кругѣ Новикова и сдружился съ Александромъ Андр. Петровымъ, рано умершимъ (1793), который много содѣйствовалъ его литературному образованію.

Заграничное путешествіе съ мая 1789 до сентября 1790. (Объ этомъ далѣе).

Изданіе „Московскаго Журнала" въ Москвѣ, 1791—92, отсюда—

„Мои бездѣлки", 1794.

„Аглая", 2 части, 1794.

„Аониды, или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній", 3 части. 1796—99, гдѣ являются Державинъ, Дмитріевъ, Херасковъ, Капнистъ и пр.

„Пантеонъ иностранной словесности", 1793.

„Пантеонъ россійскихъ авторовъ", 1801.

„Письма русскаго путешественника" въ первый разъ явились не сполна, въ „Моск. Журналѣ", потомъ въ „Аглаѣ", наконецъ, въ отдѣльномъ изданіи 1797—1801, въ 6 частяхъ.

„Историческое похвальное слово Екатеринѣ II", 1802.

Изданіе „Вѣстника Европы", 1802—1803.

Въ 1803, назначеніе исторіографомъ.

Въ 1811, чтеніе имп. Александру отрывковъ изъ „Исторіи", въ Твери, у вел. кн. Екатерины Павловны Ольденбургской; тогда же, послѣдняя передала имп. Александру Записку о древней и новой Россіи.

Въ 1816, первые восемь томовъ „Исторіи государства россійскаго", въ 1821—9-й томъ, 1824—10-й и 11-й; 12-й томъ, по его смерти, изданъ былъ по его бумагамъ Д. Н. Блудовымъ.

Карамзинъ умеръ 22 мая 1826.

Литература о Карамзинѣ, весьма обильная, особливо послѣ столѣтняго юбилея, была не однажды указана:

— Межовъ, Юбилеи Ломоносова, Карамзина и Крылова. Спб. 1871, стр. 1—34.

— Геннади (и Собко), Справочный Словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ. Берлинъ, 1876—1880, s. v.

— Пономаревъ „Матеріалы для библіографіи литературы о К., въ Зап. Акад. Наукъ т. XLV. Спб. 1883.

Главнѣйшія изслѣдованія и матеріалы:

— Неизданныя сочиненія и переписка Н. М. К. Спб. 1862.

— Н. Тихонравовъ, Четыре года изъ жизни К., 1785—88, въ Р. Вѣстн. 1862, и въ Сочиненіяхъ Т., т. III, ч. 1, М. 1898, стр. 256 и д., и въ указателѣ, т. III, ч. 2.

— Погодинъ, Н. М. К. по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ. М. 1866, 2 ч.

— Письма К. къ И. И. Дмитріеву, съ прим. Грота и Пекарскаго. Спб. 1866.

— Отрывки изъ писемъ А. А. Петрова къ К., въ Р. Архивѣ, 1866, № 11—12.

— Торж. собраніе Имп. Академіи Наукъ 1 дек. 1866. Спб. 1867 (статьи Грота, Устрялова, кн. П. А. Вяземскаго, Погодина, пр. Макарія).

— Lettres d'un voyageur etc. Paris, 1867. Переводъ и примѣчанія принадлежать В. С. Порошину.

— Письма Н. М. К. къ кн. П. А. Вяземскому, 1810—1826. (Изъ Остафьевскаго архива). Съ предисловіемъ и примѣчаніями Ник. Барсукова. Спб. 1897,—изъ сборника „Старина и Новизна".

— Обществ. движеніе при Александрѣ I. 2-е изд. Спб. 1885, стр. 183—260 (о Карамзинѣ какъ публицистѣ и особливо какъ авторѣ Записки о древней и новой Россіи. Эта записка издана была въ первый разъ вполнѣ, Берлинъ 1861; потомъ въ Р. Архивѣ, 1870). Здѣсь читатель найдетъ дополненіе къ настоящему изложенію.

„Исторія государства Россійскаго" въ свое время встрѣтила возраженія Каченовскаго, Лелевеля; нѣсколько позднѣе, болѣе серьезныя

у Арцыбашева, Н. Полевого, Погодина (послѣдній впрочемъ загладилъ свою критику упомянутой панегирической біографіей). Въ новѣйшее время С. М. Соловьевъ предпринялъ детальную оцѣнку „Исторіи" (Отеч. Записки, 1853—56, впрочемъ неоконченную); наконецъ, опредѣленіе историческаго взгляда, пріемовъ и литературной манеры „Исторіи" сдѣлано въ книгѣ г. Милюкова: „Главныя теченія русской историч. мысли". М. 1897, стр. 114—200.

Роль К. въ развитіи литературнаго языка давно оцѣнена, хотя его языкъ еще не изученъ въ подробности. Его особенность высказалась уже въ первыхъ его произведеніяхъ; онъ избѣгалъ тяжелыхъ церковныхъ оборотовъ, обычныхъ въ литературномъ языкѣ XVIII вѣка, стремился къ простотѣ разговорнаго языка, но вмѣстѣ къ „пріятности" или изяществу, не боялся словъ иностранныхъ,—которыя впрочемъ впослѣдствіи старался замѣнять русскими. Забота о „пріятности" сдѣлала его манернымъ и приторнымъ, что̀ уже вскорѣ почувствовалось; но удаленіе отъ „славенщизны" сто̀ило ему ожесточенныхъ нападеній отъ старой школы, во главѣ которой былъ Шишковъ („Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка". Спб. 1803, и еще два изданія: 1813 и 1818). Карамзинъ не вступалъ въ полемику, но тѣмъ ревностнѣе были его послѣдователи и поклонники, особливо Макаровъ и Д. В. Дашковъ. Двѣ партіи опредѣлились, наконецъ, въ основаніи „Бесѣды любителей русскаго слова" и ея пародіи —„Арзамаса". Споръ нерѣдко принималъ комическій оборотъ, когда Шишковъ терялъ мѣру въ восхваленіи „стараго слога"; но была въ немъ и сторона отталкивающая, когда противники Карамзина, еще со временъ „Писемъ русскаго путешественника", въ новизнахъ литературныхъ открывали опасное вольнодумство и не останавливались передъ формальными доносами.

Заслуга Карамзина въ дѣлѣ языка была великая и состояла въ опредѣленномъ сознательномъ стремленіи сблизить, объединить языкъ литературы съ языкомъ жизни: на этомъ пути уже вскорѣ и были сдѣланы великіе успѣхи, въ рукахъ Жуковскаго и Пушкина.

Обстоятельныя изученія Карамзина какъ писателя начинаются только въ послѣднее время.

— Д. Анучинъ, Столѣтіе „Писемъ русскаго путешественника". М. 1891 (изъ Р. Мысли, 1891, іюль—августъ).

— В. В. Сиповскій, Къ литературной исторіи Писемъ русскаго путешественника. 3 выпуска. Спб. 1897—98 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Академіи). Подробное указаніе заимствованій К., прямыхъ и косвенныхъ, изъ западной литературы. Надо припомнить, что первыя указанія этого рода сдѣланы были въ любопытной, еще студенческой диссертаціи Тихонравова „о заимствованіяхъ русскихъ писателей". Сочиненія III. ч. 2-я (о Карамзинѣ, стр. 340 и д.). См. также Алексѣя Веселовскаго, „Западное вліяніе", стр. 138—146 и др.

Главные факты біографіи Жуковскаго:

Василій Андр. Ж. родился въ 1783, 29 января, отъ плѣнной турчанки, и воспитывался какъ родной сынъ, въ домѣ помѣщика Аѳанасія Ив. Бунина. Онъ былъ усыновленъ другомъ семейства, кіев-

скимъ дворяниномъ Андреемъ Гр. Жуковскимъ, отъ котораго и получилъ свою фамилію. Онъ учился въ пансіонѣ Роде въ Тулѣ, потомъ съ января 1797 въ университетскомъ Благородномъ пансіонѣ, гдѣ товарищами его были Александръ и Андрей Тургеневы, Блудовъ, Д. В. Дашковъ, С. С. Уваровъ. Въ слѣдующемъ году, въ журналѣ „Пріятное и полезное препровожденіе времени" (ч. XVI) была напечатана первая статья Ж.: „Мысли у могилы". Онъ переводилъ Коцебу, повѣсти Шписа. Въ 1802 онъ перевелъ элегію Грея: „Сельское кладбище", которая напечатана была въ „Вѣстникѣ Европы", Карамзина. Это было начало его поэтической славы.

По выходѣ изъ пансіона онъ жилъ то въ Москвѣ, то среди родныхъ, въ Бѣлевѣ и въ деревнѣ. Съ 1808 онъ взялъ на себя редакціи „Вѣстника Европы", и оставилъ ее въ 1810-мъ. Переводы изъ Лафонтена, Флоріана, Мильвуа, Бюргера, Шиллера, Драйдена.

Въ 1812, неудача въ брачномъ исканіи и поступленіе въ ополченіе. Въ лагерѣ подъ Тарутинымъ былъ писанъ „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ". Великій успѣхъ стихотворенія и приглашеніе въ Петербургъ отъ импер. Маріи Ѳедоровны, — которой стихотвореніе поднесено было И. И. Дмитріевымъ.

1814, „Посланіе императору Александру", которое произвело сильное впечатлѣніе при дворѣ. 1814—16 „Пѣвецъ въ Кремлѣ"- Съ 1815, нѣсколько лѣтъ прожилъ въ Дерптѣ съ родными, и еще въ томъ же году былъ представленъ ко двору. Въ 1816, кн. Голицынъ, министръ просвѣщенія, поднесъ стихотворенія Ж. имп. Александру, который назначилъ ему пожизненную пенсію въ 4000 р. асс. Переводы и подражанія изъ Гольдсмита, Монкрифа, Саути, Клопштока. Въ концѣ 1817, онъ назначенъ былъ учителемъ русскаго языка при вел. кн. Александрѣ Ѳеодоровнѣ, и съ тѣхъ поръ началась его придворная жизнь. Извѣстно его посланіе вел. княгинѣ на рожденіе в. кн. Александра Николаевича (потомъ имп. Александра II), 1818.

1821—22, путешествіе за границу. Переводы и подражанія изъ Уланда, Гёте, Гебеля, Шиллера (1821, Орлеанская Дѣва), Вальтеръ Скотта (1822, Замокъ Смальгольмъ).

1823, смерть М. А. Мойеръ, его давней привязанности.

1826—до октября 1827, поѣздка за границу для леченія; тогда же онъ готовился къ исполненію назначенія—быть воспитателемъ наслѣдника престола.

1832, еще путешествіе на воды.

1831, сказки: Спящая царевна, Война мышей и лягушекъ; о царѣ Берендеѣ. Подражанія и переводы изъ Шиллера, Уланда, Гебеля, Ламоттъ-Фуке.

1836, Ундина.

1837, путешествіе съ наслѣдникомъ по Россіи.

1838 и начало 1839, путешествіе съ наслѣдникомъ по Европѣ. Въ Римѣ встрѣча съ Гоголемъ. „Камоэнсъ", драмат. поэма, подражаніе Гальму.

1840, обрученіе; 1841, женитьба Ж. на молодой дѣвицѣ Рейтернъ.—Сказки объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ; Котъ въ сапогахъ; Тюльпанное дерево.

1843, Наль и Дамаянти.

Встрѣчи и совмѣстная жизнь съ Гоголемъ;—вліяніе піэтизма.

Въ 1849, законченъ переводъ Одиссеи (начатый въ январѣ 1842).

1844—47, Рустемъ и Зорабъ.

1851, „Вѣчный Жидъ".

Кончина 12 апрѣля, 1852.

Біографіи и опредѣленіе поэзіи Жуковскаго:

— Бѣлинскій. Сочиненія, т. VIII.

— П. Плетневъ, О жизни и сочиненіяхъ В. А. Ж. Спб. 1853. Передъ тѣмъ: О стихотвореніяхъ Ж. Спб. 1852 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Акад.).

— Никитенко, В. А. Ж. со стороны его поэтическаго характера и дѣятельности. Спб. 1853.

— Шевыревъ, О значеніи Ж-го въ русской жизни и поэзіи. (Рѣчь). М. 1853.

— Н. Лыжинъ, Знакомство Ж-го съ взглядами романтической школы, въ „Лѣтописяхъ" Тихонравова, 1859, I, кн. 2.

— К. К. Зейдлицъ, Жизнь и поэзія В. А. Ж-го. 1783—1852. По неизданнымъ источникамъ и личнымъ воспоминаніямъ. Съ портретомъ, факсимиле, письмами и пр. Спб. 1883 (Первое изданіе въ Журн. мин. просв. 1869; болѣе полно по-нѣмецки. Mitau, 1870; 2-е изд. 1872).

— Загаринъ, В. А. Ж. и его произведенія. Изд. 2-е. М. 1883. (Разборъ этой книги, Тихонравова, въ Сочин., т. III).

— Я. Гротъ, Очеркъ жизни и поэзіи Ж-го. Спб. 1883, изъ „Сборника" Р. Отд. Акад., т. XXXII.

— Н. Буличъ, В. А. Ж. (1783—1883). Казань, 1883.

— А. Архангельскій, В. А. Ж. Первые годы его жизни и поэтической дѣятельности (1783—1816). Казань, 1883.

— В. А. Ж. Чествованіе его памяти въ С.-Петербургѣ 29 и 30 января 1883 года. Изданіе Н. И. Стояновскаго. Съ приложеніемъ портретовъ В. А. Ж-го и его супруги. Спб. 1883 (Рѣчи Грота, О. Миллера; описаніе выставки и пр.).

— Ив. Бычковъ, Бумаги В. А. Ж-го, поступившія въ Имп. Публ. Библіотеку въ 1884 году. Спб. 1887,—изъ „Отчета" Публ. Б-ки за 1884 г.

— Письма В. А. Ж-го къ Александру Ив. Тургеневу. Изданіе „Р. Архива" по подлинникамъ, хранящимся въ Имп. Публ. Библіотекѣ. М. 1895,—письма идутъ отъ 1805 до 1844 г.

— Вс. Чешихинъ, Ж. какъ переводчикъ Шиллера. Критическій этюдъ. Рига, 1895.



ГЛАВА XL.

КРЫЛОВЪ. ОЗЕРОВЪ. ГНѢДИЧЪ. БАТЮШКОВЪ.

События начала девятнадцатаго вѣка и отраженіе ихъ на понятіяхъ общественныхъ и фактахъ литературныхъ.—Наполеоновскія войны; Двѣнадцатый годъ; войны за границей; Священный Союзъ; водвореніе піэтизма и реакціи.

Отношеніе новаго просвѣщенія и литературы къ народу.

Трудное положеніе литературы въ борьбѣ съ внѣшними стѣсненіями и обскурантизмомъ. Столкновеніе старыхъ понятій и новыхъ стремленій въ обществѣ.

Послѣдніе отголоски восемнадцатаго вѣка: Шишковъ; Державинъ.—Бесѣда любителей русскаго слова.

Крыловъ.

Озеровъ.

Гнѣдичъ.

Батюшковъ.

Девятнадцатый вѣкъ составилъ новую эпоху не только внѣшнимъ образомъ, когда въ западной Европѣ событія уносили—и безвозвратно—старый порядокъ вещей и начинали еще невѣдомый, ожидаемый новый порядокъ, а въ Россіи новое царствованіе какъ будто обѣщало также невиданный прежде просторъ для общественной жизни;—но и внутреннимъ образомъ, когда рядомъ съ этими событіями, и черезъ нихъ, совершался наплывъ новыхъ идей, и общественныхъ, и литературныхъ.

Событія западно-европейскія уже не могли не отражаться у насъ. Во времена Петра, потомъ при Аннѣ, Елизаветѣ, наконецъ особенно при Екатеринѣ, Россія вступила въ тѣсныя политическія связи съ Западомъ. Правда, въ то время внѣшняя политика мало касалась самаго общества,—кромѣ развѣ турецкихъ войнъ, которыя были продолженіемъ стараго преданія войнъ противъ невѣрныхъ и могли вызывать сочувствіе, какъ защита единовѣрцевъ, эта внѣшняя политика оставалась чужда обществу, бывала ему мало понятна или даже неизвѣстна; но съ послѣднихъ годовъ Екатерины II Россія вмѣшивалась въ событія слишкомъ громкія. Россія приняла участіе въ европей-

ской коалиціи, которая намѣревалась возстановить во Франціи старый порядокъ, стать на защиту престоловъ и алтарей. Екатерина, а потомъ императоръ Павелъ высказывались достаточно рѣзко противъ событій, происходившихъ во Франціи, и отголосокъ правительственныхъ мнѣній не могъ не достичь до массы общества; военныя предпріятія, въ которыхъ явилось наконецъ популярное имя Суворова, возбуждали гораздо большій интересъ, чѣмъ какія-либо изъ прежнихъ войнъ, и это былъ уже интересъ не къ однимъ чисто военнымъ подвигамъ, но и къ политическому вопросу. Когда судьба Франціи оказалась въ рукахъ Наполеона и начались первыя враждебныя отношенія къ императорской Франціи, это имя задолго до двѣнадцатаго года внушало уже величайшую, иногда фантастическую ненависть въ русскихъ патріотахъ, которые потомъ съ недоумѣніемъ, даже съ негодованіемъ, встрѣтили Тильзитскій миръ и дружескія отношенія къ Наполеону со стороны императора Александра... Участіе въ европейской коалиціи для подавленія революціонныхъ идей, потомъ для борьбы съ Наполеономъ, который считался ихъ дѣтищемъ и представителемъ, различнымъ образомъ связывали русское общественное мнѣніе съ тѣмъ сложнымъ броженіемъ, которое происходило въ западной Европѣ. Какъ бы то ни было однако, новый порядокъ вещей наступалъ съ неудержимой силой: неудачи эмигрантовъ съ ихъ прусскими и австрійскими союзниками какъ будто указывали политическую и нравственную несостоятельность защитниковъ стараго порядка передъ противникомъ, который былъ силенъ энтузіазмомъ народнаго движенія; позднѣе, не помогли и военные подвиги Суворова въ Италіи и Швейцаріи. Феодальная Европа и Европа просвѣщеннаго абсолютизма видимо падала; идеи новаго политическаго быта, новаго общественнаго строя распространялись все больше; хотя онѣ не вызвали въ западной Европѣ непосредственнаго переворота, но онѣ завоевывали себѣ все больше сочувствія въ умахъ; Наполеоновскія нашествія и здѣсь надломили старый порядокъ вещей, и по настроенію общества можно было угадывать наступленіе новаго историческаго періода въ политической и умственной жизни.

Отдаленные начатки вліянія французскихъ освободительныхъ идей относятся къ первымъ годамъ царствованія Екатерины II. При первыхъ проявленіяхъ политической бури во Франціи Екатерина отреклась отъ французской философіи и сочла нужнымъ воздвигнуть жестокія гоненія противъ революціоннаго духа даже въ Россіи, гдѣ онъ не могъ имѣть никакой почвы; преемникъ

ея навелъ настоящую панику на неповинное въ революціи русское общество... Но какъ при Екатеринѣ воспитателемъ наслѣдника русскаго престола былъ выбранъ именно „республиканецъ", которому не могли отказать въ уваженіи даже тогда, когда стали опасаться этого республиканства,—такъ въ то же время, и послѣ, при всѣхъ гоненіяхъ на самую тѣнь революціонныхъ идей, воспитателями аристократическаго юношества, которому потомъ пришлось отчасти играть роль въ Александровское время, оказывались питомцы, даже бывшіе дѣятели французскаго переворота. Всѣ гоненія противъ французскаго вольнодумства въ Россіи уже не въ состояніи были прекратить наплыва новыхъ понятій: продолжала дѣйствовать старая литература; въ новой литературѣ, даже противу-революціонной, которая къ намъ приходила, ставились новые вопросы; наконецъ, говорили событія. Въ русскомъ обществѣ, при всемъ младенческомъ состояніи его развитія, происходило незамѣтное, но постоянное накопленіе новыхъ понятій, исканіе новыхъ общественныхъ и нравственныхъ началъ, которыя, наконецъ, находили выраженіе въ литературѣ. Это могло произойти даже безъ особенныхъ усилій самой русской литературы и, ограничиваясь однѣми ея данными, мы не могли бы даже установить постепеннаго роста ея содержанія. Дѣло въ томъ, что это содержаніе являлось всего чаще готовымъ: при каждой новой ступени литературнаго образованія, при каждомъ возникавшемъ вопросѣ, нравственномъ, общественномъ, наконецъ чисто литературномъ, повторялась обычная черта—вліяніе западнаго направленія или отдѣльнаго писателя, вліяніе всего чаще отрывочное, неполное, но въ концѣ концовъ переносившее къ намъ „духъ вѣка"... Такъ изъ самой русской литературы нельзя объяснить ни паденія псевдо-классицизма, ни возникновенія сентиментальной манеры, ни распространенія романтизма: все это были только разныя ступени „учебныхъ годовъ" нашей литературы. „Золотой вѣкъ" французской литературы кончился вмѣстѣ съ питавшимъ его порядкомъ вещей, и рефлексія XVIII вѣка, породившая въ концѣ концовъ романтизмъ, отражала собой смутное политическое броженіе: по существу все это было намъ чуждо, но въ послѣднихъ результатахъ, затрогивая внутреннія стихіи самой русской жизни и вызывая ихъ самодѣятельность, претворялось въ плоть и кровь русскаго общественнаго содержанія и литературы. Поэтому и могло случиться, что послѣ ряда чуждыхъ вліяній, послѣ наплыва понятій, созданныхъ чуждою жизнью и образованностью, могло почти внезапно возникнуть столь высокое и самобытное

явленіе, какимъ была въ первыя десятилѣтія новаго вѣка поэзія Пушкина.

Путемъ такого процесса, вслѣдъ за могущественнымъ политическимъ и литературнымъ переворотомъ въ западной Европѣ, создается и у насъ новое движеніе, въ которомъ находимъ ближайшій источникъ нашей современной литературы.

Въ эту сторону новыхъ общественно-политическихъ понятій направилось царствованіе, начавшееся съ первымъ годомъ девятнадцатаго вѣка. По характеру своихъ тогдашнихъ идей императоръ Александръ могъ бы также считаться представителемъ извѣстной доли русскаго образованнаго общества на самой его вершинѣ. Въ немъ сказался ученикъ Лагарпа, съ „республиканскими" идеями и мечтаніями объ идиллической жизни на лонѣ природы во вкусѣ Руссо. Въ своемъ ближайшемъ кругу онъ не былъ одинокъ въ своемъ либерально-сентиментальномъ настроеніи: въ первые годы, когда онъ носился съ преобразовательными, свободолюбивыми планами, подлѣ него былъ кружокъ близкихъ друзей, болѣе или менѣе однороднаго воспитанія, раздѣлявшій его великодушные замыслы,—такъ что мысли этого круга не были простымъ исключеніемъ... Въ нашихъ условіяхъ настроеніе высшихъ сферъ имѣетъ великую важность—прямую и косвенную, положительную и отрицательную. Въ одномъ смыслѣ оно дастъ просторъ лучшимъ движеніямъ общественнаго мнѣнія, въ другомъ—замедляетъ успѣхи просвѣщенія, останавливаетъ развитіе общественныхъ интересовъ, иногда какъ бы совершенно ихъ уничтожаетъ. Въ ту минуту планы имп. Александра и его ближайшихъ друзей, хранившіеся, впрочемъ, въ величайшей тайнѣ, даже превышали все, о чемъ могли мечтать наиболѣе передовые люди; не зная этихъ плановъ и судя только по явнымъ правительственнымъ мѣрамъ, какъ заботы о народномъ просвѣщеніи (основаніе новыхъ университетовъ), о разныхъ общеполезныхъ учрежденіяхъ, какъ различные факты человѣколюбія и кротости, общество, въ особенности послѣ недавняго періода паническаго страха, питало восторженныя надежды, что новое царствованіе откроетъ эпоху невиданнаго благополучія. Подобныя надежды высказывали, кромѣ присяжныхъ панегиристовъ, люди старшаго поколѣнія, напримѣръ, Карамзинъ, и люди юнаго поколѣнія, только-что выступавшіе на литературное поприще. На самомъ дѣлѣ однако это оживляющее вліяніе новаго режима оказалось не вдругъ, а только послѣ, когда между тѣмъ правительственные взгляды радикально измѣнились.

Русскому обществу съ послѣднихъ годовъ царствованія Ека-

терины II пришлось пережить столь тяжелыя времена, что оно долго не могло очнуться. Крупныя литературныя силы, какія были еще на лицо отъ стараго времени, были окончательно надорваны. Новиковъ, которому при вступленіи Александра на престолъ было 56—57 лѣтъ и который жилъ еще до 1818 года, былъ уже совсѣмъ уничтоженный человѣкъ; Радищевъ, истощенный морально человѣкъ, уже на второй годъ новаго царствованія кончилъ жизнь самоубійствомъ. Карамзинъ, который недавно также чувствовалъ себя въ опасности, вскорѣ погрузился въ свой историческій трудъ, отказавшись отъ всякаго участія въ насущныхъ интересахъ литературы. Другіе писатели прежняго времени или никогда не были способны къ живому литературному дѣйствію, какъ Дмитріевъ; или утратили прежнія немногія побужденія къ такой дѣятельности, какъ Крыловъ, который теперь писалъ только басни; или всегда стояли на старосвѣтской полуцерковной точкѣ зрѣнія, какъ Шишковъ; или наконецъ отживали свое послѣдніе годы, какъ М. Н. Муравьевъ, старожилъ Новиковскаго кружка Херасковъ и т. д. За это первое время извѣстную живую дѣятельность обнаруживали только молодые представители возникшихъ теперь литературныхъ кружковъ, которые, впрочемъ, уже скоро отступили на второй планъ... Главное вліяніе первыхъ лѣтъ царствованія имп. Александра заключалось въ томъ, что съ ними открывалась свѣжая, ободряющая атмосфера для нароставшаго поколѣнія, которое находило здѣсь первыя благотворныя впечатлѣнія. Въ этой именно атмосферѣ проходили годы отрочества и юности Пушкина и его сверстниковъ.

За этими началами надвинулась война Двѣнадцатаго года. Въ новѣйшей русской исторіи не было событія, которое до такой степени охватило бы не только общество, но цѣлую народную массу однимъ могущественнымъ чувствомъ, потребовало бы такого напряженія физическихъ и нравственныхъ силъ, затронуло такъ глубоко національное сознаніе. Если потомъ возникали вопросы о народѣ, о національныхъ отношеніяхъ Россіи къ Западу, о необходимости внутренней общественной работы, то богатую почву для этихъ вопросовъ дали въ особенности эти событія и ихъ ближайшія послѣдствія. Первыя впечатлѣнія были пока смутны и развились потомъ весьма разнообразно. Прежде всего національная опасность сближала людей въ общемъ дѣлѣ, сообщала чувство нравственной связи, общественнаго и народнаго долга: манифесты, писанные Шишковымъ, едва ли не въ первый разъ говорили не сухимъ оффиціальнымъ языкомъ, требовавшимъ

только безмолвнаго повиновенія, а исполнены были настоящаго краснорѣчія, которое способно было пробудить искреннее одушевленіе; едва ли не впервые правительственная власть обращалась къ народу, говоря или стараясь говорить его языкомъ, какъ въ афишахъ Ростопчина. Люди стараго вѣка, безуспѣшно искавшіе древнихъ патріархальныхъ добродѣтелей, нашли въ событіяхъ двѣнадцатаго года новое обвиненіе противъ людей, приверженныхъ къ „французскому“ образованію, и считали ихъ чуть не сообщниками Наполеона, какъ старались выставить такимъ его сообщникомъ Сперанскаго (но, увы, и въ двѣнадцатомъ году французскій языкъ продолжалъ господствовать и въ правительственномъ кругу, и между высшими распорядителями самой арміи),—но въ умахъ болѣе свѣжихъ и чуткихъ этотъ подъемъ національнаго чувства положилъ основу для гораздо болѣе глубокаго пониманія истинныхъ потребностей національной жизни.

За Двѣнадцатымъ годомъ послѣдовали событія не менѣе знаменательныя,—если не для народной массы, которая опять знала о нихъ немного, то для образованнаго круга и особливо въ рядахъ арміи: Россія являлась освободительницей Европы. Какъ извѣстно, это освобожденіе было фактомъ чрезвычайно сложнымъ. Крайними пунктами были два весьма различныхъ воззрѣнія: въ то время, какъ одни, именно всѣ консервативные элементы европейскаго общества, полагали, что побѣда надъ Наполеономъ означаетъ полное уничтоженіе „революціонной гидры“ и возвращеніе прежняго порядка вещей, существовавшаго до 1789 года, для другихъ это было освобожденіемъ народовъ не только отъ чужеземнаго ига, но и отъ прежнихъ историческихъ золъ, именно отъ феодальнаго угнетенія, и водвореніемъ новаго порядка, гдѣ были бы удовлетворены законныя желанія народовъ: эти послѣднія ожиданія были тѣмъ болѣе основательны, что въ разгарѣ борьбы самими монархами были высказаны обѣщанія, которыя потомъ были забыты ими, но не забыты европейскимъ обществомъ. Такимъ образомъ войны за освобожденіе Европы были толчкомъ къ самымъ несходнымъ общественнымъ и политическимъ явленіямъ: отсюда шли неблагоразумныя крайности реставраціи, развитіе клерикализма, въ параллель съ которыми шли мистическія увлеченія самого имп. Александра, а съ другой стороны либеральныя волненія, которыя, за исключеніемъ Англіи, охватили всю западную Европу. Если финаломъ освобожденія Европы сталъ Вѣнскій конгрессъ и Священный союзъ, то понятно, что этимъ брошены были сѣмена глубокаго недо-

вольства и скрытаго броженія, которое уже вскорѣ оказалось въ цѣломъ рядѣ тайныхъ обществъ, заговоровъ и даже попытокъ открытаго возстанія,—между прочимъ самой Россіи приходилось принимать участіе въ усмиреніи освобожденной Европы.

Для русскаго общества войны за освобожденіе также отразились сильнымъ возбужденіемъ. Въ рядахъ русскаго войска, перешедшаго границу, было много образованной молодежи, которая не осталась чужда волненіямъ западнаго общества: она сочувствовала въ нихъ именно этимъ великодушнымъ мечтаніямъ о свободѣ народовъ и о свободѣ личности, увлекалась современной литературой и также отдавалась иллюзіи тайныхъ обществъ, въ которыхъ видѣли тогда единственное и сильное средство воздѣйствовать на ходъ событій. Когда, послѣ Вѣнскаго конгресса, началась глухая общественная борьба на Западѣ, зарождается и въ нашемъ обществѣ броженіе, результатомъ котораго было основаніе тайныхъ обществъ съ великодушными, но неясными политическими планами и съ полнымъ непониманіемъ существовавшихъ условій: образцомъ для нашего Союза Благоденствія послужилъ нѣмецкій Тугендбундъ, юношески идеалистическій и юношески неопытный и безплодный. Въ несомнѣнной связи съ этимъ броженіемъ находилось и развитіе нашего романтизма. Какъ въ западномъ романтизмѣ было двѣ стороны—стремленіе къ поэтическому освобожденію, затѣмъ къ художественному произволу, къ первобытной поэзіи, къ средневѣковому мраку и наконецъ католицизму, и наоборотъ, стремленіе къ свободѣ личности и радикальное отрицаніе современнаго общества,—такъ нѣчто подобное повторилось и у насъ. Если поэзія Жуковскаго вся заключалась въ религіозномъ самоотреченіи и мистическихъ ожиданіяхъ, то съ другой стороны русскій романтизмъ не остался чуждъ совсѣмъ инымъ чертамъ романтизма европейскаго: онъ также искалъ свободы для личности, увлекался демоническими фигурами Байрона и хотѣлъ воспѣвать борцовъ за политическую свободу. Отголоски всего этого нашли мѣсто у самого Пушкина.

Но съ тѣхъ же войнъ за освобожденіе, отъ Священнаго союза, начинается и противоположное движеніе. Европейская реакція отразилась и въ Россіи. Несмотря на то, что было бы, повидимому, чрезвычайно странно ставить рядомъ явленія европейской жизни и наши домашнія дѣла, но ихъ ставили рядомъ. Въ ту пору, когда на Западѣ принимались мѣры для преслѣдованія политическаго либерализма, считалось необходимымъ и у насъ крайне стѣснять литературу, подозрѣвать университеты, закрывать масонскія ложи, библейскія общества и д. д. Какой

возможенъ былъ тонъ въ этомъ отношеніи, объ этомъ всего лучше даютъ понятіе подвиги Магницкаго. Нѣкогда либералъ, сотрудникъ Сперанскаго,—который, впрочемъ, уже рано его понялъ и отрекался отъ него,—онъ послѣ паденія Сперанскаго, которое частію отразилось и на немъ, принялся теперь эксплуатировать „начала Священнаго союза", эксплуатировать чрезвычайно грубо, разсчитывая на неразвитость тѣхъ вѣдомствъ, къ которымъ обращался со своими доносами, и прикрываясь ссылками на Священный союзъ, которыхъ, какъ онъ былъ увѣренъ, никто не рѣшится опровергать. Его клевретъ и выученикъ, Руничъ, устроилъ знаменитый по своему безсмыслію и наглости судъ надъ профессорами петербургскаго Университета; а затѣмъ ихъ мелкіе подражатели грозили сдѣлать существованіе литературы и науки совершенно невозможнымъ...

Совершенно достовѣрные факты тогдашней исторіи въ области общественной жизни, науки, литературы могутъ показаться почти невѣроятными: до того простиралась съ одной стороны наглость обскурантизма, съ другой—безпомощность болѣе просвѣщенной части общества. Главное въ этомъ господствѣ обскурантизма было однако то, что реакція могла опереться на обильный запасъ невѣжества или непониманія въ массѣ общества и особливо въ людяхъ стараго вѣка. Молодое образованное поколѣніе могло негодовать, Пушкинъ могъ сыпать эпиграммами, Грибоѣдовъ могъ рисовать цѣлую картину общества въ „Горѣ отъ ума", но фактъ оставался. Образованная часть общества была минимальной долей въ той патріархальной, невѣжественной массѣ, какую представляли всѣ остальные классы населенія.

Опредѣленіе внѣшнихъ условій, съ которыми тѣсно связывалось внутреннее состояніе литературы, возвращаетъ насъ къ одному изъ основныхъ вопросовъ всей нашей литературной исторіи, именно къ вопросу объ отношеніи литературы къ народу и народной жизни. Новая литература XVIII-го, затѣмъ XIX вѣка очевидно не была народною въ томъ смыслѣ, что она была недоступна народу ни по содержанію, ни по языку. Ея содержаніе—научныя понятія, принесенныя новой школой, и литературные пріемы, въ которыхъ она дѣйствовала,—было неизвѣстно книжникамъ стараго склада; языкъ, служившій для выраженія этого содержанія, былъ непонятенъ въ той своей долѣ, которая выходила за предѣлы народной и старой книжнической рѣчи. Параллельно съ этимъ образованное общество, какъ говорится, „ото-

рвалось“ отъ народа. Мы не однажды имѣли случай говорить о томъ, какъ слѣдуетъ понимать этотъ разрывъ съ народомъ. Дѣло въ томъ, что кромѣ того разрыва, который разъединилъ высшій классъ отъ массы народа въ силу сословной или бюрократической привилегіи, былъ и другой разрывъ—неизбѣжное и повсюду существовавшее отдаленіе людей образованныхъ отъ народной массы по складу понятій, — до тѣхъ поръ, пока эта масса оставалась невѣжественной. По поводу перваго указываютъ обыкновенно, что высшіе классы теряли даже всякую нравственную связь съ народомъ, увлекались всѣмъ иностраннымъ, презирали русское, разучивались русскому языку; но едва ли не зловреднѣе былъ тотъ сословный и экономическій разрывъ богатаго барина-крѣпостника или наглаго чиновника съ беззащитной массой, которую они оба эксплуатировали; еще съ XVIII вѣка никакое французское образованіе не мѣшало истинно просвѣщеннымъ людямъ принимать къ сердцу народный интересъ, помышлять объ угнетенномъ положеніи народа и даже указывать необходимость освобожденія—въ то время, когда люди, не зараженные никакимъ иностраннымъ образованіемъ, пожалуй раздѣлявшіе съ народомъ все его невѣжество и суевѣріе, были, конечно, его настоящими практическими врагами. Говорили о томъ, что до Петра, до его неблагоразумно исполненной реформы русская литература или, по тогдашнему, скорѣе письменность, была единая для всѣхъ классовъ народа, что ею одинаково поучались люди высшаго сословія и люди народа и т. д. Въ дѣйствительности эта литература, какъ мы видѣли, едва заслуживала такого имени: это была патріархальная книжность, въ громадномъ большинствѣ только церковно-поучительная, не дававшая мѣста тому, что̀ дѣйствительно составляетъ національную литературу—художественному творчеству на народной почвѣ; мы видѣли также, что инстинкты фантазіи давно уже открыли въ этой старой письменности путь иноземнымъ книжнымъ вліяніямъ, и можно прослѣдить постепенное возростаніе этихъ вліяній, которыя еще въ XVII вѣкѣ, задолго до Петра, подготовляли литературное движеніе XVIII вѣка. Литература, если она не остается на первоначальной ступени непосредственнаго народнаго творчества, требуетъ школы, а ея не вѣдала древняя Россія, и съ той самой поры, когда эта школа наконецъ явилась въ видѣ южныхъ и западно-русскихъ школъ XVI—XVII вѣка, началось уже и то разъединеніе литературы съ народомъ, которое хотятъ поставить въ вину только XVIII и XIX вѣку. Если потомъ литература существовала только въ извѣстномъ немноголюдномъ классѣ,

то, каковы бы ни были ея свойства въ данную минуту (псевдо-классическая, романтическая и т. д.), причина ея разъединенія отъ народа лежала въ условіяхъ его быта, въ абсолютномъ отсутствіи школы, которое дѣлало для нея невозможною литературу съ нѣкоторымъ образовательнымъ уровнемъ... Эта литература, далекая отъ народа, тѣмъ не менѣе съ самаго начала обнаружила несомнѣнную жизненность тѣмъ, что уже вскорѣ направила свои интересы на народную жизнь, на заботы объ умственномъ и матеріальномъ состояніи народа, на выработку литературнаго языка, который взамѣнъ старинной полу-славянской книжности хотѣла приблизить къ живой народной рѣчи. Нѣтъ сомнѣнія, что литература еще въ XVIII вѣкѣ достигла бы въ этомъ отношеніи гораздо болѣе обильнаго результата, чѣмъ какой былъ все-таки достигнутъ,—еслибы были шире размѣры образованія и не тяготѣло надъ нею общее положеніе русскаго общества. Лучшіе люди конца XVIII вѣка достаточно ясно высказали свое отношеніе къ народу: не было виною литературы, что этимъ зачаткамъ здраваго пониманія не суждено было развиться до какой-нибудь цѣльной системы: ихъ мысли остались одинокимъ заявленіемъ, самыя имена ихъ стали надолго опальными.

Вопросъ объ отношеніяхъ новаго просвѣщенія и литературы къ народу и народной жизни нерѣдко поэтому становился фатальнымъ. Литература не могла, при наилучшихъ желаніяхъ писателей, сдѣлаться народною, потому что для этого нужно было бы, чтобы она могла говорить о народѣ серьезно и безъ умолчаній,—но это было невозможно. Съ другой стороны, народъ не подозрѣвалъ существованія этой литературы, потому что былъ безграмотенъ. Такъ было въ теченіе XVIII вѣка, такъ это продолжалось теперь и, въ сущности (дѣлая нѣкоторую уступку ревнителямъ современной народной школы), даже донынѣ.

Обвинители реформы, произведшей будто бы разрывъ съ народомъ, говорятъ, что̀ отсюда идетъ и въ литературѣ презрительное отношеніе къ народу, и нѣкоторымъ историкамъ литературы казалось, что оно было именно перенято изъ нравовъ французскаго общества и литературы. Вѣрнѣе было бы сказать, что оно могло встрѣтить у насъ готовую почву въ давнемъ, еще до-Петровскомъ пренебреженіи родовитыхъ людей къ людямъ „подлымъ“ и къ холопамъ; а съ другой стороны высокомѣрное отношеніе къ толпѣ бывало часто фальшивой литературной манерой. Ученики ложнаго классицизма вычитали у Горація: odi profanum vulgus et arceo, и переводили: „умолкни, чернь непросвѣщенна и презираемая мной“; а затѣмъ присое-

динилось романтическое презрѣніе поэта ко всякой невѣжественной толпѣ, которая неспособна понять „избранную натуру“, и т. д. Въ дѣйствительности, въ самомъ разгарѣ ложнаго классицизма мысль о народѣ постоянно возвращается у писателей XVIII вѣка—то въ указаніи высокихъ достоинствъ нашей простонародной поэзіи, на которой надо было основать построеніе русскаго стиха (Тредьяковскій), то въ особыхъ трактатахъ „о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа“ (Ломоносовъ), то въ желаніи нарисовать картинку изъ русскихъ народныхъ нравовъ и ею любоваться (Державинъ), то въ замѣчательномъ опытѣ ввести въ литературу произведенія народной поэзіи (Чулковъ, Новиковъ, Прачъ и др.); то въ попыткахъ подражать народному складу въ пѣсняхъ собственнаго сочиненія (Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій), то въ начавшихся уже тогда этнографическихъ описаніяхъ народнаго обычая, то наконецъ въ удивительныхъ для своего времени изображеніяхъ крѣпостного быта (Радищевъ)...

Тѣмъ не менѣе литература образованныхъ классовъ для народа не существовала, и впослѣдствіи происходили долгіе споры о томъ, была ли наша литература „національна“, былъ ли величайшій русскій поэтъ поэтомъ „народнымъ“. Для однихъ и то и другое не подлежало сомнѣнію; другіе считали невозможнымъ видѣть національное въ подражаніи; третьи недоумѣвали, какъ можетъ считаться народнымъ хотя бы великій поэтъ, о которомъ народъ не имѣетъ понятія... Можно было бы замѣтить, что и у другихъ народовъ, гораздо болѣе просвѣщенныхъ, высшія области литературы также не были доступны народной массѣ; но тамъ все-таки процентъ общества, которому она была доступна, былъ несравненно больше, потому уже, что были несравненно шире средства образованія.

Это ненормальное состояніе литературы долго оставалось неяснымъ для общественнаго сознанія; долго полагалось, что это иначе не можетъ быть: дѣйствительно, литература могла принадлежать только людямъ извѣстнаго образованія, — но можно ли было имѣть какую-нибудь надежду образованія для крѣпостныхъ массъ, когда притомъ само привилегированное сословіе было въ большинствѣ невѣжественно? Приходилось довольствоваться тѣмъ, что литература должна работать по крайней мѣрѣ для немногочисленнаго круга образованныхъ людей и поддерживать въ немъ священный огонь науки и поэзіи для будущаго.

Но можетъ ли и должна ли литература быть безъ народа? И если сама собой представлялась мысль, что значеніе и сила литературы могутъ возрости только съ размноженіемъ читающей

(и разумѣющей) массы, то съ другой стороны еще съ конца прошлаго вѣка стали думать о необходимости „народныхъ училищъ“—съ точки зрѣнія человѣческаго достоинства, а съ начала XIX-го вѣка основано впервые министерство „народнаго просвѣщенія“—между прочимъ съ точки зрѣнія національнаго достоинства. Исторія этого министерства достаточно указываетъ, однако, съ какими трудностями вмѣщалась мысль о „народномъ“ просвѣщеніи въ умы тогдашняго общества и самой администраціи. Въ самомъ дѣлѣ, внести какое-либо образованіе въ эту громадную массу въ эпоху господства крѣпостного права было немыслимо, и въ лучшихъ условіяхъ это могло бы быть дѣломъ только многихъ поколѣній; но должно было, по крайней мѣрѣ, сознать это положеніе вещей. Дѣйствительно, только черезъ нѣсколько десятилѣтій послѣ освобожденія крестьянъ могъ быть и былъ поставленъ впервые вопросъ о народной школѣ... Неясно было и то, что̀ представлялъ собою народъ? Съ крѣпостной точки зрѣнія, господствовавшей въ высшемъ слоѣ общества (выше указано, что во времена Екатерининской Коммиссіи пра̀ва имѣть крѣпостныхъ добивалось не только купечество, но и духовенство), „народъ“ былъ только рабочая сила въ распоряженіи владѣльцевъ, а въ великую историческую минуту, какою былъ напримѣръ Двѣнадцатый годъ, онъ поставлялъ и войско, и послушныхъ статистовъ для исторической сцены... Для тѣхъ, кто все-таки хотѣлъ осмыслить себѣ значеніе народа, онъ оставался только отвлеченнымъ понятіемъ,—и еще долго послѣ народъ представлялся носителемъ туманнаго мистическаго духа. Если въ новыхъ поколѣніяхъ (съ десятыхъ, особливо двадцатыхъ годовъ) возникали болѣе реальныя (хотя и неопредѣленныя) мечты о „народѣ освобожденномъ“, о „рабствѣ падшемъ“, то онѣ были уже заподозрѣны въ томъ, что нарушаютъ исконное преданіе, которымъ сильно русское государство, которое служитъ основой нашихъ національныхъ добродѣтелей. Ка̀къ въ дѣйствительности стояли народныя преданія, что̀ присоединили къ нимъ историческіе опыты народной жизни, объ этомъ не задумывались, это считалось рѣшеннымъ и доказаннымъ. Еще въ прошломъ вѣкѣ начались панегирики древнимъ патріархальнымъ добродѣтелямъ русскаго народа: въ укоръ испорченнымъ современникамъ восхвалялъ ихъ Новиковъ; новѣйшему „поврежденію нравовъ“ противополагалъ ихъ кн. Щербатовъ; горячимъ защитникомъ древней простоты и добродѣтели былъ Шишковъ; наконецъ, теперь Карамзинъ изобразилъ „добрыхъ россіянъ“, мирныхъ, вѣрующихъ, покорныхъ, въ своей „Исторіи“, которая на-

долго стала своего рода кодексомъ русской народности. Не задавали себѣ вопроса, что самое содержаніе народности есть явленіе историческое и что для цѣльнаго, нормальнаго и истиннаго ея выраженія нужна была бы болѣе высокая степень умственнаго развитія въ самомъ народѣ.

Но мало-по-малу сознаніе прояснялось. Опять при помощи тѣхъ внушеній, какія доставляла наука и поэзія Запада, являлось неизвѣстное прежде представленіе о томъ, что литература извѣстнаго народа есть созданіе національнаго духа, что ея достоинство измѣряется тою степенью, въ какой она служитъ выраженіемъ этого духа, и что, слѣдовательно, она можетъ быть тѣмъ выше, чѣмъ больше участвуютъ въ ней народныя силы. Отсюда произошло новое усиленное стремленіе къ изученію этнографическому, къ изученію народной поэзіи, старины, исторіи, въ которыхъ стали искать откровеній народной сущности, которая должна была стать поученіемъ и руководствомъ.

Въ прошломъ вѣкѣ, до временъ Екатерины II, русскихъ писателей можно было сосчитать по пальцамъ; потомъ число ихъ увеличилось; но и теперь, въ первомъ и второмъ десятилѣтіи XIX-го вѣка, могли быть справедливы слова г-жи Сталь, что въ Россіи „нѣсколько дворянъ (gentilhommes) занимаются литературой“. Дѣйствительно, и теперь литература какъ будто была дѣломъ небольшого кружка любителей; она не была общественною силой, на которую могло бы надѣяться общество, какъ на выраженіе своихъ желаній и стремленій,—но и въ той тѣсной области, въ какой она дѣйствовала, ей предстояло вести трудную борьбу за самое существованіе.

Это—опять существенно важный моментъ, который необходимо принимать во вниманіе въ опредѣленіи цѣлаго движенія литературы и въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ писателей. Какъ только она выходила изъ предѣловъ „невиннаго упражненія“ и касалось серьезныхъ вопросовъ нравственности и общества, а тѣмъ болѣе общества русскаго, она была связана, и каждый шагъ общественнаго сознанія пріобрѣтался только цѣною трудныхъ и небезопасныхъ для лица усилій. Съ конца XVIII вѣка литература была уже предоставлена самой себѣ: со временъ сатирическихъ журналовъ, „Вопросовъ“ фонъ-Визина, издательской дѣятельности Новикова, „Путешествія“ Радищева, „Вадима“ Княжнина, литература была заподозрѣна властью. Если она пыталась высказывать общественную мысль, какія-либо идеалистическія стремленія,

она могла дѣлать это лишь въ той мѣрѣ, въ какой это допускалось надзоромъ, который въ началѣ XIX-го вѣка получилъ „правильную“ организацію въ особомъ цензурномъ вѣдомствѣ. Это было именно въ то время, когда въ литературѣ возникало новое оживленіе.

Въ концѣ концовъ литература была совершенно открыта всѣмъ нападеніямъ со стороны тѣхъ, кто захотѣлъ бы отыскивать и карать въ ней „недозволенныя мысли“ и „превратныя ученія“. Противъ такихъ нападеній она была беззащитна; цензурный надзоръ ставилъ рѣшенія безапелляціонныя: писатель ничѣмъ не могъ защитить своей мысли, общество лишено было всякой возможности высказать свое отношеніе къ этому положенію вещей,—всего чаще оно оставалось безучастнымъ и развѣ только забавлялось анекдотами по поводу нѣкоторыхъ цензурныхъ рѣшеній, или занималось списываніемъ въ тетрадки статеекъ и стиховъ, какіе ходили по рукамъ и даже не имѣли притязанія являться на усмотрѣніе цензуры.

И такъ, за литературой смотрѣла уже не управа благочинія, а спеціальное вѣдомство, которое приняло къ свѣдѣнію „бывшіе примѣры“ и должно было удалять изъ произведеній русскихъ писателей все то, что̀ по его мнѣнію выходило за предѣлы дозволеннаго относительно вѣры, правленія, добрыхъ нравовъ и т. д. Надзоръ, однако, былъ не случайнымъ произволомъ вѣдомства: онъ исполнялъ данныя указанія и, главное, на немъ отражалась степень развитія массы общества. Печальная сторона этой исторіи была въ томъ, что писатели, противъ которыхъ вооружалась цензура, бывали нерѣдко именно цвѣтомъ націи, гордостью нашей литературы: отъ цензурнаго гнета (разныхъ вѣдомствъ) терпѣлъ величайшій поэтъ русской литературы; одно изъ первостепенныхъ ея произведеній, комедія Грибоѣдова, могло явиться въ свѣтъ, и то въ неполномъ видѣ, только по смерти писателя; на цензуру жаловался Гоголь; ея притѣсненій не избѣгъ даже самъ Жуковскій, и въ послѣдніе годы его жизни (!), и т. д. Стѣсненіе мысли отражалось несомнѣннымъ ущербомъ для цѣлой умственной жизни общества, но это и была именно борьба просвѣтительныхъ стремленій меньшинства съ тою массою неподвижности мысли, закоренѣлаго суевѣрія, которая господствовала въ громадномъ большинствѣ.

Эти постоянныя столкновенія должны были служить для литературы указаніемъ, что для ея собственнаго интереса, для тѣхъ высшихъ вопросовъ искусства, которыми она теперь стала увлекаться и которые во всякомъ случаѣ требовали умственнаго

простора, необходима была забота объ этой непросвѣщенной черни, не только народной, но и общественной, пассивная косность которой становилась въ концѣ концовъ тяжелымъ препятствіемъ для всякихъ успѣховъ просвѣщенія и литературы.

Такимъ образомъ дѣятельность литературы совершалась лишь въ довольно тѣсномъ кругу и ея вліяніе лишь медленно распространялось въ болѣе широкіе слои общества. Но въ этомъ кругу шло въ тѣ годы оживленное движеніе, гдѣ перемѣшивались самые разнообразные элементы. Преданія XVIII-го вѣка уже вскорѣ должны были окончательно отойти въ прошедшее, но пока были еще на лицо, и въ нихъ съ одной стороны оказывались зародыши новаго здороваго движенія, съ другой—хранился упорный литературный и общественный застой.

Выше указано, какъ Жуковскій воспитанъ былъ въ преданіяхъ Новиковскаго общества, гдѣ такъ тѣсно (и такъ странно) связаны были мистицизмъ и любовь къ просвѣщенію: въ его сильномъ, хотя мало подвижномъ дарованіи, это наслѣдіе прошлаго вѣка переработалось въ мечтательную поэзію самаго возвышеннаго тона, и ей принадлежало большое воспитательное значеніе не только въ томъ, что она внушала мягкое гуманное чувство, но и въ томъ, что она впервые указывала высокій смыслъ художественнаго творчества. Такъ изъ стараго преданія выросла новая стихія нравственно-литературнаго развитія, и она указывала ретроспективно на то, что̀ заключалось въ этомъ преданіи жизненнаго и благотворнаго. Подобная передача образовательныхъ стремленій совершалась въ томъ воспитаніи, какое люди этого круга давали своему молодому поколѣнію: таковы были молодые Тургеневы; таково было воспитаніе Батюшкова подъ вліяніемъ М. Н. Муравьева. Конецъ XVIII-го вѣка представлялъ уже, хотя и не частые, примѣры серьезнаго образованія и они переходили въ наслѣдіе новой литературѣ,—какъ въ другой области Державинъ, сходя въ гробъ, благословилъ новое поэтическое поколѣніе.

Но была и другая сторона. Отъ XVIII-го вѣка перешло также наслѣдіе масонскаго мистицизма съ его крайностями. Послѣ нѣкотораго перерыва, когда масонское движеніе заглохло съ послѣднихъ годовъ царствованія Екатерины II, оно стало снова дѣйствовать въ другой формѣ,—напримѣръ, въ воспитательной дѣятельности московскаго Благороднаго пансіона,—а съ первыхъ годовъ царствованія импер. Александра стали вновь размножаться масонскія ложи со всею прежнею вычурной обрядностью и мистическимъ содержаніемъ. Снова пошла въ ходъ и

старая масонская литература: къ Якову Бёму, г-жѣ Гюйонъ и т. д. присоединился Юнгъ-Штиллингъ; въ сохранившихся масонскихъ библіотекахъ начала нынѣшняго столѣтія [1]) находимъ, къ удивленію, даже новые списки розенкрейцерскихъ сочиненій, проникавшихъ къ намъ во времена Новикова. Масонскіе кружки сложились снова въ тѣсный союзъ, опять проповѣдуя „внутреннюю церковь", но уже безъ того просвѣтительнаго характера, какимъ отличалось нѣкогда Дружеское Общество. Это была странная секта, выдѣлявшая себя отъ обычной церковности, исполненная высокомнѣнія, нетерпимости и презрѣнія къ наукѣ, которую хотѣли замѣнить мистическими умствованіями. Сколько было здѣсь отчасти лицемѣрія, отчасти безсодержательной реторики на мистическія темы, можно видѣть изъ разсказовъ наблюдательнаго современника [2]). Съ одной стороны, новые масоны сходились съ развивавшейся въ тѣ годы религіозной экзальтаціей, которая выразилась у насъ широкимъ развитіемъ Библейскаго Общества, а съ другой—впадали въ мрачное сектаторство и обскурантизмъ. Въ концѣ концовъ произошло извѣстное столкновеніе, гдѣ противъ одного обскурантизма выступилъ другой, представителемъ котораго былъ юрьевскій архимандритъ Фотій. Странныя событія, которыя совмѣстились къ концу царствованія Александра I,—какъ упомянутый судъ надъ профессорами петербургскаго Университета, закрытіе масонскихъ ложъ, борьба Фотія съ кн. А. Н. Голицынымъ, закрытіе Библейскаго Общества, дѣятельность Магницкаго въ Казани и т. д.,—даютъ тяжелую картину эпохи, когда въ то же время среди военной молодежи шло броженіе умовъ, результатомъ котораго были событія 14-го декабря.

Источникъ политическаго возбужденія, охватившаго тогда почти исключительно военные круги, восходитъ ко временамъ войнъ за „освобожденіе Европы". Въ рядахъ арміи было не мало молодыхъ образованныхъ людей, на которыхъ событія производили сильное и новое впечатлѣніе: они становились свидѣтелями и участниками историческаго переворота, который, по-видимому, готовилъ обновленіе европейской жизни на началахъ свободы. Юношескій энтузіазмъ увлекался перспективой этого будущаго; мысли молодыхъ патріотовъ естественно обращались къ положенію ихъ отечества и поражались несоотвѣтствіемъ русской дѣйствительности съ идеаломъ свободнаго и благоустроен-

[1]) Масонскіе архивы и собранія книгъ Ланского, гр. Віельгорскаго и др. въ Публичной Библіотекѣ въ Петербургѣ и въ Румянцовскомъ Музеѣ въ Москвѣ.

[2]) С. Т. Аксаковъ, „Встрѣча съ мартинистами".

наго общества, какой составлялся у нихъ подъ вліяніемъ европейской жизни, ея дѣйствительности и вычитанныхъ теорій. Съ возвращеніемъ въ Россію эти люди составили замѣтный слой въ общественномъ кругу, находили, конечно, и дóма людей сходнаго образа мыслей, и въ первый разъ въ русскомъ обществѣ явилась цѣлая категорія людей, которыхъ Карамзинъ называлъ тогда „либералистами". Такими либералистами бывали и вообще люди молодого поколѣнія съ новымъ образованіемъ, которое получалось иногда въ германскихъ университетахъ или въ чтеніи; назовемъ Н. И. Тургенева, который уже въ 1818 году издалъ свою замѣчательную книгу: „Опытъ теоріи налоговъ", и съ тѣхъ поръ былъ убѣжденнымъ защитникомъ необходимости освобожденія крестьянъ, какъ основной мѣры, безъ которой невозможно нормальное экономическое и политическое развитіе Россіи; были просвѣщенные, и совсѣмъ мирные люди между профессорами, въ Университетѣ и въ Царскосельскомъ лицеѣ (въ числѣ ихъ былъ, напримѣръ, К. И. Арсеньевъ, извѣстный впослѣдствіи ученый и одинъ изъ преподавателей при наслѣдникѣ престола, потомъ импер. Александрѣ II),—и такихъ людей сподвижникъ Магницкаго Руничъ обвинялъ въ настоящихъ государственныхъ преступленіяхъ... Самъ имп. Александръ, несмотря на Священный союзъ, еще не покинулъ свободолюбивыхъ мечтаній: Новосильцовъ продолжалъ работу надъ „Уложеніемъ", начатую нѣкогда Сперанскимъ; въ варшавской рѣчи (1818) Александръ высказывалъ намѣреніе дать нѣкогда самой Россіи „законно-свободныя" учрежденія—немудрено, что крайніе „либералисты" носились съ конституціонными мечтами и считали возможнымъ ихъ близкое исполненіе. Когда, однако, событія не подтверждали ожиданій и, напротивъ, приводили къ цѣлому ряду проявленій реакціи и тупого обскурантизма того рода, какъ мы выше упоминали, броженіе въ средѣ либеральнаго круга становится болѣе безпокойнымъ и приводитъ, наконецъ, къ образованію тайныхъ обществъ... Этихъ либераловъ Александровскаго времени, независимо даже отъ ихъ покушенія произвести насильственный государственный переворотъ, обвиняютъ въ крайнемъ неразуміи, когда они воображали, что могутъ рѣшать цѣлый вопросъ народнаго бытія помимо самого народа, даже не заботясь объ его мнѣніяхъ и не зная ихъ: эту ошибку они, конечно, скоро должны были увидѣть,—исторически любопытенъ, однако, ея источникъ. Весьма вѣроятно, что о возможности такихъ переворотовъ они могли заключать по многимъ примѣрамъ нашей собственной исторіи XVIII вѣка; у нихъ могло быть также впечатлѣніе тѣхъ поли-

тическихъ вспышекъ, какія происходили тогда въ западной Европѣ и которыя исходили отъ подобныхъ тайныхъ обществъ и заговоровъ; они могли думать, что незаконный способъ дѣйствій былъ бы впослѣдствіи оправданъ ихъ благими намѣреніями относительно народа; нужно, наконецъ, прибавить, что если они считали народъ пассивною массою, о мнѣніяхъ которой можно было не заботиться, которая вообще можетъ управляться сверху безъ всякаго ея спроса, то это было общее представленіе того времени. Тотъ же взглядъ на „добрыхъ россіянъ“ найдемъ у Карамзина въ запискѣ „о древней и новой Россіи“ и въ самой „Исторіи государства Россійскаго“.

Понятно, что новыя поколѣнія, выросшія подъ впечатлѣніями Двѣнадцатаго года, подъ вліяніемъ близкихъ, хотя случайныхъ и краткихъ отношеній съ европейскимъ обществомъ во время войнъ за освобожденіе, напитавшіяся, хотя бы слегка, тогдашними либеральными идеями, должны были стоять въ рѣзкой противоположности съ тѣмъ старшимъ обществомъ, которое срослось съ даннымъ порядкомъ вещей и устроивало на немъ свое личное благополучіе, не заботясь дальше ни о какихъ мудреныхъ вопросахъ умственныхъ или общественныхъ. Этотъ внутренній разладъ между старымъ и новымъ въ средѣ самого общества становился явленіемъ исторической важности: это былъ первый фактъ, гдѣ ясно сказывались различныя ступени развитія,—отъ него должна была пойти новая постановка вопросовъ нашей умственной жизни и общественности. До сихъ поръ русское общество не знало ничего подобнаго. Весь восемнадцатый вѣкъ проходилъ въ элементарномъ усвоеніи образовательныхъ идей; единственное движеніе, ставившее болѣе глубоко вопросъ общественнаго воспитанія, обнаружилось въ концѣ вѣка въ дѣятельности Новикова и его друзей, но, и по своему собственному характеру, и по всѣмъ условіямъ времени, оно могло ставить этотъ вопросъ только какъ вопросъ личнаго совершенствованія, но не касалось формъ общественнаго развитія. Нѣчто подобное затронулъ Радищевъ, но его мысли не были досказаны, и въ цѣломъ онъ остался благороднымъ другомъ народнаго и общественнаго блага, но и сентиментальнымъ мечтателемъ въ духѣ своего вѣка... Новое поколѣніе являлось съ болѣе опредѣленными понятіями; онѣ были ложно направлены у людей тайныхъ обществъ, но вообще въ томъ поколѣніи были впервые отвергнуты отжившія преданія быта и намѣчены новыя задачи, которымъ предстояло развитіе.

Этотъ разрывъ между старымъ и новымъ вѣкомъ въ обще-

ственныхъ понятіяхъ выразился и въ литературѣ. Псевдо-классицизмъ былъ окончательно вытѣсненъ романтизмомъ. Это не была одна смѣна литературныхъ школъ, различныхъ пониманій поэзіи, характеровъ стиля; напротивъ, это была и смѣна міровоззрѣній. Псевдо-классицизмъ носилъ на себѣ печать эпохи, которой принадлежало его процвѣтаніе: это была эпоха прочно-установленнаго политическаго порядка, гдѣ поэзія служила „украшеніемъ“ аристократическаго быта, гдѣ античная древность должна была одѣться въ придворный костюмъ, и строго отвергалось все народное, какъ плебейское и вульгарное, — вульгарнымъ считался самый Шекспиръ. Потому псевдо-классицизмъ такъ и пришелся по вкусу нашему XVIII вѣку, поэзія котораго также прежде всего старалась пріобрѣсти благосклонность двора и вельможъ: для каждаго стихотворца была обязательна ода, первый театръ былъ придворный, первая проза были похвальныя слова, для успѣха литературнаго произведенія требовалось „приписать“, т.-е. посвятить, его какой-либо высокой особѣ,—эти условія могли обходить только произведенія, которыя у самихъ авторовъ не считались серьезными, какъ произведенія шуточныя и т. п.; сильнѣйшій поэтъ вѣка все свое назначеніе и всю славу полагалъ въ томъ, чтобы быть придворнымъ пѣвцомъ,—хотя послѣ самъ усомнился въ своемъ дѣлѣ... Романтизмъ исходилъ изъ совершенно иныхъ требованій. Онъ началъ съ того, что отвергъ въ псевдо-классицизмѣ самое его пониманіе древности, узкую эстетическую теорію, и провозгласилъ свободу поэтическаго творчества; онъ отвергъ пренебреженіе къ среднимъ вѣкамъ и находилъ въ нихъ образцы высокой поэзіи; онъ не только не презиралъ народной поэзіи, но искалъ и изучалъ ее, какъ непосредственное проявленіе народнаго духа, старался возсоздавать ее и открывалъ въ ней живительный источникъ для современнаго художества, если оно хотѣло стать истинно-національнымъ; на мѣсто педантическихъ правилъ старой піитики онъ ставилъ свободу геніальнаго художника, который долженъ былъ быть самъ для себя закономъ. Немудрено, что люди ложно-классическаго вѣка приходили въ ужасъ отъ этого литературнаго безначалія и считали его паденіемъ поэтическаго искусства...

Западно-европейскій романтизмъ въ его нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ формахъ представлялъ чрезвычайное разнообразіе настроеній, отъ погруженія въ средневѣковой мистицизмъ до возвышеннаго художественнаго идеализма и до бурной поэзіи Байрона: все это шло болѣе или менѣе параллельно съ историческимъ движеніемъ вѣка, который послѣ потрясеній фран-

цузской революціи, Наполеоновскихъ войнъ, Священнаго союза и конгрессовъ переживалъ самыя разнообразныя настроенія, отъ католической реакціи и мистицизма до политической экзальтаціи, хотѣвшей защищать свободу народовъ; но во всѣхъ этихъ формахъ романтизмъ былъ именно явленіемъ новаго историческаго періода и одинъ могъ удовлетворить художественнымъ вкусамъ и потребностямъ новыхъ поколѣній. Нашъ романтизмъ, какъ вообще бывало въ нашей литературѣ, только въ слабой степени повторялъ западные образцы, но опять ихъ вліяніе не было совсѣмъ случайнымъ; самое обращеніе къ нимъ было дѣломъ самостоятельнаго выбора: ими увлекались потому, что находили въ нихъ отвѣтъ на собственныя инстиктивныя исканія, и по чужому образцу высказывалось собственное настроеніе. Русская жизнь была чужда глубокихъ основаній, изъ которыхъ въ концѣ XVIII вѣка выростали національно-литературныя движенія: у насъ не было тѣни обширныхъ изученій классическаго искусства, тѣни того знанія, которое начинало тогда реставрировать средніе вѣка, народную поэзію, истолковывать Шекспира, не было данныхъ философскаго и историческаго идеализма; наконецъ, того броженія общественныхъ элементовъ, которые готовились создавать новое европейское общество. Отъ всего этого къ намъ доходили только далекіе отголоски; но они стали приходить чаще и дѣйствовать сильнѣе, когда нѣсколько выросли средства нашей собственной литературы, когда еще съ конца прошлаго вѣка самостоятельно возникали интересы къ изученію народности, когда въ первыя десятилѣтія XIX вѣка русское общество само пережило великія историческія испытанія, и возбужденное чувство искало болѣе широкаго выраженія, когда, наконецъ, рождались и волновали умы вопросы внутренняго общественнаго характера. Непосредственныя встрѣчи съ европейскими литературными и политическими идеями въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ открывали, наконецъ, болѣе широкій путь литературнымъ вліяніямъ, и содержаніемъ ихъ могъ быть только романтизмъ... Онъ приходилъ къ намъ въ популярной формѣ; русская литература жадно воспринимала изъ него тѣ мотивы, которые были приложимы къ русскому содержанію, отвѣчали собственнымъ поэтическимъ и общественнымъ инстинктамъ и стали, наконецъ, только указаніемъ, поводомъ и формой для самостоятельнаго творчества. Примѣръ мы видѣли на поэзіи Жуковскаго, которая связала старую традицію прошлаго вѣка, вынесенную изъ московской школы (а въ первомъ источникѣ—изъ западнаго идеалистическаго піэтизма), съ новѣйшей романтикой и создала изъ нихъ собственное міровоз-

зрѣніе. Въ слѣдующемъ поколѣніи Пушкинъ вышелъ изъ романтической школы къ вполнѣ самостоятельной поэзіи, которая послужила началомъ русской національной литературы.

Но прежде чѣмъ это совершилось, литература того времени переживала рядъ промежуточныхъ ступеней. Какъ вообще смѣна историческихъ періодовъ, рѣзко отличныхъ между собою въ ихъ полномъ развитіи, въ дѣйствительности совершается переходною порою мелкихъ оттѣнковъ, такъ было и здѣсь. Выше приведены примѣры того, какъ литературное преданіе XVIII-го вѣка продолжало держаться, когда, повидимому, для него уже не было почвы; точно также среди полнаго господства старой школы пробивались еще съ конца прошлаго вѣка новые мотивы, которые были подготовленіемъ новаго литературнаго періода. Литература той поры еще не изучена въ подробностяхъ съ этой точки зрѣнія, но когда такое изученіе будетъ сдѣлано, мы встрѣтимъ любопытную картину постепеннаго наростанія новыхъ литературныхъ интересовъ. Нужно было только появленіе сильнаго дарованія, которое дало бы этимъ инстинктивнымъ исканіямъ опредѣленную форму и жизненное значеніе.

Еще предстоялъ окончательный разсчетъ съ XVIII вѣкомъ. Было на лицо еще немало его представителей, частію такихъ, которые способны были понимать новыя возникавшія теченія, даже до извѣстной степени имъ сочувствовать, но частію и такихъ, которые были къ этому совсѣмъ неспособны и, напротивъ, съ великимъ жаромъ защищали преданія временъ Ломоносова и Сумарокова.

Такъ, молодому поколѣнію Жуковскаго и его современниковъ привелось быть участникомъ извѣстной войны изъ-за стараго и новаго слога. Вопросъ былъ архаическій, какъ и главный начинатель его, Шишковъ. Это былъ вполнѣ человѣкъ стараго вѣка, но признанію самого Карамзина, честный, но „тупой"; съ послѣднимъ соглашаются новѣйшіе историки литературы, прибавляя, что это былъ также человѣкъ невѣжественный въ самыхъ первоначальныхъ вопросахъ словесности, и это было главное. Шишковъ возставалъ противъ литературной реформы Карамзина, нападая на излишество иностранныхъ словъ, вводимыхъ въ русскій языкъ новыми писателями, на незнаніе ими славянскаго языка церковныхъ книгъ, который, по его мнѣнію, долженъ былъ служить главнымъ источникомъ для обогащенія языка современнаго и т. п.; главною причиной искаженія русскаго языка Шишковъ

полагалъ иностранное воспитаніе на французскомъ языкѣ, которое отрывало юношество отъ благочестивыхъ обычаевъ старины и отъ настоящаго знанія русскаго языка. Послѣ первой книги: „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка“ (1803), Шишковъ много разъ возвращался къ этому предмету въ отдѣльныхъ книжкахъ, статьяхъ, рѣчахъ, въ десятки лѣтъ не подвинувшись ни мало въ пониманіи предмета, хотя съ самаго начала ему были противопоставлены весьма вѣскія по своему времени возраженія (Макарова, Дашкова, самого Карамзина). Главная ошибка,—которой впрочемъ не могли тогда поправить его оппоненты, потому что вопросъ былъ неясенъ и для нихъ,—заключалась въ томъ, что Шишковъ смѣшивалъ въ одно славянскій и русскій, которые казались ему однимъ и тѣмъ же языкомъ: русскій языкъ былъ „чадо“ церковно-славянскаго или его новѣйшее „нарѣчіе“; различіе въ употребленіи состояло въ томъ, что славянскій языкъ долженъ былъ служить для возвышенныхъ предметовъ или для высокаго стиля, а русскій годился только для предметовъ обыденныхъ; въ качествѣ „чада“, новѣйшій русскій языкъ могъ и долженъ былъ почерпать слова изъ церковно-славянскаго или, для изгнанія словъ иностранныхъ, образовывать новыя изъ его матеріала. Изобрѣтенія самого Шишкова въ этомъ родѣ были, какъ извѣстно, крайне уродливы и только послужили цѣлью для долго не прекращавшихся насмѣшекъ; столь же нелѣпы были его попытки вводить слова церковно-славянскія или совсѣмъ забытыя, или, какъ стало послѣ извѣстно, даже чуждыя древнему русскому языку. Для защиты своихъ теорій Шишковъ воспользовался, во-первыхъ, Россійской Академіей,—съ тѣхъ поръ потерявшей, и уже навсегда, свое общественное значеніе,—а потомъ Бесѣдой любителей русскаго слова (1811), которая и соединила въ себѣ, за немногими случайными исключеніями, приверженцевъ литературной старины. Въ Бесѣдѣ, засѣданія которой открылись въ домѣ Державина, приняли участіе также люди съ другимъ оттѣнкомъ мнѣній, но въ концѣ концовъ она стала спеціальнымъ гнѣздомъ литературнаго старовѣрства, и молодое поколѣніе или люди новыхъ литературныхъ взглядовъ всего чаще дѣйствовали противъ нея только насмѣшками, и присутствіе ея отчасти побуждало ихъ самихъ собраться въ опредѣленный кругъ и выяснить свои литературныя стремленія: въ такомъ родѣ былъ вскорѣ извѣстный „Арзамасъ“.

Въ концѣ 1811 года Шишковъ написалъ „Разсужденіе о любви къ отечеству“: здѣсь онъ сказался съ наилучшей своей стороны, потому что нашелъ краснорѣчивое выраженіе для своего

искренняго чувства, притомъ въ такую пору, когда обществу и народу предстояли особыя усилія любви къ отечеству. Прочитавъ это „Разсужденіе", императоръ Александръ назначилъ Шишкова государственнымъ секретаремъ, и онъ былъ вскорѣ авторомъ знаменитыхъ манифестовъ двѣнадцатаго года, вызвавшихъ впослѣдствіи благодарное воспоминаніе въ стихахъ Пушкина. Это было лучшее время Шишкова. Къ сожалѣнію, отличавшая его первобытность понятій завлекла его слишкомъ далеко въ заботахъ о благѣ отечества. Если раньше ему казалось, что порча языка у его литературныхъ противниковъ была слѣдствіемъ иностраннаго воспитанія и происшедшаго отсюда недостатка любви къ своему родному, то теперь онъ прямо называлъ людей такого рода врагами отечества, и любители французской литературы были измѣнники и предатели: простодушный любитель старины и человѣкъ съ большой патріотической заслугой ставилъ себя въ ряды обскурантовъ, которые уже вскорѣ послѣ Священнаго союза такъ размножились не только въ обществѣ, но и въ правительственныхъ вѣдомствахъ, и между которыми трудно было найти честныхъ людей. Репутація Шишкова осталась двусмысленной: „священная память двѣнадцатаго года" не могла покрыть его литературнаго и общественнаго обскурантизма. Уже тотчасъ по выходѣ „Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ" его противники, которые были послѣдователями Карамзина, высказали нѣсколько здравыхъ замѣчаній объ истинномъ положеніи литературнаго языка, который не остается неподвижнымъ, а напротивъ, измѣняется и обогащается съ успѣхами наукъ, поэзіи, общественной жизни; наконецъ, на его обвиненія отвѣтилъ самъ Карамзинъ. Избранный членомъ Россійской Академіи, Карамзинъ въ декабрѣ 1818 произнесъ въ ея собраніи рѣчь, которая была защитой свободнаго развитія языка и оправданіемъ литературы, ищущей новыхъ образцовъ. Обогащеніе языка зависитъ отъ успѣховъ общежитія и словесности, отъ дарованій писателей, а дарованія даются судьбой и природой; слова не изобрѣтаются академіями, а рождаются вмѣстѣ съ мыслями въ употребленіи общества или въ произведеніяхъ даровитыхъ писателей, являясь какъ вдохновеніе: онѣ входятъ въ языкъ самовластно, безъ всякаго ученаго законодательства, и намъ остается принимать ихъ; мы не можемъ и составлять правилъ языка,—эти правила уже существуютъ, и намъ слѣдуетъ только изучать ихъ. Что касается литературы, Карамзинъ рѣшительнымъ образомъ оправдывалъ ея новѣйшій характеръ и ея общеніе съ литературами иностранными; при этомъ онъ какъ будто отступалъ отъ нѣкоторыхъ

взглядовъ, высказанпыхъ имъ еще не такъ давно въ запискѣ „о древней и новой Россіи“.

„Петръ Великій,—говорилъ онъ,—могучею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы безполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалась навѣки. Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ; читаемъ, ибо живемъ, какъ они живутъ, что̀ они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты особенныя, составляющія характеръ словесности народной, уступаютъ красотамъ общимъ: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для россіянъ, еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка, не Мономахова, и даже не Гомерова: ибо потомство не будетъ искать въ нашихъ твореніяхъ ни красотъ Слова о полку Игоревѣ, ни красотъ Одиссеи, но только свойственныхъ нынѣшнему образованію человѣческихъ способностей. Тамъ нѣтъ бездушнаго подражанія, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и общимъ языкомъ времени! тамъ есть особенность личная, или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входитъ въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное знаменіе“.

Защита русской литературы—замѣчательная для своего времени и для самого Карамзина: онъ самъ примирился съ неотразимымъ значеніемъ эпохи Петра Великаго и указалъ въ подражательности литературы историческую необходимость, при чемъ самая подражательность давала мѣсто проявленіямъ собственной внутренней жизни, какъ это было въ дѣйствительности. Періодъ прежней ученической подражательности близился къ концу, но еще не закончился совсѣмъ, такъ что объясненіе Карамзина имѣло значеніе и для данной минуты.

Далѣе. Еще жилъ и частію дѣйствовалъ другой ветеранъ XVIII вѣка, Державинъ; но слава его была уже въ прошедшемъ; возроставшее поколѣніе цѣнило его прошлыя заслуги, но теперь видѣло и его въ лагерѣ представителей стараго вѣка, враждебныхъ новымъ движеніямъ. Въ молодомъ литературномъ кругу складывалось болѣе тонкое художественное чувство, и уже теперь начиналось критическое отношеніе къ Державину, какое мы знаемъ по замѣткамъ Пушкина.

Въ литературныхъ кругахъ не только старыхъ, но и новыхъ,

искренняго чувства, притомъ въ такую пору, когда обществу и народу предстояли особыя усилія любви къ отечеству. Прочитавъ это „Разсужденіе“, императоръ Александръ назначилъ Шишкова государственнымъ секретаремъ, и онъ былъ вскорѣ авторомъ знаменитыхъ манифестовъ двѣнадцатаго года, вызвавшихъ впослѣдствіи благодарное воспоминаніе въ стихахъ Пушкина. Это было лучшее время Шишкова. Къ сожалѣнію, отличавшая его первобытность понятій завлекла его слишкомъ далеко въ заботахъ о благѣ отечества. Если раньше ему казалось, что порча языка у его литературныхъ противниковъ была слѣдствіемъ иностраннаго воспитанія и происшедшаго отсюда недостатка любви къ своему родному, то теперь онъ прямо называлъ людей такого рода врагами отечества, и любители французской литературы были измѣнники и предатели: простодушный любитель старины и человѣкъ съ большой патріотической заслугой ставилъ себя въ ряды обскурантовъ, которые уже вскорѣ послѣ Священнаго союза такъ размножились не только въ обществѣ, но и въ правительственныхъ вѣдомствахъ, и между которыми трудно было найти честныхъ людей. Репутація Шишкова осталась двусмысленной: „священная память двѣнадцатаго года“ не могла покрыть его литературнаго и общественнаго обскурантизма. Уже тотчасъ по выходѣ „Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ“ его противники, которые были послѣдователями Карамзина, высказали нѣсколько здравыхъ замѣчаній объ истинномъ положеніи литературнаго языка, который не остается неподвижнымъ, а напротивъ, измѣняется и обогащается съ успѣхами наукъ, поэзіи, общественной жизни; наконецъ, на его обвиненія отвѣтилъ самъ Карамзинъ. Избранный членомъ Россійской Академіи, Карамзинъ въ декабрѣ 1818 произнесъ въ ея собраніи рѣчь, которая была защитой свободнаго развитія языка и оправданіемъ литературы, ищущей новыхъ образцовъ. Обогащеніе языка зависитъ отъ успѣховъ общежитія и словесности, отъ дарованій писателей, а дарованія даются судьбой и природой; слова не изобрѣтаются академіями, а рождаются вмѣстѣ съ мыслями въ употребленіи общества или въ произведеніяхъ даровитыхъ писателей, являясь какъ вдохновеніе: онѣ входятъ въ языкъ самовластно, безъ всякаго ученаго законодательства, и намъ остается принимать ихъ; мы не можемъ и составлять правилъ языка,—эти правила уже существуютъ, и намъ слѣдуетъ только изучать ихъ. Что касается литературы, Карамзинъ рѣшительнымъ образомъ оправдывалъ ея новѣйшій характеръ и ея общеніе съ литературами иностранными; при этомъ онъ какъ будто отступалъ отъ нѣкоторыхъ

взглядовъ, высказанныхъ имъ еще не такъ давно въ запискѣ „о древней и новой Россіи".

„Петръ Великій,—говорилъ онъ,—могучею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы безполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалась навѣки. Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ; читаемъ, ибо живемъ, какъ они живутъ, чтò они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты особенныя, составляющія характеръ словесности народной, уступаютъ красотамъ общимъ: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для россіянъ, еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка, не Мономахова, и даже не Гомерова: ибо потомство не будетъ искать въ нашихъ твореніяхъ ни красотъ Слова о полку Игоревѣ, ни красотъ Одиссеи, но только свойственныхъ нынѣшнему образованію человѣческихъ способностей. Тамъ нѣтъ бездушнаго подражанія, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и общимъ языкомъ времени! тамъ есть особенность личная, или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входитъ въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное знаменіе".

Защита русской литературы—замѣчательная для своего времени и для самого Карамзина: онъ самъ примирился съ неотразимымъ значеніемъ эпохи Петра Великаго и указалъ въ подражательности литературы историческую необходимость, при чемъ самая подражательность давала мѣсто проявленіямъ собственной внутренней жизни, какъ это было въ дѣйствительности. Періодъ прежней ученической подражательности близился къ концу, но еще не закончился совсѣмъ, такъ что объясненіе Карамзина имѣло значеніе и для данной минуты.

Далѣе. Еще жилъ и частію дѣйствовалъ другой ветеранъ XVIII вѣка, Державинъ; но слава его была уже въ прошедшемъ; возроставшее поколѣніе цѣнило его прошлыя заслуги, но теперь видѣло и его въ лагерѣ представителей стараго вѣка, враждебныхъ новымъ движеніямъ. Въ молодомъ литературномъ кругу складывалось болѣе тонкое художественное чувство, и уже теперь начиналось критическое отношеніе къ Державину, какое мы знаемъ по замѣткамъ Пушкина.

Въ литературныхъ кругахъ не только старыхъ, но и новыхъ,

продолжалъ пользоваться почетомъ старшій современникъ и другъ Карамзина, И. И. Дмитріевъ. За нимъ установилась репутація ближайшаго союзника Карамзина: какъ послѣдній преобразовалъ русскую прозу, такъ Дмитріеву приписывалась заслуга преобразованія въ томъ же смыслѣ русскаго стиха. Особенной заслугой его считались басни, сказка „Модная жена", нѣжныя пѣсенки, сатира „Чужой толкъ" (1794); полагалось, что, напримѣръ, послѣдняя нанесла ударъ старому напыщенному стихотворству, которое пора было сдать въ архивъ: въ дѣйствительности значеніе Дмитріева едва ли не было преувеличено даже для того времени. Онъ носитъ на себѣ всѣ черты вкусовъ XVIII вѣка. Его сатира отмѣтила отчасти смѣшныя стороны тогдашняго стихотворства, чтò уже бросалось въ глаза,—но характеристика сочинителя одъ не отличается ясностью [1]: остается нѣсколько удачныхъ стиховъ, которые и цитировались множество разъ въ доказательство того, что царство оды кончалось, и что самъ Дмитріевъ уже отвергалъ эту старомодную литературную форму. Но ода держалась еще десятка два лѣтъ и скорѣе умерла естественною смертью, потому что была уже нелѣпостью при новыхъ литературныхъ вкусахъ, чѣмъ отъ сатиры Дмитріева; а самъ сатирикъ въ это же время и послѣ продолжалъ упражняться въ одахъ и съ тѣми же пріемами, какіе осмѣивалъ въ „Чужомъ толкѣ" [2]). Въ своихъ басняхъ, апологахъ и другихъ стихотворе-

---

[1]) Онъ смѣшиваетъ, повидимому, совсѣмъ разные классы стихотворцевъ. Дмитріевъ подъ рядъ исчисляетъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

. . . здѣсь, въ Москвѣ, толкался я, бывало,
Межъ нашихъ Пиндаровъ и всѣхъ ихъ замѣчалъ:
Большая часть изъ нихъ—лейбъ-гвардіи капралъ,
Ассесоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной;
Такъ часто я видалъ, что истинно иной
Въ два, въ три дни риѳму лишь прибрать едва успѣетъ,
За тѣмъ, что въ хлопотахъ досуга не имѣетъ.
Лишь только мысль къ нему счастливая придетъ,
Вдругъ било шесть часовъ! уже карета ждетъ;
Пора въ театръ, а тамъ на балъ, а тамъ къ Ліону,
А тутъ и ночь. . Когда жъ заѣхать къ Аполлону?
Назавтра, лишь глаза откроетъ,—ужъ билетъ:
На пробу въ пять часовъ... Куда же? въ модный свѣтъ,
Гдѣ лирикъ нашъ и самъ взялъ арлекина ролю.
До оды ль тутъ? тверди, скачи два раза къ Кролю;
Потомъ опять домой, здѣсь холься да рядись;
А тамъ въ спектакль, и такъ со днемъ опять простись!

Ліонъ былъ въ Петербургѣ содержатель такъ называемыхъ вольныхъ, т.-е. частныхъ маскарадовъ; а Кроль—петербургскій портной. Неужели всѣ эти свѣтскія заботы, спектакли, маскарады отягощали подъячаго или въ пыли ходячаго антика?

[2]) Напр., „Стихи на побѣду графа Суворова-Рымникскаго, одержанную надъ польскими войсками, когда онъ въ три дня перешолъ седмь сотъ верстъ", писанные въ томъ же году, какъ и „Чужой толкъ" (1794):

ніяхъ Дмитріевъ цѣлыми пригоршнями почерпалъ изъ Лафонтена, Флоріана, Грекура, Вольтера, Гишара, Арно и т. д.; позднѣе, онъ писалъ немного—мелкія стихотворенія, пѣсни, надписи къ портретамъ, эпитафіи (иногда по нѣскольку штукъ на одну тему), все въ прежнемъ старомодномъ вкусѣ. Наконецъ онъ оставилъ записки, любопытныя по фактамъ, но столь сухія, что, по словамъ князя Вяземскаго, онъ писалъ ихъ точно въ мундирѣ... Очевидно, для новыхъ литературныхъ поколѣній Дмитріевъ, какъ писатель, не могъ представлять большого интереса и не могъ имѣть никакого вліянія, и если имя его повторяется не однажды въ тогдашней литературной исторіи, даже до временъ Гоголя, это была дань почтенія къ старому другу Карамзина, который продолжалъ интересоваться литературой,—въ домѣ его въ Петербургѣ, когда онъ былъ важнымъ лицомъ, а потомъ въ Москвѣ, когда онъ жилъ тамъ на покоѣ, появлялись писатели всѣхъ поколѣній, какія онъ видѣлъ на своемъ вѣку.

Гораздо значительнѣе Дмитріева по дарованію и дѣятельности, продолжавшейся до самыхъ сороковыхъ годовъ, былъ Крыловъ. Изображенный нѣкогда въ біографіи Плетнева, онъ долго былъ забытъ изслѣдователями. Въ 1868 году столѣтняя память его рожденія возбудила историческій интересъ, и въ изслѣдованіяхъ Грота и особливо Кеневича явился давно необходимый комментарій къ его баснямъ. Въ 1894 году его сочиненія стали общей литературной собственностью, и это вызвало нѣсколько новыхъ изданій басенъ, хотя не вызывало донынѣ полнаго изданія его сочиненій, и нѣсколько новыхъ данныхъ для его біографіи и объясненія сочиненій и языка. Ближайшіе современники, за исключеніемъ Лобанова, отчасти Греча, Вигеля, по обыкновенію

Не твоего ль, Израиль, сына
Чудесно видимъ между насъ?
Течетъ шагами исполина
И къ солнцу простираетъ гласъ:
Стой, солнце!—и остановляетъ...
Три нощи въ нощь совокупляетъ
И онымъ чудомъ изъ чудесъ
Связуетъ мышцы вознесенны,
Ломаетъ сабли изощренны
И копій сокрушаетъ лѣсъ!
Се ты, о Навинъ, нашъ Суворовъ!
Предметъ всеобщихъ днесь похвалъ,
Благословеній, разговоровъ,
Се тако ты, герой, леталъ
На крыліяхъ безсмертной славы
И сонмы буйные, лукавы,
Сыновъ Моссоховыхъ громилъ!
Блеснулъ мечемъ—и сонмы пали,
Другіе въ бѣгствѣ восклицали:
Притекъ, узрѣлъ и побѣдилъ!

почти не оставили свѣдѣній о писателѣ, котораго сами въ свое время высоко цѣнили, такъ что біографія Крылова представляетъ много неясностей, которыхъ еще не удается раскрыть новѣйшимъ изыскателямъ. Начальное время его дѣятельности уже слишкомъ далеко, и впослѣдствіи, говорятъ, Крыловъ не любилъ вспоминать своего прошлаго; въ позднѣйшее время онъ держался вдалекѣ отъ молодыхъ литературныхъ кружковъ, съ которыми, собственно говоря, у него и не было ничего общаго. Основные факты біографіи сводятся къ тому, что, родившись въ семьѣ небогатаго отставного армейскаго офицера въ провинціи, Крыловъ рано потерялъ отца и остался только при элементарномъ образованіи, которое впослѣдствіи самъ пополнялъ чтеніемъ, успѣвши выучиться по-французски, а потомъ также по-итальянски, наконецъ даже, какъ говорятъ, по-гречески, хотя этого послѣдняго знанія онъ нигдѣ не употребилъ въ дѣло. Но рано онъ сталъ знакомиться съ дѣйствительною жизнью: еще мальчикомъ былъ записанъ на приказную службу, которую, кажется, и исполнялъ, сначала въ провинціи, потомъ въ Петербургѣ, гдѣ служилъ въ казенной палатѣ, потомъ въ кабинетѣ императрицы; въ царствованіе Павла жилъ въ кіевскомъ имѣніи князя С. Ѳ. Голицына, впавшаго въ опалу, состоялъ нѣкоторое время при Голицынѣ, когда тотъ былъ въ Ригѣ военнымъ губернаторомъ. Послѣ того біографія опять затемняется,—разсказываютъ только, что Крыловъ между прочимъ предавался отчаянной картежной игрѣ, даже ѣздилъ съ этою цѣлью по ярмаркамъ, попалъ однажды изъ-за этого въ непріятную исторію. Наконецъ, съ 1812 года Крыловъ состоялъ на службѣ въ Императорской библіотекѣ, которая съ 1814 года стала Публичною. Несмотря на крайне недостаточное образованіе, Крыловъ очень рано вступилъ на литературное поприще: ему еще не было двадцати лѣтъ, когда онъ написалъ свои первыя театральныя пьесы, которыя доставили ему знакомства и ввели его въ литературно-театральный міръ. Постановка пьесъ на сцену встрѣчала разныя препятствія, и столкновенія Крылова съ однимъ изъ членовъ комитета, управлявшаго петербургскими театрами, генераломъ Соймоновымъ, показывали въ юномъ писателѣ человѣка очень смѣлаго и съ язвительнымъ остроуміемъ. Пьесы Крылова не отличались въ началѣ особыми достоинствами: дѣйствіе бывало слабо, комизмъ слишкомъ часто замѣнялся каррикатурой, но была наблюдательность, которой предстояло развиться гораздо шире въ его дальнѣйшихъ произведеніяхъ. Въ 1789 году Крыловъ затѣялъ изданіе журнала: это была „Почта духовъ", за которою слѣдовали „Зри-

тель“ и „Петербургскій Меркурій“,—два послѣдніе журнала онъ издавалъ вмѣстѣ съ Клушинымъ. Главное изъ этихъ изданій, „Почта духовъ“, продолжало типъ старыхъ сатирическихъ журналовъ: въ перепискѣ адскихъ духовъ проходили картины общественныхъ нравовъ и пороковъ, и со временъ „Живописца“ былъ уже сдѣланъ большой успѣхъ въ живости разсказа,—хотя главныя темы бывали иногда тѣ же самыя. Это было обличеніе иностраннаго воспитанія, свѣтскаго легкомыслія, судейскаго лихоимства и т. п. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно встрѣтить здѣсь тѣ же подробности, какія повторились потомъ въ его басняхъ, и есть указанія, по которымъ можно предполагать, что въ то время онъ дѣлалъ уже первые опыты въ этой литературной формѣ, которой принадлежитъ его главная, или единственная, слава, какъ писателя... Какъ замѣчено, извѣстна очень мало исторія его внутренняго развитія: трудно сказать, въ чемъ заключалось его міровоззрѣніе, въ которую сторону клонились его симпатіи; можно лишь думать, что интересы молодого Крылова были свѣжѣе и разнообразнѣе, чѣмъ были впослѣдствіи. Въ ту пору, когда онъ начиналъ изданіе „Почты духовъ“, онъ былъ близокъ съ однимъ изъ тогдашнихъ писателей, Рахманиновымъ: это былъ богатый человѣкъ, гораздо старше Крылова годами и большой поклонникъ Вольтера, изъ котораго онъ напечаталъ тогда много переводовъ, для чего основалъ даже собственную типографію, гдѣ и Крыловъ печаталъ свой журналъ. Рахманиновъ былъ человѣкъ угрюмый и упрямый въ своихъ мнѣніяхъ, но это, повидимому, не мѣшало ихъ отношеніямъ; осталось извѣстіе, что онъ доставлялъ Крылову матеріалы для его журнала. Предполагается и другой участникъ „Почты духовъ“, именно Радищевъ, котораго Крыловъ зналъ по службѣ въ казенной палатѣ. Послѣ своихъ журналовъ Крыловъ написалъ еще нѣсколько комедій (въ 1794 и послѣ, у князя Голицына въ Ригѣ), и затѣмъ новый періодъ его литературной дѣятельности открывается съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ писать басни. Это было въ 1806; въ 1809 вышелъ уже первый небольшой сборникъ, и съ этихъ поръ Крыловъ не писалъ больше ничего, кромѣ басенъ, и установилась его слава, какъ баснописца. Первоначальный небольшой сборникъ распространился потомъ до его нынѣшняго состава. Быть можетъ, поощренный первымъ успѣхомъ, Крыловъ былъ сначала очень плодовитъ, потомъ сталъ писать меньше, и наконецъ только изрѣдка брался за перо, окончательно облѣнившись. Въ нашей литературѣ онъ остался единственнымъ баснописцемъ съ громадной популярностью. Первые опыты басни дали

еще Тредьяковскій и Сумароковъ (если не считать Симеона Полоцкаго), потомъ эту литературную форму усердно воздѣлывали Хемницеръ и Дмитріевъ, такъ что Крыловъ работалъ уже на значительно подготовленной почвѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ былъ талантливѣе всѣхъ этихъ предшественниковъ; притомъ не только былъ значительно разработанъ языкъ, но еще въ XVIII вѣкѣ завоевано въ литературѣ извѣстное мѣсто народному элементу, такъ что и съ этой стороны Крыловъ былъ въ гораздо болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ его предшественники; наконецъ, все довершилъ его собственный талантъ. Говоря о баснѣ Крылова, нѣтъ надобности восходить къ отдаленной исторіи этой литературной формы, къ баснямъ Локмана и Езопа: если наши баснописцы знали греческую и латинскую басню, то всего больше черезъ французовъ, и особливо Лафонтена, котораго обыкновенно исчерпывали. Извѣстныя басенныя темы обошли всѣ европейскія литературы и, наконецъ, русскую. Это была необходимая принадлежность, которая не могла отсутствовать въ порядочной литературѣ. Форма басни съ древнѣйшихъ временъ сохранила художественное достоинство небольшого разсказа, сопровождаемаго серьезнымъ или шутливымъ поученіемъ; заслуга новой обработки состояла бы вообще въ усвоеніи литературѣ этого общечеловѣческаго матеріала въ формахъ своей народности, и затѣмъ въ обогащеніи его новыми темами. Когда повторялись темы уже извѣстныя, писатель былъ, повидимому, облегченъ тѣмъ, что былъ освобожденъ отъ труда изобрѣтенія, но задача тѣмъ не менѣе была не легка: дѣло шло не о простомъ переводѣ,—нужно было сообщить чужому содержанію черты своего быта и языка, и Крыловъ рѣшалъ эту задачу не только гораздо лучше своихъ предшественниковъ, но нерѣдко съ такимъ искусствомъ, что его басни могли выдержать въ популярномъ чтеніи почти вѣковое испытаніе, чему въ нашей литературѣ очень мало примѣровъ. Съ другой стороны басни носятъ на себѣ отпечатокъ своего вѣка. Крыловъ сохраняетъ ложно-классическую манеру въ разсказѣ, какъ сохраняетъ еще нѣкоторыя неловкости стараго книжнаго языка. Если представить себѣ, что басни предназначены для популярнаго чтенія, и дѣйствительно, читаются теперь въ каждой народной школѣ, — и даже независимо отъ этого, нѣсколько странно встрѣчать въ нихъ классическую миѳологію не только тамъ, гдѣ можетъ по необходимости понадобиться Зевесъ, но и тамъ, гдѣ изображается соловей, „любимецъ и пѣвецъ Авроры"; старую литературную школу напомнятъ и эпизоды идиллической сентиментальности, которая была нѣкогда въ лите-

ратурныхъ нравахъ, но не въ нравахъ обыкновеннаго русскаго читателя. Но, затѣмъ, въ басняхъ Крылова разбросано множество подробностей, гдѣ съ большимъ искусствомъ схвачены черты русскаго быта и народнаго языка. Было бы повидимому неумѣстно говорить о „направленіи“ баснописца, когда значительная часть его труда состояла въ переработкѣ темъ, считающихъ себѣ тысячелѣтія: это — давніе уроки мудрости на различные случаи и житейскія столкновенія людскихъ характеровъ и отношеній на подкладкѣ общечеловѣческой психологіи; но кромѣ этихъ были у Крылова и другія темы, принадлежавшія ему самому, имѣвшія въ виду извѣстныя лица и извѣстныя событія, какъ, напримѣръ, изъ двѣнадцатаго года, и гдѣ его точка зрѣнія не ограничивалась обыкновенною моралью, — и въ этомъ случаѣ Крыловъ остался человѣкомъ своего времени. Онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія житейской мудрости не самаго возвышеннаго разбора; правда, есть нѣсколько басенъ, намекающихъ на общественную несправедливость и осуждающихъ ее, но рядомъ бываютъ другія, которыя ослабляютъ это впечатлѣніе; въ вопросѣ о просвѣщеніи, который издавна представлялъ величайшую важность и больное мѣсто русской жизни, онъ занялъ положеніе, которое давно и (какъ можно видѣть изъ самыхъ послѣднихъ толкованій къ его баснямъ) даже теперь служитъ предметомъ споровъ между его комментаторами: былъ ли онъ врагомъ или другомъ просвѣщенія? Изъ сличенія басенъ, имѣющихъ отношеніе къ этому предмету [1]), едва ли можно вывести другое заключеніе кромѣ того, что баснописецъ желалъ въ просвѣщеніи умѣренной середины, относился недовѣрчиво къ слишкомъ высокимъ притязаніямъ человѣческаго ума, предпочиталъ этому практическую выучку для какого-нибудь опредѣленнаго дѣла, и т. п.; иначе, онъ насмѣхался надъ философіей, которую отожествлялъ съ высокоуміемъ и суемудріемъ. Давно замѣчено было, что не только примѣры бывали имъ выбраны странно, но и цѣлая мораль едва-ли была умѣстна въ обществѣ, какъ русское, гдѣ не только не было излишества въ наукахъ, но былъ, напротивъ, избытокъ круглаго невѣжества, такъ что въ результатѣ басня могла доставлять опору не столько друзьямъ просвѣщенія, сколько обскурантамъ, которыми кишѣло русское общество Александровскаго и позднѣйшихъ временъ... Въ подкладкѣ этого лежало, конечно, неясное представленіе Крылова и его современниковъ XVIII-го вѣка о самой наукѣ: онъ думалъ, что для нея можно полагать

[1]) „Сочинитель и Разбойникъ“; „Водолазы“; „Огородникъ и философъ“; „Крестьянинъ и Лисица“; „Ларчикъ“; „Любопытный“; „Конь и Всадникъ“, и др.

предѣлы; онъ не понималъ, что наука есть работа логической мысли, которая слѣдуетъ только своимъ законамъ, что только благодаря этой работѣ могли быть достигнуты великія открытія человѣческаго ума въ различныхъ областяхъ знанія, наконецъ, что самое процвѣтаніе народовъ находится въ тѣснѣйшей связи съ успѣхами просвѣщенія. Крыловъ не умѣлъ стать выше ходячаго понятія о вредѣ слишкомъ высокихъ наукъ,—въ этомъ съ нимъ вполнѣ согласились бы обскуранты, наивные, какъ Шишковъ, или злостные, какъ Магницкій. Изъ этого можно видѣть значеніе Крылова для дальнѣйшаго хода литературы: онъ пополнилъ ея содержаніе отдѣломъ басни, обогатилъ популярную литературу ея поученіемъ, хотя не всегда удачнымъ, и, наконецъ, имѣлъ несомнѣнную заслугу тонкаго наблюденія нравовъ и выработки народнаго стиля; затѣмъ его басня осталась какъ бы внѣ литературнаго движенія.

Въ началѣ вѣка прошла довольно кратковременная слава Озерова: это былъ настоящій псевдо-классикъ, по старому обычаю писавшій трагедіи на классическія темы и, также по старому обычаю, при помощи Дюси. Небольшія отступленія отъ псевдо-классическаго рецепта еще стоили ему нападеній со стороны ревнителей стариннаго вкуса. Трагедія изъ русской исторіи—знаменитый „Димитрій Донской", несмотря на нѣкоторыя несообразности въ постройкѣ пьесы и нарушеніе исторіи, принята была въ свое время съ великимъ восторгомъ, потому что явилась въ 1807, наканунѣ войны съ Наполеономъ и отвѣчала патріотическому возбужденію. Но Пушкинъ не любилъ Озерова и даже не признавалъ за нимъ таланта; дѣйствительно, онъ уже вскорѣ долженъ былъ казаться слишкомъ тяжелымъ, реторическимъ и старомоднымъ.

На перепутьѣ къ новому времени стоялъ Гнѣдичъ (1784—1833). Питомецъ полтавской семинаріи, потомъ харьковскаго коллегіума и московскаго университета, онъ отличался отъ литературныхъ сверстниковъ основательнымъ знаніемъ древнихъ языковъ и, рано поставивъ себѣ задачей переводъ Иліады, пребывалъ своими вкусами въ классическомъ мірѣ, а въ литературѣ новѣйшей, несмотря на все болѣе сильныя вѣянія романтическаго направленія, еще не потерялъ вкуса къ ложному французскому классицизму: довольно характерно, что его первые труды состояли въ переводахъ трагедій Дюси и Шекспира, Вольтера и Шиллера; новѣйшаго романтизма онъ не любилъ. Переводъ Иліады, стоившій Гнѣдичу двадцатилѣтняго труда (вышелъ въ 1829), былъ, безъ сомнѣнія, великой литературной заслугой:

усвоеніе величайшихъ произведеній всемірной литературы становится дѣломъ необходимымъ для литературъ новѣйшихъ, какъ расширеніе поэтическаго горизонта, какъ образовательное средство, наконецъ какъ обогащеніе литературнаго языка, которому этимъ путемъ приходится испытывать свои силы на новомъ содержаніи. Трудъ Гнѣдича былъ высоко оцѣненъ серьезными людьми, которымъ было понятно значеніе предпріятія и трудность его исполненія; но Гнѣдичъ глубоко огорчался тѣмъ, что „Иліада“ не имѣла того успѣха, какого онъ ожидалъ, въ большомъ кругу общества, — послѣднее было, однако, довольно понятно, такъ какъ для того, чтобы находить вкусъ въ Гомерѣ, нужна была вообще болѣе высокая степень образованія, чѣмъ та, на какой стояла масса общества... Изъ своихъ современниковъ Гнѣдичъ былъ особенно близокъ съ Батюшковымъ, который былъ нѣсколько его моложе, но въ концѣ концовъ и между ними не было полнаго согласія вкусовъ. Взгляды Гнѣдича не отличались особенной широтой: онъ былъ приверженцемъ изученія древнихъ, но въ одномъ разсужденіи, гдѣ онъ объяснялъ слабые успѣхи русской литературы недостаткомъ изученія классическихъ писателей, онъ не умѣлъ точнѣе объяснить, въ чемъ заключалось бы ихъ вліяніе, и самое разсужденіе его не было самостоятельно. Отрывки изъ его бумагъ, изданные къ столѣтней памяти его рожденія, и переписка съ Батюшковымъ даютъ возможность ближе познакомиться съ характеромъ его литературныхъ понятій, и онъ рисуется здѣсь человѣкомъ, у котораго были сильны именно старые литературные вкусы и которому новыя явленія науки и поэзіи бывали просто непонятны [1]).

---

[1]) Приводимъ нѣсколько отрывковъ изъ „записной книжки“, напечатанной въ изданіи г. Тиханова. Вотъ, напр., его разсужденіе о новѣйшей философіи, которое, вѣроятно, подтвердилъ бы Крыловъ.

„Истинная философія есть та, которая учитъ насъ быть (сколько можно на землѣ) счастливыми. Такою философіею можетъ назваться одно ученіе Сократа и его послѣдователей... Какая разница между философіею древнею и новою? Послѣдняя, вознесшись за предѣлы естества, устремилась къ умозрѣніямъ отвлеченнымъ, къ изысканіямъ безплоднымъ, которыя только служатъ или къ заблужденіямъ, или къ удовлетворенію безпокойнаго любопытства, и которыя часто разрушаютъ истины, необходимо нужныя для спокойствія обществъ. И сіи-то порывы неистоваго ума, тщетно желающаго прейти предѣлы, положенные ему природою, называютъ нынѣ любовію къ мудрости; и сіе-то суемудріе, порожденное безумнымъ тщеславіемъ, имѣющимъ въ виду одно честолюбіе—блистать дерзостію ума—преподаютъ нынѣ какъ науку философіи. О, Сократъ, твоя философія поддержала въ Аѳинахъ колебавшіеся нравы и законы; а философія Вольтеровъ и Кантовъ разрушила ихъ по всей Европѣ; твое ученіе произвело божественнаго Платона, а ваше—дьявольскаго Наполеона“.

Повидимому, положеніе русскаго общества во второй половинѣ двадцатыхъ годовъ внушило ему слѣдующее размышленіе (вслѣдъ затѣмъ идетъ помѣта 1827 года): „Государства доводятся до такого положенія, что въ нихъ мыслящему человѣку ничего не можно сказать безъ того, чтобы не показаться осуждающимъ и власти, кото-

Не будемъ останавливаться на другихъ писателяхъ этой переходной поры. Число ихъ, въ первыя десятилѣтія вѣка очень размножилось сравнительно съ прежнимъ; потребность высказаться литературнымъ путемъ распространяется и между образованными людьми, которые не думали заносить себя въ цехъ писателей, хотя успѣвали занять между ними видное мѣсто; но еще больше было такихъ, которые, худо ли хорошо ли, считали себя спеціальными дѣятелями поэзіи и прозы. Здѣсь были и лирики, какъ Мерзляковъ, Ѳедоръ Глинка, Нелединскій-Мелецкій; и драматурги, какъ кн. А. А. Шаховской, Кокошкинъ, Хмѣльницкій, Загоскинъ; и сатирики, какъ кн. И. М. Долгорукій, кн. Д. П. Горчаковъ, Милоновъ, Нахимовъ, Воейковъ; баснописцы, какъ А. Измайловъ, пр. Все это были писатели, которыхъ воспитаніе принадлежало XVIII вѣку или его ближайшему преданію, но на ихъ глазахъ происходилъ литературный переворотъ: господство старой манеры въ самой французской литературѣ уступало передъ новыми порывами идеализма, которые не укладывались въ псевдо-классическую рамку и подготовляли въ будущемъ французскій романтизмъ; въ другихъ литературахъ, вліяніе которыхъ стало проникать къ намъ все болѣе, нѣмецкой и англійской, отъ стараго ложнаго классицизма не оставалось уже слѣда, и наши писатели невольно поддавались новому тону литературы и вносили его въ свои творенія, хотя еще не могло быть рѣчи о литературной реформѣ. Дѣйствительно, въ этой переходной порѣ мы встрѣчаемъ различныя ступени новыхъ вліяній—отъ упорной вѣры въ ложно-классическій кодексъ, въ которомъ полагался еще высшій законъ литературнаго изящества, до невольныхъ уступокъ новой эпохѣ, которая стремилась свести поэзію съ искусственныхъ подмостокъ къ жизненной простотѣ содержанія и формы. Литературные оттѣнки переплетаются, и напр. та чувствительная манера, которая всего больше

рыя это дѣлаютъ, и народъ, который это переноситъ. Въ такія времена безнадежныя должно молчать. Въ такія времена печальныя молодые люди до старости, а старые до гроба доходятъ въ молчаніи.—Или горе безразсудному, который начнетъ говорить что̀ думаетъ, прежде нежели обезпечилъ себѣ хлѣбъ на цѣлую жизнь"...

Приводимъ еще примѣры его взглядовъ литературныхъ. Вотъ нѣсколько темное разсужденіе о древней поэзіи. „Въ поэзіи грековъ никто превзойти не можетъ; могутъ усовершенствовать или преобразовать форму ея, ибо искусству границъ опредѣлить не можно; но̀ никогда уже не будутъ въ силахъ, какъ они, описывать чувства природы, ибо природа не имѣетъ двухъ языковъ".

О Лессингѣ: „Подражаніе образцовымъ писателямъ поэзіи французской было несчастливо въ Германіи. Лессингъ почувствовалъ опасность упорствовать въ усиліяхъ, до его времени безплодныхъ; онъ получилъ отвращеніе къ образцамъ, съ которыми не могли у нихъ сравняться, и уничтожилъ ихъ, чтобы отвратить соотечественниковъ. Какъ лисица басни (!), онъ увѣрилъ ихъ, что виноградъ зеленый и не стоитъ труда, чтобы доставать его".

была утверждена у насъ Карамзинымъ и казалась успѣхомъ относительно стараго холоднаго стиля, эта манера находила упорныхъ противниковъ, которые, опираясь отчасти именно на псевдоклассическій стиль, умѣли, однако, указать и простую житейскую несостоятельность и ложь сентиментальности (напр., у князей Шаховского, Долгорукаго, Горчакова насмѣшки надъ чувствительностью, задѣвавшія Карамзина и Жуковскаго). „Сатира" этого времени, которой придавали тогда немалое значеніе какъ обличительному подвигу, всего чаще сохраняла характеръ старой школьной сатиры прошлаго вѣка. Эта послѣдняя, начинаясь иногда прямо съ подражанія Ювеналу или Буало, прилаживала къ нимъ кое-какъ черты русской жизни, но оставалась въ сущности литературнымъ упражненіемъ, изъ котораго въ общественномъ смыслѣ ничего не слѣдовало; нѣчто подобное происходило и теперь, — напр., во второмъ десятилѣтіи XIX вѣка мы все еще читаемъ нападки на иностранное воспитаніе русскаго юношества, на несправедливость судей, на лихоимство, какъ было во времена Сумарокова, такъ что уже этимъ повтореніемъ „сатира" признавала свое школьноо происхожденіе и свою безплодность. Тѣмъ не менѣе и здѣсь былъ нѣкоторый успѣхъ: въ литературѣ все-таки не даромъ прошли Новиковъ, Радищевъ, Крыловъ, и новая сатира пріобрѣтала нѣсколько больше реальной ясности и научалась называть вещи ихъ именами. Отозвалось наконецъ и нѣсколько болѣе свободное положеніе литературы: писатель рѣшался выступить за предѣлы старинной условности въ дѣйствительную жизнь. Въ лирикѣ также сталъ замѣтенъ извѣстный успѣхъ: она еще не достигала того изящества и того возвышеннаго тона, какіе придалъ ей Жуковскій, но опять стремилась подойти ближе къ простому искреннему чувству (напр., у кн. Долгорукаго) и съ другой стороны въ стихотвореніяхъ и „пѣсняхъ" Дмитріева, Нелединскаго-Мелецкаго, Мерзлякова, которыя получали тогда величайшую популярность, было опредѣленное намѣреніе схватить народный складъ, т.-е. опять достигнуть простоты, недостатокъ которой въ старинномъ стихотворствѣ, наконецъ, дѣлалъ его скучнымъ. Извѣстный успѣхъ въ упрощеніи литературной манеры принадлежитъ, наконецъ, и комедіи этого времени.

Самымъ крупнымъ дарованіемъ этого времени былъ подлѣ Жуковскаго его младшій сверстникъ, Батюшковъ [1]): вмѣстѣ съ

[1]) Онъ родился въ 1787, слѣдовательно былъ на четыре года моложе Жуковскаго; съ 1820-хъ годовъ впалъ въ душевную болѣзнь и умеръ въ 1855.

Жуковскимъ онъ былъ близкимъ предшественникомъ, а затѣмъ и достойнымъ сотоварищемъ Пушкина. На Жуковскомъ и Батюшковѣ съ особенною ясностью видна та историческая преемственность, которая соединила двѣ основныя эпохи новой русской литературы—„ученическіе годы“ XVIII-го вѣка и первое вступленіе литературы на путь самостоятельнаго, въ полной мѣрѣ національнаго созданія. Выше указано, до какой степени нашъ XVIII вѣкъ шелъ слѣпо за своими образцами, какъ его эпигоны даже въ первыя десятилѣтія XIX-го вѣка сберегали его теоріи и литературную манеру; слабыя попытки сблизить, наконецъ, литературу съ жизнью, освободить ее отъ школьнаго, дѣланнаго тона, внести въ нее вмѣсто условныхъ піитическихъ формулъ дѣйствительную поэзію искренняго чувства, замѣнить ея тяжелый и въ концѣ концовъ утомительный языкъ свѣжею живою рѣчью, эти попытки могли имѣть успѣхъ только въ рукахъ истинныхъ талантовъ, и такими талантами являются впервые Жуковскій и Батюшковъ. Мы видѣли, какъ Жуковскій тѣсно связанъ былъ съ преданіями прошлаго вѣка основами своего нравственнаго и даже литературнаго развитія и какъ, въ силу только своего поэтическаго дарованія, онъ преобразилъ старинный піэтизмъ Новиковской школы въ возвышенную поэзію романтической меланхоліи и изъ стараго стихотворнаго склада выработалъ поэтическую рѣчь высокаго изящества; какъ вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поднялъ до неизвѣстной прежде высоты самое пониманіе поэзіи и искусства. Вмѣстѣ съ тѣмъ Жуковскій еще не свободенъ отъ стараго зависимаго характера русской поэзіи: наибольшая доля его творчества занята чужими мотивами, но уже болѣе новыми, —и хотя усвоеніе ихъ было для русской литературы большимъ шагомъ впередъ именно потому, что научало болѣе широкому и свободному пониманію искусства, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ этой наклонности поэта сказывалась его неспособность схватить чисто русское содержаніе: онъ остался только лирикомъ.

Дѣятельность Батюшкова была прервана на самой зрѣлой порѣ его поэтическаго развитія, и трудно было бы сказать, было ли сдѣлано имъ все, на что̀ способно было его дарованіе. Онъ не былъ похожъ на Жуковскаго ни свойствами таланта, ни школой, ни болѣе разнообразными порывами своихъ поэтическихъ исканій; но было общее въ ихъ историческомъ положеніи: на томъ и другомъ, говоря ретроспективно, лежала задача приготовить для русской поэзіи возможность самостоятельнаго пути, приготовить ее, хотя бы не безъ зависимости отъ чужихъ указаній, самостоятельной переработкой чужого идеалистическаго со-

держанія и усовершенствованіемъ языка, для цѣлей поэтическаго творчества.

Эта зависимость отъ чужихъ указаній обнаруживалась здѣсь, какъ вообще въ подражательномъ періодѣ нашей литературы, извѣстной случайностью тѣхъ вліяній, которымъ подпадали наши писатели. Правда, въ общемъ счетѣ наше подражаніе направлялось къ такимъ образцамъ, которые въ области западнаго просвѣщенія были особливо яркимъ явленіемъ и вмѣстѣ могли служить доступнымъ руководствомъ. Такъ, ложный классицизмъ въ первую пору нашего подражанія былъ господствующимъ явленіемъ европейской литературы; точно также были весьма естественны и цѣлесообразны обращенія съ одной стороны къ французской „философіи“, съ другой — къ піэтизму конца вѣка: изъ того и другого источника русская литература почерпала образовательныя вліянія, въ которыхъ одинаково нуждалась. Нельзя, однако, не видѣть, что эти западно-европейскія воздѣйствія могли бы быть глубже и разностороннѣе, еслибы этому не мѣшала слишкомъ низкая вообще степень нашего образованія: за весь восемнадцатый вѣкъ не встрѣчаемъ примѣра близкаго знакомства нашихъ писателей даже съ тѣми основными явленіями европейской литературы, гдѣ начиналось ихъ новое развитіе. Всего больше знали литературу французскую, хотя не вполнѣ отдавали себѣ отчетъ въ томъ, что̀ въ ней происходило; гораздо меньше знали нѣмцевъ, и даже въ позднѣйшей замѣткѣ Гнѣдича, выше приведенной, видно, что онъ совсѣмъ ня понималъ Лессинга; объ англійской литературѣ и самомъ Шекспирѣ узнавали изъ вторыхъ рукъ и мало его разумѣли. Не имѣя руководства въ высшей школѣ, не легко было и осмотрѣться въ обиліи западно-европейской литературы: такое руководство, быть можетъ, впервые являлось въ лекціяхъ Шварца, потомъ Буле, въ разсказахъ Ленца, и пр. Карамзинъ удивлялъ современниковъ, да и потомство, знаніемъ западной литературы, но изъ самыхъ „Писемъ русскаго путешественника“ и дальнѣйшей дѣятельности Карамзина видно, что это знаніе было слишкомъ общее, и наиболѣе подѣйствовали на Карамзина не самыя сильныя явленія тогдашней литературы... Русскій писатель, достаточно образованный, чтобы не ослѣпляться мнимыми богатствами собственной литературы, но не приготовленный ни къ широкому пониманію искусства, ни къ самостоятельной работѣ надъ русскимъ содержаніемъ, по неволѣ искалъ и поэтической пищи, и теоретическаго поученія у писателей европейскихъ: передъ нимъ раскрывалось трудно обозримое богатство и разнообразіе научныхъ идей

и поэтическаго творчества; къ старымъ знаменитымъ памятникамъ присоединялись все новыя произведенія, требовавшія вниманія, увлекавшія своимъ поэтическимъ интересомъ; все это могло тѣмъ или другимъ обогатить русскую литературу,—и въ этомъ богатствѣ нашему писателю оставалось выбирать то, что̀ было ему болѣе доступно, и что̀ въ этомъ доступномъ особенно поражало его мысль или поэтическіе интересы. Выборъ его опредѣлялся не столько собственнымъ значеніемъ этого богатаго литературнаго міра, который могъ ему открываться, сколько наклонностями его дарованія, свойствомъ школы, степенью литературнаго опыта. Такъ случилось и съ Батюшковымъ.

Его литературная біографія, которая приходится на два первыя десятилѣтія, и отчасти на третье, XIX вѣка, открываетъ передъ нами любопытный эпизодъ литературнаго движенія, предшествовававшаго Пушкину. Живой характеръ, принадлежность къ извѣстному общественному кругу, рано замѣченное дарованіе, немногочисленность тогдашнихъ литературныхъ дѣятелей были причиной, что Батюшковъ вступалъ въ соприкосновеніе со всѣми главными дѣятелями тогдашней литературы и отзывался на разныя ея теченія. Онъ былъ питомцемъ М. Н. Муравьева, одного изъ достойнѣйшихъ эпигоновъ нашего XVIII вѣка, пользовался благосклонностью Карамзина, былъ близокъ въ кружкѣ Оленина, былъ другомъ Гнѣдича, позднѣе—Жуковскаго, кн. П. А. Вяземскаго, былъ своимъ человѣкомъ въ „Арзамасѣ“, былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ юнымъ Пушкинымъ, встрѣчался съ Мерзляковымъ и Каченовскимъ и т. д. Внѣшняя біографія была довольно разнообразная. Съ пятнадцати лѣтъ зачисленный на службу въ канцелярію департамента народнаго просвѣщенія, онъ въ 1807 поступилъ въ военную службу, дѣлалъ походъ въ Пруссію, былъ раненъ, перевезенъ для леченья въ Ригу, здѣсь страстно влюбился, хотя эта любовь не имѣла иныхъ послѣдствій, кромѣ элегическихъ воспоминаній, отразившихся на его поэзіи; затѣмъ жилъ въ своей деревнѣ, гдѣ его хозяйственныя дѣла были не совсѣмъ удовлетворительны, потомъ въ Москвѣ еще до-пожарной, гдѣ завязалъ прочныя дружескія связи, личныя и литературныя; затѣмъ снова служилъ въ Петербургѣ при Императорской библіотекѣ подъ начальствомъ Оленина. Въ 1812 году, онъ стремился на войну, но ему удалось вступить въ армію только въ слѣдующемъ году въ качествѣ адъютанта при генералѣ Раевскомъ, и при немъ онъ сдѣлалъ походъ отъ Лейпцига до Парижа, откуда вернулся въ Россію черезъ Лондонъ моремъ; въ 1815, когда кончился срокъ его отпуска, ему

пришлось отправиться въ штабъ-квартиру своего полка, находившуюся теперь въ Каменецъ-Подольскѣ, гдѣ онъ жестоко скучалъ, тѣмъ болѣе, что присоединилось еще новое испытаніе несчастной любви. Наконецъ онъ добился отставки, жилъ опять въ деревнѣ, въ Москвѣ, въ Петербургѣ; душевныя тревоги окончательно надломили его нравственное спокойствіе; состояніе здоровья побуждало искать жизни въ южномъ климатѣ; ему удалось получить мѣсто при русскомъ посольствѣ въ Неаполѣ; въ началѣ 1819 онъ былъ въ Италіи, но у него стала все сильнѣе развиваться ипохондрія, противъ которой были безсильны заботы друзей, леченіе за границей и на югѣ Россіи. Болѣзнь осталась неизлечимой, и съ начала 1820-хъ годовъ Батюшковъ былъ потерянъ для русской литературы.

Этой разнообразной, хотя печально кончившейся жизни отвѣчали разнообразные литературные интересы и опыты. Батюшковъ владѣлъ несомнѣннымъ дарованіемъ, не особенно глубокимъ по объему содержанія, но живымъ и чуткимъ; къ тонкому поэтическому лиризму присоединялось еще рѣдкое тогда чувство изящной формы. Онъ началъ, какъ многіе изъ русскихъ писателей того вѣка, съ французскаго пансіона, и первыя поэтическія впечатлѣнія были даны французской литературой. Второй ступенью литературнаго развитія Батюшкова была жизнь въ домѣ дяди М. Н. Муравьева: это былъ писатель старой школы, но знакомый съ классическимъ міромъ не изъ вторыхъ рукъ, а по собственному изученію источниковъ; онъ побуждалъ къ этому и Батюшкова, который до извѣстной степени самостоятельно познакомился съ римскими поэтами, что̀ не осталось безъ вліянія на содержаніе его поэзіи и на ея форму. „Судя по сочиненіямъ Батюшкова,—говоритъ его біографъ,—почти всѣ значительнѣйшіе римскіе поэты были прочтены имъ въ подлинникѣ; знакомство съ ними уяснило ему, что истинный классицизмъ заключается прежде всего въ изяществѣ формы, въ отдѣлкѣ слога, въ совершенствѣ изложенія",—хотя дальше біографъ дѣлаетъ уступку, что при этомъ помогли и французскіе переводы, и хотя „истинный классицизмъ" заключается не въ одномъ изяществѣ формы. Самъ Батюшковъ признавалъ потомъ, что своимъ образованіемъ онъ былъ обязанъ „нашему Фенелону"—сравненіе съ знаменитымъ французскимъ писателемъ указываетъ степень уваженія, какое питалъ Батюшковъ къ своему воспитателю. Въ домѣ его онъ встрѣчалъ Державина, Капниста, Оленина, гр. А. С. Строганова, И. М. Муравьева-Апостола; этотъ послѣдній былъ опять человѣкъ съ широкимъ образованіемъ и любитель класси-

ческаго міра, впослѣдствіи авторъ знаменитой книги о Тавридѣ (1823; онъ умеръ въ 1851). Отношенія съ М. Н. Муравьевымъ (который умеръ уже въ 1807) открыли Батюшкову домъ Оленина и потомъ Карамзина. Оленинъ былъ разносторонне образованный человѣкъ любитель художествъ и археологіи; онъ научился понимать древнее искусство по Винкельманну, котораго въ то время знали у насъ лишь очень немногіе, былъ самъ художникомъ, а вмѣстѣ и любителемъ литературы. Его домъ былъ своего рода литературнымъ салономъ, гдѣ бывали заслуженные писатели стараго поколѣнія, но также люди молодые, какъ Батюшковъ и другіе; самъ Оленинъ былъ склоненъ къ псевдоклассическимъ вкусамъ, но не доводилъ ихъ до крайности и въ иныхъ случаяхъ не соглашался съ авторитетами, какъ Державинъ или Шишковъ, противъ которыхъ защищалъ, напримѣръ, Озерова. Въ Москвѣ Батюшковъ сблизился, какъ сказано, съ Карамзинымъ и съ кружкомъ его почитателей и защитниковъ въ томъ спорѣ противъ новаго слога, который поднятъ былъ Шишковымъ. Въ этомъ кружкѣ Батюшковъ явился уже съ признанными литературными правами: здѣсь извѣстны были его первыя стихотворенія, а также остававшееся еще въ рукописи „Видѣніе на берегахъ Леты", гдѣ онъ посмѣялся надъ старомодными писателями, которые были и врагами Карамзина. Выше приведена цитата изъ этого стихотворенія, и изъ нея можно видѣть, что Батюшковъ признавалъ еще авторитеты XVIII вѣка, но онъ задѣвалъ живыхъ представителей старой школы, и былъ смущенъ, когда одинъ изъ нихъ, Мерзляковъ, былъ несмотря на то съ нимъ очень любезенъ. Дружба съ Жуковскимъ, знакомство съ его пріятелями, Блудовымъ, Уваровымъ, Сѣверинымъ и другими, пріятельство съ княземъ Вяземскимъ, общее съ ними поклоненіе Карамзину, вводили Батюшкова въ избранный литературный кружокъ, который собрался позднѣе въ Петербургѣ подъ названіемъ „Арзамаса", ставилъ себѣ цѣлью защиту Карамзина и заботу о распространеніи въ литературѣ болѣе изящнаго „вкуса". Увидимъ, впрочемъ, что Батюшковъ былъ не совсѣмъ доволенъ „Арзамасомъ".

Въ чемъ же состояли первые поэтическіе труды и влеченія Батюшкова? Онъ воспитался прежде всего на французской литературѣ, особенно того полу-классическаго стиля, который еще высоко цѣнилъ славныя имена старой литературы, но уже давалъ мѣсто новой манерѣ, болѣе свободному движенію чувства и болѣе свободной формѣ. Когда къ этому французскому чтенію присоединились подлинные (римскіе) классики, на которыхъ

ему указалъ Муравьевъ, Батюшковъ извлекалъ отсюда поэтическое содержаніе, которое бывало уже знакомо русской поэзіи: это было то эпикурейское воззрѣніе на жизнь, которому научали Горацій и Тибуллъ, а затѣмъ Вольтеръ и французскіе лирики конца прошлаго вѣка; этой легкой философіи служилъ нѣкогда самъ Державинъ, и потомъ она еще долго разработывалась поэзіей временъ Пушкина. Этотъ взглядъ на жизнь, побуждавшій искать одного безпечнаго наслажденія, отвѣчалъ не только наставленіямъ Горація и юношеской порѣ самого поэта, но также, прибавимъ, и тому общественному положенію, какое для многихъ изъ нашихъ писателей того времени доставляло возможность пользоваться безпечнымъ наслажденіемъ безъ особеннаго труда: оттого они такъ усердно могли воспѣвать безпечность, лѣнь, харитъ, круговыя чаши и т. п.,—хотя иногда мѣшало этому безденежье.

Раньше упомянуто о Вольномъ обществѣ любителей словесности, наукъ и художествъ, основанномъ въ 1801 году и гдѣ собрались молодые писатели, которые хотѣли освѣжить литературу новымъ содержаніемъ—и, между прочимъ, первые напомнили о Радищевѣ. Этотъ кружокъ продержался недолго, но Батюшковъ имѣлъ съ нимъ нѣкоторую связь, раздѣляя также его почтеніе къ памяти несчастнаго писателя. Въ чисто литературномъ отношеніи о Радищевѣ вспоминали и потому, что послѣдній въ своихъ поэтическихъ опытахъ старался ввести такъ называемый „русскій складъ“ (дактилическій размѣръ). Такъ была написана имъ поэма „Бова“. Радищеву казалось, что это былъ именно подлинный русскій размѣръ, и въ одномъ эпизодѣ своего „Путешествія“ (глава „Тверь“) онъ такъ разсуждалъ объ этомъ стихѣ: Ломоносовъ, давши хорошіе примѣры ямбическаго стиха, „надѣлъ на послѣдователей своихъ узду великаго примѣра, и никто доселѣ отшатнуться отъ него не дерзнулъ“; этому примѣру послѣдовалъ Сумароковъ, „и нынѣ всѣ вслѣдъ за ними не воображаютъ, чтобы другіе стихи быть могли какъ ямбы, какъ такіе, какими писали сіи оба знаменитые мужи... Парнассъ окруженъ ямбами, и риѳмы стоятъ вездѣ на караулѣ. Кто бы ни задумалъ писать дактилями, къ тому тотчасъ Тредьяковскаго приставятъ дядькою, и прекраснѣйшее дитя долго казаться будетъ уродомъ, доколѣ не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера“. Позднѣе Карамзинъ въ „Ильѣ Муромцѣ“, Львовъ въ „Добрынѣ“, дали новые примѣры русскаго склада; теперь употребили его Востоковъ въ одномъ изъ своихъ стихотворныхъ опытовъ, Гнѣдичъ въ переводахъ изъ Оссіана; въ то же время попробовалъ его Батюшковъ, который, впро-

чемъ, потомъ оставилъ его и вообще не любилъ бѣлыхъ стиховъ; но до конца своей литературной дѣятельности онъ сохранилъ особенный интересъ къ Радищеву и намѣревался посвятить ему особую главу въ очеркѣ новой русской литературы, задуманномъ въ 1817 году.

Въ первыхъ опытахъ Батюшкова обозначились уже элементы, изъ которыхъ складывалась его поэзія. Мы встрѣчаемъ здѣсь стихотвореніе „Богъ"—не подражаніе Державину, но, вѣроятно, навѣянное его примѣромъ; переводъ изъ первой сатиры Буало съ примѣненіями къ русской жизни; подражанія и переводы изъ Лафонтена, Парни; стихотвореніе въ память Пнина, одного изъ молодыхъ писателей упомянутаго Вольнаго общества; „Совѣтъ друзьямъ"—наслаждаться скоротечной жизнью; отголоски Оссіана, черезъ посредство Парни; съ 1808 года обращенія къ Тассу и переводы изъ „Освобожденнаго Іерусалима"; затѣмъ въ 1809 „Видѣніе на берегахъ Леты", а въ 1813 „Пѣвецъ въ бесѣдѣ славяноРоссовъ". Уже въ одномъ изъ первыхъ стихотвореній („Къ стихамъ моимъ") Батюшковъ смѣялся надъ старомоднымъ стихотворствомъ, а затѣмъ въ двухъ послѣднихъ названныхъ пьесахъ повелъ противъ него формальное нападеніе, осыпая насмѣшками, которыя казались тогда очень язвительными, не только бездарныхъ стихотворцевъ, но вообще старую напыщенную манеру, фальшивую и безсодержательную. Уже то, что онъ нѣсколько разъ возвращался къ этому предмету, указываетъ степень его антипатіи къ затхлой литературной старинѣ, которая явно отживала свой вѣкъ, но еще продолжала становиться на дорогѣ новому литературному движенію. Онъ самъ еще не могъ достаточно выяснить себѣ, что именно нужно для успѣховъ литературы; но, кажется, былъ увѣренъ въ одномъ, что для нея, нужна болѣе свободная „легкая поэзія", которая стояла бы ближе къ жизни, къ интересамъ образованнаго общества, и отличалась бы изяществомъ формы. Такъ впослѣдствіи Батюшковъ настаивалъ на этомъ въ своей рѣчи „О легкой поэзіи" (1816). И позднѣе, въ откровенной бесѣдѣ съ друзьями, онъ возставалъ не только противъ устарѣлыхъ вкусовъ, которые были еще сильны, но даже противъ самого русскаго языка, который казался ему слишкомъ грубымъ и неспособнымъ къ истинной художественной красотѣ.

Видимо, умъ и дарованіе внушали Батюшкову разнообразные поиски содержанія, и рано развившееся чувство изящнаго указывало ему то грубое и незрѣлое, чего такъ много было въ русской литературѣ. Въ этихъ поискахъ была, однако, большая доля

случайности. Была одна привычная почва, на которой развивался русскій писатель—французская литература, и Батюшковъ еще испытывалъ сильное вліяніе Вольтера. Впослѣдствіи, когда складъ его мыслей очень измѣнялся сравнительно съ прежнимъ, онъ такъ сравнивалъ Вольтера и Руссо. „Чтеніе Вольтера,—говорилъ онъ,—менѣе развратило умовъ, нежели пламенныя мечтанія и блестящіе софизмы Руссо: одинъ говоритъ безпрестанно уму, другой—сердцу; одинъ угождаетъ суетности и скоро утомляетъ остроуміемъ; другой никогда не можетъ наскучить, ибо всегда плѣняетъ, всегда убѣждаетъ или трогаетъ: онъ во сто разъ опаснѣе",—опаснѣе, конечно, для умовъ недостаточно развитыхъ и самостоятельныхъ. Батюшковъ не былъ, конечно, грубымъ „волтеріанцемъ" во вкусѣ прошлаго вѣка; но его біографъ справедливо замѣчаетъ, что Вольтеръ, которому Батюшковъ поклонялся, былъ не совсѣмъ настоящій, а такъ сказать, легендарный, что Батюшковъ слѣдовалъ тому уровню общественнаго пониманія, по которому особенно цѣнились одни болѣе доступныя произведенія Вольтера и мало понимались гораздо болѣе важныя. Онъ хорошо зналъ сочиненія Вольтера, относившіяся къ изящной литературѣ,—„онъ часто приводитъ цитаты изъ нихъ, любуется остроуміемъ ихъ автора, восхищается мѣткостью его сужденій, выражаетъ негодованіе противъ его враговъ и критиковъ, вообще относится къ нему какъ къ непререкаемому авторитету". У Вольтера онъ находилъ подтвержденіе своей эпикурейской философіи, у него вмѣстѣ съ другими учился „легкой поэзіи", но изъ него почерпалъ онъ и нѣчто болѣе серьезное; на сочиненіяхъ Вольтера,—говоритъ біографъ нашего писателя,—воспиталась въ Батюшковѣ глубокая любовь къ просвѣщенію и неразрывно связанной съ нимъ свободѣ мысли; изъ нихъ почерпнулъ онъ уваженіе къ достоинству человѣка, къ благородному умственному труду и къ званію писателя, отвращеніе отъ педантизма, помрачающаго умъ и ожесточающаго сердце; они же внушили ему общую гуманность понятій и терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ". Въ этомъ, конечно, не было „опаснаго". Нѣсколько позднѣе Батюшковъ въ томъ же смыслѣ увлекался Монтэнемъ... Извѣстная случайность этихъ вліяній обнаружилась тѣмъ, что Батюшковъ, какъ и другіе образованные люди въ его положеніи, обыкновенно не давали себѣ достаточно отчета въ томъ противорѣчіи, какое было въ ихъ вычитанномъ міровоззрѣніи съ цѣлымъ порядкомъ идей окружавшаго ихъ общества: правда, это міровоззрѣніе не оставалось безплоднымъ; его отголоски давали себя чувствовать въ дѣятельности писателя и

общественнаго человѣка, но слишкомъ часто оно оставалось только временнымъ настроеніемъ и при случаѣ довольно легко могло уступить передъ новыми вліяніями, — въ немъ не было прочности самостоятельно выработаннаго убѣжденія.

Другою случайностью было обращеніе Батюшкова къ итальянской поэзіи. Впервые ему указалъ на нее еще Муравьевъ; потомъ Капнистъ совѣтовалъ ему перевести „Освобожденный Іерусалимъ“ Тасса, и Батюшковъ дѣйствительно перевелъ изъ него нѣсколько отрывковъ. Кромѣ Тасса, онъ изучалъ еще Петрарку, изъ новѣйшихъ поэтовъ Касти. Онъ не оставлялъ итальянской литературы и впослѣдствіи, и въ зрѣлую пору его дарованія Тассъ былъ въ особенности его героемъ.

Событія двѣнадцатаго года и освободительныхъ войнъ произвели и на Батюшкова сильное впечатлѣніе. Прежде чѣмъ поступить въ армію, Батюшковъ былъ очевидцемъ страшныхъ бѣдствій войны, и это зрѣлище вызвало и у него проклятія противъ французовъ—не только противъ Наполеона и его арміи, но противъ цѣлой націи и ея просвѣщенія,—которымъ самъ онъ упивался. Въ октябрѣ 1812 года онъ писалъ Гнѣдичу: „Ужасные поступки вандаловъ или французовъ въ Москвѣ и въ ея окрестностяхъ,— поступки безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ. Ахъ, мой милый, любезный другъ, зачѣмъ мы не живемъ въ счастливѣйшія времена!.. И этотъ народъ извергoвъ осмѣлился говорить о свободѣ, о философіи, о человѣколюбіи! И мы до того были ослѣплены, что подражали имъ, какъ обезьяны!..“ Вяземскому онъ писалъ: „Москвы нѣтъ! Потери невозвратныя! Гибель друзей, святыня, мирное убѣжище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ! Вотъ плоды просвѣщенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будетъ ему конецъ? На чемъ основать надежды?“ Батюшковъ почувствовалъ теперь уваженіе къ Сергѣю Глинкѣ, надъ которымъ, бывало, подшучивалъ... Но подражаніе варварамъ продолжалось и теперь: русскіе бранили французовъ, но по-французски.

Батюшковъ прошелъ съ русской арміей до Парижа. Побѣда надъ Наполеономъ казалась почти невѣроятной. Онъ писалъ изъ Парижа: „Повѣрите ли? Мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы едва-ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ исчезъ, что Парижъ нашъ, что Людовикъ на тронѣ, и что сумасшедшіе соотечественники Монтескьё, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поютъ по

улицамъ: „Vive Henri Quatre, vive ce roi vaillant!“ Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла Твоя, Господи!“ Но Парижъ снова помирилъ его съ варварами. „Едва вступивъ въ предѣлы Франціи,—говоритъ біографъ,—Батюшковъ уже почувствовалъ себя, такъ сказать, подъ вліяніемъ той атмосферы, изъ которой было почерпнуто его образованіе“. Еще во время похода онъ посѣтилъ въ Лотарингіи зàмокъ маркизы дю-Шатлé, въ которомъ она дала убѣжище Вольтеру; въ самомъ Парижѣ Батюшковъ былъ увлеченъ разнообразіемъ и свободой французской жизни, богатствомъ памятниковъ, музеями, театромъ; въ Парижѣ собралось тогда въ видѣ военныхъ трофеевъ множество произведеній древняго и новаго искусства, и между прочимъ Батюшковъ пришелъ въ величайшій восторгъ, когда увидѣлъ Аполлона Бельведерскаго... Онъ остался чуждъ либеральному возбужденію тѣхъ годовъ, но подъ впечатлѣніемъ событій и, вѣроятно, также бесѣдъ съ Н. И. Тургеневымъ, котораго встрѣтилъ въ Парижѣ, онъ, — по разсказу кн. Вяземскаго, — написалъ тогда „прекрасное четверостишіе, въ которомъ, обращаясь къ императору Александру, говорилъ,что послѣ окончанія славной войны, освободившей Европу, призванъ онъ Провидѣніемъ довершить славу свою и обезсмертить свое царствованіе освобожденіемъ русскаго народа“. Четверостишіе не сохранилось.

На походѣ въ Германіи Батюшковъ получилъ также новыя литературныя впечатлѣнія. Какъ большинство нашихъ писателей, онъ былъ прежде очень мало знакомъ съ нѣмецкой литературой; теперь, когда ему пришлось нѣсколько времени прожить въ Веймарѣ, онъ вспоминалъ, что Веймаръ былъ недавно столицей нѣмецкой литературы; онъ видѣлъ исполненіе „Донъ-Карлоса“, и ему полюбился Шиллеръ, на котораго у насъ еще смотрѣли съ предубѣжденіемъ; ему понравился самый нѣмецкій бытъ съ его простотою и патріархальностью; онъ „сходилъ съ ума“ даже отъ извѣстной идилліи Фосса „Луиза“ (въ чемъ сошелся съ мыслями И. М. Муравьева-Апостола, который около того же времени указывалъ преимущества нѣмецкой литературы надъ французскою и восхвалялъ „Луизу“), и біографъ Батюшкова замѣчаетъ, что этотъ поворотъ къ нѣмецкой литературѣ „долженъ былъ расширить и сдѣлать болѣе правильными его эстетическія понятія, чтò и замѣтно по его позднѣйшимъ произведеніямъ“. Это была третья случайность, направлявшая литературные интересы Батюшкова.

Вообще,—замѣчаетъ біографъ,—„изъ пребыванія за границей Батюшковъ вынесъ новое подкрѣпленіе своихъ убѣжденій. Онъ не могъ не видѣть, что Европа далеко опередила Россію богатымъ разцвѣтомъ умственной жизни, которая у насъ только въ зачаткахъ; онъ сознавалъ, что и послѣ великой побѣды надъ Наполеономъ намъ есть чему учиться на Западѣ, есть что̀ усвоивать изъ его литературы; кичливость русскихъ фанатиковъ передъ европейскою образованностью казалась ему не только неумѣстною, но и недостойною великаго молодого народа, который своими побѣдами открывалъ себѣ славное будущее“. Это приводитъ насъ къ вопросу о томъ, какъ относился Батюшковъ къ тогдашнимъ спорамъ о подражаніи иностранцамъ, о значеніи старыхъ преданій языка и словесности,—спорамъ, въ которыхъ онъ давно угадывалъ не только литературное, но и общественное значеніе. Въ „Видѣніи на берегахъ Леты“ Батюшковъ весьма рѣзко для своего времени высказался противъ проповѣдниковъ старины, которые въ сущности сами не понимали, чего хотѣли; позднѣе, въ „Пѣвцѣ въ бесѣдѣ славяноросcовъ“, онъ развивалъ опять эту тему: литературное старовѣрство онъ справедливо понималъ какъ нападеніе на самое просвѣщеніе. Въ письмахъ онъ не воздерживался въ выраженіяхъ и, напримѣръ, писалъ къ Гнѣдичу: „Нѣтъ! невозможно читать русской исторіи хладнокровно... Я сто разъ принимался: все напрасно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго... Любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками, и что̀ еще болѣе—цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое!.. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жалкіе декламаторы, не любятъ или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести жизнь на жертву отечеству“ [1]... Всего болѣе Батюшковъ могъ сочувствовать кружку „Арзамаса“: въ ту пору это были наиболѣе образованные люди русскаго общества и рѣшительные противники той уже довольно многочисленной партіи, которая, подъ видомъ любви къ старинѣ, къ славѣ и благочестію предковъ и т. д., проповѣдовала въ сущности непримиримую вражду къ просвѣщенію. Но любопытно, что Батюшковъ далеко не удовлетворился дѣятельностью „Арзамаса“. Собственно говоря, этой дѣятельности было немного: арзамасцы собирались,

[1]) Къ этому времени относится, напр., стихотвореніе Батюшкова „Истинный патріотъ“ (1810): „О, хлѣбъ-соль русская, о, прадѣдъ Филаретъ“ и пр.

весело и остроумно болтали, и только нѣкоторые, болѣе ревностные, какъ кн. Вяземскій, къ которому присоединялся и Батюшковъ, потомъ М. Ѳ. Орловъ, считали нужнымъ выступить съ чѣмъ-нибудь опредѣленнымъ, напр., предпринять изданіе сборника или журнала,—но изъ этого ничего не вышло. Батюшковъ говорилъ, что любитъ каждаго арзамасца порознь, но что всѣ они вмѣстѣ только вредятъ; онъ не былъ доволенъ и Жуковскимъ, который, по его мнѣнію, слишкомъ увлекался нѣмецкой поэзіею (самъ Батюшковъ успѣлъ къ ней охладѣть), но впрочемъ находилъ, что для болѣе серьезной дѣятельности Жуковскому надо было бы переродиться: „у него голова вовсе не дѣятельная; онъ все въ воображеніи". Батюшкову казалось наконецъ, что для журнала, о которомъ мечталъ Вяземскій, нуженъ спокойный духъ Адиссона, „и скажу болѣе, нужна вся Англія, то-есть, земля философіи практической, а въ нашей благословенной Россіи можно только упиваться виномъ и воображеніемъ: по крайней мѣрѣ до сихъ поръ такъ".

Русская литература въ своемъ тогдашнемъ положеніи его не удовлетворяла; не удовлетворялъ даже русскій языкъ. Онъ вообще придавалъ большое значеніе изяществу языка и стиха, самъ много работалъ надъ ними, и когда погружался въ любимыхъ итальянскихъ поэтовъ, его въ особенности поражали непріятно тяжелые звуки русской рѣчи. Еще въ 1811 году онъ писалъ Гнѣдичу: „Отгадайте, на что̀ я начинаю сердиться? На что̀? На русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ-то по себѣ плоховатъ, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за *ы*? Что за *щ*, что за *ш*, *шій*, *щій*, *при*, *тры*? О варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что̀ слово, то блаженство". Позднѣе, когда онъ писалъ знаменитую элегію „Умирающій Тассъ", онъ говорилъ Гнѣдичу: „Я смѣшонъ, по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпого нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что̀ ни говори". Въ другомъ письмѣ, отъ 1816 года, онъ говоритъ: „Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и размышляю, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славянизмовъ,

что верхъ искусства — похищать древнія слова и давать имъ мѣсто въ нашемъ языкѣ“. Собственный поэтическій языкъ Батюшкова представляетъ дѣйствительно постепенное совершенствованіе въ плавности и гармоніи, которыя онъ считалъ его необходимыми достоинствами. Потомъ Батюшковъ убѣдился, однако, что русскій языкъ имѣетъ также свой богатый матеріалъ и что „каждый языкъ имѣетъ свое словотеченіе, свою гармонію, и странно было бы русскому или итальянцу, или англичанину, писать для французскаго уха, и наоборотъ“...

Во время своей одинокой жизни въ Каменецъ-Подольскѣ, Батюшковъ много работалъ; этому и позднѣйшему времени принадлежатъ его лучшія произведенія; вмѣстѣ съ тѣмъ произошелъ сильный поворотъ въ его внутреннемъ настроеніи. Тяжелыя личныя испытанія подорвали прежнюю беззаботную философію, и обманутый въ своихъ надеждахъ на счастье, онъ приходитъ къ религіозно-поэтическому настроенію, въ которомъ онъ теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, сошелся съ Жуковскимъ. Его размышленія теперь вполнѣ совпадаютъ съ тѣмъ, что̀ думалъ его старый другъ [1]); его поэзія принимаетъ элегическій тонъ, который отличаетъ его лучшія произведенія послѣдней поры. Въ Каменцѣ написаны „Таврида“, „Разлука“, „Пробужденіе“, „Воспоминанія“, „Мой геній“; онъ убѣждался, что муза, „сѣтуя безъ упованія, безъ дружбы и безъ любви, гаситъ свѣтильникъ его дарованія“, но вскорѣ послѣ того онъ создалъ цѣлый рядъ изящныхъ произведеній, припадлежащихъ къ лучшему, что̀ было имъ написано. Это—такъ называемыя эпическія или историческія элегіи: „Пѣснь Гаральда Смѣлаго“, „Переходъ черезъ Рейнъ“, „Плѣнный“, „Тѣнь друга“, „На развалинахъ замка въ Швеціи“, „Гезіодъ и Омиръ соперники“, „Умирающій Тассъ“, — частію оригинальныя, частію переводныя. Образцы онъ находилъ опять въ европейской литературѣ, особливо французской — у Парни, Мильвуа, въ книгѣ Маршанжи „la Gaule poétique“, откуда была взята имъ „Пѣснь Гаральда“, накопецъ у Маттисона; даже въ пьесѣ, какъ „Переходъ черезъ Рейнъ“, патріотическій сюжетъ трактуется въ тонѣ элегіи.

Накопецъ, Батюшковъ не остался чуждъ народно-поэтиче-

---

[1]) „Вѣра и нравственность, на ней основанная,—писалъ онъ,—всего нужнѣе писателю. Закаленныя въ ея свѣтильникѣ, мысли его становятся постояннѣе, важнѣе, сильнѣе, краснорѣчіе убѣдительнѣе; воображеніе при свѣтѣ ея не заблуждается въ лабиринтѣ созданія; любовь и нѣжное благоволеніе къ человѣчеству дадутъ прелесть его малѣйшему выраженію, и писатель поддержитъ достоинство человѣка на высочайшей степени. Какое бы поприще онъ ни протекалъ съ своею музою, онъ не унизитъ ея, не оскорбитъ ея стыдливости и въ памяти людей оставитъ пріятныя воспоминанія, благословенія и слезы благодарности: лучшая награда таланту“.

скимъ мотивамъ. Какъ вообще они туго давались писателямъ этого времени, такъ и Батюшковъ не могъ найти настоящаго тона: онъ не раздѣлялъ вкусовъ Жуковскаго къ народной фантазіи, а въ его собственномъ опытѣ старинной повѣсти („Предслава и Добрыня") русская древность представляется съ привычными классическими чертами. Впослѣдствіи онъ поощрялъ Жуковскаго къ „важному дѣлу", какимъ ему казалась поэма о Владимірѣ Святомъ, чего въ концѣ концовъ Жуковскій не исполнилъ—и не могъ исполнить; повидимому, онъ вызывалъ на подобное предпріятіе юнаго Пушкина. Наконецъ, онъ самъ мечталъ о древнихъ русскихъ сюжетахъ: его воображенію представлялся Овидій въ Скиѳіи, „предметъ для элегіи счастливѣе самого Тасса"; онъ составлялъ планы для поэмъ „Рюрикъ", „Русалка", и въ письмѣ къ Гнѣдичу просилъ прислать ему сборники русскихъ сказокъ и былинъ, которые нужны были ему, вѣроятно, именно для этихъ предположенныхъ работъ... Понятно, какимъ лучомъ свѣта въ этомъ туманѣ понятій о русской древности должна была стать вышедшая вскорѣ „Исторія" Карамзина, и знаменитое стихотвореніе Батюшкова („Когда на играхъ олимпійскихъ") было, безъ сомнѣнія, наилучшимъ панегирикомъ творенію Карамзина.

Таково было сложное поприще нашего поэта, оставшееся незавершеннымъ. Его зависимость отъ западныхъ образцовъ была еще слѣдствіемъ всего стараго положенія нашей образованности. Случайность вліяній говорила о неполнотѣ этой образованности, которая еще не имѣла средствъ къ систематическому изученію, и была свидѣтельствомъ того богатства, какое представлялось въ европейской литературѣ для пытливой мысли и для тонкаго поэтическаго чувства. Но была и большая разница съ предъидущей эпохой. Прежнія заимствованія были слишкомъ внѣшнія, ученическія, доходившія до буквальнаго повторенія чужого образца; мысль принималась слишкомъ поверхностно, почему поверхностно бывало и ея дѣйствіе; самый языкъ долго не могъ приладиться къ новому содержанію, потому что для его живого дѣйствія необходимо было, чтобы понятіе и его выраженіе не были дѣломъ только тѣснаго круга книжниковъ, но стали достояніемъ болѣе широкаго общества и предметомъ дѣйствительнаго интереса. Мало-по-малу эти условія собирались: еще отъ конца XVIII-го вѣка осталось нѣсколько людей съ серьезными стремленіями къ просвѣщенію, съ большими для своего времени и круга познаніями; въ первые годы XIX-го столѣтія въ Москвѣ и Петербургѣ являются цѣлые кружки людей, если

не съ глубокимъ образованіемъ, то съ живой и серьезной воспріимчивостью и съ развитой потребностью въ изяществѣ рѣчи; наконецъ, было между ними нѣсколько лицъ съ большимъ поэтическимъ дарованіемъ, для которыхъ дѣло литературы становилось дѣломъ убѣжденія, а поэзія—дѣломъ искренняго чувства и призванія. Эти дарованія и стали великою силой въ развитіи литературы. Ихъ привлекали богатые образы европейской поэзіи, дѣйствительно способные внушить нравственное участіе и поразить воображеніе, и наши поэты стремились передать на русскомъ языкѣ это богатство невиданной прежде поэзіи, но они передавали ее уже только усвоенною ихъ собственной мыслью и чувствомъ; они роднились съ нею, и потому въ ихъ произведеніяхъ она получала все достоинство самобытнаго поэтическаго созданія. Такова была поэзія Батюшкова, болѣе разнообразная, чѣмъ была поэзія Жуковскаго, и въ этомъ смыслѣ болѣе богатая, какъ былъ богаче его языкъ и стихъ. Какъ Батюшковъ самъ переживалъ то содержаніе, которому давалъ мѣсто въ своей поэзіи, это можно видѣть на всей исторіи его творчества; самымъ яркимъ примѣромъ этого можетъ служить увлеченіе Тассомъ, личность котораго стала для него олицетвореніемъ возвышеннаго пѣвца, гонимаго судьбою, не оцѣненнаго современниками и признаннаго только тогда, когда онъ былъ уже на краю могилы. Съ этимъ образомъ онъ носился многіе годы, и достаточно прочесть его знаменитую элегію, чтобы видѣть, сколько отразилось въ ней именно личнаго, возвышеннаго и скорбнаго чувства. Мы видѣли, наконецъ, какое великое значеніе придавалъ Батюшковъ красотѣ поэтической рѣчи: его первые опыты еще носятъ тяжелую печать XVIII-го вѣка; упорная работа надъ своими произведеніями въ этомъ отношеніи привела къ изяществу стиха, которое высоко цѣнилъ строгій судья, Пушкинъ. Его забота указывала на вѣрное пониманіе дѣла: для того, чтобы поэзія стала достойна своего назначенія, она должна была найти наконецъ для привлекательныхъ образовъ фантазіи—и очарованіе формы. Историческая оцѣнка согласна въ томъ, что по содержанію и формѣ своей поэзіи Батюшковъ былъ еще ближе, чѣмъ Жуковскій, предшественникомъ поэзіи Пушкина.

Для изученія временъ имп. Александра I можетъ служить довольно обширная теперь литература, гдѣ излагаются какъ внѣшнія событія, такъ и внутренняя исторія русской жизни, наконецъ личность самого императора. Главнѣйшіе труды:

— М. И. Богдановичъ, Исторія царствованія имп. Александра I

и Россіи въ его время. Шесть томовъ. Спб. 1869—1871. (Мой разборъ сочиненія въ отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ).

— Н. К. Шильдеръ, Имп. Александръ Первый, его жизнь и царствованіе. Четыре тома. Съ 450 иллюстраціями. Спб. 1897—1898.

— Довольно многочисленныя біографіи дѣятелей, и писателей. той эпохи, гдѣ передаются характерныя черты времени и нравовъ, — напр. біографіи Карамзина, М. М. Сперанскаго, Аракчеева, Растопчина, кн. А. Н. Голицына, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина („П. въ Александровскую эпоху", П. В. Анненкова). Далѣе, довольно многочисленныя записки, напр. Шишкова (и книга Стоюнина), кн. И. М. Долгорукаго, А. М. Тургенева, И. И. Дмитріева, Жихарева, В. И. Панаева, С. Т. Аксакова, и пр. и пр.; исторія мистическаго движенія и сектъ Александровскаго времени (напр. матеріалы, собранные Н. Ѳ. Дубровинымъ; исторія политическаго броженія: записки декабристовъ и т. д.

Дополненіемъ къ настоящему изложенію литературы Александровскаго времени служитъ моя прежняя книга: „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I". 2-е изд. Спб. 1885.

Мих. Никит. Муравьевъ (1757 — 1807), питомецъ московскаго Университета, съ 1777 сотрудникъ Вольнаго собранія либителей росс. слова, участвовавшій въ его трудахъ; съ 1785 преподаватель русской словесности, русской исторіи и нравственной философіи при велик. князьяхъ Александрѣ и Константинѣ; съ 1800 сенаторъ, въ 1802 товарищъ министра нар. просвѣщенія, а съ 1803 вмѣстѣ и попечитель моск. Университета. Онъ много сдѣлалъ полезнаго для моск. Университета и устройства моск. гимназій, и оказалъ большую услугу Карамзину, содѣйствуя назначенію его исторіографомъ и открытію ему архивовъ. Какъ писатель, онъ былъ проповѣдникъ философіи добродѣтели и нравственнаго долга; школа его была ложно-классическая, съ присоединеніемъ сентиментальности, въ которой онъ слѣдовалъ Карамзину; но онъ былъ у насъ однимъ изъ рѣдкихъ псевдо-классиковъ, которые знакомы были съ античною литературой въ источникахъ. Вообще, это былъ одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ людей того времени, а объ его личномъ характерѣ извѣстны слова Карамзина: „страсть его къ ученію равнялась въ немъ со страстію къ добродѣтели".

Біографическія данныя:

— Пѣтуховъ, „М. Н. М. Очеркъ его жизни и дѣятельности", въ Журн. мин. просв. 1894, августъ.

— Венгеровъ, „Р. Поэзія", т. I.

— В. Саитовъ, въ примѣчаніяхъ къ изданію сочиненій Батюшкова, Л. Майкова. Спб. 1887.

— „Полное собраніе сочиненій". 3 части. Спб. 1819—20; въ собраніи Смирдина, 1847 и 1856, 2 части.

Два сына его, Александръ и Никита, были декабристы.

Иванъ Матв. Муравьевъ-Апостолъ (1765—1851) служилъ въ военной службѣ, былъ „кавалеромъ" при вел. князьяхъ Александрѣ и Константинѣ; съ 1795 до 1805 былъ посланникомъ въ Гамбургѣ,

въ Мадридѣ; потомъ сенаторъ, членъ Росс. Академіи (съ 1811) и „Бесѣды“. Это былъ опять знатокъ классическихъ языковъ (между прочимъ перевелъ „Облака“ Аристофана), и особенно былъ извѣстенъ своей книгой: „Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 году“. Спб. 1823.

Свѣдѣнія о немъ въ Р. Старинѣ, 1886, № 7.

Александръ Сем. Шишковъ (1754—1841) учился въ морскомъ корпусѣ, служилъ во флотѣ, писалъ спеціальныя книги по морскому дѣлу, участвовалъ въ шведской войнѣ. При Павлѣ онъ попалъ въ милость. Въ 1812, въ качествѣ государственнаго секретаря, онъ былъ авторомъ краснорѣчивыхъ патріотическихъ манифестовъ. Упомянутая война въ защиту „стараго слога“ кончилась для него неудачно; но онъ продолжалъ проповѣдовать свои взгляды въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова и въ Россійской Академіи, въ которой онъ съ 1816 сталъ президентомъ. Въ 1824—28 онъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія. Въ 1841, по его смерти, Россійская Академія была закрыта и вмѣсто нея учреждено Отдѣленіе русскаго языка и словесности въ Академіи наукъ.

— Собраніе сочиненій, изд. Росс. Академіи. 17 ч. Спб. 1818—39.

— Записки, мнѣнія и переписка адм. Шишкова. Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. 2 тома. Берлинъ, 1870. (Часть записокъ издана была раньше въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ. 1868, кн. 3, и въ Спб. s. a. 150 стр.).

— Стоюнинъ, А. С. Ш. Спб. 1880.

— Щебальскій, Ш., его союзники и противники, въ Р. Вѣстникѣ, 1870, № 11.

— Писанныя Шишковымъ государственныя бумаги въ книгѣ: Собраніе Высочайшихъ манифестовъ, грамотъ, указовъ, рескриптовъ, приказовъ войскамъ и разныхъ извѣщеній, послѣдовавшихъ въ теченіи 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годовъ. Издалъ А. С. Шишковъ. Спб. 1816.

Ив. Ив. Дмитріевъ (1760—1837), симбирскій уроженецъ, учился дома и въ пансіонахъ, а потомъ въ школѣ семеновскаго полка, въ который онъ поступилъ на службу на 14-мъ году. Благодаря одному сослуживцу, большому любителю литературы, онъ пріобрѣлъ начитанность и вступилъ въ литературный кругъ, гдѣ особенно сблизился съ Карамзинымъ. Въ концѣ 1796, онъ хотѣлъ оставить службу и уже получилъ отставку, когда одна случайность доставила ему особенную благосклонность имп. Павла и онъ быстро поднялся уже въ гражданской службѣ. Въ 1799 онъ вышелъ однако въ отставку; но при Александрѣ сдѣланъ былъ министромъ юстиціи;—въ 1814 онъ оставилъ службу и жилъ съ тѣхъ поръ въ Москвѣ.

— „И мои бездѣлки“. М. 1795 (въ подражаніе Карамзину).

— Сочиненія издавались много разъ; особенно важно изданіе: Стихотворенія Ив. Ив. Дмитріева. 2 части. Спб. 1823, гдѣ находится „Извѣстіе“ о жизни и стихотвореніяхъ Д., кн. П. А. Вяземскаго.

— Взглядъ на мою жизнь,—изд. М. А. Дмитріевымъ. М. 1866.— Письма къ Д. Карамзина упомянуты выше.

— Сочиненія Ив. Ив. Д. Редакція и примѣчанія А. А. Флори-

дова. Два тома: въ первомъ—стихотворенія; во второмъ — „Взглядъ на мою жизнь“ и письма Д-ва. Спб. 1893 (приложеніе къ журналу „Сѣверъ“).

Иванъ Андр. Крыловъ (1768—1844).

Первое изданіе басенъ вышло въ 1809 году (23 басни) и съ тѣхъ изданія, впослѣдствіи разросшіяся, повторялись множество разъ. Съ 1894 право изданія стало общимъ достояніемъ.

— Полное собраніе сочиненій И. А. К. Съ біографіею, написанною П. А. Плетневымъ, съ портретомъ автора. 3 части. Спб. 1847; 2-е изд. 1859.

— „Сборникъ“ Р. Отд. Акад. наукъ, т. VI. Спб. 1869, весь посвященъ „Чтеніямъ 2 февраля 1868 года въ память Ив. Андр. Крылова“, съ приложеніями. Здѣсь: Гротъ, Литературная жизнь Крылова; и его же статья: Сатира Кр. и его „Почта духовъ“; Никитенко, О басняхъ Кр. въ художественномъ отношеніи; Срезневскій, О языкѣ Кр.; Бычковъ, О басняхъ Кр. въ переводахъ на иностранные языки; пр. Макарій, Слово. Затѣмъ: Библіографическія и историческіе примѣчанія къ баснямъ Кр., В. Ѳ. Кеневича, и другіе матеріалы.

— В. Межовъ, Юбилеи Ломоносова, Карамзина и Крылова. Спб. 1871, стр. 57—67.

— Л. Майковъ, Первые шаги Ив. Андр. Кр. на литературномъ поприщѣ. Спб. 1889, изъ „Р. Вѣстника“; — Историко-литературные очерки. Спб. 1895, стр. 1—50, съ нѣкоторыми новыми любопытными матеріалами.

— А. Кирпичниковъ, Критическія и библіогр. замѣтки о Кр., въ „Починѣ“ на 1895 г., стр. 210 — 231; — въ Энциклоп. Словарѣ, К. К. Арсеньева.

— П. Владиміровъ, Кр. и его басни. Кіевъ, 1895

— А. Лященко, біогр. очеркъ въ Истор. Вѣстникѣ, 1894, № 11;— Басня Кр. „Водолазы“ (по поводу ст. Нечаева). Спб. 1895.

— Нечаевъ, Объ отношеніи Кр. къ наукѣ, въ Журн. мин. просв. 1895, № 7.

— В. Перетцъ, въ Ежегодникѣ Имп. театровъ, 1895.

— П. Драгановъ, Международное значеніе Кр. и новыя свѣдѣнія о переводахъ его басенъ на иностранные языки и нарѣчія, въ Журн. мин. просв. 1895, № 7.

— К. Арабажинъ, біогр. очеркъ при 2-мъ иллюстр. изданіи „Басенъ“ (полное собраніе), Спб. Комитета грамотности. Спб. 1895.

— В. Истоминъ, Главнѣйшія особенности языка и слога Крылова, въ Р. Филолог. Вѣстникѣ, 1895, кн. 1—2.

— В. В. Сиповскій, Загадочный писатель, въ журн. „Образованіе“, 1895, № 2. Общія заключенія автора заслуживаютъ вниманія. „Басня была именно тѣмъ литературнымъ жанромъ, въ которомъ особенно полно и удачно могла выразиться индивидуальность Крылова. Комедія требуетъ отъ писателя глубокаго проникновенія въ сердца человѣческія; трагедія, — кромѣ того, способности глубоко и сильно чувствовать; лирика—необыкновенной отзывчивости и тонкости чувства; — всего этого у Крылова не было... Крыловъ не способенъ

былъ глубоко чувствовать: это былъ человѣкъ не чувства, а разсудка; житейская опытность помогла ему выработать рядъ отрывочныхъ практическихъ правилъ, которыхъ онъ съ его облѣнившимся умомъ не связалъ въ стройную систему... Самую выгодную литературную форму для выраженія чувствъ такого сатирика, какимъ былъ Крыловъ, представляла именно басня. Отрывочныя мысли для ихъ выраженія не требовали произведенія большого по размѣрамъ, а осторожность, пріобрѣтенная съ годами, подсказывала иносказаніе. Наконецъ удивительная наблюдательность, не шедшая впрочемъ въ глубину, дала ему возможность свои произведенія сблизить съ дѣйствительностью, а художественный талантъ воодушевилъ его созданья, вдохнулъ въ нихъ жизнь...

„...Любопытенъ вопросъ, въ какой же мѣрѣ выразилась личность баснописца въ его твореніяхъ. Мы говорили о тѣхъ практическихъ правилахъ, которыя несомнѣнно выработались у Крылова; эти правила вполнѣ сказались въ нравоученіяхъ его басенъ, въ тѣхъ общихъ положеніяхъ, поясненію которыхъ посвящены эпизоды, выхваченные изъ жизни.

„Живость и правдивость басень доказываетъ, что эти эпизоды не сочинены Крыловымъ ради назидательности, а именно взяты изъ жизни. Сентенціи были при Крыловѣ, жизнь часто противорѣчила имъ, и мудрецъ считалъ своимъ долгомъ вступиться за свои убѣжденія:

За вѣтрами со всѣхъ сторонъ,
Не движась, я смотрю на суету мірскую
И философствую сквозь сонъ...

(„Прудъ и рѣка").

„Эти строчки имѣютъ, какъ намъ кажется, автобіографическое значеніе; всѣ его „философствованія" именно нуждались „въ суетѣ мірской", которая очень часто занимала его даже больше самихъ „философствованій".

„Крыловъ—преждевсего художникъ-жанристъ, схватывающій жизнь въ ея типическихъ проявленіяхъ; моралистъ въ немъ заслоненъ художникомъ. Съ этой художественной, такъ сказать, внѣшней стороны басни Крылова въ исторіи нашей литературы всегда были и будутъ образцовыми произведеніями; именно своею художественностью доставили онѣ неувядаемую славу ихъ творцу и, быть можетъ, именно ихъ совершенствомъ можно объяснить то интересное явленіе въ исторіи нашей литературы, что никто не рѣшился состязаться съ Крыловымъ въ баснеписаніи. Онъ, безспорно, нашъ первый оригинальный реалистъ: подъ его ближайшимъ вліяніемъ воспитался Гоголь.

„Но за красивой наружностью басенъ скрывается бѣдная мысль. Мы видѣли, что Крыловъ, какъ человѣкъ, не способенъ внушать къ себѣ особенныхъ симпатій; если онъ, какъ талантливый художникъ, и стоялъ двумя головами выше своихъ сотоварищей по перу, то, какъ человѣкъ, онъ не возвышался надъ толпой: и это ясно сказалось на его басняхъ: ихъ мораль не превышаетъ скромныхъ требованій „житейской мудрости". „Будь остороженъ", „знай свой шестокъ", „не хвались раньше времени", „перенимай съ умомъ", „будь доволенъ малымъ", „не вѣрь врагамъ", „не довѣряйся черезчуръ друзьямъ", „не затѣвай новшества", „къ ученью подступай съ опас-

кой“ и т. д. — вотъ какія истины провозглашалъ Крыловъ. Мы не сомнѣваемся, что, будь художественный талантъ его меньше, мы теперь и не вспоминали бы о немъ, но этотъ талантъ не только спасъ отъ забвенія имя нашего баснописца, но, быть можетъ, противъ воли его самого заставилъ его писать такъ, что читатель иногда выноситъ изъ чтенія басни совсѣмъ не то впечатлѣніе, какое хотѣлъ произвести авторъ: блѣдное нравоученіе легко забывается, — и остается въ памяти художественно тонкая сатира на пошлую дѣйствительность“.

— Относительно басни „Конь и всадникъ“ М. Лонгиновъ указывалъ въ Р. Архивѣ 1864, что она принадлежитъ не Крылову: „авторъ ея живъ, говорилъ Лонгиновъ, — но я не имѣю права назвать его“. Теперь П. Бартеневъ заявляетъ, въ Нов. Времени 1899, 1 февраля, что этотъ авторъ былъ извѣстный въ свое время секретарь московскаго Общества сельскаго хозяйства Степ. Алексѣевичъ асловъ (ум. въ 1879), который самъ сообщалъ г. Бартеневу, что басня написана имъ: она распространилась въ спискахъ подъ именемъ Крыловской, потому что въ ней видѣли намекъ на отношенія имп. Николая I къ А. П. Ермолову.

Странно только, что не могли указать этого факта раньше.

Владиславъ Александр. Озеровъ (1770—1816) учился въ кадетскомъ корпусѣ, состоялъ адъютантомъ при директорѣ корпуса, графѣ Ангальтѣ, потомъ былъ въ военной службѣ, наконецъ, въ лѣсномъ департаментѣ. Его школой былъ французскій классицизмъ, и изъ русскихъ писателей—Княжнинъ, котораго онъ былъ продолжателемъ. Его драматическіе успѣхи начались „Эдипомъ въ Аѳинахъ“ (поставленъ и изданъ 1804), написаннымъ на основаніи Дюси; продолжались „Фингаломъ“ (1805), съ сюжетовъ изъ Оссіана; высшимъ торжествомъ Озерова былъ „Димитрій Донской“ (1807), успѣху котораго много содѣйствовало патріотическое возбужденіе общества съ началомъ Наполеоновскихъ войнъ. Своимъ лучшимъ произведеніемъ Озеровъ считалъ „Поликсену“ (1809), которая однако не имѣла большого успѣха. Въ тогдашнемъ театральномъ мірѣ Озеровъ имѣлъ враговъ (особливо кн. Шаховского); его обвиняли за нарушеніе строгихъ классическихъ правилъ (не очень большое) и, вѣроятно также, завидовали его успѣху. Послѣдніе годы жизни Озеровъ страдалъ душевной болѣзнью.

Озеровъ пользовался большой славой. Однимъ изъ поклонниковъ его былъ кн. П. А. Вяземскій, который по литературной заслугѣ ставилъ его рядомъ съ Карамзинымъ; Озеровъ дѣйствительно оживилъ старую трагедію элементомъ чувствительности, которая затрогивала особенно въ хорошемъ сценическомъ исполненіи, — но онъ все-таки ближе Карамзина къ старому преданію. Стихъ его искусственъ и часто тяжелъ. Пушкинъ былъ холоденъ къ Озерову, и по свидѣтельству кн. Вяземскаго „не признавалъ въ немъ никакого дарованія“ (Сочин. I, стр. 55—56).

— Кромѣ отдѣльныхъ изданій трагедій, собранія сочиненій Озерова были изданы пять разъ. Спб. 1816 — 28; затѣмъ два изданія Смирдина, 1846 и 1847; изд. Вольфа 1856.

О немъ: кн. П. А. Вяземскій (1817), при одномъ изъ изданій и въ Сочиненіяхъ, Спб. 1878, т. I, съ припиской 1876;—Галаховъ, по поводу изданія Смирдина, въ Отеч. Зап. 1846; Историч. христоматія, т. II; — Геннади, Справочный Словарь; — Л. Майковъ, въ изданіи Батюшкова, и пр.

Николай Ив. Гнѣдичъ (1784—1833), полтавскій уроженецъ, учился въ тамошней семинаріи, потомъ въ Харьковѣ и моск. Университетѣ; служилъ въ министерствѣ просвѣщенія и въ Публ. Библіотекѣ. Онъ переводилъ Дюси и Шиллера, Вольтера и Шекспира; литературные взгляды были неопредѣленны. „Иліаду" онъ началъ переводить александрійскимъ стихомъ съ риѳмой, какъ продолженіе Кострова, и только послѣ защиты гексаметра С. С. Уваровымъ перевелъ ее стихомъ подлинника. Гнѣдичъ скорбѣлъ о маломъ успѣхѣ „Иліады" у русскихъ читателей, но ее съ великимъ сочувствіемъ встрѣтилъ Пушкинъ. Въ свое время пользовалась извѣстностью его идиллія „Рыбаки".

— Изданія сочиненій указаны у Геннади, Справочный Словарь;— Полное собраніе сочиненій, — подъ ред. Виленкина-Минскаго, 3 т. Спб. 1884;—послѣднее изданіе „Иліады" въ Дешевой библіотекѣ Суворина. Спб. 1884.

— Ник. Ив. Гнѣдичъ (1784—1884). Нѣсколько данныхъ для его біографіи по неизданнымъ источникамъ. Сообщилъ П. Тихановъ. Спб. 1884.

— С. Н. Пономаревъ, въ Р. Старинѣ, 1884, т. XLIII.

Алексѣй Θедор. Мерзляковъ (1778 — 1830), сынъ купца, пермскій уроженецъ, учился въ народномъ училищѣ: тринадцати лѣтъ написалъ оду „На заключеніе мира съ шведами", которая была представлена императрицѣ и онъ, послѣ училища, переведенъ былъ на казенный счетъ въ Москву въ гимназію, потомъ въ Университетъ. Здѣсь онъ сошелся съ Жуковскимъ и много занимался стихотворствомъ; между прочимъ перевелъ „Освобожденный Іерусалимъ" Тасса. Съ 1804 онъ занялъ въ моск. Университетѣ каѳедру русскаго краснорѣчія и поэзіи. По Эшенбургу онъ составилъ „Краткое начертаніе теоріи изящной словесности", 1822.

— „Сочиненія" изданы въ 2 томахъ Обществомъ люб. росс. словесности, подъ ред. М. Полуденскаго. М. 1867.

— Указанія о немъ: Біогр. Словарь проф. Моск. Унив. М. 1855. s. v.; Л. Майковъ, Соч. Батюшкова, II, стр. 506—507.

— Ник. Мизко, въ Р. Старинѣ, 1879, январь.

— Ив. Ивановъ, въ Энцикл. Словарѣ, Арсеньева.

Юрій Александр. Нелединскій-Мелецкій (1751—1828) учился дома, потомъ въ Страсбургскомъ университетѣ; служилъ въ военной службѣ, былъ въ посольствѣ Репнина въ Константинополѣ, въ 1781 вышелъ въ отставку; впослѣдствіи былъ почетнымъ опекуномъ, членомъ совѣта въ обществѣ благородныхъ дѣвицъ и сенаторомъ. Его произведенія состояли изъ стихотвореній на случай, посланій и изъ такъ называемой „легкой поэзіи"; въ послѣдней особенно популярны были пѣсни, гдѣ онъ, какъ Дмитріевъ,—нѣкогда еще и Сумароковъ,—

а потомъ Мерзляковъ, Дельвигъ, хотѣлъ держаться народнаго тона: тонъ выдержанъ не былъ, но многія пѣсни пріобрѣтали большую извѣстность. Такъ, пѣсню: „Выду ль я на рѣченьку", по словамъ кн. Вяземскаго, пѣли и „красавицы высшаго общества, и поселянки среди полевыхъ трудовъ" (Сочиненія, т. II). „По мнѣ,—писалъ Пушкинъ къ Вяземскому въ 1823,—Дмитріевъ ниже Нелединскаго-Мелецкаго".

— О немъ см. Р. Архивъ, 1867; и Лонгинова, Матеріалы для собранія его сочиненій, тамъ же, 1886, № 11—12; Л. Майковъ, Соч. Батюшкова, II, стр. 503—505.

— Сочиненія, въ собраніи Смирдина (въ одной книжкѣ съ сочиненіями бар. Дельвига). Спб. 1850.

Сергѣй Никол. Глинка (1775—1847), очень плодовитый писатель, авторъ и переводчикъ повѣстей, драмъ, оперъ, трагедій, историческихъ книгъ, стихотвореній и т. д. Особенную извѣстность пріобрѣлъ во время Наполеоновскихъ войнъ, когда съ 1808 онъ сталъ издателемъ „Р. Вѣстника", гдѣ онъ возбуждалъ патріотическія чувства и вражду къ иноземному, особливо французскому. Но когда возбужденіе прошло, журналъ его потерялъ успѣхъ. Его литературныя произведенія всегда имѣли популярно-патріотическую основу. Его „Записки". Спб. 1895.

Свѣдѣнія о его трудахъ у Геннади, Справочный Словарь.

Ѳедоръ Глинка, братъ Сергѣя (1788—1880), сдѣлалъ нѣсколько походовъ во время Наполеоновскихъ войнъ, съ 1805 до 1814, и главнымъ трудомъ его остались „Письма русскаго офицера", нѣсколько разъ изданныя и заключающія разсказы о видѣнномъ. Онъ участвовалъ въ основаніи Союза благоденствія, отъ котораго впрочемъ потомъ отсталъ; поэтому его только слегка задѣли послѣдствія 14 декабря. Онъ былъ одно время предсѣдателемъ Вольнаго общества любителей росс. словесности, былъ также стихотворцемъ, и особливо извѣстенъ здѣсь „Опытами священной поэзіи".

О немъ Н. В. Путята: Нѣсколько словъ о литер. дѣятельности Ѳ. Н. Г., въ „Бесѣдахъ" Общ. любит. росс. слов. М. 1867, вып. 1, и тамъ же Замѣтка, А. А. Котляревскаго, объ археологическихъ трудахъ Глинки.

Продолжается съ XVIII-го вѣка и переходитъ въ XIX-й сатира, еще долго старомодная, потомъ приближающаяся къ новому времени. Старѣйшимъ сатирикомъ, объединяющимъ два столѣтія, является кн. Дм. Петр. Горчаковъ (1758—1824): онъ служилъ въ военной службѣ, былъ раненъ при штурмѣ Измаила, потомъ былъ на гражданской службѣ; въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка написалъ нѣсколько комическихъ оперъ („Счастливая тоня", „Баба-яга" и др.), повѣсти и стихотворенія. Въ особенности онъ былъ извѣстенъ какъ сатирикъ, хотя многія его сатиры оставались только въ рукописи. Въ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній этого рода, посланіи къ кн. И. М. Долгорукову, онъ сознается, что сатира давно, но безплодно, обличаетъ пороки;—но въ его стихахъ есть искреннее одушевленіе, и въ свое время они должны были дѣйствовать сильнѣе, потому что не-

сомнѣнно указывали на извѣстныя лица негодяевъ и грабителей разнаго рода. Воспитанный на ложномъ классицизмѣ, онъ между прочимъ насмѣхался надъ сентиментальнымъ направленіемъ Карамзина и его послѣдователей, и съ негодованіемъ отвергалъ новѣйшую драму Коцебу, какъ не-нравственную.

Сочиненія кн. Горчакова изданы въ М., 1890.

Другомъ его былъ Николай Петр. Николевъ (1758—1815), плодовитый стихотворецъ и авторъ нѣсколькихъ трагедій (особливую славу имѣла „Сорена") и комедій.

Кн. Ив. Мих. Долгорукій (1764—1823) учился въ московскомъ Университетѣ, дослужился въ военной службѣ до бригадира, потомъ былъ въ гражданской службѣ, и въ 1802—1812 былъ губернаторомъ во Владимірѣ. Кн. Долгорукій стоялъ какъ бы въ сторонѣ отъ литературнаго движенія; его поэзія, нравоучительная, шутливая и сатирическая, не лишена историческаго интереса, нравилась современникамъ и отвѣчала среднему уровню читателей; она любопытна и по чертамъ нравовъ. Современникъ Карамзина, онъ былъ однако противникомъ сентиментальнаго направленія.

— „Бытіе сердца моего", собраніе стихотвореній, издано было въ первый разъ въ 1802; 4-е изд. въ собраніи Смирдина, 1849.

— „Капище моего сердца или словарь всѣхъ тѣхъ лицъ, съ коими я былъ въ разныхъ отношеніяхъ въ теченіе моей жизни", съ предисловіемъ Бодянскаго, въ „Чтеніяхъ" моск. Общ. 1872, кн. 3—4; 1873, кн. 1—3, и въ „Р. Архивѣ", 1890.

— О немъ: М. Дмитріевъ, Кн. И. М. Долгорукой и его сочиненія. М. 1863;—Геннади, Справ. Словарь, s. v.; — Л. Майковъ, Соч. Батюшкова, II, стр. 509—512.

Акимъ Никол. Нахимовъ (1782—1814) учился въ моск. Благородномъ пансіонѣ и въ харьковскомъ Университетѣ; послѣ недолгой учебной службы жилъ въ деревнѣ. При жизни были имъ напечатаны въ журналахъ только немногія его пьесы; первое собраніе его сочиненій вышло въ 1815; затѣмъ нѣсколько разъ было повторено до изданій Смирдина, 1849, 1852 (въ одной книгѣ съ сочиненіями Милонова и Судовщикова). Онъ писалъ оды, стихи „священнаго содержанія", басни,—но особенно извѣстенъ сатирами. Сатирическія темы Нахимова были не новы: это — ненавистное ему „крапивное сѣмя", и люди французскаго воспитанія, олицетвореніемъ которыхъ былъ у него „Мерзилкинъ". Творенія Нахимова не весьма изящны, часто безцеремонно грубы, и этой прямотой, гдѣ была и талантливость, очень нравились въ извѣстномъ слоѣ читателей.

— Очеркъ его литературной дѣятельности и неизданныя сочиненія сообщены Р. С. Чириковымъ въ Р. Старинѣ, 1880, № 11—12.

Мих. Васил. Милоновъ (1792 — 1821) учился въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ, потомъ служилъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Современники очень цѣнили Милонова, но историки не раздѣляютъ этой оцѣнки, справедливо находя, что его сатира, между прочимъ

подъ классическимъ одѣяніемъ, такъ неопредѣленна, что не достигаетъ своей цѣли и остается стихотворнымъ упражненіемъ.

— Сатиры, посланія и другія мелкія стихотворенія М. Милонова. Спб. 1819.—Выше названы изданія Смирдина.

О немъ: Галаховъ, Историч. Христоматія. Спб. 1864, т. II.

Александръ Ѳедор. Воейковъ (1778—1839) учился въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ и отсюда зналъ дружескій кругъ Жуковскаго; въ 1812 былъ въ военной службѣ; въ 1815 женился на племянницѣ Жуковскаго, и съ этого года до 1820 былъ профессоромъ русской словесности въ дерптскомъ Университетѣ. Въ эти годы вмѣстѣ съ Жуковскимъ, потомъ одинъ, издавалъ „собранія образцовыхъ сочиненій", съ 1821 занялся журналистикой, участвовалъ въ „Сынѣ Отечества" Греча, издавалъ „Р. Инвалидъ", „Новости русской литературы", „Славянина", „Литер. прибавленія къ Р. Инвалиду". Въ числѣ его трудовъ давалось значеніе переводу „Садовъ" Делиля и „Георгикъ" Виргилія, а всего больше извѣстенъ „Домъ сумасшедшихъ", въ который онъ помѣстилъ современныхъ писателей. Его журнальныя предпріятія не имѣли большого успѣха, что еще увеличило его раздражительность. Въ концѣ концовъ онъ потерялъ всякое уваженіе, какъ человѣкъ безъ убѣжденій и правилъ.

О немъ см.: Геннади, Справочный Словарь; — Е. Колбасинъ, Литер. дѣятели прежняго времени. Спб. 1859; — П. А. Ефремовъ, „Домъ сумасшедшихъ", въ Р. Старинѣ 1874, т. IX; 1875, т. XII, и тамъ же другія сообщенія о Воейковѣ;—К. С. Сербиновичъ, тамъ же 1872, т. V;—много указаній въ Соч. Батюшкова, Л. Майкова.

Александръ Ефим. Измайловъ (1779—1831) учился въ Горномъ корпусѣ, служилъ въ министерствѣ финансовъ и не подолгу былъ вице-губернаторомъ въ Твери и Архангельскѣ. Онъ началъ чувствительными повѣстями въ стилѣ Карамзина, потомъ издавалъ журналы: „Цвѣтникъ", „Сынъ Отечества", и особенно, съ 1818 года „Благонамѣренный", извѣстный въ свое время халатною простотою издательства. Такою же безцеремонной простотой сюжетовъ и языка отличались его басни: темы ихъ бывали обыкновенно заимствованныя, но Измайловъ передавалъ ихъ своеобразной грубоватой манерой, которая нравилась не весьма разборчивымъ читателямъ, и его басни имѣли значительный успѣхъ. Онъ былъ извѣстенъ какъ „писатель не для дамъ".

— Сочиненія въ стихахъ и прозѣ. Спб. 1826.

— Полное собраніе сочиненій, 2 т. Спб. 1849 (Смирдина); новое изданіе, въ 3 частяхъ, 1891.

— Басни и сказки. Спб. 1814; 7-е изд. въ двухъ частяхъ. Спб. 1862.

О немъ: Галаховъ, біографія и обзоръ сочиненій въ „Современникѣ" 1849—50;—П. А. Измайловъ, въ Р. Старинѣ, 1875, т. XIV, нѣкоторыя неизданныя сочиненія А. Измайлова; — Геннади, Справ. Словарь, s. v.;—Эртауловъ, Литературная характеристика, въ „Дѣлѣ", 1879, № 4.

Біографія Конст. Никол. Батюшкова (1787—1855) чрезвычайно обстоятельно разслѣдована въ трудѣ Л. Н. Майкова при новѣйшемъ изданіи: „Сочиненія К. Н. Батюшкова. Изданы П. Н. Батюшковымъ. Со статьею о жизни и сочиненіяхъ К. Н. Б., написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Саитовымъ". Спб., 3 большихъ тома. 1887. Сочиненія Б. сопровождены здѣсь обширными комментаріями, гдѣ разсмотрѣны также съ великой подробностью литературныя отношенія Батюшкова и собраны обильныя свѣдѣнія о современныхъ писателяхъ, — это вообще богатый запасъ литературныхъ и біографическихъ данныхъ о писателяхъ временъ Александра I.

— Л. Майковъ, Б., его жизнь и сочиненія. Изданіе второе, вновь пересмотрѣнное. Спб. 1896,—одна біографія и литературная характеристика.

ГЛАВА XLI.

ГРИБОѢДОВЪ.

Неустановленность сужденій о Грибоѣдовѣ.
Біографическія свѣдѣнія.—Литературныя отношенія Грибоѣдова.—Общественное настроеніе.—Историческіе и національные взгляды.
„Горе отъ ума".—Отношеніе къ нему критики.

Двадцать лѣтъ тому назадъ вспоминалось пятидесятилѣтіе кончины Грибоѣдова; прошло почти восемьдесятъ лѣтъ со времени созданія знаменитой комедіи, составляющей славу этого писателя, и все еще нельзя сказать, чтобы его историческое значеніе было опредѣлено сполна. До послѣднихъ лѣтъ велись толки о значеніи его важнѣйшаго произведенія, единственнаго, составляющаго его великое литературное право—о художественныхъ качествахъ „Горя отъ ума", и о смыслѣ общественнаго взгляда, какой въ немъ выразился.

Неустановленность взглядовъ на „Горе отъ ума", впрочемъ, довольно понятна. Со времени своего появленія оно возбудило величайшій интересъ, какъ первая, раньше и донынѣ безпримѣрная, попытка дать драматическую картину русской общественности въ ея самыхъ характерныхъ чертахъ, и эта картина была исполнена съ такимъ необычайнымъ мастерствомъ, что интересъ пьесы остается почти неприкосновеннымъ до сей минуты, и не только по историческому воспоминанію, но и по сохраняющейся донынѣ преемственности общественныхъ нравовъ, понятій, и столкновеній. Но съ тѣхъ поръ и донынѣ произведеніе Грибоѣдова встрѣчало разнорѣчивыя сужденія, съ точекъ зрѣнія, какія создавались развитіемъ литературныхъ идей и общественности. Въ свое время комедія Грибоѣдова была необыкновенной новизной, не только по содержанію, на какое не рисковала тогдашняя литература (и долго не рисковала даже позд-

нѣйшая), но и по формѣ и языку; она явилась какъ разъ въ ту переходную пору, когда въ нашей литературѣ не разрѣшился еще вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, и съ одной стороны, были крѣпки понятія о непогрѣшимости старой литературной традиціи, а съ другой—неясны были и представленія о той свободѣ, какой добивался для себя романтизмъ. Пьеса долго ходила по рукамъ, прежде чѣмъ могла появиться въ печати, въ 1833, почти сполна, — потому что настоящія полныя изданія комедіи стали возможны не ранѣе 1860-хъ годовъ. Первые разборы комедіи идутъ съ 1830-хъ годовъ. Между тѣмъ старая литературная обстановка, среди которой явилось „Горе отъ ума" какъ „манускриптъ", успѣла отойти въ прошедшее; критика прилагала къ этому произведенію уже новыя требованія, возникавшія изъ иного порядка идей, а нѣсколько позднѣе, эти требованія, въ свою очередь, смѣнились другими представленіями, между прочимъ у тѣхъ самыхъ людей, которые ихъ прежде высказывали (какъ было съ Бѣлинскимъ). Когда понятія стариннаго классицизма или стариннаго романтизма были смѣнены Гегелевской эстетикой, а затѣмъ, послѣ Гоголя, въ литературѣ все больше распространялись реалистическія воззрѣнія, и критика стала все больше обращать вниманіе на общественное содержаніе художественныхъ произведеній, то понятно, что смѣна всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія отразилась на сужденіяхъ о комедіи Грибоѣдова. Если даже въ послѣднее время повторялось обвиненіе старой критики, и самого Бѣлинскаго, въ непониманіи „Горя отъ ума", даже какъ будто въ недоброжелательствѣ къ знаменитой комедіи, то главная доля неправильнаго пониманія, примѣры котораго дѣйствительно бывали, должна быть приписана именно литературной эпохѣ, ея господствующимъ теоріямъ и соединяющимся съ ними предразсудкамъ. То же самое можно было видѣть на оцѣнкѣ другихъ великихъ дѣятелей нашей литературы, напримѣръ самого Пушкина, даже на оцѣнкѣ цѣлыхъ литературныхъ періодовъ. Литературная критика приходила наконецъ къ убѣжденію, что значеніе великихъ явленій литературы становится тѣмъ яснѣе, чѣмъ больше опредѣляется ихъ историческое возникновеніе въ общественной средѣ и затѣмъ расширяется ихъ, такъ сказать, историческая провѣрка опытомъ позднѣйшихъ поколѣній.

Другое обстоятельство, приводившее къ большому разнообразію заключеній о „Горѣ отъ ума", заключалось во внѣшней судьбѣ и произведенія, и писателя. Прошло много времени прежде, чѣмъ комедія стала въ рядъ явныхъ литературныхъ

фактовъ, и, съ другой стороны, на Грибоѣдовѣ въ особенности оправдались старыя слова о немъ Пушкина: „мы лѣнивы и нелюбопытны“,—„замѣчательные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ“. Нѣтъ до сихъ поръ обстоятельной біографіи Грибоѣдова. Теперь мы имѣемъ по крайней мѣрѣ опыты, собираемъ матеріалы, спѣшимъ сохранить малѣйшіе остатки его писаній, но что было полъ-вѣка тому назадъ или больше, когда ставились первые серьезные вопросы о значеніи великаго произведенія Грибоѣдова? Было нѣсколько друзей, которые близко знали писателя, но ихъ знаніе осталось безплодно для литературы: никто изъ нихъ не взялъ на себя труда или же не умѣлъ разсказать сполна, что зналъ. Еще въ половинѣ девятнадцатаго столѣтія даже знаменитѣйшія имена нашей общественности и литературы бывали предметомъ устныхъ преданій, чуть не миѳологіи. О Грибоѣдовѣ также знали только немногое: была слава таланта, остроумія, оригинальнаго характера, но не было понятія о дѣйствительной исторіи этого сильнаго ума, о которомъ современники говорили одними общими мѣстами восхваленія. Какъ выросъ этотъ умъ, какими впечатлѣніями окруженъ былъ писатель, что возбудило его творчество, какая господствующая идея была въ его глубинѣ,—на всѣ эти вопросы могло отвѣтить лишь само произведеніе; но полное пониманіе произведенія возможно только при изученіи развитія и внутренняго міра писателя. И въ литературѣ не свободной, существовавшей только съ разрѣшенія нерѣдко крайне недовѣрчивой опеки, эта необходимость всесторонняго изученія можетъ быть еще настоятельнѣе. Этого изученія не было; поэтому для насъ или навсегда потеряны, или могутъ быть только крайне неполно, по отрывочнымъ слѣдамъ, возстановляемы процессы развитія, исполненные величайшаго интереса въ такихъ оригинальныхъ людяхъ, какъ Грибоѣдовъ, и въ такіе смутные и неясные періоды нашей общественности, какъ послѣдніе годы имп. Александра I и первые годы царствованія Николая I. Критики до послѣднихъ годовъ спорятъ даже о такихъ основныхъ и вмѣстѣ элементарныхъ вопросахъ, какъ то, въ чемъ заключалось міровоззрѣніе Грибоѣдова, былъ ли это „европейскій“ либералъ, единомышленникъ людей двадцатыхъ годовъ, или предшественникъ славянофиловъ, „русскій человѣкъ“ (какъ будто остальные знаменитые русскіе писатели были не русскіе) и т. д. О Грибоѣдовѣ шли толки въ современныхъ литературныхъ кругахъ и въ обществѣ даже раньше, чѣмъ могла вызывать къ тому его комедія: наличныя силы были такъ не многочисленны, что выдающійся умъ заставлялъ о

себѣ говорить; самый уровень литературы, когда только появлялись первыя произведенія Пушкина, былъ такъ невысокъ, что крупнымъ казалось и то, о чемъ основательно забыло даже ближайшее поколѣніе. Были и тогда серьезные запросы общественности, но имъ почти не было мѣста въ литературѣ, гдѣ еще не были выяснены вопросы о самыхъ формахъ, гдѣ продолжалось заимствованіе недостававшихъ элементовъ „словесности“ и едва завоевывалось первое право свободной поэзіи.

Въ этомъ незнаніи біографіи заключается одна изъ причинъ недоразумѣнія, въ какое впадали и впадаютъ историки Грибоѣдова. „Горе отъ ума“ было необычайнымъ явленіемъ и въ исторіи русской литературы, и въ дѣятельности самого писателя. Если, по всеобщему признанію, у насъ до сихъ поръ нѣтъ другой комедіи, которая могла бы стать рядомъ съ пьесой Грибоѣдова, то и среди его собственныхъ произведеній она остается единичнымъ фактомъ, которому раньше ничто не предшествуетъ и которое послѣ не сопровождается ничѣмъ равносильнымъ. Трудно объяснить, какъ могла произойти такая одинокая вспышка великаго дарованія, о которомъ не даютъ понятія всѣ остальныя произведенія писателя. Остается для объясненія только сопоставить факты.

Въ ту пору, когда у насъ вообще „учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“, Грибоѣдовъ получилъ особливо тщательное образованіе: дома заботились объ этомъ въ видахъ будущей карьеры; его наставниками были, повидимому, серьезные и достойные люди, впрочемъ, мало извѣстные; передъ 1812 годомъ онъ пробылъ года два въ московскомъ Университетѣ. Необыкновенная даровитость помогла юношѣ овладѣть нѣсколькими языками (французскій, нѣмецкій, англійскій); впослѣдствіи онъ съ интересомъ и съ удовольствіемъ учится по-гречески [1]). И въ поздніе годы его интересовала древность, русская исторія... Но семнадцатилѣтнимъ юношей онъ уже покидаетъ, и навсегда, домашній пріютъ и вступаетъ въ самую настоящую дѣйствительную жизнь съ ея обычаями, опасностями, тревогами и соблазнами. Это былъ „Двѣнадцатый годъ“. Грибоѣдовъ поступилъ въ ополченіе, въ гусарскій полкъ, который формировался графомъ Салтыковымъ, но за смертью послѣдняго дѣло разстроилось, и Грибоѣдовъ перешелъ въ другой полкъ, стоявшій въ за-

---

[1]) Въ письмѣ Катенину, 1817: „Прощай, сейчасъ ѣду со двора: куда ты думаешь? Учиться по-гречески. Я отъ этого языка съ ума схожу, каждый божій день съ 12-го часа до 4-го учусь, и ужъ дѣлаю большіе успѣхи. По мнѣ онъ вовсе нетруденъ“. Позднѣе, онъ быстро выучивается по-персидски, и т. д.

падномъ краѣ. Здѣсь онъ очутился въ самомъ омутѣ тогдашнихъ военныхъ нравовъ: онъ и послѣ вспоминалъ, что въ Брестъ-Литовскѣ „весело пожилось“, но въ духѣ времени веселье было порядочно грубое и подъ-конецъ, кажется, оно ему опротивѣло. Затѣмъ видимъ его въ Петербургѣ; онъ поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ и велъ опять разсѣянную жизнь, съ ея обычными тогдашними чертами, шумными удовольствіями, театральными похожденіями, бреттёрствомъ и т. п. Въ то время онъ вошелъ въ кругъ тогдашней образованной молодежи и въ кругъ литературный. Выше говорено о томъ, какъ складывались тогда литературные кружки—старшее поколѣніе Екатерининскихъ временъ сосредоточивалось въ „Бесѣдѣ“; болѣе новое примыкало къ Карамзину и собиралось въ „Арзамасѣ“; наконецъ, молодое поколѣніе либеральныхъ романтиковъ къ 1820-мъ годамъ, подъ вліяніемъ событій внѣшнихъ и внутреннихъ, все больше увлекалось въ политическій либерализмъ. Литературные вопросы и споры того времени, поверхностные на позднѣйшій взглядъ, слишкомъ занятые внѣшнею формой, въ свое время казались болѣе серьезными. Литература едва только начала выбиваться изъ прежней тяжелой условности, которая, сослуживъ свою службу въ прошломъ столѣтіи, становилась помѣхой для болѣе живого движенія, для сближенія литературы съ общественной дѣйствительностью. Новая поэтическая форма, явно романтическое стихотвореніе, передѣлка новой пьесы съ французскаго, оригинальный оборотъ въ прозѣ, смѣлый стихъ составляли предметъ оживленныхъ толковъ. Съ другой стороны, развивается новая черта — любовь къ театру, особенно усилившаяся во второмъ и третьемъ десятилѣтіи, чтобы стать потомъ постояннымъ общественнымъ и литературнымъ интересомъ. Въ тѣ же годы распространяется стремленіе къ практической общественной дѣятельности: подновляется старое масонское движеніе, гдѣ къ прежнему мистическому и филантропическому содержанію прибавляется, въ противоположность къ старымъ мистикамъ, мысль о воздѣйствіи на нравственное воспитаніе общества. Молодые люди записываются въ масонскія ложи, а затѣмъ придумываютъ по нѣмецкому образцу „Союзъ Благоденствія“; въ первоначальной формѣ онъ былъ очень похожъ на планы масонской филантропіи, но затѣмъ превратился въ политическое тайное общество. Во всемъ этомъ было много юношескаго, поверхностнаго, въ политическихъ и филантропическихъ мечтаніяхъ много наивнаго, но возникшее движеніе увлекало иногда молодые умы до страстнаго возбужде-

нія. Все это свидѣтельствовало о броженіи умовъ, какого русское общество еще не видало.

Это броженіе трудно распредѣлить на какія-нибудь опредѣленныя теченія. Какъ бываетъ въ подобныя эпохи возбужденія, различные элементы смѣшиваются, такъ что одно лицо отдѣльными чертами, вкусами, дѣйствіями можетъ принадлежать къ направленіямъ, повидимому, разнороднымъ: смѣшиваются литературный консерватизмъ и либеральныя стремленія и т. п.

Въ Петербургѣ Грибоѣдовъ знакомится съ людьми самыхъ разнообразныхъ характеровъ, и можетъ показаться удивительнымъ, что онъ сходится сначала не съ тѣмъ кругомъ, гдѣ можно было бы ожидать его встрѣтить всего скорѣе. Его произведеніе было такъ оригинально и сильно, что повидимому его авторъ долженъ былъ стоять въ рядахъ того самаго движенія, гдѣ совершались блестящіе успѣхи Пушкина. Между тѣмъ онъ не сблизился съ Пушкинымъ, который познакомился съ нимъ еще въ 1817 году; напротивъ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, хотя не вполнѣ яснымъ, Грибоѣдовъ относился довольно несочувственно къ тѣмъ корифеямъ литературы, съ которыми Пушкинъ былъ болѣе или менѣе близокъ, какъ напримѣръ, Карамзинъ, Жуковскій, Гнѣдичъ. Грибоѣдовъ очень рано завязываетъ сношенія съ литературнымъ кругомъ: еще изъ Брестъ-Литовска онъ посылалъ въ журналы небольшія статьи, которыя сдѣлали его имя извѣстнымъ.

Самъ Пушкинъ, жалѣвшій о томъ, что память нашихъ замѣчательныхъ людей пропадаетъ безъ слѣда, оставилъ о немъ лишь нѣсколько строкъ, вѣроятно, справедливыхъ, но опять неясныхъ и требующихъ комментарія. „Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самые слабости и пороки, неизбѣжные спутники человѣчества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности... Жизнь Грибоѣдова была затемнена нѣкоторыми облаками: слѣдствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ“ и проч.

Все только намеки, которые не даютъ понятія о содержаніи мыслей, общественныхъ взглядовъ Грибоѣдова, какъ не даютъ и разсказы другихъ современниковъ. Въ чемъ сказывался тогда, въ 1817 году, „озлобленный умъ“, противъ чего онъ направлялся и чего искалъ? Другіе современники, превозносля умъ, просвѣ-

щеніе, таланты Грибоѣдова, также мало разъясняютъ внутреннюю жизнь его сознанія и творчества.

Изъ собственныхъ сочиненій Грибоѣдова, нѣкоторыхъ разсказовъ, случайныхъ указаній, переписки извѣстно только, что онъ какимъ-то образомъ если не примкнулъ сполна, то имѣлъ симпатіи къ старовѣрческому литературному кружку, который имѣлъ своимъ представителемъ Шишкова. Соотвѣтственно этому онъ, съ другой стороны, не сочувствовалъ Карамзину и его партизанамъ. Гдѣ былъ источникъ этихъ сочувствій къ одной сторонѣ и несочувствій къ другой? Можно было бы думать, что здѣсь участвовали антипатіи псевдо-классика къ литературнымъ нововведеніямъ: Грибоѣдовъ, въ самомъ дѣлѣ, воспитался подъ такими вліяніями во время своего ученія, въ своихъ занятіяхъ съ профессоромъ Буле и др.; въ числѣ его ближайшихъ литературныхъ друзей былъ Катенинъ, ревностный хранитель преданій французскаго псевдо-классицизма; самъ Грибоѣдовъ пробовалъ свои силы на подобныхъ темахъ; но, съ другой стороны, Грибоѣдовъ такъ рѣшительно отвергалъ обязательность литературныхъ преданій и настаивалъ на полной свободѣ таланта брать форму, какую найдетъ для себя пригодной, что причина несогласія очевидно лежала не здѣсь. Могли здѣсь дѣйствовать, во-первыхъ, простыя обстоятельства времени и личныхъ отношеній, напримѣръ, дружескія связи съ кн. Шаховскимъ, съ которымъ онъ раздѣлялъ любовь къ театру: онъ принималъ къ сердцу интересы пріятельскаго круга, вмѣшивался изъ-за нихъ въ полемическіе раздоры, пробовалъ даже выводить на сцену легкія насмѣшки надъ литературными противниками и т. п. Во-вторыхъ,—и это было, кажется, главное,—Грибоѣдовъ расходился съ патентованнымъ кружкомъ „Арзамаза“ своими литературными вкусами и общественными запросами.

Къ сожалѣнію, и здѣсь скудные факты не столько объясняютъ, сколько даютъ угадывать. Литературное воспитаніе Грибоѣдова прошло въ иномъ кругу, чѣмъ тотъ, который дѣйствовалъ на Пушкина и его сотоварищей въ искусственной атмосферѣ лицея и самаго „Арзамаса“, далеко отъ реальной жизни, хотя не отъ ея испорченности. Самъ Грибоѣдовъ выросталъ въ условіяхъ не вполнѣ здоровыхъ, но, кажется, ближе къ реальной жизни, какъ ее создали историческія условія. По всей вѣроятности, идеальные задатки, полученные въ его научной школѣ, въ соединеніи съ инстинктами благороднаго ума, внушили ему отрицательное отношеніе къ духу застарѣлаго барскаго холопства, которое онъ видѣлъ кругомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ заронили еще

неясную, выражавшуюся отрывочно и неровно, но тѣмъ не менѣе несомнѣнную любовь къ народу и народной исторіи. Въ его письмахъ и замѣткахъ остались образчики его интересовъ въ этой области, и могло быть, что присутствіе этого элемента въ его мысляхъ дѣлало ему болѣе сочувственнымъ Шишкова, чѣмъ Карамзина, заставляло предпочитать признаки хотя наивнаго, но искренняго влеченія къ народному, тѣмъ изысканнымъ фразамъ, которыя сами собой говорили объ отсутствіи простоты и, можетъ быть, искренности.

Во время перваго пребыванія въ Петербургѣ все это было еще мало замѣтно. Грибоѣдова въ особенности занималъ тогда театръ. Интересъ былъ естественный: при отсутствіи настоящей общественной жизни театръ представлялъ нѣкоторое подобіе ея, и Грибоѣдовъ тѣмъ больше вдался въ спеціальность театрала, что ее раздѣляли пріятели, кн. Шаховской, Катенинъ, Жандръ, тогдашніе театральные авторитеты. Онъ переводитъ и пишетъ пьесы одинъ или въ сотрудничествѣ съ кн. Шаховскимъ, Хмѣльницкимъ, кн. Вяземскимъ; его занимаетъ, даже волнуетъ, постановка пьесъ на сценѣ; онъ сходится съ кружкомъ актеровъ; присоединяются, наконецъ, закулисныя похожденія и т. п.

Произведенія Грибоѣдова за это время не выходятъ изъ шаблоннаго уровня тогдашней драматургіи: это—переводы и передѣлки французскихъ пьесъ, дѣйствующія лица называются неслыханными въ русской жизни именами: Аристъ, Эльмира, Сафиръ, или Блестовъ, Звѣздовъ, Алегринъ и т. п.; проблески живого дарованія и иногда черты настоящей русской жизни не устраняютъ общаго впечатлѣнія чего-то искусственнаго и мало интереснаго. Въ одной пьесѣ изъ этой поры, „Студентъ", была попытка (быть можетъ, по примѣру, данному раньше Шаховскимъ) затронуть тогдашнія литературныя отношенія, а именно, задѣть если не самый романтизмъ и сентиментальность, которыхъ не были чужды и его собственныя произведенія той поры, то нѣкоторыхъ представителей этого направленія, къ которымъ онъ лично не былъ расположенъ или даже враждебенъ, какъ Жуковскій (котораго передъ тѣмъ осмѣивалъ другъ Грибоѣдова, кн. Шаховской, въ пьесѣ „Липецкія воды"), Батюшковъ, Гнѣдичъ, Загоскинъ. Главное лицо, на которомъ вертится дѣйствіе пьесъ, есть студентъ Беневольскій, глупый стихоплетъ, который говоритъ фразами и стихами названныхъ сейчасъ писателей и надъ которымъ всѣ смѣются какъ надъ шутомъ. Но и эта пьеса по тогдашнему обычаю наполнена условными фигурами, далека отъ жизни, и остроуміе натянутое. Не легко представить

себѣ, что авторомъ былъ тотъ же Грибоѣдовъ, который уже вскорѣ явился творцомъ комедіи, производившей поражающее впечатлѣніе. Подъ стать этимъ пьесамъ, не превышавшимъ самаго обыкновеннаго уровня, Грибоѣдовъ вмѣшивается въ мелкіе полемическіе споры, принимаетъ горячо къ сердцу маленькіе уколы своему писательскому самолюбію, запальчиво отвѣчаетъ своимъ противникамъ и т. п.

Но среди литературной рутины, гдѣ Грибоѣдовъ выдѣлялся только личной живостью ума, скрывались черты будущей могучей оригинальности. Онъ былъ тогда еще очень юнымъ. Въ 1815-мъ году, когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, ему было всего двадцать лѣтъ. Въ наше время, при новѣйшихъ способахъ „серьезнаго" обученія, молодые люди въ эту пору едва получаютъ аттестатъ зрѣлости цѣною многолѣтняго долбленія Кюнера и едва получаютъ право начать образованіе университетское. При первомъ знакомствѣ Пушкина и Грибоѣдова (въ 1817)— одному было восемнадцать лѣтъ, другому двадцать два! Батюшковъ былъ уже на службѣ на пятнадцатомъ году,—и такъ было не только съ людьми первостепенныхъ дарованій, но и вообще люди раньше становились членами общества, и были едва ли глупѣе нынѣшнихъ сверстниковъ, бородатыхъ гимназистовъ восьмого класса... Жизнь начиналась раньше, и новыя поколѣнія вносили въ общественную среду больше молодого увлеченія, идеальныхъ интересовъ и пріобрѣтали больше знанія жизни. Но, съ другой стороны, молодость брала свое: она должна была перебродить, и эта пора броженія еще продолжалась въ жизни Грибоѣдова въ Петербургѣ съ 1815 года; его первые литературно-драматическіе опыты были только ученическими упражненіями и вмѣстѣ развлеченіями въ веселомъ дружескомъ кружкѣ. Для историка литературы интересъ заключается здѣсь не въ томъ, какія, мало любопытныя, пьесы онъ писалъ, въ какія вступалъ отношенія, ничѣмъ послѣ не отразившіяся, а въ томъ, чтобы разыскать, какими начатками сказывалось въ эту пору направленіе, въ которомъ развилось впослѣдствіи его дарованіе, какъ подготовлялось содержаніе, съ которымъ мы только и понимаемъ позднѣйшаго Грибоѣдова. Нѣтъ сомнѣнія, что авторъ „Горя отъ ума" подготовлялся уже въ ту пору, когда мы видимъ его пока авторомъ заурядныхъ пьесъ и стиховъ. Какіе же намеки на это могутъ найтись въ существующемъ біографическомъ матеріалѣ?

Начать съ того, что Грибоѣдовъ повидимому еще изъ своей научной школы, изъ лекцій и бесѣдъ классика и эстетика Буле,

Страхова, Шлёцера-сына, вынесъ серьезную историческую любознательность: русская исторія занимала его не только въ общихъ, но и въ частныхъ вопросахъ; онъ читалъ источники, рѣдко интересовавшіе „литераторовъ“, и его уцѣлѣвшія замѣтки указываютъ довольно значительную литературу, которую онъ перечитывалъ [1]). Правда, по тогдашнему вкусу, эти историческія замѣтки Грибоѣдова относятся большею частью къ мелкимъ подробностямъ археологіи, мало важнымъ для выясненія основныхъ вопросовъ исторіи, но по другимъ намекамъ можно думать, что его интересъ не ограничивался этими частностями, что передъ нимъ рисовалась живая старина, въ которую онъ вкладывалъ идеалистическія представленія о народной славѣ. Въ письмѣ изъ Кіева къ кн. В. Ѳ. Одоевскому, 1825 года, онъ говоритъ: „Я въ древнемъ Кіевѣ... здѣсь я пожилъ съ умершими: Владиміры и Изяславы совершенно овладѣли моимъ воображеніемъ, за ними едва вскользь замѣтилъ я настоящее поколѣніе“, и проч. Въ другой разъ князь Владиміръ вспоминается ему во время путешествія по Крыму, гдѣ въ развалинахъ Херсонеса Грибоѣдовъ старается угадать мѣсто, гдѣ стоялъ Владиміръ, гдѣ онъ построилъ церковь, припоминаетъ слова лѣтописи, и т. д. Сохранились отрывочныя замѣтки Грибоѣдова объ исторіи Петра Великаго, вызванныя чтеніемъ извѣстныхъ „Дѣяній“ Голикова; ихъ относятъ къ 1822 году. Въ это время съ разныхъ сторонъ возникаетъ критическое, отрицательное отношеніе къ Петровской реформѣ. Впервые началось оно еще въ восемнадцатомъ вѣкѣ; но эти старыя нападки на Петра, какъ, напримѣръ, въ изданныхъ теперь сочиненіяхъ кн. Щербатова, едва ли были извѣстны Грибоѣдову, какъ, вѣроятно, не была извѣстна записка о Древней и новой Россіи, Карамзина. Критическое отношеніе къ Петру въ двадцатыхъ годахъ у Грибоѣдова, какъ позднѣе у Пушкина, возникало независимо и исходило изъ другихъ основаній.

Пушкинъ, сначала поклонникъ Петровской реформы, потомъ измѣнилъ свои взгляды. Петръ Великій уничтожилъ значеніе стариннаго боярства и созданіемъ аристократіи чиновнической подорвалъ то благотворное дѣйствіе, какое, по мнѣнію Пушкина, могла бы имѣть настоящая родовая аристократія, богатая,

[1]) Въ его „Desiderata“, писанныхъ, какъ полагаютъ, около 1823 года, названы напр.: Воскресенская лѣтопись, Стриттеръ (Memoriae populorum), Герберштейнъ, „Древняя Росс. Вивліоѳика“ Новикова, Бопланъ (французское описаніе Украйны 1661), Географическій словарь Щекатова, „Книга Большому Чертежу“. Татищевъ, Миллеръ, ученыя путешествія Палласа, Фалька, Гильденштедта, Зуева и проч. (Изд. 1889, I, стр. 75—83, 358—359).

просвѣщенная и независимая. Отсюда нерасположеніе и даже настоящее раздраженіе противъ Петра, какъ вреднаго „революціонера". Едва ли такова была точка зрѣнія Грибоѣдова. Въ замѣткахъ его изъ „Дѣяній" Голикова собираются въ особенности факты суроваго уничтоженія старыхъ обычаевъ, самоуправства, ненужной и несправедливой жестокости [1]). Въ путевыхъ замѣткахъ по Кавказу ему, неизвѣстно почему, вспоминается опять Петръ: „чтобы русскихъ къ чтенію пріохотить, Петръ велѣлъ перевести Пуфендорфа, который русскихъ не на животъ, а на смерть бранитъ" [1]). Грибоѣдова видимо возмущало именно ненужное нарушеніе народнаго обычая, допущеніе этой брани и осмѣяній русскаго народа: дозволеніе въ русской книгѣ словъ Пуфендорфа и т. п. казалось оскорбленіемъ національнаго достоинства, какъ таковымъ же казался „духъ слѣпого рабскаго подражанія", начинателемъ котораго казался, повидимому, Петръ. Что это осужденіе Петровской реформы не было похоже ни на Карамзинское, ни на славянофильское отрицаніе, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Грибоѣдовъ не желалъ ни того приниженнаго состоя-

---

[1]) Напр.:—„Калмыкъ, возвратившійся съ господиномъ изъ чужихъ краевъ, былъ пожалованъ въ офицеры, а господинъ его въ матросы Петромъ I. Калмыкъ дошелъ потомъ до контръ-адмиральскаго чина.

— Тайная канцелярія.

— Слуги доносятъ на господъ своихъ, на тѣхъ, напр., которые, запершись въ комнатѣ, пишутъ.

— Безмѣрныя подати.

— Введеніе рабства чрезъ подушную подать, чрезъ запрещеніе переходить крестьянамъ...

— Забраніе въ казенное вѣдомство рыбьяго клея, икры, соболей, ревеню, поташу, смольчугу и табаку...

— Преобращеніе Думы въ Сенатъ. Отмѣна формулы: „Государь указалъ, бояре приговорили".

— Военный судъ. Несвѣдущіе судьи.

— Заточеніе жены въ Суздальскій монастырь. Убіеніе сына.

— Изъ письма Петра: „большія бороды нынѣ не въ авантажѣ обрѣтаются".

— Ibidem: „Питербурхъ"...

— Заставляютъ царевича Алексѣя признаться, что онъ на духовенствѣ опирался въ мятежныхъ своихъ замыслахъ. И это объявляется всенародно...

— Обвиняютъ царевича Алексѣя въ томъ, что онъ духовному отцу на исповѣди говорилъ"...

Въ концѣ этихъ замѣтокъ (стр. 74—75), отвергая необходимость уничтоженія стрѣлецкаго войска, самъ Грибоѣдовъ не совсѣмъ доказательно защищаетъ стрѣльцовъ, сравнивая ихъ съ персидскимъ регулярнымъ войскомъ, сарбазами, и замѣчаетъ: „наше отечество въ концѣ XVII-го столѣтія было болѣе предано восточнымъ обычаямъ",—противъ нихъ-то и дѣйствовалъ Петръ.

[1]) Изд. 1889, I, стр. 67. Г. Шляпкинъ приводитъ изъ Пуфендорфа мѣсто (выше нами упомянутое), которое имѣлъ въ виду Грибоѣдовъ:

Говоря о невѣжествѣ русскихъ, Пуфендорфъ замѣчаетъ, что они—„зазорны же и невѣродержательны (т.-е. склонны къ обману, недержанію слова) суть, свирѣпы и кровежаждущіе человѣцы, въ вещахъ благополучныхъ (т.-е. въ счастіи, въ удачѣ) безчинно и нестерпимою гордостію возносятся; въ противныхъ же вещахъ (въ несчастіи, неудачѣ) низложеннаго ума и сокрушеннаго... Рабскій народъ рабско смирятися и жестокостію власти воздержатися въ повиновеніи любятъ".

нія народа, которое лежало на днѣ Карамзинскихъ мечтаній, ни сомнительнаго возвращенія „назадъ домой“, когда наше отечество „было болѣе предано восточнымъ обычаямъ“. Далѣе увидимъ, какъ высоко цѣнилъ Грибоѣдовъ необходимость просвѣщенія, серьезно воспринятаго, источникъ котораго былъ возможенъ только одинъ—общеніе съ образованіемъ европейскимъ.

Въ данную минуту Грибоѣдовъ возставалъ противъ преклоненія предъ иноземцами; онъ не терпѣлъ „нѣмцевъ“, какъ не терпѣли ихъ такъ-называемые „квасные“ патріоты. Это было точно физіологическое отвращеніе. Въ путевыхъ замѣткахъ по Кавказу (1819), по поводу встрѣчъ и сношеній съ восточными людьми, которые и нынѣ пребываютъ на Кавказѣ въ весьма первобытномъ состояніи, а тогда тѣмъ паче, Грибоѣдовъ пишетъ слѣдующую замѣтку, любопытную опять по взгляду на русскую старину.

„Разгоряченный тѣмъ, что̀ видѣлъ и проглотилъ, я перенесся за двѣсти лѣтъ назадъ въ нашу родину. Хозяинъ [1]) представился мнѣ въ видѣ добродушнаго москвитянина, угощающаго пріѣзжихъ изъ нѣмцевъ, фараши—его домочадцами, самъ я—Олеарій. Крѣпкіе напитки, сырыя овощи и блюда съ сахарными брашнами, все это способствовало къ переселенію моихъ мыслей въ нашу сѣдую старину, и даже увертливый красный человѣкъ [2]), который хотя и называется англичаниномъ, а право, нельзя ручаться, изъ какихъ онъ,—этотъ анонимъ только разсыпался въ нелѣпыхъ разсказахъ о томъ, что̀ дѣлается за-моремъ; я видѣлъ въ немъ Маржерета, выходца при Дмитріѣ, прозванномъ Самозванцемъ, и всякаго другого бродящаго иностранца того времени, который въ нашихъ теремахъ пилъ, ѣлъ, разживался и, возвратясь къ своимъ, ругательствомъ платилъ русскимъ за русское хлѣбосольство. И эриванскій Маржеретъ... язвительно отзывается насчетъ персіянъ, которые не допускаютъ его умереть съ голоду“.

Онъ замѣчаетъ тутъ же, что „въ какомъ бы видѣ оно ни было, гостепріимство должно притупить стрѣлы насмѣшливыхъ наблюдателей“,—но если встрѣчается не одно гостепріимство? и можно ли совсѣмъ устранить впечатлѣніе видѣннаго и испытаннаго? Въ разсказѣ самого Грибоѣдова гостепріимно встрѣ-

---

[1]) Въ видѣ любезности русскому повѣренному въ дѣлахъ, этотъ хозяинъ, нѣчто въ родѣ полковника въ персидскомъ войскѣ, сказалъ, что „еслибы такому дорогому гостю вздумалось позабавиться и отсѣчь голову всѣмъ его слугамъ и даже брату, онъ бы чрезъ то великое удовольствіе принесъ хозяину“...

[2]) Грибоѣдовъ разумѣетъ англичанина, котораго они здѣсь встрѣтили и который былъ у персіянъ военнымъ инструкторомъ.

чавшіе его персіяне все-таки изображены мало симпатичными дикарями.

Преслѣдуя иноземцевъ въ русской старинѣ, Грибоѣдовъ еще больше не терпитъ ихъ въ современной жизни. Забавенъ разсказъ (въ письмѣ къ Бѣгичеву, 1818) о путешествіи его вмѣстѣ съ сослуживцемъ, Амбургеромъ, котораго Грибоѣдовъ хотѣлъ увѣрить въ непохвальности его нѣмецкаго происхожденія. „Вообще, — пишетъ Грибоѣдовъ съ дороги, — вездѣ на станціяхъ остановка; къ счастію, что мой товарищъ — особа прегорячая, бичъ на смотрителей, хорошій малый; я уже увѣрилъ его, что быть нѣмцемъ очень глупая роль на семъ свѣтѣ, и онъ уже подписывается Амбургевъ, а не—ръ, и вмѣстѣ со мною нѣмцевъ ругаетъ на повалъ, а мнѣ это съ руки". Онъ прибавляетъ вслѣдъ затѣмъ: „Одинъ томъ Петровыхъ акцій [1]) у меня въ бричкѣ, и я зело на него и на его колбасниковъ сержусь: коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное въ Дѣяніяхъ, пожалуй напиши, я этимъ воспользуюсь".

Откуда эта нелюбовь къ „нѣмцамъ"; чѣмъ именно они мѣшали и т. п.? Враждебное чувство къ „нѣмцамъ" сказывалось тогда у многихъ патріотически настроенныхъ людей и относилось особенно къ наплыву нѣмцевъ въ военной и гражданской администраціи, имѣвшему дѣйствительно свои неблагопріятныя стороны. Нѣмцы-администраторы были чужды русской жизни, часто относились къ русскому обществу и народу съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ, выводили своихъ и т. п. Такимъ ненавистникомъ нѣмцевъ былъ, напр., Ермоловъ, въ которомъ и Грибоѣдовъ удивлялся необычайно свѣтлому и простому уму; разсказываютъ анекдотъ о томъ, какъ Ермоловъ, когда ему предлагалось какое-то повышеніе, просилъ только произвести его въ нѣмцы, такъ какъ послѣ этого ему уже нечего будетъ хлопотать о своей карьерѣ. Великую ненависть къ нѣмцамъ питалъ, напр., извѣстный этнографъ Сахаровъ, уже въ совершенно первобытной формѣ, напоминающей ненависть къ нѣмцамъ у пьяницы сапожника, изображеннаго въ „Мертвыхъ Душахъ". Но извѣстно также, что не всѣ же вліятельные посты были къ рукахъ нѣмцевъ, и во второй половинѣ царствованія Александра I самый сильный человѣкъ, Аракчеевъ, былъ самый русскій. Подобную ненависть возбуждали къ себѣ въ началѣ столѣтія и французы; эта ненависть считалась долгомъ для истиннаго патріота. Она была понятна въ двѣнадцатомъ году; но вражда къ „галломаніи"

[1]) Онъ передѣлываетъ на старинный Петровскій ладъ „Дѣяніе" Голикова.

въ русскомъ обществѣ еще со второй половины XVIII вѣка вызывала въ нашей литературѣ ожесточенныя нападенія на самихъ французовъ—отъ Сумарокова и фонъ-Визина до Шишкова, Ростопчина („Мысли въ слухъ на Красномъ Крыльцѣ", 1807), Акима Нахимова, Сергѣя Глинки и т. д.; вражда, какъ у Ростопчина, доходила до прямыхъ, весьма нелѣпыхъ, ругательствъ. Это считалось выраженіемъ патріотическаго и національнаго чувства; но понятно, что этимъ однимъ трудно было достигнуть какого-нибудь положительнаго результата, и дѣйствительно, такого рода патріотическія чувства выражались также самыми несомнѣнными обскурантами... Къ сожалѣнію, мысли Грибоѣдова объ этомъ предметѣ извѣстны только въ подобныхъ отрывкахъ и полу-шутовскихъ анекдотахъ; надо думать, что серьезное основаніе заключалось въ желаніи бо̀льшей самостоятельности для русскихъ общественныхъ силъ—какъ надо объяснять и филиппики противъ иноземцевъ въ устахъ Чацкаго. Подтвержденіе этому найдемъ въ другихъ сторонахъ взглядовъ и стремленій Грибоѣдова.

Его патріотизмъ не былъ однимъ инстинктомъ, или только подчиненіемъ общему потоку массы или призыву властей: онъ не подчинялся мнѣніямъ толпы, не успокоивался на данныхъ рамкахъ общественной жизни и литературы, но вмѣстѣ съ тѣмъ его критическій взглядъ на вещи былъ умѣренный и спокойный, и онъ не былъ политическимъ мечтателемъ. Въ уцѣлѣвшихъ отрывкахъ его замысловъ можно прослѣдить глубокое недовольство существующимъ характеромъ общества, которое, однако, распоряжалось судьбами цѣлаго государства и народа. Таковъ сохранившійся планъ исторической драмы или хроники: „1812-ый годъ",—планъ, который считали возможнымъ относить къ первому времени послѣ событій знаменитой эпохи [1]). Какъ бы то ни было, когда бы Грибоѣдовъ ни составлялъ этотъ планъ драмы, въ немъ любопытна основная мысль, въ которой отразились его личные опыты и общественные взгляды. И это послѣднее произведеніе сохранилось для насъ опять только въ скудныхъ очертаніяхъ, въ сущности только въ намекахъ,—потому что самый планъ очень кратокъ. Двѣнадцатый годъ оставилъ въ современной литературѣ замѣчательно малый слѣдъ, не отвѣчающій его историческому значенію. Онъ былъ, конечно, „воспѣтъ", но воспѣваніе въ громадномъ большинствѣ случаевъ свидѣтельствовало о дурномъ литературномъ вкусѣ и затѣмъ выра-

[1]) Въ изд. 1889, т. II, стр. 214—217, 519—521. Алексѣй Веселовскій предполагалъ, что онъ относится къ 1817 году.

зило только элементарный мотивъ—патріотическую радость объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества; при этомъ обыкновенно самое дѣло загромождается преувеличенной риторикой и почти не затрогиваются ни внутренніе факты общественнаго возбужденія, ни оборотная сторона событій. Грибоѣдову предметъ представился именно съ его народно-общественной стороны. Съ первой предположенной сцены его хроники передъ зрителемъ или читателемъ драмы открывалась реальная картина исторической минуты [1]); затѣмъ въ фантастическомъ видѣніи являлись на сценѣ „тѣни давно усопшихъ исполиновъ" отъ Святослава до Петра, присутствіе которыхъ указывало на великое значеніе совершающихся событій. Дальше, Наполеонъ въ Кремлѣ, размышляющій „о юномъ, первообразномъ семъ народѣ, объ особенностяхъ его одежды, зданій, вѣры, нравовъ: самъ себѣ преданный, что бы онъ могъ произвести?" Далѣе, изображеніе пребыванія французовъ въ Москвѣ, „всеобщаго ополченія безъ дворянъ", преслѣдованія французовъ. Въ эпилогѣ двѣ картины, во-первыхъ: „Вильна. Отличія, искательства, вся поэзія великихъ подвиговъ исчезаетъ. М* въ пренебреженіи у начальниковъ. Отпускается во свояси съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію"; во-вторыхъ: „Село, или развалины Москвы. Прежнія мерзости. М* возвращается подъ палку господина, который хочетъ ему сбрить бороду. Отчаяніе... самоубійство".

Этотъ М*, появляющійся во все теченіе драмы, есть очевидно ополченецъ изъ крѣпостныхъ; онъ совершаетъ высокіе подвиги мужества, которые въ концѣ концовъ навлекаютъ ему только пренебреженіе начальства. не избавляютъ отъ возвращенія „подъ палку господина", въ результатѣ—отчаяніе и самоубійство. Фактъ —не единичный: послѣ великихъ событій „вся поэзія подвиговъ исчезаетъ", и начинаются „прежнія мерзости". Очевидно, въ этомъ печальномъ выводѣ—основная мысль драмы, и ничего подобнаго мы не находимъ въ современной Грибоѣдову литературѣ.

Въ параллель къ этому, въ случайныхъ замѣткахъ, гдѣ мы должны искать задушевныхъ мыслей Грибоѣдова и комментаріевъ къ „Горю отъ ума", встрѣчаемъ выраженія сочувствій къ народу и народности, опять непохожія на то, что̀ находимъ у его современниковъ, даже у самого Пушкина.

Въ небольшой статьѣ: „Загородная поѣздка", гдѣ описы-

[1]) „Красная площадь.—Исторія начала войны, взятіе Смоленска, народныя черты, пріѣздъ государя, обозъ раненыхъ, разсказъ о битвѣ Бородинской. М* съ перваго стиха до послѣдняго на сценѣ. Очертаніе его характера".

вается ближайшая, парголовская, окрестность Петербурга, Грибоѣдовъ встрѣтилъ неожиданный эпизодъ народной жизни — родъ пѣсеннаго и мимическаго представленія стариннаго удальства [1]). Среди нероскошнаго пейзажа петербургской природы послышались звучные плясовые напѣвы.

„Родныя пѣсни!—восклицаетъ Грибоѣдовъ.—Куда занесены вы съ священныхъ береговъ Днѣпра и Волги?.. То мѣсто было уже наполнено бѣлокурыми крестьяночками въ лентахъ и бусахъ; другой хоръ изъ мальчиковъ; мнѣ болѣе всего понравились у двухъ изъ нихъ смѣлыя черты и вольныя движенія. Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полу-европейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все, чтò слышали, чтò видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки невнятны, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужіе между своими! Финны и тунгусы скорѣе пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами (?), а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами, и навѣки! Еслибы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ конечно бы заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами.

„Пѣсни не умолкали; затянули: Внизъ по матушкѣ по Волгѣ; молодые пѣвцы присѣли на дернъ и дружно грянули въ ладоши, подражая мѣрнымъ ударамъ веселъ; двое на ногахъ оставались: атаманъ и есаулъ. Былыя времена! какъ живо воскрешаетъ васъ въ моей памяти эта народная игра: тотъ вѣкъ необузданной вольности, въ который нѣсколько удальцевъ бросались въ легкіе струги, спускались внизъ по протоку Ахтубѣ, по Бузанъ-рѣкѣ, дерзали въ открытое море, брали дань съ прибрежныхъ городовъ и селеній, не щадили ни красоты дѣвичьей, ни сѣдины старческой, а, по словамъ Шардена, въ роскошномъ Фирузъ-Абатѣ, угрожали блестящему двору шаха Аббаса. Потомъ, обогатясь корыстями, несмѣтнымъ числомъ тканей узорча-

---

[1]) Редакторъ изданія 1889, г. Шляпкинъ, разсказываетъ по поводу эпизода, описаннаго Грибоѣдовымъ: „Это цѣлое мимическое представленіе похода Разина по Волгѣ давалось обыкновенно зимою. Я, уроженецъ мѣстности, близкой къ Парголову, помню, какъ мужики, одѣтые въ красныя рубахи, съ косами за поясомъ, садились на полу по двое, какъ бы въ лодкѣ, и, мѣрно ударяя въ ладоши, пѣли пѣсни, а между тѣмъ атаманъ и есаулъ вели разговоръ о мѣстностяхъ, якобы представлявлявшихся имъ при плаваніи, и о добычѣ. Теперь это совершенно исчезло“. Изд. 1889, I, стр. 360. Статья Грибоѣдова, тамъ же, стр. 107—109.

тыхъ, серебра и золота, и жемчуга окатнаго, возвращались домой, гдѣ ожидали ихъ любовь и дружба; ихъ встрѣчали съ шумною радостью и славили въ пѣсняхъ".

Прекрасна, безъ сомнѣнія, возможность единенія съ народомъ, о которой помышлялъ Грибоѣдовъ, единенія въ обычаяхъ и нравахъ, въ поэтическихъ воспоминаніяхъ и т. п.; въ былыя времена это единеніе существовало, — но въ данномъ случаѣ воспоминаніе Грибоѣдова восхищалось вѣкомъ „необузданной вольности", по просту разбоя, который въ эти былыя времена, замѣтимъ, направлялся не только на чужихъ, но также и на своихъ, и указывалъ страшный общественный разладъ, шедшій, наконецъ, на ножи; а „любовь и дружба", ожидающія разбойниковъ дома,—карамзинская идиллія въ нѣсколько неожиданномъ примѣненіи. До-Петровское государство, такъ же какъ и позднѣйшее, вовсе не мирилось съ этою „вольностью", старинное боярство и служилые люди не были тутъ въ единеніи съ народомъ; напротивъ, между ними шла настоящая война...

Понятно, что, передавая эти неожиданныя впечатлѣнія русской народной жизни, Грибоѣдовъ не думалъ вникать въ подробности и ставить историческій вопросъ; онъ высказывалъ только общее впечатлѣніе разлада, разработать которое въ теорію предоставлено было послѣдующимъ поколѣніямъ—славянофильству и народничеству; но вопросъ:—какъ съ этимъ быть?—остается неразрѣшеннымъ. Во всякомъ случаѣ, онъ не разрѣшался ни неопредѣленнымъ негодованіемъ, ни сантиментальными самообольщеніями...

„Грибоѣдовъ любилъ простой народъ,—разсказываетъ одинъ изъ его друзей, — и находилъ особое удовольствіе въ обществѣ образованныхъ молодыхъ людей, не испорченныхъ еще искательствомъ и свѣтскими приличіями. Любилъ онъ и ходить въ церковь. „Любезный другъ,—говорилъ онъ:—только въ храмахъ божіихъ собираются русскіе люди; думаютъ и молятся по-русски. Въ русской церкви я въ отечествѣ, въ Россіи! Меня приводитъ въ умиленіе мысль, что тѣ же молитвы читаны были при Владимірѣ, Димитріѣ Донскомъ, Мономахѣ, Ярославѣ, въ Кіевѣ, Новѣгородѣ, Москвѣ; что то же пѣніе одушевляло набожныя души. Мы — русскіе только въ церкви, — а я хочу быть русскимъ"... Говорятъ дальше, что Грибоѣдовъ „уважалъ и иностранцевъ, особенно посвятившихъ себя служенію Россіи"; наконецъ, что онъ „любилъ болѣе всего славянскія поколѣнія и считалъ ихъ одною семьею" [1]).

[1]) Изд. 1889, т. I, стр. XXXIV.

Изъ приведенныхъ примѣровъ можно только вывести, что мысль Грибоѣдова была направлена серьезнѣе, чѣмъ у большинства тогдашнихъ писателей, занятыхъ вопросами поэтическаго дилеттантства, и между прочимъ направлена была на положеніе общества относительно народа. Была одна группа новаго поколѣнія, съ которой мысли Грибоѣдова въ этомъ отношеніи значительно совпадали...

Изъ того же времени осталось въ письмахъ Грибоѣдова нѣсколько отзывовъ о тогдашней литературѣ и обществѣ. Выше упомянуто, что въ молодые годы Грибоѣдовъ, особливо по театральнымъ связямъ, втягивался въ мелкую литературную суету, придавалъ значеніе полемикѣ, вертѣвшейся на пустякахъ, но къ тому времени, когда шла и завершалась работа надъ „Горемъ отъ ума“, встрѣчаемся съ серьезнымъ настроеніемъ, съ глубокимъ недовѣріемъ къ данному состоянію литературы, даже враждебнымъ пренебреженіемъ; мелкіе интересы ея казались ему не стоющими вниманія. Въ январѣ 1825, въ письмѣ къ Бѣгичеву онъ такъ выражается о литературномъ кругѣ, въ которомъ бывалъ въ Петербургѣ: „Вчера я обѣдалъ со всею сволочью здѣшнихъ литераторовъ. Не могу пожаловаться, отовсюду колѣнопреклоненія и ѳиміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ—сытость отъ ихъ дурачествъ, ихъ сплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ. Не отчаявайся, другъ почтенный, я еще не совсѣмъ погрязъ въ этомъ трясинномъ государствѣ“. Въ письмѣ къ князю В. Ѳ. Одоевскому, онъ говоритъ: „...Только я не разумѣю здѣсь полемическихъ памфлетовъ, критикъ и антикритикъ. Виноватъ, хотя ты за меня подвизаешься, а мнѣ за тебя досадно. Охота же такъ ревностно препираться о нѣсколькихъ стихахъ, о ихъ гладкости, жесткости, плоскости; между тѣмъ, тебѣ отвѣчать будутъ и самого вынудятъ за брань отплатить бранью. Борьба ребяческая, школьная. Какое торжество для тѣхъ, которые отъ души желаютъ, чтобы отечество наше оставалось въ вѣчномъ младенчествѣ!!!“ — „У Грибоѣдова,—говоритъ одинъ близкій къ нему современникъ,—навертывались слезы, когда онъ говорилъ о безплодной почвѣ нашей словесности. Жизнь народа, какъ жизнь человѣческая, есть дѣятельность умственная и физическая; словесность — мысль народа объ изящномъ. Греки, римляне, евреи — не погибли отъ того, что оставили по себѣ словесность, а мы... мы не пишемъ, а только переписываемъ! Какой результатъ нашихъ литературныхъ трудовъ по истеченіи года, столѣтія? Что̀ мы сдѣлали и что̀ могли бы сдѣлать! Раз-

суждая о сихъ предметахъ, Грибоѣдовъ становился грустенъ, угрюмъ" [1]).

Не высоко было мнѣніе Грибоѣдова и о русскомъ обществѣ: это — общество тупое, лишенное идеаловъ, не умѣющее цѣнить людей, которые служатъ его лучшимъ интересамъ, погрязшее въ ограниченномъ матеріальномъ быту. Въ декабрѣ 1826, онъ пишетъ къ своему другу Бѣгичеву: „Буду ли я когда-нибудь независимымъ отъ людей? Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли въ жизни, которую себѣ назначилъ, и можетъ статься наперекоръ судьбѣ. Поэзія!! Люблю ее безъ памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И наконецъ, чтò слава? По словамъ Пушкина...

Лишь яркая заплата
На ветхомъ рубищѣ пѣвца.

„Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира... Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ; но всѣхъ равнодушнѣе наши сардары: я думаю даже, что они ихъ ненавидятъ. Voyons ce qui en sera"... „Читай Плутарха, и будь доволенъ тѣмъ, чтò было въ древности. Нынѣ эти характеры болѣе не повторятся".

Но опять трудно изъ этого возстановить съ нѣкоторой точностью его міровоззрѣніе. Его собственныя указанія, сохранившіяся въ письмахъ, слишкомъ отрывочны; современники, его близко видѣвшіе, говорятъ о его „здравыхъ сужденіяхъ", „остроуміи", „особенномъ дарѣ убѣждать", „горячихъ рѣчахъ" и т. д.; но кромѣ нѣсколькихъ общихъ и частію безразличныхъ примѣровъ, не говорятъ, куда направлялся этотъ даръ убѣжденія, пылкость рѣчей и необыкновенный умъ. Между тѣмъ, какъ уже видно изъ нѣсколькихъ образчиковъ въ его письмахъ, взгляды Грибоѣдова дѣйствительно отличались и силою, и оригинальностью... Между прочимъ, въ одномъ письмѣ къ Бѣгичеву изъ Ѳеодосіи, въ сентябрѣ 1825, брошено замѣчаніе, исполненное глубокаго смысла и которое рѣдко кому приходило въ голову въ обычныхъ толкахъ о нашей цивилизующей миссіи на Востокѣ. Онъ передаетъ свои впечатлѣнія при осмотрѣ Ѳеодосіи, древней

---

[1]) Изд. 1889, I, стр. XXXIII. Подобное невысокое мнѣніе о нашемъ „ученомъ и неученомъ мірѣ" см. еще въ письмѣ къ Катенину отъ февраля 1820 года. Тамъ же, стр. 172.

Кафы. „Чудная смѣсь вѣковыхъ стѣнъ прежней Кафы и нашихъ однодневныхъ мазанокъ! Отчего, однако, воскресло имя Ѳеодосіи, едва извѣстное изъ описаній древнихъ географовъ, и поглотило наименованіе Кафы, которая громка во сколькихъ лѣтописяхъ европейскихъ и восточныхъ? На этомъ пепелищѣ господствовали нѣкогда готическіе нравы генуэзцевъ, ихъ смѣнили пастырскіе обычаи мунгаловъ съ примѣсью турецкаго великолѣпія; за ними явились мы, всеобщіе наслѣдники, и съ нами — духъ разрушенія; ни одного зданія не уцѣлѣло, ни одного участка древняго города не взрытаго, не перекопаннаго. Что жъ? Сами указываемъ будущимъ народамъ, которые послѣ насъ придутъ, когда исчезнетъ русское племя, какъ имъ поступать съ бренными остатками нашего бытія".

„Духъ разрушенія", къ сожалѣнію, дѣйствительно слишкомъ часто сопровождалъ наше движеніе и на востокъ, и на западъ. Въ прежнее время онъ былъ внушаемъ національной нетерпимостью, переходившей нерѣдко всякіе предѣлы, и патріархальнымъ состояніемъ умовъ; впослѣдствіи не было даже и этого мотива, и разрушеніе совершалось по духу канцелярской и фрунтовой одноформенности. Неуваженіе къ личности, развивавшееся въ домашнихъ отношеніяхъ, переносилось въ широкихъ размѣрахъ и на вновь пріобрѣтаемые земли и народы; поселялась ненужная вражда, которая препятствовала слiянію, и которой можно было бы въ значительной мѣрѣ избѣжать. Любопытно, что Грибоѣдовъ возвращался къ этому предмету и въ оффиціальной запискѣ 1828 г. по поводу проектированной русской торговой компаніи на Кавказѣ: онъ надѣялся, что только этимъ мирнымъ путемъ „исчезнутъ предразсудки, полагавшіе рѣзкій рубежъ между нами и подвластными намъ народами". И въ другихъ случаяхъ, въ письмахъ изъ Персіи онъ указываетъ на необходимость „правосудія" для того, чтобы внушить покореннымъ народамъ Кавказа довѣріе къ русской власти и способствовать ихъ сближенію съ русскимъ государствомъ и народомъ...

Рядомъ съ подобными отрывками мыслей Грибоѣдова о нашей общественности и литературѣ, въ его письмахъ изрѣдка разбросаны мысли о собственной дѣятельности. Если его глубоко возмущало въ русскомъ обществѣ неуваженіе къ умственнымъ силамъ, въ сущности оберегающимъ его же человѣческое достоинство, и возмущалъ жалкій составъ нашей литературы, то въ словахъ его о себѣ высказывается обыкновенно недовольство самимъ собой, стремленіе къ чему-то высокому и гораздо болѣе

крупному, чѣмъ то, что̀ онъ видѣлъ вокругъ себя и что̀ дѣлалъ самъ въ данную минуту. Въ черновомъ наброскѣ, писанномъ послѣ 1823 года, повидимому, среди работы надъ „Горемъ отъ ума“, Грибоѣдовъ такъ говоритъ о своемъ произведеніи: „Первое начертаніе этой сценической поэмы, какъ оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія, чѣмъ теперь, въ суетномъ нарядѣ, въ который я принужденъ былъ облечь его. Ребяческое удовольствіе слышать стихи мои въ театрѣ, желаніе имъ успѣха заставили меня портить мое созданіе, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишетъ для сцены: Расинъ и Шекспиръ подвергались той же участи,— такъ мнѣ ли роптать?“ [1]) Онъ знаетъ, что истинно-художественная вещь пріобрѣтаетъ тѣмъ бо̀льшую силу, когда не все договариваетъ, когда немногія сильныя черты возбуждаютъ самодѣятельность читателя или зрителя: „въ превосходномъ стихотвореніи,—говоритъ онъ,—многое должно угадывать, не вполнѣ выраженныя мысли или чувства тѣмъ болѣе дѣйствуютъ на душу читателя, что въ ней, въ сокровенной глубинѣ ея, скрываются тѣ струны, которыхъ авторъ едва коснулся, нерѣдко однимъ намекомъ, но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно“,— для этого съ одной стороны требуется художественное дарованіе, съ другой — воспріимчивость; но можно ли требовать этой воспріимчивости отъ толпы, особливо въ случайностяхъ театральной постановки?

Чрезвычайно любопытно замѣчаніе, что планъ „Горя отъ ума“ былъ „гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія“, чѣмъ получило оно въ его сценической формѣ. Кромѣ этихъ словъ мы ничего не знаемъ о первоначальномъ замыслѣ комедіи, но изъ словъ Грибоѣдова можно заключить, что гораздо шире предполагалось именно общественное значеніе задуманнаго произведенія.

Въ письмѣ къ Бѣгичеву отъ августа 1824, находимъ разсказъ объ одномъ эпизодѣ продолжительной работы Грибоѣдова надъ своимъ произведеніемъ. Оно давалось ему вообще не легко; много разъ онъ его сильно передѣлывалъ, измѣнялъ, сокращалъ, писалъ вновь и т. д.; и постоянно сказывается мысль, что это все-таки не совсѣмъ то, чего бы онъ хотѣлъ и на что считалъ себя способнымъ.

„...Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія. Надѣюсь, жду, указываю, мѣняю дѣло на

[1]) Изд. 1889, I, стр. 83.

вздоръ, такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ..., сержусь и возстановляю стертое, такъ что, кажется, работѣ конца не будетъ; ...будетъ же, добьюсь до чего-нибудь; терпѣніе есть азбука всѣхъ прочихъ наукъ; посмотримъ, что̀ Богъ дастъ. Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли рѣшишься: онъ такъ не совершененъ, такъ не чистъ; представь себѣ, что я слишкомъ восемьдесятъ стиховъ, или, лучше сказать, риѳмъ перемѣнилъ; теперь гладко, какъ стекло. Кромѣ того, на дорогѣ пришло мнѣ въ голову придѣлать новую развязку; я ее вставилъ между сценою Чацкаго, когда онъ увидалъ свою негодяйку, со свѣчею надъ лѣстницею, и передъ тѣмъ, какъ ему обличить ее; живая быстрая вещь, стихи искрами посыпались, въ самый день моего пріѣзда, и въ этомъ видѣ читалъ ее Крылову, Жандру, Хмѣльницкому, Шаховскому, Гр. и Булг., Колосовой, Каратыгину, дай счесть—8 чтеній, нѣтъ, обчелся,—двѣнадцать; третьяго дня обѣдъ былъ у Столыпина, и опять чтеніе, и еще слово далъ на три въ разныхъ закоулкахъ. Грому, шуму, восхищенію, любопытству, конца нѣтъ. Шаховской рѣшительно признаетъ себя побѣжденнымъ (на этотъ разъ). Замѣчаніемъ Віельгорскаго я тоже воспользовался. Но, наконецъ, мнѣ такъ надоѣло все одно и то же, что во многихъ мѣстахъ импровизирую,—да, это нѣсколько разъ случилось, — потомъ я самъ себя ловилъ, но другіе не домекались. Voilà ce qui s'appelle sacrifier à l'intérêt du moment Ты, безцѣнный другъ мой, насквозь знаешь своего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной задачѣ, вовсе несообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, къ перемѣнѣ мѣста и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ. И смѣю ли здѣсь думать и говорить объ этомъ? Могу ли прилежать къ чему-нибудь высшему? Какъ притомъ, съ какой стати, сказать людямъ, что грошевыя ихъ одобренія, ничтожная славишка въ ихъ кругу не могутъ меня утѣшить? Ахъ! прилична ли спѣсь тому, кто хлопочетъ изъ дурацкихъ рукоплесканій?“ [1]).

Дальше, любопытно письмо къ Катенину въ январѣ 1825, по взглядамъ Грибоѣдова на планъ и исполненіе его комедіи. Письмо Катенина, на которое отвѣчалъ Грибоѣдовъ, кажется, не сохранилось; изъ отвѣта видны замѣчанія Катенина: онѣ касались плана, въ которомъ Катенинъ, съ привычной формальной

---

[1]) Изд. 1889, I, стр. 185—186.

точки зрѣнія, находилъ крупную погрѣшность, касались портретности лицъ и т. п. Грибоѣдовъ объяснялъ этотъ планъ очень просто, какъ въ наше время объясняетъ его критика: это именно— драматическое развитіе внутренняго противорѣчія главнаго героя съ окружающимъ, противорѣчія, испытаннаго имъ и въ личныхъ отношеніяхъ къ любимой дѣвушкѣ, и въ отношеніяхъ общественныхъ, гдѣ онъ осыпаетъ обличеніями погрязшее въ застарѣлой пустотѣ и рутинѣ общество, а послѣднее въ отместку предаетъ его анаѳемѣ и объявляетъ сумасшедшимъ. На обвиненіе въ портретности Грибоѣдовъ отвѣчаетъ:

„Да! и я, коли не имѣю таланта Мольера, то по крайней мѣрѣ чистосердечнѣе его; портреты и только портреты входятъ въ составъ комедіи и трагедіи; въ нихъ, однако, есть черты, свойственныя многимъ другимъ лицамъ, а иныя всему роду человѣческому на столько, на сколько каждый человѣкъ похожъ на всѣхъ своихъ двуногихъ собратій. Каррикатуръ ненавижу; въ моей картинѣ ни одной не найдешь. Вотъ моя поэтика... Одно прибавлю о характерахъ Мольера: Мѣщанинъ въ дворянствѣ, Мнимый больной—портреты, и превосходные; Скупецъ—антропосъ [1]) собственной фабрики и несносенъ".

Любопытенъ еще отвѣтъ на замѣчаніе Катенина, находившаго въ пьесѣ „дарованія больше, нежели искусства". „Самая лестная похвала,—говоритъ Грибоѣдовъ,—которую ты могъ мнѣ сказать; не знаю, стою ли ея? Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобъ поддѣлываться подъ дарованіе, а въ комъ больше вытерженнаго, пріобрѣтеннаго пòтомъ и мученіемъ [2]) искусства угождать теоретикамъ, т.-е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворить школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силѣ,—тотъ, если художникъ, разбей свою палитру, и кисть, и рѣзецъ, или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ спорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитрости? Nugae difficiles. Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно" [3]).

Понятно, что портретность, о которой говоритъ Грибоѣдовъ, весьма не похожа на ту, какая бываетъ въ ходу, напр., въ новѣйшихъ произведеніяхъ нашей беллетристики, гдѣ къ ней прибѣгаютъ за скудостью фантазіи и творчества. Грибоѣдовъ не искалъ портретовъ для портретовъ и „ненавидѣлъ каррикатуры";

---

[1]) „Человѣкъ", по-гречески.
[2]) Т.-е. мучительными усиліями.
[3]) Изд. 1889, I, стр. 196—197.

въ его воображеніи носилась цѣлая картина общества—не мудрено, что она наполнялась и живыми лицами, которыя служили ему только какъ типы, какъ характерные образчики цѣлаго ряда другихъ подобныхъ лицъ. Біографы Грибоѣдова и историческіе критики его комедіи проводятъ передъ нами галлерею лицъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ въ свое время, которыя послужили оригиналами для „Горя отъ ума“ [1]); но изъ всей пьесы видно, что эти лица въ большинствѣ очерченныя только немногими стихами даютъ въ сущности не „портреты“, а именно характерныя лица общества, гдѣ они были только единицами изъ многихъ, были „типами“, которыхъ тогда не умѣли назвать.

То, что̀ говоритъ Грибоѣдовъ о дарованіи и искусствѣ, опять могло бы предотвратить многія недоумѣніе, которыя возникали впослѣдствіи относительно формы его произведенія. Строгій классикъ Катенинъ, очевидно находившій въ пьесѣ мало „искусства“, и позднѣйшіе романтическіе критики, и самъ Бѣлинскій, судили пьесу по тѣмъ привычнымъ требованіямъ, какимъ научились каждый въ своей школѣ. Грибоѣдовъ былъ правъ въ своемъ объясненіи плана и въ отрицаніи школьныхъ требованій и „бабушкиныхъ преданій“. Свою пьесу онъ не разъ называетъ именно не комедіей, а „драматической картиной“, и очевидно требовалъ себѣ, и вообще, свободы формы, лишь бы она отвѣчала поэтическому замыслу; въ замыслѣ была прежде всего картина нравовъ въ исторической противоположности и борьбѣ двухъ поколѣній. Эта форма была бы столько же законна, какъ драматическая поэма или шекспировская хроника; но присутствіе драматическаго развитія могло удовлетворить и требованіямъ собственно „комедіи“, чего не умѣли понять и не хотѣли признать многіе изъ ея прежнихъ критиковъ.

Продолжительная работа надъ „Горемъ отъ ума“ показываетъ, что Грибоѣдовъ одушевленъ былъ высокимъ представленіемъ о задачахъ художественнаго произведенія, врывающагося въ общественную жизнь. Его письма изъ этой поры свидѣтельствуютъ, что часто овладѣвало имъ сомнѣніе въ своихъ силахъ, недовольство окружающимъ и самимъ собой, жалобы на тоску и ипохондрію, и рядомъ сознаніе, что онъ могъ бы сдѣлать гораздо больше, чувство своего превосходства—настроенія, нерѣдкія у людей сильнаго ума и дарованія. Въ письмѣ къ Бѣгичеву изъ Симферополя, въ сентябрѣ 1825, онъ жалуется, что почти три мѣсяца живетъ въ Тавридѣ, и въ результатѣ нуль—ничего не

[1]) Изд. 1889, II, стр. 523—526.

написано. „Не знаю, не слишкомъ ли я отъ себя требую? умѣю ли писать? Право, (это) для меня все еще загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется что̀ сказать—за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ? Нѣмъ какъ гробъ!!" Его удручаетъ то, что онъ не можетъ найдти уединенія, котораго ищетъ. Извѣстность автора Фамусова и Скалозуба на всякой продолжительной остановкѣ привлекаетъ къ нему кучу новыхъ знакомыхъ, пріятелей, осаждающихъ любезностями, и онъ приходитъ къ убѣжденію, что самая лучшая жизнь — на перекладныхъ, гдѣ онъ остается одинъ съ своими мыслями и фантазіей... „Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые. Подожду, авось придутъ въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности. Сдѣлай одолженіе, не показывай никому этого лоскутка моего пачканья, я еще не перечелъ, но убѣжденъ, что тутъ много сумасшествія" [1]. Въ письмѣ отъ апрѣля 1827, Грибоѣдовъ пишетъ: „Не ожидай отъ меня стиховъ: горцы, персіяне, турки, дѣла управленія, огромная переписка нынѣшняго моего начальника, поглощаютъ все мое вниманіе. Не надолго, разумѣется: кончится кампанія, и я откланяюсь. Въ обыкновенныя времена никуда не гожусь: и не моя вина; люди мелки, дѣла ихъ глупы, душа черствѣетъ, разсудокъ затмѣвается и нравственность гибнетъ безъ пользы ближнему. Я рожденъ для другого поприща" [2].

Таковы немногочисленныя прямыя данныя о внутренней жизни Грибоѣдова, какія можно извлечь изъ его собственныхъ показаній и изъ свидѣтельствъ ближайшихъ друзей. Остаются сочиненія; изъ нихъ только „Горе отъ ума" даетъ объ этомъ интересныя указанія. Но вслѣдствіе того, что все это вмѣстѣ оставляетъ многое невыясненнымъ, самое „Горе отъ ума" стало предметомъ разнорѣчивыхъ толкованій.

Съ перваго появленія пьесы и почти донынѣ были спорными нѣсколько весьма важныхъ вопросовъ. Во-первыхъ, вопросъ о художественномъ значеніи этого произведенія, и во-вторыхъ, связанный съ этимъ вопросъ объ его основной идеѣ, объ общественныхъ взглядахъ писателя.

Бѣлинскій въ первую пору своей дѣятельности рѣзко высказывался противъ „Горя отъ ума", какъ комедіи; по его мнѣнію,

---

[1]) Изд. 1889, I, стр. 204.
[2]) Тамъ же, стр. 226.

произведеніе Грибоѣдова не выполняло основныхъ условій этой художественной формы, и „Горе отъ ума“ онъ называлъ не комедіей, а сатирой, которая по его тогдашнимъ эстетическимъ понятіямъ стояла внѣ области настоящаго искусства. Свою мысль Бѣлинскій подтверждалъ подробнымъ разборомъ пьесы, въ которой находилъ крупные недостатки въ планѣ и подробностяхъ, въ характерахъ и положеніяхъ [1]). Его взгляды на пьесу Грибоѣдова были потомъ не однажды повторены въ русской критикѣ и въ первый разъ были устранены—думаемъ, окончательно—въ статьѣ Гончарова: „Мильонъ терзаній“. Неодобрительные отзывы Бѣлинскаго о художественной сторонѣ „Горя отъ ума“, о мнимыхъ ошибкахъ въ планѣ, въ опредѣленіи характеровъ, въ изображеніи главнаго лица, были устранены этой статьей, гдѣ авторъ, слѣдя ходъ пьесы шагъ за шагомъ, выяснилъ логическую связность ея построенія и всѣхъ подробностей дѣйствія, вытекавшихъ изъ самой сущности отношеній героя къ его средѣ. Статья Гончарова, безъ сомнѣнія, памятна читателямъ, и нѣтъ надобности повторять ея содержаніе, но въ литературѣ снова возникалъ вопросъ объ отношеніи Бѣлинскаго къ произведенію Грибоѣдова—и рядомъ съ этимъ вопросъ объ общественныхъ взглядахъ самого Грибоѣдова.

Дѣло ставится приблизительно такъ. Пьеса Грибоѣдова представляетъ собой, по своей основной мысли, выраженіе настоящаго русскаго чувства въ виду тѣхъ уродливостей, въ какія впадало русское общество подъ вліяніемъ увлеченія иноземнымъ. Комедія Грибоѣдова была взрывомъ негодованія противъ этого забвенія нашихъ національныхъ особенностей и достоинства, и вмѣстѣ съ тѣмъ была отрицаніемъ пустого или поверхностнаго либерализма. Бѣлинскій былъ „западникъ“; ему должно было не нравиться это господствующее направленіе пьесы, и онъ отнесся къ ней съ тенденціозной нетерпимостью и непониманіемъ. Мнѣнія, высказанныя Бѣлинскимъ по поводу пьесы, доходили до настоящей нелѣпости, и ихъ пора отвергнуть, какъ вообще пора бы отвергнуть въ немъ и многое другое [2]).

Что во взглядахъ Бѣлинскаго бывали ошибки и притомъ не только въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ сужденіяхъ, а въ цѣломъ пониманіи вещей, въ самыхъ основахъ его понятій объ обществѣ, о значеніи даже крупнѣйшихъ литературныхъ явленій, и что съ

[1]) Сочиненія Бѣлинскаго, т. III, стр. 337—434 (1840); т. VI, изд. 2, стр. 66—67 (1842); т. VIII и пр.

[2]) Изд. 1886, стр. VI: „...Бѣлинскій царитъ, хотя пора бы анализировать этого критика и указать на тѣ промахи и даже нелѣпости, которыхъ достаточно въ 12 томахъ его произведеній“.

развитіемъ его идей онъ самъ видѣлъ прошлыя ошибки и не колебался сознавать и отвергать ихъ, это слишкомъ извѣстно изъ его біографіи и самыхъ сочиненій. Историческій интересъ его дѣятельности заключается, между прочимъ, именно въ этомъ развитіи его понятій отъ однихъ исходныхъ точекъ и положеній къ другимъ,—которое было вмѣстѣ исторіей цѣлой группы лучшихъ людей поколѣнія 40-хъ годовъ. Съ тѣхъ поръ какъ стало возможно историческое изученіе Бѣлинскаго, т.-е. съ половины 50-хъ годовъ, этотъ фактъ указывался всѣми, кто говорилъ о его біографіи и исторіи его общественныхъ и литературныхъ понятій... Оглядываясь на тѣ или другія мысли, высказанныя имъ полъ-вѣка тому назадъ, не трудно увидѣть и мелкія, и крупныя заблужденія, даже простодушныя ошибки „наивной души“ (какъ называли его уже ближайшіе современники, бывшіе въ извѣстномъ смыслѣ его учениками), но указаніе ошибокъ въ двѣнадцати томахъ имѣло бы смыслъ и было бы нужно только тогда, когда была бы дана оцѣнка цѣлаго труда и при этомъ указаны были бы тѣ пріобрѣтенія для нашей литературы и то возвышенное нравственное значеніе, какими исполненъ этотъ трудъ. Въ частности, относительно „Горя отъ ума“, ошибка той точки зрѣнія, какую раздѣлялъ Бѣлинскій, вполнѣ выяснена уже Гончаровымъ.

Въ новѣйшемъ обзорѣ исторіи „Горя отъ ума“, отрицательное отношеніе Бѣлинскаго къ этому произведенію ставится въ связь съ тѣми мнѣніями, какія были высказаны при первомъ (рукописномъ) появленіи пьесы [1]). Въ 1820-хъ годахъ мнѣнія о пьесѣ рѣзко раздѣлились. Противъ нея возсталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ Михаилъ Дмитріевъ, литературный и иной консерваторъ, который въ то же время былъ и противникомъ Пушкина. Дмитріевъ осуждалъ комедію и съ точки зрѣнія формы, такъ какъ она нарушала обычный шаблонъ псевдо-классической комедіи, и по содержанію: онъ защищалъ то общество, которое подвергалось осмѣянію въ комедіи. Противъ Дмитріева выступили „Московскій Телеграфъ“ и „Сынъ Отечества“, которые одобряли самостоятельность Грибоѣдова въ постройкѣ пьесы, хвалили языкъ, характеры и идею. Понятно, что сужденія о комедіи вращались особенно на опредѣленіи Чацкаго. По мнѣнію Дмитріева, это было лицо почти невозможное: онъ только зло-

[1]) Первые отрывки изъ „Горя отъ ума“, именно нѣсколько явленій перваго дѣйствія и третье дѣйствіе, съ цензурными сокращеніями, явились въ альманахѣ Булгарина „Русская Талія“, 1825. Первое изданіе цѣлой пьесы, но цензурно сокращенное, явилось уже только въ 1833 году. На сценѣ она явилась впервые въ началѣ 1831 года.

словитъ, говоритъ что̀ ни придетъ въ голову, даже грубыя дерзости. „Естественно, что такой человѣкъ наскучитъ во всякомъ обществѣ, и чѣмъ общество образованнѣе, тѣмъ онъ наскучитъ скорѣе. Чацкій есть не что иное, какъ сумасбродъ, который находится въ обществѣ людей совсѣмъ не глупыхъ, но необразованныхъ, и которой умничаетъ передъ ними, потому что считаетъ себя умнѣе; слѣдовательно, все смѣшное на сторонѣ Чацкаго! Онъ хочетъ отличаться то остроуміемъ, то какимъ-то бранчивымъ патріотизмомъ передъ людьми, которыхъ презираетъ. Словомъ, Чацкій, который долженъ быть умнѣйшимъ лицомъ пьесы, представленъ менѣе всѣхъ разсудительнымъ! Это Мольеровъ Мизантропъ въ мелочахъ и каррикатурѣ... Мудрено-ли, что отъ такого лица (т.-е. Чацкаго) разбѣгутся и примутъ его за сумасшедшаго?" [1]).

Впослѣдствіи, очень похоже на это говоритъ о Чацкомъ Бѣлинскій. И по его словамъ, это — „просто крикунъ, фразеръ. идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говоритъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать дураками и скотами—значитъ быть глубокимъ человѣкомъ?.. Это новый Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе— только не отъ ума, а отъ умничанія. Искусство можетъ избрать своимъ предметомъ и такого человѣка, какъ Чацкій, но тогда изображеніе долженствовало бы быть объективнымъ, а Чацкій— лицомъ комическимъ (?); но мы ясно видимъ, что поэтъ не шутя хотѣлъ изобразить идеалъ глубокаго человѣка въ противорѣчіи съ обществомъ, а вышло Богъ знаетъ что̀". Въ планѣ комедіи Бѣлинскій находилъ недостатки, какъ и въ исполненіи. Было, конечно, странно и наивно,—какъ объясняетъ новѣйшій историкъ „Горя отъ ума",—что Бѣлинскій не могъ понять любви Чацкаго къ Софьѣ; такъ какъ „любовь есть взаимное, гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ, въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго", а этого по комедіи не выходило между героемъ, наполненнымъ возвышенными мыслями, и героиней, способной влюбиться въ ничтожнаго Молчалина, слѣдовательно дѣвицей совершенно пустой. Бѣлинскій забылъ, что въ простой обыкновенной дѣйствительности, по пословицѣ, сатана можетъ полюбиться пуще яснаго сокола. Но Бѣлинскій недоволенъ въ Чацкомъ и другими чертами: каково

[1]) Выписка въ изданіи 1886.

бы ни было содержаніе его обличительныхъ рѣчей, Бѣлинскому кажутся онѣ неумѣстными по ходу пьесы и по тѣмъ лицамъ, къ которымъ обращены.

Мы укажемъ дальше, какъ могло произойти, что мнѣніе Бѣлинскаго о Чацкомъ совпадало отчасти съ отзывомъ такого устарѣлаго литературнаго дѣятеля, какимъ былъ Михаилъ Дмитріевъ; но историкъ „Горя отъ ума" припоминаетъ, что до Бѣлинскаго не вполнѣ благопріятный отзывъ о Чацкомъ сдѣлалъ самъ Пушкинъ, а позднѣе князь Вяземскій [1]). Могло быть, что въ отзывѣ Пушкина, сохранившемся въ письмѣ къ А. А. Бестужеву отъ января 1825, сказалось недостаточное знакомство съ пьесой Грибоѣдова, прочитанной въ рукописи и потомъ неимѣвшейся подъ руками (самъ Пушкинъ упоминаетъ здѣсь, что нѣкоторыя замѣчанія пришли ему въ голову послѣ, когда онъ уже не могъ справиться); во всякомъ случаѣ, отъ него не скрылись блестящія стороны комедіи, но любопытно, что, хотя бы при первомъ чтеніи, осталось у него то самое впечатлѣніе о „непростительной" неумѣстности рѣчей Чацкаго въ обществѣ, собравшемся въ домѣ Фамусова,—впечатлѣніе, которое имѣлъ потомъ Бѣлинскій. Князю Вяземскому Чацкій просто кажется „бѣшенымъ"... Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи впечатлѣніе Бѣлинскаго было не единичное, и что оно не было произвольное, онъ приводитъ свои доказательства. Можетъ быть, эти доказательства потеряютъ часть своей силы при ближайшемъ разсмотрѣніи предмета, но можетъ быть также, что другая доля ихъ не лишена основанія.

Взглядъ Бѣлинскаго на „Горе отъ ума" и его главнаго героя объясняютъ его „предвзятымъ публицистическимъ задоромъ". Бѣлинскій былъ „выразителемъ либеральнаго негодованія противъ Чацкаго и намѣренно, съ этой задней мыслью, старался уничтожить это лицо, провозгласить его фразеромъ и мальчишкой. Совсѣмъ не критико-литературныя цѣли руководили Бѣлинскимъ, а цѣли политической пропаганды (!) противъ слишкомъ русскихъ идей, противъ, если хотите, идей славянофильства и въ пользу безусловнаго перенесенія европеизма на русскую почву" [2]). Такъ ли это?

Не говоря опять о томъ, что весьма близкое (хотя бы на дѣлѣ и неточное) впечатлѣніе характера Чацкаго, кромѣ Бѣлинскаго, появилось у людей весьма несходныхъ понятій, какъ М. Дмитріевъ, Пушкинъ, кн. Вяземскій, которыхъ нельзя было

[1]) Изд. 1886, стр. XI—XIV, XVI, XXVIII.
[2]) Тамъ же, стр. XXXV, LVIII.

бы обвинять въ „политической пропагандѣ“, — простые факты біографіи Бѣлинскаго не допускаютъ подобнаго толкованія. Статья Бѣлинскаго, изъ которой берутся цитаты, есть самая обширная статья и единственная, спеціально посвященная Грибоѣдову, потому что позднѣе Бѣлинскій упоминалъ о немъ только мимоходомъ; но эта статья относится къ 1840 году, именно къ той порѣ, когда Бѣлинскаго очень мудрено или совсѣмъ невозможно было обвинить въ „предвзятомъ“ либерализмѣ. Совсѣмъ напротивъ. Первое время дѣятельности Бѣлинскаго въ Петербургѣ, когда написана статья о Грибоѣдовѣ, было отмѣчено тѣмъ философскимъ консерватизмомъ, который еще въ Москвѣ извлеченъ былъ имъ и его друзьями изъ Гегеля, и въ духѣ котораго Бѣлинскій незадолго до разбора „Горя отъ ума“ писалъ извѣстныя статьи о Менцелѣ и Бородинской годовщинѣ, возмутившія настоящихъ тогдашнихъ либераловъ, и о которыхъ самъ онъ послѣ не могъ слышать. Либерализмъ Бѣлинскаго тогда еще не наступилъ. Съ другой стороны, достаточно взглянуть на статью Бѣлинскаго въ цѣломъ составѣ, чтобы видѣть, что исходною точкой, съ какой онъ приступалъ къ „Горю отъ ума“, была вовсе не общественная тенденція, а тенденція чисто эстетическая. Вся статья занимаетъ 97 страницъ и только послѣднія 22 страницы изъ нея посвящены собственно разбору „Горя отъ ума“. Чѣмъ же наполнено это введеніе, занимающее три четверти статьи? Идетъ рѣчь о теоріи искусства, и все длинное введеніе наполнено объясненіями въ духѣ гегельянской эстетики, объясненіями раздѣленія поэзіи на три ея главныя отрасли, и особенно ея драматической формы, трагедіи и комедіи, „дѣйствительности разумной“ и „дѣйствительности призрачной“ и т. д. —словомъ, Бѣлинскій является здѣсь тѣмъ отвлеченнымъ эстетикомъ, витающимъ въ формулахъ нѣмецкой философіи, для котораго основнымъ и единственнымъ вопросомъ было объясненіе общихъ художественныхъ основаній поэзіи. Достаточно прочитать статью сполна, чтобы видѣть, что Бѣлинскій и не помышлялъ ни о какихъ иныхъ соображеніяхъ, кромѣ чисто эстетическихъ, и здѣсь нѣтъ ни „либеральнаго“ негодованія, ни „политической пропаганды“. Самый разборъ „Горя отъ ума“—исключительно эстетическій. Считая пьесу не комедіей (художественнымъ произведеніемъ), а сатирой (произведеніемъ нехудожественнымъ, по его мнѣнію), Бѣлинскій доказываетъ нехудожественность пьесы особливо тѣмъ, что если, напримѣръ, въ „Ревизорѣ“ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя каждымъ своимъ словомъ, но совсѣмъ не съ цѣлью высказываться, а принимая необходимое

участіе въ ходѣ пьесы, то въ „Горѣ отъ ума“, напротивъ, писатель не выдерживаетъ объективности, необходимой для художества, и именно не разъ влагаетъ въ уста выведенныхъ имъ лицъ свои субъективныя мысли и обличенія, — аргументъ не столь ничтожный, какъ можетъ показаться. Но съ другой стороны, внѣ этого недостатка формы, Бѣлинскій самаго высокаго мнѣнія о произведеніи Грибоѣдова; мало того, онъ восторгается имъ, какъ однимъ изъ величайшихъ произведеній русской литературы. Указывая первое впечатлѣніе, произведенное „Горемъ отъ ума“, онъ объясняетъ, почему оно было принято съ враждою и ожесточеніемъ писателями и публикой, воспитанными на застарѣломъ и мертвомъ классицизмѣ. „Комедія Грибоѣдова, во-первыхъ, была написана не шестиногими ямбами, съ піитическими вольностями, а вольными стихами, какъ до того писались однѣ басни; во-вторыхъ, она была написана не книжнымъ языкомъ, которымъ никто не говорилъ, котораго не зналъ ни одинъ народъ въ мірѣ, а русскіе особенно слыхомъ не слыхали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ разговорнымъ русскимъ; въ-третьихъ, каждое слово комедіи Грибоѣдова дышало комическою жизнію, поражало быстротою ума, оригинальностію оборотовъ, поэзіею образовъ, такъ что почти каждый стихъ въ ней обратился въ пословицу или поговорку“... Въ концѣ статьи Бѣлинскій говоритъ: несмотря на свои художественные недостатки, пьеса Грибоѣдова есть „въ высшей степени поэтическое созданіе, рядъ отдѣльныхъ картинъ и самобытныхъ характеровъ, безъ отношенія къ цѣлому, художественно нарисованныхъ кистію широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не отъ слабости, а отъ кипучаго, благороднаго негодованія, съ которымъ молодая душа еще не въ силахъ была совладѣть“. Или: „Грибоѣдовъ принадлежалъ къ самымъ могучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ „Горѣ отъ ума“ онъ является еще пылкимъ юношею, но обѣщающимъ сильное и глубокое мужество, младенцемъ, но младенцемъ, задушающимъ, еще въ колыбели, огромныхъ змѣй, младенцемъ, изъ котораго долженъ явиться дивный Ираклъ“... Произведеніе Грибоѣдова „есть произведеніе таланта могучаго, драгоцѣнный перлъ русской литературы“.

Если Бѣлинскій не сочувствовалъ чему-нибудь въ рѣчахъ Грибоѣдовскаго героя по существу, какъ, напримѣръ, тѣмъ стихамъ, гдѣ рекомендуется, между прочимъ, учиться у китайцевъ „мудрому незнанью иноземцевъ“, то здѣсь трудно видѣть какую-нибудь опредѣленную тенденцію, враждебную „русскому“ направ-

ленію Грибоѣдова: самое направленіе успѣло высказаться въ „Горѣ отъ ума“ не совсѣмъ ясно, и китайское незнанье иноземцевъ въ общераспространенныхъ понятіяхъ не считалось особенно „мудрымъ“; китайскій застой, китайская неподвижность уже тогда были ходячимъ терминомъ, и свойство, ими выражаемое, не считалось ведущимъ къ просвѣщенію. Что касается общаго смысла комедіи, то очевидно, что Бѣлинскій противъ него вовсе не спорилъ, если побужденія автора считалъ „кипучимъ, благородныхъ негодованіемъ“; по мнѣнію Бѣлинскаго, комедія Грибоѣдова „заклеймила остатки XVIII-го вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себѣ осиноваго кола, которымъ и было „Горе отъ ума“. Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведеніе Грибоѣдова“. Какъ видимъ, въ этомъ пунктѣ мнѣніе Бѣлинскаго не только не совпадало со взглядами Дмитріева, но было имъ совершенно противоположно.

Въ чемъ же именно заключалось общественно-политическое міровоззрѣніе Грибоѣдова? Выше указаны немногія черты его мнѣній, какія сохранились въ его письмахъ; основнымъ матеріаломъ остается все-таки „Горе отъ ума“, то произведеніе, которое почти десять лѣтъ занимало его мысли, возбуждало творческую работу его фантазіи, было его любимымъ дѣтищемъ и стало его правомъ на историческую славу. Съ перваго появленія комедіи и донынѣ было ясно, что по складу понятій Чацкій есть отраженіе самого Грибоѣдова, и что если мы хотимъ выяснить общественныя идеи Грибоѣдова, мы должны обратиться къ изученію Чацкаго. Новѣйшая критика прямо ставила вопросъ: что̀ такое Чацкій—либералъ или славянофилъ? [1]).

Наиболѣе точнымъ опредѣленіемъ общественныхъ взглядовъ Грибоѣдова-Чацкаго была біографія, составленная Алексѣемъ Веселовскимъ [2]). Его положенія оспариваются [3]), какъ положенія „партійныя“, но странно, наконецъ, высматривать партіи въ оцѣнкѣ столь давняго историческаго факта, какъ „Горе отъ ума“. Слово „партія“ имѣетъ слишкомъ опредѣленный смыслъ политической солидарности и правоспособности, чтобы его можно было серьезно примѣнять къ нашей литературѣ, и совсѣмъ неприложимо ко взглядамъ историко-литературнымъ, которые могутъ бывать весьма различны даже у членовъ одного и того же литературнаго круга, какъ и бывало... А. Веселовскій указываетъ

[1]) Изд. 1886 г., стр. XXXIII—XXXIV.
[2]) Изд. 1875 („Русская Библіотека“, т. V), стр. XXIX, XXXIX, XL, XLV.
[3]) Изд. 1886, стр. XXXVI и далѣе.

на близкія связи Грибоѣдова съ тѣмъ молодымъ образованнымъ кругомъ, изъ среды котораго вышли впослѣдствіи такъ-называемые декабристы. Въ письмахъ Грибоѣдова остались слѣды этихъ дружескихъ связей [1]; особенно нѣжная дружба привязывала его къ одному взъ наиболѣе симпатичныхъ лицъ этого круга, князю А. И. Одоевскому. Что именно въ этомъ кругѣ могли развиться тѣ общественныя стремленія, какія Грибоѣдовъ высказалъ впослѣдствіи устами своего героя, въ этомъ едва ли можетъ быть сомнѣніе: другого круга, гдѣ бы ставились подобные вопросы, не было, и сношенія Грибоѣдова съ ними были такъ извѣстны, что Грибоѣдова сочли нужнымъ (хотя совсѣмъ понапрасну) привезти съ фельдъегеремъ съ Кавказа для допросовъ по дѣлу декабристовъ [2]. Эти сношенія не имѣли бы смысла, Грибоѣдовъ не столько дорожилъ бы ими [3], если бы онѣ не соединялись съ нравственной связью, съ единодушіемъ въ общественныхъ понятіяхъ. Въ опроверженіе этого, противопоставляютъ то поколѣніе двадцатыхъ годовъ какъ „либераловъ", „западниковъ", и Грибоѣдова, какъ „славянофила", который „не пощадилъ и ли-

---

[1]) Напр., въ изд. 1889, о князѣ А. И. Одоевскомъ, т. I, стр. 176, 206, 208, 253; А. А. Бестужевѣ, т. I, стр. 209; Кюхельбекерѣ, стр. 176, 177, 181, 205, 210; Рылѣевѣ стр. 209, и пр.

[2]) Есть различные разсказы объ этомъ арестѣ Грибоѣдова. Одни говорятъ, что Ермоловъ, получивъ приказъ объ отправкѣ Грибоѣдова въ Петербургъ, самъ велѣлъ ему тотчасъ сжечь свои бумаги, пока онъ будетъ дѣлать свои распоряженія; по другимъ извѣстіямъ, бумаги сжечь успѣли пріятели Грибоѣдова и что, „если бы бумаги уцѣлѣли, то Грибоѣдовъ не возвратился бы изъ Петербурга". Въ Петербургѣ расположенные къ нему люди исправляли его письменныя показанія при слѣдствіи, такъ какъ иначе слишкомъ откровенныя показанія могли бы запутать его самого, и пр. (Изд. 1889, стр. XXVIII—XXXIII).

[3]) Въ указанныхъ выше цитатахъ читатель найдетъ отзывы Грибоѣдова объ Одоевскомъ, исполненные самой нѣжной привязанности, какъ и самъ Одоевскій „страстно любилъ Грибоѣдова". Напомнимъ одно изъ лучшихъ стихотвореній Грибоѣдова, посвященное уже много позднѣе этому другу и вызванное какой-то вѣстью объ опасности, ему грозившей:

„Я дружбу пѣлъ... Когда струнамъ касался,
Твой геній надъ главой моей парилъ,
Въ стихахъ моихъ, въ душѣ тебя любилъ
И призывалъ, и о тебѣ терзался!...
О, мой Творецъ!... Едва расцвѣтшій вѣкъ
Ужели ты безжалостно пресѣкъ?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого отъ любви моей сокрыла?"

Къ этому же другу относятся слова въ письмѣ къ г-жѣ Миклашевичъ, писанномъ 3 декабря 1828 года, въ послѣдніе дни жизни Грибоѣдова. Съ „Александромъ" (Одоевскимъ) случилась, или ему грозила какая-то бѣда...

„Неужели я для того рожденъ,—пишетъ Грибоѣдовъ,—чтобы всегда заслуживать упреки за холодность (и мнимую притомъ), за невниманіе, за эгоизмъ отъ тѣхъ, за которыхъ бы охотно жизнь отдалъ. Александръ нашъ что́ долженъ обо мнѣ думать!... Александръ мнѣ въ эту минуту душу раздираетъ. Сейчасъ пишу къ Паскевичу; коли онъ и теперь ему не поможетъ, провались всѣ его отличія, слава и громъ побѣдъ; все это не стоитъ избавленія отъ гибели одного несчастнаго и кого же! Боже мой! Пути твои неизслѣдимы" (Изд. 1889, I, стр. 329—330).

бераловъ", и говорятъ, что если нынѣшніе „либеральные" критики (какъ Алексѣй Веселовскій, вслѣдъ за Бѣлинскимъ), перетолковываютъ идеи Чацкаго и исключаютъ изъ нихъ, какъ „балластъ", его выходки противъ европейскаго костюма, его „архаизмъ" и т. п., то это дѣлается „какъ бы для примиренія либераловъ, безусловныхъ (?) поклонниковъ запада съ личностью Чацкаго" [1]).

Во-первыхъ, не знаемъ, гдѣ въ современной жизни и литературѣ есть „безусловные" поклонники запада,—ихъ просто не существуетъ; во-вторыхъ, къ тому времени, которому принадлежитъ произведеніе Грибоѣдова, обозначенія „либерализма" и „славянофильства" въ ихъ нынѣшнемъ смыслѣ вовсе не примѣнимы. Въ тѣ годы общественная мысль была разбужена почти впервые, она была въ состояніи броженія, гдѣ невозможно было бы разграничить ея оттѣнки по тѣмъ направленіямъ, которыя сложились только позднѣе—къ тридцатымъ и сороковымъ годамъ. Что̀ такое были Карамзинъ и Сперанскій; князь Голицынъ съ Аракчеевымъ и Магницкимъ, и Шишковъ; „Арзамасъ" съ Пушкинымъ и друзья послѣдняго изъ будущихъ декабристовъ и т. д.? Карамзинъ былъ собственно „западникъ" и „республиканецъ", но вмѣстѣ русскій консерваторъ; мистики были въ извѣстномъ смыслѣ тоже западники, но вмѣстѣ несомнѣнные обскуранты, въ чемъ съ кн. Голицынымъ или Магницкимъ могъ соперничать ихъ страшный врагъ, самый русскій, архимандритъ Фотій; „русскій" гр. Ростопчинъ былъ другъ іезуитовъ, зловредно путавшихся въ русскую жизнь; точно также „западниками" были и либералы, но они думали, напримѣръ, о необходимости освобожденія крестьянъ, чего не думалъ „русскій", даже церковно-славянскій Шишковъ, и въ политическихъ фантазіяхъ видѣлся имъ Новгородъ съ его „вольностью", и т. п. Шишковъ представляется какъ бы начинателемъ славянофильства, но онъ не въ состояніи былъ какъ-нибудь формулировать своихъ взглядовъ, и въ общественныхъ предметахъ былъ просто приверженцемъ патріархальныхъ порядковъ добраго стараго времени, какъ за нихъ же были, съ одной стороны, Карамзинъ, а съ другой—Аракчеевъ. Если, наконецъ, мы станемъ отыскивать въ этой путаницѣ мнѣній ту группу, въ которой всего ближе можетъ подойти міровоззрѣніе Грибоѣдова-Чацкаго, съ его несомнѣнной любовью къ просвѣщенію, съ его отрицаніемъ застарѣлаго себялюбиваго и рабскаго, хотя и барскаго, невѣжества, съ его стрем-

---

[1]) Изд. 1886, стр. X, XXXVII–XXXVIII и др.

леніемъ къ какимъ-либо сознательнымъ интересамъ общественной самодѣятельности,—этой группой можетъ быть только тотъ кружокъ молодыхъ „либераловъ“, съ которыми соединяла его близкая дружба. Указываютъ два обстоятельства, которыя, повидимому, противорѣчатъ такому заключенію. Во-первыхъ, Грибоѣдовъ не имѣлъ общаго съ политическими затѣями будущихъ декабристовъ [1]; но онъ „зналъ ихъ всѣхъ“, какъ и Пушкинъ, и если, опять какъ Пушкинъ, не былъ участникомъ послѣдняго нелѣпаго заговора, то стоялъ на одной почвѣ съ ними по общественнымъ интересамъ и по враждѣ къ застою, въ который онъ вбивалъ „осиновый колъ“. Едва ли сомнительно, что многіе изъ „декабристовъ“ были далеки отъ убѣжденія въ необходимости крайнихъ дѣйствій и были вовлечены въ нихъ лишь роковыми обстоятельствами... Во-вторыхъ, Грибоѣдовъ-Чацкій былъ „славянофилъ“, ненавидѣлъ иноземцевъ, мѣшавшихся въ русскую жизнь, возставалъ противъ реформы, нарушившей старые обычаи, желалъ даже „мудраго незнанья иноземцевъ“; Грибоѣдовъ, какъ выше сказано, „любилъ славянскія поколѣнія“ и мечталъ о славянскомъ единствѣ,—но мы упоминали, что подобный „архаизмъ“ бывалъ въ мечтахъ самихъ „либераловъ“, напр. Рылѣева, Пестеля, Никиты Муравьева, которымъ старина, нетронутая реформой, даже Москвой, рисовалась въ завлекательныхъ картинахъ народной „вольности“, и Грибоѣдовъ-Чацкій только распространилъ эту черту; извѣстно также, что любовь къ славянскимъ поколѣніямъ была и у декабристовъ, среди которыхъ было цѣлое общество „Соединенныхъ Славянъ“. Драматическая пьеса не была мѣстомъ для изложенія публицистическихъ теорій, но во всякомъ случаѣ въ роли Чацкаго, по самому замыслу поэта, долженъ былъ быть намекъ на его общественныя понятія. Въ отрицательной своей сторонѣ это публицистическое указаніе достаточно ясно (Чацкому помогли здѣсь всѣ: и Фамусовъ, и Скалозубъ, и Молчалинъ, и бальные гости), но едва ли ясна сторона положительная. Бѣлинскій говорилъ о „сбивчивости“ и „неясности“ основной идеи Грибоѣдова [2], и не совсѣмъ ошибался. Понадобились долгіе комментаріи, чтобы выяснить теоретическое основаніе идей Чацкаго, и споры доходятъ до нашего времени. Должно предполагать, что Грибоѣдовъ желалъ для русскаго общества самобытнаго образованія и обычая; но обличеніе фраковъ и совѣтъ о незнаніи иноземцевъ далеко не разрѣшали во-

---

[1] Передаютъ его ироническое замѣчаніе: „сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить весь государственный бытъ Россіи“ (Изд. 1889, I, стр. XXXIII).

[2] Сочин., т. III, стр. 426.

проса о томъ, какъ добыть эту самостоятельность. Нравы русскаго общества, противъ которыхъ ратуетъ Чацкій, были унаслѣдованы отъ исторіи; глупое увлеченіе „иностраннымъ", т.-е. собственно французскими модами въ высшемъ классѣ, обличалось еще сатириками прошлаго столѣтія, было слѣдствіемъ недостатка серьезнаго образованія,—и ему никакъ не помогло бы китайское незнаніе иноземцевъ: оно повело бы только къ увеличенію невѣжества, потому что въ условіяхъ нашей исторіи знаніе приходило къ намъ только отъ иноземцевъ, и не только отъ „французиковъ изъ Бордо". Нельзя поэтому удивляться, что „славянофильская" или „настоящая русская" доля въ проповѣди Чацкаго могла оставлять впечатлѣніе неясности или балласта. По впечатлѣнію Гоголя, Чацкій „показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться". Позднѣйшіе славянофилы, вооруженные гораздо бо́льшимъ знаніемъ исторіи и положившіе больше труда, чѣмъ могъ Грибоѣдовъ, на теоретическое разъясненіе вопроса о нашей самобытности, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ не одолѣли, однако, этой задачи...

Если намъ говорятъ, что Грибоѣдовъ „не могъ безъ критики относиться къ теоретическимъ идеямъ либерализма и не могъ не сознавать, что русскому человѣку, усвоившему европейское образованіе, надо думать и дѣйствовать самостоятельно, вырабатывая свободу лицъ, сословій и учрежденій собственнымъ умомъ, сообразно кореннымъ основамъ русской жизни" [1]), то для послѣднихъ заключеній въ рѣчахъ Чацкаго нѣтъ опредѣленныхъ указаній, и въ теоретическихъ идеяхъ либерализма самостоятельность русской мысли и общества именно была pium desiderium.

Предполагаемъ извѣстнымъ прекрасный этюдъ о „Горѣ отъ ума" И. А. Гончарова. Онъ хорошо объяснилъ внутреннее строеніе пьесы Грибоѣдова, ея цѣльность, характеры и т. д., отъ него не скрылись и нѣкоторыя угловатости, которыя приводили въ недоумѣніе прежнюю критику. Онъ указываетъ, что̀ въ комедіи Грибоѣдова отошло въ исторію и что̀ остается въ ней до сихъ поръ живымъ, сохраняющимъ донынѣ общественный интересъ [2]). Мы сказали бы только, что авторъ нѣсколько преувеличиваетъ анахронизмы комедіи для настоящаго времени. Онъ думаетъ, напримѣръ, что „такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ дальнемъ захолустьѣ"; напротивъ, типъ невѣжественнаго фрунтовика, конечно не въ мундирѣ временъ Александра I, достаточно распространенъ и по настоя-

[1]) Изд. 1889, стр. XLVI. Ср. стр. XLVIII и XLIX.
[2]) „Четыре очерка", стр. 140—142.

щую минуту, и мнѣніе о необходимости сожженія книгъ раздѣляется и нынѣ преемниками Скалозуба. Гончаровъ объяснялъ и то, почему типъ Чацкаго и вся комедія Грибоѣдова, несмотря на ихъ анахронизмы, продолжаютъ жить въ рукахъ читателей и на сценѣ. Чацкій не представляетъ какой-нибудь законченной програмы: основной мотивъ его мысли и чувства—возстаніе противъ отживающей, но еще сильной, лжи и стремленіе къ просвѣщенію и свободѣ.

„Чацкій сломленъ количествомъ старой силы, нанеся ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

„Онъ—вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: „одинъ въ полѣ не воинъ". Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, его передовой воинъ, застрѣльщикъ и всегда жертва.

„Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

„Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе, но всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой „мильонъ терзаній", и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень немногимъ, просвѣтленнымъ, Чацкимъ дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились, хотя и безкорыстно, не для себя и не за себя, а для будущаго и за всѣхъ, и успѣли...

„Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго, и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла—будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ—ни группировались люди, имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта: „учиться, на старшихъ глядя", съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ „свободной жизни" впередъ и впередъ,—съ другой" [1]).

Въ числѣ такихъ историческихъ повтореній Чацкаго Гончаровъ припоминаетъ человѣка, котораго самъ близко зналъ—Бѣлинскаго: „прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ—и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный „мильо-

---

[1]) Тамъ же, стр. 169—170.

номъ терзаній“, убитый лихорадкой ожиданія и недождавшійся исполненія своихъ грезъ, которыя теперь уже не грезы больше“.

Мы только думаемъ, что грезы еще остаются грезами и теперь, и время Чацкихъ—не только въ широкомъ отвлеченномъ, но и въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видѣть, какъ много матеріала нашелъ бы новѣйшій Чацкій для „раздражительныхъ монологовъ“... Смыслъ произведенія Грибоѣдова для нашего времени заключается вовсе не въ какой-нибудь спеціальной славянофильской или „настоящей русской“ общественной теоріи, а, какъ вѣрно замѣтилъ Гончаровъ, въ тонѣ, настроеніи его рѣчей, въ этомъ исканіи исхода изъ окружающаго мрака къ свѣту и свободѣ, въ чемъ бы ни былъ этотъ мракъ и этотъ исходъ для лучшихъ людей данной эпохи...

Въ объясненіяхъ историческаго значенія „Горя отъ ума“ забывается еще одна черта—то угнетенное состояніе русской литературы, въ которомъ для нея остаются недоступными именно самые животрепещущіе вопросы нашей общественности: съ двадцатыхъ годовъ и до девятидесятыхъ не было другого драматическаго произведенія, которое въ живомъ дѣйствіи театра раскрыло бы передъ нами эту борьбу мрака и свѣта. Съ какимъ жаднымъ интересомъ общество видѣло бы современное „Горе отъ ума“; но литература, то-есть само общество, ее создающее, безсильны, и мы рады, когда слышимъ по крайней мѣрѣ намекъ на эту современную борьбу въ великомъ произведеніи, хотя бы уже многое въ его частностяхъ стало анахронизмомъ.

Біографическія данныя о Грибоѣдовѣ:

Рожденіе—1795, 4 января, въ Москвѣ.

1810 или 1811, Гр. поступилъ въ московскій Университетъ по юридическому факультету; профессоръ исторіи и эстетики Буле давалъ ему частные уроки.

1812, январь, Гр. выдержалъ экзаменъ на кандидата и вступилъ корнетомъ въ московскій гусарскій полкъ кн. Салтыкова, а затѣмъ, по смерти Салтыкова, въ иркутскій гусарскій полкъ, стоявшій въ Западномъ краѣ.

1815, пріѣхалъ въ Петербургъ. Представленіе „Молодыхъ супруговъ“, тогда же изданныхъ (передѣлка изъ Secret du ménage, par Creuzé de Lesser.

1816, отставка изъ военной службы. Его имя въ спискахъ ложи Des amis réunis. Къ этому времени его другъ Бѣгичевъ относитъ первый планъ „Горя отъ ума“.

1817, представленіе „Притворной невѣрности“ (передѣлка, вмѣстѣ

съ Жандромъ, изъ Fausses infidelités, Барта). Поступленіе на службу въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ. Дуэль Шереметева съ Завадовскимъ, гдѣ Гр. былъ замѣшанъ.

1818, представленіе „Своей семьи“, кн. Шаховского, гдѣ Грибоѣдовымъ написано пять сценъ. Назначеніе секретаремъ посольства въ Тегеранѣ; выѣздъ въ Тифлисъ.

1819, пріѣздъ въ Тегеранъ.

1821, въ Тифлисѣ.

1823, съ марта, четырехмѣсячный отпускъ въ Москву и Петербургъ, протянувшійся на два года. Въ 1823, отрывки „Горя отъ ума“ были читаны Бѣгичеву, и комедія стала распространяться въ обществѣ.

1824, чтенія комедіи самимъ Гр. въ литературномъ кругу.

1825, выѣздъ изъ Петербурга на годъ, черезъ Кіевъ и Крымъ, на Кавказъ.

1826, въ январѣ, приказъ объ арестѣ Гр. по его связямъ съ декабристами. Разсказы объ этихъ его отношеніяхъ разнорѣчивы, и пока еще не вполнѣ выяснены. Привезенный курьеромъ въ Петербургъ, Гр. вскорѣ, послѣ допроса, былъ освобожденъ, между прочимъ при покровительствѣ нѣкоторыхъ вліятельныхъ людей. Весной жилъ на дачѣ съ Булгаринымъ; лѣтомъ долженъ былъ опять вернуться на Кавказъ, гдѣ пользовался расположеніемъ Паскевича.

1827, въ началѣ, отрѣшеніе Ермолова и назначеніе Паскевича главнокомандующимъ. Послѣдній поручаетъ Грибоѣдову завѣдываніе дипломатическими сношеніями съ Турціей и Персіей.

1828, въ началѣ. Миръ съ Персіей. Гр. опять ѣдетъ въ Петербургъ, для представленія имп. Николаю Туркманчайскаго договора, и вслѣдъ затѣмъ назначенъ полномочнымъ министромъ въ Персію. Въ іюнѣ, отправился на Кавказъ. Въ августѣ женитьба на кн. Чавчавадзе. Въ началѣ октября Гр. выѣхалъ въ Персію.

1829, 30 января, Гр. убитъ въ возстаніи черни въ Тегеранѣ.

— Новѣйшее изданіе сочиненій Грибоѣдова: „Полное собраніе сочиненій А. С. Р., подъ ред. приватъ-доцента Имп. Спб. Университета И. А. Шляпкина. Томъ I. Прозаическія статьи и переписка. (Съ приложеніемъ двухъ портретовъ А. С. Г. и факсимиле его почерка). Томъ II. Поэзія. (Съ приложеніемъ портрета А. С. Г. и нотъ)“. Спб. 1889. Въ приложеніяхъ, указаніе всѣхъ прежнихъ изданій и литературы о Грибоѣдовѣ.

По біографіи и опредѣленію сочиненій:

— Бѣлинскій, Сочиненія.

— Изданіе Гр. въ „Русской Библіотекѣ“, т. V. Спб. 1875, съ біографіей, Алексѣя Веселовскаго;—его же, Этюды и характеристики. М. 1894 (Альцестъ и Чацкій, стр. 144—169; Грибоѣдовъ, стр. 495—532);—его же, Западное вліяніе и пр.

— И. А. Гончаровъ, „Мильонъ терзаній“ въ В. Европы, 1872, мартъ, потомъ въ „Четырехъ очеркахъ“. Спб. 1881, и въ собраніяхъ сочиненій.

— „Горе отъ ума“, изд. А. Суворина. Спб. 1886, съ предисловіемъ издателя: „Горе отъ ума“ и его критики, стр. I—LXXII.

— А. И. Смирновъ, А. С. Гр., его жизненная борьба и судьба комедіи его „Горе отъ ума“, въ Варшавскихъ универс. Извѣстіяхъ, 1895, т. VI, стр. 1—100.

— Вл. Боцяновскій, А. С. Гр. По поводу 100-лѣтія со дня его рожденія. Спб. 1895, — изъ „Ежегодника Имп. театровъ“, сезонъ 1893—1894.

— Е. Пѣтуховъ, А. С. Гр., въ „Сборникѣ“ Историко-филол. Общ. при Нѣжинскомъ Институтѣ. Кіевъ, 1896, стр. 78—97.

— А. Кадлубовскій, Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Гр. въ развитіи русской поэзіи,—тамъ же, стр. 128—155.

Въ первыя десятилѣтія вѣка русская сцена замѣтно оживилась и въ смыслѣ размноженія драматической литературы, и въ смыслѣ развитія сценическаго искусства. Это оживленіе находилось въ связи съ цѣлымъ подъемомъ общественности, и за неимѣніемъ другихъ путей, извѣстное общеніе нашлось въ театрѣ. Никогда прежде театръ не былъ въ такой мѣрѣ интересомъ общества и литературнаго круга, и въ связи съ этимъ настроеніемъ дарованіе Грибоѣдова направилось именно на драму. Никогда также дѣятели литературы и сцены не сближались такъ тѣсно въ общемъ интересѣ драматическаго искусства. Первостепенныхъ драматурговъ, до Грибоѣдова и вскорѣ Гоголя, не нашлось (какъ нашлись сценическіе дѣятели великихъ дарованій), но на болѣе скромномъ уровнѣ совершалась ревностная работа, доставившая обширный репертуаръ взамѣнъ устарѣвшаго театра XVIII вѣка.

Самымъ плодовитымъ драматургомъ и ревностнымъ руководителемъ сцены былъ кн. Александръ Александровичъ Шаховской (1777—1846). Онъ учился въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ, недолго служилъ въ преображенскомъ полку, затѣмъ поступилъ въ петербургскую театральную дирекцію. Директоръ театра, Нарышкинъ, послалъ Шаховского за границу для набора иностранныхъ артистовъ, и онъ воспользовался этимъ для изученія сцены. Участвуя въ завѣдываніи репертуарной частью, онъ много сдѣлалъ для оживленія сцены и для обученія самихъ актеровъ. Между послѣдними были тогда замѣчательные таланты, но часто безъ всякой школы, и писатели брали на себя „проходить“ съ ними роли: такъ Гнѣдичъ училъ Семенову, Катенинъ—Каратыгина и Колосову. Въ двадцатыхъ годахъ Шаховской, по непріятностямъ съ директоромъ театровъ, оставилъ эту службу и переселился въ Москву, гдѣ частнымъ образомъ продолжалъ работать для сцены.

По своему литературному характеру Шаховской былъ сначала ревностный классикъ, защитникъ старыхъ преданій, врагъ сентиментальности и мѣщанской драмы, которая передъ тѣмъ стала сильно распространяться на русской сценѣ, особливо въ твореніяхъ Коцебу. Шаховскимъ основанъ былъ (1808) едва ли не первый русскій театральный журналъ „Драматическій Вѣстникъ“, гдѣ излагались псевдоклассическія теоріи и обличался Коцебу. Въ „Новомъ Стернѣ“ Шахов-

ской смѣялся надъ сентиментальной школой; въ „Липецкихъ водахъ“ подъ именемъ балладника Фіалкина изобразилъ Жуковскаго. Шаховской былъ членомъ „Бесѣды“, приверженцемъ Шишкова и, слѣдовательно, врагомъ школы Карамзина. Но въ этомъ направленіи онъ все-таки долженъ былъ отступить передъ требованіями времени. Коцебу и писатели подобной манеры продолжали господствовать на сценѣ; самъ Шаховской сталъ подчиняться новому литературному вкусу и заимствовать свои сюжеты изъ романтическихъ источниковъ („Иваной или возвращеніе Ричарда Львинаго сердца“, „Таинственный карло“ — изъ Вальтеръ Скотта; „Буря“ изъ Шекспира, и др.). Наконецъ онъ обращался къ русскимъ историческимъ и бытовымъ сюжетамъ: „Ломоносовъ или рекрутъ-стихотворецъ“; „Соколъ князя Ярослава Тверского или суженый на бѣломъ конѣ“—изъ преданій объ основаніи Отроча монастыря въ Твери; „Иванъ Сусанинъ“; „Двумужница, или за чѣмъ пойдешь, то и найдешь“—изъ волжскихъ разбойничьихъ преданій; „Финнъ“—изъ „Руслана и Людмилы“ Пушкина; „Юрій Милославскій“ — изъ Загоскина; „Казакъ-стихотворецъ“ —съ малороссійскими пѣснями, и т. д.

Въ бытовыхъ пьесахъ онъ любилъ изображать пустоту и претензіи средняго дворянства, часто невѣжественнаго, но тщеславнаго: „Полубарскія затѣи“, „Чванство Транжирина“. Въ комедіи „Пустодомы“ представленъ въ каррикатурѣ богатый помѣщикъ, который, не зная русской жизни, задался планомъ преобразованія сельскаго хозяйства подъ руководствомъ своего библіотекаря, глупаго педанта, — но комедія мѣтила немного фальшиво.

У него была благая мечта—своими трудами „открыть дорогу людямъ, имѣющимъ больше дарованія, для обогащенія нашей драматической литературы и даже къ созданію своего собственнаго театра на обширномъ и прочномъ фундаментѣ“. Въ популярныхъ размѣрахъ онъ дѣйствительно сдѣлалъ не мало для этой цѣли—для развитія въ обществѣ вкуса къ театру, для образованія сценическихъ исполнителей, для сближенія драмы съ дѣйствительною жизнью; онъ впадалъ въ каррикатуру, не стѣснялся выводить на сцену живыхъ лицъ, не былъ свободенъ отъ старой искусственности, но не былъ лишенъ находчивости, остроумія и достигалъ легкости и естественности рѣчи.

Драматическими опытами началъ и Мих. Никол. Загоскинъ (1789—1852). Онъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода, но изъ семьи средняго достатка. Ученье было домашнее и плохое; но въ домѣ была библіотека, и онъ много читалъ. На пятнадцатомъ году родственникъ (Ф. Ф. Вигель) свезъ его въ Петербургъ и онъ поступилъ на гражданскую службу, существуя маленькимъ жалованьемъ, потому что отецъ ничего ему не высылалъ. Въ двѣнадцатомъ году онъ поступилъ въ петербургское ополченіе, былъ раненъ, получилъ орденъ и оставался въ полку до сдачи Данцига, въ концѣ войны. До возвращенія въ Петербургъ, онъ побывалъ въ деревнѣ, гдѣ написалъ первую комедію; это ввело его въ литературный кругъ и онъ познакомился съ кн. Шаховскимъ, а потомъ и подружился, когда написалъ пьесу „Комедія противъ комедіи“ въ защиту Шаховского.

когда послѣдній подвергся нападенію противниковъ за „Липецкія воды“. Затѣмъ слѣдовало еще нѣсколько пьесъ: „Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ“, „Вечеринка ученыхъ“, „Добрый малый“. Если Загоскинъ присталъ къ партіи литературныхъ старовѣровъ, это была случайность, потому что при неопытности и поверхностномъ образованіи у него не могло еще составиться опредѣленныхъ взглядовъ,—но его драматическіе труды шли во вкусѣ Шаховского. Въ 1820 онъ переселился въ Москву, на службу при театральной дирекціи, и сталъ потомъ горячимъ московскимъ патріотомъ: здѣсь имѣли успѣхъ его комедіи: „Урокъ холостымъ или наслѣдники“, и особенно „Благородный театръ“ (1828), который считается его лучшей пьесой. Въ 1829 вышелъ „Юрій Милославскій“: съ него начинается другой родъ его литературной дѣятельности, о которомъ скажемъ далѣе. Въ комедіяхъ Загоскина есть веселость и остроуміе, но въ старую манеру кн. Шаховского новаго онъ не внесъ.

Къ тому же направленію театральныхъ дѣятелей принадлежалъ Ѳед. Ѳед. Кокошкинъ (1773—1838). Онъ учился въ моск. Университетѣ, служилъ въ гвардіи, былъ прокуроромъ; затѣмъ съ 1818 служилъ по репертуарной части и былъ наконецъ директоромъ московскаго театра. Совсѣмъ незначительный какъ писатель, онъ подобно Шаховскому много работалъ для улучшенія сцены и образованія актеровъ. По своимъ литературнымъ взглядамъ онъ былъ гораздо болѣе упорный классикъ, чѣмъ Шаховской, не признавалъ Шекспира и Шиллера.

Далѣе, въ томъ же направленіи работалъ для театра Николай Ив. Хмѣльницкій, потомокъ гетмана (1789—1846). Онъ учился въ горномъ корпусѣ, былъ переводчикомъ въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, въ 1812 вступилъ въ ополченіе адъютантомъ къ Кутузову, а послѣ войны былъ правителемъ канцеляріи у Милорадовича. Это былъ писатель со вкусомъ, но весьма мало самостоятельный; почти всѣ его пьесы переведены или заимствованы изъ французскаго репертуара: это—легкія комедіи, оперетки и водевили; послѣдніе главнымъ образомъ черезъ него утвердились на нашей сценѣ. Онъ перевелъ также „Тартюфа“ и „Школу женщинъ“ Мольера.

Самымъ убѣжденнымъ и упорнымъ классикомъ въ драмѣ былъ Павелъ Александр. Катенинъ (1792—1853). Учился дома, служилъ въ министерствѣ просвѣщенія, въ 1810 поступилъ въ преображенскій полкъ и сражался въ Наполеоновскихъ войнахъ, въ Россіи и за границей. Онъ былъ ревностнѣйшій театралъ, и за шиканье актрисѣ Семеновой высланъ былъ изъ Петербурга Милорадовичемъ (въ 1822) и десять лѣтъ прожилъ въ костромской деревнѣ. Потомъ онъ опять былъ въ военной службѣ. Это былъ весьма образованный человѣкъ, съ большими по тому времени познаніями въ литературѣ и Пушкинъ очень цѣнилъ его какъ писателя и особливо умнаго критика. Позднѣйшіе цѣнители не даютъ такого значенія его поэтическимъ произведеніямъ и находятъ, что самый классицизмъ его былъ часто мнимый, такъ какъ онъ все-таки искалъ „правдоподобія“ и „натуры“, а также и народности (лирическія и эпическія стихотворенія изъ древней русской жизни); тѣмъ не менѣе онъ всего выше ставилъ старыхъ французскихъ классиковъ, переводилъ Корнеля и Расина и въ подра-

жаніе послѣднему написалъ свою „Андромаху". Шекспира онъ не понималъ.

О театральной жизни того времени сохранилось не мало разсказовъ.

— Ст. Петр. Жихаревъ (ум. въ 1860, сенаторомъ и предсѣдателемъ петерб. театрально-литературнаго комитета), „Записки современника" съ 1805 по 1819 г.; ч. 1-я, Дневникъ студента; ч. 2-я, Дневникъ чиновника, въ Отеч. Запискахъ, 1855, № 4, 5, 7—10, и первая часть отдѣльно. Спб. 1859;—„Воспоминанія стараго театрала", въ Отеч. Зап. 1854, № 10.

— С. Т. Аксаковъ, Разныя сочиненія. М. 1858. Здѣсь: Литературныя и театральныя воспоминанія (между прочимъ о даровитомъ водевилистѣ того времени Александрѣ Ив. Писаревѣ, 1803—1828); біографія Загоскина; о заслугахъ кн. Шаховского въ драматической словесности; нѣсколько словъ о М. С. Щепкинѣ;—Семейная Хроника и воспоминанія. М. 1862 (здѣсь: Яковъ Емел. Шушеринъ).

— Пименъ Араповъ, Лѣтопись русскаго театра. Спб. 1861.

— Р. Зотовъ, Театральныя воспоминанія. Спб. 1859.

— О Шаховскомъ, кромѣ упомянутой статьи С. Аксакова, біографическія свѣдѣнія указаны въ „Сочин. Батюшкова", Л. Майкова, прим. III, 600—602.

— О Загоскинѣ: кромѣ упомянутаго, біографія при первомъ томѣ „Полнаго собранія сочиненій З." Спб. 1898.

— О Кокошкинѣ, въ „Соч. Батюшкова", I, прим., стр. 390—392.

— О Хмѣльницкомъ. Его сочиненія: „Театръ Николая Хмѣльницкаго". 2 ч. Спб. 1829—30; изд. Смирдина, 3 тома. Спб. 1849, и здѣсь біографія, С. Дурова;—Н. А. Добротворскій, въ Историч. Вѣстникѣ, 1889, декабрь.

— О Катенинѣ: „Сочиненія и переводы въ стихахъ П. Катенина. Съ пріобщеніемъ нѣсколькихъ стихотвореній кн. Н. Голицына". 2 части. Спб. 1832; — Е. Пѣтуховъ, біогр. очеркъ, въ Истор. Вѣстникѣ 1888, сентябрь;—Письма К. къ А. М. Колосовой, въ Р. Старинѣ, 1893; № 3, 4;—Соч. Батюшкова; прим.;—біографіи Пушкина.

ГЛАВА XLII.

ПУШКИНЪ.

Необычайная поэтическая сила.—Связи съ прошедшимъ.—Литературная школа.— Источники творчества.

Общественные интересы.—Жизнь на югѣ.—Отношеніе къ предшественникамъ.— „Русланъ и Людмила".—Классицизмъ и романтизмъ.—Патріотическое чувство.—Байронизмъ.—Шекспиръ и Вальтеръ Скоттъ. — „Борисъ Годуновъ". — Историческія изученія.

Первое заявленіе свободы поэтическаго творчества: царственное значеніе поэзіи.—Теоретическія представленія объ искусствѣ.

Историческая роль Пушкина въ развитіи нашей литературы была преобразовательная и созидательная — въ столь широкомъ объемѣ, что вліяніе его дѣятельности различнымъ образомъ достигаетъ и до настоящей минуты. Съ первыхъ шаговъ нашей новой литературы и донынѣ не было писателя, который равнялся бы Пушкину въ геніальномъ дарованіи, а также и въ могуществѣ своего дѣйствія на литературную жизнь: можно сказать, что это былъ первый оригинальный и самобытный писатель, съ которымъ дѣйствительно начинается русская литература. До тѣхъ поръ произведенія русской литературы неизмѣнно примыкали къ какому-либо прямому или косвенному возбужденію изъ западно-европейской литературы, къ какому-либо изъ ея поэтическихъ или умственныхъ и общественныхъ явленій: когда дѣятельность Пушкина дошла до своей зрѣлой эпохи, мы встрѣчаемъ въ ней черты, которыхъ нельзя подвести ни къ какому чужому образцу. Отъ него идетъ первая самостоятельная русская литература, которая могла представить западно-европейскому наблюдателю нѣчто совершенно своеобразное, новое и глубокое, что̀, наконецъ, внушило къ ней самый оживленный интересъ въ настоящее время. Пушкинъ былъ первымъ на этомъ пути: ученическіе годы были

закончены; открывалась пора самостоятельнаго національнаго творчества.

На развитіи и характерѣ Пушкина опять оправдывалось историческое наблюденіе, что всякая широкая реформа въ умственной, общественной, наконецъ литературной жизни общества, какъ бы эта реформа ни казалась поразительна по своей неожиданности и силѣ, бываетъ подготовлена заранѣе, въ большемъ или меньшемъ объемѣ антецедентовъ, и вслѣдствіе того реформа носитъ въ себѣ элементы предъидущаго развитія, изъ которыхъ выдѣляется, наконецъ, самобытное начало, составляющее ея новую дѣятельную силу. Современники Пушкина, писатели изъ его ближайшаго круга, восхищались его произведеніями, догадывались иногда, что въ немъ возростаетъ какая-то невиданная литературная сила, но все-таки разсматривали его въ привычныхъ условіяхъ тогдашней литературы, между тѣмъ какъ онъ далеко уходилъ за ея предѣлы, и не могли угадать, куда именно приведетъ эта новая сила. Отсюда произошло то явленіе, что сверстники Пушкина остались потомъ позади того движенія, которому онъ далъ иниціативу. Такимъ образомъ онъ соединялъ въ себѣ двѣ эпохи: въ немъ были извѣстныя черты того настоящаго и нѣкоторые отголоски прошедшаго, въ средѣ которыхъ шло его собственное воспитаніе; съ другой стороны— съ нимъ начинался совершенно новый періодъ, первый источникъ литературы современной.

Съ исторической точки зрѣнія, для опредѣленія труда Пушкина важно въ этомъ смыслѣ отмѣтить источники его литературнаго образованія съ его первыхъ опытовъ и до поры зрѣлаго творчества; отмѣтить, рядомъ съ этимъ, его взгляды на старую литературу и на его современниковъ; наконецъ наблюдать, какъ постепенно выработывалось его художественное міровоззрѣніе, которое, воплощаясь въ его произведеніяхъ, стало потомъ прочнымъ пріобрѣтеніемъ литературы и основаніемъ ея дальнѣйшаго быстраго развитія.

Прежде всего основнымъ даннымъ, которымъ опредѣлилась дѣятельность Пушкина, было необычайное богатство и разносторонность его геніальнаго дарованія. Какъ явленіе чисто личное, эта сила дарованія выходитъ изъ всякихъ историческихъ разсчетовъ. Можно замѣтить только, что здѣсь, какъ во многихъ подобныхъ случаяхъ, какіе знаетъ исторія, появленіе геніальнаго таланта наступаетъ какъ бы не случайно и, напротивъ, какъ будто происходитъ въ опредѣленный моментъ, когда пережито предъидущее содержаніе, когда собираются данныя для истори-

ческаго поворота и нужна только геніальная личность, чтобы положить конецъ старому порядку вещей и съ могущественнымъ авторитетомъ установить новое начало жизненнаго развитія. Такъ явился нѣкогда Петръ Великій, чтобы завершить старый періодъ русскаго національнаго бытія и открыть для него новое поприще: по воспитанію онъ былъ созданіемъ этого прошедшаго, но онъ геніально воспринялъ отъ него инстинктивныя его стремленія къ дальнѣйшему развитію и поддержалъ ихъ всею энергіей своей личности,—такъ что новое содержаніе его реформы было, черезъ него и черезъ его сознательныхъ приверженцевъ, органически связано съ тѣмъ прошедшимъ, которое было имъ повидимому отвергнуто. Подобнымъ образомъ, въ литературной жизни русскаго общества Пушкинъ завершалъ старый періодъ и сдавалъ его въ архивъ, но былъ связанъ съ нимъ на первыхъ шагахъ своего личнаго воспитанія, и когда вступалъ самъ и вводилъ литературу на путь, повидимому, совершенно новый, залогъ его успѣха заключался въ томъ, что онъ геніально извлекъ изъ этого прошедшаго всю здоровую и цѣнную сущность его стремленій,—чѣмъ и устранилъ его исторически,—и повелъ дѣло дальше, поставивъ сознательно новыя задачи.

Въ самомъ дѣлѣ, въ развитіи дѣятельности Пушкина мы встрѣтимъ не мало этихъ непосредственныхъ связей съ прошедшимъ и въ фактахъ его перваго воспитанія, и въ литературныхъ впечатлѣніяхъ, и встрѣтимъ еще то же явленіе, какое видѣли въ біографіяхъ Жуковскаго и Батюшкова (какъ раньше въ цѣломъ рядѣ литературныхъ фактовъ прошлаго вѣка), а именно большую зависимость его даже довольно поздняго развитія отъ западно-европейскихъ вліяній, притомъ зависимость до извѣстной степени случайную, когда изъ великихъ богатствъ европейской литературы онъ воспринималъ явленія, не всегда первостепенныя, и оставался чуждъ другимъ, которыя повидимому имѣли бы право на его вниманіе. Пушкинъ въ этомъ отношеніи двигался еще въ прежней колеѣ литературнаго воспитанія,—но уже великую разницу съ его даже даровитѣйшими предшественниками, какъ Жуковскій и Батюшковъ, вносила его очень рано сказавшаяся геніальность и вмѣстѣ чуткость къ русской жизни.

Первыя впечатлѣнія, полученныя Пушкинымъ, были вполнѣ старомодныя, во вкусѣ барскаго быта XVIII вѣка. Семья не была богата, не умѣла устроивать своихъ практическихъ дѣлъ и не желала также сообразоваться со своими средствами; съ юныхъ лѣтъ Пушкинъ зналъ о старинномъ дворянствѣ своего рода, и всю жизнь полагалъ себя не только въ правѣ считаться съ на-

личной аристократіей, но и вообще негодовать на то нарушеніе значенія стараго боярства, какое произведено было наплывомъ служилаго дворянства изъ разночинцевъ: впослѣдствіи на этотъ счетъ у него сложилась своя историко-политическая теорія. Въ семьѣ господствовали свѣтскіе нравы и обычаи, и съ ними французскій языкъ: Пушкинъ даже въ поздніе годы говорилъ, что французскій языкъ для него привычнѣе русскаго; говорятъ, что при поступленіи въ лицей онъ плохо писалъ по-русски, хотя дома писалъ уже французскіе стихи. У отца, по барскому обычаю прошлаго вѣка, была большая французская библіотека, съ которой Пушкинъ и ознакомился прежде всего: въ библіотекѣ были французскіе классики и конечно Вольтеръ, и при поступленіи въ лицей мальчикъ Пушкинъ слылъ уже между товарищами особеннымъ знатокомъ французской литературы. Эта первая литературная пища не была разсчитана на возрастъ юнаго читателя, и затѣмъ лицейское обученіе не въ состояніи было уравновѣсить умственнаго развитія; но живой умъ нашелъ здѣсь сильное, хотя одностороннее возбужденіе: Пушкинъ скоро выдвинулся между товарищами своимъ находчивымъ остроуміемъ и тогда уже началъ сыпать мѣткими и язвительными эпиграммами.

Въ условіяхъ скудной русской школы того времени было особенно благопріятнымъ обстоятельствомъ, что изъ своей домашней среды Пушкинъ вступилъ въ 1811 въ только-что основанный лицей. По самому уставу это было учрежденіе привилегированное: первоначально имѣлось въ виду, какъ говорятъ, чтобы лицей послужилъ для образованія великихъ князей Николая (впослѣдствіи императора) и Михаила, и во всякомъ случаѣ онъ долженъ былъ приготовлять людей для высшихъ ступеней государственной службы; лицей помѣщенъ былъ въ этихъ предположеніяхъ въ Царскомъ Селѣ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ царскаго семейства; прославленные Пушкинымъ, „сады лицея“, въ которыхъ онъ „безмятежно процвѣталъ“, были именно сады царскосельскаго парка съ ихъ изящными украшеніями и историческими памятниками. Извѣстно, какую силу сохранили навсегда для Пушкина лицейскія воспоминанія: съ нихъ начинается его сознательная жизнь и самая исторія его творчества. Здѣсь завязались его первыя дружескія связи; начались первые литературные опыты, поддержанные сочувствіемъ кружка сверстниковъ, съ которыми и послѣ Пушкинъ сохранилъ отчасти тѣсную дружескую связь [1]). Внутренняя жизнь лицея, его учебная дѣятельность не

[1]) ...Куда бы насъ ни бросила судьбина,
И счастіе куда бъ ни повело,

получили правильнаго устройства. Кромѣ того, что преподавательскія силы въ то время вообще были небогаты, тревожныя событія отвлекали отъ лицея вниманіе правительства; смѣна директоровъ до назначенія Энгельгардта (уже въ концѣ пребыванія Пушкина въ лицеѣ) не способствовала порядку, и воспитанники часто были предоставлены самимъ себѣ. Зато въ ихъ собственномъ кругу господствовало большое оживленіе, которое уже рано нашло исходъ въ литературныхъ вкусахъ. Пушкинъ сталъ центромъ этого оживленія. Еще въ домѣ отца, въ Москвѣ, онъ видѣлъ извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей—Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, и былъ ими замѣченъ; во время пребыванія въ лицеѣ они слѣдили за его опытами; очень рано онъ познакомился съ Батюшковымъ и еще изъ лицея писалъ ему посланія. Среди товарищей Пушкина нашлось нѣсколько стихотворцевъ, и одинъ изъ нихъ, Илличевскій, на первое время въ глазахъ товарищей былъ равносильнымъ соперникомъ Пушкина; затѣмъ были здѣсь баронъ Дельвигъ, Кюхельбекеръ и другіе, также заразившіеся стихотворствомъ... Откуда взялись эти литературные вкусы? Замѣчено было, что здѣсь была извѣстная традиція московскаго Благороднаго пансіона: около трети воспитанниковъ перваго лицейскаго курса, товарищи Пушкина, поступило въ лицей изъ московскаго пансіона, гдѣ поддерживалось литературное преданіе временъ Дружескаго Общества и гдѣ нѣкогда центромъ подобнаго литературнаго кружка былъ Жуковскій. Любопытно, что Пушкинъ помѣщенъ былъ въ лицей именно благодаря содѣйствію другого питомца Благороднаго пансіона, А. И. Тургенева [1]). Немудрено, что старые знакомцы семейства Пушкиныхъ считали естественнымъ это развитіе литературныхъ интересовъ въ лицейскомъ кружкѣ и съ особеннымъ вниманіемъ относились къ юному поэту, въ которомъ успѣли оцѣнить выходящее изъ ряда явленіе. Наконецъ, родной дядя поэта, извѣстный Василій Львовичъ, былъ также близокъ къ литературнымъ кругамъ, какъ стихотворецъ и остроумный собесѣдникъ: онъ съ своей стороны радовался успѣхамъ юнаго племянника... Въ 1814, года черезъ три пребыванія въ лицеѣ, молодые поэты посылаютъ уже

Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ чужбина:
Отечество намъ—Царское Село.
(19 октября 1825).

[1]) Въ февралѣ 1838 отецъ Пушкина, въ письмѣ къ князю Вяземскому, высказывалъ желаніе, чтобы въ біографіи поэта сказано было, что „Александръ Ивановичъ Тургеневъ былъ единственнымъ орудіемъ помѣщенія его въ лицей и что черезъ 25-ть лѣтъ онъ же проводилъ тѣло его на послѣднее жилище. Да узнаетъ Россія, что она Тургеневу обязана любимымъ ею поэтомъ!“ (Гротъ, „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники“, стр. 312).

свои произведенія въ журналы, и стихи Пушкина появляются, между прочимъ, въ видѣ псевдонима съ цифрой: 14, которая обозначала нумеръ его комнатки въ лицейскомъ общежитіи.

Преподаваніе въ большинствѣ предметовъ стояло невысоко, но его недостатки могли вознаграждаться собственнымъ чтеніемъ, особливо у Пушкина, который отличался чрезвычайной воспріимчивостью и памятью. Учителемъ словесности былъ Кошанскій, питомецъ московскаго университета и прежде учитель въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ: это былъ преподаватель старомодный, но съ любовью къ предмету и вѣроятно не безполезный тѣмъ, что сообщалъ своимъ ученикамъ не мало техническихъ свѣдѣній и поддерживалъ ихъ вкусъ къ литературѣ; одно время замѣнялъ его Галичъ, который и совсѣмъ стоялъ съ своими питомцами на дружеской ногѣ и котораго потомъ Пушкинъ привѣтствовалъ даже, какъ предсѣдателя ихъ товарищескихъ пиршествъ... Пушкинъ не даромъ съ такой любовью вспоминалъ лицейскіе годы: въ юныхъ сверстникахъ и между самими наставниками нашлась сочувственная среда для первыхъ опытовъ его фантазіи; эти годы были ознаменованы обильной поэтической дѣятельностью, и „лицейскія стихотворенія“ заняли видное мѣсто въ цѣломъ составѣ его произведеній. Литературный стиль, господствовавшій въ произведеніяхъ этой поры, былъ въ сильной степени отмѣченъ старомодными пріемами. На этихъ формахъ онъ самъ учился поэтическому языку; въ этихъ формахъ понимали поэзію его первые читатели и слушатели, и не мудрено, что поэзія является здѣсь еще въ старинномъ псевдо-классическомъ одѣяніи,—съ Аполлономъ, музами, Кастальскимъ ключемъ, свирѣлью; древній Олимпъ еще исполняетъ свою піитическую службу, и поэтъ любитъ окружать себя харитами, вакханками и т. п. Фантазія поэта занята была этими готовыми миѳологическими образами, въ которые одѣвалась его личная поэтическая жизнь, и въ его обширномъ чтеніи прежде всего выдѣлились любимые писатели, изъ которыхъ онъ почерпалъ и поэтическія черты, и свое первое міровоззрѣніе. Изъ древнихъ это былъ въ особенности Анакреонъ, увлекавшій его въ лицейскіе годы, и „подражаніе“ которому онъ писалъ еще въ 1828; изъ новѣйшихъ писателей это былъ давній любимецъ Вольтеръ [1]) и Парни,

---

[1]) Поэтъ въ поэтахъ первый,
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
Издѣтства сталъ піитъ;
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ;
Соперникъ Эврипида,

и изъ русскихъ Батюшковъ, потому что онъ всего ближе подходилъ къ тогдашней поэтической философіи Пушкина и всего больше удовлетворялъ его изяществомъ своей формы. Философія была эпикурейская: поэтическіе мудрецы учили упиваться всѣми наслажденіями жизни, и наставленія какъ нельзя больше подходили къ юношеской порѣ и необузданно страстной натурѣ поэта. Обстановка закрытаго заведенія, какимъ былъ лицей, не помѣшала его воспитанникамъ бывать въ царскосельскомъ обществѣ [1]), вести разсѣянную, даже разгульную жизнь, особенно когда Пушкинъ свелъ знакомство съ молодыми гусарами стоявшаго въ Царскомъ Селѣ полка: „хариты" и „фіалы" оказались на лицо въ дѣйствительности, и анакреонтическая поэзія встрѣчена была съ восторгомъ въ молодомъ кругу... Эта поэзія была вскорѣ высоко оцѣнена и въ другомъ кругу съ болѣе строгими критическими требованіями, потому что уже съ первыхъ опытовъ поражала необычайными достоинствами формы... Немногіе изъ нашихъ поэтовъ оставили въ своихъ произведеніяхъ столько автобіографическихъ замѣтокъ и намековъ, какъ Пушкинъ: рано сознавши посѣщавшее его вдохновеніе, находя величайшее, хотя иногда мучительное наслажденіе въ своемъ поэтическомъ трудѣ, онъ невольно говорилъ о своей музѣ въ лирическихъ изліяніяхъ и, передавая поэтическія мечты, знакомилъ читателя и съ мотивами дѣйствительности, которые возбуждали его фантазію, и съ тѣмъ кругомъ поэтовъ, у которыхъ онъ находилъ родственное и сочувственное настроеніе. Жизнь съ своими заботами и тревогами была еще впереди, и поэтъ „безмятежно" предавался „праздности счастливой", для которой поэзія была изящнымъ украшеніемъ. Его эпикурейская философія, такъ естественно отвѣчавшая порывамъ молодой жизни и иногда терявшая мѣру, имѣла однако свою исторически важную сторону. Въ его поэзіи уже не было мѣста ни натянутости стараго искусственнаго, не искренняго и потому безплоднаго стихотворства псевдоклассиковъ, ни приторности столь же искусственнаго сентиментальнаго стихотворства, ни туманности поэзіи мистическаго романтизма: въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Пушкинъ стоялъ на почвѣ искренняго чувства и вмѣстѣ на почвѣ реальной дѣйствительности, и здѣсь были уже задатки жизненнаго значенія его поэзіи.

Эраты нѣжный другъ,
Арьоста, Тасса внукъ—
Скажу-ль?... отецъ Кандида!
Онъ все: вездѣ великъ
Единственный старикъ!...

[1]) Въ Петербургъ ихъ не отпускали въ теченіе всего пребыванія въ лицеѣ, кромѣ рѣдкихъ случаевъ необходимости.

Лицейскій кружокъ внимательно слѣдилъ за современной русской литературой. Въ письмахъ тогдашняго товарища Пушкина, Илличевскаго, писанныхъ изъ лицея, говорится объ ихъ тогдашнемъ чтеніи. Они получали нѣсколько журналовъ:—„и мы также хотимъ наслаждаться свѣтлымъ днемъ нашей литературы, удивляться цвѣтущимъ геніямъ Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнѣдича. Но не худо иногда подымать завѣсу протекшихъ временъ, заглядывать въ книги отцовъ отечественной поэзіи, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева: тамъ лежатъ сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать пѣвцовъ иноземныхъ (у нихъ учились предки наши), бесѣдовать съ умами Расина, Вольтера, Делиля и, заимствуя отъ нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія". Пушкинъ въ одномъ изъ тогдашнихъ стихотвореній признавалъ, что молодой поэтъ не можетъ обойтись безъ подражанія: но съ самаго начала гораздо строже относился къ тѣмъ русскимъ источникамъ, изъ которыхъ надо было „почерпать сокровища",—онъ почерпалъ ихъ почти только изъ Жуковскаго и Батюшкова.

Кромѣ этихъ литературныхъ источниковъ поэтическаго воспитанія, другіе источники стала открывать сама жизнь, на первый разъ въ той обстановкѣ, которая окружила питомцевъ лицея. Царское Село представляло множество воспоминаній о славныхъ событіяхъ еще недавняго царствованія Екатерины; онѣ могли питать и патріотическое чувство, и поэтическую фантазію: „здѣсь каждый шагъ въ душѣ рождаетъ воспоминанья прежнихъ лѣтъ", говорилъ Пушкинъ въ стихотвореніи, посвященномъ „Воспоминаніямъ въ Царскомъ Селѣ" (1815). Къ этимъ воспоминаніямъ для юныхъ питомцевъ лицея вскорѣ присоединились несравненно болѣе могущественныя впечатлѣнія современныхъ событій. „Эффектъ войны 1812 года на лицеистовъ былъ дѣйствительно необыкновенный, — говоритъ одинъ изъ товарищей Пушкина по лицею, баронъ М. А. Корфъ:—не говоря уже о жадности, съ которою пожиралась и комментировалась каждая реляція, не могу не вспомнить горячихъ слезъ, которыя мы проливали надъ Бородинской битвою, выдававшеюся тогда за побѣду, но въ которой мы инстинктивно видѣли другое, и надъ паденіемъ Москвы!.. И какое взамѣнъ слезъ пошло у насъ общее ликованье, когда французы двинулись изъ Москвы!.. Стихи Пушкина:

Вы помните: текла за ратью рать:
Со старшими мы братьями прощались, и пр.

не были поэтическою прикрасою. Весною и лѣтомъ 1812 года почти ежедневно шли черезъ Царское Село войска, и насъ особенно поражалъ видъ тогдашней дружины съ крестами на шапкахъ и иррегулярныхъ казачьихъ полковъ съ бородами"... Не менѣе должны были волновать юношей послѣдующія событія, когда Россія являлась освободительницей Европы: Пушкинъ въ стихотвореніи на возвращеніе императора Александра высказывалъ сожалѣніе, что судьба не дала ему сражаться и быть свидѣтелемъ великихъ дѣлъ; здѣсь, и особливо въ „Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ", въ его поэзіи отозвалась и старинная „лира" Державина.

Къ этой лицейской порѣ относятся и зародыши другихъ настроеній его поэзіи. Пушкинъ сталъ сознавать свою самостоятельность и возстаетъ противъ „скучнаго проповѣдника", какимъ сталъ для него старомодный преподаватель Кошанскій:

Я знаю самъ свои пороки;
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки
Твоей учености сухой...

Въ поэзіи онъ самъ ищетъ своего пути, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ его умъ западаютъ другія мысли. Много лѣтъ спустя, въ одномъ изъ стихотвореній на 19-е октября онъ вспоминаетъ профессора, который нѣкогда произвелъ на него впечатлѣніе:

Куницыну дань сердца и вина!
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень...
Поставленъ имъ краеугольный камень,
Имъ чистая лампада возжена.

Это былъ извѣстный въ свое время авторъ „Естественнаго Права", которое осуждено было потомъ въ главномъ правленіи училищъ какъ сочиненіе, основанное на „правилахъ разрушительныхъ", и самъ авторъ былъ въ числѣ профессоровъ петербургскаго университета, подвергшихся суду въ 1821. Нѣкоторые историки того времени находили, что Куницынъ, какъ личный характеръ и даже какъ профессоръ, не отвѣчалъ той высотѣ, на которую ставятъ его стихи Пушкина; на это справедливо было, однако, замѣчено, что въ преподаваніи нерѣдко бываетъ, что слова учителя остаются безплодны для однихъ изъ его слушателей и, напротивъ, глубоко западаютъ въ душу другимъ—и для молодыхъ людей этого бываетъ достаточно. Такъ было съ Пушкинымъ. Куницынъ преподавалъ въ лицеѣ политическія науки, и въ духѣ того времени, еще питавшаго надежды на великодушные планы императора Александра, могъ объяснять своимъ питомцамъ зна-

ченіе гражданскихъ учрежденій для политическаго и нравственнаго развитія обществъ. Могло быть, что впечатлѣніе оказалось сильнымъ потому, что около того же времени Пушкинъ испыталъ подобныя возбужденія и съ другой стороны. Въ томъ гусарскомъ кругу, гдѣ онъ нашелъ сотоварищей, а вѣроятно также и учителей въ шумныхъ удовольствіяхъ и въ служеніи Вакху и Кипридѣ, онъ встрѣтилъ не однихъ любителей разгульной жизни, но и людей образованныхъ, съ высокими умственнными и нравственными запросами, и именно одного изъ тѣхъ, которые были охвачены движеніемъ, наступившимъ послѣ освободительныхъ войнъ: если Каверинъ сталъ для Пушкина образцомъ молодого беззаботнаго удальства, которое онъ примѣривалъ и къ самому себѣ, то съ другой стороны съ этихъ поръ и до конца жизни Пушкинъ чрезвычайно высоко цѣнилъ Чаадаева. Не знаемъ ближе, въ чемъ состояли ихъ бесѣды, но стихи и посланія, обращенные къ Чаадаеву, въ достаточной мѣрѣ рисуютъ сильное впечатлѣніе, какое оставили въ Пушкинѣ эти бесѣды. Сказалось то броженіе, которое возникло въ молодомъ поколѣніи русскаго общества къ концу второго десятилѣтія: послѣ освобожденія Европы, послѣ участія въ великихъ историческихъ событіяхъ, послѣ торжествъ и зрѣлища широко развитой общественности и просвѣщенія, пришлось возвратиться къ русской дѣйствительности, гдѣ весь порядокъ вещей сохранялся неизмѣнно со временъ патріархальной старины съ крѣпостнымъ рабствомъ и владычествомъ испорченной и невѣжественной бюрократіи, и гдѣ надежды на преобразованія все больше и больше оказывались напрасными. Молодыя поколѣнія не уступали своего идеала, размышляли и мечтали о лучшей судьбѣ для отечества, негодовали на совершавшееся; въ глухомъ броженіи возникала мысль о тайномъ обществѣ, о сосредоточеніи людей, которые могли бы послужить распространенію, а можетъ быть и осуществленію, идей объ иномъ устройствѣ русской политической жизни. Пушкинъ стоялъ подлѣ этого движенія: новыя идеи—осужденіе настоящаго, стремленіе къ свободѣ—затронули его еще въ лицеѣ, въ урокахъ Куницына, въ бесѣдахъ Чаадаева, но еще сильнѣе окружили его потомъ, когда изъ тѣснаго лицейскаго круга онъ вступилъ въ широкую общественную жизнь.

Такъ открывалась въ пушкинской поэзіи ея новая сторона —общественный интересъ, вольнолюбивыя мечты, скорбь о народномъ рабствѣ, прославленіе свободы: вопросы, которые никогда уже не покидали Пушкина,—хотя онъ въ нихъ постоянно колебался. Вопросъ былъ слишкомъ сложный: понятно, что пря-

мая постановка его была по общественнымъ условіямъ немыслима; а кромѣ того, не были ясны ни теоретическія, ни историческія его основанія, и Пушкинъ то дѣлилъ восторженные порывы своихъ либеральныхъ друзей, то возвращался къ дѣйствительности, къ практическому благоразумію, и сожалѣлъ о собственныхъ заблужденіяхъ и ошибкахъ друзей, а подъ конецъ опять ставилъ въ заслугу своей поэзіи „возславленіе свободы".

Имъ всегда въ высокой степени владѣло патріотическое чувство. Первыя заявленія его въ юношескихъ стихотвореніяхъ совпадаютъ съ тономъ торжественной оды XVIII вѣка, гдѣ патріотъ гордился славой русскаго оружія и посрамленіемъ его враговъ, величался внѣшнимъ могуществомъ государства, но не задавалъ себѣ вопроса о внутреннихъ отношеніяхъ народной жизни. Этотъ исключительно государственный патріотизмъ, представляемый всею литературою прошлаго вѣка, считался единственнымъ, какой возможенъ для „россіянина". Но еще въ концѣ прошлаго вѣка возникла другая точка зрѣнія: патріотическое чувство не довольствовалось громомъ побѣдъ и стало тревожиться мыслью, что для истиннаго величія государства необходимы внутреннее благосостояніе, хорошіе законы, справедливость, просвѣщеніе, наконецъ, освобожденіе отъ рабства тѣхъ милліоновъ, которые составляютъ народъ и основу самого государства; кромѣ понятія о государствѣ, какъ внѣшней формѣ народнаго бытія, являлось понятіе, въ которомъ глубже сказывалась мысль о нравственномъ достоинствѣ народной жизни, понятіе объ отечествѣ. Когда эта мысль начинала пробиваться у писателей конца вѣка, какъ болѣе или менѣе настойчивое указаніе на необходимость внутреннихъ исправленій русской жизни, и прежде всего на необходимость освобожденія крестьянъ, эта мысль показалась непозволительнымъ вольнодумствомъ: это было нарушеніе господствующаго панегирика, нарушеніе красивой декораціи, къ которой привыкли въ торжественной одѣ, какъ въ оффиціальной бумагѣ, — но также и притязаніе разсуждать о предметахъ, которые могли принадлежать только рѣшеніямъ подлежащаго вѣдомства. Понятно, что этотъ внѣшній патріотизмъ отвѣчалъ извѣстной ступени развитія самого общества: оно удовлетворялось имъ, пока не назрѣла потребность отдать себѣ отчетъ во внутреннихъ условіяхъ своего существованія. Въ XVIII вѣкѣ эти докучливые вопросы, на которые трудно было отвѣтить въ „улыбательномъ" духѣ, были сурово отстранены; но они составляли слишкомъ серьезный интересъ для нравственнаго чувства общества, которое видѣло и ихъ важность государственную. Въ первые годы царствованія Алек-

сандра, эта важность ихъ для государства была въ значительной мѣрѣ сознана; общество ожидало крупныхъ преобразованій, и интересы общественнаго блага и чувство гражданскаго долга стали распространяться все въ большемъ кругу людей образованныхъ, и ожиданія становились тѣмъ болѣе нетерпѣливы во второй половинѣ царствованія. Это настроеніе затронуло Пушкина еще въ лицейскіе годы, и біографы его думаютъ, что стихотвореніе „Лицинію", написанное въ подражаніе Ювеналу, заключаетъ намеки на Аракчеева. По выходѣ изъ лицея, Пушкинъ встрѣтилъ еще болѣе возбужденій въ этомъ направленіи, и цѣлый рядъ стихотвореній и эпиграммъ указывалъ его сочувствія къ либеральной сторонѣ общественнаго мнѣнія, а вскорѣ послужилъ и причиною его первой ссылки. Но это направленіе его мысли и поэзіи не было прочно: впослѣдствіи, когда онъ не видѣлъ кругомъ себя людей, непосредственно затрогивавшихъ его чувство своимъ одушевленіемъ, передъ нимъ стала открываться другая сторона дѣйствительности. Полное паденіе политическихъ замысловъ, которыхъ онъ въ точности не зналъ, но которые угадывалъ въ средѣ ближайшихъ людей, указало ему ихъ фантастическую сторону, и онъ если не отказался совсѣмъ отъ своего скоропреходящаго либерализма, то сильно къ нему охладѣлъ и преклонился передъ силой государственности,—которая оставалась попрежнему одностороннею. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ не могъ быть политическимъ дѣятелемъ, по всѣмъ свойствамъ своей натуры; онъ слишкомъ поглощенъ былъ художественнымъ творчествомъ, слишкомъ увлекался непосредственною жизнью, которая захватывала его лично и искала потомъ своего выраженія въ поэзіи. Но его общественныя увлеченія были закрѣплены въ художественныхъ произведеніяхъ, проникнутыхъ истинной поэзіей и искренностью данной минуты, и онѣ оставляли не одно поэтическое впечатлѣніе: поэтъ являлся сторонникомъ того или другого общественнаго направленія. Отсюда долго тянувшіеся споры о томъ, какая сторона нашего общественнаго развитія имѣла въ Пушкинѣ своего послѣдователя и защитника: когда одни указывали въ немъ приверженца общественной свободы, другіе приписывали ему поэтическое утвержденіе оффиціальнаго консерватизма; извѣстный пастырь церкви предавалъ его суровому осужденію и т. д. Колебанія Пушкина были именно колебаніями не мыслителя, а художника, который не разрѣшалъ теоретическихъ вопросовъ, но увлекался движеніями чувства, былъ способенъ заразиться благороднымъ энтузіазмомъ, дать ему высокое поэтическое выраженіе, но въ другихъ условіяхъ могъ от-

кликнуться и на другіе мотивы,—въ обоихъ случаяхъ искренно и сохраняя теплое сочувствіе къ тѣмъ падшимъ идеалистамъ, дѣло которыхъ стало для него чуждо, но въ которыхъ онъ продолжалъ цѣнить самоотверженное убѣжденіе.

Подобное колебаніе мы встрѣтимъ въ еще болѣе возвышенной области—въ области идей религіозныхъ. Въ первоначальной эпикурейской поэзіи Пушкина греческая миѳологія какъ будто не даромъ заняла такое обширное мѣсто: культъ наслажденія жизнью былъ далеко не христіанскій. Въ обычномъ воспитаніи, а тогда особенно, въ юношескую пору рѣдко являлась мысль о спасеніи души: это было естественное отраженіе господствующихъ нравовъ, а у Пушкина въ частности было слѣдствіемъ его ранняго чтенія. Въ болѣе зрѣлые годы, покинувъ легкомысленное отношеніе къ предметамъ вѣры, Пушкинъ былъ человѣкомъ религіознымъ. Одинъ изъ біографовъ примѣняетъ къ Пушкину слова, сказанныя имъ о Байронѣ по поводу одного случая въ жизни англійскаго поэта: „если въ этомъ случаѣ вмѣшивалось отчасти и суевѣріе, то все-таки видно, что вѣра внутренняя перевѣшивала въ душѣ Байрона скептицизмъ, выказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной“. Надо признать, что религіозное вольномысліе было опять вычитанное и поддержано было окружающей средой, не выражая его настоящаго настроенія. Впослѣдствіи Пушкинъ глубоко раскаялся въ этомъ „временномъ своенравіи“, но фактъ оставался, —и подобные факты объясняютъ, между прочимъ, то крайне враждебное отношеніе къ Пушкину, какое находимъ, напримѣръ, въ воспоминаніяхъ бар. Корфа.

Въ 1817 былъ первый выпускъ воспитанниковъ лицея. Они разошлись по различнымъ служебнымъ дорогамъ; такую дорогу надо было выбрать и Пушкину. Вопросъ былъ для него трудный: онъ считалъ себя, и справедливо, совершенно неспособнымъ къ канцелярской службѣ, и нелегко было найти для него дѣло, которое могло интересовать его,—онъ зачислился въ министерство иностраннныхъ дѣлъ, исполняя только номинальную службу. Но для него началась иная дѣятельная и тревожная жизнь. Въ общество онъ вступилъ юношей, но уже съ извѣстнымъ именемъ, и время его дѣлилось между литературными интересами и разсѣянной жизнью въ средѣ молодежи съ шумными удовольствіями, дуэлями и излишествами, доводившими до опасныхъ болѣзней. Въ молодомъ кругу онъ встрѣчалъ не только эту рас-

пущенность; въ средѣ его друзей и знакомыхъ бывали люди съ серьезными мыслями: еще въ лицеѣ выдѣлялись люди какъ кн. А. М. Горчаковъ (будущій канцлеръ), Вальховскій, Пущинъ; одинъ своими дарованіями, обѣщавшими при аристократическихъ связяхъ блестящую карьеру; другой—необычайною выдержанностью характера, по которой еще въ лицеѣ называли его спартанцемъ; третій—рано развившимся чувствомъ гражданскаго долга, которое тотчасъ по выходѣ изъ лицея завлекло его въ тайное общество. Пушкинъ встрѣтился опять съ Чаадаевымъ и особенно со многими другими людьми, которые были тогда въ разгарѣ своихъ политическихъ увлеченій: это была та атмосфера заговоровъ, которая разрѣшилась потомъ вспышкою 14 декабря. Самъ Пушкинъ не былъ въ заговорѣ—тѣмъ больше, что скоро долженъ былъ покинуть Петербургъ,—но, какъ онъ самъ послѣ замѣчалъ, о тайныхъ обществахъ знали всѣ; вскорѣ зналъ о заговорѣ самъ императоръ Александръ, но не давалъ хода получавшимся донесеніямъ, предполагая, вѣроятно, что дѣло не дойдетъ до фактическихъ крайностей и ограничится либеральными разговорами. Впослѣдствіи, когда Пущинъ навѣстилъ своего друга въ его псковской деревнѣ, разговоръ близко коснулся этого предмета, но Пущинъ не высказался, а Пушкинъ не настаивалъ; раньше, когда Пушкинъ на югѣ Россіи оказался опять въ кругу людей, близкихъ къ заговору или къ нему уже принадлежавшихъ, имъ опять овладѣло желаніе стать въ ряды тайнаго общества,—въ то время казалось, что не было иного средства воздѣйствовать на положеніе вещей, кромѣ тайнаго союза убѣжденныхъ людей, согласно дѣйствующихъ для одной цѣли. Ни раньше, ни послѣ Пушкина не ввели въ тайное общество; но въ ту минуту онъ вполнѣ раздѣлялъ и мечты о будущей свободѣ, и негодованіе либераловъ противъ обскурантизма, который во второй половинѣ царствованія все болѣе и болѣе расширялся, ведя за собой грубый произволъ и грубое лицемѣріе, выдававшее себя за истинный патріотизмъ. Свободолюбивыя стихотворенія Пушкина изъ этой эпохи, къ которымъ присоединялись язвительныя эпиграммы,—быстро распространялись въ обществѣ, имя Пушкина пріобрѣтало первую славу; ему приписывали и другія подобныя произведенія, которыхъ онъ не былъ авторомъ.

Но въ то же время завязывались и другія отношенія. Еще лицеистомъ Пушкинъ былъ высоко оцѣненъ писателями, стоявшими тогда во главѣ русской литературы; теперь онъ вступалъ въ ихъ кругъ равноправнымъ товарищемъ, зачисленъ былъ въ пресловутый „Арзамасъ“ съ обычнымъ псевдонимомъ,—но былъ

впрочемъ уже только на послѣднемъ его собраніи въ концѣ 1817. Во главѣ этого круга стоялъ Карамзинъ: Пушкинъ бывалъ въ его домѣ; Карамзинъ цѣнилъ его большое дарованіе, впослѣдствіи выручалъ его въ опасныхъ случаяхъ, но рѣшительно не одобрялъ его вольнодумства, какъ осуждалъ и всѣхъ „либералистовъ" вообще. Жуковскій питалъ къ Пушкину нѣжную привязанность, на которую тотъ отвѣчалъ тѣмъ же, хотя и относительно Жуковскаго не воздержался отъ эпиграммы. Въ „Арзамасѣ" былъ и Михаилъ Орловъ, который, повидимому, былъ извѣстенъ Пушкину и по другимъ отношеніямъ; нѣкоторыхъ другихъ членовъ „Арзамаса" Пушкинъ не любилъ, угадывая въ нихъ только поверхностное и въ сущности холодное отношеніе къ интересамъ литературы. Другой литературный кружокъ составляли либеральные друзья Пушкина, изъ которыхъ выдавались Александръ Бестужевъ и Рылѣевъ; кн. Вяземскій занималъ середину между старымъ поколѣніемъ арзамасцевъ и новымъ литературнымъ кругомъ, но былъ въ тѣсныхъ дружескихъ связяхъ съ Пушкинымъ; Грибоѣдовъ стоялъ особнякомъ, и его слава была еще впереди; наконецъ, Пушкинъ сближался съ тѣмъ литературнымъ лагеремъ, который хранилъ старыя псевдо-классическія преданія, напримѣръ, съ Оленинымъ и Катенинымъ...

Такъ шла эта жизнь въ кругу „безумцевъ молодыхъ", среди „легкокрылой любви" и „легкокрылаго похмѣлья", но и среди работы, въ которой урывками, но неизмѣнно шло впередъ развитіе его таланта. Пушкинъ по прежнему думалъ:

Пока живется намъ, живи...
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай роптанье:
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить
Съ Киѳерой, съ Портикомъ и съ книгой и съ бокаломъ,
Что умъ высокій можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Что среди шумной и безпорядочной жизни не прерывалась эта серьезная работа его мысли, свидѣтельствуютъ стихотворенія, въ которыхъ онъ обращается къ завѣтнымъ мечтамъ и къ глубокимъ вопросамъ искусства. Таковы стихотворенія 1819 года: „Деревня", гдѣ онъ говоритъ объ этой интимной работѣ своего ума и рядомъ рисуетъ мрачную картину народнаго рабства и кончаетъ знаменитыми стихами:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?...

—и „Возрожденіе“, гдѣ онъ изъ „заблужденій измученной души“ вызываетъ видѣнія чистыхъ дней...

Такъ рано, вмѣстѣ съ тѣмъ, заявляется свобода художническаго вдохновенія и предчувствуется возможность разрыва поэта съ чернью, т.-е. не понимающимъ его обществомъ. Но напрасно онъ думалъ, что можно презирать роптанье черни: роптанье превратилось въ доносы, и вслѣдствіе ихъ въ маѣ 1820 года Пушкинъ долженъ былъ удалиться изъ Петербурга въ свою первую ссылку, когда допечатывалась его первая поэма: „Русланъ и Людмила“.

Пушкинъ на шесть лѣтъ былъ оторванъ отъ Петербурга и отъ литературныхъ круговъ. Жизнь его обставлена была новыми условіями, продолжались личныя тревоги и столкновенія своеволій ума и характера съ дѣйствительностью, отъ которой получался суровый отпоръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ представлялись новыя сильныя впечатлѣнія, расширялся поэтическій горизонтъ и зрѣла мысль. Послѣдніе два года ссылки, въ псковской деревнѣ, прошли почти въ полномъ уединеніи, и если прежде, въ самые бурные періоды, онъ способенъ былъ отрѣшиться отъ разсѣянной жизни и личныхъ невзгодъ и удаляться въ сокрытый для другихъ поэтическій міръ, то теперь его творчество тѣмъ болѣе сосредоточивалось и крѣпло. На югѣ Россіи кромѣ другихъ произведеній, былъ начатъ „Евгеній Онѣгинъ“; въ Михайловскомъ, 1825, былъ законченъ „Борисъ Годуновъ“.

За этотъ періодъ сложились уже и основные литературные взгляды Пушкина, и важно отмѣтить ихъ (иногда заходя нѣсколько впередъ), потому что, независимо отъ самыхъ произведеній Пушкина, эти взгляды составляли историческій фактъ. Не всегда они были въ свое время высказаны въ печати; большею частью они стали извѣстны уже позднѣе, даже только къ нашему времени, когда собрана почти вся переписка Пушкина; но если они—въ томъ составѣ, какъ мы знаемъ ихъ теперь—не имѣли непосредственнаго дѣйствія въ свое время, то въ ближайшемъ кругу были извѣстны и во всякомъ случаѣ составляютъ фактъ историческаго сознанія, важный для объясненія его дальнѣйшаго развитія. Въ этихъ взглядахъ Пушкина найдется многое, что установляла впослѣдствіи критика Бѣлинскаго.

Еще не задолго передъ тѣмъ, напримѣръ у Батюшкова, при всей враждѣ къ упрямымъ поклонникамъ стараго слога, былъ еще силенъ авторитетъ нашихъ классиковъ XVIII вѣка. Пушкинъ едва ли не первый самостоятельно высказался объ

этихъ долго неприкосновенныхъ авторитетахъ: отдавая должное ихъ заслугѣ, онъ прямо говорилъ о томъ, что находилъ у нихъ грубымъ и варварскимъ. Впослѣдствіи Бѣлинскій подвергался жестокимъ обвиненіямъ за неуваженіе къ „великимъ именамъ нашей литературы“, между прочимъ къ Ломоносову. Но гораздо раньше Пушкинъ старался установить историческій взглядъ на Ломоносова, въ которомъ видѣлъ ученаго, но не поэта. Онъ цѣнилъ въ Ломоносовѣ человѣка великаго ума и силы воли. „Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ, онъ все испыталъ и все проникъ... Первый углубляется въ исторію отечества, утверждаетъ правила общественнаго языка его, даетъ законы и образцы классическаго краснорѣчія, съ несчастнымъ Рихманомъ предугадываетъ открытія Франклина, учреждаетъ фабрику, самъ сооружаетъ махины, даритъ художества мозаическими произведеніями и, наконецъ, открываетъ намъ истинные источники нашего поэтическаго языка... Но если мы станемъ изслѣдовать жизнь Ломоносова, то найдемъ, что науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ; стихотворство же иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали бы въ первомъ нашемъ лирикѣ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія“. Такъ писалъ онъ въ 1825. Позднѣе, въ 1834, онъ говоритъ опять о Ломоносовѣ, какъ единственномъ самобытномъ подвижникѣ просвѣщенія между Петромъ I и Екатериной II, но отзывъ объ его поэзіи еще строже. „Онъ создалъ первый университетъ, онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ. Но въ семъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекательный. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый... Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ“. При всемъ томъ Пушкинъ самаго высокаго мнѣнія объ его ученыхъ заслугахъ и характерѣ и относительно стариннаго меценатства (сохранявшагося въ англійской литературѣ и до новѣйшаго времени) замѣчаетъ, что Ломоносовъ тѣмъ не менѣе сохранилъ все свое достоинство, и прибавляетъ: „Формы ничего

не значатъ. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ людей, несмотря на ихъ смиренныя посвященія, а господа NN все такъ же презрительны, несмотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдуютъ благородную гордость, и что они свои сочиненія посвящаютъ не доброму и умному вельможѣ, а какому-нибудь бестіи и плуту, подобному имъ".

Тредьяковскаго Пушкинъ бралъ подъ свою защиту. Это былъ почтенный человѣкъ. „Его филологическія и грамматическія изъясненія очень замѣчательны. Онъ имѣлъ о русскомъ стихосложеніи обширнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, и мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидѣ находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ" [1],—Пушкину не показалось страннымъ, что стихами переводилась вещь, написанная въ прозѣ [2].

Свое мнѣніе о Сумароковѣ, который еще пользовался тогда большимъ почетомъ у литературныхъ старовѣровъ, Пушкинъ высказалъ въ посланіи къ Жуковскому (1817):

Но кто другой [3], въ дыму безумнаго куренья,
Стоитъ среди толпы друзей непросвѣщенья?
Торжественной хвалы къ нему несется шумъ,
А онъ—онъ риѳмою попралъ и вкусъ, и умъ.
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ,
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?
Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ?
Ему ль оспаривать тотъ лавровый вѣнецъ,
Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ пѣвецъ,
Веселье россіянъ, полунощное диво? и т. д.

Послѣдній стихъ относился къ Ломоносову. Въ статьѣ о драмѣ (1830) онъ опять говоритъ о Сумароковѣ, „несчастнѣйшемъ изъ подражателей": „Трагедіи его, исполненныя противосмыслія, писанныя варварскимъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились двору Елизаветы, какъ новость, какъ подражаніе парижскимъ увеселеніямъ.

---

[1]) И въ письмѣ къ Лажечникову въ ноябрѣ 1826 по поводу романа „Ледяной Домъ": „За Василія Тредьяковскаго, признаюсь, я готовъ съ вами поспорить. Вы оскорбляете человѣка достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей" и т. д.

[2]) Но въ посланіи къ Жуковскому (1817), несмотря на это чувство изящнаго—„предъ нимъ растерзанный стенаетъ Телемахъ".

[3]) Послѣ Тредьяковскаго.

Сіи вялыя, холодныя произведенія не могли имѣть никакого вліянія на народное пристрастіе".

Извѣстны отзывы Пушкина о Державинѣ: это—„скальдъ Россіи вдохновенный" въ „Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ" (1815), читанныхъ Пушкинымъ въ присутствіи самого Державина; это—„бичъ вельможъ" (въ посланіи къ цензору, 1824); это—поэтъ, который смѣло владѣлъ русскимъ языкомъ и вообще великая сила. Но почтеніе къ Державину далеко не безусловное,—такъ въ письмахъ къ Бестужеву и къ Дельвигу (1825): „Кумиръ Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовой, донынѣ еще не оцѣненъ". Или слѣдующій подробный отзывъ:... „Перечелъ я Державина всего, и вотъ мое окончательное мнѣніе. Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ и ниже Ломоносова); онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи—ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Чтò же въ немъ? мысли, картины и движенія истинно поэтическія; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный переводъ съ какого-то чуднаго подлинника. Ей Богу, его геній думалъ по-татарски, а русской грамоты не зналъ за недосугомъ. Державинъ, со временемъ переведенный, изумитъ Европу, а мы изъ гордости народной не скажемъ всего, чтò мы знаемъ объ немъ (не говоря уже о его министерствѣ); у Державина должно сохранить будетъ одъ восемь, да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь".

Такимъ образомъ—совершенно опредѣленное представленіе о писателяхъ прошлаго вѣка, и Пушкинъ не колеблется признать за ними только историческое значеніе или совершенно отвергнуть всякое литературное достоинство. Въ сущности это были первые зачатки историко-художественной критики, которую уже вскорѣ предпринялъ Бѣлинскій. Разсчеты съ XVIII вѣкомъ были кончены.

Радищеву Пушкинъ посвятилъ двѣ обширныя статьи (1834, 1836), смыслъ которыхъ до сихъ поръ не вполнѣ ясенъ для біографовъ. Пушкинъ подвергъ „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву" суровому осужденію, признавая, впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ благородство его мыслей и правдивость: біографы затрудняются рѣшить, было ли это осужденіе дѣйствительнымъ мнѣніемъ Пушкина, или это былъ искусственный пріемъ, чтобы получить возможность говорить о Радищевѣ въ виду цензурныхъ затрудненій. Во всякомъ случаѣ Пушкинъ давно признавалъ за

Радищевымъ большое значеніе. По поводу одного изъ обзоровъ русской словесности Бестужева Пушкинъ писалъ ему въ 1823: „Покамѣстъ жалуюсь тебѣ объ одномъ: какъ можно въ статьѣ о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будемъ помнить? Это молчаніе непростительно... я отъ тебя его не ожидалъ". Радищевъ упомянутъ въ посланіи къ цензору (1824), какъ „рабства врагъ", и наконецъ въ варіантѣ стиховъ „Памятника", гдѣ въ первоначальной редакціи предпослѣдняя строфа заключала знаменательное воспоминаніе о Радищевѣ [1]).

Изъ современныхъ писателей старшаго поколѣнія Пушкинъ выше всѣхъ почиталъ Карамзина. Извѣстны восторженные отзывы объ „Исторіи государства россійскаго": „древняя Россія казалась найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ"; „у насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное созданіе Карамзина, зато никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12-ть лѣтъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ"; „Исторія государства россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ честнаго человѣка" [2]), и пр. Онъ упоминаетъ о негодованіи „молодыхъ якобинцевъ", которые были недовольны размышленіями въ пользу самодержавія; но Карамзинъ „разсказывалъ со всею вѣрностію историка, онъ вездѣ ссылался на источники". „Нѣкоторые остряки,—продолжаетъ Пушкинъ,—за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина. Римляне временъ Тарквинія, не понимающіе спасительной монархіи, и Брутъ, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, ибо рѣдко основатели республикъ славятся нѣжною чувствительностію, конечно, были очень смѣшны. Мнѣ приписали одну изъ лучшихъ русскихъ эпиграммъ; это не лучшая черта моей жизни" [3]). Эпиграмма принадлежитъ тому времени, когда самъ Пушкинъ бывалъ друженъ съ молодыми якобинцами и повидимому поддавался ихъ вліянію; кромѣ того, у него было тогда, повидимому, и личное раздраженіе противъ Карамзина. Въ 1826 году онъ писалъ князю Вяземскому: „Что ты называешь моими эпиграммами противъ Карамзина? Довольно и одной, написанной мною въ такое

[1]) И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу
И милосердіе воспѣлъ.

[2]) Остатки автобіографіи (1825—1826).

[3]) Пушкину приписываются двѣ эпиграммы на Карамзина: самъ онъ какъ будто признаетъ только одну, какъ и дальше въ письмѣ къ князю Вязескому.

время, когда Карамзинъ меня отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе, и сердечную къ нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна; а другія, сколько знаю, глупы и бѣшены. Ужели ты мнѣ ихъ приписываешь?" Передъ тѣмъ, когда онъ доканчивалъ „Бориса Годунова" и читалъ послѣдніе томы Карамзина, онъ писалъ Жуковскому, въ 1825: „Что за чудо эти два послѣдніе тома Карамзина! Какая жизнь! C'est palpitant comme la gazette d'hier". Впослѣдствіи, въ статьѣ объ „Исторіи русскаго народа" Полевого, онъ ревностно защищалъ Карамзина отъ нападеній новаго историка, а затѣмъ имѣлъ даже слабость одобрять частный обвинительный актъ, составленный кн. Вяземскимъ противъ новыхъ писателей, не уважившихъ будто бы твореній Карамзина и подрывавшихъ истинную любовь къ отечеству,—странно читать, что этотъ актъ направленъ былъ тогда въ особенности противъ Устрялова...

Карамзинъ въ глазахъ Пушкина былъ не только великій писатель, но и честный человѣкъ: это могло относиться къ твердости убѣжденій, которыхъ Карамзинъ не уступалъ самому имп. Александру, но и къ его литературной дѣятельности вообще, къ той рѣшимости, съ которою онъ предпринялъ свой продолжительный историческій трудъ. Карамзинъ давно уже представлялся Пушкину примѣромъ мужества въ литературномъ служеніи. Въ 1817, вступая на свое литературное поприще и предвидя борьбу съ врагами, онъ говорилъ въ посланіи къ Жуковскому: „мнѣ твердый Карамзинъ—мнѣ ты примѣръ!" Въ письмѣ къ Бестужеву въ 1825, онъ опять указываетъ молодымъ писателямъ примѣръ Карамзина: „ты, да, кажется, Вяземскій, одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; всѣ прочіе разучаются. Жаль! высокій примѣръ Карамзина долженъ былъ ихъ образумить". Но твореніе Карамзина тѣмъ не менѣе дало мотивы для „Исторіи села Горохина" (1830).

Въ замѣткѣ 1822 года, Пушкинъ пишетъ: „Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей литературѣ? Отвѣтъ: Карамзина". Въ тѣ времена рядомъ съ прозаикомъ Карамзинымъ ставили поэта Дмитріева, которому приписывали такое же усовершенствованіе русскаго стиха, какое сдѣлано было Карамзинымъ въ прозѣ. Пушкинъ, кажется, только однажды отозвался о Дмитріевѣ съ нѣкоторой похвалой, говоря о его книжкѣ „Путешествіе NN въ Парижъ и Лондонъ", но свое настоящее мнѣніе онъ нѣсколько разъ повторилъ въ письмахъ, и оно было крайне неблагопріятно. Въ общемъ хорѣ восхваленій Дмитріева одни отзывы Пуш-

кина представляются справедливой оцѣнкой этого писателя. Въ самомъ дѣлѣ, Дмитріевъ не совершилъ особеннаго подвига въ отрицаніи старой напыщенной поэзіи, потому что самъ служилъ ей довольно усердно; въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, восхваленія Дмитріева становились преувеличеннымъ комплиментомъ литературному ветерану и наконецъ безвкусіемъ, противъ котораго и возставалъ Пушкинъ. Еще въ письмѣ Гнѣдичу, 1822, онъ высказываетъ мысль, что начинавшееся тогда вліяніе англійской словесности на русскую „будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве". Въ 1823 кн. Вяземскій написалъ извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ Дмитріева къ новому изданію его сочиненій. Пушкинъ, еще не видавъ этой біографіи, но зная отношеніе кн. Вяземскаго къ этому писателю, уже напалъ на него въ письмѣ отъ марта 1824. Сохранились черновые наброски этого письма [1]). Пушкинъ, повидимому, не рѣшился сказать всей правды своему другу, но въ этихъ черновыхъ мы читаемъ слѣдующее: „О Дмитріевѣ спорить съ тобою не стану, хотя всѣ его басни не стоятъ одной хорошей басни Крылова, всѣ его сатиры — одного изъ твоихъ посланій, а все прочее — перваго стихотворенія Жуковскаго; по мнѣ, Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократъ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны въ дурномъ родѣ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, что нѣтъ мочи... Грустно мнѣ видѣть, что все у васъ клонится Богъ знаетъ куда! Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налѣво и направо, порастрясти старыя репутаціи, приструнить новыя и показать истину, а ты покровительствуешь старому вралю". Въ письмѣ къ Бестужеву (въ мартѣ 1825) по поводу его „Взгляда на русскую словесность", гдѣ тотъ говорилъ, что у насъ есть критика и нѣтъ литературы, Пушкинъ говоритъ, что, напротивъ, у насъ вовсе нѣтъ критики, что до сихъ поръ не оцѣненъ Державинъ, что „Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою, Богдановичъ причисленъ къ лику великихъ поэтовъ, Дмитріевъ также".

При всемъ великомъ уваженіи Пушкина къ Карамзину, при всемъ вниманіи, которое послѣдній ему оказывалъ, эти отношенія не могли быть вполнѣ близки: слишкомъ дѣлили ихъ возрастъ, характеры, и самое различіе областей литературы: у Карамзина недостало, наконецъ, терпѣливой снисходительности къ

[1]) Они невѣрно размѣщены въ изданіи Литературнаго Фонда; ср. т. VII, стр. 57 и 73.

молодымъ рѣзкостямъ Пушкина, такъ что между ними, наконецъ, наступило охлажденіе. Но взамѣнъ былъ у Пушкина другъ съ начала до конца неизмѣнный, поэтъ, который рано почуялъ и встрѣтилъ съ великою любовью необычайный талантъ, какого не видала еще русская литература, наконецъ, исполненный благодушія человѣкъ, который если не находилъ иногда оправданія для иныхъ поступковъ Пушкина, то всегда былъ готовъ на участіе и помощь въ бѣдѣ. Съ своей стороны Пушкинъ едва ли къ кому-нибудь питалъ такое прочное и теплое сочувствіе, какъ къ Жуковскому. Послѣдній зналъ Пушкина еще ребенкомъ въ домѣ его отца, потомъ навѣщалъ его въ лицеѣ; главнымъ образомъ черезъ него Пушкинъ вступилъ въ избранный кружокъ „Арзамаса", и добродушный юморъ Жуковскаго также способствовалъ укрѣпленію взаимной привязанности. По тогдашнему обычаю поэты дѣлились своими мыслями въ посланіяхъ, и въ 1817, рѣшивъ свое поэтическое поприще, Пушкинъ пишетъ посланіе къ Жуковскому, гдѣ представлялись ему впередъ трудности этого поприща, недоброжелательство враговъ, но гдѣ высказалось также и сознаніе великой задачи и трогательная увѣренность въ опорѣ у старшаго друга. „Благослови, поэтъ!" — этими словами Пушкинъ начиналъ свое посланіе, и, сказавъ, какъ первые шаги его ободрили своимъ вниманіемъ Карамзинъ, Державинъ, Дмитріевъ, онъ обращается къ Жуковскому:

И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не ты ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья,
Лечу къ безвѣстному отважною мечтой,
И, мнится, геній вашъ промчался надо мной.

Впослѣдствіи, въ VIII главѣ „Онѣгина" (въ варіантахъ), Пушкинъ вспоминаетъ Жуковскаго:

И ты, глубоко вдохновленный,
Всего прекраснаго пѣвецъ,
Ты, идолъ дѣвственныхъ сердецъ!
Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный,
Не ты ль мнѣ руку подавалъ
И къ славѣ чистой призывалъ?

Жуковскій былъ дорогъ Пушкину вдвойнѣ, и какъ рѣдкій характеръ, и какъ поэтъ. Ни къ кому Пушкинъ не обращался съ такою полною довѣрчивостью, убѣжденный иной разъ какъ капризное дитя, что для него сдѣлано будетъ все, а вмѣстѣ съ тѣмъ ни у кого изъ старшаго поколѣнія и изъ сверстниковъ Пушкинъ не находилъ такого возвышеннаго представленія о поэзіи, ея художественной и нравственной задачѣ: Пушкинъ развилъ это представленіе, но остался въ томъ же высокомъ тонѣ пониманія. Самъ Жуковскій былъ тогда въ полномъ развитіи своего таланта; еще можно было ожидать его самостоятельныхъ твореній, но и въ то время Пушкинъ ставилъ его очень высоко какъ переводчика, открывшаго путь романтизму, и какъ великаго мастера стиха. Въ молодомъ поколѣніи двадцатыхъ годовъ сказывалось иногда недовольство Жуковскимъ, особливо тѣмъ мистическимъ оттѣнкомъ, который такъ часто придавалъ онъ своему романтизму; Рылѣевъ находилъ этотъ мистицизмъ даже вреднымъ; но Пушкинъ постоянно былъ на сторонѣ Жуковскаго. „Зачѣмъ, — писалъ онъ Рылѣеву въ январѣ 1825,—зачѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки прорѣзались? Что̀ ни говори, Жуковскій имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности; къ тому же, переводный слогъ его останется навсегда образцовымъ. Охъ, ужъ эта мнѣ республика словесности! За что̀ корить? За что̀ вѣнчать?“ Въ маѣ того же 1825 года, онъ пишетъ Вяземскому, по поводу статьи послѣдняго въ „Телеграфѣ“ о Пушкинѣ и Жуковскомъ: „Ты слишкомъ бережешь меня въ отношеніи къ Жуковскому. Я не слѣдствіе, а точно ученикъ его, и только тѣмъ и беру, что не смѣю сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имѣлъ и не будетъ имѣть слога, равнаго въ могуществѣ и разнообразіи слогу его. Въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычайный. Переводы избаловали его, излѣнили; онъ не хочетъ самъ созидать; но онъ, какъ Фоссъ, геній перевода. Къ тому же смѣшно говорить объ немъ, какъ объ отцвѣтшемъ, тогда какъ слогъ его еще мужаетъ. Былое сбудется опять, а я все чаю въ воскресеніе мертвыхъ“.

На Жуковскаго Пушкинъ возлагалъ свои надежды въ критическія минуты при началѣ новаго царствованія. Когда кончилась ссылка и Пушкинъ вернулся въ Петербургъ, ихъ отношенія стали еще тѣснѣе, чѣмъ бывали прежде: это былъ испытанный другъ и въ ту минуту единственный равносильный поэтъ; еще въ началѣ 1820 года, когда Пушкинъ окончилъ „Руслана и Людмилу“, Жуковскій подарилъ ему свой портретъ съ подписью:

„ученику побѣдителю отъ побѣжденнаго учителя". Лѣто и осень въ 1831 году Пушкинъ провелъ въ Царскомъ Селѣ, гдѣ жилъ тогда же Жуковскій, такъ какъ здѣсь былъ и дворъ по случаю холеры. Здѣсь между Пушкинымъ и Жуковскимъ происходило извѣстное поэтическое состязаніе въ сказкахъ: Жуковскій написалъ тогда „Спящую царевну", „Сказку о царѣ Берендеѣ", „Войну мышей и лягушекъ", Пушкинъ—сказку „О попѣ" (переименованномъ въ печати въ купца Остолопа) „и его работникѣ" и сказку о царѣ Салтанѣ; вмѣстѣ они издали тогда и „Три стихотворенія на взятіе Варшавы" [1]... По смерти Пушкина, когда дѣлалось изданіе его сочиненій, Жуковскій иногда исправлялъ ихъ...

И другой поэтъ изъ предшествовавшаго поколѣнія имѣлъ свою долю въ образованіи таланта Пушкина: это былъ Батюшковъ. Послѣдній зналъ семейство Пушкиныхъ, и юнаго поэта встрѣтилъ въ первый разъ, повидимому, въ 1815. Но еще въ 1814 г. Пушкинъ адресовалъ Батюшкову посланіе съ поэтическими привѣтствіями къ парнасскому „счастливому лѣнивцу" и наперснику Аонидъ, и съ вызовами на новую широкую дѣятельность, и оканчивалъ такъ:

Но что? Цѣвницею моею.
Безвѣстный въ мірѣ семъ поэтъ,
Я пѣсни продолжать не смѣю.
Прости—но помни мой совѣтъ:
Доколѣ, музами любимый.
Ты Піэридъ горишь огнемъ,
Доколь, сраженъ стрѣлой незримой,
Въ подземный ты не снидешь домъ,
Мірскія забывай печали,
Играй: тебя, младой Назонъ,
Эротъ и Граціи вѣнчали,
А лиру строилъ Аполлонъ.

Второе посланіе Баюшкову, писанное въ 1815, является отвѣтомъ на предложеніе Батюшкова предпринять серьезный поэтическій трудъ и именно, простясь съ Анакреономъ, воспѣть войны кровавый пиръ, по примѣру Марона; Пушкинъ отклоняетъ трудную задачу, которая ему не по силамъ, и кончаетъ стихомъ, взятымъ изъ посланія Жуковскаго къ тому же Батюшкову: „будь всякій при своемъ"... Выше указано, что въ первыхъ поэтическихъ опытахъ Пушкинъ имѣлъ уже готовые и привычные образцы во французской поэзіи; но тѣми же Вольтеромъ, Парни

[1] Объ этихъ отношеніяхъ ср. Загарина, „Жуковскій" и пр., изд. 2-е, стр. 458 469, 493—494.

и проч. увлекался въ свое время Батюшковъ, и возможно, что его обработка этихъ образцовъ не осталась безъ вліянія на выборъ и манеру Пушкина. Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ есть несомнѣнные слѣды подражаній Батюшкову [1]). Пушкинъ высоко ставилъ его заслугу въ обработкѣ русскаго поэтическаго языка, и въ замѣткѣ 1824 года считаетъ возможнымъ сказать: „Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова, сдѣлалъ для русскаго языка то же самое, что̀ Петрарка для итальянцевъ". Извѣстенъ разсказъ, что въ 1828 году Пушкинъ написалъ въ альбомъ одного знакомца свое стихотвореніе „Муза", и на вопросъ, почему онъ его выбралъ, отвѣчалъ: „я люблю его,—оно отзывается стихами Батюшкова". Батюшковъ, съ своей стороны, уже вскорѣ высоко оцѣнилъ въ Пушкинѣ необыкновенное искусство формы, которая ему видимо такъ легко давалась. Быстрые успѣхи молодого поэта даже возбуждали въ самолюбивомъ Батюшковѣ нѣкоторое соревнованіе и, говорятъ, онъ судорожно сжалъ въ рукахъ листокъ бумаги, на которомъ читалъ Пушкинское „Посланіе къ Юрьеву" (1818), и сказалъ: „О, какъ сталъ писать этотъ злодѣй"... Это показывало, какъ высоко ставилъ онъ дарованіе Пушкина; уже тогда Батюшковъ ссылался на его „чуткое ухо" и боялся только, чтобы онъ не растратилъ своего дарованія въ разсѣянной жизни: „да спасутъ его музы, да молитвы наши". Когда онъ познакомился съ отрывками „Руслана и Людмилы", онъ отзывался въ письмѣ къ кн. Вяземскому, что Пушкинъ „пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ", — а между тѣмъ, какъ замѣчаетъ біографъ Батюшкова, „поэма Пушкина упраздняла собою всѣ давно лелѣянные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведеніи съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины" [2]).

Позднѣе, когда талантъ Пушкина созрѣлъ и содержаніе литературы расширилось, очень измѣнилось и мнѣніе Пушкина о „наперсникѣ Аонидъ". Свидѣтельствомъ этого остались сообщенныя недавно любопытныя замѣтки Пушкина на экземплярѣ „Опытовъ" Батюшкова. Какъ полагаютъ, онъ перечитывалъ Батюшкова около 1826: вся книга покрыта отмѣтками Пушкина, выражающими одобреніе или неодобреніе относительно цѣлыхъ пьесъ и отдѣльныхъ стиховъ. Самая подробность замѣтокъ свидѣтельствуетъ, что Пушкину какъ будто хотѣлось провѣрить старыя впечатлѣнія и отдать себѣ отчетъ въ томъ, что̀ остается

[1]) Въ стихотвореніяхъ: „Къ сестрѣ", „Къ другу стихотворцу", „Городокъ" (1814), „Воспоминаніе" (1815).

[2]) Сочиненія Батюшкова. Спб. 1887, т. I, біографія, стр. 52—258.

дѣйствительно прекраснаго и прочнаго въ произведеніяхъ его недавняго любимца и учителя. Историческая повѣрка часто оказывалась не въ пользу Батюшкова, и очевидно, что въ ошибкахъ и слабыхъ сторонахъ поэзіи Батюшкова нерѣдко осуждались ошибки самого періода литературы,—имъ бывалъ причастенъ и самъ Пушкинъ въ его юношеской поэзіи.

Пушкина непріятно поражаетъ излишество подражанія. Объ одномъ мадригалѣ Батюшкова онъ замѣчаетъ: „переведенное остроуміе — плоскость“. По поводу „Моихъ пенатовъ“ Батюшкова, гдѣ по старому обычаю въ русскіе нравы замѣшивалась классическая миѳологія, Пушкинъ говоритъ: „Главный порокъ въ семъ прелестномъ посланіи есть слишкомъ явное смѣшеніе древнихъ обычаевъ миѳологіи съ обычаями жителя подмосковной деревни. Музы—существа идеальныя; христіанское воображеніе наше къ нимъ привыкло; но норы и кельи, гдѣ лары разставлены, слишкомъ переносятъ насъ въ греческую хижину, гдѣ съ неудовольствіемъ находимъ столъ съ изорваннымъ сукномъ и передъ каминомъ—суворовскаго солдата съ двуструнной балалайкой. Это все другъ другу слишкомъ уже противорѣчитъ“. Въ другомъ случаѣ онъ отмѣчаетъ нелѣпость: „сильваны, нимфы и наяды—межъ сыромъ выписнымъ и гамбургскимъ журналомъ!“... Самъ Пушкинъ (въ письмѣ къ Гнѣдичу, 1821), въ видѣ шутки, ставитъ рядомъ Феба и Казанскую Богоматерь, но подобныя сопоставленія бывали у него и не въ видѣ шутки. Онъ много разъ отмѣчаетъ у Батюшкова неловкости, излишества, неудачныя подробности, и не однажды въ его замѣткахъ стоитъ: „дурно“, „вяло“, „слабо“, даже „пошло“, „дрянь“. Въ стихотвореніи Батюшкова „Отвѣтъ Гнѣдичу“ начальные стихи:

Твой другъ тебѣ на вѣкъ отнынѣ
Съ рукою сердце отдаетъ,—

вызываютъ объясненіе Пушкина: „Батюшковъ женится на Гнѣдичѣ!“

Но въ другихъ случаяхъ Пушкинъ отмѣчаетъ истинно поэтическія мѣста, красивые обороты, удачные стихи. Къ тѣмъ самымъ Пенатамъ, въ которыхъ онъ находилъ частные недостатки, онъ дѣлаетъ такое общее замѣчаніе: „Это стихотвореніе дышетъ какимъ-то упоеніемъ роскоши, юности и наслажденія, слогъ такъ и трепещетъ, такъ и льется, гармонія очаровательна“. О посланіи къ Жуковскому Пушкинъ говоритъ: „Прекрасно, достойно блестящихъ и небрежныхъ шалостей французскаго остроумія,—

и вездѣ языкъ поэзіи"; но о стихахъ, обращенныхъ къ гр. Вьельгорскому, онъ рѣшаетъ: „преглупая піеса" и т. д. [1]).

Такъ, въ критическихъ замѣткахъ Пушкина совершалось уже историческое опредѣленіе литературныхъ фактовъ: указывалась ихъ цѣна для своего времени, но указывалось и все устарѣлое, ложное, непригодное для настоящаго, устранялись не въ мѣру восхваленные кумиры и извлекалось то, въ чемъ могъ быть источникъ живого литературнаго дѣйствія. Какъ выше замѣчено, эти взгляды Пушкина въ свое время только частію были высказаны въ печати, но и его неполныя и случайныя замѣтки свидѣтельствовали о новомъ, гораздо болѣе чѣмъ когда-нибудь прежде, высокомъ уровнѣ исторической и художественной оцѣнки и открыта была дорога для систематической критики, а вмѣстѣ съ тѣмъ для новаго литературнаго стиля было уже обязательно устраненіе устарѣлыхъ остатковъ XVIII вѣка.

Поэма „Русланъ и Людмила" произвела сильное впечатлѣніе. Это было первое крупное произведеніе Пушкина и казалось также первымъ открытымъ заявленіемъ русскаго романтизма,—по крайней мѣрѣ съ этихъ поръ усиленно заговорили о новой школѣ, которая должна была наконецъ свергнуть отжившій классицизмъ... Въ „Русланѣ" была опять связь съ прежними начинаніями. Жуковскій стремился создать нѣчто романтическое изъ русскаго народно-поэтическаго матеріала, но кромѣ нѣсколькихъ стиховъ въ его поэмѣ не было ничего русскаго; о подобной задачѣ думалъ Батюшковъ, но его попытки не имѣли результата. Поэма Пушкина казалась исполненіемъ этихъ давнихъ опытовъ и, повидимому, представляла всѣ условія романтическаго и національнаго произведенія. Въ обстоятельствахъ времени поэма имѣла всѣ данныя для успѣха: тема съ волшебными и героическими приключеніями казалась русской; живой разсказъ, изящный стихъ были увлекательны и новы даже послѣ Жуковскаго... Но представленіе о романтизмѣ у читателей и у самой критики было очень неопредѣленно...

О поэтическомъ изображеніи русской народности и старины мечтали еще съ конца прошлаго вѣка. Первые псевдо-классики думали удовлетворять этому трагедіями изъ древне-русской исторіи; писатели комедій и шуточныхъ поэмъ вводили сцены изъ простонароднаго быта—по старой теоріи народное было вульгарно

[1]) Майковъ, „Историко-литературные очерки". Спб. 1895, стр. 190—222.

и могло быть трактовано только въ низшемъ комическомъ родѣ. Затѣмъ, съ конца прошлаго вѣка явилось представленіе, что богатый источникъ поэзіи можетъ найтись въ безъискусственномъ народномъ преданіи—примѣромъ былъ прославившійся по всей Европѣ Оссіанъ. Непосредственный интересъ къ своему народному вызвалъ собираніе пѣсенъ. У насъ мало знали о Гердерѣ, но узнали о нѣмецкомъ романтизмѣ, который создавалъ цѣлый культъ средневѣковаго преданія, полу-рыцарскаго, полународнаго, исполненнаго мистической таинственности и первобытной глубины и нѣжности чувства... Державинъ, Карамзинъ, Радищевъ пытались возсоздавать сказочную старину, и въ новѣйшее время ее снова стали разыскивать Жуковскій и Батюшковъ. Пушкинъ еще въ лицеѣ началъ „Бову"... Народное и теперь смѣшивалось съ простонароднымъ — и не безъ основанія, потому что именно въ простомъ народѣ сохранялось множество первобытнаго преданія, богатаго поэзіей, самый подлинный русскій языкъ, и въ усвоеніи этого преданія литературѣ могъ быть сдѣланъ первый шагъ къ тому, чтобы литература, искусственная по формѣ, содержанію и языку и ограниченная только высшими классами, стала хотя бы въ извѣстной мѣрѣ народною. Но именно только первый шагъ, потому что для дѣйствительной народности содержанія нужно было бы, чтобы литература не довольствовалась анекдотическимъ сказочнымъ сюжетомъ, но предприняла изображеніе народной жизни въ ея истинномъ видѣ, съ ея поэзіей и дѣйствительностью. На это послѣднее литература еще не отваживалась. Старинный опытъ изображенія подлиннаго народнаго быта, сдѣланный въ „Путешествіи" Радищева, не нашелъ пока достаточно смѣлыхъ подражателей... Такимъ образомъ и теперь довольствовались тѣмъ пониманіемъ народности, которое заключало ее въ разработкѣ сказочнаго преданія, въ мѣстномъ внѣшнемъ колоритѣ, въ оттѣнкахъ языка. Въ сюжетъ „Руслана", отдаленно народный, трудно было вложить серьезный интересъ, и понятно, что Пушкинъ развивалъ его въ томъ шутливомъ и даже нескромно шутливомъ тонѣ, по которому въ поэмѣ находили нѣчто близкое къ Аріосту и Лафонтену—и къ Богдановичу... Тѣмъ не менѣе „Русланъ" сталъ событіемъ, потому что обѣщалъ для литературы новое направленіе содержанія и формы. За нимъ быстро послѣдовали другія произведенія съ характеромъ уже несомнѣнно романтическимъ: „Кавказскій Плѣнникъ", „Братья Разбойники", „Бахчисарайскій Фонтанъ", „Цыганы", написанные Пушкинымъ въ ссылкѣ на югѣ Россіи, въ новой обстановкѣ его личной жизни, а также и

подъ новымъ литературнымъ вліяніемъ, которое открылось для него въ Байронѣ. Въ то же время начатъ былъ „Евгеній Онѣгинъ“, а въ деревнѣ, въ 1825, былъ законченъ „Борисъ Годуновъ“, на которомъ сказалось вліяніе другого поэтическаго генія, Шекспира. Водвореніе „романтизма“ было полное.

Тогдашняя литература была переполнена толками о классицизмѣ и романтизмѣ. Насколько первый былъ ясенъ по цѣлому литературному періоду, по эстетической теоріи, настолько неясны и разнообразны были представленія о второмъ,—и это было естественно, потому что и на западѣ, хотя романтизмъ вполнѣ господствовалъ, онъ самостоятельно развился въ литературахъ нѣмецкой, англійской, французской, и еще не былъ возведенъ въ цѣльную эстетическую систему и не получилъ общаго историческаго объясненія; истолкованіе его на русской почвѣ было тѣмъ болѣе трудно, что у насъ онъ развился изъ условій, которыя нашей литературѣ были чужды. Нашъ романтизмъ возникалъ не изъ собственнаго источника, а по зависимости отъ литературъ западныхъ; но если водвореніе самого классицизма получало у насъ нѣкогда извѣстный смыслъ, какъ усвоеніе общей литературной почвы, то еще болѣе естественно было теперь усвоеніе романтизма. Это было опять пріобрѣтеніе общей почвы, но съ болѣе благопріятными данными, такъ какъ однимъ изъ основныхъ требованій новой литературной школы, почти во всѣхъ ея западныхъ отрасляхъ, было освобожденіе поэтическаго творчества отъ условныхъ ограниченій въ формѣ и содержаніи, а другимъ требованіемъ былъ элементъ національности: свободная дѣятельность творчества открывала для поэзіи новую обширную область внутренней жизни, которую романтики и стали изображать въ разнообразныхъ произведеніяхъ лирики, драмы, повѣсти и романа, а требованіе національнаго содержанія впервые узаконяло и вызывало тѣ изображенія общественной и народной жизни, въ которыхъ широко развернулись литературныя силы и была, наконецъ, усмотрѣна истинная цѣль литературы—ея національный характеръ, органическое служеніе своему народу, и съ этимъ ея нравственно-поэтическое достоинство.

Далѣе встрѣтимся съ различными представленіями русскихъ писателей о романтизмѣ и приведемъ здѣсь лишь нѣкоторыя мнѣнія Пушкина. Въ 1822 онъ говорилъ, что англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую и что оно будетъ полезнѣе вліянія робкой и жеманной французской поэзіи. Въ черновомъ письмѣ къ кн. Вяземскому въ 1823, Пушкинъ дѣлаетъ любопытныя замѣчанія о французскомъ романтизмѣ: Пуш-

кинъ не видитъ его въ Шенье, Парни и другихъ поэтахъ, которые казались романтическими, и замѣчаетъ о первомъ, что онъ изъ классиковъ классикъ, и далѣе: „Романтизма нѣтъ еще во Франціи, а онъ-то и возродитъ умершую поэзію. Помни мое слово—первый поэтическій геній въ отечествѣ Буало ударится въ такую свободу, что—что̀ твои нѣмцы!“ Это—точно предсказаніе о Викторѣ Гюго. Въ письмѣ къ Вяземскому, въ мартѣ 1824, онъ пишетъ объ его статьѣ „Разговоръ между издателемъ и классикомъ“, приложенной вмѣсто предисловія къ отдѣльному изданію „Бахчисарайскаго Фонтана“: „Эта статья—tour de force et affaire de parti... Твой Разговоръ болѣе писанъ для Европы, чѣмъ для Руси. Ты правъ въ отношеніи романтической поэзіи. Но старая классическая, на которую ты нападаешь, полно существуетъ ли у насъ? Это еще вопросъ. Повторяю тебѣ передъ евангеліемъ и святымъ причастіемъ, что Дмитріевъ, несмотря на все старое свое вліяніе, не имѣетъ, не долженъ имѣть болѣе вѣсу, чѣмъ Херасковъ или дядя Вас. Льв. Развѣ онъ одинъ представляетъ въ себѣ классическую нашу словесность, какъ Мордвиновъ заключаетъ въ себѣ одномъ всю русскую оппозицію? И чѣмъ онъ классикъ? Гдѣ его трагедіи, поэмы дидактическія или эпическія?“ Въ письмѣ къ нему же, въ маѣ 1825 года, Пушкинъ не соглашается съ высокимъ мнѣніемъ Вяземскаго о Казимирѣ Делавинѣ („далеко кулику до орла“) и повторяетъ свою мысль, что „первый геній тамъ будетъ романтикъ и увлечетъ французскія головы Богъ вѣдаетъ куда“, но относительно русскихъ толковъ говоритъ: „кстати: я замѣтилъ, что всѣ (даже и ты) имѣютъ у насъ самое темное понятіе о романтизмѣ. Объ этомъ надобно будетъ на досугѣ потолковать“. Въ письмѣ къ Рылѣеву отъ 30-го ноября онъ пишетъ о „Борисѣ Годуновѣ“: „Важная вещь! я написалъ трагедію, и ею очень доволенъ, но страшно въ свѣтъ выдать: робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма. Подъ романтизмомъ у насъ разумѣютъ Ламартина. Сколько я ни читалъ о романтизмѣ—все не то“... Въ томъ же письмѣ онъ спрашиваетъ: „Кстати, кто писалъ о горцахъ въ „Пчелѣ“? Вотъ поэзія! Не Якубовичъ ли, герой моего воображенія? Когда я вру съ женщинами, я ихъ увѣряю, что я съ нимъ разбойничалъ на Кавказѣ, прострѣливалъ Грибоѣдова, хоронилъ Шереметева, etc. Въ немъ много, въ самомъ дѣлѣ, романтизма. Жаль, что я съ нимъ не встрѣтился въ Кабардѣ—поэма моя была бы еще лучше“. Якубовичъ былъ извѣстный дуэлистъ, о которомъ разсказывали разныя буйныя похожденія, замѣшанный вскорѣ потомъ въ дѣлѣ 14 декабря; такимъ образомъ въ понятіе романтизма входило и у

Пушкина нѣчто выходящее изъ обычныхъ рамокъ общественныхъ нравовъ, энергическое, но необузданное, дикое,—въ данномъ случаѣ оно было и не весьма разумное, и не весьма симпатичное [1]. Таковъ отчасти былъ нѣкогда его Алеко... Въ письмѣ къ Катенину отъ 4 декабря 1825, когда по смерти императора Александра, полагалось, что его преемникомъ будетъ Константинъ, Пушкинъ пишетъ: „Какъ вѣрный подданный, долженъ я, конечно, печалиться о смерти государя; но какъ поэтъ, радуюсь восшествію на престолъ Константина I: въ немъ очень много романтизма; бурная его молодость, походы съ Суворовымъ, вражда съ нѣмцемъ Барклаемъ напоминаютъ Генриха V—словомъ, я надѣюсь отъ него много хорошаго". Слѣдовательно, романтизмъ есть опять нѣчто необычное, оригинальное, бурное.

Пора тѣхъ естественныхъ, но приходившихъ болѣе или менѣе случайно вліяній западной литературы, какія мы указывали раньше у Батюшкова, не миновала и для Пушкина. Онъ былъ хорошо знакомъ только съ французской литературой; нѣмецкую мало зналъ и, повидимому, не любилъ: только теперь онъ сталъ знакомиться съ литературой англійской и, какъ упомянуто, ожидалъ отъ нея благотворнаго дѣйствія на нашу литературу. Въ первый разъ онъ узналъ Байрона во время своей ссылки, когда сблизился до тѣсной дружбы съ семействомъ Раевскихъ, именно молодого поколѣнія, съ дѣтьми извѣстнаго генерала, одного изъ лучшихъ людей екатерининской эпохи и героя двѣнадцатаго года. Это были Александръ и Николай Николаевичи и ихъ сестры, изъ которыхъ одна была послѣ замужемъ за генераломъ М. Ѳ. Орловымъ, другая—за кн. Волконскимъ. Братья Раевскіе, еще очень молодые въ то время, были оба люди съ оригинальнымъ и сильнымъ умомъ; о старшемъ Пушкинъ былъ самаго высокаго понятія и предполагалъ для него въ будущемъ великую историческую роль; младшій не остался безъ вліянія даже на литературныя идеи Пушкина. „Старшая дочь Раевскаго, Катерина Николаевна,—говоритъ Анненковъ,—вскорѣ потомъ г-жа Орлова, та, о которой Пушкинъ отзывался, какъ о женщинѣ необыкновенной, умѣла покорять людей твердостію характера и прямотой своего слова" [2]. Подъ руководствомъ этихъ друзей Пушкинъ принялся на Кавказѣ за изученіе англійскаго языка, съ которымъ лишь немного былъ знакомъ прежде, и книга, выбранная

---

[1]) Анненковъ замѣчаетъ: „Такъ подъ романтизмомъ можно было разумѣть тогда еще и иную жизнь, безъ правилъ, но съ претензіями и выходками, болѣе или менѣе нагло-эффектнаго характера" („Пушкинъ въ Александровскую эпоху". Спб. 1874, стр. 66).

[2]) Анненковъ, тамъ же, стр 151.

для практическихъ упражненій—были сочиненія Байрона. Съ этимъ началось впервые сильное вліяніе англійскаго поэта, которое различнымъ образомъ отразилось на идеяхъ и на формѣ тогдашнихъ произведеній Пушкина, отъ „Кавказскаго Плѣнника“ и до „Евгенія Онѣгина“. Насколько было въ эту пору значительно дѣйствіе круга Раевскихъ на развитіе идей Пушкина—выясняется только въ послѣднее время, хотя еще не достаточно, такъ какъ, между прочимъ, за исключеніемъ немногихъ отрывковъ, осталась неизвѣстна переписка Пушкина съ этими друзьями, повидимому, довольно обширная [1]; но едва ли сомнительно, что такъ называемый байронизмъ Пушкина имѣетъ свое начало именно здѣсь,—потому что въ своихъ друзьяхъ Пушкинъ имѣлъ не случайныхъ любителей англійской литературы, но и сознательныхъ комментаторовъ англійскаго поэта, до тѣхъ поръ ему мало извѣстнаго. Н. Н. Раевскій первый познакомилъ Пушкина съ поэзіей Шенье [2]. За это время написанъ былъ извѣстный „Демонъ“ (напечатанный въ 1823), и тогда уже, по словамъ Анненкова, общественное мнѣніе узнавало въ недовольномъ, разочарованномъ человѣкѣ этой пьесы лицо его друга А. Н. Раевскаго, „хотя никакихъ дѣльныхъ основаній для такого предположенія вовсе не существовало“; но показанія К. Н. Орловой, собранныя Гротомъ, напротивъ, подтверждаютъ это предположеніе—только демоническая роль Раевскаго была мистификаціей [3]. Тѣмъ не менѣе, въ сущности, представленное здѣсь настроеніе былъ отголосокъ дѣйствительности: съ такими мыслями Пушкину приходилось встрѣчаться и ихъ переживать.

Біографы Пушкина давно пришли къ заключенію, что „байронизмъ“ былъ у Пушкина только преходящимъ явленіемъ, съ

[1]) Ср. сказанное у Анненкова, стр. 151 и д.; разсказы Грота со словъ Кат. Ник. Орловой („Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники“, стр. 69 и д.); Майковъ, „Историко-литер. очерки“. Спб. 1895, стр. 130—152. Отзывы самого Пушкина о семействѣ Раевскихъ въ письмѣ къ брату, отъ сентября 1820: „Свидѣтель екатерининскаго вѣка, памятникъ 12 года, человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный, онъ (Раевскій отецъ) невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его высокія качества. Старшій сынъ его будетъ болѣе, нежели извѣстенъ. Всѣ его дочери прелесть; старшая—женщина необыкновенная“.

[2]) Гротъ, тамъ же, стр. 70.

[3]) „Александръ Раевскій былъ чрезвычайно уменъ, и тогда уже успѣлъ внушить Пушкину такое высокое о себѣ понятіе, что нашъ поэтъ предрекалъ ему блестящую извѣстность. Позднѣе, когда они видались въ Каменкѣ и Одессѣ, Александръ Раевскій, замѣтивъ свое вліяніе на Пушкина, вздумалъ подтрунить надъ нимъ и сталъ представлять изъ себя ничѣмъ недовольнаго, разочарованнаго, надъ всѣмъ глумящагося человѣка. Поэтъ поддался искусной мистификаціи и написалъ своего Демона. Раевскій долго оставлялъ его въ заблужденіи, но наконецъ признался въ своей шуткѣ, и послѣ они часто и много смѣялись, перечитывая вмѣстѣ это стихотвореніе, объ источникахъ и значеніи котораго впослѣдствіи такъ много было писано и истощено догадокъ“ (Гротъ, стр. 69—70).

которымъ онъ уже вскорѣ распрощался и навсегда. Одни объясняли, что подобное настроеніе не отвѣчало природѣ Пушкина, его основному міровоззрѣнію и самому свойству дарованія, широкаго, свѣтлаго, открытаго всѣмъ впечатлѣніямъ жизни и, при всей высотѣ его поэзіи, реальнаго и трезваго, и что поэтому мрачное отрицаніе могло быть только временнымъ увлеченіемъ, которое въ концѣ концовъ должно было уступить передъ истинными мотивами его внутренней жизни. Другіе замѣчали, что байронизмъ и не могъ укрѣпиться въ содержаніи поэзіи Пушкина, какъ явленіе чисто „западное", несвойственное національной природѣ Пушкина: онъ долженъ былъ рано или поздно сбросить его, потому что былъ русскій человѣкъ... Въ его отношеніи къ байронизму сказалось то же явленіе, какое можно наблюдать на всемъ пространствѣ новѣйшей русской литературы въ ея зависимости отъ западно-европейскихъ теченій. Западная жизнь такъ не походила на русскую, была отъ нея такъ далека, такъ превышала ее въ политическомъ развитіи и особливо въ образованіи, что какъ во времена Ломоносова, такъ и во времена Пушкина, наша литература могла имѣть къ западно-европейской только отношеніе болѣе или менѣе сильной зависимости. Въ чисто поэтическомъ смыслѣ наша литература ко временамъ Пушкина пріобрѣтала нѣкоторую оригинальность, признакъ возникавшей самобытности; но въ тѣхъ областяхъ, гдѣ къ чистой поэзіи присоединялось или надъ нею преобладало идейное содержаніе, которое давалось развитіемъ европейской мысли въ области науки и общественности, подобная самобытность была невозможна: содержаніе западно-европейской литературы являлось опять результатомъ вѣкового труда, въ которомъ мы не участвовали, свободы мысли, о которой не имѣли понятія, наконецъ свободы общественной, которая была у насъ немыслима [1]). Какъ нѣкогда въ XVIII вѣкѣ заимствовалось изъ западно-европейскаго источника только немногое, что̀ было по нашимъ средствамъ, такъ и теперь объемъ байроническаго міровоззрѣнія былъ не по средствамъ молодой литературы, даже въ рукахъ Пушкина; но смѣшно, конечно, говорить, что причина была въ томъ, что это міровоззрѣніе было „западное", противорѣчащее его „русскому" характеру: русскій характеръ не мѣшалъ ему, какъ

[1]) Пушкинъ говоритъ въ одномъ письмѣ 1826 г.: „Покойный императоръ въ 1824 году сослалъ меня въ деревню за двѣ строчки—нерелигіозныя; другихъ художествъ за собой не знаю". Западно-европейскимъ писателямъ приходилось вести свою борьбу за право мысли и выносить свои преслѣдованія, но вопросы были неизмѣримо шире, и борьба кончалась прочными пріобрѣтеніями. У насъ подобныхъ пріобрѣтеній не сдѣлано.

не мѣшалъ Жуковскому и Батюшкову, не говоря о толпѣ ихъ предшественниковъ, усердно черпать изъ западной литературы и послѣ, покинувъ Байрона, сохранить его литературныя формы, а затѣмъ учиться по Шекспиру, восхищаться Вальтеръ-Скоттомъ и несомнѣнно слѣдовать его примѣру въ историческихъ повѣстяхъ.

Поэзія Байрона родилась въ броженіи европейской мысли конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, которое во всемъ его могущественномъ объемѣ было чуждо русской жизни; тѣмъ не менѣе русскій байронизмъ могъ бы быть названъ случайнымъ только въ томъ же смыслѣ, въ какомъ мы раньше находили случайными многія другія заимствованія русской литературы изъ европейскаго источника. Изъ цѣлаго европейскаго движенія къ намъ обыкновенно проникали одни явленія и не проникали другія, иногда гораздо болѣе многозначительныя: Карамзинъ увлекается только сентиментальными писателями и Лафатеромъ, Жуковскій—нѣмецкими романтиками, Батюшковъ—Тассомъ; англійская литература долго остается почти неизвѣстна; Пушкинъ мало интересуется нѣмецкой литературой и т. д.; большею частію наши заимствованія бывали запоздалы, и намъ, по выраженію одного суроваго критика, приходилось „донашивать старыя шляпки"... Но если при всемъ томъ русская литература каждый разъ все-таки пріорѣтала нѣчто новое, что̀ имѣло свое воспитательное значеніе для русскаго общества (особливо при его маломъ образованіи въ большинствѣ) и укрѣпляло въ немъ собственные инстинкты развитія, то тѣмъ болѣе они получали значенія, когда ко временамъ Пушкина эти инстинкты были возбуждены сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде. Байронизмъ именно отвѣчалъ—въ извѣстномъ, болѣе образованномъ, кругу—настроенію, какое создавалось условіями времени. Двѣнадцатый годъ, освободительныя войны, общеніе съ европейской жизнью въ великія историческія минуты возбуждали умы къ возвышенному идеализму и патріотическимъ надеждамъ—но русская дѣйствительность въ эпоху Аракчеева, Магницкаго, арх. Фотія, представляла, напротивъ, унизительную картину круглаго обскурантизма, грубаго или лицемѣрнаго, подавленія даже слабыхъ признаковъ просвѣщенія и свободы мысли. Естественно возникало гнетущее чувство недовольства, раздраженія, протеста, наконецъ, у крайнихъ людей—мысль о сопротивленіи и заговорѣ... Вліяніе байронизма падало у Пушкина на подготовленную почву. Ссылка не могла не раздражать его; если онъ и сознавалъ съ своей стороны ошибку, недостатокъ благоразумія, когда онъ забывалъ объ общественной средѣ, въ которой находился, онъ все-таки не

могъ примириться съ ея уродливыми явленіями: прежнее возбужденіе продолжалось, и новыя произведенія прямо или косвенно выражали настроеніе, овладѣвавшее имъ въ условіяхъ тогдашней дѣйствительности. Въ поэмахъ, писанныхъ на югѣ, сколько бы ни было въ нихъ навѣяннаго байроническими вліяніями, сказался несомнѣнно и отголосокъ этого непосредственнаго недовольства; его, хотя временный, скептицизмъ какъ и перехваченное письмо объ „аѳеизмѣ“ [1]), были своего рода противовѣсомъ тогдашнему изувѣрству и т. д.; что байроническія поэмы, хотя потомъ казались иногда слабыми ему самому, передавали, однако, его задушевныя мысли данной минуты,—свидѣтельствуютъ его собственныя показанія. Въ письмѣ 1822 года, онъ признаетъ крупные недостатки „Кавказскаго Плѣнника“ и заключаетъ: „Вы видите, что отеческая нѣжность не ослѣпляетъ меня насчетъ Кавказскаго Плѣнника, но, признаюсь, люблю его, не зная самъ за что̀: въ немъ есть стихи моего сердца“... Въ письмѣ 1821 года, онъ говоритъ объ основной мысли поэмы: „Я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи XIX вѣка“. Въ другихъ поэмахъ это равнодушіе къ жизни сказывается ярче, какъ протестъ противъ условій общественной жизни, подавляющей своими мертвыми формами стремленіе къ высшимъ идеаламъ, и опять съ личной мыслью поэта связываются несомнѣнные отголоски Байрона. Постоянное развитіе этой темы недовольства, разочарованія, протестовъ противъ пустоты и ничтожества общественности, выдаетъ внутренній процессъ въ душѣ самого поэта, и въ образахъ его фантазіи скрывались также сомнѣнія и тревоги его собственнаго чувства. Различныя черты одного образа развиваются отъ „Кавказскаго Плѣнника“ и до „Евгенія Онѣгина“.

Разсказывая о жизни Пушкина въ ссылкѣ на югѣ, Анненковъ внимательно слѣдитъ за всѣми движеніями внутренней жизни поэта и указываетъ, какъ совмѣщались въ ней самыя несходныя настроенія — отъ крайняго отрицанія и кощунства до самыхъ возвышенныхъ представленій о значеніи искусства. Подъ внѣшней безпорядочностью жизни шла внутренняя работа, которая иногда неожиданно открываетъ передъ нами его задушевныя стремленія, какъ, напримѣръ, въ посланіи къ Чаадаеву (1821: „Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ“). Его поэтическіе замыслы становились все шире. Байронъ, отъ

[1]) Ср. письмо къ Вигелю отъ декабря 1823.

котораго Пушкинъ, по его словамъ, „сходилъ съ ума“, занявши одно время его мысль и фантазію своими героями, оказалъ на него и то вліяніе, что далъ просторъ его поэтическому творчеству, и Пушкинъ ищетъ, наконецъ, романтическихъ типовъ и сюжетовъ въ русской жизни, все прямѣе подходя къ общественной и исторической дѣйствительности. Въ „Цыганахъ“, написанныхъ въ теченіе года, конецъ отмѣченъ уже другимъ настроеніемъ, и Пушкинъ разоблачаетъ своего героя въ его себялюбивыхъ притязаніяхъ. Сюжетъ „Братьевъ Разбойниковъ“ предполагалъ болѣе широкую рамку, гдѣ, судя по сохранившейся программѣ, Пушкину видѣлась цѣлая бытовая картина. Ему мечтается новгородскій Вадимъ, какъ сюжетъ для драмы или для поэмы. Передъ тѣмъ написана была знаменитая „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“. Въ 1823 начатъ былъ „Евгеній Онѣгинъ“, о которомъ онъ извѣщалъ кн. Вяземскаго въ письмѣ отъ ноября этого года: „Я теперь пишу не романъ, а романъ въ стихахъ— дьявольская разница! Въ родѣ Донъ-Жуана“;—но онъ негодовалъ потомъ, что друзья находили въ этомъ романѣ вліяніе Байрона. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ возставалъ противъ тѣхъ, кто находилъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ сатиру. „Гдѣ у меня сатира?— писалъ онъ къ Бестужеву въ мартѣ 1825.—О ней и помину нѣтъ въ Евгеніи Онѣгинѣ. У меня бы затрещала набережная, еслибы коснулся я сатиры. Самое слово сатирическій не должно находиться въ предисловіи“. Между тѣмъ въ декабрѣ 1823 года онъ говорилъ А. И. Тургеневу о своемъ романѣ въ такихъ словахъ: „Я на досугѣ пишу новую поэму, Евгеній Онѣгинъ, гдѣ захлебываюсь желчью, и двѣ пѣсни уже готовы“. Наконецъ въ деревнѣ, въ концѣ 1824, былъ начатъ и въ концѣ слѣдующаго года конченъ „Борисъ Годуновъ“. Пора увлеченія Байрономъ была уже раньше закончена: когда Байронъ умеръ, Пушкинъ судитъ уже спокойно объ этомъ властителѣ его думъ, и его значеніе для Пушкина можно опредѣлить его собственными, позднѣе сказанными, словами: „талантъ неволенъ, и его подражаніе не есть постыдное похищеніе—признакъ умственной скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія“. Онъ окончательно вступалъ на самостоятельный путь.

Вѣроятно, ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ не далъ въ своихъ произведеніяхъ столько автобіографическихъ показаній, какъ Пушкинъ. Отъ лицейскихъ стихотвореній, отъ эпикурейской лирики юныхъ лѣтъ и до послѣднихъ произведеній, какъ „Памятникъ“, Пушкинъ постоянно говоритъ о самомъ себѣ, раскры-

ваетъ передъ нами свою личную жизнь, поэтическіе замыслы, свои взгляды на искусство. Дѣло въ томъ, что онъ именно чувствовалъ и признавалъ себя однимъ изъ „немногихъ, родившихся поэтами“: еще въ юные годы онъ не стѣсняется говорить о своемъ „геніи“—онъ какъ будто угадывалъ будущее величіе своей поэзіи и, въ инстинктивномъ сознаніи его, считалъ позволеннымъ дать столько мѣста чисто личной лирикѣ и вмѣстѣ должнымъ—раскрывать всѣ тайны интимной жизни, наслажденій и печалей, и порывовъ творчества: онъ хотѣлъ быть весь открытъ для читателя и—для изученія и суда потомства. Его лирическія исповѣди шли рядомъ съ его творчествомъ. Дѣйствительно, всѣ наблюденія и впечатлѣнія жизни обращаются у него въ поэзію; его поэтическое творчество, воспринимая личныя впечатлѣнія, чувства, факты, возводитъ ихъ въ художественный образъ, уже лишенный ихъ случайности и одаренный высокою поэтическою красотою. Такъ онъ художественно перерабатываетъ и тотъ внѣшній матеріалъ, который собирается въ его жизненномъ опытѣ, или историческомъ изученіи, наконецъ, въ чтеніи. Таковы разнообразныя картины природы и быта, разбросанныя въ его поэмахъ и позднѣйшихъ повѣстяхъ; таковы эпизоды изъ старой русской жизни; таковы, наконецъ, поэтическіе эпизоды, обязанные чтенію. Это чтеніе было очень разнообразно, и свойства его ума и фантазіи, какія обнаруживались въ самыхъ первыхъ опытахъ, богатая память, восприимчивость, способность по немногимъ чертамъ возсоздавать чуждые нравы и мѣстный колоритъ, послужили потомъ для тѣхъ поэтическихъ картинъ, какихъ мы не находимъ потомъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ въ такомъ разнообразіи. Уже въ это время Пушкинъ покидаетъ старое религіозное вольномысліе; его фантазія обращается къ библейскимъ мотивамъ, какъ въ подражаніяхъ „Пѣсни Пѣсней“ или въ знаменитомъ „Пророкѣ“. Онъ читаетъ „Коранъ“, и въ результатѣ является рядъ стихотвореній, передающихъ міровоззрѣніе восточной религіи. Онъ обращался къ восточнымъ поэтамъ и извлекалъ изъ нихъ поэтическіе мотивы. Онъ вспоминалъ старыхъ классиковъ—Анакреона, Горація, вызывалъ тѣнь Овидія, съ судьбою котораго сравнивалъ свою собственную судьбу, читалъ Тацита, и передъ нимъ вставали картины древняго міра; изъ римскаго писателя IV-го вѣка, Аврелія Виктора, онъ извлекалъ сказаніе о Клеопатрѣ для „Египетскихъ ночей“; передавалъ испанскіе романсы и т. д. Его все больше привлекаетъ народная жизнь и старина, онъ

собираетъ пѣсни (которыя, какъ говорятъ, передалъ П. И. Кирѣевскому), въ томъ числѣ пѣсни о Стенькѣ Разинѣ и т. д.

Изученіе западно-европейской литературы принесло новыя вліянія, которыя опять существенно отразились на творчествѣ Пушкина. Послѣ того какъ онъ пережилъ возбужденія Байрона, онъ обратился къ Шекспиру, наконецъ, къ Вальтеръ Скотту. Извѣстно, какъ сильно было вліяніе Шекспира на построеніе „Бориса Годунова"; находятъ сходство даже въ нѣкоторыхъ эпизодахъ драмы съ трагедіями Шекспира. Вальтеръ Скоттъ привлекалъ Пушкина, повидимому, очень давно. Въ письмѣ къ брату изъ деревни въ октябрѣ 1824, онъ пишетъ: „Да книгъ, ради Бога, книгъ!.. Les conversations de Byron! Walter Scott! Это пища души". Въ замѣткахъ 1825 года онъ пишетъ: „Главная прелесть романовъ W. Scott состоитъ въ томъ, что мы знакомимся съ прошедшимъ временемъ, не съ enflure французской трагедіи, не съ чопорностію чувствительныхъ романовъ, не съ dignité исторіи, но современно, но домашнимъ образомъ". Въ статьѣ объ „Исторіи русскаго народа" Полевого (въ „Литературной Газетѣ" 1830), онъ говоритъ: „Дѣйствіе Вальтеръ-Скотта ощутительно во всѣхъ отрасляхъ ему современной словесности. Новая школа французскихъ историковъ образовалась подъ вліяніемъ шотландскаго романиста. Онъ указалъ имъ источники совершенно новые, не подозрѣваемые прежде, несмотря на существованіе исторической драмы, созданной Шекспиромъ и Гёте". Въ другомъ случаѣ, по поводу „Юрія Милославскаго" Загоскина (тамъ же), онъ говоритъ еще характернѣе: „Въ наше время подъ словомъ романъ разумѣемъ историческую эпоху, развитую въ вымышленномъ повѣствованіи. Вальтеръ-Скоттъ увлекъ за собою цѣлую толпу подражателей. Но какъ они всѣ далеки отъ шотландскаго чародѣя! Подобно ученику Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не умѣли имъ управлять и сдѣлались жертвами своей дерзости. Въ вѣкъ, въ который хотятъ они перенести читателя, перебираются они сами съ тяжелымъ запасомъ домашнихъ привычекъ, предразсудковъ и дневныхъ впечатлѣній" (чего у Вальтеръ-Скотта не было). И долго спустя послѣ перваго знакомства съ англійскимъ романистомъ, онъ пишетъ въ 1834: „читаю Вальтеръ-Скотта и Библію"; и въ другомъ письмѣ, въ сентябрѣ 1835, изъ деревни, онъ говоритъ объ однихъ знакомыхъ: „...Взялъ у нихъ Вальтеръ-Скотта и перечитываю его; жалѣю, что не взялъ съ собою англійскаго". Близкіе друзья Пушкина предполагали, что онъ, вѣроятно, не сознавалъ вліянія Вальтеръ Скотта, но оно не подлежитъ сомнѣнію: какъ вообще

это вліяніе отразилось во всѣхъ европейскихъ литературахъ, создавая обширное движеніе историческаго романа, такъ испыталъ его и Пушкинъ, опять въ томъ смыслѣ, какъ говорилъ Пушкинъ въ приведенныхъ выше словахъ о подражаніи у истиннаго таланта,—оно открывало новый міръ для его собственнаго творчества въ области русской старины...

Новый періодъ дѣятельности и настроенія начинается не столько съ новымъ царствованіемъ, сколько съ послѣднимъ временемъ его ссылки. Невольное уединеніе, направляя его творчество на новыя задачи, въ особенности далекія отъ злобы дня, — какимъ былъ „Борисъ Годуновъ", — а также на первыя историческія изученія, вмѣстѣ съ тѣмъ приводило опять къ тому самоуглубленію, которое заставляло Пушкина ближе и строже всматриваться въ свой внутренній міръ и устранять изъ него то, что было въ немъ хотя искреннимъ, но въ существѣ несвойственнымъ его характеру увлеченіемъ. Событія 14 декабря напомнили ему тѣсную связь со многими дѣйствующими лицами; онъ не отрицалъ этой связи,—какъ говорятъ, на вопросъ императора Николая отвѣтилъ даже, что онъ былъ бы съ ними, — но онъ сознавалъ, что въ сущности не раздѣляетъ ихъ политическихъ замысловъ и считаетъ ихъ ошибкою. И послѣ онъ цѣнилъ въ нихъ благородный, хотя ошибочно направленный, энтузіазмъ и въ извѣстномъ стихотвореніи посылалъ уцѣлѣвшимъ свои привѣты въ „мрачныя пропасти земли". Но и новое царствованіе стало важнымъ элементомъ въ развитіи его общественныхъ взглядовъ. Личныя отношенія къ императору, которыя свидѣтельствовали о высокомъ благоволеніи верховной власти, но вмѣстѣ извѣстнымъ образомъ связывали Пушкина, ставили его совсѣмъ въ иное положеніе, чѣмъ прежде, когда онъ былъ постоянно гонимъ и подозрѣваемъ. Теперь онъ получилъ рѣдкое признаніе своего поэтическаго и личнаго значенія и, при измѣнившемся уже ранѣе собственномъ настроеніи (еще въ декабрѣ 1823 онъ писалъ о своемъ „послѣднемъ либеральномъ бредѣ"), приходилъ ко взгляду на вещи, который былъ свободенъ отъ всякаго либерализма и, повидимому, казался Пушкину обязательнымъ, чтобы остаться на высотѣ своего новаго положенія. Такое впечатлѣніе производитъ его полуоффиціальная записка о народномъ воспитаніи (1826). Правда, уже вскорѣ онъ почувствовалъ, что его новое положеніе имѣло свои большія неудобства, потому что, по-прежнему, онъ испытывалъ притѣсненія отъ цензуры, а кромѣ того подозрительность Бенкендорфа; но въ то же время наступала полная зрѣлость творчества, и дѣятельность его

приняла теперь широкіе размѣры. „Евгеній Онѣгинъ“ былъ оконченъ уже только въ 1830, но въ 1827 году былъ написанъ „Арапъ Петра Великаго“, въ 1828 „Полтава“; въ 1829 онъ дѣлаетъ путешествіе на Кавказъ, присутствуетъ при взятіи Арзрума; въ 1830 принимаетъ участіе въ „Литературной Газетѣ“ барона Дельвига, и въ то же время были имъ написаны „Повѣсти Бѣлкина“, „Домикъ въ Коломнѣ“, Моя родословная“, „Скупой Рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, „Исторія села Горохина“, „Каменный гость“, „Пиръ во время чумы“, стихотвореніе „Герой“. Въ 1831 году Пушкинъ получаетъ разрѣшеніе заниматься въ государственныхъ архивахъ для составленія исторіи Петра Великаго; къ этому же времени относятся стихотворенія „Клеветникамъ Россіи“, „Бородинская годовщина“ и сказки. Въ 1832 году Пушкинъ прилежно занимается въ архивахъ и въ то же время началъ повѣсть „Дубровскій“, которая была окончена въ началѣ 1833; тогда же онъ кончилъ „Пѣсни западныхъ славянъ“, и къ осени были готовы матеріалы для исторіи Пугачевскаго бунта и вчернѣ „Капитанская дочка“ и „Русалка“. Къ 1833 году относится путешествіе въ Казань и Оренбургъ, которое ему было нужно для задуманнаго романа, и затѣмъ оконченъ былъ „Мѣдный всадникъ“ и „Родословная моего героя“. Въ 1834 онъ работаетъ надъ матеріалами для исторіи Петра Великаго и къ тому же времени относятся: стихотвореніе „Мицкевичъ“, „Пиковая дама“, „Кирджали“. Въ 1835 были написаны: „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“, „Египетскія ночи“ и стихотворенія „Полководецъ“, „Пиръ Петра Великаго“, „На выздоровленіе Лукулла“. Въ 1836, былъ написанъ „Памятникъ“; въ томъ же году онъ издавалъ журналъ „Современникъ“.

Такова была эта необычайная дѣятельность, которой еще предстояло развиваться: въ бумагахъ Пушкина остались планы задуманныхъ произведеній, обѣщавшихъ величайшій интересъ,— потому что Пушкинъ между прочимъ имѣлъ въ виду и романъ изъ недавняго прошлаго, гдѣ должны были быть затронуты эпизоды волненій общественной жизни. Много времени было посвящено Пушкинымъ историческимъ изысканіямъ: онъ вѣрно чувствовалъ, что нашему общественному сознанію недостаетъ опоры, какую можетъ доставить историческое изученіе, и онъ мечталъ написать исторію Петра Великаго и его преемниковъ до Петра III.

Вѣроятно, Пушкинъ надѣялся разрѣшить при этомъ и собственныя недоумѣнія. Онъ колебался въ пониманіи Петра Великаго. Онъ былъ великимъ поклонникомъ Петра, но затѣмъ

повидимому смутился передъ грозной и таинственной личностью реформатора, въ которомъ увидѣлъ Робеспьера и Наполеона вмѣстѣ. Въ архивныхъ документахъ онъ нашелъ свидѣтельства о страшныхъ жертвахъ, какихъ стоило преобразованіе; съ другой стороны, могло дѣйствовать то, что̀ назвали у Пушкина генеалогическими предразсудками, — онъ считалъ себя аристократомъ, какъ „600-лѣтній дворянинъ", сожалѣлъ объ упадкѣ старыхъ боярскихъ родовъ, который казался ему бѣдственнымъ для политическаго развитія русскаго общества, и никто болѣе Петра не былъ виновникомъ этого упадка. Остается до сихъ поръ неразъясненной исторія созданія „Мѣднаго Всадника", въ которомъ, по преданію, должно было выразиться это враждебное отношеніе къ Петру Великому [1]. Возможно, что для Пушкина вопросъ остался неразрѣшеннымъ; задуманная имъ исторія Петра, вѣроятно, потребовала бы многихъ годовъ изученія прежде, чѣмъ онъ могъ бы найти историческое разрѣшеніе своего принципіальнаго недоумѣнія. Это недоумѣніе перешло въ наслѣдіе дальнѣйшему поколѣнію, которое въ сороковыхъ годахъ поставило вопросъ о Петровской реформѣ съ историко-философской точки зрѣнія: мнѣнія радикально разошлись и въ сущности до сихъ поръ не приведены къ убѣдительному для всѣхъ рѣшенію; но вопросъ рѣшался уже на другихъ основаніяхъ, чѣмъ было возможно во времена Пушкина.

Другой поворотъ во взглядахъ Пушкина произошелъ относительно современнаго общественно-политическаго вопроса. Печальная судьба его прежнихъ друзей была не поводомъ, а только новымъ аргументомъ въ пользу теоріи, которая зарождалась уже раньше. Теперь онъ считалъ для себя какъ бы обязательной консервативную доктрину: на благоволеніе верховной власти онъ отвѣчалъ искренней привязанностью, а вмѣстѣ приходилъ къ убѣжденію, что успѣхи просвѣщенія и общественной жизни возможны у насъ только подъ руководствомъ и по указаніямъ правительства. Въ другомъ мѣстѣ мы говорили о томъ, какъ въ новѣйшей литературѣ о Пушкинѣ онъ былъ представленъ, между прочимъ, какъ безусловный приверженецъ и выразитель оффиціальной народности, поставленной принципомъ во второй четверти столѣтія. Это было справедливо лишь до извѣстной сте-

---

[1]) Объ этомъ ср. „Матеріалы для біографіи Пушкина", Анненкова, изд. 2-е. Спб. 1873 г., и его же „Общественные идеалы Пушкина", „Вѣстн. Европы" 1880, и „Воспоминанія и очерки", т. III. Спб. 1881; „Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива, 1826—1827", кн. Павла Петр. Вяземскаго, 1884; „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго", В. Д. Спасовича, въ „Сочиненіяхъ", т. II. Спб. 1889, стр. 225—290.

пени. Подъ вліяніемъ упомянутой доктрины Пушкинъ высказывался иногда въ этомъ смыслѣ и вообще сообразовалъ съ нею свой способъ дѣйствій, но едва ли онъ могъ отвѣчать за то, что его „геній“ подчинится узамъ господствовавшей практики. Были моменты, когда геній дѣйствительно ей не подчинялся. Въ своей теоріи Пушкинъ упускалъ изъ виду, что истинные успѣхи просвѣщенія и общественности могутъ быть достигаемы только при извѣстной самодѣятельности общества, при извѣстномъ просторѣ для просвѣщенія и критики. Если онъ былъ убѣжденъ, что долженъ быть свободенъ поэтъ, что свободы требуетъ самая сущность поэзіи, то свободы требуетъ и наука, и ея же требуетъ общественное сознаніе, если хочетъ отдать себѣ отчетъ въ прошедшихъ судьбахъ и опредѣлить свои задачи для успѣховъ въ будущемъ. Несомнѣнно, что Пушкинъ желалъ подобной свободы самому себѣ даже не какъ поэту, а какъ журналисту,—вѣчная борьба его съ цензурою была свидѣтельствомъ въ необходимости простора для общественной иниціативы... Въ условіяхъ русской жизни литература была единственнымъ органомъ, гдѣ общество могло видѣть выраженіе своихъ мыслей и желаній, отъ котораго оно ждало указаній и ободреній. Подобныя ожиданія стали тогда замѣтно развиваться, и самъ Пушкинъ пріучилъ общество видѣть въ немъ противника мрака и застоя и выразителя лучшихъ стремленій общества. Около тридцатыхъ годовъ общество нѣсколько охладѣвало къ великому поэту, отчасти потому, что не встрѣчало въ его произведеніяхъ отвѣта на эти запросы... Только въ посмертномъ изданіи впервые вышли въ свѣтъ многія произведенія послѣднихъ годовъ жизни Пушкина, которыя явили его въ новомъ свѣтѣ... Впечатлѣніе біографовъ и критиковъ Пушкина, которымъ нельзя отказать въ тонкой наблюдательности, было таково, что Пушкинъ едва-ли могъ обѣщать неизмѣнную покорность своего генія [1]).

Вся жизнь Пушкина прошла въ треволненіяхъ, причина которыхъ лежала въ его собственной страстной природѣ и въ своенравіи его генія, которое было вмѣстѣ проявленіемъ его необычайной силы, и затѣмъ въ общественныхъ условіяхъ, гдѣ, съ одной стороны, вызывались его увлеченія, а съ другой—надъ нимъ тяготѣло преслѣдованіе. Его воспитаніе носило на себѣ печать тогдашнихъ нравовъ высшаго и средняго дворянскаго круга, и тогдашней школы. По его собственнымъ словамъ, онъ

---

[1]) Ср. Стоюнина, „Пушкинъ“, стр. 439—440; Спасовича, „Сочиненія“, I, стр. 213.

восполнялъ „недостатки воспитанія“ бесѣдами съ знаменитой няней [1]), что̀ сближало его съ народнымъ русскимъ бытомъ и доставило послѣ прочную опору для его поэзіи, когда онъ затрогивалъ народныя темы, и помогло также его рѣдкому знанію русскаго языка; а главное, онъ восполнялъ недостатки воспитанія обширнымъ и разнообразнымъ чтеніемъ [2]). Надъ всею умственною и нравственною жизнью господствовала поэзія, въ которой Пушкинъ съ юныхъ лѣтъ находилъ свой особый міръ: здѣсь сосредоточивались всѣ его жизненныя впечатлѣнія, опыты, думы, стремленія, страстные порывы, и претворялись въ богатство о̀бразовъ и лирическихъ изліяній. Выше замѣчено, что эта необычайная работа фантазіи и потребность творчества дѣлали Пушкина однимъ изъ самыхъ субъективныхъ лириковъ, но это субъективное чувство пріобрѣтало художественное выраженіе, возвышавшее личные мотивы въ „перлъ созданія“. Здѣсь отразились самыя разнообразныя настроенія, владѣвшія поэтомъ въ его тревожной и богатой впечатлѣніями жизни, но среди самыхъ увлеченій онъ умѣлъ удаляться въ то возвышенное творчество, которому на обыкновенный взглядъ не было мѣста въ этихъ условіяхъ. „Пушкинъ,—говоритъ Анненковъ, — перерождался нравственно, когда приступалъ къ созданію произведеній, назначавшихся имъ для всего читающаго русскаго міра. Духъ его какъ-то внезапно свѣтлѣлъ и устраивался по праздничному, возвышаясь надъ всѣмъ, что̀ его сдерживало, томило и угнетало. Самыя подробности жизни, тяготѣвшія надъ его умомъ, разрѣшались въ тонкіе поэтическіе намеки и черты, сообщавшіе произведенію, такъ сказать, запахъ и окраску дѣйствительности. Онъ долженъ былъ самъ любоваться тѣмъ нравственнымъ типомъ, который вырѣзывался изъ его собственныхъ произведеній, и мы знаемъ, что задачей его жизни было походить на идеальнаго Пушкина, создаваемаго его

---

[1]) Извѣстныя слова въ письмѣ къ брату 6 октября 1824 года (одномъ изъ первыхъ, писанныхъ изъ Михайловскаго): „Знаешь ли мои занятія? до обѣда пишу записки, обѣдаю поздно; послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки—и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія“.

[2]) Такъ, напр., въ посланіи Чаадаеву (1821) онъ изображаетъ настроеніе, какого часто искалъ:

Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій;
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

геніемъ“ [1]. „Но, — замѣчаетъ біографъ, — эти два Пушкина не всегда составляли одно и то же лицо“...

Въ творчествѣ Пушкина поэзія впервые воцарилась въ нашей литературѣ во всемъ ея свободномъ могуществѣ — правда, воцарилась, по условіямъ времени, только въ принципѣ. Такою понималъ ее самъ Пушкинъ въ теоретическомъ представленіи о ней и въ своихъ произведеніяхъ. Съ него начался въ нашей литературѣ безконечный споръ о сущности, правѣ и назначеніи искусства,—споръ, который возобновляется періодически (обыкновенно въ критическія минуты литературной жизни) и возвратился опять въ послѣднее время. Возвышенное представленіе о поэзіи, какое находимъ у Пушкина, было завершеніемъ: оно было подготовлено Жуковскимъ и частію Батюшковымъ; но когда Жуковскій давалъ поэзіи по преимуществу или исключительно нравственно-мистическій смыслъ, согласно его цѣлому міровоззрѣнію, Пушкинъ впервые освобождалъ понятіе поэзіи отъ всякихъ побочныхъ назначеній и ставилъ цѣлью поэзіи поэзію. Это опять отвѣчало всей личной природѣ его „генія“. Согласно съ его собственными словами, сказанными случайно [2], все жизненное и житейское, что имъ владѣло и его поражало, превращалось у него въ поэтическій образъ, пріобрѣтало поэтическую окраску, невольно, свободно, какъ бы безсознательно. Это было свидѣтельство необычайнаго дарованія; совершалось это само собою, безъ другой цѣли, кромѣ потребности поэтическаго инстинкта придти къ художественному образу: отсюда и его теоретическое представленіе о поэзіи.

Это представленіе складывалось постепенно, но и неровно. Пушкина называли Протеемъ по великому разнообразію переданныхъ имъ образовъ и настроеній; съ тѣми колебаніями, какія можно видѣть въ его общественныхъ и историческихъ понятіяхъ, мѣнялись и поэтическія изображенія, какъ, напримѣръ, въ „Мѣдномъ Всадникѣ“: мѣнялись и его представленія о смыслѣ и назначеніи поэзіи.

Въ эпоху „лицейскихъ стихотвореній“ на ряду съ эротической лирикой складывался первоначальный взглядъ на поэзію, какъ на выраженіе эпикурейскаго міровоззрѣнія. Образцомъ, которому хотѣлось подражать, былъ Анакреонъ („онъ былъ учителемъ моимъ“), пѣвецъ любви и беззаботнаго наслажденія. По-

---

[1] „Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, стр. 211.

[2] „Поэзія бываетъ исключительно страстью немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни“ (1825).

эзія какъ будто не имѣетъ другой цѣли; эротическіе поэты для него —

...Любезные пѣвцы,
Сыны безпечности лѣнивой,
Давно вамъ отданы вѣнцы
Отъ Музы праздности счастливой.

По ихъ примѣру онъ самъ—пѣвецъ „лѣни“ и наслажденія, и съ тѣхъ поръ на многіе годы черезъ поэзію Пушкина проходитъ этотъ мотивъ: поэзія изображается подругой лѣни, стихъ и риѳмы всегда (будто бы) „небрежны“. Въ стихотвореніи „Сонъ“ (1816), лѣнь есть вдохновительница всей его поэзіи:

Приди, о лѣнь, приди въ мою пустыню!
Тебя зовутъ прохлада и покой:
Въ одной тебѣ я зрю свою богиню,
Готово все для гостьи молодой...
Царицей будь, я плѣнникъ нынѣ твой!
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира...

Позднѣе онъ обращается къ своей чернильницѣ (1821):

Тебя я посвятилъ
Занятіямъ досуга
И съ лѣнью примирилъ:
Она—твоя подруга.

Въ другомъ стихотвореніи онъ говоритъ, что въ лѣни онъ сравнится съ богами, тѣми олимпійцами, которые постоянно присутствовали въ его ранней поэзіи. Но уже въ то первое время, несмотря на эпикурейскую піитику, которая такъ отвѣчала молодости и темпераменту, у него уже готово представленіе о полной свободѣ поэтическаго творчества. Еще въ первомъ посланіи къ Батюшкову (1814), призывая его къ различнымъ темамъ, на которыхъ могла бы остановиться его поэзія, Пушкинъ говоритъ: „поэтъ! въ твоей предметы волѣ!“ и повторяетъ еще разъ: „все, все позволено поэту!“

Въ первые годы жизни въ Петербургѣ муза продолжала внушать Пушкину эпикурейскую поэзію, но уже наводила его и на общественныя темы: онъ высказывалъ настроеніе молодого поколѣнія, которое возмущалось наступившей реакціей и предавалось мечтамъ о свободѣ. Поэтъ становился гражданиномъ и въ извѣстномъ отвѣтѣ на вызовъ написать стихи въ честь императрицы Елизаветы Алексѣевны (1819), онъ писалъ:

На лирѣ скромной, благородной,
Земныхъ боговъ я не хвалилъ,
И силѣ, въ гордости свободной,
Кадиломъ лести не кадилъ.

Свободу лишь умѣя славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой музою моей.

Но, начавъ отказомъ, ревнивой защитой своей поэтической свободы, онъ сглаживаетъ его признаніемъ, что втайнѣ пѣлъ красоту и добродѣтель на тронѣ:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимнъ простой—
И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

На югѣ, въ байроническихъ увлеченіяхъ онъ продолжалъ быть если не эхомъ русскаго народа, то эхомъ либеральной части общества. Переломъ начинается приблизительно съ 1824 года, когда онъ разстался съ Байрономъ и вмѣстѣ отмѣтилъ свой „послѣдній либеральный бредъ“. Въ это время складывалось представленіе о служеніи чистому искусству, которое такъ ярко заявлено въ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“. Поэтъ съ содроганіемъ вспоминаетъ о мечтахъ безумной юности:

Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?

Вдохновеніе—признакъ Бога, оно непонятно толпѣ; поэтъ не ищетъ славы и отгоняетъ презрѣнную чернь. Теперь онъ—всѣмъ чужой, ему не съ кѣмъ подѣлиться вдохновеніемъ: была одна, передъ которой онъ дышалъ „чистымъ упоеніемъ любви поэзіи святой“, но она отвергла мольбы его души; и на вопросъ, что̀ же изберетъ онъ теперь, оставивъ шумный свѣтъ, вѣтренную моду и музъ, поэтъ отвѣчаетъ, что онъ избралъ свободу. Въ 1828 году Пушкинъ написалъ другое знаменитое стихотвореніе: „Чернь“, которое въ рукописи названо было „Ямбомъ“. Въ разсказахъ Шевырева о знакомствѣ съ Пушкинымъ, читаемъ: „Въ Москвѣ объявилъ Пушкинъ свое живое сочувствіе тогдашнимъ молодымъ литераторамъ, въ которыхъ особенно привлекала его новая художественная теорія Шеллинга, и подъ вліяніемъ послѣдней, проповѣдывавшей освобожденіе искусства, были написаны стихи: Чернь“ [1]). Но это могъ быть только новый поводъ, потому что въ стихотвореніи, къ которому эпиграфомъ

[1]) Майковъ, „Историко-литературные очерки“, стр. 164—165.

поставлено: Procul este, profani, высказана та же мысль, что въ „Разговорѣ“; только здѣсь ей придана еще болѣе суровая форма. Поэтъ обращается къ черни, какъ къ безсмысленному народу; это—поденщикъ, рабъ нужды, заботъ; онъ цѣнитъ на вѣсъ Бельведерскій кумиръ, „но мраморъ сей вѣдь богъ“:

Подите прочь—какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло;
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
. . . .
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Но безсмысленный народъ,—который, по словамъ поэта, для своей глупости и злобы до сихъ поръ имѣлъ „бичи, темницы, топоры“, —едва-ли заслуживалъ такого свирѣпаго отвѣта, потому что обращалъ къ поэту скромную и вовсе не безсмысленную просьбу:

Нѣтъ, если ты—небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
. . . .
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.

Бѣлинскій приходилъ потомъ въ негодованіе отъ этихъ проклятій народу.

Та же тема отчужденія—даже не отъ толпы, а отъ „любви народной“,—повторяется опять въ знаменитомъ сонетѣ: „Поэту“ (1830). „Ты царь: живи одинъ“,—но и царю не слѣдуетъ жить одному, потому что ему долженъ быть близокъ народъ, за судьбу котораго онъ несетъ нравственную отвѣтственность, и награды ему должны быть не только въ немъ самомъ („онѣ —награды—въ самомъ тебѣ, ты самъ твой высшій судъ“), но и въ народной любви, которая служитъ доказательствомъ свято исполненнаго долга. Другія черты изъ такого же опредѣленія поэта находимъ въ „Родословной моего героя“ (1833: въ варіантахъ) и въ „Египетскихъ ночахъ“ (1835), въ изображеніи поэта Чарскаго, которому, между прочимъ, приданы нѣкоторыя личныя черты самого Пушкина...

Эти признанія Пушкина были множество разъ приводимы въ

свидѣтельство его высокаго представленія о значеніи поэзіи и вмѣстѣ служили оружіемъ въ рукахъ приверженцевъ теоріи искусства для искусства. Не будемъ говоритъ о самой теоріи: поэтъ, удовлетворяющій всѣмъ требованіямъ этой программы, долженъ былъ бы существовать внѣ времени и пространства, внѣ условій человѣческаго общежитія, внѣ естественнаго чувства къ своему обществу и народу. Біографія Пушкина объясняетъ, подъ какими впечатлѣніями его высокое представленіе о свободѣ поэзіи могло принимать этотъ раздражительный тонъ презрѣнія къ толпѣ, къ народу,—но съ тѣхъ поръ, какъ онъ пришелъ къ этой мысли гордаго одиночества, имъ тѣмъ не менѣе постоянно владѣло „житейское волненье" въ лучшихъ внушеніяхъ общественнаго и народнаго чувства. Въ 1825 году Пушкинъ написалъ извѣстное стихотвореніе, посвященное памяти Андрея Шенье,—поэта, который служилъ и для него образцомъ. И послѣ, его поэзія не однажды служила интересамъ шумнаго свѣта и сама поучалась у народа, преданія и поэзію котораго Пушкинъ высоко цѣнилъ. Въ апрѣлѣ 1825 онъ писалъ къ Бестужеву: „О нашей лирѣ можно сказать, что Мирабо сказалъ о Сіесѣ: Son silence est une calamité publique",—и съ гордостью говорилъ о достоинствѣ, какое умѣли сохранить русскіе поэты, не хотѣвшіе быть льстецами; онъ вспоминалъ Державина и Жуковскаго: „Прочти посланіе къ Александру (Жуковскаго 1815 г.). Вотъ какъ русскій поэтъ говоритъ русскому царю. Пересмотри наши журналы, все текущее въ литературѣ"... И по смерти императора Александра онъ писалъ, въ январѣ 1826, самому Жуковскому: „Говорятъ, ты написалъ стихи на смерть Александра. Предметъ богатый! Но въ теченіе десяти лѣтъ его царствованія лира твоя молчала. Это лучшій упрекъ ему. Никто болѣе тебя не имѣетъ права сказать: гласъ лиры—гласъ народа; слѣдственно, я не совсѣмъ былъ виноватъ, подсвистывая ему до самаго гроба". Въ 1828, въ стихотвореніи „Друзьямъ" Пушкину приходилось оправдываться: „Нѣтъ, я не льстецъ"... „Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ, онъ горе на царя накличетъ... Онъ скажетъ: презирай народъ" и т. д.

Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупя очи долу.

Подъ конецъ жизни, въ стихотвореніи „Изъ Пиндемонте" (1836), онъ опять защищаетъ свою личную независимость, свободу художественнаго наслажденія, хотя и цѣною обществен-

наго индифферентизма. Но вслѣдъ затѣмъ онъ написалъ еще знаменитое стихотвореніе съ эпиграфомъ „Exegi monumentum“: „Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный“. Онъ въ послѣдній разъ говорилъ о своей поэзіи, съ гордымъ сознаніемъ исполненнаго подвига, но и съ сознаніемъ своей гражданской заслуги передъ обществомъ и народомъ...

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ [1]).

И эти заслуги были именно тѣмъ, о чемъ просилъ его „народъ“ въ стихотвореніи: „Чернь“, а возславленіе свободы началась въ томъ давнемъ періодѣ его поэзіи [2]), который онъ отвергъ потомъ какъ „либеральный бредъ“.

Открывъ своимъ творчествомъ широкій просторъ для русской поэзіи, Пушкинъ подобнымъ образомъ оказалъ великую заслугу въ развитіи литературнаго языка,—гдѣ онъ до сихъ поръ не имѣлъ себѣ равнаго. Какъ въ пониманіи искусства, такъ и здѣсь, онъ имѣлъ своихъ предшественниковъ, особливо Жуковскаго. Извѣстные стихи („Его стиховъ плѣнительная сладость“) указываютъ, какъ высоко ставилъ Пушкинъ своего друга и въ области языка. Въ 1822, онъ говоритъ въ письмѣ къ Гнѣдичу о „Шильонскомъ узникѣ“: „Переводъ Жуковскаго est un tour de force. Злодѣй! въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычайный!“ Но какъ область предметовъ поэзіи Жуковскаго была тѣснѣе, чѣмъ у Пушкина, такъ и языкъ Пушкина былъ несравненно богаче, жизненнѣе и смѣлѣе. Жуковскій уже въ 1820 призналъ себя „побѣжденнымъ учителемъ“, и это было справедливо. Еще юношескія произведенія Пушкина поражали недавнихъ учителей и богатствомъ творческой фантазіи, и богатствомъ языка. Выше приведены слова, которыя вырвались у Батюшкова; по поводу другого стихотворенія Пушкина къ Жуковскому (1818) кн. Вяземскій пришелъ въ восторгъ [3]).

---

[1]) Третій стихъ первоначально написанъ былъ: „Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу“,—тому Радищеву, котораго еще недавно (1834, 1836) онъ такъ сурово осуждалъ.

[2]) Въ „Деревнѣ“ (1819) въ „Одѣ Вольность“ (1820):

...Гдѣ ты...
Свободы гордая пѣвица?
Приди, сорви съ меня вѣнокъ,
Разбей изнѣженную лиру:
Хочу воспѣть я вольность міру... и т. д.

[3]) Объ одномъ выраженіи, которое находилось въ первоначальномъ текстѣ этого стихотворенія, кн. Вяземскій писалъ: „Стихи... чудесно хороши. Въ дыму сто-

Извѣстно, съ какою силою и вмѣстѣ легко и свободно Пушкинъ владѣлъ всѣми тонами и оттѣнками языка отъ возвышеннаго библейскаго стиля до реальной народной рѣчи. Чрезвычайно любопытно его замѣчаніе въ письмѣ къ Вяземскому (въ ноябрѣ, 1823): „...*Я желалъ бы оставить русскому языку нѣкоторую библейскую откровенность.* Я не люблю видѣть въ первобытномъ нашемъ языкѣ слѣды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болѣе ему пристали“. Онъ прибавляетъ: „Проповѣдую изъ внутренняго убѣжденія, но по привычкѣ пишу иначе“,—но онъ далъ мѣсто и библейской откровенности, и это опять было однимъ изъ предвѣщаній будущаго реализма [1]).

Друзья Пушкина разсказываютъ, что „ни одно чтеніе, ни одинъ разговоръ, ни одна минута размышленія не пропадали для него на цѣлую жизнь“. Такъ не пропадали для него и всѣ богатства русской рѣчи, слышанной имъ въ теченіе его бурной и разнообразной жизни во всѣхъ сферахъ, отъ царскихъ чертоговъ до крестьянской избы.

———

Историческое значеніе Пушкина, истинный смыслъ его поэтическаго труда выяснялись все болѣе по мѣрѣ развитія литературы. Ближайшіе сверстники, самые друзья Пушкина были поражены богатствомъ его творчества, красотой его созданій, но, удивляясь этой красотѣ, они только инстинктивно догадывались, что съ явленіемъ Пушкина водворяется въ литературѣ новая стихія, съ которой въ русской поэзіи и въ цѣломъ общественномъ сознаніи долженъ совершиться переворотъ. Въ кругу его друзей и самихъ старшихъ поэтовъ не было дарованія, которое, хотя бы отдаленно, могло усвоить его замыслы: большею частью поэты его „плеяды“ только вторили его первымъ начинаніямъ, думая, напримѣръ, что новая поэзія дѣйствительно состоитъ только въ эпикурейской „лѣни“ или въ подобіяхъ романтическихъ картинокъ и раздумья, съ него скопированныхъ. Но въ зрѣлую пору Пушкина „плеяда“ совсѣмъ отстала: новыя созданія его были глубже поняты только слѣдующимъ поколѣніемъ, какъ и объемъ

лѣтій! За это выраженіе я все отдалъ бы, движимое и недвижимое... Этотъ бѣшеный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ. Знаешь ли, что Державинъ испугался бы дыма столѣтій? О прочихъ и говорить нечего!“ (Изданіе Литературнаго Фонда, т. I, стр. 194).

[1]) Тургеневъ разсказывалъ, какъ Мериме́ восхищался и пугался этой библейской откровенности въ „Пирѣ Петра Великаго“ („Родила ль Екатерина“...), которую считалъ недостижимой для французскаго языка. Ср. замѣчанія Пушкина объ „отечественныхъ звукахъ“ въ письмѣ къ Бестужеву отъ іюня 1823.

его идей, — примѣромъ послѣдняго можетъ служить Гоголь, въ большой мѣрѣ воспитанный Пушкинымъ и, какъ вскорѣ оказалось, непонятый многими изъ самыхъ поклонниковъ Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли кѣмъ изъ своихъ современниковъ Пушкинъ былъ понятъ такъ широко, какъ былъ онъ понятъ критикомъ болѣе молодого поколѣнія, какъ Бѣлинскій, для котораго Пушкинъ былъ настоящимъ героемъ русской литературы, ея истиннымъ основателемъ. И здѣсь, однако, пониманіе еще не было полнымъ. Пушкинъ еще дѣйствовалъ, когда началъ свое поприще Бѣлинскій, была на лицо среда, въ условіяхъ которой совершалась дѣятельность Пушкина, среда съ тяжелымъ гнетомъ, но и съ тѣми ожиданіями, какими уже исполнялось новое поколѣніе; въ наиболѣе возбужденной части общества таились запросы, на которые ждали отвѣта отъ величайшаго русскаго поэта-„пророка“: отвѣта пока не было, и самъ Бѣлинскій разочаровывался, не находя желанныхъ словъ,—только послѣ, когда явилось посмертное изданіе Пушкина, для него яснѣе стало великое значеніе поэта. Наступала новая пора, и въ „эпоху реформъ“ становились еще болѣе настоятельны требованія во имя общественныхъ и народныхъ интересовъ: Пушкинъ какъ будто еще меньше отвѣчалъ возбужденному общественному чувству и произошло то охлажденіе, которое—исторически не совсѣмъ точно—принято было за недостатокъ уваженія къ его памяти, или за непониманіе искусства. Обвиненіе противъ конца пятидесятыхъ и противъ шестидесятыхъ годовъ было несправедливо, во-первыхъ, своею огульностью (исключенія принимались за правило), во-вторыхъ, невниманіемъ къ тому нервному и тревожному состоянію общества, которое въ великую критическую эпоху новѣйшей русской исторіи жадно искало прямой защиты народныхъ и общественныхъ интересовъ и съ извѣстной, вполнѣ естественной болѣзненностью ощущало недостатокъ сочувствія къ этимъ интересамъ. Но въ то же самое время, пятидесятыхъ годовъ, явились, рядомъ съ первымъ правильнымъ изданіемъ Пушкина, первые опыты біографическихъ и историческихъ изученій, которыя съ тѣхъ поръ постоянно разростались, и, наконецъ, впервые дали возможность возстановить біографію Пушкина (ея не далъ никто изъ его друзей и современниковъ), и вмѣстѣ дали первую возможность подвести итоги личной судьбы и поэтическаго творчества Пушкина.

На основаніи біографіи и изученія его произведеній, историческая критика приступаетъ теперь къ опредѣленію Пушкина со всѣмъ наличнымъ запасомъ фактовъ (который едва ли будетъ

много увеличенъ), безъ вынужденныхъ прежде умолчаній и съ многостороннимъ вниманіемъ къ внутренней жизни поэта. Только съ этой спокойной исторической точки зрѣнія она можетъ выдѣлить и объяснить господствующую нить поэтическаго развитія, выступающую среди великаго разнообразія условій времени, настроенія, размышленій, поэтическихъ образовъ. Эта жизнь была вся наполнена тревожнымъ исканіемъ идеала. При всей толпѣ друзей и поклонниковъ, Пушкинъ одиноко переживалъ свои стремленія, сомнѣнія и колебанія, въ началѣ неясныя, потомъ все болѣе настойчивыя. Съ юныхъ лѣтъ, исполненный сознаніемъ великой силы, онъ старается понять окружающую среду, народную жизнь, ея прошедшее, изучаетъ европейскую поэзію, чтобъ „быть съ вѣкомъ наравнѣ“, думаетъ одно время, что нашелъ свои мысли у Байрона, увлекается Вальтеръ-Скоттомъ, поражается Шекспиромъ, переживаетъ свои опыты и впечатлѣнія со всею страстностью своей природы: созданные имъ поэтическіе образы, передававшіе эту богатую внутреннюю жизнь, увлекали общество своей красотой, но слишкомъ часто не были ему понятны въ ихъ глубинѣ,—когда въ своемъ вѣчномъ исканіи идеала поэтъ успокоивался иногда на будто бы достигнутомъ прочномъ міровоззрѣніи, но затѣмъ имъ снова овладѣвали мучительныя сомнѣнія; передъ читателемъ проходили разнорѣчивыя настроенія, какъ будто капризы, и онъ не разъ недоумѣвалъ, не умѣя ихъ примирить.

Когда историческое изученіе раскрыло, если не вездѣ, то въ очень многихъ случаяхъ, внутренніе мотивы поэзіи Пушкина, всѣ эти движенія его мысли и поэтическаго творчества получаютъ свою историческую цѣльность, и передъ нами возстаетъ единственное дотолѣ явленіе русской литературы, поэтическое творчество геніальной силы и въ высокой степени любопытная и поучительная историческая и психологическая судьба. Основнойэлементъ, внесенный Пушкинымъ въ бытіе русской литературы, было установленіе высокаго, свободнаго, царственнаго значенія поэзіи, вообще искусства. Была окончательно отвергнута служебная роль, какая раньше представлялась ей, какъ дѣлу забавы или поученія: это, напротивъ,—высшая дѣятельность человѣческаго духа, требующая себѣ независимости. Но съ этимъ провозглашеніемъ свободы искусства, въ которомъ Пушкинъ не дѣлалъ никакихъ уступокъ („ты царь: живи одинъ“; „поэтъ, не дорожи любовію народной“ и т. п.), было заявлено и другое—достоинство самой человѣческой личности, свобода мысли. Съ первыхъ словъ своей поэзіи Пушкинъ безусловно заявляетъ свое

право на эту свободу. Правда, онъ выдѣляетъ поэта изъ толпы, какъ существо привилегированное, но онъ не для одного поэта отвергаетъ пустоту и ложь общественной жизни (какою она была и есть), ища мѣста истинному чувству и свободной мысли. Это высказываютъ его герои, которые не уживаются съ обществомъ, протестуютъ противъ него, хотя исхода для нихъ еще нѣтъ. Его творчество было дѣломъ не разсудка и логическихъ соображеній, а дѣломъ поэтической фантазіи; онъ одѣвалъ въ поэзію безконечную массу живыхъ впечатлѣній: оттого такъ безконечно разнообразны его картины и его настроенія; но рядомъ съ фантазіей работаетъ сознательная мысль, и онъ недаромъ, то увлекается, то колеблется и проклинаетъ, не однажды теряя мѣру. Не находя удовлетворенія своему идеализму, онъ хочетъ замкнуться въ самомъ себѣ; презирая толпу, онъ осуждаетъ и неповинный „народъ“, но въ толпѣ онъ считалъ, безъ сомнѣнія, и пустое свѣтское общество, и самого графа Бенкендорфа... Такимъ образомъ поэзія Пушкина есть цѣлая исторія борьбы возвышеннаго идеала, который ищетъ свѣта, полноты чувства и свободы: поэтъ переживаетъ эту борьбу въ самомъ себѣ съ мучительнымъ чувствомъ неудовлетворенности (...„я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать“), но въ концѣ концовъ оставляетъ завѣтъ, которымъ жила послѣдующая литература.

Никто изъ его предшественниковъ не ставилъ себѣ столь высокой цѣли, не былъ такъ поглощенъ вопросами искусства и жизни: онъ не могъ успокоиваться на какомъ-нибудь сентиментальномъ „республиканствѣ“, которое не думало, чтобы оно къ чему-нибудь обязывало въ общественной жизни, и въ практической дѣйствительности мирилось съ порабощеніемъ народа и общества; онъ не думалъ также, чтобы поэзія исчерпывалась мечтательнымъ піэтизмомъ,—его поэзія постоянно шла впередъ и задачи ея разростались все шире.

Необычайное богатство поэтическихъ картинъ, отмѣчающее послѣдній періодъ его дѣятельности, было цѣлымъ откровеніемъ. Онъ раздвигалъ горизонтъ русской поэзіи до той широты, которую потомъ назвали „всечеловѣческой“. Терминъ былъ натянутый и нескладный; но это разнообразіе поэзіи Пушкина было великимъ пріобрѣтеніемъ русской литературы для ея общечеловѣческаго значенія. Рядомъ съ тѣмъ, изображенія русской жизни, въ исторіи и современности, были другимъ откровеніемъ. Вся исторія нашей литературы до Пушкина свидѣтельствуетъ о томъ, какъ при всемъ желаніи и усиліяхъ, между прочимъ у дарованій весьма значительныхъ, съ трудомъ поддавалась

такому изображенію настоящая русская жизнь и „народность“: старыя школы, единственныя, въ какихъ приходилось воспитаться нашей литературѣ—реторическій классицизмъ, натянутая сентиментальность, опыты „романтизма“ не рѣшали задачи; лишь изрѣдка, отдѣльными чертами, пробивалась въ литературѣ настоящая русская дѣйствительность,—и только Пушкинъ впервые находилъ для нея вѣрный тонъ, простоту разсказа и языка: это и послужило началомъ широко развившагося потомъ реализма. Во всѣхъ областяхъ своего творчества, въ глубокой лирикѣ, въ картинахъ чужой исторической жизни, въ русской драмѣ, повѣсти, сказкѣ, онъ давалъ образцы художественной правды, въ которыхъ и было предвѣстіе дальнѣйшихъ великихъ произведеній русскаго искусства.

Русская дѣйствительность того времени, державшая Пушкина въ настоящемъ плѣну, не давала простора для его труда. Не въ силахъ поэта было измѣнить общественныя условія, какія налагали этотъ гнетъ, его возмущавшій; но чтобы сама поэзія могла утвердиться въ обществѣ съ правомъ свободной духовной дѣятельности и пониманіемъ для нея въ обществѣ, нужно было еще заявленіе этого права въ непререкаемо высокихъ созданіяхъ, которыя стали бы и художественной школой. Это утвержденіе поэзіи въ ея духовномъ и національномъ правѣ, и художественное воспитаніе общества составляютъ величайшую историческую заслугу Пушкина.

Изданія и изученія текста Пушкина:

— Русланъ и Людмила, поэма въ шести пѣсняхъ. Спб. 1820; 2-е изд., исправленное и умноженное. Спб. 1828.

— Кавказскій Плѣнникъ. Повѣсть. Спб. 1822; 2-е изд., на русскомъ и нѣм. яз. Спб. 1824.

— Бахчисарайскій Фонтанъ. М. 1824; Спб. 1827, и пр.

— Евгеній Онѣгинъ, романъ въ стихахъ. Глава 1-я. Спб. 1825. Глава 2-я. М. 1826. Глава 3-я. Спб. 1827. Главы 4 и 5. Спб. 1828. Глава 6. Спб. 1828. Глава 7. Спб. 1830. Глава 8. Спб. 1832.

— Братья Разбойники (1821), въ Полярной Звѣздѣ, 1825, и отдѣльно, М. 1827.

— Графъ Нулинъ. Спб. 1827.

— Цыганы (1823—1824). М. 1827.

— Борисъ Годуновъ (1825), отрывки въ журналахъ и альманахахъ, 1827—30, и въ цѣломъ: Спб. 1831.

— Полтава. Спб. 1829.

— „Бородинская годовщина“. „На взятіе Варшавы“. Три стихотворенія Жуковскаго и Пушкина. Спб. 1831.

— Повѣсти Бѣлкина. Спб. 1831; 2-е изд. 1834.

— Моцартъ и Сальери (1830), въ Сѣв. Цвѣтахъ, 1832.
— Исторія Пугачевскаго бунта (безъ имени автора). 2 части. Спб. 1834.
— Пиковая Дама, въ Библ. для чтенія, 1834.
— Пѣсни Западныхъ Славянъ (1832—33), въ Библ. для чтенія 1835.
— На выздоровленіе Лукулла, въ Моск. Наблюдателѣ 1835.
— Пиръ Петра Великаго (1835), въ Современникѣ 1836.
— Скупой рыцарь (1830), въ Соврем. 1836.
— Родословная моего героя (1833), въ Соврем. 1836.
— Капитанская Дочка (1833), въ Соврем. 1836.
— Мѣдный Всадникъ (1833), въ Соврем. 1837.
— Сцены изъ рыцарскихъ временъ, въ Соврем. 1837.
— Русалка (1832—33), въ Соврем. 1837.
— Арапъ Петра Великаго (отрывки въ Сѣв. Цвѣтахъ 1829, въ Литер. Газетѣ 1830), въ Соврем. 1837.
— Лѣтопись села Горохина (1830); въ Соврем. 1837.
— Египетскія ночи (1835), въ Соврем. 1837.

Собранія стихотвореній, повѣстей и собраніе сочиненій:
— Стихотворенія. Двѣ части. Спб. 1829. 3-я часть. Спб. 1832. 4-я часть. Спб. 1835.
— Повѣсти. Спб. 1834.
— Поэмы и повѣсти, 2 части. Спб. 1835.
— Сочиненія Александра Пушкина. (Посмертное изданіе). Т. 1—8. Спб. 1838. Т. 9—11. Спб. 1841.
— Сочиненія Пушкина, съ приложеніемъ матеріаловъ для его біографіи, портрета, снимковъ съ его почерка и его рисунковъ. Изданіе П. В. Анненкова. 6 томовъ. Спб. 1855. 7-й дополнительный томъ. Спб. 1857.
— Затѣмъ нѣсколько изданій Исакова (3-е, 1880, подъ ред. П. А. Ефремова), Анскаго (съ тою же редакціей); послѣ 1887, когда сочиненія Пушкина стали общимъ достояніемъ, множество изданій, изъ которыхъ единственнымъ серьезнымъ было: „Сочиненія А. С. Пушкина. Изданіе Общества для пособія нужд. литер. и ученымъ, подъ ред. и съ объяснительными примѣчаніями П. О. Морозова". Спб. 1887, 7 томовъ.

Отъ изданія Анненкова начинается изслѣдованіе текста Пушкина. Анненковъ пользовался бумагами, полученными отъ наслѣдниковъ, и имѣлъ впервые возможность изучать по рукописямъ процессъ творчества Пушкина, а затѣмъ исправить текстъ, нѣсколько подправленный, т.-е. испорченный, редакторами посмертнаго изданія 1838—41. Объ этомъ см.:
— Анненковъ и его друзья. Спб. 1892, стр. 383—485: „Къ исторіи работъ надъ Пушкинымъ".

Во время Пушкинскихъ празднествъ 1880, наслѣдники Пушкина принесли рукописи въ даръ Румянцовскому Музею, гдѣ онѣ стали общедоступными. Ими воспользовался П. Бартеневъ; затѣмъ онѣ были изучаемы П. Ефремовымъ, В. Якушкинымъ (въ „Р. Старинѣ", 1884, одиннадцать статей) и П. Морозовымъ (для изданія Литер. Фонда).

Въ первое время по смерти Пушкина не явилось даже опыта его цѣльной біографіи: являлись только некрологи, отрывочныя воспоминанія, стихотворенія въ его память. Первымъ прочнымъ основаніемъ для біографическаго изученія стали „Матеріалы" П. В. Анненкова (1-й томъ его изданія сочиненій Пушкина и 2-е изд. отдѣльно. Спб. 1873). Далѣе слѣдовали его же:

— А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху. 1799—1826 г. Спб. 1874.

- Воспоминанія и критическіе очерки. III. Спб. 1881, стр. 225 — 267: „Общественные идеалы Пушкина" (изъ послѣднихъ лѣтъ жизни поэта).

— П. Бартеневъ, Родъ и дѣтство П., въ Отеч. Зап., 1853;— А. С. П., матеріалы для его біографіи. М. 1855 (изъ Моск. Вѣдом.);— П. въ южной Россіи. М. 1862, и Р. Архивъ, 1866.

— А. С. П., его жизнь и сочиненія. Съ портретомъ. Спб. 1856; 2-е изд. Спб. 1865 (Н. Г. Чернышевскаго).

— Кн. П. А. Вяземскій, Изъ старой записной книжки, въ Р. Архивѣ 1873—76, и Сочиненія, т. VIII. Спб. 1883.

— Кн. П. П. Вяземскій, А. С. П. по документамъ Остафьевскаго архива. Спб. 1880, 2 вып., и въ „Собраніи сочиненій кн. П. П. Вяземскаго". Спб. 1893, стр. 469—563.

— А. С. П., біографическій очеркъ, и его письма, 1799—1837, подъ ред. П. А. Ефремова, въ Р. Старинѣ 1879—80.

— В. Стоюнинъ, А. С. П. Спб. 1881.

Съ 1860-хъ годовъ, и особенно къ 1880-му, къ открытію памятника въ Москвѣ, журналы и газеты были наводнены статьями о П., между которыми были и цѣнные матеріалы для его біографіи. Объ открытіи памятника и выставкѣ:

— Вѣнокъ на памятникъ Пушкину. Пушкинскіе дни въ Москвѣ, Петербургѣ и провинціи. Спб. 1880.

— Альбомъ московской Пушкинской выставки 1880 г. Изданіе Общ. люб. росс. словесности, подъ ред. Льва Поливанова, съ біографическимъ очеркомъ А. А. Венкштерна и множествомъ портретовъ и рисунковъ. М. 1882. Было 2-е изданіе.

На московскомъ праздникѣ произнесено было нѣсколько рѣчей, которыя произвели впечатлѣніе. Таковы рѣчи: Ив. Аксакова, Достоевскаго, Островскаго, Тихонравова, Тургенева. Наибольшіе толки возбудила рѣчь Достоевскаго, открывшаго въ Пушкинѣ „все-человѣка" (по поводу ея ст. А. Градовскаго, въ „Голосѣ" 1880, № 174, и письмо Кавелина въ „В. Европы" 1880, ноябрь); рѣчь Тихонравова въ „В. Европы" 1880, августъ, и въ Сочин. III, стр. 504—529.

— В. И. Межовъ, Puschkiniana. Библіографическій указатель статей о жизни А. С. П., его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства. Изданіе Имп. Александр. Лицея. Спб. 1886. Сверхъ $4^1/_2$ тысячъ №, съ нѣсколькими спеціальными указателями. Здѣсь въ обиліи отмѣчена также литература, вызванная московскимъ празднествомъ, труды А. Архангельскаго, Н. Булича, А. Кирпичникова, Ор. Миллера, В. Острогорскаго, С. Тимоѳеева, В. Яковлева и пр.

— В. Зелинскій, „Русская критическая литература о произве-

деніяхъ А. С. П. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей". М. 1887, и далѣе; шесть частей.

— С. Либровичъ, П. въ портретахъ. Исторія изображеній поэта въ живописи, гравюрѣ и скульптурѣ. Спб. 1890.

— Я. Гротъ, П., его лицейскіе товарищи и наставники. Спб. 1887.

— А. Кирпичниковъ, въ Энцикл. Словарѣ, Арсеньева.

— Л. Майковъ, „Пушкинъ. Біографическіе матеріалы и историко-литературные очерки". Спб. 1899.

— Въ „Характеристикахъ литер. мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ", 2-е изд. Спб. 1890, я подробнѣе останавливался на общественно-политическихъ взглядахъ Пушкина.

Біографическіе матеріалы, въ видѣ писемъ, воспоминаній и пр., продолжаютъ появляться до сихъ поръ,—напр. въ „Р. Старинѣ", 1899, любопытныя записки А. Н. Вульфа. Появляются дѣйствительныя или мнимыя произведенія Пушкина, какъ окончаніе „Русалки", записанное Д. П. Зуевымъ (въ „Р. Архивѣ" 1897) и возбудившее большіе толки. См. „Разборъ вопроса о подлинности окончаніи Русалки А. С. Пушкина по записи Д. П. Зуева". І. Ѳ. Корша. Спб. 1898 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Акад.).

Главныя хронологическія данныя:

1799, 26 мая, рожденіе Пушкина въ Москвѣ.

1811, 11 января, обнародовано постановленіе о лицеѣ. Въ августѣ П. сдаетъ пріемный экзаменъ. Октября 19, открытіе лицея.

1814, 4 іюля, первое печатное стихотвореніе П. въ „Вѣстникѣ Европы", № 13: „Другу стихотворцу".

1815, янв. 8, П. читаетъ на экзаменѣ „Воспоминанія въ Ц. Селѣ" въ присутствіи Державина. Въ апрѣлѣ, въ первый разъ является подпись Пушкина въ „Росс. Музеумѣ", № 4, подъ этимъ стихотвореніемъ.

1816, въ мартѣ посѣщеніе Пушкина въ лицеѣ Карамзинымъ, кн. П. Вяземскимъ и В. Л. Пушкинымъ.

1817, въ іюнѣ, выпускъ изъ лицея и опредѣленіе въ коллегію иностранныхъ дѣлъ.

1820, весной, окончаніе и печатаніе „Руслана и Людмилы". Въ маѣ—ссылка: „отпускъ" П. въ Одессу, съ прикомандированіемъ къ канцеляріи генерала Инзова; 5-го, отъѣздъ П. къ Инзову въ Екатеринославъ. Въ концѣ мая, отъѣздъ съ семействомъ Раевскихъ на Кавказъ. Въ августѣ, наброски „Кавказскаго Плѣнника". Въ сентябрѣ, пріѣздъ въ Кишиневъ (Инзовъ былъ назначенъ управлять Бессарабской областью).

1821, мартъ, окончаніе „Кавк. Плѣнника". Поѣздки въ Кіевъ, въ Одессу; съ Липранди въ Аккерманъ и Измаилъ. Дуэль съ Зубовымъ.

1822, мартъ, „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ"; поѣздка съ Липранди въ Измаилъ; осенью—„Бахчисарайскій Фонтанъ". Поѣздка въ Каменку къ Раевскимъ.

1823, въ январѣ, просьба къ Нессельроде объ отпускѣ въ Петербургъ и, въ мартѣ, отказъ. Въ маѣ, назначеніе М. С. Воронцова новоросс. генералъ-губернаторомъ; переводъ П. въ Одессу; начало „Евгенія Онѣгина". Въ концѣ года, и въ началѣ слѣдующаго — начало „Цыганъ".

1824, въ мартѣ, письмо Воронцова къ Нессельроде о необходимости удалить П. изъ Одессы; въ іюлѣ, рѣшеніе объ увольненіи П. отъ службы и объ отправленіи, по предписанному маршруту, въ Псковъ. Въ началѣ августа, пріѣздъ въ Михайловское, гдѣ застаетъ родителей. Два „посланія къ цензору". Осенью записываетъ сказки, проситъ у брата историческихъ свѣдѣній о Стенькѣ Разинѣ. Въ октябрѣ, крайній семейный раздоръ, о чемъ онъ пишетъ Жуковскому. Въ концѣ года начатъ „Борисъ Годуновъ".

1825. Въ январѣ, пріѣздъ И. П. Пущина. „Андрей Шенье". Въ апрѣлѣ, заупокойная обѣдня по Байронѣ, пріѣздъ въ Михайловское бар. Дельвига. Въ іюнѣ: „Я помню чудное мгновенье". Октября 19: „Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ". Зимой, окончаніе „Бориса Годунова"; „Графъ Нулинъ". Въ декабрѣ, П. сожигаетъ свои тетради.

1826, въ маѣ, всеподд. прошеніе о позволеніи ѣхать въ одну изъ столицъ или за границу. Іюня 24, узнаетъ о казни декабристовъ 13-го. Іюля 30, прошеніе о снятіи съ него опалы. Августа 28, выс. повелѣніе о вызовѣ П. въ Москву. Сент. 8, представленіе имп. Николаю въ Москвѣ. Въ ноябрѣ, поѣздка въ Михайловское и возвращеніе въ Москву; записка о народномъ воспитаніи, написанная по выс. повелѣнію. Въ декабрѣ: стихи И. П. Пущину; „Въ надеждѣ славы и добра".

1827, въ маѣ, разрѣшеніе жить въ Петербургѣ; въ іюнѣ, пріѣздъ въ Петербургъ. Въ іюлѣ: „Аріонъ". Въ августѣ: „Поэтъ". Въ Москвѣ, знакомство съ Мицкевичемъ.

1828, стихотвореніе „Друзьямъ" („Нѣтъ, я не льстецъ"...). Мартъ первая встрѣча съ Н. Н. Гончаровой. Въ апрѣлѣ, проситъ Бенкендорфа о разрѣшеніи ѣхать въ дѣйствующую армію,—или въ Парижъ. Мая 26: „Даръ напрасный". Въ октябрѣ: „Полтава".

1829. Въ маѣ, сватовство на Гончаровой. Отъѣздъ на Кавказъ. Въ іюнѣ, въ Тифлисѣ и потомъ въ лагерѣ; присутствуетъ при взятіи Арзрума. Въ сентябрѣ, на обратномъ пути. Въ октябрѣ, въ Москвѣ, потомъ въ Михайловскомъ; въ ноябрѣ, въ Петербургѣ.

1830. Участіе въ „Литературной Газетѣ" Дельвига. Въ январѣ, проситъ позволенія ѣхать за Границу или сопровождать миссію въ Китай;—„Въ часы забавъ иль праздной скуки". Въ мартѣ, въ Москвѣ; Бенкендорфъ требуетъ объясненія объ отъѣздѣ туда безъ спроса. Въ апрѣлѣ, П. проситъ разрѣшенія жениться и напечатать „Бориса Годунова" безъ измѣненій,—и разрѣшеніе было дано. Въ концѣ августа, ѣдетъ въ Болдино (нижегор. губ.), выдѣленное ему отцомъ, и живетъ тамъ до конца ноября. Сентябрь: окончаніе „Евгенія Онѣгина". Октябрь: „Повѣсти Балкина"; „Домикъ въ Коломнѣ"; „Моя родословная"; „Скупой Рыцарь"; „Моцартъ и Сальери". Ноябрь: „Исторія села Горохина"; „Каменный Гость"; „Пиръ во время чумы". Декабрь: возвращеніе въ Москву; „Герой".

1831. Февраль: свадьба П. въ Москвѣ. Въ маѣ, переселеніе въ Ц. Село. Въ іюнѣ, проситъ разрѣшенія издавать политическій и литературный журналъ, имѣть доступъ въ архивы. Въ августѣ: „Клеветникамъ Россіи"; знакомство съ Гоголемъ. Сентябрь: „Бородинская годовщина". Октябрь: письмо Онѣгина къ Татьянѣ; возвращеніе въ Пе-

тербургъ. Въ ноябрѣ, снова зачисленъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ.

1832, занятія въ архивахъ. Въ іюлѣ, разрѣшеніе издавать политическую газету. Сентябрь, въ Москвѣ, посѣщеніе университета вмѣстѣ съ Уваровымъ. Октябрь, возвращеніе въ Петербургъ. Начатъ „Дубровскій“.

1833, января 7, избраніе въ члены Россійской Академіи. Февраль: оконченъ „Дубровскій“. Лѣтомъ, „Пѣсни Западныхъ Славянъ“. Къ осени вчернѣ готова „Капитанская Дочка“, „Русалка“. Въ августѣ, отъѣздъ въ Казань и Оренбургъ для задуманнаго романа. Октябрь, пріѣздъ въ Болдино, гдѣ остается до половины ноября. Ноябрь, оконченъ „Мѣдный Всадникъ“; „Родословная моего героя“. Декабрь: проситъ разрѣшеніе представить импер. Николаю рукопись „Исторіи Пугачевскаго бунта“; цензура не пропускаетъ „Мѣднаго Всадника“; пожалованіе въ камеръ-юнкеры.

1834. Мартъ: дано 20 тысячъ на изданіе „Исторіи“. Апрѣль: запрещеніе „Телеграфа“. Августъ: стихотвореніе „Мицкевичъ“ („Онъ между нами жилъ“). Во второй половинѣ августа, отъѣздъ въ Калугу и Болдино. Октябрь: возвращеніе въ Петербургъ. „Пиковая Дама“; приготовленіе матеріаловъ для исторіи Петра Великаго.

1835. Январь: проситъ разрѣшенія прочесть Пугачевское дѣло (въ февралѣ разрѣшено). Апрѣль: „Полководецъ“. Августъ: „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“. Сентябрь: „На выздоровленіе Лукулла“. Осенью: „Египетскія ночи“. Въ декабрѣ, проситъ, черезъ Бенкендорфа, о разрѣшеніи издавать трехмѣсячный журналъ.

1836. Марта 31, цензурное одобреніе перваго тома „Современника“. Въ апрѣлѣ: статья о Радищевѣ. Въ маѣ, пріѣздъ въ Москву для занятій въ архивѣ мин. иностранныхъ дѣлъ, и въ концѣ мѣсяца возвращеніе въ Петербургъ. Въ августѣ: „Памятникъ“. Октября 19, письмо къ Чаадаеву объ его „Философическомъ письмѣ“ въ „Телескопѣ“. Въ тотъ же день, въ послѣдній разъ на лицейской годовщинѣ: „Была пора: нашъ праздникъ молодой“. Ноября 4, получаетъ три экземпляра оскорбительнаго безъименнаго письма; 21-го, извѣщаетъ Бенкендорфа и пишетъ къ Гекерену. Декабря 29, присутствуетъ въ торжественномъ собраніи Академіи Наукъ.

1837, января 27, дуэль; 29-го, кончина Пушкина.

1880, іюня 6, открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ.

1881, авг. 17, учрежденіе при Академіи наукъ пушкинской преміи.

Для полноты историческаго пониманія Пушкина должно познакомиться съ тѣми оцѣнками, какія встрѣчала его дѣятельность съ самаго начала и до нынѣшняго потомства. Современники слѣдили за каждымъ крупнымъ его произведеніемъ; ихъ отзывы, хотя отрывочные, даютъ образчики литературныхъ взглядовъ той эпохи. Позднѣе, когда расширялась дѣятельность Пушкина, отзывы становятся болѣе общими и принципіальными; къ восторженнымъ сочувствіямъ еще примѣшиваются болѣе или менѣе враждебныя сужденія; отмѣтимъ критическія статьи Полевого, а затѣмъ **Надеждина**, журнала „Маякъ“; послѣдній былъ здѣсь предшественникомъ архіепископа

Никанора (рѣчь 1880 г.). Бѣлинскій издавна былъ восторженнымъ почитателемъ Пушкина, хотя возставалъ противъ нѣкоторыхъ общественно-историческихъ его взглядовъ. Въ пятидесятыхъ годахъ капитальнымъ фактомъ было изданіе Пушкина и біографія, П. В. Анненкова; безусловное поклоненіе продолжалось у Аполлона Григорьева: цѣнныя историческія изученія сдѣланы были Н. Г. Чернышевскимъ (переиздано въ „Критическихъ статьяхъ". Спб. 1893); далѣе, критическіе взгляды Н. А. Добролюбова („Сочиненія", Спб. 1861), съ общественно-политической точки зрѣнія; единственная въ своемъ родѣ филиппика Д. И. Писарева, которую впослѣдствіи онъ самъ, говорятъ, осуждалъ.

Выше отмѣченъ Пушкинскій праздникъ 1880 г. и вызванная имъ литература, и указаны также „Puschkiniana" Межова и сборникъ Зелинскаго, гдѣ читатель найдетъ библіографическія указанія и самые тексты статей о Пушкинѣ.

Укажемъ, наконецъ, выводы и впечатлѣнія новыхъ литературныхъ поколѣній: любопытный взглядъ на нравственный и поэтическій характеръ П. въ книжкѣ Вл. С. Соловьева: „Судьба Пушкина" (Спб. 1898); замѣчанія П. Милюкова въ „Очеркахъ по исторія русской культуры", ч. 2. 2-е изд. Спб. 1899, стр. 187 и д.; С. Адріановъ, „Наканунѣ Бѣлинскаго" (въ „Историч. Вѣстникѣ", 1898, май); М. Меньшиковъ, „О писательствѣ". Спб. 1898: стр. 7 и д. (о Пушкинѣ и Лермонтовѣ, какъ о „пророкахъ", которыми они должны были быть); В. Сиповскій, „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ. Изъ литературной жизни Пушкина на югѣ Россіи". Спб. 1899. и пр.

ГЛАВА XLIII.

СВЕРСТНИКИ ПУШКИНА.

Баронъ Дельвигъ.
Рылѣевъ.
А. Бестужевъ-Марлинскій.
Кн. П. А. Вяземскій: преданія „Арзамаса".
П. А. Плетневъ.
Е. А. Баратынскій.
Д. В. Веневитиновъ.
Кн. В. Ѳ. Одоевскій.
Н. А. Полевой.

Первыя стихотворенія Пушкина произвели сильное впечатлѣніе въ тогдашнемъ кругу, и молодомъ, и старшемъ: молодое поколѣніе съ восторгомъ встрѣчало стихи, въ которыхъ видѣло сочувственный ему духъ юношескаго веселья и юношескаго задора; старшее угадывало восходящую поэтическую силу, которая дѣйствительно поставила Пушкина, только-что покинувшаго школу, рядомъ съ авторитетами, засѣдавшими въ „Арзамасѣ". Такъ было, когда за Пушкинымъ не было еще ни одного крупнаго произведенія. Съ появленія „Руслана и Людмилы" и скоро послѣдовавшихъ новыхъ поэмъ, Пушкинъ сталъ центральнымъ лицомъ русской литературы. Онъ отсутствовалъ въ литературныхъ центрахъ, какими были Петербургъ и Москва, и лишь изъ своего далека присылалъ все новыя произведенія, но онѣ каждый разъ становились событіями въ литературѣ, правда, очень бѣдной. Онъ былъ уже гордостію ближайшаго круга, предметомъ поклоненія тѣхъ любителей, въ которыхъ была инстинктивная потребность къ болѣе свѣжему содержанію литературы, было пониманіе къ новой изящной формѣ; но съ другой стороны на него обрушивались антипатіи и раздраженіе приверженцевъ литературной старины, какихъ въ то время были еще цѣлыя толпы. Пушкинъ сталъ знаменемъ, около котораго

въ особенности завязался упорный бой классицизма и романтизма. Самъ Пушкинъ относился нѣсколько недовѣрчиво къ этой терминологіи, не находилъ у насъ ни настоящихъ классиковъ, заслуживающихъ этого имени, ни истинныхъ романтиковъ съ сознательнымъ пониманіемъ новаго поэтическаго откровенія,— такъ или иначе, но была на лицо борьба чего-то новаго противъ старины, утомлявшей и надоѣдавшей сухимъ реторическимъ формализмомъ и заставлявшей сочувствовать новымъ явленіямъ поэзіи, которыя обѣщали литературное освобожденіе. Въ западной литературѣ давно поднятъ былъ этотъ вопросъ о романтизмѣ, возбужденный цѣлымъ рядомъ поэтическихъ произведеній, которыя дѣйствительно отмѣчены были совершенно новымъ характеромъ содержанія и формы, и которыя въ отдѣльныхъ, болѣе или менѣе случайныхъ, переводахъ проникали и въ нашу литературу: на западѣ въ нихъ видѣли новую эру,—слабые отголоски этого направленія заставили предположить и у насъ наступленіе новаго литературнаго періода. Съ Пушкина стали считать полное утвержденіе русскаго романтизма, предисловіе къ которому далъ Жуковскій... Послѣдующая дѣятельность Пушкина прошла гораздо дальше этихъ предположеній: самъ онъ былъ романтикомъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ тогдашніе поклонники новой манеры, а впослѣдствіи совсѣмъ пересталъ думать о романтизмѣ,—но, какъ извѣстно, весь объемъ его поэтической дѣятельности, между прочимъ съ наиболѣе зрѣлыми его произведеніями, сталъ извѣстенъ уже только послѣ его смерти, въ посмертномъ изданіи его сочиненій. И если въ историческихъ и общественныхъ понятіяхъ самъ Пушкинъ уступалъ давленіямъ „жестокаго вѣка", то его дружескій кругъ тѣмъ больше не выступилъ изъ установленныхъ рамокъ жизни и обычнаго теченія литературы...

Литературная судьба сверстниковъ, его переживших, можетъ въ значительной мѣрѣ служить указателемъ теченія литературы въ обычныхъ условіяхъ того времени: они хранили Пушкинское преданіе лишь въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ способны были его уразумѣть; предоставленные самимъ себѣ, они (за рѣдкими исключеніями) не въ состояніи были понять того литературнаго движенія, которое наступило уже вскорѣ по смерти Пушкина, въ сороковыхъ годахъ.

Ближайшія литературныя связи Пушкина основались, главнымъ образомъ, въ тотъ короткій промежутокъ времени, какой онъ прожилъ въ Петербургѣ до ссылки весной 1820. Эти связи поддерживались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ только перепиской

и обмѣномъ сочиненій; рѣдко въ письмахъ не было замѣтокъ о литературныхъ фактахъ данной минуты, о новыхъ произведеніяхъ его друзей, и его собственныхъ работахъ; то же бывало и въ письмахъ, какія получалъ онъ отъ друзей. Этотъ постоянный обмѣнъ литературныхъ новостей и впечатлѣній въ концѣ концовъ создавалъ тѣсную солидарность кружка, и она утвердилась потомъ еще болѣе, когда Пушкинъ вернулся въ Москву и Петербургъ. Къ своимъ литературнымъ друзьямъ Пушкинъ былъ очень привязанъ и даже пристрастенъ. По его смерти, кружокъ сталъ въ литературѣ особнякомъ и вслѣдствіе этой исключительности и своего рода коснѣнія въ мнимо-Пушкинскомъ преданіи утратилъ вліяніе, какое было бы для него возможно.

Ближайшимъ изъ друзей Пушкина былъ баронъ Дельвигъ, въ которомъ онъ цѣнилъ не только характеръ, но и поэтическія достоинства: „никто на свѣтѣ не былъ мнѣ ближе Дельвига,—писалъ Пушкинъ по его смерти:—около него собиралась наша бѣдная кучка; безъ него мы точно осиротѣли“. Дельвигъ умеръ, не успѣвши сдѣлать что-либо крупное; его поэзія раздвоялась между наклонностью къ антологическому стилю—даже послѣ считалось возможнымъ видѣть въ немъ истаго „эллина“—и между любовью къ русской народной пѣснѣ, которую онъ удачно воспроизводилъ: то и другое было приблизительно. Дельвигъ не былъ эллиномъ, и извѣстно замѣчаніе, сдѣланное Кирѣевскимъ еще въ 1830, что его древняя муза покрывается иногда „душегрѣйкою новѣйшаго унынія“: надъ этой душегрѣйкой долго потомъ подшучивали, но она вѣрно обозначила новѣйшій оттѣнокъ, какой придавалъ Дельвигъ своимъ эллинскимъ сюжетамъ. Какъ здѣсь романтическая мечтательность нарушила настоящій тонъ античной поэзіи, такъ въ стихотвореніяхъ Дельвига была прикрашена народная пѣсня; но друзья высоко цѣнили его произведенія какъ „одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ русской поэзіи текущаго столѣтія“: „онѣ дышатъ свѣжестью картинъ; въ нихъ кипятъ чувства; отъ нихъ раздается музыка величественной простоты; онѣ, какъ времена года, блестятъ собственными каждое красотами: кто, прочитавъ ихъ, не почувствуетъ наслажденія, тотъ или отжилъ, или не начиналъ еще жить для восторговъ къ изящному“ [1]. Въ немъ цѣнили, кромѣ того, большое литературное образованіе, и основанная имъ „Литературная Газета“ была первымъ отдѣльнымъ органомъ Пушкинскаго кружка.

[1]) Плетневъ въ некрологѣ барона Дельвига, 1831. См. „Сочиненія и переписку“ Плетнева. Спб. 1885, I, стр. 216.

Въ первые годы жизни въ Петербургѣ Пушкинъ познакомился съ Рылѣевымъ и только послѣ, заочно, они сошлись на дружеское „ты“ [1]). Біографія Рылѣева до сихъ поръ недостаточно изслѣдована. Ревностный дѣятель тайнаго общества, онъ старался и въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ дать выраженіе наполнявшему его гражданскому чувству. Его настроеніе было типическимъ для либеральнаго молодого поколѣнія тѣхъ годовъ, въ которомъ, съ одной стороны, отражались политическія возбужденія европейскихъ событій, съ другой — было усиленное стремленіе пересадить ихъ въ русскую жизнь въ нашей національной окраскѣ: рядомъ съ западнымъ либерализмомъ ставились воспоминанія о древней новгородской свободѣ (отъ которой не было въ жизни никакого слѣда), о гражданскихъ доблестяхъ предковъ (которыя только-что узнавались изъ Карамзина и другихъ немногихъ пособій), и въ этихъ воспоминаніяхъ указывался примѣръ для подражанія [2]). Онъ былъ, конечно, романтикъ, но далеко не въ томъ смыслѣ, какъ романтикомъ считался Жуковскій; Рылѣеву казалось даже, что поэзія Жуковскаго приноситъ вредъ нашей литературѣ, распространяя мистическое настроеніе,—онъ думалъ, что это настроеніе отвлекаетъ умы отъ дѣятельнаго интереса къ задачамъ общественной жизни. Рылѣевъ понималъ романтизмъ, какъ свободу и поэтическую, и гражданскую вмѣстѣ: содержаніе своихъ произведеній онъ бралъ изъ внутренней политической жизни русскаго народа, а манера была навѣяна общими пріемами романтической поэзіи, а въ частности „Историческими Пѣснями“ Нѣмцевича, на которыя онъ и указываетъ въ предисловіи къ своимъ „Думамъ“. Эти „Думы“, форма которыхъ казалась Рылѣеву совершенно національной, по существу не вызывали тогда сомнѣній; и другіе тогдашніе поэты обращались иногда къ этой формѣ; она сказалась и въ „Вѣщемъ Олегѣ“ Пушкина; но Рылѣевъ спеціально разработывалъ этотъ поэтическій родъ и далъ длинный рядъ стихотвореній, собирая сюжеты почти на всемъ пространствѣ русской исторіи. Въ свое время „Думы“, повидимому, нравились: трагическая смерть поэта вскорѣ послѣ того, какъ онъ собралъ свои произведенія въ отдѣльныя изданія, удалила ихъ изъ литературнаго обращенія, но онѣ долго ходили въ рукописяхъ, привлекая читателей патріотическимъ одушевленіемъ и проблесками дѣйствительной поэзіи... Развитіе нашего романтизма въ рукахъ могущественныхъ талан-

---

[1]) Письмо Пушкина отъ 25 января 1825, изъ Михайловскаго.

[2]) О политическихъ и общественныхъ взглядахъ Рылѣева см.: Общественное движеніе при Александрѣ I. 2-е изд., Спб. 1885.

товъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, и, съ съ другой стороны, превращеніе его въ сильный и здоровый реализмъ, сами собой устранили тотъ романтическій стиль, которому служили Рылѣевъ и его современники, и „Думы“ отошли въ исторію безъ всякаго участія критики. Въ свое время онѣ еще не могли встрѣтить слишкомъ строгихъ требованій: онѣ нравились иногда самому Пушкину, который вскорѣ потомъ восхищался и первымъ романомъ Загоскина. Рылѣевъ производилъ впечатлѣніе патріотическимъ возбужденіемъ, искренность котораго чувствовалась: романтическая высокопарность была въ духѣ времени; наконецъ, нашъ романтизмъ въ то время былъ именно занятъ исканіемъ тѣхъ путей, которыми онъ могъ утвердиться на русской почвѣ. Отношеніе Пушкина къ Рылѣеву было неровное: онъ то одобрялъ, то строго осуждалъ его, между прочимъ, въ письмахъ къ нему самому. Въ 1823, Пушкинъ шутливо и насмѣшливо говоритъ о „знаменитомъ“ Рылѣевѣ. Въ письмѣ къ нему самому въ апрѣлѣ 1825, онъ говоритъ о „Войнаровскомъ“ и о „Думахъ“: „Думаю, ты уже получилъ замѣчанія мои на Войнаровскаго. Прибавлю одно: вездѣ, гдѣ я ничего не сказалъ, должно подразумѣвать: знаки восхищенія, прекрасно, и пр. Полагая, что хорошее писано съ умыслу—не счелъ за нужное отмѣчать для тебя. Что сказать тебѣ о „Думахъ“? Во всѣхъ встрѣчаются стихи живые; окончательныя строфы Петра въ Острогожскѣ чрезвычайно оригинальны. Но вообще всѣ онѣ слабы изобрѣтеніемъ и изложеніемъ. Всѣ онѣ на одинъ покрой, составлены изъ общихъ мѣстъ (loci topici): описаніе мѣста дѣйствія, рѣчь героя и нравоученіе. Національнаго русскаго нѣтъ въ нихъ ничего, кромѣ именъ (исключая Ивана Сусанина—первую думу, по которой началъ я подозрѣвать въ тебѣ истинный талантъ)“. Мы привели отзывъ 1823 года; но въ черновомъ письмѣ къ кн. Вяземскому около того же времени, онъ пишетъ о думахъ Рылѣева: „послѣднія прочелъ я недавно и еще не опомнился: такъ онъ вдругъ выросъ!“ Въ письмѣ къ Рылѣеву отъ января 1825, онъ говоритъ, что ждетъ съ нетерпѣніемъ „Полярной Звѣзды“: „знаешь для чего? для Войнаровскаго. Эта поэма нужна была для нашей словесности“. Разбирая сочиненія своихъ пріятелей, Пушкинъ не пропускалъ ихъ ошибокъ и неловкостей; такъ Рылѣеву онъ между прочимъ указывалъ, что въ думѣ объ Олегѣ надо было исправить стихъ, гдѣ Рылѣевъ говорилъ, что Олегъ прибилъ къ цареградскимъ воротамъ свой щитъ „съ гербомъ Россіи“, когда этого герба вовсе не было; въ думѣ о Хмѣльницкомъ: „лучъ денницы проникалъ въ полдень въ темницу Хмѣльницкаго“. Это не Хво-

стовъ написалъ—вотъ что̀ меня огорчило!—Что̀ дѣлаетъ Дельвигъ? чего онъ смотритъ!“ Рылѣевъ послѣ исправилъ эти стихи. „Войнаровскій“ Пушкину нравился. Въ январѣ 1824 онъ писалъ Бестужеву: „Рылѣева Войнаровскій несравненно лучше всѣхъ его Думъ: слогъ его возмужалъ и становится истинно повѣствовательнымъ, чего у насъ почти еще нѣтъ“. То же онъ повторялъ въ письмѣ къ брату въ апрѣлѣ 1825, а передъ тѣмъ писалъ ему же: „Присовѣтуй Рылѣеву въ новой его поэмѣ помѣстить въ свитѣ Петра I нашего дѣдушку. Его арапская рожа произведетъ странное дѣйствіе на всю картину Полтавской битвы“. Въ письмѣ къ Бестужеву отъ марта 1825 опять сочувственный отзывъ: „Откуда ты взялъ, что я льщу Рылѣеву? Мнѣніе свое о его „Думахъ“ я сказалъ вслухъ и ясно; о поэмахъ его также. Очень знаю, что я его учитель въ стихотворномъ языкѣ, но онъ идетъ своей дорогой. Онъ въ душѣ поэтъ; я опасаюсь его не на шутку и жалѣю очень, что не застрѣлилъ, когда имѣлъ къ тому случай; да чортъ его зналъ! Жду съ нетерпѣніемъ Войнаровскаго и перешлю ему всѣ мои замѣчанія. — Ради Христа, чтобъ онъ писалъ, да болѣе, болѣе!“ Но затѣмъ опять отзывы очень суровые. Въ маѣ того же 1825 года онъ пишетъ кн. Вяземскому по поводу „Чернеца“ Козлова: „Эта поэма, конечно, полна чувства и умнѣе Войнаровскаго, но въ Рылѣевѣ есть болѣе замашки или размашки въ слогѣ. У него есть какой-то тамъ палачъ съ засученными рукавами, за котораго я бы дорого далъ. Зато Думы дрянь, и названіе сіе происходитъ отъ нѣмецкаго dumm, а не отъ польскаго, какъ казалось бы съ перваго взгляда“. Говоря о „цѣляхъ“ поэзіи, Пушкинъ замѣчалъ: „думы Рылѣева и цѣлятъ, а все не впопадъ“. Въ письмѣ къ Бестужеву отъ ноября 1825, онъ подшучиваетъ надъ манерой Рылѣева составлять предварительные планы для своихъ Думъ: „Я болѣе люблю стихи безъ плана, чѣмъ планъ безъ стиховъ“.

Рылѣевъ, съ своей стороны, преклонялся передъ Пушкинымъ. Кончая свои письма къ нему, Рылѣевъ пишетъ напримѣръ: „прощай, поэтъ“; или: „прощай, чародѣй“; или: „прощай, милая сирена“. Послѣднее извѣстное письмо къ Пушкину кончается словами: „...Еслибъ ты зналъ, какъ я люблю, какъ я цѣню твое дарованіе! Прощай, чудотворецъ“. Въ этихъ шутливо-нѣжныхъ словахъ говорила очевидно глубокая привязанность; но въ литературныхъ мнѣніяхъ Рылѣевъ оставался независимъ и иногда спорилъ съ Пушкинымъ, напр. о Жуковскомъ; Пушкинъ вообще защищалъ Жуковскаго отъ слишкомъ рьяныхъ романтиковъ, и

около того времени писалъ (въ апрѣлѣ 1825): „Зачѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорѣзались“?

Въ другой разъ Рылѣевъ возсталъ противъ аристократическихъ наклонностей Пушкина: „Ты сдѣлался аристократомъ; это меня разсмѣшило. Тебѣ ли чваниться пятисотлѣтнимъ дворянрянствомъ? И тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ! Ты самъ по себѣ молодецъ“. Въ другомъ письмѣ [1]) онъ опять настаиваетъ: „Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлѣтнимъ дворянствомъ, но несправедливо. Справедливость должна быть основаніемъ и дѣйствій, и самыхъ желаній нашихъ. Преимуществъ гражданскихъ не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни къ чему и не служатъ ни въ залѣ невѣжды, ни въ залѣ знатнаго подлеца, не умѣющаго цѣнить твоего таланта. Глупая фраза журналиста Булгарина также не оправдываетъ тебя, точно такъ, какъ она не въ состояніи уронить достоинства литератора и поставить его на одну доску съ камердинеромъ знатнаго барина. Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебѣ. На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ“.

Толки о поэзіи и гражданствѣ начались съ посвященія „Войнаровскаго“, гдѣ Рылѣевъ, вручая Бестужеву свою поэму, „плоды безпечнаго досуга“, говорилъ:

Какъ Аполлоновъ строгій сынъ,
Ты не увидишь въ нихъ искусства;
Зато найдешь живыя чувства—
Я не поэтъ, а гражданинъ.

Пушкинъ говоритъ въ письмѣ къ кн. Вяземскому (отъ августа 1825), что Дельвигъ „уморительно сердится“ на это посвященіе „Войнаровскаго“, а самъ онъ восхищался эпиграммой кн. Вяземскаго, который, изобличая низкопоклонство извѣстнаго Свиньина передъ Аракчеевымъ, оканчивалъ эпиграмму очевидной пародіей стиховъ Рылѣева [2]). Пушкинъ подшучивалъ надъ ними и гово-

[1]) Не совсѣмъ ясенъ порядокъ писемъ Рылѣева, 3-го и 4-го (въ изданіи 1872, стр. 235—237).

[2])
Что пользы, говоритъ разсчетливый Свиньинъ,
Намъ кланяться развалинамъ безплоднымъ
Пальмиры древней, иль Аѳинъ?
Нѣтъ, лучше въ Грузино пойду путемъ доходнымъ:
Тамъ кланяясь, могу я выкланяться въ чинъ.
Оставимъ славы дымъ поэтамъ сумасброднымъ:
Я не поэтъ, а дворянинъ.

Этой эпиграммы нѣтъ въ полномъ собраніи сочиненій кн. Вяземскаго: она издана въ „Русскомъ Архивѣ“, 1866, и приведена въ „Сочиненіяхъ“ Пушкина, изд. Литературнаго Фонда, VII, стр. 145—146.

рилъ, что кто пишетъ стихи, тотъ прежде всего долженъ быть поэтомъ, а кто хочетъ просто „гражданствовать“, пусть пишетъ прозой. Но въ прежнее время и самъ онъ гражданствовалъ въ стихахъ...

Рылѣевъ не соглашался съ Пушкинымъ и въ вопросѣ о покровительствѣ талантовъ,—о чемъ тогда Пушкинъ писалъ Бесужеву (въ мартѣ 1825). „Главная ошибка твоя, — писалъ Рылѣевъ Пушкину,—состоитъ въ томъ, что ты и ободреніе, и покровительство принимаешь за одно и то же. Что ободреніе необходимо не только для таланта, но даже для генія, я твердилъ Бестужеву еще до полученія твоего письма; но какое ободреніе... Можетъ быть, Гомеръ сочинялъ свои рапсодіи изъ-за куска хлѣба; ...покровительство въ состояніи оперить, но думаю, что оно скорѣй можетъ дѣйствовать отрицательно. Сила душевная слабѣетъ при дворахъ и геній чахнетъ; все дѣло добрыхъ правительствъ состоитъ въ томъ, чтобы не стѣснять генія. Пусть онъ производитъ свободно все, что внушаетъ ему вдохновеніе. Тогда не надобно ни пенсій, ни орденовъ, ни ключей камергерскихъ“... Пушкинъ отвѣчалъ на это въ письмѣ къ Бестужеву (въ декабрѣ 1825): „Мнѣ досадно, что Рылѣевъ меня не понимаетъ. Въ чемъ дѣло? Что у насъ не покровительствуютъ литературѣ и что — слава Богу! Зачѣмъ же объ этомъ говорить? Напрасно! Равнодушію правительства и притѣсненію цензуры обязаны мы духомъ нашей словесности. Чего же тебѣ болѣе?... Всякій знаетъ, что хоть онъ расподличайся — никто ему спасибо не скажетъ и не дастъ ни 5 рублей: такъ ужъ лучше даромъ быть благороднымъ человѣкомъ. Ты сердишься за то, что я хвалюсь 600-лѣтнимъ дворянствомъ (NB. мое дворянство старѣе). Какъ же ты не видишь, что духъ нашей словесности отчасти зависитъ отъ сословія писателей? Мы не можемъ подносить нашихъ сочиненій вельможамъ, ибо по своему рожденію почитаемъ себя равными имъ. Отселѣ гордость etc. Не должно русскихъ писателей судить какъ иноземныхъ“. Вопросъ остался нерѣшеннымъ.

Наконецъ Рылѣевъ предостерегалъ Пушкина отъ подражанія Байрону. Однажды онъ подозрѣвалъ уже маленькое подражаніе Байрону въ аристократизмѣ Пушкина. Въ письмѣ отъ мая 1825, восхищаясь „Донъ-Жуаномъ“, онъ пишетъ: „Тутъ Байронъ вознесся до невѣроятной степени: онъ сталъ тутъ и выше пороковъ, и выше добродѣтелей. Пушкинъ! Ты пріобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства: одинъ Державинъ только еще борется съ тобою, но еще два, много три года усилій, и ты опередишь его. Тебя ждетъ завидное поприще: ты можешь быть нашимъ

Байрономъ, но, ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета, не подражай ему. Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ". Совѣтъ на ту минуту былъ нѣсколько запоздалый (чего Рылѣевъ могъ не знать), но во всякомъ случаѣ свидѣтельствовалъ о вѣрномъ чутьѣ.

Пушкинъ считалъ Рылѣева своимъ ученикомъ въ стихѣ; это подтверждалъ и самъ Рылѣевъ. Размѣръ его дарованія не былъ обширенъ, но извѣстную поэтическую оригинальность находилъ въ немъ и Пушкинъ. Оригинальность Рылѣева была двоякая. Во-первыхъ, это было стремленіе искать поэтическаго матеріала въ историческомъ прошломъ, воспроизведеніе котораго могло справедливо представляться задачей для русскаго поэта: задача была трудная, и неудивительно, что Рылѣевъ недостаточно справлялся съ нею, если наша историческая старина и до сихъ поръ мало поддается воспроизведенію, несмотря на то, что новѣйшіе поэты могли бы быть несравненно больше подготовлены къ ея пониманію. Другой оригинальностью Рылѣева былъ его общественный патріотизмъ. Такія стихотворенія, какъ оды „Видѣніе", „Гражданское мужество", какъ стихотвореніе „къ Рубеллію", отрывокъ „Гражданинъ", не лишены настоящаго поэтическаго одушевленія. Онъ самъ сознавался, что нѣкоторыя изъ его „думъ" очень слабы, „но зато,—говорилъ онъ,—убѣжденъ душевно, что Ермакъ, Матвѣевъ, Волынской, Годуновъ и имъ подобное—хороши и могутъ быть полезны не для однихъ дѣтей". Тогдашнее слабое знаніе старины не давало средствъ для достиженія по крайней мѣрѣ исторической живописности; настроеніе поэта и вообще либеральнаго круга, къ которому онъ принадлежалъ, побуждало переносить въ старину тѣ идеи свободы, какія почерпались изъ классиковъ и современныхъ газетъ: понятно, что примѣненіе этихъ идей свободы, напримѣръ, къ старому русскому Новгороду становилось натянутымъ, школьно-поэтическимъ, и взамѣнъ естественнаго тона являлась та романтическая выспренность, которая вообще господствовала въ тогдашней поэзіи.

Никто изъ писателей того круга не прославился романтической выспренностью въ такой степени, какъ ближайшій другъ Рылѣева, Бестужевъ-Марлинскій. Его первые шаги въ литературѣ начала двадцатыхъ годовъ были заслонены его послѣдующей дѣятельностью повѣствователя, когда онъ сталъ настоящимъ идоломъ многочисленныхъ почитателей, съ именемъ Марлинскаго. Бестужевъ былъ съ Пушкинымъ ближе, чѣмъ Рылѣевъ, и письма къ нему Пушкина, гораздо болѣе многочисленныя, вводятъ насъ

въ ихъ общіе литературные интересы; вѣроятно сближала ихъ и необычайная живость характера у обоихъ...

Въ семьѣ Бестужева была преемственность интересовъ къ литературѣ и просвѣщенію. Бестужевъ-отецъ, артиллеристъ и морякъ по спеціальности и службѣ, прошелъ тяжелую военную карьеру, былъ техникъ и инженеръ, а вмѣстѣ по своему времени широко образованный человѣкъ: въ 1798 году онъ издавалъ вмѣстѣ съ Пнинымъ „С.-Петербургскій Журналъ", замѣчательный по своему общественному направленію, а позднѣе былъ авторомъ любопытной книги: „Опытъ военнаго воспитанія относительно благороднаго юношества" (1803), передѣланной потомъ въ „Правила военнаго воспитанія" и пр. (1807), гдѣ просвѣтительныя идеи западной литературы по вопросу общественнаго воспитанія были примѣнены къ условіямъ русскаго общества. Въ духѣ этой любви къ просвѣщенію шло воспитаніе его сыновей; трое изъ нихъ оставили свое имя въ литературѣ, и въ особенности Александръ (1797—1837). Домъ Бестужевыхъ представлялъ собою цѣлый музей въ миніатюрѣ, гдѣ были прекрасныя коллекціи по всѣмъ отраслямъ наукъ и искусствъ. Это была уже богатая пища для юной любознательности: старшій изъ братьевъ, Николай, впослѣдствіи декабристъ, въ сибирской ссылкѣ имѣлъ случай примѣнить свои разнообразныя познанія и изобрѣтательность; второй, Александръ, рано заявилъ другую сторону дарованія — дѣятельную фантазію; онъ читалъ съ величайшею жадностью книги изъ отцовской библіотеки. На десятомъ году отданный въ горный корпусъ, онъ началъ вести обстоятельный дневникъ, гдѣ, по свидѣтельству его брата Михаила, „можно было уже замѣтить зародыши будущихъ талантовъ и недостатковъ его на литературномъ поприщѣ; въ немъ, какъ бы въ зеркалѣ, увидѣли бы миніатюрнаго Марлинскаго, съ его складомъ ума и сердца, съ его оригинальною, саркастическою рѣчью, наблюдательнымъ взоромъ и пылкимъ воображеніемъ". Вскорѣ была написана даже романтическая драма... Свое литературное поприще Александръ началъ очень рано. Это былъ юноша съ возбужденной фантазіей, пылкимъ темпераментомъ, большой начитанностью, съ литературной бойкостью, когда въ 1819 онъ становится сотрудникомъ журналовъ, членомъ петербургскаго общества русской словесности, вступаетъ въ дружескія отношенія съ Грибоѣдовымъ, Рылѣевымъ, Пушкинымъ, кн. Вяземскимъ, но также съ Гречемъ и Булгаринымъ, которые въ то время были еще большими либералами и начинали свою литературную промышленность. Когда, въ 1823, Бестужевъ и Рылѣевъ задумали

изданіе „Полярной Звѣзды“, они могли соединить въ ней лучшія имена тогдашней литературы, и альманахъ имѣлъ небывалый успѣхъ. Особенное впечатлѣніе произвели въ литературномъ кругу его „Взглядъ на русскую словесность“ за 1823 годъ, какъ въ слѣдующемъ выпускѣ „Полярной Звѣзды“ такое же обозрѣніе литературы, за 1824 и начало 1825 года, и общее обозрѣніе русской литературы въ статьѣ: „Взглядъ на старую и новую словесность въ Россіи“ (въ „Полярной Звѣздѣ“ 1823). Это были первыя попытки разобраться въ томъ смутномъ состояніи русской литературы, когда начиналось въ ней романтическое броженіе и нужно было выяснить отношенія ея старыхъ и новыхъ элементовъ. „Взгляды“ Бестужева вызвали тотчасъ цѣлый рядъ одобреній и осужденій и на нѣкоторое время ввели въ моду подобныя обозрѣнія, которыя были первой пробой систематической критики и исторіи литературы. Въ 1840, Бѣлинскій [1]) ставилъ тогдашнія критическія статьи Бестужева очень высоко, находилъ ихъ „крайне интересными, какъ факты интереснѣйшаго времени нашей литературы, времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперешнимъ покойникомъ романтизмомъ“.

Бестужевъ былъ тогда блестящій гвардейскій офицеръ, красавецъ собою, живой и остроумный и, по его собственному выраженію, съ „перечнымъ“ темпераментомъ. „Всю свою жизнь,— говоритъ его біографъ,—онъ былъ настоящимъ сердцеѣдомъ и всегда былъ окруженъ женскою лаской. Въ Петербургѣ, въ Якутскѣ, на Кавказѣ одна интрига смѣнялась другою. Все это, нельзя отрицать, дѣлало его порядочнымъ фатомъ“. Среди общественнаго возбужденія двадцатыхъ годовъ и особенно въ кругу военной молодежи, Бестужевъ вступилъ въ тайное общество, гдѣ между прочимъ, однимъ изъ самыхъ ревностныхъ дѣятелей былъ его другъ, Рылѣевъ. Это вступленіе въ заговоръ Гречъ въ своихъ запискахъ объясняетъ несчастной любовью къ дочери его начальника Бетанкура: получивъ отказъ, онъ впалъ въ уныніе, искалъ развлеченія и, „познакомившись съ Рылѣевымъ, который былъ несравненно ниже его и умомъ, и дарованіями, и образованіемъ, заразился его нелѣпыми идеями, вдался въ омутъ, и потомъ не могъ или совѣстился выпутаться, руководствуясь правилами худо понимаемаго благородства; находилъ, вѣроятно, удовольствіе въ хвастовствѣ и разлагольствіяхъ, и погибъ!“ Новѣйшій біографъ объясняетъ это проще. Въ тогдашнемъ настрое-

[1]) Въ разборѣ „Полнаго собранія сочиненій“ Марлинскаго, „Сочиненія“, т. III, стр. 434 и далѣе.

ніи общества трудно было миновать вліянія либеральныхъ идей, къ которымъ были тогда прикосновенны даже Гречъ и Булгаринъ; вмѣстѣ съ Рылѣевымъ Бестужевъ прожилъ цѣлые послѣдніе годы, до конца 1825; особенное и, можетъ быть, наибольшее вліяніе оказалъ на Бестужева его старшій братъ Николай, человѣкъ менѣе талантливый, но болѣе серьезный. Но хотя Бестужевъ имѣлъ дѣятельную роль въ происшествіяхъ 14 декабря, его участіе въ заговорѣ не было велико; онъ вовсе не былъ политикомъ, занятъ былъ всего больше литературными интересами, свѣтскою жизнью, любовными похожденіями, и когда заговоръ потерпѣлъ полную неудачу, онъ самъ явился на гауптвахту Зимняго дворца и принесъ повинную имп. Николаю. Онъ долженъ былъ искренно сознать свое заблужденіе: ни раньше, ни позже въ его литературной дѣятельности не было стремленія быть „гражданиномъ", какъ у его друга Рылѣева. Участь его была нелегкая: болѣе полутора года онъ провелъ въ крѣпостномъ заключеніи, затѣмъ до половины 1828 года на поселеніи въ Якутскѣ; потомъ, по его просьбѣ, ему разрѣшено было перейти солдатомъ на Кавказъ, гдѣ въ разгарѣ тогдашнихъ войнъ съ горцами онъ, кромѣ тяжелой строевой службы подъ непріязненнымъ начальствомъ, принималъ участіе въ боевыхъ дѣлахъ, въ которыхъ, по его собственнымъ признаніямъ, сразу пріобрѣлъ привычку къ сценамъ убійства,—наконецъ, заслужилъ офицерскій чинъ, но вскорѣ послѣ того въ одной нелѣпо веденной экспедиціи былъ убитъ, и тѣло его не было отыскано.

Пушкинъ зналъ Бестужева не долго, до своей ссылки. Въ изданномъ недавно отрывкѣ изъ „Путешествія въ Арзрумъ", есть разсказъ о встрѣчѣ Пушкина съ Бестужевымъ на Кавказѣ [1]; подлинность этого отрывка не была достаточно удостовѣрена; но если это дѣйствительно разсказъ Пушкина, встрѣча была случайная, короткая, радостная и вмѣстѣ глубоко печальная... Удивительно, что послѣ 1825 года ни въ сочиненіяхъ, ни въ перепискѣ Пушкина не встрѣчается уже никакихъ упоминаній о Бестужевѣ.

По тогдашнимъ понятіямъ, между прочимъ у самого Пушкина, „романтическая" натура представляла нѣчто совсѣмъ особенное: это была натура талантливая, бурная, не покоряющаяся условіямъ свѣта, героическая, даже немного дикая,—въ такой разрядъ вполнѣ шелъ Бестужевъ. Онъ и былъ у насъ едва ли не самымъ яркимъ представителемъ романтизма, какъ онъ понимался

[1]) Въ изданіи Литературнаго Фонда, IV, стр. 454.

въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Говорятъ, что въ знаменитыхъ повѣстяхъ, которыя приводили въ такой восторгъ тогдашнихъ читателей, и стиль которыхъ вошелъ потомъ въ пословицу по своей вычурной высокопарности, герои съ неистовыми страстями, съ огненною кровью въ жилахъ были въ значительной мѣрѣ отраженіемъ собственной личности писателя; форма выраженія дана была тогдашней литературой и самимъ Бестужевымъ доведена до крайности... Письма Пушкина къ Бестужеву свидѣтельствуютъ, что онъ высоко цѣнилъ дарованіе Бестужева и особенно, быть можетъ, его широкую по тогдашнему литературную образованность; однажды Пушкинъ прямо говорилъ, что въ кругу тогдашнихъ писателей Бестужевъ одинъ изъ немногихъ, которые работаютъ. Дѣйствительно, его литературныя обозрѣнія двадцатыхъ годовъ указываютъ большую начитанность, хотя также и большую смѣлость въ обращеніи съ начитаннымъ. Бѣлинскій, признавая за нимъ заслугу новизны его „Взглядовъ", видѣлъ уже и то, сколько было поверхностнаго въ его литературныхъ сужденіяхъ. „Марлинскій,—говоритъ онъ,—не отличается глубокимъ взглядомъ на искусство, не представляетъ о немъ ни одной глубокой идеи, но почти вездѣ обнаруживаетъ эстетическое чувство и вѣрный вкусъ человѣка умнаго и образованнаго". Его статьи „отличаются языкомъ по тому времени совершенно новымъ, чуждымъ большею частью изысканности и вычурности, полнымъ жизни, движенія, выразительности, оборотами новыми и смѣлыми, игривыми, живописными, образными. Конечно, въ этихъ „обозрѣніяхъ" часто встрѣчаются похвалы такимъ сочиненіямъ и такимъ „сочинителямъ", имена которыхъ теперь сдѣлались допотопными, ископаемыми рѣдкостями; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ нихъ встрѣчаются и чистыя отставки заржавѣвшимъ и заплеснѣвѣвшимъ знаменитостямъ того времени, и истинныя оцѣнки старыхъ и новыхъ талантовъ, особенно Державина, Жуковскаго и Пушкина. Надо знать и помнить критику того времени, чтобы оцѣнить подобныя характеристики, въ которыхъ Марлинскій изобразилъ этихъ мощныхъ представителей нашей поэзіи".

Ссылка прервала на нѣсколько лѣтъ литературную дѣятельность Бестужева, и она возобновилась уже на Кавказѣ, въ 1830 въ „Сынѣ Отечества", а потомъ въ „Московскомъ Телеграфѣ" Полевого. Біографъ Бестужева, разсказывая тѣ необычайныя, бурныя и дикія впечатлѣнія, какія приходилось Бестужеву переживать въ боевой службѣ на Кавказѣ, замѣчаетъ: „Удивительно ли послѣ этого, что подъ вліяніемъ такихъ необыденныхъ

факторовъ, подъ вліяніемъ всей суммы причудливыхъ, исключительныхъ условій кавказской жизни Бестужева, въ немъ самомъ произошло романтическое, если можно такъ выразиться, перерожденіе". Въ эти годы онъ писалъ однажды братьямъ, заканчивая одну изъ самыхъ знаменитыхъ своихъ повѣстей: „Вторая половина Фрегата Надежды должна вамъ понравиться, ибо я чувствую, что моей чернильницей было сердце. Мало-по-малу я самъ начинаю признавать свое призваніе, я чувствую, что въ головѣ моей совершается міръ". Въ дѣйствительности, перерожденія не было, но въ тѣхъ исключительныхъ условіяхъ, въ какихъ привелось ему жить, внѣ литературнаго общенія, въ умственномъ одиночествѣ, его богатая фантазія разъигрывалась сильнѣе, не измѣняя однако, своего прежняго направленія. Она разъигрывалась и въ оригинальныхъ сюжетахъ его повѣстей, и въ его историческихъ построеніяхъ, и въ романтическихъ замыслахъ. Еще во времена „Полярной Звѣзды" у него была наклонность къ широкимъ обобщеніямъ; теперь онѣ стали еще смѣлѣе. Такова была, напримѣръ, статья, которая вызывала сожалѣніе и вмѣстѣ негодованіе Бѣлинскаго, а именно, статья о романѣ Полевого: „Клятва при Гробѣ Господнемъ" [1]). Нѣкогда (1825) Бестужевъ относился къ Полевому критически; теперь отношеніе было иное. „Эта статья,—говоритъ Бѣлинскій,—была написана въ 1833 году, а въ восемь лѣтъ много воды утекло: удивительно ли, что два автора, критиковавшіе сочиненія одинъ другого, поняли другъ друга, къ обоюдной пользѣ, по пословицѣ: „рука руку моетъ—обѣ чисты"?.. Во всякомъ случаѣ эта статья весьма примѣчательна. Критикъ начинаетъ съ яицъ Леды, уцѣпляется за неизбѣжный въ то время классицизмъ и романтизмъ, садится на пароходъ Джонъ Буль и везетъ своихъ читателей въ Индію, оттуда (сухимъ путемъ) въ Персію, заѣзжаетъ мимоходомъ въ Аравію и Египетъ, оттуда ѣдетъ (моремъ) въ Грецію, которую онъ понимаетъ поверхностно—съ телеграфской точки зрѣнія; изъ Греціи отправляется въ Римъ, и изъ Рима—прямо къ средніе вѣка. Тутъ идутъ толки о баронахъ и вассалахъ, о крестовыхъ походахъ, менестреляхъ, наконецъ о Шекспирѣ, о Вальтеръ-Скоттѣ, Куперѣ, Байронѣ, Викторѣ Гюго, который по мнѣнію критика, знаетъ человѣческую природу не хуже Шекспира (!!...) и гораздо лучше Эсхила и Софокла (...!!); далѣе толкуетъ о XVIII и XIX вѣкахъ, и о Наполеонѣ, а изъ всего этого выходитъ, что мы—романтики, и что Полевой—великій

---

[1]) Статья помѣщена была въ нѣсколькихъ книжкахъ „Моск. Телеграфа".

романтикъ и еще большій романистъ (!!!...). Ложная идея ложнаго романтизма до того овладѣла нашимъ романтическимъ критикомъ, что у него и Державинъ—романтикъ, и Карамзинъ, и Вельтманъ, словомъ, все талантливое, даровитое, все — романтики. Романтизмъ въ глазахъ Марлинскаго есть альфа и омега истины, краеугольный камень міра, ключъ ко всякой мудрости, рѣшеніе всего и на землѣ, и подъ землею, причина всѣхъ причинъ, начало всѣхъ началъ, разгадка всевозможныхъ загадокъ... Вслѣдстіе всего этого, въ статьѣ довольно софизмовъ и произвольныхъ, ни на чемъ не основанныхъ мнѣній. Въ слогѣ мѣстами колетъ глаза читателю вычурность. Особенно замѣтно желаніе шутить, которое проявляется иногда тамъ, гдѣ, кромѣ журналовъ, издающихся только для шутки, никто еще не шутилъ". Изъ усиленнаго желанія быть остроумнымъ, Бестужевъ въ послѣдніе годы нерѣдко впадалъ въ очень грубое и скучное балагурство; высокопарность переходила наконецъ всѣ предѣлы здраваго смысла и вкуса. Въ примѣръ того, какъ „міръ совершался" въ головѣ автора, приводимъ отрывокъ изъ „Журнала Вадимова" (1834). Вадимовъ заразился чумой въ Ахалцыхѣ. Онъ долженъ умереть, но хочетъ воспользоваться послѣдними минутами, чтобы высказать передъ смертью свои мысли и чувства, и успѣваетъ написать очень много. Въ началѣ онъ говоритъ: „Дайте мнѣ писать собственною кровью, — это облегчитъ меня, это, быть можетъ, спасетъ меня"! Онъ испытываетъ ужасныя страданія, которыя успѣваетъ описывать весьма цвѣтисто, но у него бываютъ и минуты облегченія и онъ передаетъ свои мечты, говоритъ о томъ, что онъ хотѣлъ бы сдѣлать. Онъ проситъ дать ему еще годъ, хоть полгода, чтобы онъ могъ „перевести себя на языкъ, понятный людямъ" (почему онъ не подумалъ о томъ раньше?).

„Полгода... дерзкій! Полвѣка бы не стало на высказъ того, что крутится вихрями въ моемъ воображеніи, на перепись буквами думъ, насыпанныхъ въ сокровищницу ума, на разработку рудниковъ, таящихся въ лонѣ души!"

А именно онъ хотѣлъ сдѣлать слѣдующее:

„Да, огромную необъятную поэму замышлялъ начертать я: „Человѣчество" было бы имя ея, человѣчество во всѣхъ его возрастахъ, во всѣхъ кризисахъ. Я бы сплавилъ въ этой поэмѣ небо съ землей, поднялъ бы изъ праха вѣка, допытался бы отъ судьбы неразгаданныхъ доселѣ приговоровъ ея; зажегъ бы надъ мертвецомъ минувшаго погасшіе лучи жизни, озарилъ бы молніями будущее, и въ облака, въ океанъ, въ землю полными руками посѣялъ бы сѣмена неиспытанныхъ, незнаемыхъ звуковъ, мыслей, ощущеній,—зерна столь же сладостныя, какъ райская роса, какъ улыбка неба!.. Засѣялъ бы пол-

ными руками землю звѣздами неба, засѣялъ бы небо мыслями земли и сплавилъ бы радугой въ одно: небо съ землей. О время, время, дай мнѣ жизни; за каждую песчинку я воздамъ тебѣ неоцѣнимою жемчужиной!

„Какъ Данте, я бы взоромъ своимъ разбилъ адскія ворота; какъ Мильтонъ, я взлетѣлъ бы къ престолу Всевышняго и проникъ въ заповѣдные сады рая; какъ Шекспиръ, рознялъ, разгадалъ бы я сердце человѣческое и показалъ его на ладони своей—кровавое, трепещущее!.. Я, все, что было, что совершилось на дѣлѣ, на письмѣ, въ душѣ и въ волѣ, въ мѣди и въ мраморѣ, въ звукахъ и взорахъ, исторію и басню, романъ, драму, ученость и заблужденіе, вѣру, суевѣріе—все, все это стопилъ бы я въ необъятномъ горнилѣ труда, все поглотилъ, всосалъ бы какъ море, и послалъ къ небу въ чистыхъ испареніяхъ или, переработанное, очищенное, сокрылъ бы въ лонѣ своемъ яркими кристаллами".

Марлинскій хотѣлъ передать здѣсь не бредъ горячки,—это только мечты романтика. Очевидно, прозаикъ Марлинскій былъ образцомъ стихотворца Бенедиктова...

При всѣхъ недостаткахъ критики Марлинскаго, которые отчасти объяснялись временемъ, Бѣлинскій отдавалъ справедливость его достоинствамъ: „многія свѣтлыя мысли, часто обнаруживающееся вѣрное чувство изящнаго, и все это, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно,—составляютъ неотъемлемую и важную заслугу Марлинскаго русской литературѣ и литературному образованію русскаго общества". Но Бѣлинскій былъ очень строгъ къ его повѣстямъ: въ нихъ нѣтъ настоящей художественности, нѣтъ дѣйствительнаго изображенія жизни; при всей эффектности онѣ крайне однообразны. Во всѣхъ герояхъ и героиняхъ этого плодовитаго нувеллиста только резонерство и чувственность, но ни малѣйшей тѣни чувства. Женщины его совершенно чужды того, что должно составлять идею, сущность, ореолъ, кроткое сіяніе ихъ пола... Всѣ мужчины его —какія-то отвлеченныя и безличныя олицетворенія бѣшеныхъ страстей фосфорической натуры, чуждой всякой глубокости, неспособной возвыситься ни до какого чувства"... Сдѣлавъ выписку изъ „Фрегата Надежды", одной изъ наиболѣе знаменитыхъ повѣстей Марлинскаго, — выписку съ обычными у него невѣроятными гиперболами языка, Бѣлинскій спрашиваетъ: „Скажите, ради самого Бога: неужели эти красивыя, щегольскія фразы, эта блестящая реторическая мишура есть отголосокъ чувства, изліяніе страсти, а не выраженіе затаеннаго желанія рисоваться, кокетничать своимъ чувствомъ, или своею страстью? И добро бы всѣ эти фразы были въ письмѣ, а то въ разговорѣ, въ монологѣ"! Все въ этихъ повѣстяхъ произвольно, и

отсюда „происходитъ, въ подобныхъ произведеніяхъ, такое множество отступленій, вставокъ, разглагольствованій и ораторскихъ рѣчей: авторъ говоритъ за свою повѣсть, а не повѣсть говоритъ сама за себя... Вообще, если вы зажмурите глаза, слушая „рѣчи“ дѣйствующихъ лицъ во всѣхъ повѣстяхъ Марлинскаго, то, право, никакъ не разгадаете, кто говоритъ—морской офицеръ, дикій черкесъ, ливонскій рыцарь, русскій князь временъ междоусобія, русскій бояринъ XV или XVI вѣка, мужчина или женщина, старикъ или юноша, Аммалатъ-Бекъ или будочникъ-ораторъ“... Новѣйшій біографъ Марлинскаго считаетъ эти и подобные отзывы Бѣлинскаго односторонними и ошибочными: достаточно вникнуть въ личный характеръ Бестужева, какъ онъ сталъ извѣстенъ теперь по его жизнеописанію и письмамъ, чтобы видѣть, что прототипомъ героевъ Марлинскаго, Греминыхъ, Лидиныхъ, Правиныхъ и проч. былъ самъ Бестужевъ съ его дѣйствительно пламенными чувствами и „кровью истинно азіатской“, какъ онъ выражался однажды въ письмѣ къ брату, и что поэтому въ его изображеніяхъ вовсе не было „фальсификаціи чувства“, какую находилъ Бѣлинскій... Но это возраженіе не устраняетъ взгляда Бѣлинскаго, который, между прочимъ, говорилъ: „Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дѣйствительности; но, изображая страсть, поэтъ не долженъ быть въ страсти: страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ“. Біографъ дѣлаетъ одну уступку: онъ признаетъ у Марлинскаго „экстравагантность языка,—что̀ въ концѣ концовъ вещь второстепенная“ (?). Бѣлинскій думалъ иначе, и выписавши одну тираду изъ „Фрегата Надежды“ (гдѣ, между прочимъ, герой, „сверкая и вращая очами, какъ опьянѣлый“, въ разговорѣ съ дамой сердца, выражалъ готовность за каждый ея поцѣлуй „сорить головами людей“ и платить жизнью сотни людей и даже бросать на вѣтеръ жизнь любимыхъ товарищей, друзей и братьевъ, хотя бы въ другое время готовъ былъ за нихъ „источить кровь по каплѣ, изрѣзать сердце въ лоскутки“), онъ спрашивалъ: „И это поэзія, а не реторика?“ И конечно это была реторика, и, какъ Бѣлинскій указывалъ, эта реторика одинаково повторялась у русскаго моряка, у древняго ливонскаго рыцаря, у современнаго кавказскаго горца, и т. д.

Но тамъ, гдѣ Марлинскій не выходилъ за предѣлы вѣроятія, онъ былъ прекрасный разсказчикъ, и въ исторіи русской повѣсти его сочиненія займутъ свое важное историческое мѣсто. Съ другой стороны, романтизмъ тридцатыхъ годовъ, котораго

онъ былъ столь ревностнымъ представителемъ, самъ готовилъ себѣ историческое осужденіе: искусственность, которая становилась его природой, въ концѣ концовъ притупляла естественное поэтическое чувство. Поклонники романтизма были не въ состояніи понять того новаго поэтическаго содержанія, того правдиваго изображенія жизни, какія приносилъ Гоголь: кромѣ невѣжественныхъ обскурантовъ, другими злѣйшими противниками Гоголя были именно романтики, и когда новое теченіе литературы принесло съ собой элементы здороваго поэтическаго и общественнаго содержанія, романтизмъ кончилъ свое существованіе.

Только въ 1836 Бестужевъ получилъ, наконецъ, офицерскій чинъ, который принесъ ему величайшую радость: безъ сомнѣнія, онъ видѣлъ въ немъ начало освобожденія; но напрасно самъ могущественный Воронцовъ хлопоталъ о перечисленіи больного тогда Бестужева въ гражданскую службу,—только рана въ сраженіи могла дать ему право искать отставки. Въ томъ несчастномъ сраженіи при мысѣ Адлерѣ, которое стоило ему жизни, Бестужевъ самъ вызвался въ охотники, несмотря на явную невозможность удачи и несмотря на то, что генералъ Вальховскій его усиленно отговаривалъ,—думаютъ, что онъ искалъ въ смерти выхода изъ тяготившей его, наконецъ, судьбы. Въ февралѣ 1837 онъ получилъ извѣстіе о смерти Пушкина, которое страшно его поразило: осталось глубоко трогательное письмо его къ брату (по-французски), гдѣ между прочимъ есть предчувствіе своей близкой смерти. Онъ заказалъ въ соборѣ св. Давида панихиду о Пушкинѣ и Грибоѣдовѣ, „et quand le prêtre chanta: „за убіенныхъ боляръ Александра и Александра“—je sanglotai au point de me suffoquer—elle m'a paru, cette phrase, non seulement un souvenir, mais une prédiction. Oui, je sens, moi, que ma mort aussi sera violente, et extraordinaire, et peu éloignée“... Послѣднимъ трудомъ Бестужева, за нѣсколько дней до его смерти, былъ переводъ на русскій языкъ татарской поэмы на смерть Пушкина.

Однимъ изъ ближайшихъ друзей Пушкина и тѣхъ писателей, съ которыми онъ любилъ дѣлиться своими мыслями по литературнымъ вопросамъ, былъ кн. П. А. Вяземскій. Значительно старше Пушкина лѣтами, выросшій въ аристократическомъ кругу, отчасти еще полномъ воспоминаніями XVIII вѣка, въ близкихъ отношеніяхъ съ Карамзинымъ, давно связанный съ кружкомъ Арзамаса, кн. Вяземскій не былъ настоящимъ сверстникомъ Пушкина, но былъ еще молодъ, когда Пушкинъ окончилъ курсъ

лицея и вступилъ на литературное поприще. Между ними скоро нашлось много общаго: оба вращались въ томъ же литературномъ кругу Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова; сходились на ту минуту въ общемъ вкусѣ къ легкой поэзіи и въ стремленіи къ новизнѣ, которое у Пушкина было органическимъ стремленіемъ высокаго дарованія къ литературной реформѣ и по крайней мѣрѣ было понятно Вяземскому, какъ оригинальность бойкая и блестящая; до значительной степени они сходились и въ понятіяхъ общественныхъ, такъ какъ и кн. Вяземскій былъ въ тѣ годы „либералистомъ"—отчасти по вліянію времени, которому отдалъ дань самъ императоръ Александръ, отчасти по антипатіи образованнаго человѣка къ обскурантизму. Для кн. Вяземскаго съ его литературнымъ образованіемъ, съ его остроуміемъ, всегда готовымъ на шутку и эпиграмму, иногда веселую, иногда ядовитую (но часто поверхностную), всего болѣе сочувственна могла быть именно та область тогдашней литературы, которая вскорѣ была отвоевана Пушкинымъ и его сверстниками: Вяземскій дѣлитъ ихъ литературные интересы, даетъ свои стихотворенія въ ихъ сборники и альманахи, воюетъ съ тѣми же врагами. Съ 1825 года, когда начался „Телеграфъ" Полевого, кн. Вяземскій принялъ въ немъ дѣятельное участіе: журналъ обѣщалъ живое вниманіе къ вопросамъ русской литературы, интересъ къ современной европейской образованности,—то и другое было близко и кн. Вяземскому, но затѣмъ послѣдній оставилъ „Телеграфъ", который, наконецъ, возбудилъ къ себѣ весьма недружелюбное отношеніе въ кружкѣ Пушкина. Кн. Вяземскій былъ не только поэтъ, но и литературный критикъ: его интересовала не только современная, но и прошедшая русская литература. Первымъ трудомъ его въ этомъ направленіи была біографія Озерова; потомъ обширная статья о жизни и сочиненіяхъ Ив. Ив. Дмитріева. Кн. Вяземскій думалъ составить цѣлый рядъ біографій старыхъ русскихъ писателей, которыя были бы своего рода исторіей русской литературы; этотъ трудъ не состоялся, и результатомъ плана осталась книга о Фонъ-Визинѣ, начатая въ двадцатыхъ годахъ и доконченная только въ 1848; весьма замѣчательная для своего времени, она была однимъ изъ первыхъ опытовъ изученія нашей литературы въ связи съ исторіей общества... Кн. Вяземскій пережилъ всѣхъ своихъ сверстниковъ даже того Пушкинскаго круга, гдѣ и въ свое время былъ старшимъ: передъ нимъ прошло нѣсколько литературныхъ поколѣній, нѣсколько періодовъ въ развитіи самой литературы, и если въ ближайшей смѣнѣ поколѣній сплошь и рядомъ не

понимаютъ другъ друга отцы и дѣти, то тѣмъ болѣе естественно, что не понимаютъ другъ друга дѣды и внуки. Такъ случилось и съ кн. Вяземскимъ. Одинъ изъ самыхъ образованныхъ людей во время своей молодости, онъ всегда—въ общемъ принципѣ—оставался другомъ просвѣщенія и отстаивалъ свободу литературнаго развитія, право общественнаго мнѣнія; но со второго десятилѣтія нашего вѣка, когда онъ началъ свое поприще, произошло слишкомъ много переворотовъ въ самой жизни, чтобы не оказалось нужнымъ расширить примѣненіе этого принципа. Въ исторической смѣнѣ поколѣній, если онѣ не остаются въ застоѣ, каждая послѣдующая ступень развитія обыкновенно отрицаетъ предъидущую, т.-е. такъ подвигаетъ ее впередъ, что прежніе выводы оказываются неполными, или совсѣмъ невѣрными. Кн. Вяземскій началъ свою дѣятельность въ то время, когда романтизмъ долженъ былъ защищать право существованія противъ классицизма,—онъ присутствовалъ при побѣдѣ; но побѣда была непродолжительна, потому что самый романтизмъ къ 40-мъ годамъ успѣлъ окончательно устарѣть и литература со временъ Гоголя вступила на путь реализма, который былъ понятенъ лишь немногимъ сверстникамъ Пушкина, а другіе его уже совсѣмъ не понимали, какъ выше замѣчено относительно Полевого и Марлинскаго; рядомъ съ этимъ реальнымъ направленіемъ литературы возникали эстетическія теоріи, невѣдомыя въ Пушкинское время, и утверждались новыя понятія общественныя, еще менѣе понятныя сверстникамъ Пушкина. Еще позднѣе, въ концѣ 50-хъ и въ 60-хъ годахъ, осуществлялись въ жизни начала, которыя во времена Александра I считались дѣломъ „либеральнаго бреда“, и вмѣстѣ съ тѣмъ общественная мысль была возбуждена къ гораздо болѣе широкимъ запросамъ и стремленіямъ,—самая литература создавала произведенія почти невѣдомаго прежде общественнаго характера и художественнаго типа, каковы были, напримѣръ, произведенія Тургенева, Льва Толстого, Достоевскаго, Островскаго. Кн. Вяземскій былъ едва ли не единственнымъ русскимъ писателемъ, которому случилось быть свидѣтелемъ такой многозначительной смѣны историческихъ явленій, и требовались бы особенныя силы, чтобы пережить всѣ эти періоды развитія съ неизмѣннымъ сочувствіемъ къ нароставшимъ поколѣніямъ. И то было много, что кн. Вяземскій сохранилъ представленіе о необходимости извѣстнаго простора для литературныхъ мнѣній (записка 1850-хъ годовъ о цензурѣ); но первые опыты литературы выйти изъ круга привычныхъ идей его молодости (въ 30-хъ годахъ) были уже встрѣчены имъ враждебно. Онъ

воспитался въ преклоненіи передъ Карамзинымъ: „Исторія Государства Россійскаго“ казалась ему неприкосновенной святыней, и онъ составилъ ту странную записку къ Уварову (которую, за немногими исключеніями, одобрилъ и Пушкинъ), гдѣ кн. Вяземскій указывалъ на „черную шайку разрушителей“ (!), которая осмѣливалась усумниться въ авторитетѣ Карамзина. Пушкинъ замѣтилъ: „не лишнее ли?“ только противъ одного мѣста этой записки, гдѣ кн. Вяземскій говорилъ: „И самое 14 декабря не было ли впослѣдствіи времени, такъ сказать, критика вооруженною рукою на мнѣніе, исповѣдуемое Карамзинымъ, то-есть Исторіею Государства Россійскаго, хотя, конечно, участвующіе въ немъ тогда не думали ни о Карамзинѣ, ни о трудѣ его“ [1]). Если сказать, что въ „черной шайкѣ“ былъ названъ достопамятный Н. Г. Устряловъ, понятна будетъ вся степень нетерпимости автора записки. Не меньше оказалось ея и впослѣдствіи. Въ новой литературѣ кн. Вяземскій признавалъ только то, что̀ казалось ему согласнымъ съ добрыми старыми нравами, и находилъ одно осужденіе для всего, что̀ не подходило къ его привычнымъ вкусамъ и что̀, однако, создавалъ не одинъ вкусъ новыхъ писателей, притомъ не всегда дурной, а цѣлое движеніе жизни, и здѣсь были, между прочимъ, произведенія, составляющія гордость русской литературы и отголосокъ самыхъ жизненныхъ требованій общественной мысли.

Его нетерпимость особенно развилась въ сороковыхъ годахъ, когда общій характеръ литературы окончательно отдалился отъ стараго содержанія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ это новая литература высказалась и противъ самого писателя. Позднѣе, въ своей автобіографіи онъ говоритъ, что противъ него образовался „заговоръ молчанія“ [2]), но заговоръ былъ только въ воображеніи кн. Вяземскаго: онъ самъ признаетъ, что въ послѣднее время появлялся въ литературѣ только изрѣдка и случайно, и дѣйствительно, это бывали стихотворенія, эпиграммы, замѣтки и особливо анекдотическія воспоминанія изъ старой записной книжки: это, и особливо послѣднее, могло быть и бывало любопытно, но не было такимъ участіемъ въ литературѣ, которое заставляло бы о себѣ говорить. Кромѣ книги о Фонъ-Визинѣ, кн. Вяземскій не далъ никакого обширнаго цѣльнаго труда ни въ поэзіи, ни въ критикѣ, ни въ исторіи, труда, который сталъ бы событіемъ, привлекающимъ

[1]) Полное собраніе сочиненій кн. Вяземскаго. Спб. 1879, т. II, стр. 211—226.

[2]) Тамъ же, т. I, стр. III. Повидимому кн. Вяземскій примѣнилъ къ себѣ то, о чемъ онъ говорилъ нѣкогда по поводу И. И. Дмитріева (I, стр. 148).

вниманіе,—и это была единственная причина молчанія, на которое онъ жаловался [1]). Но книга о Фонъ-Визинѣ, которая была такимъ крупнымъ трудомъ, напротивъ, вызывала всегда самые сочувственные отзывы; съ 1848 года этотъ трудъ не потерялъ интереса и цитируется донынѣ.

Это разногласіе писателя, воспитаннаго давнимъ литературнымъ прошлымъ, съ позднѣйшими поколѣніями, было весьма естественно; въ немъ есть даже своя привлекательная сторона: это—ревнивое обереганіе старыхъ привязанностей, старыхъ понятій и идеаловъ, въ истинность которыхъ писатель, конечно, вѣровалъ. Но слишкомъ исключительная привязанность къ старинѣ была источникомъ ошибокъ и главною было несправедливое осужденіе законныхъ требованій жизни и даже крупныхъ явленій литературы въ угоду личнаго предубѣжденія. Съ другой стороны, въ этомъ разногласіи наглядно рисуется разница историческихъ эпохъ: другіе сверстники Пушкина, которымъ привелось быть свидѣтелями дальнѣйшаго развитія литературы, относились къ нему такъ же съ бо́льшимъ или меньшимъ недовѣріемъ.

Кн. Вяземскій является такимъ образомъ хранителемъ преданій Пушкинскаго времени. Но если самъ Пушкинъ не всегда былъ согласенъ съ его литературными взглядами и спорилъ съ нимъ, напримѣръ, по поводу Озерова или Дмитріева; если собрать въ сочиненіяхъ кн. Вяземскаго тѣ положительныя требованія, какія примѣнялъ онъ къ литературѣ, мы согласимся съ выводомъ новѣйшаго критика: „Причины полнаго отъ него отчужденія молодыхъ литераторовъ,—говоритъ г. Спасовичъ,—лежали глубже, чѣмъ ему самому казалось, и заключались въ томъ, что кн. Вяземскій не былъ собственно сверстникъ ни Пушкину, ни его поэтической плеядѣ, что всю свою жизнь, вплоть до гробовой доски, былъ онъ полный классикъ стараго покроя, между тѣмъ какъ кругомъ его умственная атмосфера общества радикальнѣйшимъ образомъ измѣнилась вслѣдствіе новыхъ вѣяній, вслѣдствіе теченія, извѣстнаго подъ именемъ романтизма". Это замѣчаніе можетъ казаться парадоксомъ, потому что самъ Вяземскій признавалъ себя романтикомъ, и вмѣстѣ съ „романтическою вольницей" поклонялся Байрону, былъ ревностнымъ партизаномъ Пушкина, перевелъ и посвятилъ Пушкину знаменитый въ тѣ годы романъ Бенжамена Констана: „Адольфъ" и т. д.; но новѣйшій критикъ считаетъ эти романтическіе порывы ца-

[1]) Эта жалоба была повторена даже однимъ изъ его біографовъ. См. Сборникъ Русскаго Отдѣленія Академіи Наукъ. Спб. 1880, т. XX, въ приложеніяхъ къ отчету за 1878 г., стр. 49.

пускными и поверхностными, потомучто въ самой основѣ міровоззрѣнія кн. Вяземскаго лежало безусловное поклоненіе Карамзину, какъ законодателю литературы въ „Письмахъ русскаго путешественника“ и въ „Исторіи“. И съ этимъ поклоненіемъ въ самой глубинѣ взглядовъ кн. Вяземскаго господствовалъ именно классицизмъ и консерватизмъ, несмотря на его либеральныя увлеченія, несмотря на защиту романтизма. „Всякій классицизмъ,— говоритъ тотъ же критикъ,—а въ томъ числѣ и тотъ, который былъ въ Россіи самымъ послѣднимъ и самымъ утонченнымъ,— классицизмъ карамзинскій, былъ строгъ по отношеніямъ къ формамъ, держался обѣими руками авторитета, вносилъ въ литературу дисциплину, начало государственности и нѣкоторыя, такъ сказать, полицейскія привычки, которыя непріятно поражаютъ насъ и въ самомъ князѣ Вяземскомъ“. Послѣ нападенія на Полевого и Устрялова въ тридцатыхъ годахъ,—нападенія, которое вызвано было раздражавшимъ его нарушеніемъ авторитета Карамзина, кн. Вяземскій и въ 1847 написалъ: „Что ни говори,— а въ республикѣ письменъ (république des lettres) нужна глава, нуженъ президентъ“ [1]. Еще въ 1830 году, до записки къ Уварову, онъ писалъ объ „Исторіи русскаго народа“ Полевого, между прочимъ, въ такомъ тонѣ, что если въ политическомъ мірѣ анархія ведетъ къ деспотизму смѣлаго хищника (указаніе на французскую революцію и Наполеона), то и въ мірѣ литературномъ анархія будетъ обозначать ниспроверженіе законовъ ума и вкуса, и „возмущенія анархическаго своевольства противъ нравственныхъ и умственныхъ властей бываютъ также введеніемъ къ лжецарствію невѣжества“ [2]. Кн. Вяземскій, конечно, сильно заблуждался относительно возможности такого единодержавія въ области литературы. Весь смыслъ историческихъ успѣховъ литературы заключается въ свободномъ развитіи ея силъ, т.-е. ума, знанія и поэтическаго творчества; подчиненіе ихъ впередъ какому-либо авторитету прежде всего связало бы эти силы; никакой истинный талантъ не можетъ развиться вполнѣ, дѣйствуя только по указкѣ. Съ другой стороны, онъ заблуждался фактически: Карамзинъ во второй половинѣ своей дѣятельности пользовался великимъ уваженіемъ какъ историкъ, но былъ уже далекъ отъ движенія литературы поэтической и не имѣлъ на нее никакого вліянія; даже какъ историкъ, онъ встрѣтился съ тѣмъ, что̀ кн. Вяземскій называлъ анархическимъ своевольствомъ и что̀ было только критикой. Позднѣе, литературный автори-

[1]) Полное собраніе сочиненій, II, стр. 366.
[2]) Тамъ же, стр. 147.

тетъ Пушкина былъ неизмѣримо выше авторитета Карамзина, но и онъ не достигъ (вѣроятно, и не искалъ) единодержавія,— и это было вовсе не бѣдой, а счастіемъ для литературы, потому что свидѣтельствовало о появленіи самостоятельной мысли... Въ стихотвореніи 1861 года [1]) кн. Вяземскій вспоминаетъ старый Арзамасъ:

Не рѣдко намъ—кто жъ не слыхалъ?—пеняли,
Что мы кружкомъ, средь Арзамасскихъ стѣнъ,
Олигархически себя держали,
Какъ говорятъ: въ республикѣ письменъ...

Въ этомъ Арзамасѣ дѣйствительно былъ и корень его представленій о литературномъ главенствѣ.

Другимъ свидѣтелемъ и дѣятелемъ Пушкинской эпохи, видѣвшимъ дальнѣйшее развитіе литературы, хотя и не на такомъ обширномъ пространствѣ времени, какъ Вяземскій, былъ Плетневъ. Онъ вышелъ изъ другого круга и другой школы, чѣмъ арзамасцы и ближайшіе товарищи Пушкина; но преданный интересамъ литературы и въ началѣ также поэтъ, наконецъ человѣкъ, уважаемый по его нравственнымъ достоинствамъ, онъ вступилъ въ литературный кругъ Пушкина и ему остался навсегда вѣренъ. Отъ поэтическаго поприща онъ самъ скоро отказался, но обладалъ вкусомъ и сталъ въ своемъ кругу литературнымъ критикомъ, мнѣнія котораго цѣнились и дѣйствительно бывали иногда замѣчательны для своего времени; вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ вѣрный и заботливый другъ, къ которому обращались и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, и который немало послужилъ имъ всѣмъ и дѣломъ, и совѣтомъ. Школа Плетнева (семинарія, потомъ педагогическій институтъ) была менѣе блестящая, чѣмъ у остальныхъ сверстниковъ Пушкина, но во многихъ случаяхъ болѣе основательная. Правда, и эта школа (все-таки одна изъ лучшихъ въ то время) не давала настоящаго знакомства съ современнымъ положеніемъ даже той науки, которая ближайшимъ образомъ касалась вопросовъ искусства,—теоріи и исторіи литературы, — но по крайней мѣрѣ Плетневъ твердо установилъ себѣ нѣкоторыя общія положенія о значеніи искусства: онѣ стали руководствомъ его критики и могли быть достаточны на первое время, и сильной опорой послужила ему здѣсь, кромѣ знакомства съ главными писателями европейской литературы, особливо съ Шекспиромъ, поэтическая дѣятельность Пуш-

[1]) Тамъ же, т. XI, стр. 373.

кина, какъ живой образецъ высокаго творчества. Плетневъ сталъ выразителемъ теоретическихъ понятій кружка.

Въ концѣ концовъ этотъ кружокъ, сосредоточіемъ котораго, если не практическимъ, то идеальнымъ, былъ Пушкинъ, занялъ въ литературѣ особое, довольно исключительное положеніе. Это было нѣчто въ родѣ той олигархіи, о которой говорилъ Вяземскій... Одинъ изъ историковъ той литературной эпохи такъ характеризуетъ этотъ кружокъ, въ которомъ были корифеи литературы, какъ Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Гоголь: „Кружокъ этотъ, составлявшій литературныя вершины эпохи, считаемой золотымъ вѣкомъ нашей литературы, былъ весьма замкнутый"... „Въ настоящее время литераторы, независимо отъ того, къ какому слою общества принадлежатъ они и какъ великъ ихъ талантъ, раздѣляются на особые лагери, группируясь по большей части вокругъ тѣхъ или другихъ органовъ печати. Ничего подобнаго не было въ 20-хъ и 30-хъ годахъ. Общество до такой степени было еще проникнуто патріархальными понятіями, что тѣ самые іерархическіе порядки, которые господствовали въ немъ, проникали и въ литературу. Въ ней была своя табель о рангахъ, свой плебсъ внизу и своя аристократія, не имѣвшая съ этимъ плебсомъ ничего общаго. Журналистика разсматривалась, какъ нѣчто стоящее на самомъ низу іерархической лѣстницы, какъ своего рода базаръ... Литературную же аристократію составляли нѣсколько первоклассныхъ свѣтилъ. Это былъ своего рода Олимпъ, недоступный для непосвященныхъ. Писатели, имѣвшіе счастіе принадлежать къ Олимпу, были обыкновенно люди настолько обезпеченные, что имѣли возможность вращаться въ большомъ свѣтѣ, а нѣкоторые изъ нихъ имѣли доступъ и ко двору... Это была своего рода литературная академія, имѣвшая свою исторію, свои традиціи и свой авторитетъ, которымъ она пользовалась во всемъ образованномъ обществѣ. Чтобы попасть въ число первоклассныхъ писателей, необходимо было быть принятымъ въ члены этой академіи, а этого нельзя было достигнуть никакими журнальными захваливаніями и панегириками; необходимо было, чтобы олимпійцы сами замѣтили писателя, приблизили къ себѣ. Но кто разъ вступалъ въ союзъ избранныхъ, тотъ, во-первыхъ, сейчасъ же отдѣлялся отъ литературнаго плебса, а во-вторыхъ, дѣлался не только сочленомъ по отношенію къ прочимъ свѣтиламъ Олимпа, но немедленно вступалъ съ ними въ самыя дружескія и интимныя отношенія". Это былъ культъ чистаго искусства, замѣчаетъ историкъ, но безъ той тенденціозной примѣси, съ какою онъ сталъ являться

впослѣдствіи. Состояніе литературы побуждало работать для формальнаго развитія литературы, для установленія формъ поэтическаго творчества, для устраненія старой реторической напыщенности, для выработки языка и стиха, на которую они тогда обращали особенное вниманіе. На все это требовалось много труда и таланта: „во всемъ этомъ была своя новаторская отвага", и это не были, однако, „безцѣльные эстетики и эпикурейцы",— они совершали труженическую работу, которая „созидала литературу для того, чтобы передать намъ ее выработанною и пригодною для достиженія какихъ угодно высокихъ цѣлей".

Наконецъ, замѣчаетъ историкъ, въ нравахъ этого круга была еще почтенная черта, именно, уклоненіе отъ полемики. Когда въ журналахъ шла ожесточенная борьба между классиками, романтиками, натуральной школой и т. д., „олимпійцы съ презрѣніемъ смотрѣли на весь этотъ шумъ и гамъ журнальнаго плебса, считая полемику порожденіемъ грубой нетерпимости и признакомъ дурного тона. Въ то же время въ ихъ средѣ мирно и незлобиво уживались другъ съ другомъ писатели самыхъ разнородныхъ школъ и направленій. Свято и нерушимо чтилась здѣсь по установившейся традиціи память закатившихся свѣтилъ прошлаго столѣтія—Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина, Дмитріева и др. Карамзину, какъ создателю литературнаго языка, молились здѣсь, какъ учителю и пророку. Изъ современныхъ же свѣтилъ неоклассикъ Батюшковъ не мѣшалъ Жуковскому вводить въ нашу литературу мечтательный нѣмецкій романтизмъ; Жуковскій, въ свою очередь, крѣпко жалъ руку Гоголю, несмотря на его крайній натурализмъ. Однимъ словомъ, въ олимпійскую среду съ одинаковымъ почетомъ и привѣтомъ принимался каждый писатель, какимъ бы новаторомъ онъ ни являлся, если только видѣли въ немъ сильный талантъ, а въ произведеніяхъ его находили полное удовлетвореніе всѣмъ эстетическимъ требованіямъ".

Историкъ находитъ, что начало этой литературной академіи теряется въ глубинѣ XVIII столѣтія, а концомъ ея можно считать появленіе статей Бѣлинскаго въ половинѣ тридцатыхъ годовъ [1]).

Эта характеристика кружка должна быть нѣсколько исправлена и дополнена. Дѣйствительно, начало подобныхъ кружковъ восходитъ къ XVIII вѣку, когда немногочисленные литературные дѣятели стали собираться въ небольшія общества, гдѣ только и могли встрѣтить помощь опытности и обмѣняться мыслями;

[1]) „Очеркъ", г. Скабичевскаго.

такіе кружки бывали также въ той или другой степени средствомъ самообразованія. Восемнадцатый вѣкъ представилъ замѣчательный примѣръ этого рода въ Дружескомъ Обществѣ Новикова и его сотоварищей; по такому побужденію основана была Россійская Академія; какъ чисто литературное общество, составилась „Бесѣда“ Державина и Шишкова; въ началѣ столѣтія образовалось нѣсколько литературныхъ обществъ, существовавшихъ оффиціально; въ противовѣсъ Бесѣдѣ явился Арзамасъ, который и послужилъ зерномъ „Олимпа“. Біографъ Пушкина именно указывалъ, какъ въ этомъ кругу, до половины двадцатыхъ годовъ, держалось преданіе Арзамаса,—кн. Вяземскій гордился этимъ преданіемъ еще въ 1861. „Такъ важно было вліяніе Арзамаса на литературу нашу,—говорилъ Анненковъ,—и надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохранилъ навсегда уваженіе, какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами въ средѣ его, такъ и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсуженныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ попытки разъединенія, проявившіяся одно время въ видѣ нападокъ на произведенія Жуковскаго, и вообще всѣ такого же рода попытки, да и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія“ [1])... Позднѣе, какъ находилъ біографъ Пушкина, „Арзамасъ“ далеко не исполнилъ ожиданій, какія можно было бы имѣть относительно такого соединенія силъ ума, образованія и таланта: уже вскорѣ Арзамасъ распался и столь основательно, что нѣкоторые изъ его прежнихъ членовъ не только стали весьма равнодушны къ успѣхамъ литературы, но оказались прямыми ея гонителями... И тѣ, кто могъ быть потомъ зачисленъ въ кружокъ Пушкина, не всѣ совершали тотъ труженическій подвигъ, о которомъ упомянуто выше: если былъ здѣсь Жуковскій, Пушкинъ и еще немногіе, которымъ дѣйствительно принадлежала заслуга великаго подвига въ созиданіи нашей литературы, то были также и люди, похожіе на „безцѣльныхъ эстетиковъ и эпикурейцевъ“, были дилеттанты съ ихъ обычнымъ свойствомъ—случайнымъ вмѣшательствомъ въ литературу и поверхностнымъ отношеніемъ къ ея истиннымъ интересамъ... Въ началѣ кружокъ не чуждался полемики: Пушкинъ и кн. Вяземскій часто, и первый съ большимъ искусствомъ, вступали въ жаркія схватки съ противниками, боролись съ мнѣніями и дѣйствіями, которыя считали ложными и вредными для литературы. Другіе отъ полемики воздерживались, особливо когда

[1]) Матеріалы для біографіи Пушкина, въ первомъ томѣ „Сочиненій“. Спб. 1855, стр. 53.

многіе изъ членовъ кружка заняли высокое общественное или служебное положеніе: это была уже доля высокомѣрія, не имѣвшаго достаточныхъ литературныхъ основаній, а также доля отчужденія отъ литературнаго движенія. Въ концѣ концовъ члены кружка переставали понимать происходившія передъ ними явленія: извѣстно, какъ переставалъ понимать ихъ Гоголь; выше указанъ примѣръ кн. Вяземскаго; дальше увидимъ примѣръ Баратынскаго.

По этимъ литературнымъ отношеніямъ, въ кружкѣ, осиротѣвшемъ по смерти Пушкина, Плетневъ занималъ положеніе, наиболѣе мирное. И во времена Пушкина, и послѣ, это былъ эстетикъ, который дорожилъ успѣхами литературы, старался установить основанія критики, заботливо разсматривалъ вопросы формы и языка. Ходъ его ранняго развитія извѣстенъ мало. Его біографъ не безъ основанія искалъ указаній на это въ словахъ самого Плетнева, когда онъ разсказывалъ біографію одного молодого, рано умершаго, писателя (Георгіевскаго), который былъ его товарищемъ и другомъ [1]). Это былъ первый литературный трудъ Плетнева (1818) и вѣроятно онъ передавалъ и свои собственные литературные вкусы, когда говорилъ о своемъ другѣ: „...Къ познаніямъ въ древней словесности онъ присоединилъ познанія въ языкахъ нѣмецкомъ и французскомъ. Шиллеръ и Ж.-Ж. Руссо—двѣ точки соединенія чувствительныхъ сердецъ, по выраженію одного нашего стихотворца, сдѣлались любимыми его собесѣдниками. Тогда мечтательный міръ превратился для него въ отечество: тамъ только былъ онъ совершенно счастливымъ“... Въ этихъ мысляхъ и словахъ чувствуется еще близкое вліяніе Карамзина. Плетневъ считаетъ себя въ правѣ „посадить свѣжій цвѣтокъ на могилѣ своего Агатона“ и продолжаетъ: „если истинная чувствительность, чистая нравственность и твердыя правила заставляютъ уважать людей въ зрѣлыхъ лѣтахъ, то можно ли отказать юношѣ въ любви за сіи качества, особенно, смѣю сказать, въ нынѣшнее время, когда разсѣянность сдѣлалась стихіей юношей, когда такъ рѣдко встрѣчаются молодые Сократы?“ Его жизнь сложилась иначе, чѣмъ у „баловней музъ и грацій“. Педагогическая работа привязывала его къ вопросамъ словесности; преподаваніе въ аристократическихъ домахъ, наконецъ, при дворѣ, указывало ему степень тогдашнихъ гражданскихъ правъ литературы и вмѣстѣ побуждало придавать цѣну изществу, которое могло дать ей художественный авторитетъ,—а

[1]) „Вѣстн. Европы“, 1885, ноябрь, стр. 66.

наконецъ научало житейской мудрости. Пушкинъ находитъ въ немъ преданнаго и опытнаго друга, а для Плетнева эта дружба получила великое образовательное значеніе: она окончательно опредѣлила его трудъ на пользу литературы, и Пушкинъ сталъ для него образцомъ художественнаго совершенства... Покинувъ стихотворство, Плетневъ остался только критикомъ и именно критикомъ олимпійскаго кружка, въ сущности единственнымъ, потому что другой членъ кружка, кн. Вяземскій, послѣ участія въ „Телеграфѣ“, рѣдко отзывался на явленія литературы иначе какъ отдѣльными замѣтками и раздражительными эпиграммами. Біографъ замѣчаетъ, что заслугой Плетнева было то, что задолго до Бѣлинскаго и еще въ то время, когда не появлялось критическихъ статей Веневитинова, Кирѣевскаго, Надеждина, Полевого, онъ дѣлалъ уже опыты характеристики нашихъ поэтовъ по ихъ внутреннему характеру. Таковы были еще въ 1822 его опредѣленія Жуковскаго и Батюшкова. Уже тогда онъ предвидѣлъ, что русской литературѣ предстоитъ, не ограничиваясь усвоеніемъ чужихъ формъ, стать, наконецъ, на народную почву. Онъ уже дѣлитъ поэзію на „всеобщую“ или „неопредѣленную“, и „народную“. Въ статьѣ по поводу идилліи Гнѣдича „Рыбаки“ (1822), которая навела его на эти мысли о народномъ направленіи искусства, онъ утверждаетъ, что народная поэзія предпочтительнѣе неопредѣленной или всеобщей поэзіи. „Любовь къ отечеству есть первая добродѣтель въ гражданинѣ—и она столь естественна каждому, что мы не умѣемъ вообразить такого космополита, который бы не чувствовалъ внутренняго удовольствія, услышавъ звуки природнаго языка въ чужой землѣ, или приближаясь къ отечеству изъ дальняго путешествія. Ежели ее назвать предразсудкомъ, тогда будетъ предразсудокъ и то чувство, которое привязываетъ дѣтей къ родителямъ. По любви къ отечеству всѣ произведенія народной поэзіи становятся для насъ особенно драгоцѣнными. Они возвышаютъ нравственное бытіе народа, и потому дѣлаются предметомъ всеобщаго наслажденія... Удивительно ли, что въ Аѳинахъ почти каждый гражданинъ могъ быть судьею поэта или другого художника? Въ театрѣ, на площади, въ храмахъ, въ домахъ—онъ слышалъ, видѣлъ все греческое“.

„Народная поэзія (чтобы сказать короткими словами) преимущественнѣе неопредѣленной потому, что она вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли: она живѣйшее въ насъ рождаетъ удовольствіе, и чувствованія, ею возбуждаемыя, глубже и продолжительнѣе бываютъ въ нашемъ сердцѣ. Это преимущество касается про-

изведеній поэзіи. Но съ нею соединены выгоды для самихъ поэтовъ. Изображая свою природу, свои нравы и проч., они не будутъ принуждены мучить свое воображеніе, чтобы хорошо описать то, чего они не видали своими глазами. Имъ надобно будетъ только вглядываться во всѣ окружающіе ихъ предметы—и критика не укоритъ ихъ ни въ ложныхъ картинахъ, ни въ смѣси чувствованій древнихъ съ новѣйшими, ни въ другихъ подобныхъ симъ ошибкахъ, почти безпрестанно встрѣчающихся у нашихъ поэтовъ. Правда, что наше небо не такъ ясно и чисто, какъ небо Греціи, или Италіи; наши луга не такъ роскошны, какъ долины Эвфрата: но истинно прекрасное и въ самой дикости своей прекрасно" [1]). Въ идилліи Гнѣдича ему нравится то, что она „облагораживаетъ нечувствительно въ глазахъ нашихъ такихъ людей, на которыхъ мы часто, по странной привычкѣ, смотрѣли съ пренебреженіемъ", и въ концѣ разбора онъ по обыкновенію занимается формой: удачно ли выбранъ размѣръ, умѣстны ли тѣ или другіе обороты и т. д. Правда, вопросъ о „народной" поэзіи поставленъ робко, неясно;—нѣтъ представленія о жизненной ея обязательности для того, чтобы литература была достойна своего истиннаго назначенія и не была только эстетическимъ развлеченіемъ для немногихъ любителей. Слишкомъ реальное изображеніе, цѣликомъ взятое народное слово еще пугаютъ его; „грубыя, низкія выраженія столь же противны въ идилліи, какъ и высокопарныя; на картинѣ, гдѣ изображенъ сельскій видъ, не должны встрѣчаться низкія явленія". Въ народномъ языкѣ онъ остерегаетъ отъ „ошибокъ" и „испорченныхъ" словъ; иначе, множество ихъ „получило бы право гражданства въ нашей литературѣ". Онъ не предвидѣлъ, сколько такихъ словъ уже вскорѣ войдетъ въ литературу.

Впослѣдствіи, 1833, Плетневъ посвятилъ цѣлую рѣчь этому предмету [2]). Рѣчь вызвана была извѣстнымъ заявленіемъ Уварова о началахъ православія, самодержавія и народности: Плетневъ привѣтствовалъ это заявленіе какъ призывъ въ „обѣтованную землю истинной образованности", и старался выяснить понятіе народности, которую онъ представлялъ какъ стихію народной жизни, важную для литературы съ точки зрѣнія патріотизма и художественной выразительности. „Въ числѣ главныхъ принадлежностей, которыхъ современники наши требуютъ отъ произведеній словесности, — говоритъ онъ, — господствуетъ идея народности. Она представляетъ собою особенность, необходимо соеди-

[1]) Сочиненія и переписка, т. I, стр. 31—34.
[2]) О народности въ литературѣ, „Сочиненія" I, стр. 217 и далѣе.

няющуюся съ идеею каждаго народа. Сколько же предметовъ должно войти въ ея совокупность! Черты, составляющія физіономію души нашей, предварительно были какъ стихіи въ томъ обществѣ, которое воспитало наши страсти, въ той природѣ, которая упоевала наши чувства, въ той религіи, которая возвысила наши помыслы, въ тѣхъ обычаяхъ, которые освящены для насъ давностью, въ тѣхъ предразсудкахъ, отъ которыхъ не спасаетъ насъ никакая философія. Еще болѣе: одинъ и тотъ же народъ, въ разные періоды своей исторіи, при содѣйствіи разныхъ причинъ, скрывающихся то въ политикѣ, то въ морали, то въ ученыхъ мнѣніяхъ какого-нибудь времени, является съ безчисленнымъ множествомъ оттѣнковъ, которые всѣ принадлежатъ разсматриваемой идеѣ... Въ звукахъ слова народность есть еще для слуха нашего что-то свѣжее и, такъ сказать, не обносившееся; есть что-то, къ чему не успѣли мы столько привыкнуть, какъ вообще къ терминамъ среднихъ вѣковъ". Но новѣйшей литературѣ принадлежитъ только это выраженіе, а самое понятіе современно древнѣйшимъ писателямъ. „Гдѣ больше народности какъ въ произведеніяхъ греческой словесности?" И Плетневъ объясняетъ, какъ древняя греческая литература вся проникнута чертами національнаго греческаго духа, переходитъ затѣмъ къ Риму, наконецъ къ среднимъ вѣкамъ и временамъ новѣйшимъ... Но изображеніе средневѣковаго состоянія литературы и перехода къ новѣйшему времени крайне смутно и невѣрно по всему существу: эта область была еще загадкой для нашей науки и литературы. Объясненіе народности въ примѣненіи къ самой русской литературѣ оставалось, какъ прежде, очень тѣсно,—такъ было, впрочемъ, въ то время не у одного Плетнева; по крайней мѣрѣ толки о народности подготовляли вниманіе къ вопросу, который уже вскорѣ долженъ былъ явиться въ болѣе полной постановкѣ.

Плетневъ не могъ не коснуться и байронизма. Въ поэзіи Байрона онъ признаетъ печать генія, но упрекаетъ Байрона за „прихоть" его скептицизма. „Одного нельзя извинить въ немъ,— писалъ Плетневъ въ 1822, по поводу „Шильонскаго узника", —что онъ, по какой-то странной мизантропіи, какъ бы не признаетъ въ человѣкѣ истинно-благородныхъ чувствованій, когда изображаетъ его въ счастливомъ гражданскомъ состояніи. Онъ скорѣе открываетъ ихъ въ какомъ-нибудь страдальцѣ, или злодѣѣ. Вѣроятно, такая прихоть воображенія происходитъ изъ частныхъ обстоятельствъ жизни поэта; но онъ долженъ помнить, что носитъ на себѣ священную обязанность — говорить языкомъ истины не

для одного вѣка, а для потомства“ [1]). Байронъ всего меньше думалъ о псевдо-классическихъ законахъ „эпопеи“, но Плетневъ еще помнитъ старомодное ученіе и задаетъ вопросъ: „Трудно еще рѣшить: выиграетъ ли что-нибудь поэзія эпическая отъ такихъ новостей или потеряетъ?“ Онъ готовъ, однако, признать законность такихъ новостей. „По крайней мѣрѣ,—говоритъ онъ,—можно согласиться, что мы находимся почти въ необходимости отказаться въ эпическомъ родѣ отъ прелестныхъ вымысловъ чудеснаго. Высокая степень просвѣщенія и чистота истинной религіи не позволяютъ намъ принимать участія въ дѣйствіяхъ волшебниковъ и волшебницъ, того искренне-младенческаго участія, какое принимали греки и римляне въ дѣйствіяхъ своихъ боговъ и своихъ богинь. Еще будетъ страннѣе, если мы въ забавы поэтическаго воображенія будемъ вводить вымышляемыя дѣйствія истиннаго Бога. Тогда нѣжное чувство нравственности и строгій голосъ разсудка возстанутъ противъ поэзіи. Итакъ, можетъ, быть, родъ поэмъ лорда Байрона, или подобный оному, остался одинъ изъ приличнѣйшихъ нашему образованному времени. Такова участь поэзіи: подобно красотѣ, она прелестнѣе бываетъ въ возрастѣ дѣтскаго легкомыслія—и теряетъ силу своего очарованія въ зрѣлости. Впрочемъ, это одни предположенія критики: явится геній—и она съ удовольствіемъ покорится высокимъ его внушеніямъ“.

Важно было и то, что Плетневъ все-таки предчувствовалъ и признавалъ необходимость естественности, право новыхъ литературныхъ формъ, когда онѣ будутъ введены геніемъ, т.-е. требованіями самой жизни... Къ концу 1830-хъ годовъ онъ уже составилъ себѣ представленіе о національныхъ особенностяхъ литературы, объ ея связи съ жизнью общества, объ индивидуальныхъ способностяхъ писателя, о необходимости „красокъ и жизни“, безъ которыхъ литература сдѣлалась бы „сухимъ изложеніемъ отвлеченностей“. Правда, и у него бывалъ потомъ разладъ съ дальнѣйшимъ развитіемъ литературы, и гдѣ онъ не всегда былъ правъ; но его заслугой остается то, что онъ умѣлъ понять Гоголя—съ его сильными и слабыми сторонами.

Не будемъ останавливаться на меньшихъ поэтахъ-современникахъ Пушкина, которые причисляются къ его плеядѣ и въ большей или меньшей степени испытали его вліяніе, какъ Язы-

[1]) Тамъ же, стр. 63.

ковъ, Подолинскій, кн. А. И. Одоевскій, Козловъ и др.: они внесли мало оригинальнаго въ поэтическое содержаніе, какое развилъ Пушкинъ. Наиболѣе самостоятельнымъ и наиболѣе талантливымъ изъ нихъ былъ Баратынскій. Его біографія немногосложна. Онъ вышелъ изъ богатой дворянской семьи, учился въ пажескомъ корпусѣ, на 15-мъ году былъ исключенъ изъ корпуса за ребяческую шалость съ лишеніемъ права поступать на службу, прожилъ потомъ нѣсколько лѣтъ въ деревнѣ и затѣмъ въ 1818 могъ поступить на единственную службу, которая ему была открыта и могла возстановить его общественное положеніе: онъ вступилъ простымъ солдатомъ въ егерскій полкъ въ Петербургѣ. Здѣсь, однако, этотъ солдатъ вскорѣ познакомился съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ, и съ той поры началось его литературное поприще: новые друзья высоко оцѣнили его дарованіе, и хотя пребываніе его въ Петербургѣ было недолговременно (съ 1820 года онъ лѣтъ пять исполнялъ свою службу въ Финляндіи), эти связи остались навсегда прочны. Получивъ, наконецъ, офицерскій чинъ, Баратынскій вышелъ въ отставку, поселился въ Москвѣ, женился, нѣкоторое время состоялъ въ гражданской службѣ, потомъ оставилъ ее, жилъ въ Москвѣ и въ деревнѣ; въ 1843 году отправился за границу, жилъ въ Парижѣ и скоропостижно умеръ въ Неаполѣ.

Поэзія Баратынскаго вся носитъ меланхолическій характеръ: онъ объясняется и его врожденнымъ настроеніемъ,—почти страннымъ образомъ оно высказывается въ его письмахъ къ матери, которыя онъ писалъ еще мальчикомъ (конечно по-французски),—и тяжелымъ испытаніемъ, какое пришлось перенести ему въ самой ранней юности, и наконецъ размышленіемъ, которое и независимо отъ его личныхъ условій ставило ему вопросы, одолѣвающіе меланхоликовъ и пессимистовъ. Послѣ первой встрѣчи въ Петербургѣ, онъ потомъ только случайно видался съ Пушкинымъ въ Москвѣ и въ Казани, гдѣ одно время жилъ; тѣмъ не менѣе Пушкинъ считалъ его между своими ближайшими друзьями. По смерти Дельвига Пушкинъ писалъ, напр., Плетневу (въ январѣ 1831): „безъ него мы точно осиротѣли. Считай по пальцамъ, сколько насъ? Ты, я, Баратынскій—вотъ и все“. Едва-ли сомнительно, что эта привязанность объяснялась именно достоинствами поэзіи Баратынскаго, которая нѣкогда совпадала съ любимыми темами поэтическаго круга Пушкина, потомъ создавала такія произведенія, какъ „Эда“, которую Пушкинъ очень любилъ, наконецъ, въ минуты меланхоліи и рефлексіи, затрогивала тревожные вопросы жизни и искусства. По своему настроенію Бара-

тынскій былъ самый серьезный изъ поэтовъ плеяды, но и самый мрачный: тяжелыя думы о безцѣльности бытія, которая только на время забывалась въ поэтическомъ творчествѣ, о непостоянствѣ или даже невозможности счастія, нравственное одиночество наполняли его поэзію печальными мотивами, и послѣднимъ выраженіемъ ея былъ извѣстный небольшой сборникъ его стихотвореній: „Сумерки" (1842). Это небольшое собраніе было и концомъ его литературной дѣятельности, какъ будто финаломъ, завершившимъ поэтическую дѣятельность кружка. То непониманіе новой литературной эпохи, какое мы видѣли у сверстниковъ Пушкина, выразилось еще разъ какъ будто поэтическимъ прощаніемъ съ прежними идеалами,—по мнѣнію Баратынскаго, приходилъ конецъ и всей поэзіи. Историческое значеніе мрачныхъ изліяній, которыми завершалъ свою дѣятельность одинъ изъ даровитѣйшихъ сверстниковъ Пушкина, ярко обозначается отзывомъ Бѣлинскаго, который по этому поводу посвятилъ Баратынскому обширную статью [1]). Бѣлинскій началъ издалека, съ общихъ замѣчаній о формахъ развитія, о смѣнѣ эпохъ и поколѣній, о послѣдовательныхъ періодахъ въ ходѣ русской литературы, и въ данномъ положеніи ея указываетъ тотъ же споръ не понимающихъ другъ друга поколѣній и вражду стараго къ новому; но жизненность общественнаго развитія стоитъ выше этой борьбы. „По большей части, людямъ трудно отрываться отъ того, что разъ наполнило ихъ, разъ овладѣло ими, и они враждебно, какъ на ересь, смотрятъ на то, что наполняетъ и владѣетъ уже чуждыми имъ поколѣніями"... „Отсталые могутъ возбуждать сожалѣніе и состраданіе, какъ люди, заживо умершіе, какъ дряхлый старецъ, окруженный однѣми могилами милыхъ ему существъ, живущій одними воспоминаніями о невозвратно прошедшей порѣ счастія, чуждый и холодный для всѣхъ надеждъ и обольщеній, которыми кипятъ неродныя ему новыя поколѣнія; но едва-ли справедливо было бы презирать этихъ отсталыхъ, а тѣмъ болѣе обвинять ихъ. Благо тому, кто, „отличенный Зевеса любовію", неугасимо носитъ въ сердцѣ своемъ Прометеевъ огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идеѣ и никогда не покоряясь оцѣпеняющему времени или мертвящему факту,—благо ему: ибо эта божественная способность нравственной подвижности есть столько же рѣдкій, сколько и драгоцѣнный даръ неба, и не многимъ избраннымъ ниспосылается онъ!"

Эти разсужденія вызваны именно „Сумерками" Баратынскаго:

[1]) Сочиненія, ч. VI, 2-е изд., стр, 280—324.

ему не былъ ниспосланъ тотъ даръ неба, о которомъ говорилъ Бѣлинскій. Послѣднія произведенія Баратынскаго поразили критика новаго поколѣнія полнымъ непониманіемъ тѣхъ стремленій, которыя это поколѣніе считало своимъ самымъ священнымъ достояніемъ и долгомъ. Изслѣдуя „паѳосъ“ послѣднихъ произведеній Баратынскаго, т.-е. ихъ основную мысль и настроеніе, Бѣлинскій приходилъ въ ужасъ: поэтъ, въ которомъ онъ цѣнилъ большое дарованіе, оказался именно чуждымъ и холоднымъ для тѣхъ идей, которыми жили новыя поколѣнія. Въ стихотвореніи „Послѣдній поэтъ“, которое Бѣлинскій счелъ нужнымъ разобрать „отъ слова до слова“, онъ нашелъ мысль, что поэзіи грозитъ гибель, а именно отъ корысти и особливо отъ науки. Пьеса начинается такъ:

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ,
Въ сердцахъ корысть, и общая мечта
Часъ отъ часу насущнымъ и полезнымъ
Отчетливѣй, безстыднѣй занята.
Исчезнули при свѣтѣ просвѣщенья
Поэзіи ребяческіе сны,
И не о ней хлопочутъ поколѣнья,
Промышленнымъ заботамъ преданы.

„Какая страшная картина! — говоритъ Бѣлинскій. — Какъ безотрадно будущее! Поэзіи болѣе нѣтъ. Куда же дѣвалась она?— „изчезла при свѣтѣ просвѣщенія“... Итакъ, поэзія и просвѣщеніе—враги между собою? Итакъ, только невѣжество благопріятно поэзіи? Неужели это правда?“ Можетъ быть, однако, поэтъ говоритъ только о „ребяческихъ снахъ поэзіи“? Но нѣтъ: истинный поэтъ—

Воспѣваетъ простодушный
Онъ любовь и красоту,
И науки, имъ ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетныя страданья
Легкомысліемъ цѣля,
Лучше, смертный, въ дни незнанья
Радость чувствуетъ земля!

Итакъ,—продолжаетъ Бѣлинскій,—„наука ослушна (т.-е. непокорна) любви и красотѣ; наука пуста и суетна! Нѣтъ страданій глубокихъ и страшныхъ, какъ основного, первосущнаго звука въ аккордѣ бытія; страданіе мимолетно—его должно исцѣлять легкомысліемъ; въ дни незнанія (т.-е. невѣжества) земля лучше чувствуетъ радость!“... И Бѣлинскій изумлялся, что это написано въ 1835 году по Р. Х. Онъ тѣмъ болѣе сокрушался этимъ из-

вращеніемъ понятій, что нерѣдко въ этихъ пьесахъ Баратынскаго онъ находилъ „дивные“, „чудные“, „гармоническіе“ стихи, которыми можно было бы по истинѣ восхищаться, еслибы они не служили для совершенно ложной мысли. Онъ приводитъ еще стихотвореніе, и повторяетъ: „Коротко и ясно: все наука виновата! Безъ нея, мы жили бы не хуже Ирокезовъ“...

Понятія критики совершенно противоположны съ понятіями поэта. Бѣлинскій признаетъ законность сомнѣнія, но оно движетъ человѣческую мысль, и „благо тому, кто сомнѣвался въ извѣстныхъ истинахъ, не сомнѣваясь въ существованіи истины, ибо истины преходящи, но истина вѣчна!“ Но бываетъ другое: „люди имѣютъ слабость смѣшивать свою личность съ истиною: усомнившись въ своихъ истинахъ, они часто перестаютъ вѣрить существованію истины на землѣ“,—и такъ случилось съ Баратынскимъ. „Этотъ несчастный раздоръ мысли съ чувствомъ, истины съ вѣрованіемъ составляетъ основу поэзіи г. Баратынскаго и почти всѣ лучшія его стихотворенія проникнуты имъ“. „Жизнь какъ добыча смерти, разумъ какъ врагъ чувства, истина какъ губитель счастія,—вотъ откуда проистекаетъ элегическій тонъ поэзіи г. Баратынскаго, и вотъ въ чемъ ея величайшій недостатокъ“.

Бѣлинскій останавливается еще на стихотвореніи „Послѣдняя смерть“, которое считаетъ апоѳеозой всей поэзіи Баратынскаго; это „великолѣпная фантазія, но не болѣе, какъ фантазія!“

Такимъ образомъ, сомнѣнія поэта кажутся критику или поверхностными, или фантастическими, или прямо ложными. Такъ же ложно и его пониманіе поэзіи, которую онъ хочетъ противополагать разуму и знанію. Но „что̀ такое искусство безъ мысли? —то же самое, что человѣкъ безъ души,—трупъ“...

Сопоставляя произведенія писателя, которому, по мнѣнію Бѣлинскаго, изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, безспорно принадлежитъ первое мѣсто, и мнѣнія критика послѣдующей эпохи, можно наглядно представить себѣ, какъ далеко разошлось пониманіе двухъ поколѣній въ существенномъ вопросѣ художественной литературы, въ вопросѣ объ отношеніи поэзіи и дѣйствительности, поэзіи и научнаго знанія или просвѣщенія. Баратынскій не былъ бы въ этомъ отношеніи такъ рѣшительно отвергнутъ своими сверстниками, потому что для нихъ поэзія все еще казалась чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ жизни, отъ „сухого разсудка“, казалась спеціальнымъ внушеніемъ музы ея избранникамъ, далекимъ отъ „черни“; съ вопросами науки эта поэзія не встрѣчалась и самую науку считала совсѣмъ иною областью, съ которой нѣтъ у нея общаго; Баратынскому каза-

лось наконецъ, что отъ прикосновенія науки изсякнутъ источники поэтическаго вдохновенія... Нѣтъ сомнѣнія, что самъ Пушкинъ, еслибы пришлось ему встрѣтиться съ этимъ новымъ оборотомъ эстетическаго и общественнаго сознанія, не пришелъ бы къ такому безнадежному выводу, какъ Баратынскій, и дѣйствительно, посмертное изданіе его сочиненій, законченное почти одновременно съ послѣднимъ сборникомъ Баратынскаго, было вовсе не отходной его поэзіи, а напротивъ, новымъ богатствомъ художественныхъ произведеній, которому предстояло еще совершать свое благотворное дѣйствіе въ литературѣ. Но Пушкинъ дѣйствовалъ непосредственной силой геніальнаго творчества; его сверстникамъ недоставало повидимому даже пониманія того, къ чему призывала и обязывала эта сила, и для того, чтобы въ общемъ теченіи литературы могъ быть осуществленъ самый завѣтъ Пушкина, нужно было прочно установить самыя понятія о значеніи и объемѣ поэзіи.

Работа въ этомъ направленіи началась еще на глазахъ Пушкина: возникало новое движеніе, первоначально независимое отъ круга дѣятельности Пушкина, исходившее изъ источниковъ чуждыхъ или совсѣмъ неизвѣстныхъ Пушкинскому кругу и направлявшееся именно къ установленію философскихъ началъ искусства. Средоточіемъ новаго движенія былъ кружокъ приверженцевъ философіи Шеллинга и Окена, образовавшійся въ Москвѣ въ началѣ двадцатыхъ годовъ... По старому обычаю нашей умственной жизни, новое направленіе оказывалось именно въ тѣсномъ кружкѣ и запаздывая противъ развитія этой философіи на самой ея родинѣ. Въ Москвѣ ревностнымъ проповѣдникомъ ученій Шеллинга и Окена былъ извѣстный профессоръ физики и сельскаго хозяйства, М. Г. Павловъ; еще раньше послѣдователемъ этой философіи былъ въ Петербургѣ Велланскій, — но его каѳедра въ спеціальномъ учрежденіи (онъ былъ профессоромъ анатоміи и физіологіи въ медико-хирургической академіи) не давала возможности широкаго философскаго вліянія, и сочиненія его, довольно тяжело написанныя, не затрогивали близко тѣхъ вопросовъ, которые были бы особенно привлекательны для молодого литературнаго круга. Если новое ученіе нашло прозелитовъ лишь въ небольшомъ кружкѣ, это указывало вообще на скудость образовательныхъ средствъ, какими издавна ограничена была русская литература, но съ другой стороны кружокъ составлялся именно изъ энтузіастовъ, почти всегда юныхъ, для которыхъ новое уче-

ніе являлось желаннымъ откровеніемъ. Въ данномъ случаѣ центромъ кружка была привлекательная личность юноши Веневитинова. Онъ происходилъ изъ богатой дворянской семьи, имѣлъ всѣ средства прекраснаго домашняго образованія, гдѣ руководилелемъ его занятій былъ образованный французъ, и обученіе было обставлено весьма серьезно и, между прочимъ, заключало оба классическіе языка; затѣмъ Веневитиновъ года два былъ слушателемъ въ московскомъ университетѣ и выдержалъ должный экзаменъ. Это была очень даровитая натура, молодой поэтъ и философъ, съ серьезнымъ и любезнымъ характеромъ, и все это вмѣстѣ сдѣлало его средоточіемъ дружескаго кружка, гдѣ были, между прочимъ, И. В. Кирѣевскій, Кошелевъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій, В. П. Титовъ, Шевыревъ и также Погодинъ. Это было предвареніе того кружка тридцатыхъ годовъ, изъ котораго образовались потомъ знаменитыя группы, ставшія во главѣ двухъ противоположныхъ литературно-общественныхъ направленій сороковыхъ годовъ. Веневитиновъ развился рано: серьезный интересъ къ классикамъ соединялся съ начитанностью въ новѣйшей литературѣ и въ особенности съ увлеченіемъ философскими вопросами, въ которые вводилъ это молодое поколѣніе упомянутый Павловъ. Можно сказать, что философскія изученія Веневитинова были въ нашей литературѣ первымъ примѣромъ своего рода: до тѣхъ поръ знакомство съ новой европейской философіей или очень запаздывало, или бывало одѣто въ схоластику, или ограничивалось исключеніями, не имѣвшими широкаго отраженія въ литературѣ. Здѣсь философскій интересъ впервые глубоко проникаетъ въ тотъ кругъ, гдѣ совершалось тогда основное литературное движеніе, и становится источникомъ теоретическихъ представленій, которыя расширили самое пониманіе литературы и этимъ способствовали прочному ея утвержденію въ жизни общества. Этою чертою своего характера кружокъ Веневитинова рѣзко отдѣлялся отъ дружескаго круга Пушкина: въ послѣднемъ господствовали исключительно поэтическіе и литературные интересы, главной опорой которыхъ было самое творчество; ни самъ Пушкинъ и никто изъ его друзей не имѣлъ никакой наклонности къ философіи; инымъ казалось даже, что она только мѣшаетъ поэтическому творчеству и была бы однимъ педантствомъ; у Веневитинова и его друзей было, напротивъ, глубокое убѣжденіе, что только философія, сообщая человѣку понятіе о законѣ явленій и законѣ собственной его мысли, можетъ раскрыть всю полноту его силъ, что поэзія и философія не только не мѣшаетъ одна другой, но, напротивъ, необходимо дополняютъ

другъ друга и вмѣстѣ приводятъ къ одной цѣли—сознанію; что, наконецъ „философія есть высшая поэзія", — какъ мы читаемъ въ „Бесѣдѣ Платона съ Анаксагоромъ". Словомъ, съ появленіемъ Веневитинова и его кружка въ объемъ литературы вступаетъ новая стихія, независимая отъ того великаго явленія, какимъ была поэзія Пушкина, и глубоко необходимая для полноты развитія литературной жизни... Веневитиновъ встрѣтился съ Пушкинымъ въ 1826, когда Пушкинъ впервые появился въ литературныхъ кругахъ Москвы и принятъ былъ въ нихъ съ распростертыми объятіями. Понятно, что Веневитиновъ видѣлъ въ Пушкинѣ великую силу русской литературы; самъ Пушкинъ отнесся къ нему съ большимъ сочувствіемъ, съумѣвши оцѣнить и дарованіе, и независимую мысль. Веневитиновъ мечталъ объ основаніи журнала, который былъ бы органомъ поэзіи и новой философіи, служилъ бы этимъ высшимъ интересамъ литературы и сталъ бы вмѣстѣ противовѣсомъ той „трехглавой гидрѣ", подъ которой подразумѣлись тогдашнія петербургскія изданія Греча и Булгарина. Журналъ осуществился въ 1827: это былъ „Московскій Вѣстникъ", который издавался всѣмъ кружкомъ друзей и которому пріобрѣтено было участіе Пушкина. Но въ мартѣ того же года Веневитиновъ, переѣхавши между тѣмъ въ Петербургъ на службу, скоропостижно умеръ. „Какъ допустили вы его умереть?"—писалъ глубоко огорченный Пушкинъ его друзьямъ. Смерть Веневитинова поразила его друзей. Чѣмъ онъ былъ для нихъ, можно видѣть изъ словъ И. В. Кирѣевскаго [1]: „Среди молодыхъ русскихъ поэтовъ, напитанныхъ великими идеями германскихъ писателей, болѣе всѣхъ блестѣлъ и отличался покойный Д. В. Веневитиновъ, котораго стихотворенія вышли въ 1828 г. Его желаніе исполнилось: прочтя немногое, что осталось намъ послѣ него, кто не скажетъ съ чувствомъ восторга и печали:

Какъ я люблю его созданья!..

„Веневитиновъ созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть создателемъ его философіи. Кто вдумается съ любовью въ сочиненія Веневитинова, кто въ этихъ разнородныхъ отрывкахъ найдетъ слѣды общаго имъ происхожденія, кто постигнетъ глубину его мыслей, связанныхъ стройной жизнью души поэтической—тотъ узнаетъ философа, проникнутаго откровеніемъ своего

[1]) Обозрѣніе словесности за 1829 г., въ „Денницѣ" 1830.

вѣка, тотъ узнаетъ поэта глубокаго и самобытнаго, котораго каждое слово освѣщено мыслью, каждая мысль согрѣта сердцемъ".

Выше приведено показаніе Шевырева, что Пушкинъ высказывалъ сочувствіе къ молодому московскому кружку, который исповѣдовалъ эстетическую теорію Шеллинга, и что подъ вліяніемъ этой теоріи, провозглашавшей освобожденіе искусства, было написано стихотвореніе „Чернь". Вѣроятнѣе, однако, что здѣсь больше сказалось прежнее исключительное представленіе о служеніи Аполлону, чѣмъ вліяніе новой философіи [1]): поэзія была святыней для юнаго философа, но другой святыней былъ разумъ и сознаніе. Онъ отдавался поэтическимъ мечтамъ, но основное достоинство человѣка онъ полагалъ въ этой работѣ мысли. „Самопознаніе,—говорилъ онъ,—вотъ идея, одна только могущая одушевить вселенную; вотъ цѣль и вѣнецъ человѣка. Науки, искусства, вѣчные памятники усилій ума, единственные признаки его существованія, представляютъ не что̀ иное, какъ развитіе сей начальной и слѣдственно неограниченной мысли" [2]). Въ посланіи къ Пушкину, онъ призываетъ поэта, который воспѣвалъ „смѣлаго пророка свободы" и „у музъ похищеннаго галла", т.-е. Байрона и Шенье, прибавить къ хваламъ оплаканныхъ могилъ и веселыя хваленія, которыхъ ждетъ еще одинъ пѣвецъ—„наставникъ нашъ, наставникъ твой": онъ разумѣетъ Гёте, именно поэта, соединявшаго поэтическое вдохновеніе съ глубокимъ научнымъ мышленіемъ. Въ упомянутой статьѣ онъ говоритъ: „новѣйшая философія въ Германіи есть зрѣлый плодъ того же энтузіазма, который одушевляетъ истинныхъ ея поэтовъ, того же стремленія къ высокой цѣли, которое направляло полетъ Шиллера и Гёте". Если въ „дивныхъ" стихахъ Баратынскаго высказалась грубая и малодушная мысль о противорѣчіи поэзіи и науки, въ представленіяхъ Веневитинова онѣ сливались въ одно. Онъ считаетъ блаженнымъ того,—

Кому небесное—родное,
Кто сочетаетъ съ сѣдиной

---

[1]) Объ этомъ показаніи Шевырева ср. замѣчанія г. Майкова, „Историко-литер. очерки". Спб. 1895, стр. 165, 178 и дал. Относительно самаго стихотворенія, едва ли можно считать доказаннымъ, что „въ желаніи толпы услышать смѣлые уроки звучитъ голосъ лицемѣрія": лучшіе люди изъ толпы (не вся же она сплошь была коварна, зла, глупа и т. д.,—и при томъ будто бы по ея собственнымъ словамъ) могли совершенно искренно желать такихъ уроковъ, и существованіе общественной поэзіи доказывается всемірной литературой. Впечатлѣнія Бѣлинскаго двоились: онъ признавалъ царственное значеніе великаго художника и не сочувствовалъ отчужденію отъ жизни. Ср. „Сочиненія", VIII, изд. 2-е, стр. 402—404; „Жизнь и переписка Бѣл.", II, стр. 196, 201-202. Рѣчь поэта остается недостаточно мотивированной.

[2]) „Нѣсколько мыслей въ планъ журнала". См. Полное собраніе сочиненій Д. В. Веневитинова, подъ ред. А. Пятковскаго. Спб. 1862, стр. 161.

Воображенье молодое
И разумъ съ пламенной душой.

Въ волшебной чашѣ наслажденья
Онъ дна пустова не найдетъ,
И вскликнетъ, въ чувствахъ упоенья:
„Прекрасному предѣловъ нѣтъ!“

Недостатокъ мысли онъ именно считалъ бѣдствіемъ русской литературы. Разбирая разсужденіе своего недавняго профессора Мерзлякова о началѣ и духѣ древней трагедіи, кореннымъ недостаткомъ этого разсужденія онъ считаетъ отсутствіе теоріи, основного взгляда и систематическаго развитія. Разбирая статью Полевого объ „Евгеніи Онѣгинѣ“, онъ точно также упрекаетъ его за недостатокъ какого-либо систематическаго представленія о предметѣ. „Началомъ и причиной медленности нашихъ успѣховъ въ просвѣщеніи была та самая быстрота, съ которою Россія приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое зданіе литературы безъ всякаго основанія, безъ всякаго напряженія внутренней силы“... „Мы получили форму литературы прежде самой ея сущности“. Упомянувъ о томъ, какъ, наконецъ, были покинуты у насъ „сбивчивыя сужденія французовъ о философіи и искусствахъ“, онъ продолжаетъ: „Такое освобожденіе Россіи отъ условныхъ оковъ и отъ невѣжественной самоувѣренности французовъ было бы торжествомъ ея, еслибы оно было дѣломъ свободнаго разсудка; но, къ несчастію, оно не произвело значительной пользы: ибо причина нашей слабости въ литературномъ отношеніи заключалась не столько въ образѣ мыслей, сколько въ бездѣйствіи мысли. Мы отбросили французскія правила, не отъ того, чтобы мы могли ихъ опровергнуть какою-либо положительною системою; но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ правила невѣрныя замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ“. Тогдашніе многочисленные стихотворцы остались, вѣроятно, недовольны дальнѣйшимъ замѣчаніемъ Веневитинова: „Однимъ изъ пагубныхъ послѣдствій сего недостатка нравственной дѣятельности была всеобщая страсть выражаться въ стихахъ. Многочисленность стихотворцевъ во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія“. „Истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ,—говоритъ далѣе Веневитиновъ,—были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія. У насъ языкъ поэзіи превращается въ меха-

низмъ; онъ дѣлается орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. Скажу болѣе: у насъ чувство, нѣкоторымъ образомъ, освобождаетъ отъ обязанности мыслить и, прельщая легкостію безотчетнаго наслажденія, отвлекаетъ отъ высокой цѣли усовершенствованія". Къ самому Пушкину Веневитиновъ относился съ горячею любовью, какъ къ великому поэту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и независимо: таковъ былъ его отзывъ объ „Евгеніи Онѣгинѣ". Пушкину онъ понравился именно этой независимостью и оригинальностью.

Въ то же время или еще нѣсколько раньше новое направленіе литературныхъ идей, подъ вліяніемъ той же философіи Шеллинга, сказалось въ первыхъ опытахъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго. Это былъ опять москвичъ, питомецъ Благороднаго пансіона, гдѣ онъ окончилъ курсъ въ 1821. Здѣсь еще продолжались литературныя преданія временъ Жуковскаго, но прибавилась новая черта умственной жизни, которую внесла философія Шеллинга въ преподаваніи Павлова. Общія понятія и вкусы сблизили кн. Одоевскаго съ Веневитиновымъ; тѣ же интересы къ поэзіи и наравнѣ съ нею къ наукѣ выдѣляли ихъ въ тогдашнемъ литературномъ кругу и рано возбудили въ обоихъ стремленіе вмѣшаться въ литературную жизнь, которой, по ихъ мнѣнію, недоставало самаго существеннаго—философскаго мышленія.

Позднѣе, въ „Русскихъ Ночахъ" кн. Одоевскій такъ изображалъ тогдашнее вліяніе философіи Шеллинга: „Вы не можете себѣ представить,—говорилъ онъ,—какое дѣйствіе произвела въ свое время Шеллингова философія, какой толчокъ дала она людямъ, заснувшимъ подъ монотонный напѣвъ Локковыхъ рапсодій. Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Коломбъ въ XV-мъ; онъ открылъ человѣку извѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія—его душу. Какъ Христофоръ Коломбъ, онъ нашелъ не то, чего искалъ; какъ Христофоръ Коломбъ, онъ возбуждалъ надежды неисполнимыя—но, какъ Коломбъ, далъ новое направленіе дѣятельности человѣка! Всѣ бросились въ эту чудную, роскошную страну: кто ради науки, кто изъ любопытства, кто для поживы" [1]). Еще позднѣе, когда Одоевскій хотѣлъ вновь издать свои сочиненія, онъ набросалъ автобіографическія замѣтки для будущаго предисловія и такъ говорилъ здѣсь о первой порѣ своихъ научныхъ интересовъ:

---

[1]) Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго. Спб. 1844, I, стр. 45.

Моя юность протекла въ ту эпоху, когда метафизика была такою же общею атмосферою, какъ нынѣ политическія науки. Мы вѣрили въ возможность такой абсолютной теоріи, посредствомъ которой возможно было бы построить всѣ явленія, точно такъ, какъ теперь вѣрятъ въ возможность такой соціальной жизни, которая бы вполнѣ удовлетворяла всѣмъ потребностямъ человѣка. Можетъ быть, дѣйствительно, и такая теорія, и такая форма будутъ когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequentia non valet. Какъ бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человѣка казалась намъ довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиковъ, на химиковъ, на утилитаристовъ, которые рылись въ грубой матеріи. Изъ естественныхъ наукъ лишь одна казалась намъ достойною вниманія любомудра —анатомія, какъ наука человѣка, и въ особенности анатомія мозга. Мы принялись за анатомію практически, подъ руководствомъ знаменитаго Лодера, у котораго многіе изъ насъ были любимыми учениками. Не одинъ кадаверъ мы искрошили; но анатомія естественно натолкнула насъ на физіологію, — науку, тогда только-что начинавшуюся и которой первый зародышъ появился, должно признаться, у Шеллинга, впослѣдствіи у Окена и Каруса. Но въ физіологіи естественно встрѣтились намъ на каждомъ шагу вопросы, необъяснимые безъ физики и химіи, да и многія мѣста въ Шеллингѣ (особенно въ его „Weltseele“) были темны безъ естественныхъ знаній. Вотъ какимъ образомъ гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться вѣрными своему званію, были приведены къ необходимости запастись колбами, реципіентами и тому подобными снадобьями, нужными для грубой матеріи. Въ собственномъ смыслѣ, именно Шеллингъ,—можетъ быть, неожиданно для него самаго,—былъ истиннымъ творцомъ положительнаго направленія въ нашемъ вѣкѣ, по крайней мѣвѣ, въ Германіи и въ Россіи. Въ этихъ земляхъ, лишь по милости Шеллинга и Гёте, сдѣлались поснисходительнѣе къ французской и англійской наукѣ, о которой прежде, какъ о грубомъ эмпиризмѣ, мы и слышать не хотѣли [1]).

Подобныя мысли увлекали и Веневитинова, который также былъ слушателемъ Лодера... Какъ бы ни пошли дальше изученія молодыхъ философовъ, во всякомъ случаѣ такое начало направляло ихъ интересы совершенно иначе, чѣмъ бывало до тѣхъ поръ въ литературныхъ кругахъ и между прочимъ въ кругу Пушкина. Веневитиновъ былъ поэтъ, но его поэтическія мечты складывались очень не похоже на то, что̀ бывало у поклонниковъ Вакха и Киприды и любителей поэтической „лѣни“. Кн. Одоевскій, въ противорѣчіе почти обязательному обычаю, не началъ своего литературнаго поприща стихами. Въ кружкахъ, гдѣ собирались эти новые нарождавшіеся дѣятели русской литературы, живѣйшимъ интересомъ была именно философія: кн. Одоевскій читалъ здѣсь свои переводы изъ Окена и вскорѣ задумалъ изданіе не-

[1]) „Русскій Архивъ“, 1874, № 2.

большого журнала или періодическаго альманаха, въ которомъ могли бы найти мѣсто интересы къ философіи. Въ 1824—1825 вмѣстѣ съ Кюхельбекеромъ онъ издавалъ „Мнемозину“. Одинъ изъ біографовъ Одоевскаго замѣчаетъ, что это изданіе должно было прекратиться, не встрѣтивъ сочувствія къ своему направленію ни въ журналистикѣ, ни въ публикѣ; но должно сказать, что въ сущности „Мнемозина“ представила новыя направленія очень недостаточно, хотя и съ юношескимъ задоромъ. На заглавной виньеткѣ журнала изображены были символы поэзіи и мудрости: лира, змѣя и сова, но наибольшая часть изданія наполнена была обычнымъ содержаніемъ тогдашнихъ альманаховъ. Скудость литературы была такова, что и то немногое, въ чемъ выразились особенные взгляды издателей „Мнемозины“, стало предметомъ толковъ въ тогдашнихъ журналахъ. Кн. Одоевскій еще раньше своего изданія высказывался противъ пустоты „благородной черни“, т.-е. свѣтскаго общества; онъ повторяетъ эту тему и теперь, изображая въ аллегорической сказкѣ „старцевъ-младенцевъ“, подсмѣиваясь надъ легкомысленнымъ поклоненіемъ французскимъ писателямъ; задѣваетъ современную русскую поэзію, которая кажется ему безсодержательной, и негодуетъ на отсутствіе интереса къ философіи, который долженъ быть основою всякой серьезной литературы. Приводимъ нѣсколько отрывковъ, такъ какъ статьи Одоевскаго въ „Мнемозинѣ“ не вошли потомъ въ собраніе его сочиненій.

Въ одномъ изъ своихъ апологовъ онъ рисуетъ фантастическое существо, которое оказалось олицетвореніемъ лѣни. Въ первый разъ онъ увидѣлъ это существо за столомъ своей тетушки, когда она раскладывала гранъ-пасьянсъ, и очень его испугался.

Между грудами книгъ, за которыми я прятался, находились и творенія нѣкоторыхъ нашихъ модныхъ поэтовъ. Что ни разверну — все вижу изображеніе непонятнаго существа, котораго я такъ испугался; вездѣ его хвалили, превозносили, утѣшались имъ, какъ игрушкою; вездѣ явственно изображался отпечатокъ моего пугалища.

Я сперва удивлялся, потомъ мало-по-малу пересталъ дивиться, а наконецъ непонятное существо не казалось мнѣ болѣе страшнымъ.

Однажды, когда я не могъ довольно налюбоваться мною читанными описаніями златой безпечности, милой нѣги и проч., игралъ въ cache-cache съ нашими поэтами, т.-е. отыскивалъ мысли между словами, и не успѣвая въ семъ предпріятіи, восхищался ихъ піитическою хитростію,—дверь настежь, и непонятное существо ввалилося въ комнату... Это была женщина, одѣтая въ мужское платье, вѣроятно для большей увертливости,—свойство, которое какъ я послѣ узналъ, по странному противорѣчію, было отличительнѣйшимъ въ сей богинѣ.

Она себя назвала: это была Лѣнь, „богиня, не одними русскими поэтами обожаемая". Конечно, она разстроила всѣ его работы, и эти строки авторъ могъ написать только въ ея отсутствіе: „она отправилась въ гости къ знатному барину, которому недавно поручена судьба милліоновъ" [1]).

Въ отрывкѣ изъ романа Одоевскій рисуетъ три класса московскаго общества, въ какіе попадалъ его герой:

1-й классъ состоитъ изъ тѣхъ, кои осмѣлились покинуть уныніе и сладострастіе, разогнать густые туманы, забыть о лунѣ и заниматься своимъ совершенствованіемъ, въ полномъ смыслѣ этого слова (само собою разумѣется, что этотъ классъ самый маленькій); 2-й—изъ тѣхъ, которые глазъ не сводятъ съ туманной дали, читали Парни и Мильвуа — и почитаютъ ихъ величайшими поэтами, — не читали Батте—и называютъ его величайшимъ философомъ... но этотъ классъ все-таки красное солнышко передъ третьимъ и къ несчастію многочисленнѣйшимъ: составляющіе оный, покинувъ простоту прежнихъ нравовъ и не достигнувши европейской образованности, остановились на какой-то безобразной срединѣ.. Эти люди до сихъ поръ не подозрѣваютъ, что есть на Руси литераторы, спрашиваютъ, кто сочинялъ Руслана и Людмилу и читаютъ—Дамскій Журналъ [2]).

Вотъ изображеніе литературнаго вечера, какіе бывали въ свѣтскомъ кругу.

...Хозяинъ приготовился прочесть своимъ пріятелямъ переводъ, надъ которымъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ трудился — переводъ двухъ водяныхъ писемъ Севинье и одного плаксиваго, Графиньи.

Какъ сіе засѣданіе было приватное, то ему надлежало происходить въ кабинетѣ; тутъ уже все было приготовлено для литературнаго маскарада: шкафчикъ съ книгами какъ бы ненарочно раствоpенъ: изъ него выглядывали сочиненія Жанлисъ, Дюкре-Дюмениля и неисчислимое множество Notices, Remarques, Apperçues, Resumés, Quelques mots и другихъ книгъ въ родѣ: Philosophie, enseignée en deux leçons и l'Art de penser réduit à trois mots и проч. и проч.: на большомъ письменномъ столѣ, между дюжинами стклянокъ, банокъ, зрительныхъ трубокъ, лорнетовъ, щетокъ, щеточекъ и другихъ бездѣлушекъ, коими обыкновенно покрываются дамскіе столики, смиренно лежали шесть или семь крошечныхъ томиковъ нѣкоторыхъ французскихъ писателей, коихъ достоинство не превосходило величины формата;... нѣсколько ближе къ портфейлю, гдѣ скрывались творенія самого хозяина, было раскидано въ искусственномъ безпорядкѣ богатое изданіе Лагарпа, съ премножествомъ отмѣтокъ, будто бы показывавшихъ необыкновенное вниманіе читателя...

На литературномъ вечерѣ былъ, между прочимъ, французскій профессоръ, который „за дорогую цѣну читалъ приватныя лек-

[1]) „Мнемозина", IV, стр. 42—48.

[2]) „Франкфуртскій". Прим. Одоевскаго. „Мнемозина", III, стр. 128—130.

ціи французской словесности; умѣлъ нравиться дамамъ; быть товарищемъ молодыхъ людей въ ихъ шалостяхъ; умѣлъ поддѣлываться къ знатнымъ". Къ французской литературѣ—той, которою восхищалось свѣтское общество,—кн. Одоевскій относится крайне враждебно (предпочитая ей серьезную нѣмецкую литературу):

Ничего не можетъ быть смѣшнѣе и жалче французовъ нашего вѣка, которые думаютъ, что еще не прошло то счастливое время, когда они пользовались литературною славою, столь неправедно ими пріобрѣтенною; когда Вольтеръ кружилъ всѣмъ головы, а Буало и Лагарпъ почитались верховными самодержавцами Парнасса; впрочемъ они не виноваты въ томъ: еще многіе поддерживаютъ ихъ въ семъ заблужденіи, которое тогда только совершенно уничтожится, когда умствованія глубокія, освѣщаемыя пламенникомъ истины, восторжествуютъ надъ обветшалыми предразсудками.

На лекціяхъ Видефьера не было и помину объ этомъ; тамъ толковали о дѣлахъ гораздо важнѣйшихъ: тамъ съ почтеніемъ внимали слушатели глубокія разсужденія о причинахъ, почему Буало въ своей наукѣ стихотворца не упомянулъ о Лафонтенѣ: отчего Расинъ не имѣлъ счастія нравиться госпожѣ Севинье: отчего Академія не согласилась послушаться Вольтера и писать ai—вмѣсто oi: отчего существовала вражда между Аруетомъ и Пирономъ; тамъ еще повторялись съ восторгомъ неблагопристойныя шутки любимцъ Людовика XIV; тамъ еще изумлялись смѣлости Лабрюйера, дерзнувшаго хвалить живыхъ академистовъ [1]).

Только въ двухъ статьяхъ, и только самымъ общимъ образомъ, кн. Одоевскій особо остановился на вопросѣ о важности философскихъ изученій для нашей литературы. Онъ задумалъ составить словарь по исторіи философіи, помѣстилъ въ „Мнемозинѣ" одну статью изъ этого словаря (между прочимъ снабженную множествомъ ученыхъ цитатъ), и въ предисловіи съ сокрушеніемъ говорилъ о бѣдности нашей философскими сочиненіями и о необходимости философскаго знанія, которымъ только и можно бороться „противъ закоренѣлыхъ предразсудковъ и слабоумія". „Еслибы,—говорилъ онъ,—кто захотѣлъ внимательнѣе посмотрѣть на отношенія, связующія явленія съ ихъ началами, то нашелъ бы, что единственная причина тому, что мы до сихъ и въ искусствахъ и наукахъ—только подражатели, есть презрѣніе къ любомудрію" [2]). Въ другой разъ онъ говорилъ объ этомъ

[1]) Тамъ же III, стр. 132—137. Ср. замѣчаніе французскаго профессора о „карбонаріяхъ въ литературѣ" (стр. 144): оно страннымъ образомъ совпадаетъ съ позднѣйшимъ негодованіемъ кн. Вяземскаго „на анархическое своевольство" противъ литературныхъ „властей".

[2]) Тамъ же, IV, стр. 160 и далѣе; какъ видимъ, это совершенно сходно съ приведёнными выше мыслями Веневитинова.

предметѣ въ полемической статьѣ, гдѣ указывалъ крайнюю пустоту и отсталость нашихъ журналовъ, которая могла быть устранена лишь серьезными изученіями, особливо философскими [1]. Кромѣ отдѣльныхъ замѣчаній это было все, что говорилъ кн. Одоевскій о философскихъ предметахъ въ своемъ журналѣ; но оказывается, что и это немногое стало уже событіемъ въ тогдашней журналистикѣ. Въ послѣсловіи, которымъ законченъ былъ журналъ, кн. Одоевскій могъ сказать: „Издатели Мнемозины могутъ похвалиться, что нѣкоторымъ образомъ достигли своей цѣли; Литературные Листки, Сынъ Отеч., Сѣв. Архивъ, нападая на Мнемозину, списывали и теперь еще списываютъ изъ нея сужденія о французской словесности, о необходимости народной поэзіи; даже въ Литературныхъ Листкахъ Мнемозина заставила толковать о Шеллингѣ и Окенѣ, хотя и на изворотъ, заставила журналистовъ говорить о нѣмецкихъ мыслителяхъ такъ, что иногда подумаешь, будто бы наши критики въ самомъ дѣлѣ читали сихъ послѣднихъ".—„Знакъ добрый!—продолжаетъ онъ.—Можетъ быть, недалеко уже то время, когда сужденія, основанныя на законахъ непремѣняемыхъ, произведенія, блистающія порядкомъ и свѣтлостію мыслей, займутъ мѣсто нашихъ обыкновенныхъ, пустыхъ, сбивчивыхъ, журнальныхъ теорій и литературныхъ уродовъ; когда истина восторжествуетъ надъ заблужденіями и умолкнутъ наши ничтожные судіи въ наукахъ"...

Первыя заимствованія изъ философіи Шеллинга оставались пока слишкомъ уединенными: прозелитовъ было немного; значеніе въ литературѣ дано было этому новому вліянію писателями, едва выходившими изъ первой юности: кн. Одоевскому былъ 21 годъ, когда онъ началъ изданіе „Мнемозины"; Веневитиновъ кончилъ жизнь 22 лѣтъ. Но при всемъ томъ новое движеніе и здѣсь становилось органическимъ: оно встрѣтило готовую почву въ возникавшей потребности установить сознательное пониманіе задачъ литературы — когда въ русской поэзіи стала дѣйствовать великая созидающая сила въ лицѣ Пушкина. Эта органическая жизненность выразилась въ дальнѣйшей судьбѣ новаго движенія: философскіе интересы кружка Веневитинова вскорѣ нашли болѣе глубокое продолженіе въ кружкѣ Станкевича, съ которымъ связаны знаменательныя литературныя явленія сороковыхъ годовъ.

Кн. В. Ѳ. Одоевскій не сдѣлался философомъ; но глубокій интересъ къ философіи, овладѣвшій имъ съ юности, сталъ на-

[1] Тамъ же, III, стр. 178 и далѣе

всегда особенностью его литературной дѣятельности. „Русскія Ночи", написанныя подъ вліяніемъ Гофмана, которое отвѣчало собственному складу его ума и воображенія, остались донынѣ единственнымъ въ своемъ родѣ произведеніемъ; у кн. Одоевскаго сохранилась и послѣ давняя наклонность къ иносказанію, которымъ онъ привлекалъ вниманіе къ высшимъ вопросамъ человѣческаго бытія; въ повѣстяхъ изъ свѣтской жизни высшаго круга, которыя нравились Пушкину, онъ продолжалъ тему, затронутую въ самыхъ первыхъ его произведеніяхъ. Его философія соединялась въ теоріи и въ практической общественной жизни съ глубокимъ гуманнымъ настроеніемъ, рѣдкимъ по своей чистотѣ и задушевности. Его давнею мыслію была забота о народной школѣ и народной книгѣ, какъ освобожденіе крестьянъ являлось для него исполненіемъ давнихъ мечтаній его поколѣнія. Въ послѣдніе годы жизни, по поводу „Довольно!" Тургенева, кн. Одоевскій въ статьѣ „Недовольно!" нашелъ краснорѣчивыя и глубокомысленныя слова, чтобы указать нравственный долгъ писателя— и особливо русскаго писателя — въ такую пору, когда „съ 19 февраля 1861 г. Россія пережила по крайней мѣрѣ два вѣка" и когда лучшія умственныя и нравственныя силы обязаны, не поддаваясь малодушнымъ сомнѣніямъ, служить великому дѣлу общественнаго блага.

Въ сторонѣ и независимо отъ круга Пушкина, но близко примыкая къ новому литературному движенію, развилась дѣятельность Н. А. Полевого. Многое отличало его отъ пушкинскаго круга. По рожденію, онъ не принадлежалъ къ сословію привиллегированному—какъ почти всѣ „сверстники Пушкина", и у него могла быть сильнѣе связь съ элементами народной жизни, изъ которыхъ онъ вышелъ; образованіемъ онъ былъ обязанъ только самому себѣ—впослѣдствіи, со стороны его враговъ были обычнымъ оружіемъ попреки, что онъ „самоучка", „невѣжда" и т. п., но несомнѣнно, что его образованіе было шире, чѣмъ у большинства его противниковъ; человѣкъ даровитый, онъ дѣйствовалъ потомъ въ разнородныхъ областяхъ литературы и ставилъ себѣ задачей служить прогрессу литературы въ духѣ современнаго просвѣщенія и поэзіи. Знаменемъ послѣдней былъ тогда романтизмъ, и Полевой сталъ приверженцемъ его и въ теоретическихъ взглядахъ и въ собственной поэтической дѣятельности,—особливо въ повѣсти. Двадцатые годы, когда началось его поприще, были именно временемъ литературнаго броженія, и Полевой явился ревностнымъ партиза-

номъ новой школы, блестящимъ предводителемъ которой былъ Пушкинъ.

Изданіе „Московскаго Телеграфа“ (1825—1834) было лучшимъ временемъ всей литературной дѣятельности Полевого. Въ предисловіи къ „Телеграфу“ онъ далъ такую широкую программу русскаго журнала, — въ связи съ литературой западной и съ многообразными потребностями русскаго просвѣщенія и организаціи литературы,—какъ до тѣхъ поръ не бывало, и на исполненіе ея онъ положилъ многолѣтній упорный трудъ и—немалое мужество. Послѣднее—потому, что выступая на защиту новаго движенія, ему пришлось столкнуться съ обильнымъ запасомъ рутины, непониманія и бездарности, который хранился въ старомъ лагерѣ. Одушевленный наилучшими желаніями успѣха литературѣ, онъ своихъ взглядовъ не скрывалъ и не уступалъ, и это стоило ему ожесточенной вражды, которая встрѣтила его уже на первыхъ книжкахъ журнала. Въ первый же годъ изданія онъ долженъ былъ посвятить длинный отвѣтъ нападеніямъ, какія посыпались на него изъ „Сына Отечества“, „Сѣверной Пчелы“, „Сѣвернаго Архива“, „Вѣстника Европы“, „Дамскаго журнала“ и т. д. Однимъ изъ поводовъ вражды было возвеличеніе Пушкина, предъ которымъ Полевой преклонялся; затѣмъ грубое журнальное соперничество, — противники не могли простить Полевому журнальнаго успѣха, и аргументомъ противъ него стало, наконецъ, его происхожденіе; наконецъ, Полевой возбудилъ къ себѣ вражду и въ кругѣ Пушкина, когда предпринялъ свою „Исторію русскаго народа“: критическое отношеніе къ Карамзину показалось всѣмъ потомкамъ „Арзамаса“ непростительной самонадѣянностью.

Свое горячее сочувствіе Пушкину Полевой высказалъ въ самомъ началѣ „Телеграфа“ статьями о первыхъ главахъ „Онѣгина“; это былъ и вызовъ противникамъ Пушкина: „Свободная, пламенная муза, вдохновительница Пушкина, приводитъ въ отчаяніе диктаторовъ нашего Парнасса и осѣдлыхъ критиковъ нашей словесности. Бѣдные! Только-что успѣютъ они увѣрить своихъ кліентовъ, что въ силу такого-то или такого параграфа Піитики, изданной въ такомъ-то году, поэма Пушкина не поэма, и что можно доказать это по всѣмъ правиламъ полемики,—новыми рукоплесканіями заглушается охриплый шопотъ ихъ и всеобщій восторгъ заботитъ ихъ снова пріискивать доказательствъ на истертыхъ листочкахъ реченной Піитики!.. Изданіе Онѣгина положительно доказываетъ право Пушкина уже не просто на талантъ, но на что-то выше“...

Въ своемъ журналѣ Полевой, вообще стараясь вносить разнородныя образовательныя свѣдѣнія, въ области литературныхъ вопросовъ именно стремился установить и узаконить новое направленіе, главою котораго являлся Пушкинъ,—слѣдовательно, объяснять европейскій романтизмъ, опровергать старую рутину, защищать права новой поэзіи.

Его историческая роль опредѣлится всего нагляднѣе, если мы обратимся къ сужденіямъ младшаго современника, который нѣкогда поучался его трудами, послѣ—въ новомъ оборотѣ ихъ—сталъ къ нему во враждебное отношеніе и, наконецъ, послѣ его смерти, призналъ высокую цѣну его жизненнаго труда. Сводя существенныя черты этого труда, оставляя второстепенныя, забывая личныя литературныя столкновенія, Бѣлинскій не усумнился поставить имя Н. А. Полевого на ряду съ наиболѣе заслуженными именами новой русской литературы:

„Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу, въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были—Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

„Ломоносовъ, Карамзинъ—и Полевой!.. Какъ многихъ оскорбитъ такое сближеніе именъ!"—по неумѣнью понимать значеніе литературныхъ явленій. Но какъ заслуга Ломоносова и Карамзина была въ томъ, что въ свое время они сдѣлали то, въ чемъ именно нуждалась литература, такъ подобная заслуга принадлежала Полевому. Появленіе Пушкина раздѣлило литературу на два враждебные лагеря. „Литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареною которыхъ должна была сдѣлаться журналистика".

„Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературѣ. Она условливалась обстоятельствами. По роду своихъ способностей Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ: его доставало на все—на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ нельзя играть роль поэта человѣку, нерожденному поэтомъ... Но несмотря на это, Полевому предстояла роль дѣятельная и блестящая, вполнѣ сообразная съ его натурою и

способностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю".

Чтобы оцѣнить значеніе журнальной дѣятельности Полевого,—говоритъ Бѣлинскій,—надо вспомнить положеніе тогдашней литературы. Первые опыты Пушкина огласились по всей Россіи, масса читателей небывало увеличилась, и чувствовалась необходимость въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно въ теоріи,—и въ то же время оставались неприкосновенными старые авторитеты, еще имѣвшіе множество приверженцевъ. „Сумарокова считали великимъ писателемъ, между Ломоносовымъ и Державинымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева". Все это требовало, наконецъ, объясненія и рѣшенія; шли уже туманные споры о классицизмѣ и романтизмѣ. „Вопросъ стоилъ споровъ, дѣло стоило битвы. Теперь.—писалъ Бѣлинскій въ сороковыхъ годахъ,—на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, литераторъ, беллетристъ"...

Среди тогдашнихъ журналовъ „Телеграфъ" тотчасъ сталъ выдаваться чрезвычайнымъ разнообразіемъ содержанія: онъ давалъ беллетристику, русскую и переводную, и массу свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки, и зорко слѣдилъ за учеными и общественными новостями; существеннымъ интересомъ оставалась литература, и здѣсь Бѣлинскій видѣлъ его главную заслугу. Критика, спокойная, но опредѣленная, потому что основывалась на сознательныхъ принципахъ, была заслугой для своего времени, но также навлекла ему множество враговъ, такъ какъ это была и критика безпристрастная, равнодушная къ личнымъ соображеніямъ. „Полевой показалъ первый, что литература—не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина—не такая бездѣлица, которую можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и выказать себя человѣкомъ „безпокойнымъ", т.-е. хуже, чѣмъ безнравственнымъ".

Къ сожалѣнію, эта извѣстность какъ „безпокойнаго" человѣка привела къ запрещенію „Телеграфа", когда Полевой напечаталъ въ журналѣ неодобрительный разборъ пьесы Кукольника

Въ своемъ журналѣ Полевой, вообще стараясь вносить разнородныя образовательныя свѣдѣнія, въ области литературныхъ вопросовъ именно стремился установить и узаконить новое направленіе, главою котораго являлся Пушкинъ,—слѣдовательно, объяснять европейскій романтизмъ, опровергать старую рутину, защищать права новой поэзіи.

Его историческая роль опредѣлится всего нагляднѣе, если мы обратимся къ сужденіямъ младшаго современника, который нѣкогда поучался его трудами, послѣ—въ новомъ оборотѣ ихъ—сталъ къ нему во враждебное отношеніе и, наконецъ, послѣ его смерти, призналъ высокую цѣну его жизненнаго труда. Сводя существенныя черты этого труда, оставляя второстепенныя, забывая личныя литературныя столкновенія, Бѣлинскій не усумнился поставить имя Н. А. Полевого на ряду съ наиболѣе заслуженными именами новой русской литературы:

„Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу, въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были—Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

„Ломоносовъ, Карамзинъ—и Полевой!.. Какъ многихъ оскорбитъ такое сближеніе именъ!"—по неумѣнью понимать значеніе литературныхъ явленій. Но какъ заслуга Ломоносова и Карамзина была въ томъ, что въ свое время они сдѣлали то, въ чемъ именно нуждалась литература, такъ подобная заслуга принадлежала Полевому. Появленіе Пушкина раздѣлило литературу на два враждебные лагеря. „Литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареною которыхъ должна была сдѣлаться журналистика".

„Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературѣ. Она условливалась обстоятельствами. По роду своихъ способностей Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ: его доставало на все—на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ нельзя играть роль поэта человѣку, нерожденному поэтомъ... Но несмотря на это, Полевому предстояла роль дѣятельная и блестящая, вполнѣ сообразная съ его натурою и

способностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю".

Чтобы оцѣнить значеніе журнальной дѣятельности Полевого,—говоритъ Бѣлинскій,—надо вспомнить положеніе тогдашней литературы. Первые опыты Пушкина огласились по всей Россіи, масса читателей небывало увеличилась, и чувствовалась необходимость въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно въ теоріи,—и въ то же время оставались неприкосновенными старые авторитеты, еще имѣвшіе множество приверженцевъ. „Сумарокова считали великимъ писателемъ, между Ломоносовымъ и Державинымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева". Все это требовало, наконецъ, объясненія и рѣшенія; шли уже туманные споры о классицизмѣ и романтизмѣ. „Вопросъ стоилъ споровъ, дѣло стоило битвы. Теперь.— писалъ Бѣлинскій въ сороковыхъ годахъ,—на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, литераторъ, беллетристъ"...

Среди тогдашнихъ журналовъ „Телеграфъ" тотчасъ сталъ выдаваться чрезвычайнымъ разнообразіемъ содержанія: онъ давалъ беллетристику, русскую и переводную, и массу свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки, и зорко слѣдилъ за учеными и общественными новостями; существеннымъ интересомъ оставалась литература, и здѣсь Бѣлинскій видѣлъ его главную заслугу. Критика, спокойная, но опредѣленная, потому что основывалась на сознательныхъ принципахъ, была заслугой для своего времени, но также навлекла ему множество враговъ, такъ какъ это была и критика безпристрастная, равнодушная къ личнымъ соображеніямъ. „Полевой показалъ первый, что литература—не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина—не такая бездѣлица, которую можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и выказать себя человѣкомъ „безпокойнымъ", т.-е. хуже, чѣмъ безнравственнымъ".

Къ сожалѣнію, эта извѣстность какъ „безпокойнаго" человѣка привела къ запрещенію „Телеграфа", когда Полевой напечаталъ въ журналѣ неодобрительный разборъ пьесы Кукольника

„Рука Всевышняго отечество спасла“, которая именно встрѣтила одобреніе со стороны оффиціальнаго Петербурга. Прекращеніе журнала не только не остановило, но, можетъ быть, еще увеличило дѣятельность Полевого; онъ участвовалъ въ чужихъ изданіяхъ, былъ снова редакторомъ,—но прежняго значенія онъ уже не достигъ,—главнымъ образомъ потому, что литературное движеніе его опередило. Не входя въ подробности этихъ позднѣйшихъ трудовъ, упомянемъ лишь о нѣкоторыхъ сторонаяхъ его дѣятельности—объ его повѣстяхъ, драматическихъ представленіяхъ и „Исторіи“.

Мѣркой ихъ историческаго значенія могутъ опять служить отзывы Бѣлинскаго. Въ оцѣнкѣ, сдѣланной имъ въ 1846, Бѣлинскій относился къ повѣстямъ Полевого очень критически. Повѣсти начали появляться еще въ „Телеграфѣ“. За послѣдніе годы журнала, въ немъ напечатаны были большіе критическіе разборы Державина, Жуковскаго, Пушкина, нѣсколько повѣстей: „Блаженство безумія“, „Живописецъ“, „Эмма“ и др. „Въ тѣхъ и другихъ, — говоритъ Бѣлинскій, — Полевой высказался вполнѣ, въ тѣхъ и другихъ вполнѣ выказались уголъ его зрѣнія, сгибъ его ума, характеръ его образованія, равно какъ вполнѣ отразилась его эпоха, съ ея живою дѣятельностію, безпокойнымъ тревожнымъ движеніемъ, заносчивостію, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полу-французскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностностію и неопредѣленностію въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами вмѣсто теоріи, съ смѣлостью, отвагою, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повѣстяхъ Полевой какъ бы поспѣшилъ представить результатъ своей журнальной дѣятельности, разомъ цѣлостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ говорилъ нѣсколько лѣтъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствовалъ, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ нашей литературѣ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное, — и торопился высказаться вполнѣ и опредѣленно. А новое между тѣмъ дѣйствительно возникало,—и Полевой отступилъ отъ Пушкина, какъ отъ отсталаго поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшаго великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понялъ онъ Гоголя и, по искреннему убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи“...

Но въ свое время повѣсти Полевого имѣли большой успѣхъ. Здѣсь же Бѣлинскій замѣчаетъ: „Повѣсти Полевого потому именно имѣютъ свое относительное достоинство, что явились въ

время. Недолго нравились онѣ, но нравились сильно, читались съ жадностью". Еще недавно передъ тѣмъ, въ тридцатыхъ годахъ самъ Бѣлинскій говорилъ о нихъ съ великими похвалами. Какъ повѣсти Марлинскаго или Кукольника, онѣ характерны для романтическаго стиля: дѣйствительная жизнь не находитъ прямого реальнаго изображенія, господствуетъ возвышенный тонъ, перемежающійся съ философскими размышленіями; часто является на сцену художникъ въ романтической окраскѣ непонятнаго генія, страждущаго среди пустоты свѣтскаго общества. У Полевого было стремленіе изображать историческую старину и народную жизнь—то и другое было ему знакомо;—и здѣсь онъ впадалъ въ искусственность и сентиментальность, но, напр. въ историческихъ повѣстяхъ, было также замѣчательное для того времени знаніе бытовой старины.

Подобнымъ образомъ романтическая искусственность отличаетъ его драмы. Не одинъ Бѣлинскій замѣчалъ, что въ нихъ, подъ конецъ дѣятельности Полевого, сказались тѣ же недостатки, какіе онъ осуждалъ въ началѣ у тогдашнихъ драматурговъ. Біографія объясняетъ долю этихъ недостатковъ: была вынужденная спѣшность работы; но драмы Полевого имѣли свою популярную пользу, и ихъ усиленный патріотическій тонъ, приближавшій Полевого къ осуждаемымъ раньше Кукольнику и кн. Шаховскому, имѣлъ въ основѣ искреннее настроеніе.

Былъ еще трудъ, который при самомъ началѣ навлекъ Полевому ожесточенную вражду, но былъ его немалой заслугой. „Исторія" Карамзина едва была закончена въ изданіи, съ появленіемъ 12-го тома (1829), когда вышелъ первый томъ „Исторіи русскаго народа" Полевого. Выше было говорено, какимъ, почти суевѣрнымъ, почетомъ окружена была, особливо въ дружескомъ кругу „Арзамаса", „Исторія государства россійскаго". Одно покушеніе взяться за тотъ же предметъ казалось дерзостью,—а тѣмъ паче въ упомянутомъ высокомѣрномъ кругу, который видѣлъ въ Полевомъ разночинца. Присоединились и нападенія цеховыхъ ученыхъ. И позднѣе, историки обвиняли Полевого въ „поспѣшномъ приложеніи чужихъ выводовъ (теоріи Гизо, Тьерри и Нибура) къ явленіямъ не совсѣмъ подходящимъ, и отсутствіе собственной продолжительной критической работы". Тѣмъ не менѣе, трудъ Полевого имѣлъ свою заслугу, признаваемую новѣйшей критикой. Поставивъ предметомъ исторіи „народъ", онъ, хотя гадательно, расширялъ горизонтъ изслѣдованія, которое должно было направиться на изученіе внутреннихъ бытовыхъ явленій, и правильно оспаривалъ взглядъ Карамзина

на основаніе „россійскаго государства“ при Рюрикѣ. Новая критика находила у Полевого не мало вѣрныхъ замѣчаній объ историческихъ отношеніяхъ удѣльнаго и татарскаго періода и т. д.

Къ сожалѣнію, донынѣ еще нѣтъ цѣльнаго изслѣдованія біографіи и литературнаго труда Полевого; но чѣмъ дальше идетъ критическое изученіе, тѣмъ больше подтверждается та защита, съ которой выступилъ въ 1846 Бѣлинскій. Это былъ характерный романтикъ, дѣятельный и разносторонній журналистъ, который установилъ впервые форму журнала, имѣвшаго у насъ въ особенности важность образовательнаго чтенія, и сдѣлалъ принципіальную критику его необходимою частью. Дальнѣйшее движеніе литературы, за предѣлы романтизма, осталось Полевому непонятно,—но здѣсь онъ только искренно слѣдовалъ старой системѣ своихъ понятій: въ литературѣ совершался переломъ.

Баронъ Ант. Ант. Дельвигъ (1798—1831) былъ лицейскій товарищъ и ближайшій другъ Пушкина. Кончивъ курсъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ въ 1817, Д. поступилъ на службу по министерству финансовъ, потомъ былъ помощникомъ библіотекаря (Крылова) въ Публ. Библіотекѣ, наконецъ, служилъ по министерству внутреннихъ дѣлъ. Еще въ лицеѣ онъ сталъ писать, и печатать, стихи; съ 1825 онъ издавалъ каждогодно извѣстный въ свое время альманахъ „Сѣверные Цвѣты“, потомъ „Подснѣжникъ“; съ 1830 началъ изданіе „Литературной Газеты“. На его вечерахъ собирался кружокъ друзей, средоточіемъ котораго былъ Пушкинъ. Его поэзія принимала два направленія: анакреонтическое, ради котораго видѣли въ немъ настоящаго „эллина“, и народное, подражаніе народной пѣснѣ; но вмѣстѣ онъ служилъ и романтической „лѣни“.

— Біографическое изслѣдованіе сдѣлано было В. П. Гаевскимъ въ „Современникѣ“ 1853, № 2, 5; 1854, № 1, 9. Замѣтки объ этомъ у Тихонравова, „Сочиненія“, т. III, ч. 2, стр. 169—181. Геннади, Справочный Словарь, s. v.

— Изданія сочиненій:—въ собраніи Смирдина, вмѣстѣ съ сочиненіями Нелединскаго-Мелецкаго. Спб. 1850;—въ „Библіотекѣ Сѣвера“: Сочиненія барона А. А. Д. Съ приложеніемъ біографическаго очерка, составленнаго Вал. В. Майковымъ. Спб. 1893.

Кондратій Ѳедор. Рылѣевъ родился въ послѣднихъ годахъ XVIII вѣка, учился въ кадетскомъ корпусѣ и въ 1814 выпущенъ прапорщикомъ въ артиллерійскую бригаду, съ которой сдѣлалъ походъ за границу; по возвращеніи находился въ конно-артиллерійской ротѣ, стоявшей въ минской, потомъ воронежской губерніи. Въ концѣ 1818, вышелъ въ отставку, женился на дочери воронежскаго помѣщика Тевяшева, переселился въ Петербургъ; здѣсь служилъ по выборамъ дворянства засѣдателемъ въ уголовной палатѣ, обращая на себя вниманіе безукоризненно честнымъ исполненіемъ своей должности,—это

было рѣдкостью въ тогдашнемъ судѣ и администраціи. Передъ 1825 г., Р. поступилъ на службу въ Россійско-Американской компаніи. Литературную дѣятельность Р. началъ въ 1820, въ „Невскомъ Зрителѣ“, потомъ участвовалъ въ другихъ изданіяхъ, между прочимъ Булгарина, а также въ „Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія“, который издавался петербургскимъ Вольнымъ Обществомъ любителей русской словесности, гдѣ онъ былъ членомъ. Вмѣстѣ съ Бестужевымъ онъ издавалъ альманахъ „Полярная Звѣзда“ за 1823—25 годы. Отдѣльно изданы были его поэма „Войнаровскій“ и „Думы“. Спб. 1825.

Онъ былъ казненъ 13 іюля 1826.

— Сочиненія и переписка К. Ѳ. Рылѣева. Изданіе его дочери. Подъ ред. П. А. Ефремова. Спб. 1872; 3-е изд. 1874.

— Объ его литературныхъ и общественныхъ взглядахъ см. также: „Общ. движеніе въ Россіи при Александрѣ I“, 2-е изд. Спб. 1885.

Александръ Александровичъ Бестужевъ род. въ 1795, учился въ горномъ корпусѣ, былъ адъютантомъ Бетанкура и герцога Виртембергскаго; за участіе въ дѣлѣ декабристовъ, впрочемъ, слабое, былъ сосланъ въ Якутскъ и въ 1829 переведенъ солдатомъ на Кавказъ; здѣсь, уже въ офицерскомъ чинѣ, былъ убитъ въ дѣлѣ противъ горцевъ, въ 1837.

— „Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго“, въ 12 частяхъ, 4-е изд. Спб. 1847,—съ тѣхъ поръ не было повторено, и не было полно. Еще Бѣлинскій жалѣлъ, что въ него не вошли раннія критическія и полемическія статьи Бестужева, любопытныя для исторіи первой борьбы романтизма и классицизма; самые „Взгляды на русскую словесность“ переданы не сполна.

Біографія Бестужева-отца и троихъ сыновей обстоятельно изложены въ „Критико-біографическомъ Словарѣ“ Венгерова, т. III. Спб. 1892. Въ біографіи Бестужева-Марлинскаго сообщены обширныя библіографическія данныя, но обзоръ литературной дѣятельности отложенъ „до конца буквы Б.“

Для изученія біографіи и литературной дѣятельности кн. Петра Андр. Вяземскаго (1792—1878) важнѣйшій матеріалъ представляетъ, во-первыхъ, собраніе сочиненій, начатое еще при жизни писателя, въ 1878, и составившее къ 1896 двѣнадцать томовъ. Далѣе, обстоятельный трудъ С. И. Пономарева, гдѣ заключаются хронологическій указатель сочиненій кн. Вяземскаго въ стихахъ и прозѣ; алфавитный списокъ этихъ сочиненій, алфавитный списокъ лицъ, въ нихъ упоминаемыхъ; указаніе изданныхъ его писемъ; указаніе посланій къ нему русскихъ поэтовъ, посвященій, сатиръ, пародій и эпиграммъ на него; указаніе писемъ къ нему; матеріалы для біографіи; критическія статьи и отзывы объ его сочиненіяхъ; его псевдонимы и подписи; музыка къ его стихотвореніямъ; переводы на другіе языки и сочиненія на французскомъ языкѣ; его портреты, наконецъ, некрологи и посмертныя статьи,—въ „Сборникѣ“ Р. Отд. Акад. т. XX. Спб. 1880, стр. 59—178. Тамъ же, стр. 32—52, рѣчь о кн. Вяземскомъ, М. И. Сухомлинова.

— В. Спасовичъ, Кн. П. А. Вяземскій, его польскія отношенія и

знакомства, въ „Сочиненіяхъ“, т. VIII. Спб. 1896, стр. 1—51, изъ „Р. Мысли“, 1890.

— Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ. I. Переписка кн. П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ, 1812—1819. Изд. гр. С. Д. Шереметева, подъ ред. и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Спб. 1899.

Петръ Александр. Плетневъ (1892—1865):

— „П. А. П., біографическій очеркъ“, А Скабичевскаго, въ В. Европы, 1885, ноябрь; и затѣмъ нѣсколько странная статья въ „Р. Мысли“, 1898.

— Н. Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго періода (1855—56). Спб. 1892.

— Сочиненія и переписка Плетнева. Спб. 1885, три тома.

— Переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ. Спб. 1896, три тома.

Евгеній Абрам. Баратынскій (1800—1844): „Сочиненія Е. А. Б. съ портретомъ автора, его письмами и біографическими о немъ свѣдѣніями“. Казань, 1885. Біографическія и библіографическія указанія въ „Словарѣ“ Венгерова“, т. II. Характеристика его поэзіи въ статьѣ: „Памяти Е. А. Баратынскаго“, Н. Котляревскаго, Вѣстн. Европы, 1895, іюль.

Дмитрій Владим. Веневитиновъ (1805—1827) оставилъ по себѣ въ исторіи нашей литературы, какъ позднѣе Станкевичъ, въ высокой степени привлекательную, но и печальную память замѣчательнаго дарованія, не успѣвшаго проявить своихъ богатыхъ силъ. Родившись въ богатой аристократической семьѣ, В. получилъ дома блестящее, но и серьезное, между прочимъ классическое, образованіе, потомъ былъ частнымъ слушателемъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ послѣ двухлѣтняго пребыванія сдалъ выпускной экзаменъ. Здѣсь его всего болѣе увлекали вопросы философіи: въ московскомъ университетѣ были адепты ученій Шеллинга (въ особенности профессоръ физики и сельскаго хозяйства, М. Г. Павловъ),—въ этомъ направленіи складывались и взгляды В. Образовался молодой кружокъ, „общество любомудрія“, который задумалъ, наконецъ, дѣйствовать въ литературѣ. По совѣту Пушкина, основанъ былъ журналъ „Московскій Вѣстникъ“, подъ редакціей Погодина; по взгляду В., задача журнала должна была заключаться въ „созданіи у насъ научной эстетической критики на началахъ нѣмецкой умозрительной философіи и въ привитіи общественному сознанію убѣжденія о необходимости примѣнять философскія начала къ изученію всѣхъ эпохъ наукъ и искусствъ“. Журналъ сталъ выходить съ 1827 года; но тѣмъ временемъ В. переселился въ Петербургъ, и здѣсь вскорѣ умеръ.

— Сочиненія Д. В. Веневитинова. Часть первая. Стихотворенія. М. 1829;—въ собраніи Смирдина: Полное собраніе сочиненій В. Л. Пушкина и Д. В. В. Спб. 1857;—Полное собр. сочиненій Д. В. Веневитинова, изд. подъ редакціей А. П. Пятковскаго, съ прилож. портрета автора и статьи о его жизни и сочиненіяхъ. Спб. 1862.

— По біографіи В., кромѣ книги Пятковскаго:—Н. Барсуковъ,

Жизнь и труды Погодина, т. II. Спб. 1888;—Нилъ Колюпановъ, „А. И. Кошелевъ“, т. I, ч. 2-я. Спб. 1889;—М. А. Веневитиновъ, въ „Историч. Вѣстникѣ“ 1884, т. XVII, и въ „Р. Архивѣ“, 1885.

Князь Владимиръ Ѳедор. Одоевскій (1803—1869), послѣдній представитель одного поколѣнія Рюриковичей, происходившаго отъ Михаила Черниговскаго, воспитался въ томъ же философско-поэтическомъ настроеніи, какъ Веневитиновъ. Его внѣшняя біографія немногосложна. Онъ учился въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ, въ 1825 поступилъ на службу въ вѣдомство иностранныхъ исповѣданій, былъ редакторомъ „Журнала министерства внутр. дѣлъ“, въ 1846 назначенъ помощникомъ директора Публ. Библіотеки и директоромъ Румянцовскаго Музея, и когда этотъ музей въ 1861 былъ переведенъ въ Москву, Одоевскій назначенъ былъ сенаторомъ московскихъ департаментовъ Сената. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ онъ былъ главнымъ дѣятелемъ Общества посѣщенія бѣдныхъ, которое въ тѣ годы было рѣдкимъ примѣромъ общественной иниціативы, вызвавшимъ большое сочувствіе: къ сожалѣнію, оно и не могло существовать въ тогдашней атмосферѣ и черезъ нѣсколько лѣтъ было закрыто.—Но была чрезвычайно разнообразна и характерна внутренняя работа кн. Одоевскаго, его литературный и поэтическій трудъ, которымъ онъ занялъ въ нашей литературѣ совершенно исключительное положеніе. Онъ стоялъ какъ бы внѣ литературныхъ направленій, смѣнявшихся отъ двадцатыхъ до шестидесятыхъ годовъ,—но, что̀ рѣдко бываетъ, онъ не остался только представителемъ своего поколѣнія и сохранилъ живое сочувствіе къ лучшимъ движеніямъ дальнѣйшихъ эпохъ литературнаго и общественнаго развитія. „Печать — дѣло великое, — думалъ онъ всегда:—честная литература—точно брандвахта, аванпостная служба среди общественнаго коварства“... Какъ въ двадцатыхъ годахъ, наряду съ кружкомъ Веневитинова, онъ увлекался философскими интересами, такъ и до конца жизни ему остались близки вопросы науки, успѣхи и тревоги русской литературы, общественной и народной жизни. Нѣкогда онъ былъ другомъ Пушкина; впослѣдствіи, домъ или, вѣрнѣе, кабинетъ его былъ гостепріимчивымъ средоточіемъ для писателей и художниковъ, и еще въ концѣ жизни онъ, въ статьѣ „Не довольно!“ отвѣчалъ на пессимистическое „Довольно!“ Тургенева.

Послѣ „Мнемозины“, кн. О. въ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ стоялъ въ первыхъ рядахъ литературы какъ авторъ повѣстей изъ свѣтской жизни, къ пустотѣ которой онъ относился съ ироніей, повѣстей съ философскими и научными темами, или изъ исторіи искусства и психологіи истиннаго художника („Русскія Ночи“); какъ авторъ сказокъ, съ псевдонимомъ „дѣдушки Иринея“, донынѣ сохраняющихъ поэтическую привлекательность; какъ писатель для народа (изданіе „Сельскаго Чтенія“ вмѣстѣ съ А. П. Заблоцкимъ-Десятовскимъ), просвѣщеніе котораго было, по его убѣжденію, одною изъ первостепенныхъ нуждъ народной и государственной жизни.

— Пятковскій, „Кн. В. Ѳ. Од.“ Спб. 1870;—Н. Сумцовъ, „Кн. В. Ѳ. Од.“ Харьковъ, 1884;—особливо А. Ѳ. Кони, въ Энциклопед. Словарѣ, Арсеньева, сжатый и яркій очеркъ, съ указаніемъ литературы.

знакомства, въ „Сочиненіяхъ“, т. VIII. Спб. 1896, стр. 1—51, изъ „Р. Мысли“, 1890.

— Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ. I. Переписка кн. П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ, 1812—1819. Изд. гр. С. Д. Шереметева, подъ ред. и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Спб. 1899.

Петръ Александр. Плетневъ (1892—1865):

— „П. А. П., біографическій очеркъ“, А Скабичевскаго, въ В. Европы, 1885, ноябрь; и затѣмъ нѣсколько странная статья въ „Р. Мысли“, 1898.

— Н. Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго періода (1855—56). Спб. 1892.

— Сочиненія и переписка Плетнева. Спб. 1885, три тома.

— Переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ. Спб. 1896, три тома.

Евгеній Абрам. Баратынскій (1800—1844): „Сочиненія Е. А. Б. съ портретомъ автора, его письмами и біографическими о немъ свѣдѣніями“. Казань, 1885. Біографическія и библіографическія указанія въ „Словарѣ“ Венгерова“, т. II. Характеристика его поэзіи въ статьѣ: „Памяти Е. А. Баратынскаго“, Н. Котляревскаго, Вѣстн. Европы, 1895, іюль.

Дмитрій Владим. Веневитиновъ (1805—1827) оставилъ по себѣ въ исторіи нашей литературы, какъ позднѣе Станкевичъ, въ высокой степени привлекательную, но и печальную память замѣчательнаго дарованія, не успѣвшаго проявить своихъ богатыхъ силъ. Родившись въ богатой аристократической семьѣ, В. получилъ дома блестящее, но и серьезное, между прочимъ классическое, образованіе, потомъ былъ частнымъ слушателемъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ послѣ двухлѣтняго пребыванія сдалъ выпускной экзаменъ. Здѣсь его всего болѣе увлекали вопросы философіи: въ московскомъ университетѣ были адепты ученій Шеллинга (въ особенности профессоръ физики и сельскаго хозяйства, М. Г. Павловъ),—въ этомъ направленіи складывались и взгляды В. Образовался молодой кружокъ, „общество любомудрія“, который задумалъ, наконецъ, дѣйствовать въ литературѣ. По совѣту Пушкина, основанъ былъ журналъ „Московскій Вѣстникъ“, подъ редакціей Погодина; по взгляду В., задача журнала должна была заключаться въ „созданіи у насъ научной эстетической критики на началахъ нѣмецкой умозрительной философіи и въ привитіи общественному сознанію убѣжденія о необходимости примѣнять философскія начала къ изученію всѣхъ эпохъ наукъ и искусствъ“. Журналъ сталъ выходить съ 1827 года; но тѣмъ временемъ В. переселился въ Петербургъ, и здѣсь вскорѣ умеръ.

— Сочиненія Д. В. Веневитинова. Часть первая. Стихотворенія. М. 1829;—въ собраніи Смирдина: Полное собраніе сочиненій В. Л. Пушкина и Д. В. В. Спб. 1857;—Полное собр. сочиненій Д. В. Веневитинова, изд. подъ редакціей А. П. Пятковскаго, съ прилож. портрета автора и статьи о его жизни и сочиненіяхъ. Спб. 1862.

— По біографіи В., кромѣ книги Пятковскаго:—Н. Барсуковъ,

Жизнь и труды Погодина, т. II. Спб. 1888;—Нилъ Колюпановъ, „А. И. Кошелевъ“, т. I, ч. 2-я. Спб. 1889;—М. А. Веневитиновъ, въ „Историч. Вѣстникѣ“ 1884, т. XVII, и въ „Р. Архивѣ“, 1885.

Князь Владимиръ Ѳедор. Одоевскій (1803—1869), послѣдній представитель одного поколѣнія Рюриковичей, происходившаго отъ Михаила Черниговскаго, воспитался въ томъ же философско-поэтическомъ настроеніи, какъ Веневитиновъ. Его внѣшняя біографія немногосложна. Онъ учился въ московскомъ Благородномъ пансіонѣ, въ 1825 поступилъ на службу въ вѣдомство иностранныхъ исповѣданій, былъ редакторомъ „Журнала министерства внутр. дѣлъ“, въ 1846 назначенъ помощникомъ директора Публ. Библіотеки и директоромъ Румянцовскаго Музея, и когда этотъ музей въ 1861 былъ переведенъ въ Москву, Одоевскій назначенъ былъ сенаторомъ московскихъ департаментовъ Сената. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ онъ былъ главнымъ дѣятелемъ Общества посѣщенія бѣдныхъ, которое въ тѣ годы было рѣдкимъ примѣромъ общественной инициативы, вызвавшимъ большое сочувствіе: къ сожалѣнію, оно и не могло существовать въ тогдашней атмосферѣ и черезъ нѣсколько лѣтъ было закрыто.—Но была чрезвычайно разнообразна и характерна внутренняя работа кн. Одоевскаго, его литературный и поэтическій трудъ, которымъ онъ занялъ въ нашей литературѣ совершенно исключительное положеніе. Онъ стоялъ какъ бы внѣ литературныхъ направленій, смѣнявшихся отъ двадцатыхъ до шестидесятыхъ годовъ,—но, что̀ рѣдко бываетъ, онъ не остался только представителемъ своего поколѣнія и сохранилъ живое сочувствіе къ лучшимъ движеніямъ дальнѣйшихъ эпохъ литературнаго и общественнаго развитія. „Печать — дѣло великое, — думалъ онъ всегда:—честная литература—точно брандвахта, аванпостная служба среди общественнаго коварства“... Какъ въ двадцатыхъ годахъ, наряду съ кружкомъ Веневитинова, онъ увлекался философскими интересами, такъ и до конца жизни ему остались близки вопросы науки, успѣхи и тревоги русской литературы, общественной и народной жизни. Нѣкогда онъ былъ другомъ Пушкина; впослѣдствіи, домъ или, вѣрнѣе, кабинетъ его былъ гостепріимчивымъ средоточіемъ для писателей и художниковъ, и еще въ концѣ жизни онъ, въ статьѣ „Не довольно!“ отвѣчалъ на пессимистическое „Довольно!“ Тургенева.

Послѣ „Мнемозины“, кн. О. въ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ стоялъ въ первыхъ рядахъ литературы какъ авторъ повѣстей изъ свѣтской жизни, къ пустотѣ которой онъ относился съ ироніей, повѣстей съ философскими и научными темами, или изъ исторіи искусства и психологіи истиннаго художника („Русскія Ночи“); какъ авторъ сказокъ, съ псевдонимомъ „дѣдушки Иринея“, донынѣ сохраняющихъ поэтическую привлекательность; какъ писатель для народа (изданіе „Сельскаго Чтенія“ вмѣстѣ съ А. П. Заблоцкимъ-Десятовскимъ), просвѣщеніе котораго было, по его убѣжденію, одною изъ первостепенныхъ нуждъ народной и государственной жизни.

— Пятковскій, „Кн. В. Ѳ. Од.“ Спб. 1870;—Н. Сумцовъ, „Кн. В. Ѳ. Од.“ Харьковъ, 1884;—особливо А. Ѳ. Кони, въ Энциклопед. Словарѣ, Арсеньева, сжатый и яркій очеркъ, съ указаніемъ литературы.

Князь Александръ Ив. Одоевскій (1803—1839) служилъ въ лейбъ-гвардіи конномъ полку, за участіе въ событіяхъ 14 декабря былъ сосланъ въ Сибирь, а въ 1837 переведенъ рядовымъ на Кавказъ. Онъ былъ другомъ Грибоѣдова и, говорятъ, имѣлъ на него вліяніе; на Кавказѣ къ нему былъ очень привязанъ Лермонтовъ, и вообще это была въ высокой степени мягкая, привлекательная натура. Его стихотворенія относятся ко времени послѣ 1825 года, и отсюда понятенъ ихъ элегическій характеръ.

— Собраніе стихотвореній декабристовъ. (Библіотека русскихъ авторовъ. Томъ второй). Лейпцигъ, 1862. Здѣсь 17 стихотвореній Од., стр. 25—44. При книжкѣ портретъ.

— Полное собраніе стихотвореній кн. А. И. Одоевскаго. Собралъ бар. Евг. Андр. Розенъ. Спб. 1883 (съ примѣчаніями, портретомъ и факсимиле).

— Сочиненія кн. А. И. Од., съ біограф. очеркомъ и примѣчаніями, составленными М. Н. Мазаевымъ. Спб. 1893, приложеніе къ „Сѣверу".

— А. Сироткинъ, Кн. А. И. Од., въ „Историч. Вѣстникѣ", 1883, № 5.

Николай Мих. Языковъ (1803—1846), изъ богатой помѣщичьей семьи, отданъ былъ въ ученье въ горный институтъ; отсюда, въ 1820, поступилъ въ инженерный корпусъ,—но не кончивъ здѣсь курса (такъ какъ эти науки его совсѣмъ не интересовали), отправился въ дерптскій университетъ, гдѣ оставался до 1829, впрочемъ и здѣсь не получилъ диплома. Гораздо больше, чѣмъ наука, влекла его веселая жизнь студента-бурша, и на время пребыванія въ Дерптѣ (здѣсь товарищемъ его былъ А. Н. Вульфъ) онъ былъ исключительно пѣвцомъ харитъ, дружбы и разгула. Стихи были бойкіе, и обратили на себя вниманіе Пушкина въ 1824, но они свидѣлись и сдружились уже только въ 1826. Изъ Дерпта Яз. переѣхалъ въ Москву, жилъ въ деревнѣ, но уже съ начала тридцатыхъ годовъ онъ сталъ болѣть, прожилъ для леченья пять лѣтъ за границей, и поэзія его пріобрѣла иной характеръ, обращаясь къ темамъ патріотическимъ и религіознымъ. Въ послѣдніе годы жизни въ Москвѣ онъ особенно сблизился съ славянофильскимъ кругомъ и хотѣлъ даже быть его поэтическимъ бойцомъ. Впечатлѣніе цѣлой поэзіи Яз. было двойственное: одни восхваляли его живой, удалой стихъ или послѣдующую торжественность его настроенія; другіе, и въ числѣ ихъ Бѣлинскій, относились къ нему менѣе дружелюбно, какъ по содержанію его поэзіи, такъ и по самой формѣ. Лучшимъ произведеніемъ Языкова казалась Бѣлинскому „Драматическая сказка объ Иванѣ царевичѣ" и пр.

— Стихотворенія Н. Языкова. Спб. 1833;—выборка изъ этого, и нѣсколько новыхъ пьесъ. М. 1844;—Новыя стихотворенія. М. 1845;—„Стихотворенія Н. М. Языкова. При нихъ приложены его портретъ, fac-simile, свѣдѣнія о его жизни и написанное о немъ въ разныхъ періодическихъ и другихъ изданіяхъ". Изданіе приготовлено П. Перевлѣсскимъ. Спб. 1858, 2 части;—Стихотворенія. М. 1887,—небольшой сборникъ.

— По біографіи: В. Шенрокъ, „Н. М. Яз.. Біографическій очеркъ", по неизданнымъ матеріаламъ, Вѣстн. Европы, 1897, ноябрь, декабрь.

Въ числѣ поэтовъ Пушкинскаго времени, хотя не его сверстниковъ, можетъ быть названъ писатель поколѣнія, старшаго чѣмъ самъ Жуковскій. Иванъ Ив. Козловъ (1779—1840) началъ военной службой, перешелъ потомъ въ гражданскую, жилъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ 1818 его постигъ параличъ; къ разстройству здоровья присоединилась въ 1821 потеря зрѣнія. Давно близкій съ Жуковскимъ, онъ не помышлялъ о литературной дѣятельности, но слѣпота вызвала его симпатичный поэтическій даръ. Поэмы „Чернецъ", „Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая", переводы изъ Байрона („Невѣста Абидосская"), Мицкевича („Крымскіе сонеты") и пр., собственныя стихотворенія вызывали живѣйшее сочувствіе (между прочимъ, Пушкина) мягкимъ элегическимъ тономъ и—судьбою самого поэта. Козловъ владѣлъ необычайною памятью и,—какъ утверждаетъ Жуковскій, которому онъ завѣщалъ быть издателемъ его произведеній,—онъ, зная прежде французскій и итальянскій языки, уже слѣпой выучился по нѣмецки и по англійски—и „все, что прочиталъ онъ на сихъ языкахъ, осталось врѣзаннымъ въ его памяти: онъ зналъ наизусть всего Байрона, всѣ поэмы Вальтеръ Скотта, лучшія мѣста изъ Шекспира, также какъ Расина, Тасса и главныя мѣста изъ Данта; но лучшимъ и самымъ постояннымъ утѣшеніемъ страдальческой его жизни было то, что онъ съ такою же вѣрностію могъ читать на-память и все Евангеліе и всѣ наши молитвы, столь спасительныя въ счастіи, столь отрадныя въ печали". Козлова считали однимъ изъ первыхъ проводниковъ байронизма въ нашу литературу; новѣйшая критика справедливо находитъ, что въ его поэзіи совсѣмъ нѣтъ байроновскаго отрицанія; ея господствующій тонъ—элегія, руководимая религіознымъ чувствомъ.

— Собраніе стихотвореній Ив. К. 2 части. Спб. 1833; 1834; 1840; въ собраніи Смирдина, 1855;—новое обстоятельное изданіе: Стихотворенія И. И. К. Изданіе исправленное и значительно дополненное. Арс. Введенскаго. Спб. 1892, въ одномъ томѣ.

Николай Алексѣевичъ Полевой (1796—1846) родился въ Иркутскѣ, въ купеческой семьѣ. Очень рано сказалась въ немъ большая даровитость и чрезвычайная любознательность; еще мальчикомъ онъ перечиталъ множество книгъ, десяти лѣтъ издавалъ журналы, писалъ драмы и т. п. Въ 1811, семья переселилась въ Курскъ; Полевому случилось побывать въ Москвѣ, гдѣ нѣкоторое время онъ посѣщалъ университетскія лекціи, и побывать въ Петербургѣ; онъ тѣмъ болѣе старался теперь систематически пополнить свое самообразованіе. Въ 1817, въ „Р. Вѣстникѣ" появилась его первая статья, о посѣщеніи имп. Александромъ Курска; статья на мѣстѣ произвела большое впечатлѣніе и помирила отца съ книжными занятіями сына, на которыя раньше онъ смотрѣлъ весьма недружелюбно. Въ 1820, по дѣламъ отца, Полевой поселился въ Москвѣ; его статьи начали появляться въ журналахъ, и съ 1825 года, при поддержкѣ кн. Вяземскаго, онъ началъ издавать „Московскій Телеграфъ". Здѣсь въ полной мѣрѣ сказались живые литературные интересы и разнообразная начитанность Поле-

вого; „Телеграфъ“ поражалъ разнообразіемъ матеріала, который простирался отъ поэзіи до археологіи, и въ практическихъ интересахъ до послѣднихъ парижскихъ модъ. Послѣ запрещенія журнала, Полевой продолжалъ усиленно работать въ другихъ изданіяхъ, самъ редактировалъ нѣсколько журналовъ („Живописное Обозрѣніе“, „Сынъ Отечества“, „Русскій Вѣстникъ“, „Литературную Газету“); раньше и позднѣе онъ писалъ повѣсти, драматическія пьесы, изслѣдованія по русской литературѣ, историческія книги и т. д. Послѣдніе годы жизни онъ провелъ въ стѣсненномъ матеріальномъ положеніи и усиленной изнурительной работѣ.

— Повѣсти свои Полевой началъ печатать еще въ „Телеграфѣ“; затѣмъ онѣ выходили отдѣльными изданіями:—Клятва при гробѣ Господнемъ. Русская быль XV вѣка. М. 1832;—Мечты и жизнь. Были и повѣсти. 4 части. М. 1834 (здѣсь, между прочимъ: Живописецъ, Эмма, Блаженство безумія, Разсказы русскаго солдата, Мѣшокъ съ золотомъ);—Аббадонна, 4 ч. М. 1834; 2-е изд. Спб. 1840;—Повѣсти Ивана Гудошника. Спб. 1843.

— Драматическія сочиненія и переводы. 4 части. Спб. 1842—43. Всего написано было Полевымъ и переведено до сорока пьесъ.

— Очерки русской литературы. 2 тома. Спб. 1839.

— Исторія русскаго народа. 6 томовъ. М. 1829—1833. Разсказъ доведенъ до смерти царицы Анастасіи. Впослѣдствіи издано было: „Царствованіе Іоанна Грознаго. Отрывокъ изъ Исторіи государства россійскаго“ (такъ!). Н. А. Полевого. Берлинъ 1859. Изданіе крайне небрежное. — Кромѣ того, Полевой издалъ нѣсколько популярныхъ историческихъ книгъ:—Р. исторія для первоначальнаго чтенія, 4 тома. М. 1835—37; — Исторія Петра Великаго, 4 тома. Спб. 1842; — Обозрѣніе р. исторіи до единодержавія Петра В. Спб. 1846; — Столѣтіе Россіи съ 1745 по 1845. 2 тома. Спб. 1845—46;—Исторія Суворова, иллюстрированная, и др.

Цѣльнаго критическаго обозрѣнія жизни и дѣятельности Полевого еще нѣтъ; но литература о немъ довольно значительна.

— Бѣлинскій, Сочиненія, I (въ статьѣ „о русской повѣсти“, сочувственные отзывы о повѣстяхъ Полевого); позднѣе, Бѣлинскій сурово отзывался о романтическихъ повѣстяхъ Полевого (напр., т. V) и его драмахъ; т. XII, высокая оцѣнка П., при обзорѣ цѣлой его дѣятельности.

— И. З. Крыловъ, Очеркъ жизни и литературныхъ трудовъ Н. А. П. М. 1849.

— Н. Г. Чернышевскій, въ „Очеркахъ Гоголевскаго періода“ въ „Современникѣ“ 1855, и въ отдѣльномъ изданіи. Спб. 1892, стр. 13—49, 182—194, 201—204.

— С. Ставринъ, Н. А. П. и „Московскій Телеграфъ“, въ „Дѣлѣ“, 1875, № 5, 7.

— И. И. Панаевъ, Литературныя воспоминанія,—въ „Современникѣ“ и отдѣльно: Спб. 1876.

— Записки Ксенофонта Ал. Полевого. Спб. 1888.

— М. Сухомлиновъ, Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію. Спб. 1889. II, стр. 365—431: Н. А. Полевой и его журналъ „Московскій Телеграфъ“ (между прочимъ документаль-

ная исторія преслѣдованія Полевого „арзамасцемъ“ Уваровымъ и запрещеніе журнала).

— А. Скабичевскій, Сочиненія. Спб. 1890. I, стр. 315—332.

— А. Бороздинъ, Журналистъ двадцатыхъ годовъ, въ „Историч. Вѣстникѣ“ 1896, мартъ.

— В. Боцяновскій, Н. А. П., какъ драматургъ, въ „Ежегодникѣ импер. театровъ“, сезонъ 1894—95, прилож., и статья въ Энцикл. Словарѣ, Арсеньева.

— Ив. Ивановъ, Исторія русской критики. Спб. 1898.

— П. Милюковъ, Главныя теченія р. исторической мысли. М. 1897. I, стр. 239—240, 263—276 (объ „Исторіи р. народа“). Въ текстѣ упомянутъ отзывъ Бестюжева-Рюмина, „Р. Исторія“. Спб. 1872, стр. 227 (первой пагинаціи).

ГЛАВА XLIV.

ГОГОЛЬ.

Въ то время, когда совершалась дѣятельность Гоголя, его восторженнымъ и наилучшимъ истолкователемъ былъ Бѣлинскій, который въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, высказывалъ не только свои личныя впечатлѣнія и убѣжденія, но говорилъ за цѣлый кругъ образованныхъ людей своего поколѣнія. Великое значеніе Гоголя въ русской литературѣ было уже тогда установлено и именно какъ значеніе не только художественное, но и общественное. Въ основныхъ чертахъ это опредѣленіе, дополненное потомъ авторомъ „Очерковъ Гоголевскаго періода русской литературы", сохраняетъ силу до сихъ поръ; пробѣлы или ошибки въ сужденіяхъ Бѣлинскаго произошли главнымъ образомъ потому, что современникамъ не могъ быть извѣстенъ тотъ ходъ внутренней жизни Гоголя, который сталъ раскрываться только впослѣдствіи, съ изученіемъ его біографіи.

Когда дѣятельность Гоголя завершилась, первые важные труды въ этомъ послѣднемъ отношеніи принадлежали П. А. Кулишу; его опытъ біографіи Гоголя и изданіе сочиненій, гдѣ собрано было также два тома переписки Гоголя, впервые открыли возможность біографическаго изученія писателя, которое было въ особенности необходимо для цѣльнаго пониманія исторіи его художественнаго творчества. Труды Кулиша явились вскорѣ послѣ смерти Гоголя: не мудрено, что по близости времени, какъ въ біографіи, такъ особливо въ перепискѣ, были пока умолчаны многія обстоятельства и скрыты подъ произвольными иниціалами имена лицъ, съ которыми Гоголь былъ въ сношеніяхъ: эти умолчанія не способствовали ясности біографіи, и были онѣ раскрыты уже долго спустя. Между тѣмъ все возростала масса біографическихъ извѣстій и новой переписки, и этотъ матеріалъ

продолжаетъ до сихъ поръ пополняться. За послѣднее время въ особенности два труда доставляютъ чрезвычайно важныя данныя для изученія Гоголя. Это, во-первыхъ, изданіе сочиненій Гоголя (10-е), исполненное Тихонравовымъ (по его смерти оно было докончено В. И. Шенрокомъ), гдѣ въ примѣчаніяхъ была съ величайшею точностью изучена исторія всѣхъ произведеній Гоголя въ ихъ различныхъ редакціяхъ. Во-вторыхъ,—біографія Гоголя, составленная г. Шенрокомъ на основаніи всего до сихъ поръ извѣстнаго, а также имъ вновь отысканнаго матеріала, при чемъ авторъ внимательно изслѣдуетъ данныя, имѣющія важность для объясненія внутренняго развитія писателя и его художественнаго творчества.

Если начало столѣтія ознаменовано было появленіемъ могущественныхъ дарованій, если вслѣдъ за Пушкинымъ явились тотчасъ Грибоѣдовъ и Гоголь, это какъ будто указывало, что „подражательный“, „петербургскій“, періодъ не былъ въ литературномъ отношеніи такъ безплоденъ, какъ многіе думали: XVIII-й вѣкъ былъ школою, гдѣ подготовлены литературныя формы, усвоены нѣкоторыя понятія о художествѣ, и затѣмъ, когда послѣ великихъ событій было сильно возбуждено національное и общественное чувство, первымъ явленіемъ наступавшей зрѣлости былъ блестящій расцвѣтъ поэзіи, съ котораго начинается новая русская литература. Впервые послышались вполнѣ самостоятельные поэтическіе мотивы и затронуто было чисто русское содержаніе. Сколько было жизненнаго и органическаго въ этомъ новомъ движеніи, можно видѣть изъ поразительнаго ряда быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ литературныхъ поколѣній. Эти поколѣнія нарождались такъ: десятью годами моложе Пушкина былъ Гоголь (1809), а также и Кольцовъ, затѣмъ въ 1814 родился Лермонтовъ, въ 1818—Тургеневъ, въ 1826—Салтыковъ, въ 1828—гр. Л. Н. Толстой. Все это были имена, съ которыми соединяются великіе факты русской поэзіи; когда наступало развитіе ихъ дѣятельности, русская литература совершала великія пріобрѣтенія вполнѣ самостоятельнаго національнаго значенія. Въ концѣ концовъ ими создано международное общеніе и значеніе русской литературы.

Въ такихъ условіяхъ явился послѣ Пушкина Гоголь. Въ сравненіи съ тѣмъ тономъ и стилемъ, какой образовывался въ твореніяхъ самого Пушкина, Гоголь представлялъ нѣчто совершенно своеобразное, какъ и позднѣе каждый новый великій писатель нашей литературы приносилъ новую особенность даро-

ванія, новую область творчества, и, наконецъ, отражалъ собою новую ступень общественнаго сознанія. И какъ Гоголь вышелъ изъ совершенно иного круга, чѣмъ тотъ, который обыкновенно поставлялъ русскихъ писателей, такъ и послѣ руководящія силы нашей литературы собирались изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ русской общественной жизни и, наконецъ, жизни народной. Это свидѣтельствовало только, что литературная жизнь захватывала, наконецъ, все болѣе и болѣе широкій объемъ дѣятельности, переходя изъ замкнутой среды немногихъ любителей и жрецовъ искусства все въ болѣе многолюдную массу: писатель все болѣе удалялся отъ того высокомѣрія, съ какимъ жрецы отгоняли толпу, совершая художественныя таинства; онъ все больше стремился, напротивъ, узнать эту толпу, предчувствуя, что эта толпа есть народъ и что этотъ народъ есть именно основной предметъ изученій литературы, основной источникъ ея самобытной оригинальности, основная цѣль поэтическаго и нравственнаго воздѣйствія. Въ послѣдніе годы мы были свидѣтелями знаменательнаго явленія, что величайшій художникъ современной русской литературы отказывался, наконецъ, отъ той прежней поэтической дѣятельности, которая составила его славу, и захотѣлъ быть простымъ учителемъ народа и писателемъ для народа, съ пренебреженіемъ отвергая обычные условные, освященные самою тонкою эстетическою критикой, пріемы художественнаго творчества. Этотъ новый взглядъ писателя былъ диктованъ слишкомъ личнымъ настроеніемъ, въ немъ была большая доля произвола; но онъ остается тѣмъ не менѣе въ высшей степени характернымъ фактомъ общественно-литературнаго настроенія. Въ немъ именно отразилось упомянутое стремленіе литературы спуститься съ высотъ эстетическаго Олимпа въ шумную среду общественной и народной массы, но вовсе не измѣнять самому художеству: напротивъ, художество становилось неизмѣримо выше,—на мѣсто искусственнаго круга идей и пріемовъ выступала сама жизнь со всѣмъ богатствомъ ея содержанія, со всею глубиной ея нравственныхъ внушеній, наконецъ, со всѣмъ богатствомъ того языка, которому Тургеневъ посвятилъ свои послѣднія восторженныя строки...

Въ этомъ многозначительномъ историческомъ процессѣ нашего литературнаго развитія однимъ изъ самыхъ сильныхъ дѣятелей былъ Гоголь.

Мы замѣтили, что Гоголь не принадлежалъ къ тому кругу, въ которомъ по преимуществу воспитались писатели начала вѣка. Въ самомъ дѣлѣ, у него не было никакой связи съ традиціей

Дружескаго Общества, какая развивалась у Жуковскаго и Батюшкова и отдаленный отголосокъ которой можно было открыть у самого Пушкина. Напротивъ, у Гоголя сказывалось совсѣмъ иное преданіе, даже иной элементъ русской національной жизни, который до тѣхъ поръ еще не возъимѣлъ дѣйствія въ нашей литературѣ—элементъ малорусскій... Правда, южныя и западнорусскія силы еще съ половины XVII-го вѣка дѣятельно вмѣшались въ образованіе новой русской литературы: такова была роль Симеона Полоцкаго, Стефана Яворскаго, Ѳеофана и иныхъ ученыхъ кіевлянъ, но это вмѣшательство было ограничено церковно-схоластической областью; ихъ ученость была отвлеченная, вліяніе въ литературѣ—почти только схоластическое, и въ немъ не было тѣни, или одна только тѣнь, южно-русскихъ народныхъ элементовъ. Позднѣе, въ рядахъ русскихъ писателей являются настоящіе малоруссы, но Богдановичъ, Капнистъ, потомъ Гнѣдичъ и пр.—шли въ обычной колеѣ нашего псевдо-классицизма и не выносили ничего изъ своей племенной особенности, изъ оригинальнаго южно-русскаго характера и историческаго быта. И однако эта особенность была унаслѣдованная отъ многихъ вѣковъ исторіи, отдѣльной отъ исторіи сѣвернаго русскаго народа. Каковы бы ни были источники и обстоятельства племенного раздвоенія, исторія снова связала сѣверъ и югъ въ политическомъ единствѣ, и если литература должна была служить выраженіемъ духовной жизни народа, то, очевидно, въ этомъ выраженіи цѣлаго должны были найти свою долю тѣ богатыя оригинальностью черты характера, быта, поэзіи, историческаго преданія, какія отличали Русь южную. Если этого не было раньше, въ теченіе XVIII-го вѣка—вслѣдствіе схоластическаго, а потомъ псевдо-классическаго стиля литературы, которые долго не давали раскрыться элементамъ самой русской жизни, — то было, однако, предчувствіе, безсознательный интересъ къ тому, что̀ отличало жизнь малорусскую. Въ XVIII вѣкѣ, когда Малороссія имѣла своихъ гетмановъ, когда еще держалось Запорожье, когда въ средѣ духовенства играли роль епископы-„черкасы“, когда, наконецъ, при дворѣ явились фавориты изъ малоруссовъ, и еще раньше ихъ даже бандуристы [1]), это малорусское чувствовалось какъ что-то родственное, а вмѣстѣ и чужое, но любопытное по своей близкой оригинальности. Малорусское бывало въ модѣ: въ первыхъ пѣсенникахъ, которые явились въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка, цѣлый особый отдѣлъ за-

---

[1]) Ср. Горленка, Украинскія были. Кіевъ, 1899, стр. 41 и д.

няли пѣсни малороссійскія, потому что въ дѣйствительности онѣ были тогда распространены на ряду съ русскими. Собственно малорусская литература, существовавшая тогда почти только въ рукописномъ видѣ, была мало извѣстна; но первыя книги, начиная съ „Перелицованной Энеиды", были встрѣчены съ любопытствомъ, какъ нѣсколько позднѣе возбудило интересъ собраніе малорусскихъ пѣсенъ Цертелева. Впослѣдствіи Гоголь говорилъ, что когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, тамъ „было въ ходу все малороссійское", что̀ и побудило его тогда обратиться въ своихъ первыхъ повѣстяхъ къ изображенію малорусской жизни и преданій. Такимъ образомъ, въ обществѣ и литературѣ были извѣстныя данныя, которыя указывали возможность болѣе широкаго интереса, и въ области малорусскихъ отношеній къ русской жизни было бы естественно ожидать, что историческая связь двухъ племенныхъ элементовъ, наконецъ, найдетъ себѣ органическое выраженіе. Такимъ выраженіемъ явилась дѣятельность Гоголя. Вслѣдъ за великимъ писателемъ, положившимъ основу самобытной русской поэзіи, явился другой великій писатель изъ чисто малорусской среды, который писалъ по-русски, но внесъ въ литературу такіе элементы, которыхъ мы напрасно искали бы у его русскихъ современниковъ. По природѣ малоруссъ до мозга костей, Гоголь носилъ въ самомъ талантѣ своемъ черты спеціально малорусской веселости и юмора, какъ въ своемъ духовномъ складѣ отличался особенностями малорусскаго ума и вкуса съ ихъ достоинствами и недостатками, напр., съ упрямымъ самолюбіемъ и лукавствомъ. Гоголь вступилъ въ русскую литературу прямо съ тѣмъ запасомъ содержанія и пріемовъ, какой усвоилъ на родинѣ. Его первыя произведенія (послѣ уничтоженной имъ „идилліи") сполна посвящены бытовымъ картинамъ и поэтическимъ преданіямъ его родины, и несмотря на эту этнографическую исключительность, онѣ были привѣтствованы съ великимъ сочувствіемъ въ русскомъ литературномъ кругу и въ обществѣ: признанъ былъ талантъ, но было признано и нравственное единеніе двухъ отраслей русской національности. Чѣмъ далѣе, тѣмъ многозначительнѣе становились произведенія новаго писателя: его проницательное наблюденіе все расширяло свой горизонтъ, и едва ли сомнительно, что въ основѣ это была не безразличная сила таланта, но именно проявленіе племенной стихіи—глубокой поэтической вдумчивости... Нѣкоторые критики высказывали соображеніе, что въ Гоголѣ главнымъ рычагомъ творчества была именно его племенная особенность, что въ то время, какъ онъ съ явнымъ сочувствіемъ рисуетъ картины мало-

русской жизни, жизнь велирорусская вызываетъ въ немъ только негодующее или презрительное отрицаніе и въ этомъ сказалась извѣстная племенная антипатія, нелюбовь малорусса къ москалю. Но это соображеніе не подтверждается біографическими фактами. Безъ сомнѣнія, у Гоголя навсегда сохранилась теплая любовь къ родинѣ, которая влекла его всѣми привязанностями семьи, воспоминаніями дѣтства и юности, южной природы, гдѣ онъ всегда чувствовалъ себя лучше, чѣмъ на холодномъ и мрачномъ сѣверѣ, и, наконецъ, красотами народной поэзіи, которая одна была близка ему непосредственно; у него вырывались даже слова, по которымъ онъ могъ бы быть признанъ за истаго украинофила,—но была и другая сторона. Покинувъ родину для Петербурга, Гоголь именно искалъ поприща для развитія силъ, какія онъ въ себѣ чувствовалъ; вскорѣ оно и открылось для него: онъ окруженъ былъ успѣхомъ, какого едва могъ ожидать; въ его воображеніи строились все болѣе широкіе и самонадѣянные планы, — понятно, что вся прежняя обстановка его жизни должна была казаться тѣснымъ провинціализмомъ, и дѣйствительно надъ нимъ далеко возвышалось его настоящее. Онъ по прежнему любилъ своихъ земляковъ-нѣжинцевъ, какъ любятъ друзей юности, но для своихъ высшихъ стремленій онъ искалъ сочувствія, и встрѣтилъ его, въ иной средѣ, между людьми, стоявшими въ первомъ ряду русской литературы. Эти друзья, между которыми онъ находилъ опору для самаго своего творчества, были Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, московскіе друзья — Аксаковы, Погодинъ и т. д.; дружба съ Максимовичемъ или Щепкинымъ не перевѣшивала этихъ отношеній. Извѣстно, какъ впослѣдствіи онъ пристрастился къ Италіи, которую считалъ своею второю родиной и къ которой еще въ юности обращался съ восторженнымъ лирическимъ привѣтствіемъ: это была новая страсть, имѣвшая основу въ разнообразныхъ эстетическихъ увлеченіяхъ, и ее опять невозможно примирить съ какимъ-либо мѣстнымъ патріотизмомъ. Замыслы Гоголя были шире и—высокомѣрнѣе. Еще въ юности онъ мечталъ служить не только цѣлому русскому обществу и государству, но даже „человѣчеству“; впослѣдствіи онъ дѣйствительно хотѣлъ быть наставникомъ русскаго общества и думалъ, что отъ него ждетъ этого „Россія“. Главный процессъ мыслей Гоголя былъ иной, чѣмъ предполагали упомянутые критики, а именно: первоначальный горизонтъ его поэтическаго творчества, выразившійся картинами изъ быта и преданій его мѣстной родины, постоянно расширялся, обнималъ все болѣе широкій кругъ цѣлаго русскаго общественнаго быта и

завершался, наконецъ, мечтами о томъ грандіозномъ „Левіаѳанѣ“, который остался неисполненнымъ и на которомъ потерпѣли крушеніе и его художественное творчество, и его жизнь.

Въ біографіи Гоголя, которую предполагаемъ извѣстною, отмѣтимъ только существенныя черты, рисующія развитіе его творчества и съ нимъ тѣсно связанныя. Онъ родился въ глухомъ тогда краю Малороссіи, около того Миргорода, „нарочито не великаго города“, именемъ котораго онъ назвалъ потомъ второй сборникъ своихъ повѣстей и о которомъ прибавилъ здѣсь эпиграфъ изъ географіи Зябловскаго, — въ мирной первобытной средѣ, изображеніе которой онъ далъ между прочимъ въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“. Въ семьѣ велась немудреная жизнь стараго помѣщичьяго быта съ простыми непосредственными преданіями старины, въ патріархальной близости съ крѣпостнымъ народомъ, и юный членъ семьи окруженъ былъ тою массою этнографическихъ впечатлѣній, которыми наполненъ былъ потомъ первый сборникъ его повѣстей, и гдѣ кромѣ оригинальныхъ особенностей быта и народнаго характера хранились и богатства самой настоящей первобытной и задушевной поэзіи. Родители были впрочемъ, по мѣстнымъ размѣрамъ, люди образованные: отецъ—несомнѣнно талантливый человѣкъ, о чемъ можно судить по оставшимся отъ него малорусскимъ комедіямъ,—цитаты изъ нихъ Гоголь приводилъ въ эпиграфахъ къ своимъ „Вечерамъ“; мать—нервная, добродушная, чрезвычайно впечатлительная женщина. Многія черты въ характерѣ Гоголя были прямо унаслѣдованы: таковы были его малороссійскій юморъ, его чрезвычайная чуткость; но его личною особенностью былъ необычайный талантъ, сказавшійся очень рано. Родители позаботились объ его образованіи и послѣ первоначальнаго обученія онъ поступилъ въ „гимназію высшихъ наукъ“ въ Нѣжинѣ. Учебныя заведенія тѣхъ временъ, даже привилегированныя, не отличались особымъ педагогическимъ благоустройствомъ: если былъ въ хаотическомъ состояніи самый Царскосельскій лицей, воспитывавшій Пушкина и находившійся прямо на глазахъ высшей власти, то еще болѣе былъ заброшенъ лицей въ небольшомъ провинціальномъ городѣ, или даже не заброшенъ, а не могъ быть болѣе благоустроеннымъ по самому положенію тогдашней русской науки и педагогическихъ силъ. Учащееся молодое поколѣніе было въ значительной мѣрѣ предоставлено самому себѣ; у Гоголя ученье шло вообще довольно плохо, конечно не потому, чтобы онъ не способенъ былъ одолѣть излагаемую премудрость, а потому, что она излагалась въ сухой отталкивающей формѣ. Въ замѣнъ того

или рядомъ съ этимъ шла довольно дружная товарищеская жизнь, въ которой развивалась любовь къ литературѣ и къ театру. До юныхъ нѣжинскихъ лицеистовъ дошла слава Пушкина; дошла романтическая литература и, разумѣется, возъимѣла свое дѣйствіе; съ театромъ Гоголь познакомился впервые въ Кибинцахъ, имѣніи Трощинскаго, извѣстнаго царедворца, жившаго тогда на покоѣ въ Малороссіи, и гдѣ нерѣдко гостила семья Гоголя,—съ Трощинскимъ они были въ дальнемъ родствѣ. Своеобразное дарованіе Гоголя выразилось прежде всего въ необычайномъ мастерствѣ его комическаго исполненія на лицейской сценѣ передъ всѣмъ образованнымъ кругомъ Нѣжина: этотъ комическій талантъ свидѣтельствовалъ о необыкновенной наблюдательности, объ умѣньѣ схватить и передать разнообразныя особенности характеровъ и ихъ внѣшнюю манеру и ухватку. Одинъ изъ знакомцевъ Гоголя разсказываетъ удивительную исторію о томъ, какъ Гоголь и на дѣлѣ умѣлъ играть людьми, схватывая психологію ихъ характера [1]. Другимъ свидѣтельствомъ задатковъ дарованія было то, что еще въ эту ученическую пору Гоголемъ овладѣваетъ неотвязчивая мысль о его будущемъ назначеніи: онъ пугается какого-нибудь сходства съ тѣми изъ товарищей, для которыхъ нѣтъ въ жизни никакой высокой задачи и которыхъ онъ съ презрѣніемъ называетъ „существователями“; напротивъ, онъ мечтаетъ о славѣ, которая покроетъ его будущую дѣятельность; эта дѣятельность будетъ направлена на какую-то великую службу обществу или государству; онъ чувствуетъ въ себѣ необыкновенныя силы, которыя сдѣлаютъ его способнымъ на совершеніе подвига; онъ убѣжденъ, что о немъ печется само Провидѣніе. Отецъ его умеръ, когда онъ былъ еще въ лицеѣ, и по окончаніи курса Гоголь долженъ былъ стать опорою семьи. Его мечтою былъ Петербургъ; туда еще раньше отправился одинъ изъ его товарищей, Высоцкій, съ которымъ онъ дѣлилъ надежды „отмѣнить свое существованіе“ трудами на пользу общества. Поѣздка совершилась въ самомъ концѣ 1828 года. Гоголь былъ едва только двадцатилѣтнимъ юношей, когда изъ родной глухой провинціи прибылъ въ Петербургъ отыскивать свое поприще. Здѣсь онъ нашелъ небольшой кружокъ „нѣжинцевъ“, въ которомъ чувствовалъ себя дома, но затѣмъ передъ нимъ стоялъ чуждый незнакомый міръ... При отличавшей его всегда скрытности,—онъ не довѣрялся вполнѣ даже близкимъ, повидимому, друзьямъ,—многія подробности біографіи остаются смутными; извѣстно одно, что первое время его преслѣдовали неудачи;

[1] См. у Шенрока, т. I, стр. 244 и далѣе, разсказъ Стороженка.

онъ самъ не зналъ, какъ направить свою дорогу, на которой онъ будетъ служить обществу и пріобрѣтетъ свою славу. Сначала, еще дома, онъ полагалъ, что долженъ выбрать своимъ поприщемъ службу: онъ успѣлъ перемѣнить нѣсколько мѣстъ и занятій; былъ чиновникомъ, гувернеромъ, учителемъ, пытался даже поступить на сцену; за неудачами слѣдовали нѣкоторые успѣхи, и онъ преувеличивалъ ихъ отчасти для успокоенія матери, въ помощи которой все еще нуждался, отчасти тѣша собственное самолюбіе... Но все это его не удовлетворяло: чиновническая служба внушала уже антипатію своимъ сухимъ механическимъ трудомъ,—какъ онъ изображалъ ее послѣ въ своихъ петербургскихъ повѣстяхъ; но истинный механизмъ бюрократіи, ея, особливо тогдашніе, недостатки тѣмъ не менѣе остались, кажется, Гоголю навсегда непонятны. Неудивительно, что къ чиновнической службѣ онъ оказался совершенно непригоднымъ: но его давно влекло къ литературной дѣятельности, которая одна могла дать исходъ владѣвшему имъ идеализму. Въ первые же мѣсяцы по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ издалъ подъ псевдонимомъ извѣстную поэму или „идиллію“, написанную въ Нѣжинѣ, онъ быстро однако въ ней разочаровался и уничтожилъ самое изданіе. „Идиллія“ въ прежнее время совсѣмъ забывалась и его критиками,—но по тому времени и по возрасту самого автора она была вовсе не такъ дурна, а вмѣстѣ съ тѣмъ характерна для его біографіи и исторіи его творчества. „Идиллія“ написана въ стихахъ въ той манерѣ, какая была введена тогда Пушкинымъ и его плеядой; форма мало выработана, но есть живые стихи и въ подробностяхъ настоящая поэзія; въ героѣ изображены именно идеальныя исканія юноши, потребность вырваться изъ тѣсной среды мирнаго захолустья въ широкій свѣтъ, потребность какого-то великаго труда, который могъ бы „отмѣтить существованіе“,—именно то, что̀ волновало и тревожило самого поэта.

До какой степени доходило тогда его возбужденіе, объ этомъ свидѣтельствуетъ странная поѣздка за границу, въ 1829 (продолжавшаяся около мѣсяца). При своей скрытности онъ никогда не объяснилъ ея настоящимъ образомъ. Въ письмахъ къ матери, въ бесѣдахъ съ друзьями, онъ выдумывалъ для нея разныя загадочныя объясненія: то говорилъ о какой-то опасной болѣзни, то ссылался на небывалаго благодѣтеля, то говорилъ таинственно, но положительно о небывалой любви къ какому-то „божественному существу“, то, наконецъ, о „высшей десницѣ“, которая уже съ этихъ поръ руководитъ дѣйствіями Гоголя, впрочемъ то такъ, то иначе, смотря по его личному вкусу. Но онъ пи-

салъ и слѣдующее: „Богъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспиталъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра". Его влекло туда, „гдѣ каждая минута жизни не утрачивается даромъ, гдѣ каждая минута—богатый запасъ опытовъ и знаній"... „Нѣтъ, мнѣ нужно передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, разцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности, и если я не могу быть счастливъ, по крайней мѣрѣ всю жизнь посвящу для счастія и блага себѣ подобныхъ". Между прочимъ онъ тутъ же упоминаетъ, что готовитъ сочиненіе (повидимому посвященное Малороссіи), которое, „если когда выйдетъ, будетъ на иностранномъ языкѣ" (!)... Но онъ остался за границей не долго: если въ Петербургѣ, гдѣ все-таки были близкіе ему люди и гдѣ въ концѣ концовъ, по его собственному убѣжденію, могла открыться ему та или другая дорога, онъ тяготился неопредѣленностью своего положенія, то за границей онъ, конечно, долженъ былъ почувствовать себя не только одинокимъ, но и совершенно лишнимъ и безпомощнымъ. Но, повидимому, путешествіе принесло свою пользу: оно вернуло Гоголя къ дѣйствительности,—съ этихъ поръ онъ обращается къ болѣе практическимъ планамъ устройства своихъ дѣлъ, пробуетъ поступать на службу, предпринимаетъ небольшія литературныя работы. Нѣкоторыя изъ этихъ работъ помѣщены были въ „Литературной Газетѣ", и, вѣроятно, въ связи съ этимъ онъ могъ явиться къ Жуковскому, который, съ своей стороны, поручилъ его заботамъ Плетнева. Это произошло, вѣроятно, въ концѣ 1830 года, и съ этого времени въ жизни Гоголя наступилъ поворотъ, окончательно установившій его литературное поприще. Плетневъ, который былъ человѣкъ практическій и вмѣстѣ благожелательный, съ не малымъ литературнымъ вкусомъ, повидимому, теперь уже угадывалъ въ Гоголѣ оригинальное дарованіе, которому надо было дать возможность установиться и окрѣпнуть (онъ зналъ уже „Ганца Кюхельгартена"). Онъ позаботился о Гоголѣ въ двухъ существенныхъ отношеніяхъ: какъ инспекторъ Патріотическаго института, онъ доставилъ Гоголю уроки въ этомъ заведеніи, а затѣмъ искалъ случая „подвести" его „подъ благословеніе" Пушкина: этимъ навсегда рѣшены были литературныя отношенія Гоголя. Было дѣйствительно великимъ счастіемъ для 22-лѣтняго юноши вступить въ эту высшую сферу тогдашней литературы, гдѣ именно могло утвердиться въ немъ окончательное рѣшеніе избрать себѣ то поприще, ко-

торое одно могло быть его назначеніемъ, гдѣ высокое представленіе объ искусствѣ было школой для его таланта, гдѣ авторитетъ и теплое участіе Пушкина послужили для него великой нравственной опорой. На всю жизнь онъ сохранилъ благоговѣніе къ личности Пушкина: къ чувству личной привязанности присоединилось удивленіе передъ геніальнымъ поэтомъ и великимъ умомъ, котораго проницательность разъясняла ему и вопросы искусства, и явленія жизни.

Въ кругѣ Пушкина Гоголь нашелъ первое сочувствіе къ своимъ литературнымъ предпріятіямъ. Послѣ „Ганца Кюхельгартена" онъ покинулъ романтическую манеру; направленіе его творчества опредѣлилось новымъ настроеніемъ. Въ первое время, когда приходилось испытывать неудачи и онъ, отчасти въ фантастическомъ самомнѣніи, отчасти въ поспѣшномъ отчаяніи, что идеалы его не осуществлялись, бросался, наконецъ, за границу, имъ овладѣвала тоска по родинѣ. Уже въ началѣ 1829 года, только-что пріѣхавши въ Петербургъ, въ письмахъ къ матери Гоголь проситъ о присылкѣ ему всякихъ свѣдѣній о малорусскомъ бытѣ и нравахъ, о присылкѣ комедій его отца и т. п.: ему нуженъ былъ этотъ матеріалъ, чтобы подновить свои собственныя воспоминанія и дать имъ бо̀льшую точность, потому что у него явился планъ цѣлаго ряда малороссійскихъ повѣстей. Онѣ были начаты опытомъ историческаго романа (оставшагося неконченнымъ) и „Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала", за которымъ послѣдовали потомъ другіе разсказы. Это начало сдѣлано было еще до знакомства съ Жуковскимъ, Плетневымъ и кругомъ Пушкина; въ цѣломъ разсказы составили двѣ книжки „Вечеровъ на хуторѣ близь Диканьки" и изданы подъ псевдонимомъ Рудаго Панька, придуманнымъ по совѣту Плетнева.

Это было настоящее начало художественнаго поприща Гоголя. Старый романтизмъ былъ уже заинтересованъ народнымъ преданіемъ; вслѣдъ за чужими образцами являлись попытки воспользоваться для поэзіи матеріаломъ народныхъ сказаній; тѣмъ не менѣе „Вечера" Гоголя явились какъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ и такими навсегда остались. Первые читатели оцѣнили ихъ только какъ занимательный по новости разсказъ и живое поэтическое изображеніе мало извѣстнаго въ сущности быта; позднѣйшая критика [1]) подвергла ихъ суровому осужденію, не находя въ нихъ этнографической точности,—но если теперь трудно вернуться къ первому непосредственному впечатлѣнію,

[1]) П. А. Кулиша, въ началѣ 60-хъ годовъ ревностнаго украинофила.

то, съ другой стороны, покажется излишней и мелочная этнографическая требовательность. Смыслъ „Вечеровъ“ заключается не въ этнографіи и не въ одномъ веселомъ разсказѣ: онъ былъ въ любящемъ отношеніи къ народу, въ жизни котораго писатель нашелъ столько поэтическихъ мотивовъ, сколько до него не находилъ никто изъ нашихъ писателей. Это не была идеализація въ чувствительномъ стилѣ; Гоголь не думалъ скрывать, что въ этомъ быту есть не мало грубаго, но онъ умѣлъ найти тонъ, въ которомъ онъ даетъ читателю видѣть эту грубость, но рядомъ даетъ видѣть и то поэтически-прекрасное, что̀ заключалъ этотъ бытъ, какъ народъ передалъ это въ своей пѣснѣ. Новѣйшіе критики предпринимали поиски въ народныхъ преданіяхъ, собранныхъ въ настоящее время этнографами, и старались разыскать основы различныхъ повѣстей Гоголя: во всякомъ случаѣ, на такомъ пространствѣ времени это могли быть только болѣе или менѣе близкіе варіанты настоящихъ источниковъ Гоголя, но за всѣмъ тѣмъ главное въ повѣстяхъ была самостоятельная обработка этихъ сюжетовъ... Давно забыты, за немногими исключеніями, старые опыты изображенія народной жизни съ романтической искусственностью; „Вечера“ Гоголя уцѣлѣли, потому что, хотя и ихъ тема также поэтизирована, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ несомнѣнно присутствуетъ здоровый реализмъ, который составилъ потомъ великую силу Гоголя. Этотъ реализмъ, въ соединеніи съ неподражаемымъ юморомъ, являлся такой естественной, необходимой чертой этихъ произведеній, что его невозможно подвести ни къ какой литературной школѣ: это былъ самобытный элементъ, который былъ у Гоголя не только личной, но и племенной особенностью его дарованія, и его антецедентовъ можно искать развѣ только въ народномъ малорусскомъ юморѣ и въ тѣхъ первыхъ писателяхъ, которые незадолго передъ тѣмъ начинали малорусскую литературу; въ числѣ ихъ былъ Гоголь-отецъ.

Если Гоголь быстро охладѣлъ къ своему первому поэтическому труду, подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ отзывовъ, и самъ его уничтожилъ, то онъ скоро охладѣлъ и къ „Вечерамъ“ и говорилъ объ нихъ съ пренебреженіемъ, хотя они имѣли большой успѣхъ. Причина была въ томъ, что въ головѣ его носились замыслы уже болѣе серьезнаго общественнаго характера и ему казался слабымъ уровень искусства въ „Вечерахъ“. Въ годъ-два, когда онъ сблизился съ кругомъ Пушкина, его общественное положеніе измѣнилось и стало безмѣрно развиваться его высокомнѣніе: это не былъ уже юноша, отыскивавшій себѣ мѣсто „на тысячу рублей“ (по тогдашнему, ассигнаціями); черезъ Пуш-

кина, Жуковскаго и Плетнева онъ вошелъ въ избранный литературный кругъ, связанный и съ кругомъ аристократическимъ, даже съ придворною сферой; къ этому времени относится его первое сближеніе съ фрейлиной А. О. Россетъ (впослѣдствіи Смирновой); первое время онъ дичился въ этомъ кругу, но уже вскорѣ сталъ держаться, можетъ быть, даже слишкомъ самоувѣренно. Правда, матеріальное положеніе было пока незавидно: служба въ Патріотическомъ институтѣ, частные уроки, доставленные Плетневымъ, литературный заработокъ не давали полнаго обезпеченія, но морально Гоголь поднялся такъ, что уже въ эти годы его самомнѣніе иногда поражало непріятно даже людей, къ нему расположенныхъ или высоко цѣнившихъ его, какъ писателя... Въ 1832, лѣтомъ, онъ могъ наконецъ отправиться на родину; проѣздомъ онъ въ первый разъ былъ въ Москвѣ, гдѣ провелъ нѣсколько времени и завязалъ новыя литературныя знакомства и дружескія связи—съ Погодинымъ, семействомъ Аксаковыхъ, съ Загоскинымъ, Максимовичемъ, Щепкинымъ; съ двумя послѣдними онъ сразу сталъ въ самыя близкія дружескія отношенія,—это были земляки, съ которыми соединяла его общая любовь къ малорусской родинѣ, ея языку, пѣснѣ и обычаю. Пребываніе на родинѣ принесло новыя впечатлѣнія,—онѣ были невеселыя. Домашнія дѣла онъ нашелъ очень разстроенными, какъ и вообще ему бросился въ глаза упадокъ заброшеннаго помѣщичьяго хозяйства. По этой одной причинѣ не могло уже быть прежняго беззаботно поэтическаго отношенія къ этой родинѣ, какое прежде диктовало ему „Вечера". Малорусскія темы возвратились потомъ въ его творчествѣ, но тонъ ихъ уже другой. Біографъ Гоголя замѣчаетъ, что новые разсказы носятъ слѣды печальнаго настроенія, на какое навело Гоголя посѣщеніе родины; но было и другое. Новыя произведенія: „Старосвѣтскіе помѣщики", „Повѣсть о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ", „Вій", „Тарасъ Бульба", указываютъ несомнѣнно на гораздо болѣе зрѣлую силу поэтическаго замысла. Это уже не однѣ непосредственныя картины, внушенныя близкимъ бытомъ и преданіемъ, но вмѣстѣ психологическія задачи; на сценѣ и другой слой общества... Біографы и критики Гоголя старались опять разыскать оригиналы, съ которыхъ Гоголь писалъ своихъ героевъ; такъ одни принимали, что въ изображеніи старосвѣтскихъ помѣщиковъ онъ думалъ о своей матери, другіе—что онъ взялъ оригиналомъ какихъ-то знакомыхъ, и ссылаются обыкновенно на признаніе самого Гоголя, что онъ никогда не могъ создать ни-

чего изъ своего воображенія. Но понятно, что этого послѣдняго замѣчанія не надо преувеличивать: въ изображеніи бытовыхъ характеровъ нельзя не имѣть опоры въ наблюденіи живыхъ фактовъ — нравовъ и людей, и на вопросъ о томъ, гдѣ онъ взялъ Хлестакова, самъ Гоголь объяснялъ, что его „вездѣ" можно встрѣтить; и „старосвѣтскіе помѣщики" существовали, безъ сомнѣнія, не въ одномъ и не двухъ экземплярахъ,—но была именно великая сила воображенія въ реальномъ возсозданіи цѣлой исторіи лица, въ разгадкѣ его психологическаго склада и судьбы.

Послѣ 1832 года художественная производительность Гоголя нѣсколько пріостанавливается. Причину этого видятъ отчасти въ угнетающемъ впечатлѣніи, какое онъ вынесъ изъ поѣздки на родину, отчасти въ новыхъ планахъ, какіе развивались у него въ это время. А именно, онъ увлекается исторіей: во-первыхъ, ему показалось теперь, что онъ созданъ быть преподавателемъ, и Плетневъ думалъ, что Гоголь пойдетъ по его дорогѣ; во-вторыхъ, сближеніе съ Погодинымъ, а особливо съ Максимовичемъ и обновившаяся любовь къ родинѣ внушили ему мысль, что онъ долженъ сдѣлаться историкомъ Малороссіи; наконецъ, открывалась перспектива получить историческую каѳедру въ Кіевѣ, а потомъ въ Петербургѣ. Все это, вмѣстѣ съ тѣмъ, являлось средствомъ устроить его общественное положеніе. Исторія его профессуры извѣстна, и съ нынѣшней точки зрѣнія не можетъ не казаться крайней самонадѣянностью это исканіе каѳедры, когда Гоголь имѣлъ за собой только посредственно оконченный курсъ въ плохой „гимназіи высшихъ наукъ", когда и теперь онъ мало восполнилъ свои познанія, и когда наконецъ онъ былъ видимо неспособенъ къ научной работѣ, требующей настойчиваго труда. Объясненіемъ, если не извиненіемъ этой странности можетъ быть тогдашнее общее положеніе дѣла: неспособности Гоголя къ профессурѣ не видѣлъ не только онъ самъ, но не видѣли друзья, Пушкинъ и Жуковскій, которые, напротивъ, бывши однажды на его лекціи (заранѣе подготовленной), пришли даже отъ нея въ восхищеніе; не видѣлъ, наконецъ, Уваровъ, министръ народнаго просвѣщенія, вѣроятно подкупленный похвалами этихъ важныхъ друзей Гоголя. Не были вообще высоки и тогдашнія требованія отъ профессора: компетентныхъ судей учености было слишкомъ мало; въ самомъ петербургскомъ университетѣ профессура была обставлена такъ слабо, что когда вскорѣ вводился новый университетскій уставъ (1835), то найдено было нужнымъ устранить около дюжины профессоровъ, которые не могли удовлетворить его требованіямъ,—въ числѣ ихъ былъ и Гоголь.

Самонадѣянность Гоголя, по всей вѣроятности, косвенно поддержана была приложенной некстати теоріей о превосходствѣ поэта-художника надъ толпой: считали возможнымъ заключить, что и въ самой наукѣ легко взять верхъ однимъ талантомъ надъ „вялыми профессорами",—объ нихъ Гоголь впередъ говорилъ съ пренебреженіемъ. Во время своей профессуры Гоголь прочелъ, кажется, только двѣ лекціи, надъ которыми постарался и которыя были эффектны въ его чтеніи: одну онъ прочелъ при началѣ курса, а другую—внѣ связи съ другими лекціями—въ тотъ разъ, когда въ его аудиторію пришли Пушкинъ и Жуковскій; все остальное, по словамъ его тогдашнихъ слушателей, было именно сухо и вяло; самъ профессоръ видимо тяготился лекціями и часто пропускалъ ихъ совсѣмъ. Не удивительно, что при введеніи новаго устава онъ былъ просто устраненъ... Эти двѣ лекціи были тогда же напечатаны: ученаго достоинства онѣ не имѣютъ и не могли имѣть, но Гоголь собралъ рядъ эффектныхъ картинъ, громкихъ, преувеличенныхъ выраженій, словомъ, постарался дать художественный очеркъ, что̀ было бы невозможно выдержать въ теченіе курса; притомъ это не была бы и исторія.

Если такимъ образомъ Гоголь былъ простодушно увѣренъ, что профессура была бы по его силамъ, то столь же искреннее заблужденіе онъ питалъ, когда задумывалъ „многотомную" исторію Малороссіи. Онъ восхищался малорусскими пѣснями, которыя казались ему живою лѣтописью, далеко превосходящею „сухіе" письменные памятники, потому что въ пѣсняхъ отражалась самая душа народа. Въ статьѣ о малороссійскихъ пѣсняхъ, написанной около этого времени, онъ говорилъ объ нихъ: „Онѣ—надгробный памятникъ былого, болѣе, нежели надгробный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ историческою надписьюничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи". И почти тѣми же словами онъ писалъ Максимовичу въ ноябрѣ 1833: „Моя радость, жизнь моя, пѣсни! какъ я васъ люблю! Что̀ всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями?" Онъ видимо думалъ, что достаточно схватить главные внѣшніе факты и освѣтить народно-поэтическимъ колоритомъ, и исторія была бы готова. Онъ вскорѣ долженъ былъ сознать свое заблужденіе. Работа надъ простыми фактическими разысканіями была ему не по силамъ не только потому, что гораздо быстрѣе работала фантазія, но и потому, что историческое изслѣдованіе, даже въ этомъ близкомъ его сердцу предметѣ, требовало подготовки. Около того же времени писалъ онъ Погодину о подобной работѣ, что у него „перо ва-

лится изъ рукъ“, — потому что голова была занята у него другимъ, да и научные пріемы были совсѣмъ неизвѣстны. Наконецъ, онъ заблуждался о значеніи самыхъ пѣсенъ. Если можно было назвать ихъ живою лѣтописью, то эта лѣтопись была слишкомъ отрывочная, передававшая только извѣстные моменты, непрочная, потому что множество старыхъ пѣсенъ несомнѣнно исчезло, наконецъ, передающая народныя настроенія, сохраняющая для потомства поэтическія краски, но неспособная разъяснить простыхъ реальныхъ условій народной исторіи... Гоголь намѣревался въ одно и то же время писать многотомную исторію Малороссіи и многотомную среднюю исторію, и о первой изъ нихъ было даже публиковано.

Но если было здѣсь хотя слишкомъ самоувѣренное, но искреннее заблужденіе, то остаются весьма несимпатичными пріемы, какіе употреблялъ онъ для устройства своихъ практическихъ дѣлъ. Не будемъ повторять выраженій, въ какихъ онъ настроивалъ своихъ друзей дѣйствовать, когда шла рѣчь о кіевской или петербургской каѳедрѣ. Столь же непріятна грубая манера, съ какой онъ говорилъ о своихъ ученыхъ затѣяхъ, когда хотѣлъ „дернуть“ исторію Малороссіи, „хватить среднюю исторію томиковъ въ восемь или девять“, „удрать“ необыкновенное изданіе пѣсенъ, или о прекращеніи своей профессуры говоритъ, что „расплевался съ университетомъ“. Подобныя выраженія указываютъ, что о наукѣ онъ имѣлъ крайне странное понятіе, точнѣе—никакого: она представлялась ему какъ будто сухимъ педантствомъ, матеріаломъ котораго можетъ смѣло распоряжаться посторонній талантливый человѣкъ,—какъ онъ самъ; у него не было никакого представленія, что наука есть такое же священное дѣло, какъ и художество, что дѣло ея заключается вовсе не въ наборѣ голыхъ фактовъ, а—напримѣръ въ исторіи—заключается въ чрезвычайно сложномъ разысканіи внутренняго процесса жизни человѣческихъ обществъ. Понятно, что въ связи съ этимъ были чрезвычайно неясны и первобытны представленія Гоголя о строѣ государства и общества („Выбранныя Мѣста“, вторая часть „Мертвыхъ Душъ“). Впослѣдствіи, въ „Авторской Исповѣди“ Гоголь самъ призналъ всю скудость своей научной подготовки: „...Я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученіи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать, и скрывалъ свои занятія“...

Эти біографическія подробности важны тѣмъ, что онѣ даютъ

весьма существенныя указанія для характеристики общаго міровоззрѣнія Гоголя и для самой исторіи его творчества. Оставимъ въ сторонѣ недостатки личнаго характера,—Гоголь самъ послѣ сознавалъ многія свои ошибки, напримѣръ, и ошибку своей профессуры. Но эта отдаленность отъ науки, это пренебреженіе къ ней не остались безъ своего неблагополучнаго результата. Выше упомянуто, что вслѣдствіе эстетической теоріи, господствовавшей въ кругу Пушкина и, безъ сомнѣнія, въ особенности отсюда воспринятой Гоголемъ, художникъ получалъ столь высокое положеніе надъ чернью, надъ толпой, т.-е. надъ обществомъ, что писатель, ощущавшій въ себѣ дѣйствительно великую силу творчества и съ прирожденнымъ самомнѣніемъ, какъ Гоголь, легко могъ подпасть вліянію этой теоріи и внѣ собственно художественной области. Такъ это и случилось. Если Пушкинъ могъ оставаться на высотѣ чистаго художества, то въ основѣ творчества Гоголя лежали совсѣмъ иныя черты таланта и нравственныхъ инстинктовъ. Вотъ слова тонкаго наблюдателя, Анненкова, который зналъ Гоголя отъ самой ранней поры его жизни въ Петербургѣ и говоритъ именно объ этой порѣ: „Важнѣе всего была въ Гоголѣ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ объ энергическомъ пониманіи вреда, производимаго пошлостью, лѣнью, потворствомъ злу съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и ничтожествомъ моральныхъ основаній съ другой... Въ его преслѣдованіи темныхъ сторонъ человѣческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выраженіе его физіономіи. Онъ и не думалъ еще тогда представлять свою дѣятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласится видѣть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примиренія и проч. Онъ ненавидѣлъ пошлость откровенно, и наносилъ ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цѣлью: потрясти ее, если можно, въ основаніи... Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самаго добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, еслибы нужно было“ [1]). Его влекло къ наблюденію общества и къ дѣйствію на него; на первыхъ шагахъ своего поприща онъ хватается за сатиру и комедію. Необычайный успѣхъ его произведеній убѣждалъ его, что цѣль

[1]) Воспоминанія и очерки, I, стр. 190.

достигается, и вмѣстѣ съ этимъ онъ все расширяетъ свои планы: онъ рѣшаетъ, что его творенія должны были обнять самыя разнородныя и, по его мнѣнію, существенныя стороны русской жизни. Эстетическая теорія укрѣпляла его въ представленіи о могуществѣ художника, какъ изобразителя и истолкователя жизни. Наконецъ, религіозно-мистическое настроеніе, развившееся изъ давнихъ особенностей его характера, дало этому представленію новую окраску и еще бо̀льшую притязательность. Гоголь думалъ, наконецъ, что онъ призванъ быть учителемъ общества и сталъ давать наставленія губернаторамъ. Но чтобы стать учителемъ общества, требовалось далеко не одно художественное ясновидѣніе: вопросы, которые брался рѣшать Гоголь (напримѣръ, значеніе администраціи, помѣщичій бытъ, промышленность, споръ между „восточными" и „западными", значеніе Россіи въ человѣчествѣ и т. д.), требовали прямо спеціальнаго изученія; для уразумѣнія ихъ нельзя было обойтись безъ знанія современной исторіи, безъ знанія условій внутренняго русскаго быта: чтобы подать голосъ въ помѣщичьемъ вопросѣ, надо было вникнуть въ исторію крестьянства, въ настроеніе лучшихъ людей общества; наконецъ, можетъ быть, надо было вспомнить и о болѣе правдивомъ и дѣятельномъ примѣненіи христіанскаго братолюбія. Не нужно было быть ученымъ спеціалистомъ, но надо было чувствовать по крайней мѣрѣ необходимость серьезнаго вниманія къ этимъ сложнымъ явленіямъ. Такого пониманія этихъ вопросовъ у Гоголя не было; жизнь и работа русской общественной мысли остались ему чужды: отсюда произошелъ подъ конецъ страшный разрывъ между нимъ и его горячими поклонниками, видѣвшими въ немъ одного изъ величайшихъ писателей русской литературы,—разрывъ, произведенный „Выбранными Мѣстами изъ переписки съ друзьями".

Возвращаемся къ исторіи творчества Гоголя.

Планъ написать исторію Малороссіи совпадалъ по времени съ мечтой получить каѳедру и основаться въ Кіевѣ. Гоголю представлялась уже завлекательная картина совмѣстной съ Максимовичемъ работы въ любимой малорусской старинѣ; Кіевъ рисовался въ его воображеніи Аѳинами, и въ перепискѣ съ Максимовичемъ не разъ встрѣчаются выраженія, которыя подобали бы только рьяному украинофилу. Зазывая Максимовича и собираясь самъ въ Кіевъ, онъ пишетъ ему въ іюлѣ 1833: „Дурни мы, право, какъ разсудить хорошенько. Для чего и кому жертвуемъ всѣмъ? Ѣдемъ!" Онъ не понимаетъ, чѣмъ держитъ Максимовича „старая баба Москва", совѣтуетъ ему бросить „кацапа-

ciю" для „гетманщины". Въ другомъ письмѣ онъ опять зоветъ Максимовича: „Туда, туда! въ Кіевъ! въ древній, въ прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не ихъ, не правда ли? Тамъ или вокругъ него дѣялись дѣла старины нашей" [1]). Ни исторія Малороссіи, ни дѣятельность въ Кіевѣ не осуществились, но эта пора страстнаго увлеченія малорусской стариной и народной поэзіей отозвалась новымъ знаменитымъ созданіемъ Гоголя, „Тарасомъ Бульбой". Здѣсь Гоголь опять не имѣлъ предшественниковъ: ни раньше, ни позже не было въ нашей литературѣ столь яркой картины героической эпохи Малороссіи. Позднѣйшая критика указала и здѣсь ошибки противъ исторіи и преувеличенія въ стилѣ (напримѣръ, въ описаніи буйнаго веселья запорожцевъ въ видѣ какого-то безконечнаго „бала"), но эти недостатки не мѣшаютъ поэтической прелести произведенія, представляющаго какъ бы реставрацію старой эпопеи.

Но какъ ни фантазировалъ Гоголь на тему малороссійской старины, въ немъ еще господствовали инстинкты творчества, о которыхъ мы привели слова Анненкова: въ это время или вскорѣ потомъ былъ задуманъ и частію исполненъ рядъ петербургскихъ повѣстей и рядъ комедій и комическихъ сценъ. Содержаніе повѣстей было результатомъ новыхъ наблюденій. Была высказана мысль, что именно Пушкинъ навелъ Гоголя на эти изображенія картинъ повседневной жизни; настаиваютъ на фактѣ, что Гоголь пользовался сюжетами, указанными ему Пушкинымъ,— но это заключеніе остается произвольнымъ. Изобрѣтеніе сюжета, повидимому, представляло всегда для Гоголя нѣкоторую трудность, и онъ дѣйствительно охотно бралъ готовыя темы—въ народномъ преданіи, въ случайномъ разсказѣ, каковы были и разсказы Пушкина; но дѣло въ томъ, что въ ихъ развитіе онъ вносилъ ту громадную массу тонкихъ наблюденій, какихъ, по его собственнымъ словамъ, у него всегда былъ большой запасъ, и кромѣ того вносилъ ему только принадлежавшій юморъ. Очевидно, что тема, выполненная такимъ образомъ, могла въ концѣ концовъ не имѣть ничего общаго съ той голой рамкой, какая была ему сообщена. Извѣстенъ разсказъ о шутливой жалобѣ Пушкина, что съ Гоголемъ надо быть осторожнымъ, потому что этотъ хохолъ обираетъ его; но самъ Пушкинъ признавалъ исключительную особенность его дарованія. По собственному показанію Гоголя, Пушкинъ уступилъ ему сюжетъ „Мертвыхъ Душъ", изъ котораго онъ „хотѣлъ сдѣлать самъ

[1]) Объ этой горячей любви Гоголя къ Малороссіи см. еще у Шенрока, т. II, стр. 51—53.

что-то въ родѣ поэмы“; но извѣстенъ также разсказъ, какъ былъ пораженъ Пушкинъ, когда Гоголь прочелъ ему первый очеркъ „Мертвыхъ Душъ“: очевидно, въ мысляхъ Пушкина не было ничего подобнаго той постановкѣ сюжета, какую онъ здѣсь нашелъ.

Глубокое впечатлѣніе, какое производили повѣсти Гоголя (появившіяся во второй половинѣ 1830-хъ годовъ и около 1840-го), уже въ то время указало ихъ великое значеніе въ развитіи русской литературы. Такого могущественнаго проявленія юмора она еще не знала. Сюжеты были очень разнообразны: исторія мелкаго чиновника, у котораго украли шинель; фантастическое повѣствованіе о коллежскомъ ассессорѣ или „майорѣ“, у котораго пропалъ, а потомъ нашелся, носъ; исторіи художниковъ, передъ которыми стоялъ вопросъ о требованіяхъ искусства; шутовская исторія о помѣщикѣ, который въ пьяномъ видѣ зазвалъ къ себѣ въ гости господъ офицеровъ, но забылъ объ этомъ, и когда они пріѣхали, спрятался отъ нихъ въ коляску; потрясающая исторія другого мелкаго чиновника, который сошелъ съ ума на томъ, что онъ испанскій король,—но въ эти темы вложено такое богатство реальныхъ подробностей, столько глубокой психологической проницательности, столько веселаго остроумія, столько изобличенія господствующей людской пошлости и, наконецъ, столько печальнаго и трагическаго, что рядомъ съ повѣстями „Миргорода“ и рядомъ съ комедіями эти произведенія казались, и дѣйствительно были, еще небывалымъ откровеніемъ художественнаго творчества, захватывавшаго жизнь въ такомъ многозначительномъ анализѣ, какого русская литература не знавала. Искусство не витало уже на высотахъ, недоступныхъ для массы; оно изображало самую жизнь этой массы, обращалось къ ней самой, и среди высокаго художественнаго наслажденія рождалось теплое человѣчное чувство и общественное сознаніе.

Столь же своеобразна и самобытна была комедія Гоголя. Мы напрасно искали бы антецедента, къ которому примыкала бы эта комедія какъ непосредственное продолженіе и развитіе. Русская комедія была вообще не богата, и особенно не богата произведеніями, которыя серьезно затрогивали бы вопросы общественной жизни. Комедіи фонъ-Визина были событіемъ для своего времени, когда сама литература находилась въ зачаточномъ состояніи; но тема состояла въ элементарномъ поученіи о вредѣ невѣжества или слѣпого подражанія иноземнымъ обычаямъ,—поученіи, которое и тогда въ „сатирической“ литературѣ было общимъ мѣстомъ и въ концѣ концовъ не имѣло никакого особеннаго вліянія (еще многіе

десятки лѣтъ повторялись потомъ тѣ же обличенія подражанія иноземцамъ и рекомендаціи просвѣщенія) между прочимъ потому, что не было поддержано широкимъ общественнымъ идеаломъ, какъ будто внѣ этихъ частныхъ недостатковъ все остальное обстояло совершенно благополучно. Послѣ фонъ-Визина только „Ябеда“ Капниста была серьезнымъ опытомъ коснуться настоящаго общественнаго вопроса, а затѣмъ опять идетъ рядъ безразличныхъ твореній съ поверхностными темами, и онѣ, остановивъ на минуту вниманіе общества или, точнѣе, немногихъ любителей литературы, тонули навсегда въ рѣкѣ забвенія... Причина понятна. Серьезная комедія требовала, во-первыхъ, глубокой идеи самого писателя, во-вторыхъ, гораздо болѣе широкаго простора для общественной мысли, чѣмъ какой могъ найтись въ условіяхъ литературы,—и безъ этого комедія становилась только театральнымъ развлеченіемъ, весьма недолговѣчнымъ, потому что въ сущности очень мало затрогивала господствующіе нравы и мало отвѣчала на дѣйствительные интересы. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ первой русской комедіей было только „Горе отъ ума“, и внѣшняя судьба пьесы, которая могла быть напечатана только черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти автора, а въ полномъ текстѣ могла явиться лишь черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, даетъ наглядное указаніе о томъ, насколько комедія общественнаго характера могла получить право гражданства. Другими словами, комедія получала это право только тогда, когда ея непосредственный смыслъ терялся и старѣлъ: „Горе отъ ума“ сохранило донынѣ свое значеніе благодаря только тому, что въ ея, теперь уже архаическихъ, подробностяхъ сберегло свою цѣну ея нравственно-идеалистическое настроеніе. Комедія Грибоѣдова была неожиданностью. Бывали отчасти неожиданностью произведенія Жуковскаго, Батюшкова, самого Пушкина, когда новый притокъ европейскихъ вліяній расширялъ горизонтъ самой русской поэзіи въ рукахъ первостепенныхъ дарованій; но Грибоѣдовъ былъ въ нѣсколько другихъ условіяхъ: его настроеніе не было дано какимъ-либо „властителемъ думъ“ изъ чужой литературы, но явилось отраженіемъ того либерально-патріотическаго движенія, какое овладѣло молодыми поколѣніями около двадцатыхъ годовъ... Великая заслуга и основной интересъ произведенія Грибоѣдова заключался въ изображеніи этой борьбы свѣжаго просвѣтительнаго идеализма противъ отжившаго по существу, но еще властвующаго въ обществѣ застоя и обскурантизма, въ изображеніи одушевленныхъ порывовъ просвѣщенныхъ людей къ лучшему бу-

дущему,—что́ такъ вѣрно и краснорѣчиво объяснилъ Гончаровъ въ „Милліонѣ терзаній“.

Комедія Гоголя, очевидно, не имѣетъ съ Грибоѣдовымъ ничего общаго. Тому настроенію либерализма двадцатыхъ годовъ, среди котораго возникло „Горе отъ ума“, Гоголь и раньше и позже былъ совершенно чуждъ. Его комедіи выростали на той же почвѣ, изъ которой произошли его петербургскія повѣсти: это было въ области художества наблюденіе бытовой мелочности и пошлости, которая была въ концѣ концовъ невѣжествомъ и несправедливостью; комедія была только другою формою для того же самаго содержанія. Что касается до мысли объ этой формѣ, и здѣсь мы напрасно искали бы образца, который могъ бы служить для Гоголя завлекающимъ примѣромъ: вся прежняя русская комедія, кромѣ „Горя отъ ума“, была слишкомъ незначительна, а комедія Грибоѣдова,—немного по-старинному въ стихахъ,—принадлежала къ совершенно иному стилю и по литературному характеру, и по содержанію. Форма дана была Гоголю его собственнымъ прошедшимъ: онъ былъ замѣчательный комикъ еще на сценѣ Нѣжинскаго лицея, и тогда уже развилась въ немъ любовь къ театру; по пріѣздѣ въ Петербургъ въ числѣ его плановъ было намѣреніе поступить на сцену; въ то же первое время, когда онъ писалъ къ матери о присылкѣ ему описаній народныхъ обычаевъ, пѣсенъ и т. п., онъ просилъ прислать малорусскія комедіи его отца. До какой степени занимала его мысль о комедіи еще въ первое время жизни въ Петербургѣ, можно видѣть изъ словъ Плетнева въ письмѣ къ Жуковскому отъ декабря 1832: „у Гоголя вертится на умѣ комедія. Не знаю, разродится ли онъ ею нынѣшней зимой; но я ожидаю въ этомъ родѣ отъ него необыкновеннаго совершенства“ [1]). Рѣчь шла, вѣроятно, о комедіи „Владиміръ 3-й степени“, которая не была Гоголемъ закончена. Въ разсказахъ о Гоголѣ С. Т. Аксакова находимъ чрезвычайно любопытную замѣтку объ этомъ самомъ времени. Аксаковъ познакомился съ Гоголемъ въ упомянутый пріѣздъ Гоголя въ Москву [2]). Однажды у нихъ зашелъ разговоръ о Загоскинѣ; Гоголь хвалилъ его за веселость, но замѣтилъ, что онъ пишетъ не то, что́ нужно для театра.

„Я (С. Т. Аксаковъ) легкомысленно возразилъ, что у насъ

[1]) Сочиненія и переписка Плетнева, т. III, стр. 522.

[2]) „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“. Со включеніемъ всей переписки съ 1832 по 1852 годъ. Сочиненіе С. Т. Аксакова (Р. Архивъ, 1890, кн. 8).

писать не о чемъ, что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, что—

...даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

но Гоголь посмотрѣлъ на меня какъ-то значительно и сказалъ, что—„это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы же сами надъ собою будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его". Можетъ быть, онъ выразился не совсѣмъ такими словами; но мысль была точно та. Я былъ ею озадаченъ, особенно потому, что никакъ не ожидалъ ее услышать отъ Гоголя. Изъ послѣдующихъ словъ я замѣтилъ, что русская комедія его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взглядъ на нее". Гоголю было тогда только двадцать три года, и этотъ молодой писатель, едва начинавшій свое поприще, удивлялъ уже опытнаго литератора старыхъ временъ и особеннаго любителя театра никогда неслыханными взглядами. Слова Гоголя, очевидно, передаютъ мысль, уже твердо установившуюся, и если свести мнѣнія обѣихъ сторонъ къ ихъ основному смыслу, то съ одной стороны окажется еще старая реторическая искусственность и ходули, съ другой—глубокій реализмъ и простота. Анненковъ именно отмѣчаетъ у Гоголя эту исконную черту—антипатію ко всему дѣланному и напыщенному, вслѣдствіе чего, напримѣръ, онъ съ юныхъ лѣтъ не терпѣлъ Кукольника. Если потомъ у него самого мы находимъ наклонность къ преувеличеннымъ картинамъ и къ высокопарности, она во всякомъ случаѣ имѣла другой источникъ, именно, въ его искреннемъ лирическомъ возбужденіи,—и только подъ конецъ въ піэтистическомъ самообманѣ.

Мысль, высказанная Гоголемъ Аксакову, примѣнялась, очевидно, къ комедіи точно такъ же, какъ примѣнялась къ повѣсти. Его малорусскія повѣсти въ „Миргородѣ", его петербургскія повѣсти точно также въ будничныхъ мелочахъ жизни находятъ предметъ художественнаго изображенія, способный служить и цѣлямъ эстетическимъ, и человѣчному пониманію жизни. Таковы были и его комедіи. Кромѣ драматической формы, комедія имѣетъ свои спеціальныя задачи, должна искать комическаго, но тамъ и здѣсь можетъ сохраняться, и дѣйствительно сохранялось, одно міросозерцаніе, одно стремленіе искать за мелочными или комическими чертами жизни или глубокой внутренней драмы, или

отраженій цѣлаго характера общества. Комическая струя сказалась уже въ самыхъ первыхъ произведеніяхъ Гоголя; она изобильно присутствуетъ въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки" и все усиливается потомъ, переходя, наконецъ, въ многозначительную общественную сатиру. Съ такимъ широкимъ значеніемъ она должна была, повидимому, явиться въ первой недоконченной комедіи Гоголя „Владиміръ 3-й степени"; ея высшимъ пунктомъ былъ „Ревизоръ". Всѣ безъ исключенія комедіи и комическія сцены Гоголя поражали необыкновенной жизненностью и простотой. Еще въ концѣ 1832 года, когда у Гоголя еще ни одной пьесы не было написано, Плетневъ ждалъ отъ него необыкновеннаго: Плетневъ могъ судить пока только по его повѣстямъ и по примѣрамъ его обычной тонкой наблюдательности и умѣнья подмѣтить и удивительно передать комическія черты. Эти черты оказались въ комедіяхъ Гоголя въ чрезвычайномъ изобиліи; оправдались и слова, брошенныя Гоголемъ Аксакову о томъ, сколько комическаго живетъ среди насъ, котораго мы не видимъ и которое поразитъ насъ, когда будетъ перенесено въ искусство.

Гоголь работалъ надъ своими произведеніями очень медленно: первоначальная форма подвергалась множество разъ переработкѣ; написанное по нѣскольку лѣтъ лежало въ его портфелѣ и снова исправлялось; вещи, даже напечатанныя, онъ опять передѣлывалъ, такъ что въ новѣйшихъ изданіяхъ мы находимъ рядомъ эти варіанты. Онъ всегда потомъ настаивалъ на необходимости для художника этой медленной внимательной работы, которая одна можетъ дать вполнѣ законченное цѣлое. Повидимому, эта величайшая требовательность явилась у него съ самой первой поры: такъ „Ганцъ Кюхельгартенъ" былъ уничтоженъ; отрывокъ историческаго романа остался отрывкомъ; о „Вечерахъ" уже вскорѣ онъ говорилъ съ пренебреженіемъ; комедія „Владиміръ 3-й степени" совсѣмъ не вышла изъ своихъ передѣлокъ и т. д. Сначала,—какъ онъ говорилъ послѣ,—его подталкивала юность; теперь онъ не торопился, но „Ревизоръ" тѣмъ не менѣе существуетъ въ нѣсколькихъ редакціяхъ. Сближеніе съ Пушкинымъ, вѣроятно, съ своей стороны подѣйствовало на художественные взгляды Гоголя, между прочимъ, и въ этомъ отношеніи. „Служенье музъ не терпитъ суеты", и художественный трудъ въ глазахъ Гоголя все больше получалъ характеръ священнодѣйствія: искусство должно быть высшей цѣлью художника; для достиженія ея онъ долженъ отвергнуть всѣ соблазны, повиноваться одному вдохновенію и полагать усиленный трудъ на выработку плана и формы. Параллельно съ этимъ стало развиваться высокое пред-

ставленіе объ общественномъ долгѣ художника—и завлекло Гоголя въ лабиринтъ, изъ котораго онъ не нашелъ выхода.

Извѣстно далѣе, какихъ заботъ и волненій стоило Гоголю довершеніе „Ревизора" и постановка его на сцену. Повидимому, пьеса изъ нравовъ мелкаго захолустнаго чиновничества могла бы не представить особенныхъ цензурныхъ затрудненій; оказалось, напротивъ, что только особый интересъ высокопоставленныхъ лицъ могъ защитить пьесу. Таково было положеніе комедіи, которая не ограничивалась прежними шаблонными пустяками и затронула, хотя въ глухомъ уголкѣ, настоящую подлинную дѣйствительность. Въ то время, какъ толпа довольствовалась комическими подробностями, для читателей серьезныхъ стало ясно, что въ этой картинѣ захолустья отражаются общія основы господствующаго быта, общій низменный уровень нравственно-общественныхъ понятій. Серьезное значеніе комедіи почувствовали и въ чиновничьемъ мірѣ; въ ней увидѣли непозволительное вольнодумство и, съ своей точки зрѣнія, не ошиблись. Комедія осмѣлилась коснуться стариннаго и крѣпкаго принципа испорченной бюрократіи; это была неприкосновенность чиновническихъ дѣйствій для какихъ-нибудь вмѣшательствъ общественнаго мнѣнія: на бумагѣ все „обстояло благополучно", все продѣлывалось домашнимъ образомъ, было шито и крыто; разъ допустить вмѣшательство общественнаго мнѣнія въ лицѣ писателя значило сдѣлать опасную уступку,—за первымъ примѣромъ послѣдуютъ другіе, и чѣмъ это кончится? Въ глазахъ чиновничества, осмѣяніе городничаго было нападеніемъ на правительственную власть.

Какъ будто въ связи съ этимъ комедія Гоголя, какъ и другія его сочиненія, приняты были недружелюбно въ томъ литературномъ лагерѣ, который тогда въ особенности представлялъ полу-невѣжественную толпу. Въ числѣ противниковъ Гоголя были и представители умиравшаго романтизма. Въ настоящее время не легко представить себѣ, какъ могъ быть не понятъ Гоголь при томъ богатствѣ жизненнаго содержанія, какое приносили его произведенія, при томъ блестящемъ дарованіи, которое въ своемъ родѣ было въ тогдашней литературѣ единственнымъ. Его веселость и юморъ считались малороссійскимъ шутовствомъ, „жартомъ", какъ тогда говорили; реальныя изображенія казались грубыми и грязными; серьезная основа, какую можно было увидѣть особенно въ его послѣднихъ произведеніяхъ, осталась совершенно непонятой. Это непониманіе было, однако, характерно; оно отрицательнымъ образомъ свидѣтельствовало, что старый литературный періодъ отживалъ, а именно, кончалось время той

старой искусственности, которая такъ долго господствовала въ нашей литературѣ, какъ ученическій книжный пріемъ, и которой не могъ еще искоренить самъ Пушкинъ; въ литературное развитіе вступала новая идея—непосредственное изображеніе жизни, и хотя изображеніе было глубоко правдиво, оно осталось невразумительно людямъ старой школы, даже присяжнымъ писателямъ показалось грубымъ, потому что они не привыкли думать, чтобы было возможно въ литературѣ такое открытое вторженіе настоящей дѣйствительности. Съ другой стороны крики противъ Гоголя были свидѣтельствомъ о низменности общественныхъ понятій, — которую незадолго передъ тѣмъ изображалъ Грибоѣдовъ. Въ произведеніяхъ Гоголя осталось замѣчательное свидѣтельство объ этомъ моментѣ нашей литературной исторіи; это—„Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи".

Вслѣдъ за созданіемъ „Ревизора" въ жизни Гоголя наступаетъ новый періодъ,—періодъ долгаго пребыванія за границей, когда имъ было написано его послѣднее великое произведеніе—„Мертвыя Души" (первый томъ). Несмотря на довольно обширный матеріалъ въ его перепискѣ, на собственныя автобіографическія показанія въ „Авторской Исповѣди", на разсказы очевидцевъ, какъ Анненковъ, Аксаковы и пр., — этотъ періодъ остается психологически недостаточно объясненнымъ. Природа Гоголя была чрезвычайно нервная и неуравновѣшенная; его настроеніе бывало крайне измѣнчиво: отъ чрезвычайнаго возбужденія, близкаго къ энтузіазму, онъ переходилъ въ болѣзненную апатію. Характеръ былъ столь скрытный, что его внутренней жизни не знали даже друзья; по разсказамъ людей, довольно хорошо его знавшихъ, онъ былъ всегда на-сторожѣ, закрытый для чужого наблюденія, но самъ всегда тонко наблюдательный, въ отношеніяхъ съ близкими пріятелями очень неровный, требовательный и даже грубый (напримѣръ, съ Погодинымъ), иногда вдругъ веселый и неистощимо, даже необузданно остроумный разсказчикъ. Въ личной жизни онъ оставался одинокимъ; его никогда, повидимому, не увлекала сердечная привязанность [1]). Прибавимъ, наконецъ, что уже въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ онъ сталъ жаловаться на разрушенное здоровье. По собственнымъ его словамъ, послѣ волненій, пережитыхъ имъ во время хлопотъ о „Ревизорѣ", онъ не могъ придумать иного средства отдохнуть и дать успокоиться своимъ нервамъ, кромѣ бѣгства. Это спокойствіе, впрочемъ опять нарушаемое внутрен-

[1]) Шенрокъ, I, стр. 328.

ними тревогами, онъ нашелъ только въ Италіи. Еще въ ранней юности онъ пишетъ восторженный диѳирамбъ Италіи, по которой тоскуетъ его душа: она представлялась ему раемъ съ чарующей природой, съ памятниками прошедшей славы, съ твореніями поэзіи и искусства, обѣтованной страной вдохновенія,— и именно такою представлялась ему Италія потомъ, когда онъ прожилъ тамъ многіе годы. Она казалась ему второю родиной, и дѣйствительно, онъ чувствовалъ тамъ себя какъ на родинѣ, упиваясь красотой природы, произведеніями искусства и—работая надъ „поэмой", на тему, которую далъ ему въ Петербургѣ Пушкинъ. За исключеніемъ Анненкова, который одно время жилъ съ нимъ въ Римѣ, уже къ концу этой работы, Гоголю почти не съ кѣмъ было дѣлиться своими планами и впечатлѣніями: онъ былъ одинъ съ своимъ трудомъ, отдаваясь ему такъ, какъ по его идеѣ долженъ отдаваться ему художникъ, уразумѣвшій священное значеніе искусства,—такой художникъ долженъ всѣмъ пожертвовать искусству, отказаться отъ приманокъ жизни, отъ общественной суеты, стать анахоретомъ. По его давнему мнѣнію, для русскаго художника, окруженнаго угрюмой природой и безцвѣтными людьми, только Италія можетъ дать настоящую опору дарованію, одушевить его, надѣлить воздухомъ, тепломъ и красками, т.-е. доставить необходимыя условія художественной работы. Повидимому, нѣчто подобное предполагалъ онъ для себя, художника-писателя... Все увлеченіе Италіей не могло, однако, избавить его отъ настоящей тоски по родинѣ, потому что въ концѣ концовъ все это прекрасное было чужое, къ чему онъ не могъ приложить своей дѣятельности, и самъ онъ оставался ему чужимъ; тѣмъ не менѣе ему все-таки казалось, что для самой родины онъ можетъ работать только здѣсь, вспоминая о ней и обращаясь къ ней „изъ своего прекраснаго далёка"... Въ его исключительномъ состояніи здѣсь могла быть своя выгода—спокойствіе работы; но была въ этомъ, какъ уже вскорѣ оказалось, своя роковая невыгода.

Исторія созданія „Мертвыхъ Душъ" есть одинъ изъ знаменательныхъ фактовъ въ развитіи новѣйшей русской литературы. Выше замѣчено, что участіе Пушкина было здѣсь чисто внѣшнее; и вообще исторически было бы ошибочно думать, что именно Пушкинъ направилъ Гоголя на изображеніе дѣйствительности. Для этого послѣдняго заключенія нѣтъ основанія ни въ фактахъ дѣятельности Гоголя,—въ этомъ отношеніи она развивалась вполнѣ самостоятельно, — ни въ собственныхъ показаніяхъ Гоголя въ „Авторской Исповѣди". Гоголь здѣсь прямо указываетъ, что

Пушкинъ отдалъ ему „свой собственный сюжетъ“, какъ отдалъ и сюжетъ „Ревизора“; но затѣмъ рѣчь шла только о томъ, что Пушкинъ побуждалъ его предпринять крупное произведеніе. „Пушкинъ,—говоритъ Гоголь,—уже давно склонялъ меня приняться за большое сочиненіе, и наконецъ, одинъ разъ, послѣ того, какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: „Какъ съ этой способностью угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого,—съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это, просто, грѣхъ!“ Вслѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могутъ прекратить мою жизнь рано; привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но еслибы не принялся за „Донкишота“, никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями, и, въ заключеніе всего, отдалъ мнѣ свой собственный сюжетъ“. Такъ это и было. Пушкинъ видѣлъ въ Гоголѣ готовыми данныя для широкаго творчества и только побуждалъ его предпринять большую работу. Эта работа совершалась, однако, столь независимо, что самъ Пушкинъ былъ пораженъ—неожиданностью сильнаго впечатлѣнія. Разсказывая самъ (иногда съ намѣренной недосказанностью) исторію „Мертвыхъ Душъ“, Гоголь упоминаетъ о какомъ-то „необыкновенномъ душевномъ событіи“, о „чудномъ высшемъ внушеніи“, которое побудило его придавать своимъ героямъ свои собственные недостатки, чтобы отъ нихъ избавиться; и затѣмъ онъ говоритъ: „Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Еслибы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ „Мертвыхъ Душъ“, въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же

чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ [1]).

Достаточно этого разсказа, чтобы видѣть, что работа Гоголя была именно независимая и самостоятельная. Первоначальные наброски сдѣланы были еще въ 1835; первый томъ оконченъ въ 1842. Какъ шелъ процессъ этой работы, извѣстно мало. Во всякомъ случаѣ въ теченіе этой работы во внутренней жизни самого писателя произошли событія, которыя отразились на его творчествѣ и замѣтны уже на первомъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“, и когда затѣмъ черезъ четыре года явились „Выбранныя Мѣста изъ переписки съ друзьями“, онѣ произвели потрясающее впечатлѣніе, какъ свидѣтельство страшнаго перелома, который совершился въ писателѣ и говорилъ о томъ, что въ немъ погибъ прежній геніальный художникъ: самъ Гоголь отрекался здѣсь отъ своихъ прежнихъ произведеній; второй томъ „Мертвыхъ Душъ“, изданный по черновой рукописи послѣ его смерти, какъ будто подтверждалъ это заключеніе. Что̀ же произошло въ этомъ промежуткѣ времени?

Позднѣйшія біографическія изслѣдованія объяснили, что, собственно говоря, во внутренней жизни Гоголя, въ его міровоззрѣніи, его литературныхъ и общественныхъ взглядахъ, не происходило никакого перелома и, напротивъ, шло послѣдовательное развитіе однѣхъ основныхъ началъ, и если въ послѣднемъ десятилѣтіи его жизни мы находимъ нѣчто исключительное, а именно, крайнее развитіе піэтизма, то его задатки были гораздо ранѣе, даже со временъ его первой молодости; если во взглядахъ общественныхъ у него сказался въ послѣднемъ десятилѣтіи узкій консерватизмъ, не помышлявшій ни о какихъ общественныхъ преобразованіяхъ и ожидавшій только нравственнаго исправленія людей, то онъ и раньше никогда не заявлялъ другихъ мыслей, и то возбуждающее дѣйствіе его сочиненій (еще до „Мертвыхъ Душъ“), о какомъ мы упоминали, произошло какъ бы независимо и сверхъ его намѣреній. Между писателемъ и

---

[1]) Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу „Мертвыхъ Душъ“, въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“. Гоголь прибавляетъ дальше: „Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что̀ значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствіе свѣта. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести „Мертвыя Души“. Я увидѣлъ, что многія изъ гадостей не стоятъ злобы; лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навѣки ихъ удѣломъ“. Надо думать, однако, что Пушкину, который „такъ зналъ Россію“ (и онъ ее дѣйствительно зналъ), „каррикатура“ не показалась невѣроятной, а иногда вовсе не была каррикатурой.

обществомъ уже тогда начиналось какъ бы нѣкоторое недоразумѣніе,—а именно, когда онъ считалъ дѣйствіе своихъ сочиненій (независимо отъ чисто эстетическаго впечатлѣнія) только лично нравственнымъ, на дѣлѣ оно гораздо въ большей степени было дѣйствіемъ общественнаго характера, и съ другой стороны, когда его восторженные поклонники приписывали ему протестъ противъ общественныхъ золъ эпохи, онъ былъ только художникомъ-моралистомъ. Недоразумѣніе разрѣшилось съ изданіемъ „Выбранныхъ Мѣстъ". Произошелъ разрывъ: когда Гоголь увидѣлъ, что его произведенія поняты были не въ томъ направленіи, какъ онъ ихъ задумывалъ, онъ отрекся отъ нихъ; то общество, которое раньше видѣло въ немъ великаго писателя, пробуждавшаго общественное самосознаніе, увидѣло въ немъ ренегата [1]).

Такимъ образомъ, какого-либо перелома въ идеяхъ у Гоголя не было; было постепенное развитіе давнихъ особенностей его характера, его религіознаго, общественнаго и художественнаго міровоззрѣнія; тѣмъ не менѣе это развитіе еще съ конца тридцатыхъ годовъ стало принимать особенную складку, а въ сороковыхъ и прямо исключительный, даже болѣзненный характеръ. Въ періодъ работы надъ первымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ" симптомы новаго настроенія еще не успѣли возобладать въ Гоголѣ: онъ еще оставался прежнимъ; надъ нимъ еще сохраняла власть та основная художественная мысль, которая развилась изъ сюжета, даннаго Пушкинымъ. Это была эпоха „Ревизора", эпоха самаго сильнаго развитія его юмора и комизма, освѣщенныхъ глубокимъ человѣчнымъ чувствомъ, и тотъ рядъ картинъ и характеровъ, какой былъ вызванъ самой сущностью темы, изображенъ былъ здѣсь въ томъ же духѣ, въ какомъ Гоголь написалъ наиболѣе глубокія изъ повѣстей „Миргорода" и петербургскихъ повѣстей, и въ какомъ онъ писалъ „Ревизора"; въ тѣхъ же предъидущихъ твореніяхъ даны были и образцы того проницательнаго психологическаго анализа, который умѣлъ раскрывать среди смѣха печальныя и трагическія стороны человѣческой жизни; быть можетъ, здѣсь только сильнѣе онъ затрогивалъ эти мотивы и передавалъ ихъ еще съ бо́льшимъ художественнымъ матеріаломъ. Поэтому „Мертвыя Души" при своемъ появленіи,—которое опять стоило Гоголю большихъ тревогъ,—произвели на его почитателей то же самое дѣйствіе, какъ и

[1]) Объ общественномъ значеніи дѣятельности Гоголя см. „Характеристики литер. мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ", 2-е изд. Спб. 1890, гл. VIII; здѣсь имѣемъ въ виду въ особенности развитіе его художественнаго творчества.

прежнія его созданія; новая „поэма“ только увеличила славу писателя и окончательно утвердила представленіе объ особенностяхъ его великаго таланта и о томъ значеніи, какое должно принадлежать ему въ судьбахъ русской литературы, въ которой онъ явился новымъ послѣ Пушкина великимъ преобразователемъ. Но чуткая наблюдательность Бѣлинскаго замѣтила въ новомъ произведеніи Гоголя черту, которая оставила въ немъ извѣстное недоумѣніе,—это были „лирическія мѣста“: онѣ дѣйствительно бросались въ глаза частію тѣмъ, что не были довольно мотивированы въ ходѣ разсказа, частію тѣмъ, что принимали слишкомъ личный, возвышенный, но вмѣстѣ какъ бы высокомѣрный тонъ.

Отношенія Бѣлинскаго къ Гоголю не были близки, и со стороны послѣдняго довольно странны; Бѣлинскій гордился тѣмъ, что одинъ изъ первыхъ, если не первый, объяснилъ великое значеніе произведеній Гоголя, но онъ не любилъ, даже не уважалъ Гоголя какъ характеръ [1]). Такъ относился онъ къ Гоголю и наканунѣ выхода „Мертвыхъ Душъ“,—но онъ всегда одинаково высоко цѣнилъ Гоголя художника, и „Мертвыя Души“ привели его въ восторгъ. Онъ встрѣтилъ „поэму“ большою статьей, въ которой снова защищалъ Гоголя отъ непониманія литературной толпы и указывалъ великія достоинства его новаго произведенія среди ничтожества обыденныхъ явленій тогдашней литературы... „И вдругъ,—писалъ онъ [2]),—среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этихъ пустоцвѣтовъ и дождевыхъ пузырей литературныхъ, среди этихъ ребяческихъ затѣй, дѣтскихъ мыслей, ложныхъ чувствъ, фарисейскаго патріотизма, приторной народности,—вдругъ, словно освѣжительный блескъ молніи среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовію къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта,—и въ то же время, глубокое по мысли, соціяльное, общественное и историческое“. Въ частности, онъ ставилъ Гоголю въ великую заслугу двѣ вещи. Во-первыхъ, то, что въ „Мертвыхъ Душахъ“ осязательно выступаетъ субъективность писателя, не

[1]) Жизнь и переписка Бѣлинскаго, II, стр. 252—253.
[2]) Въ 7-й книгѣ „Отеч. Записокъ“ 1842; „Сочиненія“, т. VI, изд. 2-е, стр. 407.

та личная ограниченная особенность, которая можетъ только искажать художественную истину, а „та глубокая, всеобъемлющая и гуманная субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою и духовно-личною самостію,—ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою душу живу явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живу",—Бѣлинскій радовался именно вступленію элемента „соціяльнаго", общественнаго. Во-вторыхъ, важнымъ шагомъ впередъ онъ считалъ и то, что Гоголь въ новомъ произведеніи „совершенно отдѣлился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ національнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова". Въ первую минуту, какъ отраженіе этой субъективности, на него произвели сильное впечатлѣніе и лирическія отступленія „высокой вдохновенной поэмы",—„этотъ высокій лирическій паѳосъ, эти гремящіе, поющіе диѳирамбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія, достойные великаго русскаго поэта", но уже и въ эту минуту онъ увидѣлъ недостатокъ мѣры, „излишество непокореннаго спокойно разумному созерцанію чувства, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося". „Мы говоримъ (продолжаетъ онъ) о нѣкоторыхъ,—къ счастію немногихъ, хотя къ несчастію и рѣзкихъ,—мѣстахъ, гдѣ авторъ слишкомъ легко судитъ о національности чуждыхъ племенъ, и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними. Мы думаемъ, что лучше оставлять всякому свое, и, сознавая собственное достоинство, умѣть уважать достоинство и другихъ"... [1]). Позднѣе, когда впечатлѣнія установились и когда проявилось до нѣкоторой степени новое настроеніе, овладѣвшее Гоголемъ въ сороковыхъ годахъ, именно, когда явилась извѣстная статья объ Одиссеѣ въ переводѣ Жуковскаго и странное предисловіе ко второму изданію „Мертвыхъ Душъ", Бѣлинскій (это было накануне выхода „Выбранныхъ Мѣстъ") говоритъ уже съ сокрушеніемъ о потерѣ для русской литературы великаго дарованія. Онъ по прежнему думаетъ, что „Мертвыя Души" составляютъ „столько же національное, сколько высоко-художественное произведеніе", но болѣе настойчиво говоритъ объ ихъ недостаткахъ: „Важные недостатки находимъ мы почти вездѣ, гдѣ изъ поэта, изъ художника силится авторъ стать какимъ-то прорицателемъ и впадаетъ въ нѣсколько наду-

[1]) Тамъ же, стр. 414. Ср. другія замѣчанія въ „Объясненіи" по поводу брошюры К. Аксакова, „Отеч. Записки" 1842, кн. 11-я, и „Сочиненія", VI, стр. 534 и далѣе.

тый и напыщенный лиризмъ". Къ счастью, такихъ мѣстъ немного, и ихъ можно было бы пропускать при чтеніи, ничего не теряя въ художественномъ наслажденіи,—„но къ несчастію эти мистико-лирическія выходки въ „Мертвыхъ Душахъ" были не простыми случайными ошибками со стороны ихъ автора, но зерномъ, можетъ быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы... Все болѣе и болѣе забывая свое значеніе художника, принимаетъ онъ тонъ глашатая какихъ-то великихъ истинъ, которыя въ сущности отзываются ни чѣмъ инымъ, какъ парадоксами человѣка, сбившагося съ своего настоящаго пути ложными теоріями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта" [1]). На эти мысли навели его статья объ Одиссеѣ и предисловіе къ второму изданію „Мертвыхъ Душъ". Вскорѣ появленіе „Выбранныхъ Мѣстъ" наполнило его величайшею скорбію и негодованіемъ, какія онъ высказалъ въ извѣстномъ письмѣ къ Гоголю.

Бѣлинскому было, конечно, неизвѣстно, что̀ творилось въ эти послѣдніе годы съ писателемъ, произведенія котораго внушали ему такую высокую оцѣнку; это знали только ближайшіе друзья, которые были двоякаго рода—одни, не понимавшіе того, что̀ дѣлалось съ Гоголемъ или раздѣлявшіе и поддерживавшіе въ немъ его новое настроеніе, и другіе, которые видѣли крайность, пытались, но были не въ состояніи, воздержать его. Настроеніе, сказавшееся такъ рѣзко въ сороковыхъ годахъ, подготовлялось издавна, и для новѣйшихъ біографовъ это обстоятельство не составляетъ вопроса [2]). Это настроеніе сложилось изъ различныхъ данныхъ въ характерѣ Гоголя, которыя дѣйствовали параллельно. Религіозность Гоголя, которая приняла подъ конецъ крайній мистическій характеръ, была его всегдашней чертою; постоянныя ссылки на высшія велѣнія, на особое попеченіе Промысла, управлявшаго его дѣлами, встрѣчаются уже въ юношескихъ письмахъ къ матери и притомъ съ тѣмъ же произволомъ, такъ что сегодня Провидѣніе указывало ему одно, а завтра совсѣмъ другое. Не скажемъ, что это было намѣренное злоупотребленіе, но при крайнемъ самолюбіи Гоголя, при его увѣренности, опять развившейся очень рано, что ему предназначено совершить въ жизни нѣчто необыкновенное, это могъ быть совершенно искренній самообманъ, а вмѣстѣ и самомнѣніе. Точно

---

[1]) Сочиненія, т. XI, стр. 69—72.

[2]) Въ первый разъ эта тѣсная связь между такъ называемыми друмя періодами во внутренней жизни Гоголя была обстоятельно объяснена Чернышевскимъ въ „Современникѣ" 1857, въ статьѣ по поводу изданія Кулиша. См. „Критическія Статьи" Спб. 1893, стр. 120—169.

также съ юныхъ лѣтъ онъ привыкъ покрывать свои неясные поступки загадками и таинственностью; эта манера не оставила его и потомъ даже развилась еще сильнѣе. Первые успѣхи сдѣлали его крайне высокомѣрнымъ: таковъ онъ былъ уже въ Москвѣ въ 1832. Потомъ, необычайный успѣхъ его повѣстей и комедій, особливо „Ревизора", заставилъ его еще болѣе думать, что онъ призванъ быть учителемъ общества, что его поэтическій талантъ ставитъ его внѣ обычныхъ условій литературы, что онъ призванъ быть въ ней законодателемъ. Эта мысль овладѣла имъ тѣмъ сильнѣе, что онъ самъ создалъ себѣ извѣстное одиночество. Въ тридцатыхъ годахъ, передъ большимъ путешествіемъ за границу, его литературныя отношенія ограничивались очень немногими людьми, можно даже сказать, только тремя лицами; это были Пушкинъ, Жуковскій и Плетневъ,—люди въ разныхъ отношеніяхъ очень авторитетные; но съ московскими друзьями онъ былъ гораздо дальше и держалъ ихъ на извѣстной дистанціи, напримѣръ, даже такихъ искренно преданныхъ друзей, какъ были Аксаковы,—впослѣдствіи онъ самъ довольно странно сознавался въ этомъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову (въ августѣ 1847): „...я скорѣе старался отталкивать отъ себя, чѣмъ привлекать всѣхъ тѣхъ, которые способны слишкомъ сильно любить; я и съ вами обращался нѣсколько не такъ, какъ бы слѣдовало",—и Аксаковы должны были бы признать, что это правда. Отъ остального литературнаго міра Гоголь былъ уже совершенно далекъ и безъ сомнѣнія опять намѣренно. Нелегко сказать, почему это было; но извѣстно, напримѣръ, что какъ Пушкинъ имѣлъ малодушіе скрывать отъ своихъ друзей сношенія съ Бѣлинскимъ, такъ имѣлъ это малодушіе и Гоголь. Была ли это боязнь встрѣтиться съ независимымъ сужденіемъ, какого могло не выносить его самолюбіе, боязнь открыть свои слабыя стороны (какъ, напр., разсказываютъ подобное объ его опасеніяхъ относительно Шульгина, во времена его профессуры), или такъ велико было опасеніе передъ друзьями,—во всякомъ случаѣ это отчужденіе отъ литературнаго круга, независимаго отъ его друзей и въ которомъ именно совершалась тогда страстная работа надъ художественными и общественными идеями, отразилось на Гоголѣ несомнѣннымъ ограниченіемъ его горизонта. Избѣгая этого общенія, Гоголь искусственно создавалъ свое одиночество, лишалъ себя возможности провѣрки своихъ мыслей, терялъ пониманіе не только литературныхъ идей своего времени, но въ сущности терялъ и возможность пониманія того, что̀ дѣлалось въ русской жизни, — какъ послѣ въ „Выбранныхъ Мѣстахъ" и оказалось.

Такъ было и до поѣздки за границу, и потомъ, когда онъ пріѣзжалъ въ Россію въ 1839 и въ 1841 г., и когда вернулся окончательно домой. За границей одиночество было полное: тамъ онъ бывалъ или буквально одинокимъ, или встрѣчался съ людьми для которыхъ онъ былъ авторитетомъ или недотрогой, не терпѣвшимъ противорѣчій. Въ особенности не допускались вопросы объ его литературномъ трудѣ. Составивъ себѣ уже давно представленіе о высокомъ достоинствѣ художника, Гоголь развилъ его теперь до послѣдняго предѣла: это—жрецъ, учитель, прорицатель. Въ лирическихъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“ высказалось это въ извѣстныхъ восторженныхъ, но туманныхъ тирадахъ; но осталось и болѣе опредѣленное изображеніе этого возвышеннаго значенія художника въ повѣсти „Портретъ“. Эта повѣсть, написанная первоначально въ 1834 и напечатанная въ „Арабескахъ“, была потомъ передѣлана Гоголемъ около 1841 года, въ то самое время, когда онъ заканчивалъ первый томъ „Мертвыхъ Душъ“. Двѣ редакціи повѣсти весьма характерны для опредѣленія взглядовъ Гоголя на художественное творчество. Это—двѣ ступени, указывающія послѣдовательное развитіе его взгляда. Въ первой редакціи исторія портрета есть полу-фантастическій разсказъ, гдѣ писатель поучаетъ, что трудъ художника долженъ быть преданнымъ служеніемъ искусству, отвергающимъ житейскіе соблазны и независимымъ отъ легкомысленныхъ вкусовъ свѣтской толпы: погоня за мишурной славой, за богатствомъ можетъ убить въ художникѣ священный огонь и обратить его въ ничтожество. Во второй редакціи, поученіе возведено въ торжественную проповѣдь, а художникъ, создавшій роковой портретъ подъ внушеніемъ злого духа и потомъ понявшій свое заблужденіе и въ монашескомъ отшельничествѣ возвысившійся до религіознаго энтузіазма,—этотъ художникъ, къ которому авторъ въ первой редакціи относился какъ спокойный, почти равнодушный разсказчикъ, теперь возведенъ въ апоѳеозъ. Нѣтъ сомнѣнія, что проповѣдь этого художника-отшельника представляетъ именно мысли самого Гоголя, какъ онѣ складывались во время работы надъ „Мертвыми Душами“.

Вотъ слова этого художника-аскета: „Блаженъ избранникъ, владѣющій высокою тайною созданья. Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души... Намекъ о божественномъ,

небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненья мірского; во сколько разъ творенье выше разрушенья; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свѣтлой души своей выше всѣхъ несмѣтныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны,—во столько разъ выше всего, что̀ ни есть на свѣтѣ, высокое созданье искусства... Оно не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу". Такимъ образомъ искусство становится прямо не только дѣломъ религіознымъ, но дѣломъ подвижничества, самымъ высшимъ дѣломъ человѣка на землѣ,—и это высокое постиженіе искусства достигнуто было въ данномъ случаѣ слѣдующимъ образомъ. Когда художникъ увидѣлъ, что, писавши тотъ портретъ, онъ подчинился губительному внушенію злого духа, онъ ушелъ въ монастырь; тамъ ему предложили написать главный образъ въ церковь, но онъ отказался, потому что его кисть была осквернена и онъ долженъ сначала очистить свою душу. „Онъ самъ увеличивалъ для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ, уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Онъ удалился, съ благословенья настоятеля, въ пустынь, чтобы быть совершенно одному. Тамъ изъ древесныхъ вѣтвей выстроилъ онъ себѣ келью, питался одними сырыми кореньями, таскалъ на себѣ камни съ мѣста на мѣсто, стоялъ отъ восхода до захода солнечнаго на одномъ и томъ же мѣстѣ съ поднятыми къ небу руками, читая безпрерывно молитвы,—словомъ, изыскивалъ, казалось, всѣ возможныя степени терпѣнья и того непостижимаго самоотверженья, которому примѣры можно развѣ найти въ однихъ только житіяхъ святыхъ. Такимъ образомъ, долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, изнурялъ онъ свое тѣло, подкрѣпляя его въ то же время живительною силою молитвы". Въ результатѣ этого пустынничества, питанья сырыми кореньями, стоянья съ поднятыми къ небу руками и т. д., было то, что когда онъ наконецъ взялся за картину и написалъ ее, она поразила всѣхъ святостью фигуръ и умиленный настоятель произнесъ: „Нѣтъ, нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небесъ почило на трудѣ твоемъ". Самъ художникъ является въ иконописныхъ очертаніяхъ. Разсказчикъ ожидалъ встрѣтить отшельника изможденнымъ, высохшимъ отъ вѣчнаго поста и бдѣнія, но было иное. Это былъ „прекрасный, почти божественный старецъ! И слѣдовъ изможденія не было замѣтно

на его лицѣ: оно сіяло свѣтлостью небеснаго веселья. Бѣлая, какъ снѣгъ, борода и тонкіе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвѣта разсыпались картинно по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самаго вервія, которымъ опоясалась его убогая монашеская одежда".

Этотъ художникъ-аскетъ, нѣчто въ родѣ Беато Анджелико, съ „вервіемъ" трапписта, несомнѣнно былъ для Гоголя идеаломъ художника вообще, какъ онъ представлялся ему теперь. Въ этомъ убѣждаютъ безпрестанныя указанія на высшую волю, которая повелѣваетъ его жизнью и его трудомъ,—давнія указанія, которыя теперь повторяются все съ большей настойчивостью; убѣждаютъ въ этомъ его тогдашнее религіозное настроеніе, возроставшее съ каждымъ годомъ; наконецъ, убѣждаютъ тѣ выраженія, въ какихъ онъ говоритъ о самыхъ „Мертвыхъ Душахъ" и другихъ произведеніяхъ, какія онъ задумалъ.

Трудно сказать, съ какого именно времени и при какихъ обстоятельствахъ религіозность Гоголя приняла это исключительное направленіе; но къ концу работы надъ первымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ" оно уже твердо установилось, а затѣмъ получало все болѣе рѣзкія формы. Переписка, собранная въ изданіи Кулиша и значительно обогащенная въ послѣднее время, доставляетъ много подробностей объ этомъ настроеніи Гоголя, хотя не разрѣшаетъ сполна вопроса. Въ сороковыхъ годахъ, къ которымъ относятся письма, помѣщенныя въ „Выбранныя Мѣста", мы видимъ Гоголя въ исключительномъ кругу его друзей и корреспондентовъ съ постоянною проповѣдью о молитвѣ, о путяхъ Провидѣнія, о покаяніи и смиреніи, при чемъ онъ самъ постоянно переходитъ отъ самообличенія и уничиженія къ высокомѣрному тону прорицателя и моральнаго руководителя, то елейнаго, то грубаго. Друзья и корреспонденты, какъ выше замѣчено, собрались изъ людей, которые не способны были держаться относительно его самостоятельно, даже когда онъ впадалъ въ явную крайность и въ противорѣчіе съ собственною проповѣдью смиренія и братолюбія. Между тѣмъ крайностей и противорѣчій было не мало... Гоголь наконецъ давалъ не только религіозные совѣты, но и житейскія наставленія, которыя бывали иногда по истинѣ поразительны, какъ поразительно и то, что они видимо принимались безъ возраженій,—напримѣръ, наставленія помѣщику, какъ онъ долженъ управлять своими крѣпостными и гонять ихъ на работу „съ Евангеліемъ въ рукахъ"; наставленія о томъ, что „нужно любить Россію", обращенныя къ пожилому и заслуженному человѣку, какъ неопытному юношѣ, хотя тотъ бывалъ уже гу-

бернаторомъ, а потомъ сдѣлался синодальнымъ оберъ-прокуроромъ; наставленія А. О. Смирновой (жившей тогда въ Калугѣ, гдѣ мужъ ея былъ губернаторомъ) и т. д... На „Мертвыхъ Душахъ“ это отразилось уже во второмъ томѣ.

Издавая первый томъ „Мертвыхъ Душъ“, Гоголь обѣщалъ какое-то дальнѣйшее широкое продолженіе своего труда: думаютъ, что это продолженіе развивалось въ его фантазіи въ грандіозную трилогію, нѣчто въ родѣ „Божественной Комедіи“ Данта“ [1]. Какъ доказываютъ новѣйшія изслѣдованія, этого широкаго плана не было, однако, въ то время, когда Гоголь впервые задумывалъ свое произведеніе. Повидимому, сначала онъ имѣлъ въ виду только рядъ картинъ въ томъ же духѣ, какой выработался передъ тѣмъ въ его повѣстяхъ и комедіяхъ, только болѣе широкій, захватывавшій болѣе разнообразные слои и области русской жизни. Такъ и были исполнены эти поразительныя изображенія въ первой части его труда; но къ концу работы въ его умѣ, въ его фантазіи и, наконецъ, въ его религіозномъ чувствѣ успѣлъ сложиться упомянутый образъ художника-аскета, который въ концѣ концовъ сполна имъ овладѣлъ. Шумный успѣхъ новаго произведенія указалъ Гоголю совсѣмъ не то, что̀ хотѣли сказать ему восхищенные почитатели. Онъ извлекъ отсюда не тотъ выводъ, что русское общество и литература цѣнятъ въ немъ великаго художника, правдиво изображающаго русскую дѣйствительность и, наконецъ, вложившаго въ это изображеніе свою субъективность, т.-е. свое личное участіе въ тѣхъ впечатлѣніяхъ, какія даетъ эта дѣйствительность, печаль о мрачныхъ явленіяхъ русской жизни или восторженное ожиданіе ея свѣтлаго развитія въ будущемъ. Гоголь увидѣлъ другое; онъ убѣдился, что призванъ быть учителемъ общества, долженъ не только изображать данныя формы жизни, но давать уроки, и для этого направить свой трудъ на созданіе идеальныхъ лицъ, которыя могли бы служить ищущему уроковъ обществу нравственными и практическими образцами, а въ заключеніе ему мечталась какая-то блистательная картина, которая должна была принести „примиреніе“, потому что въ „примиреніи“ представлялась ему послѣдняя цѣль искусства. Съ точки зрѣнія художника-аскета ему стало казаться, что и его прежнія произведенія заключали въ себѣ ошибку, что онѣ бывали легкомысленнымъ смѣхомъ, внушали раздраженіе и чуть ли не были внушены тѣмъ злымъ духомъ, котораго нужно было изгнать подвигами благочестія, чтобы возвыситься до

[1] Объясненія Алексѣя Веселовскаго.

истинной, священной задачи искусства. Онъ потомъ и отвергъ свои прежнія сочиненія... Исполненіе второй части „Мертвыхъ Душъ“,—которая должна была стать, по крайней мѣрѣ, переходомъ къ этой высшей степени искусства,—было истинной Сизифовой работой: если и раньше Гоголь чрезвычайно медленно работалъ надъ своими произведеніями, постоянно ихъ измѣняя и исправляя, то теперь онъ дошелъ въ этомъ до послѣдняго предѣла. Вторая часть „Мертвыхъ Душъ“ была написана и—была уничтожена [1]. Послѣ того, какъ „Выбранныя Мѣста“ были изданы и произвели бурю, которая такъ потрясла Гоголя, онъ писалъ въ „Авторской Исповѣди“ въ 1847: „Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными мною „Мертвыми Душами“, не могу не возблагодарить за насланное мнѣ внушеніе ихъ уничтожить. Въ концѣ моихъ писемъ я все-таки стою на высшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ „Мертвыхъ Душахъ“. Темнота выраженія во многихъ мѣстахъ сбиваетъ только читателя, но еслибы пояснѣе выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ „Мертвыхъ Душахъ“ гораздо больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая опредѣлительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательнѣй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны“. Это „переходное состояніе“ осталось навсегда. Гоголь поставилъ себѣ задачу, которая была невыполнима, потому что невыполнимо было создать произведеніе въ духѣ „Выбранныхъ Мѣстъ“ и сохранить въ немъ тѣ особенности его художественнаго творчества, которыя дали ему славу и составляли его дѣйствительную силу. Примѣръ „Выбранныхъ Мѣстъ“ могъ показать ему, что общество отнеслось къ нему совершенно иначе, когда онъ явился передъ нимъ самоувѣреннымъ моралистомъ, чѣмъ когда онъ былъ только художникомъ, и, однако, Гоголь радовался, что уничтожилъ вторую часть „Мертвыхъ Душъ“, которая еще не могла сравняться съ „Выбранными Мѣстами“.

Сизифова работа заключалась не только въ томъ, чтобы найти для продолженія „Мертвыхъ Душъ“ искомое „примиреніе“, найти положительные типы и идеальныя лица, которыя могли бы служить нравоучительными образцами, вообще установить религіозно-консервативное направленіе,—но и въ томъ, чтобы собрать для этого пригодный фактическій матеріалъ. Мучительность работы была въ томъ, что когда у Гоголя издавна былъ богатый

[1]) Это въ первый разъ; а во второй разъ онъ уничтожилъ другую рукопись второй части передъ смертью. Ср. четвертое письмо по поводу „Мертвыхъ Душъ“ (1846, въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“).

запасъ типовъ отрицательныхъ и картинъ мрачныхъ, для типовъ положительныхъ у него совсѣмъ не было этого запаса и ихъ надо было выдумывать. Во второмъ томѣ остаются еще проблески прежняго дарованія, гдѣ онъ затрогивалъ старыя темы, но очевидна и безжизненная натянутость, гдѣ онъ хотѣлъ изображать „примирительные" типы. Недоставало матеріала и въ другомъ отношеніи. Гоголю казалось, что онъ знаетъ Россію—только на этомъ основаніи онъ могъ имѣть притязаніе поучать и прорицать; но въ другія минуты онъ самъ признавался, что знанія недоставало, и онъ поручаетъ своимъ корреспондентамъ присылать ему всякія свѣдѣнія, нужныя для его работы, напримѣръ, о самыхъ серьезныхъ вещахъ, какъ цѣлое общественное настроеніе, и о мелкихъ подробностяхъ быта, администраціи и т. п. Самыя „Выбранныя Мѣста" онъ издавалъ затѣмъ, чтобы вызвать мнѣнія и возраженія, напримѣръ, письма къ помѣщикамъ и должностнымъ лицамъ напечаталъ затѣмъ, чтобы его „опровергнули приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ". Жизнь въ „прекрасномъ далекѣ" отплачивалась потерей пониманія простѣйшихъ, бросавшихся въ глаза явленій домашнихъ; поставивъ себя въ невозможную обстановку работы, онъ радуется, что по его словамъ пріобрѣлъ даже „умѣнье выспрашивать" заѣзжихъ соотечественниковъ, „и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе недѣли" (!). Но, какъ видно изъ второй части „Мертвыхъ Душъ" и изъ самихъ „Выбранныхъ Мѣстъ", онъ узнавалъ не совсѣмъ то, что̀ дѣйствительно было бы нужно знать. Въ то же время онъ ставилъ себѣ самые широкіе вопросы о человѣкѣ. „Человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ". А затѣмъ его интересы поднялись еще выше: „Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ Немъ ключъ къ душѣ человѣка, и что еще никто изъ душезнателей не выходилъ на ту высоту познанія душевнаго, на которой стоялъ Онъ. Повѣркой разума повѣрилъ я то, что̀ другіе понимаютъ ясной вѣрой, и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой"... „Итакъ, на нѣкоторое время за-

нятіемъ моимъ сталъ не русскій человѣкъ и Россія, но человѣкъ и душа человѣка вообще"... „Жизнь я преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми—и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу".

Такъ расширялись запросы писателя. Не мудрено, что съ такой точки зрѣнія онъ впадалъ въ недовольство своимъ трудомъ и жегъ второй томъ „Мертвыхъ Душъ". Но онъ продолжалъ работать и рядомъ съ необозримостью поставленной задачи, передъ которой онъ чувствовалъ недостаточность своихъ силъ, онъ все-таки забывалъ о своемъ смиреніи и принялъ высокомѣрный тонъ учительства („Выбранныя Мѣста"), въ которомъ онъ самъ, въ „Авторской Исповѣди", призналъ „нелѣпицы"... Писатель потерялъ дорогу. Если отъ простого изображенія жизни, какое диктовано было ему внушеніями его дарованія и чувства, онъ переходилъ въ возвышенную область религіознаго созерцанія, странно было вообще усиливаться внести это созерцаніе въ комическое произведеніе, задуманное въ совсѣмъ иныхъ условіяхъ; призывать „вѣдателя дѣйствій человѣческихъ и всѣхъ малѣйшихъ нашихъ душевныхъ тайнъ" для того, чтобы изобразить мошенника, какъ Чичиковъ, могло быть, наконецъ, профанаціей высокаго чувства... Съ другой стороны, тяжелое впечатлѣніе производятъ поиски Гоголя за тѣмъ фактическимъ матеріаломъ, который былъ ему нуженъ для продолженія труда, это мелкое выспрашиваніе случайныхъ знакомыхъ, встрѣчаемыхъ за границей, желаніе вызвать возраженія съ „анекдотическими фактами", эти жалобы на трудность изученія громадной Россіи, на разноголосицу мнѣній,—когда вмѣсто всего этого надо было собирать всѣ эти данныя прямо среди русской жизни, въ общеніи съ просвѣщеннѣйшими людьми, которымъ и русская жизнь и вопросы нравственные были столько же дороги и близки, при помощи изученій, какія возникали даже въ тѣ мрачныя времена и могли бы, напримѣръ, указать совсѣмъ иную постановку крестьянскаго вопроса, чѣмъ та, какую дѣлалъ Гоголь въ письмѣ къ помѣщику; но общества Гоголь избѣгалъ и особливо литературнаго и университетскаго; наукѣ онъ былъ чуждъ, не вѣрилъ въ нее и не зналъ ея [1]), и, затрогивая, однако, самые коренные вопросы на-

[1]) Еще въ 1834 году онъ говорилъ, ссылаясь на Плетнева: „всѣ теоріи совершенный вздоръ и ни къ чему не ведутъ" (!); вѣроятно, такъ думалъ онъ и теперь.

ціональной и государственной жизни, онъ оставался въ нихъ безпомощнымъ самоучкой.

И послѣ, когда съ полною неудачею „Выбранныхъ Мѣстъ“ нанесенъ былъ жестокій ударъ его высокомѣрнымъ и вмѣстѣ наивнымъ мечтамъ, онъ жаловался: „Итакъ, всего того, чтò мнѣ нужно, я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдѣлался требователенъ къ самому себѣ? Какъ полетѣть воображеньемъ,—еслибъ оно и было,—если разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вопросъ: „зачѣмъ?“... Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня? Зачѣмъ, наконецъ, были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человѣка? Зачѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности?“

Въ послѣднее время этотъ заключительный періодъ дѣятельности Гоголя, обнимающій неизданную имъ самимъ вторую часть „Мертвыхъ Душъ“ и „Выбранныя Мѣста“, нашелъ ревностныхъ защитниковъ, которые отвергаютъ прежнюю точку зрѣнія на „Выбранныя Мѣста“ какъ пустое легкомысліе, стараясь сдѣлать Гоголя послѣднихъ годовъ его жизни союзникомъ новѣйшаго обскурантизма! Задача неблагодарная и исторически фальшивая. Въ извѣстномъ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю, написанномъ въ порывѣ страстнаго негодованія, можно, при стараніи, указать крайности, но невозможно устранить тѣхъ недоумѣній и осужденій, которыя вызваны были книгой Гоголя у ея современныхъ читателей. Бѣлинскій былъ не одинъ съ его впечатлѣніями; таковы же были статьи Н. Ф. Павлова, Губера; таковы были возраженія самихъ Аксаковыхъ; приходили въ недоумѣніе даже друзья Гоголя, которымъ онъ поручалъ изданіе книги... Гоголю, при его складѣ мыслей, вѣроятно была просто непонятна основа многихъ возраженій,—слишкомъ различны были точки зрѣнія; это можно думать по содержанію его отвѣта Бѣлинскому и по „Авторской Исповѣди“. Гоголь остался при своей системѣ мнѣній, потому что другой не было и поздно было ее создавать; но по тону „Исповѣди“ можно видѣть, что справедливость нѣкоторыхъ возраженій онъ призналъ. Еще до полученія письма Бѣлинскаго, вѣроятно по первымъ извѣстіямъ о впечатлѣніи, какое произвела книга, онъ говорилъ, что „краснѣетъ

отъ стыда“ за нее, отвергалъ какъ нелѣпость заключеніе, что онъ отрекся отъ искусства, и самъ отвергалъ возможность художественнаго произведенія, „примиряющаго съ жизнью“: „Повѣрь, что русскаго человѣка, покуда не разсердишь, не заставишь заговорить. Онъ все будетъ лежать на боку и требовать, чтобы авторъ попотчивалъ его чѣмъ-нибудь примиряющимъ съ жизнью (какъ говорится). Бездѣлица! какъ будто можно выдумать это примиряющее съ жизнью“ [1]).

Возвращаясь въ Россію, Гоголь совершилъ путешествіе въ Іерусалимъ, которое также считалъ необходимымъ для своего душевнаго дѣла и для своего писательства. Но путешествіе оставило только прозаическія впечатлѣнія. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ въ Россіи—въ деревнѣ, въ Одессѣ, въ Москвѣ. Здѣсь онъ и кончилъ свою жизнь, истребивши передъ смертью второй томъ „Мертвыхъ Душъ“, надъ которымъ еще работалъ... Указывая, какъ въ послѣдніе годы его жизни, рядомъ съ утратою здоровья, Гоголь терялъ и художественную воспріимчивость, его біографъ говоритъ: „Считаемъ не лишнимъ указать на это въ виду тяжкихъ и суровыхъ обвиненій, которыя часто сыпались на голову Гоголя и теперь продолжаютъ тревожить его память. Между тѣмъ, если вспомнить всю горечь неудачно-сложившейся жизни, и эти тоскливыя сумерки преждевременнаго ранняго ея угасанія; если вспомнить болѣе, чѣмъ десятилѣтнюю упорную борьбу съ безпощаднымъ процессомъ разрушенія и временами сознаваемое роковое несоотвѣтствіе между взятой на себя колоссальной задачей и невозможностью исполнить ее, то трудно сказать, найдется ли не только въ русской, но и во всемірной литературѣ еще писатель, личная судьба котораго была бы такъ безпредѣльно несчастна. Въ ужасномъ увяданіи Гоголя въ послѣднее десятилѣтіе его жизни, по нашему мнѣнію, нисколько не менѣе трагизма, нежели въ его эффектномъ, сильно дѣйствующемъ на воображеніе истребленіи трудовъ многихъ лѣтъ въ порывѣ отчаянія, охватившаго его въ предсмертный часъ“ [2]).

„Роковое несоотвѣтствіе“ получало тѣмъ болѣе трагическій характеръ, что писатель, не довольствуясь своимъ могущественнымъ, но непосредственнымъ и инстинктивнымъ творчествомъ, стремился возвысить его до христіанскихъ идеаловъ и въ своемъ произведеніи дать не только картину человѣческой испорченности, но и картину человѣческаго просвѣтлѣнія. Ему казалось, что эти различныя ступени нравственнаго состоянія онъ можетъ

[1]) Сочиненія и письма Гоголя, т. VI, стр. 375—377 и далѣе.
[2]) Шенрокъ, III, стр. 416.

провести въ предѣлахъ русской жизни: онъ строитъ себѣ самое возвышенное идеалистическое представленіе о русскомъ народѣ въ его возможномъ будущемъ развитіи; настоящее его не удовлетворяло, но тѣмъ сильнѣе онъ вѣровалъ въ то великое будущее, на которое допускали надѣяться необыкновенные задатки русскаго народнаго характера. Еще въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ онъ задавалъ себѣ эти мистическіе вопросы о томъ, куда стремится Русь: „остановился пораженный божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба?“ Онъ самъ вѣрилъ, что нѣкогда придетъ „грозная вьюга вдохновенія“ и послышится „величавый громъ другихъ рѣчей“.

Силъ Гоголя недостало для исполненія такой задачи; самый идеалъ свой онъ понялъ односторонне; но никто изъ русскихъ писателей не ставилъ такъ высоко этого идеала, не былъ преданъ ему такъ страстно, не выносилъ для него такой мучительной борьбы. Онъ не хотѣлъ довольствоваться уступками и условными формами, съ которыми связано столько лжи, и искалъ въ жизни и въ искусствѣ настоящаго христіанства. Эти мечты владѣли имъ съ давнихъ поръ. Онѣ сказались въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ извѣстными порывами лирическаго энтузіазма, но еще въ половинѣ 1838 года онъ говорилъ: „огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его“, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пишетъ, что „еще одинъ Левіаѳанъ затѣвается... Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ“... Левіаѳанъ остался намекомъ и, вѣроятно, слился съ тѣмъ грандіознымъ планомъ, какой создавалъ Гоголь для продолженія „Мертвыхъ Душъ“. И этотъ планъ остался неисполненнымъ: Гоголь не далъ многосторонняго изображенія русской жизни, не развилъ русскаго народнаго идеала, но его творенія, отмѣченныя глубокимъ реализмомъ и вмѣстѣ психологической проницательностью, горячей любовью къ человѣку и полу-сознаннымъ, но сильнымъ общественнымъ чувствомъ, стали завѣтомъ для дальнѣйшаго развитія русской литературы, гдѣ его преемниками явились Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ, Достоевскій и гр. Л. Н. Толстой.

Николай Васил. Гоголь, род. 19 марта 1809, въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ, на границѣ полтавскаго и миргородскаго уѣздовъ; умеръ въ Москвѣ 21 февраля 1852.

Главные факты біографіи и литературной дѣятельности:

— Дѣтство въ деревнѣ.

— Съ мая 1821 по іюнь 1828, въ гимназіи высшихъ наукъ въ

Нѣжинѣ, сначала своекоштнымъ, потомъ пансіонеромъ. Товарищемъ его былъ, между прочимъ, Несторъ Кукольникъ, съ которымъ однако онъ никогда не сходился.

— Въ декабрѣ 1828, выѣхалъ въ Петербургъ.

— 1829, изданіе идилліи: „Ганцъ Кюхельгартенъ", подъ псевдонимомъ В. Алова. Въ августѣ и сентябрѣ, поѣздка моремъ за границу въ Любекъ.

— 1830, поступленіе на службу въ департаментъ удѣловъ (до 1832). Въ началѣ года, въ „Отеч. Запискахъ" Свиньина явился „Вечеръ накануне Ивана Купала", съ переправками редакціи. Участіе въ изданіяхъ бар. Дельвига, знакомство съ Жуковскимъ и Плетневымъ.

— 1831, преподаваніе въ Патріотическомъ институтѣ и учительство въ аристократическихъ домахъ. Знакомство съ Пушкинымъ.

— 1831, 1832 „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки". Въ 1832 поѣздка домой, черезъ Москву, гдѣ завязаны знакомства съ Погодинымъ, Максимовичемъ, Щепкинымъ, С. Т. Аксаковымъ.

— Съ 1833, хлопоты объ университетской каѳедрѣ въ Кіевѣ; потомъ онъ получаетъ каѳедру въ Петербургѣ, но вскорѣ и оставляетъ.

— 1835, „Арабески", гдѣ кромѣ статей по исторіи искусства появились: „Портретъ", „Невскій Проспектъ", „Записки сумасшедшаго". Въ томъ же году—„Миргородъ", гдѣ: „Старосвѣтскіе помѣщики", „Тарасъ Бульба", „Вій", „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ".

— Съ 1836 въ „Современникѣ" Пушкина, потомъ Плетнева (1842), явились „Шинель", „Коляска", „Портретъ" въ передѣланномъ видѣ. Въ томъ же году былъ напечатанъ „Ревизоръ", задуманный года два передъ тѣмъ. Другія пьесы: „Женитьба" (первые наброски въ 1833), „Игроки", „Утро дѣлового человѣка" и др. явились частію въ „Современникѣ" (1835), частію въ изданіи сочиненій, 1842.—Въ іюнѣ 1836, отправился за границу, гдѣ прожилъ, съ перерывами поѣздокъ въ Россію, въ теченіе многихъ лѣтъ. Въ Парижѣ встрѣтился съ А. О. Смирновой, съ которой тогда сблизился.

— 1837, въ Парижѣ узналъ о смерти Пушкина, страшно его поразившей. Въ мартѣ, въ Римѣ, который сталъ для него какъ бы второй родиной. Въ Римѣ много работалъ, особливо надъ „Мертвыми Душами", задуманными въ 1835.

— 1839, осенью, поѣздка въ Россію, пребываніе въ Москвѣ и Петербургѣ; послѣ того, опять за границей.

— 1841, въ сентябрѣ, поѣздка въ Россію, для печатанія „Мертвыхъ Душъ".

— 1842, выходъ въ свѣтъ книги, въ Москвѣ. Въ іюнѣ, возвращеніе за границу. Давно назрѣвавшая наклонность къ піэтизму окончательно установилась.

— 1847, вышли въ Спб. „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями". Большинство писемъ относится къ 1845 и 1846 годамъ.

— 1848, въ началѣ, отплылъ изъ Италіи въ Палестину, откуда черезъ Константинополь вернулся въ Россію, жилъ въ Одессѣ, въ деревнѣ у матери, къ сентябрю переѣхалъ въ Москву.

— 1849—1851, провелъ въ Москвѣ, въ Калугѣ у Смирновой (мужъ

ея былъ тамъ губернаторомъ), дома въ деревнѣ, въ Одессѣ; съ осени 1851 поселился въ Москвѣ, въ домѣ гр. А. П. Толстого.

— 1852, февраль, смерть Гоголя. Погребеніе въ Даниловомъ монастырѣ.

Послѣ изданій, сдѣланныхъ самимъ Гоголемъ, важны особенно два:— „Сочиненія и письма Н. В. Гоголя". Изданіе Кулиша, въ шести томахъ. Спб. 1857, гдѣ два послѣдніе тома, впослѣдствіи не повторенные, заняты письмами Гоголя;—„Сочиненія", изданіе 10-е. Т. I—V, подъ ред. Н. Тихонравова. М. 1889—1890; т. VI—VII, по плану и матеріаламъ Тихонравова изданные В. Шенрокомъ. Спб. 1896. Это—ученое изданіе, съ текстомъ, исправленнымъ по рукописямъ и собственнымъ изданіямъ Гоголя, и съ обширнымъ комментаріемъ, гдѣ изложена исторія каждаго изъ произведеній Гоголя съ ихъ разными редакціями, на основаніи сохранившихся рукописей, указаніи переписки и иныхъ данныхъ. Въ изданіе не вошла ранѣе изданная книжка: „Ревизоръ", первоначальный сценическій текстъ, извлеченный изъ рукописей Н. Тихонравовымъ. М. 1886.—Матеріалъ писемъ, собранный Кулишомъ, впослѣдствіи очень расширился новыми сообщеніями въ „Р. Старинѣ", въ „Р. Архивѣ", „Вѣстникѣ Европы" и пр. Для обзора писемъ въ изданіи Кулиша необходимъ „Указатель къ письмамъ Гоголя", составленный В. Шенрокомъ (2-е изд. М. 1888), гдѣ разъяснены разныя цензурныя умолчанія, особливо произвольныя буквы, поставленныя вмѣсто именъ.

Первымъ опытомъ біографіи была книга (раньше, статьи въ „Современникѣ"):—„Опытъ біографіи Г., со включеніемъ до сорока его писемъ, соч. Николая М." Спб. 1854. „Николай М." означалъ П. А. Кулиша, которому въ то время запрещено было являться въ литературѣ. Это—сплошной панегирикъ; но уже вскорѣ авторъ сталъ желчно осуждать малороссійскія повѣсти Г. въ „Р. Бесѣдѣ", 1857, и въ „Основѣ", противъ чего возсталъ М. А. Максимовичъ.

— Н. Чернышевскій, въ „Современникѣ" 1855—1857; въ отдѣльныхъ изданіяхъ: „Очерки Гоголевскаго періода русской литературы". Спб. 1892; „Критическія статьи". Спб. 1892.

— Многочисленныя воспоминанія о Г.: С. Т. Аксакова, П. В. Анненкова, Л. Арнольди, Н. В. Берга, Я. К. Грота, М. Погодина, кн. Н. В. Репниной, А. О. и О. Н. Смирновой (Записки А. О. Смирновой. Изъ записныхъ книжекъ 1826—1845 гг. Часть I. Спб. 1895), гр. В. А. Соллогуба и др. Въ особенности цѣнны для внутренней исторіи Г. разсказы Анненкова и Аксакова; воспоминанія г-жи Смирновой, гдѣ передаются разсказы ея матери, очень любопытны, но достовѣрность ихъ составляетъ вопросъ, до сихъ поръ невыясненный.

— Біографическій матеріалъ о Гоголѣ обстоятельно обработанъ въ книгѣ В. И. Шенрока: „Матеріалы для біографіи Гоголя", 4 тома. М. 1892—1898.

— Обзоры литературы о Гоголѣ дѣлались неоднократно:—Геннади, Справочный Словарь, s. v.;—С. Пономаревъ, въ „Извѣстіяхъ Нѣжинскаго филологич. Института" за 1882;—Горожанскій, „Библіографическій указатель о Н. В. Гоголѣ отъ 1829 по 1882 г.", въ приложеніи къ „Р. Мысли" 1883;—вкратцѣ, въ книгѣ Шенрока.

— Энцикл. Словарь, К. К. Арсеньева, s. v.

Объ историческомъ значенiи Гоголя:—Бѣлинскiй, съ первыхъ его критическихъ статей („Литературныя мечтанiя“, „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“) до послѣднихъ статей о „Мертвыхъ Душахъ“ (во второмъ изданiи) и о „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“;—въ упомянутыхъ книгахъ Чернышевскаго еще болѣе опредѣленъ взглядъ Бѣлинскаго на историческое значенiе Г. въ развитiи русской литературы, и въ частности отношенiе Гоголя къ Пушкину и самостоятельность перваго въ его повѣстяхъ;—„Характеристики литер. мнѣнiй отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“, изд. 2-е. Спб. 1890;—В. И. Водовозовъ, Новая р. литература, 2-е дополненное изданiе. Спб. 1870, стр. 322—368;—Скабичевскiй, „Сочиненiя“. Спб. 1890 (т. II, объ историческомъ романѣ), и его же „Исторiя новѣйшей русской литературы“. Спб. 1891.

— Алексѣй Веселовскiй, „Этюды и характеристики“. М. 1894, стр. 550—609; „Гоголь и Чаадаевъ“ въ „В. Евр.“ 1895, сентябрь.

— Н. В. Волковъ, Къ исторiи русской комедiи. I. Зависимость „Ревизора“ Гоголя отъ комедiи Квитки „Прiѣзжiй изъ столицы“. Спб. 1899. Доказавъ эту зависимость, самъ авторъ замѣчаетъ въ концѣ: „Можетъ быть, безсмертная комедiя Гоголя унижается этою зависимостью отъ давно всѣми забытой комедiи Квитки? Но развѣ можно считать униженiемъ для великолѣпнаго рубина, когда указываютъ, что элементъ, его образующiй, есть окрашенная разновидность безводной глины?“

— Въ послѣднее время „Выбранныя Мѣста“ находили защитниковъ, какихъ Гоголь не имѣлъ даже между близкими друзьями въ свое время,—а именно, цѣлое настроенiе (которое было болѣзненное) считалось правильнымъ, и практическiя наставленiя (между которыми бывали прямо ребяческiя и фальшивыя) рекомендовались какъ разумныя. Такова книга П. А. Матвѣева: „Н. В. Гоголь и Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ (въ „Р. Вѣстникѣ“ 1893 и 1894, и отдѣльно), гдѣ авторъ находитъ вообще, что не Гоголь (въ этой книгѣ), а его критики заслуживаютъ осужденiя исторiи. Исторiю „Выбранныхъ мѣстъ“ и оцѣнку книги г. Матвѣева читатель найдетъ въ сочиненiи Ч. Вѣтринскаго (Вас. Чешихина): „Въ сороковыхъ годахъ“. М. 1899, стр. 221—263.

ГЛАВА XLV.

ЛЕРМОНТОВЪ И КОЛЬЦОВЪ.

Въ періодъ дѣятельности Гоголя началось и закончилось поприще двухъ поэтовъ разной величины, но изъ которыхъ каждый, вслѣдъ за своими предшественниками начала столѣтія, вносилъ въ русскую литературу новую поэтическую стихію, раньше совсѣмъ или почти совсѣмъ не затронутую. Лермонтовъ и Кольцовъ являлись новымъ свидѣтельствомъ того, что для литературы наступала пора самостоятельнаго развитія, и вмѣстѣ свидѣтельствомъ того богатства поэтической жизни, какое было для нея возможно.

Дѣятельность Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова и начало дѣятельности тѣхъ послѣдующихъ писателей, которыхъ можно назвать школой Пушкина и Гоголя, принадлежитъ второй четверти столѣтія, и обиліе художественнаго творчества въ эпоху, которая была далеко не благопріятна для просвѣщенія и общественной самодѣятельности, приводило многихъ историковъ этого литературнаго періода къ заключенію, что развитіе искусства и не зависитъ отъ условій общественныхъ и политическихъ, какъ самое содержаніе искусства стоитъ выше этихъ случайныхъ опредѣленій и вмѣстѣ съ тѣмъ независимо отъ какихъ-либо практическихъ требованій и примѣненій къ общественной жизни. Не говоря о теоретическомъ толкованіи чистаго искусства, будто бы свободнаго, отвлеченнаго, служащаго только идеѣ красоты, замѣтимъ, что историческая ссылка въ данномъ случаѣ не доставляетъ никакого доказательства. Обиліе художественнаго творчества только внѣшнимъ образомъ совпадало съ исторической эпохой, но не было ея порожденіемъ: художественныя силы созрѣвали по давнему процессу, ближайшей стадіей котораго были послѣднія десятилѣтія XVIII вѣка, затѣмъ эпоха двѣнадцатаго года и двадцатые

годы,—такъ было не только съ Жуковскимъ, но съ Пушкинымъ и Гоголемъ. Упорный консерватизмъ второй четверти столѣтія самъ по себѣ исключалъ возможность живой духовной дѣятельности: хронологически совпадавшее съ нимъ богатое поэтическое развитіе унаслѣдовано было отъ предъидущаго періода,—но относительно того, была ли эта эпоха благопріятна для самаго искусства, едва ли можетъ быть сомнѣніе. Одинъ Жуковскій могъ не чувствовать на себѣ стѣснительныхъ условій времени, но подъ конецъ даже ему пришлось испытать цензурныя запрещенія; для Пушкина и Гоголя эти стѣсненія бывали не разъ мучительной пыткой; Грибоѣдовъ не увидѣлъ полнаго изданія своего геніальнаго произведенія. Если въ этихъ частныхъ случаяхъ „чистое" искусство не осталось неприкосновеннымъ, то очевидно, что и цѣлое творчество было стѣснено: писатель не былъ свободенъ ни въ выборѣ темъ, ни въ способѣ ихъ обработки, для него была закрыта цѣлая область народнаго и общественнаго быта, однако, глубоко существенная; а съ другой стороны рядомъ съ этимъ осталась, безъ сомнѣнія, неразвитой цѣлая сторона въ самомъ дарѣ художественнаго изображенія. Въ литературѣ, даже въ рукахъ наиболѣе могущественныхъ писателей, было всегда множество недосказаннаго, и не закрѣпленное литературнымъ фактомъ, оно не переходило въ сознаніе общества,—не говоря о народной массѣ, которая въ теченіе всего этого времени пребывала въ состояніи первобытнаго невѣжества и обыкновенно даже не шла въ счетъ... Была одна сторона, которою описываемое время оказывало свою долю положительнаго вліянія: „слава" и „полный гордаго довѣрія покой", то-есть политическое значеніе Россіи во второй четверти столѣтія, питали національное чувство поэтовъ—хотя не всѣхъ. Но была и сторона обратная. Въ концѣ концовъ здѣсь было внутреннее противорѣчіе, отразившееся потомъ неблагопріятными послѣдствіями: это политическое значеніе носило реакціонный характеръ и внѣшняя слава сопровождалась внутреннимъ застоемъ. Заявленіе національнаго начала получило форму оффиціальной народности; послѣдняя далеко не совпадала съ народностью дѣйствительной и сливалась съ тою массою оффиціальной лжи, которая подкапывала, наконецъ, самыя силы государства, какъ это обнаружилось вскорѣ въ событіяхъ Крымской войны... Это положеніе вещей стало довольно рано понятно лучшимъ умамъ, но не могло быть высказано въ литературѣ, которая вслѣдствіе своего приниженнаго и стѣсненнаго положенія не могла исполнить своего дѣла: цѣлыя области жизни общественной, бытовыхъ отношеній, характеровъ

и типовъ, которые могли быть предметомъ художественнаго изображенія, были для него закрыты. Нѣтъ сомнѣнія, что эти внѣшнія условія литературы должны были дѣйствовать угнетающимъ образомъ на самую природу поэтическаго творчества: художественный замыселъ могъ сразу оказаться неисполнимымъ, и извѣстная доля содержанія была устранена изъ области художества. Все существо художества было связано, и было бы странно говорить при этомъ о чистомъ и свободномъ искусствѣ: метафизическое разсужденіе слишкомъ оспаривалось бы наглядными фактами.

Это было, напротивъ, не свободно выросшее изъ своихъ естественныхъ данныхъ развитіе искусства, а состояніе борьбы, гдѣ искусство еще только добивалось права на существованіе. Въ первый разъ внушенное образованіемъ, которое почерпалось изъ чужого источника и еще не успѣло установиться въ своемъ полномъ значеніи, это искусство впервые пріобрѣтало тогда свою независимость отъ чужихъ образцовъ, но жило все еще лишь въ тѣсномъ болѣе образованномъ кругу, не имѣло твердой почвы въ эстетическомъ воспитаніи общества, а тѣмъ менѣе въ понятіяхъ массы и даже во взглядахъ высшихъ сферъ, которымъ принадлежалъ безусловный контроль надъ всею жизнью общества, матеріальной и духовной,—насколько онѣ могли услѣдить за этою послѣднею. Когда, наконецъ, послѣ долгой школы геніальные таланты готовы были широко обнять содержаніе русской жизни и передать его въ произведеніяхъ богатаго поэтическаго творчества и тонко выработаннаго языка, въ массѣ общества лишь немногіе цѣнители способны были понять эти произведенія и силу, ихъ порождающую, увидѣть въ томъ и другомъ великое проявленіе національнаго генія, окружить ихъ своимъ уваженіемъ и удивленіемъ, признать въ нихъ залогъ еще болѣе широкаго развитія и самаго искусства, и національнаго сознанія,—но большинство продолжало и теперь смотрѣть на это искусство такъ же, какъ выучилось смотрѣть въ XVIII столѣтіи, видѣть въ немъ не поэтическое откровеніе національнаго духа, а только забаву, только украшеніе къ оффиціальной жизни, какимъ бывала нѣкогда ода, или наконецъ прихоть своевольнаго поэта. Такъ понималъ искусство весь нашъ XVIII вѣкъ: за литературой признавалась только роль чисто служебная; при невысокомъ уровнѣ просвѣщенія она считалась возможной только подъ строгимъ надзоромъ, а этотъ послѣдній руководился невѣжественнымъ состояніемъ большинства. Такимъ образомъ, когда явились наконецъ истинно великіе писатели, на нихъ легла

двоякая забота, и одна изъ нихъ была совершенно непосильна: имъ предстояло работать въ области самаго искусства, воплощать въ художественныхъ произведеніяхъ русское содержаніе, находить для него поэтическіе образы, овладѣть всѣми затаенными сокровищами языка,—но вмѣстѣ съ тѣмъ имъ предстояло объяснять и защищать самый свой трудъ, бороться съ невѣжествомъ, предразсудкомъ, рутиной, которые готовы были заподозрить и уничтожить все ихъ предпріятіе. Эта послѣдняя задача была для нихъ непосильна потому, что противъ нихъ были преданія вѣкового застоя, господствовавшія надъ всею русскою жизнью. Правда, необычайная прелесть новыхъ созданій русской поэзіи,—въ произведеніяхъ Жуковскаго, Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя и нѣсколькихъ поэтовъ второстепенныхъ, — подкупала самихъ строгихъ судей, литературныхъ и административныхъ, но этимъ пріобрѣтались только частныя уступки, а не признаніе самого дѣла: тяжелыя испытанія, какія приходилось переносить всѣмъ этимъ писателямъ, чтобы достигнуть права гражданства для своихъ произведеній, надолго остались заботой и для ихъ преемниковъ. Въ этой защитѣ правъ искусства была одна сторона, болѣе доступная для самихъ писателей: это была защита его идеальнаго значенія противъ такъ называемой „толпы". Съ ней приходилось встрѣтиться и Пушкину, и Гоголю: первый, въ знаменитыхъ стихотвореніяхъ, каралъ толпу за ея непониманіе, вознося надъ нею художника на такую высоту, гдѣ онъ рисковалъ наконецъ остаться одинъ,—и Пушкинъ готовъ былъ на это („ты царь: живи одинъ"); второй, въ „Театральномъ Разъѣздѣ", давалъ той же толпѣ восторженное толкованіе великаго значенія искусства. Но вопросъ все-таки не рѣшался: въ понятіяхъ величайшихъ русскихъ художниковъ первой половины вѣка онъ ставился такъ, что истинное искусство какъ будто рисковало не встрѣтить пониманія въ той средѣ, для которой оно должно было однако существовать, — но тогда оно теряло бы самую причину своего существованія. Пушкинъ, однако, не остановился на этой исключительной точкѣ зрѣнія; онъ все-таки искалъ и сочувствія толпы, и дѣйствія на нее. Еще болѣе этотъ вопросъ тревожилъ Гоголя: самое творчество его погибло въ стремленіи рѣшить непосильную задачу—какъ согласить свою художественную дѣятельность съ тѣмъ нравственнымъ идеаломъ, какой онъ себѣ создалъ, и который долженъ былъ служить именно къ поученію и исправленію ближнихъ, т.-е. общества.

Быть можетъ, оба великіе писателя, глубоко преданные искус-

ству, не вполнѣ сознавали значеніе историческаго момента, въ какой привелось имъ ставить этотъ многотрудный вопросъ. Имъ предстояло защищать дѣло искусства въ виду цѣлой исторической эпохи; на дѣлѣ, искомое пониманіе принадлежало только незначительному меньшинству, и именно тому, которое, опередивъ массу общества и заявляя болѣе высокія умственныя требованія, тѣмъ самымъ навлекало на себя подозрѣнія и преслѣдованія. Таково было положеніе вещей, въ которомъ проходила дѣятельность Пушкина и Гоголя и съ какимъ долженъ былъ встрѣтиться ихъ младшій геніальный современникъ, Лермонтовъ. Общія условія были тѣ же, и съ новой стороны передъ нимъ стоялъ тотъ же самый вопросъ. Какъ ни были исключительны характеръ и направленіе этого дарованія, какъ, повидимому, ни чуждался Лермонтовъ литературной среды, онъ сталъ новымъ участникомъ въ разрѣшеніи исторической задачи. Это рѣшеніе все болѣе и болѣе осложнялось, но также и опредѣлялось, и если съ одной стороны старая традиція за время его дѣятельности нисколько не измѣнилась, то съ другой все болѣе возростали просвѣтительныя силы, которыя боролись за установленіе русскаго искусства, нераздѣльнаго отъ интересовъ просвѣщенія и общественнаго самосознанія. Въ ряду писателей, которымъ принадлежала здѣсь великая заслуга, Лермонтовъ займетъ одно изъ самыхъ блестящихъ мѣстъ, какъ ни было кратко его поприще и самая жизнь, и хотя его историческій трудъ остался недовершеннымъ, едва начатымъ...

Появленіе великихъ историческихъ дѣятелей остается всегда необъяснимымъ: если общій процентъ выдающихся дарованій можно предположить равномѣрнымъ въ теченіе исторіи, то надо думать, что ихъ дѣятельность въ разные вѣка или направляется смотря по задачамъ времени, или же глохнетъ за отсутствіемъ питанія и приложенія силы; особенный приливъ дарованій въ извѣстной области можетъ свидѣтельствовать, что здѣсь сосредоточивается національный интересъ. Въ развитіи нашей литературы это обиліе геніальныхъ дарованій, слѣдовавшихъ быстро одно за другимъ, именно указывало, что она выступала на самостоятельную дорогу. И дѣйствительно, въ рукахъ Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, она создавала произведенія совершенно своеобразныя и такого художественнаго достоинства, что онѣ въ первый разъ могли бы занять мѣсто въ ряду изящнѣйшихъ созданій всемірной литературы.

Литературное поприще Лермонтова было такъ коротко, что безъ сомнѣнія должно видѣть въ его произведеніяхъ только

первые шаги; безплодно загадывать, чѣмъ могли бы завершиться эти начатки, но и то, что̀ было имъ сдѣлано, было чрезвычайно цѣннымъ пріобрѣтеніемъ литературы, указаніемъ на дальнѣйшее развитіе того, на чемъ остановились его, великіе предшественники... Выше было упомянуто, какъ послѣ школы XVIII вѣка возникало первое сознательное опредѣленіе искусства, высшаго художественно творческаго проявленія человѣческаго духа. Для Жуковскаго въ окраскѣ мечтательнаго романтизма, и въ согласіи съ его нравственно-религіозными идеями, „поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли", „поэзія есть добродѣтель". Пушкинъ еще близокъ къ этому опредѣленію, когда настаивалъ, что поэтъ созданъ „для звуковъ сладкихъ и молитвъ", но кромѣ молитвъ, въ его поэзіи нашли мѣсто самыя разнообразныя стороны личной и общественной жизни, отъ эпикурейской лирики до высокаго идеализма, до жесткой сатиры, наконецъ до спокойнаго эпическаго изображенія; искусство является свободной, до презрѣнія къ толпѣ, дѣятельностью творчества, основою и средоточіемъ котораго становится художественная красота; и въ этомъ опредѣленіи Пушкинъ, руководимый внушеніями собственной художественной натуры, сходился съ нарождавшимся поколѣніемъ теоретиковъ искусства, воспринимавшихъ ученія нѣмецкой философіи, на первый разъ Шеллинга, позднѣе Гегеля. Когда въ этомъ настроеніи своего творчества онъ обращался къ изображенію русской жизни, у него впервые получались правдивыя картины этой жизни въ ея прошломъ и настоящемъ, и онѣ стали потому первымъ заявленіемъ реализма, который съ тѣхъ поръ развился въ преобладающую черту русской поэзіи. Гоголь начиналъ свое литературное поприще безъ опредѣленныхъ теоретическихъ представленій о значеніи искусства, которыя стали выработываться у него только позднѣе, съ одной стороны подъ прямымъ вліяніемъ Пушкина, съ другой, подъ впечатлѣніями собственнаго творчества, различнымъ образомъ наводившими его на размышленія о внутреннемъ смыслѣ его дѣла. Особенность его собственнаго таланта, чрезвычайно развитая наблюдательность, лично психологическая и общественная, тонкій юморъ, направили его на изображеніе такихъ сторонъ русской жизни и вообще человѣческой природы, какія никогда раньше не встрѣчались у русскихъ писателей; и сила изображенія была такова, что произведенія Гоголя пріобрѣтали не только интересъ художественный, но также глубокій интересъ психологическій и наконецъ общественный. Теоретическія понятія Гоголя высказа-

лись двояко: во-первыхъ, въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ [1]) къ общему представленію объ искусствѣ, параллельному съ представленіями Пушкина, присоединилось объясненіе нравственнаго вліянія искусства; во-вторыхъ, въ сочиненіяхъ, принадлежащихъ его послѣдней порѣ [2]), это понятіе переродилось въ представленіе о художникѣ именно какъ учителѣ общества, который для того, чтобы достойно исполнять свою миссію, долженъ самъ воспитать себя для этого учительства,—въ концѣ концовъ художникъ Гоголя превращается въ аскета, какими бывали нѣкогда средневѣковые мистическіе художники и церковные учители... Безсознательно, но какъ бы заранѣе въ намѣренный противовѣсъ этой точкѣ зрѣнія Гоголя явилась поэзія Лермонтова. На мѣсто учительнаго самоотрицанія, гдѣ личность художника почти исчезала подъ смиреннымъ одѣяніемъ пустынника, становилась, напротивъ, именно личность съ настойчивыми эгоистическими требованіями, и такъ какъ эти требованія не могли найти себѣ удовлетворенія въ обществѣ, то она съ одной стороны замыкалась въ себѣ самой, а съ другой бросала этому обществу желчное и презрительное отрицаніе. Въ русской литературѣ снова являлось то байроническое настроеніе, которое однажды слегка и поверхностно промелькнуло у Пушкина и теперь, хотя опять односторонне, но гораздо глубже сказалось въ поэзіи Лермонтова, гдѣ оно проходило постоянной чертой и, при всей безотрадности своего тона, овладѣвало умами силою проникнутаго имъ чувства и необычайной красоты созданія. Опять ничего подобнаго не знала русская литература прежде, и великое значеніе новой поэзіи было въ томъ, что, хотя не довершенная, не сказавшая послѣдняго слова, эта столь субъективная поэзія сознательно и безсознательно сплеталась съ нравственными мотивами современнаго общества и въ концѣ концовъ давала новыя возбужденія личному и общественному чувству въ тѣхъ тяжелыхъ условіяхъ, которыя оно стремилось преодолѣть ради своего права и достоинства. Нѣкоторымъ историкамъ поэзіи Лермонтова казалось, что вслѣдствіе этой субъективности она была наполнена только эгоистическимъ чувствомъ, личнымъ раздраженіемъ, пессимизмомъ или прямо злою волею, и совсѣмъ лишена отношенія къ общественному интересу; Лермонтовъ былъ однако дѣтищемъ этого общества и уже тѣмъ самымъ, какъ бы ни казались исклю-

---

[1]) И также въ повѣстяхъ, гдѣ онъ изображалъ художниковъ: „Невскій проспектъ“ и „Портретъ“ (въ первой редакціи)..

[2]) „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, повѣсть „Портретъ“ (во второй редакціи).

чительными мотивы его поэзіи, связанъ съ этимъ обществомъ, какъ одно изъ его явленій; въ дѣйствительности эта связь была еще тѣснѣе.

Едва ли какое-нибудь явленіе въ исторіи русской поэзіи вызывало столько разнорѣчивыхъ сужденій, какъ поэзія Лермонтова. Было много причинъ этого разнорѣчія. Самъ поэтъ, поприще котораго такъ рано прервалось, не успѣлъ высказаться съ такой опредѣленностью, какъ всѣ другіе первостепенные представители нашей поэзіи, и оттого тѣ различныя стихіи, какія мы встрѣчаемъ въ его складывавшейся поэзіи, могли получать значеніе основного и коренного мотива. Съ другой стороны историки подходили къ нему съ разныхъ точекъ зрѣнія, и это впередъ побуждало ихъ дѣлать удареніе на какомъ-либо одномъ проявленіи его поэтическаго содержанія. Разнообразіе сужденій происходило и оттого, что для объясненія Лермонтова долго недоставало того біографическаго матеріала (до сихъ поръ далеко не полнаго), который былъ бы такъ необходимъ для изученія личности и для историко-литературнаго рѣшенія. Лермонтовъ былъ такъ далекъ отъ литературныхъ круговъ, которые могли питать особенный интересъ къ его поэтическому и теоретическому міровоззрѣнію и способны были оцѣнить его, и вообще былъ такъ скрытенъ, такъ избѣгалъ дѣлиться своими задушевными мыслями и вмѣстѣ представлялъ такія крайности самой возвышенной поэзіи и житейской необузданности, что оставался для современниковъ загадкой, какъ остается до сихъ поръ... Разнорѣчіе продолжается и теперь, когда прошло уже болѣе полъ-вѣка съ его кончины и когда собрано едва ли не все, что̀ можно было собрать для его біографіи и для исторіи его творчества по сохранившимся рукописямъ и біографическимъ даннымъ.

Не перечисляя варіацій въ сужденіяхъ о Лермонтовѣ, можно отмѣтить два главные мотива, на какихъ строится объясненіе Лермонтова въ настоящее время. Одинъ взглядъ вводитъ Лермонтова въ общій ходъ литературнаго развитія, ставя его въ связь съ развитіемъ предъидущимъ и съ содержаніемъ той общественной эпохи; другой даетъ Лермонтову исключительную роль, ставитъ его особнякомъ, не находитъ въ немъ элементовъ общественности, къ которой Лермонтовъ относился будто бы лишь отрицательно, разсматриваетъ его только съ точки зрѣнія чистаго искусства, гдѣ отводитъ ему мѣсто въ ряду первостепенныхъ поэтовъ всемірной литературы... Если въ поэзіи Лермонтова не легко установить процессъ, который не былъ доведенъ до конца—

не по волѣ поэта, и если иногда приходится прибѣгать къ гадательнымъ толкованіямъ, гдѣ у поэта недостаетъ ясно высказанной мысли и опредѣленнаго поэтическаго образа,—то съ другой стороны, когда говорятъ, что „исключительная особенность Лермонтова состояла въ томъ, что въ немъ соединялось глубокое пониманіе жизни съ громаднымъ тяготѣніемъ къ сверхчувственному міру"; что „нѣтъ другого поэта, который бы такъ явно считалъ небо своей родиной и землю—своимъ изгнаніемъ"; что „сожительство въ Лермонтовѣ безсмертнаго и смертнаго человѣка составляло всю горечь его существованія, обусловило весь драматизмъ, всю привлекательность, глубину и ѣдкость его поэзіи"; когда говорятъ это, даже признавая въ произведеніяхъ Лермонтова „чрезвычайную близость ихъ интересамъ дѣйствительности", у насъ ускользаетъ историческая почва и дѣятельность поэта остается внѣ пространства и времени. Но Лермонтовъ былъ несомнѣнно русскій поэтъ и данной эпохи; историческая связь съ нею даетъ ключъ и къ его поэзіи. Главной причиной его исторической неясности остается все-таки то, что его дѣятельность прервана была на половинѣ пути и осталось невысказаннымъ то, къ чему должно было привести жизненное и поэтическое развитіе.

Извѣстны результаты новѣйшихъ біографическихъ изслѣдованій о Лермонтовѣ. Натура исключительно богато одаренная, Лермонтовъ отъ природы надѣленъ былъ необычайной поэтической фантазіей и меланхолическимъ настроеніемъ, которое развивалось потомъ и подъ вліяніемъ его жизненныхъ условій. Потерявши рано мать, ребенокъ сталъ предметомъ семейнаго раздора между отцомъ и бабушкой и вскорѣ могъ быть свидѣтелемъ тяжелыхъ проявленій этого раздора; въ концѣ концовъ онъ остался на рукахъ бабушки, которая его боготворила и могла окружить его удобствами своего богатства. Онъ росъ балованнымъ баричемъ, повидимому въ очень тѣсномъ родственномъ кругу. Путешествіе на Кавказъ въ дѣтствѣ оставило сильное впечатлѣніе грандіозной природы и оригинальнаго восточнаго быта, которое дало потомъ роскошныя краски для его поэзіи и просторъ фантазіи,—Кавказъ казался ему второю родиной. Дома шло воспитаніе при помощи учителей и гувернеровъ-иностранцевъ и съ полной свободой для прихотей отрока и потомъ юноши. Геніальный талантъ сказался очень рано и былъ предоставленъ исключительно самому себѣ. Формальнымъ образомъ онъ учился, кажется, на Пушкинѣ, и его первые опыты состояли въ томъ, что онъ переписывалъ и перефразировалъ поэмы Пушкина, но

уже вскорѣ Пушкинъ былъ оставленъ какъ будто потому, что пересталъ удовлетворять его. Затѣмъ воспитаніе Лермонтова продолжалось въ Москвѣ, въ университетскомъ пансіонѣ и въ университетѣ, гдѣ онъ пробылъ только два года, и завершилось въ юнкерской школѣ въ Петербургѣ. Въ университетѣ онъ держался особнякомъ, не сходился съ товарищами и остался чуждъ тому умственному броженію, которое совершалось тогда въ молодыхъ университетскихъ поколѣніяхъ: припомнимъ, что въ двадцатыхъ годахъ учились въ университетѣ Веневитиновъ и кн. Одоевскій, въ тридцатыхъ, частью въ одно время съ Лермонтовымъ, были въ университетѣ Бѣлинскій, Герценъ, Станкевичъ, К. Аксаковъ и др. Причины этой отчужденности не выяснены: кромѣ того, что Лермонтовъ могъ чуждаться демократическаго студенчества по чувству аристократизма, потому что былъ среди этого студенчества свѣтскимъ человѣкомъ,—въ томъ же качествѣ онъ бывалъ дерзокъ съ старомодными профессорами,—главнымъ образомъ эта отчужденность приводилась тѣмъ складомъ его внутренней жизни, который отличалъ его съ дѣтства и до послѣднихъ лѣтъ. Онъ былъ совершенно замкнутъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ, о которомъ давали знать только его поэтическія произведенія, и его представленіе о самомъ себѣ могло приводить только къ одиночеству. Какъ Пушкинъ и Гоголь съ юныхъ лѣтъ проникнуты были чувствомъ своего великаго предназначенія; такъ, быть можетъ, еще въ большей степени это чувство владѣло Лермонтовымъ; но когда Пушкинъ при всемъ презрѣніи къ толпѣ, отъ которой онъ уходилъ въ интимный міръ своего творчества, былъ однако открытъ и искрененъ по натурѣ, всегда былъ увлеченъ интересами общественной жизни и дѣлился съ кружкомъ ближайшихъ друзей, которые могли понимать его, своими мыслями и поэтическими планами, у Лермонтова его личный міръ былъ абсолютно закрытъ отъ посторонняго глаза и поэтическое презрѣніе къ толпѣ сливалось съ фактическимъ высокомѣрнымъ отчужденіемъ отъ нея. Врожденное меланхолическое настроеніе рисовало ему мрачныя картины жизни, въ которой ему предстояло быть непонятымъ и непризнаннымъ страдальцемъ, и усиливало пессимизмъ, въ разныхъ формахъ и степеняхъ, сопровождавшій его всю жизнь... Юнкерская школа въ первый разъ въ извѣстной мѣрѣ нарушила эту отчужденность, связавъ его, хотя внѣшнимъ образомъ, съ товариществомъ, съ которымъ онъ дѣлилъ по крайней мѣрѣ необузданный юношескій разгулъ. Это была первая тѣсная встрѣча съ жизнью; плодомъ этихъ лѣтъ остались поэмы, которыя писались для прія-

тельскаго кружка и не могутъ вынести печати, хотя усердные издатели постарались дать по крайней мѣрѣ ихъ отрывки. Нѣкоторые изъ историковъ Лермонтова защищали это право поэта на житейскій и поэтическій разгулъ, какъ проявленіе широкой натуры; другіе, не будучи вовсе узкими пуристами, находили, что не было здѣсь и особенной выгоды. Въ поэтическомъ отношеніи это время представляется безплоднымъ; для самого Лермонтова годы, проведенные въ юнкерской школѣ, были deux années terribles, или pénibles, — очевидно, онъ самъ видѣлъ въ нихъ даромъ и дурно потраченное время. Его поэтическая дѣятельность обновляется опять уже съ 1835, по выходѣ изъ школы.

Уже въ эту раннюю пору ярко сказался основной тонъ, который проходитъ потомъ черезъ всю его поэзію. Это былъ меланхолическій пессимизмъ, и съ другой стороны стремленіе въ заоблачныя сферы, гдѣ представлялся ему источникъ его вдохновенія. Очень рано сказалось у Лермонтова представленіе о томъ, что онъ долженъ совершить что-то великое, но что вмѣстѣ съ тѣмъ ему суждены страданія, наконецъ даже гибель. Во всемъ этомъ сливались порывы собственной мысли и фантазіи, и результаты чтенія. Біографы разсказываютъ, что онъ много перечиталъ изъ русской литературы и изъ европейскихъ поэтовъ; романтическое чтеніе обогатило его готовыми образами и формулами для тѣхъ нравственныхъ положеній, какія представлялись ему въ общихъ чертахъ, и только отсюда можно объяснить тѣ мало вѣроятные эпизоды, когда онъ въ юношескихъ, почти дѣтскихъ, стихотвореніяхъ говоритъ о „развратныхъ" годахъ своей прошлой жизни, о своихъ страданіяхъ, объ испытанныхъ измѣнахъ и т. п. Но если чтеніе доставляло ему матеріалъ для развитія подобныхъ темъ, то самыя темы выражали его собственное настроеніе, только страшно преувеличенное въ разгоряченной фантазіи. Онъ хотѣлъ однако оставаться независимымъ. Если онъ находилъ, что ему нечего заимствовать у Пушкина,—то тѣмъ менѣе онъ могъ заимствовать у какого-нибудь другого русскаго поэта. И дѣйствительно, для того субъективнаго чувства, какое имъ владѣло, онъ не могъ найти въ нихъ ни параллели, ни объясненія. Столь же мало, повидимому, дѣйствовала на него поэзія Шиллера и Гёте; зато несомнѣнное вліяніе оказала поэзія Байрона, съ которой онъ познакомился очень рано, вѣроятно съ 1829 года. Здѣсь нашлись сильно выраженные сочувственные мотивы, которыми онъ могъ развить свои собственныя темы. У Байрона, Лермонтова увлекали его протестующіе герои, одаренные демоническими силами, какими надѣлялъ Лер-

монтовъ и собственныхъ героевъ, увлекало пессимистическое отрицаніе,—но было между ними великое различіе, которое приводилось всѣмъ различіемъ широкихъ стремленій байроновской поэзіи, внушенной внутреннею борьбою западно-европейской жизни, и субъективными протестами геніальнаго, но одинокаго русскаго поэта-пессимиста. Такимъ образомъ они могли совпадать только въ отдѣльныхъ пунктахъ общаго настроенія и расходились въ примѣненіяхъ. Поэзія Байрона становилась во главѣ европейскаго протеста противъ реакціи, заглушавшей освободительныя преданія XVIII-го вѣка, становилась на защиту свободы народовъ и отрицала угнетеніе во имя гуманности; въ поэзіи Лермонтова, отрицаніе было или туманно общее или направлялось противъ общества, въ которомъ не было мѣста для великихъ подвиговъ его избраннаго героя.

Этимъ героемъ былъ онъ самъ. Въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ высказывается вѣра въ свое избраніе, стремленіе къ совершенію великихъ подвиговъ, къ чему-то необычайному. Шестнадцатилѣтнимъ юношей онъ смѣло говоритъ: „Невѣдомый пророкъ мнѣ обѣщалъ безсмертье“, или:

Для небеснаго могилы нѣтъ.
Когда я буду прахъ, мои мечты,
Хоть не пойметъ ихъ, удивленный свѣтъ
Благословитъ.

Въ чемъ состояло избраніе, поэтъ не объяснялъ, конечно, потому, что для него самого оно было неясно; но у него являлась уже мрачная увѣренность, что ему не суждено совершить это великое, что, напротивъ, его ждутъ страданія и гибель:

Я предузналъ мой жребій, мой конецъ,
И грусти ранняя на мнѣ печать;
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Творецъ;
Но равнодушный міръ не долженъ знать.
И не забытъ умру я. Смерть моя
Ужасна будетъ; чуждые края
Ей удивятся, а въ родной странѣ
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.

Онъ думалъ даже, что ему предстоитъ казнь... Романтизмъ доставилъ ему и тотъ матеріалъ, который послужилъ для цѣлаго ряда юношескихъ драмъ. Первая изъ нихъ, „Испанцы“, вполнѣ навѣяна западнымъ романтизмомъ; въ другихъ видѣли автобіографическія отраженія, такъ какъ герой является жертвой семейнаго разлада, какой поэту привелось испытать. Скорѣе, дѣйствительный житейскій опытъ послужилъ только поводомъ, кото-

рый разработанъ былъ поэтомъ независимо отъ автобіографическихъ фактовъ, потому что въ различныхъ пьесахъ самыя условія семейнаго раздора изображены совершенно различно. Интересъ юношескихъ драмъ (появившихся сполна только въ позднѣйшихъ изданіяхъ сочиненій Лермонтова) заключается въ изображеніи одного главнаго лица, которое, довѣрчиво вступая въ жизнь, встрѣчаетъ въ ней только жестокія разочарованія въ своихъ лучшихъ чувствахъ, долженъ потерять вѣру въ свои идеалы, въ любовь, дружбу и, наконецъ, или гибнетъ жертвою нравственнаго страданія, или окончательно теряетъ вѣру въ людей и презираетъ ихъ. Въ своихъ героевъ Лермонтовъ влагаетъ личное настроеніе въ различныхъ ступеняхъ его развитія, и позднѣе то же настроеніе онъ переноситъ на героевъ своихъ поэмъ и повѣстей до „Героя нашего времени".

Однимъ изъ любимыхъ произведеній Лермонтова былъ „Демонъ", юношеская поэма, надъ которой онъ работалъ до самаго конца своей жизни. Первый набросокъ ея сдѣланъ былъ въ 1829, затѣмъ она была нѣсколько разъ переработана и послѣдняя редакція относится, какъ полагаютъ, къ 1840 или 1841 году. Въ первомъ очеркѣ мѣсто дѣйствія неясно; только потомъ сценой былъ выбранъ тотъ Кавказъ, который далъ Лермонтову столько поэтическихъ вдохновеній. Общее настроеніе поэмы совпадаетъ съ романтическими вкусами эпохи, которая не разъ выводила на сцену демоническія силы, сопоставляла ихъ съ человѣкомъ, разгадывая или символизируя духовную борьбу человѣка и его отношеніе къ сверхчувственному міру. Поэма Лермонтова только отчасти привязана къ легендѣ, но въ главной основѣ опять имѣетъ субъективное значеніе. Тому критику, который особенно настаивалъ на тяготѣніи Лермонтова къ небесному міру, „Демонъ" представляется именно удивительнымъ созданіемъ фантазіи, „въ которомъ мы по неволѣ чувствуемъ воплощеніе чего-то божественнаго въ какія-то близкія намъ человѣческія черты"; устами Демона Лермонтовъ излилъ „всю свою неудовлетворенность жизнью, т.-е. здѣшнею жизнью, а не тогдашнимъ обществомъ, всю исполинскую глубину своихъ чувствъ, превышающихъ обыденныя человѣческія чувства, всю необъятность своей скучающей на землѣ фантазіи". Несомнѣнно, однако, что въ фантастическій сюжетъ вложены черты той же субъективной жизни, анализъ которой остался навсегда задачей размышленій и поэтическаго творчества Лермонтова. Другой историкъ справедливо замѣчалъ, что тѣ же мысли, какія высказываются въ рѣчахъ Демона, можно встрѣтить въ юношескихъ стихотворе-

ніяхъ, современныхъ первымъ очеркамъ поэмы, а въ концѣ второго очерка (1830—1831) Лермонтовъ прямо отождествляетъ себя съ своимъ героемъ, между прочимъ, не заявляя притязаній на ту небесную родину, какую ему иные приписываютъ [1]). Легендарный и субъективный элементы поэмы съ самаго начала были тѣсно соединены, отчасти противорѣча одинъ другому, и вмѣстѣ съ тѣмъ это соединеніе было привлекательно для поэта, который стремился дать грандіозное олицетвореніе обуревавшему его разладу съ жизнью. Отсюда происходила эта усиленная работа надъ сюжетомъ, когда прежнія обработки его не удовлетворяли: измѣнялось не только мѣсто дѣйствія и обстановка, но частію и настроеніе главнаго лица. Легендарный демонъ остается невыдержаннымъ. Это во всякомъ случаѣ духъ подначальный и онъ не только способенъ къ человѣческимъ чувствамъ, какъ самая любовь къ Тамарѣ, но иногда обнаруживаетъ даже несвойственную демону мягкость чувства; и если поэтъ съ перваго юношескаго опыта занятъ былъ этимъ сюжетомъ до послѣднихъ лѣтъ своей жизни, когда наступила болѣе зрѣлая пора творчества, естественно предположить, что его привлекала къ сюжету именно эта сторона его—отраженіе его личной внутренней борьбы. Въ „Сказкѣ для дѣтей“, писанной, какъ полагаютъ, въ послѣдній годъ его жизни, Лермонтовъ относится критически къ этому созданію его юности, которое кажется ему „дикимъ бредомъ“—безъ сомнѣнія потому, что фантастическая тема, нѣкогда носившаяся передъ нимъ, начинала принимать болѣе опредѣленныя черты дѣйствительности; жизни; самый демонъ становится только реторической фигурой и стилистическимъ оборотомъ [2]).

---

[1])
Я не для ангеловъ и рая
Всесильнымъ Богомъ сотворенъ;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знаетъ Онъ.
Какъ демонъ мой, я зла избранникъ,
Какъ демонъ, съ гордою душой,
Я межъ людей беспечный странникъ,
Для міра и небесъ чужой.
Прочти, мою съ его судьбою
Воспоминаніемъ сравни,
И вѣрь безжалостной душою,
Что мы на свѣтѣ съ нимъ одни.

[2])
Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася—и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ,
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался—стихами.

„Демонъ“ не былъ изданъ при жизни поэта, потомъ на первый разъ былъ запрещенъ цензурой, но давно ходилъ по рукамъ и возбуждалъ восторгъ въ читателяхъ, особенно юнаго поколѣнія. Тема была нова въ русской поэзіи, поэма привлекала и пугающей красотой демоническаго героя, и необычайной драмой, наконецъ, множествомъ прелестныхъ поэтическихъ подробностей; въ ряду другихъ произведеній Лермонтова „Демонъ“ являлся однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій общаго тона его поэзіи, гдѣ современниковъ поражали эти порывы отрицанія и бурныхъ, хотя неясныхъ стремленій къ какому-то освобождающему идеалу.

Первые годы жизни въ Петербургѣ послѣ выхода изъ юнкерской школы были довольно безплодны для поэзіи Лермонтова. Онъ отчасти развиваетъ старыя темы, отчасти пробуетъ форму легкой поэмы въ манерѣ „Донъ-Жуана“, какъ „Сашка“, начинаетъ повѣсть: „Княгиня Лиговская“; пишетъ кавказскія поэмы: „Хаджи Абрекъ“, „Измаилъ-Бей“; въ то же время написаны были пьесы, не предназначавшіяся для печати, какъ „Петергофскій праздникъ“, „Уланша“ и пр. Наиболѣе серьезнымъ изъ произведеній этого времени была драма „Маскарадъ“, въ героѣ котораго Лермонтовъ изображалъ снова типъ разочарованнаго, озлобленнаго человѣка, потерявшаго всякій путь къ примиренію съ жизнью и оканчивающаго безплодною и въ сущности безсодержательною ненавистью.

Въ 1837 одно событіе, какимъ поражено было тогда русское общество, произвело и на Лермонтова глубокое впечатлѣніе и, какъ надо думать, открыло передъ нимъ новые вопросы. Смерть Пушкина вызвала у Лермонтова знаменитое стихотвореніе, гдѣ общественное чувство высказалось съ такою силою, какой мало встрѣчалось на страницахъ скромной русской поэзіи. Лермонтовъ не былъ близокъ къ Пушкину, мало испыталъ литературное вліяніе Пушкина, но его поразила великая національная потеря, его наполнило негодованіе противъ ничтожества того „свѣта“, жертвою интригъ котораго сталъ великій поэтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ возникалъ для Лермонтова вопросъ, который не однажды возставалъ передъ самимъ Пушкинымъ, былъ даже однимъ изъ его жизненныхъ вопросовъ и долженъ былъ обновиться теперь въ литературѣ, когда самая дѣятельность его должна была вызвать историческую оцѣнку. Это былъ вопросъ объ отношеніи поэта къ обществу и къ жизни, вопросъ о нравственномъ долгѣ, вытекающемъ для поэта изъ самаго превосходства надъ толпою, которое онъ заявляетъ такъ настойчиво и высокомѣрно. Дѣй-

ствительно, Лермонтовъ съ тѣхъ поръ не разъ возвращается къ этому вопросу и въ послѣдніе годы его поэзія, хотя по-прежнему не опредѣлившаяся въ какое-либо положительное міровоззрѣніе, гораздо больше приближается къ дѣйствительности — общественной, народной и исторической. Если стихотвореніе на смерть Пушкина было уже прямымъ и страстнымъ вмѣшательствомъ въ интересы общества, то въ „Думѣ“, написанной въ слѣдующемъ году, встрѣчаемъ очевидно не случайную вспышку пессимизма, а результатъ размышленія, которое его тревожило.

Критикъ, полагающій главную особенность Лермонтова въ его близкомъ родствѣ съ небомъ (это былъ „человѣкъ гордый и въ то же время огорченный своимъ божественнымъ происхожденіемъ“), съ нѣкоторымъ негодованіемъ отвергаетъ мысль, будто „Дума“ выражала скорбь общественнаго характера, протестъ противъ бездушнаго формализма жизни, гнѣвъ на отсутствіе высокихъ идеаловъ, что̀ въ ней обыкновенно видятъ. „Можно ли,—говоритъ критикъ,—болѣе фальшиво объяснить источникъ скорби Лермонтова?!“ И онъ указываетъ напротивъ, что „Думу“ едва-ли не слѣдуетъ объяснять съ „космической“ точки зрѣнія, т.-е. „съ высоты вѣчности“ [1]), и вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ „Думѣ“ Лермонтовъ бросилъ своему поколѣнію укоръ, „который можно впредь до скончанія міра повторять всякому поколѣнію“ [2]). Критикъ дѣлаетъ однако крупную ошибку, не обративъ вниманія на то, что если есть въ „Думѣ“ отголоски господствующей меланхоліи Лермонтова, то рядомъ съ ними стоятъ совершенно опредѣленныя указанія именно на его время и на печальную судьбу даннаго поколѣнія, а не всего вообще человѣческаго рода... „Печально я гляжу на *наше* поколѣнье“,—говоритъ Лермонтовъ, и говоритъ именно о сверстникахъ; онъ скорбитъ, что ихъ поколѣніе „состарится въ бездѣйствіи“, что—

Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы;—

---

[1]) Андреевскій, „Литературныя чтенія“, стр. 225, 226, 235.

[2]) Онъ иронически замѣчаетъ: „Точно и въ самомъ дѣлѣ, послѣ Николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ бы себя какъ рыба въ водѣ! Точно послѣ освобожденія крестьянъ, и въ особенности въ шестидесятые годы, открылась дѣйствительная возможность „вѣчно любить“ одну и ту же женщину? Или совсѣмъ искоренилась „лесть враговъ и клевета друзей“? Или „сладкій недугъ страстей“ превратился въ безконечное блаженство, не „исчезающее при словѣ разсудка“?... Ни въ какую эпоху не получилъ бы онъ отвѣтовъ на эти вопросы“, и т. д.

„Совершенно справедливо,—замѣчалъ на это г. Михайловскій: — ни въ какую эпоху нѣтъ отвѣтовъ на эти праздные вопросы. Но не въ этомъ и дѣло, а въ томъ— какія эпохи окрашиваются возникновеніемъ подобныхъ вопросовъ“. („Литература и жизнь“, стр. 246 и д.).

онъ скорбитъ, что его поколѣніе неспособно увлекаться мечтами поэзіи и созданіями искусства и что оно пройдетъ безъ слѣда надъ міромъ, „не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда“.

„Дума“ комментировалась множество разъ и не остается сомнѣнія въ томъ, что Лермонтовъ не могъ имѣть въ виду той доли своего поколѣнія, изъ которой уже вскорѣ вышли люди „сороковыхъ годовъ“ въ ихъ обоихъ лагеряхъ [1], — ихъ невозможно было бы упрекнуть ни въ равнодушіи къ добру и злу, ни въ отсутствіи увлеченія поэзіей и искусствомъ, ни въ томъ, чтобы они не вели борьбы изъ-за своихъ идеаловъ, ни въ томъ, чтобы ихъ дѣятельность не способна была внушить плодовитой мысли и даже геніемъ начатаго труда. Можно жалѣть только, что Лермонтовъ вслѣдствіе особенностей своего нрава остался чуждъ этой области идеализма, хотя бы этотъ идеализмъ и не сложился тогда въ опредѣленное міровоззрѣніе. Но и при этомъ ограниченіи „Дума“ не была лишена общественнаго значенія: скорбь Лермонтова была совершенно справедлива въ отношеніи къ тому кругу, въ которомъ онъ самъ жилъ и который по внѣшнему положенію принадлежалъ къ вершинамъ общества.

Какъ бы ни опредѣлялась хронологія „Думы“ и стихотвореній „Поэтъ“ и: „Не вѣрь себѣ, мечтатель молодой“, эти пьесы одинаково указываютъ, хотя въ разныхъ оттѣнкахъ, господство той же мысли объ общественномъ долгѣ поэта. Въ стихотвореніи „Поэтъ“ Лермонтовъ высказываетъ сожалѣніе, что поэтъ пересталъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ онъ нѣкогда, когда—

Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
    Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
    Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой
    И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой,
    Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.

Одинъ изъ критиковъ видѣлъ здѣсь новое доказательство того, что Лермонтовъ не былъ и не думалъ быть поэтомъ современной общественности. „По своей необщительной натурѣ Лермонтовъ не постигалъ общественнаго значенія поэзіи; онъ догадывался, что поэзія должна имѣть власть надъ людьми, но какъ истый романтикъ онъ перенесъ ея владычество изъ про-

[1]) Г. Андреевскій къ удивленію предполагаетъ здѣсь именно этихъ людей; но Лермонтовъ ихъ не зналъ, или зналъ только поверхностно.

заическаго изнѣженнаго XIX вѣка въ прошедшее... Увлекать людей къ предпріятіямъ практическимъ можетъ только человѣкъ, любящій другихъ и имѣющій практическую смётку, а у Лермонтова недоставало этихъ качествъ. Въ приведенномъ нами „Поэтѣ“ Лермонтовъ изображаетъ не себя, но поэта, какимъ онъ нѣкогда былъ и быть нынѣ не можетъ“ [1]),—такъ это предполагалъ Лермонтовъ; но,—замѣчаетъ критикъ,—предположеніе было ошибочное, потому что „функція поэзіи не измѣняется никогда и она не теряетъ и нынѣ своего высокаго значенія“. Эти соображенія не представляются, однако, доказательными. Отсутствіе „практической смётки“ издавна считается чуть не поголовнымъ свойствомъ поэтовъ; Лермонтовъ могъ по собственному опыту видѣть возбуждающую роль поэзіи, когда и его произведенія увлекали толпу поэтическимъ очарованіемъ, и именно „отзывъ мыслей благородныхъ“ вызвали его стихотвореніе на смерть Пушкина, его „Дума“, „Пророкъ“ и пр. Новый оттѣнокъ его мысли представляетъ стихотвореніе: „Не вѣрь, не вѣрь себѣ, мечтатель молодой“, съ характернымъ эпиграфомъ изъ Барбье, гдѣ онъ въ противоположность поэту ставитъ эту столь презираемую толпу, въ которой однако „едва ли есть одинъ, тяжелой пыткой не измятый“, у которой есть свои глубокія страданія, и для нея будетъ смѣшонъ его плачъ и его укоръ „съ своимъ напѣвомъ заученнымъ“; но вопросъ оставался все-таки неразрѣшеннымъ. Еще разъ Лермонтовъ остановился на немъ въ стихотвореніи: „Журналистъ, читатель и писатель“, гдѣ высказано сомнѣніе о томъ, насколько поэтъ имѣетъ право изображать мрачныя картины общественной жизни и показывать эти горькія строки „не приготовленному взору“, и можетъ ли быть этимъ полезенъ. Наконецъ, въ стихотвореніи „Пророкъ“ нарисована тяжелая судьба поэта, непонимаемаго и отвергаемаго тою толпою, къ которой онъ несъ свои обличенія злобы и порока: между поэтомъ и обществомъ опять не нашлось пониманія. Послѣдній выводъ—повидимому отрицательный; но уже одно постоянное возвращеніе Лермонтова къ этой темѣ указываетъ, что вопросъ общественности для него не былъ безразличенъ. Другое дѣло, успѣлъ ли онъ правильно понять его общее значеніе; но онъ ставилъ этотъ вопросъ въ болѣе зрѣлую пору своей дѣятельности, и не остался чуждъ общественности раньше его теоретической постановки. Въ юношеской исторической повѣсти изъ временъ Пугачевскаго бунта онъ уже дѣлалъ опыты реальнаго изображенія и коснулся крѣ-

---

[1]) Спасовичъ, Сочиненія, т. II, стр. 405.

постного права; крѣпостныя отношенія затронуты въ его юношескихъ драмахъ; жизненная дѣйствительность находила мѣсто въ кавказскихъ поэмахъ, какъ Измаилъ-Бей, позднѣе въ поэмахъ, какъ „Сашка“, въ опытахъ повѣсти, какъ „Княгиня Лиговская“ и т. д. Мало-по-малу въ его поэзіи какъ будто развивается потребность въ широкомъ изображеніи жизни, и въ „Героѣ нашего времени“ является какъ бы отрывокъ большого романа, который долженъ былъ представить цѣлую картину русскаго общества и уже въ этомъ началѣ далъ эпизоды чисто реальнаго характера. Планъ остался недовершеннымъ; самый герой еще носитъ личныя черты романтическаго разочарованія, но если по этимъ начаткамъ нельзя рѣшать, какъ направилось бы дальнѣйшее творчество Лермонтова, то нельзя дѣлать и того вывода, что Лермонтовъ могъ быть только поэтомъ космополитомъ. Не безъ основанія новѣйшій историкъ Лермонтова замѣчалъ, что вопросъ объ отношеніи поэта къ обществу, поставленный Лермонтовымъ, не прошелъ безплодно. „Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Лермонтова эти сомнѣнія стали предметомъ спора литературныхъ лагерей. Стихотвореніе Лермонтова „Поэтъ“ можетъ служить удачнымъ эпиграфомъ ко многимъ критическимъ статьямъ Добролюбова, точно также, какъ конецъ стихотворенія „Не вѣрь себѣ“ можетъ съ успѣхомъ стоять на заглавномъ листѣ нѣкоторыхъ томовъ Писарева“.

„Герой нашего времени“ вызывалъ самыя разнообразныя сужденія. Главное дѣйствующее лицо романа стоитъ въ несомнѣнномъ родствѣ съ прежними разочарованными, озлобленными, демоническими лицами, въ изображеніи которыхъ Лермонтовъ стремился передать тревоги своего внутренняго міра. Романъ изданъ былъ въ 1839; при второмъ изданіи Лермонтовъ прибавилъ предисловіе, въ которомъ утверждалъ, будто бы главный герой его есть „портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи“; онъ устранялъ „тонкое“ замѣчаніе нѣкоторыхъ читателей, что „сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ“; онъ устранялъ также всякую мысль о поученіи и исправленіи людскихъ пороковъ: „автору просто было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!“ Для изображенія пороковъ всего поколѣнія нуженъ былъ бы болѣе разносторонній опытъ, чѣмъ былъ въ распоряженіи Лермонтова, и невозможно было бы совмѣстить ихъ въ одномъ лицѣ; цѣлей поученія у него

не было, хотя, назвавъ наблюдаемое явленіе болѣзнью, онъ указывалъ свой взглядъ на него. Но онъ говорилъ это уже черезъ два года послѣ того, какъ романъ былъ написанъ; самый романъ остался безъ продолженія, и думаютъ, что у самого поэта измѣнилось отношеніе къ этой темѣ, что въ послѣдніе годы онъ снова переработывалъ свое міровоззрѣніе...

Мнѣнія о Печоринѣ мѣнялись вмѣстѣ съ цѣлымъ отношеніемъ къ поэзіи Лермонтова. Бѣлинскій видѣлъ въ немъ человѣка съ великою силой духа и воли, но который ушелъ въ отрицаніе, не нашедши себѣ достойнаго поприща въ условіяхъ времени; самые пороки, которые онъ самъ сознаетъ, не закрываютъ въ немъ могущественной натуры.

„Этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется и что̀ онъ есть только въ настоящую минуту... Его страсти—бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ безплодно страдаете... Пусть онъ клевещетъ на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастіе въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещетъ на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая юность съ возмужалостью,—пусть!.. Настанетъ торжественная минута и противорѣчіе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!.. Даже и теперь онъ проговаривается и противорѣчитъ себѣ, уничтожая одною страницею всѣ предыдущія: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины!“ [1]).

Другимъ Печоринъ казался свѣтскимъ фатомъ, натурой хотя талантливой, но именно съ слабою волею, и оттого неспособной ни къ какому общественному стремленію, и позднѣе, для Добролюбова Печоринъ есть только варіація того русскаго общественнаго типа, который Гончаровъ обезсмертилъ въ Обломовѣ.

„Ужъ на что, Печоринъ, а и тотъ полагаетъ (какъ Обломовъ), что счастье, можетъ быть, заключается въ покоѣ и сладкомъ отдыхѣ. Онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ сравниваетъ себя съ человѣкомъ, томимымъ голодомъ, который „въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезаетъ, остается удвоенный голодъ и отчаяніе“... Въ другомъ мѣстѣ Печоринъ себя спрашиваетъ: „отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою,

---

[1]) Сочиненія, III, стр. 602.

гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?“ Онъ самъ полагаетъ,—оттого, что „душа его сжилась съ бурями и жаждетъ кипучей дѣятельности“... Но вѣдь онъ вѣчно недоволенъ своей борьбой и самъ же безпрестанно высказываетъ, что всѣ свои дрянныя дебоширства затѣваетъ потому только, что ничего лучшаго не находитъ дѣлать. А ужъ коли не находитъ дѣла, и вслѣдствіе того ничего не дѣлаетъ и ничѣмъ не удовлетворяется, такъ это значитъ, что къ бездѣлью болѣе наклоненъ, чѣмъ къ дѣлу... Та же обломовщина“ [1]).

Въ дѣйствительности, Печоринъ носитъ если не прямо автобіографическія черты, то признанія; это—новое видоизмѣненіе того общаго типа, который столько разъ возвращался въ произведеніяхъ Лермонтова и въ которомъ онъ старался осмыслить и оправдать различные фазисы своего личнаго настроенія. Послѣдніе годы жизни Лермонтова не успѣли принести разрѣшенія личной и жизненной загадки, раскрыть которую онъ стремился всю свою жизнь. Въ послѣднихъ стихотвореніяхъ можно замѣтить новые или болѣе, чѣмъ прежде, выраженные элементы: его чувство пріобрѣтаетъ болѣе мягкіе элегическіе тоны съ оттѣнкомъ религіознымъ. Это раздумье могла быть новая ступень къ искомому примиренію съ жизнью... Это наблюденіе, сдѣланное однимъ историкомъ Лермонтова, было рѣшительно отвергаемо другимъ [2]), но не лишено основанія. Мотивы поэзіи были измѣнчивы,—рядомъ съ „Молитвой“ Лермонтовъ можетъ вернуться къ бурному отрицанію, и трудно обозначать здѣсь какія-нибудь опредѣленныя грани настроеній. Но за послѣдніе годы нельзя не замѣтить повторенія элегическихъ мотивовъ, между прочимъ въ обращеніяхъ къ природѣ, гдѣ картина и олицетвореніе окрашены субъективной скорбью [3]), или въ выраженіяхъ личнаго чувства, гдѣ кромѣ титаническаго задора слышатся совсѣмъ иные тоны, какъ въ стихотвореніи „Выхожу одинъ я на дорогу“, „Завѣщаніе“ (1841), или нѣсколько раньше въ стихотвореніи „Памяти кн. Одоевскаго“, наконецъ и въ стихотвореніи: „Люблю отчизну я“.

Чувство общественности связано съ чувствомъ патріотическимъ. И здѣсь Лермонтовъ былъ своеобразенъ. На основаніи своей генеалогіи, начало которой онъ относилъ сначала въ Испанію, потомъ въ Шотландію, онъ романтически искалъ своей родины то въ одной, то въ другой изъ этихъ странъ; остановив-

[1]) Сочиненія Добролюбова, II, стр. 542, 544 и далѣе.

[2]) „Вѣстникъ Европы“, 1891, декабрь, стр. 630—631; Сочиненія Спасовича, т. VIII, стр. 147—187.

[3]) „Тучки небесныя“, „Сосна“ (1840), „Утесъ“, „Зеленый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой“ (1841)

шись затѣмъ на родинѣ дѣйствительной, онъ питалъ военный и государственный патріотизмъ, увлекаясь, какъ и Пушкинъ, внѣшнимъ величіемъ Россіи, громомъ побѣдъ, необъятными границами, чуть ли даже не предположеніемъ о всемірной русской монархіи въ будущемъ [1]). Но являлось и другое настроеніе. Служба на Кавказѣ, участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ не развили въ немъ этого военнаго патріотизма и, напротивъ, въ знаменитомъ стихотвореніи: „Люблю отчизну я" (1841) онъ заявляетъ свое равнодушіе къ внѣшнему величію, которое нѣкогда его увлекало. Его „странной" любви къ отчизнѣ не можетъ побѣдить „разсудокъ":

Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

За устраненіемъ разсудка, инстинктъ, непосредственное чувство влечетъ его именно къ русской природѣ, къ ея степямъ, лѣсамъ, къ разливамъ ея рѣкъ, къ деревнѣ и народу. Укажемъ впечатлѣніе, какое производило это стихотвореніе на Добролюбова, въ ту пору, которой приписываютъ охлажденіе къ поэзіи Лермонтова. „Лермонтовъ, — говорилъ онъ, — умѣвши рано постичь недостатки современнаго общества, умѣлъ понять и то, что спасеніе отъ этого ложнаго пути находится только въ народѣ. Доказательствомъ служитъ его удивительное стихотвореніе: „Родина", въ которомъ онъ становится рѣшительно выше всѣхъ предразсудковъ патріотизма и понимаетъ любовь къ отечеству истинно, свято и разумно". И, указавъ содержаніе стихотворенія, онъ продолжаетъ: „полнѣйшаго выраженія чистой любви къ народу, гуманнѣйшаго взгляда на его жизнь нельзя и требовать отъ русскаго поэта" [2]).

Поэзія Лермонтова, какъ и его личность, до сихъ поръ заключаютъ много загадочнаго: въ чемъ былъ истинный смыслъ

---

[1]) Самое яркое выраженіе этой стороны его патріотизма въ юношескую пору, въ „Измаилъ-Беѣ" (1832):

Какія степи, горы и моря
Оружію славянъ сопротивлялись?
И гдѣ велѣнью русскаго царя
Измѣна и вражда не покорялись?
Смирись, черкесъ! и Западъ, и Востокъ,
Быть можетъ, скоро твой раздѣлитъ рокъ,
Настанетъ часъ, и скажешь самъ надменно:
„Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!"
Настанетъ часъ—и новый, грозный Римъ
Украситъ Сѣверъ Августомъ другимъ.

[2]) Сочиненія, I, стр. 542—543.

его титаническихъ стремленій, непримиримаго отрицанія, къ которому съ другой стороны присоединялась задушевная молитва, нѣжное, тонко выраженное чувство; откуда этотъ мрачный и безграничный пессимизмъ и какая нравственная основа лежала въ этой бурной дѣятельности его духа и его поэзіи? Нѣтъ сомнѣнія, что въ лицѣ Лермонтова прошла въ русской поэзіи личность феноменальная, не менѣе оригинальная и самобытная, чѣмъ даже Пушкинъ; и Лермонтова менѣе всего можно объяснить предшествующимъ развитіемъ и современными условіями. Онъ поражаетъ неожиданностями и противорѣчіями; онъ какъ будто ничѣмъ не былъ обязанъ ни воспитанію, ни особенно школѣ; въ европейской литературѣ, онъ самъ отыскалъ немногихъ писателей, отвѣчавшихъ его мысли и поэзіи,—во главѣ ихъ сталъ Байронъ. Затѣмъ, черезъ всю его поэзію проходитъ въ разныхъ оттѣнкахъ изображеніе одного типа, въ которомъ онъ символически, и реально изображалъ внутреннюю борьбу, совершавшуюся въ немъ самомъ, борьбу сильной личности или властнаго духа съ условіями ограниченной жизни или, въ частности, съ условіями общества. Вмѣсто слишкомъ фантастическаго объясненія Лермонтова его небеснымъ родствомъ или тѣмъ, что онъ огорченъ былъ своимъ божественнымъ происхожденіемъ, можно поставить высокую степень поэтическаго идеализма или то, что другой критикъ Лермонтова назвалъ „метафизичностью“, источникъ которой прежде всего былъ въ его собственной натурѣ и которая только поддержана была господствующимъ тономъ тогдашней европейской поэзіи и всего больше Байрономъ. Эти метафизическіе вопросы объ отношеніи человѣка къ божеству, къ природѣ, къ человѣчеству, къ смыслу собственной жизни, вопросы вѣчные и доступные только вѣрѣ или скептицизму, рѣшались Лермонтовымъ въ разныхъ смыслахъ: или брали верхъ въ его душѣ и въ поэзіи непосредственная вѣра съ привычными образами легенды (его молитвы, „Ангелъ“, „Вѣтка Палестины“, нѣкоторые эпизоды „Демона“ и пр.), или чувство протеста, переходившее въ мрачное раздраженіе и пессимизмъ („И скучно, и грустно“, „Благодарность“ и пр.). Идеалистическія требованія отъ жизни, въ соединеніи съ сознаніемъ своего превосходства, которое чувствовалось имъ какъ избранничество, создали отчужденіе отъ общества, желаніе властвовать надъ людьми, его суровость, которая не покидала его въ самыхъ увлеченіяхъ страсти и даже въ любимыхъ женщинахъ видѣла потомъ только безразличныя для него жертвы [1]). Но рядомъ съ отталкиваю-

[1]) Ср. различныя признанія Печорина:

щимъ себялюбіемъ, не разъ вводившимъ его въ положенія, которыя даже могли бы не особенно льстить его высокому мнѣнію о себѣ (отношенія Печорина къ Грушницкому и нѣкоторыя отношенія самого Лермонтова); шло иное настроеніе— строгій анализъ самого себя, усилія опредѣлить свое отношеніе къ обществу, сознаніе нравственнаго долга, лежащаго на поэтѣ, которому не даромъ дано избранничество [1]). Въ концѣ концовъ поэтъ не остался чуждъ этому обществу и его лучшимъ стремленіямъ...

Все это сложное содержаніе одѣто было въ геніальную поэзію. По смерти Пушкина юный поэтъ былъ единодушно признанъ его преемникомъ,—и именно преемникомъ независимымъ и самобытнымъ. Оригинальное, глубокое содержаніе, богатство фантазіи, тонкость чувства, удивительное изящество формы быстро создали его славу, увлекали читателей несмотря на то, что тонъ этой поэзіи слишкомъ часто былъ безотрадно отрицательный, что она не давала, повидимому, никакой тѣни положительнаго идеала. Одинъ изъ критиковъ, задавая вопросъ о томъ, почему однако было такъ сильно впечатлѣніе поэзіи Лермонтова, говорилъ: „...Несмотря на отсутствіе положительной вѣры, а вмѣстѣ съ нею и твердой точки опоры для убѣжденій, несмотря на свой мрачный и радикальнѣйшій пессимизмъ, поэзія Лермонтова не производила, однако, на современниковъ и не производитъ на потомство удручающаго впечатлѣнія и чувствъ отчаянія и безнадежности, которыхъ, повидимому, можно было бы отъ нея ожидать по ея отрицательному направленію. Напротивъ того, дѣйствіе ея было какъ будто бы противоположное: она воспламеняла энтузіастовъ, вселяла скорѣе бодрость, а не малодушіе; она заставила признать Лермонтова прямымъ наслѣдникомъ лиры Пушкина, первымъ въ Россіи поэтомъ, ранняя смерть котораго оплакиваема была какъ народное бѣдствіе. Какъ согласовать

„Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ—разрушать чужія надежды?.. Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?..

„...Вѣрно мнѣ было назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ силы необъятныя... Но я не угадалъ этого назначенія. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни я упадалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія“... и т. д.

[1]) Еще признаніе Печорина: „Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей—и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его: первый, быть можетъ, черезъ часъ простится съ вами и міромъ на вѣки, а второй... второй?“

эти кажущіяся противорѣчія?“ Рѣшеніе ихъ критикъ находилъ въ томъ метафизическомъ элементѣ поэзіи Лермонтова, который и обезпечиваетъ за нею прочное и могучее вліяніе, сообщаетъ ей чарующую прелесть... „Таинственное, непознаваемое есть вѣчный антагонистъ систематическаго, научнаго знанія, но и къ нему наука ежеминутно подходитъ, строя помосты изъ гипотезъ, искусство же и обойтись не можетъ безъ мысленнаго продолженія никогда не высказываемой вполнѣ въ произведеніи идеи его въ безконечномъ... Мы имѣемъ передъ собою систематическаго мечтателя, похожаго на лунатика, ходящаго по улицамъ съ открытыми, но не зрящими глазами. Этотъ мечтатель относится съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ окружающимъ его людямъ и предметамъ и устраиваетъ для себя мысленно иной міръ, убранный во все то, что̀ только авторъ отмѣтилъ въ природѣ, какъ наиболѣе подходящее къ состояніямъ его души, и населенный не настоящими людьми, въ которыхъ добро и зло смѣшаны, а существами воображаемыми, либо вполнѣ ангельскими, либо вполнѣ демоническими. Онъ до того замечтался, и умъ его до того расположенъ мыслить метафизически, становясь на внѣ-человѣческой метафизической точкѣ зрѣнія, что, въ концѣ концовъ, самъ не знаетъ, онъ ли это самъ мечтаетъ, или иное, сидящее въ немъ „высшее существо“. Вспомнимъ „Чашу жизни“, чашу бытія съ золотыми краями... Умирая, мы убѣждаемся, „Что пуста была златая чаша,—Что въ ней напитокъ былъ м е ч т а—И что она не наша!“ Отъ этого обычнаго у Лермонтова поэтическаго его лунатизма происходило и пренебреженіе къ людямъ, похожее на Байроновское, но въ сущности запечатлѣнное нѣсколько инымъ характеромъ. Люди ему противны не потому, что далеки отъ идеала человѣчества, какимъ онъ долженъ былъ быть по понятіямъ Байрона: гордый, свободный, любящій. Люди досаждаютъ Лермонтову просто потому, что они —призраки... Это пренебреженіе жизнью, которую не ставятъ ни въ грошъ, замѣчательно еще и тѣмъ, что оно не дополняется вовсе видѣніями будущей жизни, разсчетами на мзду за земное за гробомъ. Лермонтовъ потому-то именно и цѣнится тѣми, которые не имѣютъ счастія вѣрить, что онъ вовсе не мистикъ, а только мечтатель, что онъ не испытываетъ видѣній, а только какъ будто бы вспоминаетъ, что имѣлъ ихъ когда-то, въ какомъ-то волшебномъ снѣ. Какъ величайшій изъ мечтателей-философовъ—Платонъ, онъ убѣжденъ, что эти сны снились его не имѣющей ни начала, ни конца душѣ еще до его рожденія на землѣ“. Поэзія Лермонтова похожа на тотъ лучъ солнца,

который при закатѣ блеститъ на снѣжныхъ вершинахъ Кавказа [1]): „онъ, конечно, ничего не освѣщалъ, но среди глубочайшаго мрака все-таки свидѣтельствовалъ о невидимомъ солнцѣ. Иногда этого пурпурнаго воспоминанія о невидимомъ достаточно для пріободренія живущихъ къ тому, чтобы они перенесли всю тягость ночи и дожили до слѣдующаго дня" [2]).

Это опредѣленіе мѣтко рисуетъ мечтательный идеализмъ Лермонтова, но не обнимаетъ всѣхъ сторонъ его поэзіи. Одна метафизическая поэзія, окрашенная притомъ въ радикальнѣйшій пессимизмъ, едва ли бы пріобрѣла такую увлекательность: она была бы слишкомъ монотонна и чужда дѣйствительности, отъ которой все-таки трудно отрѣшиться читателю... Критикъ отвергаетъ въ этой поэзіи всякое общественное значеніе. „По своей необщительной натурѣ Лермонтовъ не постигалъ общественнаго значенія поэзіи; онъ догадывался, что поэзія должна имѣть власть надъ людьми, но какъ истый романтикъ онъ перенесъ ея владычество изъ прозаическаго изнѣженнаго XIX вѣка въ прошедшее": его „Поэтъ" есть поэтъ прошедшихъ временъ. Но въ этомъ объясненіи упущено изъ виду, что стихотвореніе оканчивается призывомъ: „проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ"—осмѣянъ онъ тѣмъ ничтожнымъ обществомъ, которое поэтъ презираетъ,—и нужно, чтобы пророкъ проснулся; самъ Лермонтовъ только за годъ передъ тѣмъ [3]) вырывалъ изъ ноженъ этотъ клинокъ въ стихотвореніи на смерть Пушкина. Такъ объясняетъ критикъ и „Пророка", котораго Лермонтовъ заставляетъ провозглашать любви и правды чистыя ученья, какихъ „онъ самъ и провозглашать никогда не могъ, по своей нелюдимости и отчужденности отъ свѣта"; котораго онъ изображаетъ „съ самой непривлекательной стороны, со стороны его суровой неуживчивости"; котораго онъ писалъ „не съ себя". Но „Пророкъ" и не долженъ былъ быть портретомъ; это—изображеніе

---

1)
...Въ часъ торжественный заката,
Когда, растаявъ въ морѣ злата,
Ужъ скрылась колесница дня,—
Снѣга Кавказа на мгновенье,
Отливъ пурпурный сохраня,
Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ,
Но этотъ лучъ полуживой
Въ пустынѣ отблеска не встрѣтитъ
И путь ничей онъ не освѣтитъ
Съ своей вершины ледяной...
(Въ одномъ изъ варіантовъ „Демона").

2) Спасовичъ, Сочиненія. II, стр. 400—406. (Повторено у Здзѣховскаго: Byron i jego wiek).

3) Можетъ быть, и въ томъ же году, потому что хронологія стихотворенія колеблется между 1837 и 1838. Ср. въ изданіи Висковатова.

традиціоннаго лица, о которомъ сказано было, что „нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ“, и изображеніе толпы, бросающей въ него каменья за ту правду, которую онъ говоритъ. Самъ критикъ, сказавъ, что „Пророка“ Лермонтовъ писалъ не съ себя, замѣчаетъ, что Лермонтовъ „употребилъ для изображенія его черты, которыхъ ему самому недоставало, а не указалъ, напротивъ того, на тѣ, которыми онъ дорогъ намъ,—именно на гордое одиночество энергической души, выдѣляющей себя изъ толпы, и на увѣренность въ бытіи чего-то лучшаго, вѣстникомъ котораго онъ былъ въ тяжелыя времена“. Но Лермонтовъ именно и бывалъ такимъ вѣстникомъ не одною метафизической поэзіей, но и прямымъ, хотя рѣдкимъ, вмѣшательствомъ въ общественность своего времени. Намъ кажется болѣе вѣрной и исторически полной точка зрѣнія, съ которой судилъ другой историкъ.

„Поэзія Лермонтова была самымъ яркимъ отраженіемъ этого тревожнаго времени въ русской жизни (тридцатыхъ годовъ) и она съ особенной силой выразила этотъ переходный моментъ въ развитіи русской мысли. Недовольство старымъ, сознаніе грѣховъ современныхъ, искреннее, но туманное стремленіе къ лучшему будущему, растерянность передъ массой противорѣчивыхъ взглядовъ, непоколебимая увѣренность въ необходимости найти исходъ изъ этихъ противорѣчій, сознаніе своей слабости передъ этой высокой задачей, часто повторяющійся упадокъ духа и, наконецъ, гнѣвъ на внѣшнія условія, стѣснявшія и безъ того стѣсненную мысль—вотъ циклъ идей и чувствъ, какими жило молодое поколѣніе 30-хъ годовъ и которыя наглядно отразились въ поэзіи Лермонтова. Эта солидарность Лермонтова съ современнымъ ему поколѣніемъ придала общественно-прогрессивному значенію его творчества особенную силу...

„Дѣятельность Лермонтова есть исповѣдь энергической души, ищущей примиренія съ жизнью, борьба мечты и дѣйствительности, борьба лихорадочная, изнурительная. Казалось бы, что человѣку съ такой организаціей, какъ Лермонтовъ, и бороться было безполезно; примиреніе, повидимому, было невозможно. Всякій другой человѣкъ съ менѣе развитымъ чувствомъ общественности при такихъ природныхъ задаткахъ, дѣлающихъ всякое соглашеніе съ жизнью немыслимымъ, или совсѣмъ отвернулся бы отъ нея, или сталъ бы прямо враждовать съ нею. Лермонтовъ не сдѣлалъ ни того, ни другого. Онъ не замыкался въ узкомъ кругѣ мечтаній, не улеталъ отъ земли въ область видѣній, куда безспорно могъ улетать въ силу своей очень живой фантазіи; онъ

не навязывалъ себѣ насильно какого-нибудь успокоивающаго міросозерцанія, ни узко-національнаго, ни узко-религіознаго; онъ также не отвертывался отъ жизни со злобой, не враждовалъ съ ней какъ таковой, т.-е. не былъ мизантропомъ и пессимистомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова... Онъ всю жизнь боролся, выясняя себѣ всевозможные вопросы жизни, желая проникнуть въ ихъ глубину, связать ихъ вмѣстѣ и согласовать ихъ съ всѣми слишкомъ требовательными и высокими идеалами...

„Лермонтовъ никогда не былъ проповѣдникомъ какой-либо положительной истины, глашатаемъ какихъ-либо ясныхъ и установившихся убѣжденій, такъ какъ самъ не имѣлъ ихъ. Естественно, что у него не было и того восторженнаго и увѣреннаго тона, какимъ всегда отличается рѣчь убѣжденнаго человѣка... Единственнымъ предметомъ его бесѣдъ съ другими былъ его собственный душевный разладъ и надобно было имѣть много смиренія и много любви къ людямъ, чтобы на ихъ глазахъ такъ безпощадно казнить собственное сердце, какъ это дѣлалъ Лермонтовъ. Субъективизмъ Лермонтова въ его поэзіи, постоянный возвратъ къ своему собственному „я“ признается иногда за краснорѣчивое доказательство его гордости и эгоизма. Но не есть ли эта строгая и правдивая исповѣдь поэта прямое доказательство обратнаго—его любви къ людямъ?.. Онъ можетъ служить образцомъ совѣстливаго и строгаго надзора человѣка надъ самимъ собою“ [1])...

Если теперь можетъ казаться, что для признанія за поэзіей Лермонтова общественнаго значенія требовались бы болѣе опредѣленныя заявленія, чѣмъ тѣ, какія можно находить въ стихотвореніи на смерть Пушкина, въ „Думѣ“, въ „Поэтѣ“, или въ „Героѣ нашего времени“, то должно припомнить, что бо́льшая опредѣленность была и невозможна въ то время. Ни общество, ни литература не знали ни открытаго общественнаго языка, ни даже опредѣленныхъ общественныхъ взглядовъ: они выяснялись только къ концу сороковыхъ годовъ, а до тѣхъ поръ они жили въ видѣ идеалистическихъ порывовъ. Чтобы представить себѣ „циклъ идей и чувствъ“, владѣвшихъ молодымъ поколѣніемъ тридцатыхъ годовъ, довольно вспомнить разнообразіе литературныхъ и общественныхъ теченій, дѣйствовавшихъ въ данную минуту, и разнообразіе новыхъ приходившихъ вліяній. Оставались таившіяся воспоминанія отъ либеральнаго движенія двадцатыхъ годовъ; Пушкинъ впервые открывалъ безграничные горизонты

[1]) Котляревскій, стр. 264, 275, 282 и др.

искусства, и поэтическій идеализмъ поддерживала еще сильная романтика и новая идеалистическая философія; мечты общественно-политическія, послѣ вліяній двадцатыхъ годовъ [1]), принимали новое направленіе подъ внушеніями развивавшагося тогда „соціализма“; философско-историческія теоріи вели въ одномъ кругу къ консервативному символу Уварова, въ другомъ къ католической теоріи Чаадаева, въ третьемъ къ утвержденіямъ разумной дѣйствительности (какъ у Бѣлинскаго), или къ начаткамъ славянофильства (какъ у Хомякова), или къ народничеству (у Петра Кирѣевскаго) и т. д.; въ романтикѣ бывалъ даже уродливый титанизмъ (какъ у Марлинскаго); прибавлялась, наконецъ, мнимо народная теорія обскурантизма (въ „Маякѣ“, частію даже въ „Москвитянинѣ“). Ничего яснаго, установившагося, но самыя разнородныя начинанія, поиски, которымъ предстояло, — уже вскорѣ,—развиться въ опредѣленныя общественныя и литературныя направленія. Тридцатые годы были такимъ образомъ именно порой туманныхъ стремленій найти принципъ дѣйствительности или уйти изъ нея, порой идеалистическихъ порывовъ,— и въ этотъ основной тонъ впадала поэзія Лермонтова. Она также не разрѣшала тумана, но въ ней слышался свободный, непокорный геній, и присутствіе его было нравственнымъ и поэтическимъ удовлетвореніемъ для возбужденнаго поколѣнія. Его немногія стихотворенія собственно общественнаго характера какъ будто объясняли тонъ цѣлаго міровоззрѣнія и давали ему особенное удареніе. Когда въ этомъ смыслѣ въ людяхъ сороковыхъ годовъ охладѣвали симпатіи къ Пушкину, тѣмъ больше выростало увлеченіе Лермонтовымъ. Мы видѣли еще живой отголосокъ этого настроенія сороковыхъ годовъ: внѣ вопроса чисто художественнаго Лермонтову принадлежали самыя горячія сочувствія [2]).

Ставился еще одинъ вопросъ—о степени самобытности поэзіи

---

[1]) Долго спустя, Герценъ, въ эмиграціи, назвалъ свое изданіе „Полярной Звѣздой“, какъ будто продолжая Бестужева и Рылѣева.

[2]) Мы вспоминаемъ К. Д. Кавелина. Прибавимъ еще замѣчаніе. Отвергая мнѣніе г. Котляревскаго, что общественный вопросъ есть великая заслуга XIX вѣка, г. Спасовичъ („Вѣстн. Европы“, 1891, дек., стр. 607 и дал.) ссылается съ одной стороны на христіанство, давно проповѣдующее любовь къ ближнему, а съ другой на тотъ фактъ, что XIX вѣкъ не меньше прежняго изобилуетъ политикой „крови и желѣза“. Къ сожалѣнію, христіанство, и ставъ господствующей религіей, не могло устранить этой политики, но не подлежитъ сомнѣнію, что чувство общественности и человѣчности—не въ связи съ этой политикой, а наперекоръ ей—никогда не проникало европейскихъ обществъ съ такою силою, какъ именно теперь: таково развитіе рабочаго и крестьянскаго вопроса; таковъ соціализмъ, который дѣлается наконецъ церковнымъ и государственнымъ; таковы разнообразныя стремленія общества къ помощи народнымъ массамъ, къ поднятію ихъ матеріальнаго, умственнаго и нравственнаго состоянія; такова демократизація школы и литературы, и т. д.

Лермонтова. Историкъ его, настаивавшій на исключительно метафизической основѣ его поэзіи и отрицавшій ея значеніе общественное, считаетъ Лермонтова вполнѣ дѣтищемъ Байрона, хотя для вліянія Байрона была уже подготовленная почва. „Не будь Байрона и его вліянія — изъ Лермонтова вышелъ бы, можетъ быть, крупный поэтъ, не очень высокаго полета, съ узкимъ національнымъ направленіемъ, сильно державшійся за родную почву множествомъ корней, а потому и популярный и любимый. Подъ вліяніемъ Байрона изъ Лермонтова выработался поэтъ весьма высокаго полета, но космополитическій, можетъ быть и безпочвенный, но столь могучій по силѣ генія, что въ теченіе всѣхъ истекающихъ по его смерти 50 лѣтъ ни одинъ изъ появившихся потомъ пѣвцовъ не унаслѣдовалъ его волшебной лиры, никто не приблизился къ нему — всѣ они точно маленькіе холмы въ виду этого поэтическаго Казбека" [1]). Вліяніе Байрона на юношу Лермонтова указано самимъ поэтомъ; тѣмъ не менѣе трудно поставить Лермонтова въ такую полную зависимость отъ англійскаго поэта. Лермонтовъ былъ почти мальчикъ, когда познакомился съ Байрономъ впервые, но его собственная натура была исполнена такой бурной, непокорной энергіи, которой нельзя объяснить только чужимъ руководствомъ. Здѣсь опять можно примѣнить извѣстныя слова Пушкина: „талантъ неволенъ, и его подражаніе не есть постыдное похищеніе—признакъ умственной скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія". Байронизмъ тридцатыхъ годовъ не былъ уже только личное и единичное вліяніе: это было настроеніе эпохи, созданное не однимъ Байрономъ; а съ другой стороны историкъ сознаетъ, что Лермонтовъ, во-первыхъ, остался чуждъ извѣстнымъ сторонамъ Байрона, напр., его политическимъ идеямъ и гуманизму, а во-вторыхъ, уходилъ дальше его: „По методу безпощаднаго психологическаго анализа авторъ „Героя нашего времени" и „Маскарада" выходитъ далеко за предѣлы круга Байроновскаго вліянія и главенства"; или „Лермонтовское настроеніе можетъ иногда показаться болѣе Байроновскимъ, чѣмъ у самого Байрона" [2]). Таковъ „Демонъ",—„произведеніе единственное, выходящее за предѣлы Байроновской поэзіи, въ высшей степени романтическое и поражающее своею смѣлостью, даже если его разсматривать какъ одну изъ самыхъ крупныхъ волнъ этого порывистаго и слѣпого литературнаго движенія;—полъ-вѣка прошло

---

[1]) Спасовичъ, Сочиненія. II, стр. 373.
[2]) Тамъ же, стр. 379, 398.

съ тѣхъ поръ, какъ была задумана поэма, романтизмъ прошелъ и забытъ, но этотъ цвѣтокъ романтизма, одинъ изъ самыхъ пышныхъ, сохранилъ донынѣ свой сильный и безподобный ароматъ". О другой поэмѣ Лермонтова авторъ говоритъ: „Чувства поэта, истаго сына дикой природы, находятся въ полномъ созвучіи съ этою природою: въ этомъ отношеніи поэма „Мцыри" есть одинъ изъ прелестныхъ алмазовъ поэзіи не только русской, но и всемірной". И едва ли поэтъ, зависимый отъ чужого внушенія, могъ стать „однимъ изъ великановъ не только русской, но и европейской литературы" [1]).

Еще однимъ изъ такихъ неожиданныхъ явленій, которыми знаменовалось вступленіе русской литературы на самостоятельную дорогу, была поэзія Кольцова, старшаго современника Лермонтова и сверстника Гоголя. И его дѣятельность была опять очень кратковременна: съ тѣхъ поръ, какъ онъ нашелъ свой настоящій поэтическій путь, онъ дѣйствовалъ всего шесть-семь лѣтъ,—но этого было довольно, чтобы онъ могъ достойнымъ образомъ отмѣтить свое имя въ исторіи русской поэзіи и внести въ нее новый плодотворный элементъ.

Кольцовъ дѣйствительно представляетъ столь оригинальное явленіе, что хотя внесенное имъ новое содержаніе нашло потомъ свое дальнѣйшее развитіе, но поэта съ нимъ однороднаго и равносильнаго русская поэзія до сихъ поръ не видѣла.

Попытки ввести народную пѣсню въ литературное обращеніе идутъ издавна, почти съ самаго начала нашей новой литературы. Цѣнность народной пѣсни въ литературномъ отношеніи понималъ уже Тредьяковскій, когда находилъ, что именно въ „подлыхъ" пѣсняхъ заключается истинный образецъ русскаго стихосложенія. Сумароковъ написалъ много „пѣсенъ", которыя были даже любимы въ тогдашнемъ обществѣ и въ которыхъ бывали намеки на народный тонъ [2]), употреблялись народно-пѣ-

---

[1]) Тамъ же, стр. 389, 395, 406.

[2]) Напримѣръ, № VIII (по изданію 1781, т. VIIII);

Въ рощѣ дѣвки гуляли,
Калина ли моя, малина ли моя.
И весну прославляли.
Калина ли, и пр.

Или, № XIX:

О, ты, крѣпкой крѣпкой, Бендеръ градъ,
О, разумный храбрый Панинъ графъ,
Ждетъ Европа чуда славнова,
Ждетъ Россія славы новыя.

сенныя выраженія, уже не находившія мѣста въ литературномъ языкѣ (напр.: мой свѣтъ, красно солнце, кручина и т. п.). Причина этого вкуса къ народной пѣснѣ была двоякая: во-первыхъ, въ то время пѣсня еще твердо держалась въ самой дворянской средѣ, гдѣ не только въ деревенской, но и въ городской жизни она береглась какъ старинное патріархальное развлеченіе; съ другой стороны, народная пѣсня бывала и придворнымъ развлеченіемъ и примѣръ двора оказывалъ свое обычное дѣйствіе. Изданія „пѣсенниковъ“, гдѣ находили мѣсто сочиненные пѣсни и романсы, и настоящія народныя пѣсни, начинаются уже съ семидесятыхъ годовъ XVIII вѣка, составляя несомнѣнно прямое продолженіе сборниковъ рукописныхъ; и со временъ Сумарокова отраженія пѣсенныхъ образцовъ не перестаютъ появляться въ литературѣ, — напримѣръ, въ комическихъ операхъ конца прошлаго вѣка, между прочимъ въ пьесахъ имп. Екатерины. Отраженіе пѣсни можно встрѣтить даже въ тѣхъ школьныхъ виршахъ и кантахъ, гдѣ въ старинный силлабическій стихъ проникала пѣсенная манера, народныя слова и выраженія. Послѣдними представителями этого давняго подражанія пѣсенному складу были въ Пушкинское время: ревностный классикъ, дожившій до окончательнаго паденія классицизма, Мерзляковъ; писатель еще старѣйшаго поколѣнія, Нелединскій-Мелецкій; наконецъ, романтикъ съ антологическими вкусами, одинъ изъ ближайшихъ друзей Пушкина, баронъ Дельвигъ. Всѣ они пользовались въ свое время большою славою; ихъ „народныя“ пѣсни, въ сущности романсы на нѣсколько народный ладъ, полагались на музыку и были чрезвычайно распространены. Бѣлинскій указалъ уже, какъ были, однако, далеки Мерзляковъ и Дельвигъ отъ истинно народнаго стиля. „Въ пѣсняхъ Мерзлякова, — говоритъ онъ, — попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что̀ можетъ сдѣлать талантъ. Но несмотря на то, въ цѣломъ его русскія пѣсни не что иное, какъ романсы, пропѣтые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига—это уже рѣшительные романсы,

---

Царь Турецкой и не думаетъ,
Чтобы Бендеръ было взяти льзя, и т. д.

Или, № CLVIII:

Прилетѣла на берегъ синица,
Изъ заполночнова моря,
Изъ захолодна Океяна:
Спрашивали гостейку пріѣзжу,
За моремъ какіе обряды, и т. д.

въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсѣмъ русскій, а скорѣе нѣмецкій, или, еще ближе къ дѣлу, итальянскій баринъ. Мерзляковъ по крайней мѣрѣ перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское горреванье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенькой задумчивости, слѣдовательно, нѣтъ ничего русскаго"... „Изъ поэтовъ,— говоритъ онъ дальше,—только Мерзляковъ, и то въ одной только пѣснѣ, и то не вполнѣ, умѣлъ приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не внѣшнимъ только образомъ, но и внутренно, умѣлъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сантиментальности романса,—въ пѣснѣ: „Чернобровый, черноглазый". По крайней мѣрѣ, слѣдующіе стихи изъ этой пѣсни нельзя не признать удивительными:

Воетъ сыръ-боръ за горою,
Мятелица въ полѣ;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога" [1])...

Въ пѣсняхъ Дельвига страннымъ образомъ мѣшаются народный складъ съ пріемами романса или даже съ псевдо-классической идилліей. Наиболѣе удачныя изъ нихъ стали любимыми романсами [2]); но ему ничего не стоило не только рядомъ съ народною пѣснью писать идилліи съ Титиромъ и съ Зоей, но и въ самыя пѣсни помѣщать „пастушекъ", Хлою и т. п.

Такимъ образомъ народная пѣсня вводилась въ литературу очень поверхностно: для истиннаго проникновенія въ духъ народной поэзіи требовался бы особый исключительный талантъ, а также и нѣчто иное—уразумѣніе народной жизни путемъ болѣе глубокаго сознанія. Это сознаніе могло быть двоякое: или непосредственное чувство, или теоретическое изученіе... Возникало, наконецъ, и то, и другое. Это непосредственное чувство влекло Пушкина въ народно-поэтическій міръ, и онъ указывалъ впервые, — хотя въ началѣ еще съ оттѣнками романтики,—какъ можно овладѣвать богатствами народно-поэтическихъ замысловъ и языка. Эта же сильная непосредственность, которой „не могъ побѣдить разсудокъ", внушала „Родину" Лермонтова.

Оба великіе поэта угадывали въ народной поэзіи ея кра-

---

[1]) Стихотворенія Кольцова. М. 1857, Біографія, стр. 55, 56, 62 (Біографія, явившаяся первоначально въ изданіи Кольцова 1846 г., повторена и въ собраніи сочиненій Бѣлинскаго, т. XII, 1862).

[2]) Напримѣръ: „Ахъ ты ночь ли ноченька", „Пѣла, пѣла пташечка", „Соловей, мой соловей" и т. п.

соту, и въ ея изученіи одинъ изъ источниковъ народнаго самосознанія. Раньше, чѣмъ какое-нибудь научное изслѣдованіе успѣло объяснить особенности старой народной поэзіи, Лермонтовъ создалъ, въ 1836 или 1837 году, „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова". Новѣйшій изслѣдователь разыскалъ, что Лермонтовъ руководился не однимъ сборникомъ Кирши Данилова, какъ полагали, и что у него могли быть и другія собранія, а кромѣ того пѣсни, имъ самимъ слышанныя: такъ можно встрѣтить здѣсь отголоски разбойничьихъ, удалыхъ и другихъ бытовыхъ пѣсенъ; наконецъ, несомнѣнно было собственное наблюденіе народнаго обычая въ крестьянской и купеческой средѣ,—при чемъ оказываются даже нѣкоторыя неточности. Нельзя однако, — говоритъ изслѣдователь, — считать „Пѣсню" Лермонтова какимъ-то сборнымъ произведеніемъ, переложеніемъ пѣсенныхъ мотивовъ и картинъ, не говоря о томъ, что едва ли можно отыскать что-либо отвѣчающее всему сюжету Лермонтовской „Пѣсни" въ преданіяхъ и пѣсняхъ. „Поэтъ силою своего творчества представилъ новое произведеніе, которое родственно съ народной поэзіей, но не тождественно. Его „Пѣсня" такъ же связана съ народными мотивами, какъ большая величавая рѣка, разливающаяся въ ширь и въ даль,—съ своими истоками—изъ родниковъ, ручьевъ и рѣчекъ, выбѣгающихъ изъ почвы" [1]). „Пѣсня" Лермонтова была крупнымъ литературнымъ фактомъ въ томъ отношеніи, что едва ли не впервые, послѣ опытовъ Пушкина, открывала возможность ввести въ литературу чисто народное содержаніе въ чисто народной формѣ, сохраняя все ея художественное изящество безъ какихъ-либо уступокъ данной литературной манерѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ развивалась другая сторона усвоенія исторической, бытовой и поэтической народности. Начиная съ XVIII вѣка, разросталось все шире и въ разнообразныхъ отношеніяхъ изученіе Россіи и русскаго народа [2]). Тотъ разрывъ высшихъ классовъ отъ народа, который происходилъ съ XVIII-го вѣка отчасти отъ вліянія учрежденій, отчасти отъ распространенія иностраннаго обычая, въ значительной мѣрѣ происходилъ однако просто оттого, что высшіе классы пріобрѣтали извѣстное образованіе въ то время, какъ масса довольствовалась остатками старой книжности или пребывала въ кругломъ или довольно кругломъ невѣжествѣ. Если съ одной стороны терялось непосредствен-

---

[1]) П. Владиміровъ, „Историческіе и народно-бытовые сюжеты въ поэзіи Лермонтова", стр. 23—24.

[2]) „Исторія русской этнографіи", т. I—II.

ное пребываніе въ старомъ обычаѣ, а при этомъ терялось и многое народно-поэтическое, то съ другой стороны дѣлалось и великое пріобрѣтеніе. Древній русскій человѣкъ въ самомъ пониманіи своего отечества ограниченъ былъ вѣрой и инстинктомъ; и только съ помощію новой науки могло быть получено сознательное представленіе о цѣломъ отечествѣ, объ его исторіи и современномъ состояніи. Отечество было громадно и совершенно не изслѣдовано даже относительно его естественныхъ богатствъ; исторія извѣстна была древнему русскому человѣку въ элементарной лѣтописной формѣ и чѣмъ дальше въ глубь старины, тѣмъ становилась непонятнѣе,—только при помощи новой науки можно было возстановить ея дѣйствительные факты: и въ самомъ дѣлѣ, только благодаря ученымъ поискамъ могли быть открыты и объяснены многіе драгоцѣнные памятники древности, забытые книжниками XVII-го вѣка. Старый обычай забывался среди образованныхъ классовъ—между прочимъ по той простой причинѣ, что обычай, по существу сельскій, мало укладывался въ развивавшуюся все болѣе городскую жизнь; но частію обычай мало-помалу падалъ вслѣдствіе незамѣтнаго, но постояннаго наплыва новыхъ книжныхъ знаній и его паденіе нерѣдко бывало желательно, потому что нерѣдко онъ былъ слишкомъ первобытно грубъ и вреденъ, какъ на то указывалъ еще Ломоносовъ; частію онъ варьировался по мѣстностямъ и племеннымъ оттѣнкамъ, — и въ концѣ концовъ представлялъ массу безсознательнаго преданія, въ которомъ новая наука также стремилась осмотрѣться и отдать себѣ отчетъ. Народная поэзія была заключена въ этомъ процессѣ паденія патріархальной старины. Повидимому, она была еще свѣжа въ концѣ XVIII-го и началѣ XIX-го вѣка, но, какъ не подлежитъ теперь сомнѣнію, она и въ то время утратила многое изъ своего стараго содержанія: пѣсни эпическія становились все рѣже; въ обрядовыхъ, многое давно становилось непонятно самому народу; съ каждой смѣной поколѣній стирались въ варіантахъ черты подлинной старины. Потребность закрѣпить народную поэзію записями сказалась уже въ XVII вѣкѣ; но главнымъ образомъ онѣ опять сдѣланы были только въ XVIII столѣтіи,—таковъ былъ знаменитый сборникъ Кирши Данилова и многочисленные печатные пѣсенники послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка; наконецъ тому же времени принадлежитъ открытіе драгоцѣннаго памятника древней поэзіи, окончательно забытаго старыми книжниками, Слова о полку Игоревѣ... Если могло и должно было быть сознательное представленіе о русскомъ народѣ, его исторіи, преданіяхъ, очевидно, необходима была реста-

врація. Эту работу дѣлали въ особенности такъ называемые сухіе археологи, вмѣстѣ съ историками и этнографами, но благодаря имъ становилось возможно то обращеніе къ „народности", которое стало важнымъ факторомъ въ развитіи литературы вообще, а также въ высшей области художественнаго творчества. Отсюда, вмѣстѣ съ собственными этнографическими наблюденіями, вышли народно-поэтическія произведенія Пушкина; и отсюда стала возможна „Пѣсня" Лермонтова.

Въ сравненіи съ тою стариной, которая казалась и кажется многимъ столь завидна по своей непосредственной привязанности къ древнему, „вполнѣ національному" обычаю, въ этой новѣйшей работѣ собиранія и изслѣдованія пріобрѣтался результатъ своего высокаго достоинства — сознательное объединеніе національнаго преданія... Подъ вліяніемъ этого движенія въ тридцатыхъ годахъ заявленъ былъ извѣстный тройственный принципъ русской національности, и „народность" получала оффиціальную санкцію. Въ свое время и долго послѣ это заявленіе множество разъ цитировалось какъ откровеніе истинныхъ началъ русской жизни. Иногда служило оно добрымъ цѣлямъ, давая защиту изученіямъ народной жизни, которыя еще въ тридцатыхъ годахъ инымъ ревнителямъ стараго обскурантизма казались вредными и опасными, потому что въ нихъ видѣлось что-то демократическое [1]; но съ другой стороны это заявленіе было не однажды злоупотребляемо, потому что изъ слова „народность" хотѣли сдѣлать оружіе противъ иноземнаго, между прочимъ противъ иноземной науки, и оффиціальная народность, какъ нѣчто уже достигнутое, становилась прикрытіемъ столь привычнаго застоя [2].

Какъ бы то ни было, словомъ „народность" сказано было многое, что̀ могло утвердить въ литературѣ интересъ къ народной жизни. Не разъ можно было видѣть, что слово не было достаточно понимаемо;—но, хотя смутно, былъ высказанъ принципъ великой важности или, другими словами, признано было движеніе, начавшееся гораздо ранѣе. Уже вскорѣ, въ сороковыхъ годахъ, подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, вопросъ народности поставленъ былъ на философско-историческую почву и возникла та борьба двухъ лагерей, которая съ разными видоизмѣненіями

---

[1]) Напомнимъ разсказы Сахарова о преслѣдованіяхъ, какія грозили ему за его этнографическія изысканія, или фактъ осужденія сборника пословицъ, Даля, еще въ началѣ пятидесятыхъ годовъ.

[2]) Напомнимъ еще, что въ первоначальной редакціи заявленія Уварова вмѣсто неопредѣленнаго слова „народность" стояло болѣе опредѣленное и выражавшее политическій принципъ, именно: крѣпостное право.

тянется до сихъ поръ, захватывая вопросы національный, нравственный и общественный.

Жизненная важность движенія между прочимъ сказалась въ томъ, что на ряду съ этнографическими изученіями расширились горизонты поэзіи. Это было нѣчто новое, свѣжее и самостоятельное, какой-то инстинктивный порывъ художественнаго творчества, который и совпалъ съ общимъ движеніемъ литературнаго развитія. Таковы были произведенія Лермонтова и Кольцова. Лермонтовъ внѣшнимъ образомъ соприкасался съ упомянутымъ этнографическимъ изученіемъ, почерпая между прочимъ изъ книги поэтическій матеріалъ для знаменитой „Пѣсни"; но стихотвореніе „Родина" указывало и всю непосредственность его чувства къ народу, народно-поэтическому преданію и стилю. Эту непосредственность, хотя въ совсѣмъ иномъ примѣненіи, мы найдемъ въ Кольцовѣ.

Біографія Кольцова извѣстна. Въ средѣ, далекой отъ литературы, не подозрѣвавшей объ ея существованіи, въ матеріальныхъ условіяхъ, мало благопріятныхъ для самаго элементарнаго обученія, въ провинціальной глуши, куда только случайно проникала книга, оказалась необычайная поэтическая сила, которая только съ великимъ трудомъ достигла пониманія первоначальныхъ литературныхъ пріемовъ и затѣмъ развернулась въ оригинальныхъ произведеніяхъ еще небывалой поэзіи. Это былъ полный контрастъ съ Лермонтовымъ: богатый баричъ и—сынъ мѣщанина, еще мальчикомъ поставленный за дѣло; всѣ средства широкаго домашняго образованія и университетъ, и—первый классъ провинціальнаго уѣзднаго училища вмѣсто всей школы; знакомство съ великими произведеніями европейской литературы, не говоря о русской, и—нѣсколько русскихъ книжекъ, купленныхъ на мѣдныя деньги; блестящій аристократическій кругъ, и—обстановка мѣщанскаго промысла; высокомѣріе балованнаго аристократа, который какъ будто лишь снисходилъ къ отечественной литературѣ, и—пугливое смущеніе полу-образованнаго мѣщанина передъ учеными людьми, у которыхъ онъ искалъ помощи своимъ скуднымъ познаніямъ,—и однако тотъ и другой заняли высокое положеніе въ русской поэзіи, въ которую вносили различные мотивы содержанія, но одинаковую непосредственность національно-поэтическаго чувства. Когда въ Кольцовѣ впервые заговорили неясные поэтическіе инстинкты, онъ былъ совершенно безпомощенъ какъ самоучка. Первымъ чтеніемъ его были сказки, и онъ самъ захотѣлъ составлять что-нибудь въ этомъ родѣ; потомъ попалась „Тысяча и одна ночь" и романы; однажды случилось за сходную цѣну купить

сочиненія Дмитріева, стихи показались ему пѣснями и онъ думалъ, что надо ихъ пѣть; мало-по-малу книжный запасъ увеличился и у него были сочиненія не только Ломоносова и Державина, но Жуковскаго и Пушкина. Онъ былъ чрезвычайно обрадованъ, когда попалась ему въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига: здѣсь между прочимъ оказались русскія пѣсни— стало быть, и пѣсня, какая начинала складываться у него самого, есть также поэзія!.. Нашлись наконецъ люди, которые могли помочь ему: это были воронежскій книгопродавецъ, который снабдилъ его книжкой о стихосложеніи, и въ особенности Серебрянскій, талантливый, но рано умершій юноша, который направилъ первые стихотворные опыты Кольцова. Съ начала тридцатыхъ годовъ стихотворенія Кольцова стали изрѣдка являться въ печати, и въ это время узналъ его извѣстный Н. В. Станкевичъ, который и издалъ первое небольшое собраніе его стихотвореній въ 1835. Въ 1836 (и потомъ еще въ 1838 и 1840) Кольцову пришлось по своимъ дѣламъ прожить довольно долго въ Москвѣ и побывать въ Петербургѣ; онъ завязалъ многія литературныя знакомства и въ особенности сблизился съ Бѣлинскимъ, съ которымъ поддерживалъ потомъ постоянныя сношенія; въ Петербургѣ онъ былъ ласково принятъ Жуковскимъ и Пушкинымъ, кн. Одоевскимъ и кн. Вяземскимъ, а затѣмъ, въ 1837, во время путешествія наслѣдника (впослѣдствіи императора Александра II) по Россіи, Жуковскій, въ Воронежѣ, все свободное время проводилъ съ Кольцовымъ и былъ въ его домѣ. Это конечно произвело впечатлѣніе и въ городѣ, и въ самой семьѣ, гдѣ на литературныя занятія Кольцова смотрѣли прежде косо; но потомъ его домашнія отношенія стали опять невыносимы, и послѣдніе годы жизни, въ тяжелой болѣзни и среди горькихъ личныхъ разочарованій, прошли печально.

Бѣлинскій высоко цѣнилъ въ Кольцовѣ его поэтическое дарованіе, которое опредѣлялъ онъ какъ „геніальный талантъ", а также замѣчательный умъ. Знакомство съ литературнымъ кругомъ открыло передъ Кольцовымъ новый міръ понятій; воронежская жизнь стала тяготить его; онъ почувствовалъ еще сильнѣе недостатокъ образованія и старался его пополнить; его мысль останавливалась на тѣхъ глубокихъ вопросахъ, опредѣленіе которыхъ бываетъ основой какого-либо міровоззрѣнія,—отсюда его „думы", наиболѣе слабая часть его поэзіи, но характерная для изученія самой личности поэта... Бѣлинскій замѣчаетъ, что жизнь въ Москвѣ въ томъ кругу, гдѣ Кольцовъ встрѣчалъ сочувствіе и находилъ пищу для своихъ духовныхъ интересовъ, очень при-

влекала его, и за это время онъ написалъ много хорошаго. Дома его жизнь была страшно тяжела. Переписка съ Бѣлинскимъ, напечатанная теперь сполна при новыхъ изданіяхъ его стихотвореній, даетъ понятіе объ этомъ безотрадномъ существованіи, такъ что надо удивляться, какъ среди этого мрака онъ могъ создавать свои удивительныя произведенія. „Давно уже,— напримѣръ, писалъ онъ Бѣлинскому въ 1840,—лежитъ на душѣ грустное сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня“... „А что въ 1838 году написалъ такъ много порядочнаго—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня каждый день настраивали, а во-вторыхъ, я почти ничего не дѣлалъ и былъ празденъ“... „А здѣсь кругомъ меня другой народъ—татаринъ на татаринѣ“... „И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ; а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія“.

Стихотворенія Кольцова распадаются на три группы, отвѣчающія различнымъ сторонамъ и ступенямъ его поэтическаго развитія. Это — стихотворенія, особливо въ его раннюю пору, писанныя правильнымъ размѣромъ въ подражаніе любимымъ поэтамъ; далѣе—пѣсни, и наконецъ „думы“. Вторая группа именно заключаетъ его самостоятельный поэтическій трудъ и историческую заслугу въ судьбахъ русской поэзіи. Въ свое время никто не ставилъ этихъ произведеній Кольцова такъ высоко, какъ Бѣлинскій. Область „русской пѣсни“ была спеціальнымъ достояніемъ его поэзіи: для нея онъ былъ созданъ, и могъ овладѣть ею именно потому, что былъ сыномъ народа. Бѣлинскій думалъ, что самъ Пушкинъ,—хотя въ пьесахъ его изъ народной жизни видна душа глубоко-русская,—не могъ бы создать такихъ произведеній: онъ былъ для этого слишкомъ художественно-объективенъ, и въ его пьесахъ слышенъ поэтъ, образованный европейски, и при внимательномъ наблюденіи въ нихъ замѣтны поэтическіе мотивы, скорѣе приложенные къ русской темѣ, нежели чисто-русскіе. Кольцовъ выросъ въ русской народной средѣ. „Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу и все хорошее и прекрасное, что̀, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ... Онъ носилъ въ себѣ всѣ

элементы русскаго духа, — въ особенности страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали и веселію и, вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе"... „Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ быть, еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копѣйки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачиху".

Кольцовъ остается народнымъ въ своемъ чувствѣ, выраженіи и языкѣ. „Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно, и никогда не впадаетъ въ сантиментальность, даже и тамъ, гдѣ оно становится нѣжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи онъ также вѣренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пѣсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его пѣсни представляютъ собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальныхъ образовъ въ высшей степени русской поэзіи. Съ этой стороны языкъ его столько же удивителенъ, сколько и неподражаемъ".

Слова Бѣлинскаго вполнѣ рисуютъ то впечатлѣніе, какое произвела поэзія Кольцова на современниковъ. Бѣлинскій былъ другомъ Кольцова, и другомъ именно потому, что видѣлъ въ немъ богатое нравственное содержаніе и рѣдкую поэтическую силу, въ которой заключалась великая надежда русской литературы. Въ этомъ кругу Кольцовъ находилъ хотя нѣкоторое удовлетвореніе томившей его умственной жажды; въ этомъ кругу была поддержана и его художественная работа: онъ самъ объяснялъ, что, живя въ Москвѣ, онъ написалъ такъ много „порядочнаго" потому, что въ этомъ кругу его „настраивали" [1]). Для Бѣлинскаго Кольцовъ былъ дорогъ вдвойнѣ и какъ замѣчательная личность, вышедшая прямо изъ народа, и какъ поэтъ, созданія котораго казались ему настоящимъ откровеніемъ.

Приведенныя слова были сказаны Бѣлинскимъ уже въ концѣ его дѣятельности; за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1841, онъ съ такимъ же энтузіазмомъ говорилъ о „Пѣснѣ" Лермонтова: „Толпа и не подозрѣваетъ высокаго достоинства этой поэмы.

---

[1]) Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ: „Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали, о, слишкомъ много, много. Эти послѣдніе два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни". Или: „Да,—говорилъ онъ по смерти своего друга Серебрянскаго, — внѣшнія обстоятельства могутъ подавить и великую душу человѣка, если они безпрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ защиты нѣтъ".

Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошедшее, подслушалъ біеніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій разметъ его чувства и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ оттѣнками, какъ будто бы никогда и не знавалъ о другихъ, и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ее довольно наслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрешаетъ она прошедшее и мы не можемъ насмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло отъ насъ". Народныя легенды, съ которыми сопоставляли поэму Лермонтова (сборникъ Кирши Данилова), кажутся Бѣлинскому дѣтскимъ лепетомъ; здѣсь, напротивъ, поэтъ „вышелъ въ царство народности какъ ея полный властелинъ и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество... Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества, показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присущно его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ въ этой поэмѣ является не безъискусственнымъ пѣвцомъ народности, но истиннымъ художникомъ" [1]). Извѣстно, какую высокую важность Бѣлинскій придавалъ этимъ актамъ художественнаго творчества: это были вѣрные показатели духовнаго развитія общества, успѣхи искусства были успѣхами общественнаго сознанія. Лермонтовъ и Кольцовъ завоевывали для этого сознанія новую область: они облегчали пониманіе прошедшаго,—между прочимъ въ лицѣ одной изъ самыхъ крупныхъ фигуръ нашей старой исторіи, — и пониманіе настоящаго народнаго быта, въ первый разъ открывая незамѣченную до тѣхъ поръ глубину нравственнаго содержанія и приближая общество къ уразумѣнію народа.

Вслѣдъ за Бѣлинскимъ и именно по поводу новаго изданія Кольцова съ біографіей, имъ написанной, остановился на этой народной поэзіи критикъ новаго поколѣнія и съ самостоятель-

---

[1]) Сочиненія, т. IV, изд. 2-е, стр. 288—304.

нымъ пониманіемъ, Валеріанъ Майковъ. Для него Кольцовъ есть столь же знаменательная поэтическая сила, какъ и для Бѣлинскаго, быть можетъ, даже еще болѣе могущественная... Стихотворенія Кольцова дали ему поводъ къ обширному трактату, гдѣ объ объяснялъ и отношеніе художества къ жизни, и значеніе тѣхъ лицъ, которыя выдаются изъ среды общества и народа, становясь ихъ руководителями, учителями и поэтами. У Бѣлинскаго Кольцовъ является сыномъ народа, представителемъ его духа и поэтическимъ изобразителемъ народнаго быта; Майковъ понимаетъ значеніе Кольцова несравненно шире. „Но ограничивается ли,—спрашиваетъ онъ,—сфера Кольцова возведеніемъ въ поэзію, то-есть, гуманизированіемъ русскаго крестьянскаго быта? Мы полагаемъ, что эта сфера гораздо обширнѣе, и что поэзія русскаго крестьянскаго быта составляетъ только одну изъ подчиненныхъ областей того міра, который создалъ или по крайней мѣрѣ стремился создать нашъ художникъ. Въ собраніи его стихотвореній находимъ мы много превосходныхъ пьесъ, отличающихся глубокою оригинальностью и вовсе не заключающихъ въ себѣ отвѣта на вопросъ объ упомянутомъ характерѣ русскаго крестьянина. Читая эти пьесы, нельзя не замѣтить, что другая, несравненно громаднѣйшая задача занимала поэта; другое, колоссальное, богатырское стремленіе рвалось изъ тревожной души, силилось пробиться сквозь огромныя препятствія, иногда и успѣвало на мигъ находить себѣ выходъ, но всегда должно было возвращаться внутрь себя, однакожъ не для коснѣнія въ безвыходномъ отчаяніи, а для пріисканія новыхъ путей къ выходу на широкое поле свободной дѣятельности. Это могучее, ничѣмъ несокрушимое стремленіе не переставало бушевать въ сердцѣ Кольцова до самой его смерти и выразилось во всей своей физіономіи въ его стихотвореніяхъ... Къ чему же онъ стремился? Къ чему рвалась эта странная сила, раздраженная, но не смятая преградами? Онъ стремился къ жизни, къ дѣятельности, соразмѣрной съ его огромными способностями, къ разнообразной и обильной пищѣ для души, переполненной черезъ край безконечно разнообразными и вопіющими потребностями—символами могучей жизненности“ [1]). Вся жизнь Кольцова прошла въ борьбѣ съ дѣйствительностью; эта дѣйствительность „безжалостно дразнила его, указывая ему по временамъ тотъ обѣтованный край, къ которому онъ неуклонно стремился, для того только, чтобы снова отбрасывать его къ началу пути“. Всего

---

[1]) Критическіе опыты, стр. 50 и дал.

больше онъ любилъ науку и искусство, но лишенъ былъ возможности съ ними познакомиться, какъ бы хотѣлъ; онъ не могъ жить среди людей, въ которыхъ находилъ сочувствіе и опору, и долженъ былъ возвращаться въ среду, его не понимавшую и оскорблявшую... „И что̀ жъ? Онъ не только не изнемогъ подъ бременемъ этой дѣйствительности, но еще отыскалъ въ ней источники упоеній и матеріалъ для поэзіи. Тяжко ему было жить въ степи, потому что душа его рвалась въ міръ, созданный наукой и просвѣтленный искусствомъ; но самая степь плѣняла его своею перукотворною красотою; онъ любилъ ее какъ художникъ... Еще тяжеле ему было сносить всѣ явленія окружавшаго его быта; но и въ этомъ быту художественный инстинктъ его отыскалъ искры человѣчности, заслоненныя отъ глазъ обыкновеннаго человѣка, и создалъ то, что̀ называемъ мы поэзіей крестьянскаго быта“. Наконецъ, онъ находилъ привлекательность и въ своемъ собственномъ трудѣ, который, хотя противорѣчилъ его склонностямъ, но давалъ исходъ для дѣятельности и, можетъ быть, помогалъ забыть горестныя думы... „Иногда жизненность доходила у Кольцова до такой высоты страстнаго увлеченія, что онъ плѣнялся жизнью, представляя ее себѣ въ какомъ-то упоительномъ отвлеченіи, охватывая любовью всѣ ея стороны разомъ, благословляя однимъ задушевнымъ гимномъ все ея содержаніе, и добро и зло, и радость и горе. Казалось бы, что такой взглядъ не можетъ составлять поэтическаго содержанія; ибо по привычкѣ къ мелкимъ, одностороннимъ страстямъ намъ не вѣрится, что такая многообъемлющая идея, какова идея жизни, могла быть прочувствована человѣческимъ сердцемъ и изъ чистой мысли перейти въ ощущеніе. Но посмотрите и подивитесь, какъ легко совершается этотъ процессъ въ могучей натурѣ нашего поэта, и согласитесь, что онъ носилъ въ себѣ силы исполина:

Въ непогоду вѣтеръ
Воетъ, завываетъ;
Буйную головушку
Злая грусть терзаетъ.

Горемышной долѣ
Нѣтъ нигдѣ привѣта:
До сѣдыхъ волосъ любовью
Душа не согрѣта.

Нѣту силъ; усталъ я
Съ этимъ горемъ биться,—

А на свѣтъ посмотришь:
Жалко съ нимъ проститься!

Доля жъ, моя доля!
Гдѣ ты запропала?
До поры, до время
Въ воду камнемъ пала?

Поднимись—что силы,
Размахни крылами:
Можетъ, наша радость
Живетъ за горами.

Если нѣтъ, у моря
Сядемъ да дождемся;
Безъ любви и съ горемъ
Жизнью наживемся.

„Но—трудно найти поэта, котораго стремленія были бы въ одно время такъ же сильны и такъ же безплодны, какъ стремленія Кольцова. Читая его, вы убѣждаетесь въ ихъ неподдѣльности, въ ихъ несомнѣнной реальности; но нѣтъ у него ни одной пьесы, гдѣ бы онъ высказалъ ярко и опредѣлительно тотъ идеалъ жизни, къ которому постоянно и неуклонно рвалась страстная душа его. Видно, что онъ самъ никогда не могъ дать въ этомъ себѣ столь яснаго отчета, чтобы могъ передать его точными и живописно вѣрными словами. Поэтому, ясный и точный во всемъ остальномъ, онъ дѣлается загадочнымъ всякій разъ, когда доводитъ рѣчь до предмета своихъ порывовъ. Вы чувствуете, что стремленіе его исполнено жизни и могущества; но напрасно стали бы вы искать въ его стихахъ изображенія того міра, который самому ему являлся полнымъ неуловимой тайны".

Истолкованіе этой неясности сознаніе даетъ его біографія: это была великая внутренняя драма, „положеніе истиннаго таланта, томимаго жаждой исхода и обреченнаго тѣмъ, что̀ называется судьбою, на томленіе почти безвыходное". „Кольцовъ, какъ художникъ, не имѣвшій чести принадлежать къ блестящему сонму романтическихъ поэтовъ, не смѣлъ и браться за разсказы о томъ, чего не сознавалъ ясно"; а съ другой стороны „праздное созерцаніе брамина ему невыносимо"... Если предметомъ его изображеній и сценой, гдѣ высказалось его настроеніе, была крестьянская жизнь, это было только потому, что эта жизнь была именно ему совершенно знакома и въ ней онъ находилъ реальныя черты для выраженія владѣвшихъ имъ стремленій".

Отвергая данное Бѣлинскимъ опредѣленіе Кольцова, какъ изобразителя народнаго быта, Валеріанъ Майковъ отвергалъ и представленіе Кольцова, какъ типа русской натуры. Въ объясненіе своего взгляда Валеріанъ Майковъ ставитъ то теоретическое положеніе, что великіе люди, высокія дарованія, выдѣляющіяся изъ массы, бываютъ вовсе не представителями этой массы, а исключеніемъ изъ нея. „Каждый народъ, — говорилъ онъ,— имѣетъ двѣ физіономіи: одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая—меньшинству. Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность вліяніямъ климата, мѣстности, племени и судьбы; меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ вліяній". Опредѣляя дѣятельность великихъ людей (въ томъ числѣ Петра Великаго), онъ замѣчаетъ, что „виновники великихъ общественныхъ переворотовъ всѣ безъ исключенія были и должны быть одарены великою свободою личности и ополчены на подвиги вопіющимъ противорѣчіемъ своихъ свойствъ съ свойствами окружающихъ ихъ явленій общественности и природы: иначе эти явленія увлекали бы ихъ въ свой круговоротъ, и порядокъ вещей оставался бы неизмѣннымъ. Величайшій переворотъ въ жизни человѣчества произведенъ былъ самимъ Богомъ въ образѣ человѣка" [1]. „Личность заключается въ противоположности внѣшнимъ вліяніямъ: но чтобы перейти въ человѣчность, она должна освободиться отъ крайности, противоположной той, которая преобладаетъ въ національности". Русскій народный характеръ носитъ черты, свойственныя вообще сѣвернымъ народамъ; Майковъ указываетъ въ немъ именно упомянутую двойственность—съ одной стороны механическую подчиненность и усыпленіе, съ другой—удальство, и послѣднее или какъ постоянную особенность, или какъ вспышку. И еслибы Кольцовъ былъ дѣйствительно представителемъ русской натуры, то онъ „долженъ бы былъ проявлять во всѣхъ своихъ мысляхъ, чувствахъ и дѣлахъ или самую отчаявающую неподвижность, или самое отчаянное удальство". Въ дѣйствительности этого не было: „стихотворенія Кольцова, выражая собою изумительную жизненность, вмѣстѣ съ тѣмъ отличаются какою-то необыкновенною дѣльностью и нормальностью. Никакъ не уличите вы его ни въ какой крайности, ни въ какомъ болѣзненномъ проявленіи раздражительности"... „Кольцовъ былъ далекъ и отъ романтизма, и отъ разочарованія. Нельзя не говорить о немъ съ особеннымъ

---

[1]) Тамъ же, стр. 67 и далѣе.

уваженіемъ, если вспомнить, что эпоха его первой молодости совпадаетъ съ эпохой господства у насъ этихъ двухъ чудовищъ",—если ихъ не было въ его средѣ, то онъ могъ увидать ихъ въ литературномъ кругу и начитаться въ тогдашней романтической поэзіи [1]).

Общій выводъ Валеріана Майкова объ историческомъ положеніи Кольцова въ развитіи русской поэзіи состоитъ въ слѣдующемъ. „По недостатку образованія Кольцовъ не могъ своими произведеніями попасть въ колею современнаго ему движенія общества и литературы. Въ то же время, могучая личность ставила его выше времени. Его произведенія положительно выразили собою тотъ идеалъ, на который остальные поэты наши указываютъ путемъ отрицанія. Онъ былъ болѣе поэтомъ возможнаго и будущаго, чѣмъ поэтомъ дѣйствительнаго и настоящаго. Его поэзія прямо призываетъ къ полнотѣ наслажденія тою жизнью, которой простые законы стремится опредѣлить и современная мудрость путемъ критики и утопіи. Страсть и трудъ, въ ихъ естественномъ благоустройствѣ, — вотъ простыя начала, изъ которыхъ сложился яркій идеалъ жизни, проникшій восторгомъ здоровую натуру поэта-мѣщанина. Замѣчательно, что появленіе его стихотвореній современно появленію произведеній Гоголя, величайшаго поэта-аналитика, давшаго надолго нашей литературѣ направленіе критическое. Такъ и должно быть: сознаніе идеала одно только и можетъ дать смыслъ и крѣпость анализу и отрицанію. Иначе анализъ переходитъ въ мелочное сплетничанье, а отрицаніе—въ болѣзненное и безплодное раздраженіе желчи. Эпоха критики должна быть въ то же время эпохою утопіи (принимая это слово въ его первоначальномъ, разумномъ значеніи): иначе человѣчество утратило бы всю энергію живыхъ стремленій и осталось бы безъ отвѣта на призывы бытія" [2]).

Майковъ находилъ, что Кольцовъ былъ поэтъ безъ публики: народъ не читалъ его, „образованные люди" смотрѣли на него только какъ на рѣдкость,—отъ нихъ была далека народная дѣйствительность, поэтически изображенная Кольцовымъ, и романтизмъ еще ослѣплялъ общество „блескомъ своей красивой лжи". Вліяніе Кольцова—въ будущемъ.

Таковы были два оригинальные поэта въ періодъ, наступавшій въ послѣдніе годы Пушкина. Оба ставили Пушкина очень высоко: одинъ за негодующее стихотвореніе на смерть Пушкина

[1]) Тамъ же, стр. 94—95, 100.
[2]) Тамъ же, стр. 114—115.

былъ отосланъ на Кавказъ, другой „благоговѣлъ“ передъ Пушкинымъ; но оба были отъ него независимы. Какъ будто не случайно они вышли изъ противоположныхъ слоевъ общества, одинъ съ крайнимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ жизни, другой съ полнымъ признаніемъ ея даровъ, которые онъ встрѣчалъ своей энергической поэзіей. Оба были какъ будто далеки отъ общественныхъ вопросовъ данной минуты; во всемъ объемѣ своей поэзіи оба какъ будто не были вполнѣ поняты современниками и не оставили непосредственной школы,—но тѣмъ не менѣе имъ принадлежало несомнѣнное и глубокое дѣйствіе въ послѣдующихъ литературныхъ поколѣніяхъ. Необычайная художественная красота ихъ созданій повышала уровень поэтическаго и нравственнаго настроенія; по внѣшности независимо отъ нихъ, но въ несомнѣнной связи съ ними расширялось самое содержаніе послѣдующаго творчества. Отрицательное направленіе Лермонтова прилагалось къ насущной дѣйствительности и усиливало нравственныя требованія, съ которыми обращался къ жизни писатель и человѣкъ общественныхъ интересовъ; неопредѣленныя впечатлѣнія народнаго патріотизма развивались все въ болѣе опредѣленныя чувства уваженія къ народу. Еще сильнѣе дѣйствовала въ этомъ послѣднемъ направленіи поэзія Кольцова. Едва ли и теперь она принимается въ томъ обширномъ значеніи, какое придавалъ ей Валеріанъ Майковъ; но исполненныя добраго чувства и смѣлаго взгляда на жизнь изображенія народнаго быта не только указывали на богатый запасъ поэзіи въ этой почти невѣдомой области, но заставляли иначе взглянуть и на нравственно-общественную сторону народнаго вопроса. Кольцовъ становился популяренъ, его стихотворенія стали необходимой принадлежностью хрестоматій, какъ образцы народно-литературнаго стиля, изъ нихъ готовились романсы; но болѣе глубокій слѣдъ его поэзіи можно наблюдать въ той послѣдующей литературѣ, которая съ сороковыхъ годовъ стала обращаться къ изображенію народной жизни. Если основнымъ тономъ реализма эта литература обязана была выше всего Гоголю, то въ признаніи достоинства народной жизни и характера она въ большой мѣрѣ обязана именно Кольцову. Съ нимъ очевидно связанъ Некрасовъ; менѣе ясно, по различію формы, но несомнѣнно—по нравственному тону отношенія къ народу, съ нимъ связанъ и Тургеневъ въ „Запискахъ Охотника“... Это уваженіе къ народной личности, которое съ сороковыхъ годовъ становится все болѣе господствующимъ, создавалось многими моти-

вами, но въ ряду ихъ важное мѣсто принадлежитъ именно поэзіи Кольцова.

Литература о Михаилѣ Юр. Лермонтовѣ (род. 3 октября 1814, убитъ на дуэли 15 іюля 1841) довольно значительна, хотя цѣльныхъ работъ немного. Изъ современниковъ, его поэзію изучалъ въ особенности Бѣлинскій: Сочиненія, т. III, обширная статья о „Героѣ нашего времени“; т. IV, о стихотвореніяхъ („Отеч. Записки“, 1840—1841), и много отдѣльныхъ замѣчаній.

— С. Дудышкинъ, ст. при изданіяхъ сочиненій Лермонтова. Спб. 1860, 1863.

— И. Панаевъ, Литер. воспоминанія. Спб. 1876 (раньше въ „Современникѣ“, 1861).

— Н. Добролюбовъ, Сочиненія. Спб. 1862, т. II.

— Ап. Григорьевъ, въ журналѣ „Время“ 1862, № 10—12; Сочиненія, т. I. Спб. 1876.

— Записки Е. А. Хвостовой, рожд. Сушковой. 1812—1841. Матеріалы для біографіи Лермонтова. Спб. 1870 (первоначально въ „В. Европы“ 1869, но въ отдѣльномъ изданіи съ дополненіями).

— В. Водовозовъ. Новая русская литература. 2-е изд. Спб. 1870, стр. 224—296.

— Геннади и Собко, Справочный словарь. Берлинъ, 1880, т. II.

— В. Межовъ, Р. историческая библіографія, за 1865—1876. Спб. 1882, т. II.

— В. Буренинъ, Критическіе этюды. Спб. 1888, стр. 277—293.

— Къ тому времени, когда изданіе сочиненій Л. стало общимъ достояніемъ, явилось нѣсколько изданій и нѣсколько новыхъ опытовъ изученія. Отмѣтимъ изданіе В. Рихтера, М. 1889—91, гдѣ біографія составлена П. Висковатовымъ, со многими новыми подробностями, но и нѣкоторыми странностями; между прочимъ нерѣдко преувеличено автобіографическое толкованіе произведеній Л. Иллюстрированное изданіе „Сочиненій“ Л., М. 1891 (Кушнерева и К°) сопровождено статьей Ив. Иванова; нѣкоторыя иллюстраціи довольно уродливы.

— Н. Котляревскій, „М. Ю. Л. Личность поэта и его произведенія“. Опытъ историко-литературной оцѣнки. Спб. 1891.

— В. Спасовичъ, Байронизмъ у Л., въ „В. Европы“ 1888, мартъ, апрѣль, и „Сочиненія“, т. II. Спб. 1889;—разборъ книги Котляревскаго, въ „В. Европы“, 1891, декабрь. Здѣсь встрѣтились двѣ разныя точки зрѣнія: одна признаетъ Лермонтова естественнымъ и необходимымъ звеномъ въ развитіи общественной стихіи нашей литературы; другая видитъ въ немъ только чисто субъективнаго художника и высоко замѣчательнаго дѣятеля чистаго искусства.

— С. А. Андреевскій, Литературныя Чтенія. Спб. 1891, стр. 217—250, поддерживаетъ эту послѣднюю точку зрѣнія; на крайности ея указалъ въ свое время Н. К. Михайловскій, „Литература и жизнь“. Спб. 1892, стр. 244—252.

— В. Острогорскій, Этюды о русскихъ писателяхъ. III. Мотивы

Лермонтовской поэзіи. Спб. 1891. Авторъ опять видитъ въ Л. „благороднаго выразителя идей и чувствъ лучшихъ изъ его современниковъ“.

— П. Владиміровъ, Историческіе и народно-бытовые сюжеты въ поэзіи М. Ю. Л. Кіевъ, 1892, изъ „Чтеній“ въ Общ. Нестора лѣтописца, кн. VI.

— Ив. Ивановъ, въ Энцикл. Словарѣ, К. К. Арсеньева, гдѣ присоединены библіографическія указанія.

Къ вопросу о байронизмѣ у Лермонтова, и еще раньше у Пушкина, укажемъ обширный трудъ Маріана Здзѣховскаго (M. Zdziechowski): Byron i jego wiek. Studya porównawczo-literackie. T. I. Europa zachodnia. T. II. Czechy. Rosya. Polska. Kraków, 1894—97. Указавъ проблески вліяній Байрона (или знакомства съ нимъ) у Жуковскаго, Козлова, Рылѣева, авторъ останавливается особенно на Пушкинѣ (II, стр. 156—212); указываетъ Пушкинскую школу въ Баратынскомъ и Подолинскомъ; проводитъ параллель между Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ по отношенію къ байронизму; говоритъ потомъ о Полежаевѣ, въ которомъ видитъ предшественника Лермонтова, и наконецъ посвящаетъ обширную главу Лермонтову (II, стр. 274—365), какъ великому поэту, который въ русской литературѣ всего сильнѣе воспринималъ вліянія Байрона и развивалъ ихъ самостоятельно въ своей поэзіи. Авторъ считаетъ Лермонтова поэтомъ самаго непримиримаго отрицанія, который „на развалинахъ міра радъ былъ бы поднять демоническую пѣснь о тріумфѣ разрушенія“ (стр. 273), но вмѣстѣ признаетъ, что въ его творчествѣ была и „добрая, свѣтлая сила“ (стр. 363). Общее значеніе русскаго байронизма авторъ указываетъ въ томъ, что черезъ двухъ величайшихъ поэтовъ Россіи Байронъ вліялъ на развитіе и укрѣпленіе въ ней того литературнаго направленія, которое въ наше время доставило ей въ Европѣ такое распространеніе, такое признаніе и значеніе, о какихъ передъ тѣмъ она не могла и мечтать.

Изъ многихъ детальныхъ изслѣдованій укажемъ:

— Александръ Веселовскій, Царица Тамара въ народной легендѣ и у Лермонтова, въ газетѣ „Кавказъ“ 1898, № 6—7; „Еще о царицѣ Тамарѣ“, тамъ же, № 66.

— С. Махаловъ, „Идеалистическія настроенія въ поэмѣ Демонъ“, въ сборникѣ „Памяти В. Г. Бѣлинскаго“. М. 1899.

— В. В. Розановъ, Литературные очерки. Спб. 1899, стр. 155—169: „Вѣчно печальная дуэль“ (по ея поводу, объясненіе значенія писателя).

Общая характеристика личности и поэзіи Лермонтова сдѣлана была съ новой точки зрѣнія Вл. С. Соловьевымъ въ публичной лекціи (въ мартѣ 1899), еще не появившейся въ печати.

— Алексѣй Васил. Кольцовъ род. 2 окт. 1808 (Бѣлинскій полагалъ: 1809), умеръ 29 окт. 1842.

— Бѣлинскій, о жизни и сочиненіяхъ К., при изданіи: „Стихотворенія Кольцова“, 1846, 4-е изд. 1863; статья повторена и въ „Сочиненіяхъ“ Бѣлинскаго, т. XII.

— М. Катковъ, Нѣсколько дополнительныхъ словъ къ характеристикѣ К., въ Р. Вѣстникѣ, 1856, т. VI.

— Валер. Майковъ, Критическіе опыты (1845—1847). Спб. 1891.

— (Н. Добролюбовъ), А. В. К., его жизнь и сочиненія. Чтеніе для юношества, 1858.

— М. Де-Пуле, А. В. К., въ его житейскихъ и литературныхъ дѣлахъ и въ семейной обстановкѣ. Спб. 1878. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ странная книга, занятая между прочимъ опроверженіемъ сужденій Бѣлинскаго о К., какъ человѣкѣ. Ср. его же статью въ „Нов. Времени", 1878, 31 дек.

Въ настоящее время изученіе К. облегчено новыми изданіями, когда съ 1892 сочиненія его стали общимъ литературнымъ достояніемъ. Таковы изданія „Сѣвера", подъ ред. А. І. Лященка; Маркса, подъ ред. Арс. Введенскаго (2-е дополненное изд. Спб. 1895) съ неизданными раньше письмами Кольцова къ Бѣлинскому, В. П. Боткину, кн. П. А. Вяземскому, кн. В. Одоевскому, Краевскому и др. Иллюстрированное изд. подъ ред. П. Быкова.—О бумагахъ К., гдѣ были между прочимъ письма Бѣлинскаго и другихъ литераторовъ, Де-Пуле сообщаетъ (пред., стр. IV), что по его смерти онѣ попали въ руки зятя его Семенова, отъ котораго, вмѣстѣ съ разнымъ хламомъ, перешли на толкучій рынокъ и почти всѣ погибли безвозвратно.

— В. Огарковъ, А. В. К., его жизнь и литературная дѣятельность, въ біографіяхъ, издаваемыхъ Павленковымъ.

— В. Острогорскій, Художникъ русской пѣсни, въ „Мірѣ Бож.", 1892, октябрь.

— П. Владиміровъ, А. В. К., какъ человѣкъ и какъ поэтъ. Кіевъ, 1894, изъ „Чтеній" въ Общ. Нестора лѣтописца, кн. VIII.

— Ив. Ивановъ, въ Энцикл. Словарѣ, К. К. Арсеньева.

ГЛАВА XLVI.

ПОСЛѢ ГОГОЛЯ.

Въ нашей критикѣ не однажды былъ поставленъ и получалъ различныя рѣшенія вопросъ о томъ, кто можетъ считаться истиннымъ родоначальникомъ нашей новѣйшей литературы, или, собственно, ея общественнаго характера и реализма: Пушкинъ или Гоголь?—Въ дѣйствительности, новые періоды литературы слагаются не однимъ авторитетомъ сильнаго единичнаго писателя, а сложнымъ вліяніемъ разнообразныхъ условій, не въ одной области литературы, а въ цѣломъ теченіи общественной и народной жизни; въ то же время не подлежитъ сомнѣнію, что геніальный писатель, силою поэтическаго и нравственнаго внушенія, можетъ наложить свою печать на дальнѣйшій ходъ поэтическаго развитія: его идеи, пріемы стиля являются открытіемъ, въ нихъ видятъ наилучшій искомый путь поэтическаго творчества и нравственнаго воздѣйствія на общество, и писатели второстепенные стремятся исчерпать новое содержаніе и форму... Въ этомъ относительномъ смыслѣ упомянутый вопросъ можетъ быть дѣйствительно поставленъ.

Рѣшеніе его можетъ имѣть двоякій интересъ. Во-первыхъ, оно опредѣлитъ историческій фактъ—объемъ дѣйствія того или другого писателя; во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ, оно прямо или косвенно связано съ общимъ вопросомъ о значеніи искусства. Это—давній вопросъ о томъ, должно ли искусство служить только самому себѣ или, напротивъ, быть связано съ содержаніемъ общественнаго характера; другими словами, предназначено ли оно для эстетическаго эпикурейства, или должно содѣйствовать не только эстетическому, но также нравственному и гражданскому воспитанію общества. Въ обычныхъ понятіяхъ, Пушкинъ является представителемъ перваго изъ этихъ направленій, Гоголь—второго.

Должно ли, поэтому, господствовать въ литературѣ служеніе чистому искусству или, напротивъ, стремленіе развивать въ поэзіи мотивы общественнаго характера, и были ли дальнѣйшіе успѣхи нашей литературы достигнуты первымъ изъ этихъ путей или вторымъ; должно ли считаться здравымъ направленіемъ литературы то, которое стремится къ идеаламъ чистой „красоты", не погрязая въ злобѣ дня, или, напротивъ, то, которое хочетъ быть отраженіемъ дѣйствительной жизни и органомъ лучшихъ нравственныхъ стремленій общества. Кѣмъ же создана новая русская литература?

Въ минуты историческаго энтузіазма, когда торжествовалась память Пушкина въ 1880, и теперь, когда торжествовалось по всей Россіи столѣтіе его рожденія, Пушкинъ какъ бы общимъ голосомъ былъ признанъ за родоначальника нашей новой литературы. Въ различныхъ отношеніяхъ это было безспорно. Но какъ Ломоносовъ считается „отцомъ" нашей литературы въ XVIII столѣтіи, хотя она уже вскорѣ начала искать и находить новые пути по содержанію, формѣ и языку, такъ и въ нашемъ вѣкѣ подобное значеніе Пушкина не исключало бы для созданной имъ литературы новыхъ путей и новыхъ задачъ, которые могли не быть прямымъ исполненіемъ его завѣтовъ: дальнѣйшій періодъ литературы, при всемъ признаніи его авторитета, не могъ бы быть связанъ имъ и былъ бы въ полномъ правѣ самостоятельно вести литературное развитіе. Самъ Пушкинъ въ своемъ поэтическомъ трудѣ, по неизбѣжнымъ условіямъ исторіи, исполнялъ задачи, налагаемыя временемъ; такимъ же образомъ и литература, которую мы хотѣли бы признать его созданіемъ, должна была бы исполнять задачи своего времени— когда сама исторія шла впередъ и выростало содержаніе русской общественной жизни.... Во время историческихъ торжествъ 1880 г. и нынѣ вспомнился эпизодъ отрицательнаго отношенія къ Пушкину, которое опять приводится къ тому же вопросу объ его историческомъ значеніи для новѣйшей литературы. Крайнимъ, въ сущности единичнымъ пунктомъ этого отрицанія была (около 1860) извѣстная статья Писарева. Чтобы правильно понять ея источникъ, надо вспомнить, что Писаревъ высказывался противъ того литературнаго круга, который не понималъ возбужденія новыхъ поколѣній въ ожиданіи реформъ и который рядомъ съ холодностью къ животрепещущимъ вопросамъ цѣлой народной жизни проповѣдовалъ холодное или мистическое ученіе чистаго искусства; до чего простирался юношескій задоръ писателя, видно изъ того, что въ это же время онъ давалъ

Салтыкову совѣтъ бросить сатиру и заняться составленіемъ популярныхъ книжекъ по естествознанію [1]). Но если и въ новомъ литературномъ поколѣніи крайности Писарева не встрѣтили сочувствія, то въ кругу эстетиковъ прежней школы, а потомъ во всей консервативной печати онъ сталъ именно представителемъ „отрицанія", и его идеи приписаны вообще людямъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ (что̀ было совершенно ложно, какъ видно изъ приведеннаго сейчасъ примѣра). Въ этомъ спорѣ о чистомъ искусствѣ и Пушкинѣ, быть можетъ, не вполнѣ сознательно для обѣихъ сторонъ, высказалось противорѣчіе не столько литературное, сколько общественное. Основа противорѣчія была въ различномъ пониманіи общественнаго характера литературы и самой поэзіи, и разногласіе обострилось условіями времени. Подъ впечатлѣніемъ раскрывавшихся темныхъ сторонъ національной жизни и въ мелькавшей надеждѣ на ея возрожденіе,—надеждѣ, которая отъ самой силы ожиданій становилась въ глазахъ молодыхъ мечтателей увѣренностью, они убѣждались, что всѣ лучшія силы общества и въ томъ числѣ ихъ представительство—литература, должны быть направлены именно на служеніе приближавшемуся будущему, на служеніе просвѣщенію, на удовлетвореніе очевиднымъ реальнымъ нуждамъ русскаго общества и народа: эти нужды были слишкомъ велики, такъ что широкое поприще благотворнаго труда открывалось бы передъ каждымъ дѣятелемъ литературы, способнымъ уразумѣть великую историческую минуту. Точка зрѣнія была, какъ видимъ, „утилитарная", но основныя побужденія этого столь пренебрегаемаго „утилитаризма" имѣли нравственную цѣну—быть можетъ, болѣе высокую, чѣмъ бывало иногда въ напыщенныхъ фразахъ о „святынѣ" искусства... Разногласіе отразилось и на сужденіяхъ о прошедшемъ нашей литературы: къ ней предъявлены были требованія, какія примѣнялись къ литературѣ современной и какія вообще полагались необходимой мѣркой ея общественнаго значенія. Въ новомъ свѣтѣ сталъ представляться XVIII вѣкъ, затѣмъ недавнее прошлое, и наконецъ, самъ Пушкинъ. При этой переоцѣнкѣ прошедшаго указано было не мало такого, что̀ упускалось изъ виду прежними историками; но съ другой стороны понадѣланы и ошибки—не однажды терялась историческая перспектива. Такъ было и съ Писаревымъ: онъ относится къ Пушкину такъ, какъ будто это былъ современный писатель, и съ

---

[1]) Пренебрежительный взглядъ Салтыкова на понятія и пріемы Писарева былъ высказанъ въ „Современникѣ" 1863—64 г.; см. въ моей книгѣ: „М. Е. Салтыковъ", Спб. 1899, стр. 156—164.

этой точки зрѣнія не удовлетворялся ни его общественными взглядами, ни романтическими пріемами его поэзіи, и предаетъ тѣ и другіе неумолимому осужденію. Но и при большемъ вниманіи къ исторіи, чѣмъ было у Писарева, жизненные типы, изображенные прежними писателями, являлись теперь въ новомъ свѣтѣ. Печоринъ, избранная, хотя эгоистическая, натура у Бѣлинскаго, казался Добролюбову только разновидностью Обломова; еще легче могъ быть приравненъ къ Обломову Евгеній Онѣгинъ... Новому поколѣнію, искавшему какого-либо дѣятельнаго участія въ общественныхъ интересахъ, становились непонятны эти неопредѣленные мечтатели, не знавшіе куда дѣвать свои силы и при всей ихъ энергіи, какъ Печоринъ, употреблявшіе эти силы только на „разнаго рода дебоширства"... Юношескій задоръ Писарева потерялъ всякую мѣру.

Такимъ образомъ для молодыхъ поколѣній шестидесятыхъ годовъ Пушкинъ утрачивалъ ту возбуждающую силу, какую онъ имѣлъ прежде; самая красота художественныхъ произведеній не увлекала, потому что за нею не видѣли того содержанія, которое казалось теперь единственнымъ, достойнымъ истиннаго творчества, не видѣли мысли о народномъ и общественномъ благѣ... Но этимъ порывомъ новаго общественнаго чувства историческій вопросъ не рѣшался. Въ жадномъ исканіи отвѣта на современныя тревоги общества, интересы художества забывались, и вмѣстѣ историческая перспектива утеряна: возстановленіемъ ея, нѣсколько преувеличеннымъ въ другую сторону, былъ апоѳеозъ Пушкина въ 1880 г. И на этотъ разъ дана была оцѣнка Пушкина слишкомъ абсолютная. Здѣсь были опять оттѣнки различныхъ настроеній: съ одной стороны, былъ отголосокъ тѣхъ восхваленій чистаго искусства (отожествляемаго съ Пушкинымъ), которыя противополагались эстетическому утилитаризму прогрессистовъ и могли проповѣдоваться даже настоящими обскурантами; съ другой, было искреннее увлеченіе общественнымъ торжествомъ, какое въ первый разъ выпадало на долю нашей литературы и могло, хотя въ нѣкоторой степени, объединить литературу въ одномъ общественномъ чувствѣ. Литература такъ долго и такъ много переживала тяжелаго, что отрадно было хоть на время забыться въ великомъ воспоминаніи и почерпнуть въ немъ ободреніе на возвращавшіеся тяжелые будни; былъ, наконецъ, интересъ историческаго взгляда на прошлое нашей литературы, которое завершалось этимъ воспоминаніемъ,—возросшее историческое отдаленіе давало возможность раскрыть умолчанное или не сознанное современниками и, въ сущности,

въ первый разъ нѣсколько полно оцѣнить жизненную борьбу и поэтическій трудъ великаго писателя.

Снова возникалъ споръ объ искусствѣ. Абсолютный художникъ также немыслимъ, какъ немыслимъ абсолютный человѣкъ, существующій внѣ племенныхъ и общественныхъ отношеній. Искусство общественное нерѣдко упрекаютъ въ тенденціозности, при которой страдаетъ непосредственность творчества. Это смѣшеніе есть, всего чаще, фальшивый полемическій пріемъ [1]. Искусство общественное вовсе не требуетъ тенденціозности, но предполагаетъ полную возможность соединенія высокаго достоинства поэтическаго съ общественной идеей, возможность сильнаго художественнаго впечатлѣнія рядомъ съ благотворнымъ дѣйствіемъ на общественное и личное нравственное сознаніе,—и это драгоцѣнно тамъ, гдѣ литература, по всему складу жизни, получаетъ особенную важность, какъ единственный факторъ общественности. Какъ бы сильно ни была развита въ поэтѣ чисто субъективная сторона творчества или „метафизичность" его вдохновенія, онъ тѣмъ не менѣе не можетъ уничтожить въ себѣ „духа времени" и, напротивъ, всегда, прямо или косвенно, отразитъ на себѣ эти стремленія, станетъ на ту или на другую сторону въ борьбѣ, которою совершается общественное развитіе... Такъ было съ однимъ изъ самыхъ „метафизичныхъ" поэтовъ нашей литературы, Лермонтовымъ, и то же самое было у поэта, наиболѣе увлеченнаго чистымъ культомъ поэтической красоты, Пушкина. Достоевскій въ знаменитой рѣчи на Пушкинскомъ праздникѣ, восторженномъ, хотя запутанномъ панегирикѣ, изображалъ Пушкина не только какъ великаго поэта, но и какъ общественнаго моралиста.

Пушкинъ и Гоголь соединены тѣсною связью съ развитіемъ общественнаго самосознанія, переходившаго подъ ихъ вліяніемъ отъ чисто художественныхъ впечатлѣній къ размышленію о нравственномъ достоинствѣ и, наконецъ, примѣнявшаго эти размышленія къ практическимъ явленіямъ общественности; тѣмъ не менѣе, въ болѣе частномъ смыслѣ между ними было дѣйствительно великое различіе,—и это различіе сказалось въ историческомъ осуществленіи ихъ вліянія въ литературѣ и общественныхъ понятіяхъ. Они были близко родственны въ своихъ представленіяхъ о высокихъ задачахъ искусства, которое должно быть свободно

[1] Въ нашей литературной практикѣ, какъ было не однажды замѣчено, тенденціозное и именно ретроградное изображеніе нашей общественной жизни всего чаще совершается въ томъ самомъ лагерѣ, который настаиваетъ на „чистомъ" искусствѣ. (Ср. „Критическіе этюды по русской литературѣ", г. Арсеньева. Спб. 1888, т. II).

отъ житейской суеты и, не подчиняясь внѣшнимъ соблазнамъ свѣта, стремиться только къ исполненію того, что̀ внушается поэтическимъ, почти божественнымъ вдохновеніемъ; этому высокому представленію о нравственномъ достоинствѣ искусства Гоголь научался особенно отъ Пушкина, котораго ставилъ на недосягаемую высоту, и въ послѣдніе годы своей жизни Гоголь развилъ это представленіе въ тотъ мистическій идеалъ, гдѣ искусство перешло бы, наконецъ, свои предѣлы и превратилось въ аскетическую проповѣдь и прорицаніе. Но въ тотъ же періодъ поэтическаго общенія, между ними сказалось внутреннее различіе, которое подтверждено было потомъ въ складѣ ихъ творчества и въ характерѣ историческаго дѣйствія. Пушкинъ ясно видѣлъ особенности геніальнаго дарованія Гоголя и предчувствовалъ, какъ это должно было высказаться въ его произведеніяхъ— и приводить къ о̀бразамъ и впечатлѣніямъ, для него невѣдомымъ. Въ самомъ дѣлѣ, это были двѣ художественныя натуры весьма различнаго склада: оба высоко ставили искусство, но одинъ былъ художественный созерцатель, у котораго жизненныя впечатлѣнія слагались въ объективныя художественныя картины; другой къ этой „всеобщей" (по старому выраженію Плетнева) поэзіи былъ и равнодушенъ, и неспособенъ, его наблюденіе направлялось исключительно на окружавшую его русскую дѣйствительность, и при томъ не въ смыслѣ объективнаго изображенія, а напротивъ, въ тонѣ глубокаго юмора, который останавливается на повседневныхъ явленіяхъ, и въ „смѣхѣ сквозь слезы" раскрываетъ ихъ внутренній смыслъ, и отъ комическаго доходитъ до трагедіи и глубокаго нравственнаго дѣйствія. Какъ неожиданна была для Пушкина встрѣча съ этою чертою творчества Гоголя, указываетъ упомянутый выше разсказъ Гоголя о впечатлѣніи, какой произвелъ на него первый очеркъ „Мертвыхъ Душъ". Въ русскую литературу ярко вступалъ новый тонъ искусства, и Пушкинъ былъ въ числѣ первыхъ, которые въ самомъ началѣ признали его законность и его сильное дѣйствіе. То же самое дѣйствіе было почувствовано читателями Гоголя: въ немъ увидѣли совершенно новую силу, и когда ея дѣйствіе оказалось на дальнѣйшихъ явленіяхъ литературы, то именно въ немъ многіе увидѣли начинателя нашего художественнаго реализма и юмора, которые придали нашей литературѣ по преимуществу общественный характеръ. За Пушкинымъ осталась великая заслуга установить на нашей почвѣ начала искусства; Гоголю предоставлено было открыть съ глубокимъ художественнымъ анализомъ изображеніе русской дѣйствительности.

Съ этимъ вопросомъ мы стоимъ на глубоко-знаменательномъ пунктѣ всей новой исторіи нашей литературы. Съ выходомъ „Мертвыхъ Душъ“ (1842) завершился періодъ созиданія національной литературы, подведены были итоги дѣятельности цѣлаго ряда великихъ или замѣчательныхъ писателей, какими были Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ, дарованій совершенно различнаго характера, настроеній, умственнаго и нравственнаго содержанія, но силы которыхъ направлены были къ одной цѣли—раскрыть въ русской литературѣ возможность развитія того богатства національнаго духа, которое еще только угадывалось и проявленіе котораго ожидалось пока еще немногими восторженными умами. Дальнѣйшее развитіе должно было возбудить новую работу мысли и поэтическаго творчества. Такъ это и было впослѣдствіи. Поэтому исторически въ особенности важно выяснить этотъ новый поворотъ развитія, опредѣлить его источники и основной мотивъ, который отозвался въ дальнѣйшихъ явленіяхъ литературы.

Въ самомъ началѣ дѣятельности Гоголя никто не встрѣтилъ его съ такимъ сочувствіемъ и пониманіемъ, какъ тѣ молодые кружки тридцатыхъ годовъ, изъ которыхъ образовались замѣчательные представители общественной мысли сороковыхъ годовъ—писатели-художники, критики и публицисты обоихъ главныхъ лагерей тогдашней литературы. Это сочувствіе и пониманіе превращались въ настоящій восторгъ, когда вслѣдъ за первыми малорусскими повѣстями стали появляться новыя произведенія Гоголя все съ возраставшею глубиною общественнаго содержанія.

Наиболѣе одушевленнымъ выразителемъ этого восторга былъ конечно Бѣлинскій. Еще въ 1835 году, въ разборѣ повѣстей Гоголя, онъ пишетъ: „Отличительный характеръ повѣстей Гоголя составляютъ—простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. Причина всѣхъ этихъ качествъ заключается въ одномъ источникѣ: Гоголь—поэтъ, поэтъ жизни дѣйствительной“. Останавливаясь на впечатлѣніи повѣстей Гоголя, которыя, разсказывая о будничныхъ событіяхъ и пошлыхъ въ сущности людяхъ, способны глубоко взволновать наше чувство, Бѣлинскій говоритъ: „Вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, тотъ художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія! И возьмите почти всѣ повѣсти Гоголя: какой отличительный характеръ ихъ? что̀ такое почти каждая изъ его повѣстей? Смѣш-

ная комедія, которая начинается глупостями, продолжается глупостями, и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!" До какой степени восхищаютъ Бѣлинскаго подробности этихъ повѣстей, можно судить, напримѣръ, по его шутливому восторгу отъ поручика Пирогова: „Пироговъ!.. Святители! да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! Единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ первообразовъ! Ты многообъемлющѣе, чѣмъ Шейлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! Ты представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча, и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ. Да, господа, дивное словцо — этотъ Пироговъ! Это символъ, мистическій миѳъ, это, наконецъ, кафтанъ, который такъ чудно скроенъ, что придетъ по плечамъ тысячи человѣкъ"!

Въ концѣ той же статьи Бѣлинскій дѣлаетъ уже такое заключеніе: „...Если я сказалъ, что Гоголь—поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры... Поэтъ — высокое и святое слово, въ немъ заключается неумирающая слава!.. Но Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время, онъ является главою литературы, главою поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ" [1]).

Эти слова, сказанныя въ 1835, чрезвычайно замѣчательны. Еще при жизни Пушкина, Бѣлинскій ставилъ Гоголя во главѣ русской литературы. Правда, въ тѣ годы могло казаться, что поэтическая дѣятельность Пушкина замолкла; не были извѣстны тѣ произведенія, которыми былъ Пушкинъ занятъ въ послѣдніе годы и которыя явились только въ посмертномъ изданіи черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его кончины; но Бѣлинскій и послѣ не отказался отъ своихъ словъ: такъ высоко было его представленіе о новой поэтической стихіи, внесенной Гоголемъ въ нашу литe-

---

[1]) Сочиненія, т. I, новое изд. М. 1867, стр. 219, 228, 242.

ратуру и заключавшей, по его мнѣнію, богатые задатки будущаго плодотворнаго развитія.

Черезъ нѣсколько лѣтъ (1840), опредѣляя эстетическія свойства комедіи, по поводу „Горя отъ ума", онъ посвящаетъ обширный эпизодъ „Ревизору", этому „высоко художественному произведенію", „превосходному произведенію искусства",—но въ этомъ эпизодѣ Бѣлинскій, по его словамъ, могъ только „намекнуть" на идею этой комедіи, „скрѣпя сердце и обуздывая руку" [1]).

Съ изданіемъ „Мертвыхъ Душъ", этого „великаго произведенія", давнія надежды Бѣлинскаго сбылись: являлось произведеніе, которое еще разъ подтверждало жизненность русской литературы... Взглядъ Бѣлинскаго на цѣлое положеніе русской литературы и теперь былъ далеко не оптимистическій. „Мы уже не разъ говорили,—замѣчаетъ онъ,—что не вѣримъ существованію русской литературы, какъ выраженія народнаго сознанія въ словѣ, исторически развивавшагося; но видимъ въ ней прекрасное начало великаго будущаго, рядъ отрывочныхъ проблесковъ, яркихъ какъ молнія, широкихъ и размашистыхъ, какъ русская душа, но не болѣе, какъ проблесковъ. Все остальное, изъ чего слагается вседневная дѣятельность нашей литературы, имѣетъ мало, или совсѣмъ не имѣетъ отношенія къ этимъ проблескамъ, кромѣ развѣ того, какое отношеніе имѣетъ тѣнь къ свѣту и мракъ къ блеску" [2]). Со смерти Пушкина Гоголь замолкъ и, казалось, навсегда; тѣмъ временемъ „успѣла взойти и погаснуть яркая звѣзда Лермонтова", и затѣмъ въ литературѣ осталось полное ничтожество, ею овладѣло какое-то апатическое уныніе. „И вдругъ, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этихъ пустоцвѣтовъ и дождевыхъ пузырей литературныхъ, среди этихъ ребяческихъ затѣй, дѣтскихъ мыслей, ложныхъ чувствъ, фарисейскаго патріотизма, притворной народности,—вдругъ, словно освѣжительный блескъ молніи среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является твореніе чисто-русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно-художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта,—и въ то же время, глубокое по мысли, соціальное, общественное и историче-

[1]) Тамъ же, стр. 385—410.
[2]) Тамъ же, т. VI, изд. 2-е, стр. 405 и далѣе; ср. т. I, стр. 130.

ское“. Впечатлѣніе „Мертвыхъ Душъ“ было такъ сильно, что Бѣлинскій прибавляетъ: „Въ „Мертвыхъ Душахъ“ авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ ними“.

Эти восторженные отзывы даютъ понятіе о томъ, какое могущественное дѣйствіе имѣли даже раннія произведенія Гоголя, когда Бѣлинскій, столь чуткій и строгій художественный критикъ, рѣшился еще при жизни Пушкина поставить Гоголя во главѣ русской литературы. Эти отзывы показываютъ также, что въ Гоголѣ въ особенности оцѣнено было именно то свойство его дарованія, которое вело къ психологическому анализу личному и общественному, являлось задаткомъ „соціальной“ литературы,— свойство, которымъ Бѣлинскій отличалъ Гоголя отъ Пушкина [1]).

Извѣстно (и Бѣлинскій это указывалъ), что отношеніе массы общества къ Гоголю было, однако, вовсе не единодушно: онъ имѣлъ столько же поклонниковъ, сколько и порицателей. Эти послѣдніе состояли отчасти изъ романтиковъ и иныхъ читателей стараго вѣка, которымъ было искренно непонятно это постоянное обращеніе писателя къ „пошлой“ дѣйствительности, по ихъ мнѣнію недостойной вниманія и унижающей „искусство“; отчасти это были читатели и критики, которые смотрѣли на сочиненія Гоголя, такъ сказать, съ полицейской точки зрѣнія,— они подозрѣвали, что сатира, затрогивающая мелкія области жизни, можетъ затронуть и болѣе крупныя и наконецъ, подрывать довѣріе къ тому, что „все обстоитъ благополучно“... Поклонники Гоголя, не смущаясь этими осужденіями, видѣли въ ихъ только новое доказательство того, что въ Гоголѣ сказалась, наконецъ, сильная жизненная струя литературы...

Въ этомъ одушевленномъ и полномъ надежды взглядѣ на творчество Гоголя сошелся съ Бѣлинскимъ критикъ новаго литературнаго направленія, отчасти воспитавшійся на немъ, но уже независимый отъ него, Валеріанъ Майковъ [2]). Онъ—столь же высокаго мнѣнія о значеніи дѣятельности Гоголя, которая стала поворотнымъ пунктомъ въ развитіи литературы. Въ статьѣ о Кольцовѣ (1846), гдѣ Майковъ устаиовлялъ свои общіе взгляды на искусство и народность, мы читаемъ: „Силою своихъ талантовъ поэты наши сами образовали новыя школы критиковъ...

---

[1]) Замѣтимъ, что отзывы Бѣлинскаго о Гоголѣ вовсе не были безусловнымъ панегирикомъ: въ 1835 онъ не весьма дружелюбно относится къ историческимъ и философскимъ затѣямъ Гоголя; послѣ находилъ художественные недостатки не только въ повѣстяхъ Гоголя, но и въ самихъ „Мертвыхъ Душахъ“.

[2]) Характеристику этого писателя см. въ „Критическихъ этюдахъ“ К. К. Арсеньева, т. II, стр. 244—293.

Развитіе нашей литературы до появленія сочиненій Гоголя шло такъ гладко, такъ постепенно, что публика чрезвычайно легко переходила отъ однихъ требованій къ другимъ, отъ одной школы критики къ другой. Совершенное согласіе постоянно господствовало въ мнѣніяхъ и отношеніяхъ цѣлаго поколѣнія поэтовъ, читателей и критиковъ, и послѣдніе... не чувствовали большой нужды думать и писать о своихъ принципахъ. Появленіе „Мертвыхъ Душъ" измѣнило этотъ монотонный порядокъ вещей: неслыханная оригинальность этого произведенія до того изумила всѣхъ, что почти никто не рѣшался сразу признать въ немъ исполненіе общихъ законовъ художественности. А между тѣмъ сочувствіе къ Гоголевской манерѣ быстро возростало и дало начало новой школѣ искусства и критики. Эта новая школа, по своей рѣзкой противоположности съ прежними школами и по быстротѣ своего водворенія въ литературѣ, встрѣчаетъ столько же противодѣйствія, сколько и симпатіи. Такое положеніе дѣлъ въ литературномъ мірѣ произвело переворотъ въ мнѣніяхъ о сущности критики... Гоголь заставилъ насъ сдѣлать такой огромный и быстрый шагъ въ понятіяхъ объ искусствѣ или, лучше сказать, такъ передѣлалъ вкусъ цѣлой половины нашей публики, что она не можетъ выговорить передъ другою половиной двухъ словъ о литературѣ безъ того, чтобы не почувствовать необходимости поднять споръ о самыхъ основныхъ эстетическихъ вопросахъ... Созданная имъ школа быстро водворяется въ нашей литературѣ; но дѣятельность ея безсознательна и смутна, потому что самъ Гоголь только увѣнчанъ, а не объясненъ критикой". Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Вліяніе „Мертвыхъ Душъ" на русское общество было такъ могущественно и животворно, что каждое слово, произнесенное по поводу этого геніальнаго произведенія, каждая безпокойная шутка, въ которой блеститъ самородное слово Гоголя, каждый ни къ чему не ведущій споръ о достоинствахъ величайшаго изъ его произведеній, о томъ, „все ли выведены у него каррикатуры" или „и еще что-нибудь", „для смѣха ли все это написано" или „и еще для чего-нибудь", однимъ словомъ—всякое человѣческое движеніе, первымъ толчкомъ которому было появленіе „Мертвыхъ Душъ", заслуживаетъ полнаго вниманія и заботливаго изученія. Иначе и быть не можетъ, по нашему мнѣнію. Свойство души человѣческой таково, что сочувствіе двухъ человѣкъ къ какому-нибудь предмету опредѣляетъ ихъ взаимныя нравственныя отношенія, хоть бы предметъ сочувствія былъ и маловажный. Что̀ же сказать о сочувствіи къ произведенію, въ

которомъ предсталъ намъ русскій человѣкъ въ образахъ до того строгихъ, могучихъ, до того проникнутыхъ невыдуманными впечатлѣніями" [1]).

Указавъ, съ какою удивительной силой и вмѣстѣ простотой Гоголь раскрывалъ самыя сокровенныя движенія души человѣка, какъ этимъ онъ обезпокоилъ, огорчилъ, наконецъ озлобилъ множество людей, не желавшихъ считаться ни съ личной, ни съ общественной совѣстью, а другимъ далъ отраду нравственнаго сознанія, Валеріанъ Майковъ продолжаетъ: „Гоголь чуднымъ, небывалымъ разсказомъ своимъ расшевелилъ весь читающій людъ. Обнаруживаніе многихъ тайнъ человѣческой души, величіе подвига Гоголя въ первую минуту скорбно отозвалось въ сердцѣ... Съ одной стороны—безпокойство, недоумѣніе, досада, азартъ, съ другой стороны—восторгъ, умиленіе, благодарность и тоже своего рода нервное безпокойство росли съ каждымъ днемъ въ обществѣ. Зато и послѣдствія такого тревожнаго состоянія были велики".

Это—историческое свидѣтельство, идущее отъ писателя уже второго поколѣнія, которое воспитывалось на Гоголѣ. Эти отзывы, принадлежащіе эпохѣ, когда была свѣжа сила перваго впечатлѣнія, любопытны особенно тѣмъ, что въ нихъ уже предвидѣлось благотворное вліяніе этого могущественнаго факта нашей художественной литературы; результаты вліянія еще впереди или сказывались пока только общимъ, неопредѣленнымъ настроеніемъ; но ожиданіе было очень увѣренное. Валеріанъ Майковъ такъ указываетъ эти первые симптомы вліянія произведеній Гоголя:— „Глубокое сочувствіе, пробужденное „Мертвыми Душами" къ изученію современной жизни, вызвало всѣхъ и каждаго на простую и разумную дѣятельность. Всѣ стали подрываться и подкапываться подъ свою дотолѣ дремотную и лѣнивую жизнь... Прошло четыре года послѣ перваго изданія „Мертвыхъ Душъ", и до сихъ поръ нѣтъ никакой возможности развить здравую, живую мысль, не вспомнивъ десяти мѣстъ изъ этого неподражаемаго ключа къ уразумѣнію современной намъ жизни. Неумѣстно было бы говорить о вліяніи Гоголя на нашу литературу. Объ этомъ было говорено много и будетъ говориться еще больше. Лучшее доказательство огромнаго вліянія „Мертвыхъ Душъ" на современное общество мы видимъ въ томъ, что хотя до сихъ поръ только и рѣчи было, что о Гоголѣ, а между тѣмъ еще не существуетъ настоящаго критическаго разбора его про-

---

[1]) В. Майковъ, „Критическіе опыты", стр. 3—5.

изведенія. Иначе и быть не могло: всѣ были натолкнуты Гоголемъ на дѣятельность, всѣ ухватились за отрицаніе и въ дѣятельности своей пребыли вѣрны этому воззрѣнію. Чувство было слишкомъ сильно, и невозможно было требовать, чтобы причина безпокойства и стремительнаго перехода къ самому радикальному, самому беззавѣтному отрицанію была разобрана критически: фактъ утѣшительный въ томъ отношеніи, что онъ показываетъ, какъ велико было вліяніе „Мертвыхъ Душъ“. Но если критика не взялась за этотъ неисчерпаемый предметъ изученія, зато ни одинъ читатель, по прочтеніи „Мертвыхъ Душъ“, не оставался пассивнымъ. Каждый вынесъ изъ книги Гоголя хотя одно живое слово, которымъ былъ вправѣ и ограничиться, повторяя его вѣчно и безпокоясь этимъ словомъ, какъ событіемъ, опредѣляющимъ его положеніе на свѣтѣ, его нравственную физіономію. Оказалась замѣчательная перемѣна не только въ литературныхъ понятіяхъ, но и въ разговорномъ языкѣ и, по нашему мнѣнію, въ самомъ быту живой половины нынѣшней публики“. Вообще „Мертвыя Души“ представляютъ „торжество русскаго анализа, анализа мощнаго, безтрепетно и торжественно спокойнаго“ [1]). Результаты вліянія, по мнѣнію Майкова, выразились у людей болѣе серьезныхъ не только въ отрицаніи нѣкоторыхъ ненормальныхъ явленій жизни, но и въ стремленіи создать что-либо такое, что̀ могло бы упрочить и обобщить въ публикѣ впечатлѣніе „Мертвыхъ Душъ“ [2]).

Проходитъ нѣсколько лѣтъ, и критика опять выясняетъ значеніе Гоголя. Основной смыслъ его произведеній понимался такъ же, какъ онъ былъ опредѣляемъ Бѣлинскимъ и В. Майковымъ. Вліяніе Гоголя успѣло обнаружиться въ литературныхъ фактахъ, носившихъ печать его внушеній; образовался цѣлый отдѣлъ нравоописательной литературы, который получилъ названіе натуральной школы; вліяніе Гоголя можно было угадывать и въ крупныхъ произведеніяхъ писателей, которымъ предстояло занять потомъ высокое мѣсто въ исторіи нашей литературы. Но все еще нужно было настаивать на объясненіи Гоголя, указывать и защищать то направленіе, какое было имъ дано русской литературѣ, какъ глубоко жизненное и необходимое для развитія общественнаго сознанія, наконецъ, опредѣлить его значеніе относительно исторической роли Пушкина. Этотъ вопросъ поставленъ

[1]) Тамъ же, стр. 251—255, 394.

[2]) Онъ относилъ сюда появленіе въ свѣтъ, уже вскорѣ послѣ „Мертвыхъ Душъ“, нѣсколькихъ беллетристическихъ произведеній, „не лишенныхъ направленія“, затѣмъ попытку, хотя неудачную, перенести Чичикова на сцену, наконецъ, предпринятый тогда альбомъ иллюстрацій къ „Мертвымъ Душамъ“.

былъ авторомъ „Очерковъ Гоголевскаго періода русской литературы“ (въ 1855—1856).

Новая точка зрѣнія была въ томъ, что общество и литература за послѣднее время (періодъ стѣсненій съ конца сороковыхъ годовъ) стали глухи къ высокимъ призывамъ, какіе заключались въ дѣятельности „Гоголевскаго періода“. Авторъ иронически относился къ толкамъ о быстромъ развитіи нашей литературы. „Сама собою представится мысль: правда, что за Жуковскимъ явился Пушкинъ, за Пушкинымъ—Гоголь, и что каждый изъ этихъ людей вносилъ новый элементъ въ русскую литературу, расширялъ ея содержаніе, измѣнялъ ея направленіе: но что̀ новаго внесено въ литературу послѣ Гоголя? И отвѣтомъ будетъ: Гоголевское направленіе до сихъ поръ остается въ нашей литературѣ единственнымъ сильнымъ и плодотворнымъ... а вѣдь двадцать лѣтъ прошло со времени появленія „Ревизора“, двадцать-пять лѣтъ съ появленія „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“: — прежде, въ такой промежутокъ смѣнялись два-три направленія, нынѣ — господствуетъ одно и то же, и мы не знаемъ, скоро ли мы будемъ въ состояніи сказать: начался для русской литературы новый періодъ“. Эти мысли наводятъ автора на цѣлый рядъ вопросовъ, на которые не легко давался отвѣтъ: почему Гоголевскій періодъ продолжается такъ долго; быть можетъ, наше самосознаніе все еще занято разработкою Гоголевскаго содержанія, или напротивъ, пора было явиться въ нашей литературѣ новому направленію; въ чемъ должны были бы состоять отличительныя свойства направленія, которое возникаетъ и отчасти, хотя еще слабо, нерѣшительно, уже возникаетъ изъ Гоголевскаго направленія; почему не являются люди, которые были бы выразителями новаго направленія?

Литература тѣхъ годовъ, начала пятидесятыхъ, представляется автору въ состояніи упадка. Думаютъ обыкновенно, что для движенія впередъ нужно искать идеаловъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ,—но для этого настоящее слишкомъ безсильно и нерѣшительно, и потому само прошедшее можетъ служить ему нравственной опорой. „Падающему всякая опора хороша... И что̀ же дѣлать, — спрашиваетъ авторъ, — если этотъ падающій можетъ опереться на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежатъ въ этихъ гробахъ? Не живые ли люди похоронены въ нихъ? По крайней мѣрѣ, не гораздо ли болѣе жизни въ этихъ покойникахъ, нежели во многихъ людяхъ, называющихся живыми? Вѣдь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремленіемъ къ благотворному дѣйствію на

умственную жизнь общества, это слово заключаетъ въ себѣ сѣмена жизни, оно никогда не будетъ мертво. И развѣ много лѣтъ прошло съ того времени, когда эти слова были высказаны? Нѣтъ; и въ нихъ еще столько свѣжести, онѣ еще такъ хорошо приходятся къ потребностямъ настоящаго времени, что кажутся сказанными только вчера. Источникъ не изсякаетъ оттого, что, лишившись людей, хранившихъ его въ чистотѣ, мы по небрежности, по легкомыслію, допустили завалить его хламомъ пустословія. Отбросимъ этотъ хламъ, — и мы увидимъ, что въ источникѣ еще живымъ ключемъ бьетъ струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду".

Собственный трудъ автора внушенъ былъ великимъ уваженіемъ къ тому, что̀ было благороднаго, справедливаго и полезнаго въ литературѣ этого прошедшаго и что̀ забыто „отсутствіемъ убѣжденій или кичливостью, или мелочностью чувствъ и понятій"... Въ ту минуту лишь немногія произведенія, явившіяся послѣ Гоголя, могли казаться залогомъ будущаго развитія; авторъ питалъ „предчувствіе о болѣе полномъ и глубокомъ развитіи русской литературы",—которая должна была примкнуть къ „Гоголевскому періоду", къ дѣятельности Гоголя и „его критика".

Эти слова были нѣсколько туманны, и объясненіе ихъ заключается въ томъ, что статьи задуманы были въ то время, когда еще господствовалъ мрачный періодъ нашей литературы 1848—1855. „Бѣлинскій умеръ во̀-время", говорили его друзья, и дѣйствительно съ года его смерти началось для литературы время крайнихъ стѣсненій и преслѣдованій: традиція была насильственно прервана [1]) и какъ будто заглохла, возвышенный тонъ идеализма упалъ, литература только влачила свое существованіе; имя „критика Гоголевскаго періода" не могло быть даже названо и его значеніе указывались здѣсь только безъименно: Бѣлинскій названъ только въ концѣ „Очерковъ". „Очерки" были однимъ изъ первыхъ фактовъ литературнаго возрожденія, которое шло рядомъ съ пробужденіемъ общественной мысли послѣ тяжкихъ испытаній Крымской войны и съ началомъ новаго царствованія. „Очерки" были возстановленіемъ литературной и нравственно-общественной традиціи „сороковыхъ годовъ". Для автора Гоголь остается великимъ руководящимъ лицомъ русской литературы. „Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія вели-

[1]) См. „Очерки исторіи русской цензуры", Скабичевскаго. Спб. 1892. Живую картину тогдашняго положенія литературы, почти изо дня въ день, даютъ „Записки и дневникъ" Никитенка. Спб. 1893.

чайшимъ изъ русскихъ писателей, по значенію. По нашему мнѣнію, онъ имѣлъ полное право сказать слова, безмѣрная гордость которыхъ смутила въ свое время самыхъ жаркихъ его поклонниковъ и которыхъ неловкость понятна и намъ: „Русь! Чего ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?“ Онъ имѣлъ полное право сказать это, потому что какъ ни высоко цѣнимъ мы значеніе литературы, но все еще не цѣнимъ его достаточно: она неизмѣримо важнѣе почти всего, что ставится выше ея. Байронъ въ исторіи человѣчества лицо едва ли не болѣе важное, нежели Наполеонъ, а вліяніе Байрона на развитіе человѣчества еще далеко не такъ важно, какъ вліяніе многихъ другихъ писателей, и давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи“.

Указавъ давнее мнѣніе Бѣлинскаго, что Гоголь былъ отцомъ русской прозаической литературы, какъ Пушкинъ—отцомъ русской поэзіи, авторъ прибавляетъ, что кромѣ того Гоголь доставилъ прозѣ рѣшительный перевѣсъ надъ поэзіею, что въ этомъ онъ не имѣлъ ни предшественниковъ, ни помощниковъ, и ему одному наша проза обязана своимъ существованіемъ и всѣми своими успѣхами. Но авторъ предвидитъ возраженія: развѣ можно забывать о прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина? „Нельзя,— говоритъ онъ,—но, во-первыхъ, онѣ далеко не имѣютъ того значенія въ исторіи литературы, какъ его сочиненія, писанныя стихами: „Капитанская Дочка“ и „Дубровскій“— повѣсти, въ полномъ смыслѣ слова превосходныя; но укажите, въ чемъ отразилось ихъ вліяніе? гдѣ школа писателей, которыхъ было бы можно назвать послѣдователями Пушкина, какъ прозаика? А литературныя произведенія бываютъ одолжены значеніемъ не только своему художественному достоинству, но также (или даже еще болѣе) своему вліянію на развитіе общества или, по крайней мѣрѣ, литературы. Но главное—Гоголь явился прежде Пушкина, какъ прозаика. Первыми изъ прозаическихъ произведеній Пушкина (если не считать незначительныхъ отрывковъ) были напечатаны „Повѣсти Бѣлкина“ въ 1831 г.; но всѣ согласятся, что эти повѣсти не имѣли большого художественнаго достоинства. Затѣмъ, до 1836 года, была напечатана только „Пиковая дама“ (въ 1834 году)—никто не сомнѣвается въ томъ, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишетъ ей особенной важности. Между тѣмъ, Гоголемъ были

напечатаны „Вечера на хуторѣ“ (1831—1832), „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ (1833), „Миргородъ“ (1835)—то-есть, все, что впослѣдствіи составило двѣ первыя части его сочиненій: кромѣ того, въ „Арабескахъ“ (1835)—„Портретъ“, „Невскій проспектъ“, „Записки сумасшедшаго“. Въ 1836 году Пушкинъ напечаталъ „Капитанскую Дочку“—но въ томъ же году явился „Ревизоръ“, и кромѣ того, „Коляска“, „Утро дѣлового человѣка“ и „Носъ“. Такимъ образомъ, большая часть произведеній Гоголя, и въ томъ числѣ „Ревизоръ“, были уже извѣстны публикѣ, когда она знала еще только „Пиковую даму“ и „Капитанскую Дочку“ („Арапъ Петра Великаго“, „Лѣтопись села Горохина“, „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“ были напечатаны уже въ 1837 г., по смерти Пушкина, а „Дубровскій“ только въ 1841)—публика имѣла довольно времени проникнуться произведеніями Гоголя прежде, нежели познакомилась съ Пушкинымъ, какъ прозаикомъ“.

Въ теоретическомъ отношеніи обѣ формы имѣютъ свои преимущества, но съ исторической точки зрѣнія тѣ періоды, когда господствовала форма поэтическая, далеко уступаютъ въ значеніи для искусства и жизни послѣднему, гоголевскому періоду, когда господствовала проза. Нельзя сказать, чтобы Гоголь не имѣлъ предшественниковъ въ томъ направленіи содержанія, которое называютъ сатирическимъ: въ этомъ смыслѣ могутъ считаться его предшественниками Грибоѣдовъ въ „Горѣ отъ ума“ и Пушкинъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“. „И однако,—говоритъ авторъ,—несмотря на высокія достоинства и огромный успѣхъ комедіи Грибоѣдова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочнаго введенія въ русскую изящную литературу сатирическаго — или, какъ справедливѣе будетъ называть его, критическаго направленія“. Несмотря на восторгъ, произведенный комедіею Грибоѣдова, она осталась одинокимъ явленіемъ безъ замѣтнаго вліянія: геній Грибоѣдова былъ не такъ великъ, чтобы однимъ произведеніемъ пріобрѣсти господство въ литературѣ, и онъ былъ заслоненъ Пушкинымъ и его плеядой. Что касается сатирическаго элемента въ произведеніяхъ Пушкина, этотъ элементъ почти совершенно пропадалъ въ общей художественности, лишенной опредѣленнаго направленія, и сатирическія замѣтки романа исчезали для читателя, не предрасположеннаго впередъ, потому что составляли и на самомъ дѣлѣ составляютъ только второстепенную долю содержанія романа.

„Такимъ образомъ,—говоритъ авторъ,—несмотря на про-

блески сатиры въ „Онѣгинѣ“ и блестящія филиппики „Горя отъ ума“, критическій элементъ игралъ въ нашей литературѣ до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критическаго, но и почти никакого другого опредѣленнаго элемента нельзя было отъискать въ ея содержаніи, если смотрѣть на общее впечатлѣніе, производимое всею массою сочиненій, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаться на немногихъ исключеніяхъ, которыя, являясь случайными, одинокими, не производили замѣтной перемѣны въ общемъ духѣ литературы... Многихъ не удовлетворяетъ содержаніе Пушкинской поэзіи, но у Пушкина было во сто разъ больше содержанія, нежели у его сподвижниковъ, взятыхъ вмѣстѣ. Форма была у нихъ почти все, подъ формою не найдете у нихъ почти ничего“.

Итакъ, „за Гоголемъ остается заслуга, что онъ первый далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи, какъ критическое. Прибавимъ, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За періодомъ чистыхъ подражаній и передѣлокъ, какими были почти всѣ произведенія нашей литературы до Пушкина, слѣдуетъ эпоха творчества, нѣсколько болѣе свободнаго. Но произведенія Пушкина все еще очень близко напоминаютъ или Байрона, или Шекспира, или Вальтера-Скотта... То ли теперь?“ И авторъ замѣчаетъ, что повѣсти Гончарова, Григоровича, Л. Н. Т. (подъ этими буквами былъ извѣстенъ тогда гр. Л. Н. Толстой), Тургенева, комедіи Островскаго уже нисколько не наводятъ на мысль о заимствованіи: „ничья литературная личность не представляется вамъ двойникомъ какого-нибудь другого писателя, ни у кого изъ нихъ не выглядывалъ изъ-за плечъ другой человѣкъ, подсказывающій ему—ни о комъ изъ нихъ нельзя сказать; „сѣверный Диккенсъ“, или „русскій Жоржъ-Сандъ“, или „Теккерей сѣверной Пальмиры“. Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творенія своею высокою самобытностью подняли нашихъ даровитыхъ писателей на ту высоту, гдѣ начинается самобытность“.

Но основаніе плодотворнѣйшаго направленія и самостоятельности въ литературѣ составляетъ еще не все общественное и литературное значеніе Гоголя. „Онъ пробудилъ въ насъ сознаніе о насъ самихъ — вотъ его истинная заслуга, важность которой не зависитъ отъ того, первымъ или десятымъ изъ нашихъ великихъ писателей должны мы считать его въ хронологическомъ порядкѣ“... При томъ, „Гоголь важенъ не только какъ геніальный писатель, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ глава школы—един-

ственной школы, которою можетъ гордиться русская литература, —потому что ни Грибоѣдовъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Кольцовъ не имѣли учениковъ, которыхъ имена были бы важны для исторіи русской литературы. Мы должны убѣдиться, что вся наша литература, насколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, примыкаетъ къ Гоголю, и только тогда представится намъ въ полномъ размѣрѣ все его значеніе для русской литературы".

Найдутся люди, которымъ такая оцѣнка Гоголя покажется слишкомъ высокой. „Это потому,—продолжаетъ авторъ,—что до сихъ поръ еще остается много людей, возстающихъ противъ Гоголя. Литературная судьба его въ этомъ отношеніи совершенно различна отъ судьбы Пушкина. Пушкина давно уже всѣ признали великимъ, неоспоримо великимъ писателемъ; имя его—священный авторитетъ для каждаго русскаго читателя и даже не-читателя, какъ, напримѣръ, Вальтеръ-Скоттъ—авторитетъ для каждаго англичанина, Ламартинъ и Шатобріанъ—для француза, или, чтобы перейти въ болѣе высокую область, Гёте—для нѣмца. Каждый русскій есть почитатель Пушкина, и никто не находитъ неудобнымъ для себя признавать его великимъ писателемъ, потому что поклоненіе Пушкину не обязываетъ ни къ чему, пониманіе его достоинствъ не обусловливается никакими особенными качествами характера, никакимъ особеннымъ настроеніемъ ума [1]). Гоголь, напротивъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, любовь къ которымъ требуетъ одинаковаго съ ними настроенія души, потому что ихъ дѣятельность есть служеніе опредѣленному направленію нравственныхъ стремленій"... „Гоголю многимъ обязаны тѣ, которые нуждаются въ защитѣ; онъ сталъ во главѣ тѣхъ, которые отрицаютъ злое и пошлое. Потому онъ имѣлъ славу возбудить во многихъ вражду къ себѣ. И только тогда будутъ всѣ единогласны въ похвалахъ ему, когда исчезнетъ все пошлое и низкое, противъ чего онъ боролся!" [2]).

Таково было представленіе автора „Очерковъ" объ историческомъ значеніи этого писателя для русской литературы и

---

[1]) Выше замѣчено, что вскорѣ послѣ того, какъ это было сказано, появился новый складъ мнѣній—за и противъ Пушкина. Нашлись противники того взгляда, который ставилъ такъ высоко общественное значеніе Гоголя въ нашей литературѣ, и они противопоставляли этому возвеличеніе, будто бы унижаемой этимъ, чистой художественности Пушкина. По складу тогдашнихъ литературныхъ отношеній, эта защита получила и въ общественномъ смыслѣ какъ бы консервативный характеръ. Отвѣтомъ на это были, позднѣе, упомянутыя статьи Писарева. Для читателя разсудительнаго должно быть ясно, что авторъ „Очерковъ гоголевскаго періода" не имѣлъ ничего общаго съ Писаревымъ.

[2]) Очерки Гоголевскаго періода русской литературы („Современникъ", 1855—1856 гг.). Спб. 1892, стр. 1—22.

общества. Объясняя глубину внесеннаго имъ содержанія, авторъ находитъ слова примиренія и тамъ, гдѣ Гоголь впадалъ, подъ конецъ жизни, въ свои печальныя заблужденія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ ожидалъ отъ нашей литературы дальнѣйшаго развитія завѣтовъ Гоголя, и на него производилъ тяжелое впечатлѣніе тотъ застой, какой наступилъ въ нашей литературѣ въ послѣднихъ сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годахъ.

Болѣе молодой критикъ, выступившій въ литературѣ черезъ два-три года и воспитавшійся подъ вліяніемъ автора „Очерковъ", но болѣе требовательный и суровый, Добролюбовъ сохранилъ то же отношеніе къ историческому значенію Гоголя, но вносилъ еще больше страстнаго юношескаго ожиданія новыхъ успѣховъ нашей литературы въ томъ направленіи, указаніемъ котораго служили произведенія Гоголя. Добролюбовъ замѣтно холоднѣе къ Пушкину, то-есть къ чистой художественности, далекой отъ общественнаго содержанія, иногда какъ бы совсѣмъ къ нему равнодушной, и еще повышаетъ требованія отъ литературы современной, для которой это общественное содержаніе онъ считаетъ обязательнымъ не только по требованіямъ художественнымъ, но и по общественному долгу. Въ одной изъ своихъ раннихъ статей („О степени участія народности въ развитіи русской литературы") Добролюбовъ возставалъ противъ весьма распространеннаго мнѣнія о широкомъ вліяніи литературы на общество. „Книжные приверженцы литературы, — говоритъ онъ, — очень горячатся за нее, считая прекрасныя литературныя произведенія началомъ всякаго добра. Они готовы думать, что литература заправляетъ исторіей, что она измѣняетъ государства, волнуетъ или укрощаетъ народъ, передѣлываетъ даже нравы и характеръ народный; особенно поэзія,—о, поэзія, по ихъ мнѣнію, вноситъ въ жизнь новые элементы, творитъ все изъ ничего". На самомъ дѣлѣ созданія фантазіи такъ и остаются въ области фантастическихъ призраковъ и не переходятъ въ дѣйствительность. Въ преданіяхъ древняго міра и въ произведеніяхъ среднихъ вѣковъ способны остановить наше вниманіе только тѣ части ихъ, въ которыхъ отразилась живая дѣйствительность, гдѣ видна жизнь своего времени и рисуется міръ человѣческой души съ особенностями народной жизни данной эпохи. „Поэзія и вообще искусства, науки,—слагаются по жизни, а не жизнь зависитъ отъ поэзіи, и все, что̀ въ поэзіи является лишнимъ противъ жизни, т.-е. не вытекающимъ изъ нея прямо и естественно, все это уродливо и безсмысленно. Что̀ отжило свой вѣкъ, то уже не имѣетъ смысла, и напрасно мы будемъ стараться возбудить

въ душѣ восхищеніе красотою лица, отъ котораго имѣемъ только голый черепъ. Боги грековъ могли быть прекрасны въ древней Греціи, но они гадки во французскихъ трагедіяхъ и въ нашихъ одахъ прошлаго столѣтія. Рыцарскія воззванія среднихъ вѣковъ могли увлекать сотни тысячъ людей на брань съ невѣрными, для освобожденія святыхъ мѣстъ; но тѣ же воззванія, повторенныя въ Европѣ XIX в., не произвели бы ничего, кромѣ смѣха". Если думаютъ иногда, что жизнь пошла по литературнымъ убѣжденіямъ, то это иллюзія, которая происходитъ отъ того, что мы часто въ первый разъ замѣчаемъ на литературѣ движеніе, которое незамѣтно для насъ уже совершается въ обществѣ. Но если литература отвѣчаетъ на вопросы жизни тѣмъ, что̀ находитъ въ той же самой жизни, то, съ другой стороны, она много помогаетъ сознательности и ясности стремленій въ обществѣ. „Въ этомъ случаѣ—литература незамѣнима. По нашему мнѣнію, она можетъ принести здѣсь гораздо болѣе пользы, чѣмъ даже открытыя, публичныя совѣщанія. Совѣщанія эти во всякомъ случаѣ должны имѣть болѣе или менѣе частный характеръ, и кромѣ того, въ нихъ слишкомъ много страстности; импровизація нерѣдко замѣняетъ строго послѣдовательное разсужденіе и рѣшеніе. Литературныя разсужденія имѣютъ характеръ всеобщности: ихъ можетъ читать вся Россія. Кромѣ того въ литературномъ изложеніи пылъ перваго увлеченія непремѣнно сглаживается и мѣсто его необходимо заступаетъ спокойная обдуманность, хладнокровное соображеніе мнѣній разныхъ сторонъ и выводъ строго логическій, свободный отъ впечатлѣній минуты. Здѣсь роль литературы чрезвычайно важна, и великость ея значенія ослабляется въ этомъ случаѣ только малостью круга, въ которомъ она дѣйствуетъ". Литература существуетъ у насъ для крайне ограниченнаго числа читателей между десятками милліоновъ, не имѣющихъ о ней никакого понятія...

Выводъ получался мало утѣшительный. Съ той же точки зрѣнія критикъ судилъ о нашей литературѣ прошлаго вѣка, и строгость его приговоровъ могла быть исторически умѣрена уже тѣмъ соображеніемъ, что эта литература выростала прямо на почвѣ XVII-го столѣтія... Но если литература, по его мнѣнію, пріобрѣтала большую важность, когда общественное сознаніе было уже пробуждено, то тѣмъ строже критикъ смотрѣлъ на обязанности писателя и тѣмъ радостнѣе встрѣчалъ тѣ явленія, гдѣ художественное творчество отвѣчало жизненной правдѣ и могло служить общественному сознанію: съ такой любовью онъ изучалъ Островскаго, Тургенева и Гончарова.

Но онъ менѣе удовлетворенъ Гоголемъ, чѣмъ его предшественники. „Значеніе Гоголя въ исторіи русской литературы не нуждается въ новыхъ объясненіяхъ. Но и Гоголь не смогъ идти до конца по своей дорогѣ. Изображеніе пошлости жизни ужаснуло его; онъ не созналъ, что эта пошлость не есть удѣлъ народной жизни, не созналъ, что ее нужно до конца преслѣдовать, нисколько не опасаясь, что она можетъ бросить дурную тѣнь на самый народъ. Онъ захотѣлъ представить идеалы, которыхъ нигдѣ не могъ найти; онъ, не въ состояніи будучи шагнуть черезъ Пушкина до Державина, шагнулъ назадъ до Карамзина: его Муразовъ есть повтореніе Фрола Силина, благодѣтельнаго крестьянина, его Уленька—блѣдная копія съ бѣдной Лизы. Нѣтъ, и Гоголь не постигъ вполнѣ, въ чемъ тайна русской народности, и онъ перемѣшалъ хаосъ современнаго общества, кое-какъ изнашивающаго лохмотья взятой взаймы цивилизаціи, съ стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми вліяніями и еще способной къ обновленію на началахъ правды и здраваго смысла". Для Добролюбова еще болѣе, чѣмъ для его предшественниковъ, дѣятельность Гоголя, кромѣ его непосредственной заслуги, представляется какъ завѣтъ новымъ литературнымъ поколѣніямъ вести дальше изученіе народной жизни. „Гоголь хотя въ лучшихъ своихъ созданіяхъ очень близко подошелъ къ народной точкѣ зрѣнія, но подошелъ безсознательно, просто художнической ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже всѣ вопросы жизни пересмотрѣть съ той же народной точки зрѣнія, оставивши всякую абстракцію и всякіе предразсудки, съ дѣтства привитые къ нему ложнымъ образованіемъ, тогда Гоголь самъ испугался; народность представилась ему бездной, отъ которой надобно отбѣжать поскорѣе, и онъ отбѣжалъ отъ нея и предался отвлеченнѣйшему изъ занятій—идеальному самоусовершенствованію. Несмотря на то, художническая его дѣятельность оставила глубокіе слѣды въ литературѣ, и отъ нынѣшняго направленія можно ожидать чего-нибудь хорошаго, потому что нынѣшніе дѣятели начинаютъ явно стыдиться своего отчужденія отъ народа и своей отсталости во всѣхъ современныхъ вопросахъ" [1]).

Такимъ образомъ историческая оцѣнка Гоголя осложнялась новыми тревожными заботами времени, передъ которымъ уже возникали вопросы „эпохи реформъ"; стали строже требованія

---

¹) Сочиненія. Спб. 1862, т. I, стр. 498 и далѣе, 541, 550—551.

къ самому Гоголю, но онъ по прежнему остается родоначальникомъ той литературы, которая должна отвѣчать общественнымъ вопросамъ времени.

То же высокое представленіе о значеніи Гоголя, какъ возбудителя новѣйшей литературы, найдемъ, въ пятидесятыхъ годахъ, у писателя совсѣмъ иного склада и направленія. Это былъ Аполлонъ Григорьевъ, человѣкъ старшаго поколѣнія, восторженный идеалистъ, поклонникъ чистаго искусства, изъ тѣхъ людей, которые именно считаютъ высокое художество началомъ всякаго добра. Онъ принадлежалъ, какъ и естественно, къ величайшимъ поклонникамъ Пушкина, и когда возникалъ, пока еще въ самыхъ общихъ чертахъ, вопросъ объ относительномъ значеніи Пушкина и Гоголя въ установленіи новѣйшей литературы, Аполлонъ Григорьевъ говорилъ такъ: „Пушкинъ—наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что̀ остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя—при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами —все то, что̀ принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что̀ отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности,—образъ, который мы долго еще будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего до него бывшаго и ничего, что̀ послѣ него было и будетъ правильнаго и органически—нашего... Это—нашъ самобытный типъ, уже мѣрявшійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаніемъ тѣ фазисы развитія, которые они проходили, но боровшійся съ ними сознаніемъ, но вынесшій изъ этого процесса свою физіологическую, типовую самостоятельность... Въ немъ одномъ, какъ нашемъ единственномъ цѣльномъ геніѣ, заключается правильная художественно-нравственная мѣра, мѣра уже дознанная, уже окрѣпшая въ различныхъ столкновеніяхъ. Въ его натурѣ—очерками обозначились наши физіономическія особенности полно и цѣльно, хотя еще безъ красокъ,—и все современное литературное движеніе есть только наполненіе красками рафаэлевски-правдивыхъ и изящныхъ очерковъ“ [1]).

Между тѣмъ тотъ же критикъ за нѣсколько лѣтъ раньше, ставя вопросъ о современной изящной литературѣ и ея исход-

[1]) Сочиненія А. Григорьева, т. I. Спб. 1876, стр. 238—239 и далѣе, до стр. 255 (Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина, 1859).

ной исторической точкѣ, говорилъ слѣдующее: „Каждая литературная эпоха имѣетъ своего главнаго представителя, отъ котораго, какъ отъ исходнаго пункта, ведетъ она свое начало. Въ немъ, какъ въ фокусѣ, совмѣщаются ея художественныя и моральныя задачи; она живетъ подъ его могущественнымъ вліяніемъ, она вся представляетъ собою, такъ сказать, периферію его личности. Новое слово сказано имъ, и это новое слово толкуется, поясняется болѣе или менѣе даровитыми послѣдователями. Новая стезя пробивается геніемъ, и только расширяется, очищается талантами. Такимъ геніемъ литературной эпохи, которую переживаемъ мы до сихъ поръ, по всей справедливости можетъ быть названъ Гоголь. Все, что есть дѣйствительно живого въ явленіяхъ современной изящной словесности, идетъ отъ него, поясняетъ его, или даже поясняется имъ. Цѣльная, полная художественная натура Гоголя, такъ сказать, развѣтвляется въ различныхъ сторонахъ современной словесности". Объяснивъ затѣмъ художественную особенность Гоголя, чтобы прослѣдить его вліяніе въ современной литературѣ, критикъ повторяетъ опять: „Отъ Гоголя ведетъ свое начало весь тотъ многообразный, болѣе или менѣе удачный разносторонній анализъ явленій повседневной, окружающей насъ дѣйствительности, —стремленіе къ которому составляетъ собою законъ настоящаго литературнаго процесса; все, что есть живого въ произведеніяхъ современной словесности, отсюда ведетъ свое начало". Онъ говоритъ дальше, что при обзорѣ современной литературы по отношенію къ „исходной точкѣ", то-есть къ Гоголю—„тѣмъ яснѣе обозначится вѣрность того положенія, что все живое въ явленіяхъ современной словесности происходитъ отъ толчка, произведеннаго дѣятельностью Гоголя,—положенія, которое повторяемъ уже не разъ, и не устанемъ повторять, твердо убѣжденные въ его истинѣ" [1]).

Наши крупные писатели той поры, когда совершалось это руководящее вліяніе Гоголя, оставили мало указаній о развитіи ихъ творчества, о тѣхъ жизненныхъ и литературныхъ воздѣйствіяхъ, которыя опредѣляли ихъ общественные взгляды, ихъ манеру,—главнымъ свидѣтельствомъ остаются ихъ произведенія; но нѣтъ сомнѣнія, что въ ихъ литературномъ развитіи былъ фактъ сильнаго впечатлѣнія отъ произведеній Гоголя. Свидѣтельства Валеріапа Майкова и Аполлона Григорьева, сознательно переживавшихъ „Гоголевскій періодъ", подтвердили бы значи-

[1]) Писано въ 1852. Тамъ же, стр. 8—21.

тельнѣйшіе писатели, которые переживали свою юность въ концѣ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ. Безъ сомнѣнія, они точно также восхищались Гоголемъ, какъ восхищался Бѣлинскій, и въ ихъ умѣ и чувствѣ зарождалось и укрѣплялось новое живительное настроеніе общественное и нравственное. Именно этой порѣ принадлежало образованіе сильныхъ дарованій, которыя стали потомъ въ первомъ ряду нашей литературы: эти писатели не могли быть только подражателями, но въ общемъ тонѣ ихъ взглядовъ и творчества остались впечатлѣнія, сопровождавшія ихъ юность. Характернымъ свидѣтельствомъ можетъ служить небольшая статья, написанная Тургеневымъ подъ впечатлѣніемъ извѣстія о смерти Гоголя, статья, которая навлекла на автора арестъ и ссылку въ деревню. „Гоголь умеръ! — писалъ Тургеневъ (онъ былъ уже авторомъ „Записокъ Охотника“). — Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова?.. Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертію, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи нашей литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ!“ Извѣстна судьба этой небольшой статьи. Тургеневъ замѣчаетъ, что о ней тогда же кто-то сказалъ, что нѣтъ богатаго купца, о смерти котораго журналы не отозвались бы съ большимъ жаромъ; но сказать такія слова объ одномъ изъ величайшихъ русскихъ писателей подъ первымъ чувствомъ тяжелой потери было преступленіемъ для петербургской цензуры, хотя статья могла быть безъ всякихъ затрудненій напечатана въ Москвѣ, безъ сомнѣнія подъ близкимъ вліяніемъ настроенія московскаго общества, когда на похоронахъ Гоголя присутствовалъ самъ Закревскій въ андреевской лентѣ. Въ преслѣдованіи статьи Тургенева обнаружилось, до какой степени рѣзко противорѣчили другъ другу мнѣнія двухъ сторонъ общества и какъ велико было дѣйствіе Гоголя... За пятнадцать лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1837, слова некролога о Пушкинѣ какъ „солнцѣ нашей поэзіи“, о „великомъ поприщѣ“ его, навлекли журналисту строгій выговоръ; теперь сочтена неприличной статья Тургенева,—приверженцы застоя почувствовали и возненавидѣли въ Гоголѣ новое общественное начало, враждебное лицемѣрію и призывавшее къ общественной правдѣ... Въ этомъ и заключалось великое нравственное значеніе Гоголя. Съ другой стороны, протесты, вызванные „Перепиской съ друзьями“, указали, что болѣе просвѣщенная часть общества высоко цѣнила въ Гоголѣ именно это стремленіе къ правдѣ и какъ прискорбно для нравственнаго чувства было желаніе писателя,

въ порывѣ мрачнаго мистицизма, подорвать лучшее дѣло его собственной жизни и отрадное явленіе общественнаго сознанія. Понятно, на которой сторонѣ могли быть сочувствія Тургенева. Объ этомъ значеніи Гоголя онъ говорилъ въ лекціи о Пушкинѣ (1859), въ отрывкахъ помѣщенной въ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ". Чтобы опредѣлить дѣйствіе, произведенное Гоголемъ, Тургеневъ вспоминаетъ ту литературную школу, дѣйствовавшую всего болѣе въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, которую онъ называетъ „ложно-величавой". Въ 1859 г. Тургеневъ даже въ немногочисленномъ обществѣ, гдѣ читалъ свою лекцію, не рѣшился назвать имена дѣятелей литературы и искусства, создавшихъ эту школу, и назвалъ ихъ только позднѣе, въ изданіи своихъ сочиненій: это были имена Марлинскаго, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюлова, Каратыгина и др. Вторженіе этой школы въ общественную жизнь,—замѣчаетъ Тургеневъ,—продолжалось не долго, „хотя отраженіе ея въ сферахъ, менѣе подвергнутыхъ анализу критики, чѣмъ собственно литературная художественная сфера, не прекратилось и до сихъ поръ". „Оно продолжалось недолго—но что было шума и грома!.. Нѣкоторые изъ ея дѣятелей сами добродушно признавали себя за геніевъ. Со всѣмъ тѣмъ, что-то не истинное, что-то мертвенное чувствовалось въ ней даже въ минуты ея кажущагося торжества—и ни одного живого, самобытнаго ума она себѣ не покорила... Произведенія этой школы, проникнутыя самоувѣренностью, доходившей до самохвальства, посвященныя возвеличиванію Россіи во что бы то ни стало, въ самой сущности не имѣли ничего русскаго: это были какія-то иностранныя декораціи, хлопотливо и небрежно воздвигнутыя патріотами, не знавшими своей родины. Все это гремѣло, кичилось, все это считало себя достойнымъ укрѣпленіемъ великаго государства и великаго народа, а часъ паденія приближался". Тургеневъ былъ однимъ изъ величайшихъ поклонниковъ Пушкина, но соглашается, что низверженіе этой школы достигнуто было не Пушкинымъ: только послѣ, по его словамъ, произведенія Пушкина могли одержать побѣду своей собственной красотой, „сопоставленіемъ этой красоты и силы съ безобразіемъ и слабостью того ложно-величаваго призрака"; но въ первое время, чтобы разоблачить пустоту этого призрака, нужны были „другія орудія, другія, болѣе пронзительныя силы —силы байроническаго лиризма, который уже являлся у насъ однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И онѣ не замедлили явиться. Въ сферѣ художества заговорилъ Гоголь, съ нимъ Лермонтовъ; въ сферѣ критики, мысли—Бѣ-

линскій". „Подъ совокупными усиліями этихъ трехъ, едва ли знакомыхъ другъ другу дѣятелей,—продолжаетъ Тургеневъ,—рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарѣлое и недостойное, обратилось въ развалины. Побѣда была рѣшена скоро. Въ то же время умалилось и поблекло вліяніе самого Пушкина, того Пушкина, имя котораго такъ было дорого самимъ нововводителямъ, которое они окружали такою полною любовью. Идеалъ, которому они служили—сознательно или безсознательно (Гоголь, какъ извѣстно, до конца отъ него отчурался и отнѣкивался)—идеалъ этотъ не могъ ужиться съ Пушкинскимъ идеаломъ, на зло имъ самимъ... Время чистой поэзіи прошло такъ же, какъ и время ложно-величавой фразы, наступило время критики, полемики, сатиры... „Торквато Тассо" Кукольника, „Рука Всевышняго"—исчезли, какъ мыльные пузыри; но и „Мѣднымъ Всадникомъ" нельзя было любоваться въ одно время съ „Шинелью"... Въ рѣчи Тургенева слѣдовала затѣмъ „довольно подробная" характеристика Гоголя и Лермонтова [1]), которая оканчивалась такимъ выводомъ: „Сила независимой, критикующей, протестующей личности возстала противъ фальши, противъ пошлости—а на какой ступени общества тогда не царила пошлость?—противъ того ложно-общаго, неправедно-узаконеннаго, что̀ не имѣло разумныхъ правъ на подчиненіе себѣ личности" [2]).

Такъ высоко цѣнили Гоголя современники и ближайшее потомство. Одинъ Пушкинъ вызывалъ подобное признаніе великой исторической заслуги, но если Пушкина восхваляли въ то время какъ высокаго объективнаго художника (его цѣльное художественно-національное значеніе было еще не вполнѣ исторически выяснено), относительно Гоголя указывались наглядные результаты его дѣла, быть можетъ, менѣе эстетическіе, чѣмъ нравственные и общественные.

Это признаніе принадлежало одинаково и поклонникамъ чистаго искусства, и приверженцамъ искусства общественнаго. Тѣ и другіе одинаково находили великую заслугу въ произведеніяхъ искусства, которыя успѣли затронуть глубокія стороны нашей общественности и личнаго нравственнаго сознанія; тѣ и другіе восторгались въ то же время рѣдкими художественными достоинствами произведеній, гдѣ въ яркихъ очертаніяхъ проходилъ цѣлый рядъ характерныхъ типовъ,—дѣйствительно до той поры

---

[1]) Кажется, до сихъ поръ неизвѣстно, сохранилась ли вполнѣ эта рѣчь 1859 года.

[2]) Полное собраніе сочиненій Тургенева, 3-е изд. Спб. 1891, т. X: „Литературныя Воспоминанія".

невиданныхъ въ русской поэзіи: имена Гоголевскихъ героевъ превращались въ нарицательныя, фразы—въ пословицы; тогдашняя литературная рѣчь и разговоръ были пересыпаны Гоголемъ; его типы дѣлались олицетвореніемъ бытовыхъ отношеній, не только мелкихъ, но и крупныхъ. Но не приходило въ голову восхищаться въ этомъ писателѣ однимъ художествомъ, потому что его картины нравовъ были слишкомъ настоятельнымъ общественнымъ поученіемъ.

Въ концѣ концовъ отвлеченный споръ объ искусствѣ становился безплоднымъ—онъ рѣшался историческимъ фактомъ. Съ полнымъ правомъ могло существовать искусство чистое и общественное: первое могло витать въ исключительной области содержанія, въ общественномъ смыслѣ индифферентнаго; второе имѣло корни въ дѣйствительности и потому само вмѣшивалось въ жизнь, которая въ сущности только и можетъ быть предметомъ истиннаго одушевленія, источникомъ и цѣлью фантазіи и нравственнаго сознанія. Въ этомъ была разница между Пушкинымъ и Гоголемъ, въ которыхъ нерѣдко не безъ основанія олицетворяли эти два теченія искусства въ нашей литературѣ. Вся возвышенность Пушкинской поэзіи не могла сообщить ей того поражающаго дѣйствія, какое сразу получила поэзія Гоголя. Пушкинъ совершилъ свое дѣло. Исторически, задачей его было завоевать въ русской жизни право искусства, достоинство поэзіи и нравственную независимость поэта, потому что до тѣхъ поръ въ содержаніи нашей жизни для этихъ основъ искусства еще не было мѣста: было уже не мало поэтовъ даже прославленныхъ, какъ нѣкогда Ломоносовъ, Державинъ, какъ самъ Жуковскій, но поэзія все еще не выходила въ понятіяхъ массы изъ своего служебнаго положенія; она должна была или воспѣвать эту жизнь, какъ нѣчто совершенное, дополняя стихами реляцію, или доставлять пріятное и „невинное" развлеченіе, — и только съ Пушкинымъ поэзія поднялась на высоту, которая подобала ей, какъ независимой нравственной силѣ и вмѣстѣ выраженію національнаго бытія. Гоголь былъ послѣ него второю историческою ступенью [1]. Онъ явился съ новымъ, серьезнымъ и задушевнымъ приложеніемъ этого искусства къ жизненной дѣйствительности,

[1]) По взгляду г. Розанова, „связь съ Пушкинымъ послѣдующей литературы вообще проблематична" („Литер. Очерки", стр. 158), и въ дальнѣйшемъ есть вѣрныя замѣчанія о томъ, была ли возможность вліянія Пушкина на самое созданіе „Ревизора" и „Мертвыхъ Душъ", сюжеты которыхъ онъ далъ Гоголю. Но связь послѣдующей литературы съ Пушкинымъ была тѣмъ не менѣе великая—въ общей постановкѣ авторитета поэтическаго творчества и національно-общественнаго долга поэзіи. Изъ новѣйшей литературы о Пушкинѣ, по поводу 26-го мая 1899, см. рѣчь А. Н. Веселовскаго: „Пушкинъ—національный поэтъ" (Спб. 1899).

какъ она представлялась его нравственному и художественному складу. Выше было замѣчено, до какой степени художественное творчество Гоголя было врожденнымъ, полусознательнымъ дѣломъ его природы, какъ былъ силенъ въ немъ инстинктъ, который давалъ ему, еще юношѣ, увѣренность, что онъ призванъ совершить что-то великое. Это было именно внушеніе геніальнаго дарованія: оно свободно было отъ искусственности, которая тяготѣла тогда надъ нашей поэзіей, въ видѣ преданій ложнаго классицизма или причудъ романтизма и натянутой величественности, мѣшала свободному и ясному взгляду на жизнь и извращала само художественное изображеніе, — и тѣмъ больше это настроеніе открыто было непосредственнымъ впечатлѣніямъ жизни и свободному проявленію юмора, который былъ у Гоголя впервые руководящей стихіей поэтическаго творчества. Благодаря всему этому, могли быть достигнуты необыкновенные результаты,— хотя его знаніе исторической и этнографической стороны русской жизни было несравненно слабѣе, чѣмъ у Пушкина. Впечатлѣніе было поражающее. Въ самомъ дѣлѣ, искусство подошло вплоть къ самой жизни, не только затронуло фантазію животрепещущимъ вопроизведеніемъ хорошо знакомыхъ картинъ и освѣтило ихъ смѣхомъ, но и возбуждало къ нравственному самонаблюденію и вызывало почти невѣдомые въ массѣ тревожные вопросы общественности.

Въ развитіи нашей общественности это было, наконецъ, необходимо. Съ конца прошлаго вѣка она нѣсколько разъ подступала къ этимъ насущнымъ вопросамъ, но попытки разбудить общественное сознаніе, ограничиваясь слишкомъ тѣснымъ кругомъ болѣе образованныхъ людей, почти не выходили за его предѣлы и для массы общества оставались безплодными. Условія и теперь были весьма мало благопріятны. Повидимому, русская литература имѣла уже славныхъ писателей, рядъ литературныхъ направленій, которыя вели другъ съ другомъ ожесточенную борьбу; но въ тѣ самые годы, когда совершалась великая дѣятельность Пушкина и начиналъ Гоголь, молодой Бѣлинскій на первыхъ шагахъ своего критическаго поприща приходилъ къ печальному выводу, что „у насъ нѣтъ литературы“, т.-е. литературы, заслуживающей этого имени, литературы съ свободнымъ и широкимъ искусствомъ, отвѣчающимъ національной жизни; онъ радовался, однако, этому выводу, потому что это и было первое сознаніе истинныхъ задачъ, предстоящихъ литературѣ... Въ самомъ дѣлѣ, не будемъ преувеличивать съ этой точки зрѣнія истинныхъ размѣровъ нашей литературы, численности обще-

ства, способнаго принимать ее къ сердцу, степени серьезности вопросовъ, какіе оставались для нея доступны. Тридцатые и сами знаменитые сороковые года не были ни старой эпохой Возрожденія, ни эпохой Лессинга и Гердера, Шиллера и Гёте, не были временемъ какого-либо сильнаго увлеченія вопросами науки и искусства; самый геніальный талантъ, какъ Пушкинъ, встрѣчалъ, внѣ тѣснаго круга людей, обладавшихъ истиннымъ пониманіемъ, только скромный, нерѣдко убогій уровень понятій, и самъ былъ связанъ указкой „угрюмаго сторожа музъ“... Странное, нерѣдко прискорбное зрѣлище представляли эти порыванія геніальнаго творчества, или восторженныя проявленія общественнаго чувства, остановленныя китайской стѣной непониманія и вражды и, наконецъ, глохнувшія въ душѣ самого писателя... Передъ писателемъ, которому дана была геніальная сила творчества и инстинктъ общественности, являлась задача, чрезвычайно трудная и, однако, необходимая, пробудить среди неподвижныхъ формъ давняго застоя ту сознательную нравственную жизнь, при которой только и возможно было возникновеніе истиннаго искусства не „для немногихъ“, а для всей общественной массы, которой коснулось образованіе,—если еще невозможно было и думать о томъ, чтобы пріобщить къ интересамъ мысли и художества самый народъ, тогда, въ той или другой формѣ, крѣпостной, патріархально невѣжественный, нерѣдко одичалый.

Фактъ охлажденія къ Пушкину около тридцатыхъ годовъ объяснялся не только тѣмъ, что общество не понимало новыхъ художественныхъ стремленій поэта, но также и тѣмъ, что общество не встрѣчало у него отвѣта на свои ближайшіе вопросы. Въ самомъ дѣлѣ, если толпа увлекалась тогда Марлинскимъ, Кукольникомъ, Бенедиктовымъ, то болѣе образованная и чуткая доля общества, вѣроятно, тяготилась предполагаемымъ индифферентизмомъ прославленнаго поэта; именно въ эти годы стали появляться произведенія Гоголя, отвѣчавшія этому, у однихъ сознательному, у другихъ инстинктивному исканію: первыя петербургскія повѣсти и вскорѣ за ними „Ревизоръ“. Еще до появленія „Мертвыхъ Душъ“ Гоголь былъ поставленъ Бѣлинскимъ во главѣ новой русской литературы.

Съ этого дѣйствительно должно считать новый періодъ нашей литературы: дѣятельность ея совершается подъ вліяніемъ Гоголя, или онъ является самымъ сильнымъ выраженіемъ охватившаго ее направленія. Это произошло не безъ столкновеній

и борьбы. Любопытно прежде всего, что Гоголь поставленъ былъ критикой во главѣ нашей литературы раньше, чѣмъ можно было указать какое-нибудь положительное вліяніе его на русскихъ писателей. Еще шелъ споръ о достоинствѣ самыхъ произведеній Гоголя; онъ вызывалъ ожесточенныя нападенія критики старыхъ литературныхъ школъ и негодованіе тѣхъ, кому его сатира казалась непозволительнымъ вольнодумствомъ,—приверженцы Гоголя думали иначе: они предчувствовали, что писатель такой силы не можетъ не произвести переворота въ цѣлой литературѣ.

Это дѣйствіе Гоголя на послѣдующую литературу до сихъ поръ не было, однако, изучено съ точностью. Аполлонъ Григорьевъ, около 1850 г., вообще находилъ въ явленіяхъ тогдашней литературы особенное господство двухъ элементовъ, именно, Гоголя и Лермонтова, и по его мнѣнію, литература распадалась на три группы: такія произведенія, гдѣ взята только форма Гоголевскаго творчества, а сущность мірозерцанія — Лермонтовская; такія, гдѣ Гоголевскій юморъ отдѣленъ отъ стремленія къ идеалу и господствуетъ одинъ, доходя до крайнихъ странностей; наконецъ такія, которыя, слѣдуя пути, проложенному Гоголемъ, носятъ признаки самобытности, хотя не представляютъ разрѣшенія никакихъ новыхъ задачъ [1]). Это соединеніе вліяній Гоголя и Лермонтова не подлежитъ сомнѣнію, но преобладающими оставались внушенія Гоголя. Съ сороковыхъ годовъ характеръ нашей литературы существенно измѣняется. Съ внѣшней стороны, поэмы въ стихахъ, которыя нѣкогда бывали главными литературными событіями, становятся рѣдкостью, и напримѣръ, Тургеневъ, который еще начиналъ такими поэмами, впослѣдствіи не хотѣлъ слышать о нихъ и не давалъ имъ мѣста въ собраніяхъ своихъ сочиненій. Основною формою становится повѣсть, затѣмъ романъ и рѣже—драма. Форма повѣсти является еще со временъ Карамзина, даже раньше; она проходила различныя видоизмѣненія въ видѣ повѣсти нравоописательной, исторической, романтической, достигала высокаго изящества у Пушкина; но ея основные мотивы даны были именно Гоголемъ съ тою долею Лермонтовскаго вліянія, на которое указывалъ Ап. Григорьевъ. Если въ нашей литературѣ окончательно падаетъ романтическая ходульность, если въ повѣсти, романѣ, комедіи все сильнѣе сказывается стремленіе къ реальному изображенію жизни, это былъ не столько эпически спокойный реализмъ Пушкина, сколько именно реализмъ Гоголя, схваты-

---

[1]) Сочиненія Ап. Григорьева, стр. 29 и далѣе.

вающій яркія черты, иногда рѣзкій и какъ будто преувеличенный, соединенный съ элементами юмора и сатиры. Но главное, въ чемъ видны вліянія Гоголя и чего нельзя отнести къ дѣйствію Пушкина и даже Лермонтова, было то общее настроеніе, какое внушали произведенія Гоголя, — какъ въ первый разъ у Пушкина, когда онъ выслушалъ первый очеркъ „Мертвыхъ Душъ". Это впечатлѣніе испытала потомъ цѣлая масса читателей, способныхъ отдать себѣ отчетъ въ проходившихъ передъ ними изображеніяхъ дѣйствительности, и оно создало Гоголю поклонниковъ и враговъ. Оно не могло не отразиться въ литературѣ,—и тамъ, гдѣ можно внѣшнимъ образомъ усмотрѣть Гоголевскую манеру, и тамъ, гдѣ, повидимому, ея не было. Это самимъ Гоголемъ прямо невысказанное, впослѣдствіи даже отвергаемое, и тѣмъ не менѣе глубоко проникающее его произведенія, настроеніе было именно критическое отношеніе къ жизни. Еще при жизни Гоголя понятое какъ основной смыслъ всей его дѣятельности [1]), оно было сильно именно тѣмъ, что глубокимъ психологическимъ анализомъ будило личное сознаніе, и суровымъ изображеніемъ дѣйствительности будило совѣсть общественную, заставляло задумываться о цѣломъ порядкѣ вещей. Въ глазахъ современниковъ „Ревизоръ" былъ „одна изъ самыхъ отрицательныхъ комедій, какія когда-либо появлялись на сценѣ", и едва-ли еще не болѣе отрицательной „поэмой" являлись „Мертвыя Души",—подобнаго русская литература не видала ни раньше, ни даже до сихъ поръ. Сознательно и безсознательно русскіе писатели надолго остались подъ этимъ впечатлѣніемъ, и это критическое отношеніе къ жизни осталось главнымъ свидѣтельствомъ художественныхъ вліяній Гоголя.

Быть можетъ, не случайно именно съ сороковыхъ годовъ возникаетъ цѣлый рядъ первостепенныхъ дарованій весьма различнаго характера и направившихъ свою дѣятельность на различныя области искусства. Имена этихъ писателей вводятъ насъ въ новѣйшій, послѣ-Гоголевскій, періодъ нашей литературы, который еще не вполнѣ завершился донынѣ. Эти писатели окончательно установили самостоятельность нашей литературы и, наконецъ, доставили ей почетное мѣсто въ кругу литературы европейской. Какъ было выше замѣчено, по силѣ дарованій они не могли быть только продолжателями Гоголя; но общій тонъ ихъ и тѣ стороны жизни, которыя становились предметомъ ихъ изображеній, могутъ свидѣтельствовать объ источникѣ ихъ

[1]) Разсказъ Тургенева о разговорѣ съ Гоголемъ по поводу „Переписки съ друзьями". Полное собраніе сочиненій, т. X, стр. 69—70.

настроенія. Этотъ тонъ—критическій; мотивы—изображеніе житейской пошлости, подавляющей нравственную жизнь, защита людей и цѣлыхъ общественныхъ классовъ, угнетаемыхъ безсердечіемъ и самыми общественными формами, указаніе человѣческаго достоинства или права человѣческой личности въ самыхъ скромныхъ существованіяхъ, забитыхъ условіями жизни, наконецъ изображеніе того внутренняго страданія, которое выпадаетъ на долю людей, сознающихъ жизненную неправду и пытающихся на непосильную борьбу. Такіе отголоски Гоголя мы найдемъ въ изобиліи въ повѣстяхъ Тургенева, посвященныхъ всего болѣе изображенію общественнаго разлада; у Достоевскаго, первыя произведенія котораго сплошь навѣяны Гоголемъ; въ первыхъ повѣстяхъ Григоровича; въ первыхъ разсказахъ Салтыкова; въ комедіяхъ Островскаго и т. д. Вліяніе Гоголя ощутительно и тамъ, гдѣ писатели, повидимому, выходили за предѣлы его темъ,—напр., въ разсказахъ изъ народнаго быта, которые размножаются съ пятидесятыхъ годовъ и начинаютъ идеализировать содержаніе этого быта не безъ нѣкотораго ущерба реальной правды, но не безъ связи съ проповѣдью человѣчности, какая заключалась въ произведеніяхъ Гоголя; съ другой стороны въ томъ же Гоголѣ находилъ опору нѣсколько сухой, разсудочный реализмъ, какой встрѣтимъ у Писемскаго и самого Гончарова. Если въ той долѣ нашей повѣсти, которая изображала разладъ личности съ обществомъ, „лишнихъ людей" и т. п., продолжалось преданіе Онѣгина и особливо Печорина, то самая картина условій этого разлада становится опредѣленнѣе,—дѣйствительность введена въ литературу яснѣе, чѣмъ бывало прежде.

Но какъ бы ни было высоко художественное и нравственное вліяніе Гоголя, было бы односторонностью выводить дальнѣйшее развитіе нашей литературы только изъ данныхъ нашего собственнаго искусства. Преимущественно съ тѣхъ же тридцатыхъ и особливо сороковыхъ годовъ развивается новый рядъ идей, которыя оказали свое воздѣйствіе на содержаніе литературы. Это были новыя пріобрѣтенія въ наукѣ и новыя вліянія литературы западно-европейской.

До тридцатыхъ годовъ, русская наука, исключая только разработку русской исторіи, почти не существовала. Университеты находились въ весьма плачевномъ состояніи и продолжали прибѣгать къ вызову иностранныхъ профессоровъ, которые нерѣдко такъ и не выучивались русскому языку; между русскими учеными большинство были очень недалеки въ своей наукѣ; даже

прославленные профессора, въ предметахъ, ближе всего касавшихся литературы, какъ Мерзляковъ, не имѣли понятія о новомъ движеніи въ области поэзіи и искусства, и довольствовались старинными теоріями, давно отжившими свое время. Поэтому, историку почти не приходится до сороковыхъ годовъ упоминать о какомъ-либо взаимодѣйствіи нашей науки и поэтической литературы. „Всѣ учились по-немногу", и самые сильные таланты были ограничены скудной школой и опытомъ предшествующей литературы, или воспитывали свое вдохновеніе на европейской поэзіи, иногда пренебрегая домашнимъ литературнымъ преданіемъ (какъ Лермонтовъ), наконецъ, относительно русской жизни, исторіи, народности имѣли только скромный запасъ литературы и прямыхъ встрѣчъ съ жизнью. Только необычайное дарованіе давало возможность этимъ писателямъ угадывать истинный путь русской поэзіи, и всего болѣе замѣчательна въ этомъ отношеніи дѣятельность Гоголя, который всего меньше подчинялся западнымъ вліяніямъ, очень мало, изъ вторыхъ рукъ, зная объ европейской литературѣ. Отсутствіе сколько-нибудь зрѣлой науки, очевидно, не было особенно благопріятно для успѣховъ литературы: въ обществѣ, среди котораго дѣйствовали писатели, не было прочныхъ понятій и интересовъ, какіе возбуждаетъ наука, и въ существенныхъ вопросахъ собственной исторіи, общественности, народной жизни, наконецъ самого искусства, литература не имѣла почвы, на которую могла бы опереться, и колебалась въ случайно и поверхностно собранныхъ понятіяхъ.

Съ тридцатыхъ годовъ можно было предвидѣть въ этомъ отношеніи большую перемѣну. Выше упомянуто, какой увлекающей новизною были нѣкогда въ московскомъ университетѣ философскія чтенія Павлова; съ тѣхъ поръ интересъ къ философіи не прерывался, и въ тридцатыхъ годахъ молодое поколѣніе, въ кружкѣ Станкевича, перешло отъ Шеллинга къ Гегелю и принялось строить на немъ свое эстетическое и общественное міровоззрѣніе. Постройка шла не безъ увлеченій и ошибокъ, но была великимъ шагомъ впередъ, потому что этимъ путемъ впервые пріобрѣталось прочное міровоззрѣніе, въ которомъ въ особенности выяснены были теоретическія положенія объ искусствѣ и положены основанія художественной критики. Въ этой школѣ выработалась критика Бѣлинскаго. Плодотворность этой критики оказалась уже вскорѣ распространеніемъ сознательныхъ эстетическихъ понятій, которое дало первую ясную мѣру для оцѣнки произведеній литературы, научало понимать истинныя поэтиче-

скія красоты и разоблачало эстетическое ничтожество фальшивой реторики въ классическомъ и романтическомъ стилѣ, какая въ тѣ времена извращала общественные вкусы и понятія; съ другой стороны, критика была полезна начинающимъ писателямъ, побуждая ихъ строже относиться къ своему труду, указывая, въ чемъ заключается достоинство художественнаго произведенія. Эта система понятій объ искусствѣ собрала сначала вокругъ Станкевича, потомъ вокругъ Бѣлинскаго, цѣлую группу молодыхъ писателей, соединенныхъ общимъ міровоззрѣніемъ, которое въ концѣ концовъ стало не только эстетическимъ, но и общественнымъ...

Въ то же время, рядомъ съ молодыми гегельянцами образовался другой кружокъ, поставившій себѣ иныя задачи. Предметомъ его интереса стали вопросы общественные, именно соціализмъ, тогда только-что возникавшій въ отвлеченныхъ, иногда фантастическихъ формахъ, но вызывавшій къ политическому и политико-экономическому изученію. Во главѣ этого кружка стоялъ Герценъ [1]). Два кружка образовались и существовали независимо одинъ отъ другого, тѣмъ болѣе, что кружокъ Герцена былъ вскорѣ разсѣянъ ссылкой; но они знали другъ о другѣ и когда потомъ встрѣтились, то встрѣтились враждебно, какъ на первый разъ Бѣлинскій съ Герценомъ. Въ то время, какъ первый по Гегелю доказывалъ разумность дѣйствительности, второй по соціализму и политической исторіи доказывалъ, напротивъ, необходимость критики и, когда критика требовала, необходимость отрицанія этой дѣйствительности. Бѣлинскій недолго оставался на своей точкѣ зрѣнія и, исчерпавъ ее, тѣмъ съ большимъ жаромъ сталъ на противоположную точку зрѣнія,—философія Гегеля, въ извѣстныхъ толкованіяхъ, давала возможность къ тому и другому. Въ сороковыхъ годахъ Бѣлинскій, уже вполнѣ согласный съ прежними противниками, видѣлъ въ литературѣ уже не одно, такъ сказать, стихійное проявленіе художества, но также отраженіе состоянія общества и, въ рукахъ высокаго таланта, раскрывающаго явленія жизни,—великое воспитательное средство. Герценъ въ своей литературной дѣятельности, примкнувши къ кругу Бѣлинскаго, вносилъ въ защиту тѣхъ же идей свое многостороннее образованіе и блестящій талантъ. Литературные интересы сравнительно съ прежнимъ чрезвычайно расширились: къ вопросамъ чистой эстетики присоединились вопросы историческіе, экономическіе; самъ Бѣлинскій познакомился съ

[1]) Изъ друзей Бѣлинскаго одинъ, по его собственному указанію, такъ же увлекался въ тридцатыхъ годахъ соціализмомъ; это былъ самъ В. П. Боткинъ.

новыми соціалистическими ученіями; писатели европейскіе понимались не только въ ихъ художественныхъ достоинствахъ, но и въ ихъ общественномъ значеніи,—Бѣлинскій измѣняетъ теперь многія изъ своихъ прежнихъ мнѣній, напримѣръ о Шиллерѣ, о „французахъ", которыхъ прежде не любилъ, и т. д. Къ послѣднимъ сороковымъ годамъ взгляды кружка Бѣлинскаго составили довольно опредѣленную систему мнѣній, гдѣ къ прежнему, прочно воспитавшемуся эстетическому вкусу, присоединилось требованіе общественнаго значенія литературы, то, что тогдашніе и позднѣйшіе противники его называли „утилитарнымъ" взглядомъ на искусство. Эта система мнѣній, дававшая впервые болѣе или менѣе опредѣленное пониманіе литературы въ связи съ исторіей и интересами общественными, становилась образомъ мыслей цѣлой значительной части образованнаго круга.

Далѣе, въ тѣ же годы и, въ основѣ, изъ того же гегельянскаго источника развилась школа, которая въ концѣ сороковыхъ годовъ сформировалась въ такъ называемое славянофильство, въ противоположность „западничеству" Бѣлинскаго, Герцена и ихъ друзей [1]. По своимъ національно-историческимъ взглядамъ славянофильство совершенно расходилось съ западничествомъ, но заключало и рядъ понятій, которыя не мало послужили къ расширенію общественнаго самосознанія. Не говоря о богословскихъ положеніяхъ славянофильства, развитыхъ главнымъ образомъ Хомяковымъ и комментированныхъ впослѣдствіи Ю. Самаринымъ,—впрочемъ, тогда скрывавшихся еще подъ спудомъ,—укажемъ въ особенности высокое представленіе о національной сущности русскаго народа, которая предполагала для него великое историческое предназначеніе. Русскій народъ былъ своего рода избранный народъ: въ его природѣ, освященной единою истинною формою христіанства, даны были условія самобытной цивилизаціи, которыя были нарушены насильственной реформой Петра и должны быть возрождены нашимъ сознаніемъ для того, чтобы наше историческое развитіе шло въ согласіи съ духомъ народнаго идеала; русскій народъ отличенъ отъ народовъ западно-европейскихъ истиною своего исповѣданія, своими понятіями о правѣ и государствѣ (двойственность „земли и государства", отрицаніе конституціонныхъ „гарантій" и т. д.), и особенностями быта, гдѣ община является вмѣстѣ экономическимъ и нравственнымъ обезпеченіемъ народной жизни. Отсюда

[1]) Подробнѣе о содержаніи и отношеніяхъ этихъ школъ см. въ „Характеристикахъ литер. мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ" (2-е изд. Спб. 1890) и въ біографіи Бѣлинскаго (Спб. 1876).

проистекали выводы, въ которыхъ эта школа рѣзко расходилась съ своими противниками: отрицаніе Петровской реформы и съ нею цѣлаго періода русской исторіи, которому, однако, принадлежало обширное развитіе русскаго государства (принимаемое въ то же время самими славянофилами за свидѣтельство объ историческомъ величіи русскаго народа), отрицаніе европейской цивилизаціи, какъ ложной и не отвѣчающей преданіямъ и духу русскаго народа (и изъ которой, однако, произошла степень просвѣщенія, приводившая къ національному сознанію и къ основанію самой школы); рядомъ съ этимъ славянофильство настаивало на необходимости изученія и проведенія въ жизнь народныхъ воззрѣній и обычая, какъ залоговъ правильнаго просвѣщенія и возвращенія на путь истины для верхнихъ классовъ общества, оторванныхъ реформой отъ народнаго корня... Между двумя школами возгорѣлась по этимъ вопросамъ жаркая полемика. Условія печати были, къ сожалѣнію, таковы, что ни та, ни другая сторона не имѣли возможности высказать своихъ ученій съ должной ясностью: если въ главныхъ пунктахъ между ними было рѣзкое противорѣчіе, то самое противорѣчіе не могло быть точно опредѣлено,—происходилъ рядъ недоразумѣній, которыя въ сущности остаются не выяснены и между преемниками этихъ школъ въ настоящее время. Въ „запальчивости и раздраженіи“ спора обѣ стороны бывали несправедливы другъ къ другу; при невозможности яснаго изложенія своихъ мыслей онѣ доходили до несправедливой вражды, — но этотъ споръ былъ, однако, плодотворнымъ явленіемъ нашей литературы и общественности. Обѣ стороны имѣли то общее, что обѣ высоко стояли надъ низменнымъ уровнемъ толпы, представляли первый примѣръ идейной жизни, первый (насколько было возможно) послѣдовательный опытъ разъясненія началъ русской національной жизни. Наконецъ, при всемъ разногласіи обѣ стороны сходились въ двухъ существенныхъ пунктахъ: обѣ искали, хотя различно понимаемаго, но широкаго просвѣщенія и одинаково тяготились подавленнымъ состояніемъ русской общественной мысли; обѣ съ одинаково теплымъ участіемъ относились къ судьбѣ народной массы... На этомъ основаніи обѣ стороны могли одинаково увлекаться тогдашними великими пріобрѣтеніями русской литературы, высоко цѣнить Гоголя и, позднѣе, Тургенева (какъ автора „Записокъ Охотника“).

Наконецъ, къ тридцатымъ и сороковымъ годамъ относится первое установленіе нашей университетской науки. Посылка молодыхъ ученыхъ за границу для приготовленія къ занятію ка-

ѳедръ доставила нашимъ университетамъ ученыя силы, какихъ они еще никогда не имѣли. Важны были въ особенности науки нравственныя, новое преподаванiе которыхъ наиболѣе соприкасалось съ потребностями общаго образованiя и интересами литературы. Явились историки, юристы, экономисты, филологи, нерѣдко съ замѣчательными талантами и близко знакомые съ современнымъ положенiемъ науки. Философская окраска тогдашней нѣмецкой науки, на которой въ особенности воспитывались наши молодые ученые, способствовала широкой постановкѣ научныхъ вопросовъ и оберегала отъ узкой специализацiи, которая была бы пока мало умѣстна, когда не было еще никакой ученой литературы и нужно было установлять въ молодыхъ поколѣнiяхъ первые интересы изслѣдованiя и прививать ихъ въ обществѣ. Блестящимъ типомъ профессора сороковыхъ годовъ былъ Грановскiй, и въ его преподаванiи одинаково важную роль занимали и частные вопросы науки, и ея воспитательное значенiе: это не былъ ученый специалистъ, но историкъ-художникъ, который умѣлъ вложить въ свои чтенiя какъ высокое уваженiе къ наукѣ, такъ и вѣру въ нравственныя начала историческаго развитiя. Новая наука, одушевленная этими интересами, скоро нашла питомцевъ, которые начинаютъ дѣйствовать въ литературѣ еще съ сороковыхъ годовъ. Мало-по-малу повышался уровень образованiя, еще недавно столь невысокiй: возростало знакомство съ европейской наукой и литературой, расширялся горизонтъ мысли; образовывалась способность къ правильному изслѣдованiю, и въ концѣ концовъ въ литературное обращенiе стали входить предметы, до тѣхъ поръ мало знакомые обществу. Такъ, въ первый разъ привлекаютъ вниманiе вопросы экономическiе; отчасти въ формѣ упомянутаго социализма, но отчасти также въ формѣ ближайшаго интереса къ экономическому положенiю русскаго народа: понимаемый прежде только съ нравственной и филантропической точки зрѣнiя, крестьянскiй вопросъ начинаетъ теперь представляться необходимымъ, настоятельнымъ вопросомъ русской жизни и въ чисто экономическомъ смыслѣ... Новая наука отразилась, далѣе, небывалымъ прежде оживленiемъ изученiй русской жизни. Однимъ изъ глубоко важныхъ прiобрѣтенiй былъ здѣсь поворотъ въ изученiяхъ историческихъ: является потребность осмотрѣться въ цѣломъ ходѣ русской исторiи; прежняя реторическая манера и внѣшнее изложенiе фактовъ не удовлетворяли; новые ученые стремились выяснить самые принципы историческаго развитiя русскаго народа, потому что вся исторiя понималась теперь какъ внѣшнее про-

явленіе началъ, заложенныхъ въ особенностяхъ національной природы. Отсюда особенное стремленіе къ изученію внутреннихъ процессовъ исторической жизни, бытовыхъ формъ и учрежденій, права и обычая, и тѣмъ самымъ вызывалось спеціальное изслѣдованіе тѣхъ же явленій въ жизни современной, рядомъ съ этимъ изученіе древняго народнаго творчества, которое выразилось созданіемъ языка, миѳологіи, народной поэзіи, обряда и обычая. Такъ, въ союзѣ съ исторіей и этнографіей возникали филологія и археологія. Русскія изученія опять опирались на содѣйствіе европейской науки, не только въ методѣ, но и въ самомъ матеріалѣ, такъ какъ въ изученіяхъ старины все болѣе распространялось примѣненіе сравнительно-историческаго метода. Всѣ эти новыя исканія уже вскорѣ оказались чрезвычайно плодотворными: исторіографія расширилась этимъ стремленіемъ къ объясненію внутренняго смысла жизни; старина оживлялась связью съ явленіями современными; народная поэзія, обрядъ и обычай пріобрѣтали новый интересъ, когда получали объясненіе ихъ архаическія черты и они являлись живымъ историческимъ слѣдомъ древняго быта. Не вдаваясь въ подробности, довольно назвать нѣсколько именъ, которыя стали уже историческими по тѣмъ заслугамъ, какія признаются за ними въ объясненіи русской жизни древней и новой, историческо-государственной и народно-поэтической и бытовой; таковы славныя имена Соловьева, Кавелина, Калачова, Аѳанасьева, Буслаева, Забѣлина... Русская этнографія, какъ внѣшнее изученіе народнаго быта, восходитъ своими началами ко временамъ Петра и, послѣ важныхъ пріобрѣтеній конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, только съ этого времени пріобрѣтаетъ правильную научную постановку: основаніе русскаго Географическаго Общества въ 1845, въ связи съ новыми учеными пріемами изслѣдованія, дали вскорѣ богатые плоды. Кромѣ того, что собранъ былъ весьма важный матеріалъ фактическихъ данныхъ, новая наука пріобрѣтала нравственно-общественное значеніе, когда, напримѣръ, изслѣдованія Буслаева впервые объяснили въ народной поэзіи не только ея археологическую старину, но и глубокое нравственное содержаніе народнаго чувства.

Была, наконецъ, еще одна сторона изученій, возникшихъ около того же времени. Въ концѣ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ нѣсколько молодыхъ ученыхъ были посланы за границу для спеціальнаго изученія „славянскихъ нарѣчій“. Это было опять первое научное основаніе нашей славистики, которая, кромѣ своихъ спеціальныхъ цѣлей, съ одной стороны, помо-

гала объяснить племенные источники этнографическихъ явленій, а съ другой доставляла пищу для національнаго идеализма, который, среди иныхъ заблужденій, способствовалъ, однако, и расширенію научнаго знанія въ этомъ направленіи.

Таковы были разнообразныя воздѣйствія новой науки: мало-по-малу онѣ входили въ кругъ понятій болѣе образованнаго общества, и къ пятидесятымъ годамъ литературный уровень стоялъ уже несравненно выше, чѣмъ былъ въ то время, когда Гоголь начиналъ свою дѣятельность. Самъ Гоголь остался внѣ этого движенія: долгое пребываніе за границей, жизнь въ исключительномъ кругу, чуждомъ этимъ интересамъ литературы, аскетическое направленіе мыслей, побуждавшее его видѣть въ литературныхъ волненіяхъ только новую форму мірской суеты, прежній недостатокъ научнаго образованія, почти не двинувшагося и послѣ,—все это оставляло его въ сторонѣ отъ новаго содержанія литературныхъ идей. Онъ слышалъ нѣчто о борьбѣ „восточныхъ“ и „западныхъ“, но изъ самыхъ выраженій его объ ихъ спорѣ можно видѣть, что сущность спора осталась для него темна. Онъ былъ такъ далекъ отъ понятій, которыя тѣмъ временемъ развились въ умахъ наиболѣе просвѣщенныхъ людей, что былъ дѣйствительно не только опечаленъ, но изумленъ, какъ неожиданностью, суровыми укорами, которые Бѣлинскій обратилъ къ нему по поводу „Переписки съ друзьями“ Между ними лежала пропасть.

Но Гоголь, какъ авторъ повѣстей, „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“, сохранялъ все свое значеніе, потому что въ то время, въ концѣ сороковыхъ и въ пятидесятыхъ годахъ, да и позднѣе, онъ оставался самымъ могущественнымъ писателемъ того „критическаго“ направленія искусства, которое въ эту пору умственнаго возбужденія стало еще болѣе цѣнно для болѣе просвѣщенной части общества. Но теперь онъ уже не былъ одинъ. Писатели, вступавшіе на открытый имъ путь, воспитывались уже въ новомъ кругѣ идей. Въ послѣдніе годы жизни Бѣлинскій былъ увлеченъ общественными вопросами, дополняя тѣмъ прежнюю эстетическую теорію, и его критика была школой для окружавшихъ его молодыхъ писателей; Герценъ въ своей научной критикѣ и беллетристикѣ былъ публицистомъ; историческая наука, какъ излагалъ ее Грановскій, была ученіемъ о прогрессѣ и гуманности; изученія русской исторіи, народнаго быта, напоминали о тяжкихъ судьбахъ, вынесенныхъ народомъ, создавшимъ могущественное государство, и вмѣстѣ свидѣтельствовали о громадныхъ силахъ этого народа, заслуживавшаго лучшей участи, наконецъ

о богатствѣ внутренняго содержанія, которое способно было создать замѣчательную народную поэзію.

Присоединялись, наконецъ, вліянія литературы европейской, особливо французской и англійской. Въ той и другой, изъ различныхъ источниковъ и побужденій, развивался въ тѣ годы усиленный интересъ къ реальнымъ вопросамъ общественности: распространеніе соціализма и демократическихъ ученій сопровождалось и въ литературѣ, въ романѣ, повѣсти, драмѣ, участіемъ къ положенію народной массы, гдѣ подъ грубою корою невѣжества и бѣдности открывали добродѣтель въ противоположность испорченности высшихъ классовъ, и соціальный вопросъ ставился какъ требованіе политической справедливости... У насъ пріобрѣтали большую популярность произведенія этого рода, какъ романы Евгенія Сю, или романы Жоржъ-Занда,—гдѣ рѣзко и вмѣстѣ завлекательно ставился вопросъ о правахъ женщины, или рисовались идиллическія картины сельскаго быта; чрезвычайную симпатію возбуждали произведенія Диккенса, гдѣ поднимался голосъ въ защиту угнетенныхъ, и т. д. Во французской беллетристикѣ былъ явный отголосокъ соціализма, который увлекалъ и нашихъ мечтателей въ молодыхъ поколѣніяхъ. Вскорѣ эти увлеченія встрѣтились съ жестокимъ преслѣдованіемъ въ извѣстномъ дѣлѣ Петрашевскаго, къ которому оказались прикосновенными два начинавшихъ тогда писателя, Достоевскій, имѣвшій уже громкое имя, какъ авторъ „Бѣдныхъ людей“, и Плещеевъ... Теперь едва ли требуется объясненіе, что этотъ соціализмъ былъ чисто платоническій, что смѣшно было думать, чтобы десятокъ молодыхъ людей, прочитавшихъ Фурье или Пьера Леру, могли сдѣлать что-либо для ниспроверженія существующаго порядка въ Россійской имперіи. Незадолго до этого страннаго процесса Салтыковъ, только-что начавшій свою дѣятельность, которая тутъ же и прервалась, далъ полушутливое изображеніе этихъ русскихъ соціалистовъ въ „Запутанномъ Дѣлѣ“... Все это западное соціалистическое движеніе практически было, конечно, совершенно чуждо русской жизни; это было, безъ сомнѣнія, ясно и для тѣхъ, кто у насъ этимъ движеніемъ увлекался, но и они могли справедливо видѣть въ немъ явленіе, полное важнаго историческаго смысла; у насъ была доступна и оказывала свое несомнѣнное дѣйствіе только самая общая идеальная сторона этого движенія, именно гуманная. Если европейская литература указывала на общественную несправедливость, ея было вдоволь и въ русской жизни; если старалась пробудить симпатіи къ рабочимъ классамъ, у насъ не меньше

заслуживали состраданія милліоны безправнаго крестьянства; если въ соціалистическихъ теоріяхъ изображалось блаженное будущее съ всеобщимъ благополучіемъ, то это были старыя мечты человѣчества, которыя оно вызываетъ отъ времени до времени, чтобы отдохнуть, хотя бы въ фантазіи, отъ тягости настоящаго и поддержать вѣру въ идеалъ и въ прогрессъ человѣческаго общества.

Это настроеніе, въ свою очередь, въ большой степени участвовало въ созданіи нашей литературы съ конца сороковыхъ годовъ. Если такъ называемая натуральная школа въ особенности обращалась къ изображенію низменныхъ слоевъ жизни, то здѣсь съ одной стороны дѣйствовало вліяніе Гоголя, который впервые съ полнымъ реализмомъ затрогивалъ эти слои, а съ другой впечатлѣнія европейской соціально-филантропической литературы. Эти впечатлѣнія несомнѣнно не были чужды Достоевскому, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ видимо развивается тонъ „Шинели“; точно также оба элемента встрѣтятся въ „Деревнѣ“ Григоровича или потомъ въ его идилліи „Рыбаки“, гдѣ очевидно вліяніе сельскихъ разсказовъ Жоржъ-Занда; далѣе, въ „Запискахъ Охотника“ Тургенева, въ первыхъ стихотвореніяхъ Некрасова—раньше, чѣмъ въ нихъ взяли верхъ непосредственныя отраженія русскаго крестьянскаго быта; наконецъ даже въ тѣхъ разсказахъ изъ народной жизни (А. А. Потѣхина и другихъ), которые, повидимому, такъ прямо внушены русской деревней, и т. д. Когда въ наше время французскіе критики, недовольные успѣхомъ русской литературы во Франціи, утверждали, что эта литература (Тургеневъ, Достоевскій, Григоровичъ и т. д.) сама воспиталась на французскихъ идеяхъ и образцахъ, то въ этой вспышкѣ національнаго самолюбія была доля правды,—но только доля. Изъ французской литературы дѣйствовали у насъ общественныя идеи—и вѣроятно гораздо менѣе беллетристы (у насъ умѣли понимать, какъ невысоко стоялъ въ художественномъ отношеніи, напримѣръ, Евгеній Сю), чѣмъ именно теоретики соціализма, и только Жоржъ-Зандъ цѣнилась и по содержанію ея идей (до извѣстной степени), и по художественному исполненію; но это вліяніе было уже второстепеннымъ факторомъ, потому что основное въ этомъ направленіи было самостоятельно создано въ произведеніяхъ Гоголя и подкрѣплено научнымъ подъемомъ общественно-народныхъ интересовъ. Въ самой литературной формѣ русская беллетристика, кромѣ развѣ немногихъ исключеній, осталась свободна отъ пріемовъ французскаго соціалистическаго романтизма, такъ какъ и здѣсь предохранялъ отъ ошибокъ самобытный здоро-

вый реализмъ, созданный Пушкинымъ и развитый Гоголемъ. Французская критика сама сознавала оригинальную силу этого реализма. До настоящая времени изображеніе народной среды никогда не достигало у французскихъ писателей той выразительности и вмѣстѣ простоты, которыя такъ легко давались лучшимъ русскимъ писателямъ.

Съ такими результатами завершился этотъ литературный періодъ, которому принадлежатъ двѣ великія заслуги: достиженіе самобытности нашей поэтической литературы и прочное установленіе ея нравственно-общественной задачи,—это было уже не одно отвлеченное служеніе искусству, но въ особенности изученіе русской жизни, и съ этимъ вмѣстѣ стремленіе къ общественному и народному самосознанію. Въ молодыхъ поколѣніяхъ, испытавшихъ вліяніе этой литературы, создавалась новая нравственная атмосфера—исканіе общественной правды. Всего лучше даетъ понятіе объ этомъ новомъ настроеніи отзывъ, сдѣланный Ив. Аксаковымъ, человѣкомъ другого круга и другихъ взглядовъ, чѣмъ Бѣлинскій и его друзья. Много лѣтъ спустя по смерти Бѣлинскаго, Аксаковъ несмотря на крайнюю теоретическую враждебность къ этому писателю, говорилъ въ 1856 (въ письмѣ изъ Екатеринослава): „Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, которые бы не знали наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозятъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. „Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ“, говорятъ мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціяхъ... Если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы въ борьбу,—ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго“ [1]). Въ этомъ направленіи шло дальнѣйшее движеніе нашей литературы въ рукахъ цѣлой плеяды первостепенныхъ дарованій: одинъ

[1]) Ив. С. Аксаковъ въ его письммахъ. Часть первая. III. Письма 1851—1860 годовъ. М. 1892, стр. 290—291.

изъ писателей этой плеяды дѣйствуетъ и понынѣ, пользуясь всемірною славою...

Вскорѣ послѣ смерти Бѣлинскаго, наша литература испытала періодъ тяжелаго преслѣдованія, которое отразилось извѣстнымъ упадкомъ, и новое оживленіе начинается съ тѣхъ поръ, когда военная и политическая катастрофа Крымской войны произвела могущественный поворотъ въ нашей внутренней жизни, и когда рядомъ съ этимъ вступили на литературное поприще новыя силы.

Конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ останутся знаменательною эпохой въ нашей исторіи. Предпринятыя реформы отвѣчали вѣковымъ нуждамъ русскаго народа, унаслѣдованнымъ отъ тяжелыхъ процессовъ прежней исторіи; реформы рѣшали практическіе вопросы и вмѣстѣ удовлетворяли нравственное чувство общества: таково было освобожденіе крестьянъ; преобразованія судебныя и земскія; нѣкоторое облегченіе внѣшняго положенія печати, этого существеннаго условія для успѣховъ литературы; таково было начало заботъ о народной школѣ. Понятно, что преобразованія, затронувшія весь составъ русской жизни, вызвали столкновеніе двухъ противоположныхъ порядковъ вещей и понятій. Реформы съ самаго начала встрѣтили въ обществѣ горячихъ поклонниковъ и ожесточенныхъ противниковъ; послѣдніе съ одной стороны себялюбиво не желали разстаться съ привычными формами жизни, а съ другой—нерѣдко искренно не понимали возможности водворенія новыхъ формъ, сомнѣваясь даже въ возможности исполненія преобразованій. Факты ихъ опровергли. Правительство нашло въ представителяхъ общества людей, которые способны были распутать, на первый разъ, Гордіевъ узелъ крестьянскаго вопроса, выработать и исполнить планъ судебной реформы, здраво поставить дѣло земскаго самоуправленія; въ средѣ общества нашлись ревностные дѣятели народной школы, и т. д. Теперь, когда для этихъ преобразованій—такъ или иначе—наступаетъ исторія; когда довершаютъ свое жизненное поприще послѣдніе дѣятели той эпохи, передъ современнымъ обществомъ проходитъ длинный рядъ біографій и некрологовъ съ именами людей, которые нѣкогда благородно, разумно и самоотверженно послужили великому дѣлу...

Откуда собрались эти люди?—Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ихъ воспитанію содѣйствовала именно та литература конца тридцатыхъ, затѣмъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, которая была въ тѣ времена единственнымъ поприщемъ и орудіемъ обще-

ственной мысли; эта литература, въ своихъ лучшихъ представителяхъ въ искусствѣ и въ наукѣ, именно научала высокому пониманію общественнаго долга, внушала вѣру въ нравственное достоинство народа и въ народныя силы, развивала благородный идеализмъ, стремленіе къ просвѣщенію и общественной справедливости... Въ скромныхъ размѣрахъ нашей литературы и въ тѣсныхъ рамкахъ общественности совершилось явленіе великаго историческаго интереса и нравственно поучительное: возникало общеніе съ народомъ на почвѣ просвѣщенія и нравственной правды. Нѣкогда образованный классъ нашего общества обвиняли за его разрывъ съ народомъ (въ теченіе исторіи нашей литературы можно видѣть, какъ бывали несправедливы эти обвиненія),—теперь въ различныхъ направленіяхъ оказывалось, напротивъ, стремленіе, воспитанное именно ближайшимъ прошлымъ литературы, стремленіе сблизиться съ этимъ народомъ, изучить его во всѣхъ сторонахъ его быта и понятій, придти къ нему на помощь, наконецъ объединиться и слиться съ нимъ. Таково было настроеніе лучшей части литературы пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, и таково было въ частности народничество, „опрощеніе" и „хожденіе въ народъ". Это „хожденіе въ народъ", не однажды осмѣянное или оклеветанное, на дѣлѣ иногда наивное, даже легкомысленное, но всего чаще трогательное, было отраженіемъ глубокаго инстинкта, а потомъ сознательной мысли о соединеніи всѣхъ слоевъ общества въ одномъ трудѣ для общаго блага. И начатки этого движенія восходятъ опять къ тѣмъ же тридцатымъ годамъ: чѣмъ, какъ не хожденіемъ въ народъ, было собираніе народныхъ пѣсенъ Петромъ Васильевичемъ Кирѣевскимъ; чѣмъ были позднѣе странствія Рыбникова въ олонецкомъ краѣ, продолженныя Гильфердингомъ и открывшія намъ неподозрѣваемое ранѣе богатство русской поэтической старины; чѣмъ, какъ не хожденіемъ въ народъ, было дѣло гр. Л. Н. Толстого, когда, уединившись въ Ясной Полянѣ, онъ отдавалъ свое время и трудъ на деревенскую школу; или, наконецъ, извѣстные труды Д. А. Ровинскаго по собиранію русскихъ народныхъ картинокъ, воспроизводившіе цѣликомъ живую картину народнаго быта, исторіи, нравовъ и обычаевъ? Не называемъ множества другихъ лицъ, отдававшихъ безкорыстный трудъ именно на прямое, реальное изученіе народа въ самыхъ различныхъ сторонахъ его жизни, для цѣлей науки и практической помощи, наконецъ самоотверженно служившихъ ему въ годины бѣдствій... Это сближеніе съ народомъ, успѣвшее обогатить насъ широкимъ знаніемъ народной жизни (между прочимъ, открытіемъ па-

мятниковъ старой поэзіи, какіе цѣнятся у просвѣщенныхъ народовъ, какъ національная святыня), прибавимъ, поддержанное также массою правительственныхъ и земскихъ изслѣдованій,— это сближеніе въ наибольшей степени выросло на почвѣ и трудами литературы и въ свою очередь вознаградило ее укрѣпленіемъ сознанія, что истинная національная литература можетъ быть создана только на пути широкаго народнаго просвѣщенія и нравственнаго общенія съ народомъ.

Великая заслуга предвидѣнія этой высокой задачи для нашей литературы и для стремленій общества принадлежитъ въ особенности концу пятидесятыхъ и шестидесятымъ годамъ. Литература того времени была поглощена возникавшими общественными интересами и можетъ быть правильно оцѣнена только въ связи съ этимъ волненіемъ общественныхъ идей, которыя возникали задолго раньше и въ это время получали первую, хотя далеко не полную, возможность высказываться въ печати. Но одновременно съ первыми порывами преобразовательнаго труда вернулась и реакція стараго порядка вещей, которая во многихъ случаяхъ производила гнетущее вліяніе на общественное мнѣніе и обрушилась въ особенности противъ тѣхъ, кто остался вѣренъ началамъ, изъ которыхъ проистекало преобразовательное движеніе. Реакція нашла ревностныхъ партизановъ въ печати, и шестидесятые годы стали предметомъ осужденія и настоящей клеветы. Однимъ изъ послѣдствій этого поворота былъ упадокъ художественнаго творчества и новѣйшее, явное или скрытое, декадентство, съ его мнимо „чистымъ“ искусствомъ, не сознающее своего происхожденія изъ мутнаго болота обскурантизма, потерявшее историческую память и весь смыслъ жизненнаго долга литературы, и для котораго нравственные идеалы, издавна дорогіе обществу, стали „забытыми словами“. Но для той знаменательной эпохи уже начинается неподкупная исторія. Въ наше время вспоминаются глубоко благотворныя дѣла недавняго прошлаго, въ крестьянской реформѣ, судѣ, народной школѣ, женскомъ образованіи и т. д., какъ идеалъ истинно человѣчныхъ и, въ глубинѣ, истинно національныхъ начинаній,—и вмѣстѣ съ этимъ вспоминаются имена цѣлаго поколѣнія благородныхъ дѣятелей, которые были представителями и питомцами пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ и ихъ литературы: для нихъ наступаетъ правдивое рѣшеніе исторіи.

19 21/II 00

ДОПОЛНЕНІЯ.

Введеніе, т. I, стр. 36 (и Дополненія, т. II, стр. 565). Разборъ „Указателя“ А. Н. Неустроева (Спб. 1898) сдѣланъ Л. Майковымъ въ „Извѣстіяхъ“ Р. Отд. Акад., т. III, стр. 924—929.

—„—, тамъ же, стр. 34—36. В. Саитовъ, Замѣтки и разъясненія къ Опыту россійской библіографіи, В. Сопикова, въ Журн. мин. просвѣщ. 1878 (указаніе авторовъ анонимныхъ сочиненій, псевдонимовъ, поправки и пр.);—Губерти, „Матеріалы“, т. III. М. 1891.

—„—, тамъ же. С. Венгеровъ, „Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы“. Вступительная лекція, читанная въ Спб. университетѣ 24 сент. 1897 года. Спб. 1899.

Глава II, стр. 101. О поученіи Владимира Мономаха: И. Н. Ждановъ, въ разборѣ книги Архангельскаго „Творенія отцовъ церкви въ др. рус. письм.“, въ 34 Отчетѣ объ Увар. преміяхъ. Спб. 1893;—Е. Будде, въ „Р. Филол. Вѣстникѣ“, 1898, кн. 1—2;—М. Сперанскій, Изъ исторіи отреченныхъ книгъ. Гаданія по псалтири. Спб. 1899 (стр. 5, 55—59).

Глава IV, стр. 172. По исторіи русскаго языка—А. Шахматовъ, Къ вопросу объ образованіи русскихъ нарѣчій и русскихъ народностей. Спб. 1899,—изъ Журн. мин. просв. 1899, апрѣль;—А. М. Лобода, Русскій языкъ и его южная вѣтвь, въ Кіевскихъ Унив. Извѣстіяхъ, 1898, мартъ;—А. Крымскій, Филологія и Погодинская гипотеза. Даетъ ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынскомъ происхожденіи малоруссовъ?—въ „Кіевской Старинѣ“, 1898, іюнь и д. Авторъ отвѣчаетъ совершенно отрицательно.

Глава VII, стр. 263, 281. Южно-славянскіе отрывки „Физіолога“ XVI вѣка указаны у г. Архангельскаго, „Къ исторіи южнослав. и древнерусской апокр. литературы“. Спб. 1899, стр. 1—2, 23.

Глава VIII, стр. 313, 318. А. Шахматовъ, „Пахомій Логоѳетъ и Хронографъ“, въ Журн. мин. просв. 1899. Въ небольшой замѣткѣ (стр. 200—207) авторъ собралъ, на нашъ взглядъ, очень убѣдительные доводы по вопросу, который до сихъ поръ оставался какъ бы недоступенъ изслѣдователямъ, о самомъ происхожденіи Хронографа: по

мнѣнію автора, догадки о южнославянскихъ элементахъ этого сборника разрѣшаются тѣмъ, что первая редакція Хронографа была составлена въ Россіи южнымъ славяниномъ, именно тѣмъ Пахоміемъ Сербиномъ, который такъ много разобралъ въ русской письменности во второй половинѣ XV вѣка.—Изслѣдованіе продолжается въ статьѣ: „Къ вопросу о происхожденіи Хронографа". Спб. 1899, изъ „Сборника" Р. Отд. Акад., т. LXVI.

—„—, стр. 318: А. Кадлубовскій, „Очерки по исторіи древнерусской литературы житій святыхъ" (2, великомученикъ Меркурій Кесарійскій и мученикъ Меркурій Смоленскій), въ Р. Филолог. Вѣстникѣ, Варшава, 1898, т. XXXIX, стр. 96—159, дана другая почва для объясненія происхожденія русской легенды, чѣмъ у Буслаева;—продолженіе: 3, св. великомученикъ Никита и св. Никита столпникъ переяславскій, тамъ же, т. XL, стр. 176—182.

—„—, тамъ же. За послѣднее время литература житій и сказаній о чудесахъ обратила на себя особенное вниманіе изслѣдователей. Къ числу писателей XII вѣка долженъ быть отнесенъ кн. Андрей Боголюбскій, которому И. Е. Забѣлинъ (моск. „Археологич. Замѣтки и Извѣстія") приписываетъ „Сказаніе о чудесахъ Владимірской иконы Божьей матери", изданное г. Ключевскимъ. Спб. 1878 (въ Памятникахъ др. письм.);—Житіе преп. Авраамія, Ростовскаго чудотворца. По рукописи XVII вѣка, съ предисловіемъ А. А. Титова. Ярославль, 1892;—Житіе Леонтія, еп. Ростовскаго. Съ пред. А. А. Титова, въ „Чтеніяхъ" моск. Общ. ист. и др. 1893, кн. IV;—Преп. князь Олегъ и Поликарпъ, Брянскіе чудотворцы. Матеріалы для русской агіологіи. П. Тиханова. Спб. 1893;—Житіе св. Стефана Пермскаго, написанное Епифаніемъ Премудрымъ. Изд. Археограф. Коммиссіи. Спб. 1897;—Ив. Яхонтовъ, Житія св. сѣвернорусскихъ подвижниковъ Поморскаго края, какъ историческій источникъ. Составлено по рукописямъ Соловецкой библіотеки. Казань 1882;—свящ. І. Ковалевскій, Юродство о Христѣ и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. Историческій очеркъ и житія подвижниковъ. М. 1895.

Глава X, стр. 378. А. И. Яцимирскій, Новыя данныя о хожденіи архіепископа Антонія въ Царьградъ. Спб. 1899 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Акад., т. IV).

Глава XI, стр. 411 и д. В. М. Истринъ, Апокрифъ объ Іосифѣ и Асенефѣ, въ „Древностяхъ" Слав. Коммиссіи Моск. Археол. Общества, 1898, II, стр. 146—199, и онъ же, „Къ вопросу о Снѣ царя Іоаса, по поводу статьи проф. Мочульскаго въ Р. Филол. В. 1897", въ Журн. мин. просв. 1898, февраль;—О. Кудринскій, „Сказаніе о царѣ Соломонѣ". Кіевъ, 1897 (изъ „Кіевской Старины"), современная малорусская версія, съ историко-литературными объясненіями;—П. Е. Щеголевъ, „Очерки исторіи отреченной литературы. Сказаніе Афродитіана". I—IV. Спб. 1899 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Акад., т. IV), весьма обстоятельное изслѣдованіе легенды;—И. В. Ягичъ, „Критическіе замѣтки къ славянскому переводу двухъ апокрифическихъ сказаній: I, Апокрифическое первоевангеліе Іакова; II, Апокрифическое посланіе Пилата въ Римъ". Спб. 1898 (изъ „Извѣстій" Р. Отд. Акад., т. III);—Е. Ѳ. Карскій, „Западнорусское сказаніе о Сивиллѣ пророчицѣ по рукописи XVI вѣка. Текстъ сказанія, его составъ и языкъ".

Варшава, 1898 (изъ варшавскихъ „Унив. Извѣстій");—А. С. Архангельскій, „Къ исторіи южнославянской и древнерусской апокрифической литературы. Два любопытныхъ сборника Софійской Народной библіотеки, въ Болгаріи. Описаніе рукописей и тексты". Спб. 1899 (изъ „Извѣстій Р. Отд. Акад., т. IV); здѣсь изданы: „Дѣтьство Господа нашего"; апокрифическое сказаніе объ апостолѣ Петрѣ; сказаніе о пророкѣ Даніилѣ; такъ называемый Разумникъ, вопросы Іоанна, Василія и Григорія; о двѣнадцати пятницахъ великихъ; сказаніе о премудромъ Соломонѣ и о женѣ его; „Сказаніе о трепетнику"; Коледарникъ; Громовникъ; Молитва отъ нежита;—А. И. Яцимирскій, „Мелкіе тексты и замѣтки по старинной славянской и русской литературѣ", въ „Извѣстіяхъ" Р. Отд. Акад., т. II—IV; здѣсь изданы: лживыя молитвы, Коледарникъ въ разныхъ редакціяхъ; гадательныя книги и пр.;—В. В. Качановскій, „Молитва съ апокрифическими чертами отъ злого (вредоноснаго) дождя", въ „Извѣстіяхъ" Р. Отд. Акад., т. II, 1897;—М. Сперанскій, „Замѣтки о рукописяхъ бѣлградскихъ и Софійской библіотекъ. М. 1898 (изъ XVI тома „Извѣстій" Нѣжинскаго Института): здѣсь указаны Слово о Соломонѣ, молитва Сисинія, списокъ отреченныхъ книгъ и др.

—„—, стр. 435. „Апокрифическое евангеліе ап. Ѳомы въ славянскихъ спискахъ" изслѣдовано у г. Яцимирскаго, „Изъ славянскихъ рукописей. Тексты и замѣтки". М. 1898, стр. 93—143.

—„—, стр. 479. Обширный трактатъ, съ исторіей и текстами намѣстниковъ, издалъ въ послѣднее время М. Н. Сперанскій: „Изъ исторіи отреченныхъ книгъ. І. Гаданія по Псалтири. Тексты гадательной Псалтири и родственныхъ ей памятниковъ и матеріалъ для ихъ объясненія". Спб. 1899 (Памятники древней письменности и искусства, CXXIX, въ изд. Имп. Общ. люб. др. письм.).

Глава XIII, стр. 37, 66. Южнославянскій списокъ повѣсти объ Акирѣ указанъ у Архангельскаго, „Къ исторіи южнослав. и древнерусской апокр. литературы. Спб. 1899, стр. 2: „Слово премудраго Акуріа" (т.-е. Акѵрія). Послѣднимъ подтверждается указаніе г. Ягича, что имя мудреца было первоначально: Акирій.

Глава XIV, стр. 94, 118: о ереси жидовствующихъ, новыя изслѣдованія С. О. Долгова, и докладъ А. И. Соболевскаго въ Обществѣ любителей древней письменности о „Логикѣ" жидовствующихъ („Новое Время", 1899, 10 марта).

Глава XV, стр. 126, 172. Важный матеріалъ для біографіи Максима Грека и исторіи его литературной дѣятельности собранъ въ книгѣ—С. Бѣлокурова: „О библіотекѣ московскихъ государей въ XVI столѣтіи". М. 1898. Трудъ, вызванный поднявшимся недавно вопросомъ о царской библіотекѣ XVI вѣка и о возможности открыть ее раскопками въ Кремлѣ, разросся въ обширное изслѣдованіе по архивнымъ документамъ и между прочимъ затронулъ показанія Максима Грека. Въ приложеніяхъ изданы краткія извѣстія о Максимѣ и подробныя сказанія о немъ, и приведено библіографическое описаніе рукописей разныхъ библіотекъ, гдѣ находятся его слова и переводы, и сказанія о немъ,—въ Москвѣ и Петербургѣ, Сергіевомъ посадѣ, въ Порѣчьѣ, въ Казани, Вильнѣ, Кіевѣ, Петрозаводскѣ, въ разныхъ губерніяхъ, въ общественныхъ библіотекахъ и въ частныхъ рукахъ, всего до 240 рукописей.

—„—, стр. 163, 174. Въ собраніи Общества любителей древней письм. 8 января 1899, г. Харламповичъ сдѣлалъ сообщеніе объ открытомъ имъ въ одномъ сборникѣ библіотеки Московской синодальной типографіи печатномъ экземплярѣ переводной статьи князя А. М. Курбскаго: „От другіе діалектики пана Спанинъбергера о силогизме вытолковано“, извѣстной доселѣ лишь по рукописямъ. Референтъ установилъ, что оригиналомъ этой статьи послужила книга Іоанна Спангенберга „Trivii erotemata“, вышедшая третьимъ изданіемъ въ Будѣ въ 1560 г. Статья „от другіе діалектики“—буквальный переводъ нѣсколькихъ параграфовъ отдѣла этой книги о силлогизмахъ, съ пропускомъ нѣкоторыхъ примѣровъ и правилъ, съ незначительными измѣненіями и дополненіями. (Спб. Вѣдомости, 1899, 12 января);—П. В. Владиміровъ, Новыя данныя для изученія литературной дѣятельности кн. Курбскаго, въ „Трудахъ“ IX Археолог. съѣзда, т. II. М. 1897;—см. также Архангельскаго, въ „Твореніяхъ отцовъ церкви“ и пр. Спб. 1888; „Борьба съ католичествомъ“, въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ. ист. и др. 1888. Ранніе труды о Курбскомъ упомянуты въ новѣйшихъ сочиненіяхъ.

Глава XVIII, стр. 305, 316. Относительно раскольничьяго представленія о Никонѣ, какъ объ антихристѣ, любопытное сообщеніе сдѣлалъ В. Н. Перетцъ въ собраніи Общества люб. древней письм. 8 января 1899. А именно онъ говорилъ о вновь найденномъ имъ раскольничьемъ сказаніи о томъ, какъ патріархъ Никонъ спускался во адъ. Остановившись на общихъ взглядахъ о происхожденіи раскола въ XVIII вѣкѣ, г. Перетцъ указалъ на важное значеніе литературныхъ памятниковъ, на направленіе воззрѣній первыхъ расколоучителей и на значеніе тѣхъ эсхатологическихъ чаяній, которыя сложились особенно опредѣленно къ 1666 году. Всѣ религіозные русскіе люди ожидали въ это время появленія антихриста; они такъ были убѣждены въ томъ, что антихристъ неизбѣжно придетъ въ міръ, что въ головѣ ихъ вполнѣ естественно было возникнуть вопросу: „да ужъ не пришелъ ли антихристъ“? И такъ какъ патріархъ Никонъ, съ одной стороны, не отвѣчалъ сложившемуся у русскаго человѣка представленію о святѣйшемъ патріархѣ, а съ другой стороны—нѣкоторыя черты изъ его жизни совпали съ характеристикой антихриста въ памятникахъ эсхатологической литературы, то не трудно понять, что, въ концѣ концовъ Никонъ былъ отожествленъ съ антихристомъ. Когда же такое отожествленіе состоялось, то въ оправданіе его появляются фантастическія повѣсти и сказанія. Одна изъ такихъ повѣстей представляетъ оригинальное сліяніе народныхъ представленій объ оборотняхъ съ спеціально раскольничьимъ о Никонѣ, какъ предтечѣ антихриста. Нѣкій слуга Никона, быть можетъ, извѣстный Кирикъ, повѣствуетъ старцамъ, сидящимъ въ заточеніи за вѣру, что онъ видѣлъ однажды, какъ Никонъ лежалъ на одрѣ мертвымъ, въ то время, какъ душа его путешествовала въ адъ и бесѣдовала съ сатаной. Сатана просилъ Никона крестить всѣхъ въ его имя, но коварный и хитрый Никонъ предложилъ крестить на словахъ въ Троицу, а мысленно обращаться къ діаволу, призывая его имя. Сатана остался чрезвычайно доволенъ этой выдумкой—и назвалъ Никона сыномъ своимъ возлюбленнымъ. Изъ послѣдующихъ статей сборника видно, что ска-

заніе это записано въ Соловецкомъ монастырѣ; сходныя сказанія читаются о Никонѣ и въ другихъ рукописяхъ, гдѣ онъ является то предметомъ поклоненія для бѣсовъ, то совѣщается съ ними, то носитъ змѣя вмѣсто омофора.—На это г. Ждановъ замѣчалъ, что при изслѣдованіи вопроса о возникновеніи у русскихъ XVII вѣка мысли о скорой кончинѣ міра и пришествіи антихриста не слѣдуетъ упускать изъ виду однородныя западныя сказанія, которыя могли проникать въ Москву изъ Руси юго-западной, напр. черезъ такихъ ученыхъ какъ Лаврентій Зизаній; а г. Харламповичъ указалъ, что Зизаній въ своихъ эсхатологическихъ разсужденіяхъ былъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ протестантскихъ писателей (Спб. Вѣдомости, 1899, 12 января).

—„—, стр. 318: П. С. Смирновъ, „Внутренніе вопросы въ расколѣ въ XVII вѣкѣ. Изслѣдованіе изъ начальной исторіи раскола по вновь открытымъ памятникамъ, изданнымъ и рукописнымъ“. Спб. 1898,—за послѣдніе годы одно изъ важнѣйшихъ изслѣдованій по начальной исторіи раскола. Того же автора, разборъ книги А. Бороздина о протопопѣ Аввакумѣ, въ Журн. мин. просв. 1898.

Глава XVIII—XIX. А. Архангельскій, „Образованіе и литература въ Московскомъ государствѣ кон. XV—XVII вв. Изъ лекцій по исторіи русской литературы“, въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго унив. 1898;—А. И. Соболевскій, „Западное вліяніе на литературу Московской Руси XV—XVII вѣковъ“. Спб. 1899, рѣчь на актѣ Археол. Института 10 мая 1898: введеніе и обширный, весьма любопытный, „Списокъ переводовъ и передѣлокъ съ бѣлорусскаго, польскаго и западно-европейскихъ языковъ, сдѣланныхъ въ Московской Руси въ XV—XVII вѣкахъ“.

Глава XX, стр. 416. Важно новое изданіе: „Зеркало очевидное. И. Т. Посошкова. (Редакція полная)“. По рукописному списку, хранящемуся въ библіотекѣ Казанской Духовной Академіи, по опредѣленію Совѣта Академіи, издалъ проф. А. Царевскій. Казань, 1895 (на оберткѣ: 1898). См. также гл. XXVII, стр. 203, 208.

Глава XXIII, стр. 498. Южнославянскій текстъ повѣсти о царѣ Шахаишѣ („Шанкышь“, царь въ Іерихонѣ) указанъ у Архангельскаго, „Къ исторіи южнослав. и древнерусской апокр. литературы“. Спб. 1899, стр. 18, 21.

—„—, стр. 553. Указанъ мой Библіогр. списокъ русскихъ повѣстей конца XVII-го и начала XVIII в. въ Сборникѣ Общ. люб. росс. слав. М. 1891. Здѣсь, стр. 556, отмѣчена повѣсть о купцѣ Карпѣ Сутуловѣ и его мудрой женѣ. Очевидно древнѣйшій ея прототипъ былъ встрѣченъ въ восточныхъ сказаніяхъ, которыя были разобраны въ докладахъ бар. В. Р. Розена и С. Ѳ. Ольденбурга въ Археол. Общ. 14 янв. 1899. (См. Новое Время, 1899, 16 января). Посредствующимъ звеномъ были безъ сомнѣнія фабльо и дальнѣйшіе подобные сборники (Bedier, Fabliaux; разсказъ Coustin du Hamel), но родиной сюжета, по мнѣнію г. Ольденбурга, была Индія,—откуда черезъ персовъ сюжетъ перешелъ къ арабамъ, и т. д.

—„—, стр. 553. По исторіи бѣлорусскаго языка и письменности, см. П. В. Владимірова, Научное изученіе бѣлорусскаго нарѣчія за послѣдніе десять лѣтъ (1886—1896), въ Кіевскихъ Унив. Извѣстіяхъ, 1898, май и д.

Глава XXIV, стр. 48: разборъ книги В. Ѳ. Миллера „Очерки р. народной словесности(Былины)“, А. Архангельскаго, въ „Извѣстіяхъ“ Р. Отдѣленія Академіи, 1898, III, стр. 905—923.

— „ —: Тіандеръ, „Западныя параллели къ былинамъ о Чурилѣ и Катеринѣ“, въ Журн. мин. просв. 1898, декабрь,—а именно скандинавскія и шотландскія баллады, французскія пѣсни, иберійскіе романсы, славянскія пѣсни.

— „ —, стр. 50. М. Азбукинъ, Очеркъ литературной борьбы представителей христіанства съ остатками язычества въ русскомъ народѣ, въ Р. Филолог. Вѣстникѣ, Варшава; 1898, т. XXXIX, стр. 245—276; очень цѣнная работа.

— „ —, стр. 50. Н. И. Коробка собралъ волынскія сказанія объ Игорѣ и Ольгѣ, въ Памятной книжкѣ Волынской губ. на 1899 годъ (Ср. „Живую Старину“, 1895, № 1).

Глава XXV, стр. 78, 99. Новый трудъ А. Н. Веселовскаго по вопросу о происхожденіи и историческомъ развитіи поэзіи: „Три главы изъ исторической поэтики“. Спб. 1899 (изъ Журн. мин. просв. 1898). Содержаніе главъ слѣдующее: Синкретизмъ древнѣйшей поэзіи и начала дифференціаціи поэтическихъ родовъ; Отъ пѣвца къ поэту—выдѣленіе понятія поэзіи; Языкъ поэзіи и языкъ прозы.

Глава XXVI, стр. 161. Е. А. Ляцкій. „Нѣсколько замѣчаній къ вопросу о пословицахъ и поговоркахъ“. Спб. 1897, изъ „Извѣстій“ Р. Отд. Акад., т. II.

— „ —, тамъ же. М. А. Дикаревъ, „О царскихъ загадкахъ“,—въ „Этнографическомъ Обозрѣніи“. М. 1896, кн. XXXI.

Глава XXIX, стр. 273. „Проповѣди Гавріила Бужинскаго (1717—27). Историко-литературный матеріалъ изъ эпохи преобразованій“. Издалъ Е. В. Пѣтуховъ, въ Ученыхъ Запискахъ Юрьевскаго унив. 1898. Здѣсь повидимому заключаются всѣ проповѣди Бужинскаго; изъ нихъ до сихъ поръ извѣстны были только шесть. Изданіе сдѣлано по собственной рукописи Бужинскаго, въ библіотекѣ Моск. дух. Академіи.

Глава XXX, стр. стр. 297, 331. О лицевыхъ памфлетахъ въ средѣ старообрядцевъ ср. замѣчанія П. С. Смирнова: „Внутренніе вопросы въ расколѣ въ XVII вѣкѣ“. Спб. 1898, стр. 200.

Глава XXXI, стр. 353, 374. Для біографіи Кантемира и вообще для характеристики эпохи любопытно изслѣдованіе Л. Майкова: „Княжна Марія Кантемирова“, въ „Р. Старинѣ“ 1897, январь, мартъ, іюнь, августъ.

Глава XXXII, стр. 397, 419: „Иностранецъ-доброжелатель Россіи въ XVII столѣтіи“ (пасторъ Іоганнъ-Готфридъ Грегори), Н. П. Лихачева, въ Историч. Вѣстникѣ, 1898, іюль, стр. 139—152.

Глава XXXIV, стр. 446, 469. Л. Майковъ, „Молодость В. К. Тредіаковскаго до его поѣздки за границу (1703—1726)“, въ Журн. мин. просв. 1897, № 7.

Глава XXXVI, стр. 48. Maurice Tourneux, Diderot et Catherine II. Avec un portrait en héliogravure. Paris, 1899. Большой томъ, въ 600 стр., съ неизданными ранѣе документами; портретъ Дидро—сдѣланный въ Петербургѣ знаменитымъ Левицкимъ.

Глава XXXVII, стр. 108. В. Истоминъ, Главнѣйшія особенности языка и слога произведеній имп. Екатерины II, въ Р. Филолог. Вѣстникѣ, Варшава, 1898, т. XL; педаг. отдѣлъ, стр. 1—36.

Глава XXXVIII, стр. 181. Изъ детальныхъ изслѣдованій о литературѣ XVIII-го вѣка укажемъ еще нѣкоторыя новыя:—„Въ 1786-й годъ новой. Новое изданіе Не всіо и не ничево". Текстъ съ предисловіемъ Е. А. Ляцкаго. М. 1899 (изъ „Чтеній" моск. Общ. ист. и древн.);—А. Лященко, „Къ исторіи русскаго романа. Публицистическій элементъ въ романахъ Ѳ. А. Эмина". Спб. 1898 (изъ Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule für 1897—98);—Б. Л. Модзалевскій, „Василій Григорьевичъ Рубанъ". Историко-литературный очеркъ. Спб. 1897;—В. В. Сиповскій, „Изъ прошлаго русской цензуры" (при Екатеринѣ II и Павлѣ), въ „Р. Старинѣ", 1899;—Юрій Веселовскій, „Къ исторіи борьбы съ невѣжествомъ и дурнымъ воспитаніемъ въ русской литературѣ прошлаго вѣка". М. 1899.

Глава XXXIX, стр. 231. В. В. Сиповскій, Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника". Съ приложеніемъ—1, статьи: Новиковъ, Шварцъ и московское масонство"—и 2, „Матеріаловъ для полнаго собранія сочиненій Карамзина". Спб. 1899 (замѣтка въ В. Евр. 1899, май).

Глава XLII. 26-е мая 1899 было рѣдкимъ въ нашей общественной жизни событіемъ, объединивъ общество на интересѣ поэзіи и искусства; въ спеціально-литературномъ отношеніи оно останется важно (гораздо болѣе, чѣмъ іюньскіе дни 1880), какъ фактъ историческаго сознанія. Благодаря старательнымъ изслѣдованіямъ, — которыя продолжались и въ эту минуту,—и вслѣдствіе историческаго опыта, пережитаго самимъ обществомъ и литературой, личность Пушкина и значеніе его дѣятельности раскрываются яснѣе, чѣмъ для самихъ его современниковъ, для которыхъ была закрыта личная внутренняя жизнь писателя и не могли быть выяснены внѣшнія условія его дѣятельности.

Литература, вызванная столѣтней памятью Пушкина, довольно обширна и, хотя большая часть еа имѣетъ популярный и педагогическій характеръ, но было и нѣсколько трудовъ серьезныхъ, заключающихъ важныя указанія. Главнѣйшимъ является академическое изданіе: „Сочпненія Пушкина. Приготовилъ и примѣчаніями снабдилъ Леонидъ Майковъ. Томъ первый. Лирическія стихотворенія (1812—1817)". Спб. 1899—начало обширнаго труда, который долженъ объединить все, что до сихъ поръ сдѣлано и еще будетъ собрано для истолкованія Пушкина. Выше упомянуто о „Біографическихъ матеріалахъ" того же автора. Укажемъ далѣе книгу В. Е. Якушкина: „О Пушкинѣ. Статьи и замѣтки". М. 1899; замѣчательныя рѣчи, сказанныя на Пушкинскихъ собраніяхъ въ Петербургѣ и Москвѣ,— Александра Веселовскаго, А. Ѳ. Кони, Н. И. Стороженка, В. О. Ключевскаго; любопытныя свѣдѣнія изъ записокъ и воспоминаній, въ статьяхъ М. А. Веневитинова, В. Якушкина и пр.

— В. Каллашъ, Русскіе поэты о Пушкинѣ. Сборникъ стихотвореній. М. 1899 (также сборники г-жи Араловой, Божерянова).

— П. Драгановъ, Кто впервые принялся переводить А. С. Пушкина и прототипы переводовъ его на 50 языковъ и нарѣчій міра" (между прочимъ на старославянскій и языкъ эсперанто),—въ „Историч. Вѣстникѣ" 1899, май. Всего авторъ насчиталъ 1365 переводовъ изъ Пушкина и иноязычныхъ статей о немъ.

— П. Кулаковскій, Стихотворенія А. С. Пушкина въ славянскихъ переводахъ. Варшава, 1899.

— Журналъ „Жизнь“, май, 1899: статьи Д. Н. Овсянико-Куликовскаго—А. С. П. какъ художественный геній; Е. А. Соловьева—А. С. П. въ потомствѣ; Алексѣя Веселовскаго—А. С. П. и европейская поэзія; М. Славинскаго—О дружбѣ Пушкина и Мицкевича; Андреевича—А. О. Смирнова о Пушкинѣ; Н. П. Некрасова—Къ вопросу о значеніи А. С. Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка и др.

— „Особое чествованіе Пушкина“ (въ журналѣ „Міръ искусства“), Влад. С. Соловьева, В. Евр., 1899, іюль (и тамъ же о новѣйшей Пушкинской литературѣ, въ „Литер. Обозрѣніи“ и „Общ. хроникѣ“).

— Изъ популярныхъ изданій лучшее есть сборникъ В. П. Острогорскаго, съ вводными статьями, изданіе Спб. гор. думы. Спб. 1899. Далѣе—Пушкинъ въ музыкѣ, Пушкинъ какъ любитель античнаго міра, произведенія его въ иллюстраціяхъ, и пр.

Глава XLIII, стр. 455—457. Какъ начало детальныхъ изученій Н. А. Полевого, любопытна также статья Н. Козмина: „Аббадона“, въ Журн. мин. просв. 1898, апрѣль.



УКАЗАТЕЛЬ.




Hoover Institution Library
3 6105 070 522 409